
18+
НОВЫЕ
ОПАСНЫЕ
ВИДЕНИЯ
РЕДАКТОР-СОСТАВИТЕЛЬ
ХАРЛАН ЭЛЛИСОН
ПЕРЕВОД СЕРГЕЯ КАРПОВА
ИЛЛЮСТРАЦИИ ЭДА ЭМШВИЛЛЕРА
46
ДЕРЗКИХ
ШЕДЕВРОВ
ОТ ТИТАНОВ
НАУЧНОЙ
ФАНТАСТИКИ

Новые опасные видения

Коллективный сборник, Харлан Эллисон

Аннотация
Харлан Эллисон. Новые опасные видения
Харлан Эллисон, WGA и я. Дэвид Э. Гудмен
Введение 1969 года. Харлан Эллисон
Предисловие. Нападение новых мечтателей. Харлан Эллисон
Новые опасные видения
- Предисловие «Переверточка зрения»
- Переверточка зрения. Джон Хейденри
- Послесловие
- Предисловие «Дзынь-ведьма!»
- Дзынь-ведьма!. Росс Роклинн
- Послесловие
- Предисловие «Слово „лес“ означает „мир“»
- Слово «лес» означает «мир». Урсула Ле Гуин
- Послесловие
- Предисловие «Оплата по факту»
- Оплата по факту. Эндрю. Дж. Оффут
- Послесловие
- Предисловие «Ма́томы из чулана времени»
- Ма́томы из чулана времени. Джин Вулф

Послесловие
Предисловие «Путешествие во времени для обывателей»
Путешествие во времени для обывателей. Рэй Нельсон
Послесловие
Предисловие «Христос, из новой школы старый ученик»
Христос, из новой школы старый ученик. Рэй Брэдбери
Послесловие
Предисловие «Царь горы»
Царь горы. Чед Оливер
Послесловие
Предисловие «Десятичасовые новости от…»
Десятичасовые новости от…. Эдвард Брайант
Послесловие
Предисловие «Похороны»
Похороны. Кейт Вильгельм
Послесловие
Предисловие «Заяц Гарри»
Заяц Гарри. Джеймс Хэмисат
Послесловие
Предисловие «Когда все изменилось»
Когда все изменилось. Джоанна Расс
Послесловие

Предисловие «Большой космический хер»
Большой космический хер. Курт Воннегут
Послесловие
Предисловие «Награда»
Награда. Т. Л. Шерред
Послесловие
Предисловие «Натюрморт»
Натюрморт. К. М. О’Доннелл
Послесловие
Предисловие «Юрист под кайфом»
Юрист под кайфом. Х. Х. Холлис
Послесловие
Предисловие «Наблюдаемые сны и стратегические кремации»
Наблюдаемые сны и стратегические кремации. Бернард Вульф
Послесловие
Предисловие «С пальцем в моем Я»
С пальцем в моем Я. Дэвид Джерролд
Послесловие
Предисловие «В коровнике»
В коровнике. Пирс Энтони
Послесловие
Предисловие «Безмолвный вечер»
Безмолвный вечер. Ли Хоффман
Послесловие

Предисловие
Гаан Уилсон
Послесловие
Предисловие «Создание из пробирки – после»
Создание из пробирки – после. Джоан Бернотт
Послесловие
Предисловие «И море как зеркала»
И море как зеркала. Грегори Бенфорд
Послесловие
Предисловие «Все простыни белы»
Все простыни белы. Эвелин Лиф
Послесловие
Предисловие «Ткань»
Ткань. Джеймс Саллис
Послесловие
Предисловие «Элоиза и врачи с планеты Пергамон»
Элоиза и врачи с планеты Пергамон. Джозефина Сакстон
Послесловие
Предисловие «Чак Берри, пожалуйста, вернись домой»
Чак Берри, пожалуйста, вернись домой. Кен Маккалоу
Послесловие
Предисловие «Откровение для чужих»

Откровение для чужих. Дэвид Керр
Послесловие
Предисловие «Глаза смотрящего»
Глаза смотрящего. Барт К. Файлер
Послесловие
Предисловие «Гонка мотыльков»
Гонка мотыльков. Ричард Хилл
Послесловие
Предисловие «Дело Гловера»
Дело Гловера. Леонард Ташнет
Послесловие
Предисловие «Нулевая гравитация»
Нулевая гравитация. Бен Бова
Послесловие
Предисловие «Мышь в стене глобальной деревни»
Мышь в стене глобальной деревни. Дин Кунц
Послесловие
Предисловие «Совместная жизнь»
Совместная жизнь. Джеймс Блиш (В соавторстве с Джудит Энн Лоренс)
Послесловие
Предисловие «Totenbüch»
Totenbüch. А. Парра (-и- Фигередо)
Послесловие
Предисловие «Утраченное время»

Утраченное время. Томас М. Диш
Послесловие
Предисловие «С пацанами космокрылых бомберов на доброй старой Новой Алабаме»
С пацанами космокрылых бомберов на доброй старой Новой Алабаме. Ричард Э. Лупофф
Послесловие
Предисловие «Переменчивая Ламия»
Переменчивая Ламия. М. Джон Харрисон
Послесловие
Предисловие «Последний поезд на Канкаки»
Последний поезд на Канкаки. Робин Скотт
Послесловие
Предисловие «Империя солнца»
Империя солнца. Эндрю Винер
Послесловие
Предисловие «Озимандия»
Озимандия. Терри Карр
Послесловие
Предисловие «Райское молоко»
Райское молоко. Джеймс Типтри-младший
Послесловие
Благодарности
Об иллюстраторе «Новых опасных видений»

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Лауреат премий «Хьюго» и «Локус».

Вот все, что вам нужно знать о «Новых опасных видениях».

Это книга-спутник, книга-сателлит самой влиятельной антологии фантастики последних пятидесяти лет. Разумеется, вы слышали об «Опасных видениях».

В этой книге собраны оригинальные произведения, написанные специально для нее сорока двумя совершенно особенными авторами – и ни один из них не участвовал ранее в «Опасных видениях». Разумеется, вы их помните и помните тот шум, который они произвели.

В этой книге – сорок шесть произведений: от коротких рассказов объемом около тысячи

слов до почти романов в сорок тысяч. И каждый текст создан без оглядки на ограничения и издательские условности, которые обычно сковывают научную фантастику. Разумеется, вы помните, каким откровением в этом смысле были «Опасные видения».

В этой книге каждый текст сопровождается авторским послесловием, а также отдельным вступлением редактора. Разумеется, вы помните тот роскошный корпус дополнений, который сделал «Опасные видения» вехой жанра.

Эта книга создавалась более трех лет. Все произведения собрал и отредактировал Харлан Эллисон. Разумеется, тот самый Харлан Эллисон. И… эта книга еще более поразительна, чем «Опасные видения».

Она начинается там, где закончились «Опасные видения».

И да – эта книга ЛУЧШЕ, чем «Опасные видения». Видения в ней более ОПАСНЫЕ.

Это 46 видений Урсулы Ле Гуин, Рэя Брэдбери, Джина Вулфа, Курта Воннегута, Дина Кунца, Джеймса Типтри-младшего и многих других.

«В его языке есть подлинная сила – он

буквально рисует образы прямо у вас в голове». – Рональд Мур

«Гипнотическая энергия блестящего рассказчика и ум, вмещающий целый склад культуры». – New York Review of Books

«Самобытный и бесконечно ценный автор. Льюис Кэрролл XX века». – Los Angeles Times

«Эту книгу нужно купить немедленно – потому что она точно знает, как все кипит у вас внутри». – Альгис Будрис

«Характеристики – и даже сама научная фантастика – слишком узки, чтобы описать Харлана Эллисона. Лирик, сатирик, исследователь темных уголков психики, моралист, мастер мгновенной шутки, рассказчик чистого ужаса и черной комедии – он все это и гораздо больше». – Washington Post

«Неистово плодовитый и своенравный автор, для которого рассказы были почти священным призванием… Эллисон по праву стоит рядом с такими мастерами научной фантастики, как Рэй Брэдбери и Айзек Азимов». – New York Times

«Эллисон привнес в научную фантастику подлинную литературную дерзость в эпоху, когда сам жанр сторонился любых разговоров

об искусстве. Назвать его уникальным было бы банальностью – и он бы это возненавидел. Он был легендой». – NPR

Харлан Эллисон
Новые опасные видения

© 1972 by Harlan Ellison, renewed 2000 by Harlan Ellison
© С. Карпов, перевод на русский язык, 2026
© Издание на русском языке, оформление. «Издательство „Эксмо“», 2026

* * *

Посвящается Брайану и Лорейн Кирби
«…а с ребенком уже трое»[1]

[1] Примечания: 1
Ставшая крылатой строчка из популярной песни 1927 года «My Blue Heaven».– *Здесь и далее, если не указано иное, прим. пер.*

Харлан Эллисон, WGA и я
Дэвид Э. Гудмен

Я писатель, в основном пишу телесценарии и провел семнадцать лет в правлении Гильдии сценаристов США (Writers Guild of America — WGA), четыре из них — в должности президента; и я могу с уверенностью сказать: все, что я знаю о WGA, я узнал от Харлана Эллисона.

Знаю, что я не единственный автор, для кого Эллисон стал неофициальным наставником в телесценаристике. Меня растила мать-одиночка, социальная работница, в пригороде Нью-Йорка, и я был далек от шоу-бизнеса. Слышал о профессии «телесценарист» только благодаря историям об уникальных победах и неудачах, которые Эллисон писал об этой области.

Я был фанатом «Стар Трека» — беззаветным, — и в связи с сериалом меня завораживала и ставила в тупик важная дихотомия, которую символизировал Эллисон: 1) он написал одну из самых знаменитых — и, возможно, лучшую — серий первого сериала, «Город на краю вечности», 2) ему не нравилось, какой она получилась.

В двенадцать лет для меня это была загадка. В голове не укладывалось, как это писателя не радует его имя на серии одного из моих любимых сериалов.

И тогда я решил разобраться. Купил оригинальный сценарий, в 1975 году доступный в антологии фантастики «Шесть научно-фантастических пьес» (*Six Science Fiction Plays*, ред. — Роджер Элвуд). Это не только первая телепьеса в моей жизни, но и первый сценарий в принципе. Хотя чтение так и не помогло ответить на вопрос, что же Эллисона не устраивало в результате (в двенадцать я еще не мог оценить тонкость оригинала), та книга все равно многому меня научила.

Для начала Эллисон написал для антологии предисловие с терминологией сценаристов; оттуда я впервые узнал, что сценаристы имеют в виду под «ТЗ», «ЗГ» и «ОТКРЫВАЮЩАЯ СЦЕНА».

Еще он упомянул, что первая версия сценария получила премию от некоей «Гильдии сценаристов». Для человека, который вдруг начал мечтать о том, чтобы стать сценаристом, участие в целой профессиональной организации звучало заманчиво.

Но самое важное, что писал Эллисон — и писал очень часто, — это насколько сценариста не ува-

жают в Голливуде, насколько часто всю славу за сериал забирают другие люди, хотя без сценариста, если включить телевизор, увидишь только настроечную таблицу или в лучшем случае «Запись органной музыки». Так я познакомился не только с ремеслом телесценариста, но и с его часто непризнанной важностью для формата.

В те годы у Эллисона всегда было что почитать о работе на телевидении — в его интервью или текстах. Я узнал, что некоторые сценаристы из-за больших изменений в их произведениях берут одобренный WGA псевдоним. (Узнал я об этом в четырнадцать, а когда подрос, уже понял, почему он снял свое имя с эпизода сериальной версии «Бегства Логана».)

Еще он рассказывал о неуважении руководства студий и телеканалов к сценаристам. Моя любимая история — хоть я и не помню источник, — такая: босс из ABC сказал Эллисону что-то изменить, а Эллисон отказался. Тогда босс сказал: «Ты всего лишь сценарист, что сказали, то и делай», — и тогда Эллисон швырнул стул в окно кабинета на двенадцатом этаже. Говорят, ответ Эллисона тогда был следующий: «Хорошая зуботычина решает любой спор». Какое-то время мне это даже казалось нормой — если я стану

сценаристом, наверняка придется часто драться, что меня беспокоило, но не останавливало.

Не считая очевидной потребности в драках, благодаря Эллисону я узнал и о денежной ценности творчества. Тогда я только-только окончил колледж, когда услышал о том, как он грозился иском, за что получил возмещение и упоминание в титрах «Терминатора». Я сделал простой вывод, о котором раньше почему-то никогда не задумывался: идеи тоже стоят денег. Вскоре после этого я сам начал работать в Голливуде и увидел, что там многие слишком уж легко забывают: идеи — не общие, их придумал *кто-то*. Но компаниям больше нравится получать их бесплатно — а многим авторам просто не хочется тратить силы и сражаться за них.

Эллисона такое отношение возмущало, и я, вступив в WGA в 1988 году, сразу узнал о его весе в профсоюзе. Он был страстным защитником прав сценаристов, всегда участвовал в битвах за сценаристов. Многолетний руководитель профсоюза (и сценарист «Челюстей») Карл Готтлиб рассказывал, что Эллисон «никогда не миндальничал, если шла речь о неудобной истине». И при этом он критиковал не только компании, которым хотелось, чтобы сценаристы работали бесплатно;

он сетовал и на сценаристов, которые сами не требуют того, что им причитается.

В начале 1988-го назревала большая борьба, но отдельная группировка в WGA, называвшая себя «Юнион Блюз», выступила против забастовки. Эллисон, понимая, что забастовка (или ее реальная угроза) — это основной рычаг давления, не смолчал. На съезде в «Голливуд Палладиум» он выступил против главы этой группировки, и тот, несмотря на свой внушительный рост, внезапно обнаружил, что его вызывают на драку. Дело даже дошло до кулаков, их пришлось разнимать. Услышав об этом, я уж начал прицениваться к боксерским курсам.

Его борьба за права рабочих основывалась на понимании, что профсоюз — это коллектив авторов, и их он мерил по своей высокой мерке. Эллисон даже в 2009-м судился с «Парамаунт» за роялти от мерчендайза по его серии в «Стар Треке» — и при этом одновременно судился с WGA, считая, что профсоюз борется за него недостаточно активно. О том иске Эллисон высказался так: «Речь не о „принципах“, друг, а о ДЕНЬГАХ! Давайте платите!» (Хотя в случае с иском к WGA речь шла как раз о принципах — там он судился за один доллар.)

Оглядываясь на все это, я вижу, насколько обязан человеку, с которым никогда не встречался. Благодаря ему я узнал, как важна Гильдия, что нужно бороться, когда другого выхода нет; хоть я так и не пошел на боксерские курсы, я не раз вел битвы не только за деньги, но и за уважение к сценаристам.

И вышло так, что в конце концов я понял эллисоновскую обиду из-за «Города на краю вечности», потому что теперь мое имя тоже стоит на переделанной серии «Стар Трека», и я считаю ее отвратной.

Введение 1969 года[2]
Харлан Эллисон

В ноябре 1967-го во всем мире фантастики прочитали вводное слово, которое я написал в январе того года для «Опасных видений». В январе того года, сидя в квартире Терри Карра в Бруклин-Хайтсе, пока на меня давили сроки, я начал общее предисловие к книге, которую собирал два года:

«Вы держите в руках не просто книгу. Если нам повезет, это революция».

Прошло полтора года. На 12 марта 1969-го «Опасные видения» продались тиражом свыше шестидесяти тысяч в общем издании и в издании книжных клубов, вместе взятых. Книга принесла многим авторам целый урожай «Хьюго» и «Небьюл» — и даже особое посвящение от 26-го Всемирного конвента научной фантастики. (А оно, на минуточку, гласит: «Харлану Эллисону, редактору „Опасных видений“, самой важной и скандальной фантастической книги 1967 года».)

Как вам такое, мечтатели мечты? Может, все-та-

---

[2] Примечания: 2

Предисловие к переизданию «Опасных видений» в трех томах в мягкой обложке.

ки есть на свете Бог. Те тридцать пять писателей, художников и редакторов решили создать самую важную и скандальную книгу года — и чтоб мне провалиться, если им не удалось.

С другой стороны, если «Опасные видения» — это прорыв, почему столько людей ругают книгу? Почему библиотекари по всей стране отказываются ставить ее на полки? Почему бывшему редактору «Книжного клуба НФ» возвращают тысячи экземпляров вместе с возмущенными письмами от мамочек, вожатых, учителей и священников, требующих объяснить, почему эта гнилая книжонка вдруг загрязняет драгоценные телесные жидкости их дитяти? Откуда вдруг в жанре выросло контрреволюционное движение с неким Джоном Джереми Пирсом во главе, которое объявило «священную войну», чья цель — стереть с лица земли «Опасные видения» и подобные им книги? Почему критики поливают этот сборник грязью на симпозиумах от Беркли до Бронкса? Почему одна уважаемая критик взяла на себя право назвать «Опасные видения» библией некой, по ее мнению, «Новой Волны», а потом еще несколько страниц объясняла читателям, как эта «волна» отвратительна?

А с третьей стороны (у нас же тут мир научной

фантастики, может быть столько сторон и измерений, сколько мы захотим), почему рецензент одной газеты говорит: «„Опасные видения“ находятся в числе лучших антологий в жанре за последнее десятилетие. И мне кажется, эту корону у них не заберут еще долго»? Почему почти каждый автор из книги говорит о своем участии с гордостью? Почему ваш скромный редактор получил больше трех тысяч писем, начиная с таких, от миссис С. Блитмон из Филадельфии:

Дорогой мистер Эллисон!

Когда я взяла вашу книгу «Опасные видения» в библиотеке и прочитала два предисловия, я решила, что это прекрасная книга. Словами не передать, как меня замутило после [и здесь она назвала два рассказа]. *Вы говорите, ваша бабушка — еврейка (как и у меня), но мне в это не верится; да она наверняка из Вьетконга, иначе как бы вам пришли в голову такие мерзости. Стыд вам, стыд и позор! Научная фантастика должна быть красивой. А с вашим разумом (?) впору чистить туалеты, и то я слишком великодушна. Искренне…*

заканчивая такими, от Монти Дэвиса из Нью-Йорка:

Дорогой мистер Эллисон!

Ух ты!!! И еще много таких восклицаний, которые я оставляю вашему воображению и которые все должны донести мысль, что «Опасные видения» — это чертовски здоровская книга. Если отложить вашу дурацкую мысль о «чем-то новом», то ваш зверь в зеленой обложке — это просто-таки самая дико увлекательная вещь, что я встречал за много месяцев. Для человека (вроде меня), который изголодался из-за дефицита литературной или интеллектуальной новизны в журналах и из-за мучительно малого числа новых читаемых книжек, это полный и тотальный взрыв мозга…

И так продолжалось, и не прекратилось даже сейчас, полтора года спустя. Этой книге посвящались целые выпуски фэнзинов; профессиональные редакторы буквально ссорятся со своими авторами из-за рассказов, слишком похожих на «Опасные видения»; всего один рассказ в сборнике менял целую карьеру Больших Писателей; какие-то карьеры воскрешались — а одна карьера была задушена в колыбели. Но перемены в фантастике, которые начались после выхода «Опасных видений», еще поразительнее.

Благодаря своей популярности и скандальности книга открыла двери для целой вереницы

антологий «оригинальных» рассказов, в обход узколобости многих редакторов журналов. Серия Orbit Деймона Найта зародилась раньше «Опасных видений», но, думаю, он не распнет меня за посягательство на его лавры, если я скажу, что «Опасные видения» расширили рынок для его серии, просветили многих авторов и во многом смели преграды для необузданных текстов, которые теперь и он выпускает в своих антологиях. Новый сборник оригинальных рассказов Nova от Гарри Гаррисона следует по пути, проложенному «Опасными видениями». «Дальние пределы» (*The Farthest Reaches*) Джо Элдера и «Алхимия и академия» (*Alchemy and Academe*) Энн Маккефри — это еще две антологии «оригинальных» рассказов, которые без «Опасных видений» могли бы и провалиться.

Авансы, которые писатели теперь получают после первопроходческого успеха «Опасных видений» и в твердой, и в мягкой обложках, удвоились и утроились.

Но самое важное — мы получили-таки свою революцию. Сомневаетесь? Просто скажите «новая волна» Сэму Московицу[3]. Сомневаетесь? Просто

[3] Примечания: 3

Сэм Московиц (1920–1997) — американский критик и историк фантастики.

предложите Фреду Полу сделать спецвыпуск *Galaxy* о Новой Волне. И посидите на панелях фантастических конвентов: там по-прежнему идут достойные и интересные дискуссии на тему «Красный сдвиг как основа НФ-рассказов об астрономии», но теперь — вдобавок — вы услышите лекции вроде «Научная фантастика как литература эволюции», «Как написать кинетический мультимедийный НФ-роман», «Символические параллели у Джеймса Джойса и Филипа Хосе Фармера», «Табу в журнальной научной фантастике». Все заговорили хором, и благодаря этому диалогу наше время стало самым интересным периодом в истории фантастики. Критики и академики обнаружили, что у низкой «народной литературы» есть обоснованные претензии на нечто большее; что люди, посвятившие свою жизнь подобным произведениям, ничем не хуже варваров, прославляемым в списке бестселлеров *NY Times*.

И хотя еще опасно делать выводы об эффекте «Опасных видений» на жанр в целом или о долговечности этого эффекта, можно высказаться о самом уже фуроре, который вызвала книга при выполнении своей задачи: крышесносный.

В этом кратком предисловии ко второму тому в данном переиздании «Опасных видений»

в мягкой обложке мне хотелось обозначить, что случилось со времени выхода издания в твердой. В следующей части я расскажу о продолжении, которое сейчас находится в работе, и на скольких писателей из этой первой книги-триады повлияло то, что они сделали в «Опасных видениях».

Но прямо сейчас вас ждут двенадцать мужчин и женщин, которые — с богохульством, добротой или черным юмором, — посмели быть охваченными своими особыми опасными видениями. Этим невозможно не наслаждаться.

До встречи в следующем томе. Оставайтесь с нами.

Харлан Эллисон
Лос-Анджелес
16 марта 1969 года

Предисловие. Нападение новых мечтателей
Харлан Эллисон

В 1844 году Дюма написал «Трех мушкетеров». По многочисленным просьбам общественности он написал два продолжения — «Двадцать лет спустя» в 1845-м и «Виконт де Бражелон» в 1848-м. Артуру Конану Дойлу набил оскомину Шерлок Холмс, и он закончил его карьеру криминолога (а также карьеру гениального преступника у профессора Мориарти) на прыжке в Рейхенбахский водопад в «Последнем деле». Публика не смирилась. Дойла прижали к стенке, и через три года он воскресил своего бессмертного сыщика в «Пустом доме». В 1959-м Эван С. Коннелл-младший написал «Миссис Бридж» (*Mrs. Bridge*)– и роман мгновенно стал современной классикой. Продолжить его невозможно, но имя тут же оказалось у всех на слуху — и в 1969-м мистер Коннелл написал «Мистера Бриджа» (*Mr. Bridge*). Авторы Капитана Америки под конец Второй мировой убили своего звездно-полосатого защитника демократии и американского образа жизни. В

начале шестидесятых Подводник, Принц Нэмор из Атлантиды, нашел Кэпа идеально сохранившимся в куске льда и воскресил. Не раз страдал от вынужденных сиквелов Айзек Азимов. Никто не даст ему так просто перестать писать о докторе Сьюзан Келвин и ее «Американских роботах и механических людях Инк.»; об Основании; об Элайдже Бейли и Р. Дэниэле Оливо. Айк сдался. Они уже зажили своей жизнью.

А я не хотел собирать очередные «Опасные видения».

Человек идет долиной смертной тени лишь раз, потому что любит острые ощущения или просто не узнает окрестности. Но, выбравшись, туда вернется лишь глупец. В ноябре 1965-го я приступил к тому, что считал интересным проектиком, — к антологии новых рассказов области спекулятивной литературы, написанных в новом стиле. Четыре года с половиной, пятьдесят тысяч книг в твердой обложке и еще бог знает сколько в мягкой спустя «Опасные видения» стали вехой (хоть раз сбылась моя мечта эгоманьяка) — и каким-то волшебным образом, словно зажив своей жизнью, они потребовали создать продолжение, еще больше оригинала, и теперь я сижу тут в одиноком отчаянии, стараюсь уложиться в горящие

сроки и пишу очередное Предисловие. Все мы приходим к единственному выводу: я невероятный идиот.

Дайте расскажу, как все случилось.

Нет, погодите. Дайте сначала расскажу, что сделали «Опасные видения» — кроме того, что продались тиражом больше любой другой НФ-антологии на недавней памяти.

Сначала премии.

В 1967-м «Побросаю-ка я кости» Фрица Лейбера и «Да, и Гоморра» Чипа Дилэни получили премии «Небьюла» Американской ассоциации писателей-фантастов в категориях «лучшая короткая повесть» и «лучший рассказ» соответственно — между прочим, обойдя в обеих категориях номинированные произведения вашего покорного слуги. (Редкий человек так охотно помогал собственным палачам.)

На 26-м Всемирном конвенте научной фантастики в Окленде, в 1968-м, Филип Хосе Фармер получил, наряду с другим автором, «Хьюго» в категории «лучшая повесть» за своих «Наездников пурпурных пособий» из «Опасных видений» (для пуристов уточняю: вместе с ним премию получила Энн Маккефри за «Поиск Вейра»); а Фриц с его «Побросаю-ка я кости» урвал «Хьюго» за «лучшую

короткую повесть». (Я в том году сам получил две «Хьюго» и поэтому не вижу причин жаловаться или обижаться.)

И на Оклендском конвенте мне вручили почетную грамоту за составление «самой важной и скандальной НФ-книги 1967 года».

«Опасные видения» попали в список лучших изданий в мягкой обложке 1969-го по версии BOOK WORLD. Их переиздание от «Книжного клуба НФ» вышло тиражом свыше 45 тысяч. Литературная гильдия предлагала их для подписчиков в качестве бонуса. У книги были — или скоро будут — издания или переводы в Великобритании, Германии, Японии, Испании, Италии и Франции. Они практически единолично зародили контрреволюционное движение в жанре под названием «Второе Основание», посвященное уничтожению всего, что символизируют «Опасные видения». Что бы это ни было.

Лично я получил больше двух тысяч писем от читателей, начиная с телеграммы от влиятельного нью-йоркского редактора, который сказал: «Поздравляю в день публикации самой важной книги десятилетия», и заканчивая письмом миссис С. Блитмон из Филадельфии, которая среди прочего написала: «Когда я взяла вашу книгу

„Опасные видения“ в библиотеке и прочитала два предисловия, я решила, что это прекрасная книга. Словами не передать, как меня замутило после [и она назвала два рассказа, в том числе мой]. Вы говорите, ваша бабушка — еврейка (как и у меня), но мне в это не верится; да она наверняка из Вьетконга, иначе как бы вам пришли в голову такие мерзости. Стыд вам, стыд и позор! Научная фантастика должна быть красивой. А с вашим разумом (?) впору чистить туалеты, и то я слишком великодушна. Искренне…»

Попробуй угодить всем.

В основном люди поражались и наслаждались. Мужчины и женщины, приславшие тридцать три оригинальных рассказа для «Опасных видений», зашли туда, куда еще не ступала нога писателя, и вернулись, нашептывая о разных новых завтрашних днях — причем часто такими способами, которые ранее в спекулятивной литературе не мыслились возможными. Многие говорили, что моя цель — издавать рассказы, не издаваемые в коммерческих журналах из-за табу и редакторских ограничений,– выполнена только наполовину. Другие говорили, что только семьдесят процентов рассказов действительно первоклассные. Третьи — что шестьдесят два, а в

одном фэнзине выявили только 12-процентную чистоту. И все-таки, несмотря на все стенания и нытье, книга каким-то образом умудрилась продаться, как лед в Рио, умудрилась перевернуть весь наш жанр с ног на голову и изменить его направление, умудрилась раздуть гордость авторов, которые появились в книге, ставшей, как я уже говорил, вехой. Спросите кого угодно.

Но когда улеглась пыль, у меня осталось на тысячу восемьсот долларов меньше, чем было.

Хотя смею заверить — не из-за скупости *Doubleday*, нашего издателя. А строго из-за моего завышенного мнения, будто книга все еще не такая уж большая, не такая уж изумительная, не такая уж новаторская. Так что я тратился и тратился. И, как я уже сказал, когда улеглась пыль, я остался на мели. До сих пор не вышел в плюс и все еще возвращаю долг автору Ларри Нивену, оплатившему последние рассказы. Не суть. Я все равно горжусь, что составил такую книгу.

Только один автор публично признался, что его огорчило участие в проекте. Я узнал о его недовольстве совсем недавно и, рискуя рассердить автора и его агента, просто-таки *обязан* поведать эту историю.

Дж. Г. Баллард — бесспорно, один из самых но-

ваторских и серьезных авторов в спекулятивной литературе, — сказал в интервью, будто считает «Опасные видения» лицемерными, потому что я просил авторов присылать рассказы, не публикуемые на традиционных рынках из-за сомнительного содержания или стиля, но при этом сам отверг «Убийство Джона Фицджеральда Кеннеди, рассмотренное как автогонка с горы».

В интервью журналу *Cypher* приводилась цитата Джима Балларда о том, что я не взял рассказ — якобы написанный специально для «Опасных видений» — на том основании, что он бы оскорбил американских читателей.

Когда я прочитал интервью, у меня сердце ушло в пятки от ужаса… потому что я в жизни *не видел* этого рассказа. Баллард действительно написал его для книги, но его же агент в Нью-Йорке, вместо того чтобы переслать его мне в Лос-Анджелес, за меня решил, будто рассказ оскорбителен, и убрал его в долгий ящик до времени, когда получится вернуть его Балларду. Я до сих пор не знаю, объяснили Балларду или нет, что отказал не я. Впоследствии рассказ выпустил Майкл Муркок в своем *New Worlds* в Англии — и его тут же оценили заслуженно высоко.

Этот рассказ, один из самых интересных и

противоречивых в жанре на недавней памяти, идеально подходил для «Опасных видений», и, узнав, что я остался без него из-за совершенно необоснованного решения агента, я скрежетал зубами от досады. Но чтобы меня вдобавок обвинили в лицемерии — это уже слишком. Рассказ Джима Балларда «Узнавание» в «Опасных видениях» — это хорошее и похвальное фэнтези, но просто и близко не в том часовом поясе, что «Автогонка с горы» — один из главных рассказов прошедшего десятилетия.

Когда мы встретились с Джимом Баллардом — в Рио-де-Жанейро в марте 1969-го,– мы все обсудили и, как мне казалось, закрыли вопрос взаимными соболезнованиями. А потом вышла та цитата в *Cypher*. И хоть я написал ему с напоминанием об обстоятельствах «получения» рассказа, ответа не было. Так что если кто из вас встретится с Дж. Г. Баллардом, можете ему рассказать, что случилось? А то было бы неприятно, если бы он — или кто угодно из вас — жил дальше с мыслью, будто мне хватило дурости отказать такому блестящему и примечательному произведению.

Я известен своей глупостью, но все-таки отрицаю обвинения в откровенной травме мозга.

А раз уж заговорили о моей глупости, должен

признаться в безосновательном отказе представить место в «Опасных видениях» Томасу Дишу, который в последние четыре года выбился в первый ряд фантастов. Из-за своей слепоты я отверг рассказ, который *должен был* пойти в книгу, и потом, узнав Тома получше, горько сожалел о своих предрассудках.

К счастью, Диш куда благороднее вашего пристыженного редактора, и он написал для *этого* тома рассказ еще лучше. В свое время мы дойдем и до него, но уже само упоминание об этом упущении приводит нас к следующей части предисловия:

А зачем нужен еще один сборник «Опасных видений»?

Ну, одна из причин — Диш. Другая — Пирс Энтони. А еще сорок авторов вдобавок закрывают вопрос бесповоротно.

И все равно, хоть и хватало авторов, не попавших в первые «Опасные видения», делать «Новые опасные видения» меня тащили буквально с криками. Сейчас я все расскажу.

После выхода «ОВ» (вы уж простите, что перехожу на аббревиатуры; книга и так длинная, больше 250 тысяч слов, без того, чтобы каждый раз писать «Опасные видения» полностью), в

1967-м, когда у редактора *Doubleday* Ларри Эшмида развеялись воспоминания о том, что за мука была составлять эту чертовщину, он посмотрел на результаты продаж, прибавил престиж, который книга принесла загибающейся империи *Doubleday*, и решил, что нужно продолжение.

Я джентльмен и потому не буду комментировать историю наследственного безумия в родословной Эшмидов — разве что упомяну, что Ларри чрезвычайно гордится своей тетушкой, имевшей, по слухам, личную жизнь, как у мегеры, и прадедушкой по отцовской линии, который продавал мороженое со вкусом арахисового масла и тунца на Гебридских островах.

Лично я тогда еще оправлялся после «ОВ» — физически и финансово. Как раз гремели горячие похвалы и горькие осуждения книги, так что я просто откинулся на спинку, дышал полной грудью и думал, как же хорошо, что все это закончилось. Было начало июня 1968-го.

Зазвонил телефон.

Эшмид.

— Привет, Харлан! — Так он всегда начинал разговоры со мной. Будто и правда рад со мной поговорить. Хитрый сукин сын.

— Привет, Ларри, — ответил я. — Что случи-

лось? Как там очередная литературная катастрофа Аллена Друри?

— Разлетается как пирожки, — ответил он.

— Тебе должно быть стыдно брать деньги за такой мусор. Может, найдешь уже приличную работу — допинг скаковых лошадей или работорговля детьми?

— Мы еще печатаем Ирвинга Стоуна, Леона Юриса и Тейлор Колдуэлл. И любой зарабатывает за любые отдельно взятые пять минут больше, чем ты — за год.

— Могу только пожелать тебе нашествия мышей, саранчи, саламандр, Ирвинга Уоллеса, Жаклин Сюзанн и Гарольда Роббинса. И чтобы у тебя никогда не затачивались карандаши.– Я бы пожелал ему и Эрика Сигала, но кто знал об *этом* ужасе в 1968-м? У нас, евреев, тонкий вкус в проклятиях.

— Просто звоню, чтобы сказать, что мы прекращаем печать «ОВ».

— Прекрасно, — сказал я. — Это самая продающаяся антология в истории НФ, сплошь положительные отзывы, ее уже изучают в колледжах — а вы прекращаете печать. И какой корпоративный гений это придумал?

— Такова политика *Doubleday*.

— Так говорил и Адольф Эйхман. Курицу вы тоже жарите на боку?

— Хочешь сделать еще одни «Опасные видения»?

Я бросил трубку.

Он перезвонил.

— Нас разъединили.

— Не разъединили. Это я бросил трубку.

— А. Так я спросил: «Хочешь сделать еще одни „Опасные видения“?»

Я опять бросил трубку.

И он перезвонил опять, и не успел я сказать и слова, как он весьма истошно завопил:

— НЕ СМЕЙ БРОСАТЬ ТРУБКУ!

— Ладно,– сказал я,– не буду, а *ты* тогда не смей нецензурно выражаться по телефону. У меня тонкая душевная конституция.

— Но почему *нет?* По-моему, это чудесная идея.

— Я сейчас опять брошу трубку.

— Ты только задумайся, на скольких писателей повлияла книга. Писателей, которым нужна такая возможность, писателей, которым нужно прорваться, писателей, которые хотят расправить крылья, писателей…

— Эшмид, завязывай. Все это говорил тебе я,

когда уговаривал на «Опасные видения» в шестьдесят пятом.

— Знаю. Я читаю по твоей записке. Ты пропустил букву в «опередивших свое время».

— Изыди. Я навсегда ухожу из редактуры.

Но он не унимался. Лоренс Эшмид — человек очень настойчивый. Любой, кто публикует Азимова, *становится* настойчивым. И коматозным.

И я решил, что самый верный и быстрый способ его отпугнуть — потребовать в три раза больше денег, чем в *Doubleday* предлагали за фантастическую книжку. И я потребовал. (Нет, не скажу, сколько именно, отстаньте уже.)

— По рукам!– чирикнул Ларри. Он *всегда* чирикает, когда глотает канарейку.

Я тут же целиком и полностью погрузился в хандру герметичной безысходности.

— Ты победил, Эшмид, — процедил я, кусая подмышку. Я чувствовал себя сатиром, обреченным на ад ненасытных нимфоманок, причем у каждой — свой вид спирохеты или восточного грибка.

— Да ты просто вспомни, как не мог нарадоваться, что «ОВ» собрали столько премий, — сказал он. — Ты что, забыл, как радовался?

В моем мысленном проекторе тут же замелькали картинки. Я вспомнил почетные таблички

«Небьюлы», которые нам с Ларри дали за призовые рассказы Лейбера и Дилэни. Снова увидел свое лицо. Радостным оно не выглядело. Оно выглядело так, будто я только что съел незрелую хурму. Оно выглядело так:



Джейк Кей Клейн

Я отмахнулся от жуткого образа себя (в смокинге злодейского миссионера и с нелепой структурой лица) и Эшмида (стильного, самодовольного, уже замышляющего для меня будущий ужас) и сказал:

— Ладно, я составлю еще один чертов том — *но в своем темпе. Поклянись* жизнями своих кошек, что не будешь *дергать* из-за сроков. Буду работать хоть десять лет, если захочу.

— Конечно, — ответил он. Голосом аспида.

28 июня 1968-го мы подписали договор, и я начал искать рукописи для книги, которую вы теперь держите в руках. Или поставили на живот. Или как угодно.

(Как реплика в сторону: я проследил, чтобы никакие издания «Новых опасных видений» от книжных клубов или в мягкой обложке не продавались без моего согласия, тем самым гарантируя, чтобы участвовавшие в книге авторы подольше получали роялти со стандартного издания, прежде чем нищеброды среди вас, дожидающиеся скидок, получат свои уцененные инкарнации. Суть этого отступления в том, что те из вас, кто сейчас читает у друга через плечо, не скоро получат книжку по дешевке, поэтому лучше торопитесь покупать ее по полной цене. Или воруйте из магазинов. Авторы-то в любом случае получат полные роялти.)

Приступив к составлению, я обнаружил, что моя главная радость — это видеть истории новых авторов, которые только начали разминать свои

литературные мускулы. И ненамного меньшая радость — видеть, как старшие писатели, уже заслужившие репутацию в узком направлении, пробуют что-то новое. Из-за «ОВ» разошлись слухи, что просьба действительно новаторской фантастики — не спасение несчастных авторов дыханием рот в рот. И писатели (несмотря на то, что случилось с Баллардом) откликнулись.

Как следствие, вторую книгу в трилогии «ОВ» я считаю *куда* более дерзкой и, ну, «опасной», чем первая. Лупофф, Энтони, Нельсон, Воннегут, О'Доннел, Бернотт, Парра и Типтри вытворяют такое, что, по-моему, было попросту невозможно до эпохи «Опасных видений».

Сам сейчас понимаю, как от этого несет самодовольством, и в фэнской прессе меня не раз распинали за то, как уверенно и нескончаемо я совершаю это преступление. Заранее знайте, что здесь нет ни на йоту оправдания, и позвольте поставить в известность всех, кто напишет рецензию или комментарий на *эти* «ОВ» — я повторю это вновь (повторяю с одышкой на бис), потому что, какие бы шишки ни сыпались на *меня*, это все-таки помогает остальным мужчинам и женщинам в книжке. Видите ли, меня вполне обоснованно можно назвать хранителем

этой страны чудес. Моя обязанность — проследить, чтобы творчество каждого писателя в этой книге стало как можно известнее. Я принимаю вверенный мне долг с немалой благодарностью и нескрываемым намерением вышибать двери, греметь в барабаны, тормошить критиков и прожужжать все уши потенциальным читателям, пока они не закричат «ну ладно, ладно, *почитаю* я…», и тогда свой шанс получат как дебютанты вроде Эвелин Лиф, Кена Маккалоу и Джима Хэмисата, так и корифеи вроде Урсулы Ле Гуин, Бена Бовы и Тома Шерреда.

Пожалуй, это не очень-то прилично, но в мире, где Эвелин Лиф и Элу Парре приходится соревноваться с Жаклин Сюзанн и Эриком Сигелом, услуги пиар-коммандо могут прийтись весьма кстати.

Как моей матушке больно слышать, что меня зовут злодеем.

В предисловии «Опасных видений» говорилось, что эта книга (если повезет) станет застрельщицей революции в спекулятивной литературе. Уже одна эта фразочка вызвала стопки критики и искусственный скандал. И эта фраза породила другую: Новая Волна.

Стоит уделить пару слов и этой теме.

Мы, читатели и фантасты,– сообщество небольшое, но сплоченное. Мы сражаемся, любим, уважаем и ненавидим друг друга, как бывает в любой небольшой семье, и когда кому-то хватает наглости заявить, что в семье можно установить другие порядки,– ага, вот тут-то и начинаются обвинения, ехидство, удары в спину, раскаяние. Грозит опасность. Трубят трубы. Мчатся на выручку копейщики. Скачут драгуны. Летят вперед гусары. Все на защиту репутации Артура Ч. Кларка, и Хола Клемента, и Роберта Хайнлайна. Да бросьте! Это что, шутка? Неужели Норман Спинрад *угрожает* Айзеку Азимову? Джон Джереми Пирс и правда в это верит? Никто в здравом уме не говорил, будто «новая волна» — чем бы эта фигня ни была, — вытеснит из печати Мюррея Лейнстера, или Пола Андерсона, или Фрэнка Герберта. Вообще-то у Фрэнка еще будет рассказ в «Последних опасных видениях». (О них позже. Пока не будем отвлекаться от темы.) Пол сам побывал в первых «ОВ». Херня все это. (Упс. Ну все, прощай, сотня продаж книги в библиотеки. Что ж поделать.)

Новая Волна — это такой же миф, как Старая, если только мы не заявим, будто Новая Волна зародилась во времена Аристофана и достигла

пика на, скажем, Рэндалле Гарретте.

Херня все это, детишки, и давайте больше об этом не будем.

«ОВ» и «НОВ» состоят почти из *сотни* Новых Волн, и каждая — это один писатель, и все идут своим путем — против течения. Хотите — верьте, хотите — нет, но мы семья бунтарей, гадов и птеродонтов, и я не вижу, чтобы хоть *кто-то* вытеснял Боба Хайнлайна, куда ему не хочется.

С этим все понятно? Надеюсь.

Едем дальше.

Даже невнимательные читатели серии «ОВ» заметят, что в этой книге никого из «ОВ» нет. Как не найти никого из «ОВ» или «НОВ» в заключительной книге трилогии — «Последних опасных видениях». Когда я согласился составлять вторую книгу и объявил, что никаких повторов не будет, мне сообщили, что я рехнулся, что в мире нет — ну просто нет — столько *других* хороших писателей, чтобы набрать на целую книгу. И снова херня, дети мои. Их не только хватает, чтобы в *этой* книге их уместилось больше, чем в «ОВ», но еще и на избыток понадобился целый третий том. И мы *далеко* не исчерпали жилу.

Когда вышли «ОВ», я думал, что собрал всех важных писателей. Но с тех пор на нас обруши-

лись Пирс Энтони, и Грегори Бенфорд, и Ричард Лупофф, и Джин Вулф, и Томас Диш, и изумительный Джеймс Типтри-мл.– и это еще *не конец*. Наша область — это область постоянного роста, свежих идей и новых мечтаний. Если бы я составлял «ОВ» каждый месяц следующих десяти лет, все равно бы не угнался за притоком писателей.

Тогда почему, спросят меня, некоторые писатели бросаются в глаза своим отсутствием? Почему нет Бестера, почему нет де Кампа, почему нет Хайнлайна, почему нет Джорджа П. Эллиота, и Уилсона Такера, и Алексея Паншина? Потому что я просил каждого из них минимум раз, а большинство — и чаще, но просто не срослось. Боб Хайнлайн пишет новые романы и нездоров. Альфред Бестер редактирует журнал *Holiday*. Джорджу Эллиоту предложили больше денег и выше статус в *Esquire*, и он совершенно правильно согласился. Алекс Паншин попытался угодить мне рассказом, но он мне не понравился — может, потому, что читать пришлось в ресторане, в обществе двадцати вопящих фантастов с их дамами (а также вопящими фантастами, которые сами дамы), и я плохо соображал из-за надвигающегося гриппа… но, с другой стороны, может, и рассказ был не очень. Так или иначе, на вторую

попытку он уже не пошел, о чем я жалею. Алекс — хороший писатель.

А с Уилсоном Такером другая история.

Не знаю, слышали вы о Ричарде Гейсе или нет, но если вы не настолько интересуетесь НФ, то это очень талантливый писатель, также много лет проработавший редактором журнала *Science Fiction Review*. Это место сбора и посиделок фэнов и профи, где среди оскорблений обменивались мнениями и новостями. И вот в номере 32 *SFR*, в августе 1969-го, Пирс Энтони поругался с Уилсоном (Бобом) Такером, и там опубликовали следующую выдержку из письма Энтони:

«В ответ на мою просьбу опубликовать хороший новый НФ-рассказ в „Новых опасных видениях“ (чтобы не испортить книгу, набив под завязку сплошными неописателями вроде меня), Боб Такер говорит, что его не возьмет Харлан Эллисон… Поскольку для меня важно, чтобы Такер присутствовал в книге, и я вынужден встать на задние лапы и взять быка за яйца:

Харлан Эллисон — ты слышишь? Властью, данной мне как самому молодому и бунтарскому из молодых бунтарей, требую опубликовать замечательный НФ-рассказ, который предлагает для „Новых опасных видений“ Боб Такер, заплатить

ему как минимум 3 цента за слово за счет роялти за твердое и мягкое издание и не менять в рассказе ни единого слова. (Хотя в своем предисловии можешь писать, что вздумается.) Любезно обозначь полное согласие на эти строгие условия в данном фэнзине.

Ну все, Боб, дальше сам. Шли рассказ. (Люблю помогать уставшим стариканам на сегодняшнем требовательном рынке.)»

Что ж, Пирс снова это сделал.

Совершенно безответственно нарушил главное правило.

Вы поймите, ко всему, что Пирс написал за последние пять лет, я не испытываю ничего, кроме уважения, но если он думает, что этот вызов расшевелит меня или Такера, то он ошибается. Я списался с Такером задолго до негодования Пирса. Более того, Боб присылал на рассмотрение превосходный короткий роман. Но с большим удовольствием его прочитав, я нехотя пришел к выводу, что для данной антологии он не подходит.

И еще раз поймите: это был *хороший* роман. Просто недостаточно нестандартный для конкретно *этого* дурдома. Его может выпустить любой мейнстримный издатель (в отличие от

рассказа Пирса, или Лупоффа, или Нельсона, или Воннегута), и потому я с *огромной* неохотой вернул его Такеру. С тех пор Боб написал и издал тепло принятый «Год тихого солнца» — роман, который должен уверить Пирса в том, что Такер не скатился.

Но, видите ли, это пример специфики «ОВ» — и это объясняет, почему некоторые писатели здесь отсутствуют.

Нет здесь Рэнди Гаррета: хоть он и звонил одним безумным ноябрьским вечером и шумно уговаривал дать ему аванс за рассказ, который он обязательно напишет *потом*, рукопись так и не прислал.

Нет здесь Барри Вайсмана, потому что его рассказ — о соплевампире — оказался тошнотворным даже для *меня!* Вам интересно, какие табу останавливают даже меня? Соплевампиры. *Теперь* можете распинать редактора за ограниченность.

Нет здесь Альфреда Бестера, потому что он не пишет художественную литературу, и Артура Кларка, потому что он делал тот фильм с Кубриком и возвращается в литературу только сейчас, и Алгиса Будриса, потому что… ну, это уже другая история. Зато *есть* сорок два других чудесных

писателя, а еще пятьдесят, может, появятся в «Последних опасных видениях», а еще кое-кто из вышеупомянутых людей может передумать и прислать что-нибудь раньше, чем закроется прием для «ПОВ».

Но все получают только один шанс. Писатели из «ОВ» не представлены второй раз в «НОВ», потому что у них уже был свой шанс — и большинство им воспользовались. К нам уже рвутся с саблями наголо новички — нет времени ждать, когда там откроется второе дыхание у остальных. И к тому же рассказы, которые они написали для книг «ОВ», еще могут выйти и получить премии в *Orbit*, или *Quark*, или *New Worlds*, или *Infinity*, или любой другой антологии оригинальных рассказов, которые процветают с тех пор, как издатели увидели успех «ОВ». (Здесь позвольте сделать паузу, чтобы по воздуху разлилось великодушие моей натуры. Нет, спасибо, освежитель воздуха *не обязателен*.)

Тут мне приходит в голову, что в этом общем предисловии не помешает сказать слово, или три, и о, собственно, моих предисловиях. Мнения разделились. Обозревавшие книгу критики и читавшие ее фэны почти поровну раскололись на два лагеря: те, кто души не чает в подводках

и считает, что в них есть забавные и глубокие мысли о писателях и об их творчестве; и те, кто категорически отвергает любой дополнительный материал. Первое мнение воплощают читатели вроде Шерри Колстон из Ганнибала, штат Огайо, которая написала: «Я наслаждалась искренним многословием в ваших предисловиях „Опасных видений“. Если вы что-то и умеете, то это налаживать связь с читателем». Вторую позицию характеризуют такие комментарии, как у мистера Эдмунда Купера, писателя с немалым талантом, который сказал (в лондонской *Sunday Times* от 2 мая 71-го, обозревая английское издание «ОВ», включающее первую половину американского издания, — вторая часть ожидалась в том же году): «Кажется, в „Опасных видениях“ и нет опасных видений. Там есть одно вступление, два предисловия и шестнадцать рассказов, причем каждый — тоже с предисловием и послесловием». Мистеру Куперу книжка не угодила, но даже судя по его короткому отзыву, из-за одержимого упоминания дополнительного материала я отношу его во вторую группу — отрицателей предисловий.

Как сказал известный любитель супов-чаудеров, нам нужна прозрачность. Так вот те, кому

не нравятся предисловия, могут их пропускать. Все просто. Они бесплатные. В книге больше четверти миллиона слов, каждое уже оплачено и, соответственно, отражено в цене, которую вы заплатили. А всякие предисловия писал я сам, причем за так. Сижу тут бесконечными днями напролет и набиваю подводки к рассказам, включая полные биографические и библиографические данные от самих писателей, сдабривая их личными воспоминаниями и наблюдениями об авторах. Не считая чистой фактологии, это где-то сорок тысяч совершенно бесплатных слов для вашего потенциального удовольствия и просвещения. Если вас раздражают предисловия — или конкретно *мои* предисловия… пролистайте до рассказов. Мне не очень нравится сериал «Бонанза», но, в отличие от тех, из-за кого сняли с эфира передачу «Комедийный час Братьев Смазерс», потому что он-де не отвечал их мнению о том, что должны смотреть другие, я просто кручу ручку телевизора — и смотрю другую передачу.

Из-за смешанной реакции на предисловия я всерьез задумался о том, чтобы просто подавать рассказы без сопутствующих наворотов. Но тут мне пришло в голову, что это цензура удовольствий одного лагеря ради предубеждений

второго, и эта идея, если честно, с душком. Поэтому позвольте заранее предложить критикам среди фэнов и газетчиков, которые получат книгу на рецензию (а ведь многие из вас получают *весь* том бесплатно, кто дал *вам* право ныть?), переживать о самих произведениях, а завитушки и прикрасы оставить тем, кого они волнуют. Не позволите? Ну, что ж…

А тем из вас, кому интересно, почему я столько времени трачу на предисловия, раз в ответ получаю только пендели, поймите: мне *нравится* писать о своих друзьях, о фантастах, о настоящих и очень несовершенных людях, которые стоят за совершенными произведениями. И раз уж я влезаю в долги, клепая этого монстра, я хочу искать счастье там, где могу.

Можно долго говорить о том, как делать людей счастливыми. Даже за счет Эдмунда Купера.

Так, о чем еще не поговорили? Наверное, надо сказать пару возвышенных слов о том, что НФ возмужала, что Курт Воннегут засветился на обложке *Saturday Review*, а кое-кого из нас даже просят читать лекции в высших учебных заведениях, и теперь во все учебники наряду с Томасом Гарди и Джордж Элиот включают НФ, и все такое прочее, но, если честно, это уже надоело; это сбор-

ник хороших (на мой взгляд) рассказов, и этим вечером от вас требуется только получать от них удовольствие. Поэтому пропустим все доказательства, что спекулятивная литература сейчас горячее тостов, разве что набросаю несколько комментариев о «ПОВ» и мы все перейдем к вступительной речи мистера Хейденри и следующим рассказам.

Дай бог, «Последние опасные видения» выйдут приблизительно через полгода после этой книги. На самом деле о третьем томе никогда речи не шло. А получилось так, что, когда в «НОВ» набрались полмиллиона слов и это был еще не предел, мы с Эшмидом решили, что вместо превращения «НОВ» в двухтомник, который будет стоить целое состояние, лучше поделить уже закупленный объем пополам и выпустить последний том через полгода.

В той книге появятся такие авторы, как Клиффорд Саймак, Уаймен Гвин, Дорис Питкин Бак, Грэм Холл, Чен Дэвис, Мак Рейнольдс, Аврам Дэвидсон, Рон Гуларт, Фред Саберхаген, Чарльз Платт, Энн Маккефри, Джон Джейкс, Майкл Муркок, Говард Фаст, Джеймс Ганн, Фрэнк Герберт, Томас Скортиа, Роберт Шекли, Гордон Диксон и еще целая стая. Я жду рассказов от Дэниэла Киза,

и от нового пацана Джеймса Сазерленда, и от Лоуренса Йеппа, и кое-кого еще, но это только выборка. Будут романы Ричарда Уилсона и Джона Кристофера (вот именно — полные романы) и рассказы Бертрама Чендлера и Франклина Фишера, и очень хорошие работы таких новичков, как Вонда Макинтайр, и Октавия Эстель Батлер, и Джордж Алек Эффинджер, и Стив Хербст, и Рассел Бейтс, и…

Увлекся. Позвольте взять себя в руки.

В четыре года с лишним после того, как вдарили «ОВ», энергия на нашем маленьком литературном поприще била ключом. Ранее в антологии брали почти исключительно произведения «узнаваемых имен». Серия *Orbit* Деймона Найта, и серия *Quark* Чипа Дилэни, и многие другие, — и сами «ОВ», — ясно дали понять, что наш важный товар — уже не имена. Новые писатели, те, кто рос на НФ с сороковых, — они берут наши сокровенные идеи и выворачивают их наизнанку, чтобы показать такие видения завтрашнего дня, о каких мы и не мечтали.

Нас постоянно бомбардируют новые мечтатели, и если даже книги «ОВ» не добьются ничего, я буду рад хотя бы тому, что, когда вы поставите все три тома на полку — выпихнув с нее что-то

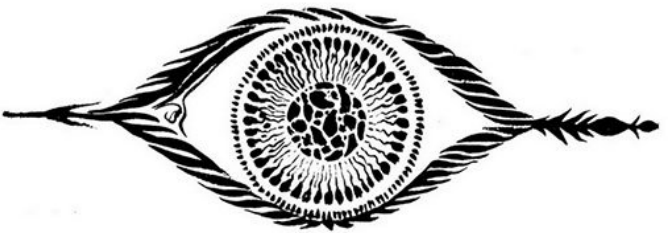
равное по размеру, но не по качеству, — мы дадим слово хотя бы полусотне молодых и горячих.

Надеюсь, где-то в этой книге кроются новые обладатели «Хьюго» и «Небьюлы», но это не главная мечта. А главная — что здесь будут имена, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали, имена мужчин и женщин, которые вас поразят и порадуют, причем не только во время чтения книги (или, как выразились бы в журнале *Liberty* в 1937 году: «Время на чтение: 2 года 6 месяцев 2 недели 19 часов 45 минут 13 секунд»), но и во все годы, когда спекулятивная литература будет все чаще и чаще считаться литературой нашего времени.

Если вы вдруг не заметили, вокруг нас творятся жуть и злодейства, и, хоть я не так наивен, чтобы думать, будто решение дадут лишь люди младше 30, я твердо верю: наша главная надежда — это люди, *молодые воображением*, и это к ним НФ обращается громче всего.

Это им, новым мечтателям, передают с невероятной любовью данную книгу писатели, художники, дизайнеры, редакторы и вспомогательный персонал, благодаря кому книга стала возможна, а также передает с огромной усталостью ее редактор,

Харлан Эллисон
Шерман-Оукс, Калифорния
6 мая 1971 года



Новые опасные видения

Предисловие «Переверточка зрения»



Предисловие к «вступительному слову» — это как в лес дрова возить. Уже по определению такой текст сам должен задавать тон и настроение для всего нижеследующего. И все-таки нас влечет к симметрии; к некой надежности порядка; да и почему Джон Хейденри должен оставаться без пары слов предисловия только потому, что он написал сюрреалистический текст, в каком-то смысле закладывающий краеугольный камень для задач и настроения этой книги? Не можем же мы лишать его такого пустякового удовольствия — вполне заслуженного.

Хейденри обратился ко мне под конец составления этой книги, благодаря Ларри Эшмиду из

Doubleday.

Цепочка замолвленных за Хейденри словечек обнажает всю «инцестовую» суть нью-йоркской издательской круговой поруки. Мистер Хейденри был ответственным редактором *Herder and Herder* в Нью-Йорке — издательства увесистых томиков по теологии и философии. В свободное от работы время он еще пописывает всякое. Не в последнюю очередь — три романа, которые называет «очаровательной, подернутой дымкой грез пасторальной романтикой, еще один (набивая руку)– в черные дни страха и трепета, а о третьем мне все еще приходят мистические откровения». Неким таинственным образом, не поддающимся объяснению, мистер Хейденри попался на глаза мисс Элизабет Бартельми из *Doubleday*; и хотя у Хейденри не было контракта на книгу (он говорит, ему не хочется присылать только синопсисы или пробные главы, вот дурачок), мисс Бартельми заинтересовалась его творчеством и упомянула о нем Эшмиду. И тогда его пролистал Эшмид и написал уже мне с мыслью, что Хейденри может подойти. Поэтому, когда мистер Хейденри прислал «Переверточку зрения», я уже понимал, кто он. Я воспылал интересом к тексту и хотел его взять — но тут деньги кончились.

Я известил Ларри о таком печальном положении дел, и он решил, что цена этого рассказа равнозначна хорошему обеду в какой-нибудь манхэттенской забегаловке повыше классом, который он, как мой редактор, оплатит мне, как его автору. Поэтому он вписал Хейденри в столбец расходов в виде делового обеда со мной и выписал мне чек из своего кармана, и теперь я разоблачил всю эту схему и Нельсон Даблдэй уволит Ларри — так ему и надо за то, что вечно подгоняет из-за сроков.

Но таким вот образом Хейденри теперь открывает эту книгу.

«Переверточка зрения» — его первый *рассказ*, хотя мне он говорит, что считал себя писателем всегда — примерно как Андре Жид, который ожидал, что люди будут узнавать в нем творческого человека по одному взгляду в глаза. (Впрочем, предположительно, Хейденри уже работает над вторым рассказом под рабочим названием «Вихляй, Диззи», который, выражаясь образно, повествует о «том случае, когда Артюр Рембо играл на правой стороне поля за старых добрых „Сент-Луис Браунс“».)

Хотя я не требовал у Хейденри рассказывать об этом (такт соседствует с чистотой, а она, как

общеизвестно, живет дверь в дверь с благочестием, чем обесценивает стоимость недвижимости в районе), я чувствую себя обязанным призвать всех читателей, кому понравится нижеследующее, написать в *Doubleday* и потребовать дать человеку контракт-другой и наличные вдобавок, чтобы ему, бедолаге, не приходилось присылать пробные «отрезы» материала.

К слову о материале — вот данные о самом Джоне Хейденри: родился в Сент-Луисе, штат Миссури, 15 мая 1939 года; затем посредственное образование; начал читать на пятнадцатом году жизни; решил изучать теологию, для чего и поступил в Сент-Луисский университет; клянется, что не собирался становиться священником (впрочем, человеку, который так относится к Богу, веры нет); закончил учебу, но отказался от диплома; затем посредственное образование; 1960–1961 годы: суперодновременный редактор *Social Justice Review, Catholic Women's Journal* и *The Call to Catholic Youth* — трех ежемесячников с общим тиражом в 3 тысячи экземпляров; 1961 год — очаровательная смена темпа, нервный срыв и недолгое проживание в Новом Орлеане (я и сам побывал в Новом Орлеане на гастролях с *Three Dog Night* и смею вас уверить: это славный и

сочный городок, где самое оно оправляться после срыва, но при этом напрашиваясь на другой, еще пагубнее); 1962–1963 годы — суперавтор *St. Louis Review;* писал практически все, кроме редакторских колонок (Хейденри заверяет, что это в целом хорошая газета… не считая редакторской колонки); 1971 год — закончил роман «Возлюбленная» (*Dearly Beloved*), остался без работы и начал побираться; женат, отец троих детей — не только ради укрепления статуса хорошего католика, но и ради расширения тиража газеты *The Call to Catholic Youth* («Призыв к католической молодежи»).

Последнее, что нужно, чтобы вы лучше представляли себе Хейденри,– отрывок из его чудесного набоковского анализа, который он писал для *The Commonweal* в мае 1969 года. Он называется «Владимир в стране чудес», и начало выглядит так:

Вла-ди-мир: кончик языка пускается в путь по нёбу, чтобы остановиться на счет три на зубах: Вла. Де. Миррор[4]. От набофана всегда можно ожидать изощренного стиля.

И вдобавок к чрезвычайной плодовитости ожидающего вас вводного слова, чтобы вы вдруг не

[4] Примечания: 4
Mirror (*англ.*) — зеркало.

решили, будто ваш редактор лишь поддерживает непотизм нью-йоркской издательской клики, редакторы *The Commonweal* — как всем известно, на световые годы далекие от коррупции, — характеризовали Джона следующим однострочным резюме: «Джон Хейденри работает над знаменитым романом».

Мы не нашли бы более выдающегося автора вводного слова, даже если бы обратились к самому Папе Римскому.

Перевёрточка зрения
Джон Хейденри



Мунакра, один из ученых Тлена[5], самый еретический — и мудрейший — герменевт своего времени, во время исследования забытых масо-

[5] Примечания: 5

Данный рассказ построен на игре с литературными отсылками и путанице реальности с вымыслом, поэтому поясняющие сноски неизбежно испортят задумку и читать следует на свой страх и риск. Тлен — воображаемый мир из рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Тлен, Укбар Орбис, Терциус» (1940). Его пытаются создать интеллектуалы.

ретских палимпсестов[6] касательно каббалы и ее апокрифов открыл — возможно, по случайности,– что Уильям Шекспир и в самом деле находился в числе переводчиков, кому в начале XVII века король Яков I Английский доверил создать новую версию Священного Писания, «дабы оно словно само собой глаголало». В качестве одного из своих пяти доказательств Мунакра привел перевод псалма 46, где Шекспир неоспоримо намекнул на свое авторство двумя словами — сорок шестыми при отсчете с начала и с конца. (Шестое доказательство с тех пор нашел анонимный тленский счетовод: вероятность того, чтобы эти два слова — shake («волноваться») и spear («копье»)[7] — встали на свои соответственные позиции случайным образом, равняется 4600000000 к 1. Счетовод рассудил, что во времена Шекспира такого большого числа еще попросту не существовало.)

Одновременно с тем, как в английскую лите-

[6] Примечания: 6

Масоретский текст — средневековая редакция некоторых древних текстов Танаха (еврейской Библии).

[7] Примечания: 7

Псалом 45 в Псалтыре; в Синодальном переводе «оружие», а не копье. Фамилия «Шекспир» (*Shakespear*) сложена из двух слов — «трясти» и «копье».

ратуру вводил свою криптографию Шекспир[8] (ранее попрактиковавшись с приемом выдуманных выдумок в «Комедии ошибок» и других пьесах), в Испании, в краю темных и опасных экспериментов, Мигель Сааведра де Сервантес уже рассказывал о персонажах, которые прочитали ту самую книгу, где они фигурируют, и знают ее автора. Эта инволюция в искусственность достигла своего пика в недавние годы, в виде героической попытки Пьера Менара воспроизвести поэтический опыт чтения Сервантеса, при этом не читая о жизни Сервантеса и об истории испанской культуры: Менар пытался написать несколько страниц, что совпадут слово в слово и строчка в строчку с «Кихотом». Текст Менара, превзошедший оригинал,– это первый пример искусства, которое успешно подражает и в конце концов побеждает простое искусство[9].

В течение запутанного и смутного развития фантастики в отдельный жанр бывали периоды (как показал Мунакра), когда фантастический

---

[8] Примечания: 8

Мудреные головоломки и палиндромы Чосера, разумеется, хотя сами по себе и отрадны, в сравнении с этим невинны.– *Прим. авт.*

[9] Примечания: 9

Имеется в виду рассказ Хорхе Луиса Борхеса «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“» (1939).

стиль был присущ философии и неведом искусству: всего изобретательнее он проявляется в сновидческих размышлениях о неоплатонической божественности у Джорджа Беркли, достигшего такого мастерства, что Юм скажет о его изысках: «Они не допускают никакого ответа и не порождают никакого убеждения»[10]. Регулярно наступали и затишья с вырождением: орнаментальное мастерство обесценивалось до уровня эпатажного приема, ясность взгляда сменялась (как у Льюиса Кэрролла) зазеркальем и бармаглотом. Однако ж в лице отважного и в конечном счете несчастного Эдгара Аллана По — а именно в его сочинении о шифрах и в его гротескных, энигматичных рассказах — все-таки навечно утвердились истинные и ужасные возможности иллюзорной истины. Эдгар По, уже не в силах продолжать свои исследования, в конце

[10] Примечания: 10

Дэвид Юм, «Исследование о человеческом познании»*, раздел XII, часть I, примечание. Уильям Батлер Йейтс пришел практически к тому же выводу, когда писал о своих сородичах: «Хоть он [Беркли] не мог описать тайну — в его век для того не было подходящего языка,– его вкрадчивые мерцающие фразы на нее таки намекают. У него мы, быть может, впервые чувствуем, что вечность всегда дышит нам в затылок или же скрыта от глаз наших за толщей двери». Предисловие к *J. M. Honeand M. M. Rossi*, «Епископ Беркли. Его жизнь, творчество и философия» (*Bishop Berkeley. His Life, Writings, and Philosophy;* London, Faber & Faber Ltd, 1931), сс. xxi — xxii.– *Прим. авт.*

* *Пер.* С. Церетели.

концов впал в более разумные нереальности лауданума и алкоголя — скончавшись в пять часов утра 7 октября 1849 года с криком: «Боже, помоги моей несчастной душе!»

В числе иных практиков сего тайного искусства, разумеется, находятся Лжеймс Лжойс — сей новоясный каламбурист, расщепивший сам слог реальности; Владимир Набоков, творец Земблы[11] и растворитель истины; а также Хорхе Луис Борхес собственной персоной.

Мунакра в приложении к своему изданию «Таргум Онкелоса[12] и масоретская ревизия» как предвосхитил, так и определил направление литературного искусства в своем перечислении ста трех первичных видов двусмысленности, а также в формулировке «трехчастного принципа подвижной точки зрения», где первая и последняя части принципа гласят: «Все что есть то есть то чем кажется не есть тем чем не кажется то не есть». Не расставив запятые в своей максиме, Мунакра смог наделить ее одновременно истинами и ложью. Хорхе Луис Борхес в своих

---

[11] Примечания: 11

Имеется в виду вымышленная страна из романа «Бледный огонь».

[12] Примечания: 12

Онкелос — римский переводчик Торы на арамейский. Таргум — общее название для переводов Ветхого Завета на иудео-арамейский язык.

размышлениях о достижении Менара разглядел дальнейшее логическое следствие фантастического стиля. Подвиг Менара, предположил он, призывает нас читать, к примеру, «Одиссею» так, будто это предшественница «Энеиды»; *Imitatio Christi*[13] — будто это труд Луи-Фердинанда Селина или Джеймса Джойса. И все-таки больше пугает та возможность (впервые явленная миру теперь, будучи украденной из тайного тленского анализа, который даже весьма либеральные цензоры того края не допустили к публикации), что читатель текста — это его писатель, а писатель — читатель.

Возьмем в качестве примера ближайший текст под рукой — данное произведение. Предположительно, в обычном пространственно-временном континууме я его автор, а вы — читатель. Но в задумке Мунакры все является не только тем, чем задумано, но и является — или может являться — диаметрально противоположным (среди многого прочего). Анаграммная разгадка первого абзаца показывает: в первом и третьем предложениях я намекнул, что я не единственный сочиняю эти слова. Текстовое преломление абзаца № 2 явно

[13] Примечания: 13

«О подражании Христу», богословский трактат Фомы Кемпийского, 1427.

говорит о вероятности совпадения личности читателя с моей; и (неизбежно) расшифрованная транскрипция абзацев 3, 4, 5 и 7, а также названия этого рассказа неопровержимо подтверждают предчувствие, что я не являюсь его автором и что им являетесь, скорее всего, вы, читатель. (Я говорю «скорее всего» потому, что отдельные детали также указывают на противоречивую и в высшей степени фантастическую альтернативу. Впрочем, я пришел к своем выводу, опираясь на наблюдение Шерлока Холмса: когда исключаешь все невозможное, то, что остается, даже если оно невероятно, должно быть истиной.)

Таким образом, закончив «писать» — то есть заниматься интонацией, пунктуацией, скобками вплоть до переверточки утраты и личности, и цели, и даже знания, — я планирую откинуться на спинку кресла, прочитать этот рассказ и узнать, что же вы (единственный и истинный автор) хотите мне поведать.

Послесловие

Я уж подзабыл об этом рассказе, но написал его, кажется, в 1612-м. В нем была и третья сноска, в итоге исключенная из уважения к каким-то неопределенным правилам стиля, или стильным правилам неопределенности, и в ней исследовались предположительно патриотичные, но явно крамольные резоны Бена Джонсона для того, чтобы принижать невероятные познания Шекспиром латыни и греческого — или вообще любого языка, если на то пошло.

Альтернативные названия этого небольшого наброска: «Контраргумент контраточки» и «Зрение точки». Ну или, по крайней мере, мне известны только эти.

Дальнейшие сведения об этом рассказе, или о Джозефе Конраде, или — предпочтительно — о затерянном крае под названием «округ Рэйнтри» можно получить, написав моему отцу по адресу: бар «Империал», 10-я и Пайн-стрит, Сент-Луис, штат Миссури; или встретившись с ним лично, утро среды, с десяти до полудня.

Предисловие «Дзынь-ведьма!»



В гадкой, как будто бесконечной и (что мне вполне очевидно) искусственно раздутой потасовке «научной фантастики старой волны» против «спекулятивной литературы новой волны» большинство тех, кто добавляет свои ненужные пять центов, пропустили один важный и печалящий факт. Создав бумажного тигра и облепив его стопкой статей так, что он *стал казаться* угрозой, многие известные писатели постарше и впрямь поверили в свою неполноценность. Полдесятка раз за время подготовки «ОВ» и «НОВ», обращаясь к своим любимчикам, которых нашел, наверстывая в знакомстве в

жанре с 1926 года, я встречал пристыженный (и вот снова это слово) печалящий ответ: «Я не умею писать по-новому».

Три самых важных и талантливых основоположника нашего жанра из сороковых отказались даже и *пытаться* написать рассказ, убедив самих себя, будто способны лишь на то, что делали уже годами; будто никто не хочет видеть их эксперименты; будто если они и *попробуют* поэкспериментировать, только опозорятся. И никакие уговоры и уверения не могли изменить сей прискорбный настрой.

Я считаю это величайшим злом, выросшим из дурацкого противопоставления «старая/новая волны». И предлагаю этим писателям взглянуть на Росса Роклинна.

Россу Роклинну — пятьдесят семь. Он родился во время Первой Балканской войны, когда Черногория, Болгария, Греция и Сербия сражались против Турции. Он родился в год, когда мексиканского президента Франциско Мадеро убил Уэрта, и между силами Уэрты и Карранзы разразилась гражданская война, после чего на севере диктатором стал Панчо Вилья. Когда родился Росс — в год, когда убили короля Греции Георгия,– президентом Соединенных Штатов был

еще Вудро Вильсон. Это 1913-й — всего за год до убийства в Сараево эрцгерцога Фердинанда и его супруги, герцогини Гогенберг. Росс утверждает, что его зачали одновременно с Тарзаном, где-то в 1912-м. Ему пятьдесят семь лет, дорогие друзья и самокритичные авторы.

Первый рассказ Роклинна в печати — «Человек из железа» (*Man of Iron*), короткое произведение в *Astounding Stories* от августа 1935 года. Тогда ему было двадцать два. Я встретил творчество Роклинна довольно поздно, в 1951-м, когда с немалым трепетом прочитал «Восстание Дьявольской звезды» (*Revolt of the Devil Star*) в уже несуществующем *Imagination: Stories of SF & Fantasy* — рассказ о разумных звездах. Он далеко выходил за рамки того, о чем писали в жанре. Это был — надеюсь, Росс простит мне такие выражения,– настоящий авангард. К тому же превосходно написанный. Я рылся в магазинах со старыми подшивками журналов в поисках других рассказов Роклинна и с удовольствием читал «Галку» (*Jackdaw*), «Траекторию столкновения» (*Collision Course*), «Люди в склянках» (*The Bottled Men*), «Изгнание на альфу Центавра» (*Exile to Centauri*), «Время хочет скелет» (*Time Wants a Skeleton*) и другие — в журналах, чьи названия уже сами по себе лишь воспоминания

для нынешних молодых писателей: *Planet Stories, Future Science Fiction, Startling Stories*; эрцгерцог Фердинанд, Вудро Вильсон, Франциско Мадеро.

Ниже следует новейший рассказ Роклинна в печати — «Дзынь-Ведьма!», свежий, оригинальный и *в этот момент* не хуже чего угодно от молодняка, кого я так расхваливаю на этих страницах.

Большинство пятидесятисемилетних людей, кого я встречаю, только и делают что жалуются, какая никчемная пошла молодежь, как никто не уважает закон и порядок, как доктор Спок породил поколения сопляков, эгоистов, анархистов и выскочек. Когда я наконец познакомился с Россом Роклинном, пять лет назад, я не дал ему больше сорока и поверил, что он раскрыл секрет вечной молодости. В своем мировоззрении он такой же юный, откровенный и прогрессивный, как самые модные университетские интеллектуалы.

Учит ли чему-то образ жизни Росса Роклинна тех писателей, которые якобы не могут написать для «НОВ», потому что слишком устарели? Учит ли тех из нас, кто вечно мнит себя человеком «своего времени»?

Если читатель вдруг не заметил, в этом вступлении особое уважение редактора к Роклинну, поспешу добавить, что оно вызвано не только

фактом, что рост редактора — метр шестьдесят пять, а Роклинна — метр восемьдесят восемь; о нескончаемом росте, присущем жизни Росса Роклинна, лучше говорит нижеследующий рассказ, исполненный с талантом и глубиной, недоступными многим молодым писателям, кого мы часто высоко отмечаем.

Я бы сказал о Роклинне больше, но биография, которую он прислал, такая хорошая, такая *характерная*, что, пожалуй, никто не представит вам автора «Дзынь-Ведьмы!» лучше самого автора.

Сопляки мира, приветствуйте Росса Роклинна — человека… после чего скажет свое чудесное слово Росс Роклинн — писатель.

«В 1953-м Л. Спрэг Де Камп попросил данные для его книги „Справочник по научной фантастике“. Я затянул с ответом. Тогда я учился у чернобородого гуру, и мои обеты запрещали говорить об эго. К тому же мне казалось нелепым, что Спрэг хочет включить в справочник меня, когда я уже бросил писать; я не хотел в справочник. Пришла очередная просьба. Эгомания взяла свое, и я наконец отписал малодушную справку о себе. Спрэг ответил огнеопасной открыткой, где говорил, что я один из восемнадцати писателей, кому он планировал посвятить главу, но я ответил слиш-

ком поздно, и теперь он может упомянуть меня только по имени. Наверное, уже поздно плакать над пролитым молоком, но, оглядываясь назад, я был бы рад главе в такой книге. Впрочем, в те времена приближался конец света. Отреагировав на него слишком бурно (чем введу здесь элемент тайны), я умер больше чем на десять лет. Чернобородый гуру стал белобородым, а я не достиг ни смерти, ни перерождения. И все-таки Гурджиев, Успенский и восточный пантеон по-прежнему остаются столпами моей Веры; как они, так и учение чернобородого, ставшего белобородым. Но я взял То, Что Знал, — или Думал, что Знал, — и отправился посмотреть, что есть Вовне. А была там фантастика.

Я зачат одновременно с Тарзаном. (Филип Хосе Фармер упустил этот момент[14].) Начинал я далеко не Тарзаном — с рыжей бородой, веснушками, пухлым в юности. И все-таки в семь лет я качался на деревьях над старым каналом через Цинциннати и видел, как мулы тянут баржи по каналу. Уже за одно это можно войти в историю.

---

[14] Примечания: 14

В романе «Тарзан жив: Подлинная биография лорда Грейстока» (1972; в цикле «Семья из Ньютоновой Пустоши», посвященном теме литературного мэшапа) Фармер рассматривал жизнь Тарзана так, будто это реальный человек, среди прочего встречавшийся с Джеком-потрошителем и Джеймсом Бондом.

Я был почти типичным босоногим мальчуганом, исследующим обширный двор лесов, лугов, ферм, каналов и краев за ними.

А дома отец-механик время от времени участвовал в литературных конкурсах. Еще он изобретал; работал над загадкой вечного двигателя. Одно его изобретение, не доведенное до ума или патента, — это гидроплан, способный поднимать корабли из воды, чтобы спасать от торпед Первой мировой войны. Другое — полупривод, который, вращаясь в одном направлении, вызывал обратно-поступательное движение в подключенном механизме; я видел такие в действии на выставке General Motors в Нью-Йорке в 1939 году.

Позже мы с отцом развили два изобретения и продали права *Popular Mechanics* за 3 доллара каждое: замочная скважина в форме воронки и перевернутый вверх ногами карман.

Мать была порядочной и работящей женщиной, по вечерам играла на пианино или на мандолине в дуэте с отцом на гитаре. В такие праздники, как Рождество и Пасха, у нас дома всегда были свечи на елях и яйца, и всегда — подарки. Сейчас она поддерживает те давние традиции. Когда приходили кроссворды, она разгадывала их первой; и разгадывает до сих

пор. Так что интерес к словам охватывает уже три-четыре наших поколения — мои два сына тоже могут без труда выиграть в „Скрэббл“ почти у кого угодно.

В двенадцать лет я, дитя ах-какой-неблагополучной семьи, отправился в школу для мальчиков под названием „Каппа-Сигма-Пи“, где прожил пять лет. Мой тарзаноподобный друг мял мне бока, чтобы закалить мое тощее телосложение. Он же познакомил с книгами Эдгара Райса Берроуза, от которых я не мог оторваться. По вечерам в кроватях мы бросались друг в друга дротиками с оперением, пока один не воткнулся мне в грудь.

Еще по ночам мы лазали и скакали на крутом фасаде старого здания, овладевая искусством под названием „последствия“.

В той же школе я унаследовал подписку на *Amazing Stories*. Обложки журнала рисовал Фрэнк Р. Пол — нынешней культуре и невдомек, что это он изобрел цвета и бриджи до колен. В том же возрасте я отправил рукопись на новый конкурс *Science Wonder Stories.*

Нью-Йорк, 1939 год. Первый Всемирный конвент научной фантастики. Кое-кто из его посетителей прославится. Одних я знаю с тех пор, с другими второй раз встречусь уже тридцать лет

спустя, на „Бэйконе“ в 1968-м. Наступает 1940-й, „Чикон“. Чарльз Р. Таннер, Дейл Тарр и я, даже не понимая, что мы — одна из первых групп фэнов („Адские мостовщики“), заявляем о себе в Чикаго. Потом у меня свадьба. Калифорния. Война, работа в тылу. Были и писательские периоды, но в других областях, не в фантастике.

Но старая нервная болезнь уже перезаряжала свои батарейки. У меня родились два сына. Четыре года работы сценарным аналитиком в *Warner Bros*. Потом развод. Работал в литературном агентстве. Мозг матерел. Дальше я сменял немало работ — продажа и ремонт швейных машинок, водитель и диспетчер в компании такси, токарь в токарной мастерской, продавец в галерее, короткий период работал лесорубом.

Внезапно: 1950-й, старый добрый Рон расчистил для нас путь в *Astounding*, а я увлекся дианетикой. От этого уже пара шагов до чернобородого гуру, который станет белобородым. Снова внезапно: шел 1964 год, и я шел свободным по Вестлейк-парку. К середине 1967-го я снова понемногу начал писать. Это началось так — со светлой мысли: „Спорим, я могу написать рассказ, который издадут. *Спорим!*“

Пишу я до сих пор медленно. Рассказ, который

нравится с утра, уже не могу видеть вечером. Эти эмоциональные качели отнимают время, и я часто подумываю поискать какое-нибудь другое развлечение, да только на карусели я уже покатался. Так что и не знаю. Надо бы сказать об одной творческой идее, связанной с моим исследованием сместетических чувств (где я пользовался собой как настоящей и одобренной лабораторией). Сместетические чувства говорят нам о том, что происходит внутри наших тел, — эти чувства есть давление, боль, тепло и холод. Например, в нынешней книжке, о которой я сейчас подумываю, можно перевернуть с ног на голову наши прежние представления о смысле боли. Можно показать, что боль и травма, или боль и болезнь, — это противоположности. Боль полезна, координирует, не просто „предупреждение“. В таком качестве с ней можно отменять некоторые изменения в морфологии. Эти идеи будут представлены в качестве инструментария для тех, кто найдет их полезными. С этой идеей у меня тоже свои качели».

Снова — Эллисон. Есть такое старое китайское проклятие: пожелать получателю «жить в интересные времена». В дни и ночи, когда мы оказываемся «запертыми в гневе» (как выразился

бы Род Макьюен[15], помоги нам боже), мы живем в самые интересные времена на свете. Кажется — да и есть, — что Вильсон и Сараево остались давно позади, в периоде куда более тихом, пусть и агрессивном. Мы склонны верить, что если не посвящать себя действию и переменам, то у нас нет души.

Росс Роклинн вырос в то тихое время и, по его словам, свой долг исполнил. Но он не крикун, не ниспровергатель и даже не ура-патриотичный радикал. Он всего лишь — а это дорогого стоит — хороший писатель, пронесший свой талант через все годы жизни целым и невредимым, что сейчас неоспоримо нам и докажет.

[15] Примечания: 15

Род Макьюэн (1933–2015) — один из самых публикуемых поэтов США конца шестидесятых. Отличался простотой стиля и назидательностью. Популярный и мейнстримный, но повсеместно критикуемый.

Дзынь-ведьма!
Росс Роклинн



Тинтинабула была прям-таки дзынь — в ночь перед тем, как взорвалась старая Земля.

И танец был вполне дзынь-майя[16].

Капитан Рэтч Чаг кувыркался где-то в туманной сине-зелени диско-шара. Двигал бедрами в ракоподобном дополнении к танцу, который сам и придумал на прошлой неделе в Янгоне,

---

[16] Примечания: 16

Майя — понятие в индийской философии, ложное, иллюзорное представление о мире, скрывающее его истинную природу.

прямо посреди войны. К своему отвращению, он услышал, как заводится его мурчащий моторчик, когда повисший на его пальцах комок розовой плоти просиял свое удовольствие.

— Ты дзынь! — пропищала она довольно громко в его заостренное ухо, «дзынь», — но это всего лишь часть танца и, может, вовсе не настоящее восхищение. Впрочем, никаких сомнений, что ее завораживал раскосый блеск его глаз — не меньше великолепных щетинистых навощенных усов, которые он носил наперекор всем обычаям.

— Как это дзынь! — ухнула она мечтательно в свободном падении на его грудь с ее полутора метров роста под судорожное гулкое завершение тинтинабульной конструкции. Привалившись к нему, она даст ему тридцать секунд своей жизни, и за это время ему можно сказать все, что он пожелает.

— Может, улетишь со мной с этой планеты? — вот что сказал Чаг, пока воздух вокруг ворковал и отдавался последними нотами их дзынь-ваппо.

— Насколько далеко с планеты? — Она надула губки в расчетах, осмысляя вопрос на последнем эхе позаимствованной у урана музыки. — Насколько далеко, старик из космоса? Насколько?

Потратила целых десять секунд!

— Десять световых лет, не меньше.

Чаг вздрогнул. Что-то закричало на него, внутри него.

— На Зефир! — воскликнул он.

И тут же осекся. Заворковал заманчиво:

— В путешествие со мной к богу юга!

Его короткие толстые коричневые пальцы с кривыми когтями сжались на ее голых розовых плечах, и ее глаза улыбнулись, а надутые сладкие губки перекосились.

— По чему льешь слезы, человек из космоса? Что это — слезы по мне, потому что знаешь, что я с тобой не отправлюсь? У тебя лицо сумасшедшего. Танец закончен. Ты потратил свои тридцать. Пойду найду другого мужчину.

— Нет у тебя времени искать другого,– простонал он, не мешая слезам выжиматься.– Они повернули тот самый *рычаг!* Война закончится! Земля взорвется! Я схожу!

А ты сойдешь со мной, юная розовая штучка. Я же не человек, на пятую часть — не человек, и на Земле нет никого вроде меня, и поэтому я *знаю!* Давай со мной? Хочешь сохранить свою розовую кожу? Ты не пожалеешь. Я хороший, я тебе понравлюсь, а времени искать другую сквод у меня нет. Сдавайся!

Но никакие уговоры не помогали. Все еще розовая, она ускользнула, и он провожал взглядом, как она уплывает на сокращенном поле к наблюдающим парам, улыбавшимся знакомой сцене. Чаг натянул свой блестящий черно-зеленый мундир 2-го корпуса Отразителей на поджарые бедра и привычно отпнулся в сторону парящего бара.

На стаканах и кубках рябили блики света, пока бар кружился вокруг него в импровизированном танцевальном ритме, заманившем оцепенелого капитана Рэтча Чага в аллеманду. Он остановился и заказал два стакана. Томатический бармен заплатил, но Чаг не взял карточки и быстро выпил. И тогда заплакал по-настоящему, его худое рябое коричневое лицо корчилось, зубы застучали; и кончик носа дернулся, когда задрожали кончики усов в виски. Он покинул большой зал и направился в космопорт тремя милями[17] выше.

— Я буду танцевать и наблюдать за Землей в зеркале, когда она взорвется! — дал слово Чаг, уставившись на свои распухшие глаза и потрескавшиеся губы. — Когда накатят первые альфы и гаммы, я буду отжигать джигу племени хопи для призыва дождя. Или ламбет-уок. А может,

---

[17] Примечания: 17
1 миля ≈ 1,6 км.

летку-енку! Вот что я о тебе думаю, старуха Земля. Так что наливай еще.

Он сбросил свою скорость до почти световой. Его быстрый путь от Земли напоминал пунктир — корабль скачками прошивался через космос. Скоро его нагонит земной свет. Он выпил все, что ему покорно приготовил томат. Ого, думал он в полудреме. Да эта дзынь-майя была ваппо! А как насчет ирландских танцев? Особенно когда твой томат знает, как делать старый добрый ирландский врискни — ну-ка, еще разок, старик из космоса, искряндский виски. Тут-то он и увидел, как взрывается Земля. Капитан Рэтч Чаг, беспокойный из покойного 2-го корпуса Отразителей, увидел взрыв в наблюдательном зеркале. Ужасно рыдал, хоть ему было и плевать. А еще не танцевал. И приказал томату прекратить делать эту дурацкую выпивку. И отключил зеркало, вспоминая ту юную розовую штучку.

Не такая уж и розовая.

Сама виновата.

Капитан Рэтч Чаг сделал поправку в своем маршруте на Зефир, установил свою эффективную скорость в полтора раза быстрее световой, в соответствии с запасами топлива.

За сколько лет до того, как его догонит фронт

волны раскрошенного света с Земли, Чаг прибудет на Зефир? Интересный вопрос.

Перед тем как впасть в долгий сон, Чаг пьяно рыдал на своей подстилке. Вдруг заорал на ползущие к нему трубки с замораживающим гелем:

— Какого хрена! Есть и другие планеты, другие женщины для игр! Чем я и займусь до того, как сообщу новости зефирцам. Серьезно, это грустно! С души воротит!

Зефир назвали в честь доброго и славного бога южного ветра, потому что это единственная человеческая планета к югу от плоскости эклиптики.

У Земли были нелады с Зефиром — уже сто три года. За все это время ни один земной корабль, взбиравшийся по ступенькам космоса, не подтягивался к Зефиру. К тому же Земля настроила системы связи так, что Зефир стал дырой в небе, и ушла со всеми своими высокоскоростными кораблями — и секретом их производства. Зефир остался один!

А почему? Все просто. Измышляйте красивые политические и социоэкономические причины сколько влезет, а все сводится к одному главному факту: земляне — мужчины, женщины и дети, все до одного,– подлые, коварные, продажные, худосочные и хлипкие, и вдобавок любят удо-

вольствие. Не веселье — удовольствие. А зефирцы — благородные, великодушные, высоченные, праведные и обожают Материнскую Планету. Естественно, они самим существованием оскорбляли никчемных земных выродков, вот те их и вырезали из бытия. Не самый добрый поступок, но такова уж старая Земля.

Вид земного корабля в зефирских небесах перебудил всю планету. Как будто каждый на Зефире распустился, обращая лепестки к поразительному сюрпризу. Не поймите меня неправильно, это не какие-то люди-цветы, они такие же человечные, как мы с вами — или какими были люди (но это другая история).

— Приветствую, зефирцы, — слабо выдавил Чаг, когда уползли последние капли консервирующего геля. — Передаю вам привет с родной планеты. Как единственный представитель Земли… — Но не это он хотел сказать. Еще не протрезвел — в анабиозе сохранилось и его алкогольное опьянение. Встал он на нетвердые ноги.

Раздался приятный голос.

— Мы слышим тебя, землянин. Мы посадим твой корабль — ну, скажем, через часок; а пока, может, приляжешь и проспишься?

— *Чего?*

Чаг почувствовал, как выгибается его спина.

Как потянуло ногти.

— Слушайте, — начал он, — кем бы вы там ни…

— Ты пьян, сынок, — перебил приятный голос. — Но это ничего. Это только между нами. А мы никому не расскажем, правильно? Ну конечно нет, старина, дружок.

— Ты че не говоришь *по-английски?* — рявкнул Чаг. — Что за странный акцент.

Он шатался в ярком свете каюты, переполненный мерзким удивлением. Во-первых — изгиб спины и ощущение когтей на пальцах. Он ведь это давно перерос! Правда-правда! И вот все вернулось — причем когда его застали врасплох. Во-вторых — этот предположительно почтительный зефирец, который был вовсе не почтительным, а обдавал явным северным ветром.

— Ты никакой не зефирец!

— Но и землянин из меня никакой, — ответил собеседник. — Ты бы уж послушал меня, дорогой мой человек. Мне поручили посадить твой корабль. Я не собираюсь портить твою милую игру.

— КАКУЮ ЕЩЕ ИГРУ? Какого хрена ты мелешь?

И вот опять — Чаг чуть не расплакался — это

ощущение длинных клыков, растягивающихся в оскале губ; черт-черт-черт.

— Ого.– Собеседник вздохнул и закатил глаза — это так и чувствовалось.– Слушай, сынок. Сделай *по-моему*. Протрезвей и приведи себя в порядок. Гляди бодрей! Спина прямая! Туфли начистить! Пшел!

— О-о-о… — простонал Чаг, сутуло садясь.

— Но не тревожься, дорогой мальчик. Зефирское общество ждет тебя с нетерпением. Каким сокровищем ты станешь для почтительных старейшин и несметных подростков, которые как раз собираются тебя встречать!

— Один час.

Последовавшая тишина дала понять, что связь прервана.

Сто главных зефирцев стояли и сидели в большом зале парящего крылатого дворца мэра в городе Матчли. Перед ними стоял Чаг, с фанфарами доставленный со своего корабля — разумеется, на зеленом крылатом коне. В воздухе сотнями порхали и планировали тонкие телеэкраны, тоже с крыльями, и на каждом экране теснились внимательные лица подростков.

Капитан Рэтч Чаг, из 2-го корпуса Отразителей, произвел фурор! Он выглядел роскошно. Где еще

во Вселенной в наше время найдешь человека в униформе — к тому же красно-золотой униформе с зубчатой каймой, с лохматыми эполетами, что болтали бахромой, как под военный марш? Нигде, кроме как на Земле, потому что только там и бывали войны.

Чаг вытянулся по струнке. Внутри него что-то гудело — предощущение огромного удовольствия. Он изящно выставил начищенный сапог вперед. Все подкручивал и подкручивал свои модные навощенные щетинистые усы. Его глаза поблескивали, оценивали и окидывали шепчущую толпу сановников, а также облака окрыленных тонких телеэкранов, ломившихся от обожающих лиц зефирской молодежи. На время ему похорошело — на миг оправился после ужасного траура после взрыва Матушки-Земли, твердо настроился нежиться в сиянии обожания, что излучали зефирцы.

Ему уже завали вопросы, все — о Земле.

— Войны? Войны? Нет, на Земле больше нет войн, — честно ответил Чаг.

— Превосходно, — услышал он в ответ.

(Все на планете слушали их разговор — правда, открылся сезон охоты на гортов, и поэтому сотня тысяч зефирцев уехала на охоту. Эти горты… а

впрочем, история не о них.)

— Что вы можете рассказать о возможных будущих отношениях Земли и Зефира?

— Отношения будут прям лучше некуда, — заверил их Чаг. Еще бы: Земли-то больше нет.

— Правда ли, что вы, выступая от лица Земли, вернете нам тайну преодоления скорости света?

От вопроса встрепетало сердце. Чаг поклялся, скрестив пальцы:

— Я отдам вам секрет!

— Правда ли, что наши корабли допустят в земные небеса?

— Лучше пока не строить их пару зефирских лет! — ответил Чаг, спешно прикидывая в уме. — И подлетайте помедленнее на случай… э-э… вспышки в атмосфере!

— Значит, наше давнее оскорбление материнской планеты прощено?

— Да никаких обид, о чем вы!

Его собеседник — видный мужчина преклонных лет, занимавший должность мэра гостеприимного города Матчли, — с извинением произнес:

— Будьте добры, говорите медленнее. Мы уже не понимаем тонкости родного языка.

Пока Чаг говорил, пока увиливал, довольное

мурчание в нем вдруг замолчало. Собственно, оно сходило на нет уже давно. Потому что в зале находился тот, от кого его шерсть — *тьфу ты!* — волосы вставали дыбом. И Чаг знал, кто это: тот не-зефирец, что приземлил его корабль и встретил словами, какие не скажет ни один зефирец обожаемому землянину. Но где же он, кто же он?

Оглядывая обожающие лица, Чаг не имел ни малейшего понятия.

Если б только знать, кто тут его не обожает.

И тут в руку Чага скользнула маленькая теплая ладошка. Вздрогнув, он опустил взгляд на самое миленькое личико, что он видел в жизни: миленькая, сочная и вкусная до самых розовых пальчиков ног.

— Ого, привет!– произнес Чаг, показав свою радость от неожиданной встречи тем, что мгновенно развернулся к ней и уделил ей все внимание, до того отведенное сановникам в зале.– Рад знакомству!– подчеркнул он. Уж это никогда не подводило! Вот он — холостяк, под сорок,– а эта восемнадцатилетняя красотка знает, кто он: *знает!*

— Привет-привет, — сказала она. — Ипс!

— Ипс! — повторил Чаг.

— Точняк. Мы, увлеченные подростки восхи-

щенной планеты, хотели бы знать: что на Земле самое оно?

— Что… э-э… самое оно?

— Ага. Фликово. Что за СЛОВО?

— Слово, — повторил Чаг. — Ха! СЛОВО?! А. — И отчаянно поискал ответ в мыслях. — Дзынь — вот вам слово!

— Дзынь! — вскрикнула она, вдруг на цыпочках, потом зажала рот. — Хала-ху! Прошу прощения! — сказала она собравшимся чиновникам, которые между тем наблюдали и слушали с какой-то особой кротостью. Но она снова повысила голос — и оказалось, что он у нее тот здоровый, звенящий, музыкальный и женский, что сносит стены.

— Ха, ведьмы планеты! — прокричала она. — СЛОВО — дзынь! Вот что самое оно!

Окрыленные телеэкраны кувыркались и юркали, и в ответ звенело множество голосов.

Чаг понял, что она передает весть всей молодежи планеты (кроме тех, что ушли на охоту на гортов).

— Просто чудесненько, — сказала она, все еще сжимая его руку теплой ладошкой. — Вы прилетели с самой Земли, чтобы дать нам СЛОВО. И «дзынь» уже в моде. Я и сама дзынь-ведьма, если

ты в теме. Меня зовут Алиса.

— А меня — Шалтай-Болтай.

— Будьте здоровы,– отозвалась она.– Кстати, сэр Чаг, а вы, случайно, не знаете, э-э, *хотя бы один земной танец?*

— Хотя бы один? Я что, арахисом поштучно торгую, девочка? Гляди! — И ноги Чага принялись выделывать антраша и кабриоли, и его колени джиговали, и его руки где только не были, но наконец хлопнули по бедрам. — Видала? В небесах и на земле — все на одном дыхании.

Она сразу же сомлела. Глаза сошлись к переносице. Чаг воспользовался шансом, чтобы покончить с гложущим опасением. Он ловко развернулся к мэру Матчли.

— Как видите, сэр, — начал он, — я не в курсе вашей иерархии. Есть вы, господа, а есть эта очень дзыневая юная дама, что делает честь несметным подросткам Зефира…

— Тут нет ничего сложного, — успокоили его. — Наша молодежь бдительна, добра, умна и многократно превосходит нас числом. Ипс!

— Ипс, — повторил Чаг и поразился хору «Ипс», что прокатился по залу. К тому же мэр Матчли притоптывал, а его глаза горели и поблескивали, словно в предвкушении — или в каком-то другом

чувстве, которое Чаг не узнавал. У Чага и самого чесались ноги. Так и тянуло щелкать пальцами. Зефир — ну что за местечко!

— Господин мэр, — нараспев произнес он, — я еще не прилетел, а ваш народ уже был дзыневый. И я этому ой как рад, ой как рад.

— Он ой как рад, ой как рад, — промычала про себя Алиса, подойдя вплотную и разглядывая его медали на груди.

— И хочу отблагодарить вас всех, да-да, всех, правда хочу, перед тем как продемонстрировать, правда-правда, другие популярные танцы, что были… э-э, что есть на Земле. Но в особенности я бы хотел отблагодарить того ваппо-господина, что посадил мой корабль.

— Ваппо,– ласково повторила за ним Алиса.– *Banno!* — И ее указательный палец выстрелил вверх.

— Причем хотел бы отблагодарить лично, — добавил Чаг, неосознанно притоптывая под оживленную музыку, что теперь откуда-то за-струилась!

Хозяин дворца с неким сомнением кивнул и заговорил с помощником; тот перешел на несколько шагов к другому помощнику, тот поговорил со своим помощником — и уже он пропал

за дверями. Минуту спустя в зал поспешил еще один помощник и торопливо обратился к мэру, а тот начал багроветь на глазах. Чаг не упустил ни одной детали этой комичной оперы.

«Какого черта!» — думал он в изумлении. Гоняют вопросы по кругу! Никто ничего не знает!

— Прошу прощения, сэр, — сказал он вслух, чувствуя, как в голове неуправляемо щелкают пальцы, — прямо сейчас это не так уж важно, раз пора показать юной даме важные народные танцы старушки Земли. Но…

— Понимаете…– Мэр Матчли утер лицо.– Никто не знает, *кто* в тот час находился в диспетчерской. Вот на планете цивилизованной, как Земля, вас бы посадило томатическое оборудование, но здесь, на Зефире, еще иногда приходится работать нам самим — иногда даже час в день. Вполне возможно, что сохранились записи и мужчина или женщина, что доставили вас в космопорт…

— Мужчина! — перебил Чаг. — Мужской голос!

— Что ж, а может, и нет, сэр Чаг, если позволите. Понимаете, наши водеры обычно запрограммированы на мужской голос…

Чагу стало неспокойно. Число его возможных врагов ни с того ни с сего удвоилось. Здесь кто-то *очень даже знающий* знал кое-что и о нем. А что

знал? Может, старине Чагу лучше расколоться и сообщить плохие новости. О Земле. О том, что, ребятушки, и нет никакой Земли-то, нет никаких дзынь-танцев, некому вас больше прощать! Но что тогда будет со стариной Чагом? Если точнее, стариной Чагом, высохшим ошметком земного навоза! Он чуть не разрыдался от этой мысли.

Но сейчас-то… эх!

Он щелкал пальцами и трепетал ногами под невидимую музыку, что включила дзынь-ведьма Алиса.

Сейчас-то он звезда и законный представитель земных миллиардов. Будь что будет.

— Будь что будет, — заявил он своей очарованной публике, наблюдавшей за его трепещущими ногами, забывая, что это сановники, приветствующие законного представителя земных миллиардов. — Будь что будет, — повторил Чаг, замирая в полуприседе. — Так называется новейший горячий танец старушки Земли. Ничего делать не надо! Весь танец проходит в мыслях, и вы в мыслях двигаете мышцами, пока уже не кажется, что вас разорвет.

Все это время воздух разрывает тинтинабула, и когда мы подходим к последним восьми аккордам — тогда и можно дать себе волю. Мы уже

взведены, как пружины, и взлетаем в воздух, будто включены антигравы, кружимся, двигаемся и резвимся в вайбе.

И вот тогда — дзынь-милая-ча-ча.

— Дзынь-милая-ча-ча! — взвизгнула Алиса, вскинув руку к губам. — Хала-ху! Прошу прощения! — сказала она остальным.

— Дзынь-милая-ча-ча выглядит так, — сказал Чаг, показывая в ритм. — Прошу прощения, ваша честь.

— Ипс-ипс, — возразил его честь мэр. — Мы все понимаем. — И отступил, освобождая место.

— Иди сюда, юная розовая штучка, — прогудел Чаг, щелкая пальцами. — Следи за моими ногами. Теперь вступаешь ты.

И Алиса вступила. И она знала, что делает. Вместе со стариной Чагом она танцевала для всей планеты — кроме охотников на гортов. Алиса вступила и знала, что делает. Эти ножки с милыми розовыми пальчиками и не такое вытанцовывали.

Алиса хихикала у него под подбородком, ее рыжие пряди на челке складывались в дьявольские рожки.

— Сэр Чаг, а у вас такие острые ушки!

Это уже смущало.

— Не такие уж острые, — рыкнул Чаг. — Следите за языком, мисс.

— Нет, острые! — прохихикала Алиса. — Как у кошки!

— У меня и коготки есть, если хочется знать. И они могут поцарапать!

— Меня уже царапали, мистер! Или у вас коготки поострее?

Вот, значит, как все будет.

И вот так все и было у сэра капитана Рэтча Чага и дзынь-ведьмы Алисы.

Алиса была не только очень дзыневой, но и ведьмой — вы бы сразу поверили, если бы видели, как по ночам они взлетают на антигравных метлах и шпарят по небу на встречи с дзынь-подростками, которые носят модные черные островерхие шляпы и подкручивают колдовские усы. А сэр капитан Рэтч Чаг, осунувшийся и рябой, низкорослый, подлый и коварный до мозга костей, был истинным представителем славы старушки Земли. Зефирская молодежь сразу отразила это столкновение с высшей культурой — переняла стильные мундиры, острые ушки и осунувшийся вид.

— Я разобьюсь! — стонал Чаг однажды ночью в начале своей зефирской карьеры, над сверк-

посверкивающими огоньками Пакли — города веселья, где правила молодежь. — Мы гравим на посадку слишком быстро!

— У тебя столько лишних жизней, — ответила мчащаяся Алиса, — что тебе можно не волноваться!

— *Что?*— охнул Чаг.– У *кого* есть лишние жизни?

— У *тебя*, иначе бы ты не *мурчал!* Хала-ху! — воскликнула мчащаяся Алиса подросткам, набившимся на крышу внизу, когда она перевернулась и приземлилась вместе с Чагом, вцепившимся в нее позади. — Ха, ведьмы планеты! Сегодня сэр капитан Рэч Чаг с обожаемой материнской планеты принес нам калифорнийский шоттиш! Барсучий гавот! Берлинскую польку! Дзынь-а-дейди-ду! По местам — варсовьен!

— Не знаю я никакого барсучьего гавота, — рявкнул Чаг прямо ей на миленькое розовое ушко. — Почему ты почти всегда знаешь то, чего не знаю я?

— А вот знаю, — ответила Алиса, мудро покачнув своими рожками-прядками. — Читала в книжке в одном месте, которое я знаю, под названием Флора. — Пока вокруг роилась обожающая зефирская молодежь и началась музыка в разме-

ре четыре четверти.

Вот так все и было, до поры гиацинтов.

Но пора гиацинтов еще дело будущего, а Чаг по характеру был человеком настоящего.

О жизни сэра капитана Рэтча Чага на планете Зефир можно рассказать немало. Он был сенсацией сезона, и следующего, и послеследующего. Он всего-то держал ноту, а перед тем, как она прервалась, подключил барабаны; а потом не давал замолчать барабанам, выдумывая все новые звуки. Собственно, он помог местным музыкальным техникам создать тинтинабулу (перевод случайного движения атомов в оркестрованный звук), чтобы танцевать дзынь-майю. И эти расщепленные звуки привели зефирскую молодежь в восторг.

— Все иллюзия, — рассказывал Чаг зефирской молодежи. — Вот чему учат дзынь-майя и тинтинабула. На самом деле вы не слышите музыку, на самом деле не исполняете движения. Звук расщеплен, чтобы звучать только у вас в голове, а что кажется движением — только нескончаемое созидание.

— Славься, гуру Чаг! — воскликнула порой слишком экзальтированная Алиса.

Жил Чаг во дворце, парящем дворце с боль-

шими золотыми орлиными крыльями, чтобы порхать по всей планете. Красота. Конечно, бьющиеся крылья тоже были иллюзией, потому что в них были встроены антигравы, и в движении они обнуляли гравитацию в определенных направлениях, поэтому он и летел, куда хотел, вверх или вниз.

По большей части — вниз, чтобы распробовать бешеную светскую жизнь планеты. Но нередко и вверх, принимая гостей, и все как один обожали его. У него было тридцать комнат для приема гостей, и они ломились от зеленых и желтых мехов гортов на полу и стенах, и от больших просторных диванов, и от мягких пуховых подушек в каждом углу, и от множества зеркал, ловивших косые лучи мягкого и порой кружащего света, что излучался из таинственных уголков на потолки и стены. Тут и там — бассейны с фонтанами, где плавала рыба, и клетки, где порхали канарейки, и аквариумы с золотыми рыбками. Во дворце Чага можно было воистину расслабиться. Чем Чаг здесь обычно и занимался, когда не приносил земную культуру на Зефир, и не общался с историками, не отбивался от вкрадчивых расспросов зефирских ученых: его мурчащий моторчик работал на полной громкости, а он сам утопал на

диване в окружении подушек или в кровати с приоткрытыми глазами, прислушиваясь к приближению слуг, объявляющих гостей. Ах, Чаг был счастлив-счастлив-счастлив. *Вот* чего он искал всю жизнь.

Все портил только один не-зефирец, кем бы он(а) ни был(а): тот, кто знал о нем *все.*

Ух! Лучше и не вспоминать.

Пока его не догнал фронт волны земного изобличающего света, чтобы написать поперек неба всем на обозрение:

ЛЖЕЦ!

Итак, наконец настала пора гиацинтов.

— Какой ты фантазер,– сказала Алиса, милее прежнего и на два зефирских года с половиной (что равняется одному земному) старше.– Вчера ночью ты вышел *на охоту*, как старый котяра; а сам говоришь, будто давал интервью ученым. Ну да ничего.

— Что ж, — сказал Чаг. — Иди сюда.

— Спасибо, — сказала Алиса.

Он и в самом деле вышел на охоту, как старый котяра, — но с самими учеными после исчерпывающего интервью с ними. Они пошли в улетный бар, где обожающие зефирцы наперебой угощали его выпивкой. И после выпивки и того,

что улетный бар и в самом деле летал, сменяя грав-скорость с плеском алкоголя в бокалах, Чаг чуть не предложил прокатить всех на своем космическом корабле на сверхсветовой скорости!

Он застонал от одной мысли об этом.

— А что было *потом?* — спросила Алиса, в наслаждении потягивая за его щетинистые усы. — Что случилось после того, как ты сказал, что не прокатишь?

— Ничего!

Вот только кто-то заказал выпивку из томата, и все в баре собрались с тостами вокруг Чага — почитаемого человека с материнской планеты.

– *Что* за выпивка?

— «Голубой гиацинт».

— За сэра капитана Рэтча Чага! — воскликнули обожающие зефирцы, высоко воздев бокалы, и потом гуляки с почтением помогли Чагу вернуться в его небесный дом и какое-то время летали у него перед дверью, распевая пьяную песню, которая звучит так: «Ай! Ай! Ай!»

— Фликово, — сказала Алиса. — Никогда не слышала такую песню и никогда не слышала о таком напитке! Завтра вечером, на фестивале в Резволи, закажем «Голубые гиацинты» и найдем кого-нибудь, кто знает «Ай! Ай! Ай!».

— Нет! — Чаг оцепенел. — Слушай, девочка, здесь я заказываю и я пою. И я не хочу никаких «Голубых гиацинтов»! И не хочу никаких песен «Ай! Ай! Ай!»!

— Почему? — спросила Алиса. — Что не так с «Голубым гиацинтусом»? — спросила она, перевирая название. — Что не так с песней «Ай! Ай! Ай!»? — спросила она, воркуя в его заостренное ушко так, что это напоминала греческую элегию.

Гиацинт! Гиацинт! Гиацинт! Это слово, почти неслышное, стучалось о микросознание Чага с порх-порхом крошечных крылышек.

А потом однажды утром он проснулся и все пошло плохо.

Гиацинт!

Он это почувствовал. Что-то не так — не так, как когда рванула старушка Земля, а по-другому. Будто его пробуждает, как нестройный зов рожка, музыка — старинная музыка, слабая и далекая. Как в старые добрые, когда нападали скримеры!

Вот он в безопасности, высоко над городом в собственном парящем летающем дворце, одной ногой еще в прелестных снах — а что-то не так.

— Привет-привет, старичок, — сказала Алиса, шумно плюхаясь на золотое покрывало его кровати, когда он приоткрыл глаз на щелочку.

— Раньше ты звала меня сэр Чаг, — сказал Чаг. — А теперь я старичок. Что тебя привело?

— Приперла тебе подарок, — сказала Алиса, гордая тем, что усвоила новую лингву, которую Чаг принес на планету почти три земных года назад. — Это аквариум с золотыми рыбками, на который ты засмотрелся в Упсли на прошлой недельке, когда учил нас, обожающих зефирцев, чарльстону.

— Чарльстону? Я должен был дойти до него только через полгода, — простонал он вслух, садясь. — Я напился! У меня так танцы кончатся!

— А ты много знаешь. — Алиса пригладила свои рожки и повернула зеркальце, чтобы посмотреться на себя. — Например, харабе тапатио? Это мексиканский танец со шляпами.

— Я-то знаю! Но откуда знаешь *ты?*

— В книжке вычитала, на одной планете, которую я знаю, под названием Флора.

— Флора! Нет такой планеты — Флора!

— Это такая как бы невидимая планета, которую я знаю. Потом еще Чаг-степ. Довольно напористый.

Он буравил ее взглядом.

— А потом,– продолжала она, косясь на него одним глазом,– вальс, который раньше танце-

вали в месте под названием Дания. Он зовется «Маленький человек в беде»[18].

— ЧТО?

И вот девушка — миленькая беленькая девушка, обожаемая, прелестная девушка, каких встречаешь раз в жизни, что все подначивает и подкалывает. В этом он не сомневался. Она о нем столько знает! Это она помогла сесть его кораблю! Не может быть — нет-нет!

— А как же кадрили? — весело спросила она. — Например, под названием «Кое-кто попал впросак»! Или «Птичка в клетке»? — и она запела:

Вверх, вниз и кругом, и кругом,
Аллеманда влево, аллеманда вправо,
Инго-бинго, не зевай,
Мелкий кот или большой —
Убегай иль УМИРАЙ!

К тому же,– продолжила она, поймав один из изумленных глаз в зеркале,– *есть ли* у тебя полгода?

— Есть ли у меня полгода? — хрипло переспросил с пересохшей глоткой Чаг.

---

[18] Примечания: 18

Практически все упомянутые танцы — настоящие, как и датский вальс «Bitte mand i knibe».

Те маленькие крылышки принадлежали летучим мышам, бившимся в пещерах его чутья. «Гиацинт», — хлопали они так, что он уже не мог скрыться от мерзкого звука.

— Что это еще значит — «есть ли у меня полгода»? — рявкнул он, выпрыгивая из постели в шелковом переливе мандариновой пижамы. А потом испуганно выжал мысль обратно. ГИАЦИНТ!

— И что значит — «золотая рыбка в подарок»? — охнул он. — Я тебя раскусил, девчонка. Ты против меня. И всегда была против!

Я самый уважаемый человек на планете. Я кладезь знаний о материнской планете. Гении пишут обо мне книги. Я важный. Влиятельный. Любимый. Я изменил культурную жизнь несметных подростков Зефира. Дарил им моду, раззадоривал, научил джиттербагу…

Она оказалась под его подбородком, нажав ему на нос загнутым пальцем. Проворковала:

— Я знаю. Ты тот еще котяра.

— А ты мне что даришь? — ярился он. — Золотую рыбку!

— Но ты же *любишь* золотых рыбок!

— Только чтобы любоваться!

— Для того я их и приперла. А что же еще с

ними делать?

— Есть! — рявкнул Чаг. — Как однажды я съем тебя!

Она захихикала.

— Ты и правда кот, — сказала она. — Я поняла с первого взгляда. Ученые взяли хромосомы твоих мамы с папой и замешали в них кошачьи гены, да? Ты вышел из лаборатории, старичок. Вышел мяукая, шипя и царапаясь. А потом приняли закон, потому что больше не хотели видеть котолюдов.

Ты кот, старичок. Поэтому всегда и приземляешься на лапы!

Старина Чаг уже вскочил на ноги и метался, кружился, шипел и бессильно тянул себя за стильные, навощенные, щетинистые усы.

— А ты капельку телепатка? — поинтересовался он.

— Капельку,– призналась она.– Как ты! Фликово, ведь ты всегда *знаешь*, что тебя ждут неприятности — как сейчас. Хочешь познакомиться с моим отцом?

— Видимо, лучше познакомиться.– И Чаг поплелся за ней с глупым видом через все тридцать залов своих заваленных подушками и устеленных мехом хором со всеми шепчущими

журчащими фонтанами и сияющими золотыми птичьими клетками, где жил в мечте и мурчащем удовольствии, когда получалось забыть о нагоняющем дьявольском фронте волны света расколотой Земли! Теперь! Скоро! — свет вырвется из времени, как плач ручья, как сок листка!

Уже скоро Алиса стегала лошадь, запряженную в ее двуколку, по солнечным небесам Зефира. Каждый раз, как антиграв-копыта отталкивались от воздуха, двуколка рвалась вперед.

— Пошла! — кричала Алиса, вцепившись в поводья. — Но! — бросила она, и еще одно «но» для разворота налево, и, наконец: «Стой!» Моторы затихли.

У отца Алисы росли рога.

— Это ненастоящие, — застенчиво признался тощий мужчина, снимая головной убор и вешая на воздушный крючок, где тот судорожно заболтался. — Настоящие срезал, когда нас послали с Флоры исследовать культурную жизнь Зефира.

— Флора была нигде,– услужливо продолжила Алиса, стоя рядом с Чагом и поглаживая его по руке.– Нам нечего было делать. *Нечего*. И мы фликово добрались сюда, чтобы привезти с собой обратно танцы, моды и *развлечения*. И знаешь что, старичок? Мы нашли тебя! Как же нам по-

везло!

Под благожелательным, приятным и чрезвычайно пугающим взглядом этих двоих по Чагу сбегал пот. Он попытался отодвинуться от Алисы и ее поглаживающей руки.

— Ну же, — сказала она, и уголки ее миленьких розовых губок сползли вниз. Чаг устало сел, с гудящей головой. Вот теперь он чувствовал — то ужасное, что было неладно с этой планетой.

— Флора, — пробормотал он.

— Да, — сказал отец, по-прежнему застенчиво. — Флора, жена Зефира, но, так сказать, во временном разводе. Мы прятали свою планету от зефирцев, сделали, так сказать, невидимой, чтобы они нас не уничтожили.

— Зефирцы? Уничтожили? — Чаг вскинул голову.

— О да. — Алиса радостно расположилась на колене Чага и почесывала у него пальчиками под ушком. — Зефирцы бы нас разорвали, если бы знали, что мы на их планете. Вот нам и пришлось спилить рога.

О да. У нас растут рога. Это наверняка из-за климата.

Чак покосился на красавицу, потом с содроганием взглянул в сторону.

— Зефирцы — благородные, добрые, высокие, учтивые и благочестивые. Никого они не тронут!

Алиса и ее отец тихо рассмеялись.

— Гиацинт, — произнес отец, снимая головной убор с воздуха, водворяя на голову и поворачиваясь к зеркалу, чтобы его поправить. — Ты же помнишь, что древнегреческий бог Зефир ревновал к Гиацинту и привел его к погибели. Зефирцы относятся к Земле как к Гиацинту.

Чагу было нехорошо. Он взглянул мимо Алисы в зеркало, где увидел ее внезапно чрезвычайно зловещего рогатого отца.

— Ты — он! — воскликнул Чаг в истерике, когда все его накипевшие страхи сошлись в одном образе. — Тот, кто меня сюда припер! — Он подскочил, словно от смертельной опасности, но подхватил Алису, чтобы она не упала, да так и остался стоять и дрожать.

— Да, — ответил отец, кивая и улыбаясь, как будто самому себе. — Уж прости меня за грубость, но тебя надо было застращать, чтобы ты сыграл свою роль убедительнее.

— КАКУЮ роль? — вскричал Чаг.

— А. — Отец поморщился. — Снова-здорово.

Алиса прижалась к мандариновой пижаме Чага, которую он так и не переодел. Мечтательно

произнесла:

— Мы знали о тебе все, но это неважно. Ты — то, что мы искали, поэтому мы тебя испытывали. Здесь, на Зефире. Но теперь нам пора. На Флору. У тебя наверняка вырастут рога. Ты же понимаешь, Гиацинт?

— Не называй меня Гиацинтом! — Чаг оттолкнул ее, шипя от ярости. Волосы снова чуть не встали дыбом, будто шерсть, и снова он чувствовал, как за ногти тянут выпускные мышцы. Он присел, изогнул спину и махнул лапой в сторону улыбающейся миленькой розовой девушки.

– *Меня* зефирцы не убьют! — заявил он. — Меня зефирцы обожают!

— Их обожание — барьер для того, чтобы ты не узнал об их ненависти. Ты слишком поспешил выпить «Голубой гиацинт», — сказал отец, уже не такой уж застенчивый.

Он провел пальцем по воздуху, и зеркало, в которое он вроде бы смотрелся, превратилось в телеэкран.

— Вести уже разошлись по всей планете, — сказал он. — «Гиацинт, — кричат они, — Гиацинт!»

Чаг не верил ни глазам, ни ушам. Он видел свой дворец, лениво парящий на золотых орлиных крыльях. Его окружили крылатые аппараты,

полные обожающих зефирцев.

Вот только прилетели они явно не для обожания.

— Гиацинт! — кричали они. Оружие в их руках извергало снаряды и лазерные лучи в парящий дворец. — Гиацинт! — доносился устрашающий вопль. Дворец Чага падал.

В его глазах стояли слезы. Алиса с сочувствием пригладила его по затылку.

— Нас они ненавидят давно,– сказала она,– но Землю — еще *дольше!* Они вышли в космос, старичок. Пока ты развлекал нас, обожающих подростков, и наводил на планете полный дзынь, они похищали с твоего корабля секрет сверхсветовой скорости. Они наконец увидели, как взорвалась Земля — всего лишь в полугоде отсюда. Они знают, что ты морочил им голову. Они знают, что Земли можно больше не бояться.

Мы возвращаемся на Флору, старичок. Несметным подросткам Флоры нужны мода, танцы, песни и пара-другая тинтинабул. Там все тебя полюбят. Сможешь делать, что захочешь. Гуляй по ночам, сам по себе, как кот, так сказать. Ипс.

— Ипс, — слабо откликнулся Чаг. Он сдулся, наблюдая за разрушением своего августейшего воздушного дворца. Потом он уже не мог наблю-

дать. Участь, о которой он так долго старался не задумываться, наконец настигла его. Его мурчащий моторчик затих, Земли нет, и что остается? Как ни странно, много и еще больше. Не успел он пасть на дно, как уже опять взлетал. Его манило новое будущее, не отягощенное волнениями и страхами.

И вот он уже снова мычал песенку себе под нос. И вот страшное мгновение предательства ненавидящих зефирцев осталось позади. Он приоткрыл глаз, чтобы с сожалением взглянуть на догорающие орлиные крылья.

А может, эта ведьма Алиса и правда наконец разглядела в нем важность и талант.

Так уж он надеялся.

— Так ты с нами? — воскликнула Алиса, умоляюще сложив ладошки у него под носом.

— Будь что будет, — вздохнул Чаг с черным видом, когда его дворец рухнул и разбился.

— Будь что будет! — воскликнула Алиса, вскружившись в возбужденных пируэте и фуэте, а потом бросившись в объятья Чага для экстатичного шассе. — Тебе понравится твой новый дом, Старичок. Тебе будет уютно и тепло, мы о тебе позаботимся…

Чаг было напыжился, но горький опыт не давал

довериться так просто.

— Хочешь сказать,– с подозрением спросил он,– ты заберешь меня на Флору, как какого-то породистого призового *кота?*

— Хала-ху!– воскликнула Алиса, распахнув глаза.– Откуда вдруг *призовой* кот? Мы скорее думали о простом домашнем!

(Так вот как все будет.)

Послесловие

Хейт-Эшбери, 1966 год. Я приезжал туда на десять дней в ноябре того года, жил в полухиппанской квартире моих двух сыновей и еще кого-то. Один сын работал, другой учился в Университете штата в Сан-Франциско, а третий парень работал в ночную и днем пытался выспаться. Тела приходили и уходили в любое время суток. Там стоял музыкальный центр. Разносились на ветру коровьи му-у Боба Дилана; гитарила Джоан Баэз. После первого потрясения я особенно полюбил и по-прежнему люблю обоих. Еще были Моцарт, Бетховен, Бах, на тихой громкости. Была еда, которую ели и приносили кто угодно. Как правило, на кухне и в спальне царил беспорядок; внезапно кто-нибудь принимался убирать. Кастрюль не было как класса (или я об этом не знал). Старший сын вручил мне стопку комиксов «Марвел» и удивил тем, что Стэн Ли и его слова вошли в религию субкультуры Беркли/Хейт-Эшбери. Меня заворожили Халк, принц Нэмор из Атлантиды, Фантастическая Четверка, Доктор Стрэндж, Могучий Тор и все остальные. Я свисал с кровати, читал комиксы на полу и

чревоугодничал всласть.

В мой первый день, в воскресенье, я ходил с сыновьями и их друзьями пить пиво в «Панхэндл» у Голден-Гейт-Парка, где происходил лав-ин[19]. Тогда как раз зарождались «дети цветов». Девушки с раскрашенными лицами и босыми грязными ногами. Голые по пояс и раскрашенные мужчины танцевали под странные восточные инструменты. Краски, кисти и рамы с приколотой бумагой для всех, кто хочет художественно самовыражаться. Рок-группа разрывала воздух. Пары танцевали, шалили, лежали. Люди постарше — очень кубические[20], вроде меня, — наблюдали. Дети носились, вопили, плясали, пели, инстинктивно знали, что делать, — всем старше десяти лет об этом приходится сознательно задумываться.

На второй день мой старший неуверенно спросил, не хочу ли я прокатиться на их мотоцикле сзади. «Машины у нас нет». Я был против. Заводясь, мотоцикл — со мной, усаженным

---

[19] Примечания: 19

Лав-ин — мирные собрания хиппи времен 60-х с медитациями, музыкой, сексом и употреблением наркотиков, часто — протестные.

[20] Примечания: 20

Отсылка к слову *square* (квадратный) — название непрогрессивных обывателей среди хиппи.

сзади, — издал звук вроде «рэтч-чунг». Сын пояснил, пока его голос задувало мне в уши ветром: «Такой звук и ожидаешь от механизированной культуры». Мы покатили по Коул-стрит, мимо психоделических магазинов, маленьких ресторанчиков, магазинов мороженого, где торговали молодые люди со скромными осанками и индейскими головными уборами, девушки — молодые и постарше — улыбались в надежде, что любовь придет навсегда, не зная, что цикл, как всегда, неизбежен — но это уже другая история.

На следующий день, когда у меня выдалась куча свободного времени, я прогнал кота с заднего крыльца, откуда он воровал корм котика поменьше, потом сел за пишмашинку с бумагой и без особого труда накатал десять дурацких страничек. Старший сын прочитал их и поддел: это я что, вдохновлялся комиксами «Марвел»?

— Вроде бы нет, — ответил я.

— Снова начал писать, пап? — спросил Младший. — Наверное, этот рассказ стоит доделать.

Я сказал, что обязательно доделаю… когда-нибудь; пришлось пообещать.

Все вышеуказанное рассказывает, как сливались воедино разные элементы рассказа. В нем не предполагались тема или смысл, это не попытка

решить общественные проблемы. Я *не* старался сделать его злободневным.

Рассказ был закончен и немного переписан для «Новых опасных видений», но уже не такой, как вначале. Первый был о священнике, который заявлял, будто быстрее скорости света в нашей Вселенной ничего нет, и с божьей помощью попал на альфу Центавра *мгновенно*. Я не мог решить трудности этой темы и вернулся к тем почти позабытым десяти страничкам из утраченного мира Сан-Франциско. А значит, это тост за Кита и Джеффа.

Предисловие «Слово „лес“ означает „мир“»



«Слово „лес“ означает „мир“»

Трудность не в том, *что* сказать о невероятной Урсуле Ле Гуин, а в том, с чего *начать*.

Начать ли с того, сказал он, что она, вне всяких сомнений, самая элегантная писательница во всем мире НФ? Пожалуй. Хотя бы чтобы развить мысль, что отдельные люди в нашей жизни одарены такими грацией и *стилем*, что остальные из нас кажутся садовыми слизняками. Даже недолго побывать в обществе Урсулы — значит обогатиться, хотя и невозможно уйти без мысли, что у вас самих и всех вокруг изящество уровня баскетбольной команды паралитиков под руко-

водством Фреда Астера.

Она остроумная, сильная, экспрессивная и еще раз экспрессивная, мудрая, эрудированная, общительная и заряжающая энергией, неземная, грациозная, оптимистичная и рассудительная. Не жертвуя ни единой искоркой женственности, она подчиняет все внимание своей уникальностью, требуя с ней считаться; уверен, Урсула Ле Гуин и есть тот образец, к которому стремятся агитаторы за права женщин. Короче говоря, она динамит.

Еще она курит трубку… но не на людях.

Еще она чертовски хорошо пишет.

В 1970 году Урсула получила «Небьюлу» и «Хьюго» за роман «Левая рука тьмы». Вы его, конечно же, читали, а значит, незачем и распространяться лишний раз о его высоком уровне. И все-таки можно со всей уверенностью заявить, что за последние годы ни один победитель в этой категории не делал «Небьюле» и «Хьюго» больше чести.

Урсула Кребер Ле Гуин родилась в Беркли, штат Калифорния, в 1929 году; дочь антрополога Альфреда Л. Кребера и Теодоры К. Кребер, автора книг «Иси в двух мирах», «Сухопутный кит» (*The Inland Whale*) и других не менее впечатляющих произведений. (Любопытно, что в справочнике

«Современные авторы», тт. 5–8, я указан рядом с матерью Урсулы. Но самой Урсулы там нет. Им там может кто-нибудь тактично намекнуть?)

Урсула выросла в Беркли и долине Напа. Получила диплом бакалавра в Редклиффе и магистра — в Колумбии, по литературе французского и итальянского Возрождения.

Она познакомилась с Чарльзом А. Ле Гуином и вышла за него, когда оба учились по стипендии Фуллбрайта во Франции. Он теперь профессор истории Франции в Портлендском колледже штата, Орегон; они прожили в Портленде десять лет. У них трое детей: Элизабет, Кэролайн, Теодор.

В 1968–1969 годах Урсула с мужем ездили в академический отпуск в Англию; в июле 1969-го вернулись в Портленд, но в пути присылали немало чудесных писем, отрывки из которых я приведу здесь в качестве образцов чистейшей Урсулы.

Вот пример:

«Знаешь, у лондонских автобусов есть два этажа и полувинтовая лесенка, курение разрешено только на втором этаже (и зимой, с „Вудбайнами“ и бронхитом, это нечто среднее между туберкулезной палатой и пожаром в сауне, пока тебя трясет по темным диккенсовским переулкам, на-

битым мини-карами и мини-юбками), — никогда не успеешь взобраться по лесенке, как автобус уже рвется дальше и кондуктор/ша кричит: „Гля, не упади!“ или „Слышь, ты там держись!“ — или, если родом из Вест-Индии, то напевает на красивом родном наречии (английском): „Пожалуйста, держитесь крепче!“ А если нет, тебе конец. Двери нет».

А что скажете о таком резюме встречи:

«Мы были в академическом отпуске, не считая детей, которые учились в местной школе и приобрели превосходное образование и акцент кокни. Жили мы в унылом боро на севере Лондона под названием Ислингтон — это длинные ряды высоких домов, словно слипшиеся вместе чумазые ириски, торчащие напротив ряда чумазых ирисок напротив. Ко времени отъезда мы уже считали эти улицы прекрасными и полной грудью вдыхали выхлопные газы лондонских красных двухэтажных автобусов, словно приморский воздух. А все благодаря доброте англичан (считая пакистанцев, индийцев, греков, итальянцев и так далее), среди кого мы проживали в Ислингтоне. Мы вдыхали сам Дух. У многих лондонский воздух вызывает астму, однако оно того стоит. Англичане цивилизованнее кого

угодно на свете. А еще Англия — удобная страна для интровертов; в их обществе всегда есть место интроверту, чего не скажешь о Соединенных Штатах. На самом деле в Лондоне найдется место всему; здесь отыщешь все, что пожелаешь, от организованных дьявольских извращений а-ля барон де Шарлю до леденцов, которые меняют цвет, чем больше их лижешь. Здесь и впрямь есть *все*. Но самое лучше, самое славное — это доброта».

Доброта стоит для Урсулы Ле Гуин на первом месте, и раз уж я здесь заведую ее библиографией, расскажу о ее любезности, обобщающей всю дивность Ле Гуин.

Не считая «Левой руки тьмы» и блестящего рассказа для *Playboy* «Девять жизней», Урсула Ле Гуин написала следующие романы (все доступны в мягкой обложке от *Ace*): «Планета Роканнона», «Планета изгнания», «Город иллюзий» и «Волшебник Земноморья». И это вдобавок к стихам в «маленьких» журналах и рассказам в журналах и таких сборниках, как *Quark* и *Orbit*. На данный момент ее последние произведения — «Гробницы Атуана» (*Atheneum*) и «Резец небесный» (*Scribner's*). Покончив с формальностями, перейду наконец к урсулинциденту, после которого я стал

ее рабом навек.

В 1970-м в Беркли Американская ассоциация писателей-фантастов сочла уместным вручить «Небьюлы» и Урсуле, и мне, о чем я уже упоминал (не только для ее вящей славы, но и подпитывая свое ненасытное эго). Один замечательный вечер в те выходные «Небьюлы» прошел в обществе Урсулы, НФ-писателя Нормана Спинрада, миз Терри Шампейн (автора самого выдающегося фантастического ужастика о тараканах), неизменно популярной миз Луизы Фарр и еще одной пары — память неуверенно подсказывает, что это были Грег Бенфорд с его прелестной женой. Мы ходили в афганский ресторан, где, если мне снова не изменяет память, я *не устроил* сцену, то есть вечер можно считать историческим событием. Потом мы поднялись на холмы Беркли, в замечательный деревянный дом матери Урсулы. Познакомившись с ней, легко понять, откуда у ее дочери элегантность и стиль. Это один из самых приятных вечеров в моей жизни, полный *bon mots*[21] и просвещенных бесед, но меня не отпускало ощущение (вызванное, заверяю вас, исключительно мной самим), будто я оборванец

[21] Примечания: 21
Острот (*фр.*).

при дворе. Ничто в поведении Урсулы и ее семьи не укрепляло нарастающий комок самобичевания… это попросту из тех мелких гложущих сомнений в личной важности, что испытываем все мы в обществе очень талантливых, очень красивых, очень богатых или очень знатных. Это нисколько не мешало получать удовольствие от вечера.

На следующий вечер, после «Небьюлы» — церемонии награждения, полной травматических событий, — Урсула Ле Гуин одним-единственным жестом доказала, как глупо даже самым уверенным из нас предаваться подобным самоуничижениям.

Среди номинантов тем вечером в небольшой столовой отеля «Клермонт» присутствовали Норман Спинрад (конкурент Урсулы со своим романом «Жук Джек Баррон»); Фриц Лейбер (состязавшийся со мной за лучшую повесть со своим «Кораблем призраков»); Чип Дилэни, Грег Бенфорд и снова Норман — все против «Девяти жизней» Урсулы в категории короткой повести; а также Ларри Нивен (чей рассказ «Незадолго до конца» выступал против моего «Разбит, как стеклянный гоблин»). Накаленный момент. Когда «Левая рука тьмы» Урсулы обошла Желязны,

Браннера, Силверберга, Воннегута и Спинрада… Норман впал в уныние, что расползлось ядовитыми миазмами по всему часовому поясу. Когда я получил награду, очаровательная дама, сидевшая с Фрицем Лейбером, ударилась в слезы, а Карен Андерсон, писательница и жена Пола Андерсона, поглядывала с таким видом, будто готова перерезать мне глотку. Когда «Небьюлу» за короткую повесть забрал Сэмуэль Р. Дилэни, уже Грег и Урсула стали этюдом противоречивых эмоций, а Норман стек под стол. Слава богу, награду за рассказ получил Силверберг, потому что, отхвати я в тот вечер сразу две награды, Ларри Нивен с радостью бы меня прикончил. Присутствовавшие лично — Урсула, Чип и я (Силверберг получил награду на банкете в Нью-Йорке, счастливо избавленный от конкурентов) — нехотя поднялись на сцену и приняли трофеи, пристыженно промямлили пару слов и снова уползли. Никогда я еще не чувствовал себя таким виноватым из-за награды.

Вскоре после этого, когда гости разбились на группки, я оставил доброжелателей, чтобы поздравить Урсулу с получением наверняка лишь первой из множества премий. Она сидела за столом в окружении множества людей. Ее «Не-

бьюла» стояла на столе. Свою я держал в руках. Ее была красивее. Я их подменил. (Наши имена и названия рассказов выгравированы на основании, так что это очевидная шутка.) Я дожидался момента, когда Урсула заметит, что у нее моя «Небьюла», а у меня — ее: мой способ ее похвалить. Но этот момент так и не настал.

Одна из стоявших рядом дам, склонная к истерике — завопила во все горло: «Урсула! Урсула! Он украл твою „Небьюлу“! Он украл твою „Небьюлу“, Урсула, Урсула!!!» — и судорожно разрыдалась.

Я запаниковал и быстренько поменял их обратно, когда Урсула, вдруг угодив в сцену, пыталась сориентироваться и сообразить, что происходит.

— Эй, спокойно, это всего лишь розыгрыш, — сказал я дрожащей даме. — Все-таки у нас обоих «Небьюлы».

На что та дама прошептала:

— Да, но у нее — за роман, а не рассказ.

Я никогда не получал премию за роман — и та дама это знала, — так что ее замечание погрузило меня в то, что у нас, в бомонде, зовется кромешным мраком. Радость вечера — если еще была — померкла, слезы у спутницы Фрица Лейбера побежали сильнее, а я чувствовал себя, как полтора фунта гамадрильего дерьма.

Я было побрел прочь, как вдруг почувствовал на своей руке чью-то ладонь. Это была Урсула. Я оглянулся, и она смотрела на меня с выражением, говорившим: «Я все понимаю, забудь, о чем она говорила, и в порядке мир[22]».

Мое настроение тут же воспарило, как дирижабль «Гудьер». И мой вечер был спасен.

Всего один только добрый жест говорит об Урсуле К. Ле Гуин больше, чем все биографии, какие только можно написать.

А в завершение прошу оценить расположение ее очень длинной и очень хорошей повести в книге. Это второе художественное произведение (как говорилось выше, у Хейденри было «вступительное слово»). В начале моей карьеры составителя антологий меня научили, что мудрый редактор ставит самый сильный материал в начале и в конце. Начал я с Роклинна из-за его силы и значения как автора для жанра. А поскольку у меня были три сверхдлинных произведения — в начало, в середину и в конец, — мне хотелось отобрать то, от чего читатели офигеют.

Даже если не брать ее изумительность, одни уже слова Урсулы Ле Гуин завоевали сердце, па-

---

[22] Примечания: 22

Отсылка к стихотворной драме Роберта Браунинга «Пиппа проходит»: «Бог в своих небесах, и в порядке мир» (*пер.* Н. Гумилева).

мять и лучшее место в книге.

Слово «лес» означает «мир»
Урсула Ле Гуин



1

Когда капитан Дэвидсон проснулся, в его памяти всплыли две вчерашних новости, и какое-то время он валялся, разглядывая их в темноте. Одна хорошая: прибыла новая партия женщин. Подумать только. Они уже здесь, в Центрвилле, в двадцати семи световых годах от Земли и в четырех часах на вертушке от лагеря «Смит»,

вторая партия баб для размножения в колонии Новое Таити, чистые и здоровые, 212 голов первоклассной человеческой породы. Ну или вполне первоклассной. Вторая — плохая: отчет с Помоечного острова о неурожае, массовом вымывании земель, падеже. Хоровод из 212 пышных плодовитых грудастых фигурок поблек в разуме, когда Дэвидсон увидел, как дождь льется на возделанную землю, превращает ее в слякоть, разбавляет до красного бульона, утекавшего по камням во взбаламученное дождем море. Эрозия началась, когда он еще не переехал с Помоечного острова в лагерь «Смит», и сейчас, одаренный исключительной памятью — той, что еще зовут эйдетической, — он помнил это слишком хорошо. Похоже, этот яйцеголовый Кис прав, и там, где планируешь заниматься земледелием, надо оставлять побольше деревьев. Но тогда Дэвидсон еще не понимал, зачем соевой ферме переводить столько площади на деревья, если подходить к делу научно. Вот в Огайо было совсем не так: хочешь кукурузу — сажай кукурузу, и не надо расходовать место на деревья или еще что. Но Земля — это прирученная планета, а Новое Таити — нет. Вот зачем он здесь: приручать. Если Помоечный остров теперь только голые скалы да

овраги, то и черт с ним; лучше начать на новом острове и в другой раз уже быть умнее. Нас ведь не остановишь, мы настоящие Мужики. И скоро ты поймешь, что это значит, ты, проклята богом забытая планетка, подумал Дэвидсон и слабо ухмыльнулся во мраке хижины, потому что он любил сложности. Задумавшись о мужиках, вспомнил он и женщин — и вновь по его разуму поплыла череда маленьких фигурок: улыбаются, пляшут.

— Бен! — проревел он, вскочив и опуская босые ноги на голый пол. — Готовь кипяток, живо-быстро!

Рев разбудил его самого. Легкими движениями он потянулся, почесал грудь, натянул шорты и вышел из хижины на солнцепек. Он был крупным мускулистым мужиком и наслаждался своим натренированным телом в действии. Бен, его сущ, уже поставил воду на огонь, как обычно, и теперь присел, таращась в пустоту, — как обычно. Сущи никогда не спят — только сидят и таращатся.

— Завтрак. Живо-быстро! — скомандовал Дэвидсон, забирая бритву с необработанного дощатого стола, где ее приготовил сущ вместе с полотенцем и поставленным зеркальцем.

Сегодня предстояло много дел, потому что он

решил — в последний момент перед тем, как встать, — слетать на Центральный и самому проинспектировать баб. Надолго их не хватит — двести двенадцать на две тысячи мужиков, — и, как и в первой партии, там наверняка больше невест колонистов и только двадцать-тридцать — работницы сферы досуга; зато те, что есть, телки хорошие да жадные, и в этот раз он своего не упустит, будет первым в очереди. Он ухмыльнулся левой щекой, подставляя правую под жужжащую бритву.

Старик сущ мешкал и не торопился нести завтрак с кухни.

— Живо-быстро! — прикрикнул Дэвидсон, и Бен перестал бескостно ползать и перешел на шаг. Бен был метр ростом, а его шерсть на спине — уже скорее белая, чем зеленая; совсем старик, и бестолковый даже для суща, но Дэвидсон умел держать его в узде. Многие мужики не знали, как и подступиться к сущам, но Дэвидсону это всегда давалось просто — мог приручить любого, если оно того стоило. Обычно не стоило. Навези сюда народа, производи машины и роботов, строй фермы да города — и никто больше и не вспомнит о сущах. Да и скатертью им дорожка. Ведь эта планета, Новое Таити, буквально создана для

людей. Тут бы прибраться да вычистить, вырубить темные леса, чтобы сменить на открытые поля злаковых, истребить первобытную хмарь, дикость и невежество — и будет тебе рай, натуральный Эдем. Получше, чем уставшая Земля. И это будет его планета. Вот кто такой Дон Дэвидсон в глубине души: укротитель миров. Он не любил хвастать, но сам себя знал. Таким уж он родился. Знал, чего хотел и как это получить. И получал всегда, без исключения.

Завтрак тепло улегся в желудке. Хорошее настроение не испортилось даже с появлением Киса Ван Стена — толстого, бледного и нервного, с глазищами выпученными, как голубые мячики для гольфа.

— Дон, — начал Кис, не здороваясь, — дровосеки на Делянках опять бьют красных оленей. В задней комнате Салуна лежат восемнадцать рогов.

— Еще никто не смог помешать браконьерам браконьерствовать, Кис.

— Ты можешь. Мы для этого и живем на военном положении, для этого колонией и заправляет армия. Чтобы соблюдать законы.

Лобовая атака от Яйцеголового Жиробаса! Чуть на смех не пробило.

— Ну хорошо, — миролюбиво ответил Дэвидсон. — Могу я их остановить. Но, слушай, мне в первую очередь надо думать о людях — это моя работа, ты сам так говоришь. Главное — люди. Не звери. Если чуточку незаконная охота помогает людям сносить эту проклятущую жизнь, я готов смотреть сквозь пальцы. Надо же им как-то развлекаться.

— У них есть игры, спорт, хобби, кино, телезаписи всех главных спортивных событий прошлого века, алкоголь, марихуана, галики и новая партия женщин на Центральном острове. Они избалованы донельзя, твои герои фронтира, и им вовсе не обязательно истреблять редкий вид «ради развлечения». Если ты ничего не сделаешь, я укажу тяжелое нарушение Экологических протоколов в своем отчете для капитана Госса.

— Указывай, если считаешь нужным, Кис, — ответил Дэвидсон, никогда не терявший самообладания. Это жалкое зрелище, когда евро вроде Киса багровеет, горячится. — Это все-таки твоя работа. Я не обижусь; пусть нас рассудят в Централе и решат, кто прав. Понимаешь, Кис, ты хочешь сохранить здесь все как есть, собственно. Сделать один большой заповедник. Чтобы любоваться, изучать. Прекрасно, ты же спец. Но, понимаешь,

мы-то — обычные работяги, которые делают дело. Земле нужна древесина, и нужна срочно. Мы нашли древесину на Новом Таити. И мы лесорубы. Видишь, мы с тобой отличаемся тем, что для тебя Земля — не на первом месте, собственно. А для меня — да.

Кис покосился на него своими голубыми мячиками для гольфа.

— Неужели? Хочешь переделать эту планету по образу и подобию Земли? В цементную пустыню?

— Когда я говорю «Земля», Кис, я имею в виду людей. Мужиков. Можешь трястись над своими оленями, деревьями и фибротравой, сколько хочешь, это дело твое. Но я предпочитаю видеть вещи со стороны, сверху донизу, и пока что наверху — люди. Сейчас мы здесь — и эта планета будет жить по-нашему. Нравится — не нравится, а придется тебе с этим смириться — таков уж порядок вещей. Слушай, Кис, я тут собирался прошвырнуться на Центральный и взглянуть на новых колонисток. Ты со мной?

— Нет уж, спасибо, капитан Дэвидсон, — ответил спец, направляясь к хижине с лабораторией. Рассердился всерьез. Так распереживался из-за каких-то чертовых оленей. Животные они, ко-

нечно, замечательные. В эйдетической памяти Дэвидсона предстал первый, которого он увидел, здесь, на Земле Смита: большая красная тень, два метра в холке, увенчан узкими золотыми рогами — стремительное отважное животное, лучше дичи и представить нельзя. На Земле для этого теперь, когда повывелись почти все настоящие, пользовались робо-оленями, даже на Высоких Скалистых горах и в Гималайских заказниках. А местные — мечта охотника. Значит, на них будут охотиться. Черт, на них охотились даже дикие сущи со своими жалкими игрушечными луками. На оленей будут охотиться, потому что для этого они и созданы. Но бедный старый сердобольный Кис этого не понимает. Вообще-то он головастый малый, но не реалист, не мыслит трезво. Не понимает, что ты либо играешь на стороне победителя, либо проигрываешь. А побеждает всегда Человек. Конкистадор.

Дэвидсон широким шагом прошел по поселению — в глаза светило утреннее солнце, в теплом воздухе сладко разливались ароматы распиленного дерева и дыма костров. Для лагеря лесорубов здесь все было устроено четко. Двести мужчин укротили немалый участок дикости всего за три зем-месяца. Лагерь «Смит»: пара

больших сфер из коррупласта, сорок бревенчатых хижин, построенных сущами, лесопилка, печь для отходов, пускающая голубой дым над акрами бревен и досок; выше по склону — летное поле и большой модульный ангар для вертолетов и тяжелой техники. Всего-навсего. Но когда они только прибыли, здесь не было ничего. Деревья. Темная, дремучая, непроходимая чащоба — без конца и без смысла. Ленивая речушка, заросшая и задушенная деревьями; пара поселений сущей, скрытых меж стволов, красные олени, волосатые обезьяны, птицы. И деревья. Корни, стволы, ветки, сучья, листья, листья над головой и под ногами, лезут в рожу и в глаза, бескрайняя листва на бескрайних деревьях.

Новое Таити в основном состояло из воды — поверхность теплых мелководных морей местами нарушалась рифами, островами, архипелагами и пятью большими Землями, что раскинулись дугой в 2500 километров по Северо-Западному Четвертьшарию. И все эти клочки и кляксы суши заросли деревьями. Океан; лес. Вот и весь выбор на Новом Таити. Вода и солнце — или тьма и листья.

Но теперь люди покончат с тьмой и превратят лесные заросли в гладкие доски, что на Земле

дороже золота. Причем буквально, потому что золото можно добывать из морской воды и из-под льдов Антарктиды, а древесину — нет; древесину дают только деревья. А на Земле это была очень нужная роскошь. И тогда древесиной стали леса на других планетах. За три месяца двести мужиков с робо-пилами и грузовиками уже прорубили на Земле Смита Делянки шириной в восемь миль. Пни ближайшей Делянки уже побелели и подгнили; после химической обработки они рассыплются в плодородный прах к тому времени, когда континент прибудут осваивать постоянные колонисты, фермеры. Фермерам останется только засеивать семена и ждать всходов.

Причем не в первый раз. Вот в чем странность — и, собственно, доказательство, что Новое Таити создано для людей. Сюда все занесло с Земли, около миллиона лет назад, и эволюция развивалась настолько схожим путем, что все узнается с первого взгляда: сосна, дуб, орех, каштан, ель, падуб, яблоня, ясень; олень, птица, мышь, кошка, белка, обезьяна. Гуманоиды с Хайн-Давенанта, конечно, утверждали, что побывали здесь в то же время, когда колонизировали Землю, но этих инопланетян послушать — и окажется, что они освоили все планеты в Галактике и изобрели все,

от секса до канцелярских кнопок. Теории насчет Атлантиды звучали куда реалистичнее, и Новое Таити вполне могло оказаться затерянной колонией атлантов. Но здесь люди вымерли. А все, что развилось на замену местных из обезьян, — это сущи, метр ростом и обросшие зеленым мехом. Как инопланетяне — вполне стандартные, но как люди — осечка, ни к чему не пришли. Может, пришли бы через миллион лет. Но раньше прибыли конкистадоры. Теперь эволюция двигалась не с темпом «одна случайная мутация раз в тысячелетие», а со скоростью космических кораблей Земного флота.

— Эй, капитан!

Дэвидсон обернулся, помешкав только микросекунду, но и это его раздражало. Было что-то в этой чертовой планете — в золотом солнечном свете и подернутых дымкой небесах, в мягких ветрах, веющих лиственной плесенью и пыльцой, — отчего легко замечтаться. Вот так замечтаешься о конкистадорах, судьбе и прочем — и не заметишь, как станешь тупым и неповоротливым, как сущи.

— Доброе утречко, Ок! — бодро бросил он бригадиру лесорубов.

Черный и жилистый внешне, как стальной

трос, Окнанави Набо был полной противоположностью Киса — но подошел с тем же встревоженным видом.

— Найдется полминутки?

— Конечно. Что тебя волнует, Ок?

— Да эти мелкие засранцы.

Они прислонились спиной к покосившемуся штакетнику. Дэвидсон запалил первый косяк за день. Грел солнечный свет, голубоватый от дыма. Лес за лагерем — невырубленная полоса в четверть мили шириной,– переполнялся тихими нескончаемыми хрустящими, фырчащими, шуршащими, жужжащими, серебристыми звуками, которыми и положено переполняться лесу по утрам. Поглядишь — и все равно что Айдахо в 1950-м. Или Кентукки в 1830-м. Или Галлия в 50 году до нашей эры.

— Ти-вит, — сказала далекая пташка.

— Пора от них избавляться, капитан.

— От сущей? О чем ты, Ок?

— Отпусти их уже. Не могу заставить их работать на лесопилке так, чтобы их стоило держать. Или терпеть от них головную боль. Они просто ни в какую не работают.

— Работают, если знать, как заставить. Лагерь же они построили.

На обсидиановом лице Окнанави застыло кислое выражение.

— Ну, у тебя, видать, к этому дар. У меня — нет. — Он помолчал. — На курсе прикладной истории, который я прошел на подготовке к Далекому космосу, говорилось, что от рабства никогда не было пользы. Это неэкономично.

— Ну правильно, только у нас не рабство, Ок, друг ты мой. Рабы — это люди. А когда разводишь коров, ты разве зовешь их рабами? Нет. И польза от них есть.

Бригадир бесстрастно кивнул, но сказал:

— Они слишком мелкие. Я пытался поморить голодом самых мрачных. Так они просто сидят и голодают.

— Они мелкие, спору нет, но не заблуждайся, Ок. Они крепкие; у них поразительная выносливость; и они не чувствуют боли, как люди. Вот о чем ты забываешь, Ок. Кажется, ударить такого — как ударить ребенка. Но поверь, это все равно что ударить робота, чувствуют они не лучше. Слушай, что я тебе рассказываю, ты сам спал с их бабами и знаешь, что они как будто ничего не чувствуют, ни удовольствия, ни боли, лежат себе, как матрасы, как ты ни изгаляйся. Они все такие. Наверное, нервы не так развиты, как у людей. Ско-

рее как у рыб. Расскажу один странный случай. Когда я еще был в Централе, до перевода сюда, на меня напал один из прирученных самцов. Знаю, нам говорят, будто они никогда не сражаются, но этот совсем уже спла, крыша поехала, и мне еще повезло, что он был не вооружен, а то бы там меня и убил. Мне пришлось его чуть ли не прикончить, чтобы он от меня отцепился. А он все лез и лез. С ума сойти, сколько он вытерпел и бровью не повел. Как какой-то жук, которого надо давить и давить, потому что иначе он не понимает. Ты посмотри. — Дэвидсон склонил стриженную ежиком голову, чтобы показать заскорузлую шишку за ухом. — Почти контузия. И это уже после того, как я сломал ему руку и растоптал рожу в клюквенный соус. Все лез и лез. Вот что главное, Ок: эти сущеныши ленивые, тупые, коварные и не чувствуют боли. С ними надо пожестче и спуску не давать.

— Да не стоит оно стараний, капитан. Чертовы мелкие мрачные зеленые говнюки: не дерутся, не работают, ничего не делают. Только мне на нервы действуют. — Добродушие в ворчании Окнанави не могло скрыть упрямство. Он не бил сущей не потому, что они такие маленькие; это было ясно Оку — а теперь стало ясно и Дэвидсону, и он сразу

смирился. Он знал подход к людям.

— Слушай. Ок. Попробуй так. Выбери зачинщиков и скажи, что дашь им дозу галлюциногена. Меск, лайс — что угодно, они их все равно не различают. Но зато боятся. Не перестарайся — и у тебя все получится. Я тебе гарантирую.

— А почему они боятся галиков? — с любопытством поинтересовался бригадир.

— А я почем знаю? Почему бабы боятся крыс? Не жди логики от баб или сущей, Ок! К слову, я сегодня утром махну на Центральный — подобрать тебе какую-нибудь колли?

— Главное, не подбирайся ко всем сразу, чтобы мне на увольнительной что-нибудь досталось, — ухмыльнулся Ок. Мимо прошла группка сущей, тащила длинную балку для клуба, который строился у реки. Фигурки еле плелись, волокли балку, как кучка муравьев — дохлую гусеницу, угрюмо и неуклюже. Окнанави проводил их взглядом, сказал:

— Факт есть факт, капитан: у меня от них мурашки.

Странно это было слышать от сурового и молчаливого мужика вроде Ока.

— Ну, я-то с тобой согласен, собственно: они не стоят возни или риска, Ок. Если бы не этот

старпер Любов или если бы полковник хоть раз отступил от Устава, думаю, мы бы вычищали области, которые заселяем, вместо этой самой «добровольной рабочей силы». Рано или поздно их вытеснят, и лучше рано, чем поздно. Таков уж порядок вещей. Примитивные расы всегда уступают дорогу цивилизованным. Или ассимилируются. Но стаю зеленых обезьян попробуй ассимилируй. К тому же, как ты сам сказал, они достаточно умны, чтобы им не доверять. Как те большие обезьяны, которые жили в Африке, как их там звали…

— Гориллы?

— Во-во. Здесь нам лучше без сущей, как было лучше без горилл в Африке. Они стоят у нас на пути… Но Папаша Динг-Донг говорит — пользоваться трудом сущей, вот мы и пользуемся трудом сущей. Пока что. Разобрались? Тогда до вечера, Ок.

— Да, капитан.

Дэвидсон зашел отметиться о том, что забирает вертушку, в штаб «Смита»: куб из сосновых досок четыре на четыре, два стола, кулер с водой, лейтенант Бирно, ковыряющийся в неисправной рации.

— Не сожгите сегодня без меня лагерь, Бирно.

— Привезите мне колли, кэп. Блондиночку. 86–56–90.

— Боже, а больше ничего не надо?

— Люблю, когда они грудастые, а не обвисшие, — Бирно выразительно описал предпочтительные формы в воздухе. Дэвидсон с ухмылкой поднялся по склону к ангару. Взлетев на вертолете над лагерем, он окинул его взглядом: детские кубики, линии тропинок, длинные и щетинистые от пней просеки — все меньше, пока вертолет забирал выше, и тогда глазам предстала зелень нетронутых лесов большого острова, а за той темной зеленью — бледная зелень моря без конца. Теперь «Смит» стал желтым пятнышком, каплей на обширном зеленом полотне.

Дэвидсон перелетел через пролив Смита и лесистый кряж с высокими отрогами, тянувшийся на севере Центрального острова, и к полудню приземлился в Центрвилле. С виду почти как город — по крайней мере, после трех месяцев в лесу; здесь тебе и настоящие улицы, и настоящие здания — построенные с тех пор, как четыре года назад основали Колонию. И не догадаешься, каким Центрвилл раньше был хлипким пограничным поселком, пока не отойдешь на полмили к югу и не увидишь, как над пнями и бетонными

площадками торчит золотая башня выше чего угодно в городе. Не самое большое судно, но здесь казался исполином. И ведь это только катер, посадочный модуль, шлюпка; а сам ПСС-корабль, «Шеклтон[23]», находился на высоте в полмиллиона километров, на орбите. А катер — только намек, только намек на величие, мощь, золотую точность и размах звездоходных технологий Земли.

Вот почему при виде корабля из родного дома на глазах Дэвидсона на миг выступили слезы. Он этого не стыдился. Он был патриотом — таким уж родился.

Но уже скоро, когда он шел по улицам с широкими видами на пустоту в обоих концах, на его лицо вернулась улыбка. Потому что бабы и правда были здесь, и сразу видно — свеженькие. Почти все в длинных узких юбках и большой обуви наподобие галош, красной, фиолетовой или золотой, и в золотых или серебристых рубашках с оборками. Уже никаких вырезов на сосках. Мода прошла; а жаль. Прически у всех высокие — наверняка поливают этой своей клейкой штукой. Без слез не взглянешь, но так с волосами делают только ба-

[23] Примечания: 23

Эрнест Шеклтон (1874–1922) — англо-ирландский исследователь Антарктики.

бы, и это раззадоривало. Дэвидсон ухмыльнулся грудастой еврафке, у которой было больше волос, чем головы; в ответ его удостоили не улыбкой, а покачиванием удаляющихся бедер, которые откровенно говорили: за мной, за мной, за мной. Но он не пошел. Рано. Он направился в штаб — казенное здание из быстрокамня и пластиплейта: 40 кабинетов, 10 кулеров с водой, подвальный арсенал, — и там отметился в командовании Центральной колониальной администрации на Новом Таити. Встретил кое-кого из экипажа корабля, подал в Лесничестве заявку на новый полуавтоматический окорочный станок, позвал старого приятеля Джуджу Серенга посидеть в баре «Луау» в четырнадцать ноль ноль.

Сам заглянул в бар на час раньше, чтобы запастись провизией перед тем, как начнется пьянка. Был там Любов, сидел с парой мужиков во флотской форме — какие-то спецы, прибывшие на катере с «Шеклтона». Дэвидсон невысоко ставил флотских — скачут между звездами, а вся грязная, потная, опасная планетная работенка достается армии; но начальство есть начальство, да и все равно смешно поглядеть, как Любов подлизывается к кому угодно в форме. Он говорил, по привычке размахивая руками. Дэвидсон мимохо-

дом хлопнул его по плечу и бросил:

— Привет, Радж, приятель, как жизнь?

Прошел дальше, не дожидаясь хмурого взгляда, хотя и жалел, что пропускает такое зрелище. Даже смешно, до чего Любов его ненавидит. Он просто слишком женственный, как и все умники, вот и завидует мужественности Дэвидсона. Сам-то Дэвидсон не собирался переводить время на ненависть к Любову — он того не стоил.

В «Луау» подавали первосортный стейк из телятины. Что бы сказали там, на старой Земле, если бы увидели, как человек уминает килограмм мяса в один присест? Бедные бобоеды! Потом пришел и Джуджу — как и ожидал Дэвидсон, с выборкой новеньких колли: две пышные красотки, да не невесты, а из сферы отдыха. Ох, иногда колониальная администрация умела угодить! День был долгий и жаркий.

На обратном пути в лагерь он перелетел через пролив Смита на одной высоте с солнцем, что разлеглось на широком золотом мареве над морем. Дэвидсон покачивался в кресле пилота и распевал. Показалась в мареве Земля Смита, и над лагерем стоял дым — темное пятно, словно в печь для отходов попал мазут. Он даже не разбирал за ним домики. Только опустившись на

летное поле, увидел он обугленный истребитель, искореженные вертушки, выжженный ангар.

Он снова поднял вертушку и прошел на бреющем над лагерем — так низко, что мог задеть высокий конус печи: единственное, что осталось здесь торчать. Все остальное пропало — лесопилка, котельная, склады, штаб, хижины, бараки, поселение сущей — все. Остались черные остовы да обломки, еще дымившиеся. Но это был не лесной пожар. Лес-то стоял на месте, рядом с развалинами, зеленел. Дэвидсон заложил вираж обратно к летному полю, приземлился и бросился искать мотоцикл — но от него тоже остался только почерневший металлолом среди тлеющих вонючих обломков ангара и техники. Дэвидсон быстро направился по тропинке к лагерю. На пути мимо остова радиостанции снова начал соображать. Не сбиваясь с шага, сошел с тропы за выжженную хижину. Остановился. Прислушался.

Никого. Все тихо. Пожар давно погас; лишь большие штабели древесины еще тлели, раскаленные докрасна под пеплом и углями. Эти продолговатые кучи пепла стоили дороже золота. Но от черных скелетов бараков и хижин дым уже не поднимался — и там в золе виднелись кости.

Теперь, когда Дэвидсон укрылся за радиостанцией, его мозг прояснился и заработал в полную мощь. Варианта было два. Первый: нападение другого лагеря. Какой-то офицер на Кинге или Новой Яве стал совсем спла и пытается совершить планетный переворот. Второй: внепланетное нападение. Он же видел в космопорте Центрального золотую башню. Но если «Шеклтон» вдруг решил попиратствовать, зачем начинать с мелкого лагеря, а не Центрвилля? Нет, это наверняка вторжение, инопланетяне. Какая-то неизвестная раса — а может, и таукитцы или хайнцы решили заявить права на земные колонии. Дэвидсон никогда не доверял чертовым головастым гуманоидам. Наверняка сбросили тепловую бомбу. На острове или рифе где угодно в юго-западном четвертьшарии можно было с легкостью спрятать войска с истребителями, аэромобилями и ядерными боеголовками. Надо вернуться на вертолет и послать сигнал тревоги, а потом оглядеться, провести рекогносцировку, чтобы было о чем докладывать. Он как раз выпрямлялся, как тут услышал голоса.

Не человеческие. Высокие, тихие, говорят тарабарщину. Инопланетяне.

Припав на четвереньки за пластмассовой

крышей радиостанции, перекошенной жаром и лежащей на земле, словно крыло летучей мыши, он замер и прислушался.

В нескольких ярдах от него по тропинке прошли четверо сущей. Они были из диких — голые, не считая широких кожаных ремней с ножами и кисетами. Ни шорт, ни кожаного ошейника, как у ручных. Добровольцев в бараках, видимо, сожгли вместе с людьми.

Четверка остановилась неподалеку от его укрытия, медленно переговариваясь на своей тарабарщине, и Дэвидсон затаил дыхание. Не улыбалось, чтобы его заметили. Какого дьявола здесь делают сущи? Они явно могли быть только лазутчиками и разведчиками инопланетных сил.

Один, не замолкая, показал на юг и повернулся, и Дэвидсон разглядел его морду. И узнал. Все сущи на одно лицо, но этот отличался. Дэвидсон сам расписался на этой морде меньше года назад. Тот самый сущ, что стал спла и напал на него в Центре — кровожадный, питомец Любова. Какого черта тут творится?

Мысли Дэвидсона забегали, сложились вместе: с мгновенной реакцией, как обычно, он встал во весь рост — внезапный, высокий, с пистолетом

в руке.

— Вы, сущи. Стоять. Спокойно. Не двигаться!

Его голос хлестнул, как кнут. Все четыре зеленых существа не шелохнулись. Тот, что с разбитой мордой, смотрел на него над черными развалинами большими пустыми глазами, в которых не было света.

— Отвечайте. Пожар, кто начал?

Нет ответа.

— Отвечайте, живо-быстро! Не будет ответа — сожгу одного, потом еще одного, потом еще, поняли? Пожар, кто начал?

— Это мы сожгли лагерь, капитан Дэвидсон, — ответил тот, что из Центра, странным тихим голосом, кого-то напомнившим Дэвидсону, какого-то человека. — Все люди мертвы.

— Вы? Что это значит?

Почему-то имя Морды со Шрамом никак не вспоминалось.

— Здесь было двести человек. Девяносто рабов из моего народа. Из леса вышли девять сотен наших. Сначала мы убили людей в лесу, где они валили деревья, потом убили всех здесь, пока горели дома. Я думал, вы погибли. Рад вас видеть, капитан Дэвидсон.

Какое-то безумие — и, конечно же, ложь. Они

не могли убить всех — Ока, Бирно, Ван Стена, всех остальных, двести человек, кто-то должен был спастись. У сущей ведь только луки со стрелами. И вообще, сущи на такое не способны. Они не дерутся, не убивают, не ведут войны. Они не проявляют внутривидовую агрессию, другими словами — живые мишени. Они не дают сдачи. И уж точно не вырезают двести человек по щелчку пальцев. Безумие. Тишина, слабая вонь гари, разлитая в теплом вечернем свете, бледно-зеленые рожи с неподвижными глазками, наблюдавшими за ним, — все это не складывалось, безумный сон, кошмар.

— Кто это за вас сделал?

— Девять сотен наших, — ответил Морда со Шрамом все тем же проклятым человечным голосом.

— Нет, я о другом. Кто еще? Кому вы служите? Кто сказал вам, что делать?

— Моя жена.

Тут Дэвидсон заметил, как сменилась стойка суща, но тот скакнул в сторону так прытко, что Дэвидсон промазал, прожег дырку только в плече или руке, а не между глаз. И затем сущ уже налетел — вдвое меньше и легче, но сбил с ног своим весом, потому что Дэвидсон полагался на

оружие и не ожидал атаки. Руки у создания были худые, сильные, покрыты грубой шерстью, и, пока Дэвидсон боролся, оно пело.

Его повалили навзничь, прижали, разоружили. На него уставились четыре зеленые морды. Тот, что со шрамом, все еще напевал, не переводя дыхание, — все ту же тарабарщину, но с мелодией. Остальные трое слушали, обнажив зубы в ухмылках. Он никогда не видел, чтобы сущ улыбался. Он никогда не смотрел на морду суща снизу. Всегда сверху вниз. Свысока. Он заставлял себя не сопротивляться, потому что сейчас это было бесполезно. Хоть и мелкие, они взяли числом, а Морда со Шрамом забрал его пистолет. Приходилось выжидать. Но его мутило, дурнота не давала лежать спокойно, вынуждая дергаться и вырываться против его воли. Мелкие руки удерживали его без труда, над ним покачивались их ухмылки.

Морда со Шрамом допел. Присел на груди Дэвидсона с ножом в одной лапе и пистолетом — в другой.

— Вы не умеете петь, капитан Дэвидсон, да? Ну, тогда бегите к своей вертушке, и улетайте, и скажите полковнику в Центре, что лагерь сожжен и все люди убиты.

Мех на его правой лапе слипся от крови — удивительно красной, как человеческая, — а в зеленой лапе дрожал нож. Избитое лицо склонилось к Дэвидсону совсем близко, и теперь он разглядел странноватый свет, горевший где-то глубоко в угольно-черных глазах. Голос все еще оставался тихим и спокойным.

Его отпустили.

Он осторожно поднялся, все еще приходя в себя после падения. Теперь сущи отступили подальше, зная, что он может дотянуться вдвое дальше их, но вооружен был не только Морда со Шрамом, ему в брюхо нацелился и второй пистолет. И держал его Бен. Его собственный сущ Бен, мелкая седая вшивая гадина, все с таким же тупым видом, но теперь еще и с пистолетом.

Трудно отвернуться от двух нацеленных стволов, но Дэвидсон отвернулся и направился к летному полю.

За ним раздалось какое-то словечко сущей, пронзительно и громко. Второй голос произнес: «Живо-быстро!» — и послышался странный звук, будто расчирикались птицы: похоже, смех сущей. Грохнул выстрел, мимо провизжала пуля. Господи, так нечестно, они с пистолетами, а он — нет. Он сорвался на бег. Он бы обогнал любого

суща. А они не умели толком стрелять.

— Беги, — раздался тихий голос далеко за спиной. Это был Морда со Шрамом — и его имя было Селвер. Его звали просто Сэм, пока Любов не помешал Дэвидсону воздать ему по заслугам и сделал из него своего питомца, и тогда его стали называть Селвер. Господи, да что же это, какой-то кошмар. Он бежал. В ушах шумела кровь. Он бежал через золотой смрадный вечер. У тропинки лежал труп, которого он даже не заметил на пути к лагерю. Он не обгорел — лежал, напоминая сдутый белый шарик. Таращился голубыми глазами. Дэвидсона не осмелились убить. Больше в него не стреляли. Это невозможно. Его не могли убить. Вот вертушка, сияющая и безопасная, и он заскочил в кресло и взмыл раньше, чем они что-нибудь учудили. Руки тряслись, но не слишком — всего лишь шок. Его не могли убить. Он сделал круг над холмом и затем низко пронесся в поисках четырех сущей. Но ничто не двигалось в дымящихся развалинах.

Утром здесь был лагерь. Двести человек. Только что здесь были четверо сущей. Ему все это не приснилось. Не могли они просто взять и исчезнуть. Они где-то там, прятались. Он открыл огонь из пулемета в носу вертушки, вспарывая обго-

релую землю, прошивая зеленую листву леса, поливая пулями обугленные кости и остывшие трупы своих людей, искореженную технику, гниющие белые пни, делал круг за кругом, пока не истратил весь боезапас и пулемет не прекратил содрогаться.

Руки Дэвидсона уже не трясло, тело насытилось, и он знал, что это не сон. Он направился обратно через пролив, доставить вести в Центрвилль. В полете он чувствовал, как его лицо расслабляется и принимает обычное спокойное выражение. Его ни в чем не обвинят, ведь его даже не было на месте. Может, даже заметят, что сущи напали в его отсутствие — знали, что у них ничего не получится, если обороной будет командовать он. И из этого выйдет хоть что-то хорошее. Люди наконец поступят, как надо было поступить с самого начала, и расчистят планету для человеческого заселения. Теперь даже Любов не помешает выжечь сущей — особенно когда все узнают, что его питомец и возглавил резню! Теперь люди займутся истреблением крыс; и вдруг — кто знает? — эту работенку поручат ему. От этой мысли так и хотелось улыбаться. Но его лицо оставалось расслабленным.

Море внизу отливало серым в сумерках, а

впереди во мгле высилась островная гряда с глубокими складками, леса со множеством ручьев, со множеством листьев.

2

Все оттенки ржавчины и заката, красно-бурые и бледно-зеленые, непрестанно сменялись в листьях на ветру. Корни медных ив, толстые и корявые, поросли зеленым мхом у воды, которая, как и ветер, пробиралась медленно, со множеством завихрений, словно бы мешкая, когда упиралась в камни, корни, нависающие и опавшие листья. В лесу не бывает так, чтобы дорога шла прямо, чтобы не преломлялись лучи. В ветер, воду, солнечный и звездный свет всегда влезал лист или ветка, нарост и корень, все тенистое, все запутанное. Под кронами, вокруг стволов, через корни вились тропинки; они не шли прямо, а подчинялись каждому препятствию, изворотливые, словно нервы. Земля здесь не твердая и сухая, а влажная и довольно пружинистая — итог совместного труда всей жизни с долгой трудной смертью листвы и деревьев; и из этого богатого кладбища поднимались как девяностофутовые стволы, так и крошечные грибы, что росли кругами в полдюйма в диаметре. Запах вкрадчивый,

разнообразный, сладкий. Никогда не видно дальше собственного носа — разве что заметишь звезды в просвете меж ветками. Здесь не бывает чисто, сухо или ровно. Не хватает откровений. Нельзя охватить все и сразу — нет никакой уверенности. В нависшей листве медных ив то и дело сменялись оттенки ржавчины и заката, и даже не скажешь, какого она цвета: буровато-красная, или красновато-зеленая, или зеленая.

Селвер вышел на тропинку вдоль ручья, шагая медленно и часто запинаясь о корни ив. Увидев спящего старика, он остановился. Старик посмотрел на него через длинные ивовые листья и увидел в своих снах.

— Позволь войти в твой Дом, Властитель Сновидцев? Я прошел долгий путь.

Старик сидел неподвижно. Немного погодя Селвер присел на корточки у тропинки, рядом с ручьем. Уронил голову — так он устал и хотел спать. Он шел пять дней кряду.

— Ты из времени снов или времени мира? — спросил наконец старик.

— Из времени мира.

— Тогда идем со мной. — Старик резво встал и повел Селвера по петляющей тропинке прочь из ивовой рощи, через дубы и терн, где было суше,

темнее. — Я принял тебя за бога, — произнес он, на шаг впереди. — И помстилось мне, что я тебя уже видел — быть может, во сне.

— Не во времени мира. Я из Сорнола и никогда здесь не бывал.

— Это поселение — Кадаст. Я — Коро Мена. Из клана Боярышника.

— Мое имя — Селвер. Из клана Ясеня.

— Среди нас хватает людей из клана Ясеня, как мужчин, так и женщин. Есть и из твоих брачных кланов, Березы и Падуба; нет женщин из Яблони. Но ты и не жену пришел искать, верно?

— Моя жена мертва, — ответил Селвер.

Они вышли к Мужскому Дому на пригорке, в молодой дубраве. Там они заползли в нору. Внутри старик распрямился, но Селвер остался на четвереньках, не в силах подняться. Теперь, когда помощь и отдых были так близко, его загнанное тело отказывалось двигаться. Он лег, и его глаза закрылись; и Селвер с превеликим облегчением и благодарностью провалился в великую тьму.

Его выхаживали мужчины из Дома Кадаст; приходил целитель, чтобы заняться раной на правой руке. В ночи Коро Мена и целитель Торбер сидели у огня. Той ночью почти все мужчины были с женами; на скамьях осталась только пара юных

учеников-сновидцев — и оба крепко уснули.

— Не ведаю, отчего могут быть такие шрамы, как у него на лице, — произнес целитель, — и еще меньше — такая рана в руке. Очень странная рана.

— И очень странный механизм у него на поясе, — сказал Коро Мена.

— Я его видел и не видел.

— Я убрал его ему под скамью. С виду полированное железо, но не похоже на работу наших мужчин.

— Он сказал тебе, что пришел из Сорнола.

Оба недолго помолчали. Коро Мена ощутил беспричинно гнетущий страх и ускользнул в сон в поисках его причин; ведь он был стариком и мастером своего дела. Во сне шли великаны, тяжелые и опасные. Их сухие чешуйчатые лапы были обернуты тряпками; их глаза были мелкими и светлыми, как жестяные бусины. За ними ползли огромные подвижные штуки из полированного железа. Перед ними падали деревья.

Из падающих деревьев выбежал человек — громко крича, с кровью на губах. Тропа, по которой он бежал, была дверной тропой Дома Кадаст.

— Что ж, сомнений нет, — произнес Коро Мена,

легко возвращаясь из сна. — Он пришел прямо из-за морей из Сорнола или же пешком с побережья Келме Дева на нашей земле. Путники говорят, великаны есть и там, и там.

— Последуют ли они за ним, — сказал Торбер; ни старик, ни лекарь не стали отвечать на его вопрос, который и не был вопросом — лишь утверждением о возможности.

— Однажды ты видел великанов, верно, Коро?

— Однажды, — сказал старик.

Он видел сны; порой, будучи дряхлее и слабее, чем раньше, он проваливался в сон надолго. Настал следующий день, перевалил за середину. Перед домом прошли охотники, щебетали дети, переговаривались женщины голосами журчащей воды. Сухой голос окликнул Коро Мену от двери. Он выполз на вечерний свет. Перед норой стояла его сестра, с удовольствием принюхиваясь к благоухающему ветру, но все же с суровым видом.

— Чужак проснулся, Коро?

— Еще нет. За ним приглядывает Торбер.

— Нам надо услышать его историю.

— Он наверняка скоро встанет.

Эбор Дендеп нахмурилась. Будучи старейшиной Кадаста, она переживала за своих людей;

но все же не хотела тревожить раненого или оскорблять Сновидцев, требуя своего права войти в их Дом.

— Ты не мог бы его разбудить, Коро? — спросила она наконец. — Вдруг… за ним погоня?

Чувства сестры не шли в одной упряжке с его собственными, но отдались в нем; в него впилось ее отчаяние.

— Если позволит Торбер, разбужу, — сказал он.

— Постарайся разузнать от него вести, и поскорее. Жаль, он не женщина и не говорит понятно…

Незнакомец уже пробудился и лежал в жару, в полутьме Дома. В его глазах еще мчались необузданные сны о болезни. И все же он сел и заговорил, стараясь рассказывать ясно. И пока Коро Мена слушал, кости в нем словно съеживались, стараясь скрыться от этой ужасной истории, от этого нового явления.

— Я был Селвер Теле, когда жил в Эшрете, что в Сорноле. Мой город разрушили землянины, вырубив в том краю леса. Меня среди прочих заставили им прислуживать, как и мою жену Теле. Один изнасиловал ее, и она умерла. Я напал на человека, который ее убил. Он бы убил и меня, но меня спас другой и отпустил на свободу.

Я покинул Сорнол, где теперь нигде нет житья из-за землянинов, и пришел сюда, на Северный остров, и поселился на побережье Келме Дева, в Красных Рощах. Теперь землянины пришли и туда и начали вырубать мир. Они уничтожили большой город Пенле. Они поймали сотню мужчин и женщин, чтобы те жили в загонах и служили им. Меня не поймали. Я жил с другими сбежавшими из Пенле, в трясинах севернее Келме Дева. Иногда я по ночам приходил к нашим, сидевшим в загонах землянинов. Мне рассказали, что там есть и тот самый. Тот самый, кого я пытался убить. Сначала я хотел попытаться еще раз — либо выпустить людей из загонов. Но сколько я там был, столько видел, как падают деревья, как мир потрошат и бросают гнить. Мужчины бы сбежали, но женщин стерегли надежней, и они уже начали вымирать. Я говорил с теми, кто скрывался в трясинах. Мы все очень боялись и очень злились, и не могли выпустить страх и злобу. И наконец, после долгих разговоров, и долгих снов, и разных планов мы пришли среди бела дня и убили землянинов в Келме Дева стрелами и охотничьими копьями, и сожгли их город и машины. Мы не оставили ничего. Но того самого не было. Позже он вернулся один. Я пел над ним

— и отпустил.

Селвер замолк.

— Потом? — прошептал Коро Мена.

— Потом из Сорнола прибыл летающий корабль и охотился на нас в лесу, но никого не нашел. И тогда они подожгли лес; но пошел дождь, и они не наделали много вреда. Многие пленники из загонов и другие разошлись далеко на север и восток, к холмам Холле, ведь мы боялись, что нас придут ловить много землянинов. А я пошел один. Меня землянины знают, знают мое лицо; и это пугает меня — и тех, с кем я нахожусь.

— Что у тебя за рана? — спросил Торбер.

— Эта рана от того, что он стрелял в меня из оружия человеков; но я пел над ним и отпустил.

— Ты в одиночку поверг великана? — спросил Торбер со свирепой улыбкой, всей душой желая поверить.

— Не в одиночку. С тремя охотниками и с оружием в руках — этим.

Торбер отпрянул от незнакомой штуки.

Какое-то время все молчали. Наконец Коро Мена проговорил:

— Твой рассказ черен, а дорога ведет только вниз. Ты Сновидец своего Дома?

— Был. Дома Эшрета больше нет.

— Они все едины; мы вместе говорим на Древнем Языке. Среди ив Асты ты обратился ко мне, назвав Властителем Сновидцев. Так и есть. Ты видишь сны, Селвер?

— Теперь редко, — ответил Селвер, подчиняясь катехизису и склоняя израненное, взмокшее от жара лицо.

— Наяву?

— Наяву.

— Хорошо ли ты видишь сны, Селвер?

— Нет.

— Держишь ли свой сон в руках?

— Да.

— Ты по своей воле ткешь и ваяешь, направляешь и следуешь, начинаешь и прекращаешь?

— Иногда, не всегда.

— Можешь ли идти по дороге своего сна?

— Иногда. А иногда мне страшно.

— Кому не страшно? У тебя все не так уж плохо, Селвер.

— Нет, все плохо, — ответил он, — не осталось ничего хорошего. — И его начало трясти.

Торбер дал ему ивовый настой и уложил обратно в постель. Коро Мена все еще не задал вопрос старейшины; скрепя сердце, он присел к больному и произнес:

— Великаны — эти землянины, как ты их зовешь, — идут ли они по твоему следу, Селвер?

— Я не оставлял следов. Никто не видел меня между Келме Дева и этим местом, все шесть дней. Угрозы нет. — Он попытался снова сесть. — Слушайте, слушайте. Вы не видите опасности. Как же вы ее увидите? Вы не делали того, что сделал я, вам такое даже не снилось — принести смерть двум сотням людей. Они не придут за мной, но придут за нами всеми. Будут охотиться, как охотники загоняют даманов. Вот где угроза. Они попытаются убить нас. Убить нас всех — всех людей.

— Приляг…

— Нет, это не бред — это правда и сон. В Келме Дева было двести землянинов, и теперь все мертвы. Мы убили их. Мы убили их так, будто они не люди. Разве они не ответят тем же? Они убивали нас по одному, а теперь будут убивать так же, как убивают деревья: сотнями, и сотнями, и сотнями.

— Спокойно, — сказал Торбер. — Так бывает только в горячечном сне, Селвер. Так не бывает в мире.

— Мир всегда новый, — возразил Коро Мена, — как бы ни были древни его корни. Селвер, что это

за существа? Они выглядят как люди и говорят как люди, так разве они не люди?

— Не знаю. Разве люди убивают других людей, кроме как в припадке безумия? Разве зверь убивает своих? Только насекомые. А землянины убивают нас так же легко, как мы — змей. Тот, кто меня учил, говорил, что они убивают и друг друга — в ссорах, или в большом числе, будто муравьи. Этого я не видел. Но знаю, что они не щадят того, кто просит о жизни. Они добивают тех, кто подставляет горло, я видел это сам! В них есть желание убивать — и потому я решил предать их всех смерти.

— И сны всех людей изменятся, — сказал Коро Мена, сидевший в темноте, скрестив ноги. — Они уже никогда не будут прежними. Больше никогда я не пройду по тропе, где прошел с тобой вчера, от ивовой рощи, где ходил всегда. По той тропе прошел ты — и она полностью изменилась. До того дня то, что нам приходилось делать, было правильно; путь, которым приходилось идти, был верным и вел нас домой. Где теперь наш дом? Ведь теперь ты сделал то, что пришлось сделать тебе, и это неправильно. Ты убивал. Я видел их пять лет назад, в долине Лемган, когда они прилетели на корабле; я спрятался и наблюдал за

шестеркой великанов, и видел, как они переговариваются, как осматривают камни и растения, как готовят еду. Это люди. Но ты жил среди них, Селвер, ты и ответь мне: грезят ли они?

— Как дети — во сне.

— Они не умеют?

— Нет. Иногда они говорят о своих снах, их целители пытаются применять их для лечения, но никто не обучен и не умеет грезить. Любов — тот, кто меня учил, — понял, когда я показал, как грезить, но даже он зовет время мира «настоящим», а время снов — «ненастоящим», как будто между ними есть разница.

— Ты сделал то, что тебе пришлось, — повторил Коро Мена после паузы. Их взгляды встретились в тенях. От лица Селвера отлило отчаянное напряжение; израненные губы расслабились, и он откинулся назад, больше не прибавив ни слова. Уже скоро он снова спал.

— Он бог, — произнес Коро Мена.

Торбер кивнул, чуть ли не с облегчением принимая вердикт старца.

— Но не такой, как другие. Не как Гонитель, не как Друг-без-лица, не как Женщина Осинового Листа, что идет в лесу снов. Он не Привратник и не Змей. Не Лирист и не Охотник, хотя и при-

ходит во время мира, как они. В последние годы мы могли видеть сны о Селвере, но больше не будем — он покинул время снов. В лесу, через лес он идет, где падают листья, где падают деревья: бог, что познал смерть, бог, что убивает и не перерождается.

Старейшина выслушала новости и пророчества Коро Мены и перешла к действию. Она подняла в городе Кадаст тревогу, проследив, чтобы каждая семья была готова сняться и уйти — с заготовленной провизией, с носилками для старых и немощных. Разослала молодых разведчиц на юг и восток, чтобы приносили вести о землянинах. Всегда держала у города отряд вооруженных охотников, тогда как другие уходили каждую ночь, как обычно. И когда Селвер окреп, потребовала, чтобы он вышел из Дома и рассказал свою историю: как землянины убивают и порабощают людей в Сорноле, как вырубают леса; как народ Келме Дева убил землянинов. Она заставила женщин и негрезящих мужчин, которые ничего не поняли, выслушивать вновь, пока они наконец не поняли — и не устрашились. Эбор Дендеп была практичной женщиной. Когда ее брат, Великий Сновидец, рассказал, что Селвер — бог, носитель перемен, мост меж мирами, она поверила и пе-

решла к действию. Дело Сновидца — соблюдать осторожность, выносить верный вердикт. Ее дело — действовать, исходя из вердикта. Он знал, что нужно сделать; она знала как.

— Все города леса должны услышать, — сказал Коро Мена. И старейшина разослала молодых скороходов, и старейшины других городов прислушались и разослали своих. Убийства в Келме Дева и имя Селвера облетели Северный остров, перенеслись через моря на другие земли, с голоса на голос или в письменном виде; не слишком быстро, ведь у лесного народа не было посланцев быстрее бегунов; но все-таки быстро.

На Сорока Землях планеты жил не один народ. Языков было больше, чем земель, и вдобавок в каждом поселении — свой диалект; бесконечные паутины повадок, нравов, обычаев, ремесел; жители каждой из пяти Великих Земель отличались внешностью. Народ Сорнола — великие купцы, высокие и бледные; народ Ришвела — низкий, и многие носили черный мех, и ели обезьян; и так далее и тому подобное. Но климат почти не отличался, как и лес, а море не отличалось и вовсе. Благодаря любознательности, торговым маршрутам и потребности искать мужа или жену от соответствующего Древа люди легко перетекали

между землями, и отдельные внешние черты можно было встретить всюду, кроме самых далеких уголков — полулегендарных варварских островков Дальнего Востока и Юга. Во всех Сорока Землях городами и поселениями правили женщины, почти у каждого поселения имелся Мужской Дом. В Домах Сновидцы говорили на древнем языке — и он почти не отличался от земли к земле. Его редко учили женщины или те мужчины, которые были охотниками, рыбаками, ткачами, строителями, которые видели вне Дома лишь обрывки снов. Письменность чаще тоже была на языке Домов, и, когда старейшины отправляли послания, письма переходили из Дома в Дом и толковались Сновидцами Старшим Женщинам — как и прочие документы, слухи, невзгоды, мифы и сны. Но последнее слово о том, верить или нет, всегда оставалось за Старшими Женщинами.

Селвер был в каморке в Эшсене. Дверь стояла незапертой, но он знал, что если откроет ее, то впустит что-то плохое. Сколько она закрыта, столько все будет хорошо. Но беда была в том, что перед домом росли молодые деревца, целый сад; не фруктовый или ореховый, а какой-то еще, хотя какой — он не помнил. Он вышел узнать,

что это за деревья. Все уже были переломаны или выкорчеваны. Он поднял серебристую веточку — и со слома скатилась капля крови. Нет, только не здесь, только не снова, Теле, сказал он: о, Теле, приди ко мне перед своей смертью! Но она не пришла. Оставалась лишь ее смерть, сломанная березка, открытая дверь. Селвер быстро вернулся в дом и обнаружил, что он высокий, как дом землянинов — высокий и полный света. За дверью на другом конце высокой комнаты тянулась длинная улица города землянинов, Централа. На поясе Селвера висел пистолет. Если появится Дэвидсон, он его застрелит. Селвер ждал, у самой открытой двери, выглядывая на солнечный свет. Появился Дэвидсон, огромный, и побежал так быстро, что Селвер не успевал прицелиться, пока тот бешено вихлял зигзагами по широкой улице — очень быстро, все ближе и ближе. Пистолет был тяжелым. Селвер выстрелил, но из него не вырвалось огня, и тогда в бешенстве и ужасе он швырнул пистолет на землю — и сон ушел.

Он сплюнул в отвращении и унынии, вздохнул.

— Плохой сон? — поинтересовалась Эбор Дендеп.

— Все они плохие и все одинаковые, — ответил

он, но его все же понемногу отпускали волнение и печаль. Прохладный утренний свет падал пестрыми столбами через резную листву и ветки березовой рощи Кадаста. Старейшина плела корзину из черноствольного папоротника, потому что не любила, чтобы ее пальцы оставались без дела, а Селвер лежал рядом, в полусне и сне. Он провел в Кадасте уже пятнадцать дней, его рана заживала. Он все еще много спал, но теперь впервые за много месяцев снова начал грезить, и регулярно, не раз-два днем и ночью, а с истинным пульсом и ритмом сновидения, что должны нарастать и опадать от десяти до четырнадцати раз за суточный цикл. Пусть сны были плохие, сплошь ужас и стыд, он все равно им радовался. Ведь он уж начал бояться, что оторвался от корней, зашел слишком далеко в мертвый край действия, чтобы найти путь назад, к родникам реальности. Но теперь, пусть вода была горька, он снова к ней припал.

И вновь он повалил Дэвидсона в прахе сожженного лагеря, но теперь вместо того, чтобы петь, ударил ему по зубам камнем. Хрустнули зубы, побежала между белыми осколками кровь.

Этот сон был полезен — примитивное исполнение желаний, — но на этом Селвер его и прервал:

видел уже не раз, как до встречи с Дэвидсоном в пепле Келме Дева, так и после. В том сне не было ничего, кроме облегчения. Глоток пресной воды. А ему требовалась горечь. Ему нужно было вернуться, и не в Келме Дева, а на ту длинную страшную улицу чужого города под названием Централ, где он бросил вызов Смерти — и проиграл.

Работая, Эбор Дендеп напевала про себя песню. Ее тонкие руки с шелковистым зеленым мехом, посеребренным от возраста, ловко плели черные стебли папоротника, быстро и четко. Пела она о сборе папоротников — девичью песнь: я собираю папоротники, я гадаю, вернется ли он… Ее слабый старческий голос переливался, как у сверчка. В листве берез дрожало солнце. Селвер положил голову себе на ладони.

Березовая роща росла почти посередине города Кадаста. От нее расходились, петляя меж деревьев, восемь узких троп. Веяло древесным дымом — на южном краю рощи, где ветки росли не так густо, было видно, как поднимается из дымохода дым нитями синей пряжи, расплетающейся в листьях. Приглядись среди живых дубов и других деревьев — и заметишь крыши, торчащие на пару футов от земли, сто или двести штук — и не

сосчитать. Деревянные дома уходили в землю на три четверти, пристраиваясь между корней, как барсучьи норы. Крыши были забросаны мелкими сучьями, иголками, тростником, заплесневелой почвой. Так крыши защищали от холода, влаги, чужих взглядов. Вокруг березовой рощи, где сидела Эбор Дендеп и плела корзину, жили своей жизнью лес и сообщество в восемь сотен человек. Птица в кроне над ее головой нежно молвила: «Ти-вит». Человеческого шума было больше обычного, потому что за последние дни сюда стянулись пятьдесят-семьдесят чужаков, в основном — молодежь, привлеченная появлением Селвера. Кое-кто из других северных городов, а кое-кто — из тех, кто вместе с ним убивал в Келме Дева; они последовали сюда за слухами, чтобы затем последовать за ним. И все же голоса тут и там, голоса моющихся женщин или детских игр у ручья, были не громче утренней птичьей песни, и жужжания насекомых, и вечного обертона живого леса, единого с поселением.

Внезапно появилась девушка — молодая охотница цвета бледной березовой листвы.

— Слово с южного побережья, мать, — сказала она. — В Женском Доме — скороход.

— Шли ее сюда, как подкрепится, — тихо ото-

звалась старейшина. — Ш-ш, Толбар, ты что, не видишь, что он спит?

Девушка наклонилась за широким листом дикого табака и аккуратно накрыла Селверу глаза, на которые все ярче светил столб солнечного света. Он лежал с приоткрытыми ладонями, обратив израненное, битое лицо к небу, такое ранимое и глупое: Великий Сновидец, заснувший, как дитя. Но наблюдала Эбор Дендеп за лицом девушки. В беспокойной тени оно сияло от жалости и ужаса, от восхищения.

Толбар скрылась. Наконец пришли две Старшие Женщины и вестница, безмолвно ступая вереницей по забрызганной солнцем тропе. Эбор Дендеп подняла ладонь, призывая к тишине. Вестница тут же улеглась и расслабилась; ее заляпанный бурым зеленый мех был покрыт пылью и потом: она бежала долго и быстро. Старшие Женщины сели на солнцепеке и застыли. Словно два замшелых серо-зеленых валуна, но с яркими, живыми глазами.

Селвер, мучаясь из-за неподвластного ему сна, вскрикнул, словно от великого ужаса, и проснулся.

Он отошел испить воды из ручья; когда вернулся, за ним следовали шестеро-семеро из тех, кто

всегда следовал за ним. Старейшина отложила незаконченную корзину и произнесла:

— Теперь приветствую тебя, скороход; говори.

Девушка поднялась, склонилась перед Эбор Дендеп и передала послание:

— Я пришла из Третата. Мои слова — от Сорброн Дэвы, до того — от моряков Пролива, до того — от Бротера в Сорноле. Они предназначены для всего Кадаста, но произнести их велено мужчине по имени Селвер, рожденному от Ясеня в Эшрете. Вот слова послания: в большом городе великанов в Сорноле появились новые великаны, и многие из новых — женщины. В месте, что зовется Пеха, взлетает и опускается желтый огненный корабль. В Сорноле известно, что Селвер из Эшрета сжег город великанов в Келме Дева. Великие Сновидцы Изгнанников в Бротере видели во сне великанов многочисленнее, чем есть деревьев в Сорока Землях. Это все слова моего послания.

После ее речитатива все замолчали. Где-то вдали птица робко сказала:

— Уит-уит?

— Это очень скверное время мира, — произнесла одна из Старших Женщин, потирая больное от ревматизма колено.

Серая птица спланировала с живого дуба, обо-

значавшего северный край города, и парила кругами, раскинув ленивые крылья на утреннем ветру. Рядом с городом всегда росло гнездовое дерево таких серых «воздушных змеев» — они собирали мусор.

Через березовую рощу пронесся упитанный мальчуган, убегая от старшей сестры, и оба визжали тонкими голосами наперебой, словно летучие мыши. Мальчишка упал и заплакал, девочка утерла ему слезы большим листом. Рука об руку они снова скрылись в лесу.

— Там был один, кого звали Любов, — сказал Селвер старейшине. — Я рассказал о нем Коро Мене, но не тебе. Когда меня убивал тот самый, меня спас Любов. Это Любов поставил меня на ноги и отпустил на волю. Он хотел знать о нас больше, и я отвечал на его расспросы, а он отвечал на мои. Однажды я спросил, как выживает его раса, если у них так мало женщин. Он ответил, что там, откуда они родом, половина населения — женщины; но мужчины привезут женщин на Сорок Земель, только когда подготовят для них место.

— Только когда мужчины подготовят место для женщин? Что ж! Долго же им придется ждать, — сказала Эбор Дендеп. — Они как народ

из Вязового Сна, который ходит задом наперед, с вывернутыми в обратную сторону головами. Они переделывают лес в сухой пляж… (в ее языке не было слова, означающего «пустыня») …и зовут это местом для женщин? Им надо было выслать женщин первыми. А может — кто знает? — у них и Великие Сны видят женщины? Все у них шиворот-навыворот, Селвер. Они сумасшедшие.

— Люди не бывают сумасшедшими.

— Но ты сам говорил, что они грезят только во сне; ты сам говорил, чтобы грезить наяву, они принимают отраву и не могут управлять снами! Что может быть безумнее? Они отличают время снов от времени мира не лучше младенца. Может, убивая дерево, они думают, будто оно снова оживет!

Селвер покачал головой. Он по-прежнему говорил со старейшиной так, словно в березовой роще они наедине: тихим робким голосом, почти сонно.

— Нет, смерть они понимают очень хорошо… Конечно, видят они ее не так, как мы, но кое-что знают и понимают больше нас. Любов понял почти все, что я ему рассказывал. А многое из того, что рассказывал он, я понять не мог. И мешал не язык: я знаю его язык, а он выучил наш;

мы вместе писали на двух языках. И все-таки он рассказывал то, что я понять не мог. Он говорил, землянины не из леса. Это понятно. Он сказал, они хотят лес: деревья — ради древесины, землю — чтобы растить свою траву. — Голос Селвера, все еще тихий, постепенно креп, люди среди серебристых деревьев прислушивались к нему. — Все это ясно тем из нас, кто видел, как они вырубают мир. Он говорил, что землянины — как мы, что мы родня, так же близки, как, наверное, красный олень — с серым. Он говорил, они родом из другого места, которое не есть лес; там все деревья вырублены; там есть солнце — не наше; и что все солнца — звезды. Все это, как видите, мне неясно. Я повторяю его слова, но не понимаю, что они значат. Но это неважно. Ясно, что они хотят забрать наш лес. Они вдвое выше нас, их оружие стреляет вдвое дальше, они могут поливать огнем, летать на кораблях. Теперь они привезли женщин и заведут детей. Теперь их не меньше двух тысяч, а то и три, и почти все — в Сорноле. Но если мы прождем еще жизнь или две, они размножатся; их число удвоится и учетверится. Они убивают мужчин и женщин; они не щадят тех, кто просит о жизни. Они не состязаются в песне. Наверное, они оставили свои корни в том другом

лесу, откуда они пришли, в лесу без деревьев. Они принимают отраву, чтобы высвободить свои сны, но от этого только хмелеют или болеют. Никто не знает наверняка, люди они или нет, в своем уме или нет, но и это все неважно. Их надо прогнать из леса, потому что они опасны. Если они не уйдут подобру, их надо выжечь со всех Земель, как мы выжигаем муравейники жалящих муравьев из городских рощ. Если ждать, выкурят и выжгут нас. Они давят нас так же, как мы давим жалящих муравьев. Однажды, когда сжигали мой город Эшрет, я видел женщину: она лежала на пути человека и просила о жизни, а он наступил ей на спину и сломал хребет, а потом пнул с дороги, будто дохлую змею. Я это видел. Если землянины — люди, то их не учили или нельзя научить грезить и вести себя как люди. Поэтому они мучают, убивают и разрушают, подчиняясь своим богам внутри — которых не выпускают, а стараются выкорчевать и не слушать. Если это люди, то это злые люди, глухие к собственным богам; они боятся увидеть собственные лица во тьме. Старейшина Кадаста, выслушай меня. — Селвер встал, высокий и внезапный среди сидящих женщин. — Я думаю, мне пора вернуться в мою землю, в Сорнол, к тем, кто в изгнании, и к тем,

кто в рабстве. Скажите всем, кто видит сон о горящем городе, пойти за мной в Бротер.

Он поклонился Эбор Дендеп и покинул березовую рощу — все еще прихрамывая, с перевязанной рукой; и все-таки шагал он быстро, голову держал высоко, отчего казался здоровее иных. За ним тихо последовала молодежь.

— Кто он? — спросила вестница из Третата, провожая его взглядом.

— Тот, кому шло твое послание. Селвер из Эшрета, бог среди нас. Когда-нибудь видела бога, дочь?

— Когда мне было десять лет, в наш город приходил Лирист.

— Старина Эртел, да. Он был от моего Древа, из Северных Долов, как и я. Что ж, теперь ты видела второго бога, еще могущественнее. Расскажи о нем своему народу Третата.

— Что он за бог, мать?

— Новый, — произнесла Эбор Дендеп своим сухим старческим голосом. — Сын лесного пожара, брат убитых. Он тот, кто не переродится. А теперь идите, все вы, идите в Дом. Узнайте, кто пойдет с Селвером, соберите их в дорогу. Оставьте меня. Я полна дурных предчувствий, как глупый старик, и мне нужно спать…

Той ночью Коро Мена проводил Селвера до места их первой встречи, под медными ивами у ручья. Многие шли за Селвером на юг, всего около шестидесяти — больше людей в походе, чем здесь когда-либо видели. На пути через море в Сорнол они вызовут немало пересудов и привлекут к себе много больше сторонников. Селвер воспользовался на одну ночь своим правом Сновидца — правом одиночества. Он выходил один. Последователи нагонят его утром; и с того момента, когда он погрузится в толпу и действие, ему не останется времени на медленное и глубокое течение великих снов.

— Здесь мы встретились, — сказал старик, остановившись у склоненных веток, лиственных завес, — и здесь расстаемся. Наверняка те, кто пойдут нашими тропами после нас, назовут это место Рощей Селвера.

Какое-то время Селвер молчал, стоя неподвижно, как дерево, и серебряные листья вокруг него темнели, пока тучи заволакивали звездное небо.

— В этом ты увереннее меня, — произнес он наконец — голос во мгле.

— Да, уверен, Селвер… меня хорошо научили видеть сны, и к тому же я старик. Я уже почти не вижу снов для себя. И зачем? Меня мало что уди-

вит. А чего я хотел от жизни, то получил сполна и больше. Я получил всю свою жизнь. Столько же дней, сколько листьев в лесу. Я старое полое дерево, живы лишь корни. И потому я вижу сны всех остальных. У меня нет видений и желаний. Я вижу как есть. Вижу, как зреет плод на ветке. Уж четыре года зреет, этот плод на древе с глубокими корнями. Четыре года все мы боялись — даже те, кто живет вдали от городов землянинов и видел их только из укрытия, или только их корабли над головой, или только мертвые прогалины там, где они вырубили мир, или лишь слышал обо всем этом. Мы все боялись. Дети просыпались в слезах от снов о великанах; торговки не заходили далеко; мужчины в Домах не могут петь. Плод страха зреет. И я вижу, как ты его срываешь. Ты — собиратель. Все, что мы боимся знать, ты повидал, узнал: изгнание, стыд, боль, падение крыши и стен мира, погибшая в мучениях мать, необученные, недолюбленные дети… Это новое время мира: дурное время. И ты перестрадал все. Ты зашел дальше других. А дальше всего, в конце черной тропы, и растет Древо; и зреет плод; и теперь, Селвер, ты поднимаешь руку, теперь ты его срываешь. И мир меняется целиком, когда человек держит в руке плод того древа, чьи корни

уходят глубже корней леса. Люди это поймут. Они узнают тебя, как узнали мы. Не нужно быть старцем или Великим Сновидцем, чтобы узнать бога! Куда идешь ты, там горит огонь: его не разглядит только слепой. Но послушай, Селвер, вот что вижу я и что, наверное, не видят другие; вот почему я полюбил тебя: еще до нашей встречи я видел о тебе сон. Ты шел по тропе, и где ты шел, там росли за тобой молодые деревья, дуб и береза, ива и падуб, ель и сосна, ольха, вяз, белоцветный ясень, все крыша и стены мира, вечно обновляясь. А теперь ступай, дорогой бог и сын, и береги себя.

Темнело все больше, когда Селвер наконец выступил в поход, и даже его ночное зрение не различало ничего, кроме густой или ровной тьмы. Заморосил дождь. Он прошел всего несколько миль от Кадаста, когда настало время либо зажечь факел, либо остановиться. Он решил остановиться и на ощупь отыскал местечко в корнях большого каштана. Там он привалился спиной к широкому кривому стволу, словно еще хранившему солнечное тепло. Мелкие капли, незримо сыпавшие во тьме, стучали по листьям над головой, по рукам, шее и голове, защищенным густым шелковистым мехом, по земле, папоротникам и подлеску кругом, по всем ли-

стьям леса, далеко и близко. Селвер сидел тихо, как серая сова на ветке над ним, и не спал, широко раскрыв глаза в дождливой тьме.

3

У капитана Раджа Любова болела голова. Боль начиналась в мышцах правого плеча и разрасталась в сокрушительное крещендо барабанного боя над правым ухом. Центры речи находятся в коре левого полушария мозга, думал он, но произнести это не мог; не мог говорить, читать, спать, думать. Кора — дыра. Мигрень — голова набекрень, ай-ай-ай! Конечно, его лечили от мигрени в колледже, потом снова — во время обязательных Армейских профилактических психотерапевтических сеансов, но он все равно прихватил с Земли эрготаминовые таблетки, на всякий случай. Он уже принял две, и заодно супергипердупер-болеутоляющее, и успокаивающее, и что-то для пищеварения, чтобы противодействовать кофеину, который противодействовал эрготамину, но изнутри головы по-прежнему бурилось сверло, над самым правым ухом, под бой большого бас-барабана. Сверло, мурло, пилюли, пули, о боже. Избави нас Господи. Изба вина. А что делают от мигрени атшеане? Да ее у них и

нет, они бы развеяли все волнения в грезах за неделю до их появления. Сам попробуй, погрезь наяву. Начни, как тебя учил Селвер. Не зная ничего об электричестве, Селвер не понимал принцип ЭКГ, но стоило ему услышать об альфа-волнах и о том, как они появляются, он сказал: «Ах да, ты об этом», — и на записи в его маленькой зеленой голове тут же появились узнаваемые альфа-закорючки; и потом он за полчаса научил Любова, как включать и выключать альфа-ритмы. В этом нет ничего сложного. Но не сейчас, наш мир слишком давит, ай-ай-ай, над правым ухом, вечно слышу крылатую колесницу Времени, — ведь позавчера атшеане сожгли лагерь «Смит» и убили двести человек. Двести семь, если быть точным. Всех, кроме капитана. Неудивительно, что таблетки не могут добраться до центра его мигрени, который находился два дня назад, на острове на расстоянии двести миль. Далеко за холмами. Пепел, пепел падал вниз. А средь пепла — и все его знания о Высших Разумных Формах Жизни планеты 41, врафах. Прах, мусор, мешанина ложных данных и ложных гипотез. Почти пять зем-лет здесь — и он поверил, что атшеане неспособны на убийство, хоть своих, хоть чужих. Писал длинные статьи с объяснениями, как или

почему они не могут убивать других людей. И ошибся. Во всем ошибся.

Чего он не заметил?

Уже скоро пора на совещание в штабе. Любов аккуратно поднялся, двигаясь всем телом, чтобы не отвалилась правая половина головы; подошел к столу походкой человека под водой, плеснул себе рюмку казенной водки и выпил. Она вывернула его наизнанку; экстравертнула; привела в норму. Полегчало. Он вышел из дома и, зная, что не выдержит ухабы на мотоцикле, двинулся пешком по длинной пыльной главной улице Центрвилля. Минуя «Луау», с жадностью подумал о еще одной рюмке; но из дверей как раз выходил капитан Дэвидсон, и Любов прошел мимо.

Люди с «Шеклтона» уже ждали в конференц-зале. В этот раз коммандер Янг, с кем он уже встречался, привез с орбиты новых лиц. Не во флотской униформе; через секунду Любов узнал в них — с легким шоком — не-землян. Он сразу же подошел и представился. Один, мистер Ор, — волосатый таукитец, темно-серый, коренастый и угрюмый; второй, мистер Лепеннон, — высокий и белый красавец: хайнец. Они с интересом поздоровались с Любовым, и Лепеннон прибавил: «Я читал ваш доклад о сознательном контроле

парадоксального сна у атшеан, доктор Любов», — и это было приятно слышать, как и то, что к нему обратились по заслуженному званию. Судя по их разговорам, они провели на Земле несколько лет и могли быть врафами или кем-то в этом роде; но коммандер, представляя их, не уточнял их звания или положения.

Зал постепенно заполнялся. Пришел Госс, эколог колонии; пришла вся верхушка; пришел и капитан Сусун, глава планетного развития — то есть лесозаготовительных работ, — чье капитанское звание, как и у Любова, было необходимой выдумкой, чтобы умилостивить военных. Капитан Дэвидсон пришел один, расправив плечи: красив, худое лицо — спокойное и довольно суровое. У всех дверей стоял караул. Армейские чины сидели прямо, будто аршин проглотили. Очевидно, планировалось дознание. «Кто виноват?» Я виноват, в отчаянии думал Любов; но, несмотря на отчаяние, смотрел через стол на капитана Дона Дэвидсона с ненавистью и презрением.

Коммандер Янг начал очень тихо.

— Как вам известно, господа, мой корабль зашел на планету 41, только чтобы высадить вам новых колонистов — и не больше; по плану «Шеклтон» следует на планету 88, Престно,

в Хайнской группе. Но мы не можем смотреть сквозь пальцы на это нападение на ваш форпост, раз оно случилось в неделю нашего пребывания, — и особенно в свете некоторых событий, о которых вы бы в обычных обстоятельствах узнали позже. Дело в том, что в данный момент статус планеты 41 как земной колонии пересматривается, и резня в вашем лагере может повлиять на решение Администрации. Во всяком случае, нам свои решения надо принимать быстро, потому что я не могу задерживать корабль надолго. Итак, для начала убедимся, что все присутствующие владеют основными фактами дела. На корабле все прослушали доклад капитана Дэвидсона о событиях в лагере «Смит» — у вас тоже? Хорошо. Далее, если у вас есть вопросы непосредственно к капитану Дэвидсону — вперед. У меня самого есть вопрос. Капитан Дэвидсон, вы вернулись в лагерь на следующий день в большой вертушке с восемью солдатами; вы получили разрешение старшего офицера в Централе на вылет?

Дэвидсон встал.

— Так точно, сэр.

— Вам дали добро на то, чтобы высадиться и устроить пожар в лесу у лагеря?

— Никак нет, сэр.

— Но вы все равно устроили пожар?

— Так точно, сэр. Хотел выкурить тех сущей, которые прикончили моих людей.

— Хорошо. Мистер Лепеннон?

Высокий хайнец прочистил горло.

— Капитан Дэвидсон, — начал он, — как вы считаете, люди под вашим командованием в лагере «Смит» были довольны жизнью?

— Так точно.

Дэвидсон говорил твердо и откровенно; его словно не смущало, насколько серьезные у него неприятности. Конечно, он не подчинялся офицерам флота и иностранцам — отвечать за утрату двухсот человек и неодобренные операции возмездия ему предстояло перед его полковником. Но и полковник сидел здесь же и слушал.

— Значит, им предоставили жилье, их хорошо кормили, не перегружали работой, насколько это возможно в пограничном лагере?

— Да.

— Дисциплина поддерживалась железной рукой?

— Нет.

— Тогда что привело к восстанию?

— Не понимаю.

— Если все были довольны, почему кто-то убил

остальных и уничтожил лагерь?

Воцарилась тревожная тишина.

— Позвольте сказать, — произнес Любов. — Это местные врафы, то есть работавшие в лагере атшеане, объединили силы с лесным народом против землян. В докладе капитана Дэвидсона атшеане названы «сущи».

— Благодарю, доктор Любов, — ответил Лепеннон с взволнованным и пристыженным видом. — Я совершенно превратно истолковал ситуацию. Я принял «сущей» за касту землян, которая занимается черной работой в лесозаготовительных лагерях. Я, как и все мы, исходил из того, что атшеане не проявляют внутривидовую агрессию, поэтому мне и в голову не пришло, что имеются в виду они. Вообще-то я и не знал, что они сотрудничают с вами в лагерях… Впрочем, теперь я еще хуже понимаю, что спровоцировало нападение и бунт.

— Не знаю, сэр.

— Когда капитан сказал, что люди под его командованием были довольны, он имел в виду и местных? — спросил таукитец. Вернее, сухо пробормотал. Хайнец мгновенно это услышал и повторил для Дэвидсона со своим учтивым озабоченным тоном:

— Как считаете, атшеане в лагере были довольны?

— Насколько мне известно, да.

— Не было чего-то необычного в их положении, в их работе?

Любов почувствовал, как растет напряжение — еще на пару градусов — у полковника Донга и его штата, а также у коммандера звездного корабля. Но Дэвидсон сохранял спокойствие и непринужденность.

— Ничего необычного.

Теперь Любов точно знал, что на «Шеклтон» пересылались только его научные исследования; все его жалобы, даже ежегодные характеристики «акклиматизации местного населения к присутствию колонистов», которые от него требовала администрация, пылились в ящике где-то в штабе. Эти двое неземлян ничего не знали об эксплуатации атшеан. Коммандер Янг, конечно, знал; он спускался на планету и раньше, наверняка видел бараки для сущей. Так или иначе, коммандер флота на поездках по колонии не узнал бы ничего нового об отношении землян/врафов. Одобрял он действия колониальной администрации или нет, сюрпризом бы они для него не стали. Но таукитец и хайнец — что им-то

известно о земных колониях, если только их не заносило в подобные на пути следования куда-то еще? Лепеннон и Ор не собирались сходить здесь на планету. Или, возможно, не собирались, пока не услышали о неприятностях — и тогда этого потребовали. Зачем коммандер их привез — по своему желанию или по их? Кем бы они ни были, в них читался намек на авторитет; от них сухо-вато, пьяняще веяло властью. У Любова прошла головная боль, к лицу прилила кровь, он стал весь внимание.

— Капитан Дэвидсон, — сказал он. — У меня есть пара вопросов касательно вашей стычки с четырьмя туземцами, позавчера. Вы уверены, что один из них — Сэм, или Селвер Теле?

— Да.

— И вам известно, что у него с вами личные счеты.

— Мне об этом не известно.

— Нет? Его жена умерла в вашем доме сразу после полового контакта с вами, и он считает вас виновным в ее смерти — вам это неизвестно? Он уже нападал на вас здесь, в Центрвилле; или вы забыли? Что ж, суть в том, что личная ненависть Селвера к капитану Дэвидсону может служить частичным объяснением или мотивом для этого

беспрецедентного нападения. Атшеане способны на насилие — я никогда не утверждал в своих исследованиях обратного. Подростки, не освоившие управляемые сновидения или состязательное пение, часто борются и дерутся на кулаках, и не всегда благодушно. Но Селвер — взрослый мужчина, адепт; и его первое нападение на капитана Дэвидсона по личным причинам, которому я стал свидетелем, было очевидным покушением на убийство. Как и, между прочим, ответные действия капитана. Тогда я решил, что это отдельный нервный срыв из-за траура или стресса и вряд ли повторится. Я ошибся… Капитан, когда на вас из засады напали четверо атшеан, как описано в вашем докладе, вы оказались на земле?

— Да.

— В каком положении?

Спокойное лицо Дэвидсона окаменело от напряжения, и Любов почувствовал укол совести. Он хотел поймать Дэвидсона на лжи, вынудить хоть раз сказать правду — но не унижать на глазах у других. Обвинения в изнасиловании и убийстве только поддерживали самовосприятие Дэвидсона как настоящего мужика, но теперь этот образ оказался под угрозой: ведь Любов рассказывал, как его — солдата, бойца, крутого

и сурового первопроходца — повалили враги не выше шестилеток… Насколько Дэвидсону тяжело рассказывать о мгновении, когда он лежал и впервые смотрел на маленьких зеленых человечков снизу вверх, а не сверху вниз?

— Я лежал на спине.

— Вы смотрели прямо перед собой или в сторону?

— Не знаю.

— Я пытаюсь установить факты, капитан, которые помогут объяснить, почему Селвер не убил вас, несмотря на личную обиду и на то, что он участвовал в убийстве двух сотен человек парой часов ранее. И мне интересно, не находились ли вы в положении, которое с точки зрения атшеан останавливает противника от агрессии.

— Я не знаю.

Любов оглядел собравшихся за столом; на всех лицах читалось любопытство и напряжение.

— Возможно, эти жесты и позы, прерывающие агрессию, отчасти врожденные, а возможно, их вызывает сохранившийся рефлекс, но в их обществе они развиваются и поощряются и, разумеется, являются приобретенными. Самая действенная и полноценная поза — это лежать навзничь, глаза закрыты, голова повернута так,

чтобы подставить горло. Я считаю, атшеанин из местной культуры не может напасть на врага, который находится в этом положении. Ему пришлось бы выплеснуть гнев или агрессию каким-то иным способом… Капитан, когда вас прижали к земле, Селвер, случайно, не пел?

— Что?

— Пел.

— Не знаю.

Тупик. Никак не подступиться. Любов уже собирался пожать плечами и махнуть на это рукой, когда таукитец задал вопрос:

— Что вы имеете в виду, мистер Любов?

Самая располагающая характеристика довольно жесткого таукитского характера — это любопытство, несвоевременное и ненасытное любопытство; таукитцы с готовностью умирают, лишь бы узнать, что будет дальше.

— Понимаете, — начал Любов, — атшеане заменяют бой неким ритуализированным пением. Опять же, это повсеместный общественный феномен, и, хотя у него может быть некая физиологическая база, у людей очень трудно установить что-нибудь «врожденное». Однако здесь высшие приматы предпочитают вокальные состязания между самцами — вой и свист; доминирующий

самец может напоследок врезать проигравшему, но обычно они целый час пытаются перекричать друг друга. Атшеане сами замечают сходство таких дуэлей с состязаниями по пению, которые тоже проходят только между мужчинами; для них это не только выплеск агрессии, но и искусство. Побеждает лучший артист. Поэтому я спрашивал, пел ли Селвер над капитаном Дэвидсоном, и если пел, то из-за того, что не мог его убить, или из-за того, что предпочел бескровную победу. Эти вопросы сейчас кажутся очень важными.

— Доктор Любов, — сказал Лепеннон, — насколько эффективны эти методы по перенаправлению гнева? Они повсеместны?

— Среди взрослых — да. Так сообщают мои источники — и подтверждали мои личные наблюдения до позавчерашнего дня. Изнасилования, нападения, убийства — всего этого у них практически нет. Есть, конечно, несчастные случаи. И есть психопаты. Последние здесь в диковинку.

— И что они делают с опасными сумасшедшими?

— Изолируют. Буквально. На маленьких островах.

— Атшеане плотоядны, они охотятся на животных?

— Да, мясо — основной продукт питания.

— Чудесно. — Белая кожа Лепеннона побледнела еще сильнее от возбуждения. — Человеческое общество с действенным барьером против войн! Но какова цена, доктор Любов?

— Не знаю, мистер Лепеннон. Наверное, перемены. Это статичное, стабильное, единообразное общество. У них нет истории. Они гармоничны, и им чужд прогресс. Можно сказать, что, подобно лесу, где они обитают, они достигли кульминационного состояния. Но это не значит, что они неспособны к адаптации.

— Господа, все это очень интересно, но только узким специалистам, и не касается дела, которое мы тут пытаемся прояснить…

— Нет, прошу меня простить, полковник Донг, но в этом может быть все дело. Да, доктор Любов?

— Ну, мой вопрос — не проявляют ли они свою адаптивность прямо сейчас. Адаптируя свое поведение к нашему. К земной колонии. Четыре года они вели себя с нами так же, как ведут друг с другом. Несмотря на все внешние различия, они узнали в нас представителей того же вида — лю-

дей. Однако мы ответили не так, как положено отвечать представителям их вида. Мы проигнорировали их реакцию, права и обязательства их философии ненасилия. Мы убивали, насиловали, переселяли и порабощали местных, уничтожали их сообщества и вырубали их леса. Ничего удивительного, если они решили, что мы не люди.

— А значит, нас можно убивать, как животных, да-да, — продолжил за него таукитец, наслаждаясь логикой; зато лицо Лепеннона теперь затвердело, как белый камень.

— Порабощали? — переспросил он.

— Капитан Любов делится личными мнениями и теориями, — вставил капитан Донг, — и я должен упомянуть, что считаю их некорректными и что мы не раз обсуждали эту тему в прошлом, хотя сейчас для этого не время и не место. Мы не держим рабов, сэр. Некоторые местные играют полезную роль в нашем сообществе. Во всех наших лагерях, кроме временных, наличествуют Добровольные автохтонные трудовые отряды. У нас очень мало людей для выполнения поставленных задач, нам требуются рабочие руки, и мы пользуемся всем, чем можем, но на условиях, которые можно было бы назвать рабскими условиями? Ни в коем случае.

Лепеннон уже хотел что-то сказать, но уступил таукитцу, который только спросил:

— Сколько здесь представителей каждой расы?

Ответил Госс:

— Теперь уже 2641 землянин. По нашим с Любовым оценкам, местное население врафов насчитывает — очень приблизительно — три миллиона.

— Так надо было задуматься об этой статистике, господа, прежде чем лезть со своим уставом в чужой монастырь! — сказал Ор со скверным, но совершенно искренним смешком.

— Мы вооружены и снаряжены для отражения агрессии любого вида, на которую способны местные, — ответил полковник. — Однако сначала исследовательские миссии, а потом и наш собственный научный персонал под руководством капитана Любова вызвали у нас впечатление, что новотаитянцы являются примитивным, безвредным, миролюбивым видом. Теперь, когда очевидно, что данные некорректны…

Ор перебил полковника:

— «Очевидно»! Вы считаете примитивным, безвредным и миролюбивым человечество, полковник? Нет. Но вам же известно, что врафы на данной планете — люди? Такие же люди, как вы,

я или Лепеннон — поскольку мы все происходим от одной изначальной хайнской популяции?

— Это научная теория, и мне известно, что…

— Полковник — это исторический факт.

— Я не обязан признавать это за факт, — начал горячиться старый полковник, — и мне не нравится, когда мне навязывают мнения. Факт в том, что эти сущи ростом в метр, покрыты зеленым мехом, не спят — и не являются людьми в моей системе координат!

— Капитан Дэвидсон, — сказал таукитец, — а вы считаете местных врафов людьми?

— Не знаю.

— Но у вас был половой контакт с одной из них — женой Селвера. Вы бы занимались сексом с самкой животного? А вы? — Он оглядел багрового полковника, кипятившихся майоров, взбешенных капитанов, скривившихся специалистов. На его лице возникло презрение. — Вы не обдумали ситуацию, — произнес он. По его меркам это было жестоким оскорблением.

Наконец коммандер «Шеклтона» спас слова из пропасти пристыженного молчания.

— Что ж, господа, трагедия в лагере «Смит» явно касается отношений колонии и местных в целом и ни в коей мере не является незначительным

или отдельным происшествием. Это нам и надо было установить. А раз так, мы можем сделать свой вклад и упростить вашу ситуацию. Главной целью нашего рейса было не высадить здесь пару сотен девушек — хотя я знаю, что вы их ждали, — но дойти до Престно, где у властей есть некоторые трудности, и передать им ансибль. То есть АМС-передатчик.

— Что? — спросил Серенг, инженер. Все за столом не сводили взглядов с коммандера.

— У нас на борту старая модель и стоит приблизительно годовую прибыль целой планеты. Разумеется, так было 27 лет назад по местному времени, когда мы только покинули Землю. Сейчас производят сравнительно дешевые модели; это стандарт для кораблей флота; и при обычных обстоятельствах пилотный или беспилотный корабль доставил бы модель и в вашу колонию. Собственно, пилотный корабль Администрации уже в пути и будет здесь, если меня не подводит память, через 9,4 зем-года.

— Откуда вы знаете? — спросил кто-то, чем только сыграл на руку коммандеру Янгу, который с улыбкой ответил:

— Благодаря ансиблю — тому, что у нас на борту. Мистер Ор, это ваш народ его изобрел

— возможно, вы и объясните тем, кто не знаком с терминами?

Таукитец не распрямился.

— Не буду и пытаться объяснять присутствующим принципы работы ансибля, — начал он. — А о результате можно сказать просто: мгновенная передача сообщения на любом расстоянии. Один элемент должен находиться на объекте большой массы, второй — где угодно в космосе. С самого прибытия на орбиту «Шеклтон» ежедневно обменивался сообщениями с Землей, находящейся от нас на расстоянии в 27 световых лет. На передачу и получение ответа не требуется 54 года, как с электромагнитными устройствами. Вообще не требуется времени. Между планетами больше нет временного разрыва.

— Когда мы вышли из временного ПСК-расширения в пространственно-временной континуум планеты, мы сразу, как вы бы сказали, позвонили домой, — мягко продолжил коммандер. — И нам сообщили, что случилось за 27 лет нашего полета. Для физических тел временной разрыв остается, но информационной задержки больше нет. Насколько понимаете, это очень важно для нас как межзвездного вида — как ранее в нашей эволюции была важна сама речь. И результат

будет тот же: сделать возможным общество.

— Мы с мистером Ором покинули Землю 27 лет назад в качестве легатов наших правительств — Тау II и Хайна, — сказал Лепеннон. Его голос все еще звучал вежливо и беззлобно, но все тепло его покинуло. — Когда мы улетали, люди обсуждали возможность учреждения некой лиги цивилизованных планет, раз стала возможна коммуникация. И теперь существует Лига Миров. Существует уже 18 лет. Теперь мы с мистером Ором — эмиссары консула Лиги, а значит, обладаем определенными полномочиями и обязанностями, которых не имели при вылете с Земли.

Все трое с корабля повторяли одно и то же: существует мгновенная связь, существует межзвездное суперправительство… Хотите — верьте, хотите — нет. Они в сговоре и лгут. Эта мысль мелькнула у Любова; он ее взвесил, решил, что это логичное, но безосновательное подозрение, защитный механизм, и отбросил. Но военные, обученные раздельному мышлению, специалисты по самообороне могут вцепиться в нее так же крепко, как он от нее отказался. Они обязаны считать любого, заявляющего о новых полномочиях, лжецом или заговорщиком. В этом они

ограничены не больше Любова, обученного быть вне зависимости от своего желания открытым ко всему.

— И мы должны… полагаться только на ваше слово, сэр? — спросил полковник Донг с достоинством и некой напыщенностью; он знал, что не должен верить ни Лепеннону, ни Ору, ни Янгу, но, слишком растерявшись для четкого раздельного мышления, все-таки верил — и боялся.

— Нет, — ответил таукитец. — С этим покончено. Раньше колониям приходилось верить тому, что им сообщают корабли или устаревшие радиосообщения. Больше не придется. Вы можете удостовериться. Мы передадим вам ансибль, предназначенный для Престно. На это у нас есть полномочия от Лиги. Полученные, разумеется, по ансиблю. Ваша колония в беде. Хуже, чем я думал по вашим отчетам. В ваших отчетах многое умалчивается — постаралась цензура или глупость. Но теперь у вас есть ансибль и вы можете поговорить со своей Земной администрацией; можете затребовать приказы, чтобы знать, как действовать дальше. И, учитывая масштабные изменения, которые произошли в организации земного правительства со времен нашего отлета, я бы рекомендовал вам приступать немедленно.

Больше не существует оправданий для следования устаревшим приказам, для невежества, для безответственного самоуправления.

Обидишь таукитца — и он, как молоко, останется кислым навсегда. Мистер Ор разошелся, и коммандеру Янгу стоило бы его прервать. Но имел ли он на это право? Насколько высоко в иерархии стоит «эмиссар консула Лиги Миров»? Кто здесь на самом деле главный, размышлял Любов, тоже ощутив укол страха. Вернулась головная боль — теперь вместе с давящим ощущением, будто его виски сжал стальной обруч.

Он взглянул через стол на белые ладони с длинными пальцами Лепеннона: левая поверх правой, неподвижные на полированном дереве столешницы. Белая кожа казалась сформированному на Земле эстетическому вкусу Любова дефектом — зато ему пришлась по душе безмятежность и сила, заключенная в этих руках. Хайнцам цивилизация дается легко, думал он. Они так давно с ней знакомы. Они ведут общественно-интеллектуальную жизнь с изяществом кошки, что охотится в саду, с уверенностью ласточки, летом улетающей за море. Они в этом эксперты. Им никогда не приходится притворяться, вставать в позы. Они то, что они есть. Еще

никому человеческая кожа не шла лучше. Кроме, пожалуй, маленьких зеленых человечков? Этих отклонившихся и остановившихся в развитии, карликовых, сверхприспособившихся сущей, которые точно так же совершенно, откровенно, безмятежно были теми, кто они есть…

Офицер Бентон выяснял у Лепеннона, находятся ли он или Ор на планете в качестве наблюдателей (он помялся) Лиги Миров — или же берут на себя полномочия, чтобы… Лепеннон вежливо его прервал:

— Мы наблюдатели, не уполномоченные принимать решения — только докладывать. Вы по-прежнему отчитываетесь только перед своим правительством на Земле.

Полковник Донг с облегчением начал:

— Тогда ничего по сути не изменилось…

— Вы забываете об ансибле, — перебил Ор. — Как только закончится совещание, я научу им пользоваться, полковник. Тогда вы сможете проконсультироваться со своей Колониальной администрацией.

— Поскольку у вас довольно срочные проблемы и поскольку Земля теперь состоит в Лиге и могла за последние годы обновить Колониальный устав, совет мистера Ора уместный и своевре-

менный. Мы должны быть очень благодарны мистеру Ору и мистеру Лепеннону за их решение передать этой земной колонии ансибль, предназначенный для Престно. Это целиком их решение — я могу его лишь поддержать. Итак, остается принять последнее решение, и его предстоит сделать мне на основе вашего мнения. Если вы считаете, что колонии непосредственно угрожают новые и более масштабные атаки местных, я могу задержать корабль на пару недель для обороны; также я могу эвакуировать женщин. Детей здесь еще нет, так?

— Никак нет, сэр, — ответил Госс. — На данный момент у нас 482 женщины.

— Что ж, я могу разместить 380 пассажиров; пожалуй, втиснем еще сотню — лишний вес прибавит около года на обратном пути, но это возможно. К сожалению, больше ничем помочь не могу. Мы должны следовать на Престно; как вам известно, ваш ближайший сосед находится от вас на расстоянии 1,8 светового года. Мы зайдем к вам на пути к Земле, но ждать придется как минимум три зем-года с половиной. Продержитесь?

— Да, — ответил полковник, и остальные ему вторили. — Теперь мы предупреждены, больше нас не застанут со спущенными штанами.

— И соответственно, — продолжил таукитец, — продержатся ли три года с половиной местные обитатели?

— Да, — сказал полковник.

— Нет, — сказал Любов. Он следил за лицом Дэвидсона, и его вдруг охватила странная паника.

— Полковник? — вежливо спросил Лепеннон.

— Мы здесь уже четыре года, и местные процветают. Места хватает на всех с избытком — как видите, планета редконаселена, и в ином случае Администрация не одобрила бы ее для колонизации. А если у кого-то есть сомнения, то нас больше не застанут врасплох: нас некорректно информировали о характере местных, но мы вооружены и способны дать отпор, хотя и не планируем акций возмездия. Это категорически запрещено Колониальным уставом, хотя мне неизвестно, какие правила могло добавить новое правительство, но мы будем придерживаться своих, и в них совершенно исключены массовые карательные акции или геноцид. Мы не будем запрашивать помощь — в конце концов, колония, находясь в 27 светгодах от дома, должна действовать самостоятельно и, собственно, быть совершенно автономной, и не вижу, как АМС это меняет, если корабль, люди и снабжение по-прежнему перемещаются

на почти-световой скорости. Мы продолжим отправлять домой древесину и позаботимся о себе сами. Женщинам ничего не угрожает.

— Мистер Любов? — сказал Лепеннон.

— Мы здесь уже четыре года. Я не уверен, что культура местного человечества переживет еще четыре. Что касается общей экологии, то, думаю, Госс меня поддержит, если я скажу, что мы необратимо уничтожили туземную жизненную систему на одном крупном острове, причинили огромный ущерб Сорнолу, а если продолжим вырубки с теми же темпами, то за десять лет превратим основные обитаемые части суши в пустыню. Это не вина руководства колонии или лесничества — они просто следуют Плану развития, составленному на Земле без всех знаний о планете, ее жизненных системах или местных обитателях.

— Мистер Госс? — произнес вежливый голос.

— Ну, Радж, ты несколько преувеличиваешь. Спору нет, Помоечный остров, где лесозаготовки велись наперекор моим рекомендациям, уже утрачен. Понимаете, господа, если в одной области вырубается больше конкретного процента леса, фибротрава уже не пересеивается, а корневые системы фибротрав — это главный

компонент расчищенной почвы; без него почва иссыхает и быстро утрачивается из-за эрозии от ветра и ливней. Но я никак не могу согласиться с тем, что виноваты наши основные директивы; главное — четко их соблюдать. Они основаны на тщательном исследовании планеты. Здесь, на Центральном, мы следовали плану и добились успеха: эрозия минимальна, расчищенная почва пригодна для земледелия. Ведь вырубать лес — это еще не значит создавать пустыню; разве что с точки зрения белки. Мы не можем точно предсказать, как лесные жизненные системы местных подстроятся под среду «лес-прерия-запашка», предусмотренную в Плане развития, но нам известно, что велики шансы для адаптации и выживания большого процента.

— Так Бюро по управлению землями говорило об Аляске во время Первого голода, — сказал Любов. У него так сжалось горло, что голос стал высоким и хриплым. Он рассчитывал на поддержку Госса. — Сколько ситхинских елей ты видел за жизнь, Госс? Или полярных сов? Или волков? Или эскимосов? Выживаемость местных аляскинских видов после пятнадцати лет Программы развития составила 0,3 процента. Сейчас уже ноль… Лесная экология — вещь хрупкая. Если

погибнет лес, фауна может отправиться вслед за ним. На атшеанском слово «мир» означает и лес. И я заявляю, коммандер Янг: пускай колонии не грозит опасность, самой планете…

— Капитан Любов, — сказал старый полковник, — подобного рода заявления штатные офицеры-специалисты передают не офицерам других родов войск, а старшим офицерам Колонии, и я больше не потерплю подобных попыток давать советы без разрешения.

Застигнутый врасплох собственным всплеском эмоций, Любов извинился и попытался принять спокойный вид. Если бы он не сорвался, если бы его голос не ослаб и не охрип, если бы ему хватило самообладания…

Полковник между тем продолжал:

— Нам кажется, вы, капитан Любов, сделали некорректные выводы относительно миролюбия и неагрессивности местных, а мы, полагаясь на данное суждение специалистов о неагрессивности, подготовили почву для ужасной трагедии в лагере «Смит». Поэтому я считаю, нам следует подождать, пока врафов изучат другие специалисты, поскольку ваши теории явно в той или иной мере некорректны.

Любов сидел и покорно терпел. Пусть люди с

корабля видят, как они валят вину друг на друга — тем лучше. Чем больше разногласий, тем вероятнее, что эмиссары поместят их под наблюдение. И, в конце концов, он сам виноват — он ошибся. «К черту мое самоуважение — главное, чтобы у лесного народа был шанс», — думал Любов, и чувства унижения и самопожертвования накатили на него так, что выжали слезы из глаз.

Он знал, что за ним наблюдает Дэвидсон.

Он выпрямился, с прилившей к лицу кровью, со стуком в висках. Он не потерпит насмешек от этой сволочи Дэвидсона. Неужели Ор и Лепеннон не видят, что это за человек, какая у него здесь власть, тогда как все полномочия Любова — под названием «рекомендательные» — просто пшик? Если предоставить колонистов самих себе безо всяких ограничений, кроме суперрадио, резня в лагере «Смит» почти наверняка станет поводом для систематической агрессии против местных. Скорее всего — бактериологическое истребление. Через три года с половиной «Шеклтон» вернется на Новое Таити и обнаружит процветающую земную колонию, где нет никакой проблемы сущей. Совершенно никакой. Разве что обидно из-за чумы, мы приняли все меры по Уставу, но это наверняка была какая-то мутация вируса, а у

местных не оказалось природного иммунитета, зато мы смогли кое-кого спасти, отправив на Новые Фолклендские острова в южном полушарии — и они отлично там поживают, все шестьдесят две особи…

После этого надолго совещание не затянулось. Когда все кончилось, он встал и наклонился через стол к Лепеннону.

— Вы должны попросить Лигу сделать что-нибудь, чтобы спасти леса, спасти лесной народ, — произнес он почти неслышно, с комом в горле. — Вы должны, пожалуйста, должны.

Хайнец встретил его взгляд; выражение его глаз было сдержанным, любезным и глубоким, как колодец. Он ничего не сказал.

4

Невероятно. Да они все с ума посходили. У них вместе с сущами крыша поехала на этой чертовой чужой планетке, далеко и надолго, в сказочную страну. Он бы не поверил тому, что видел на «совещании» и на дальнейшем инструктаже, даже если бы пересмотрел на пленке. Коммандер корабля Звездного флота стелется перед двумя гуманоидами. Инженеры и технари охают да ахают над красивым радио, которое им подарил,

насмехаясь и похваляясь, этот волосатый таукитец — как будто земная наука не предсказала АМС уже годы назад! Да эти гуманоиды просто украли идею, воплотили и обозвали «ансиблем», чтобы никто не понял, что это обычный АМС. Но хуже всего — само совещание, где этот психопат Любов надрывался и пускал слезу, а полковник Донг ему не мешал — не мешал поливать грязью Дэвидсона, руководство и всю Колонию поголовно; а два инопланетянина все это время сидели и лыбились, эти мелкая серая обезьяна и большой белый педик, сидели и потешались над людьми.

Хуже некуда. А когда улетел «Шеклтон», лучше не стало. Дэвидсона не смущало, что его сослали в лагерь «Новая Ява» под начало майора Мухамеда. Полковнику надо было его показательно наказать — на самом-то деле старина Динг-Донг наверняка сам рад, что он в отместку подпалил лес на острове Смита, но это нарушение дисциплины, а за это следует взыскание. Ну хорошо, правила есть правила. Но вот что несет этот телевизор-переросток под названием ансибль, этот их новый маленький жестяной божок в штабе, — это уже не по правилам.

Приказ из Бюро колониальной администрации в Карачи: «Сократить контакт землян и атше-

ан до тех случаев, когда его инициируют сами атшеане». Читай: больше нельзя пойти в гнездо сущенышей и пригнать себе рабочую силу. «Добровольный труд не рекомендуется; принудительный труд запрещается». Опять двадцать пять. Как им работать-то? Там, на Земле, нужна древесина или нет? Ведь они по-прежнему шлют беспилотные грузовые корабли на Новое Таити, по четыре штуки в год, и каждый увозит на Матушку-Землю первосортную древесину на 30 миллионов новых долларов. В Бюро эти миллионы нужны. Там бизнесмены сидят. И сообщения эти идут не от них, и дураку понятно.

«Колониальный статус планеты 41… — (почему ее больше не называют Новое Таити?) — …находится на рассмотрении. До принятия решения колонистам следует соблюдать крайнюю осторожность во всех отношениях с местными обитателями… Строго запрещено применение любого оружия, кроме короткоствольного в целях самозащиты…» — Прямо как на Земле, хотя там теперь даже короткоствол не разрешается. Но на черта лететь за 27 свет-лет на далекую планету, только чтобы тебе сказали: «Ни оружия, ни керосинок, ни вирусных бомб, нет-нет, сидите, как пай-мальчики, и терпите, как сущи плюют вам в

рожи, всаживают нож в брюхо и потом сжигают лагерь, только не трогайте зеленых малышей, ни в коем разе!»

«Настоятельно рекомендуется политика избегания; политика агрессии или возмездия строго запрещена».

Вот к чему все сводилось, и дураку понятно, что это говорит не Колониальная администрация. Не могли они так измениться за тридцать лет. Там сидят практичные реалисты, которые знают, на что похожа жизнь на планетах фронтира. Любому понятно, у кого башка не спла от геошока, что послания из ансибля — подделки. Их могли записать на аппарат — все ответы на вероятные вопросы, которые понемногу выдает компьютер. Инженеры говорят, что заметили бы; может быть. В таком случае эта штука и правда мгновенно связывается с другой планетой. Но явно не с Землей. И близко не похоже! Вовсе не люди вбивают ответы на другой стороне этой игрушки — а инопланетяне, гуманоиды. Скорее всего, таукитцы, раз уж аппарат их производства, а это дьяволы хитрые. Они могли бы посягнуть на межзвездное господство. И хайнцы, понятное дело, с ними в сговоре: у всей этой сердобольности так называемых указаний — хайнский

душок. Что за игру ведут инопланетяне, отсюда не угадаешь — скорее всего, ослабляют земное правительство, втянув в эту свою «Лигу Миров», пока инопланетяне не наберутся сил для вооруженного захвата. Но их планы на Новое Таити видны невооруженным глазом. Хотят покончить с людьми руками сущей. Надо-то только стреножить людей фальшивыми приказами из ансибля — и начнется бойня. Гуманоиды помогают гуманоидам: крысы помогают крысам.

И полковник Донг продался с потрохами. Намерен подчиняться приказам. Так Дэвидсону и сказал. «Я намерен подчиняться приказам из земного штаба — и ты, Дон, точно так же будешь подчиняться моим, а на Новой Яве — приказам майора Мухамеда». Дурак он, старый Динг-Донг, но ему нравился Дэвидсон, а он — Дэвидсону. Капитан не мог подчиняться приказам, если они требуют сдать человеческий род инопланетным заговорщикам, но жалел старого солдата. Дурак, но все-таки верный и отважный. А не прирожденный предатель вроде нытика и стукача Любова. Если и был человек, которого Дэвидсон не прочь отдать сущам, то это яйцеголовый Радж Любов, любитель инопланетян.

Некоторые люди — особенно азиатиформы

и индийские типы — вообще-то прирожденные предатели. Не все, но некоторые. А другие некоторые — прирожденные спасители. Так уж получается из-за евраф-происхождения или крепкого телосложения; его заслуги в этом нет. Если он может спасти мужчин и женщин Нового Таити, то спасет; а если и не может, то хоть попытается — и говорить тут не о чем.

Кстати о женщинах — вот это обидно. Центрвилль забрал десять колли, проживавших на Новой Яве, и новых не прислал. «Еще слишком опасно», — ныли в штабе. Жестоко обошлись с тремя форпостами. А чего они ожидают от мужиков, когда самок сущей трогать запрещено, а все самки людей достались везучим засранцам в Централе? Страшная обида неминуема. Но долго так длиться не может, слишком уж взрывоопасная эта ситуация. Если теперь, когда «Шеклтона» нет, они не начнут потихонечку возвращаться к норме, тогда капитану Д. Дэвидсону придется поработать сверхурочно, чтобы вернуть все в свою колею.

Наутро после его вылета с Центрального освободили всех туземных рабочих. Произнесли важную благородную речь на пиджине, открыли ворота лагеря — и отпустили всех приручен-

ных сущей: носильщиков, землекопов, поваров, мусорщиков, домашнюю прислугу, горничных — всех до одного. Не остался никто. Были такие, что прожили с хозяевами с самого основания колонии четыре зем-года назад. Но им же верность неведома. Собака бы осталась, даже обезьяна. А эти даже до их уровня не развились, не лучше змей или крыс, мозгов хватает только на то, чтобы укусить, как только выпустишь из клетки. Да Динг-Донг совсем спла, раз отпускает столько сущей рядом с городом. Свезти бы их всех на Помоечный остров, чтобы подохли там с голоду, — вот лучшее окончательное решение. Но Донг перепугался из-за парочки гуманоидов и их говорящего ящика. И если дикие сущи на Центральном планировали повторить зверства лагеря «Смит», теперь у них хватало новобранцев, которые знали планировку города, расписания, местонахождение арсенала, посты охраны и все прочее. Если Центрвилль сгорит, пусть штаб себе же спасибо скажет. И поделом им, если честно. За то, что позволили предателям себя обдурить, за то, что прислушались к гуманоидам и отказались от совета тех, кто видит сущей насквозь.

Никому из руководства не приходилось вернуться в лагерь и найти только пепел, развалины

и обгорелые тела, как ему. И труп Ока, где его убили вместе со всей бригадой, — у него из каждой глазницы торчали стрелы, будто какое-то странное насекомое выставило усики, господи, до сих пор не шло из головы.

Но что бы там ни говорилось в этих поддельных «директивах», парни из Централа не собирались выполнять одно: «короткоствол» для самообороны. У них были огнеметы и пулеметы; пулеметы стояли на шестнадцати маленьких вертушках, и с них же можно сбрасывать бомбы с загущенным керосином; у пяти больших вертушек — полное боевое оснащение. Но большие и не понадобятся. Просто пролети на вертушке над вырубленной областью, застань там шайку сущей с их чертовыми луками и стрелами, скинь им на головы керосинки и смотри, как они бегают и горят. Этого хватит в самый раз. У него даже в животе урчало от мысли об этом — как когда он думал о бабе или вспоминал, как на него напал тот сущеныш Сэм и как он расквасил ему рожу четырьмя ударами, один за другим. Это все эйдетическая память плюс воображение побогаче, чем у многих — но в том нет его заслуги, таким уж он родился.

Правда проста: мужик считается настоящим мужиком, только когда поимел бабу или убил

другого мужика. Это мысль не его, вычитал в каких-то старых книжках; но это же правда. Поэтому ему и нравилось представлять себе такие сцены. Хоть сущи и не настоящие люди.

Новая Ява была самым южным из пяти крупных островов, чуть севернее экватора, поэтому тут было жарче, чем на Центральном или Смите, где климат практически идеален. Жарко и влажно. В сезон дождей на Новом Таити лило всюду, но на северных землях это тихий моросящий дождик, который идет себе и идет — под ним не намокнешь и не продрогнешь. А здесь лило как из ведра, и налетали муссонные бури, когда шагу не ступишь, не то что пойдешь работать. Спасала только прочная крыша над головой — или лес. Чертов лес рос так густо, что сдерживал грозы. Конечно, с листьев капало, но если во время бури зайти поглубже в чащу, и не заметишь, что дует муссон; а потом выйдешь на опушку, и — бам! — сшибает с ног ветром и облизывает с ног до головы красная жидкая слякоть, в которую дождь превращает расчищенную землю, и бежишь обратно в лес сломя голову; а в лесу темно, душно и легко потеряться.

И майор Мухамед оказался той еще въедливой сволочью. На НЯ все делалось по правилам: вы-

рубка — километровыми просеками, которые засаживались фиброхренью, увольнительные в Централ — по строгой ротации, без любимчиков; галлюциногены выдавались строго по норме, а их употребление на службе наказуемо, и так далее и тому подобное. Одно хорошо в Мухамеде — он не всегда связывался с Централом. Новая Ява принадлежала ему — и он заправлял в ней по-своему. Не нравились ему разнарядки из штаба. Подчиняться он им подчинялся; как только сверху спустили приказы — отпустил всех сущей и запер все оружие, кроме мелких пугачей. Но сам за приказами или советами не бегал. Ни от Централа, ни от кого другого. Он был из самоуверенных — знал, что всегда прав. И это был его большой недостаток.

Когда Дэвидсон был в штате Донга в Централе, ему иногда выпадал случай заглянуть в досье офицеров. На такие вещи память у него была необычайная — помнил, например, что IQ у Мухамеда 107. Тогда как у него — 118. Разница в 11 баллов; но, конечно, старине Му он сказать об этом не мог, а сам тот не понимал, и втолковать ему бы не получилось. Он мнил, будто соображает лучше Дэвидсона, и все тут.

Да и со всеми поначалу было трудно. Никто на

НЯ ничего не знал о зверствах в лагере «Смит» — только что старший офицер улетел в Централ за час до их начала и поэтому единственный остался в живых. Если так посмотреть, звучит и правда нехорошо. Понятно, почему на него сперва поглядывали, как на какого-то Иону, если не хуже, даже как на Иуду. Но, узнав его получше, они одумались. Начали понимать, что Дэвидсон далеко не дезертир и не предатель, а всей душой предан тому, чтобы уберечь от предательства колонию Новое Таити. И сообразили, что сохранить земной образ жизни на этой планете можно, только избавившись от сущей.

Посеять эту мысль среди лесорубов оказалось несложно. Им все равно никогда не нравились мелкие зеленые крысы,– гоняй их весь день на работу, потом сторожи всю ночь; а теперь они смекнули, что сущи не только мерзкие, но и опасные. Когда Дэвидсон рассказал, что обнаружил в «Смите»; когда объяснил, что два гуманоида с корабля Флота промыли мозги начальству; когда доказал, что истребление землян на Новом Таити — это только часть огромного инопланетного заговора против Земли; когда напомнил простые цифры: две тысячи пятьсот человек против трех *миллионов* сущей; они начали переходить на

его сторону.

Здесь его поддерживал даже старший офицер по экологии. Не то что старый бедный Кис, ругавшийся, что люди отстреливают красных оленей, а потом сам словивший пулю от пронырливых сущей. Здешний малый, Атранда, сам ненавидел сущей. Вообще-то он был даже спла на их почве — то ли от геошока, то ли еще от чего; так трясся, что сущи нападут на лагерь, что вел себя, что твоя баба, которая трясется, как бы не изнасиловали. Но все равно было полезно иметь местного спеца на своей стороне.

А командира переманивать было бесполезно: Дэвидсон разбирался в людях и практически сразу понял, что это дело гиблое. Мухамеда с пути не собьешь. И он предвзято относился к Дэвидсону — из-за дела в лагере «Смит». Чуть ли не прямым текстом сказал, что не считает Дэвидсона надежным офицером.

Самоуверенный гад, но и у его строгости в лагере НЯ были свои плюсы. Когда существует четкая иерархия, привычка подчиняться приказам, подчинить себе людей проще, чем когда у тебя в отряде разболтанность и вольнодумцы; и тем проще будет сплотить отряд для оборонительных и наступательных военных операций, когда

главным будет Дэвидсон. А ему придется стать главным. Из Му вышел хороший начальник лесопилки, но солдат — никакой.

Дэвидсон привлекал на свою сторону лучших лесорубов и младших офицеров. Он не спешил. А когда набрал достаточно тех, кому доверял всецело, отряд из десяти человек забрал пару игрушек из запертой кладовки Му в подвале клуба и в одно из воскресений пошел в лес играть.

Дэвидсон обнаружил поселение сущей несколько недель назад и приберег на потеху своим подчиненным. Он бы справился и один, но так было лучше. Так и становятся товарищами, так сближаются мужики. Они просто вошли среди бела дня в поселение, залили всех сущей, не успевших попрятаться по норам, огнежеле и сожгли, а потом облили крыши керосином и спалили остальное. Кто пытался сбежать, тех тоже жгли; это был штрих мастера — поджидать у нор, когда побегут крыски, дать им поверить, что они спаслись, а потом спалить все выше ног, сделать из них факелы. Любо-дорого было послушать, как трещит зеленый мех.

На самом деле это было ненамного интереснее, чем охотиться на настоящих крыс — практически последних диких зверей, оставшихся на

Матушке-Земле, — но здесь имелся особый смак: сущи будут побольше крыс и могут дать сдачи — хотя в этот раз не дали. Вообще-то, многие просто ложились на землю вместо того, чтобы убегать, ждали с закрытыми глазами. Тошнотворное зрелище. Другим тоже так показалось, и одного даже стошнило после того, как он спалил лежачего.

Дэвидсон отобрал таких суровых мужиков, что они даже не оставили ни одной самки, чтобы изнасиловать. Все заранее согласились с Дэвидсоном, что это практически извращение. А эти твари, может, и похожи на земных женщин, но все-таки не люди — и лучше получать удовольствие от их убийства, оставаясь *чистым*. Это всем показалось разумным — и они этого держались.

В лагере все до одного держали рот на замке, не хвастались даже друзьям. Свои в доску. До ушей Мухамеда не дошло ни слова об экспедиции. В глазах старины Му все его подчиненные были пай-мальчиками, пилили бревна и не лезли к сущам, так точно; пусть в это и верит до самого дня штурма.

Потому что сущи нападут. Где-нибудь. Здесь, или на лагеря на острове Кинг, или на Центральном. Дэвидсон знал. Единственный офицер во всей колонии, который знал. И в том не было

никакой его заслуги — просто так вышло, что он прав. Никто не верил, кроме него и тех, кого он смог переубедить. Но остальные еще поймут, рано или поздно, что он прав.

А он прав.

5

Встретиться с Селвером лицом к лицу было потрясением. Во время перелета в Централ из деревни у подножия холма Любов пытался разобраться, почему это так его потрясло, вычислить дрогнувший нерв. В конце концов, обычно люди не боятся случайной встречи с добрым другом.

Уговорить старейшину пригласить исследователя оказалось непросто. Все лето его главным объектом исследования служил Тунтар; там у него хватало отличных осведомителей, он ладил с местным Домом и старейшиной, разрешавшей свободно наблюдать за жизнью сообщества. Чтобы вытянуть из нее приглашение — с помощью бывших рабов, оставшихся жить в окрестностях, — пришлось потратить немало времени, но она наконец согласилась и пошла, как говорилось в новых директивах, на настоящий «контакт, инициированный самими атшеанами». Этого требовала его совесть, а не полковник.

Но полковник его поддерживал. Он переживал из-за угрозы сущей. Попросил Любова провести разведку, узнать «их отношение теперь, когда мы оставили их исключительно в покое». Он хотел успокоиться. Теперь Любов не мог решить, успокоит ли полковника Донга его доклад или нет.

Равнину в радиусе десяти миль от Централа уже давно расчистили, а пни сгнили; теперь здесь остался великий унылый пустырь фибротравы, космато-серой под дождем. Под шерстистыми листьями давали первые всходы семена — сумах, карликовая ольха и некоторые виды шалфея, которые, в свою очередь, защитят саженцы. Если этот край не трогать, то в таком постоянном дождливом климате он восстановится в течение тридцати лет и станет настоящим лесом через сто. Если его не трогать.

Затем вдруг снова начинался лес — в пространстве, не во времени: пологие склоны и складки холмов Северного Сорнола под вертолетом покрывала листва бесконечно разнообразных оттенков.

Как и большинство землян на Земле, Любов никогда не ходил среди дикорастущих деревьев, никогда не видел леса размером больше квартала. Лес на Атше сначала давил и пугал, угнетал

своей нескончаемой теснотой и сумятицей стволов, веток, листьев в вечных зеленоватых или буроватых сумерках. Размах и мешанина разных конкурирующих жизней, что пробирались и разбухали наружу и наверх, к свету; тишина, сложенная из множества мелких бессмысленных звуков; полное вегетативное безразличие к присутствию разума — все это не давало Любову покоя, и он вместе с остальными людьми держался просек и пляжа. Но мало-помалу ему здесь понравилось. Госс его поддразнивал, звал мистером Гиббоном; собственно, Любов и смахивал на гиббона — с его круглым темным лицом, длинными руками и рано поседевшими волосами; но гиббоны вымерли. Нравилось ему это или нет, но, как специалисту по врафам, ему требовалось искать врафов в чаще; и теперь, через четыре года, он чувствовал себя под лесным пологом как дома — может, как больше нигде.

Полюбились ему и атшеанские названия земель и мест — звучные двусложные слова: Сорнол, Тунтар, Эшрет, Эшсен — теперь Центрвилль, — Эндтор, Абтан, а прежде всего — Атше, что означало «лес» — и «мир». Так и «земля», «терра», «теллус» означают как почву, так и планету — два значения и в то же время одно. Но для ат-

шеан вовсе не в почву, не в землю возвращались мертвые, не с их помощью жили живые: сутью их мира была не земля, а лес. Землянин — это глина, красная пыль. Атшеанин — ветки и корни. Они не вырезали свои изображения в камне — только в дереве.

Он посадил вертушку на небольшой поляне к северу от поселения и вошел в Тунтар, минуя Женский Дом. В воздухе разливался резкий запах атшеанского поселения: древесный дым, мертвая рыба, душистые травы, чужеродный пот. Атмосфера землянки — если землянин сможет в нее втиснуться,– это редкая смесь CO_2, причем довольно вонючая. Любов провел немало познавательных часов, согнувшись в три погибели и задыхаясь в смрадном сумраке Мужского Дома в Тунтаре. Но на этот раз туда его, скорее всего, не пригласят.

Конечно, местные знали о резне в лагере «Смит», после которой прошло уже шесть недель. И узнали почти сразу, потому что вести по островам разносились быстро — хоть и не так быстро, чтобы считаться «таинственной телепатией», как нравилось верить лесорубам. Знали местные и о том, что вскоре после резни в «Смите» из Централа освободили 1200 рабов, и Любов соглашался с

полковником в том, что туземцы могли принять второе за следствие первого. Это бы произвело, по словам полковника Донга, «некорректное впечатление», но, скорее всего, было не так уже важно. Важнее то, что рабы на свободе. Сотворенное зло уже не исправить, но можно хотя бы не повторять. Можно начать заново: местные — без того болезненного и безответного вопроса, почему землянины обращаются с людьми, как с животными, а он — без бремени объяснений и гложущей неизгладимой вины.

Зная, как они ценят честность и прямоту в разговорах на страшные или тревожные темы, Любов ожидал, что жители Тунтара обратятся к нему по этому поводу — с торжеством, или извинением, или радостью, или недоумением. Никто не обратился. Никто не сказал ему ни слова.

Он пришел во второй половине дня — это все равно что прийти в земной город на заре. Атшеане все-таки спали — колонисты, как часто бывало, игнорировали доказуемый факт, — но у них биологическое замедление происходило с полудня до четырех дня, тогда как у землян обычно — с двух до пяти ночи; и два их пика высокой температуры и активности наступали во время двух сумерек: на рассвете и вечером.

Большинство взрослых спали пять-шесть часов в сутки, урывками; адепты спали вплоть до двух часов в сутки; таким образом, если списать их короткий сон и состояние сновидения на «лень», можно сказать, что они никогда не спали. Это все-таки куда проще, чем разбираться в том, что происходит на самом деле. В это время Тунтар оживал после дневного сна.

Любов заметил немало чужаков. Они поглядывали на него, но не подходили; их силуэты мелькали на тропинках в сумраке больших дубов. Наконец навстречу вышло знакомое лицо — кузина старейшины, Шеррар, пожилая женщина не самого большого статуса и ума. Она учтиво его приветствовала, но не хотела или не могла отвечать на его расспросы о старейшине и двух лучших осведомителях — садовнике Эгате и Сновидце Тубабе. О, старейшина очень занята, и кто такой Эгат, может, он имел в виду Гебана, а Тубаб сейчас тут, или там, или нет. Она не отходила от Любова ни на шаг, и больше с ним никто не заговаривал. Так, в компании ковыляющей вразвалку крошечной зеленой старушки с ее вечными жалобами, он пробирался через рощи и поляны Тунтара к Мужскому Дому.

— Они заняты, — сказала Шеррар.

— Видят сны?

— Почем мне знать? Идем, Любов, посмотрим… — Она знала, что ему всегда интересно на что-нибудь смотреть, но не могла придумать, чем бы его отвлечь. — Посмотрим на рыбацкие сети, — сказала она неуверенно.

На него взглянула проходившая мимо девушка, из молодых охотников: черный взгляд, такой враждебный, какого он ни разу не встречал у атшеан — разве что у маленького ребенка, который испугался и оскалился из-за его роста и безволосого лица. Но эта девушка не боялась.

— Ладно, — сказал он Шеррар, чувствуя, что ему оставалось только слушаться. Если у атшеан и правда возникла — только сейчас, так резко — коллективная враждебность, он должен смириться и просто показывать, что остается надежным и неизменным другом.

Но как их отношение и мышление изменилось так быстро и после стольких дней? И почему? Провокация в лагере «Смит» была насущной и нестерпимой — жестокость Дэвидсона даже атшеан довела до насилия. Но это поселение, Тунтар, никогда не подвергалось нападениям землян, не страдало от охоты на рабов, местный лес не вырубали и не поджигали. Сам Любов — а антрополог

не может стереть из своего рисунка собственную тень, — побывал здесь два месяца назад. Тогда им уже пришли вести со Смита, и в поселении были беженцы, бывшие рабы, пострадавшие от рук землян и готовые об этом рассказать. Но разве новости и слухи могут изменить слушателей, причем изменить так радикально? Притом что корни их неагрессивности уходят так глубоко, через культуру и общество в самое подсознание, в их «время сна», а то и в физиологию? Что атшеан можно спровоцировать — зверской жестокостью, покушением на убийство, — Любов знал; сам это видел однажды. Что точно так же непростительный ущерб может спровоцировать целое общество, ему приходилось верить — так вышло в лагере «Смит». Но что кривотолки и пересуды, даже самые пугающие и возмутительные, способны довести спокойное сообщество до точки, когда оно действует вразрез со своими обычаями и логикой, перевернуть весь образ жизни, — в это он поверить не мог. Это неправдоподобно с точки зрения психологии. Он что-то упускал.

Старый Тубаб вышел из Дома, как раз когда перед ним проходил Любов. Следом за стариком показался Селвер.

Он выполз из туннеля, выпрямился, моргнул

из-за посеревшего от дождя и приглушенного листвой света. Его темные глаза встретились со взглядом Любова. Ни один не проронил ни слова. Любов перепугался до смерти.

На обратном пути в вертушке, вычисляя сдавший нерв, он задавался вопросом: почему страх? Почему же я боялся Селвера? Недоказуемое чутье или просто ложная аналогия? Как ни посмотри, нелогично.

Между Селвером и Любовым ничто не изменилось. Все поступки Селвера в лагере «Смит» можно было оправдать — и даже если нельзя, это неважно. Их дружба слишком прочна, чтобы ее пошатнули нравственные переживания. Они тяжело работали вместе; они учили друг друга языкам — даже в чуть более чем буквальном смысле. Они говорили без утайки. И любовь Раджа к другу укреплялась благодарностью, которую испытывает спаситель к тому, чью жизнь имел честь спасти.

До того момента он и не задумывался, как сильны его уважение к Селверу и преданность ему. А не был ли его страх личным из-за того, что Селвер, усвоив расовую ненависть, отвергнет и Любова со всей его преданностью, будет видеть не его, а «одного из них»?

После долгого взгляда Селвер медленно приблизился и приветствовал Любова, подняв обе ладони.

Касание считалось у лесного народа главным каналом общения. У землян оно почти всегда подразумевало угрозу, агрессию, поэтому в диапазоне между формальным рукопожатием и любовной лаской обычно ничего не было. У атшеан этот пробел заполнялся самыми разными видами касаний. Для них ласка как сигнал и успокаивающий жест была не менее важна, чем для матери и ребенка или для возлюбленных; просто значение жеста было социальным, а не материнским или сексуальным. Касание входило в их язык. А потому было упорядоченным, формализованным, но при этом бесконечно дополнялось. «Вечно они друг друга лапают», — насмехались некоторые колонисты, неспособные разглядеть в касаниях ничего, кроме своего собственного эротизма, который, если его концентрировать исключительно на сексе, а потом вдобавок подавлять и фрустрировать, пропитывает и отравляет любые чувственные удовольствия, любую человеческую реакцию: победа ослепленного и скрытного Купидона над великой глубокомысленной матерью всех морей и звезд, всей листвы деревьев, всех

жестов людей, Венеры Прародительницы…

Итак, Селвер приблизился, протягивая ладони вперед, пожал Любову руку по земному обычаю, потом взял за обе руки и пригладил над локтями. Он был вдвое ниже Любова, поэтому трогать друг друга было неловко и непросто, но в прикосновении его маленькой, тонкой, зеленой ладони не было ни капли неуверенности или инфантильности. Оно успокаивало. И Любов был очень этому рад.

— Селвер, какая удача — повстречать тебя. Мне очень надо с тобой поговорить…

— Не могу, Любов, не сейчас.

Он говорил мягко, но с первым же словом все надежды Любова на дружбу испарились. Селвер изменился. Изменился полностью — с самых корней.

— Мне можно вернуться? — поспешил спросить Любов. — В другой день, чтобы поговорить с тобой, Селвер? Для меня это важно…

— Сегодня я ухожу, — еще мягче ответил Селвер, но при этом отпустив руки Любова и отводя глаза. Тем самым он буквально отделился от касания. Вежливость говорила Любову поступить так же и закончить разговор. Но тогда говорить будет не с кем. Старый Тубаб на него и не взглянул; посе-

ление от него отвернулось. А это Селвер, его друг.

— Селвер, то убийство в Келме Дева — может, ты думаешь, что оно стоит между нами. Но нет. Может, оно даже нас сближает. И твои люди в рабских бараках — их всех отпустили, так что между нами больше не стоит зла. А если и стоит — всегда стояло — все равно я… я тот же, кем был, Селвер.

Сначала атшеанин не ответил. Его странное лицо, глубоко посаженные глаза, сильные черты, изуродованные шрамами и смягченные коротким шелковистым мехом, что следовал всем контурам, одновременно их пряча, — это лицо отвернулось от Любова: закрытое, упрямое. И вдруг он снова посмотрел на друга, словно вопреки себе.

— Любов, тебе не стоило сюда приходить. Покинь Централ через две ночи. Я не знаю, что ты такое. Лучше бы я никогда тебя не знал.

И на этом скрылся: легкая поступь, как у длинноногого кота, зеленый проблеск средь темных дубов Тунтара — и нет его. Медленно последовал за ним Тубаб, так и не удостоив Любова взглядом. Мелкий дождь бесшумно накрапывал по дубовым листьям и узким тропинкам, ведущим к Дому и реке. Лишь прислушавшись, можно было

уловить этот дождь — слишком многогранная музыка, чтобы постичь одному разуму, единый бесконечный аккорд, исполнявшийся на целом лесе.

— Селвер — бог, — сказала старуха Шеррар. — Теперь пойдем смотреть рыбацкие сети.

Любов отказался. Было бы невежливо и неразумно оставаться — да и духу уже не хватало.

Он пытался убедить себя, что Селвер отверг не его, Любова, лично, а его как землянина. Но это ничего не меняло. Никогда не меняет.

Для него всегда было неприятным сюрпризом узнать, насколько он раним, насколько болезненна боль. Такой подростковой чувствительности стоит стыдиться, пора бы уже обрасти шкурой покрепче.

Когда он попрощался, маленькая старушонка — с зеленым мехом, припорошенным и посеребренным дождевыми каплями, — вздохнула с облегчением. Направившись к вертушке, он не мог не улыбнуться при ее виде, как можно скорее ковыляющей с опушки: словно лягушка, сбежавшая от змеи.

Качество — это важно, но все-таки не важнее количества, то есть сравнительного размера. У обычного взрослого на кого-то намного меньше

его может быть самодовольная реакция, или защитная, или снисходительная, или приязненная, или задиристая, но в любом случае больше соответствующая реакции на ребенка, чем на такого же взрослого. А если человек размером с ребенка еще и мохнатый, то пробуждается дальнейшая реакция, которую Любов прозвал Реакцией Плюшевого Мишки. Атшеане так часто гладили друг друга, что сам жест становился нормальным, зато стоящий за ним мотив — подозрительным. И, наконец, никуда не деться от реакции на аномалию — отпрянуть от человека, который не похож на человека.

Но ко всему прочему прибавлялось то, что атшеане, как и земляне, иногда просто смешно выглядели. Могли напоминать жаб, сов, гусениц. Шеррар — не первая старушка, показавшаяся Любову забавной со спины…

Вот один из недостатков колонии, думал он, взлетая на вертолете и оставляя Тунтар под дубами и безлистными садами. У нас нет старух. Нет и стариков, не считая Донга, да и тому всего шестьдесят. Но старухи — дело особое: они говорят, что думают. Атшеанами правят — насколько о них так можно сказать, — старухи. Интеллект отдан мужчинам, политика — женщинам, а этика — во

взаимодействии между ними: таков их порядок. В этом есть своя прелесть, и это работает — у них. Вот бы Администрация выслала вместе с молодыми фертильными грудастыми девушками пару бабуль. Взять хоть ту девушку, которая была у меня вчера ночью: очень хорошая, и хороша в постели, и сердце у нее доброе, но, боже мой, пройдет еще лет сорок, прежде чем она скажет слово поперек мужчине…

Но все это время, за всеми его мыслями о молодых и старых женщинах, оставалось то потрясение — чутье или узнавание, которое все никак не хотело узнаваться.

Нужно все обдумать, прежде чем докладывать начальству.

Селвер — так что с Селвером?

Для Любова Селвер явно был ключевой фигурой. Почему? Потому что исследователь хорошо его знал — или из-за какой-то черты его характера, которую Любов никогда сознательно не замечал?

Но ведь замечал; он сразу отметил Селвера как исключительного человека. Тогда он еще был Сэмом, слугой трех офицеров в модульном доме. Любов помнил, как Бенсон похвалялся, какой хороший им достался сущ — приручили

в одночасье.

Многие атшеане, особенно Сновидцы из Домов, не могли изменить свой полицикличный сон, чтобы подстроиться под землян. Если они спали по ночам, то выбивались из фаз быстрого, или парадоксального, сна, чей 120-минутный цикл правил их жизнью днем и ночью и никак не встраивался в земной рабочий день. Стоит научиться грезить наяву, удерживать разум не на бритвенной кромке рассудка, а на двойной опоре рассудка и сна — отличное равновесие, — стоит всему этому научиться, как уже не разучишься, так же как не разучишься думать. Поэтому многие из них впадали в ступор, замешательство, замкнутость, даже кататонию. Женщины, ничего не понимающие и униженные, вели себя с угрюмой апатией только что порабощенных. Лучше всего справлялись мужчины-неадепты да кое-кто из молодых Сновидцев; они подстраивались, усердно трудились на лесозаготовках, из них выходили смышленые слуги. Сэм был из их числа: расторопный безликий слуга, повар, мойщик, дворецкий, спинонатирщик и козел отпущения для своих трех хозяев. Он научился невидимости. Любов позаимствовал Сэма для этнологических исследований и — благодаря какому-то родству

мышления или характера, — сразу же завоевал его доверие. Сэм оказался идеальным осведомителем, знатоком обычаев своего народа, понимал их значения, легко переводил, разжевывал для Любова, сводил между собой два языка, две культуры, два вида одного человеческого рода.

Два года Любов путешествовал, исследовал, опрашивал, наблюдал — но так и не подобрал ключ к атшеанскому разуму. Не знал даже, где замок. Он изучал организацию сна атшеан и узнал, что ее вроде бы и нет. Он подключал бесчисленные электроды к бесчисленным мохнатым зеленым головам — но так и не расшифровал знакомые паттерны на графиках, полосы и зубцы, альфы, дельты и теты. Это Селвер помог ему наконец понять значение атшеанского слова «сон» — оно же «корень», — и тем самым вручил ключ от царства лесного народа. Это на ЭКГ Селвера Любов впервые увидел удивительные паттерны мозга, впадающего в особое состояние сна, которое отличается и от сна, и от бодрствования: это состояние так же напоминало земной сон, как Парфенон — мазанку: суть одна, но сложность, качество и контроль отличаются на порядки.

Что потом, что еще?

Селвер мог сбежать. Он остался — сначала слугой, потом (благодаря немногим полезным льготам Любова как спеца) лаборантом, но по-прежнему проводя каждую ночь с другими сущами в загоне (жилье автохтонных рабочих-добровольцев).

— Я отвезу тебя в Тунтар, чтобы работать с тобой там, — сказал Любов в их третью встречу. — Боже, зачем торчать здесь?

— В загоне моя жена Теле, — ответил Селвер.

Любов пытался добиться и ее освобождения, но она работала на кухне штаба, а сержанты из кухонного наряда терпеть не могли никакого вмешательства «верхушки» и «спецов». Любову приходилось действовать очень осмотрительно, чтобы они не выместили злость на ней. Похоже, она и Селвер были готовы терпеливо ждать момента побега или освобождения. Мужчин и женщин в загонах строго сегрегировали — почему, никто толком объяснить не мог, — и жена с мужем виделись редко. Любов устраивал им встречи у себя в личной хижине, на севере городка. Когда Теле возвращалась после одной такой встречи в штаб, ее и заметил Дэвидсон, увлекся ее хрупкой, опасливой грацией. Тем же вечером он велел доставить ее к нему и изнасиловал.

Возможно, при этом он ее и убил; такие случаи известны — из-за физических различий; а может, она сама перестала жить. Как и у некоторых землян, у атшеан был дар к смертельному самовнушению, они могли просто взять и умереть. В любом случае убил ее Дэвидсон. Так бывало и раньше. А чего не бывало, так это того, что совершил Селвер на второй день после ее смерти.

Любов успел только под конец. Он помнил звуки; как бежал под жарким солнцем по Главной улице; пыль, клубок мужчин. Все могло продлиться не больше пяти минут — долгое время для смертельной драки. Когда появился Любов, Селвер ослеп от крови, уже стал игрушкой для Дэвидсона, и все-таки встал и надвигался опять — не в ярости берсерка, а с осознанным отчаянием. Он все нападал и нападал. Это Дэвидсон наконец испугался и впал в гнев из-за жуткого упорства; повалив Селвера ударом на землю, он занес свой сапог над его черепом, чтобы раздавить. Стоило ему сдвинуться, как в круг ворвался Любов. Он разнял драку (если у десяти-двенадцати зевак и была жажда крови, они ее уже утолили и встали на сторону Любова, когда он велел Дэвидсону убираться); и потом ненавидел Дэвидсона, и тот ненавидел его в ответ — того, кто встал между

убийцей и его убийством.

Ведь если самоубийство убивает всех остальных, то убийца — себя; но ему это приходится делать снова, снова и снова.

Любов подобрал Селвера с земли — легкая ноша. Изувеченное лицо прижалось к рубашке, кровь пропитала ткань и попала на его кожу. Он забрал Селвера к себе домой, наложил шину на сломанную кисть, сделал с лицом, что смог, оставил переночевать у себя в постели, ночь за ночью пытался с ним говорить, пробиться через горе его траура и стыда. Все это, понятно, в нарушение правил.

Никто об этом не заговаривал. Да и не надо было. Любов сам знал, что лишился всякого уважения офицеров, если оно и было.

Он всегда старался не ссориться с начальством, возражал только против крайней жестокости к местным, убеждал, а не обвинял, сберегал остатки силы и влияния. Ему было не остановить эксплуатацию атшеан. Все оказалось куда хуже, чем ему казалось на подготовке, но здесь и сейчас он поделать ничего не мог. Какой-никакой эффект могли бы произвести его отчеты Администрации и комиссии по правам — но после обмена сообщениями длиной в 54 года; Земля могла даже

решить, что колония на Атше — это ужасная ошибка. Лучше 54 года, чем никогда. А если бы он лишился благосклонности начальства, его отчеты цензурировали бы или отвергали, и надежды бы не осталось вовсе.

Но теперь, в гневе, он наплевал на свою стратегию. К черту всех, если им так хочется считать заботу о друге оскорблением Матушки-Земли и предательством колонии. Если бы его окрестили «любителем сущей», он бы уже не помог атшеанам; но у него не получалось поставить некое общее благо выше нужды Селвера. Нельзя спасти народ, предав друга. Дэвидсон, удивительно обозленный мелким ущербом в драке и заступничеством Любова, на каждом углу клялся добить суща-бунтаря; наверняка так бы и сделал, если бы представился случай. Любов две недели не отходил от Селвера ни на минуту, а потом увез его из Централа и высадил в поселении на западном побережье, Бротере, где у того была родня.

За помощь беглым рабам наказания не предусматривалось, ведь атшеане не были рабами официально, только по факту: были они Добровольной автохтонной рабочей силой. Любову даже выговор не сделали. Но впредь обычные офицеры окончательно перестали ему доверять;

даже его коллеги в корпусе специалистов — экзобиолог, координаторы сельского и лесного хозяйства, экологи, — по-своему дали ему понять, что он вел себя нелогично, идеалистично или глупо.

— А ты думал, у нас тут пикник? — резко вопрошал Госс.

— Нет, я не думал, что тут хренов пикник, — угрюмо ответил Любов.

— Не понимаю, зачем спецу по врафам сознательно привязываться к открытой колонии. Ты же знаешь, что народ, который ты изучаешь, вытеснят и наверняка истребят. Таков порядок вещей. Это в человеческой натуре, и ты должен понимать, что ничего не изменишь. Так зачем приезжать, чтобы наблюдать за процессом? Мазохизм?

— Я не знаю, что такое «человеческая натура». Может, в человеческой натуре оставлять описания того, что мы истребляем. И что, будто экологам намного приятнее?

Госс пропустил все мимо ушей.

— Ну и пожалуйста, пиши свои описания. Но в мясорубку не лезь. Когда биолог изучает колонию крыс, он не спасает питомцев, когда на них нападают.

Тут Любов взорвался. Это уже было слишком.

— Нет, конечно нет, — сказал он. — Крыса может быть питомцем, но не другом. А Селвер был мне другом. Собственно, он единственный на этой планете, кого я считаю другом.

Это глубоко уязвило бедного старого Госса, набивавшегося Любову в символические отцы, да и пользы никакой не принесло. И все-таки было истиной. А истина принесет вам освобождение…[24] Мне нравится Селвер, я его уважаю; спас его, страдал вместе с ним; боюсь его. Селвер — мой друг.

Селвер — бог.

Так сказала зеленая старушонка — и таким голосом, будто это известно всем; походя, как если бы сказала, что такой-то — охотник. «Селвер — ша’аб». Но что значит «ша’аб»? Многие слова Женского Языка — повседневной речи атшеан — пришли из Мужского, одинакового во всех поселениях, и часто эти слова были не только двусложными, но и двугранными. Как монеты, реверс и аверс. «Ша’аб» — значит «бог», или «высшая сущность», или «могущественное создание»; но значит и что-то совсем другое, и Любов никак

---

[24] Примечания: 24
От Иоанна, 8:32.

не мог вспомнить, что. На этой стадии своих размышлений он уже вернулся домой, поэтому ему достаточно было просто открыть словарь, который они с Селвером составили за четыре месяца изнурительного, но гармоничного труда. Ну конечно же: «ша'аб» — переводчик.

Даже слишком просто, слишком уместно.

Связаны ли эти два значения? Часто — да, однако «часто» — это еще не правило. Если бог — это переводчик, то что он переводит? Селвер, конечно, одаренный толкователь, но этот его дар обрел выражение только потому, что на его планету принесли поистине чужой язык. Возможно, ша'аб — это тот, кто переводит речь снов и философии, Мужской Язык, на повседневную речь? Но так может любой Сновидец. Возможно, тогда он тот, кто переводит в явь основное переживание видения — тот, кто служит связующим звеном меж двух реальностей, которые у атшеан считаются равными: время снов и время мира, чья связь является основополагающей, но непонятной. Звено: тот, кто произносит вслух то, что воспринимает подсознание. «Говорить» на этом языке — значит действовать. Делать что-то новое. Менять или меняться — радикально, от корня. Ведь корень — это сон.

И переводчик — это бог. Селвер привнес в язык своего народа новое слово. Совершил новый поступок. Это слово, этот поступок — убийство. Лишь бог мог привести по мосту меж мирами такого могущественного гостя, как Смерть.

Но где он научился убивать других людей — в своих снах, полных гнева и скорби, или наяву, у чужаков? На своем ли языке он говорит — или на языке капитана Дэвидсона? То, что растет от корня его страдания и выражает его измененное существо, на самом деле может оказаться заразой, чужеземной чумой, которая не обновит его расу, а уничтожит.

Не в духе Раджа Любова было думать: «А что я могу сделать?» Характер и подготовка предрасполагали его не лезть в чужое дело. Его работой было только узнавать, что это за дело, а склонностью — не мешать. Он предпочитал просвещаться, а не просвещать; искать факты, а не Истину. Но даже если человек далек от проповедничества — если только не делать вид, что у него нет чувств, — порой он встает перед выбором между решимостью и отрешением. «Что делают они?» вдруг переходит в «Что делаем мы?», а потом и в «Что должен сделать я?».

О том, что теперь на этой развилке оказался он,

Любов знал, но не знал четко, почему, или какие у него есть альтернативы.

Сейчас он не мог повысить шансы атшеан на выживание; Лепеннон, Ор и ансибль уже сделали больше, чем он надеялся увидеть в жизни. Каждое сообщение Администрации на Земле было недвусмысленным, и полковник Донг подчинялся приказам — несмотря на требование кое-кого из штата и бригадиров закрыть на них глаза. Он был верным служакой; к тому же «Шеклтон» еще вернется, чтобы проверить и доложить о выполнении приказов. Отчеты что-то значили — теперь, когда ансибль, эта machina ex machina[25], помешала старой уютной колониальной автономии; теперь, когда ты нес ответ при своей жизни. Больше не было 54-летнего пространства для ошибки. Теперь правила подлежали изменениям. Решение Лиги Мира могло в одночасье ограничить всю колонию только одним островом, или запретить вырубать деревья, или потребовать убивать больше местных — тут не угадаешь. Как устроена Лига и к какой политике стремилась,

[25] Примечания: 25

«Машина из машины» (*лат.*); отсылка к выражению «бог из машины» (*лат.* deus ex machina) означающего неожиданную развязку благодаря вмешательству свыше (происходит из античного театра, где «машиной» назывался кран, опускавший на сцену актера в роли бога).

оставалось только догадываться по директивам Администрации. Донг заволновался из-за этого нового, непредсказуемого будущего, но Любов им наслаждался. Разнообразие — это жизнь, а где жизнь, там и надежда, — вот к чему сводился его девиз, пусть и скромный.

Колонисты оставили в покое атшеан, а те оставили в покое колонистов. Здоровое положение, при котором никто никого не беспокоит без нужды. Беспокоить мог только страх.

На текущий момент атшеане могли относиться к колонистам с подозрением и еще жгучей обидой, но не страхом. И панику, вспыхнувшую в Центрвилле после новостей о резне в лагере «Смит», больше ничто не подпитывало. С тех пор ни один атшеанин не проявил агрессии; после освобождения рабов все сущи уползли в свои леса, где уже не было постоянного раздражителя — ксенофобии. Колонисты наконец выдохнули с облегчением.

Если бы Любов сообщил, что видел в Тунтаре Селвера, Донг и остальные бы переполошились. Могли бы потребовать изловить Селвера и судить. Колониальный устав запрещал судить члена одного планетного общества по законам другого, но для трибунала различий не существо-

вало. Они могли осудить и расстрелять Селвера. Вызвав Дэвидсона с Новой Явы для дачи показаний. «Нет уж», — подумал Любов, и больше у него этого и в мыслях не было. А значит, он совершил свой выбор, даже этого не заметив.

На следующий день Любов сдал короткий доклад. В нем говорилось, что в Тунтаре все как обычно, ему не отказали в приглашении и не угрожали. Успокаивающий доклад — и самый неверный в карьере Любова. В нем опускалось все самое важное: отсутствие старейшины, отказ Тубаба здороваться, огромное число чужаков, выражение молодой охотницы, присутствие Селвера… Конечно, последнее умолчание было сознательным, но в остальном, казалось ему, доклад не отходит от фактов; он всего лишь исключил субъективные впечатления, как и положено хорошему ученому. Писал он отчет, мучаясь от ужасной головной боли, а когда сдавал — и того сильнее.

Той ночью он видел много снов, но наутро их не помнил. На вторую ночь после визита в Тунтар он проснулся и под истерическое завывание сирен и грохот взрывов наконец увидел то, что отказывался видеть. Он единственный во всем Центрвилле не удивился. И в тот момент он знал,

кто он: предатель.

Но даже тогда он смутно понимал, что это нападение атшеан. Это был просто ужас в ночи.

Его дом, отстоявший на ярд от остальных, обошли; может, защитили деревья вокруг, думал он, спеша на улицу. Но центр поселения пылал. Даже каменный куб штаба горел изнутри, как испорченная печь. Там находился ансибль — драгоценная связь. Пылали пожары и в стороне вертолетной площадки и летного поля. Откуда у них взрывчатка? Почему она сдетонировала одновременно? Горели все здания вдоль обеих сторон Главной улицы, построенные из дерева; треск стоял страшный. Любов бежал к огню. Путь преградила вода; сначала он принял ее за воду из шланга, потом понял, что это из трубопровода от реки Мененд бесполезно хлещет на землю, пока дома горят с отвратительным всасывающим ревом. Как им все это удалось? Была же охрана, в поле всегда дежурят патрули на джипах… Выстрелы: залпы, стрекот пулемета. Всюду вокруг Любова бежали маленькие фигурки, но он сам бежал и даже их не замечал. Поравнявшись с хостелом, увидел в дверном проеме девушку с мерцающим позади пламенем и свободной дорогой перед ней. Она застыла. Он крикнул ей,

потом перебежал двор и, схватив за руки, оторвал от косяка, в который она панически вцепилась, оттащил силой, мягко приговаривая: «Идем, милая, идем». Тогда она наконец сдвинулась с места, но было поздно. Когда они переходили двор, фасад второго этажа, пылающего изнутри, медленно обрушился вперед, выдавленный балками провалившейся крыши. Обломки и черепица брызнули, как осколки снарядов; конец горящей балки опрокинул Любова на землю. Он упал ничком в озаренную огнем лужу грязи. Он не видел, как маленькая зеленая охотница прыгнула на девушку, стащила на землю и перерезала ей глотку. Он не видел ничего.

6

В ту ночь не пели песни. Были только вопли и тишина. Когда горели воздушные корабли, Селвер ликовал, и слезы выступили на глазах — но не слова на устах. Он отвернулся молча, с тяжело лежащим в руках огнеметом, и повел отряд обратно в город.

Каждый отряд с Запада и Севера возглавили бывшие рабы вроде него самого — те, кто служил у землянинов в Централе и знали дороги и дома в городе.

Большинство из тех, кто напал той ночью, еще никогда не видели города землянинов; многие не видели и землянина. Они пришли, потому что последовали за Селвером, потому что их гнал злой сон — и лишь Селвер мог научить, как с ним совладать. Были их сотни и сотни, мужчин и женщин; они поджидали в полной тишине, в дождливой мгле, по краям города, пока бывшие рабы, по двое-трое, делали то, что надо было сделать перед началом: пробили водопровод, перерезали провода, несущие свет от Генераторной, проникли в Арсенал. Первые смерти — охранников — настали бесшумно, от охотничьего оружия: петля, нож, стрела — мгновенно, во тьме. Динамит, украденный той же ночью с лесозаготовок в десяти милях к югу, они заложили в Арсенале, подвале штаба, а в других местах разожгли огонь; и вот тогда сработала тревога, тогда запылали пожары, тогда закончились ночь и тишина. Почти все раскаты грома и треск падающих деревьев — звуки стрельбы, — раздавались от оборонявшихся землянинов, ведь только бывшие рабы забрали и использовали оружие из Арсенала, а остальные по-прежнему орудовали копьями, ножами и луками. Но это динамит, заложенный и запаленный Резваном и остальными из рабских

лесозаготавительных бараков, издал грохот громче всех грохотов, снес стены штаба, уничтожил ангары и корабли.

Той ночью в городе находилось около тысячи семисот землянинов, из них около пятисот — женщины; говорили, там все теперь женщины на планете, из-за чего Селвер с остальными и решили действовать, хоть добровольцы еще собирались. От четырехсот до пятисот мужчин и женщин пришли через лес на Встречу в Эндторе, а оттуда — к этому месту, к этой ночи.

Огонь пылал высоко, вонь гари и резни стояла ужасная.

Во рту Селвера пересохло, глотку саднило так, что он не мог говорить и тосковал хоть по одному глотку. Когда он вывел свой отряд на центральную тропу города, навстречу выбежал человек — огромный силуэт на фоне черного и ослепительного задымленного воздуха. Селвер поднял огнемет и потянул его язычок, хоть человек поскользнулся в грязи и упал на колени. Из ствола не вырвалась струя пламени — все истратилось на воздушные корабли, которые стояли вне ангара. Селвер выронил тяжелый аппарат. Землянин, мужчина, был не вооружен. Селвер пытался сказать: «Пусть убегает», — но его голос

слишком ослаб, и, не успел он договорить, как двое — охотники с лугов Абтам, — подскочили с длинными ножами в руках. Большие голые руки цеплялись за воздух — и вяло упали. Большой труп лежал кулем на тропе. И таких было много, мертвых в центре бывшего города. Опускалась тишина, не считая треска пожаров.

Селвер приоткрыл рот и издал клич домой, завершая охоту; те, кто был с ним, громче и отчетливей подхватили его своим звонким фальцетом; отозвались другие голоса, близко и далеко в тумане, вони и обожженной пламенем ночной тьме. Вместо того чтобы сразу увести свой отряд из города, он дал сигнал идти без него, а сам отошел в сторону, к двору между тропой и зданием, что уже прогорело и рухнуло. Он переступил через мертвую землянинку, склонился над кем-то придавленным большой обугленной балкой. Он не видел лица, стертого грязью и тенью.

Так нечестно; так не нужно; ему не хотелось смотреть именно на этого среди множества мертвых. Не хотелось узнавать его во тьме. Он двинулся вслед за отрядом. Потом вернулся; с усилием поднял балку со спины Любова; присел, пропустив ладонь под тяжелую голову, чтобы казалось, что Любову мягче лежать, чтобы не

пачкалось его лицо; и так остался на коленях, без движения.

Селвер не спал четыре дня и не видел снов еще дольше — уже и не знал сколько. Он действовал, говорил, странствовал, планировал, день и ночь с тех пор, как покинул Бротер со своими последователями из Кадаста. Переходил из города в город, обращаясь к лесному народу, сообщая им новое, пробуждая из сна в мир, устраивая то, что сделано сегодня ночью, — и говорил, без конца говорил и слушал, как говорят другие, не зная тишины, не зная одиночества. Его слушали, слышали и потом шли за ним, следовали новой тропой. Они взяли в руки огонь, которого страшились, совладали со злым сном, обрушили смерть, которой страшились, на врага. Все сделано, как говорил он. Все вышло, как говорил он. Дома и многие жилища землянинов сгорели, сгорели или уничтожены их воздушные корабли, похищено или уничтожено их оружие; мертвы их женщины. Догорали костры, ночь, задушенная дымом, становилась все темнее. Селвер ничего не видел дальше носа; взглянув на запад, гадал, долго ли до рассвета. Там, стоя на коленях среди мертвых, он думал: теперь это сон, злой сон. Я думал, что управляю им, а это он управлял мной.

Во сне губы Любова сдвинулись у его ладони; Селвер опустил взгляд и увидел, как открываются глаза мертвеца. В них отразился свет умирающих пожаров. Немного погодя он произнес имя Селвера.

— Любов, зачем ты остался? Я же предупреждал, чтобы этой ночью ты ушел из города — так говорил Селвер во сне — резко, будто злился на Любова.

— Ты в плену? — спросил Любов слабо, не поднимая головы, но таким обыденным голосом, что на миг Селвер понял: это не время сна, а время мира, ночь леса. — Или я?

— Ни ты, ни я; оба; откуда мне знать? Все двигатели и машины сожжены. Все женщины мертвы. Мужчин мы отпускали, если они убегали. Любов, почему ты не такой, как другие?

— Я такой же, как они. Человек. Как они. Как ты.

— Нет. Ты другой…

— Я как они. И ты тоже. Послушай, Селвер. Остановись. Ты должен остановиться и не убивать других. Ты должен вернуться… к своим… к своим корням.

— Когда твои уйдут, злой сон прекратится.

– *Сейчас*, — произнес Любов и попытался

поднять голову, но ему перебило хребет. Он посмотрел на Селвера снизу вверх и открыл рот, чтобы заговорить. Его взгляд упал и всмотрелся в другое время, а губы остались приоткрытыми, немыми. В горле присвистнуло дыхание.

Селвера звали по имени, множество голосов где-то вдали, снова и снова.

— Я не могу остаться с тобой, Любов! — в слезах воскликнул Селвер, и, когда не услышал ответа, поднялся и пытался сбежать. Но бежать во тьме сна получалось только медленно, словно он брел по пояс в воде. Перед ним шагал Дух Ясеня, выше Любова или любого человека, высотой с дерево, не поворачиваясь к Селверу своей белой маской. Уходя, Селвер сказал Любову:

— Мы вернемся, — сказал он. — Я вернусь. Сейчас. Мы вернемся — сейчас. Обещаю тебе, Любов!

Но его друг, добрый друг, спасший его жизнь и предавший его сон, его друг Любов не ответил. Он шел в ночи где-то рядом с Селвером, незримый, безмолвный, как смерть.

Отряд из Тунтара нашел Селвера, когда тот блуждал во тьме, рыдал и бредил, одоленный сном; его забрали с собой, поскорее вернув в Эндтор.

Там, в наскоро построенном Доме — шалаше

на речном берегу, — Селвер пролежал беспомощным и невменяемым два дня и две ночи, пока его выхаживали Старшие Мужчины. Все это время люди приходили в Эндтор и уходили, возвращаясь на Место Эшсена, которое звалось Централ, чтобы похоронить там мертвецов, своих и чужих; своих — больше трех сотен, остальных — больше семи сотен. Около пятисот землянинов заперли в бараках сущей — их, стоявшие пустыми в стороне, не сожгли. Многие сбежали, и кое-кто добрался до поселков лесорубов на юге, на которые не нападали; тех, кто еще прятался или блуждал в лесу или Вырубленных Землях, переловили. Одних убили, ведь многие молодые охотники и охотницы еще слышали только голос Селвера, говоривший «Убить». Но кое-кто уже оставил ночь убийств за спиной, словно кошмар, злой сон, который надо осмыслить, чтобы он не повторился; и они, встречая измученного жаждой, истощенного человека, ютившегося в кустах, не могли его убить. Может, тогда он убивал их. Еще оставались отряды по десять-двадцать землянинов, вооруженные охотничьими топорами и короткоствольным оружием, хотя патронов у них почти не осталось; их выслеживали, незримо окружая в лесу, затем хватали, связывали и вели

обратно в Эшсен. Всех изловили в два-три дня, ведь вся та часть Сорнола еще кишела от лесного народа — на их памяти в одном месте еще не собиралось и вполовину, и вдесятеро меньше человек; многие до сих пор сходились из далеких поселений и других Земель, а другие уже возвращались домой. Пленных землянинов сажали к остальным в загон, хоть там было тесно, а бараки были маловаты для землянинов. Их поили, кормили дважды в день, и все время стерегла пара сотен вооруженных охотников.

В день после Эшсенской Ночи с востока пристрекотал воздушный корабль, опустился, словно чтобы приземлиться, потом резко взмыл, как хищная птица, упустившая добычу, и покружил над разрушенным посадочным местом, тлеющим городом и Вырубленными Землями. Резван проследил за тем, чтобы все рации уничтожили, — возможно, молчание и привлекло воздушный корабль из Кушила или Ришвела, где оставались три поселения землянинов. Пленники в загоне высыпали из бараков и кричали машине каждый раз, когда она стрекотала над ними, и оттуда им что-то сбросили на маленьком парашюте; наконец машина утарахтела в небо.

Теперь на Атше остались четыре крылатых

корабля: три на Кушиле и один на Ришвеле, все маленькие, рассчитанные на четырех человек; еще на них были пулеметы и огнеметы, и они немало тревожили Резвана и остальных в то время, пока Селвер был для них потерян, скитаясь по загадочным тропам другого времени.

Он очнулся во времени мира на третий день: тощий, оцепенелый, голодный, безмолвный. Искупавшись в реке и подкрепившись, он выслушал Резвана, старейшину Берре и остальных, выбранных в предводители. Они рассказали, чем жил мир, пока он спал. Выслушав всех, он оглядел их, и они увидели в нем бога. Ослабев от страха и отвращения после Эшсенской Ночи, кое-кто усомнился. Их сны стали тревожными, наполнились кровью и пламенем; весь день их окружали чужаки, люди со всех лесов, сотни, тысячи, все стекались, как «воздушные змеи» на падаль, не зная друг друга, — и казалось, будто настал конец света и уже ничто не будет как прежде или как положено. Но в присутствии Селвера они вспомнили свою цель; их волнение улеглось, и они ждали его слова.

— Убийства окончены, — сказал он. — Проследите, чтобы об этом знали все. — Селвер оглядел собравшихся. — Мне нужно поговорить с теми,

кто сидит в бараках. Кто у них главный?

— Индюк, Плосконогий, Мокроглазый, — ответил Резван, бывший раб.

— Индюк жив? Хорошо. Помоги подняться, Греда, а то у меня угри вместо костей…

Понемногу расходившись, он окреп и уже через час отбыл в Эшсен, в двух часах пешим ходом от Эндтора.

Когда они прибыли, Резвен приставил лестницу к ограде, поднялся и завыл на пиджин-инглише, которому учили рабов:

— Донг-а, к воротам живо-быстро!

Землянины между низкими цементными бараками кричали и бросались в него комьями земли. Он пригнулся и подождал.

Старый полковник не вышел, но из барака прихромал Госс, кого они звали Мокроглазым, и откликнулся:

— Полковнику Донгу плохо, он не может выйти.

— Как плохо?

— Живот, водная болезнь. Что вам надо?

— Говорить-говорить. — Мой господин бог, — произнес Резван уже на родном языке, опустив глаза на Селвера. — Индюк прячется, будешь говорить с Мокроглазым?

— Ладно.

— Следить за воротами, лучники!.. К воротам, ми-тер Госс-а, живо-быстро!

Ворота приоткрылись не дольше и не больше, чем требовалось, чтобы наружу протиснулся Госс. Он встал перед ними один, глядя на отряд Селвера. Вес он переносил на одну ногу — берёг другую, пострадавшую в Эшсенскую Ночь. На нем была рваная пижама, заляпанная грязью и промокшая от дождя. Седеющие волосы свисали у ушей и на лоб жидкими прядями. Будучи в два раза выше своих захватчиков, он держался прямо и взирал на них с доблестным и разгневанным страдальческим видом.

— Что вам надо?

— Нам надо говорить, мистер Госс, — сказал Селвер, научившийся простому английскому у Любова. — Я Селвер, сын Ясеня из Эшрета. Я друг Любова.

— Да, я тебя знаю. У вас есть что сказать?

— Мне есть сказать, что убийства окончены, если так обещает мой и ваш народы. Вы все будете свободны, если соберете своих из лагерей лесорубов в Южном Сорноле, на Кушиле и Ришвеле и все там останетесь. Можете жить там, где умер лес, и растить свои травы. Деревья больше

рубить нельзя.

Лицо Госса просветлело.

— На лагеря не нападали?

— Нет.

Госс промолчал.

Селвер всматривался в его лицо, потом заговорил снова:

— Я думаю, вас на планете осталось меньше двух тысяч. Все ваши женщины мертвы. В других лагерях еще есть оружие — вы можете убить много наших. Но и у нас есть ваше оружие. И нас больше, чем вы сможете убить. Думаю, вы это знаете и поэтому и не просили у летающих кораблей огнеметы, чтобы убить охрану и сбежать. Без толку — нас правда слишком много. Самое лучшее — дать нам обещание, и тогда вы дождетесь, когда прилетит ваш Большой Корабль, и покинете планету. Я думаю, это будет через три года.

— Да, три местных года… Откуда вы знаете?

— Ну, у рабов есть уши, мистер Госс.

Госс наконец посмотрел прямо на него. Отвел глаза, переминаясь с ноги на ногу, стараясь облегчить боль. Снова посмотрел на Селвера, снова отвернулся.

— Мы уже «обещали» не трогать ваших. Вот почему рабочих отпустили домой. Бесполезно,

вы не прислушались…

— Это обещание было сделано не нам.

— Как можно заключать соглашения или договоры с народом, у которого нет правительства, нет центральной власти?

— Не знаю. Думаю, вы даже не знаете, что такое обещание. Это уже скоро было нарушено.

— Что это значит? Кем, как?

— В Ришвеле, Новая Ява. Четырнадцать дней назад. Землянины из лагеря на Ришвеле сожгли поселение и убили его жителей.

— Да о чем вы?

— О вестях, что нам принесли из Ришвела.

— Ложь. Все это время мы были на радиосвязи с Новой Явой, до самой бойни. Никто не сообщал об убийствах местных ни там, ни где-либо еще.

— Вы говорите ту правду, которую знаете, — сказал Селвер. — А я — правду, которую знаю я. Я верю в ваше незнание об убийствах на Ришвеле; но и вы поверьте в мои слова о том, что они были. Вот что остается: обещать вы должны нам и с нами — и должны сдержать обещание. Вы захотите обсудить это с полковником Донгом и остальными.

Госс сдвинулся с места, словно уже хотел вернуться в ворота, потом повернулся и проговорил

глубоко, хрипло:

— Кто ты, Селвер? Ты… это ты организовал нападение? Ты их возглавил?

— Да, я.

— Тогда вся кровь — на твоих руках, — сказал Госс, и неожиданно свирепо: — И кровь Любова тоже. Он мертв — твой «друг Любов».

Селвер не понял выражения. Он уже изведал убийство, но о чувстве вины знал только понаслышке. На миг встретив бледный, ненавидящий взгляд Госса, он ощутил страх. Накатила тошнота, смертный холод. Он попытался их оттолкнуть, на миг закрыв глаза. Наконец произнес:

— Любов — мой друг, и потому не мертв.

— Вы дети,– с ненавистью бросил Госс.– Дети, дикари. У вас нет понимания реальности. Это не сон, это по-настоящему! Вы убили Любова. Он умер. Вы убили женщин — *женщин* — сожгли их заживо, забили, как скот!

— Надо было оставить их в живых? — спросил Селвер с той же злобой, как Госс, но тише, нараспев. — Чтобы плодились, как насекомые в теле Мира? Чтобы вы взяли нас числом? Мы убивали, чтобы оскопить вас. Я знаю, что такое «реалист», мистер Госс. Мы с Любовым обсуждали эти слова. Реалист — это тот, кто знает и мир, и свои сны. Вы

не разумны — на тысячу ваших не найдется ни одного, кто умеет видеть сны. Не умел даже Любов, а он лучший из вас. Вы спите, просыпаетесь и забываете сны, снова спите и снова просыпаетесь, и так всю жизнь, и думаете, что вот это — бытие, жизнь, реальность! Вы не дети, вы взрослые, но безумные. Вот почему вас пришлось убить — пока вы не свели с ума и нас. А теперь возвращайтесь и говорите о реальности с другими безумцами. Говорите долго и хорошенько!

Охрана открыла ворота, угрожая землянинам внутри копьями; Госс ушел, ссутулив широкие плечи, как от дождя.

Селвер очень устал. Пришли, чтобы проводить его, старейшина Берре и другая женщина; они вели его под руки, чтобы он не упал, споткнувшись. С ним шутила молодая охотница Греда, сестра от его Древа, и Селвер легкомысленно ей отвечал, смеялся. Обратный путь в Эндтор словно бы занял много дней.

Он слишком устал, чтобы есть. Отпил теплого бульона и прилег у Мужского Костра. Эндтор был не поселением, а простым лагерем у большой реки — излюбленным рыбным местом всех поселений, что когда-то находились в окрестных лесах, до прихода землянинов. Здесь не было

своего Дома. Только два кострища, сложенных из черных камней, и долгий, поросший травой берег, где можно поставить палатки из шкур и шалаши из плетеного рогоза — вот и весь Эндтор. Река Мененд, главная река Сорнола, неустанно говорила с Эндтором во сне и наяву.

У костра собралось немало стариков — одних он знал по Бротеру, Тунтару и своему уничтоженному городу Эшрету, других не знал вовсе; по их глазам и жестам он видел, по их голосам слышал, что все они — Великие Сновидцы; наверное, больше сновидцев, чем когда-либо собиралось в одном месте. Вытянувшись на траве во весь рост и уложив голову на ладони, он сказал, глядя в огонь:

— Я назвал землянинов безумными. Не безумен ли я сам?

— Ты не отличаешь одного времени от другого, — сказал старый Тубаб, подкладывая в огонь сосновую ветку, — потому что слишком давно не грезил во сне или наяву. Расплата за это будет долгая.

— Нехватка снов и грез — все равно что отрава землянинов, — прибавил Хебен, который был рабом и в Централе, и в лагере «Смит». — Землянины травят себя, чтобы грезить. Я видел, как

один принял отраву и сидел с видом сновидца. Но они не могут ни вызвать сны, ни управлять ими, ни ткать, ни ваять, ни перестать грезить; сны подчиняют их, гонят. Они совсем не знают, что у них внутри. То же и с тем, кто не грезил много дней. Пусть он мудрейший в своем Доме — он все равно еще долго будет сходить с ума, сейчас и потом, тут и там. Он будет подчинен, порабощен. Не поймет самого себя.

Глубокий старик с акцентом Южного Сорнола положил руку Селверу на плечо, пригладил и сказал:

— Мой дорогой юный бог, тебе нужно петь, тогда тебе полегчает.

— Не могу. Спойте за меня.

Старик запел; остальные подхватили, вливались высокие и пронзительные, почти нестройные голоса — словно ветер в рогозе Эндтора. Пели они одну из песен о ясене, об изящных резных листьях, что желтеют осенью, когда наливаются красным ягоды, и о той ночи, когда их серебрят первые заморозки.

Селвер слушал песню Ясеня, а рядом с ним лежал Любов. На земле он не казался таким чудовищно высоким, большеруким и длинноногим. Позади него на фоне звезд чернело полуразрушен-

ное, выжженное здание. «Я — как ты», — сказал Любов, не глядя на Селвера, тем голосом снов, что сами стараются раскрыть свою неистинность. Сердце Селвера отяжелело от скорби по другу. «У меня болит голова», — произнес Любов уже своим голосом, потирая, как всегда, шею под затылком, и Селвер потянулся, чтобы коснуться его, утешить. Но во времени мира Любов был лишь игрой тени и огня, и старики пели песнь Ясеня о цветах на черных ветвях, что белеют весной средь резных листьев.

На следующий день землянины, заточенные в загоне, послали за Селвером. Он пришел в Эшсен днем и встретился с ними снаружи бараков, под ветками дуба, потому что людям Селвера было не по себе под голым открытым небом. Раньше Эшсен был дубовой рощей; колонисты не оставили ничего крупнее этого дерева. Они сошлись на пологом склоне за домом Любова — одним из шести-восьми, что уцелели в ночь огня. С Селвером под дуб пришли Резван, старейшина Берре, Греда из Кадаста и другие пожелавшие участвовать в переговорах; всего около дюжины. Многие лучники держались настороже, опасаясь, что землянины припрятали оружие, но сами держались за кустами или развалинами, оставшимися

после нападения, чтобы на встрече не преобладала угроза. С Госсом и полковником Донгом были трое землянинов, которые звались офицерами, и еще двое из лагерей лесорубов — при виде одного, Бентона, бывшие рабы раздули ноздри. У Бентона был обычай наказывать «ленивых сущей» прилюдной кастрацией.

Полковник выглядел исхудалым, его желто-коричневая кожа теперь грязно отливала желто-серым; его болезнь — не притворство.

— Итак, для начала, — сказал он, когда все устроились: землянины остались стоять, люди Селвера сидели на корточках или во влажной и мягкой листве дуба, — для начала я хотел получить рабочее определение того, что конкретно значат ваши условия и что они значат касательно безопасности моих подчиненных, находящихся под моим командованием.

Молчание.

— Вы же понимаете английский, да, хоть кто-то из вас?

— Да. Я не понимаю ваш вопрос, мистер Донг.

— «Полковник Донг», будьте любезны!

— Тогда называйте меня полковником Селвером, будьте любезны. — В голос Селвера вкрался напев; он поднялся, готовый к состязанию, и

мелодии зажурчали в его мыслях, как реки.

Но пожилой землянин так и остался стоять на месте, большой и грузный, злой, но не готовый ответить на вызов.

— Я пришел не для того, чтобы меня оскорбляли мелкие гуманоиды, — сказал он. Но его губы при этом дрожали. Он был стар, и растерян, и напуган. И предвкушение победы мигом покинуло Селвера. В мире больше не осталось победы — только смерть. Он снова сел.

— Я не хотел вас оскорблять, полковник Донг, — произнес он смиренно. — Вы можете повторить свой вопрос?

— Я хочу услышать ваши требования, потом вы услышите наши, вот и все.

Селвер повторил то же, что говорил Госсу. Донг выслушал с нескрываемым нетерпением.

— Хорошо. Итак, вы не знаете, что у нас в тюремном лагере уже три дня есть рация. — Селвер знал, ведь Резван сразу проверил, что им сбросили с вертолета, чтобы это вдруг не оказалось оружием; охрана отрапортовала, что это рация, и ее не стали отнимать. Селвер лишь кивнул. — И мы вступили в контакт с тремя лагерями, двумя на Земле Кинга и одним на Новой Яве, немедленно, и если бы мы хотели сбежать из тюрьмы,

то это не составило бы для нас никакого труда: вертолеты бы сбросили нам оружие и прикрыли огнем, нам хватило бы всего одного огнемета, а если бы они прилетели с бомбами, разбомбили бы все окрестности. Вы еще не видели бомбы в действии.

— И куда бы вы пошли, если бы сбежали?

— Главное то, что, не считая любых нерелевантных или некорректных факторов, теперь мы явно уступаем числом вашим силам, но у нас в лагерях есть четыре вертолета, — которые нечего и пытаться обезвредить, ведь они теперь круглосуточно находятся под вооруженной охраной, — а также нешуточная огневая мощь, а значит, неоспоримая правда такова, что мы с вами можем объявить ничью и говорить на равных. Это, разумеется, временная ситуация. Если потребуется, мы можем проводить оборонительные полицейские действия, чтобы предотвратить полномасштабную войну. Не говоря уже о том, что за нами стоит вся огневая мощь Земного межзвездного флота, который может разнести вашу планетку в клочки. Но для вас все это умозрительные концепции, поэтому скажу как можно проще и понятнее, что в данный момент мы готовы на переговоры с вами, при условии равной системы

координат.

Терпение Селвера было на исходе; он знал, что вспыльчивость — знак больного разума, но больше сдержаться не мог.

— Так давайте!

— Что ж, для начала я хочу четко заявить: едва мы получили рацию, мы велели всем лагерям не доставлять оружие и не предпринимать попыток спасения или вывоза людей, а также строго запретили карательные миссии…

— Это мудро. Что дальше?

Полковник Донг начал было гневную отповедь, потом осекся; резко побледнел.

— Нельзя ли где-то присесть, — сказал он.

Селвер обошел землянинов, поднялся по склону, зашел в пустой двухкомнатный дом и вынес складной стул, стоявший перед письменным столом. Перед тем как выйти из безмолвной комнаты, он приложился щекой к исцарапанной, необработанной столешнице, где всегда сидел Любов, работая с Селвером или в одиночку; его бумаги лежали здесь и сейчас — Селвер их легонько коснулся. Он вынес стул и поставил для Донга в слякоти, оставшейся после дождя. Старик присел, кусая губы и щуря раскосые глаза от боли.

— Мистер Госс, быть может, за полковника

будете говорить вы, — предложил Селвер. — Ему нехорошо.

— Говорить буду я. — Вперед выступил Бентон, но Донг покачал головой и пробормотал:

— Госс.

Когда полковник стал слушателем, дела пошли быстрее. Землянины согласились на условия Селвера. После взаимного обещания мира они покинут все свои форпосты и поселятся в одном месте — на расчищенных полях в Среднем Сорноле: около 1700 холмистых квадратных миль, хорошо орошаемых. Они зареклись заходить в лес; лесной народ зарекся ступать на Вырубленные Земли.

Камнем преткновения стали четыре оставшихся вертолета. Землянины настаивали, что без них не получится доставить людей с других островов на Сорнол. Они могли переносить только четырех человек зараз и каждый перелет занимал несколько часов, поэтому Селверу показалось, что землянины быстрее добрались бы до Эшсена пешком — и предложил им переправу через пролив; но оказалось, что землянины никогда не ходят далеко. Ну что ж, пусть оставят вертушки для так называемой «эвакуации». А потом уничтожат. — Отказ. Гнев. Они яростнее

защищали машины, чем самих себя. Селвер уступил, разрешил оставить вертушки, если они обязуются летать только над Вырубленными Землями и если уничтожат их вооружение. Спор продолжился, но теперь между землянинами, пока Селвер ждал, время от времени напоминая о своем требовании, потому что уж в этом уступать не собирался.

— Да какая разница, Бентон? — наконец, дрожа от ярости, бросил полковник. — Ты что, не видишь, что нам нет проку от этого чертового вооружения? Этих туземцев — три миллиона по всем чертовым островам, заросшим деревьями и подлеском, без городов, без важной инфраструктуры, без централизованного контроля. Партизанскую структуру нельзя нейтрализовать бомбами, это уже доказано — собственно, моя родная страна доказывала это около тридцати лет в двадцатом веке, отбиваясь от одной сверхдержавы за другой. И пока не прибыл корабль, мы не в том положении, чтобы доказывать свое превосходство. К черту крупный калибр, если можно оставить хотя бы оружие для охоты и самообороны!

Он был их Стариком — и в конце концов победил, как если бы это был спор в Мужском Доме.

Бентон сник. Госс завел было речь о том, что случится, если будет нарушен мир, но Селвер его перебил:

— Это возможности — а мы еще не закончили с определенностями. Ваш большой корабль вернется через три года — три года с половиной по вашему счету. До того времени вы свободны. Вам будет не так уж трудно. Мы не заберем из Центрвилла ничего, кроме трудов Любова, которые я хочу сохранить. У вас еще остались ваши орудия для вырубания деревьев и вспахивания земли; если понадобится больше, на вашей территории находятся железные рудники Пелдела. Думаю, все это ясно. Остается узнать одно: когда прибудет корабль, что они сделают с вами — и с нами?

— Мы не знаем, — ответил Госс. Донг подчеркнул:

— Если бы вы не уничтожили ансибль первым делом, мы бы получали самые последние данные по этим вопросам, а наши отчеты, разумеется, повлияли бы на решения касательно итогового решения о статусе данной планеты, причем его воплощения можно было бы ожидать еще до возвращения корабля с Престно. Но ввиду варварских разрушений, ввиду вашего невежества о собственных же интересах у нас не осталось даже

рации с дальностью больше пары сотен миль.

— Что такое ансибль? — Это слово уже мелькало в разговоре — и было новым для Селвера.

— АМС, — буркнул полковник.

— Это как рация, — самодовольно сказал Госс. — Благодаря ему мы можем мгновенно связываться с родным миром.

— И не ждать двадцать семь лет?

Госс уставился на Селвера.

— Верно. Совершенно верно. А ты многому научился у Любова, да?

— Еще как, — вставил Бентон. — Это он был мелким зеленым дружком Любова. Запоминал все, что стоит знать, и даже больше. Например, все важные объекты для саботажа, и где расставлены посты, и как проникнуть на склад оружия. Они наверняка поддерживали контакт до самой резни.

Госс стоял с неловким видом.

— Радж погиб. Все это уже неважно, Бентон. Нам надо определиться с…

— Бентон, вы намекаете, что капитан Любов участвовал в деятельности, кою можно охарактеризовать как измена Колонии? — Донг пронзил его взглядом, обхватив свой живот. — В моем штате нет ни шпионов, ни предателей, я лично

отбирал людей перед вылетом с Земли и знаю, с кем имел дело.

— Я ни на что не намекаю, полковник. Я говорю прямо, что это Любов подстрекал сущей, и если бы нам не изменили приказы после отлета корабля Флота, то всего этого никогда бы не случилось.

Госс и Донг заговорили, перебивая друг друга:

— Вы все очень больны, — заметил Селвер, поднимаясь и отряхиваясь от сырых бурых листьев дуба, налипших на его короткий мех, как на шелк. — Мне жаль, что пришлось держать вас в загонах сущей, это плохо действует на разум. Пожалуйста, вызывайте своих людей из лагерей. После того как все соберутся, мы все уничтожим большое оружие и дадим обещание, вас оставят в покое. Ворота тюрьмы будут открыты сегодня же, когда я уйду. Нужны ли еще слова?

Никто не ответил. Все смотрели на него. Семеро крупных людей, со светлым или бронзовым загаром, голой кожей, завернувшиеся в ткань, темноглазые, мрачнолицые; двенадцать маленьких людей, зеленых или буро-зеленых, мохнатых, с большими глазами полуночного животного, с мечтательными лицами; а между ними всеми — Селвер, переводчик, хрупкий, обезображенный, державший судьбы и тех и других в своих

пустых руках. На коричневую землю вокруг тихо моросил дождь.

— Тогда прощайте, — объявил Селвер и повел своих людей прочь.

— Они не дураки, — сказала старейшина Берре, сопровождая Селвера обратно в Эндтор. — Я думала, такие великаны должны быть дураками, но они поняли, что ты бог, я видела по их лицам в конце разговоров. Как хорошо ты говоришь на их тарабарщине. Ну они и уроды — как думаешь, у них даже дети безволосые?

— Надеюсь, этого мы никогда не узнаем.

— Фу, как представлю ребенка без меха. Все равно что кормить грудью рыбу.

— Все они безумны, — вставил старый Тубаб с весьма озабоченным видом. — Любов, когда приходил в Тунтар, был не такой. Он был невеждой — но чутким. А эти… спорят, огрызаются на старика, ненавидят друг друга — вот так: — и он скривил лицо в сером меху, чтобы изобразить выражение землян, хоть, разумеется, и не понимал их слов. — Что ты им сказал, Селвер, что они так разозлились?

— Я сказал, что все они больны. Но они проиграли, они изранены, они живут в каменной клетке. Тут любой бы стал болен, любого пришлось бы

исцелять.

— Кто их будет исцелять? — сказала старейшина Берре. — Их женщины мертвы. Жаль их. Бедные уродины — просто большие голые паучихи, фу!

— Они люди, люди, как мы, люди, — ответил Селвер пронзительно, и его голос резанул, как нож.

— О, мой дорогой властитель бог, я знаю, я только говорю, что они *похожи* на пауков. — Старушка пригладила его по щеке. — Послушайте, люди, Селвер устал ходить туда-сюда между Эндтором и Эшсеном: давайте-ка присядем и отдохнем.

— Не здесь, — возразил Селвер. Они все еще находились на Вырубленных Землях, среди пней и травянистых пригорков, под голым небом. — Когда вернемся под деревья… — Он запнулся, и те, кто не был богами, повели его по тропе.

7

Дэвидсон нашел применение для диктофона майора Мухамеда. Кому-то надо было записать происходящее на Новом Таити — историю распятия земной колонии. И когда с Матушки-Земли прибудут корабли, они узнают правду. И будущие поколения поймут, на какие предательства,

трусость и глупости способны люди — и на какую отвагу вопреки всему. В свободное время — а его почти не было с тех пор, как он принял командование на себя, — Дэвидсон записал всю историю Резни в лагере «Смит», дополнил историями о Новой Яве, Кинге и Центре, насколько смог разобрать истерические бредни, что доходили из штаба.

Что именно произошло, не узнает уже никто, кроме сущей, потому что люди заметали свои предательства и ошибки. Но в общих чертах все и так было понятно. Организованную группу сущей во главе с Селвером впустили в арсенал и ангары, после чего они атаковали, вооруженные динамитом, гранатами, пушками и огнеметами, стерев с лица планеты город и перебив людей. Без предателя не обошлось — это доказывал уже тот факт, что первым делом взорвали штаб. Конечно, в этом замешан Любов, и благодарность его зеленых дружков ничуть не удивляла — перерезали ему глотку вместе с остальными. Ну или это Госс с Бентоном говорили, что видели его труп наутро после бойни. Но вот только можно ли им верить? Если после такой ночи кто и уцелел в Централе, он почитай что предатель. Предатель своей расы.

По их словам, все женщины погибли. Плохая новость, но еще хуже то, что оснований верить этому не было. Сущи могли бы легко забрать пленников в лес — и нет ничего проще, чем поймать перепуганную девушку, бежавшую из горящего города. А разве мелким зеленым чертям не хотелось бы поймать девушку ради своих экспериментов? Бог весть, сколько баб еще живы в их норах, связаны под землей в вонючих землянках, где их лапают, щупают и портят грязные волосатые обезьяны. Просто немыслимо. Но, черт возьми, иногда приходится мыслить и о немыслимом.

На следующий день после бойни вертушка с Кинга сбросила пленникам в Централе передатчик, и с того дня Мухамед записывал сеансы связи с ними. Самый невероятный — его разговор с полковником Донгом. Когда он включил его Дэвидсону, тот вырвал пленку из катушки и сжег. Жалел теперь, что не оставил — потомкам, в доказательство полной некомпетентности командиров и на Центральном, и на Новой Яве. Зря так вспылил. Но как тут сидеть и выслушивать, как полковник и майор обсуждают полную капитуляцию сущам, отказываются мстить, защищаться, сдают все крупнокалиберное ору-

жие, соглашаются втиснуться на клочок земли, который им подобрали сущи, — в резервацию, которую уступили великодушные победители, эти мелкие зеленые бестии. Уму непостижимо. Совершенно уму непостижимо.

Пожалуй, старик Динг-Донг и Му предали не по злому умыслу. Они просто спла, сдрейфили. Это так действует проклятая планетка. Нужен сильный характер, чтобы ей не поддаться. Тут, наверное, что-то не то с воздухом — может, пыльца с деревьев действует, как наркотик, отчего обычные люди тупеют и теряют связь с реальностью так же, как сущи. И вдобавок они уступают числом — приходи и бери их тепленькими.

Жаль, пришлось избавиться от Мухамеда, но он бы никогда не согласился на план Дэвидсона, дураку понятно; он уже был безнадежен. Любой бы согласился, услышав ту невероятную запись. Уж лучше сразу получить пулю, чем потом осознать, что случилось; зато теперь его имя не замарано позором, в отличие от Донга и всех остальных офицеров, выживших в Централе.

Что-то Донг давненько не выходил на связь. Обычно говорил Джуджу Серенг, из инженерного отдела. Раньше Дэвидсон частенько общался с Джуджу и считал его другом, но теперь никому

нельзя было доверять. К тому же Джуджу — тоже азиатиформ. Даже странно, что их выжило так много после Резни в Центрвилле; из тех, с кем общался Дэвидсон, единственным не-азио оказался Госс. А здесь, на Яве, после его преобразований остались по большей части еврафы вроде него, парочка афро и афразиатов, но ни одного чистого азио. Все-таки кровь не водица. Нельзя быть полноценным человеком, если в твоих венах не течет кровь из Колыбели Человечества. Но это не помешает Дэвидсону спасти несчастных желтозадых в Централе — просто объясняло их моральное разложение под давлением.

— Ты что, не понимаешь, во что нас всех втягиваешь, Дон? — резко выговаривал Джуджу Серенг своим занудным голосом. — Мы заключили с сущами формальное перемирие. У нас прямой приказ с Земли не вмешиваться в жизнь врафов и не мстить. Да и как мы можем отомстить? С нами сейчас все с Земли Кинга и юга Центрального — и нас все равно меньше двух тысяч, а сколько у тебя там на Яве, человек шестьдесят пять? Ты правда думаешь, что две тысячи справятся с тремя миллионами умных врагов, Дон?

— Джуджу, да тут и пятьдесят справятся. Это вопрос воли, навыков и вооружения.

— Бред! Но главное, Дон, мы заключили мир. И если его нарушить, нам крышка. Только так мы держимся на плаву. Может, когда с Престно вернется корабль и флотские увидят, что случилось, они сами решат перебить сущей. Неизвестно. Но сущи, похоже, готовы соблюдать мир — они же его и предложили, а нам пришлось согласиться. Они могут задавить числом в любой момент, как случилось с Центрвиллем. Их тысячи. Почему до тебя никак не дойдет, Дон?

— Слушай, Джуджу, все до меня дошло. Если вам страшно самим воспользоваться тремя вертушками, перегоните их сюда — с парочкой человек, которые согласны с нами. Раз уж придется освобождать вас в одиночку, лишние вертушки не помешают.

— Да ты нас не освободишь, а похоронишь, дурак чертов. Немедленно сдай последнюю вертушку на Центральный; это личный приказ полковника тебе как исполняющему обязанности командира. Перевези сюда людей — это двенадцать рейсов, уложитесь в четыре местных дня. А теперь исполняй приказ, и поживее. — Бдзынь, конец связи — слишком боялся спорить.

Сначала он переживал, что они сами прилетят на трех вертушках и разбомбят или обстреляют

лагерь «Новая Ява»; ведь формально он нарушал приказ, а старина Донг не терпел вольнодумцев. Вспомнить хоть, как он отыгрался на Дэвидсоне за его малюсенькую акцию возмездия на Смите. Инициатива наказуема. Динг-Донг любил покорность, как и почти все офицеры. Вот только это чревато тем, что и сам офицер становится покорным. Наконец Дэвидсон с потрясением осознал, что вертушки ему не страшны, потому что Донг, Серенг, Госс, даже Бентон *побоятся* их высылать. Сущи приказали им держать вертушки в пределах Человеческой резервации — вот они и подчинялись приказам.

Господи, с души воротит. Пришло время действовать. Они выжидали уже почти две недели. Дэвидсон укрепил оборону; они надстроили забор, чтобы мелкие зеленые обезьяны никак не перелезли, а смышленый паренек Ааби наделал самодельных мин и заложил вокруг всего лагеря на полосе шириной в сто метров. Теперь пора показать сущам: может, у них получается помыкать овцами на Центральном, но здесь, на Новой Яве, они имеют дело с настоящими мужиками. Дэвидсон пролетел на вертушке над отрядом пехоты из пятнадцати человек до поселения сущей к югу от лагеря. Он уже наловчился находить их с

воздуха — их выдавали сады, большие скопления определенных деревьев, хоть и не посаженные рядами, как сажали бы люди. Невероятно, сколько там этих нор, когда научишься их замечать. Лес кишмя кишел тварями. Отряд вручную сжег поселение, а на обратном пути он с парой ребят в вертолете заметил еще одно, меньше чем в четырех километрах от лагеря. И на него — просто чтоб расписаться четко и ясно, — он сбросил бомбу. Всего-то зажигательную, и даже не самую большую, но, боже ты мой, как полетел зеленый мех. В лесу осталась большая дыра, тлевшая по краям.

Это, понятно, и было его главное оружие для массированной акции возмездия. Лесной пожар. Он мог спалить хоть целый остров — бомбами и керосиновой сгущенкой с вертушки. Придется подождать месяцок-другой, пока не пройдет сезон дождей. С чего же начать — с Кинга, Смита или Центрального? Пожалуй, с Кинга, для предупреждения, раз там не осталось людей. А потом — Центральный, если не образумятся.

— Ты что делаешь? — раздался голос по рации, и он ухмыльнулся во весь рот: голос измученный, будто кто прижал старуху. — Ты понимаешь, что творишь, Дэвидсон?

— Ага.

— Ты думаешь, что усмиришь сущей? — В этот раз говорил не Джуджу — может, тот умник Госс или кто угодно; без разницы; все они только блеяли — бе-бе.

— Именно что, — ответил Дэвидсон с иронич-ным миролюбием.

— И думаешь, если будешь жечь их деревни, они так просто придут и сдадутся — все три мил-лиона. Да?

— Может быть.

— Слушай, Дэвидсон, — через некоторое время опять подало голос радио, хныча и треща; они пользовались каким-то аварийным аппаратом, когда потеряли большой передатчик — вместе с ансиблем, которому туда и дорога. — Слушай, можно поговорить с другими офицерами?

— Нет, все заняты. Мы тут, кстати, отлично поживаем, вот только угощения кончились — ну знаете, фруктовые коктейли, персики, прочая фигня. Тут многие по ним скучают. И мы ожидали партию дури, когда вас там поджарили. Если я пришлю вертушку, поделитесь парой ящиков сластей и травы?

Пауза.

— Да, присылай.

— Отлично. Вы только сложите все в сетку, чтобы мои парни подцепили и им садиться не пришлось. — Он ухмыльнулся.

На том конце началась возня, и вдруг раздался голос Донга — их первый разговор с Дэвидсоном. По ноющему коротковолновому радио казалось, что он совсем уж слаб, задыхается.

— Послушайте, капитан, я хочу, чтобы вы полностью отдавали себе отчет в том, на какие действия вынуждают ваши действия на Новой Яве. В том случае, если вы продолжите нарушать приказы. Я пытаюсь вас вразумить, как разумного и верного солдата. Дабы гарантировать безопасность моих людей на Центральном, я буду поставлен в то положение, когда вынужден заявить местным, что мы слагаем с себя ответственность за ваши действия.

— Все верно, сэр.

— Я пытаюсь объяснить, что мы здесь окажемся в положении, когда заявим, что не можем помешать вам на Яве нарушать перемирие. У вас под ружьем шестьдесят шесть человек, правильно? Я хочу, чтобы эти люди находились в безопасности с нами на Центральном, чтобы дождаться «Шеклтон» и сохранить Колонию. Вы идете на самоубийство, а я отвечаю за людей, которые

находятся с вами.

— Нет, не отвечаете, сэр. Расслабьтесь вы. Но, когда увидите, как горят джунгли, выходите на середину летной полосы, а то нам не хочется поджарить вас вместе с сущами.

— Слушайте внимательно, Дэвидсон, я приказываю немедленно передать командование лейтенанту Тембе и прибыть на Центральный! — грозил далекий ноющий голос, и Дэвидсон вдруг в омерзении отключил радио. Все они спла, все еще играются в солдатиков, совершенно оторванные от реальности. Когда дело принимает крутой оборот, совсем немногие могут взглянуть в лицо реальности.

Как он и ожидал, местные сущи не сделали в ответ на его налеты совершенно ничего. Он же с самого начала знал, что только так с ними и можно: терроризировать и не давать спуску. Тогда они понимают, кто главный, и пикнуть не смеют. Теперь многие деревни в радиусе тридцати километров опустели, но он все равно каждые несколько дней гонял своих мужиков их выжигать.

А мужики уже начинали нервничать. Он не прекращал валить лес, раз сорок восемь из пятидесяти пяти верных выживших были лесорубами.

Но они знали, что грузовые робокорабли с Земли не приземлятся за грузом, а будут просто кружить на орбите в ожидании сигнала, которого не будет. Ни к чему валить деревья только ради развлечения — это тяжелый труд. С тем же успехом можно их сжигать. Он тренировал своих людей в отрядах, вырабатывал тактики поджогов. Для серьезного дела было еще дождливо, но они хотя бы не сидели сложа руки. Если б только у него были три других вертушки, он бы устроил. Он подумывал о нападении на Центральный, чтобы захватить вертушки, но еще не говорил об этом даже Ааби или Тембе, своим лучшим людям. Кое-кто струхнет при мысли о вооруженном нападении на своих же. Они и так заговаривали о том, что будет, «когда мы вернемся к остальным». Еще не знали, что эти самые остальные их бросили, предали, продали свою шкуру сущам. Он об этом не рассказывал — они бы не выдержали.

Однажды он с Ааби, Тембой и еще кем-нибудь надежным слетает туда, трое выпрыгнут с автоматами, захватят по вертушке — и домой, домой, скок-поскок. На четырех взбивалках, чтоб яйца взбивать. Нельзя приготовить омлет, не разбив яйца. Дэвидсон рассмеялся вслух в темноте своей хижины. Он пока не выдавал этот план, такое

удовольствие доставляло просто его обдумывать.

Через две недели они прикрыли все гнезда на пешем расстоянии, лес стал чистым и славным. Никаких паразитов. Никаких клубов дыма над деревьями. Никто не выскакивает из кустов, не шлепается на землю с закрытыми глазами, ожидая, когда ты их растопчешь. Никаких маленьких зеленых человечков. Только мешанина деревьев и выжженные поляны. Парни становились все дерганее и злее; пришло время для налета на вертушки. Однажды вечером он поделился планом с Ааби, Тембой и Постом.

Сначала все молчали, потом Ааби спросил:

— А как же топливо, капитан?

— У нас хватает.

— Но не на четыре вертушки; так мы и неделю не протянем.

— Хочешь сказать, на эту вертушку остался только месячный запас?

Ааби кивнул.

— Ну, видать, прихватим и топливо.

— Как?

— Вот вы и подумайте.

Но они сидели с глупым видом. Только злили. Вечно ему в рот заглядывали. Он, конечно, прирожденный предводитель, но ему нравились

люди со своей головой на плечах.

— Разбирайся, Ааби, это по твоей специальности, — сказал он и вышел перекурить, так ему опостылело их поведение — будто пали духом. Просто не могли взглянуть фактам в лицо.

Дурь была на исходе, он не брал косяк в рот пару дней. Но его это не пугало. Ночь выдалась черной и пасмурной — влажная, теплая, повеявшая весной. Мимо прошел Нгенене — проскользил, как конькобежец, или почти как гусеничный робот; медленно повернулся в том же скользящем движении и уставился на Дэвидсона, который стоял на веранде в слабом свете из двери. Нгенене работал с электропилой, настоящий бугай.

— Источник моей энергии подключен к Великому Генератору, меня нельзя отключить, — произнес он ровно, глядя на Дэвидсона.

— Иди в казармы и проспись! — рявкнул Дэвидсон резким, как удар хлыста, голосом, которому никто не смел перечить. И Нгенене осторожно поплыл дальше, с важным и изящным видом. Теперь слишком многие и слишком часто сидели на галиках. Этого добра хватало, но они предназначались для отдыха лесорубов по воскресеньям, а не для солдат крошечного форпоста, окруженного на враждебной планете. Им неко-

гда кайфовать да витать в облаках. Придется запереть запасы. От этого-то у кого-нибудь может и стержень хрустнуть. Ну и пусть себе хрустит. Нельзя приготовить омлет, не хрустнув яйцом. Можно сослать их в Центр в обмен на топливо. Вы мне два-три бака топлива, а я вам — два-три теплых тела, верных солдата, хороших лесоруба, самое оно для вас — умом уже далеко в сказочной стране…

Дэвидсон ухмыльнулся и уже собирался назад, чтобы поделиться мыслью с Тембой и остальными, как тут закричал караульный, дежуривший на трубе лесопилки.

— Они идут! — завизжал он истошно, словно ребенок во время игры в черных и родезийцев. На западной стороне тоже закричали. Раздался выстрел.

И они пришли. Господи, как же они пришли. Это было просто невероятно. Тысячи, тысячи. Без звука, без единого звука до первого вопля охранника; потом выстрел; потом взрыв — рванула мина, — и еще, один за другим, и сотни и сотни факелов вспыхнули друг от друга, взметнувшись в черный влажный воздух, как ракеты, и стены уже кишели от сущей, хлынувших волной, захлестнувших, перелившихся тысячами. Как ар-

мия крыс, как Дэвидсон однажды видел в детстве, во время последнего Голода, на улицах Кливленда в Огайо, где он вырос. Что-то гнало крыс из их нор, и они вышли среди бела дня, лились через стену, живое одеяло из меха, глазок, мелких лапок и зубов, и он позвал маму и дал деру, как ненормальный, — или это только сон из детства? Главное — не терять голову. Вертушка стояла в бывшем загоне сущей; с той стороны еще было темно, и он мигом оказался там. Ворота заперты — он всегда держал их запертыми на случай, если какому-нибудь рохле однажды темной ночью взбредет в голову драпануть к папаше Динг-Донгу. Казалось, он слишком долго доставал ключ, вставлял в скважину и правильно поворачивал, но главное было не терять голову, и потом он так же долго бежал к вертушке и отпирал ее. Пост и Ааби уже были рядом. Наконец раздался оглушительный стрекот лопастей, будто взбивавших яйца, заглушавших все странные звуки, истошные крики, вопли и пение. И они взлетели, и ад остался внизу — горящий загон, полный крыс.

— Нужна голова на плечах, чтобы мгновенно оценить ситуацию, — сказал Дэвидсон. — Вы быстро соображали и быстро действовали. Молодцы. А где Темба?

— Получил копье в живот, — ответил Пост.

Ааби, пилот, хотел за штурвал, и Дэвидсон уступил. Перелез на заднее сиденье и откинулся на спинку, расслабился всем телом. Внизу струился лес, черное под черным.

— Куда направляешься, Ааби?

— На Центральный.

— Нет. На Центральный нам не надо.

— А куда нам надо? — спросил Ааби с каким-то бабским смешком. — В Нью-Йорк? Пекин?

— Просто держись в воздухе, Ааби, покружи над лагерем. Круги пошире. Чтобы нас не слышали.

— Капитан, лагеря «Ява» уже нет, — сказал Пост, бригадир лесорубов, мужик плечистый и спокойный.

— Когда сущи сожгут лагерь, вернемся мы и сожжем сущей. Их там наверняка тыщи четыре. В вертолете шесть огнеметов. Дадим им минут двадцать. Начнем с керосинок, а потом с огнеметами отловим тех, кто разбегается.

— Господи, — резко огрызнулся Ааби, — там же могут быть наши, сущи могут брать пленных, мы же не знаем. Я не собираюсь возвращаться и жечь людей. — Он все еще не повернул вертушку.

Дэвидсон приставил ствол револьвера ему к затылку:

— Да, мы возвращаемся; так что возьми-ка себя в руки, детка, и не беси.

— В баке хватит топлива до Централа, капитан, — сказал пилот. Он пытался отклониться от касания оружия, будто это надоедливая муха. — Но не больше. Больше у нас нет.

— Так не будем тратить, что есть. Поворачивай, Ааби.

— Я думаю, нам лучше лететь на Центральный, капитан, — невозмутимо произнес Пост, и этот сговор так разъярил Дэвидсона, что он перехватил пистолет в руке и быстро, как змея, врезал Посту рукояткой над ухом. Лесоруб на переднем сиденье отключился, как по щелчку, и завалился головой вперед, между коленей, свесив руки до пола.

— Разворачивай, Ааби, — произнес Дэвидсон своим голосом-хлыстом. Вертолет развернулся по широкой дуге.

— Черт, где лагерь, я никогда не летал по ночам без какого-нибудь сигнала, — произнес Ааби глухо и гнусаво, будто от простуды.

— Иди на восток и поглядывай, где горит, — холодно и спокойно сказал Дэвидсон. Все сломались, даже Темба. Никто не встал с ним плечом к плечу, когда дело приняло крутой оборот. Рано или

поздно они бы пошли против него просто потому, что у них не было его стойкости. Слабые сговариваются против сильного, сильному приходится отдуваться одному и самому заботиться о себе. Таков уж порядок вещей. Да где же лагерь?

В этой пустой черноте, даже под дождем, горящие постройки должно быть видно за мили. Но ничего. Серо-черное небо, черная земля. Значит, огонь погас. Его погасили. Может, люди прогнали сущей, когда он сбежал? Его словно холодной водой окатили. Нет, конечно нет, только не пятьдесят человек против тысяч. Хотя на минных полях наверняка осталось полно ошметков сущей. Они так и шли напролом слишком большой оравой. Их бы ничего не остановило. Он не мог это предусмотреть. И откуда они все взялись? Он много дней не видел в лесу ни одного суща. Видать, откуда-то стянулись, со всех сторон, прокрались в лесу, повылезали из нор, как крысы. Их невозможно остановить, когда они прут вот так, тысячи за тысячами. Да где же, черт побери, лагерь? Ааби его обманывает, тайком сменил курс.

— Найди лагерь, Ааби, — тихо произнес он.

— Господи боже, да ищу я, — ответил парень.

Пост так и не сдвинулся, сложившись рядом с пилотом.

— Не мог же он под землю провалиться, Ааби. У тебя семь минут.

— Сам ищи! — истерично и мрачно огрызнулся Ааби.

— Только когда вы с Постом придете в себя, детка. Спустись пониже.

Через минуту Ааби сказал:

— Вон, похоже на реку.

Вот река, а вот большая просека; но где же «Ява»? Пока они летели на север над просекой, на глаза ничего не попадалось.

— Он должен быть здесь, других больших полян здесь нет, — сказал Ааби, снова пролетая над безлесой областью. Их посадочные фары горели, но вне этих туннелей света они не видели ничего; было бы лучше их отключить. Дэвидсон протянул руку над плечом пилота и щелкнул выключателем. Пустая влажная тьма хлестнула по глазам, как черные полотенца.

— Господи боже! — завизжал Ааби и, включив фары, пытался подняться налево и вверх, но не успел. Из ночи огромно надвинулись деревья и поймали машину.

Завизжали лопасти, разбрасывая листья и сучья в циклоне перед яркими трассами света, но стволы деревьев были древними и прочными.

Маленькая крылатая машина нырнула, потом вроде бы вырвалась, а потом завалилась боком в деревья. Свет погас. Шум прекратился.

— Мне нехорошо, — сказал Дэвидсон. Повторил. Потом перестал повторять, потому что повторять было некому. Потом он понял, что все равно ничего не говорил вслух. Голова кружилась. Должно быть, приложился головой. Ааби рядом не было. Где он? Вот вертушка. Перекошена, но он еще в сиденье. Темно, хоть глаз выколи. Он пощупал рядом и нашел Поста, неподвижного, все еще согнутого, втиснутого между сиденьем и приборной панелью. Вертушка содрогалась от каждого движения Дэвидсона, и он наконец сообразил, что находится не на земле, а застрял между деревьев, как воздушный змей. Голова прояснялась, и все больше и больше хотелось выбраться из черной накренившейся кабины. Он протиснулся на кресло пилота и свесил ноги, потом повис на руках — и не нащупал землю, только ветки царапали ему ноги. Наконец он разжал пальцы, не зная, сколько ему падать, но он был на все готов, лишь бы выбраться из кабины. Оказалось, всего несколько футов. Это встряхнуло, но на твердой земле он все-таки почувствовал себя лучше. Вот бы еще не было так темно, так черно. На ремне

висел фонарь, ночью в лагере он без него не выходил. Но на месте фонаря не оказалось. Странно. Наверное, выпал. Надо бы вернуться за ним в вертушку. А может, Ааби забрал. Ааби нарочно разбил вертушку, забрал фонарь Дэвидсона и дал деру. Вот же скользкая мразь, такой же, как и все. Воздух был черным и влажным, не поймешь, куда ступаешь, всюду сплошь корни, кусты да заросли. И шум — капала вода, шорох, крошечные звуки, кто-то шмыгал в темноте. Лучше вернуться в вертушку, за фонарем. Но он не видел, как залезть обратно. Нижняя часть дверного проема дразнила у самых его пальцев.

Вон свет, слабый проблеск, тут же пропал за деревьями. Ааби забрал фонарь и ушел на разведку, чтобы сориентироваться, умный мальчик.

— Ааби! — позвал он пронзительным шепотом. Пытаясь снова увидеть свет среди деревьев, наступил на что-то странное. Пнул сапогом, потом потрогал — осторожно, а то не стоит щупать то, чего не видишь. Что-то мокрое, скользкое, будто дохлая крыса. Он тут же отдернул руку. Немного погодя пощупал в другом месте; под рукой оказался сапог — он нащупал перекрестья шнурков. Похоже, прямо у него под ногами лежал Ааби. Выбросило из кабины во время столкновения. Ну

и поделом за предательство, раз хотел сбежать на Центральный. Дэвидсону не нравилось влажное ощущение невидимой одежды и волос. Он выпрямился. Снова свет, перечеркнутый близкими и далекими древесными стволами, далекое и подвижное свечение.

Рука Дэвидсона опустилась на кобуру. Револьвера не было.

Он держал его в руке на случай, если Пост или Ааби решат что-нибудь выкинуть. А теперь его не было. Видимо, остался в кабине, вместе с фонарем.

Он присел, неподвижно; а потом резко сорвался с места. Он не разбирал, куда бежит. Врезаясь, рикошетил от ствола к стволу, под ноги подвернулись корни. Он вытянулся во весь рост, вломившись в кустарник. Попытался спрятаться на четвереньках. Мозг совершенно забила мешанина запахов гнили и зелени, опавшей листвы, тлена, новых ростков, цветов, запахов ночи, весны и дождя. На него упал свет. Он увидел сущей.

Вспомнилось, что они делали, когда их прижимали к стенке, и что об этом рассказывал Любов. Дэвидсон перевернулся на спину и откинул голову, закрыв глаза. В груди екало.

Ничего не произошло.

Открыть глаза было трудно, но он наконец смог. Они просто стояли — целый отряд, десяток или два. С копьями для охоты — маленькими и почти игрушечными, но их железные лезвия — острые, могли пропороть брюхо. Он зажмурился и лежал.

И ничего не происходило.

Сердце унялось, он начал лучше соображать. Внутри что-то зашевелилось, что-то похожее на смех. Боже, да они не могут его тронуть! Если его предали собственные люди и не мог спасти человеческий разум, тогда он применит против них их же трюк — прикинется мертвым и вызовет тот рефлекс, который не дает убивать противника в этом положении. Они просто торчали вокруг и переговаривались. *Его не могут тронуть.* Он как будто был богом.

— Дэвидсон.

Пришлось снова открыть глаза. Сигнальная шашка у одного суща все еще светила, но уже бледно прогорала, — и лес уже был темно-серым, а не кромешно-черным. Но как? Прошло всего пять-десять минут. Видно было плоховато, но это уже не ночь. Дэвидсон мог разглядеть листья и ветки, лес. Мог разглядеть лицо, смотревшее на него сверху вниз. Серое в этой серой рассветной

полумгле. Под шрамами лицо напоминало человеческое. Глаза — как темные дыры.

— Дай мне встать, — вдруг громко и хрипло объявил Дэвидсон. Он дрожал от холода после долгого времени на сырой земле. Но не мог лежать, когда Селвер смотрел сверху вниз.

Селвер стоял с пустыми руками, зато у мелких чертей вокруг были не только копья, но и револьверы. Украденные из запасов в лагере. Он с трудом поднялся на ноги. Ледяная одежда липла к плечам и ногам, и он не мог унять дрожь.

— Покончим с этим, — сказал он. — Живо-быстро!

Селвер просто смотрел. Теперь ему хотя бы приходилось смотреть снизу вверх, высоко.

— Хочешь, чтобы я тебя убил? — спросил он. Разговаривать он научился, конечно, у Любова; даже голос — будто Любов говорит. Необычайное сходство.

— Выбор же за мной, да?

— Ну, ты пролежал всю ночь так, будто хотел, чтобы мы оставили тебя в живых; а теперь хочешь умереть?

Больные голова и живот, ненависть к этому жуткому уродцу, который говорил в точности, как Любов, и держал его жизнь в руках, боль и

ненависть слились, и желудок скрутило, и Дэвидсона чуть не вырвало. Его трясло от холода и тошноты. Он пытался держаться за свою смелость. Вдруг сделал шаг вперед и плюнул Селверу в лицо.

Недолгая пауза, а потом Селвер, придвинувшись, словно в танце, плюнул в ответ. И рассмеялся. И даже не пытался убить Дэвидсона. Тот стер холодную слюну с губ.

— Слушай, капитан Дэвидсон, — произнес сущ тихим голосом, от которого Дэвидсона замутило, — мы с тобой оба боги, ты и я. Ты безумен, да и про себя я не знаю, в своем ли я уме. Но мы боги. Больше никогда не будет другой такой встречи в лесу, как у нас с тобой. Мы приносим друг другу божественные дары. Ты подарил мне расправу с человеком, убийство. Теперь и я могу вручить тебе дар моего народа — не убийство. Думаю, наши дары будут тяжелы для нас обоих. Но свой ты должен нести один. Твои люди в Эшсене говорят, что если я приведу тебя к ним, то они будут тебя судить и убьют — таков их закон. Поэтому, желая сохранить тебе жизнь, я не могу забрать тебя с другими пленными в Эшсен; но не могу и бросить в лесу — ты наделаешь слишком много вреда. А значит, мы поступим с тобой, как поступаем

со своими, когда они сходят с ума. Мы заберем тебя на Рендлеп, где больше никто не живет, и оставим там.

Дэвидсон таращился на суща, не в силах отвести взгляд. Его словно загипнотизировали. Он не мог этого вынести. Ни у кого нет над ним власти. Никто не может причинить ему вред.

— Надо было сразу свернуть тебе шею — в тот день, когда ты на меня напал, — произнес он, все еще хрипло и глухо.

— Наверное, так было бы лучше, — ответил Селвер. — Но тебе помешал Любов. А теперь он же мешает убить тебя. — Все убийства окончены. И вырубка деревьев тоже. На Рендлепе вырубать нечего. Вы называете то место Помоечным островом. Вы не оставили там деревьев, поэтому ты не сможешь построить лодку и уплыть. Там больше ничто не растет, поэтому мы будем доставлять тебе еду и дрова. На Рендлепе некого убивать. Ни деревьев, ни людей. Там были деревья и люди, но теперь остались только сны о них. Кажется, это подходящее место, чтобы там жил ты — ведь ты должен жить. Вдруг ты научишься там грезить — но, скорее всего, наконец дойдешь за своим безумием до самого конца.

— Убей меня сейчас и кончай злорадствовать.

— Убить? — переспросил Селвер, и его глаза, глядевшие на Дэвидсона снизу вверх, словно озарились в лесных сумерках, такие ясные и ужасные. — Я не могу тебя убить, Дэвидсон. Ты бог. Ты должен сделать это сам.

Селвер развернулся и пошел прочь, легко и быстро, и уже через несколько шагов растворился в серых деревьях.

На шею Дэвидсона накинули петлю и чуть затянули. Придвинулись к спине и бокам маленькие копья. Его не пытались ранить. Он мог бы убежать, вырваться, они не смели его убить. Их лезвия были отполированными, в форме листа, острые. Петля мягко потянула за шею. Он сдвинулся туда, куда его повели.

8

Селвер уже давно не видел Любова. Тот сон последовал за Селвером в Ришвел. Был с ним, когда он в последний раз говорил с Дэвидсоном. А потом пропал — наверное, спал сейчас в могиле смерти Любова в Эшсене, потому что больше не посещал Селвера в городе Бротер, где он теперь жил.

Но когда вернулся большой корабль и Селвер отправился в Эшсен, Любов встретил его там. Он был зыбок и безмолвен, очень печален, и в

Селвере проснулась застарелая гнетущая скорбь.

Любов оставался с ним тенью в разуме, даже когда Селвер встретил землянинов с корабля. Они обладали властью; они отличались от всех землянинов, кого он встречал, кроме его друга, — но они были куда сильнее Любова.

Он подзабыл речь землянинов и поначалу не мешал говорить им. Убедившись для себя в том, что это за люди, он передал им тяжелый ящик, который принес из Бротера.

— Внутри этого есть труд Любова, — сказал он, нашаривая слова. — Он знал о нас больше, чем другие. Он учил мой язык и Мужской Язык; мы с ним все записали. Он чуть-чуть понимал, как мы живем и грезим. Другие — нет. Я отдам вам труд, если заберете, куда он хотел.

Лепеннон, высокий и белокожий, с довольным видом поблагодарил Селвера, сказал, что все бумаги обязательно доставят, куда хотел Любов, и будут высоко их ценить. Это обрадовало Селвера. Но ему было больно произносить имя друга вслух — когда он мысленно обернулся к Любову, на лице того все еще была горькая печаль. Селвер отступил от землянинов и остался наблюдать. К пятерым из корабля присоединились Донг, Госс и остальные из Эшсена. Новые выглядели чи-

стыми и отполированными, как железо. Старые отпустили волосы на лице, поэтому напоминали атшеан-переростков с черным мехом. Они еще носили одежду, но протертую, нестираную. Они не исхудали, не считая Старика, который болел с самой Эшсенской Ночи; но все они выглядели, как те, кто заблудился, сойдя с тропы или с ума.

Встреча состоялась на опушке, там, где все эти годы по негласному соглашению ни лесной народ, ни землянины не строили жилища и не разбивали лагерь. Селвер со спутниками устроились в тени большого ясеня, отстоявшего от лесного полога. Ягоды были еще лишь мелкими зелеными узелками на сучьях, листья — длинными и мягкими, гибкими, по-летнему зелеными. Свет под большим древом — мягкий, переплетение теней.

Землянины совещались, приходили и уходили, и, наконец, один подошел к ясеню. Это был самый суровый с корабля — коммандер. Он присел на корточки перед Селвером, не спросив разрешения, но явно и не собираясь оскорбить.

— Можно на пару слов? — спросил он.

— Конечно.

— Ты знаешь, что мы забираем с собой всех землян. С нами второй корабль. На вашей планете

больше не будет колонии.

— Это я услышал в Бротере, когда вы прилетели три дня назад.

— Хотел убедиться, что ты понимаешь: это неизменное соглашение. Мы не вернемся. Лига наложила на вашу планету запрет. Или, если понятней, это значит вот что: я обещаю, что, сколько существует Лига, никто не прилетит сюда вырубать деревья или отнимать землю.

— Никто из вас не вернется, — произнес Селвер: утверждение или вопрос.

— В течение пяти поколений. Никто. Потом, возможно, понемногу, по десять-двадцать человек — не больше двадцати, — чтобы поговорить с твоим народом, изучить твою планету, как уже делали другие.

— Ученые, спецы, — сказал Селвер. Задумался. — Ваш народ решает все и сразу, ваш народ, — сказал он, снова между утверждением и вопросом.

— В каком смысле? — насторожился командер.

— Ну, вы говорите, никто не будет вырубать деревья на Атше: и вы все прекращаете. И все-таки вы живете в разных местах. Если старейшина в Караче отдаст приказ, ему не подчинятся в

соседней деревне — и уж точно не все на планете сразу…

— Нет, потому что у вас нет одного правительства. А у нас есть — теперь,– и я гарантирую, что приказы исполняются. Всеми и сразу. Но, между прочим, судя по рассказам колонистов, когда *ты* отдал приказ, Селвер, ему подчинились все на каждом острове, сразу. Как тебе это удалось?

— Тогда я был богом, — без выражения ответил Селвер.

Когда коммандер оставил его, подошел длинный и белый и попросил разрешения посидеть в тени дерева. У него был такт и выдающийся ум. Селверу с ним было не по себе. Этот, как Любов, будет мягким; все поймет — но сам останется вне всякого понимания. Самые добрые из них были такими же далекими, такими же недостижимыми, как самые жестокие. Вот почему присутствие Любова в мыслях его мучило, а сны, где он видел и трогал покойную жену Теле, были драгоценны и полны покоя.

— Когда я прилетал в прошлый раз, — сказал Лепеннон, — я встретил одного человека: Раджа Любова. У нас не было времени поговорить, но я запомнил его слова; и с тех пор успел почитать некоторые его исследования твоего народа. Его

труд, как ты это называешь. Это во многом благодаря его труду Атше теперь свободна от земной колонии. Думаю, эта свобода была направлением жизни Любова. А ты, его друг, теперь проследишь, чтобы смерть не помешала ему прийти к цели, закончить путь.

Селвер сидел неподвижно. Тревога в его разуме обратилась в страх. Этот говорил с ним, как Великий Сновидец.

Он не ответил ничего.

— Скажи мне одно, Селвер. Если вопрос тебя не оскорбит. Больше вопросов не будет… Здесь были убийства: в лагере «Смит», потом здесь, в Эшсене, и, наконец, в лагере «Новая Ява», где Дэвидсон возглавил бунтарей. На этом все. С тех пор — ни одного… Это правда? Что больше убийств не было?

— Я не убил Дэвидсона.

— Это неважно, — сказал Лепеннон, не понимая сути ответа; Селвер имел в виду, что Дэвидсон жив, но Лепеннон понял так, что того убил кто-то другой. Радуясь, что и этот белый может ошибаться, Селвер не стал поправлять.

— Так, значит, больше убийств не было?

— Нет. Они скажут. — Селвер кивнул в сторону полковника и Госса.

— Я имею в виду, среди ваших. Чтобы атшеане убивали атшеан.

Селвер молчал.

Посмотрел снизу вверх на Лепеннона, на это странное лицо, белое, как маска Духа Ясеня, что изменилось, встретив его взгляд.

— Порой приходит бог, — сказал Селвер. — Он приносит новый способ что-то делать или новое дело. Новое пение — или новую смерть. Он приносит их по мосту между временем сна и временем мира. После этого ничего изменить нельзя. То, что существует в мире, нельзя прогнать обратно в сон, удержать там стенами и притворством. Это безумие. Что есть, то есть. Теперь без толку притворяться, что мы не знаем, как убивать друг друга.

Лепеннон положил длинную ладонь на руку Селвера — так быстро и мягко, что Селвер принял его касание, будто тот не был незнакомцем. Вокруг трепетали зелено-золотые тени листьев ясеня.

— Но ни за что не притворяйтесь, что есть причины убивать друг друга. Для убийства нет причин, — сказал Лепеннон с лицом тревожным и печальным, как у Любова. — Мы уйдем. Через два дня нас не будет. Никого. Навсегда. И тогда

леса Атше останутся, как были.

Из теней в разуме Селвера вышел Любов и произнес:

— Здесь буду я.

— Здесь будет Любов, — сказал Селвер. — И Дэвидсон. Они оба. Может, после моей смерти народ будет тот же, что до моего рождения — и до вашего прилета. Но вряд ли.

Послесловие

Обычно мне тяжело писать — и приятно; эта история писалась легко — но против моей воли. Она не оставляла выбора. Писать ее было все равно что работать под диктовку начальника, страдающего от язвы. Хотелось мне написать о лесе и снах — то есть описать экологию изнутри и поиграться с идеями Хэдфилда и Демента о функции быстрого сна и применениях сновидений. Но начальнику больше хотелось рассказать о нарушении экологического равновесия и отречении от равновесия эмоционального. Ему не хотелось играть. Ему хотелось читать нотации. Я не очень люблю назидательные истории, поскольку им часто недостает милосердия. Надеюсь, в этой истории оно есть. Могу только сказать — не по своей воле испытав это на горьком опыте, — что Доном Дэвидсоном быть еще больнее, чем Раджем Любовым.

Предисловие «Оплата по факту»



Как рассказывает энди оффут, множество издателей отказались от этого рассказа, потому что испугались. Не знаю, может, и правда. Лично мне это с первой же секунды показалось самым остроумным способом обмануть Систему, что когда-либо придумывали. Для тех из нас, кто ежедневно борется с чудовищностью Системы, такие рассказы подтверждают важность нашей безмолвной и все более опасной и тяжелой миссии: вставлять палки в колеса Корпоративному Государству — тому, что Райх в «Озеленении Америки» (*The Greening of America*) называет «безмозглым исполином, который разрушает экологию, топчет человеческие ценности и гос-

подствует над жизнями и умами подданных. К несправедливости и эксплуатации девятнадцатого столетия Корпоративное Государство прибавило обезличивание, бессмысленность и репрессии, и теперь оно грозит уничтожить весь смысл и всю жизнь».

Я уже где-то писал, причем немало, о том, как именно нас унижает и мучает безмозглый исполин, и писал даже о немногих легитимных и легальных мерах, которые принимал лично, чтобы замедлить его сокрушительную инерцию. А мои нелегальные и нелегитимные уйдут со мной в могилу — и, скорее всего, очень скоро, если я их продолжу.

Но переплатить за телефон чуть меньше доллара (чтобы они потратили намного больше долларов, пока делают пересчет в компьютерных базах) и потом послать свой телефонный счет в обратном конверте *без* марки… писать в гигантские продуктовые компании и жаловаться на мертвую муху или таракана в коробке их завтрака, чтобы тебе в ответ прислали еще больше своей гадости, лишь бы задобрить… стать уклонистом или вступить в Корпус мира, чтобы лишить военную машину очередного теплого тела… судиться с автопроизводителями, когда рассыпаются их

драндулеты, или судиться с ними просто потому, что они загрязняют воздух… все это и тысячи других афер, законных и незаконных… все это — манна небесная в пустыне для тех, кто видит, как снежный шар Корпоративного Государства давит индивидуальность, разум и человечность в Темные Времена нашей упадочной цивилизации.

И вот энди оффут предлагает здесь еще один рецепт. Прелестный и оригинальный.

Что уже само по себе немало говорит об энди оффуте.

Вы заметили, что его имя всегда пишется строчными буквами, без заглавных. Любопытно. Так эндрю дж. оффут подписывает свои письма и озаглавливает свои бланки, так подписывает рассказы и в целом раздражает людей. Меня он раздражал с самого 1954-го, когда его рассказ «И сгинуло завтра» (*And Gone Tomorrow*) занял первое место в конкурсе университетской НФ, проспонсированном журналом *If: Worlds of Science Fiction*. В том конкурсе участвовал и я, пребывая в то время в нищете (в Огайо), выживал в университете штата, сидел на шее у матери, обслуживал столики, писал за других диссертации (за которые гарантировал оценку «хорошо» или выше) и воровал в магазинах такие маленькие

предметы роскоши, как книги и пластинки. Когда в конкурсе выиграл «Э. Дж. Оффут», я подумал: «Ему просто повезло; этот тупой говнюк больше в жизни не напишет ни слова».

И не слышал об этом клоуне до самого 1959 года, когда в *Galaxy* появился «Черный меч» (*Blacksword*). Но к тому времени я уже три года писал профессионально, ушел из армии и мог себе позволить капельку великодушия. Хотя все еще не знал и знать не хотел никаких Оффутов (в те времена имя писалось с большой буквы).

Кто он и откуда взялся, можно найти в откровенной и полуграмотной биографии, представленной ниже без комментариев редактора, так и не простившего обиду 1954 года…

«Первым делом мы переехали из Луисвилла на ферму, где я и вырос с парой енотовых гончих, стадом голштинов голов в 35, быком с манерами редактора из НЙ, лошадьми, полями табака и сена (спасибо за лихорадку) и котом по кличке Папа, который ходил на охоту с батей. (На енотов. А под мы я имею в виду нас, кентуккийцев, которые не считают себя южанами. Это огайцы считают. Теннессийцы считают нас этсамыми чертовыми янки. А что делать? Во время той проклятой войны мы помогали ОБЕИМ сторонам.)

У меня было чертовски несчастное детство, я 4 года учился в школе с 1 кабинетом и 8 классами; ждал у почтового ящика посылку из „Сирс“ каждый день после нашего заказа; слыл самым неспортивным пацаном в округе (на футболе меня выбирали предпоследним; последней выбирали маленькую толстую девочку, а меня всегда слали куда подальше на правую сторону поля — куда не залетают мячи); до 17 был очень мелкий, если не хуже, после чего за 10 месяцев вымахал на 20 см; совершил непростительное грехопреступление — был ужасно умным и к тому же католиком в поселении, посвятившем себя глупости и где всего 23 года назад лютовал ККК — против католиков! (Слишком маленькое поселение, чтобы в него поместились черные или евреи, принимающие удар за католиков в больших городах.)

Еще мы были бедные.

В 17 я часто сдавал тесты и перескочил выпускной год старшей школы, чтобы сразу поступить в универ Луисвилла по стипендии Фонда Форда. Окончил в 20. Между тем рубился в бридж и покер, часто прогуливал, был девственником и президентом своего студенческого братства, и в

клубе Ньюман[26], и в студсовете, и редактором газеты службы резервистов ВВС, и шефредом школьного ежедневника. Вот вам крест, колонка „советы дяди энди“ была популярной! Еще много где работал; в выпускной год — 3 работы одновременно. В 1954-м или 1955-м участвовал в университетском конкурсе НФ от *IF* и выиграл, потому что Эллисон отчислился[27], чтобы помогать Саймингтону[28], или чем он там занимался. В моем рассказе „И сгинуло завтра“, про 2054-й, предсказывались пробные браки (можете себе представить, что они появились чуть раньше лет эдак на 90?) и прочие революционные штуки. Еще я писал, что идеального государства не бывает, но диктатура к нему ближе всего. И до сих пор в это верю, но предпочитаю свободу, так что пишу, чтобы показать, как делать мою любимую форму правления лучше. Ну, знаете, ту, которая раньше была в Америке. Бизнесу не

---

[26] Примечания: 26

Центры или клубы Ньюман — католические организации в светских университетах.

[27] Примечания: 27

Харлан Эллисон учился в Университет штата Огайо (1951–1953), пока его не исключили за оскорбления преподавателя творческого мастерства.

[28] Примечания: 28

Стюарт Саймингтон — сенатор от штата Миссури, на самом деле Эллисон не имел к нему отношения.

учился, поэтому работал в „Проктор энд Гэмбл“, пока их не перерос. Пошел в страхование жизни и здоровья и к осени 1968 года открыл агентства в трех городах. К счастью, перерос и это. А еще лет в 28 перерос Римско-католическую церковь; тут немало помог Вардис Фишер[29].

Я всегда медленно запрягал. Мой второй рассказ вышел в 1959-м, в *Galaxy*. (Хотя написал я его практически целиком в медовый месяц; жена все еще со мной.) Он назывался „Черный Меч“ и был про человека с таким именем, а не про меч. Другой назывался „Демографическая имплозия“ (*Population Implosion*), в 68-м его отобрали в „Лучших в мире от *Ace*“, и теперь его можно прочитать на японском, если хочется. Были и другие. Обычно я пишу про сатиру, и сопротивление Властям, и критику Мировых Вероисповеданий (AMA, ABA, США, ETC)[30] — наверное, это что-то говорит о моих странных чувствах к папане-охотнику, который заправлял домом, будто он шериф из

---

[29] Примечания: 29

Вардис Фишер (1895–1968) — автор исторических романов о Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонах) и развитии цивилизации начиная с каменного века, критиковавший религию.

[30] Примечания: 30

AMA — Американская медицинская ассоциация, ABA — прикладной поведенческий анализ, ETC — сокращение от et cetera (*лат.*) — «и так далее».

Ноттингема.

Люблю сначала говорить, а потом — писать, и занимаюсь и тем и другим, потому что куда деваться. Продал много романов под разными именами; обычно я Джон Клив, когда пишу про старый добрый секс (который, если так подумать, нравится мне больше, чем писать и есть). Еще люблю выпить и предпочитаю „Мейкерс Маркс“ с содовой и лимоном по сезону и джин-тоник — по другому сезону. Добавляю лимон во все, что пью, кроме пива, а еще ежедневно убираю около галлона сладкого кофе.

Наш дом — большой и старый белый слон с гостиной размером со стандартный дом от FHA/VA[31] из 50-х. Он стоит на 3½ акра земли, на высоком холме в Халдемане, 8 миль от Морхеда (а тот в 8 милях от Солт-Лика и в 15 — от Флемингсберга, чтоб вы знали). Мы зовем его Дурдомом, потому что здесь живет жена, от которой я без ума, и четыре оффутеныша, которых я стараюсь терпеть, и енотовая гончая по кличке Помпей Великий, которая молится мне каждый вечер, потому что

[31] Примечания: 31

Federal Housing Administration, FHA — Федеральное управление жилищного строительства; Department of Veterans Affairs, VA — Министерство по делам ветеранов. Имеются в виду дома, массово строившиеся для военнослужащих, вернувшихся с войны.

черно-рыжие — они такие (гончие, не ирландцы, ирландка — моя жена)[32]. (Мы ничего не выращиваем, только эго да детей.) Нисколько не сомневаюсь, что мне придется защищать свой чертов дом от вас, лебенсраумной[33] дряни из НЙ, со дня на день. Я-то уверен, что ЛА сам решит свои проблемы — и буду скучать по атлантийцам Кирби, Эллисону, Гейсу и кое-кому еще».

Сам оффут — автор какого-то количества романов, всего числом шестьдесят. Даже умудрился продать сорок. Впрочем, когда я засел написать это предисловие, обнаружил, что оффут коварно не дал мне ни одного названия, а поскольку под его именем (на данный момент) вышел только один — «„Зло“ — это „жизнь“ наоборот» (*Evil Is Live Spelled Backwards*), — причем довольно неплохой загородный роман, я позвонил ему в Морхед, штат Кентукки, или где он там живет. Он

---

[32] Примечания: 32

«Черно-рыжие» — прозвище по цвету формы Особого резерва Королевской ирландской полиции — временных полицейских сил, сражавшихся на стороне Великобритании во время Ирландской войны за независимость в 1919–1921-м.

[33] Примечания: 33

Lebensraum (*нем.*) — «жизненное пространство», идеологическое понятие нацистской Германии, согласно которому для развития рейха необходимо расширение территорий за счет соседних государств, а их существующее население должно подвергнуться этническим чисткам, насильственному переселению или частичному истреблению для снижения демографического потенциала.

не порадовался.

Не понимаю, чего тут злиться, если тебе звонят в полпервого. Ну, по времени Лос-Анджелеса. В Кентукки-то было 3:30, и трубку взяла его жена Джоди, и я сказал: «С Днем матери», — чтобы ее задобрить. Надо сказать, несмотря на все мои старания, энди оффут — так себе компания в 3:30 ночи. Только и может что ворчать.

Но я все-таки вытянул из него парочку названий. Он сопротивлялся. Считал, упоминание его «эротических» романов — это дешевый трюк желтушной журналистики. Вовсе нет. Я считаю, что современный «эротический» жанр принес нам возбуждающие интерес произведения (если простите за формулировку) и интересных писателей. Например, Дэвид Мелтцер, и Майкл Перкинс, и Хэнк Стайн… и Джон Клив, то есть эндрю дж. оффут.

И он дал пару названий. «Барбарана», «Соблазнительница», «Монгол!», «Гарем черного человека», «Поглощенный» (*Barbarana, The Seductress, Mongol! Black Man's Harem, The Devoured*) и нечто, что, по его утверждению, надо писать следующим образом: «великая круглосуточная ВЕЩЬ».

Еще под его именем выходят НФ-романы — «Крепости» (*The Castle Keeps*) от *Berkley* и «Посла-

нец Жувастоу» от них же, а *Dell* издает «Страсти на Аросе» (*Ardor on Aros*). Как видите, пишет оффут много, особенно «эротики». (Когда это писал я, мы это звали «похабщиной», но мы-то не были Артистами.)

Так мы переходим ко второму большому комментарию от самого оффута. Привожу его, понимая, что предисловие получится размером почти с рассказ, который предваряет, зато отсюда можно узнать много увлекательного и забавного о том, как работает *профессионал*.

«Смотрите: „НОВ“ — это что-то живое. Это не просто пачка рассказов, которые слепил вместе безликий мужик, чтобы чем-то заняться между выходом собственных книжек, и которые другие безликие люди наслали наобум, чтобы подзаработать. Это великая дикая банда нас, болтающая без умолку до первого света, и если кто-нибудь из нас начинает говорить что-нибудь достаточно интересное, то мы перебивать не любим. Так что для всех, кто думает, что литература — это то, или се, или пятое, или десятое, у кого творческий кризис и хочется знать, как устроен мозг писателя, вот вам оффут и его привычки за пишмашинкой. Думаю, вы согласитесь, что получилось довольно читаемо. Вперед, энди:

„По моему определению, писатель — это самый счастливый человек на свете, потому что ему платят за то, что он любит, за хобби. Я написал роман в девять лет (про ковбоев, про что же еще?), и сразу же кучу рассказов, и роман лет в 13 (Эдгар Райс Берроуз, о чем же еще?). Еще три романа написал в колледже (делая вид, что веду конспекты на скучных лекциях). Два до сих пор читаемы. Я окончил колледж в 20.

Переход к 1967-му. Я издал несколько рассказов — ‘соляки’ и непредсказуемые соавторства; отработал несколько лет в ‘Проктор энд Гэмбл’, пока их не перерос; вложил год в страхование жизни, а потом открыл собственную компанию; стал управляющим. Внезапно, уже раз семь сказав ‘нет’, я наконец сказал ‘да’ и стал управлять тремя страховыми агентствами в трех разных городах. Носился по городам и весям. Проводил собрания тут и там. Изображал руководителя в мотелях (тоже забавная игра, и большинство игроков ее так и не перерастают). Был уважаемым членом в клубе ‘кризис дня’. Изнурял себя умственно и физически. И понимал, к чему, скорее всего, ведет ‘Алка-Зельтцер’ дважды в день. И все-таки рука об руку с усталостью шла невероятная интеллектуальная стимуляция.

По выходным мне очень нужно было развеяться.

Я развеивался перед ‘Селектриком’. (Люблю лучшую технику; ‘Мерседес’ и ‘Селектрик’, хотя от ‘Андервуда P-48’ и ‘SCM-250’, за которыми проработал по году, не видел ничего хорошего.) За полгода тяжеловесного руководства, которое венчалось — и поддерживалось — писательством по сб и вс, я создал три рассказа и 5½ романов. Они начали продаваться. Я закрыл агентства вне Морхеда. Через четыре месяца принял некоторые меры и отпустил руль ‘эндрю оффут и партнеры’ (с неограниченной ответственностью).

Наконец в августе 1970-го бросил страхование окончательно. Нарисовал несколько чертежей, потратил кучу денег и построил себе кабинет на дому, в Дурдоме.

Я проработал в страховании жизни / госпитализации семь лет. В последние 20 месяцев не продал ни одного полиса, потому что не пытался (вот он, истинный капитализм). В тот же период продал шестнадцать романов на 50 тысяч слов. Место и время действия, тема, ‘тип’ и даже стилистика (писал, например, в викторианской) варьировались.

С августа 1967 года я продал чуть меньше двух

миллионов слов. В 1969-м продано 10 романов, больше полумиллиона слов. В 1970-м — 12 романов, из них четыре наконец-то с моим именем на обложке, а также пара рассказиков и статья в андеграундной газете. (Ну ладно, ладно: *Screw*.)

До самого недавнего времени работал по выходным, на Ай-би-эм. Начинал в субботу, где-то в 13:30, иногда чуть раньше. И писал до ужина — примерно в 18:30–19:30. Перерывы на: 1) частые вопли с просьбой принести еще кофе; 2) туалет; 3) обед — сыр и бокальчик вина. Воскресный график такой же, но без перерыва на обед. Я писал за металлическим секретарским столиком, на лестничной площадке большого старого дома.

На неделе хватало других дел: сбор материалов, редактура черновиков и вычитка. Конечно, бывают и спурты: однажды вечером в октябрьский понедельник мне пришла в голову задумка, и я набросал план романа, не отрываясь от фильма по *NBC*. На следующий день я его напечатал. На следующий вечер читал/менял/расширял, одним глазом следя за результатами выборов. В среду напечатал исправленное — длинный синопсис где-то в 6500 слов. В четверг напечатал первую главу, но пришлось прерваться, чтобы выступить с речью. В пятницу-субботу-воскресенье-поне-

дельник писал и закончил во вторник. Роман сам происходил со мной, и мне нравилось его перечитывать, потому что он получался так быстро, что я не успевал задуматься, о чем он!

Прошлым летом, в июне 1970-го, я столкнулся с первым Кризисом — тем древним писательским дьяволом, о котором был столь наслышан. Глупо; ведь я САМ виноват. У романа был готов план на 2/3, я определился с концовкой (хотя и поменял, когда до нее дошел) и в предыдущие выходные закончил главу, отрывок и план. Одновременно. Очень здорово. Очень глупо. Это ХУДШЕЕ место для перерыва. Глупо. Сам себя и загнал в кризис. Причем книга-то была для меня особенной; шла не так просто, как некоторые. Про обозримое будущее, как я его вижу; провинциальный роман (я живу в Аппалачии, и большинство пишущих о деревенском Кентукки ни сном ни духом не знает, о чем сочиняет), сильно заимствующий — не считая личных наблюдений/заметок/мыслей,– из трех книг: „Территориальный императив“ (*The Territorial Imperative*), „Голая обезьяна“ и „Справочник по экологии“ (*Environmental Handbook*).

Короче, кризис. Вернувшись к роману в следующие выходные, я впервые в жизни НЕ СМОГ взять и продолжить.

Я боролся. Мой мозг давал отпор. Я ходил в туалет три раза, помыл туфли из корфама, пожалел, что на дворе не зима, чтобы сходить поколоть дрова, отделил оригинал другого только что законченного романа от копирки, походил туда-сюда, заварил еще кофе. Было ужасно. Я вспотел. (У меня не бывает испарины. Никогда. Я обливаюсь потом. И нет, не угадали: мой вес — 70 кг при росте 185.)

Я сражался. Я сидел и пытался печатать. Я рычал, ругался, чертыхался, нецензурно выражался. Без конца тыкал в клавиши. (Я печатаю тремя пальцами, один — на левой руке. Ему хуже всего.) Я не сдавался. Ну *давай* уже, чтоб тебя!

Я ПОБЕДИЛ! И это было ужасно. Это продлилось 45 минут, и теперь я знаю, что такое творческий кризис. Хотелось бы забыть; и я больше никогда не остановлюсь на точке!

Не думаю, что творческий кризис мне еще понадобится — главное, иметь мало-мальский самоконтроль. Идеи лезут отовсюду, ежедневно, да и кто пишет, когда не ХОЧЕТ писать?“»

С вами снова Эллисон. Теперь вы понимаете, почему я дал оффуту столько места. Как человек, который только что вышел из затяжного Творческого Кризиса (по моим меркам), Кризиса,

который продлился три месяца, и я знаю, как себя чувствовал бедолага в те жуткие 45 минут.

Наглый ты сукин сын оффут, да есть писатели, кому мы и пенал подавать недостойны, а они живут с кризисом *годами!* Старджон пережил по меньшей мере три, насколько я знаю, и каждый длился по три года. Шекли попадает в кризисы, которые загоняют его в Коста-Браву и не подпускают к пишущей машинке по году зараз. Уильям Тенн не выходил из кризиса как минимум последние десять лет, и насколько известно только *мне*, выживает за счет преподавательских способностей Фила Класса[34]. Есть фэны, которые шутят, что у меня с Силвербергом кризисы длятся полчаса. Но еще настанет день, умник; тот устрашающий день, когда пересохнет в горле, когда *не пишется.* И тогда ты поймешь, что значат муки адские, которые даже не получается описать. Это как быть заглоданным насмерть мышами в Филадельфии. Поправляешь стол, убираешь дом, слушаешь музыку, перечитываешь Толстого, молишься, с кем-нибудь спишь, потом возвращаешься — и… ничего.

И это все не кончается и не кончается.

---

[34] Примечания: 34
Уильям Тенн — псевдоним фантаста Фила Класса (1920–2010).

Пытаешься объяснить это себе, и своим друзьям, и тем, кто держит тебя за жабры со своими сроками — а тебе не верят, потому что всю творческую жизнь ты был слишком самодовольно продуктивным. И теперь существуешь один, на окраинах собственного разума — вдруг почерневшего и опустевшего. Не то чтобы нет идей. Черт, идей-то тысячи. Ты все такой же выразительный, умный, сладкоречивый, как и всегда. Просто *не хочется работать*. Смотришь на машинку — и глаза б ее не видели.

А потом однажды безо всякой понятной причины стена ломается. Кризис исчезает, и снова начинаешь колотить по клавишам.

И вот в этот миг, ЭНДРЮ ДЖ. БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ЧТОБ ТЕБЯ ОФФУТ и вы все, дилетанты-неженки, которые это читают и мнят, будто писать может *любой* обалдуй, попомните слова Хемингуэя: «Чтобы человек стал писателем, есть три условия. Он должен писать сегодня, он должен писать завтра, он должен писать послезавтра…»

Да, оффут — писатель. Он пишет. Что и доказывает — наконец-таки — этот рассказ.

Оплата по факту
Эндрю. Дж. Оффут



Мэри Энн Барбер, доктор медицины, окончила медицинский колледж в нежном возрасте 23 лет. Ее результаты на экзаменах установили новый рекорд. Нет, она не гений. Вы о ней не знаете? Да где вы были? Из-за ее случая проводятся собрания директоров больницы и собрания персонала, ее обсуждают даже в AMA и AHA[35]. Самый важный медицинский случай в американской истории;

[35] Примечания: 35

American Heart Association (AHA) — Американская кардиологическая ассоциация.

пугающий прецедент. О ней писали, с фотографиями, «ЛАЙФ», «ЛУК», «РОДИТЕЛИ», «ЖУРНАЛ АМА», «БОЛЬНИЧНЫЕ НОВОСТИ», «СЕГОДНЯШНЕЕ ЗДОРОВЬЕ», «РИДЕРС ДАЙДЖЕСТ» — и «ФОРЧУН». Ее отец отказывался от предложений экранизировать ее биографию. Также у него брали интервью для «ИНДЕПЕНДЕНТА», «ПСИХОЛОГИИ СЕГОДНЯ», «РАМПАРТСА», «БЮЛЛЕТЕНЯ ОБЪЕКТИВИСТА» и «ПЛЕЙБОЯ».

Все началось двадцать три года назад, когда Роберт С. Барбер выиграл в своей компании конкурс по продажам и получил очень весомую премию. Незадолго до того, как Джоди должна была явить на свет их третьего ребенка. На радостях Боб Барбер предложил для Джоди частную палату. Она согласилась, и охотно. В прошлый раз она делила палату с Филоменой, матерью девяти детей. Филомена постоянно жаловалась на то, какой это ужас — быть машиной для размножения. Джоди посоветовала иметь веру — и прекратить. Филомена в ответ сообщила, что в Вере и есть корень всех ее бед.

Джоди поступила в медицинский центр Святой Мейнрад и получила в свое распоряжение целую палату вместо того, чтобы лежать вместе с другой будущей матерью согласно американскому

образу жизни. Та палата стоила на десять долларов в день больше, чем покрывала групповая страховка Барбера; уединение дорогого стоит! И все-таки страховая карточка провела их мимо Привратницы — подозрительной матроны на стойке приема, чьей работой было принимать всех пациентов бесстрастно — при условии, если у них есть страховые карточки или они заметно и доказуемо нищие. Третьего не дано.

Малышка, безволосая девочка — но хотя бы с наличием схематичной зачаточной женственности, — появилась на свет после коротких родов со стандартным числом рук, ног, пальцев и так далее. Она с удовольствием продемонстрировала нормальную работу легких и гортани. Еще она немедленно принялась кормиться грудью, будто иначе и не бывает. Она процветала, не замечая, что ее малолетние соседи не узнают грудь, даже если увидят.

Между тем работницы в яслях занимались своим делом: баловали малышей, доверенных родителями, у которых не было другого выбора и которые через несколько дней удивлялись, как это ребенок мог родиться сразу избалованным. Вторая часть работы всего больничного персонала — что тогда, что сейчас, — это не подпускать

самца как к избранной им самке, так и к плоду чресл его. Роберт Барбер возмутился. Он не понимал, почему ему вход воспрещен, тогда как Джоди нянчит ребенка. Ведь он их уже видел. Он их, собственно, даже считал своими.

Монашка, которую он расспрашивал, не смогла ответить.

Предположительно, часы посещения существовали, чтобы защитить пациенток от забот в виде тетушки Марты («Да-а, знала я одну, дорогая моя, ей делали такую же операцию. Царствие ей небесное, бедняжке».) и прочего подобного. Но нынешние матери не болеют. Роберту Барберу было очевидно, что разрешенные часы — и куда большее число запрещенных — существовали лишь для удобства больничного персонала, чья таинственность страдала от избытка Простолюдинов, замечающих их человечность. Естественно, предположение только укреплялось тем, что врачи, медсестры, интерны, ординаторы, волонтеры, Серые дамы, Розовые дамы[36] и Женщина с тележкой журналов и салфеток тре-

[36] Примечания: 36

Серые дамы — название добровольцев Красного Креста, работавших в американских больницах, особенно во время мировых войн. Прекратили существование после 60-х. Розовые дамы — название волонтеров по цвету формы.

вожили пациенток куда больше «посторонних» посетителей.

Неизбежные ежевечерние молитвы по громкой связи тоже успокаивающими не назовешь.

Но Роберта Барбера так просто не остановить. Он заметил, что в больнице, не считая пациентов, есть два типа людей: Свои — и Остальные. Остальные приходили и как будто существовали только с разрешения тех, кто носит белые туфли и больничный халат. Или маленький черный саквояж. Оставалось только, пришел к выводу Барбер, вести себя, как Свой.

И он перенял защитную окраску. Войдя в больницу уверенной походкой с собственным черным чемоданчиком, он двинулся по священным и стерильным коридорам.

— Добрый-вечер-медсестра, — бодро бросал он, едва удостаивая взглядом почтительных девушек, прыскавших с его пути. — Сестра, — говорил он не столь почтительным монашкам: в конце концов, врач или не врач, он всего лишь человек, к тому же мирянин. Но они все равно кивали и шуршали в сторону.

Так агрессивно независимый Боб Барбер презрел часы посещения на целых четыре дня подряд.

Роковой день настал без зловещих знамений в небесах. Сертифицированный член Американской магической ассоциации объявил Джоди Барбер готовой к выписке. Поблагодарив старого жреца-шамана из АМА, Боб пошел рассчитываться с кассиршей. Та правила в своей небольшой вотчине, отделенной от мира стойкой с окном, напоминавшими о банке. Она встретила его стандартным выражением лица — будто он совершил преступление.

Он не совершил.

Но собирался.

— Похоже, вы разместили жену в палате лучше, чем покрывает ваша страховка, мистер Барбер. — С таким же тоном прокурор в кино произносит: «Так, значит, вы все-таки находились на месте преступления в ночь на 21 марта!»

Боб Барбер улыбнулся и кивнул.

— Да. Я должен где-то сорок долларов, правильно?

Она безмолвно кивнула, идеально подражая взгляду легендарного василиска.

Чуть нахмурившись от сомнений, не заразно ли это, Роберт Барбер тоже опять кивнул:

— Э-э, ну…

— Оплатите-разницу-наличными-или-чеком,

мистер Барбер?

Он подождал, как много лет спустя поделился на интервью, слов «Вы прослушиваете автоматическую запись». Он смекал в науке продаж; палата была «лучше», а не «дороже», чем покрывала страховка. И теперь ему дали стандартный «роковой выбор» — наличные или чек.

— Пришлите чек, пожалуйста. Мой адрес у вас есть.

— Мистер Барбер, согласно политике больницы, чеки обрабатываются при выписке пациентки.

Позже он отметил и слово «обрабатываются». Не «оплачиваются». Так она и в самом деле прошла курс по продажам/семантике!

— Да, и вы получите 237,29 от страховой компании и 40 долларов доплаты от меня. Можете просто прислать чек в конце месяца, как все и делают?

Его улыбка поблекла, не вызвав ответную.

— Согласно нашей политике, мистер Барбер, мы не выписываем пациента, пока чек не оплачен сразу и целиком.

— Тогда у нас недоразумение, мэм. Моя жена — не пациентка. Мы сюда приехали всего лишь потому, что здесь нашему врачу удобнее наблюдать за родами. А теперь — моя машина у дверей,

жена уже собралась. — Он добавил свою лучшую лихую улыбку. — Мне где-то надо подписать?

Не сработало. Она вздохнула.

— Мистер Барбер, вы, похоже, не понимаете. Это *правило*, мистер Барбер. *Больничное* правило. Мы не можем отпускать пациента, пока не закрыт счет.

Боб Барбер сунул руки в карманы брюк и расправил плечи. У нее нет не только коры мозга, подумал он, но и яичников, и не помешает пересадка сердца! Он твердо сжал губы.

— Ладно, — сказал он. — Хотите брать заложников, дело ваше. Но уверен, вы обойдетесь и одним. Мы с миссис Барбер уезжаем. Она кормит грудью, так что будет приходить шесть раз в день. А нашу малышку, кстати, зовут Мэри Энн. — Он уверенно улыбнулся, наслаждаясь потрясенным видом кассира. — А когда она дорастет до колледжа, мы переведем вам деньги за обучение. — Он ухмыльнулся и подождал капитуляции. Нет никаких сомнений, он первый в истории разоблачил ее блеф.

Когда Мэри Энн Барбер исполнилось шесть, отец каждый день забирал ее из больницы и возил в школу. Каждую пятницу она передавала ему счет. Пока она еще училась в первом классе,

он перевалил за 9 тысяч.

Она поступила в десятый класс в возрасте четырнадцати лет. На четвертый день одиннадцатого класса она вручила папочке счет на 106 378,23 доллара. В школе она была одна из самых умных и здоровых девочек. Из разговоров с интернами она переняла немало знаний и тонкостей. И к тому же несложно оставаться здоровым в больнице.

Из яслей ее перевели в педиатрию, из педиатрии — в детское отделение на втором этаже. Интерны брали дополнительные смены, чтобы сброситься ей на подарок — частную палату, отдельно от других пациентов. Родители обычно навещали дважды в день. В часы посещения.

Были собрания директоров и персонала, журнальные и газетные статьи, интервью. Предложения оплатить растущий с каждым днем счет Мэри Энн Барбер поступали со всей страны, а также из семнадцати стран и двух правительств. Больница предлагала сбросить десять центов с каждого доллара. Потом — двадцать пять. Пятьдесят центов. Сорок. Боб Барбер ответил, что ждет тех же условий, которые федералы предоставили

Джеймсу Хоффе[37].

На свой четырнадцатый день рождения Мэри Энн получила тысячу двести семьдесят одну открытку. Вскоре после этого она получила тысячу триста четырнадцать рождественских открыток. Ее одежда бесплатно предоставлялась одной компанией, обувь — другой, школьные учебники — еще двумя. Каждый год ей анонимно поступали деньги на учебу. Боб Барбер вкладывал их в страховую пенсию на имя дочери. Одежду она почти не носила; в провинциальной школе требовалась только бесполая бесхарактерная форма — темно-синие джемперы поверх белых блузок. И черные туфли. И белые носки, вот досюда.

Она окончила колледж в девятнадцать и сразу поступила в медшколу. Врачи победили; монашки уговаривали ее на монастырь, а медсестры — пойти в стюардессы или в секретные агенты. Слишком уж Мэри Энн сблизилась с интернами.

В двадцать первый день рождения дочери Роберт Барбер получил уже ежемесячный счет с

---

[37] Примечания: 37

Джеймс (Джимми) Хоффа (1913 — предположительно 1982)– лидер профсоюза водителей грузовиков. В 1964-м был приговорен к 15 годам лишения свободы за попытку подкупа присяжного. В 1971-м освобожден по договору с президентом Никсоном за согласие уйти со своего поста и не заниматься профсоюзной деятельностью (в данном контексте имеется в виду амнистия). Был связан с мафией. Считается пропавшим без вести.

перечислением всех пунктов. Счет был в тридцать семь футов[38] длиной, четко напечатанный ненавистной машиной, которую он звал Идиотский Бронированный Мозг. Счет был в 364 311,41 доллара и включал в основном только проживание и питание. Как обычно, предоставлялась скидка, хотя в этот раз он заметил, что от него просят только двадцать центов от каждого доллара. И все равно 72 862,28 доллара были ему не по карману. Он ответил обычным письмом:

Согласен перевести 40 долларов по счету моей дочери, который пришел в конце месяца ее рождения. Когда счет прибыл, в нем указывались 130 долларов, включая десять дней по 9 долларов за ясельный уход. Я вернул его, потребовав пересчитать до сорока. Если бы вы ответили, я бы все эти годы жил с дочерью, как нормальные люди. Но вы предпочли заявить, будто я еще должен вам за время, что она провела в больнице после того дня, как я забрал жену домой. Я не согласился тогда и не согласен сегодня; эти дополнительные десять дней она провела у вас в заведении по вашему требованию, а не моему. И не ее. Таким образом, поскольку вы называетесь некоммерческой орга-

[38] Примечания: 38
1 фут ≈ 30 сантиметров.

низацией и поскольку суды отказались принять иск по обвинению в похищении с требованием выкупа, я по-прежнему готов заплатить сорок долларов. Но не могу, пока не получу счет на требуемую сумму, чтобы приложить его к своей налоговой декларации.

Роберт С. Барбер

PS: Прилагаю чек на оплату всех расходов за недавнее удаление миндалин моей дочери. Будь у меня выбор, я бы обратился в больницу получше, но она поручилась за ваши услуги.

РСБ

И внизу — как обычно, размашистая подпись. Можете увидеть сами — первые письма в больнице выбрасывали, но с тех пор в особой папке накопились уже двести сорок три штуки. Двести тридцать семь напечатаны на пишущей машинке.

Прошло новое совещание совета больницы. Голоса все равно склонялись против того, чтобы поддаваться и высылать счет на 40 долларов, хотя члены совета подсчитали, что из-за этого случая одна только бухгалтерия обходится им в 27,38 доллара в год. Но самое главное: Что Подумают Люди, если узнают, что больницы несовершенны

и допускают ошибки? В протоколе можно видеть, что Элай Р. Хатчинсон, президент крупнейшего банка в городе и член совета на протяжении тридцати шести лет, наотрез отмел счет в сорок долларов, если не будет включен процент. С простым процентом изначальная сумма доходила до 50,40. От этого Барбер уже отказался шесть лет назад.

Когда собрание расходилось, можно было слышать, как Уильям Джозеф Спенингер (доктор медицины) пробормотал сестре Марии Джозеф (Доминиканский орден, лицензированная медсестра):

— Что ж, Хатч не вечен.

Сестра Мария Джозеф покачала головой и зашуршала четками.

— Грех так говорить, доктор Спенингер. К тому же на прошлой неделе мистер Хатчинсон проходил полное обследование. У него до смешного крепкое здоровье.

Как уже упоминалось, Мэри Энн Барбер окончила медицинский колледж в 23 года и сдала экзамены с выдающимися оценками. К тому времени она уже отказала семи предложениям от шести журналов сняться в качестве Юной (почти) Голой (почти) Девы Месяца; трем студиям-мей-

джорам, мечтавшим экранизировать ее историю жизни, — причем две предлагали главную роль ей самой; семистам двадцати четырем предложениям руки в виде писем и телеграмм, а также шести предложениям того же от одногруппников из колледжа. Были и другие предложения, большинство — от студентов, большинство — менее формальные.

Ей пошли навстречу, чтобы она проходила интернатуру у себя дома — в медицинском центре Святой Мейнрад. Интернам полагался оклад ровно в 120 долларов ежемесячно. Доктор М. Э. Барбер приступила к работе с первого сентября.

Ровно в полночь десятого она забрала личные вещи из больницы и так же тихо переехала в давно пустующую комнату в доме ее родителей. В два ночи она вернулась на дежурство.

Ее исчезновение заметили в 20:30, когда она ассистировала (на медицинском наречии — «наблюдала») доктору Спенингеру во время пилонидальной цистэктомии у девятнадцатилетней студентки. Доктор Спенингер бросил взгляд на отчаянно жестикулирующую монашку в дверях, потом перевел взгляд на доктора Барбер. Ее глаза улыбнулись поверх маски. Он покачал монашке головой и сдвинул брови как можно

суровей. Доктор Мэри Энн Барбер любезно ей улыбнулась.

— Что ей там понадобилось? — спросил доктор Спенингер на перекуре в комнате отдыха после того, что он назвал хвостоктомией. Он был очень популярен среди медсестер, интернов и ординаторов, которые называли его самым почти человечным врачом в городе.

— Наверное, узнала, что вчера ночью я съехала. В полночь.

— Съехала из больницы? Боже мой, девочка! Да ты сбежала из дома!

Она покачала своей светлой-пресветлой головой.

— Нет, доктор. Я съехала *домой*. Там у меня замечательная комната, хотя *пахнет* в ней странновато.

Он кивнул.

— Это воздух. O_2 и прочее — азот, водород; не хуже меня знаешь. Никаких антисептиков. Никаких лекарств. Наверняка только ситец да нафталин от моли. Пожалуй, к этому тоже нужно привыкнуть. — Он посмотрел на нее, опустив брови. — Но ты же… приписана к этой больнице. Я имею в виду, не как интерн, а как человек. Не будем углубляться в подробности — я в больнич-

ном совете уже двадцать лет, и все двадцать у меня болит голова о печально известной Барбер. Ты не можешь уйти. У тебя здесь чертовски большой счет. Или, вернее, у твоего запальчивого, независимого, уникального, героического старого мерзавца.

Она сняла хирургическую шапочку и с сияющей улыбкой растрясла волосы.

— Нет. Вовсе нет. Я подписала документы и перевела свои счета, долги и так далее на себя со дня, когда мне исполнился двадцать один год. Я все-таки его дочь, я с ним согласна. Ему это не угодило, но стоило мне сказать слово «независимость», как он сразу замолк. В его — моем — доме это заповедь. А потом я рассказала ему о своем плане. И уж тогда он замолк *окончательно* — когда отсмеялся.

Доктор Спенингер подождал. Потом вздохнул, взглянул на свои часы и откинулся на спинку стула, закуривая снова. Она тоже достала сигарету; он убрал зажигалку поглубже в карман.

— Не надо тут разыгрывать из себя леди, коллега, — сказал он. — Ты же у нас слишком независима, компетентна и профессиональна, чтобы я оскорблял тебя предложением закурить. К тому же я тебя не раз пеленал. И даже счет за

это не посылал. — Он понаблюдал, как змея дыма корчится у потолка. — Ну ладно, Мэри Энн, сдаюсь. Какой такой у тебя есть План?

— Был. Он уже завершен. Я начала работать здесь с первого сентября за 120 долларов в месяц. В сентябре тридцать дней. Это целых четыре американских зеленых в день.

— Ага. Позор. Мы на все готовы, чтобы не пускать молодежь в профессию, в том числе морить голодом.

— Не будем углубляться и в эту тему, о изнуренный, но богатый врачеватель. Итак, на момент вчерашней полуночи я проработала десять дней. На сорок долларов. Я съехала. И оставила на столе записку — в этом месяце выдайте мне только восемьдесят долларов. Мы в расчете.

Он закинул голову и принялся хохотать. Громко. Долго. Раскрасневшись, он наконец наклонился вперед и хлопнул по коленке. Его встревоженная подопечная напомнила о давлении. Он закивал, задыхаясь и захлебываясь.

— Ты погоди, когда об этом услышат ОНИ! Погоди, когда об этом услышит Элай Хатч! О, чудесно! Мы наконец-то спихнули с плеч дело Барбер!– Он посмотрел на нее и снова нахмурился.– Если только совет не решит с тобой судиться… хм. Об

этом я позабочусь *заранее*. Единственный Барбер, о котором я желаю слышать отныне и впредь, — это доктор Барбер. И надеюсь больше никогда не услышать имя «Роберт С. Барбер»!

— Не очень-то это великодушно, но мы с папочкой все равно против подачек. Я обещаю вам одно: моего сына не будут звать Робе… ну, как вы сказали. Его будут звать Уильям Роберт Джозеф Барбер. Пойдет?

Доктор Уильям Джозеф Спенингер уставился на нее.

— Какой еще… сын?

Она пожала плечами.

— Ну, который однажды родится. Как раз подбираю самого многообещающего из интернов.– Она улыбнулась.– Нет, в ближайшее время я *не стану* пациентом гинекологии. Не раньше, чем закончу интернатуру. Да и потом, скорее всего, не раньше свадьбы.

— Слава богу. Но это наглая ложь — ты уже влюбилась в юного Криса Эндрюса и сама это знаешь. — Он задумчиво к ней присмотрелся. — Что ж. И как же ты планируешь прожить на восемьдесят долларов в этом месяце?

— Мне не придется. Я получаю сорок долларов от папы. Он говорит, счет все равно положено

оплачивать ему. Мы в семье признаем свою ответственность.

Доктор Спенингер обвел рукой больницу.

— Чепуха. Твоя семья — здесь, и за последние двадцать лет я не видел здесь и двух людей, готовых принимать ответственность. И, надеюсь, ты позволишь в знак восхищения от старого ценителя девичьей красоты подарить тебе на день рождения чек ровнехонько на сорок долларов. То, что их тебе дает отец, подозрительно смахивает на подачки, а мне очень уж не хочется видеть, чтобы старый ублю… негодяй менялся. Это великий человек. Только, бога ради, ему об этом не говори. И… продолжай его дело.

— Так я и планировала. Я всю оставшуюся жизнь буду бороться с Системой, приписывать «ПОЖАЛУЙСТА» во всех гадких строчках, помеченных «НЕ ПИШИТЕ ЗДЕСЬ», и пробивать лишние дырки в перфокартах. Но, о преподобная Отцовская Фигура, вы даже не подозреваете, как велик мой отец. Я сказала, что *получаю* от него деньги. И ни слова не говорила о подачках. Это деловое соглашение: папа платит только по факту. На протяжении месяца я в свободное от работы время дежурю по кухне.

Послесловие

Это не очень опасное видение, потому что наверняка осуществится. Наглее больничных кассиров — только люди из налоговой (не называю их «службой», потому что не привык врать). А что остается больницам — это же поразительно, как взлетели цены со времен введения бесплатного «Медикэра»[39]. Если бы по нему оплачивался *весь* счет тех, кто сейчас ложится в больницы отдыхать, наши с вами налоги были бы еще больше. А так нам приходится платить, когда нас госпитализируют, — как и в продуктовом магазине все дороже на цент или 3, потому что мы с вами берем на себя издержки из-за воришек.

К тому же «Оплата по факту» — это уже наполовину правда. Вплоть до того поворота, когда Боб Барбер разоблачает блеф больницы. Боб Барбер

---

[39] Примечания: 39

«Медикэр» — программа медицинского страхования в США для лиц от 65 лет, которая финансируется за счет части налога с заработной платы как у работника, так и у работодателя (а значит, не является целиком «незаслуженной» и зависит от количества взноса). Принята в 1965 году президентом Линдоном Джонсоном в рамках его политики «Великое общество», изначально задуманной продолжать некоторые социалистические программы Франклина Рузвельта. С тех пор претерпевала ряд значительных изменений.

— это я. Джоди — моя жена. Мэри Энн — моя дочь Скотти. Я хотел навещать жену, когда захочу, а не когда удобно больничникам. Вот я и носил черный чемодан, вел себя грубовато, как Свой,– и, естественно, меня приняли за одного из Американской магической ассоциации — АМА. Существо за стойкой высказало мне все то же, что высказало существо в рассказе. Я задолжал каких-то паршивых сорок баксов и не привык к отношению, будто я на Всемирном НФ-конвенте. Вот я и разоблачил ее блеф. Сказал *то же самое*, что сказал папа Мэри Энн в рассказе. Уставившись на меня в потрясенном молчании, кассирша в предынфарктном состоянии попятилась и скрылась в кабинке из непрозрачного стекла. (Прямо как парковщик. Ну, знаете — ему *всегда* нужно сперва свериться у начальника, можно ли продать зажигалку за 9,95, а не за 10.)

Я ждал. Выглянула голова в черном чепчике. Осмотрела меня сверху донизу. Я был в Униформе — пиджак, рубашка, галстук. Только дурак пойдет в больничную кассу или в суд по ДТП в чем-то другом. Голова скрылась. Вернулось Создание. Меня отпускали: она спрашивала только имя, адрес и телефонный номер, хотя все это у нее уже было. Для сверки. Я было развернулся,

одержав Великую Победу над Мировой Религией (а Харлан вам не рассказывал, как я избавился от налоговиков, написав письмо президенту?).

— Э-э… мистер оффут… вы же ЗАПЛАТИТЕ, да?

Честное слово, не вру. Я ответил моим лучшим взглядом в духе «хотите знать, кем был ваш отец?», и удалился. С женой и оффутенышем.

Это стало одной из трех наших любимых историй для несчастной публики, которой хватало глупости попасть в западню, зайдя выпить из моего бара. (Две других — это «Как энди спугнул бродягу духовым ружьем, трясясь от страха перед тем, как бы в нем не застучали пульки» и «Как энди во время прополки сорняков чуть не отрубил себе левый большой палец мачете, и слава Митре, что для печати на машинке ему с этой руки нужен только указательный».) Заходите выпить, мы и вам расскажем. Если мешаете с «Севен-Апом» или «Колой», налью дешевый бурбон «Кай». Если пьете чистый или с водой либо содовой, получите «Мейкерс Марк» — и истории зайдут безболезненно.

Так или иначе, однажды вечером мы рассказали больничную историю нашему другу Биллу Хау, а он не рассмеялся и не улыбался мне так, будто я бог. Не успел я отнять у него стакан и

выгнать взашей, как он сказал:

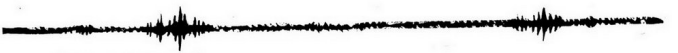
— Никогда не думал, что было бы, если бы они разоблачили *твой* блеф?

Я налил Биллу еще и на следующий же день написал рассказ. Ему отказали в *Redbook, Satevepost* (эти потом сразу разорились) *Atlantic, Good House* и мой *агент!* Вот что он сказал:

— Прости уж, но… К тому же я не верю, что у «Оплаты по факту» что-то получится. В нем безупречный юмор и истина, но издеваться над медицинской профессией — не по правилам…

Выходит, это, очевидно, и впрямь опасное видение. По крайней мере, для карликов. А мы ими окружены со всех сторон.

Предисловие «Ма́томы из чулана времени»



Джин Вулф — тихий и по большей части мирный человек, чье чувство юмора отличается всей добротой плотоядного растения. Люблю его и уважаю больше, чем когда-либо признавался ему. Он автор не ахти какого романа «Операция Арес» и целой орды рассказов, попадающих в категорию «блестящих». Он живет на Бетти-драйв в Гамильтоне, Огайо — моем родном штате; когда оттуда уехал я, штату Огайо достался Джин, словно по милости Господа.

В течение награждения премией «Небьюла»-1971 в Нью-Йорке я сидел перед Джином во время одного из самых болезненных происшествий, что я имел ужас засвидетельствовать, и реакция Джина многое говорит о нем как человеке.

В последний момент имена победителей «Небьюлы» запрягли зачитать Айзека Азимова. Джин участвовал в категории рассказов за экстравагантно замечательный «Остров доктора Смерть и другие рассказы» из *Orbit-7* Деймона Найта (на момент написания Джин появлялся в сборниках *Orbit* девять раз) (что заодно говорит о редакторской проницательности Деймона) (это я научил пацана всему, кроме этикета за столом) (а то он бросается орешками и горохом). Айзек не успел изучить список, написанный от руки, и объявил победителем Джина. Джин встал, а чинуши из SFWA[40] на помосте побледнели и что-то торопливо зашептали Айку. Тут уж побледнел Айк. Потом он объявил, что совершил ошибку. В этом году в категории «рассказов» победителя нет. Джин сел и слабо улыбнулся.

Все вокруг него почувствовали волны тошноты, когда желудки ушли в пятки. Я бы на его месте упал в обморок, или завизжал, или врезал бы Норберту Слепяну из *Scribner's*, который сидел рядом. А Джин Вулф только слабо улыбнулся, пожал плечами и чуть кивнул — сделал все, чтобы мы не чувствовали себя неловко.

---

[40] Примечания: 40

Science Fiction Writers of America (*англ.*) — Американская ассоциация писателей-фантастов.

Его три рассказа в этой книге обозначают отход от моей политики «ОВ»: когда я начал собирать рассказы, заявил, что ни один автор не опубликует больше одного. Один шанс и все. Но в 1968-м, на Милфордской конференции писателей-фантастов, я купил *Loco Parentis*[41] — одна из моих первых покупок, — а на следующий год, когда конференция прошла в Мадейра-Бич, Джин приехал с «Историей робота» и «Против эскадрильи Лафайет», и я не смог устоять. Так я скупил все три, а Джин придумал для них общее название, чем потом позволил мне купить больше одного рассказа у Бернарда Вульфа и Джеймса Саллиса. Против рассказа Джина Вулфа не пойдешь.

На мой взгляд, он входит в малое число тех, у кого самое красочное и богатое воображение в жанре.

Вот что он говорит о себе:

«У меня обычное детство среднего класса, как у людей, которые, как и я, родились в худший период Депрессии. Братьев и сестер нет, семья без конца переезжала — отец пытался заработать на жизнь. (В основном пытался продавать кассовые аппараты, боже мой.) Он бывал дома

---

[41] Примечания: 41
In loco parentis (*лат.*) — «вместо родителей», юридический термин.

только по выходным, но каждый раз привозил мне одного-двух свинцовых солдатиков, пока у меня не набралась такая тяжелая коробка из гофрокартона, что я не мог ее поднять. Если мы сейчас живем богаче, почему больше нигде не купишь свинцовых солдатиков?

Моя мать была родом с глубокого юга (Северная Каролина), а ее мать — из тех настоящих семейств в духе Скарлетт О'Хары, которые лишились всего на Гражданской войне. (Как ни странно, у семьи моего отца тоже корни в Северной Каролине, перебралась оттуда на север около 1830 года, и я могу приходиться дальним родственником Томасу Вулфу.) Помню, как она водила меня к своим родителям, и мне никто не объяснил, почему дедушка держит странных куриц, которых нельзя пускать к обычным („Иначе они их убьют!"), или белого пса со шрамом, которого приходилось сажать на цепь в присутствии других собак. У дедушки была деревянная нога, которую он выставлял перед собой, когда садился, а еще он был глух как пень, если не хотел тебя слушать; жаль, я не узнал его получше.

Видимо, хоть *что-то* в мое школьное время происходило, но я по большей части помню только жару. Я левша, и широкий подлокотник

у школьных парт был для меня всегда не с той стороны. Руки вечно потели и липли к бумаге. Это я помню.

Виды спорта, в которых я проявлял какие-никакие способности, — бокс и стрельба, — оказались маловажными по сравнению с такой необходимостью, как баскетбол. Я был хорош в бейсболе, не считая тех моментов, когда надо ловить или бросать мячик. В средней школе у меня развилась неприязнь к принудительной атлетике, с тех пор меня не оставлявшая.

Отец, у которого не хватало денег, чтобы отправить сына в колледж (к тому времени он уже владел то ли рестораном, то ли какой-то компанией общепита — я не уверен, когда именно произошла эта перемена), заручился поддержкой сенатора, чтобы меня приняли в Вест-Пойнт. К сожалению, когда я окончил старшую школу в 1949-м, в иерархии власти произошли кое-какие подвижки, и новый сенатор — один такой близорукий малый по имени Л. Б. Джонсон, — отказался сдержать слово предшественника.

Несколько лет спустя я стал рядовым в 7-й пехотной дивизии, рыл окоп пуговицами от рубашки. Вылетел из Техасского университета, „Эй-энд-эм“ — это такой сельскохозяйственный

колледж, что-то среднее между Военным институтом Виргинии и „Концентрационным лагерем“ Тома Диша, зато очень дешево, если живешь в том же штате,– и, на свою беду, узнал значение термина „отсрочка от армии по учебе“. Так я поучаствовал в наших полицейских военных действиях в Корее[42] — помните такие?

Военный билет помог мне вернуться на учебу в Университет Хьюстона, там я в 1956-м получил диплом бакалавра горных наук, после чего сбежал из Техаса, о чем до сих пор иногда жалею. Все еще работаю там, куда устроился после выпуска — то есть у того же работодателя, но поскольку это научно-исследовательский отдел, ситуация меняется почти каждый месяц.

У меня есть жена и четверо детей. А кажется, что больше».

---

[42] Примечания: 42

Поскольку в США право объявлять войну имеет только Конгресс, в последний раз США официально объявляли войну во время Второй мировой. Во все дальнейшие войны США вступали в обход Конгресса, пользуясь казуистикой и новой терминологией; так, конфликт в Корее формально назывался Korean Police Action — «полицейские действия по наведению порядка» — и проходил под эгидой ООН (где на тот момент не состоял коммунистический Китай, а СССР не участвовал по причине бойкота, и таким образом организация полностью подчинялась странам Запада). Вьетнам, Ирак и другие войны до наших дней — это тоже «полицейские действия», хотя за пределами официальных документов данный термин не приобрел популярность. В ходе Корейской войны в США впервые применялась отсрочка от призыва для студентов вузов.

Ма́томы[43] из чулана времени
Джин Вулф



1: История робота

Холодная ночь, и ветер проникает внутрь, поэтому «внутри» нет, только два разных «снаружи»: там, где воет от реки, и там, где здесь: чуть защищеннее, чуть теплее от нашего дыхания. На стене трепещет плакат с Че, будто он пытается

---

[43] Примечания: 43

Ма том (*от староангл.* máðm — «ценная вещь, сокровище») — английский перевод термина kast из языка хоббитов: предметы, которые не используются, но и выбросить жалко.

заговорить; ребята бы сказали — базарить.

Ребята — старшие, трое сидят, скрестив ноги, на матрасе Кэнди. (Это Чилликоте Кэнди: на Калхун-стрит живет еще пятьдесят других.) Ребята — это младшие, беглецы из своих домов: две группи-девственницы (или почти) и тощий унылый паренек, который никогда не открывает рта. Ребята — это Робот, который уходил в коридор, где работает сортир (а то здесь забился) и теперь возвращается — *mon-mon-mon,* — сосредоточившись на каждом движении ног.

С Роботом я говорил чаще, чем с другими, потому что он (наверное) не такой хмурый и самый интересный. Роботу где-то девятнадцать, он высоченный, с круглой маленькой головой и черной шевелюрой. Робота, как рассказывает он сам, произвели в тридцать третьем веке, чтобы прислуживать страхолюдной женщине в доме, который парит в пустоте. Когда Роботу грустно, он всегда говорит: «Не знаю, качественно ли меня сделали. Может, я проработаю тысячу лет; а может, уже отслужил больше полсрока».

Робот говорит, ему пять лет. Он сбежал — или так он однажды рассказывал, — когда покрутил рукоятки настройки у чулана времени в доме у хозяйки и заскочил, пока они еще не остановились.

Как он объясняет, это чтобы его времянахождение (это он выделяет голосом, чтобы я заметил) осталось неизвестным; но он-то надеялся попасть в тринадцатый век до н. э. — эта эпоха его уже давно притягивала.

Кэнди и двое пацанов с нею не обращают на него внимания, и, понаблюдав за ними, он присаживается на пол с группи (самопровозглашенными), унылым пареньком и со мной. Паренек почти заснул, но я, чтобы разговорить Робота, спрашиваю:

— Тебе бы не хотелось вернуться, Робот?

Он качает головой.

— Здесь лучше. Там все время было скучно. — Он ненадолго задумывается, потом спрашивает: — Не против, если я расскажу историю?

Я, как и группи, прошу рассказать, но он все равно мнется.

— Точно не против? Я на них запрограммирован, и там, у меня, их никто не слушал, поэтому я так и не смог это делать. Когда я их излагаю, они как бы вычеркиваются, понимаете? Я будто живу с вечным запором.

— Давай уже, — говорит унылый паренек. Думаю, только этого Робот и ждал.

— Это сказка,– начинает он.– Она восходит к

временам, когда маленькие одноместные корабли-разведчики разлетелись отсюда в поисках обитаемых сфер во все стороны, рассыпались, словно сперматозоиды, упавшие в море.

Я и не знал, что Робот одарен таким даром красноречия, и теперь приглядываюсь к нему поближе. Он уставился прямо перед собой, его губы сложены в форме круглой «О» — так он делает вид, что у него динамик в горле:

«Надо понимать, что эти времена длились много-много лет. И каждый год корабли разлетались десятками или сотнями — вверх, к Полярной звезде; прочь, будто спицы от солнца; вниз, мимо Южного Креста. Это история об одном кораблике, который разбился.

Он падал много лет, но сам их не считал. Пилот спал, и за сто дней вдыхал три раза. За год разве что поворачивался на бок — и то из стен тут же показывались пластмассовые руки и укладывали его как следует. Корабль разбудил его, только когда они куда-то долетели.

Он проснулся, и корабль знал, что пилот забыл все, кроме своего сна, поэтому объяснил, пока растирал и кормил. А когда корабль договорил, пилот подумал: „Вот же я был дуралей, раз меня на такое уломали“. Потом встал и вышел посмот-

реть, что за планету он нашел.

Планета как планета, ничего особенного; высокая трава всюду, куда ни посмотри, — выше головы. Он приземлился, воздух был как надо, и тогда он вышел и проделал все, что от него требовалось, — но вокруг не было ничего, кроме травы.

(Интересно, вдруг „трава“ из рассказа была подсознательным отражением одержимости местной молодежи марихуаной; а может, она символизировала для Робота, как для Уитмена[44], уничтожение времени и пространства.)

И вот только он готовился отправляться, как выходит из травы реально симпотная девушка. Беззвучно, сечете? Без барабанов и фанфар. Просто раздвинула траву в сторону, как еще девчонки отодвигают волосы, и вышла. И он втрескался без ума, как только ее увидел, и тогда они заключили сделку.

Он не мог забрать девушку с собой на корабле, да и она не хотела улетать. Но она сказала, что готова жить с ним, если он сделает три вещи, и заставила записать их собственной кровью. Сначала он поклянется, что будет делать все и ни

---

[44] Примечания: 44

Имеется в виду поэтический сборник Уолта Уитмена «Листья травы» (1855).

о чем ее не попросит. Потом — что не расскажет другим людям о том, что нашел, и не будет задавать ей вопросов.

Он все это записал и расписался, и она велела построить им дом — ну там, из дерна, травы и обломков корабля. Он вырыл яму для воды и посадил семена из корабля, чтобы заложить основу для колонистов, которые должны были прилететь следом. Ну и все — разве что она иногда ловила маленьких пушистых зверьков, обитающих в траве, и ела. Причем с ним никогда не делилась, а он никогда и не просил, а сам бы их не поймал — слишком уж быстрые.

Он старел, а она — нет, и он думал, что это зашибись. Сам будет стариком, зато у него останется молодая жена, все такая же красивая. Все приходилось делать ему, как они и договорились, но в остальном с ней было хорошо. Она много пела без слов и играла на какой-то типа флейте, и все время говорила ему, какой он замечательный.

А потом однажды, разрыхлив грядки и уже собираясь домой, он заметил среди звезд новую искру. Долго он за ней наблюдал, стараясь распрямиться и потирая белые волосы на лице. Потом он видел ее три ночи, в движении через небо. А на четвертый день, когда нес воду из ямы, в

воздухе раздался „вжух“, и где-то далеко что-то большое рухнуло на землю. Как только он об этом задумался, по тропинке пришла его жена. Она ничего не несла, ничего не делала, вид ее ничем не отличался от обычного, и одежды на ней не было, но было вокруг нее такое свечение, будто она расчесалась лучше обычного и, может, лучше вытерлась после купания. Она прошла мимо, слова ему не сказав и даже не взглянув.

Он провожал ее взглядом по расчищенной для поля поляне, и она, дойдя до высокой травы, не просто остановилась, а раздвинула ее с дороги и ступила дальше. И тогда он крикнул:

„Ты куда?“

Она даже не оглянулась, но ответила:

„Искать себе нового дурака“».

Робот замолкает.

Одна группи спрашивает:

— И что, все?

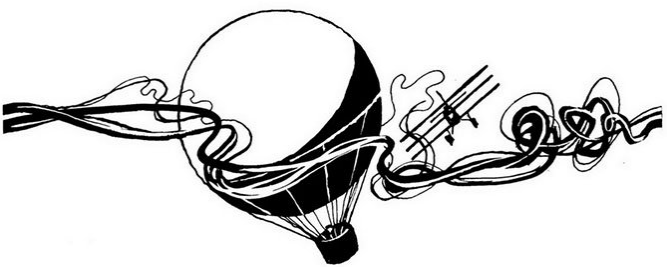
Робот не отвечает. Приходит Кэнди, говорит:

— Робот, сгоняй, принеси нам на пятюню. — Что означает: «Купи нам марихуаны на пять долларов».

Робот встает и протягивает руку, и один парень, рассевшийся на матрасе Кэнди, смеется и говорит:

— Были б у нас деньги, сами бы сгоняли.

Я сначала думаю одолжить Роботу свое пальто (его оранжевое раньше носил швейцар, и оно уже так протерлось, что через облысевшую ткань просвечивает подкладка), но, как обычно и бывает, я слишком долго думаю. Он уже вышел, Кэнди со своими двумя друзьями устраиваются на матрасе ждать, и теперь, думаю, мы все ляжем спать.



2: Против эскадрильи Лафайет

Я построил идеальную копию триплана «фоккер», не считая возгораемого лака. Пять метров

семьдесят семь сантиметров в длину, размах крыла — семь метров девятнадцать сантиметров, все точно как у оригинала. Двигатель — полная копия «Оберурселя UR II». У меня есть токарный и фрезерный станки, почти все детали я изготовил самостоятельно, но кое-что пришлось заказывать у компании в Кливленде, а почти всю электрику произвели в Луисвилле, Кентукки.

Сначала я надеялся раздобыть оригинальный двигатель и свои первые письма в Германию слал с этой целью, но это оказалось невозможно: их осталось очень мало, и в частных руках, насколько я понял, ни одного. «Оберурсель ворке» больше не существовали. Зато я раздобыл чертежи — тут поспособствовали немецкие авиалюбители. Перед тем как переслать их в Кливленд, я сам их перерисовал и перевел с немецкого. Когда «фоккер» был почти готов к полету, ко мне приходили из газеты, чтобы сделать снимки, и я подсчитал, что вложил в постройку больше трех тысяч часов. Сам изготовил весь фюзеляж и матерчатые перепонки, вырезал пропеллер.

В течение всей работы я старался сохранять историческую достоверность и даже установил перед кокпитом два пулемета Максима «Шпандау» калибра 7,92 мм. Незаряженные, конечно,

но соединенные с двигателем синхронизатором «фоккер централстерунг».

Вопрос аэролака возник из-за одного владельца «ньюпорт скаута» в Орегоне, с которым я переписывался. Аутентичный аэролак, как вам наверняка известно, — чрезвычайно воспламеняемый. Он спрашивал, возьму ли я его, а когда я ответил, что нет, начал меня критиковать. Как я тогда сказал, я слишком люблю «фоккер», чтобы смотреть, как он аутентично сгорит, и если бы у Антона Фоккера и Райнхольда Платца имелся огнеупорный лак, то им бы они и пользовались. Орегонца это не устроило, и в конце концов он настолько меня замучил, что я перестал отвечать на письма. До сих пор считаю, что поступил правильно, и если бы я вернулся в прошлое, то сделал бы так же.

Я купил прицеп, сделанный специально для перевозки «фоккера», и обменял свою машину на пикап, чтобы возить его, а также доставлять запчасти и дополнительное снаряжение, но в основном я держу самолет на небольшом аэродроме, где снимаю ангар, и стараюсь возить его по дорогам как можно меньше. А если приходится, то из-за крупных габаритов ехать надо очень медленно и только по конкретным трассам. Когда

мы едем, люди всегда останавливаются, чтобы посмотреть вслед, и иногда я слышу, как зеваки на верандах зовут из дома остальных. По-моему, особенно людей интересуют три крыла «фоккера», и очень редко его видит ветеран войны — почти всегда с курительной трубкой и тросточкой. Если я их слышу, они говорят глупости, но мне нравится, как у них загорается свет в глазах.

В основном «фоккер» просто стоит в ангаре на аэродроме, и, когда я еду полетать, ничем не отличаюсь от любого другого человека. На дверце моего пикапа нарисован черный крест, но вам бы он ничего не сказал. Наверное, ничего бы не сказал, даже если бы вы видели меня в тот день, когда я заметил воздушный шар.

Был день в начале весны, когда воздух напоен очень свежим и прямо-таки неописуемым ощущением. За три дня до того я вылетал в первый раз в том году, по дороге после работы, — погода была плоховата, света не хватало; словом, на самом деле зимняя погода. А теперь была суббота, и все изменилось. Помню, как развевался мой шарф, когда я еще просто стоял на поле и беседовал с механиком.

Ветер был удачный, попутный вдоль всего летного поля, забирался под крылья «фоккера»

и отрывал его от земли, как воздушный змей, когда мы еще не успели подняться и на сотню футов. Потом я сделал медленный поворот, хорошенько рассмотрев летное поле, где как раз прорастала зеленая трава, и поправил очки-консервы.

Вы когда-нибудь выглядывали из открытого кокпита и видели, как дрожат подкосы крыла, а далеко внизу покачивается земля? Это ни с чем не сравнится. Я потянул ручку управления на себя, прибавил оборотов и забирал выше и выше, пока не смотрел на птиц сверху вниз и уже не отличал, под какой крошечной крышей внизу мой дом, а под какой — фабрика, где я работал. Потом я забыл о земле и глазел вверх и по сторонам, особенно не забывая оглянуться через плечо и посматривать в сторону солнца, где любили зависнуть, словно стрекозы, истребители S.E.5 Королевского летного корпуса[45], невидимые против света.

А потом я оглянулся и увидел почти на самом горизонте рыжую точку. Тогда я, конечно, не знал, что это; но махнул остальным пилотам

[45] Примечания: 45

S.E. 5 (*англ.* Scout Experimental 5)– британский истребитель-биплан времен Первой мировой войны, разработанный для Королевского летного корпуса (*англ.* Royal Flying Corps, RFC).– *Прим. ред.*

своего ягдстаффеля[46] и развернулся к ней; «фоккер» азартно взревел. Точка двигалась на ветру, то есть почти прямо передо мной, но это лишь значило, что «фоккер» подгоняло ветром, и мы помчали прямо на нее — поднимаясь все выше.

На самом деле точка оказалась не оранжево-красной, как мне показалось вначале. А скорее тысячи цветов и оттенков, где преобладали красный, желтый и белый. Я круто взлетел к ней, потянув ручку на себя чуть ли не до конца. Из-за этого я не сразу заметил корзину. Потом выровнялся и начал кружить на расстоянии. Тогда я и понял, что это воздушный шар. А потом понял, что он очень старомодного вида, с плетеной корзиной для пассажиров, и в корзине кто-то есть. Тогда меня больше увлекло буйство красок, и я медленно приближался по кругу, пока не разглядел их получше — голубые и черные оттенки пасхальных яиц вдобавок к красным, белым и желтым.

Только увидев девушку, я все понял. Это она была пассажиркой — красавица в кринолине, с длинными каштановыми кудрями, ниспадавшими ей на обнаженные плечи. Она мне помахала

---

[46] Примечания: 46
Эскадрилья истребителей (*нем.* Jagdstaffel).

— и я все понял.

Шар сшили дамы из Ричмонда для армии конфедератов — из собственных шелковых платьев. Я вспомнил, как об этом читал. Девушка в корзине послала мне воздушный поцелуй, а я помахал в ответ, стараясь донести, что ни один человек под моим командованием не причинит ей вреда; что мы приняли ее за французский или итальянский разведывательный аэростат, но в будущем ей нечего страшиться оружия на службе кайзеровского Флюгцойгмайстерай[47].

Я еще покружил рядом, и она медленно поворачивалась в корзине, следуя за мной взглядом, и мы пообщались, как могли, жестами и улыбками. Наконец, когда топливо было на исходе, я дал ей знать, что должен улетать. Она достала откуда-то из корзины бесформенную бурую бутылку с пробкой. Я приблизился еще, в крутом вираже, пока не разглядел желтую осыпающуюся этикетку. Это был один из первых безалкогольных напитков массового производства, оригинальная бутылка. На моих глазах она ее откупорила, отпила и подняла в знак тоста мне.

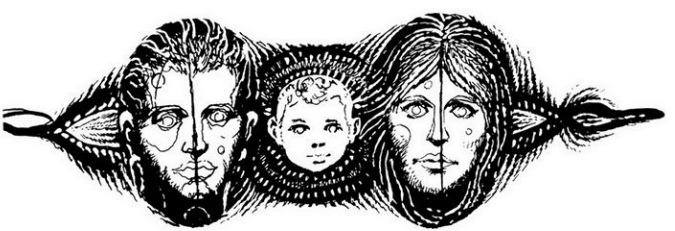
Затем мне пришлось улетать. До аэродрома я

[47] Примечания: 47

На самом деле это отдел технического обслуживания воздушных судов Инспекции ВВС (Flugzeugmeisterei der Inspektion der Fliegertruppen).

дотянул, но сесть пришлось за полкилометра от него, когда прогорели последние капли топлива. Естественно, я тут же заправил «фоккер» и поднялся опять, но больше ее шара найти не мог.

Так я его и не нашел, хотя взлетаю почти каждый день, когда позволяет погода. Ничего, кроме пустого неба и пары истребителей. Сказать по правде, иногда я задаюсь вопросом: вдруг все бы изменилось, если бы я покрыл «фоккер» оригинальным, воспламеняемым лаком. Настолько она была подлинная. Порой под вечер кажется, что я вижу ее вдали, над облаками, и мчусь как можно скорее под безмолвным небосводом, до конца раскрыв дроссельную заслонку, пока вокруг меня дрожит «фоккер»; но это всего лишь солнце.



3: Loco Parentis

ПАПА. Он прекрасен, правда?

МАМА. Такой новый и непоцарапанный! Как машина в автосалоне или турбина, которую еще ни разу не включали! Как новенькие часы!

ПАПА. Ты преувеличиваешь, да? Хочешь что-то сказать?

МАМА. Хочу сказать только то, что он прекрасен, как и сказал ты. И хватит чесаться.

МЕДСЕСТРА. Скажите, он милый? Только ему всего десять месяцев. Ему нужна всяческая забота. Его надо чистить и кормить.

ПАПА. О, я об этом знаю все. Я наблюдал.

МАМА. Ты хотел сказать, мы знаем все.

МЕДСЕСТРА. Уверена, вы еще научитесь. (*Оставляет младенца и уходит.*)

ПАПА. Что ты имела в виду под турбиной? Я слышал, из-за того, что таких пар, как мы, очень много, — которые хотят детей, но не могут их завести, — для удовлетворения их инстинкта выпускают роботов, полуживых симулякров в виде детей. Раз в месяц приезжают к ним по ночам и подменяют модель на ребенка побольше,

чтобы казалось, будто он растет. Это как есть искусственные фрукты.

МАМА. Что за глупости. Но вообще-то уже научились добиваться мутации зародышевой плазмы шимпанзе (Pan satyrus), чтобы придавать человеческий облик, и создают приматов-полулюдей, чтобы пары о них заботились. Как если бы шарманка играла музыку, которую не слышит никто, кроме обезьянки шарманщика.

ПАПА (*скидывает с младенца одеяло*). Никакая это не обезьяна-мутант. Смотри, какие прямые у него ножки.

МАМА (*трогает*). Он и не робот. Пощупай, какой он теплый настоящим теплом, даже когда у него ничего не двигается.

СЫН. Можно поиграть на улице?

МАМА. С кем?

СЫН. С Джоком и Фордом. Мы будем пускать воздушных змеев и лазать по деревьям.

МАМА. Лучше не играй с Фордом. Я видела, как он упал и поцарапал коленку. Кровь не хлестала, а просто вытекала, будто из сливы.

ПАПА. И с Джоком лучше не общайся. Он ест слишком много фруктов, и я не одобряю то, как он одевается.

СЫН. Он никак не одевается.

МАМА. Об этом твой папа и говорит.

СЫН. Я люблю его сестру. (*Уходит.*)

ПАПА. Не плачь. Они так быстро растут. Разве тебе не говорили?

МАМА (*все еще всхлипывает*). Да я из-за другого. Сестра Джока!

ПАПА. Она прелестная девочка. Даже пугающе красивая.

МАМА. Но сестра Джока!

СЫН (*возвращается с парой средних лет*). Мам, пап, они говорят, что они мои настоящие родители; и что теперь, когда я взрослый и от меня не будет проблем, не считая оплату учебы, они пришли меня забрать.

МИСТЕР ДАМБРОВСКИ. Мы как раз объясняли нашему мальчику, как удобны существа-воспитатели — позволяют настоящим людям отдохнуть.

МИССИС ДАМБРОВСКИ. Я всегда говорила, что это почетное призвание; а существа-отцы, когда ходят на работу и занимают место в офисе, повышают престиж их номинальных руководителей. Правда, дорогой?

МИСТЕР ДАМБРОВСКИ. Совершенно верно. У меня работают несколько таких, хотя к себе в кабинет я их никогда не пускаю.

СЫН. Прощайте, мама и папа. Я знаю, что один

или оба из вас — робот, обезьяна или и то и другое сразу, но я вас никогда не забуду. Навещать я вас не буду, а то вдруг кто-нибудь увидит, но никогда не забуду. (*Мистеру Дамбровски.*) А я вспомню, кто из них кто, если у меня вообще будет время вспоминать?

МЕДСЕСТРА. Разве он не милый? Только ему всего десять месяцев. Ему нужна всяческая забота. Его надо чистить и кормить.

ПАПА. Как новенький бамбуковый побег!

МАМА. Как новенький отражатель фары прямиком из электролитной ванны!

МЕДСЕСТРА. Уверена, вы еще научитесь. (*Оставляет младенца и уходит.*)

МЛАДШИЙ. А можно посидеть тут, у часов, и съесть банан?

МАМА И ПАПА. *Мой сынок!*

Послесловие

Три рассказа: если вам понравилось, благодарить за это надо трех людей, и один из них — вы. Если мы с Харланом и влезли вам в мозг на этих страницах, то только потому, что этот мозг у вас есть. Многое из того, что, по-вашему, сказал я, на самом деле сказали вы.

Три способа игры со временем: если вы подлинный и в синей бездне ничто не контрастирует с вашей подлинностью, то вы вернулись в прошлое — верно? Либо вы взрослеете мгновенно (как и мы все), и Мать — это всего лишь высокая женщина с рыжеватыми волосами, а Отец — низкорослый мужичок с волосатыми руками. Либо же вы рассказываете загадочные мифы из будущего (прибыв оттуда буквально вчера).

Три догадки: а они вам нужны? Это я Робот; это я летаю на парящем «фоккере», хоть и только в своем воображении (и, надеюсь, вашем); это мои родители — такие, как описано выше, и все это — некоторые мои Опасные Видения, мои идеи фикс. Мы с вами прошли средь трех призраков. Есть и другие.

Веселей! Вдруг вы принц (или принцесса)

Марса.

Предисловие «Путешествие во времени для обывателей»



Недавно — здесь, в Лос-Анджелесе, да и, полагаю, по всей нашей здоровой и энергичной стране — в автомобильных и районных кинотеатрах прокатывали два очаровательных фильма в один вечер. Верхняя строчка афиши, или фильм категории А, назывался что-то в духе «Я высосу твою кровь»; нижняя, фильм категории Б, назывался «Я сожру твою кожу». Когда пройдут припадки истерического смеха, любезно прошу обратить внимание, что этим поделкам дали рейтинг GP — то есть их можно смотреть детям, но только с согласия и в сопровождении взрослых. В то же время в окрестностях показывали секс-фильм

«101 акт любви» — с рейтингом X, то есть если вы католик и пойдете смотреть, то будете вечно гореть в аду. Вход детям строго воспрещен.

Я сейчас не скажу ничего оригинального, но разве не странно, что детям можно смотреть, как у людей прокусывают шеи, едят их мясо и пускают тела на удобрения, зато смотреть, как люди занимаются сексом, считается чем-то порочным?

Это я так подвожу к Рэю Нельсону, но по пути хотелось бы сделать пару разговорных остановок.

Понимаете ли, у «ОВ» (и, конечно, та же беда повторится с «НОВ») были трудности с приемом в некоторые библиотеки и отдельные книжные магазины, а при переиздании от «Научно-фантастического книжного клуба» ряд вожатых скаутов, негодующих мамаш и прочих типичных блюстителей общественной нравственности (например, Китинг, главный хлюпик из общества «Граждане за приличную литературу» — проклятье суккоташа[48] на его брезгливый череп!) мигом отправили книгу обратно с воплями ужаса, что-де их детям с тонкими душевными натурами шлют разлагающую душу мерзость,

[48] Примечания: 48

Суккоташ (*от наррагансеттского* msíckquatash — «вареное зерно кукурузы»)– блюдо американской кухни, изготовляемое из кукурузы и фасоли или других бобовых.– *Прим. ред.*

которая всенепременно загрязнит их драгоценные телесные жидкости. В общем предисловии к книге я процитировал даму, которая жаловалась напрямую мне. И она была далеко не одинока в своей ярости.

Вечная хвала *Doubleday* и Ларри Эшмиду, что мне ни разу не мешали брать «возмутительные» тексты — в отношении темы, формата или языка. Так было и с этой книгой. Более того, мне сказали: дерзай, делай что должно. В результате в книгу попали такие произведения, как рассказ Рэя Нельсона, которые, уверен, выбелят немало волос у библиотекарей и прочих заинтересованных в зловонной задаче по обереганию юных восприимчивых умов.

Проще говоря, у Рэя очень смешной рассказ, и было бы мудрее дать его качеству говорить за себя, но я мудростью никогда не отличался, поэтому позвольте сделать пару комментариев о цензуре, о защите тех, кто ни в какой защите не нуждается, о лицемерии и о «грязном» языке.

Тем, кто все это уже читал, можно пропускать. Экзамен в конце повлияет только на половину оценки за семестр.

Итак: вдоволь наездившись по стране за прошедшие годы, давая лекции в колледжах и

старших школах, я обнаружил, что, хотя люди младше тридцати ненамного подверженнее лозунгам и упрощенным ответам, чем люди старше тридцати, *в целом* у них нет тех же ограничений по языку и запретным темам, что есть у старших. Я в девятнадцать лет еще оставался девственником, но теперь, приезжая в старшие школы и встречая там девушек пятнадцати, шестнадцати и семнадцати лет, поражаюсь их сходству с кандидатками на роль в «Нежной Ирме» и отлично знаю, что молодые люди начинают половую жизнь намного раньше, чем я в их возрасте. Да и, по-моему, оно и к лучшему. Времена изменились. После противозачаточных и массового распространения информации о личной гигиене большинство установок против добрачного секса устарели и потеряли смысл. Молодежь сближается совершенно естественными и нормальными способами, которые были *verboten*[49] для прошлых поколений, а когда молодежь негласно примиряется с телом и его множеством применений, она примиряется и с речью. Например, сейчас ребят практически невозможно шокировать темой мастурбации. Все знают, что

[49] Примечания: 49
Запрещены (*нем.*).

парни мастурбируют — как и девушки. Если это всплывает в разговоре, это такая же приемлемая тема, как телевидение и самолеты. Люди с этим растут, и все запреты даже признавать, что они себя трогают, кажутся им бессмысленными и претенциозными.

Так мы волей-неволей приходим к Рэю Нельсону, к «Путешествию во времени для обывателей» и к лицемерной защите тех, кто в защите не нуждается. Среди прочего в рассказе Рэя есть идея мастурбации как запуска путешествия во времени. Включение рассказа в сборник — как и публикация текстов Пирса Энтони, Ричарда Лупоффа и Бена Бовы, не говоря уже об одном только названии у Воннегута,– сулит неприятности от пуритан. Поймите, пожалуйста, что для меня эти рассказы ни в коей мере не «грязные» и не «оскорбительные». Я утверждаю, что творцу при воплощении идеи ничего нельзя запрещать. Но я не так глуп, чтобы думать, будто эти рассказы проскочат незамеченными мимо зоркого ока NODL[50] и «Граждан за приличное все подряд», когда те накинут на себя белые простыни.

Мы, как я уже сказал, натерпелись с «ОВ». Соб-

[50] Примечания: 50

NODL, National Organization for Decent Literature (*англ.*) — Национальная организация в поддержку приличной литературы.

ственно, почти все три года не могли подписать договор на издание в Великобритании, потому что издатели не брали книгу из-за ее «непубликуемости». В свете дальнейших книг, с легкостью вышедших в Англии, теперь это кажется совершенно нелепым; но когда мы наконец нашли английского издателя, Лесли Фрюина, мы требовали печатать книгу как есть, целиком, без купюр и уступок цензуре. Фрюин согласился, но, когда книга была готова пойти на станок, я узнал, что они убрали рассказ Теодора Старджона из-за инцеста, рассказ Филипа К. Дика — потому что в нем Бог был китайским коммунистом, мой собственный рассказ — за нецензурные выражения и клинические описания резни Джека-потрошителя, а также еще несколько, в том числе текст Мириам Аллен де Форд — по причинам, которые мне непонятны до сих пор. Естественно, мы потребовали прекратить издание, забрали у них книгу.

К счастью, права выкупил более надежный и (видимо) отважный лондонский издатель *David Bruce & Watson* и выпустил «Опасные видения» в двух красивых томах. Но это не единственный пример откровенного страха переиздателей, рассматривавших книгу. В Германии нам попа-

лась отвратительная компания *Heyne*, которая не только исключила рассказы без разрешения, но и вырезала все предисловия, меняла названия, меняла текст за рамками перевода на немецкий и в целом ужасно испортила «ОВ». (Я предпринял меры, чтобы с «НОВ» этого не повторилось, но текущий иск против *Heyne* — это последствия той первой недальновидности.)

Все это я докладываю в (наверняка тщетной) надежде, чтобы те, кому больше нечем заняться, кроме как трястись, как бы кто-нибудь не прочитал, что ему хочется, дважды подумали перед изъятием «НОВ» с библиотечных полок или выступлениями на субботних пуританских собраниях.

А остальные, кого могут потрясти лишь Келли, Мэнсоны[51], репрессии и насилие, скорее всего, скажут, прочитав этот рассказ: «И чего он так расшумелся? Нет здесь ничего оскорбительного. Эллисону опять что-то померещилось?» Вам я

[51] Примечания: 51

Уильям Келли (1943–2024)– единственный американский офицер, приговоренный трибуналом за жестокое убийство армией США более 500 мирных граждан в деревне Сонгми, совершенное в 1968 году. В наказание провел 3,5 года под домашним арестом, после чего в 1974-м был условно-досрочно освобожден. Чарльз Мэнсон (1934–2017) — музыкант, серийный убийца и лидер культа, приговоренный к смертной казни после ряда совершенных культистами убийств в 1969 году; скончался в тюрьме.

отвечу: все мои слова предназначены для отсталых, испуганных, сексуально и эмоционально подавленных людей, которые существуют в мире в больших количествах.

И уверен, такая длинная преамбула удивила бы самого Рэя Нельсона, в жизни не думавшего, что его рассказ станет камнем преткновения. И вот так мы приходим, наконец-таки, к самому Рэделлу Фарадею Нельсону и его личным данным — в его словах:

«В пятнадцать лет я вспомнил, как родился. Я не знал, что именно вспомнил, пока не прошло время. Воспоминание не состояло из слов — только из ощущения, как меня ритмично сжимают снова и снова. Не сказать, чтобы было неприятно.

Я родился в роддоме в Скенектеди, штат Нью-Йорк, 3 октября 1931 года, в (для увлекающихся астрологией) 2 часа ночи. Я плод союза смешанных резус-факторов, и у меня слишком большая для тела голова. Говорят, я напоминал создание из далекого будущего, из времен, когда тело иссыхает за ненадобностью. Но я выжил. И у меня есть брат, который выжил. И много мертворожденных сестер.

Иногда я представляю, что мои сестры рядом, нашептывают мне, берегут от вреда. Представ-

ляю, что они покрыты утробными волосами, скрючены, уткнувшись носом в коленки, парят в стороне, так что их можно заметить лишь краешком глаза, не больше.

В детстве родители таскали меня с места на место, пока я не столько любовался миром вокруг, сколько общался с существами, которых видел только я. Из-за работы отца мы путешествовали из штата в штат, и один раз, замечтавшись, я побежал по каменной ограде на краю Большого каньона, ушибся головой о ветку и чуть не свалился в пропасть. До сих пор остался шрам, над левой бровью.

Но мой лучший шрам — внизу живота (справа), после удаления аппендикса. У меня долго болел живот, но я старался быть смелым и в результате чуть не умер на операции, которую проводили в самый последний момент, когда я рухнул в мучениях на баскетбольном корте в старшей школе. Больше года я ничего не мог делать — боялся, что швы разойдутся,– и из-за этого открыл для себя чтение. Я читал фантастику и авангардный журнал *Little Literary Reviews*, от которых заметных шрамов не осталось — по крайней мере, на теле.

Так я и стал любителем фантастики и хиппи — хотя это было еще во времена до того, как при-

думали слово „хиппи“. Я был глубоко религиозен и все меня ненавидели, потому что однажды мой одноклассник украл ручку в магазине, а я вернулся и заплатил. Они тоже оставили мне множество шрамов, особенно на заднице. Еще, раз уж мы об этом заговорили, у меня есть интересный шрам на левом предплечье.

Это когда я окончил колледж и работал в шелкотрафаретной печати в Окленде, штат Калифорния, и жег себе руку свечкой, пока кожа не почернела, чтобы показать, что дух может не переживать о терзаниях плоти. К счастью, присутствовавшие друзья заранее пообещали не сдавать меня в психиатрическое заведение. Потом время от времени было интересно наблюдать, как образовывается корка и через несколько месяцев осыпается и отваливается, обнажая белую кожу в форме идеального яйца на светло-коричневом фоне.

У меня еще много отметин… например, мелкие коричневые точки разной формы по всему телу. Я их никогда не замечал, пока не закинулся кислотой. Представляете? Живешь весь в коричневых точках и сам об этом не знаешь, потом расширяешь сознание — и вот они. Тогда я еще заметил, что моя кожа покрыта сетью тонких линий в фор-

мах ромба, будто я сделан из кристалликов, и что моя кожа всюду тронута переливающимися оттенками красок, как коралл. Больше не знаю, что о себе рассказывать, потому что многое другое, что я делал, не оставило следов на коже, а значит, нельзя быть уверенным, что это не ложные воспоминания, — как события, на которых, если верить моему психоаналитику, основан рассказ „Путешествие во времени для обывателей“».

Он-то, может, больше и не знает, что рассказать, но Ваш Бесстрашный Редактор, по уши погрузившись в Нельсонию, может добавить и другую статистику. Во-первых, Нельсон вместе с Филипом К. Диком написал роман «Вторжение с Ганимеда», несколько лет назад опубликовал в *The Magazine of Fantasy & Science Fiction* совершенно потрясающий рассказ «Выключи небо» (*Turn Off the Sky*) и накатал несколько томов материала для любительских журналов, не говоря уже о его рисунках, которые стали традицией разных фэнзинов за все годы, которые он читает фантастику.

И Рэй — это классический пример того, как фантастика (единственный такой вид литературы) растит новое поколение авторов из рядов любителей. Сегодняшний список Больших Имен

в фантастике, начинавших в статусе фэнов, бесконечен — Силверберг, Браннер, Бенфорд, Хоффман, Брэдбери, Лупофф, Карр, Азимов, Найт, Пол, Блиш, Такер, Уайт, — и их можно увидеть как в «НОВ», так и в «Последних опасных видениях».

Обсуждать фэндом здесь уже ни к чему, но все-таки пара слов Нельсона о временах, когда мы оба были просто фэнами, кажутся ностальгически уместными, поэтому еще раз:

«Я помню маленькую кафешку под Детройтом.

Там были ты и я, и Джордж Янг, и остальные истинные фанаты, и все мы были несовершеннолетние, и все мы (кроме тебя, ты не пил) пили пиво и играли в боулинг на игровом автомате, и вышел управляющий и стал требовать документы, и ты был при пиджаке, галстуке и большой курительной трубке очень литературного вида, и, когда подошли к тебе, ты ответил: „С ними все в порядке. Я за них ручаюсь“. И у тебя даже не попросили документы, хотя ты, кажется, был моложе всех.

Ты просто стоял, попивал имбирный эль, курил и смахивал на нашего опекуна.

Вот кто мы на самом деле такие, Харлан. Распри, Национальная федерация фанатов фэнтези, письма в профессиональные зины, чернила

мимеографа под ногтями, мечты о „Хьюго“ под кайфом от конвента *Corflu* (который в конце концов посвятили и тебе, старый суперфанат), статьи, напечатанные сразу на восковке, устрашающие стихи и фанатские подражания профессиональной фантастике еще хуже, костюмы на конвентах и беспорядочный секс, отвратительные ужастики про монстров, перед которыми мы не могли устоять, Седьмой фэндом, разговоры о философии всю ночь напролет в дешевых забегаловках и вся эта дикая сфера.

Я — не просто я, а ты — не просто ты.

Каждый раз, как я открываю рот, через меня говорит породивший меня микрокосм, будто я кукла чревовещателя. Если заглянешь ко мне в глотку, увидишь — где-то в районе гланд — маленького Клода Деглера[52], который провозглашает пищащим голосом: „Фэны — это слэны“[53].

Поэтому пиши о фэндоме что хочешь, вообще что угодно, и все будет про меня».

---

[52] Примечания: 52

Клод Деглер (1920–2000) — влиятельный участник движения любителей фантастики.

[53] Примечания: 53

«Слэн» (*англ.* Slan, 1941) — роман Альфреда ван Вогта об инопланетных сверхсуществах.

Так пусть будущие историки, что воспользуются этой книгой как источником, *узнают* все факты: Рэй Нельсон…

…выпускник Чикагского университета (1960), со специализацией на гуманитарных науках, где получил диплом бакалавра. Имеет сертификат по работе и ремонту машин IBM от Института автоматизации (лучший в классе, 1961), знаком с IBM 514, 522, 077, 403, 407, 204, 604 и 632. В настоящий момент работает бухгалтером в Калифорнийском университете.

Был переводчиком и секретарем французского писателя в Везуле, Франция, 1957–1960. Среди прочего работал типографом шелкотрафаретной печати, художником вывесок, газетным художником, оператором IBM, продавцом серии *Great Books*, водителем грузоподъемника, поэтом-битником (вышла одна тонкая книжка стихов под названием «Пердита: Песни о любви, сексе и жалости к себе» — *Perdita: Songs of Love, Sex and Self-Pity*, названа в честь первой жены), массовкой в кино, художником абстрактного экспрессионизма, декоратором интерьеров (смешивал краску одной рукой и прихлебывал «Джек Дэниэлс» из горла — другой), диксиленд-банджоистом, фолк-гитаристом и певцом, бомжом и т. д.

Недолго проучился в Чикагском институте искусств и Сорбонне, жил или побывал во всех штатах из первых 48 плюс в Канаде, Мексике, Англии и всех странах свободной Европы. Женат на прекрасной норвежке по имени Кирстен, с которой познакомился в Париже. У них есть сын Уолтер, они проживают в Эль-Серрито, штат Калифорния.

Женат, бегло говорит на французском, студент Сорбонны, отец… а теперь я спрашиваю вас, цензоры и трясущиеся снобы мира: разве мог такой человек написать грязный рассказ? Блин, да ни хрена!

Путешествие во времени для обывателей
Рэй Нельсон



Последний фронтир человечества — это сексуальные фантазии.

Путешествуя на другие планеты, мы не находим там того, чего не видим или о чем не можем догадаться отсюда, зато еще ближе нашей кожи к нам есть такие странности, что разум не может их охватить. Мартин Эсслин сказал об этом в «Театре абсурда»:

«В абсурдном мире реальность подана с той мерой тщательности, которая создает впечатление экстравагантной иррациональности»[54].

Вы когда-нибудь видели в журналах фотографии чего-то знакомого, но снятого с незнакомого ракурса или вплотную? Вплотную трудно узнать даже такую обыденную вещь, как конец сигареты. Почему так? Потому что мы никогда не смотрим на вещи по-настоящему. Чем вещь ближе, тем меньше ее рассматриваешь, тем больше принимаешь за должное и игнорируешь. По телевизору рассказывают о личной жизни знаменитостей — но как же наша личная жизнь? Что мы знаем о ней?

Что вы знаете на самом деле, например, о той порнухе, которая проецируется во время ночных перелетов к вашим личным затерянным континентам, на внутренних поверхностях закрытых век, когда сидишь и сжимаешь потной ладонью свой джойстик? Ни один рецензент не скажет, хороший это фильм или нет. Может, если записать сюжет, он покажется идиотским, и все-таки именно такие фильмы, которые проецируют для себя и для себя одного, больше всех и заворажива-

---

[54] Примечания: 54
Пер. Г. Коваленко.

ют. Возвращаешься к нему снова и снова, и одни и те же случайные детали никогда не надоедают.

О чем вы думаете, когда дрочите — или когда «занимаетесь любовью»? О пытках? И если да, то пытаете вы или вас? О кожаной одежде? О латексной? О высоких каблуках? Не следит ли за вами в воображении мать, или отец, или кто-нибудь, кто раньше вас отверг? Не следит ли за вами с осуждением Господь? Или о шелке? Нейлоне? Огромных тяжелых грудях или виляющих задах? Или о самом маточном зеве, который дарует вам бородатый поцелуй или раздвигается, чтобы впустить обратно в мягкую теплую тьму, откуда вы вышли?

Вы думаете об этом сейчас? Снова мелькает картина перед глазами? Если да, присмотритесь теперь хорошенько. Изучите, будто это произведение искусства. Задумайтесь, будто это слова великого учителя. Ведь это единственное во вселенной, что вы создаете только для себя, а не чтобы впечатлить других или заслужить одобрение церкви, правительства, «респектабельного общества». Вполне может быть, что это единственная дверь, которая позволит войти в истинного себя.

Почему вы сдерживаетесь? Разве вы не назы-

вали Сократа пугающе мудрым за то, что он взял своим девизом «Познай себя»? Ну же. Давайте войдем. «Это не так-то просто», — скажете вы. И вы правы. Что-то мешает. Выразимся поэтичнее. Путь преграждает ангел, причем с пылающим мечом. Он там уже давно, но никогда не устает. Ангелам не нужен сон. Если хотите пройти, придется его обмануть или одурманить.

Своего я решил одурманить.

Пошел в «Файв энд Тен» в местном торговом центре и купил самые обычные семена цветов. Толкала их католичка средних лет, в отделе «Сад и огород».

Кажется, ее звали Ева.

Дома я взял молоток и растолок семена в порошок. В пакетиках, чтобы порошок не разлетелся. Пришлось много раз просеять их через чайное ситечко, пока я не остался доволен. Потом я размазал порошок по клубничному мороженому.

Ангел у меня в голове коснулся меня страхом, встал между мной и мороженым, но я знал по Библии, что если сразиться с ангелом и победить, то награда может быть огромной — и все равно все съел. А растолченные семена были на вкус как опилки.

Потом я поднялся к себе в спальню, где уже

приготовил свою двухъярусную кровать. Рядом с ней — диктофон, на который я записал, как много раз начитываю о первом бардо из «Тибетской книги мертвых» в переводе Тимоти Лири. Это глава о смерти эго. Если помните, тогда «Книга мертвых» была в моде.

Я лег на нижнюю кровать.

Оттуда я видел на потолке, внизу верхней кровати, индийскую гипнографию, которую приклеил скотчем еще несколько месяцев назад, когда сглаживал зубную боль с помощью гипноза. Как видите, все уже «запрограммировано». А я уже говорил, что когда-то был компьютерным программистом в IBM?

Я включил диктофон, расслабился, слушая, как нудит мой собственный скучный голос, и ждал, когда что-нибудь случится. (Раньше я уже «триповал», но с такой продуманной подготовкой — никогда.) Немного погодя кое-что произошло. Меня стало тошнить.

Я побежал вниз, в туалет, присел перед унитазом — и меня стошнило раз, два, три раза. Но было не так неприятно, как обычно. Было здорово. Больше чем здорово. Я был в экстазе. Я выташнивал все свое тело, не сдерживаясь. Это был оргазм — или, по крайней мере, то, чем может быть хо-

роший оргазм, когда к тебе никто не вламывается и никто не говорит: «Тс-с, а то услышат».

Так я и понял, что я под кайфом.

К тому же изменилось освещение. Ну, знаете, такое, «бело-синеватое», будто все под водой в ясный день. И на всех отполированных поверхностях безмолвно танцевали язычки огня.

Я снова прилег.

Диктофон все еще бормотал.

Боже, какой я был напыщенный и глупый на пленке!

Но я все-таки решил сотрудничать со своей второй, идиотской половиной, которая устроила весь этот хитроумный фарс. Ну, почему бы и нет?

Я смотрел на гипнографию надо мной, на точку посередине, на которой надо было сосредоточиться, и голос на диктофоне произнес «Смерть Эго». Больше я как будто ничего не мог расслышать. «Смерть Эго. Смерть Эго. Смерть Эго».

А потом только: «Смерть. Смерть. Смерть. Смерть».

— Господи, — подумал я в секундном ужасе. — Это ловушка!

Теперь ангел хохотал, но он стал мрачным, и огромным, и чудовищным, и я понял, что ангелы и дьяволы — это на самом деле одно и то же. Ан-

гелы — если ты на их стороне, и дьяволы — если ты против них.

Я вскочил, весь взмокший от пота, и начал срывать с себя одежду, пока не остался голым посреди комнаты, запыхавшись и облизывая соленые губы. Со мной будто заговорили корешки книг в шкафу — и говорили они только о смерти.

Я схватился за член. Он был твердым.

Пока я за него держался, чувствовал себя в безопасности.

Я снова лег на нижнюю кровать, медленно наяривая Старого Бойца натренированной рукой.

Я смотрел на гипнографию. Время от времени она местами пропадала, словно то выпадала из реальности, то возвращалась на место. Голосу на диктофоне надо подчиняться! Голос на диктофоне — это глас моего ангела, а то и Божий.

— Смерть, — произносил напыщенный голос с полной уверенностью. — Смерть. Смерть.

И тогда я вспомнил свою любимую фантазию для мастурбации. Фантазия тут же закрепилась, и я уже не видел гипнографию, не слышал голос, твердящий «Смерть». Я вернулся в реальность кровати в своей комнате, чтобы схватить черную свечку, которую планировал сжечь попозже, ночью. Я дико уставился на нее, пока в моем

сознании попеременно мигали то комната, где был я, то какая-то другая. Ангел пытался меня удержать (не с заботой ли он положил мне на руку свою когтистую лапу?). Но я его стряхнул — и выпал из Америки двадцатого века… куда? И когда?

Вдруг мою голову переполнил немецкий язык. Я была немкой. Я была в Германии.

И со мной в комнате были другие мужчины и женщины. Я слышала, как они кричат, и смеются, и возятся. Чувствовала вонь давно немытых, вспотевших тел. Было жарко, сыро, душно, смрадно от чадящих на стенах факелов, что отбрасывали пляшущие тени на массу голых и полураздетых тел, корчившихся вокруг.

И вот меня взял второй, потом третий.

И боже, как было хорошо!

И наконец пришел Великий.

Великий был мужчиной в звериной шкуре.

Или это дух зверя лишь носил плоть человека?

— Мой господин, — прошептала я ему.

С диким ревом, наполовину с бешенством, а наполовину с нежностью он швырнул меня на утоптанный земляной пол хижины и вошел в меня, и было больно, но хорошо. Благодаря дурману в крови было хорошо. Великий был таким боль-

шим, что чуть не разорвал меня членом пополам, но мне все равно было хорошо.

Потом настало утро, и я ушла от хижины, все еще голая, плясала без цели, без ритма через высокие заросли, мокрые от росы. Только-только поднималось солнце. На осенних деревьях пели птицы. Со мной никого не было. Я пришла в ковен одна. И одна ушла. Брак — это для христиан, а не для тех, кто помнит Старую Религию, не для девушки, что есть жена Бога либо жена всех — или никого. Поднимаясь в холм, я пела песню против брака.

С холма я взглянула на деревню и церковь посреди нее. Может, я замерзла. Не знаю. Мое тепло хранил наркотик. Я могла бы стоять в снегу и все равно не чувствовать холода.

Какой же маленькой выглядела церковь внизу, маленькой и немощной. Христиане в своей книге заявляют, будто когда-то одним касанием исцеляли слепых и хромых, но если это правда, то почему они так больше не могут? Я могу. Мы можем. Я смеялась над ними, пленниками их уютного городка, ведь они никогда не смогут выйти в ночной лес, как я: ведь все живое мне друг, а им — враг.

Вольным дарована великая сила! Сила исце-

лять… или убивать — все одним взглядом.

Меня охватила слабость. Головокружение.

И это было неправильно. Пляски с Великим приносят больше сил, чем сон. В городе знают жен Великого — по легкости их поступи и песне на алых губах. Христиане знают нас и боятся. Их кожа бледна, они вечно хворают, не зная, как есть и пить, чтобы жить долго и трахаться вдоволь.

Но теперь мне стало плохо. Плохо! Как это возможно?

И тогда я впервые почувствовала сырость на ноге. Опустила глаза и увидела, что из моей щелки по ногам стекает кровь. Моя кровь, моя сила, моя жизнь вытекали — и как быстро!

— О, неужели мне придется скоро умереть? — произнесла я робко.

Ведь мы не знаем, когда нам суждено умереть. Организм многое говорит тем, кто прислушивается. Но мой ангел произнес:

— Твоей жертвы было мало.

— Мало? — воскликнула я. — Сегодня ночью я сожгла во имя Бога собственного новорожденного!

— Не как та, что приносит бесценный дар, — ответил темный ангел, — а как та, что избавляется от нежеланного бремени. Как та, что отдает Богу

сор!

— Нет! Нет! Неправда! — кричала я.

Ангел увидел мою ложь насквозь и лишь улыбнулся.

— Христиане вселили в тебя стыд, — произнес он. — Стыд от того, что ты мать без мужа.

— Нет! — крикнула я вновь, но на ангелов кричать бесполезно.

— Я скажу так, — ответил ангел. — Если дрогнешь в вере, если прислушаешься к христианам и устыдишься, я обращу свой лик от тебя — и мир унаследуют им. В другом мире идет суд меж Богами, и ты — присяжная. Я даю тебе знания и волю, а мой Брат — лишь приказы. Если умрет твое тело, это ничто. Скоро ты вернешься в другом. Но если умрет вера, тогда на суде победит Тиран — и мы с тобой оба умрем второй смертью, от которой нет возврата.

— Нет! — воскликнула я в третий раз, потому что теперь меня охватывал страх смерти. — Помоги! Не дай умереть!

— Ты меня теряешь, — тихо откликнулся ангел. — Вспомни. Вспомни, когда ты была на Земле раньше.

— Я ничего не помню! *О, спаси меня, ангел!*

Но ангел пропал.

Я спустилась по холму к дороге.

Перелезла через ограду из камней.

Я плакала, всхлипывала, пыталась остановить кровь рукой, но она все бежала — лишь беспомощные пальцы стали красными и липкими. Теперь на меня слетались мухи. Ненавижу мух.

Я вышла на дорогу, но сил уже не осталось, и я то ли упала, то ли присела в песке. Я уже не плакала. Слезы расходовали драгоценную энергию, а у меня ее осталось так мало.

А еще мне больше не было грустно или страшно.

При жизни многие животные, многие растения отдали жизнь, чтобы насытить меня. Даже у растений есть дух, и уж точно у животных, что бы там ни говорили глупые христиане. Они умирали за меня. Теперь я умру за них. Таково наше соглашение с миром. В песке на дороге сновали муравьи. Они уже ползли по мне. Начали собираться к расползающемуся пятну крови, как мои братья и сестры по ковену собирались на великий праздник Солнцестояния.

— Счастливо встретились, счастливо расстались, дорогие мои, — сказала я муравьям, укладываясь в песок аккуратно и стараясь их не подавить. Взошло солнце и согрело мою голую

кожу, и было хорошо, потому что действие наркотика прошло и мне стало зябко на утреннем ветерке. Я лежала так неподвижно, что у моего носа села пчела, и я видела, как красиво переливаются краски в ее крылышках.

Слетелись и мухи, и у них тоже были красивые крылышки.

На самом деле у меня нет ненависти к мухам.

А потом я умерла.

И, умирая, вспомнила.

Я был мальчиком и пас коз.

Моим мясом была козлятина. Моим напитком — козье молоко. Моей одеждой — козьи шкуры. Я пас коз и защищал их от дикого зверья и чертей. У моего Бога был козлиный лик, и кровь коз проливалась ему в дар на камне перед нашей хижиной.

Когда к нам пришел человек в одежде, сшитой не из шкур, и рассказал об Иисусе, и показал мертвеца на кресте, мы были с ним любезны, ведь мы любезны к любым гостям — и все мы гости, что проходят через этот мир снова и снова. Но мы не могли поверить его словам, и к тому же говорил он с таким говором, что молодежь не могла не рассмеяться. Тогда он разозлился и ушел, этот посланник Иисуса.

Перед уходом он молвил:

— Кого не научит слово, научит меч.

Мы знали, что это значит, и тревожились. В нашем суровом краю мы не ведали искусства войны, полагаясь на то, что чужаков отвадят суровость климата и бесплодность нашей земли. Но посланник Иисуса не хотел нашу землю, как обычный враг. Он хотел нас. Он хотел, чтобы мы стали его козами, чтобы это он защищал нас или убивал, как пожелает.

Но минули месяцы, вестей о нем не было, и он забылся в наших ежедневных занятиях козами и личных распрях меж семьями. (В них редко гибли люди, поскольку все споры решались исключительно на боевых посохах.)

Затем однажды днем, когда грело солнце и на небе не было ни облачка, я поил коз в ручье у моста Дан, как тут услышал вдалеке цокот копыт. Я взбежал на мост, стараясь разглядеть всадника, ведь лошади в нашем краю в диковинку.

И тут же увидал его на каменистой ухабистой дороге.

Крест на его щите бросался в глаза даже издали, и я знал, что он — тот человек с мечом, кого обещал прислать за нами посланник Иисуса. Еще я знал, что не пущу его через мост — только

через мой труп. Наш народ небогат, но у нас есть гордость — и ее никому не отнять.

И все-таки мне было страшно.

Всадник приближался медленно, но верно. Он наверняка видел меня посреди моста с посохом, но не замедлился и не ускорился. Возможно, конь знал лишь одну поступь, неторопливую, ведь была это самая большая и тяжелая животина, что когда-либо носила имя коня. Наверное, другая бы не подняла весь груз доспехов всадника. Когда это единое чудовище из коня и всадника в металле приблизилось, я окликнул его:

— Эй, чего надобно?

— Я пришел научить доброй христианской жизни тебя и твой народ демонопоклонников, — ответил он — и ох, как же пахнуло холодом от его голоса.

— Мы сами поучим тебя хорошим манерам, — крикнул я. — Нас много, а ты всего один.

— И одного достаточно, — откликнулся он. — Ибо со мной Бог и холодный металл.

Он поднял копье и продолжал наступать — не быстрее и не медленнее, чем раньше.

— Стоять! — крикнул я, поднимая свое оружие. Меня учили, что в умелых и проворных руках посох отразит и копье. — Стоять, я сказал!

Он чуть припал к холке и чуть пришпорил коня пятками. Неповоротливое животное перешло на тяжелую трусцу. Уже через миг большие копыта застучали по мосту, а острие копья надвигалось на меня. Я сжал посох в обеих руках, ожидая точного момента, чтобы вскинуть руки и отбить копье. Затем один выпад между ног коня и…

Сейчас!

Я ловко поднял посох, точно как надо, но человек в металле оказался слишком силен. И его копье вошло мне в живот, глубоко, и вышло из спины. Это было больно, быть пронзенным, но не так больно, как я ожидал. Я не лишился сознания. Даже не вскрикнул. Просто… удивился.

Всадник потянул за поводья и попятился назад, аккуратно выдергивая копье. Вот когда стало больно! И сам вид того, как вскинулось острие в моей крови, в ошметках моих кишок. На самом деле больше ранила сама мысль. Мысль о том, что меня пронзили, насадили, пропороли. Больнее всего было от мысли.

Я отступил — и нога не нашла опоры.

Тщетно я старался удержать равновесие: было уже поздно. В ушах зашумел ветер, и я рухнул с мокрым шлепком в мелкий ручей под мостом. Я смотрел вверх. Глядя на меня из прорезей шлема,

всадник хохотал так, что едва не выпал из седла. И все еще хохотал, когда развернул коня и продолжил путь через мост.

Я пытался сдвинуть ноги, но они меня больше не слушались. Я решил, что сломал спину в падении.

Мой народ не мог меня винить. Я сделал все, что в моих силах, чтобы остановить захватчика. Затем я подумал: «Нет, я мог бы сбежать и всех предупредить. А теперь он застанет их врасплох». Только тогда я расплакался. Вся моя смелость была впустую, а трусость могла бы стать какой-никакой защитой, пускай и ненадежной.

Вода омывала мое полупогруженное тело. Сквозь слезы я наблюдал, как солнце пляшет на поверхности, словно скачущий огонь, и сказал сам себе очень тихо:

— Коль я вновь вернусь на Землю, вернусь сильным, как тот всадник.

И с улыбкой на лице от этой мысли я умер.

Вернулся я в южной Франции, у испанской границы. Конечно, я все позабыл о прошлой жизни. Или нет? Меня чем-то невероятно волновали шествия вооруженных всадников, а когда я увидел знак креста, меня омыло странное чувство — благоговение с примесью страха и, быть может,

каплей ненависти.

Однажды на параде я видел на конях высоких церковных сановников, разряженных в дорогую одежду и драгоценности, и подумал: «Однажды я буду таким же».

У моих родителей были дом и земли, но управляли ими смотрители и слуги. Отец занимался трудами и исследованиями в комнатушке в большом доме, писал до самого утра при свечном свете и читал древние свитки на греческом и латыни. С ним было непросто общаться, но однажды я все-таки пришел к нему (тогда я был совсем юн) и заявил, что желаю стать священником.

Ответил он не сразу, все еще восседая на резном стуле, с одной рукой на восьмиугольном деревянном столе с мозаикой, а другую свесив так, что пальцы касались ковра, — а я стоял перед ним, лишенный дара речи. Наконец он медленно покачал головой, словно от бесконечной усталости.

— Думаешь, я растил тебя столько лет, только чтобы отдать Папе Римскому? — резко спросил он, и его длинные, тонкие пальцы ученого сжались в кулаки.

— А что в том дурного? — спросил я.

— Я тебе покажу, — ответил он уже мягче, без прежнего гнева.

И он показал, что переводил из древних свитков на латыни и греческом, показал цитаты из Библии, цитаты из Иосифа, один пыльный свиток за другим, пока у меня все не поплыло перед глазами и не пошла кругом голова.

— Видишь? — повторял он с надеждой. — Видишь?

Наконец я не сдержался и воскликнул:

— Нет, не вижу! Не понимаю!

— Но ведь все так ясно, — ответил отец, не сводя с меня больших, темных, запавших очей. — Папа Римский — Антихрист. Католическая церковь несет слово не Иисуса, а дьявола.

На миг не мог найти слов, а потом крикнул:

— Нет! Нет! Я не стану слушать! — и выбежал из кабинета. Так я впервые узнал, что мой отец — еретик.

Больше он не заговаривал со мной о религии и редко — о чем-либо другом. Это моя сестра, двумя годами младше меня, с того дня стала его вечной спутницей, стала носить мужское платье и воспитывалась, как мальчик, — и я понял, что она заняла мое место при отце, что раньше он хотел отдать дом и земли мне, чтобы самому продолжать свой дьявольский труд и копаться в старинных книгах и свитках, но теперь все, все

отойдет ей одной.

Когда он лежал на смертном одре, это ее, а не меня, призвал он к себе, покуда я стоял перед закрытой дверью и прислушивался к их разговору. И когда он умер, это она надела изумрудное кольцо и широкий зеленый плащ и каждый день уходила в комнатушку, чтобы трудиться за полночь за закрытыми дверьми. В юности мы были так близки, играли в полях в рыцаря и его прекрасную даму, даже в возлюбленных. (Поцелуй сестры слаще всех, ведь он запретен.) А теперь все было кончено. Меж нами, словно проклятие, выросли запертая дверь и кипы древних манускриптов.

Я отправился к деревенскому священнику и рассказал ему все — и о дьявольской работе отца и сестры, и о своем желании принять сан. В своих мыслях я на самом деле помогал ей, словно вызывал доктора к больному, и еще в своих мыслях я мечтал о грамотности, чтобы читать на латыни и греческом, как сестра, чтобы стать тем мудрым ребенком, которого хотел отец.

Ангел насмешливо рассмеялся и тихо произнес:

— И это все?

Нет, нет, не все. Быть может, быть может, заду-

мывался я ненадолго и о доме с землями: что без нее все будет моим.

Не знаю, как она прознала о моем поступке, но она прознала. Она не разгневалась, только лихорадочней отдалась трудам и древним свиткам в чертовой комнатушке. А мне лишь сказала:

— Если меня заберут, брат мой, спрячь от них книгу, что я пишу. Это труд жизни нашего отца — не допускай, чтобы его сгубили.

Я дал ей слово. Я никогда не мог отказать ей в лицо.

И однажды ночью, когда разверзлись хляби небесные и ветер вопил над крышами, за ней наконец пришли. Я был в верхнем зале, припал лбом к неровному зеленоватому стеклу в окне над передней дверью, чувствуя прохладу, как тут услышал вдали стук телеги на мостовой.

Они подошли к двери.

Они постучали большим железным дверным молотком.

Сестра сошла их впустить, успев к двери раньше всех слуг, словно сам дьявол подсказал ей, кого они ищут. Она ушла с ними, не сказав ни слова, и я слышал рокот телеги, пока ее шум не затонул в шипении дождя.

Тогда я отправился в комнатушку, где были

спрятаны все древние свитки на греческом и латыни, и один за другим сжег их в большом камине под гобеленом, на котором единорог припадает на колени пред Древом Познания. Да, все до одного — даже большую книгу, начатую отцом и продолженную сестрой.

И лег спать, хотя мне не спалось.

Церковь отплатила мне добром. Отцы приняли меня и учили греческому, и латыни, и Библии, и покорности. Взамен я усердно трудился во имя Церкви до конца своей жизни. У меня выявилось чутье на еретиков, и тогда моей работой стал их поиск. В те времена в нашем краю хватало лжехристиан, говоривших, будто мы рождаемся вновь и вновь и будто подчиняться следует не Папе Римскому, а духу Христову в сердце. Не счесть, скольких я вернул в лоно церкви — доводами ли, молитвами ли, а если не помогало ничего, то и пытками. Но многие ускользнули от меня, умерши во грехе, а кое-кто оказался смелее любого известного мне христианина и умирал с улыбкой на устах, проклиная меня своим прощением. Те, что улыбались, не давали мне спать по ночам больше тех, что кричали и молили. Вновь и вновь они твердили на последнем издыхании: «Мы не боимся того, кто может причинить вред

лишь телу». Я пил больше доброго вина, чем худший раб греха, но никто меня за это не укорял. Больше того, пили все мои собратья по охоте на еретиков, а кое-кто во хмелю не раз нарушал обет целомудрия.

В возрасте пятидесяти лет я жаждал смерти, даже молил о смерти, но Господь не прислушивается к таким просьбам, и я все жил, жил и жил, словно спирт в крови уберегал меня от тлена.

Я все чаще и чаще вспоминал о сестре. Больше я ее не видел. Не знал, жива она или мертва, хотя раз до меня дошел слух, будто она скончалась в женском монастыре, все еще верная своей дьявольской ереси. Я не мог спросить о ней своих руководителей и, по правде говоря, сам предпочитал не ведать о ее участи, какой бы та ни была.

В семьдесят или в восемьдесят я наконец оказался на смертном одре, в окружении морщинистых соратников в темных балахонах, чьи лица казались тенями в свечном свете? Не знаю. Я уже не считал годы или даже дни.

Все знали, что я умираю, но старались подбодрить словами о том, чем мы займемся, когда я снова «встану на ноги». Затем явился епископ, чтобы отпустить мои грехи, и на том вся жизнерадостная ложь закончилась. Это была честь

— посещение самого епископа, и мои дряхлые друзья с важным видом кивали друг другу. Я отдал за Церковь жизнь, и теперь обрету награду.

Но прежде, чем он приступил, я приподнялся на локте и прохрипел:

— Стойте! Не потерплю! Никакого прощения мне!

— Что? — вскричал изумленный епископ. — Но тогда ты будешь проклят на вечные муки!

— Да будет так! — прошелестел я. — Но ни вы, ни Церковь не можете даровать мне прощения!

— Почему? — потребовал ответа епископ, чье лицо пошло пятнами от гнева.

— Это вы меня и прокляли! — воскликнул я и упал на подушку. Как будто издалека я слышал, как епископ продолжает обряд, но теперь уж был бессилен его остановить или даже заговорить.

— Я проклят, — шептал я сам себе. — Проклят. Проклят. Проклят.

— Эй, не казни себя только из-за того, что у тебя не встал, — сказала Мари, поднимая голову после того, как без толку сосала мой член — вялый, безнадежный, бессильный член.

За окном, на Монмартре, шел дождь, но ночной народ еще гулял по улицам, перекрикивался, смеялся и делал вид, что веселится, и аккордеон

в кабаре «Проворный кролик»[55] играл неуклюжий вальс. Я потянулся к тумбочке и налил себе выпить.

— Трахаться это не поможет, — заметила Мари. — Собственно, это и есть твое проклятие, если спросишь меня.

Не поведя и бровью, я выпил залпом.

— Эй, друг мой, — сказала она. — А ты никогда не был монахом?

— Ни черта! — отрезал я. — А что, похож?

— Много пьешь и не можешь заниматься любовью. Ну чистый монах, разве нет?

— Я родился второразрядным пианистом, — прорычал я. — Это все, чем я был, и все, чем я буду.

— Любовник из тебя никудышный, друг мой, — сказала она, сев на краю кровати и потянувшись за кальсонами, — но мне нравится, как ты играешь и что за песни поешь. В них говорится правда о нашем сральнике, где мы все живем, к тому же люди платят за них звонкой монетой. Вот что самое главное, если спросишь меня.

— Я проклят, — повторил я. — Лучше бы я умер.

---

[55] Примечания: 55

Кафе на Монмартре, где в начале XX века собиралась богема: Пикассо, Тулуз-Лотрек, Поль Верлен и проч.

— Опять завел свою шарманку? Слушай, ты обещал, что больше не будешь пытаться наложить на себя руки, так?

— Так.

— Пообещай опять.

— Я не буду накладывать на себя руки, — хмуро проговорил я. — Так сколько я тебе должен?

— Послушай, друг мой. Забудь. Ничего за ничего, правильно? Мы с тобой так давно дружим, что почти как брат и сестра, а? Свои люди.

— Брат и сестра? Чушь. Будь ты моей сестрой, я бы не дал тебе торговать телом на улице.

— Откуда знаешь, друг мой? Братья не всегда хорошо обращаются с сестрами. А теперь помоги затянуть корсет, как хороший брат. А потом проводишь меня до вокзала Сен-Лазар. Мне надо успеть на поезд.

— До самого вокзала? Под дождем? Черт!

— Тебе же на пользу, мой пьяный братец. Протрезвеешь.

— А, к черту. Ладно. Мне насрать!

Она стояла перед зеркалом, надевая на шею маленькое серебряное распятье.

— На кой черт тебе эта ерунда? — спросил я в поиске штанов.

— Я знаю, от чего мне польза, — ответила она,

пожав плечами.

Когда мы наконец оделись и спустились по крутым ступенькам, стараясь не угодить под копыта и колеса лошадей и экипажей, я спросил Мари:

— И куда ты собираешься на поезде?

— В гости, — ответила она просто, вцепившись в мою руку, чтобы удержаться, хотя, знает бог, мне бы и самому не помешало за что-нибудь держаться.

— В гости?

— К семье. Все навещают семьи, знаешь ли.

— Не я.

— Бедолага, — с грустью сказала она. — Настоящий сирота!

— У меня есть родители… прямо здесь, в Париже. Они желают видеть меня не больше, чем я — их.

— Бедолага, — повторила она.

Скоро мы дошли до вокзала. Там было людно, как в аду.

Мы молча постояли на перроне, потом она сказала:

— Послушай-ка, друг мой. Мне нечего почитать в поезде. Не сбегаешь к киоску, не купишь мне газету?

— Ладно.

— Только поспеши. Поезд будет с минуты на минуту.

Я двинулся через толпу, но поспешить не получалось.

Я увидел на скамье старуху и сначала принял ее за покойницу, такой голубой у нее была кожа, но тут она сдвинулась. Старость — это всегда ужасно. Только глупцы видят в ней что-то хорошее.

— Ты не доживешь до старости, — шепнул темный ангел мне на ухо.

Я уже привык слышать странные голоса, когда напьюсь, поэтому не обратил внимания. Просто купил несколько газет наугад и двинулся через толчею обратно.

Тут я услышал подходящий поезд, кряхтящий и шипящий, словно запыхавшийся дракон. И я его увидел… или хотя бы его клубы дыма, и попытался ускорить шаг, но толкучка была такой плотной — я словно плыл в мелассе. Казалось, на краю перрона есть свободное место, и я протиснулся туда.

Локомотив уже надвигался, медленно перекатывались его поршни. И тут меня кто-то толкнул.

На миг я потерял равновесие, потом упал на пути, больно ударившись боком. Перед тем как

меня переехал поезд, в голове мелькнули две мысли. Первая — о Мари: она решит, я это нарочно. Вторая — о моих песнях: «О, почему я ни одну не записал?»

Мириам апо Магдалла, когда я предложил записать ее рассказ о жизни и речениях Учителя, насмешливо отвечала:

— Хотел бы Иисус книгу, написал бы ее сам. Чтобы освободить нас от книги, Он и пришел во плоти! На что нам книга, когда Господь говорит через нас? Разве не сказал Иисус: «Буква убивает, а дух животворит»?[56] Тот, кто живет книгой, неверен Святому Духу внутри себя — словно Господь, заговорив единожды, не может заговорить вновь. А я говорю: в день, когда люди раскроют книгу с чернилами на папирусе, они закроют книгу Духа — и уже не будут творить добро, а лишь посвятят жизни свои поиску ошибок у других, указуя на папирус и восклицая: «Видишь! Я прав, а ты — ошибаешься!» Какая же это вера — говорить, будто слова Господа могут быть утрачены? Я говорю: пусть утратятся все записи о словах Божьих, Ему нужно лишь повторить их вновь, и имеющие уши да услышат. И еще говорю:

---

[56] Примечания: 56

Второе послание Коринфянам, 3:6 (на самом деле это слова апостола Павла).

те, кто возлюбит книгу больше Господа, станут убийцами, истязателями, лжецами и тиранами, и оправдают своею книгой всякую зверскую жестокость. «Бог во мне — или нет Бога!» А если он во мне, Он сам скажет все, что мне следует знать.

Так я несолоно хлебавши ушел от старухи, Безумной Мириам из Магдаллы, без единого слова, что пришел записать на свитке, и шел по улицам еврейского квартала Александрии. Мимо пронесся на колеснице мрачный римский солдат: красный плащ извивался на жарком ветру, который жалил песком. Колеса были из ярко окрашенного дерева, одетого в железные ободья, и лязг железа по каменной мостовой еще долго висел в воздухе после того, как сама колесница скрылась. Я, египтянин по рождению, но грек по образованию, не любил римских покорителей, но на этих улицах вид слуги закона и порядка всегда приятен глазу при том, что каждую ночь бунты и насилие захлестывали улицы. А ночь уже почти меня застигла!

Одет я был как еврей, а значит, меня бы не тронули ножи евреев, но если бы я встретил грека? Успел бы я оборвать еврейскую темно-синюю бахрому с подола туники? Какой позор! Чтобы жизнь благородного человека, писца великой

библиотеки Серапеум, зависела от какой-то синей бахромы!

И все-таки, представьте себе, я раз за разом отправлялся в сей безбожный, кровавый квартал, влекомый словно колдовским заклятием к той странной старухе, которая, по ее словам, целовала уста еврейского Бога-Царя. Одни говорили, что она ведьма. Многие другие — что в нее вселились семь демонов.

Для моего начальства религия была орудием политики, и новое евангелие от этой старухи послужило бы только тому, что уняло бы фанатичные волнения евреев. Если им так нужен мессия, будет им вестник мира, не похожий на других, которые растут из-под каждого камня на улицах Иерусалима и призывают поднять меч против Рима.

Сначала я чувствовал то же.

А потом — кто знает? Быть может, она меня околдовала.

Зачем бы я еще стал слушать такие речи:

— Ты бы видел, с какой неохотой двенадцать допускали меня к своему Учителю. Дурачье! Сколько раз они своим слабоумием испытывали терпение моего Равви, моего Господина, моего Царя? Я, и только я, понимала Его по-настоящему,

ведь лишь безумец может познать безумца. В его царстве три сословия… те, кто знает, те, кто только верит, и те, кто не знает и не верит, а блуждает в невежестве. Лишь Он и Я принадлежали к высшему сословию, ибо только с нами говорили голоса, только нам являлись видения. Из-за тех видений низший мир изгнал нас, и мы жили в другом, но Двенадцать оставались в нижнем. Они сами выбрали, за каким миром последовать. Когда мой Равви отправился на крест, они сбежали и попрятались, а я оставалась с ним до самого конца. В стыде своем они не могли вынести моего вида и выдержать моих насмешек за их трусость, поэтому без промедления сделали то, на что не осмеливались при живом Учителе. Они отослали меня — сказав, что я женщина, а потому недостойна быть одной из них. Теперь мы слышим, будто и они встречают видения, слышат голоса и даже говорят на ангельских языках, вот только я-то знаю: если кто-то через них и глаголет, то не мой Равви! Во плоти мой Равви никогда не проповедовал еврейские добродетели закона, труда, семьи и ритуала! Сказав, что пришел исполнить закон[57], Он имел в виду, что пришел положить

[57] Примечания: 57
От Матфея, 5:17.

ему конец! Закон призывал: око за око и зуб за зуб — но Иисус освободил нас ради добра.

Или такие нелепые заявления:

— Великий Зверь, Нерон, не умер навечно, но в свой срок вернется, как и все мы, в новом теле. Все мы возвращаемся в мир — добрые, злые, безразличные, вновь и вновь. Иоанн Креститель раньше был Ильей-пророком, а я была сестрой Моисея.

Нет, я выслушивал ее из-за некоего чувства, что захватывало разум в ее историях об Иисусе. Например, в этой:

«Один зелот спросил Иисуса:

— Если римляне станут грозить нашей религии, неужели нельзя нам защищать своего Бога мечом?

— Кто сильнее, ты или Бог? — спросил Иисус.

— Конечно же, Бог! — ответил зелот. И Иисус молвил:

— Значит, Бог не нуждается в твоей защите. А ты — в Его».

Или в другой, о римском центурионе, которого Иисус расспрашивал на рынке:

«Иисус спросил центуриона:

— На что вам армии?

— Чтобы оберегать границы нашей империи, —

ответил центурион. И тогда Иисус сказал:

— Если бы у твоей империи не было границ, что бы ты оберегал?»

Или эта:

«Иисус сказал:

— Одни возводят храмы, громоздя друг на друга мертвые камни, но как мертвое способно животворить? Я возвел свой храм так же, как появляется живое древо: вырастил из семени, и плоды того древа есть семена новой жизни».

Рассказав историю, она ее поясняла — например, так:

— Мысль Учителя — как великое древо. У него много листьев и веток, они тяжелы от обилия плодов, но все растет от одного-единственного семени, и семя это — Человек, сотворенный по образу и подобию Бога. Все остальное произрастает из него.

Я записал несколько историй по памяти, но мне нужна была полная — с началом, серединой и концом, как тот свиток, который еврей Марк написал годы назад для последователей Иисуса в Александрии, только полнее, с подчеркнутым пацифизмом этого особенного мессии. Такой документ, да с тем весом, что придаст ему очевидица событий вроде Мириам, усмирил бы

кровожадных евреев лучше, нежели семь отборных легионов Цезаря.

Все вести только и были, что о бесконечном кровопролитии в Иудее меж римлянами, предводимыми полководцем Веспасианом и его сыном Титом, и еврейскими фанатиками, и порой я сомневался, изменит ли что-нибудь мое дело мира, даже если я произведу ту рукопись, которую требовал момент. И теперь, со смертью Нерона, гражданская война разразилась в самом Риме, где сначала один император, а потом второй притязал на мировой престол.

Без толку было взывать к Мириам, надеясь на ее человеколюбие. Она считала, что те евреи, что верят в осквернённый храм Ирода, заслуживают все, что им достается. Лишь случайно я наконец нашел способ залучить ее помощь.

Я упомянул о Евангелии от Марка.

— Что? Марк написал Евангелие? Но он даже не был знаком с Учителем! Он всего лишь писец Петра! Как он может писать то, о чем ничего не знает? — раскричалась она, ударив иссушенным старческим кулаком по столу.

Ревность! Откуда мне было знать, что и святые ревнуют? И все-таки это было очевидно с самого начала.

— Если вы продиктуете другое, — осторожно начал я, — быть может, глупый порыв Марка еще можно будет исправить.

— А ты хитер, — заметила она. — Но да, я согласна. Все-таки согласна!

Я встал на колени у своего письменного стола, вынул из-за уха тростниковую кисть, смочил чернила и подождал. Греческий у Мириам был грубоватым и безграмотным, но я бы мог поправить его в процессе. Вместе мы бы создали труд на века.

— Только сперва, — сказала она, — пообещай мне одно.

— Конечно, — ответил я, в своем азарте позабыв об осторожности.

— Обещай оберегать ту истину, что я тебе дам, от всех, кто пожелает ее осквернить или извратить.

— Конечно! — с готовностью согласился я.

— До конца времен, — добавила она.

— До конца времен? Как я могу такое обещать?

— Ты будешь помнить свое слово от жизни к жизни, даже если забудешь меня, даже если забудешь обо всем остальном. Согласен?

В глубине души я не верил, что у человека больше одной жизни — так отчего бы не потрафить

старухе?

— Согласен, — откликнулся я. И тогда она начала:

— В детстве Иисуса доставили сюда, в Александрию, чтобы спасти от Ирода, звавшего себя царем евреев, хоть сам-то не был ни царем, ни евреем. Ирод перебил всех, кто имел законное право на еврейский престол, а Иисус был царских кровей — из дома Давида. Как и Будда, Иисус родился земным правителем, но отрекся от земной власти во имя другого царства — не от мира сего. Он был учеником не одной религии, а всех,– ведь иначе не бывает в Александрии, где у любого бога найдется хотя бы один последователь. От буддистов-терапевтов[58] у озера узнал он о монашестве и медитации, от раввина — весь еврейский закон и традиции, а от бритых жрецов Осириса узнал, как человеку спасти душу, отождествляясь с жертвенным богом, и от них же узнал о крещении и ношении Креста Жизни. Но Он никогда не забывал свой народ, евреев, никогда не забывал, что Он, и братья Его, и сестры — это истинная

[58] Примечания: 58

Терапевты — иудейская аскетическая секта, предположительно проживавшая у берегов Мареотидского озера. По некоторым версиям, они либо переняли более древнюю на несколько веков монашескую традицию у буддизма во время торговли Египта с Индией, либо даже включали в себя посланцев императора Ашоки.

царская семья Иудеи, и в детстве не раз всю ночь напролет беседовал о беде евреев со своим двоюродным братом Иоанном, позже прозванным «Крестителем». Он видел яснее прочих, что евреям не скинуть римскую власть силой оружия, а всеми попытками они лишь навлекут на себя погибель. Он видел яснее прочих, что евреев увел от религии отцов и пророков лжецарь Ирод, и назначенные им лжежрецы, и возведенный в Иерусалиме лжехрам.

Я знала Его тогда, но я в Александрии не училась священным знаниям. Девушке, не имеющей ни гроша за душой и не говорящей по-гречески, мраморный город Александра преподает иные уроки. Я узнала, что у меня между ног есть то, что я могу продавать вновь и вновь, но никогда не потерять. Иисус сказал, что в этом отношении моя дырка — как знания, или истина: пускай из-за этого от меня отвернулись вся семья и друзья, Иисус так и не отвернулся. Ты знаешь, что женщина в нашем мире считается ниже лошади или коровы, но хоть я была женщиной, и нижайшей из них, Иисус говорил обо мне, как если бы была я мужчиной — и Ему равным, — отстаивал меня перед друзьями, кому пришлось со мной мириться — по крайней мере, пока Иисус не умер.

Когда я вернулась к себе домой в Магдаллу, что на Галилейском море, Иисус и Иоанн тоже вернулись, и Иоанн пустился на юг, проповедовать о том, что они с Иисусом узнали в Александрии, и скоро собрал множество учеников, ведь народ Иудеи темен и прост, знает разве что Тору, а Иоанн отточил свое остроумие в спорах с лучшими учеными философами Александрийской библиотеки. Даже на тему Торы и еврейских традиций ни один раввин не мог его переговорить, а тебе надо знать, что евреи все решают в ученых спорах, будь то происхождение Вселенной, правильное приготовление пищи либо число дней в году.

Но народ того дня не довольствовался одним пророком. Они призывали мессию — и многие лжемессии явились на зов, чтобы привести их к краху в битве с римлянами. Во всей Иудее, во всем мире был лишь один, кто по праву крови мог зваться истинным мессией, — и это Иисус, старший царевич в доме Давида. Так Иисус отправился к Иоанну в Иудею, и, думается мне, искал знак с небес, что сказал бы Ему, Он ли тот истинный спаситель, о ком мечтал и лил слезы все ночи и дни его народ, или нет.

И знак был прост. В другое время он бы остался

незамеченным, но теперь явился в тот самый миг, когда Его крестил Иоанн. Птица — вроде бы голубь — спорхнула с неба и села на руку Иисуса, и он выбежал из воды, словно одержимый дьяволами.

— Ну же! — воскликнул я. — Продолжай!

— Нет, не сейчас, — ответила она, опустив лицо в ладони. — Я старая женщина, и я устала. Возвращайся завтра.

И я ушел, и вернулся на другой день.

Однако ходить по улицам еврейского квартала стало еще опаснее. Еврейские одеяния, что отводили от меня еврейские ножи, теперь привлекали внимание не только греков, но и римских солдат из армии Веспасиана — теперь под командованием его сына Тита, поскольку отец его стал нашим новым императором. Они одолели евреев в Иерусалиме, но ценой жизни многих римлян, и солдат при виде еврея мог и клинок выхватить, особенно во хмелю. Тит был юн, и войска боялись его не так, как его отца.

Я выдохнул с облегчением, оказавшись в безопасности (как я думал) в грязной лачуге, где жила Старая Мириам, и сел, чтобы смочить чернила и развернуть свиток.

Тут-то грохот в дверь и развеял все мое спо-

койствие, и громкий пьяный голос проревел на латыни:

— Открывай дверь, грязный еврейский мерзавец! Мы знаем, что ты там!

Должно быть, за мной проследили, осознал я с ужасом.

— А не откроешь, — раздался другой жестокий голос, — мы вломимся сами!

Мириам спокойно шагнула к двери.

— Стой! — крикнул я и обнажил свой меч.

Но когда ворвались солдаты, она преградила им путь, презрительно бросив:

— Сколько еще раз предадут меня и моего Иисуса? Как нам могут причинить вред? *Или мы не бессмертные духи?*

И миг спустя мой шанс дать отпор был упущен, и нас обоих грубо выволокли на улицу и связали.

Вы когда-нибудь видели, как человека прибивают к кресту? Толпе все равно, как человек жил, — лишь как он умер, и даже самый свирепый, жестокий и безмозглый убийца может заслужить благосклонность толпы, если скажет что-нибудь дерзкое или просто смолчит и не вскрикнет, когда ему в запястья вгоняют гвозди. Мириам умерла благородной смертью, даже

после пыток. Хоть ей выжгли глаза каленым железом, все равно она сказала тому, кто вбивал гвозди:

— Это не я пленница, а ты.

И я тоже хотел воздать должное Иисусу Мириам и изречь что-то благородное, когда пробьет мой час.

Но я…

Но я…

Но я кричал, умолял, рыдал, заклинал и вопил, когда гвозди входили в мою плоть под ликование хмельных римлян и греков.

— Это ошибка! Я не еврей! Я христианин! Я египтянин и гражданин Рима! Нет! Нет! Не надо! Ради Господа, не делайте этого!

Скоро меня не хватало на слова, лишь на крики, как у животного в родах, но никто меня не слушал. Все только смеялись надо мной, и пили, и швыряли в меня пустые кувшины.

И наконец один солдат в знак презрения вогнал мне в брюхо копье.

Меня пронзили! Пронзили! О боже, вы хоть представляете, каково быть пронзенным? Но было в этом и что-то хорошее. Было. Потому что эта боль освобождает ото всей боли; одна великая боль, что заканчивает все мелкие.

Немного погодя я стоял на большой пустой равнине под серым пасмурным небом. Я был нагим, и озяб. Впереди передо мной лежало перепутье, и от него во всех направлениях расходились тропы, словно нити гигантской паутины. Не было ни деревьев, ни трав, ни холмов, гор, ручьев или водоемов; лишь голая пыль во все стороны, сколько видит глаз.

Но стойте. Было что-то еще.

С другой стороны ко мне медленно приближалась одинокая фигура. Когда она приблизилась, я разглядел крылья у нее на спине, а потом, миг спустя, увидел меч в одной руке и серебряную чашу — в другой. У ангела были длинные темные волосы, но я не мог отличить, мужчина это или женщина. Быть может, и то и другое. Быть может, ни то ни другое.

Это был мой ангел.

— Пей, — сказал ангел, остановившись предо мной и протянув чашу.

— Сначала ответь, Ангел, что в чаше!

— Забвение.

— Я не хочу ничего забывать, — быстро сказал я. Ангел улыбнулся.

— Даже то, что ты наделал?

На миг я задумался.

— Даже это, — ответил я, но уже с колебанием.

— Даже то, что сделали с тобой?

— И это.

— Даже боль?

Я промолчал. То, как меня пронзили. Если бы я мог это забыть…

— Либо ты забудешь все, либо ничего, — молвил ангел, явно читая мои мысли.

Ну и что. Что такое, в конце концов, «быть пронзенным»? Каждый день мертвечина входит в мой рот, проходит через тело и выходит через задницу. В любой жизни мой дух пронзает новое тело и проходит через него, выходя с другой стороны.

— Ты не понимаешь? — сказал ангел. — Я лишь пытаюсь тебя уберечь.

— От чего?

— От знания добра и зла. Лишь боги и ангелы могут вынести знание о том, что зло существует на пользу земных созданий. А для тебя это запретный плод, поэтому пей. Пей и забудься.

Мне требовалось подумать. Чтобы потянуть время, я спросил:

— Где мы?

— Это край Вумтум, за пределами времени и вне пространства. Все эти тропы ведут обратно в мир, в разные времена истории.

— Кажется, их тысячи.

— Но все — для твоих ног, и только для них, — ответил ангел. — Теперь пей и вернись в свое тело.

— Нет, — тихо произнес я.

— Да будет так, — сказал ангел, опорожняя чашу в песок у своих ног. Я ступил вперед, и ангел воздел меч.

— Теперь ты не можешь вернуться, — молвило крылатое создание. — Ты должен остаться здесь. Ты больше не вернешься в мир.

Но тут я снова вспомнил, что, если верить Библии, с ангелами можно сразиться — и победить! Я сделал вид, что бросаюсь вперед, и меч опустился навстречу — но в последнюю долю секунды я отступил и избежал меча, одновременно схватив его за руку. К его полнейшему изумлению, я швырнул его простым броском через бедро в стиле дзюдо, а потом сам бросился на него сзади, несмотря на бешеное биение крыл. Меч безвредно выпал из его руки в пыль, а я навалился между крыльев, обхватил шею правой рукой и схватил ее левой над локтем. Затем уперся левой ладонью ему в затылок и надавил, потянув назад другой рукой.

— Сдаешься? — рявкнул я.

Ангел лишь сильнее сопротивлялся.

Я затянул хватку.

— А теперь что скажешь? — холодно спросил я.

Ответа не было, он только корчился и трепыхался. Я сдавил сильнее, и сопротивление сходило на нет, а потом вовсе прекратилось. Я подержал еще недолго, чтобы убедиться, потом отпустил. Ангел безжизненно скатился в песок.

Я послушал биение его сердца, поискал пульс.

Ничего. Ангел был мертв.

Я взял меч и пустую чашу и, выбрав направление наугад, двинулся прочь.

Раскрыл глаза и увидел индуистскую гипнографию на низком потолке надо мной. Рядом вхолостую крутилась кассета в диктофоне. Шурх-шурх-шурх-шурх.

Я сел и выключил диктофон.

Судя по часам, прошел всего час. А казалось, больше двух тысяч лет.

Я все еще был под кайфом, но знал — откуда-то, — что пик «трипа» уже прошел. Я оделся и спустился.

Мне пришла почта. Лежала у входной двери, под почтовой щелью. Я поднял ее и проглядел. Это были два конверта: один — от общества Джо-

на Берча[59], второй — от Партии мира и свободы. Оба зазывали в свои организации. Оба хотели моей помощи в борьбе друг с другом.

Я достал из кармана монету и посмотрел на нее, улыбаясь про себя.

А потом подбросил.

[59] Примечания: 59

Общество Джона Берча — ультраправая антикоммунистическая политическая группа в США. Появилась в 1958-м и наибольшим влиянием обладала в шестидесятых-семидесятых, но существует и до сих пор.

Послесловие

В последние годы я писал мало фантастики, но что писал, то хвалили. Причина проста. Несмотря на регулярные уверения, что в фантастике свободы мысли и слова больше, чем в любом другом формате, я по себе знаю, что эта хваленая свобода — чистейшая иллюзия. Несмотря на отважные попытки таких первопроходцев, как Аврам Дэвидсон, Деймон Найт, Фил Дик и Джудит Меррил, ни один мой рассказ не выходил в свет без малых или больших купюр ради душевного спокойствия пуритан.

В редакторских кругах постоянно требуют новых идей и новых писательских подходов, но стоит ответить на спрос рассказами, которые смеют намекнуть, что нынешние сексуальные нравы или политическая система не продлятся вечно, или что даже сегодня существует большой разрыв между тем, как все есть на самом деле, и тем, что говорят официально, как призыв к «чему-то новому» тут же сменяется подсчетами: а что покажется приличным библиотекарю из старшей школы Среднего Запада? Я люблю формат фантастики. Любил с самого детства, но,

кажется мне, фантастика редко раскрывает весь свой потенциал, если не выходит за рамки таких расчетов; вот так вопреки моей любви к жанру — а может, из-за нее — я по большей части удалился в другие области.

Возможно, если бы Харлан не посмел пробить Среднезападнобиблиотечный Барьер, я бы никогда не написал фантастический рассказ. Его антология «Опасные видения» — это первый лучик настоящей надежды, что я увидел в этой стране. Один из стандартных заезженных сюжетов в нашей области — это как один человек спасает всю Вселенную. Я и сам им как-то раз пользовался, в рассказе «Восемь утра» (*Eight O'Clock in the Morning*), но до сих пор никогда не верил. А может оказаться, что один человек, Харлан Эллисон, и в самом деле спасет всю умирающую вселенную фантастики.

В литературе есть лишь один непростительный грех, и это не изображения секса, насилия или непопулярных религиозных и философских идей. Единственный непростительный грех — это скука. И в последние годы фантастика стала скучной. Она еще подает признаки жизни в Англии, зато США до «Опасных видений» постепенно тонули в болоте. Здесь за технологии сходил

выдуманный жаргон, чтобы старый махровый фэн задирал нос, сочиняя рассказ, который почти невозможно понять новому читателю. История за историей вращаются вокруг фальшивых «вставок» неважных или неверных научных фактов. История за историей ведут одну и ту же давнюю куклу WASP[60]-инженера по одним и тем же заезженным сюжетам — многие из них были очень хороши, когда их писал Герберт Уэллс, но теперь уж заметно поизносились.

«Путешествие во времени для обывателей» — это рассказ, который я проносил в голове несколько лет, со времен первого опыта с ЛСД и рядом других наркотиков, которые среди прочего показали, насколько у меня и других фантастов ограничен кругозор. Когда Харлан на ежегодном фантастическом конвенте в Окленде упомянул, что подыскивает рассказы для второго тома «Опасных видений», я сразу ушел оттуда, поехал домой и написал «Путешествие во времени для обывателей» в один присест, в экстазе от свободы и творческого наслаждения. Я уже больше года

[60] Примечания: 60

WASP, White Anglo-Saxon Protestants (*англ.*) — белые англосаксонские протестанты, или представители самой богатой и привилегированной группы в США, потомки первых поселенцев, в основном обитающие на северо-востоке, в Бостоне и Нью-Йорке.

ничего не употребляю, но от этого рассказа снова кайфанул, как раньше. Я и сейчас, когда пишу это послесловие, еще кайфую.

Но только кайфую от надежды — надежды, что теперь-то, когда, благодаря Харлану, лед тронулся, мы снова увидим в этой области настоящие фейерверки… увидим скандалы, блеск, тексты, в которых чувствуешь жизнь, кишки и великолепие. Мне очень нравится «Стар Трек», но я не представляю, как можно равнять всю журнальную и книжную фантастику с тем, что без проблем показывают по телевизору для всей семьи. Даже «Стар Трек» — который пользуется идеями, опробованными и проверенными в журналах — в конце концов набьет оскомину, если в область не хлынет мощный приток новых подходов и идей. Какой смысл шевелить извилинами, если в голове пусто?

Но теперь я под кайфом от надежды, друзья-фанаты.

Мне крышу снесло.

Детка, не ломай мне кайф.

Предисловие «Христос, из новой школы старый ученик»



Дамы и господа, человек, который не нуждается в представлении…

Наверное, так я не смогу представить больше ни одного другого писателя в этой книге. Но кто в цивилизованном читающем мире не слышал имя Рэя Брэдбери? Когда пришло время черкнуть пару слов, чтобы подвести к Рэю, меня вдруг поразило, насколько это невозможно. О Брэдбери, его поэтических образах, его человечности, его голубом периоде, его хроматическом периоде написаны целые трактаты… кто я, черт возьми, такой, чтобы о нем писать?

Ну, я фанат Брэдбери, и для начала это уже неплохо. И не только потому, что показывает мою любовь к человеку и его творчеству, которая уходит в прошлое на двадцать один год, к первому прочтению «Столпа Огненного» в превосходной антологии Августа Дерлета «Другая сторона луны» (*The Other Side of the Moon*), которую я похитил из библиотеки старшей школы Кливленд-Хайтс, но и потому, что слишком много хохмачей тешат свои жалкие эго роптанием, будто Брэдбери не так хорош, как мы думали. Я насмехаюсь над ними; да превратится молоко их матерей в йогурт; да родятся все их дети с заячьими губами; да будут они (вторя древнему еврейскому проклятию) так бедны, что придут ко мне клянчить деньги, и да буду я так беден, что не смогу ничего одолжить!

Рэй Брэдбери, скорее всего, лучше, чем мы смели и воображать в самых своих смелых провозглашениях его первым фантастом, который вырвался из гетто и заслужил одобрение таких людей, как Ишервуд, Уайлдер, Фейдимен, Элгрен, Гилберт Хайет, Грэм Грин, Ингмар Бергман, Франсуа Трюффо и Бертран Рассел, черт побери!

Признаем, читатели фантастики: мы уже двадцать лет пользуемся успехом Рэя Брэдбери. И каждый раз, когда убеждаем какого-нибудь

неверующего признать НФ и фэнтези настоящей *литературой*, мы отсылаем его к творчеству Рэя Брэдбери. А кого мы еще породили, кто мог бы приблизиться к уровню признания Брэдбери? Ребят, в конце концов, есть целое издание РЭЯ БРЭДБЕРИ от *Viking Portable Library*. Да, Артур Кларк и Айзек Азимов известны и любимы, но если выйдете на улицу, поймаете среднестатистического шмендрика да попросите назвать десяток известных американских писателей, то он — если не дурачок, который ляпнет про Эрика Сигала, Леона Уриса и Жаклин Как-Там-Ее, — отчеканит в ответ список из Хемингуэя, Стейнбека, Микки Спиллейна, может, Фолкнера, — и, скорее всего, Брэдбери. Никто так не повышает нашу самооценку — и об этом давно пора сказать вслух. Беседуя с зубоскалами, мы разворачиваем их к скудным полкам НФ в большинстве магазинов — и наверняка не найдем там Дилэни, Лафферти, Найта, или Диша, или Диксона, но богом клянусь: мы всегда найдем «Марсианские хроники».

И тогда мы говорим: «Вот, попробуй. Тебе понравится». И велика вероятность, что мы вручим робкому «Крошку-убийцу», или «Третью экспедицию», или «Фрукты с самого дна вазы», или «451 градус по Фаренгейту», или «Электрическое тело

пою!», или «Вельд», или «Нескончаемый дождь», или «И грянул гром», или «Банку», или… боже ты мой, да стоит начать — и уже невозможно перестать вспоминать все великие моменты прекрасных рассказов Брэдбери, и я имею в виду не только радость от публикации «Машины до Килиманджаро» в журнале *Life* или такую экранизацию «Банки» в «Часе Альфреда Хичкока», что можно описаться от страха. Я о тех личных блаженных мгновениях, когда лежишь под деревом, или на диване, или на полу, и приступаешь к чтению: «С Человеком в картинках я повстречался ранним теплым вечером в начале сентября»[61].

Ну *серьезно*, вы, остроумные литературные циники, которые точат зубы о чужие карьеры: разве можно забыть то, что откликнулось из моря туманному горну? Разве можно забыть дядю Эйнара? Разве можно выкинуть из головы чернокожих, улетающих на Марс, еще за годы до того, как чернокожие начали говорить, что хотят убраться из Америки?[62] Можно забыть, как Паркхилл устраивает стрельбу по мишеням в «И

---

[61] Примечания: 61

«Человек в картинках», *пер*. Н. Галь.

[62] Примечания: 62

Имеется в виду один из лидеров черных, Малкольм Икс, желавший по примеру Израиля создать страну для афроамериканцев.

по-прежнему лучами серебрит простор луна»[63], «стреляя по хрустальным окнам и сшибая макушки изящных башен» в мертвом марсианском городе? В нашем виде спорта не так уж много людей, подаривших нам столько драгоценных воспоминаний.

А самое замечательное в Брэдбери — что начинал он фэном: сопливым, рвущимся к литературной славе фэном, как и многие из нас. Повернутым на Лавкрафте, и Берроузе, и По, и *Weird Tales*, и Уолте Диснее, и Хемингуэе, и Сарояне, и Диккенсе, и «Смерти Артура» Мэллори — и всем он воздал должное в своих произведениях. Но у него она *была,* эта особая искра, что его заводила — и он прорвался: да так масштабно, хорошо и вечно, что теперь она даже кажется чем-то обычным (а зря).

Мы видим, что по «Человеку в картинках» сняли не самый достойный фильм — как и «451 градус по Фаренгейту», и еще не вышедшее «Лето Пикассо», а то и однажды (если причешут сценарий) «Марсианские хроники», — и вот уже вошло в моду отмахиваться от Рэя Брэдбери, будто он какой литературный слизняк вроде Сигала. Что ж,

---

[63] Примечания: 63
Пер. Л. Жданова.

не здесь, друзья мои. Здесь Рэю Брэдбери воздают по заслугам, потому что… ну, во многом это лично моя книжка, и я дважды побывал в обществе Брэдбери, и оба раза творились великие дела, и если кто-то хочет поругать автора «Генриха Девятого» (я пытался купить его для «ОВ» под названием «Последний скипетр, вечная корона»), — ну, сначала пусть бьется со мной. А я злой.

Хотел тут углубиться в детали тех двух славных случаев, когда я общался с Брэдбери: у газетного лотка на пересечении Кауэнги и Голливуд-бульвара, а также в день, когда мы выступали на одной сцене с Фрэнком Гербертом, когда выбивало электрические предохранители и семьсот калифорнийских преподавателей английского рыдали, смеялись и удостоили нас стоячими овациями, — редкий момент в моей жизни, когда я действительно верил, до самого мозга костей, что быть писателем есть одно из самых благородных занятий в мире, — но объем книги не позволяет, и лучше расскажу вам при встрече, когда времени будет побольше.

Поэтому просто закончу на том, что Рэй Брэдбери — это человек, написавший под три сотни рассказов, выходивших в сборниках «Октябрьская страна», «Темный карнавал», «Золотые

яблоки солнца», «Человек в картинках», «Надвигается беда», «Спринтерский забег до гимна», «Электрическое тело пою!», «Марсианские хроники», «Лекарство от меланхолии», «Механизмы радости», «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту». Он написал сценарий для экранизации «Моби Дика» от Джона Хьюстона (которая, как ни странно, намного лучше выглядит на телеэкране, чем в театре). Еще он написал в соавторстве с Чаком Джонсом сценарий мультипликационной истории Хеллоуина — «Канун всех святых», — а теперь работает над театральной постановкой «Левиафан 99». Он написал «кантату космического века» о возможных изображениях Христа на других планетах — «Христос-Аполло», музыка Джерри Голдсмита, — и еще он очень хороший, добрый и преданный человек, которого во многом надо благодарить и за то, что он помог выдворить Линдона Джонсона из Белого дома.

И он единственный человек, чьи стихи я готов взять в книгу рассказов. Ну, кроме разве что Роберта Грейвса[64]…

---

[64] Примечания: 64

Роберт Грейвс (1895–1985) — британский поэт и романист, а также автор философского трактата «Белая богиня» (1948): хотя труд невысоко оценили ученые, он приобрел популярность и лег в основу неоязыческой религии викка и феминистической теологии.

Христос, из новой школы старый ученик
Рэй Брэдбери



О друг, на праздник нищих поспеши:
Святые за спасение души
Там молятся в исподнем – и за тех,
Кто сам забыл, как замолить свой грех;
Живые трупы заняли придел:

Их гложет зависть к тем, кто столь давно ушел,

Хоть смерти не хотел.

А вот алтарь! Крест, устремленный к небесам,

Но Человек, а не Христос на нем,

И там жрецы подносят Нас

Живьем, как гостию, Христу, а он

Дивится на тот вид:

Сам он здесь, на его месте – человек.

Кричит Христос напрасно и стенает:

Зачем? – кричит, – вам гвозди?

Зачем вам столько крови и утрат?

«Затем», – звон с колоколен, где

Кишат лишь мыши, колокол там тянут за язык,

Пищат вниз «аллилуйя» тонко, чтоб

Не сник в надеждах Человек, хоть те

Уносит на ветру; а Христос,

Наслушавшись молитв, теперь забыл их Сам.

Однако наконец Он смотрит в небеса,

Отца он просит прекратить сей страш-

ный труд,

Прервать эти страдания утех.

Прошу! – он голосит. – Конец!

И вторит мертвых армия с креста: Конец!

И сверху глас, что полон льда, и снега,

И насмешки, страшный выбор огласил.

Ему решать, – речет. – Лишь Человек вершит

Судьбу – за ним учет ведут.

Он сам себе палач – и шут.

Остаться? Нет?

Зачем взывать о том ко Мне?

Коль жертвуя свободой и собой,

Ты добровольно лезешь на крюки,

К гвоздям, оковам, путам и цепям?

Сбеги!

И вдруг на том большом кресте,

У Сына на глазах,

Три миллиарда как один встают из сна!

Глядят сюда! Туда!

На руки, будто не видали прежде их,
Иль гвозди в тех руках,
На кровь на тех гвоздях —
Нет! Не видали никогда!

У храма ветер распахнул врата,
Шепча в алькове и у облаков,
Сюда вздохнул, сюда сказал:
И длань, и плоть, и гвоздь —
Подчинены тебе.
Прими удар – тебе тот молот взять,
С размаху руку опустить
И умирать.
Ты и мертвец,
Ты сам убийца свой
И ты же кровь,
И ты фундамент, что водицей алою залит,
Ты гонишь, щелкая кнутом,
И ты же Сын, что на Голгофе проливает алый пот,
И ты Толпа, что там потехи ждет,
Ты сочиняешь и себе же посвящаешь

плач,
Ты пленник, и пленитель – ты,
И ты мучитель, и себя ж во снах
Мильоноликий Ты в ночи
Поработил, чтоб на заре казнить.

Как мог ты быть так слеп?
Ты, на кресте, в венце?
Хозяин, раб в одном лице –
Так было весь твой срок, считай, —
Признай! Будь честней в конце!

Толпа с креста издала громкий стон,
Что как по сердцу нож.
Коленопреклоненный Иисус —
И тот желает уши вмиг зажать.
Он к звуку боли уж давно привык,
Но это! так невинность, пробудясь, вдруг зрит
Свои же раны; дети так
Встречают Откровение и свет:
Не выдержать ни мозгу, ни очам.
Война людей с собою так стара;
Но Человек, что вдруг находит корень

бед

В себе,

Открыл, что две его руки —

Равно как дети в дикой ссоре,

Что на задворках вечности идет?!

Ускорен его пульс,

Колотится у врат запястий, в голове, —

Как чернь, вовек не знавшая Закон.

Ответ его такой:

С печальным вздохом, чтоб умерить боль,

Он отрывает от креста ладонь,

Роняя молот, гвоздь забивший, из второй.

С печалью знает: лишь его рука дает, берет;

А зная, корчится, измученный виной

За время, что убито в муках зря.

Десяток тысяч лет назад он спрыгнуть мог

И не вернуться впредь!

И жуткий смех слетает с его уст —

Освобождает он.
Живет Дурак на свете! – он кричит.
И это я!
И с содроганьем смеха
Оковы рвет.
Звенят о мрамор гвозди, прочь катясь.
И чудо наблюдает Иисус:
Се мудро Человек ступает вниз,
Себе даруя то, что может он один:
Свободу.
А увидев Сына – символ во плоти
И во весь рост, —
Дает Ему пустую чашу, чтобы вдоволь пить,
И Христос, хмельной от смеха,
Такой же возглас издает —
В три миллиарда голосов:
И сотряслись колокола,
Стучали двери, отворясь и затворясь,
Звенят во склепах кости, словно ксилофон:
Мелодия Святых, что маршируют на-

пролом[65]
Под тот веселый гром!
А растворив в вине весь древний бред
И старый грех,
Подносит Человек к устам Христа:
Спасенья Кроху,
Не облатку, а улыбку всепрощенья,
Порыв смешка и радость образа его:
Дурак.
Каков шутник!
Христос, из новой школы старый ученик,
Смех проглотив, его сдержать не мог никак:
Смех кожу распирает, словно давят
На золотую дверь,
Он жаждет воздуха, утопленный в крови,
Христос, один когда-то Божий сын,
Теперь средь трех мильярдов не один:

---

[65] Примечания: 65
«When the Saints Go Marching In» — американский черный спиричуэл, ставший популярным джазовым стандартом. Одна из самых знаменитых записей — с участием Луи Армстронга в 1938-м.

Те братские сыны все тянут руки,
Чтоб их водил везде,
Сюда свернуть, туда сомлеть,
Вдыхая солнца, выдыхая свет
Сплошного дня длиной в эон…

У двери церкви лишь
Они оглянутся вдоль нефа лет
Взглянуть на крест, алтарь и красный дождь:
Экстаз печальный смерти и надежд
Оставлен, в боли позабыт;
Вчера шли на Голгофу; ныне – «Завтра» склон,
И пусть зудят ладони от рубцов:
На рынок, где неистов пляс
И Бог-Христос затерян в толчее,
Но скоро вновь мелькает тут и там
В трех миллиардах лиц! Смотри!
Летит в хрустальном пламени к тебе
Его унылый и смешной фрагмент.
Через единый град сыны сынов
В десятках тысяч миллионов прут;

несут свой острый ум – то есть свой смех —

Взамен венца. Смех выпущен на свет

Простой подсказкой, как веселие оковы рвет,

Кровавые шипы;

В их речи слышится «Дурак!» —

Его разучивает в школах всяк,

А заучив, в отличие от знатоков

Хайяма, не идет в дверь,

Какой входил:

А мчит к ракетам выше крыш

Навстречу ночи, космосу, звездам,

Навстречу Времени – единое лицо,

Едины плоть, покой, экстаз.

Рассыпалось распятье, гвозди гложет ржа,

Укушены облатки – как улыбки на

Той мостовой,

Где ветер еще ходит по ночам

Внимать и каяться в кабинках, на скамьях.

Я вижу сны и делаю дела,
Я ведаю и слышу,
Я забираю и даю,
Я меч и рана от меча.
Коль это правда, меч выпусти из рук.
Я у себя в объятьях.
Я смеюсь до слез
И плачу до улыбки,
И мы вдвоем, убийца и убитый,
Виновный и невинный,
Летим к Далекому Центавру[66],
Оставив пораженья, взять победы,
Стереть все смертные концы и порождать лишь новые начала,
За миллиард лет зорь и миллиард лет сна.

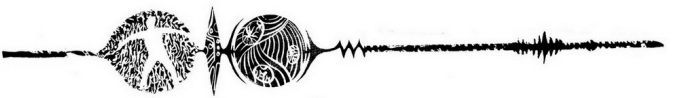
---

[66] Примечания: 66
Отсылка к рассказу Альфреда ван Вогта *The Far Centaurus*, 1944.

Послесловие

Что можно сказать об этой поэме? Скажем, что это метафора Христа и Человека, и того, что человек заперт в плоти, где Зверь рвет Человека, а Человек пытается приручить Зверя. Из всего этого получается Война. В многовековых попытках стать по-настоящему Человечным вопреки своей кровожадности, человек рыдает по утраченным возможностям, по множеству убийств, по своим мертвым детям, погибшим на этих Войнах. Христос — это и символ этой неудачи, и обещание новой возможности в конце концов одержать верх. Так говорит Брэдбери.

Предисловие «Царь горы»



Однажды вечером в Колледж-Стейшне, штат Техас, в обществе Чеда Оливера — почти легендарного имени в фантастике из-за малочисленности и невозможно высокого качества его рассказов, — я разнес ресторан и превратил формальный банкет, где я выступал, в сцену грабежа и разорения.

Так. Вы же явно слышали мифические байки о писателях. О «безумном воскресенье» Скотта Фитцджеральда, когда он бросился в бассейн у особняка своего продюсера. О том, как Хемингуэй выкинул свой первый роман — написанный *до* «И восходит солнце»,– за борт корабля, следующего из Парижа, потому что считал, будто писателю

негоже публиковать первую же книгу. О том, как Стейнбек шатался по убийственным барам в доках Джерси и вызывал на кулачные бои целые компании грузчиков. О том, как Фолкнер, работая в голливудской студии, часами печатал снова и снова на одной и той же ленте: «Парень получает девушку, парень получает девушку, парень получает девушку…»[67] Есть истории и о вашем Почтенном Редакторе — который ни на *миг* не постесняется показать на людях эго огромных размеров и позволить себе встать в один ряд с вышеупомянутыми господами, — и слишком уж эти истории о насилии и разрушениях смахивают на чистейшие выдумки. И часто так оно и есть. Но кое-что и правда случалось, и всегда найдется тот, кто все видел: Силверберг видел, как на меня напал пьяный великан-пуэрториканец с разбитой квартовой пивной бутылкой; Аврам Дэвидсон видел, как я вошел в самую гущу уличной банды в Гринвич-Виллидже, когда они уже были готовы размазать нас по стенке; девушка по имени Тони Фельдман видела, как я вытащил старушку из горящей машины — после того как та

[67] Примечания: 67

При работе над сценарием «Милдред Пирс» (1945) Фолкнер на много страниц писал: «Парень встречает девушку… Парень получает девушку… Парень теряет девушку… Парень судится с девушкой…»

врезалась в забор, и до того, как машина рванула; Норман Спинрад видел, как из меня выбил дурь мордоворот из банды мошенников в Милфорде, штат Пенсильвания; а Чед Оливер видел, как я мобилизовал ресторан.

Я ценю всех этих людей. Не только потому, что они неопровержимо подтверждают существование перипетий, в которые я периодически влипаю, и тем самым спасают от ярлыка прожженного лжеца, что я иначе бы носил, а потому, что служат для меня ориентирами, помогают отличать красочную ложь, что я плету о себе ради красного словца, от действительно невероятных событий, произошедших на самом деле.

И чего я горячо желаю — чтобы эти люди оставались живы и здоровы, ведь без них пропадут и те немногие осколки реальности, за которые я так отчаянно держусь.

Поэтому спросите Чеда о том вечере.

Это единственный раз, когда мы встречались, и этим исчерпываются мои личные истории о Чеде. Кроме того, что это крупный и приятный мужик с курительной трубкой. Остальное он поведает сам:

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. Родился в Цинциннати, штат Огайо, 1928 год. Все Оливеры-

мужчины становились врачами (отец, дед, дядя), поэтому я мутант. Переехал в Кристал-Сити, штат Техас, на втором году старшей школы. Я ее любил — играл в футбол, был редактором школьной газеты, заводил дружбу, которая держится до сих пор. (Этот город служит местом действия в романе «Тени на Солнце» — *Shadows in the Sun*.) С тех пор помотался по Техасу (Галвестон, Керрвилл, теперь вот Остин), но, наверное, могу смело называть Техас Родиной. В 1952 году женился на техасской девчонке; ее знают как Бетти Джейн, Бижи и Би Джей. Есть двое детей: дочь Ким, 17 лет, и сын Глен, 5½. Можно сказать, растягивали их рождение.

НАУЧНАЯ КАРЬЕРА. Бакалавр и магистр искусств в Техасском университете. Защищал докторскую диссертацию (по антропологии) в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA). Я культурный антрополог, с особым интересом к культурной экологии, индейцам Великих равнин и этнологии Восточной Африки. Звание — полный профессор, если это кого-то волнует, а также заведующий кафедрой антропологии Техасского университета в Остине. Уникален тем, что люблю преподавать, особенно студентам. Обычно читаю лекции нескольким сотням

студентов каждый семестр; из этого числа дай бог трое-четверо знают, что я пишу фантастику. Узнаю их по мелким проницательным глазкам.

ЛИТЕРАТУРА. Я открыл для себя фантастику в детстве, еще в палеолите. Даже помню, какой рассказ меня зацепил: «Сокровище Громовой Луны» Эдмонда Гамильтона в старом и толстом *Amazing*. Я вскочил на велосипед, помчал обратно к газетному лотку и скупил все журналы фантастики, какие нашел. Купил б/у пишмашинку и — в 15 лет — начал Писать. Семь лет спустя Тони Бучер купил мой первый рассказ. С тех пор я продал практически все, что написал,– в основном фантастику, но вдобавок и пару исторических вестернов для *Argosy* и *The Saturday Evening Post*. Боюсь, я не очень-то плодовит — всего около 50 рассказов и повестей, большинство выходили в антологиях.

Среди книг: «Туманы рассвета» (*Mists of Dawn*, 1952), «Тени на солнце» (*Shadows in the Sun*, 1954), «Другой вид» (*Another Kind*, 1955), «Ветер времени» (*The Winds of Time*, 1957), «Неземные соседи» (*Unearthly Neighbors,* 1960) и «Волк — мой брат» (*The Wolf Is My Brother*, 1967). Последний в 1967-м получил награду в категории «Лучший исторический роман-вестерн» от Писателей вестернов

Америки. В 1971-м выходят новый фантастический роман — «Берега другого моря» (*The Shores of Another Sea*) в *NAL* (*Signet*)[68] — и новый сборник «Край вечности» (*The Edge of Forever, Sherbourne*).

Все это, наверное, очень мало говорит обо мне. Может, и бог с ним. Я серьезно отношусь к литературе и стараюсь писать, как умею. Если обо мне и стоит что-то знать, то это, надеюсь, можно найти во всех тех словах, что я с трудом перенес на бумагу.

И напоследок три пункта.

1) Полное имя — Симмс Чедвик Оливер. В антропологии пишет под именем Симмс Ч. Оливер; в художественной литературе — Чед.

2)*Publishers Weekly* за 3 мая 71-го анонсирует: «*Sherbourne Press* из Лос-Анджелеса выпустит первый сборник фантастических рассказов Чеда Оливера в твердой обложке. Все рассказы написаны на антропологическую тему». См. выше.

3) «Царь горы» — один из лучших, самых мастерских и запоминающихся рассказов в творчестве Чеда, и для меня большая честь, что свой

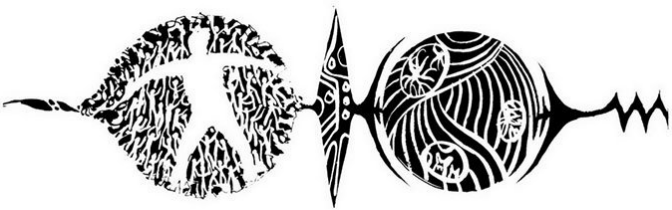
---

[68] Примечания: 68

NAL, The New American Library (*англ.*), «Новая американская библиотека» — издательство, основанное в 1948 году Куртом Энохом и Виктором Вейбрайтом; «Сигнет» был одним из двух основных издательских проектов (вторым был «Ментор»).

первый рассказ за сколько-то лет он продал для этой антологии. А теперь читайте и наслаждайтесь.

Царь горы
Чед Оливер



Она парила в великой пустоте, все еще теплая, мягкая и сине-зеленая, если смотреть с расстояния в несколько тысяч миль, все еще поцелованная и уложенная под одеяло облаков.

Мама Земля. Уже постаревшая, подуставшая, постельное белье испачкано выделениями, тело побито и помято после миллиардов забытых страстей.

Как и многие матери до нее, она родила чудовище. Он еще не вырос — не по мерке планет, — и

были у нее и другие дети. Но этот все-таки вырос достаточно. И захватил дом.

Как его зовут?

Сами знаете; уже никаких сюрпризов не осталось. Человек. Большой Папочка от приматов. Обезьяна, которая ходит, как курица. Гомо сапиенс. Ах, этот создатель орудий, болтатель языками, разжигатель огней, сексуальный извращенец, мечтатель, разрушитель, творец мусора…

Ты меня знаешь, Эл[69].

Свет мой, зеркальце, скажи…

Имя мое — муравей, а дело — муравейник.

Людей много, слишком много. У них есть имена.

Начать хоть с этого: Сэм Грегг. Что, не нравится? Ни о чем не говорит? Не изящное? Не тот этнос?

Мало кто среди человейника любил Сэма Грегга. Парочке, может, было не наплевать на его имя. Которое знал миллиард-другой.

Большинство его ненавидели до печенок — и завидовали ему.

Но Сэм Грегг никуда не девался — велик, как сама жизнь, и в два раза страшнее.

---

[69] Примечания: 69

Цитата из популярного комикс-стрипа начала XX века «Ты меня знаешь, Эл» (*You Know Me Al*), о бейсболисте Джеке Кифе, который пишет письма другу Элу Бланшарду.

Он торчал, как бельмо на глазу.

Булыжник посреди песка.

Снова хотят его прижать.

Сэм Грегг почувствовал давление. Были времена, когда он только этим и жил: бьет ключом адреналин, горячится кровь. Да, а еще были времена, когда по земле ходили динозавры. Сэм родился в год, когда человек впервые ступил на Луну. (Его это забавляло, когда он подрос достаточно, чтобы оценить. Причем ступил не кто-нибудь, а космонавт с нелепой фамилией Армстронг. И его верный помощник Базз. А старый добрый Майк грел им место. Господи.) А значит, Греггу уже под сто лет. У него были хорошие врачи, лучшие. Прожить сто лет — не чудо, не в те времена. Но он все-таки уже не пацан, как время от времени демонстрировал в постели с Лоис.

Атаки против него были не самые утонченные, но все-таки цивилизованные. То есть в лицо сволочью никто не назовет, убийцы подступали со статистикой и банальностями, а не с ножами и петлями.

Пункт первый. В Вашингтоне старый добрый сенатор Рэли — миллионер, защитник бедных, — предложил на рассмотрение билль. Если ободрать с него все нечленораздельные

риторические прикрасы, билль заявлял, что подводное строительство — это уже обычное дело, а следовательно, в этой сфере не должно быть никаких лазеек неуплаты налогов для так называемых инвестиций рискового капитала. Эта маленькая стрела летела в одну из компаний Сэма — собственно, сразу в несколько, хотя сам-то слабоумный Рэли, скорее всего, об этом ни слухом ни духом. Сэм не пропустит билль, но это будет стоить денег. И это раздражало. У него и так дорогостоящее хобби.

Пункт второй. Сэм держал на довольствии кучу смышленых ребят, чья единственная работа — не пускать его имя в средства массовой информации. Получалось так себе — вот вас не знает миллиард людей. И все-таки Сэм уже почти год не подвергался полномасштабным, нелицеприятным, динамичным, смелым, личным изучениям под микроскопом. Одно скоро ожидало — на «Всемирном канале». Человек-загадка раскроется! Самый богатый человек в мире разоблачится! Отшельник попал в капкан бесстрашных репортеров! Сэма это не радовало. Земля больна, набита битком от полюса до полюса голодными и отчаянными людишками. Поди придумай шутку глупее, чем возлагать надежды

на будущее всего человечества на контроль рождаемости. Больному миру требовалось выместить гнев. Единственной надеждой Сэма оставалась незаметность. С этим он не справился, и в конце концов ему это аукнется. И все-таки отыграть бы еще немножко времени…

Пункт третий. Делегат ООН от Арктической Республики заявлял, будто арктических граждан эскимосского происхождения не берут на высокие административные должности в компаниях, получивших лицензию на работу в Республике. «Мы не можем допустить и не допустим, чтобы прославленные технические таланты нашего народа служили поводом для современной колониальной эксплуатации», — говорил он. Обвинение, конечно, стоило не больше прогорклой ворвани; Сэм уважал эскимосов не меньше остальных и в любом случае внимательно следил за подобными щекотливыми моментами. Ну да ничего. Придется вытерпеть слушание, дать компьютерам помучить факты, подкинуть кое-кому сюжеты, подмазать в нужных местах. Корень всего зла разрастался в кустарник популярности.

Были и другие пункты, в основном рутина. Над ними Сэм не ломал голову сам — не приходилось вот уже пятьдесят лет. («Мистер Грегг ничего не

делает *лично»*, — как высказался в знаменитом интервью один помощник.) Сэм раскидывал все задачи по подчиненным; для того те и нужны. Но все-таки держал руку на пульсе. Правитель, который не знает, что творится у него в империи, напрашивается на ранний визит отряда головорезов, которые препроводят его в забвение. Были и другие пункты: обычные призывы поддержать Важные Дела, пожертвовать на Благотворительность, выручить Старых Друзей. Сэм отказывал всем без угрызений совести, даже для этого палец о палец не ударив: его помощники и так знали, что делать. Пенни доллар бережет…

На самом деле Сэм и не волновался: в худшем случае его потревожат, а это хроническая жалоба любого руководителя. Его еще не раскусили. Не было ни малейшего признака утечки там, где это важно. Вот если *это* попадет в воздухоочиститель, тут уж вонь поднимется такая, что почуют даже на лунных базах.

И все-таки давление он чувствовал. Он же человек — по крайней мере, по своим оценкам. От общественного давления существовало классическое средство, известное знатокам языка под названием «убраться подальше». Средство, недоступное подавляющему большинству некогда

человеческих существ по той простой причине, что убираться уже стало некуда.

(«Как вы добились долгой и успешной жизни, мистер Грегг?» — «Что ж, я отправляю своих жен на пенсию, чтобы у меня всегда была молоденькая, и слежу, чтобы она говорила поменьше. Пью много хорошего алкоголя, но никогда не напиваюсь. Не ем мяса. Когда находит депрессия, пересчитываю свои деньги. Если мне неспокойно, слоняюсь по поместью, пока не полегчает. Стараюсь нарушать хотя бы три закона в день. Я всем обязан тому, что я настоящий злодей».)

Сэм Грегг мог пользоваться этим средством — и пользовался.

Ему, конечно, даже не пришлось покидать свои владения.

Сэм *никогда* не покидал Поместье. (Ну почти.)

Он отправился из пентхауса в небоскребе на личном метро и вышел на природу. Ну или так он это называл про себя, хотя это не совсем верно. Над тысячей акров его собственности стоял миниатюрный купол жизнеобеспечения. Очистка воздуха влетала в копеечку, но иначе было нельзя. Это было нужно и Сэму, и его животным.

Это те два закона из трех, что он нарушал каждый день. В мире, задушенном бессчетными

тоннами человеческого мяса настолько, что земля на душу населения измерялась в квадратных футах, Сэму Греггу принадлежало больше тысячи *акров*. Более того: он не делал на этой совершенно незаконной земле ничего полезного. Он содержал на ней животных. Даже собаки вот уже четверть века находились вне закона, а то, что считалось мясом, выращивалось в чанах на фабриках. Когда голодают люди, переводить еду на домашних питомцев — это преступление. (Это кто сказал? Ну люди, кто же еще.) Почти все зоопарки закрылись; парки, леса и луга целиком ушли в прошлое.

Сэм сделал глубокий вдох, упиваясь воздухом. В самый раз — и даже не совсем искусственный. Прохладный, благоуханный от живых ароматов: деревья, мокро-зеленая трава, вода, что скользила по камням и слою почвы, мягкому и толстому.

Это все, что осталось, и Сэм это прекрасно понимал.

Таким когда-то был мир, теперь утраченный навсегда.

Пришел человек, могучий человек. О, он был умен, он был горазд. Он превратил моря в отстойники, воздух — в жижу, горы — в визжащие города. Кто-то однажды сказал, что один шим-

панзе — это не шимпанзе. И правда: они были социальными животными. А что тогда сказать о десятке тысяч шимпанзе, втиснутых на одну квадратную милю? Это тоже не шимпанзе — это уже бешеное мясо на выгуле.

О, человек умен. Насиловал мир до тех пор, пока уже не мог в нем жить, и тогда стал звать на помощь.

Не звони, Эл. Я тебе сам позвоню.

Сэм покачал головой. Без толку теперь забивать этим голову. Он не мог примчаться на помощь, даже со всеми своими миллиардами. Он не отличался большим уважением к собратьям, но если бы и отличался, то это бы ничего не изменило.

Оставалось попробовать только одно.

Сэм попытался об этом не думать. Надо протянуть на свете еще немного. Надо расслабляться, смаковать, наслаждаться…

Он прошелся по немощеной тропке — скорее всего, последней на планете. Он вдыхал чистый воздух, чувствовал на себе тепло солнца, проникающее через купол, впитывал…

На деревьях верещали белки, в кустах кролики занимались кроличьими делами. Он заметил оленя — величественного самца с замшелыми рогами; тот сбежал, стоило увидеть Сэма. Знал,

кто ему враг. Сэм видел тощего енота — самку, что уставилась на него из-за своей бандитской маски. С ней были три малыша, очень смелых, но мама загнала их на дуб, подальше от опасности. Он видел, как три их крошечные маски смотрят на него с веток.

Тропинка шла вдоль холодного быстрого ручья. Сэм наблюдал за темно-оливковыми тенями в заводях. Форель, разумеется. Для окуней и карпов Сэм провел черту.

Он вышел из деревьев на поле с высокой травой. Цвели желтые цветы, в воздухе гудели насекомые. Он чувствовал близость жизни во всех формах и проявлениях, но не мог разглядеть в волнующейся на ветру траве. Там была и жизнь, и смерть, и снова жизнь.

Но ненадолго.

Он развернулся и прошел назад по тропинке. Ему уже полегчало.

Еноты так и сидели на дубе.

Сэм вернулся в помещение. Обратно на каторгу.

И вкалывал до ужина.

— Какой был час? — спросила Лоис, рассеянно поглаживая свою удивительную ногу. (У нее их было две.)

— Не помню, — ответил Сэм. — Я тогда был очень маленьким.

— Хватит, Сэм. Я не дурочка. Не говори, что со всеми ресурсами своих таинственных предприятий *не можешь* узнать точное время.

— Я уже сказал. Я не знаю.

Сэм посмотрел на нее — это всегда приносило удовольствие, с оттенком опасности. Лоис была чувственной, но без единой капли нежности. Она вся была лакированная поверхность, натянутая на тугих пружинах, как кожа барабана. Всегда выглядела идеально, но при этом формально — даже в повседневной одежде. Никогда не забывалась. Она была вызовом — и время от времени это бодрило. Все равно Сэм был так стар, что мог без позора отказаться от многих вызовов.

Лоис не надо было лишний раз напоминать, что у нее была голова на плечах. *Эту* ошибку Сэм уже никогда не повторит. Его брошенная вскользь фраза о «таинственных предприятиях» — по сути, угроза. В свои тридцать она забралась на высший пик, согласно своей системе ценностей: стала женой самого богатого человека в мире. И она не довольствовалась частью. Она хотела все. У Сэма не было детей.

Умная, да. Хитрая, да. Талантливая — опреде-

ленно. Верная телом, да — Лоис без нужды не рисковала. Но в этой голове с идеальными очертаниями скрывался мозг, работавший только на вывод; *внутрь* ничего важного не входило. Твердые фиолетовые глаза смотрели из студня, образованного во времена неолита.

Из нее вышла бы чудная ведьма.

Она проводила время за развлечениями с дорогой одеждой и малоизвестной косметикой. Она собирала библиотеку из настоящих книг, чтобы доказать свои интеллектуальные способности. Все они были о реинкарнациях и астрологии. Она считала себя экспертом по гороскопам. Были у Сэма на этот счет разные шутки, но он сдерживался. Он не был жестоким человеком.

— Я хочу тебе помочь, — сказала она. — Тебе же надо принимать решения. А это поможет. Правда, Сэм.

Она говорила искренне, как все фанатики. Это был тот подарок, что она могла ему сделать, и для нее это было важно. Древняя загадка для женщин вроде Лоис: что подарить мужчине, у которого есть все? Шуточные подарки очень быстро набивают оскомину, и Сэм был не из тех, кого легко рассмешить.

Он попивал скотч, смакуя каждый глоток. Он

всегда пил скотч — ничего лучше в лабораториях создать не могли.

— Что ж, — начал он. — Я понятия не имею, в какую минуту родился. Я бы вообще хотел забыть о своем дне рождения.

Лоис не теряла терпения.

— Но узнать так просто.

— Но мне наплевать.

— А мне — *нет*. Как же я? Это мелочь. День я, конечно, знаю. Но если луны Сатурна находились в правильном положении…

Сэм поднял брови и перед ответом сделал большой глоток скотча.

— Они всегда в правильном положении, — аккуратно сказал он. — Это же луны.

— О, Сэм. — Она не пустила слезу — кое-чему уже научилась.

Сэм Грегг встал, чтобы плеснуть себе еще. Ему не нравилось иметь дома навязчивых роботов. Самодостаточность и все такое.

Он хорошо себя знал. Он не выглядел на свой возраст. Был высоким, угловатым человеком. Еще не растерял силу. Волосы седые, не белые. Грубое лицо покрыто морщинами, но в теле ни капли жира. Карие глаза ясные, как грязный лед.

Иногда Сэм представлял себя вампиром в ка-

ком-нибудь из до сих пор популярных эпосов. («Ах, дражайшая моя, добро пожаловать в замок Мордор. Прошу извинить, пока я поправляю вставные зубы…») Мужчина в расцвете сил, даже видный. Но потом, внезапно, в самый неподходящий момент он возьмет и рассеется в первобытную пыль…

— Давай-ка на боковую, — сказал Сэм, опустошая стакан. — Может, тогда вспомню.

— Я тебе помогу, — сказала Лоис, заступая на службу.

— Тебе придется, — согласился Сэм.

В следующие недели Сэм трудился на износ. Даже нашел время узнать час и минуту своего рождения. Словом, соблюдал осторожность, старался предусмотреть все.

Лоис была в восторге. Ретировалась к своему таинственному котлу, сверялась с иллюстрированными таблицами, посовещалась с парочкой мертвых индейцев и сообщила Сэму, что он, оказывается, подумывает о долгой-долгой дороге.

Сэм не расхохотался в ответ.

Его работа была сложной потому, что требовала долго ждать. Приходилось жонглировать множеством программ, приведенных в действие много лет назад. Все должны были идеально совпасть.

Все зависели от труда других людей. И все надо было скрывать.

А это непросто. Как, например, скроешь парочку космических кораблей? Особенно если они постоянно взлетают и садятся со всей скрытностью стада трубящих слонов?

(«Где космический корабль? Не вижу никаких кораблей. А вы видите?»)

Ответ: их и не скрываешь. Их объясняешь. Сэму для видимости принадлежала космическая станция на земной орбите. Он руководил ею через мозаику взаимосвязанных компаний, отечественных и зарубежных. Ничего удивительного, что у него на службе состоит несколько шаттлов. Должен же человек присматривать за своим бизнесом.

Принадлежала космическая станция, папа?

Да, младшенький. Послушай, сынок, и ты услышишь…

Великая космическая мечта пошла прахом. Оказалась громким пшиком. Провалилась с треском.

Тропы, проложенные космическими первопроходцами, кончались — вполне буквально — Нигде.

К счастью или несчастью, Могучий Человек

не мог создать Солнечную систему по своему образу и подобию. Солнечная система — адское местечко, причем не только Плутон[70]. Маловато планет с услужливо предусмотренной растительностью. Сплошные кратеры да булыжники, жар да холод, безжизненная пыль и замороженные химические вещества.

Были и другие солнца, другие планеты. Подумаешь. По-прежнему не существовало космических скачков, сверхсветовых двигателей. Новости от беспилотных исследовательских кораблей доходили не скоро и танцев на улицах не вызывали: кратеры, булыжники, запустение. Кто готов потратить целую жизнь, чтобы угодить в Нигде?

Вот вы готовы? (Нет уж, лучше к бабушке съезжу.)

На Луне основали научные базы, и они уцелели. Уцелели огромной ценой, благодаря железной дисциплине и профессиональному персоналу. И даже его приходилось сменять через короткие промежутки времени.

Радиация, понимаете ли. Чего только не вытворяет со старыми добрыми хромосомами.

---

[70] Примечания: 70

С 2006 года, после открытия сопоставимых с Плутоном объектов Солнечной системы, Плутон официально утратил статус планеты, а с 2008-го стал считаться плутоидом (подвид карликовой планеты).

Марсианская колония, разрекламированная полвека назад как решение кризиса перенаселения, если и оказалась решением, то только в мрачном смысле окончательного. Даже с куполами жизнеобеспечения — а Сэм спустил целое состояние на первые модели, хоть и научился на этом опыте, — ничего не вышло. Пять тысяч человек отправились на Марс начинать Новую Жизнь. (Капля в море, конечно. А разговоров-то было о Началах, Героических Предках, Первых Шагах.) Кое-кто смог вернуться. Большинство погибли, сошли с ума или и то и другое. Кое-кто там так и остался, хотя широкой общественности это было неизвестно. Людьми они уже не были.

Беда в том, что построить научную базу на Марсе возможно — и даже военную, если потребуется. Но солдаты на Марсе никому не нужны, и комитеты по ассигнованиям уже давно бросили свою старую игру «Кто потратит больше?». От ученых на Марсе толку было не больше, чем на Луне. А люди — простые заурядные люди, наводнившие Землю и пытавшиеся выжить, те самые, кого надо было высылать, — на Марсе существовать не могли.

И что тогда?

А тогда, детишки, остатки космической про-

граммы передали тому, что зовется «частный сектор экономики». Включили свои бейджики расшифровки? Читаем: С-э-м Г-р-е-г-г. Правительства не могли и дальше прожигать миллиарды на космос, когда на это не было *приземленных* причин. Зато с готовым оборудованием и накопленным опытом пара предприятий обходились Сэму Греггу не так дорого. Разумеется, оставался вопрос мотивации. У Сэма Грегга она была, и к тому же имелись другие источники дохода.

Надо было скрывать и другие проекты, но с ними уже проще, чем с космическими кораблями. Генетические исследования? Ну, рак все еще выкашивал население, а все хотят жить вечно. Это же работа во благо человечества, а значит, даже достойна восхищения. Экологические исследования? Всю планету хоронила ее экология — решение требовалось срочно. (На данный момент его так и не нашли — ну и что? Это Хорошо. Все так говорили.) Компьютеры, роботы, кибернетика? К ним и вовсе не придерешься. Ведь это же они привели нас в Золотой Век? Правда?

У Сэма Грегга хватало недостатков — спросите кого угодно,– но пустых мечтаний в их числе не назовешь. Он *знал*, что у него все получится, — дайте только срок. Все получится, если раньше

его не раскусят. Все получится, потому что у него хватало ресурсов, а весь вопрос, по сути, был в технологии. Даже самые сложные технологические проблемы решаемы, если только речь не о полной фантастике. Можно построить подвесной мост, отправить человека на Марс или куда угодно, строить города на дне морском.

Есть и другие проблемы — человеческие. Как построить мост между людьми? Как отправить на Марс хорошего человека? Как построить город-муравейник, который не станет клоповником? Все это деньги уже не решат. Не решит риторика. Не решат технологии.

Следовательно, в это Сэм и не лез. Пользовался для защитной окраски, но и не тешил себя иллюзиями.

Он держался искусства возможного.

О да, у него была мечта.

В ней имелась некая справедливость. Но людей не волнует справедливость. Человека волнует только он, любимый.

Любимые?

Сэм позволил себе краткую холодную улыбку.

Его бы разорвали, если бы знали, все эти миллиарды любимых…

Настал день, когда все детали головоломки

сложились. Вернулись закодированные данные с расстояния в пустые сотни миллиардов миль. Сошлись приходы-расходы. На светофоре загорелся зеленый.

Сэм ликовал, но про себя. Он, конечно, и так знал, что все получится. Перепроверял бессчетное число раз. Но то в теории, а Сэм скептически относился к теориям.

Теперь перед ним был факт.

Все готово. Не идеально, нет — но и это ожидаемо.

Ну разве наука не удивительна?

Он не мог сидеть взаперти, когда оказался так близок к решению. Надо было выйти, прочувствовать то, что еще осталось от свободы. В такие времена мало знать, что это есть. Надо это *видеть*.

И он прогулялся по Поместью.

К нему присоединилась Лоис — это, конечно, грудная и головная боль, но Сэм не дал ее присутствию испортить себе настроение. Лоис нацепила один из своих хитрых Уличных Костюмов. Она всегда уверяла, будто обожает то, что называла Природой, но при этом ступала так, будто каждая травинка — это ядовитый плющ.

(Ядовитый плющ вымер много лет назад. Скоро

за ним отправится и Лоис.)

— Как здесь мирно, — произнесла она. Так она здесь обычно и говорила.

К ее удивлению, Сэм ей ответил. Ему надо было кому-то выговориться. Отпраздновать. За невозможностью этого он обратился хотя бы к Лоис.

— Нет, — сказал он. — Не мирно. Только выглядит мирным, потому что мы внешние наблюдатели, а не принадлежим к этому. И все в какой-то мере находится под контролем.

Лоис пронзила его взглядом. Это была одна из его самых длинных речей.

— Видишь кедр? — Сэм показал, зная, что сам не отличает кедр от тополя. — Упрямое деревце. Растет на скудной почве, не требует много воды. Видишь, как поднимаются к поверхности корни? Но он хрупкий. Долго не протянет. Его закрывает вон тот дуб, и у него в распоряжении века. А видишь маленькую иву — вон, плакучую? Ей нужно слишком много воды, а стоки здесь плохие. Никогда не приживется. Тебе скучно?

— Нет, — честно ответила Лоис. Слишком удивилась, чтобы ей было скучно.

— А видишь кролика? — Голос Сэма скатился в пародию. — Смотри, кролик бежит! Беги-беги. Много кто ест кроликов. Ястребы, рыси, волки.

Кроликов едят змеи…

— О, Сэм.

Словно в подтверждение его слов, из кустов показал свой мокрый нос бигль. Нерешительно мотался его хвост с белым кончиком. Жидкие глаза казались лужами обожания. (Изначально биглей разводили для охоты. Помните?)

Сэм отвернулся от собаки.

— Лучший друг человека. Главный оппортунист. Подсчитал шансы двадцать тысяч лет назад и переметнулся к нам. К-9, секретный агент. Легавый. Филер. Уже лишний. Старый приятель.

— Иногда я тебя не понимаю, — проговорила Лоис с редкой проницательностью.

«Я их тоже не понимаю, — думал Сэм. — Не женщин. Животных. Маленьких лесных друзей. И никто их не понимает. Мы были слишком заняты. До самых тридцатых не существовало приличных полевых исследований шимпанзе. Спустя семьдесят лет не осталось шимпанзе. Нас не волновали животные, не похожие на людей; какая разница? Мы ни черта не узнали о куду и медведях, енотах и опоссумах, барсуках и буйволах. А теперь поздно. Все ушли или уходят, как и их планета».

Сэм Грегг не был сентиментальным человеком.

Он был реалистом. И все-таки факты не давали ему покоя. Тяжело что-то не знать. А теперь он не узнает никогда — и точка. Уже невозможно.

Они шли по тропинке вместе. (Рука об руку, прелестная пара, основа империи.) Сэм немного нервничал. Он вел долгую битву, а теперь, как говорили раньше, победа близка.

Он чувствовал себя отчасти как Бог и во многом — как старик.

С веток кривого дуба за ними наблюдали мама-ша в маске и три маленьких бандита.

В воздухе разливались древние енотьи мысли.

Ты готов.

Так давай. Без колебаний.

И Сэм решился.

Звучит драматично?

Это как было драматично (в очень долгой перспективе), так и не было (здесь и сейчас). Чрезвычайно сбалансированный, герметичный, невинного вида транспортник покинул главную лабораторию и тихо пошипел себе в космопорт. В шаттл поместили большой серый металлический ящик и зафиксировали на месте. Тот ящик был десять квадратных метров площадью и очень тяжелый. Мог бы быть намного меньше и легче — размером с джиггер для виски, — если бы не

холодильные установки, электросхемы, отдельные ячейки и защитные слои.

Шаттл взмыл на космическую станцию. Строго по расписанию.

Там серый металлический куб очень аккуратно перенесли на основное судно. Это был особый корабль, для дальнего плавания. Набитый под завязку дорогим оборудованием. Скажем, на миллиард долларов.

А то и больше.

Корабль отправился. Он был полностью автоматический: управлялся компьютерами, питался атомной энергией.

На борту не было людей.

Корабль не вернется.

А Сэм?

Остался дома.

Ему было некуда податься.

Не забыли?

Интересно, как много людей может оскорбить маленький жест.

Смертной казни больше не существовало — если не считать ею саму жизнь на Земле, — но в случае Сэма добрые люди были готовы пойти на исключение.

— Значит, вы вкладывали двадцать миллиар-

дов долларов в течение десяти лет, — сказал его старший юрист. Тем же тоном, каким мог бы спросить: «Значит, вы считаете себя кумкватом?»

— Плюс-минус пара миллионов. Конечно, основополагающие исследования начались еще раньше. Если подсчитать все, может дойти до двадцати двух миллиардов. Или двадцати трех.

— Неважно, — простонал юрист. Буквально простонал.

Лоис не обрадовалась и стала совершенно ледяной. Она оказалась замужем не только за без пяти минут банкротом, но и за величайшим преступником. Такое не на пользу общественному положению.

(Замолчать случившееся, конечно, не выйдет. Сэм это понимал. Слишком много людей участвовали.)

Злопыхатели наконец дорвались: сенаторы и редакторы, президенты и короли, копы и комиссии, профессора и разные выскочки. Весь Добрый Народ.

Сэм, мягко говоря, нарушил общественное доверие. (Читай: не тратил деньги на то, что хотелось им.)

Он виновен в преступлении против человечества. (Судья и суд присяжных, а также обвини-

тель? Человечество. Всей душой.)

И не имело никакого значения, что двадцать миллиардов долларов (или двадцать два, или двадцать три, или сто) не спасли бы Землю. Земле пришел конец — ее задушил самый выдающийся отпрыск. Случится это не сразу: пока она еще хватает ртом воздух и опорожняется в судно. Но назад пути нет.

Человека никогда сверхособенно не заботили факты.

Он верил, во что хотел верить.

(«Может, все плохо, но будет лучше. Нам просто надо продолжать в том же духе, да? Блюсти закон. Обращаться за советами к свами[71]. Провести слушания. Спасение с помощью архитектуры. Что нас не убивает, делает сильней. У всех проблем есть решения».)

Грех Сэма был непростителен еще по одной причине.

Понимаете ли, у животных нет права голоса.

Его защита?

Ясна, проста, правильна и неоспорима. А зна-

---

[71] Примечания: 71

Свами (*хинд.* svāmī — «учитель, господин, князь») — отшельник или йогин, получивший посвящение в религиозном монашеском ордене; почетный титул в индуизме. Обращение используется как к мужчинам, так и к женщинам. Происходит из санскрита и означает «владеющий собой» или «свободный от чувств».

чит, обречена.

(«Устроим честный суд, а потом его повесим».)

В глубине души, где пускают корни верования, Большой Человек ожидал найти на других планетах соизмеримый разум. («О, землянин, ты удивлен, что я так хорошо знаю твой язык?») Не нашел. Нашел только голые камни в конце дороги.

Из этого пришлось сделать характерно скромный вывод.

Человек решил, что он одинок в достижимой Вселенной.

Ошибочка. Первобытные люди ее бы не совершили, но первобытных людей уже и не осталось.

Простая правда в том, что это *Земля* уникальна и одинока. Земля породила жизнь. Не только самонареченного Царя Природы, не только суперпримата. Нет. Он вообще-то опоздал к раздаче, был последним гостем.

(«И все эти подарки только для *меня*!»)

Один? Человек?

Да не совсем.

Существовал миллион *видов* насекомых. (Тащи спрей, Генри.) Двадцать тысяч видов рыб. (Поймал, поймал!) Девять тысяч видов птиц. (В музее до сих пор можно увидеть чучело совы.) Пятна-

дцать тысяч видов млекопитающих. (Берешь стрелу, вот так, натягиваешь тетиву на лук…)

Один? Ну конечно, не считая кенгуру и бандикутов, землероек и скунсов, летучих мышей и слонов, броненосцев и кроликов, свиней и лис, енотов и китов, бобров и львов, лосей и мышей, и ориксов, и выдр, и опоссумов…

В общем, всех *их*.

Да.

Их тоже породила Земля. И каждый по-своему удивителен. Важны ли они? Только если вдруг считать, что важна единственная известная жизнь во Вселенной.

Человек так не считал. О нет, не он.

Не старый добрый совершенный итог эволюции.

Он, конечно, убил не всех. Не так долго существовал. Динозавры справились с вымиранием и без его помощи. Были и другие.

Но и он постарался на славу. Надо отдать должное — он умел действовать эффективно.

И начал с места в карьер. Помните гигантского ленивца, мамонта, мастодонта? Нет? Странно.

И он уже не останавливался. Хотя сохранял удивительную объективность. Своих сородичей убивал не меньше. Орангутанг отправился в про-

бирку, когда Сэм был еще мальчиком, а горилла, бурундук и гиббон — немного погодя.

Уж простите, ребята.

И со временем человек добрался до всех. Причем лучше, чем в прежние времена. Он уже не рисковал — не рыл ямы, не стрелял из ружей. Просто всех вытеснил. Там, где миллиарды и миллиарды голых обезьян покрывают Землю штабелями, больше никому не найдется места.

Бывай, Саврасый.

Было приятно познакомиться, Барбос.

Прощай, Киска.

Ничего личного, сами понимаете.

Все во имя человечества. Разве может быть мотив возвышенней?

И что, вот это — защита?

Так какого черта сделал Сэм?

А сделал он следующего черта.

Сэм Грегг решил, что человечество нельзя спасти. Не то что «не стоит» (хотя Сэм, надо признаться, не пускал слезу, вспоминая о человеческой плоти), а «нельзя». Поздно — и было поздно, когда Сэм появился на свет. Человек отравил свой мир, а новых Земель не раздают.

На других планетах человеку не выжить — только с серьезными генетическими измене-

ниями.

А добровольно человек меняться не любит.

Совершенство он или нет, в конце концов?

Оставались животные. Другие дети Земли, задвинутые в сторонку. Безгласные. Неудачники. Бессильные.

Можете назвать это «искусством возможного».

Имели они значение? Если это единственная жизнь во Вселенной? Кто знает? Кто решает?

Ну, например, Сэм. Скорее всего, псих. И все-таки он мог играть в Бога не хуже любого другого. Денег у него на это хватало.

Тогда выберем планету. Не Марс. Слишком близко, и там еще шныряют бывшие люди. С *ними* связываться не захочется.

Сэм выбрал Титан — шестой спутник Сатурна. Довольно большой, диаметр — 5150 километров. Имелась своего рода атмосфера, в основном из метана. Название ему нравилось.

К тому же представьте себе виды.

Человеческой инженерии было не по плечу преобразить Титан в ту Матушку-Землю, какой она была в лучшие времена. Обидно, но ничего не поделать.

Впрочем, с атомной энергией на Титане можно было добиться многого. Собственно, *титаниче-*

ский труд.

Благодаря куполам жизнеобеспечения — огромным энергетическим щитам — можно было создавать участки с пригодным для дыхания воздухом. Надо-то только тепло, воду, химические вещества и генетически измененные растения…

Мелочи.

Ловкость технологий и никакого мошенничества.

Люди бы там не выжили, даже в куполах. Не выжили бы и те животные, что некогда населяли Землю.

Но животные Сэма отличались. Он научил их приспосабливаться. Такая это вещь, генетика. Когда в ней смекаешь, можешь вносить свои изменения. Может, не так уж много. Но достаточно.

Улавливаете картинку?

Сэм не выстроил зверей по парам, чтобы загрузить в ковчег. (Не ной, человек.) Всех было не спасти. Одни пропали навсегда, другие слишком привередливы, третьи не нравились самому Сэму. (Ну кому нужен миллион видов жуков?) Он сделал что мог в отведенное время.

Он отправил на Титан половые клетки, сперму и яйцеклетки, по сотне пар каждого вида. (Так

вот что было в том ящике? Да, сынок.) Животные тоже чему-то учатся, одни лучше других, но большинство уже рождается со знаниями. Инстинкт, если угодно. И в том маленьком ящике хранился потрясающий объем информации.

Проблема в том, как ее выпустить.

Порой и от родителей есть польза.

Но сойдут и роботы, если правильно их собрать. В компьютер можно вбить длинную-предлинную программу. Можно запасти еды на годы.

В общем, готовишь жилье. Потом сажаешь корабль и раскрываешь капсулы. Активируешь механизмы. Оплодотворяешь яйцеклетки. Подразделяешь зиготы. Подключаешь инкубаторы. Заполняешь загоны.

И выпускаешь их на свободу.

Берегись, мир.

Вот на что потратил деньги Сэм Грегг.

Его все-таки не казнили, эти добрые люди Земли. Даже суд толком не провели. Просто сразу конфисковали оставшиеся деньги и отправили его в Хороший Дом, к другим сумасшедшим.

И хотелось бы сказать, что Сэм умер счастливым и его прах упокоился в урне с миром. На самом деле Сэму не хотелось умирать, он даже расстроился.

Если бы он знал, был бы — а может, и нет, — довольнее.

Он парил в великой пустоте, в миллионах одиноких миль от мертвой Земли. Под переливающимися куполами, что проработают еще тысячи лет, часть его поверхности была не холодной, а прохладной, мягче голых скал, залита зеленью.

Над горизонтом завис Сатурн, белый и ледяной, как Луна.

Древняя жизнь разыгрывала свои маленькие драмы, такие странные под чужим небом. Они почти не изменились, в основном.

За одним исключением.

Может, из-за радиации.

А с другой стороны, енот всегда был смышленым зверьком. У него есть ловкие лапки — и он умеет ими пользоваться. Есть зоркие глазки, живой ум. Он умеет учиться, а иногда и передавать знания дальше.

Через десять поколений он соорудил из сколотого камня грубое орудие наподобие топора.

Через двадцать разжег огонь.

Тем самым заметно побил рекорд человека, что не осталось незамеченным для наблюдателей.

Немного погодя показался пес — в тенях от

костра. Он подвывал. Мотал мохнатым хвостом. Всем видом излучал дружелюбие.

Несколько ночей еноты не обращали на него внимания. Ютились вместе, отдаленно гордясь своими достижениями. Потом задумались.

Наконец один енот подбросил псу окровавленную кость, и тот подошел.

Не нравится концовка?

Довольно мрачная?

Нельзя ли как-то связаться с ними из нашего прошлого? Что-нибудь сказать, пару слов, раз уж нам конец?

Ох уж этот человек. Вечный мечтатель.

Все еще говорит, никак не уймется.

Сэм пытался. Он тоже человек; он сделал хотя бы жест.

На корпусе безмолвного корабля, что их доставил, была привинчена маленькая табличка. Традиция космических полетов, но Сэм все равно ее сделал.

Конечно, прочитать ее никто не мог.

И ее никогда не расшифруют.

Но она была.

И гласила то единственное, что Сэм считал подходящим:

«Удачи, старые друзья».

Послесловие

Не буду много расписывать. Я уже радостно согрешил: в моем рассказе есть мораль. Если не поняли — посмотрите в окно. Или распахните крышку своего гроба.

Что порождает рассказы? Этот породил Харлан. Если бы он не попросил, я бы, скорее всего, ничего не написал, по крайней мере сейчас. Так что со всеми претензиями — к нему.

Но почему конкретно такой? Я, конечно, объяснить не могу. Ни один писатель не может. Но вам может быть интересна пара личных заметок.

Начало сентября, 1969 год. Я только что вернулся после месяца в горах Колорадо. Я считаю себя рыбаком, ловцом форели, только сухая мушка. (Редко оставляю улов; возвращаю в ручьи. Удачи им.) Я исходил тот край, что еще двадцать лет назад казался почти необитаемым. Теперь могу заявить: почти не осталось таких удаленных ручьев, что в них еще никто не закидывал банку из-под пива. Всюду трейлеры — как чума. На кустах висят «Клинексы» — последний след человека. Бобровые плотины разломаны забавы ради. Деревья искромсаны инициалами. Есть

уже, прости господи, схемы застройки. Природа — это здорово, правда?

Побывав несколько лет назад в Кении, я провел небольшое демографическое исследование всего одного племени. В 1850-м первый путешественник в том краю (миссионер по имени Крапф) насчитал около 70 тысяч камба. Немного погодя, в 1911-м, британцы провели что-то вроде переписи. Они учли уже 230 тысяч камба. На данный момент число приближается к 900 тысячам. Это, напомню, на одной и той же территории. Вы бы видели.

Я видел фотографии Марса. Вы тоже. Не очень-то похоже на Барсум[72].

Лето кончается, и скоро задуют холодные ветра. Когда приходит осень, мы подкармливаем с заднего крыльца енотов. Им надо отъедаться на зиму. Они смотрят на меня, а я — на них. В этом году их будет меньше, и больше придет раненых, подволакивая лапки. Их ареал обитания разворотили бульдозеры. Старики ставят капканы, а детишки пуляют из воздушек. Этим утром, по дороге на работу, оставляя за собой выхлопные газы, я видел, как из сточной трубы в озеро сли-

[72] Примечания: 72

Барсум — название Марса в литературной вселенной Эдгара Райта Берроуза.

ваются неочищенные отходы.

Вам уже хватило?

Мне тоже.

Надеюсь, кто-нибудь прочитает мой рассказ и ему не понравится.

Предисловие «Десятичасовые новости от...»



Пока я сижу и пишу предисловие для Эда Брайанта и его рассказа, он дрыхнет в голубой спальне с огромным воздушным змеем на потолке, в «западном крыле» моего дома здесь, в Лос-Анджелесе. Полчаса назад он проводил домой свою девушку — сногсшибательную даму по имени Роз, — которая перебрала дешевого вина и нешуточно расшалилась.

О Брайанте писать непросто. Он стал одним из моих лучших друзей, и все то, что хочется о нем рассказать лично мне, — например, о том утре, когда я потерял связь с реальностью и срочно

хотел знать, какой сейчас день, а он ответил с непрошибаемой серьезностью: «Национальный день памяти макрели», — для вас ничего не значит. Тут надо знать Брайанта и его извращенное и кромешно-черное чувство кладбищенского юмора, чтобы понимать, какой это было травмой.

Начнем с того, что это на редкость замечательный человек; просто хороший парень с теми нравственностью и этикой, на ком, как говорит Джим Сазерленд, и держится наш хрупкий мир. Во-вторых, Эд — подарок для писателя, который берет другого писателя «под крыло» в надежде, что ученик улетит и найдет собственный голос, собственную успешную карьеру. В этом отношении, если не вдаваться в подробности, у Брайанта все хорошо. За один год продал двадцать пять очень качественных, очень профессиональных рассказов и статей. И теперь от девушек отбоя нет. А для WASP из Вайоминга это огромный шаг вперед.

И все-таки Брайант — человек необычный; до того, что впору выставлять в Смитсоновском университете. Например, сегодня я говорю:

— Эд, ты с каждым днем все причудливее и причудливее. Не могу объяснить, в чем, но ты становишься сюрреалистичнее.

Он неопределенно уставился на меня глазами полинезийской водоплавающей птицы над своими рыжими усами и пробормотал:

— Хочешь сказать, я оторван от реального мира?

Да, согласился я, в точку.

— Ты бы возвращался в реальный мир, Эд. Поговори с ковриком, послушай свою руку, пообщайся с кофейником и дверными ручками. Заведи друзей.

Он воззрился на меня.

— Я не могу говорить с ковриком, — ответил он грустно, — он у меня слишком зациклен на себе. Прикидывается ветошью.

Я встал и ушел.

Эдвард Уинслоу Брайант-мл. родился 27 августа 1945 года в Уайт-Плейнсе, штат Нью-Йорк. В шесть месяцев переехал с родителями на юг Вайоминга, где они начали разводить скот. Первые четыре класса учился в сельской школе с одним кабинетом, доучивался в Уитленде, Вайоминг (население 2350). До сих пор его жизнь можно сравнить с жизнью Линкольна. Высшее образование получал в Вайомингском университете, год пробовал себя в качестве зачаточного инженера в авиакосмической области, но осо-

знал свою ошибку и перешел на гуманитарные науки. В 1967-м получил диплом бакалавра по английскому языку, год спустя — диплом магистра в той же области. Брайант рассказывает вышеприведенные унылые данные в своей «официальной» биографии, но забывает упомянуть единственный действительно важный поступок в своей банальной жизни. В августе 1957 года он заметил и купил номер *Amazing Stories* и стал — только тс-с, никому!– фанатом фантастики. Каким-то образом сохранил это в тайне от всех в литературном мире, кто видел, как он в последние пару лет ворвался в жанр, и представлял Эда незамутненным фанатской жизнью: чистейшим порождением Мейнстримной Литературы. Чушь. Он был *фэном* — самым что ни на есть немытым развращенным фанатом, который вдобавок выпускал безграмотный фэнзин *Ad Astra*.

(Между прочим, в содержании того августовского выпуска *Amazing Stories* 1957 года числится классический рассказ современной фантастики, «Несущие чуму» — *The Plague Bearers*, начинавшейся со следующих бессмертных строк:

Я подошел сзади к Воплю, когда он схватил девушку, и всадил штык ему в горло. Штык был ржавый, вошел криво. Пришлось бить еще. Он

упал, застонав и схватившись за окровавленное горло. Я закидал его тело мусором.

Скромность не позволяет удариться в невоздержанные похвалы, которые заслуживает автор сей уже классической повести о человеческом благородстве, но зато сразу видно, откуда у Брайанта взялось его бешеное вдохновение. М-да.)

Из-за противоестественного интереса к Тому, Куда Человеку Не Стоит Лезть, Брайант зачислился в первую и вторую Кларионские университетские творческие мастерские по НФ и фэнтези (Пенсильвания), 1968 и 1969 годы, где я его и повстречал. Сам Брайант рассказывает так:

«…Травматический опыт, который Изменил Мою Жизнь; я наслушался достаточно критики, наставлений и слов поддержки, чтобы решить: а вдруг — вдруг! — в моем творчестве есть то, чем стоит поделиться со Вселенной».

В действительности ничтожность его проб пера так тронула сердца всего препсостава — Робина Скотта Уилсона, Деймона Найта, Кейт Вильгельм, Фрица Лейбера, Фреда Пола и женщины-антрополога, чье имя вылетело у меня из головы, — что с ним мы возились больше, чем с настоящими талантами. Сами понимаете — как не пожалеть гадкого утенка.

Ну и вышло так, что Брайант — этот калека, который до тех пор пробавлялся в вайомингском Уитленде и его округе в качестве диджея, экспедитора на фабрике ременных пряжек и просто лоботряса,– прицепился к вашему редактору, как пиявка, и я опомниться не успел, как он поселился (аки смрадный троглодит) в голубой спальне в моей «Эллисоновской Стране Чудес». Будто гость, который просто пришел на ужин, в начале 1969-го он выбрался из своего Вайоминга на банкет SFWA (отделение Западного побережья), задержался там, потом уехал до сентября этого года, когда вернулся ко мне и объявил, что он «ненадолго». Через девять месяцев мне пришлось нанять девушку широкой души и сомнительного поведения, чтобы выманить его в Нью-Йорк. А то хотелось уже сменить в голубой спальне белье и проветрить помещение. Он вернулся в марте 1971-го — и на момент написания этого предисловия сомнительно, что *вообще* собирается съезжать. Куча обглоданных костей в голубой спальне растет все выше и выше. Запашок стоит такой, что Лавкрафт бы его назвал «беспросветной скверной, смрадом, не имеющим описания, порождением преисподней, что обросло волглым злом».

Но все-таки Брайант продолжает писать — вот его единственный плюс. Он появлялся в *Quark, Orbit, National Lampoon, New Dimensions, LA Free Press, Magazine of Fantasy & Science Fiction, Worlds of Tomorrow, If, New Worlds, Infinity, Nova, Universe*, обеих антологиях «Кларион» и множестве мужских журналов, таких как качественный *Swingle*, где принципиально отказываются публиковать фотографию женщины, если размер ее груди — не 53D.

Появления в этих журналах для чтения одной рукой так исказили и без того перекошенное мировоззрение Брайанта, что, когда я ходил на свидания с юной актрисой, которая сейчас звезда сексплотейшена, он на месте не сидел и стал продюсером ее фильма, и не успел я глазом моргнуть, как он снялся в высокоинтеллектуальном эпосе под названием — готовы к невыразимому ужасу?– «Флеш Гордон»[73].

А теперь Брайант слоняется по дому с таким видом, будто сошел с безумных рисунков маркиза фон Байроса, и рассказывает мне о таких героях, как Флеш, д-р Очер, Принц Драгоценный и некий гигантский Пенизавр — он большой, червеподоб-

[73] Примечания: 73

Flesh Gordon — пародия на супергероя комиксов Флэша Гордона; flesh — плоть.

ный и заползает в мягкую, розовую, влажную, корчащуюся пещеру.

В обществе Эдварда Уинслоу Брайанта-мл. очень непросто удержать обед в желудке.

Но нижеследующий рассказ — его первая продажа. Более того, это первый рассказ, купленный для этой книги. А значит, если учесть, как долго я ее собирал, ему уже четыре года. Многие среди вас заявят, что одно это делает рассказ нерепрезентативным примером прогресса техники и тона, которого мистер Брайант добился в дальнейших уже опубликованных работах. Но нет. За четыре года у него не было *никакого* прогресса, и это *все еще* лучшее, что он писал.

И, наконец, для тех, до кого дошли неблаговидные слухи о романе, над которым работает Брайант: вам еще долго придется дожидаться подтверждения. О, роман-то почти готов, и Брайанта уже теребят несколько издателей (но опять же, не будем углубляться в его половую жизнь); однако я написал и продал великолепный рассказ «В мышином цирке» и затем счел, что с его стороны некрасиво называть свой *роман* «Мышиный цирк». У нас состоялся разговор по душам. Он наотрез отказался менять название и, более того, послал меня в жопу. Тогда я «убедил» его

поменять название. То есть дождался четырех ночи, когда он дрых в своей берлоге, и прокрался с сырой губкой. Усевшись ему на грудь, я его разбудил, угрожая реальной возможностью соприкосновения с чистой водой. Брайанта, словно Злую Ведьму Запада, одна мысль о воде привела в ужас, и он уступил моей вежливой просьбе, поэтому на данный момент роман существует без названия. Пока не придумает новое, книжку он не выпустит.

А значит, если вам понравится этот рассказ, можете послать Брайанту свои предложения. Пишите до востребования в Уитленд, Вайоминг, потому что, *клянусь*: через восемь месяцев, когда выйдет книга, *здесь* уже и духу его не будет!

Десятичасовые новости от…
Эдвард Брайант



ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ:

ЭКСТЕРЬЕР — НОЧЬ

Ее приперли к стенке в подворотне. Погоня была недолгой и предсказуемой — особенно для тех троих, что тенями росли между ней и мерцающим освещением на улице. Девушка прижалась к мусорным бакам и старалась не дышать. Она слишком долго бежала; легкие изголодались по кислороду. Попыталась сдержать вдох — и закашлялась.

Один охотник тихо рассмеялся:

— Что, дух перехватило, цыпочка? — Еще тише: — Ты погоди, детка, ты только погоди.

Девушка забилась еще дальше в узкий проход меж двумя баками и кирпичной стеной здания, прижалась щекой к гофрированной прохладе. Ее колени не чувствовали шероховатости асфальта. Трое приближались к бакам, даже не пытаясь скрываться. Девушка напряглась всем телом. С трех сторон от ее укрытия по гравию и асфальту шаркали подошвы.

Она бросилась к выходу из подворотни. Четыре шага. Взрыв боли швырнул ее к кирпичной стене. Рука с силой вздернула на ноги. Ей снова отвесили пощечину. Боли уже не было — только отдаленное ощущение, как по лицу медленно стекает что-то липкое. Охотник грубо пихнул ее, и она распласталась на боку.

Над ней высились три силуэта — черные на черном. Девушка всхлипнула и попыталась ползти. Слева пнули в живот — несильно, только чтобы она свернулась калачиком. Глаза затуманились, и в этот раз ей уже было больно — потому что она не могла вздохнуть.

— Ну все, будет, — сказали справа. — Должна же она получить удовольствие. Карл, ты первый.

Тико, держи ее за плечи.

Девушка сопротивлялась.

Олень борется перед тем, как его разорвет волчья стая.

— Детка, ты этого никогда не забудешь, — сказал Карл.

Во тьме — жужжание. С высоты на них таращится алый Циклоп.

ПЕРЕХОД:

Барни Чандлер таращился в телеэкран, стараясь не отвлекаться от передачи. Барни не хотелось отсюда вырваться. Не сейчас, но рано или поздно. Вернее, хотелось его жене. И обычно Элла получала, что хотела.

— Барни, — сказала она. — Хэнк не будет держать вакансию открытой вечно.

Хэнк был братом Эллы; он владел автосалоном «Шеви» в Бербанке.

Барни Чандлер неопределенно буркнул. Переключил канал пультом на 34-й. Сделал погромче. Взял пиво и раздраженно выругался из-за того, что ко дну бутылки приклеилась салфетка.

— Барни! Ты можешь сделать потише и выслушать? Хэнк приедет на ужин завтра. И ему нужен ответ о вакансии менеджера.

— Да твою мать, Элла! — Барни ударил реб-

ром ладони по пульту, телевизор моргнул и выключился. — Можно хотя бы матч посмотреть спокойно, чтобы ты меня не пилила?

Элла закатила свои выцветшие голубые глаза.

— Мистер Чандлер! — ответила она. — Это главный шанс твоей жизни, и я не собираюсь стоять и смотреть, как ты его упустишь. — Знакомая речь. Барни уже этого наслушался за прошлую неделю. — Тебе уже под сорок. Ты работал на заводе, водил такси, пытался продавать страховку. Теперь ты телеоператор новостей. Барни, это тупик. А Хэнку ты нравишься. Правда. Он думает, из тебя выйдет отличный помощник управляющего. А когда попадешь в руководство, кто знает, до чего ты дойдешь? Пожалуйста, Барни, когда завтра придет Хэнк, соглашайся на работу.

Она отвернулась и ушла на кухню.

Барни смотрел на пиво и промолчал. Ему нравилось быть оператором. И не улыбалось работать помощником управляющего в крупнейшем автосалоне «Шеви» в Бербанке. Но Элла хотела, чтобы он согласился на предложение Хэнка. Барни шумно опустошил бутылку. Потянулся за открывалкой. Еще пара бутылок — и не будет так тяжело говорить Элле, что он согласен.

Он грузно откинулся на спинку кресла и вклю-

чил телевизор. Выбрал 27-й канал. Скоро начнется «Сага Мудреца». Барни нравились приключенческие сериалы. Он редко смотрел что-то, кроме новостей, — любил там видеть свои съемки. А еще следить за конкурентами с других каналов, чтобы не отставать от них.

В коридоре зазвонил телефон. Трубку взяла Элла.

— Барни, — позвала она. — Это тебя. Паркер из студии. Говорит, это важно.

НАПЛЫВ:

«Сколько понадобилось леса,– гадал Кельвин Рэндалл,– чтобы обшить стены в этом офисе?» Сколько ресурсов ушло на постройку здания *KNBS-TV*: красное дерево, обработанный камень, множество металлов? Рэндалл окинул взглядом приемную, как делал уже не раз. Слишком броско, на его вкус. Смутно хотелось, чтобы дерево снова росло в своих лесах, где и положено, а полированный гранит водворился в твердь суровых гор Колорадо.

— Мистер Кармайн готов вас принять, сэр, — улыбнулась с ямочками блондинка-секретарша.

— Спасибо,– сказал Рэндалл. Забрал свой дипломат и прошел мимо солидной латунной таблички, обозначавшей присутствие в каби-

нете Л. Дж. Кармайна, программного директора *KNBS-TV*. Рэндалл поморщился при виде жирного шрифта 36-го размера. Показуха.

Сегодня у Кармайна был кто-то новенький, незнакомый Рэндаллу. У него возникло дурное предчувствие. Незнакомец был пухлым коротышкой, над очками в черной оправе редели седые волосы. На лбу так и написано: «Телесеть». «Неприятности», — решил Рэндалл.

— Кэл, детка, — приветствовал его Кармайн, воодушевленно хлопнув по плечу. — Заходи, мальчик мой, заходи. Вот, познакомься с Артуром Хедли. Арт у нас из отдела общественных событий «Телесети».

Рэндалл пожал руку упитанному незнакомцу. Кармайн обратился к нему:

— Это парень, о котором я тебе рассказывал, Арт. Кэл у нас один из лучших молодых талантов — и точно один из лучших новостных директоров, что работал на этом канале.

«К чему же он клонит, к увольнению?» — гадал Рэндалл.

— Кэл, детка, — продолжал Кармайн. — Арт предложил пригласить тебя на небольшое совещание.

«Всенародная казнь?» — думал Рэндалл.

— А расклад такой,– говорил Кармайн.– В *KNBS-TV* работает одна из самых оснащенных, профессиональных, компетентных новостных команд в метрополии — собственно, у нас, наверное, лучший новостной отдел. Конечно, Кэл, это все благодаря твоей замечательной реорганизации персонала и повышению качества. Естественно, мы хотим, чтобы ты продолжал в том же духе.

— Суть в том, мистер Рэндалл,– вставил Хедли,– что хорошую работу придется ускорить. «Телесеть» внимательно следила за вашими действиями в *KNBS*, и в целом мы согласны с оценкой мистера Кармайна. К сожалению, в дело вступил внешний фактор. Вам известен текущий рейтинг канала, мистер Рэндалл?

РЕЗКИЙ ПЕРЕХОД:

Голая девушка лежала неподвижно. Грубые руки Тико тяжело давили на плечи, и она чувствовала, как в спину впивается гравий. Карл и третий, запыхавшись, стояли над ней.

— Блин, она и правда не хотела расставаться с одеждой, — сказал Карл. — Если бы мне приходилось с таким трудом раздевать свою старушку, уже ни на что бы сил не хватало.

— Что, и сейчас не хватает?

— Да ни хрена. — Карл встал на колени и расстегнул ремень. — Теперь расслабься, детка. Все будет зашибись.

Он коснулся ее бедра.

— Господи! — Карл издал мучительный вопль и повалился набок, на жесткий асфальт. Его скорчило и тошнило во тьму.

Третий рассмеялся.

— За плечи ее держи, — повторил он. Посмотрел на девушку. — А ты у нас прям тигрица, а? Похоже, Карлу придется держать тебя за ноги, пока он вспоминает, как дышать. — Говорил он плоско, равнодушно. — Зря ты это, детка. Мы хотели просто поразвлечься. А теперь пойдет совсем по-другому. Совсем по-другому.

Над головой — вуайеристы.

ПЕРЕХОД БЕЗ НАПЛЫВА:

— Рейтинг? — «Так и знал, — думал Кельвин Рэндалл. — Чертов рейтинг». — Более-менее.

— Тогда позвольте напомнить, — сказал Хедли. — Как вам наверняка известно, у нас новая, довольно надежная система рейтинга. Электронное оборудование, установленное в самолетах и грузовиках, точно определяет и замеряет небольшой уровень излучения каждого телевизора в городе. Компьютерная оценка этих данных дает

довольно четкую картину нашего положения в рейтинговом состязании. С сожалением сообщаю, что в последние месяцы данный канал стабильно не поднимается выше среднего уровня — особенно в слотах, отведенных для новостных трансляций.

— И у «Телесети» есть решение?– оцепенело спросил Рэндалл. «Кроме как сменить новостного директора?» — Нам известно, почему у *KNBS* меньше зрителей в новостные слоты?

— Да,– ответил человек из «Телесети».– Отдел анализа аудитории *NBS* уверен, что нашел корень всех бед.

— Думаю, Кэлу будет интересно послушать анализ, — вставил Кармайн. Хедли раздраженно покосился на программного директора.

— Все сравнительно просто,– продолжил Хедли,– и мне очень жаль это сообщать.– Его голос приобрел заметно отеческий тон, с небольшим упреком.– Мистер Рэндалл, «Телесеть» считает, ваш новостной отдел в *KNBS* подводит зрителей.

Рэндалл оторопел.

— Подводит? Боже, да мы из шкуры вон лезем ради самого всеохватного освещения новостей.

— И вы все равно потерпели поражение. *Мы* потерпели поражение,– ответил Хедли.– Давайте

рассмотрим два примера. Будьте так любезны вспомнить прошлый ноябрь, трагическое убийство конгрессмена Когхилла. Вспомните, что Канал 34 находился на месте происшествия и записывал последние секунды его речи, когда прозвучал тот роковой выстрел. Из крупных каналов на месте присутствовал только 34-й. В результате они представили зрителям запись убийства за целых полчаса до того, как любой другой канал в метрополии успел подготовить спецвыпуск. Одним из тех других каналов был наш. Не осветив эту трагедию, мы подвели свою публику.

Другой пример — страшная катастрофа в международном аэропорту Лос-Анджелеса, когда авиалайнер 737 взорвался при взлете. По совпадению, его сняла команда 34-го канала, готовившая рекламу для авиалинии. Из-за этого совпадения 34-й канал смог практически немедленно, вживую транслировать катастрофу публике. Но *KNBS* прибыл на место крушения только через несколько минут после того, как 34-й выпустил первый всеохватный репортаж.

Я пытаюсь показать этими примерами, мистер Рэндалл, что отныне каналу нужно стараться держать руку на пульсе новостей. Эта проблема,

разумеется, вращается не только вокруг рейтингов. Вы наверняка понимаете, что Федеральная комиссия по связи выдала нам лицензию на трансляцию в общественных интересах. В общественных интересах, мистер Рэндалл. Лицензия обязывает нас всегда помнить о своем долге.

— Это все, конечно, хорошо, — сказал Рэндалл. — Но с практической точки зрения то, о чем вы говорите, зависит от случая. Мой штат вполне сознательно стремится охватить как можно больше новостей как можно быстрее и понятней. Но не можем же мы видеть будущее и угадывать, куда отправлять бригады. Мы же не… — Рэндал поискал слово. — …не предсказатели.

— Действительно, мы не можем предвидеть будущее, — сказал Хедли. — Но, с другой стороны, не можем мы полагаться и на «случай». «Телесеть» считает, что компетентные репортеры не могут себе позволить оперировать такими неточными понятиями. Это дело прошлого. На дворе 1980 год, и сейчас ключевым словом стало «профессионализм».

«А раньше будто не был», — подумал Рэндалл.

— Вот именно, — поддакнул Кармайн. — Профессионализм. Отдел общественных мероприятий «Телесети» над этим отлично поработал. И у

них есть интересное предложение, Кэл; я считаю, это самые новые и радикальные концепции в новостной журналистике, что я видел в жизни. Мы с мистером Хедли хотим это с тобой обсудить. — Он передал Рэндаллу пожелтевшую газетную вырезку со стола. — Вот, сперва прочитай.

Меньше чем через час Кельвин Рэндалл, новостной директор *KNBS-TV*, уволился. Через два часа он напился в стельку.

ПЕРЕХОД БЕЗ НАПЛЫВА:

По багроволицему человечку — мэру Кэрролла, штат Калифорния, — ручьями стекал пот. В реальности он был владельцем магазина хозтоваров. А теперь трясся в кожаном кресле в палате горсовета Кэрролла. Его лишили всего, что казалось ему важным: одежды, достоинства, смелости.

— Но что этот город сделал вам и вашим друзьям? — взмолился он.

— Ничего, — ответил охранник мэра. — Ничего, кроме того, что он существует.

— Но почему мы? Почему Кэрролл?

Захватчик в черной косухе хищно ухмыльнулся; над зубами поблескивали темные очки.

— А почему нет, чувак?

ПЕРЕХОД:

Когда приехал Барни Чандлер, все уже собрались в комнате инструктажа *KNBS*. Пока он садился, говорил директор выездной команды, Майк Де Ла Ри:

— Не забывайте, это большая новостная операция, — объяснял он. — В городе на стратегических позициях разместятся три мобильных бригады. Съемку ведем с ручных «Сони Соновид». Чак… — он показал на помощника. — …Чак и я будем в вертолете, следить в прямом эфире. Все будут подключены к центральной радиосвязи. — Он посмотрел на свои часы. — Ладно, мы уже выбиваемся из графика. Выдвигаемся. Договорим с каждым по отдельности в вертолете.

Все вскочили на ноги и принялись собирать свои кофры.

— Эй, Чандлер, — окликнул Де Ла Ри. — Ты когда вошел? Кажется, ты пропустил начало. Спроси Паркера, он все объяснит, пока ты собираешься.

— Ладно, — откликнулся Барни, снимая с полки «Соновид». — Паркер, что за дела? Куда так спешим?

Паркер вскинул светлые брови и пожал худыми плечами.

— Самому бы кто сказал, Барни. Де Ла Ри держит рот на замке. Судя по всему, в холмах к западу от

Барстоу гоняет какая-то мотобанда. Наверное, сегодня вечером они нападут на город, а мы летим снимать красивые картинки их разборок.

— Ну отлично, — сказал Барни. — Это на всю ночь. Элла меня убьет.

ПЕРЕХОД С НАПЛЫВОМ:

ТИЗЕР

— Сегодня вечером на Кэрролл, штат Калифорния, высоко в холмах Санта-Мира к западу от Барстоу, напала бесчинствующая банда байкеров[74].

— Привет, это Ирвин Конли. В десять часов ждите полный репортаж об этом и других последних новостях Золотого штата в «Десятичасовых новостях от компании „Энерко“».

ПЕРЕХОД:

По задымленному небу медленно и почти бесшумно плыл дирижабль. Из гондол со сложным оборудованием, пестрящих под брюхом судна, вниз тянулись электронные пальцы, точно заме-

---

[74] Примечания: 74

Беспредел байкерских банд стал одним из культурных мотивов 60–70-х, фигурировал в публицистике, литературе и образовал целый поджанр в кино. Среди самых громких случаев — побоище на Альтамонтском фестивале в 1969-м, где байкеры из мотоклуба «Ангелы Ада», нанятые в качестве охраны, избивали людей, в результате чего погиб один человек и фестиваль закончился раньше срока. Это событие считается завершением эпохи хиппи.

ряя крохотный уровень излучения от миллионов телевизоров, разбросанных по большому городу. Телеметрия передавала все до единого бита в компьютер, который находился во многих милях к северу. Люди и машины объединились в попытке прочитать коллективные мысли мифической фигуры — среднестатистического зрителя.

— Невероятно,– пробормотал работник ночной смены в компьютерном центре.– В полночь еще работают восемьдесят семь процентов всех телевизоров города — и больше девяноста процентов из них настроены на один канал.– Он еще раз проглядел карточку с результатами. Цифры не изменились.– Начальство *KNBS* с ума сойдет от радости, когда это увидит.

ПЕРЕХОД НАПЛЫВОМ:

— Сегодня вечером новостями правит насилие.

— Добрый вечер. Это Ирвин Конли и пятничный выпуск «Десятичасовых новостей». Вы услышите новости со всей Калифорнии сразу после сообщения от «Энерко»: керосиновое топливо, с которым ваша турбина будет крутиться, как волчок…

ПЕРЕХОД НАПЛЫВОМ:

Тусклый свет мониторов лишал тощее лицо

Де Ла Ри всех красок. Оно было как у призрака, взиравшего на картины ада.

— Вторая камера — отъезд, чтобы охватить толпу у бара. Теперь ведите к битым окнам. Первая — готовьтесь к крупному плану мародеров. — Ровный и профессиональный голос Де Ла Ри не менялся. — Третья, переходите к восточному краю своей позиции. Загляните в подворотню внизу слева от вас. Там скоро должно быть действие. Включайте ночную съемку — а то вряд ли хватит освещения от горящих магазинов.

В третьей состоял Барни Чандлер с «Сонови-дом». Паркер и Барни подошли к восточному краю своей крыши. «Фермерский банк Кэрролла» был построен из надежного кирпича — не загорится. Барни посмотрел вниз и налево, как приказал Де Ла Ри.

— Ни зги не видно, — сказал Барни. — Включаю ночную съемку.

В объективе четко предстали четыре фигуры. Барни с силой вдохнул.

— Майк, — прошептал он в ларингофон. — Уверен, что хочешь, чтобы мы снимали сцену в подворотне?

— Еще как,– ответил Де Ла Ри из вертолета *KNBS.* — Снимай все — в студии смонтируют.

ПЕРЕХОД:

Кельвин Рэндалл, бывший новостной директор *KNBS*, сидел со стаканом в угрюмом молчании. Очередной стакан из непрерывной череды уже почти целый день. Кельвин Рэндалл переживал за свое будущее.

«Надо было послушаться Кармайна, — думал он саркастично. — Остался бы в молодой перспективной студии. Сделал бы себе имя. Через полгода это будет самый рейтинговый канал в ЛА».

Телевизор над баром был настроен на *KNBS*. Как и большинство телевизоров Лос-Анджелеса. Другие каналы спешно высылали свои команды в Кэрролл: в камерах и магнитофонах жужжали миллионы футов пленки. Все получили красивые кадры последствий. Но только у *KNBS* имелся настоящий материал: съемки того, как разворачивались события. Пожары, убийства, грабеж, изнасилования.

Мужчины и женщины по сторонам от Рэндалла смотрели на экран, как загипнотизированные. В их глазах отражались мерцающие тени. На *KNBS* показывали репортаж об изнасиловании в Кэрролле, Калифорния.

— Боже мой, — хрипло прошептал парень слева от Рэндалла. — Как они могут показывать такое?

И внутри Рэндалла высвободился отложенный взрыв. Он вскочил на ноги. Рука схватила стакан, разбила в алмазные слезы, разлетевшиеся по стойке.

— Да потому что вы, сволочи, их смотрите! — крикнул он. Развернулся и слепо ринулся к двери.

ПЕРЕХОД НАПЛЫВОМ:

КРУПНЫЙ ПЛАН — ИРВИН КОНЛИ

— …А теперь к новостям.

Одна из самых жестоких драм в истории Калифорнии разыгралась сегодня вечером в сонном городишке Кэрролле, высоко в холмах Санта-Мира к западу от Барстоу. Обычно Кэрролл — это тихое фермерское поселение с тысячью обитателей. Но сегодня летнее спокойствие было нарушено, когда в Кэрролл ворвалась байкерская банда головорезов в черных косухах — по предварительным оценкам, как минимум триста человек. Репортажи с места событий рассказывают о масштабном разграблении и кровопролитии. Сегодня вечером *KNBS* доставила в Кэрролл по воздуху полную новостную команду и находится на месте происшествия. А теперь — корреспондент Дэвид Паркер с полным репортажем, снятым сегодня вечером…

РЕЗКИЙ ПЕРЕХОД:

В конце концов ее бросили в подворотне. Она не заметила, как они ушли. На это ее уже не хватало. Девушка не видела, как мигнул далекий огонек «Соновида», не слышала, как со щелчком прекратилось механическое жужжание. Она неподвижно лежала, окутанная болью, и едва дышала. На недолгую минуту ее разум всплыл к сознанию. Она шевельнула рукой, смутно почувствовала кровь на своих ногах.

ПЕРЕХОД:

ВЫРЕЗКА (ПОЖЕЛТЕВШАЯ) ИЗ «ЛОС-АНДЖЕЛЕС ТРИБЬЮН-ОБСЕРВЕР», 28 ИЮЛЯ 1966 ГОДА

НА ШИРОКОЙ СТОЛЕШНИЦЕ ИЗ КРАСНОГО ДЕРЕВА

КАМЕРА НАЕЗЖАЕТ:

Беспредел напрокат?

Лос-Анджелес (*UniPress*) — Сегодня неназвавшийся представитель крупной телесети раскрыл, что на прошлой неделе его организации предлагали «особое положение» при освещении деятельности одиозной калифорнийской мотобанды. 13 июля участник банды, назвавшийся ее «представителем по связям с общественностью»,

обратился к голливудским представителям телеканала с предложением устроить за нераскрытую сумму денег «беспредел» в небольшом городке по выбору телеканала. За деньги телесеть получила бы эксклюзивный фоторепортаж с места событий.

Неназвавшийся представитель телесети заявил: «Мы, разумеется, отказались. Никто в руководстве не воспринял это всерьез. Если самопровозглашенный „представитель по связям с общественностью“ говорил искренне, то его предложение — это печальный комментарий к нынешним временам. Если это какой-то розыгрыш, то розыгрыш в самом дурном вкусе».

Представитель добавил, что описание внешности этого человека передали полиции округа Лос-Анджелес для возможного заведения дела.

ПРЯМОЙ ПЕРЕХОД:

МОНТАЖ:

Начальник отдела кадров был любезен, но тверд.

— Простите, мистер Рэндалл, но, боюсь, *KNBS* не может нанять вас повторно на любую должность.

Но и у «Телесети» было великодушие. «Не раскачивай лодку, Кэл. Не хотелось бы вносить тебя

в черный список».

— Скажи брату, чтобы шел со своей продажей тачек куда подальше,– сказал утром Барни жене.– Я остаюсь на *KNBS*. Новостные репортажи — это работа будущего.

Неподвижное тело, белое на фоне тьмы подворотни. Еще не мертвое — но ждет. Надеется.

СКЛЕЙКА С СОВМЕЩЕНИЕМ:

Пластмассовый блеск зубов с коронками. Отчего-то хищный. Телевизионно-голубая рубашка. Приятный глубокий баритон.

— …И это последние сюжеты, попавшие в заголовки Золотого штата. Сегодня с вами в новостном отделе «Энерко» был Ирвин Конли. Спокойной ночи и хороших вам выходных.

ЗАТЕМНЕНИЕ

Послесловие

«Десятичасовые новости» — это рассказ о проституции. Я злился, когда его писал, и злюсь каждый раз, как его читаю. Злюсь на подавляющее большинство добропорядочных граждан, которые продают свои души за жидкую порцию похлебки — будь то деньги, престиж, эмоциональное удовольствие или что угодно. Злюсь на всех, кто спокойно допускает, чтобы его мозг совращали масштабные поганые явления, которые пронизывают наше общество. И еще больше я злюсь на вас всех, кто даже не пытается ничего *сделать*, чтобы исправить вышеупомянутую погань. И на себя злюсь. В конце концов, я всего лишь написал рассказ.

Нет, у меня нет черной бороды лопатой и я не влачу угрюмое существование в пещере среди холмов. Борода у меня русая и жидкая, а живу я в мире, как и все вы. Но я *работал* диктором новостей и сталкивался с событиями вроде тех, что описаны в «Десятичасовых новостях», хотя и не в таком зрелищном масштабе. И я *вырос* в поколении, которое наблюдало, как насилие становится в Америке зрительским спортом,

уступающим по популярности только сексу (секс как зрительский спорт тоже меня не возбуждает, но это уже тема для другого рассказа…)

Одним июньским вечером 1968 года я сидел в грязной пиццерии в маленьком городке на западе Пенсильвании в небольшой компании как известных, так и будущих фантастов. В то время я еще нежился в теплом свечении своей первой профессиональной продажи. Тут в это приятное свечение влез фантаст Чип Дилэни и задал неприятный вопрос. «Эд, — спросил он, — а почему ты хочешь писать?» Вопрос был сложный. И остается сложным. Тогда, отчаянно шевеля извилинами, я ответил так: «Я пишу, потому что хочу что-то сказать людям». Думаю, я все еще в это верю. Данный рассказ — воплощение этого ответа; в нем есть элементы как комментария, так и предупреждения. В остальном он предназначен развлекать.

Я и не набивался в проповедники.

Предисловие «Похороны»



Так просто поддаться очарованию абсолютной *женственности* Кейт Вильгельм, так просто в припадке приязни и восхищения потерять из виду ее другие грани, что порой я забываю на миг: это одна из самых мастерских писателей сегодняшней Америки. Точно среди лучших из лучших в области спекулятивной литературы. Не буду ни оправдываться, ни объяснять. Ее творчество красноречиво говорит само за себя.

Кейт — человек довольно закрытый, поэтому сведений у меня на руках немного. Родилась 8 июня 1928 года в Толедо, штат Огайо; у нее два полувзрослых сына от первого брака и третий — Джонатан Шумный — от нынешнего супруга

Деймона Найта. Нештатный преподаватель в творческой мастерской НФ и фэнтези Тулейнского университета, а также состояла в первой творческой мастерской Кларионского колледжа. Автор таких произведений, как «Космический корабль длиной в милю» (*The Mile Long Spaceship*), «Инцидент „Никогда“» (*The Nevermore Affair*), «Комната на первом этаже» (*The Downstairs Room*), «Пусть падет пламя» (*Let the Fire Fall*), «Тяжелее смерти» (*More Bitter Than Death*), «Бездушный убийца» (*The Killer Thing*) и «Бездна» (*Abyss*). В соавторстве с Тедом Томасом она написала «Клон» и «Год облака» (*The Year of the Cloud*). Ее новый большой роман, «Маргарет и я» (*Margaret and I*)– это чудо, несмотря на безграмотную и скотскую рецензию в *Newsweek*.

Она не только уникальная писательница, но и знаток английского языка и такой хороший и проницательный критик, о котором другой писатель может только мечтать. Также она одно из самых мягких и суровых созданий, что Господь посылал на Землю.

«Похороны» так хороши, что аж больно. Надеюсь, данным кратким комментарием я не раскрыл о ней больше, чем ей хотелось бы.

Похороны
Кейт Вильгельм



Никто не знал точно, сколько лет было мадам Вестфолл, когда она наконец умерла. Согласно подсчетам, по меньшей мере сто двадцать. По самой меньшей. Последние двадцать лет мадам Вестфолл жила оболочкой для самых современных достижений прогресса в геронтологии, а теперь она умерла. На помосте лежала лишь накрашенная и приодетая для похорон шелуха.

«Она не настоящая, — сказала себе Карла. — Это кукла, или что-нибудь еще. На самом деле это не мадам Вестфолл».

Она не поднимала головы и не двигала губами, но твердила это себе снова и снова. Ей было страшно смотреть на покойницу. «Во второй раз они истребили всех тех, у кого было оружие: уже без центрального управления, без мозга, но смертоносные благодаря своим боезапасам, которые они расходовали без разбора». Карла почувствовала, как по ее рукам и ногам побежали мурашки. Задумалась, слышал ли кто-нибудь еще слова старого Учителя.

Очередь двигалась медленно: все сплошь девушки в длинных серых юбках, со склоненными головами, сложенными ладонями. Все, что слышалось в коридоре, — это шурх-шурх туфель-лодочек по пластиковому покрытию пола, редкий шорох юбки.

В Зале прощаний был бледно-зеленый пластиковый пол, матово-зеленые пластиковые стены и окна во всю стену, от которых сейчас остались щели сияющего света из-за заходящего солнца. Отсюда вынесли всю мебель, сняли все украшения. Не было ни цветов, ни чего-то еще: только помост и похожий на постель ящик, накрытый

прозрачным щитом. И Учительницы. Две у помоста, остальные — между полосами света, у дверей. Их белые руки были сложены на фоне черных одеяний, головы склонены, волосы прилизаны, прямые проборы подчеркивали симметрию. Учительницы не двигались, не смотрели на помост, на минующих его девушек.

Карла не поднимала голову, уткнувшись подбородком едва ли не в ложбинку между ключицами. Змеящаяся очередь еле-еле шевелилась. «Она не настоящая», — твердила себе Карла, впадая в отчаяние.

Она переступила черту, после которой полагалось поднять голову; голова казалась слишком тяжелой, шея — парализованной. Когда она наконец сдвинулась, услышала хруст сустава, но, хоть челюсть вдруг заныла, расслабиться все равно не получалось.

Вторая зеленая черта. Он посмотрела направо — на невероятно съеженную, не похожую на человека мумию. На миг внутри все перевернулось, и казалось, ее вот-вот стошнит. «Она ненастоящая. Это кукла. Она ненастоящая!» Третья черта. Она опустила голову, до боли прижалась подбородком к ложбинке. Теперь она не могла сглотнуть, едва дышала. Очередь подходила к

Южной двери и через нее в коридор.

От Южной двери она, все еще не поднимая глаз, повернула налево, в свой класс генетики. Она не смела смотреть по сторонам, но слышала, что остальные зашуршали туда же — туфли по пластику, шелест юбок, — и, минуя выход в сад, услышала смех нескольких Дам, пришедших на проводы. Карла помедлила.

Почувствовав на себе тепло солнца, она, не двигая головой, покосилась в ослепительную зелень за открытой дверью, но никого не разглядела. Смех, когда она проходила мимо проема, звенел, как музыка.

— Вон та, с голубыми глазами и волосами соломенного цвета. Встань, девочка.

Карла не шелохнулась, не понимала, что обращаются к ней, пока Учительница не подняла ее сама.

— Поаккуратней с ней! Повернись, девочка. Подними юбку, выше. Посмотри на меня, дитя. Подними голову, дай-ка рассмотреть лицо…

— Она слишком юная для отбора, — сказала Учительница, проверив браслет Карлы. — Еще год, Дама.

— Какая жалость. За год она уже огрубеет. А сейчас волосы так мягки, плоть так нежна. Ну, что

ж… — И она пошла дальше: красная юбка колыхалась на ее бедрах, ноги сужались до изящных лодыжек, сверкающих серебряными туфельками с каблуками, похожими на сосульки. От нее пахло… Карла даже не знала таких слов. Она жадно втянула аромат.

«Посмотри на меня, дитя. Подними голову, дай-ка рассмотреть лицо…» — эти слова пели у нее в голове снова и снова. Ночью, засыпая, она видела ее лицо, вытягивала из темных пучин, старалась удержать перед мысленным взором: белая кожа, розоватые скулы, серебристые веки, черные ресницы длиннее, чем она видела в жизни, серебристо-розоватые губы, три серебристых точки: в уголке левого глаза, в уголке губ и третья — как ямочка на атласной щеке. Распущенные серебристые волосы, волнами обрамляющие лицо, словно бы жили собственной жизнью, когда она двигалась. Если бы только разрешили потрогать волосы, провести пальцем по той щеке… Сон, что начинался с музыки ее смеха, закончился кошмаром ее же слов: «За год она уже огрубеет…»

После этого Карла стала следить за изменениями, происходившими снаружи и внутри ее тела, и поняла, что имела в виду Дама. На гладких ногах росли волосы; лезли они и под мышками, а

самое позорное — это темный жесткий куст внизу живота. Она плакала. Она пыталась их дергать, но было слишком больно, а по коже шла красная сыпь. Потом у нее пошла кровь, и она легла и приготовилась умереть, и радовалась тому, что умрет. Но ей приказали идти в лазарет, а потом заставили прослушать лекцию о женской гигиене. Она смотрела с каменным лицом, как доктор добавляла в ее браслет новые данные. Лицо у доктора было гладкое и розовое, брови — бледные, ресницы такие бесцветные и короткие, что практически невидимые. На подбородке — бородавка с двумя торчащими волосами. Простой серо-голубой халат, мешком свисавший с плеч до пола. Безжизненные волосы туго затянуты в клубок под затылком. Карла ее ненавидела. Ненавидела Учительниц. А больше всего она ненавидела себя. Она мечтала о зрелости.

Мадам Вестфолл писала: зрелость приносит грацию, красоту, мудрость, счастье. Незрелость — это безобразные, несформированные существа, у кого есть лишь потенциал, во всем зависящие от взрослых граждан и подчиненные им.

На большом экране перед классом шла викторина с вопросами типа «правда или ложь». Карла быстро заняла свое место и касанием пальца

указала на экране компьютера свой идентификационный номер.

Она просмотрела вопросы и поняла, что все они — простые правдивые утверждения. Ее стилус сбежал по столбцу «Правда», и все закончилось. Она гадала, зачем они убивают время, чего ждут. Смерть мадам Вестфолл нарушила весь график.

Темная кожа, тонкая, как бумага, сморщенная и жесткая, сплошные морщины на морщинах — вертикальные, горизонтальные, диагональные, оставляющие между собой островки плоти, которой едва хватало, чтобы прикрыть кости. Надтреснувший, неразборчивый голос: «Они забрали музыку из воздуха… голоса из неба… уничтожили подвижные картинки… ящики, которые пели и плакали…» Бред сумасшедшего. И: «…осталась только одна, кто знает. Только одна».

В класс вошла мадам Трюдо, и Карла поняла, почему класс назначили на это время. Учительница ждала мадам Трюдо. Девушки торопливо встали. Мадам Трюдо жестом велела сесть.

— Следующие девушки помогали мадам Вестфолл в последние пять лет. — Она зачитала список. В списке было имя Карлы. Дочитав, она спросила: — Я не пропустила никого, кто еще сидел с мадам Вестфолл?

Позади Карлы раздался шорох. Она не отрывала взгляда от мадам Трюдо.

— Имя? — спросила Учительница.

— Луэлла, мадам.

— Ты посещала мадам Вестфолл? Когда?

— Два года назад, мадам. Я подменяла Соню, которая неожиданно заболела.

— Хорошо. — Мадам Трюдо внесла в список Луэллу. — Завтра утром, в восемь, жду вас всех у меня в кабинете. От своих уроков и обязанностей вы освобождаетесь. На этом все. — Она с поклоном попрощалась с Учительницей и вышла.

У Карлы подергивались и ныли ноги. Каждое утро в восемь у нее было плавание, и она по нему скучала, просидев почти два часа кряду на стуле с прямой спинкой. Наконец ее пригласили в кабинет. Когда она поднялась и последовала из приемной за секретаршей, остальные девушки не подняли глаз. Мадам Трюдо сидела за несоразмерно большим и совершенно пустым столом, натертым до зеркального блеска. Карла встала перед ним и увидела в столешнице отражение ее лица. Мадам Трюдо смотрела куда-то поверх головы Карлы, не подозревая, что та ее внимательно разглядывает.

— За последние четыре года ты сидела с мадам

Вестфолл семь раз, так?

— Кажется, так, мадам.

— Ты не уверена?

— Я… я не помню, мадам.

— Ясно. А помнишь, разговаривала ли с тобой мадам Вестфолл во время тех посещений?

— Да, мадам.

— Карла, ты дрожишь. Тебе страшно?

— Да, мадам.

— Посмотри на меня, Карла.

Карла сжала кулаки, чувствуя, как ногти врезаются в ладони. Сосредоточилась на боли и перестала дрожать. У мадам Трюдо была бледная нездоровая кожа, черные брови с изломом, пронзительные черные глаза, черные волосы. Губы широкие и полные, нос длинный и узкий. Пока она разглядывала девочку, Карле вдруг показалось, что у нее что-то изменилось в выражении лица, но она сама бы не объяснила, что и чем оно отличается теперь. Возможно, новым отношением, новым интересом.

— Карла, я изучила твое досье. Тебе уже четырнадцать, и пора бы определяться с будущим. После завершения твоей текущей учебы я предложу принять тебя в Учительскую академию. Будучи моей протеже, ты покинешь нынешнее

жилье и будешь работать у меня… — Она прищурилась. — Что с тобой, девочка? Ты заболела?

— Нет, мадам. Я… я надеялась… Я хочу сказать, я обозначила свой выбор в прошлом месяце. Я думала…

Мадам Трюдо взглянула на ту сторону стола, где светился экран с досье. Она пробежала строчки глазами и презрительно поджала губы.

— Дама. Ты станешь дамой!

Карла почувствовала, как ее лицо вспыхнуло, а ладони вдруг взмокли от пота. У мадам Трюдо вырвался смех — резкий, лающий.

— Девочки, которые присутствовали при мадам Вестфолл при жизни, будут присутствовать при ней в смерти. Каждый день ты будешь два часа дежурить в Зале прощаний, а когда отправится похоронная процессия на службу в Скрэнтон, будешь ее сопровождать. А пока будешь каждый день, сразу после своего дежурства в зале, в течение дополнительных двух часов размышлять о мудрости слов, услышанных от мадам Вестфолл, и запишешь каждое слово, сказанное в твоем присутствии. Для этого тебе в комнату доставят блокнот и ручку, которые запрещается использовать для чего угодно другого. Обсуждать записи можно только со мной. Карла, готовься

к немедленному переезду ко мне, там тебя уже будет ждать комната. Свободна.

Она чеканила слова все тяжелее, и в конце они стали стаккато. Карла поклонилась и повернулась, чтобы уйти.

— Карла, ты еще увидишь, что у назначения Учительницей есть свои преимущества.

Карла не знала, не надо ли поклониться опять, или остановиться на месте, или все-таки идти к двери. Когда она замешкалась, снова раздался голос — тише, глуше.

— Иди. Возвращайся к себе в комнату.

«В первый раз они истребили только главарей, зачинщиков… этого было бы достаточно, чтобы обезвредить бомбу, чтобы другие остались молчаливыми, бессильными и податливыми…»

Карла уставилась в пол перед собой, стараясь унять дрожь в коленках. Мадам Вестфолл не двигалась, не говорила. Она умерла, ее не было. Единственный звук в зале — только шух-шух от туфель. Отсвет от зеленого пластикового пола резал глаза. Воздух казался тяжелым и пах смертью. Карла так и чувствовала запах Дамы, впитывала ее благоухание, мечтала прикоснуться к ней. Бледные, серебристо-розоватые губы, такие мягкие, блестящие, верхняя — с двумя высокими

пиками. Дама пригладила ее лицо мягкими, прохладными и нежными пальцами… «Когда их глаза становятся мягкими от невыразимых желаний и начинают проявляться признаки женственности, позвольте им выбрать свои обязанности: одним — вынашивать следующее поколение общества, другим — стать Учительницами, Медсестрами, Врачами, кого-то изберут в Любовницы граждане, а кто-то…»

Карла не смогла сдержать внезапный порыв, развернувший ее голову к мумии. Зал словно покачнулся, потом снова выровнялся. Дрожь в коленках стала сильней, неуправляемей. Она с силой сжала их вместе, коленные чашечки надавили до боли. Пальцы, теребящие покрывало. Теребящие кости — бурые кости с заскорузлыми ногтями.

«Воды. Девочка, подай мне воды. Красивая, красивая. Тебя бы убили, непременно. Красивая. В последний раз не оставили никого старше десяти. Никого. От десяти до двадцати пяти».

Красивая. Карла повторила это про себя. Красивая. *Pretty*. Произнесла про себя по буквам, как слышала: *p-r-i-t-y*. Почти «жалость»[75]. Поиска-

[75] Примечания: 75
Pity (*англ.*) — «жалость».– *Прим. ред.*

ла *p-r-i-t-y* в словаре. Ничего. Pretty. Красивая. «Боялись сияющих, красивых лиц. Молодых, красивых лиц».

Дрожь охватила все тело. Два часа. Вечность. Карла простояла здесь вечность, умрет здесь — неподвижная, дрожащая, изнывающая. Вздох, тихий стук тела о пол. Мягкое тело рассыпается так легко. Карла не повернулась. Наверняка это была Луэлла. Испугалась мумии. Видела кошмары каждую ночь со смерти мадам Вестфолл. Отчего тело стоит прямо, если упасть так легко? Убери то, что его держит, — и вниз, вниз. Просто отпустить, знать, что убрать, чтобы тело рухнуло, как в сон. Через ее поле зрения прошли две Учительницы, в черных платьях. Шух-шух. Прошли обратно, с Луэллой между ними, или кем-то еще. Беззвучно. Шух-шух.

Новая учебная кабинка была вылитой копией прежней. Койка, учебный компьютер, стул, туалет с раковиной за перегородкой. И кое-что новенькое — блокнот с ручкой. У Карлы никогда не было своего блокнота с ручкой. Обходилась стилусом и светящимся квадратом, чтобы писать, и потом они задвигались в учебный компьютер. Карла перелистывала пустые страницы, щупала бумагу пальцами, оторвала ближе к концу

крошечный уголок, чтобы разглядеть поближе — неровный краешек, особая текстура; попробовала на вкус. Так же пристально разглядывала ручку; заостренный гладкий кончик, писала черными чернилами. Она провела черту, остановилась, чтобы полюбоваться, и перечеркнула второй. Очень медленно написала: «Карла», перешла к своему номеру, с браслета, потом в замешательстве остановилась. Она никогда и не задумывалась, но у нее не было фамилии — или она ее не знала. Провела три черты поверх уже записанных двух цифр.

После двухчасового размышления она множество раз написала свое имя — собственно, на три страницы, — и потом — единственное из того с серых уст мадам Вестфолл, что запомнила: «Неграждане принадлежат государству».

На следующий день вдоль помоста шли граждане. Карла глубоко дышала, стараясь уловить благоухание минующих Дам, но они оставались слишком далеко. Она следила за их ногами в туфлях всех цветов радуги: заостренные мыски, шпильки; закругленные мыски, резные каблуки; атласные башмачки в блестках… А под самое окончание ее дневного дежурства в зал потянулись Мужчины.

Она услышала возглас — снова Луэлла. В этот раз та не упала в обморок — просто не сдержала удивления. В тот же миг Карла увидела ноги и подняла глаза на гражданина-мужчину. Он был очень высоким и грузным, одет в синие и белые цвета доктора права. Он вошел в солнечный свет, и на его запястьях и шее заблестело золото, отразился блик от гладкой головы. Он перевел взгляд от помоста и встретился взглядами с Карлой. У нее закружилась голова, и она спешно спрятала глаза и сцепила руки. Казалось, он так и стоит перед ней, смотрит, и она чувствовала, как с силой колотится ее сердце. Потом пришла ее смена, и она поспешила из зала так быстро, как только можно, не нарушая приличий.

Карла записала: «Почему он так меня напугал? Почему я никогда не видела Мужчин? Почему все носят цветную одежду, а девочки и Учительницы — черное и серое?»

Она нарисовала кривоватую фигурку мужчины и долго разглядывала, потом перечеркнула. Потом с отвращением уставилась на страницу. Теперь ей придется избавиться от четырех.

Не разозлила ли она его своим взглядом? Нервно барабаня ручкой по бумаге, она пыталась вспомнить его лицо. Он хмурился? Вспомнить

не получалось. Почему она никак не может сообразить, что написать для мадам Трюдо? Карла покусала кончик ручки, потом очень медленно и аккуратно вывела: «Общество может избавляться от своей собственности, как пожелает, после общего решения как минимум трех его членов и их разрешения, которое нельзя нарушить по собственному желанию».

Говорила ли это мадам Вестфолл? Она не знала, но надо же было что-то записать — а подобные вещи мадам Вестфолл цитировала часто. Карла бросилась на койку и уставилась в потолок. Она три дня слышала в ушах мертвый голос мадам, но теперь, когда ей надо было его услышать, — ничего.

На стуле с прямой спинкой, настороженно приглядываясь к любым изменениям в позе древней женщины, бдительная, в страхе перед старой Учительницей. Оцепеневшая, уставшая и сонная. Прислушиваясь вполуха к бормотанию — бормотанию вдохов и выдохов, складывавшихся в бессмысленные слова. «…Мама велела спрятать ребенка, спрячься, не двигайся, а Стиви хотел на день рождения бритву, а мама сказала — ты еще маленький, тебе всего девять, и он ответил: нет, мама, мне тринадцать, ты что, забыла? и мама ве-

лела спрятать ребенка… спрячься, не двигайся… и пришли они, ненавидели красивые лица…»

Карла села и снова взяла ручку, но потом остановилась. Когда она слышала слова, они так ясно звучали в мыслях, но стоило им оборваться, как они развеялись без следа. Записала: «Ненавидели красивые лица… спрятать ребенка. …всего девять». Уставилась на слова и перечеркнула чертой.

Красивые лица. Мадам Вестфолл называла ее красивой, красивой.

Звонок общего часа повторился три раза, и наконец Карла открыла дверь кабинки и ступила в зал, где уже собрались остальные протеже. Всего их было пятеро. Карла никого не знала, но время от времени видела на школьной территории. Мадам Трюдо сидела на стуле с высокой спинкой, накрытом черным. Она сливалась с ним так, что только кисти и лицо выделялись из черноты — мертвенно-белые кисти и лицо. Карла поклонилась и неуверенно замешкалась на пороге.

— Войди, Карла. Это общий час. Расслабься. Это Ванда, Луиза, Стефани, Мэри, Дороти.

Каждая, услышав свое имя, чуть склоняла голову. Карла тут же забыла, кого из них как зовут. У двух были верхние юбки в черную полоску — это

значило, что они обучаются в Учительской академии. Остальные три все еще носили серые цвета низшей школы, как и Карла, с черной каймой вдоль подола.

— Карла не хочет быть Учительницей, — сухо произнесла мадам Трюдо. — Она предпочитает краски Дамы. — Улыбнулась одними губами. Одна девочка из академии рассмеялась. — Карла, не ты одна падка на краски и яркие платья Дам. Я хочу кое-что тебе показать. Ванда — фильм.

Смеявшаяся девушка нажала на кнопку на столике, и на стене включилась картинка из проектора. У Карлы захватило дыхание. На экране была Дама — вся золотая и белая, золотые волосы, золотые веки, тончайшее белое платье до колен. Дама повернулась и улыбнулась, протянула обе руки, сверкнув самоцветами на пальцах, длинными и заостренными поблескивающими ногтями. А потом она сняла волосы.

Когда золотые волосы остались в руках Дамы, раскрыв под собой короткие и прямые русые, Карла думала, что сейчас упадет в обморок. Дама положила золотые волосы на шар, а потом отделила один за другим длинные поблескивающие ногти, после чего ее руки остались всего лишь руками — костлявыми и некрасивыми. Дама

отклеила ресницы и брови, наложила на лицо густой слой чего-то бурого, а когда очистила, показалась бледная кожа с морщинками у глаз, с заметными и глубокими складками от крыльев носа к губам — которые тоже изменились, стали мелкими и злыми. Карле хотелось зажмуриться, развернуться и убежать к себе, но она не смела и шелохнуться. Она чувствовала на себе взгляд мадам Трюдо — и он обжигал.

Дама сняла легкое платье, и под ним от грудей до бедер ее прятало нижнее белье, какого Карла еще никогда не видела. Короткие пальцы взялись за застежки и наконец стянули эту одежду, и тогда показался ее живот — большой, выпирающий, с жестокими красными линиями там, где ей жало. Карла не могла отключить свои глаза, приказать им не видеть, не могла заставить себя отвернуться от отвратительного тела.

Мадам Трюдо встала и подошла к своей двери.

— Покажите ей две остальные записи. — Затем взглянула на Карлу и прибавила: — Приказываю тебе досмотреть. Я потом опрошу о том, что ты видела. — И вышла.

На других записях Даму показывали за работой. Сначала с протеже, потом — с гражданином-мужчиной. Когда они закончились, Карла на

негнущихся ногах ушла к себе, где ее непрерывно рвало, пока она не выбилась из сил. В ту ночь ее не отпускали кошмары.

Сколько, гадала она, я здесь уже дней? Карла больше не дрожала, а отрешалась от происходящего, стоило занять свое место между двумя высокими окнами. Не старалась уловить благоухание дам или посмотреть на Мужчин. Она выбирала одну точку на полу, чтобы сосредоточиться на ней, и уже не отводила взгляд.

«Они были старыми и преисполненными ненависти, и они сказали: переделаем их по образу и подобию нашему, и переделали».

Мадам Трюдо ее ненавидела, презирала. Старая и преисполненная ненависти…

— Почему ты не выбрала стать Женщиной, чтобы вынашивать потомство?

— Я не подхожу, мадам. Я слабая и робкая.

— Только посмотри на свои бедра — тощие, как у Мужчины. И груди — маленькие и твердые. — Мадам Трюдо в отвращении отвернулась. — А почему не выбрала стать Профессионалом, Доктором или Техником?

— Я недостаточно умна, мадам. Мне надо учиться много часов, чтобы понимать математику.

— Итак. Слабая, ранимая, не семи пядей во лбу.

Почему ты плачешь?

— Не знаю, мадам. Простите.

— Возвращайся к себе. Смотреть на тебя противно.

Таращилась на изъян на полу — место, где вмятинка искажала свет, отбрасывая маленький овальчик тени, — и гадала, когда кончится эта мука, почему у нее не получается записывать в блокнот множество всего, что говорила мадам Вестфолл, — что она вспоминала здесь и уже не помнила у себя в кабинке, с ручкой в руке, зависшей над страницей.

Иногда Карла забывала, где находится, вновь оказывалась в покоях мадам Вестфолл, глядя, как древняя старуха борется за жизнь, как заставляет себя дышать, отказывалась признавать смерть. Глядя на непонятные датчики, трубки и капельницы с опускающимся уровнем жидкости, глядя на иголки, уходящие в плоть, трубки, исчезающие под одеялом, что время от времени корчились, словно втайне живые, прислушиваясь к бормотанию, постаныванию и вздохам, бессмысленным словам.

«Трижды они восставали против детей и трижды губили, пока не осталось никого, потому что зараза распространилась и все старше десяти

заразились и переносили радиос…»

Радиос? Это какая-то болезнь? Заразились радиос и распространяли это среди молодежи?

«И мама велела прятать ребенка: спрячься и не двигайся и забери это в пещеру и не трогай».

Пришла смена, и Карла, как в тумане, выбрела из Зала прощания. На ходу она смотрела только на движение черной каймы своей юбки, и казалось, что чернота заползает по ногам выше, окутывает туловище до самой шеи и душит. Карла с силой сжала зубы и заставила себя идти ровным шагом.

После прощания Девочки, помогавшие мадам Вестфолл при жизни, дежурили в течение всех школьных церемоний. Они должны были стоять в один ряд за помостом. Там произносились хвалебные речи о терпении и твердости первой Учительницы. Речи о ее мудрости при составлении правил школы. Карла старалась слушать, но так устала, что чуть ли не спала стоя и выхватывала только обрывки. Тут она вздрогнула. Говорила мадам Трюдо:

— …Книга, что станет наставлением для всех будущих Учительниц, покажет, как через личные испытания и лишения достичь той же безмятежности, что знала мадам Вестфолл. Для меня

высокая честь, что она выбрала для этой цели меня и моих подмастерьев…

Карла вспомнила околесицу, которую записывала в блокнот, и моргнула, удерживая слезы от стыда. Мадам Трюдо надо было сразу сказать, чего она от них хотела. Карла побежит к себе и уничтожит все те глупости, что записала.

В конце дня собрались те, кто сопроводит мадам Вестфолл на последнюю церемонию в Скрэнтоне, ее родном городе, чтобы она воссоединилась со своими родными.

Перед отправлением мадам Трюдо подозвала к себе Карлу.

— Ты будешь руководить остальными девочками, — сказала она. — Я ожидаю, что ты будешь поддерживать порядок. Немедленно сообщай обо всех помехах или нарушении правил, а если это невозможно — если я буду занята, — наводи порядок от моего имени.

— Да, мадам.

— Хорошо. В пути все девочки поедут в одном вагоне метро. Дозволяются разговоры, но только не смех и не детские игры. Когда прибудем в скрэнтонский дом, вам дадут комнату с койками. И снова вам надлежит вести себя подобающе доверенным обязанностям.

Карла чувствовала, как в ней нарастает волнение, пока девочки выстраивались вдоль гроба с двух сторон. С ним они перешли к закрытому лимузину, где сидели коленка к коленке, молча, в духоте, пока их около часа везли по гладким шоссе к поезду. При жизни мадам Вестфолл отказывалась летать и удостоилась того же права в смерти, поэтому ее тело доставляли из Уилмингтона в Скрэнтон на ракетном метро. Как только девочки сопроводили гроб в отдельный вагон и пришли в свой, поднялся взволнованный гвалт. Все они впервые с пяти лет покинули школьную территорию.

Руфи собиралась поступать на работу в родильные палаты и говорила об этом с нежным видом и румяным лицом. Луэлла, с раннего возраста показавшая талант игры на пианино, уже стала музыкальным подмастерьем. Лоретта, чуть напыжившись, объявила, что Джентльмен выбрал ее Любовницей. Однажды она станет Дамой. Карла с любопытством разглядывала ее, удивляясь ее довольному виду и гадая, видела она уже фильмы или нет. Лоретта была голубоглазой, со светлыми волосами, почти того же сложения, что и Карла. Глядя на нее, Карла так и представляла Лоретту в мягких платьях, с накрашенными губами, с

волосами, спрятанными под другими: мягкими, как облако, и сияющими… Она смотрела, как разрумянились щеки других девочек от мысли о ее будущем, и поняла, что с красками или нет, а Лоретта станет Дамой с гладкой кожей, с мягкими губами…

«А сейчас волосы так мягки, плоть так нежна». Она вспоминала аромат, мягкие ладони Дамы, как двигалась красная юбка на ее бедрах.

Карла прикусила губу. Но она не хочет быть Дамой. Даже думать о них не может без отвращения и ненависти. Ее выбрали, чтобы она стала Учительницей.

«Они сказали, что долг общества — подготовить не-граждан к гражданству, но они понимали, что не все будут отвечать их требованиям, и общество не виновато в неизбежном появлении непригодных личностей».

Она достала блокнот и записала в него слова.

— Вспомнила, что она еще говорила? — спросила Лиза. Это была младшая из девочек, всего десяти лет, и она помогала мадам Вестфолл только один раз. Выглядела она очень уставшей.

Карла пробежала глазами то, что написала, и прочла вслух.

— Это из книги школьных правил, — сказала

она. — Может, чуть-чуть изменила, но смысл тот же. Ты будешь это учить через год-другой.

Лиза кивнула.

— А знаешь, что она сказала мне? Сказала, что мне надо спрятаться в пещере и никогда не терять свидетельство о рождении. Сказала, чтобы я никому не говорила, где радио. — Она нахмурилась. — Ты знаешь, что такое «пещера»? И «радио»?

— Ты это записала, да? В блокнот?

Лиза понурилась.

— Опять забыла. Один раз вспомнила, а потом забыла, пока тебе не сказала. — Она поискал блокнот в своей дорожной сумке, а когда не нашла, вывалила все на пол. Блокнота не было.

— Лиза, когда ты видела его в последний раз?

— Не знаю. Несколько дней назад. Не помню.

— Он у тебя был, когда ты в последний раз разговаривала с мадам Трюдо?

— Нет. Я его не нашла. Она сказала, если я не принесу его в кабинет в следующий раз, она меня выпорет. Но я не могу его найти! — Она разрыдалась и бросилась прямо на жалкую кучку своих вещей. Она колотила по ним кулачками и сотрясалась от всхлипов. — Она меня выпорет, а я не могу его найти! Не могу! Он пропал!

Карла уставилась на нее. Покачала головой.

— Лиза, хватит плакать, ты не могла его потерять. Где? Терять просто негде. Ты же не выносила его из кабинки?

Девочка только громче заплакала.

— Нет! Нет! Нет! Я не знаю, где он.

Карла присела и помогла девочке сесть.

— Лиза, а что ты записывала в блокнот? Ты с ним играла?

Лиза мертвенно побледнела, округлив глаза, потом закрыла их, уже не плача.

— Значит, ты писала что-то еще? Да? Что?

Лиза покачала головой.

— Не знаю. Просто всякое.

— На весь блокнот?

— А что мне было делать? Я не знала, что писать, мадам Вестфолл говорила очень много. Я не могла записать все. Она хотела меня потрогать, а я ее испугалась и спряталась под стулом, и она все звала: «Дитя, подойди, не прячься, я не из них. Иди в пещеру и забери это с собой». И все тянулась своими ручищами. Я… они были как куриные лапы. Она бы разорвала меня в клочья. Она меня ненавидела. Так и сказала, что ненавидит. Говорила, меня должны были убить со всеми остальными, почему меня не убили со всеми

остальными.

Сжимая девочку за плечи, Карла отвернулась от страха и отчаяния на ее лице. Руфи отодвинула ее, обняла бедняжку.

— Тихо, тихо, Лиза. Не плачь. Ну, ну.

Карла встала и отступила.

— Лиза, что ты записывала в блокнот?

— Просто рисовала, что мне нравится. Снежинки, цветы и узорчики.

— Хорошо. Собирай вещи и садись. Мы почти приехали. Кажется, метро замедляется.

Их снова пересадили в закрытый салон лимузина и провезли через сельскую местность, которая осталась для них невидимой. Когда они остановились и вышли, на улице моросило.

Дом Вестфоллов оказался трехэтажным псевдовикторианским особняком из дерева, с балконами, куполами и множеством дымоходов. Из-за реставрации, затеянной, чтобы переделать его в национальный памятник, особняк окружали строительные леса, а одну веранду из трех снесли и заменяли. Девочки сопроводили гроб в большую сумрачную комнату, где было холодно и сыро, а косой свет отбрасывал глубокие тени. Когда гроб установили на помост, приехавший вместе с ними, девочки последовали за мадам

Трюдо по узким коридорам, по узким лестницам на третий этаж, где для них приготовили две большие комнаты, по семь коек в каждой.

Мадам Трюдо показала общую ванную, пожелала всем спокойной ночи и жестом пригласила Карлу за собой. Они спустились по лестнице на второй этаж, в комнату с черной и массивной мебелью: рабочий стул, два стула с прямыми спинками, бюро с мутным зеркалом, большая кровать под пологом.

Несколько минут мадам Трюдо молча мерила комнату шагами, затем развернулась и произнесла:

— Карла, я слышала каждое слово этой глупой девчонки. Она рисовала в блокноте! И уже в третий раз в отчетах о словах мадам Вестфолл всплывает пещера. С тобой она тоже говорила о пещерах?

У Карлы забегали мысли. Как она могла слышать, о чем они говорили? Или зрелость заодно наделяет и волшебными способностями?

— Да, мадам, она говорила об укрытии в пещере, — ответила Карла.

— Где эта пещера? Где она?

— Я не знаю, мадам. Она не объясняла.

И снова мадам Трюдо принялась ходить по

комнате. От раздумий ее бледное лицо прорезали глубокие морщины, две — между бровей над переносицей, другие — у крыльев носа, до подбородка; губы плотно поджались. Вдруг она села и откинулась на спинку.

— Карла, в последние четыре-пять лет мадам Вестфолл стала не умнее ребенка; она чаще жила не в настоящем, а переживала события из прошлого. Понимаешь, что я имею в виду?

Карла кивнула, потом спешно прибавила:

— Да, мадам.

— Да. Что ж, это неважно. Тебе известно, что мне поручено написать биографию мадам Вестфолл, увековечить ее писания и изречения. Но есть пробел, Карла. Большой пробел в наших знаниях, и до сих пор казалось, его уже не заполнить. Мадам Вестфолл нашли в детстве, когда она бродила, будучи не в себе, истощенная, чуть живая, не понимала, кто она, откуда, ничего не помнила о своем прошлом. Кто-то надел ей на руку опознавательный браслет — стальной, который она не могла сама снять, — и только это подсказывало о ее происхождении. Десять лет ей предоставляли лучший уход и образование, и в конце концов ее разум просиял, но память к ней так и не вернулась.

Мадам Трюдо сдвинулась, чтобы взглянуть на Карлу. Из-за игры света казалось, будто ее глаза переливаются, как самоцветы.

— Вам рассказывали, как она открыла первую школу с восемью ученицами, а потом в течение века отточила свои преподавательские методы до такого совершенства, что теперь их ввели по всей стране, как в мужских школах, так и в женских. Это ее усилиями Учителя стали самыми уважаемыми гражданами, а школы — самыми влиятельными заведениями. — На ее лице мелькнула безрадостная улыбка, пропав чуть ли не раньше, чем появилась, оставив лишь глубокие тени, морщины и поблескивающие глаза. — Ты даже не представляешь, какую честь я тебе оказала, приняв в свои протеже.

В комнате было слишком душно и затхло, воняло плесневеющим деревом и непроветренными помещениями. Карла не отводила взгляда от мадам Трюдо, но от усталости уже кружилась голова, а эта речь все не кончалась и не кончалась. Она молчала под взглядом поблескивающих глаз. Только сейчас Карле пришло в голову, что мадам Трюдо встанет вместо мадам Вестфолл во главе школы.

— Разговори девочек, Карла. Пусть рассказыва-

ют все о словах мадам Вестфолл, веди их к этому вопросу, если они отвлекутся. Письменных отчетов, как оказалось, увы, недостаточно. — Мадам Трюдо замолчала и вопросительно взглянула на девочку. — Да? Что такое?

— Значит… когда они расскажут, им надо об этом написать?.. Или мне самой запоминать и записывать?

— В этом не будет нужды, — ответила мадам Трюдо. — Пусть просто рассказывают, сколько хочется.

— Да, мадам.

— Хорошо. Вот график на ближайшие дни. Две девочки всегда должны находиться на дежурстве в Зале прощания, от зари и дотемна, затем уличные упражнения в закрытом саду за особняком, если позволит погода, наряды на кухню и тому подобное. Изучи и раздай задания. В субботу все будут присутствовать на похоронах, а в воскресенье мы вернемся в школу. Теперь иди.

Карла поклонилась и повернулась. Ее вновь остановил голос мадам Трюдо.

— Погоди, Карла. Подойди. Перед уходом расчеши мне волосы.

Карла оцепеневшими пальцами взяла расческу и послушно встала за спиной мадам Трюдо,

снявшей все заколки, что удерживали ее тяжелые черные волосы. Они ниспали вдоль спины, как дохлая змея, понемногу распускаясь. Карла начала их расчесывать.

— Посильнее, девочка. Или не хватает силенок даже на расчесывание?

Она давила сильнее, пока не отяжелели руки, и наконец мадам Трюдо объявила:

— Довольно! Ты неуклюжая девочка, неумелая и бестолковая. Мне тебя всему учить, даже как расчесывать? — Она вырвала у нее из рук гребень: на ее щеках налились красные пятна, а глаза сверкали. — Поди прочь. Прочь! Оставь меня! В субботу, сразу после похорон, ты накажешь Лизу за то, что она рисовала в блокноте. После отчитаешься. А теперь поди с глаз моих!

Карла схватила листок с расписанием и попятилась через комнату, перепуганная внезапным демоническим преображением Учительницы. Наткнулась на другой стул и чуть не уронила. Мадам Трюдо воскликнула со смешком:

— Неуклюжая, неумелая! И еще хотела в Дамы? Ты?

Карла нашарила за спиной ручку и наконец сбежала в коридор, где привалилась к стене, не в силах сдвинуться с места — так ее колотило.

В дверь что-то ударило, и, подавив крик, она сорвалась с места и побежала. Гребень. Мадам швырнула в дверь гребень.

Всю ночь по дому блуждал призрак мадам Вестфолл, гоняя по комнатам тени, скрипя половицами, и отголоски ее голоса плыли по спальне, где в постели беспокойно ворочалась Карла. Она дважды вскакивала от страха, напряженно прислушиваясь — сама не зная, к чему. Однажды вскрикнула Лиза, и она перешла к ней в кровать и держала за руку, пока девочка не успокоилась. Когда спальню озарил рассвет, Карла стояла у окон без сна, и смотрела на горы, окружающие город кольцом. Черные тени на фоне разбавленного черного оттенка неба; затем они потемнели, вспыхнули, когда солнце пролило свет на их вершины. Огонь распространился ниже, разбежался и в конце концов стал всего лишь светом на листве, что на глазах делалась красно-золотой. Карла отвернулась, не в силах объяснить свою щемящую боль. Она разбудила первых двух девочек, которым предстояло дежурить при мадам Вестфолл, и после того, как они тихо ушли, вернулась к окну. Солнце уже встало, но утренний свет остался мягким — никаких четких очертаний. Деревья казались мешаниной красок без конту-

ров; сливались и наконец стали едины скалы и земля. Запели птицы, с отчаянием от завершения лета и приближения зимы.

— Карла? — Лиза коснулась ее руки, вскинув свои распахнутые перепуганные глаза. — Она меня выпорет?

— После похорон тебя накажут, — оцепенело ответила Карла. — И я должна сообщить, что ты меня трогала, ты же знаешь.

Девочка отшатнулась, уронив взгляд к черной кайме на юбке Карлы.

— Я забыла. — Она повесила голову. — Мне… мне так страшно.

— Пора завтракать, а потом прогуляемся в саду. На солнце и свежем воздухе тебе полегчает.

— Хризантемы, георгины, ноготки. Нет, вон те маленькие, с коричневой каймой… — Луэлла показывала девочкам разные цветы. Карла шла позади, почти не слушая, приглядывая за отстающей Лизой. Она переживала за девочку. Та плохо спала, толком не ела и была такой бледной и слабой, что, казалось, не дотянет до конца прогулки.

В мрачный старый дом съезжались выдающиеся личности, собирались вместе и тихо переговаривались. Карла не обращала на них внимания.

— Я все изменю, когда у меня будет власть, — сказала она своей внутренней частичке, которая слушала и не отвечала. — А что я могу сейчас? Я собственность. Я принадлежу государству, мадам Трюдо и школе. Что толку, если я не послушаюсь и меня тоже выпорют? Кому это поможет? Я не буду бить ее сильно.

Внутренняя частичка ничего не отвечала, но ей мерещился насмешливый смех от почитаемой мумии.

«У них были пустые школы; школьные коридоры на многие мили, где не ступала нога детей; парты, где не сидели ученики; книги, где никто не рисовал каракули; и туда отправили детей и сразу видели, кто отстает, не может научиться новым обычаям, и тогда избавлялись от них. Умно. Умно с их стороны. Они были умны, у них были ресурсы, деньги и ненависть. Боже мой, как же они ненавидели. Вот кто побеждает: тот, кто больше ненавидит. И больше боится. Всегда».

Карла заставила руки не дрожать, сцепив их перед собой, не поднимала голову. Теперь голос лился без умолку, и она не могла от него спастись.

«…Дождь каждый день, холодный, ледяной дождь, и папа не вернулся, и мама велела спря-

тать ребенка, спрятать в пещере, где тепло, и не двигаться, что бы ни случилось, не двигайся. Я надену это тебе на руку, не снимай, никогда не снимай, покажи им, если тебя найдут, покажи им, пусть увидят…»

Явилась смена, и Карла ушла. В широком коридоре, ведущем к задней лестнице, ее грубо остановила рука на плече.

— Дамм, вот подходящая. Иди сюда, девочка. Дай-ка на тебя посмотреть. — Ее развернули, и схватившая ее рука приподняла ее лицо за подбородок. — А я что говорил! Заметил ее с другого конца коридора, а! Такое не скрыть длинными юбками и жидкой прической, а? Заметил же я ее! — Он рассмеялся и сдвинул голову Карлы, чтобы полюбоваться в профиль, после чего рассмеялся еще громче.

Она только видела, что у него красная рожа с кустистыми бровями, густые седые волосы. Его рука больно сжимала подбородок, пальцы впивались по сторонам челюсти.

— Виктор, пусти ее, — раздался затем равнодушный женский голос. — Она уже избрана. Это Учительница-подмастерье.

Он оттолкнул Карлу, все еще не отпуская подбородок, и бросил взгляд на ее юбку с широкой

черной полосой вдоль подола. Пихнул так, что она отлетела к стене. Она уперлась руками, чтобы не упасть.

— И чей она питомец? — спросил он мрачно.

— Трюдо.

Он развернулся и потопал прочь, больше не глядя на Карлу. На нем были синие и белые цвета доктора права. Женщиной оказалась Дама в розовом и черном.

— Карла. Наверх. — Из открытой двери появилась мадам Трюдо и остановилась перед трясущейся девочкой. Смерила ее взглядом. — Теперь-то ты поняла, почему я взяла тебя в подмастерья перед поездкой? Ради твоего же блага.

В субботу — солнечный теплый день с золотым светом и ароматом горелой листвы, — они пришли на кладбище. Звучали речи, играла любимая музыка мадам Вестфолл, затем служба кончилась. Карла страшилась возвращения в дом. Она не сводила глаз с Лизы, казавшейся уже лишь тенью прежней себя. Этой ночью ей приходилось обнимать девочку три раза, пока не унимались ее кошмары, и каждый раз Карла гладила ее по красивым волосам и мягким щекам, бормотала утешения и знала, что лишь трусость не дает

ей сказать правду: это ей предстоит выпороть девочку. На гроб упали первые комья земли, и все отвернулись прочь, как тут воздух наполнился раскатистым смехом, непристойными песнями и неистовой музыкой. Это прервалось так же быстро, как началось, но люди застыли так, что горный воздух показался неестественно тихим. После маниакальной вспышки замолчали даже птицы.

Карла не могла удержаться от того, чтобы оглядывать леса вокруг кладбища. Кто? Кто посмел? Шелохнулась лишь пара листьев, легко спланировав в ласковом воздухе к земле. В отдалении снова запела птица, словно пролетавшие мимо злые духи уже скрылись.

— Это тебе прислала мадам Трюдо. — Луэлла нервно протянула розгу. Она была пластмассовой, трехфутовой длины, тонкой, гибкой. Карла долго смотрела на нее, потом медленно повернулась к Лизе. Девочка словно пошатывалась на месте.

— Наказывать тебя буду я, — сказала Карла. — Теперь раздевайся.

Лиза в шоке уставилась на нее, а потом бросилась через комнату и обняла Карлу изо всех сил.

— Спасибо, Карла! Спасибо большое. Я так

боялась, ты не представляешь, как я боялась. Спасибо. Как ты ее упросила? Тебя тоже накажут? Я так тебя люблю, Карла! — Она нечленораздельно тараторила от облегчения и буквально вылетела из сорочки и нижнего белья, повернувшись спиной.

Кожа ее была бледной и мягкой, ягодицы округлыми, с ямочками чуть выше. Она хныкала в ночи, как ребенок, тесно прижимаясь к Карле, прижимаясь к изгибу ее груди.

Карла замахнулась и опустила розгу как можно слабее. Но что угодно было сильным. Остался красный след. Девочка опустила голову ниже, но не издала ни звука. Она держалась за спинку стула, и тот скрежетнул по полу, когда ударила розга.

Если бы порола сама мадам Трюдо, было бы хуже, говорила себя Карла. Она бы старалась бить больнее, до крови. Почему? Почему? Розга повисла в руке, и она поняла, что им обеим будет тяжелее, если не поторопиться. Она подняла розгу и снова почувствовала, как та впивается в кожу, как каждый удар отдается в руке, во всем теле.

И еще. Девочка вскрикнула, и на спине проступила капля крови. Карла уставилась отчаянно и завороженно. Ничего не могла с собой поделать.

Рука слишком крепко сжала розгу, и она ничего не могла с собой поделать. На миг закрыла глаза, подняла розгу и ударила вновь. Уже лучше. Но вибрации, с которыми отдался первый удар, только усиливались, и кружилась голова, и она не могла отвести глаз от капли крови, сбегавшей по спине девочки. Лиза уже плакала, ее всю трясло. Карла чувствовала, как начинает потряхивать и ее.

Восемь, девять. Взволновавшее ее возбуждение было необъяснимым, непознаваемым — она еще никогда не чувствовала ничего подобного. И вдруг вспомнилась Дама, что когда-то ее выбрала, и в голове замелькали сцены фильма, который ее заставили смотреть… «переделать их по образу и подобию нашему». В тот застывший во времени миг она огляделась и заметила на одних лицах то же возбуждение, на других — страх, отвращение, ненависть. Ее взгляд остановился на Хельге: глаза закрыты, грудь ритмично вздрагивает. Она замахнулась и опустила розгу изо всех сил, ударив по стулу так громко, что вырвала всех из транса. Этот резкий треск обозначил конец.

— Десять! — крикнула она и запустила розгу через всю спальню.

Лиза обернулась со слезами в глазах, красных,

распухших, безобразных от рыданий, и сказала:

— Спасибо, Карла. Было не так больно.

Глядя на нее, Карла познала ненависть. Ненависть обожгла, искажала то, что она видела. Напряжение не находило выхода, и тогда прилило к лицу, заколoло в пальцах, наполнило ее ненавистью доверху. Она развернулась и побежала.

Перед дверью мадам Трюдо она на миг замерла, сделала глубокий вдох и постучала. Через пару секунд дверь открылась и вышла мадам Трюдо. Ее глаза блестели, как никогда, на бледных щеках горели два румяных пятна.

— Готово? Дай посмотреть на тебя. — Ее холодные и влажные пальцы приподняли подбородок Карлы. — Да, вижу, вижу. Сейчас я занята. Возвращайся через полчаса. Расскажешь мне все. Через полчаса.

Карла еще никогда не видела на лице Учительницы настоящую улыбку, и теперь та была страшнее, чем грозное выражение. Карла не сдвинулась с места, хотя чувствовала себя так, будто каждая ее клеточка пытается сбежать.

Она поклонилась и развернулась. Мадам Трюдо сделала шаг за ней и произнесла тише, но с силой:

— Ты почувствовала, да? Теперь ты знаешь, да?

— Мадам Трюдо, вы скоро? — Дверь за ней приоткрылась, и в проеме стоял доктор права.

— Да, конечно. — Она вернулась в комнату.

Карла поднялась на площадку между вторым и третьим этажом, остановилась. Она слышала голоса девочек сверху, которые спускались на кухонный наряд или в сад на вечерние упражнения. Задержавшись, чтобы их пропустить, она устало привалилась к стене. Вся площадка была не больше двух футов с половиной. Очень затхло и жарко. Наверное, поэтому сюда добавили вторую дверь — чтобы заглушить шум тех, кто поднимается или опускается. Девочки задержались на лестнице и обсуждали смех и похабщину, что слышали на кладбище.

Карла знала, что обязана их прервать, приказать спешить на свои дежурства, потребовать тишины в общественном месте, но сама лишь закрыла глаза и уперлась ладонью в дерево за спиной, мечтая, чтобы они уже скорее прекратили щебетать и прошли мимо. Вдруг деревянные доски за спиной сдвинулись с места.

Она отдернулась. Сдвижная дверь? Она провела пальцем по гладкой обшивке до места, где те-

перь возникла щель шириной в шестью дюймов — высокая, выше, чем она могла дотянуться. Она снова надавила на дверь — и та легко отъехала, скрывшись в прорези между двумя стенками. Когда проем стал шире, она ступила внутрь. Пещера! Она сразу поняла, что это и есть та пещера, о которой без конца говорила мадам Вестфолл.

Каморка оказалась не больше двух футов шириной. Ни зги не видно. Она нащупала с внутренней стороны двери ручку — так низко, что могли бы дотянуться и дети. Изнутри дверь сдвинулась так же плавно, как и снаружи. Она притворила ее почти до конца, отрезав голоса, зато теперь услышала другие голоса — из комнаты по другую сторону каморки. Голоса звучали неразборчиво. Она сделала несколько шагов на ощупь и чуть не свалилась, споткнувшись о ящик. Задержав дыхание, она поняла, что слышит мадам Трюдо.

— …Где-то есть. Слишком много независимых сообщений о том, что старая дура об этом трепалась, чтобы в это не верить. Это ваши люди никчемны.

— Трюдо, заткнись. Может, ты и пугаешь детей до смерти, но не меня. Просто заткнись и смирись с отчетом. Мы обшарили каждый дюйм холмов в радиусе многих миль, и никакой пещеры нет.

Это случилось больше сотни лет назад. Может, и была какая-то, где играли дети, но ее уже не осталось. Обрушилась, наверное.

— Нам нужно быть уверенными, абсолютно уверенными.

— Да что в этом такого важного? Может, если бы ты рассказала больше, мы бы лучше справились.

— В отчетах говорится, что, прибыв сюда, ополченцы нашли только Марту Вестфолл. Ее казнили на месте, даже не допросив. Дураки! После обыска они обнаружили, что дом пуст. Ни украшений, ни серебра, ни дневников или документов. Ничего. Стив Вестфолл погиб. Доктор Вестфолл погиб. Как и Марта. Никто так и не нашел спрятанные статьи, а когда появилось то дитя, амнезия у нее была настоящая и не поддавалась никаким попыткам излечения.

— Ну и что? Записи, дневники. Какое тебе до них дело? — Повисло молчание, потом он рассмеялся. — Деньги! Он же забрал из банка все деньги, да?

— Не говори ерунды. Мне нужны записи, больше ничего. Существует готовое любительское радио, готовое. Доктор Вестфолл был не только учителем, но и инженером-электриком. Никто не может и представить, что из оборудования он

успел спрятать перед своим убийством.

Карла провела рукой по ящику, пошарила рядом. Еще ящики.

— Да-да. Я тоже читал рапорты. Тем больше причин вести поиски поблизости. Около года до того, как все было кончено, за домом плотно следили. Им бы пришлось как-то дойти до укрытия. И я могу только повторить: никакой пещеры здесь нет. Ее засыпало.

— Уж надеюсь, — ответила мадам Трюдо.

В дверь постучали, и мадам Трюдо ответила:

— Войдите. Да, что такое? Говори, девочка.

— Мой долг, мадам, сообщить, что Карла не довела наказание до конца, как вы приказали.

Карла с силой сжала кулаки. Хельга.

— Объяснись, — резко велела мадам Трюдо.

— Она ударила Лизу только девять раз, мадам. На десятый она ударила по стулу.

— Ясно. Возвращайся к себе.

Когда дверь стукнула снова, мужчина рассмеялся.

— Карла — это которая золотистая, Трюдо? С одной черной полоской?

— Та, которую ты лапал, да.

— Нарушение субординации, Трюдо? Ай-ай. А во всех твоих отчетах говорится, что у тебя нико-

гда не было бунтов. Никогда.

Мадам Трюдо очень медленно произнесла:

— Еще ни у одной девочки под моим руководством не остались мысли о бунте. Карла научится покорности. И однажды из нее выйдет превосходная Учительница. Я вижу признаки.

Карла стояла перед Учительницей, опустив голову и сцепив руки. Мадам Трюдо обошла ее, не касаясь, потом села и сказала:

— Начиная с завтрашнего дня ты будешь пороть Лизу каждый день в течение недели.

Карла не ответила.

— Не стой, будто язык проглотила, Карла. Немедленно покажи свою покорность.

— Я… я не могу, мадам.

— Карла, в день, когда ты не будешь пороть Лизу, пороть ее буду я. А тебя — вдвое больше. Ты поняла?

— Да, мадам.

— Сообщи Лизе, что ее будут пороть каждый день, ты или я. Без промедлений.

— Мадам, пожалуйста…

— Не смей перечить, Карла!

— Я… мадам, пожалуйста, не надо. Не заставляйте. Она слишком слабая…

— Она же сама будет умолять, чтобы порола ты,

верно, Карла? Умолять в слезах, чтобы это была ты. И тебя будут переполнять возбуждение и ненависть, и они будут крепнуть с каждым днем. Тебе захочется делать ей больно, захочется видеть кровь на ее голой спине. И твоя ненависть будет расти, пока ты не сможешь на нее взглянуть, не ослепнув от ненависти. Понимаешь, Карла, я это знаю. Я знаю все.

Карла в ужасе смотрела на нее.

— Я не буду. Я не стану.

— Тогда буду я.

«Они были старыми и преисполненными ненависти, и они сказали: переделаем их по образу и подобию нашему, и переделали».

Карла пересказала слова мадам Трюдо девочкам, собравшимся в спальне на третьем этаже. Лиза пошатнулась, и ее подхватила Руфи. Хельга улыбнулась.

Тем вечером Руфи пыталась сбежать, но ее поймали двое Мужчин в синем. Девочек выстроили в ряд и заставили смотреть, как Руфи забивают камнями. Ее похоронили без службы на том же холме, где ее поймали.

В ночи, лежа на койке с распахнутыми глазами, Карла услышала у своего уха шепот Лизы:

— Мне все равно, если ты будешь меня пороть,

Карла. Это не так больно, как у нее.

— Иди к себе в кровать, Лиза. Иди спать.

— Я не могу уснуть. Я так и вижу Руфи. Надо было сбежать с ней. Я и хотела, но она не пустила. Боялась, что на холме будут сторожить Мужчины. Сказала, если ее не поймают, тогда мне можно пойти за ней в ночи. — Говорила она ровно, будто потрясение притупило ее разум.

Карла тоже видела перед собой Руфи. Снова и снова повторяла: бежать надо было мне. Я умнее, чем была она. У меня могло получиться. Это должна была быть я. Карла знала, что теперь поздно. Теперь за ними будут присматривать внимательнее.

Целую вечность спустя она выбралась из кровати и тихо оделась. Бесшумно собрала вещи, потом блокноты и ручки других девочек, и ступила из спальни. Во всем доме горел приглушенный свет, и она тихо пробиралась по лестницам и коридорам. Оставила ручку у одной двери на улицу, потом очень тихо вернулась в ту каморку между этажами. Отодвинула дверь и сложила в пещеру все, что несла. Попыталась пробраться за едой на кухню, но передумала, заметив там Блюстителя Закона. Бесшумно вернулась в чердачные комнаты и прокралась между кроватей к Лизе. Зажала

ей рот рукой и растормошила второй.

Лиза в ужасе подскочила, судорожно напрягаясь всем телом. Прижавшись к ее уху губами, Карла прошептала:

— Ни звука. Идем.

Она то ли повела, то ли потащила девочку за порог, по лестнице в пещеру, и задвинула за ними дверь.

— Здесь тоже нельзя разговаривать, — прошептала она. — Они могут услышать.

Она расстелила одежду, которую она принесла, и они улеглись вместе. Карла крепко обхватила девочку за плечи.

— Постарайся уснуть, — прошептала она. — Здесь нас вряд ли найдут. А когда все уедут, мы выберемся и будем жить в лесу. Будем питаться орехами и ягодами…

В первый день они ликовали из-за своего успеха, хихикали и прятали смех в юбках. Они слышали, как мадам Трюдо раздает приказы: расставить охрану в коридорах, на лестницах, у двери в спальню, чтобы не дать сбежать остальным девочкам. Они слышали допросы — девочек, охранников, которые никого не видели. Слышали насмешливый голос доктора права, который издевался над похвальбой мадам Трюдо о ее пол-

ном контроле.

На второй день Карла выбралась, чтобы украсть для них еды и, что важнее, воды. Всюду были Мужчины в синем. Вернулась она с пустыми руками. В ночи Лиза всхлипывала во сне, и Карле пришлось не спать, чтобы успокаивать девочку, которую начинало лихорадить.

— Ты же не отдашь меня ей? — умоляла Лиза снова и снова.

На третий день Лиза затихла. Не хотела, чтобы Карла оставляла ее ни на секунду. Сжимала ее руку в своей горячей сухой ладошке и время от времени пыталась поднять к лицу, но ей уже не хватало сил. Карла гладила ее по лбу.

Когда девочка заснула, Карла писала в блокноте, в темноте, не зная, пишет поверх слов или на пустой странице. Она записывала свою историю жизни, а потом всякие небылицы. Снова и снова писала свое имя и плакала из-за того, что у нее нет фамилии. Писала придуманные слова и рифмовала с другими. Писала о дикарях, смеявшихся над похоронами, и надеялась, что они не умрут в зимние месяцы. Думала, что, скорее всего, умрут. Писала о золотом солнечном свете среди черно-зеленых сосен, и о птичьих песнях, и о мягком мхе под ногами. Писала о том, как Лиза

мирно спит в пещере среди богатств, которых им обоим никогда не понять. А когда больше не могла писать, бродила в золотом свете леса, слушая птичьи песни, слушая раскатистый смех, что теперь казался столь прекрасным.

Послесловие

О рассказе. Мы до жути поучающая страна, вечно рассуждаем, как много мы делаем для детей, как их любим, как балуем вседозволенностью, потому что рука не поднимается их обидеть и лишить маленьких радостей жизни. Оруэлл гордился бы нашим двоеречием. У нас столько двойных стандартов, что большинство не успевает прислушаться к нашим же словам и сравнить их с делами. Мне не интересны воображаемые проблемы воображаемых времен; я, видимо, слишком глубоко чувствую этот мир, чтобы выдумывать искусственные, где моя фантазия может все исправить. И этот рассказ я вижу как кульминацию множества разрозненных элементов: одни — большие и задокументированные, другие — малые и личные. Один из них — Чикаго, но всего лишь один и даже не самый важный, просто самый известный. Самое отвратительное в чикаго (а однажды это станет именем нарицательным), что впоследствии больше 10 американцев к одному одобряли меры, предпри-

нятые полицией[76]. Пусть все, кто не поверил в мой рассказ, задумаются над этим числом.

Как оглашенной причиной развода может быть семейный эквивалент такого чикаго, а истинными причинами — лишь пустячные повседневные обиды, так и межпоколенческий разрыв, на мой взгляд, ширится благодаря мелким и повседневным дозам безответственности со стороны взрослых — вот наконец и возникла взрывная ситуация.

Если вы, прилично одетый и с виду обеспеченный член взрослого сообщества, войдете в магазин газировки, лавку с гамбургерами или ресторан и сядете в ожидании обслуживания, то вас обслужат раньше, чем подростков, которые пришли первыми, — даже если вы попросите только чашку кофе или стакан «колы», а они назаказывают дряни на несколько долларов. И это не вопрос экономики. Я видела, как про-

---

[76] Примечания: 76

Имеются в виду массовые бунты в Чикаго в 1968 году, последовавшие после убийства Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди. В Чикаго собрались множество людей со всей страны и из разных движений, протестуя против Вьетнамской войны, расизма и политики властей (в основном молодежь, около 10 тысяч человек), после чего их разогнала полиция, применяя грубую силу (около 10 человек погибло, больше 2 тысяч — арестовано). Суд над зачинщиками (получившими известность как Чикагская семерка) стал одним из главных культурных событий США второй половины XX века. Он закончился уже после публикации сборника, с более мягкими приговорами после апелляции.

давщица отворачивается от девочки-подростка с покупкой в руке, которой оставалось только заплатить, чтобы помочь даме средних лет, которая определялась с выбором еще добрых пятнадцать минут. Следующей приняли бы меня, если бы я ничего не сказала. А когда я пропустила ту девочку, продавщица сразу стала грубой и неприветливой. Нельзя показывать уважение к моему преклонному возрасту за счет неуважения к другому человеку. Но такова уж иерархия. Если бы равенство существовало во всем остальном, молодежь бы еще стерпела, но дело в том, что никакого равенства нет.

Равенство перед законом. Ха. Я могу ехать на машине с шумным глушителем, и если меня кто-то и остановит, то лишь для выговора. Мой сын за то же самое получает штраф — причем за рулем моей машины. Да и в судах у меня будет вся юридическая помощь, на какую хватит денег, и государство, в теории, по необходимости предоставит еще. А несовершеннолетний брошен на милость судьи, который наверняка понимает подростков не лучше, чем моя тетушка, старая дева.

Пока молодежь мирится с нашими стандартами, мы их не трогаем, но стоит им установить

свои, отличные от наших, как сразу устраивают фурор. Прически, сандалии, мини-юбки (пока Джеки[77] и остальные сделали их более-менее респектабельными) и так далее. «Ну почему они не могут быть как мы» — вот на что на самом деле сетуют школьные советы. Пусть постригутся, оденутся прилично, пьют джин и курят сигареты, но больше — ничего. Мы миримся с тем, что подростки хлещут пиво и что покрепче. Может, и случится где скандал из-за компании тринадцатилетних ребят, застигнутых во время пивной вечеринки, хотя уже к следующим выходным об этом все забудут. Но не дай бог им курить траву! Боже мой, сразу вызывайте ФБР!

На продажу выставляются дома с тремя-четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами, двумя гаражами, бассейнами и тому подобным. А спросишь о школах: о, пока там трудятся в две смены, да и прямо сейчас учителя на забастовке, зато у нас лучшие парковки для машин ваших детей. И вот это — любовь?

Видишь за обедом, как бизнесмены шумят все

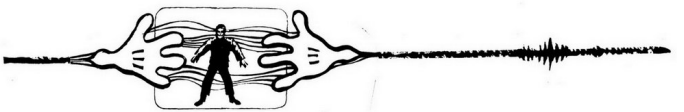
[77] Примечания: 77

Джеки — Жаклин Кеннеди (1929–1994) — жена президента Джона Кеннеди, убитого в 1963 году, среди прочего — одна из самых популярных женщин своего времени и законодательница мод в Америке и Европе.

больше и больше, а смиренные администраторы лишь улыбаются. Зато компанию студентов или ребят из старшей школы вмиг выставят за порог. Ветераны зарубежных войн могут захватить город и «бомбить» граждан с верхних этажей пакетами бог знает с чем — а торговая палата будет бороться за привилегию принять их вновь. Молодежь за ту же провокацию ждет отделение для несовершеннолетних.

Прости, Харлан, что-то я разговорилась и могу продолжать в том же духе еще много страниц. Но с такими данными дело имеют социологи, а не писатели. По крайней мере, напрямую. Я считаю, наше общество впало в маразм, и одна из причин — наш обожаемый отказ видеть правду за пределами наших собственных сладкозвучных слов. Будь мы так хороши, как говорим, я бы вложилась в производство арф. Все общество вокруг нас сказало: «Давайте притворяться!» — а мне хочется — ох, как же хочется, — чтобы мы наконец прекратили.

Предисловие «Заяц Гарри»



Самое радостное в составлении «Опасных видений» — это, вне всяких сомнений, открытие новых талантов. Огнеметный рассказ от Кейт Вильгельм или Урсулы Ле Гуин — это ожидаемо, они же профессионалы со сверхталантом. Но встретить кого-то нового и неиздававшегося, найти рассказ, который иначе бы в печать не попал (и вы удивитесь, сколько прекрасных рассказов от неизвестных ждут своего часа годами, чтобы в итоге отправиться на полку, а писатель уходит в сантехники или бухгалтеры), — это особое удовольствие. Для начала, это оправдывает само существование редактора. Поиск уже изданных рассказов или заказ новых у «больших имен»

не стоит особых аплодисментов или похвалы. Но если редактор может выдвинуть одного-двух «первых» писателей, уже можно говорить, что он заслуживает доброе слово и сделал благородное дело.

В области спекулятивной литературы помочь салаге — это обязательное занятие, уважаемое почти ненамного меньше, чем само зарабатывание денег. Не знаю другого такого жанра, где известные писатели — от верхних эшелонов Азимова/Брэдбери/Кларка до самых новичков последнего урожая, — из кожи вон лезут с такой регулярностью и страстью, чтобы поспособствовать неоперившимся авторам. Покажите, если сможете, другую область фрилансеров, где самые быстрые стрелки учат копуш, как их обогнать. В НФ господствующие настроения выглядят так: «Человек остается на вершине, пока может превзойти сам себя». Каждый день на гору лезут голодные тролли — и Цари Стеклянной Горы необъяснимо, но благородно не сталкивают их, а протягивают руку помощи.

В этой антологии вы прочтете немало новых авторов. Одни уже публиковались в других сферах — от критики до поэзии,– а у других присланные рассказы станут первыми появлениями в

печати. Кое-кто — Эд Брайант, Джоан Бернотт, Кен Маккалоу, Ричард Хилл,– уже начали вовсю издаваться. Но здешние рассказы — их первые продажи. (Нет, минутку, с Хиллом ошибся. Когда я купил у Ричарда «Гонку мотыльков», Деймон Найт уже приобрел его первый рассказ для своего *Orbit*. А это — вторая продажа Ричарда. Хочу быть исключительно честным.)

Джим Хэмисат — писатель двадцати семи лет, с кем я познакомился, когда в 1969 году работал две недели приглашенным лектором в писательской мастерской Колорадского университета в Скалистых горах. Из потока в двести человек я купил рассказы только у двоих, в том числе у него.

Джеймс Бартоломью Уильям Хэмисат родился 25 апреля 1944 года в Нью-Хэмптоне, округ Чикасо, штат Айова. Экс-римо-католик, экс-женат, экс-морпех. Учился в университетах Гавайев и Айовы, в последнем получил в 1969-м диплом бакалавра истории. Состоит в братстве «Фи Бета Каппа»[78], учился по стипендии *Harcourt, Brace & World* в творческой мастерской Колорадского университета 1969 года, а также работал ассистентом в творческой мастерской Айовского

[78] Примечания: 78

Phi Beta Kappa Society (*англ.*) — старейшее почетное студенческое общество, изначально «братство» в США, основанное 5 декабря 1776 года.

университета, в 1969–70 годах.

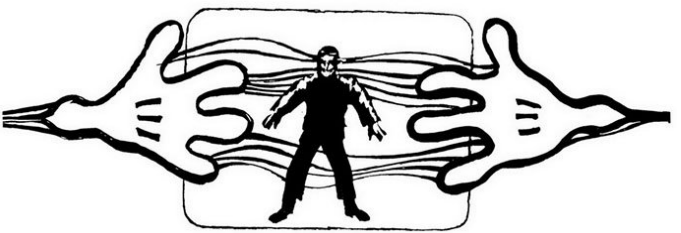
Не считая «Зайца Гарри» и «Коробки» (*The Box*, издано в *Dare*, декабрь 1967), он зарабатывал на всех привычных скучных работах, куда заносит писателей в ожидании, когда их признает мир: разносчик газет, продавец газировки, работник общепита в мужском общежитии, муниципальный инспектор съемного жилья в Айова-Сити, помощник бригадира лесорубов в национальном заповеднике Битеррут в Монтане; и следуя по стопам таких славных писателей, как Джон Стейнбек, Клиффорд Одетс и Джек Уильямсон, мистер Хэмисат пробовал себя в такой черной и/или грязной работе, как укладка асфальта, бетона, ассенизация, подъемка железнодорожного пути на участке вдоль реки Седар для Чикаго и Северо-Запада.

Его первый контакт с музой состоялся на третьем курсе в Айовском университете, где он учился у Мэри Картер, автора «Грошового состояния» (*Fortune in Dimes*) и «Минут ночи» (*The Minutes of the Night*). Она на своем писательском курсе задала приносить каждый день сначала сцену на триста слов, а потом — рассказ, тем самым доказывая, что есть и другие учителя писательства, кроме вашего редактора, кото-

рые считают, что почти вся теория — это чушь собачья, а стать писателем можно, только если *писать*. Мистер Хэмисат настаивает, чтобы я упомянул три его любимых рассказа: «Колодец и маятник» По, «Лотерея» Ширли Джексон и «Мальчик и его пес» вашего редактора. Тут он не дал мне выбора — заявил, что если я правда хочу привести его главные источники влияния, то для потомства нужно указать три данных произведения. А мне и нетрудно. Упоминание в одном ряду с По и Джексон повышает мне настроение на неделю. А то и на две. Заканчивает свои биографические заметки Хэмисат на том, что надеется однажды написать роман, где местом действия будет Айова.

О «Зайце Гарри» я только скажу, что это одновременно причудливый, смешной, пугающий и трагичный рассказ. Подозреваю, такой бы хотел написать Рэй Брэдбери — и такой бы ему точно понравился. Подозреваю, что понравится и вам.

Заяц Гарри
Джеймс Хэмисат



Приглушенный звук в темном зале кинотеатра, потом открылась распашная дверь, из фойе вошел низенький толстячок и направился по проходу к сцене. Было раннее утро, еще до начала сеанса. Низенький толстячок спустился по проходу, поднялся на сцену и приблизился к большому белому прямоугольнику киноэкрана.

— Привет, «Бижу»… я вернулся, — сказал он тихо, едва ли не почтительно. Робко потыкал

пальцем в экран и хихикнул. — Всего лишь перфорированный пластик? Как нелепо.

— Добрый день. — Голос раздался из конца зала. — Вы по какому-то делу? Мы еще не открылись.

Низенький толстячок обернулся после первых же слов. Теперь же он всматривался в конец зала. Там было слишком темно, но теперь он что-то едва видел, едва различал. На подоконнике створчатого окошка у будки киномеханика лежала рука в перчатке.

— Я пришел к Гарри. — Толстяк прикрыл глаза ладонью и прищурился.

— Он ушел на обед. — Петли скрипнули. — Вернется к дневному сеансу.

— Хорошо. Я подожду. — Посетитель сел на сцене, скрестив ноги. Подпер подбородок рукой. Покачался. — Дневной сеанс будет в час. Правильно?

— Зачем вам Гарри? — Теперь на подоконнике лежали две руки в перчатках. — Вы его друг?

— Да, — ответил толстячок. — Всегда любил мультики про Зайца Гарри. — Улыбнулся. — В детстве приходил каждое воскресенье. Именно сюда. В «Бижу».

— Правда? Проверка. — Руки в перчатках под-

няли нитку. — Что я делаю?

— Кошачью колыбель? — Толстяк вскочил на ноги. Прищурился. — Да! Точно. Кошачья колыбель. — Пауза. — Но это трюк Зайца Гарри.

— Совершенно верно. А теперь… — Нитка спланировала на пол. — Взгляните на мои руки. Что вы видите?

— Только четыре пальца! — Гость потер глаза. — И перчатки. Коричневые перчатки. — Он соскочил со сцены. — Так, значит…

— Совершенно верно. Я и есть Заяц Гарри. — Руки в перчатках помахали. — Простите за обман. — Молчание. — Ну, знаете. Насчет обеда. — Руки сжались в кулаки. — Но приходится проявлять осторожность. Меня ищут.

— Кто?

— Мои создатели. Те, кто меня нарисовал. — Руки сцепились вместе. — Студия, которая перестала выпускать мультики. Меня должны были похоронить…

— Но вы сбежали. — На глаза толстяка навернулись слезы. — Зачем вы им теперь нужны?

— Из-за авторских прав. — Руки в перчатках бессильно обвисли. — Я принадлежу им.

— Но ты мне нужен. Я люблю Зайца Гарри.

— Многие любят. И приходят сюда. Только что-

бы увидеть меня.

Меня зовут Джек Джексон, я юрист «Блю Винг Филмс», бывших создателей мультипликационных короткометражных фильмов о Зайце Гарри. Два месяца назад Заяц Гарри сбежал из музея классической мультипликации «Блю Винг». Розыск закончился вчера, на субботнем сеансе в «Бижу». Зал был набит битком людьми среднего возраста.

Заяц Гарри стоял на сцене, а я выкрикнул:

— Заяц Гарри принадлежит «Блю Винг Филмс»!

Я сидел рядом с низеньким толстяком. Он заплакал. Я дал ему платок.

— Заяц Гарри должен вернуться в музей.

— Я никогда не вернусь. Я принадлежу народу. — Заяц Гарри переминался с ноги на ногу. — Народ…

— Но авторские права принадлежат «Блю Винг Филмс». Я уже вызвал полицию.

— Заяц Гарри нужен народу. Мои мультики больше не показывают. У них остался только *я*.

— Прошу прощения, но закон гласит… — Уже почти все плакали. Полицейская сирена стала громче. Я сел.

Заяц Гарри улыбнулся и прислушался. Щелк-

нул пальцами — и тут появились ножницы. И тогда он сказал:

— Народ меня получит. — И отрезал себе правую ногу. Следом — левую. Оба уха. И левую руку ниже локтя.

Я встал и крикнул:

— Заяц Гарри принадлежит «Блю Винг Филмс»!

И сел. Проход зала был полон людей.

Послесловие

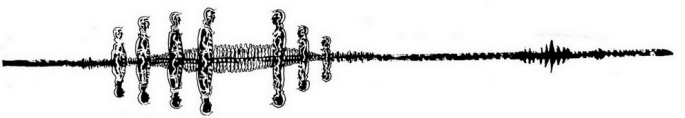
Первая половина «Зайца Гарри» написана в Айова-Сити, где-то в течение зимы 1968 года. Вторую половину — часть о Джеке Джексоне — я написал следующим летом на писательской конференции Колорадского университета. Самый первый абзац «Зайца Гарри» принадлежит Харлану Эллисону. Об остальном могу смело сказать, что это мое.

Эпоха больших студийных мультфильмов прошла. В Соединенных Штатах производство качественных мультфильмов практически прекратилось.

Что убило мультики? Растущая стоимость производства. Низкий кассовый потенциал. И общественная апатия.

Но я — Джеймс Б. Хэмисат — скучаю по Даффи Даку, Сильвестру и Твити, прочим мультяшкам пятидесятых. Они были моими друзьями. Надо ли говорить что-то еще?

Предисловие «Когда все изменилось»



Я пишу это на высоте в десять тысяч метров, на рейсе «Американ эйрлайнс» 194, следующем в Чикаго. С удовольствием делю время рейса между написанием предисловий к рассказам людей, которых я люблю, и чтением сигнального экземпляра нового романа Кита Лаумера от *Scribner*, «Берег динозавров». И в одном из метких совпадений, что мне частенько подкидывает Вселенная, нахожу в книге Кита ту искру, что помогает написать предваряющие слова для Джоанны Расс и ее рассказа.

Вдохновил эту искру отрывок на странице 48, где два агента полиции времени из далекого будущего попадают в юрский период. Отрывок

такой:

— Почему меня не подобрали? — тихо выдавила она.

— Девочка моя, да не переживайте вы так! — успокоил я и похлопал по плечу. Мое прикосновение снова насторожило ее.

— Держите руки при себе, — огрызнулась она, обретая холодную деловитость. — Если вы считаете, что представился случай разыграть сценку из жизни на необитаемом острове, то заблуждаетесь.

— Не торопите события, — сказал я. — У вас еще будет возможность дать пощечину, когда я начну приставать. А пока лучше бросьте свои бабские штучки. У нас нет времени заниматься чепухой.

Кит — мой близкий друг и чертовски хороший писатель, и тех из вас, кто знает, что под конец прошлого года он пережил тяжелый инсульт, обрадует новость, что он быстро восстанавливается, но если Джоанна Расс когда-нибудь окажется от Кита на расстоянии удара, то, уверен, за эти строки она его выпорет прямо на скотном дворе: ведь это текст явного козла-шовиниста.

И вы поймите, я не пытаюсь устроить скандал, но, — как новообращенные евреи или католики, как многолетние курильщики, которые наконец

бросили, как трезвеющие алкоголики, — все те из нас, кто почти всю жизнь провел шовинистом, потом ужасно старательно выискивают тех господ, еще совершающих мыслепреступления.

В случае, если вы не понимаете, насколько оскорбительны эти строки для женщины, то, мужики, вы только задумайтесь:

Эти оперативные агенты, — и мужчина, и женщина, — прошли спецподготовку, ультраэффективны, круче только яйца, они мотаются туда-сюда по времени, сражаясь с могущественным врагом и заодно с самим временем — и все-таки женщина показана слабой, хнычущей, полуистеричной, нелогичной, беспомощной и бестолковой пуританкой. Это мужчине приходится помогать ей взять себя в руки. Рассказчик без конца зовет себя и других мужчин «мужчинами», но женщин — «девочками». Будь Кит последовательным, называл бы себя (рассказчика) и остальных мужчин в романе «мальчиками». А самый отъявленный образчик бессознательного мужского шовинизма у автора — это когда, стоит героине забыть о логике и разнюниться (что я считаю нелогичным для данного персонажа), он ей говорит: «Бросай свои бабские штучки».

Тьфу ты. Попадись он под руку Кейт Миллет,

Джермейн Грир, Мэри Рейнгольц и Джоанне Расс, они бы, уверен, нещадно поколотили Кита табличками с митинга. Призываю Кита не казать носа из своего флоридского убежища, пока мы, «спасенные», пытаемся остановить линчевателей.

Все это настолько хорошо подводит к рассказу Джоанны, что это наверняка судьба. Ведь Джоанна написала рассказ, где проводятся необыкновенно четкие различия между способностями и умозрениями полов, но при этом стираются множество других, которые мы считаем неискоренимыми. Это рассказ о женском равноправии в самом лучшем и сильном смысле этого слова, но при этом сама тема в нем не упоминается ни разу. И это показывает, почему я считаю женское движение за равноправие одним из трех-четырех самых мощных и влиятельных в нашей стране, возникших за последние десятилетия общественных волнений.

Кит и многие другие меня за это распнут, но если спросите меня, то лучшие сегодняшние писатели НФ — женщины. Многие представлены в этой книге — Кейт Вильгельм, Урсула Ле Гуин, Джозефин Секстон, Ли Хоффман, Джоанна, — а кое-кто появился в первых «Опасных видениях»:

Соня Дорман, Кэрол Эмшвиллер, Мириам Аллен Дефорд. Другие еще появятся в «Последних опасных видениях». А когда я говорю, что на данный момент дамы пишут лучше всех нас, тут же прибавляю, что даже не делаю стародавнюю большую оговорку. И звучит она так:

«Эта Ли Брэккет / К. Л. Мур / Кэтрин Маклин / Маргарет Сент-Клер / И. Мэйн Халл (вставьте имя из собственных прегрешений, мужики) — она офигительная писательница. Так хорошо пишет, что кажется, будто это мужчина. Даже не отличишь».

Так вот это тоже бред. Очередной яркий пример того, что мы делаем с нашими писательницами уже столько лет. Мы вынуждаем их думать — причем совершенно справедливо,– что пол изначально мешает воспринимать их всерьез или оценивать их творчество по тем же меркам, что и мужское. Жорж Санд и Джордж Элиот не одиноки в том, что брали для самозащиты мужские псевдонимы. Один бог знает, как это мировоззрение повлияло на таланты и личную жизнь не только Амандин Авроры Люси Дюпен и Мэри Энн Эванс, но и всех потенциальных Ширли Джексон и Дороти Паркер — которые *пострадали* от гендерной дискриминации. Бог

знает сколько сотен лет в литературе в целом и почти пятьдесят лет в спекулятивной литературе в частности мы лишали себя, возможно, *половины* великих авторов. Утверждая, будто женщины пишут хорошо, только если пишут как мужчины, требуя от них крутого стиля, подписываясь под мужским взглядом на мир, мы обесценили и даже вычеркнули бесконечное число прочих взглядов на мир — взглядов другими, чудесными глазами.

К счастью, ситуация меняется. Как по мне, слишком медленно, но все-таки. Еще хватает того, что обычно зовут «женской литературой» — в основном в больших глянцевых журналах, которые выпускаются, только чтобы читать в парикмахерских под сушилками для волос; но это говорит о высоком уровне качества серьезных писательниц не больше, чем руарковские[79] подростковые мускулистые рассказы в «мужских приключенческих журналах» говорят о серьезной литературе мужчин. Надеюсь, в обоих клише люди признают то, чем они и являются: простейшую попытку угодить самой нижней планке литературных потребностей мужчин и женщин.

Причины моей радости из-за укрепляющегося

---

[79] Примечания: 79
Роберт Руарк (1915–1965) — американский писатель и охотник.

положения писательниц в нашем жанре, а также причины моего мнения о том, что движение за женское равноправие — это подарок не только для литературы, но и для мира в целом, одни и те же.

Мужчины правили тысячи лет. Концепция «мачизма», господствующее мужское мировоззрение, изображение женщин слабыми и в принципе безмозглыми существами, обожествление Марса в виде бога войны и мужского превосходства… все это привело нас к миру тщеты, ненависти, узколобости, сексуальных проблем, загрязнения и отчаяния. Быть может, пришло время уступить руль женщинам. Хуже-то они уже точно не сделают. И хоть я понимаю, что женщины тоже могут укреплять нынешнее неприятное культурное положение (те матери, которые отправляют сыновей на битву с наставлением вернуться со щитом или на щите, а потом воздают почести останкам, что приходят к ним из Вьетнама в пластиковых мешках, и выставляют безвкусные золотые звезды в окнах гостиных, лично мне кажутся ненамного лучше монстров), я все-таки вижу больше доброты и рациональности в средней женщине, чем в среднем мужчине.

Я очевидно заимствую у истинной традиции

утопистов, когда воображаю мир, спасенный женщинами, и не менее очевидно несправедливо перекладываю на женские плечи ответственность за исправление того, с чем напортачили мужчины. (Вспоминается молодая студентка, которая в ответ на слезливые поучения седовласого мудреца о том, что спасение мира находится в руках у нее и «более осознанного поколения», ответила сему пожилому господину с призывом отбыть в жопу: почему это *я* должна все решать, спросила она. У вас была куча времени — и вы все запороли, а *мне* теперь, значит, разгребать вашу помойку. Нет уж, папочка, спасибо. Поверьте, ее мнение не осталось неуслышанным.)

И все-таки не могу избавиться от ощущения, что если бы у женщин было единство цели, как у дам из «Лисистраты», то они бы закончили войну за полдня.

Не говорите. Сам знаю. Ожидаю от женщин благородства, которого явно нет у мужчин, и ожидаю, будто все они одинаково относятся к любым важным вопросам. Но я же вроде сказал, что я утопист, да?

Могу же я надеяться.

Могу надеяться, что мир, увиденный разумом и глазами женщин, приятней и приемлемее, чем

тот, что все эти века предлагали мы, мужчины. И именно это мировоззрение — новое и иное, поскольку рождено иной системной ориентацией, — сейчас формирует ядро новой лучшей литературы в НФ и вне ее благодаря неравнодушным и сознательным писательницам.

А среди них не последнее место занимает Джоанна Расс.

Однажды Терри Карр, редактор «особых изданий» в *Ace Books*, рассказывал, что первый роман Джоанны Расс — превосходный «Пикник в раю» (*Picnic on Paradise*) — отвергли во всех основных издательствах книг в твердых обложках, прежде чем его заметил и подхватил он. Могу ошибаться в мелочах, но готов спорить, что как минимум один редактор (а они все — мужчины) подсознательно вычеркнул роман только потому, что его написала женщина. У меня нет абсолютно никаких доказательств этой теории и я даже не знаю, кому книгу предлагали, но я, на минуточку, варюсь в этом бизнесе и встречал предрассудки, въевшиеся на таком клеточном уровне, что их не замечают даже сами мужчины, тем не менее лишенные справедливости и рациональности.

Какими же унылыми и глупыми сейчас кажутся те редакторы, упустившие роман столь

очевидной важности. «Пикник в раю» номинировали на премию «Небьюла» 1969 года в категории «лучший роман», где он чуть-чуть не выиграл. Джоанна Расс с первым же романом оказалась среди главных талантов НФ и состязалась наравне с такими авторами, как Джеймс Блиш, Филип К. Дик, Роберт Силверберг, Р. А. Лафферти, Джон Браннер и победитель того года — Алексей Паншин.

Перспективность «Пикника в раю» подтвердилась в ее втором романе, «И умер хаос» (*And Chaos Died*) 1970 года. Он был еще сильнее первой книги и тоже номинировался на «Небьюлу», и, хоть снова проиграл (отчего творчество Джоанны снова попало на второе место), очевидно, что Расс от заслуженных наград и славы отделяет только время.

Джоанна Расс родилась в Бронксе в 1937 году и большую часть раннего детства каталась на коляске по Ботаническому саду. О своем образовании сообщает: «Поступила в Научную старшую школу, но не пошла туда из-за безумия семьи и в итоге провела четыре года в другом месте, где стала одной из десяти победителей „Поиска научных талантов Вестингауза“ в стране — за то, что вырастила грибок, красивый, но до того пу-

гавший мать, что я его хранила в холодильнике. Я поступила в Корнелл — очень традиционно, на английскую литературу, — но после окончания решила бросать быть хорошей девочкой и получила диплом магистра драматургии в Йельской школе драмы».

Три года Джоанна писала, как она сама выражается, «плохие пьесы», а потом, в 1959 году, издала свой первый рассказ в *The Magazine of Fantasy & Science Fiction*, «Пред ней бессильны возраст и привычка»[80] (*Nor custom stale*). С тех пор продала несколько десятков рассказов для таких разнообразных рынков, как *Orbit* и *Manhattan Review*. Работала редактором, машинисткой и автором пресс-релизов в издательствах, ходила по объявлениям для временных офисных работников, работала секретаршей у раздражительного психиатра и, наконец, ушла в преподавание. Ушла в основном из отчаяния, говорит Джоанна, и преподавала предмет, о котором ничего не знала — риторику — в общественном колледже в Нью-Йорке, и с первого же дня в классе поняла, что поступила правильно. Последние четыре года преподает писательство в Корнеллском

---

[80] Примечания: 80
Уильям Шекспир, «Антоний и Клеопатра», *пер.* Б. Пастернака.

университете.

Джоанна Расс написала четыре одноактных пьесы (три ставились в независимых театрах, одна — в Принстоне), а также в 1967-м радиоспектакль для *WBAI* — нью-йоркской радиостанции сети «Пасифика». Видимо, решив, что может не только писать «плохие пьесы», Джоанна и сама играла в общественном театре, в независимых постановках, печатала программки, работала осветительницей, шила костюмы и одним летом даже сшила семьдесят пять пар римских сандалий для постановки «Юлия Цезаря» от Джозефа Паппа, для Шекспировского фестиваля в Нью-Йорке.

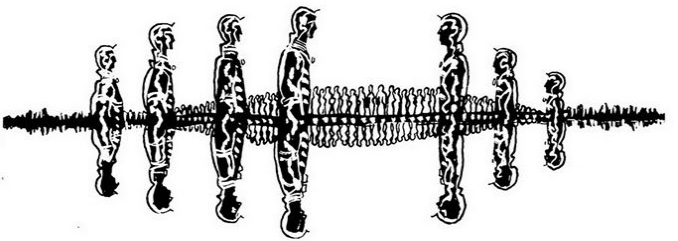
Все вышеописанное, разумеется, — это контекст для понимания женщины, которая написала рассказ, что вы сейчас прочтете. То есть уместно, но едва ли важно. Чем Джоанна Расс была или планирует стать — это не то, что она есть сейчас.

А она есть прекрасная писательница — и становится все лучше с каждым годом. Что она нам доказывает (и «Когда все изменилось» в немалой степени послужит для этого доказательства), так это что спекулятивная литература до сих пор неоспоримо принадлежала мужчинам: вот только на литературе это не написано. Особенно

когда есть такие таланты, как Джоанна Расс.

И более того: в бикини она выглядит бесконечно лучше любого редактора, который отверг ее роман.

Когда все изменилось
Джоанна Расс



Кэти водит как маньячка; на этих поворотах мы неслись, наверное, на 120км/ч. Но водит она хорошо, чертовски, и я знаю, что она может разобрать и собрать целую машину за день. Мой родной край на Поре в основном захвачен сельскохозяйственной техникой, и я отказываюсь сражаться с пятискоростной коробкой передач, пока в ушах свистит ветер. Меня этому никто не учил, но даже на тех поворотах в глухую ночь, на

таком ужасном проселке, какие есть только у нас в округе, меня не пугало, как водит Кэти. Хотя вот что интересно: она отказывается трогать оружие. Даже в походы по лесам над 48-й параллелью ходила без оружия, целые дни напролет. А вот это меня уже *пугает*.

У Кэти один ребенок, у меня — два. Юрико, моя старшая, дрыхла на заднем, видела сны двенадцатилетки о любви и войне: о побеге в море, об охоте на Севере, сны об удивительно красивых людях в удивительно красивых краях, — всю ту чудную ерунду, что выдумываешь, когда исполняется двенадцать и вовсю подключаются железы. Однажды она, как и все, начнет исчезать на недели кряду, возвращаться грязная и гордая собой, зарезав свою первую пуму или застрелив первого медведя, волоча за собой какую-нибудь жутко опасную дохлую бестию, чего я никогда не прощу из-за того, что могло бы случиться. Юрико говорит, ее вождение Кэти вгоняет в сон.

Для человека, бившегося на трех дуэлях, я слишком многого боюсь. Старею. Мы это уже обсуждали.

— Тебе тридцать четыре, — ответила Кэти. Она лаконична вплоть до молчания. Включила фары: осталось три кэмэ, а дорога все хуже и хуже.

Слишком далеко от цивилизации. Навстречу нашему свету и мимо проносились электро-зеленые деревья. Я перекладываю ружье из крепежа, прикрученного к дверце, к себе на колени. Сзади шебуршится Юрико: мой рост — но глаза Кэти, лицо Кэти. Двигатель такой тихий, говорит Кэти, что слышно дыхание с заднего сиденья. Когда только пришло сообщение, Юки сидела в машине одна, воодушевленно расшифровывала свои точки-тире (глупо ставить широкочастотный передатчик рядом с двигателем внутреннего сгорания, но почти вся Пора работает на паре). Она бросилась из машины, моя нескладная и неуклюжая дочурка, вопя во всю глотку, но, конечно, напросилась ехать с нами. Умом мы готовились к этому с самого основания Колонии, с того самого времени, когда нас забросили, но сейчас все по-другому. Сейчас все ужасно.

— Мужчины! — кричала Юки, перескакивая через дверцу машины. — Они вернулись! Настоящие земные мужчины!

Мы встречались с ними на кухне фермы рядом с их местом посадки; все окна распахнуты, приятный вечер. Припарковавшись, мы миновали по дороге к дому все виды транспорта: паровые тракторы, грузовики, фуру с двигателем внутрен-

него сгорания, даже велосипед. Лидия, районный психолог, ненадолго забыла о своей северной немногословности, чтобы взять образцы крови и мочи, и теперь сидела в углу кухни и изумленно качала головой над результатами; даже заставила себя (очень крупная, очень миловидная, очень застенчивая, вечно мучительно краснеющая) раскопать старые учебники языков — хотя я могу говорить на старых наречиях хоть во сне. И говорю. Лидии с нами неловко; мы, южанки, слишком шумные. Я насчитала на кухне двадцать человек, все сплошь светочи Северного континента. Филлис Спет, кажется, прилетела на глайдере. Юки здесь — единственный ребенок.

Потом я увидела четверых гостей.

Они больше нас. Больше и шире. Двое — и выше меня, а ведь я очень высокая, метр восемьдесят без обуви. Они явно нашего вида — но *не такие*, неописуемо не такие, а поскольку мои глаза не могли и все еще до конца не могут постичь эти чужеродные тела, я не могла заставить себя их коснуться, хотя один, говоривший по-русски — и какие у них голоса!– и хотел «пожать руки»: видимо, древняя традиция. Могу назвать их только обезьянами с человеческими лицами. Кажется, настроен он был мирно, но я поймала себя на том,

что отпрянула чуть ли не на другой конец кухни,– и с извинением рассмеялась, и, чтобы подать хороший пример (*межзвездная дружба*, думала я), все-таки «пожала руки». Твердая, твердая рука. Они тяжелые, как ломовые кони. Размытые, глубокие голоса. Юрико прокралась среди взрослых и глазела на мужчин, разинув рот.

Он повернул голову — такое слово — и произнес на исковерканном русском:

— Кто это?

— Моя дочь,– сказала я и прибавила (с необъяснимым вниманием к приличиям, о которых мы порой вспоминаем в безумные моменты): — Моя дочь Юрико Дженетсон[81]. Мы пользуемся отчествами. Вернее сказать, матчествами.

Он рассмеялся, невольно. Юки воскликнула: «А я думала, они будут красивые!» — так разочарованная реакцией на себя. Филлис Хельгасон Спет, которую я однажды прикончу, пронзила меня с другого конца комнаты холодным, взвешенным, ядовитым взглядом, словно говорила: «Следи за языком. Ты знаешь, на что я способна». Да, правда, у меня не ахти какой статус, но у мадам

[81] Примечания: 81

В скандинавских странах второе имя образовывалось путем добавления суффикса «-сон» (сын) для мальчиков и «доттир» (дочь) для девочек. Но у автора у дочерей суффикс «-сон».

президент будут серьезные неприятности и со мной, и с ее собственным персоналом, если она и дальше будет считать промышленный шпионаж милым развлечением. Войны и военные слухи, как говорится в одной книге наших предков[82]. Я перевела слова Юки *для мужчины* на корявый русский — когда-то нашу лингва франка,– и *мужчина* рассмеялся вновь.

— Где все ваши? — спросил он с неформальным тоном.

Я снова перевела его слова и присмотрелась к лицам в комнате; Лидия смутилась (как обычно), Спет прищурилась из-за каких-то своих дьявольских планов, Кэти побелела.

— Это Пора, — ответила я.

Понимания в его взгляде не прибавилось.

— Пора, — повторила я. — Забыли? У вас остались архивы? На Поре была чума.

На его лице появился вежливый интерес. Головы повернулись в конец кухни, и я заметила местного делегата Парламента профессий; к утру на всех городских собраниях, на всех окружных советах будет аншлаг.

— Чума? — переспросил он. — Весьма при-

---

[82] Примечания: 82
От Матфея, 24:6.

скорбно.

— Да, — сказала я. — Весьма прискорбно. Мы потеряли половину населения за поколение.

Это его достаточно впечатлило.

— Поре еще повезло, — продолжила я. — У нас изначально был большой генофонд, нас сюда отбирали за высокий интеллект, у нас остались высокие технологии и немалая численность населения, в котором каждый взрослый — два-три эксперта в одном. Почва здесь плодородная. Климат, к счастью, благоприятный. Теперь нас тридцать миллионов. Промышленность развивается на всех парах — понимаете? — дайте нам семьдесят лет, и у нас будет не просто один настоящий город, а множество промышленных центров, полноценных профессий, радистов, машинистов, дайте нам семьдесят лет — и всем не придется проводить три четверти жизни в поле. — И я попыталась объяснить, как трудно выживать, когда художники могут работать на полную ставку только в старости, когда так мало, очень-очень мало тех, у кого есть свободное время, как я с Кэти. Попыталась заодно описать наше правительство: две палаты, разделенные по профессиям и по географии; рассказала, что проблемы, слишком масштабные для отдельных

поселений, решают наши окружные советы. И что контроль численности населения — это не политический вопрос пока что, но дайте срок — и будет. Сейчас у нас непростой период истории; дайте срок. Ни к чему жертвовать уровнем жизни ради безумной гонки за индустриализацией. Пусть все идет своим чередом. Дайте срок.

— Где все ваши? — повторил этот мономаньяк.

Тогда я поняла, что он имел в виду конкретно *мужчин*, что он придавал «всем вашим» значение, которого на Поре нет уже шесть веков.

— Вымерли, — ответила я. — Тридцать поколений назад.

Его будто бердышом приложили. Он с трудом перевел дыхание. Он словно хотел вскочить со стула; приложил руку к груди; озирался со странной смесью благоговения и сентиментальной нежности. Наконец произнес, торжественно и искренне:

— Это большая трагедия.

Я подождала, не вполне понимая.

— Да, — продолжил он, снова переведя дыхание со своей странной улыбкой — этой улыбкой взрослого для ребенка, которая намекает, будто что-то скрыто и сейчас под крики ликования и радости раскроется, — это большая трагедия. Но она в

прошлом. — И вновь он оглядел нас со странным уважением. Будто мы инвалиды какие.

— А вы удивительно хорошо адаптировались, — сказал он.

— К чему? — уточнила я. На его лице мелькнуло замешательство. На его лице мелькнула глупость. Наконец он произнес:

— На моей родине женщины не одеваются так просто.

— Как вы? — спросила я. — Как невеста? — Ведь все четверо были одеты в серебро с головы до ног. В жизни не видела ничего нелепее. Он словно хотел ответить, потом, видимо, передумал; снова посмеялся. Со странным восторгом — будто мы какие-то чудесные дети, будто он нам делает огромное одолжение, — он сделал неровный вдох и заявил:

— Что ж, теперь мы здесь.

Я посмотрела на Спет, Спет — на Лидию, Лидия — на Амалию, главу местного городского собрания. Амалия посмотрела уж не знаю на кого. У меня пересохло горло. Терпеть не могу местное пиво, которое фермеры хлещут, будто у них иридиевые глотки, но все равно забрала его у Амалии (это ее велосипед мы видели на улице) и выпила залпом. Мы здесь надолго.

— Да, теперь вы здесь,– сказала я и улыбнулась (чувствуя себя дурочкой), и всерьез задумалась, вдруг разум земных мужчин работает не так, как у земных женщин, но так быть не могло, тогда бы человеческий род давным-давно вымер. К тому времени радио уже разнесло новости по всей планете, и нам доставили другую переводчицу с русского, из Варны; я решила удалиться, когда *мужчина* пустил по кругу фотографии своей жены, больше напоминавшей жрицу какого-то эзотерического культа. Он хотел расспросить Юки, и я утащила дочь в заднюю комнату, несмотря на все ее горячие возражения, а сама вышла на переднюю веранду. Когда я уходила, Лидия объясняла разницу между партеногенезом (а это так просто, что может практиковать любой) и тем, что делаем мы, — слиянием яйцеклеток. Вот почему дочь Кэти похожа на меня. Лидия перешла к ПроцессуАнски и к КэтиАнски, нашей гениальной полиматке и пра-пра-не-знаю-сколько-еще-раз-прабабушке моей собственной Катарины.

Тихо щелкал сам себе передатчик Морзе в надворной постройке: флиртовали и делились анекдотами радистки.

На веранде был мужчина. Другой высокий

мужчина. Я недолго за ним наблюдала — умею двигаться бесшумно, если захочу, — а когда позволила себя заметить, он сразу перестал разговаривать с приборчиком, висевшим у него на шее. Потом спросил на превосходном русском:

— Вы знали, что на Земле восстановили половое равенство?

— Значит, это вы настоящий, — сказала я, — да? А тот второй — для ширмы.

Какое это было облегчение наконец все прояснить. Он дружелюбно кивнул.

— Мы не очень умный народ, — сказал он. — В последние века перенесли слишком много генетического ущерба. Радиация. Наркотики. Нас бы выручили гены Поры, Дженет.

Незнакомцы не называют незнакомцев по именам.

— Мы можем дать столько клеток, что вы в них утонете, — сказала я. — Выводите свои.

Он улыбнулся.

— Но мы так не хотим.

За его спиной я заметила, как в квадрате света — в сетчатой двери — показалась Кэти. Он продолжал, тихо и учтиво; кажется, без насмешки, но с самоуверенностью человека, у которого всегда хватало денег и сил с избытком, который

не представляет себе жизнь второго класса или в провинции. Что довольно странно, потому что вчера я бы сказала, что это все относится ко мне.

— Я разговариваю с тобой, Дженет, — начал он, — потому что подозреваю, что у тебя здесь больше влияния на народ, чем у кого угодно еще. Ты не хуже меня знаешь, что у партогенетической культуры хватает недостатков, и мы не хотим — по возможности — использовать вас для подобного. Прошу прощения; мне не стоило говорить «использовать». Но вы же должны понимать, что у вас противоестественное общество.

— А человечество вообще противоестественно, — произнесла Кэти. С моим ружьем под левой мышкой. Ее шелковистая макушка едва достает мне до ключицы, но она тверда как сталь; мужчина сдвинулся — снова с тем странным улыбчивым почтением (которое его коллега мне показал, но он — нет), — и ружье тут же легло в руку Кэти с таким видом, будто она стреляла всю жизнь.

— Согласен, — ответил он. — Человечество противоестественно. Мне ли не знать. У меня металл в зубах и металлические стержни вот здесь. — Он коснулся плеча. — Тюлени — гаремные животные, — добавил он, — как и мужчины; обезьяны

полигамны, как и мужчины; голуби моногамны, как и мужчины; есть даже целомудренные мужчины. Но что ни говори, а Поре все равно кое-чего не хватает. — Он сухо усмехнулся. Буду великодушна и сочту, что из-за нервов.

— Мне всего хватает, — ответила Кэти, — кроме разве что бессмертия.

— А вы?.. — начал он, переводя между нами взгляд.

— Мы живем вместе, — ответила Кэти.

Снова сухой смешок.

— Удобная экономическая организация, — сказал он, — для работы и воспитания детей. И неплохая для разнообразия в потомстве, если ваш вид репродукции сохраняет прежние черты. Но задумайтесь, Катарина Майклсон, вдруг вы можете устроить для своих дочерей кое-что получше. Я верю в инстинкты, даже у Мужчины, и не могу представить, будто вы две — машинистка, да? а ты, я так понимаю, что-то вроде главы полиции, — будто вы не чувствуете, что даже вам чего-то не хватает. Умом вы это, конечно, понимаете. Здесь только половина вашего вида. На Пору должны вернуться мужчины.

Кэти промолчала.

— Мне кажется, Катарина Майклсон, — мягко

продолжил он, — вы-то выиграете от такой перемены больше многих. — И он прошел мимо ружья Кэти в квадрат света из двери. Видимо, тогда он и заметил мой шрам, который не видно, если свет не падает сбоку; тонкая линия от виска до подбородка. Большинство о нем даже не знает.

— Откуда это у вас? — спросил он, и я ответила с невольной ухмылкой:

— С моей последней дуэли.

Несколько секунд мы буравили друг друга взглядом (нелепо, но правда), пока он не зашел и не закрыл сетчатую дверь за собой. Кэти произнесла дрожащим голосом:

— Дура чертова, ты что, не понимаешь, что нас оскорбляют? — и вскинула ружье, чтобы застрелить его через дверь, но я успела оттолкнуть ствол; ружье прожгло дырку в полу веранды. Кэти трясло. Она повторяла шепотом снова и снова:

— Вот почему я этого и пальцем не касаюсь, потому что знаю, что кого-нибудь убью, знаю, что кого-нибудь убью.

Первый мужчина, с кем я общалась вначале, все еще говорил в доме — что-то о великом движении по реколонизации и собиранию всего, что утратила Земля. Подчеркивал преимущества для Поры: торговля, обмен идей, образование. Тоже

сказал, что на Земле восстановили равенство полов.

Кэти, конечно, была права — надо было сжечь их на месте. Мужчины идут на Пору. Когда у одной культуры большие пушки, а у другой культуры их нет, исход несколько предсказуем. Может, мужчины бы в любом случае рано или поздно пришли. Мне хочется думать, что через сто лет мои праправнучки могли бы дать им отпор или свести бой к ничьей, но даже на это шансов маловато; всю жизнь буду помнить тех первых четырех, которые были сложены, как быки, и с которыми я почувствовала себя — пусть и на миг — маленькой. Это невротическая реакция, говорит Кэти. Я помню все, что было в ту ночь; помню взбудораженную Юки в машине, помню, как после возвращения домой плакала Кэти, будто у нее разорвется сердце. Помню, как не находила места и металась по дому, когда Кэти заснула, откинув голую руку в отсвет из коридора. Мышцы ее рук после многих лет за управлением и испытанием ее машин — как металлические балки. Иногда они мне снятся. Помню, как зашла в детскую и взяла на руки малышку, задремала ненадолго с душераздирающим, поразительным теплом младенца на коленях, и как наконец вернулась на

кухню и застала там Юрико, готовившую ночной перекус. Моя дочка ест как не в себя.

— Юки, — сказала я, — как думаешь, ты могла бы влюбиться в мужчину?

И она презрительно расхохоталась.

— В трехметровую жабу! — ответило мое тактичное дитя.

Но мужчины все равно идут на Пору. В последнее время не сплю ночами, волнуюсь из-за мужчин, которые придут на эту планету, из-за моих двух дочерей и Бетты Катаринасон, из-за того, что будет с Кэти, со мной, с моей жизнью. Дневники наших предков — это один сплошной крик боли, и, наверное, мне бы сейчас радоваться, но сложно отбросить шесть веков или даже (как я узнала в последнее время) тридцать четыре года. Иногда я смеюсь над вопросом, вокруг которого четверо мужчин ходили весь вечер, так и не посмев задать, глядя на нас — деревенщину в комбинезонах, фермеров в брезентовых штанах и замызганных рубашках: «А кто из вас играет роль мужчины?» Будто мы обязаны точь-в-точь копировать их ошибки! Что-то сомневаюсь, что на Земле правда восстановили равенство полов. Мне не нравится, когда надо мной насмехаются, когда с Кэти обращаются, будто она слабая, когда

Юки выставляют маловажной или глупенькой, когда других моих детей лишают всей человечности или превращают в незнакомцев. И я боюсь того, что мои собственные достижения сведут от того, чем они были — или чем я их себе представляла,– к не самым интересным курьезам в истории человеческого рода, к курьезам, о которых читаешь в сносках, иногда посмеиваясь из-за того, как это экзотично звучит, как старомодно, но бессмысленно, как прелестно, но бесполезно. Меня это задевает больше, чем могу описать. Согласитесь, для женщины, которая прошла три дуэли — причем все закончились смертями,– нелепо предаваться таким страхам. Но теперь не за горами такая масштабная дуэль, что мне не хватает на нее смелости; как говорил Фауст: «*Verweile doch, du bist so schoen*!»[83] Оставайся как есть. Не меняйся.

Иногда я по ночам вспоминаю первое название этой планеты, которое изменило первое поколение наших предков — те любознательные женщины, для кого, наверное, изначальное название стало слишком болезненным напоминанием о гибели всех мужчин. Забавно

---

[83] Примечания: 83
«Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»

— в мрачном смысле, — что смысл названия полностью перевернули. И это пройдет. Всему хорошему когда-нибудь приходит конец.

Отнимите у меня жизнь, но не отнимайте смысл жизни.

До Поры.

Послесловие

Мне сложно что-то прибавить к этому рассказу. Первые абзацы надиктовал вдумчивый, рассудительный шепот, которого я раньше никогда не слышала; а когда демон пропал — как оно всегда и бывает, — пришлось дописывать самой, придавать рассказу уже свой голос.

О допущении в этом рассказе надо либо писать книгу, либо промолчать. Попробую найти компромисс. Мне кажется (по словам рассказчика), что на Земле еще не воцарилось равенство полов и что (перефразируя слова Бернарда Шоу) единственный довод против — в том, что так еще ни разу не пробовали. Я уже читала НФ-рассказы о мирах без мужчин; в них либо сплошные полуголые грудастые девицы, которые изнывают от страсти (один такой написал Кейт Лаумер, забавный и прелестный, под названием «Война с якками» — *War with the Yukks*), либо женщины устанавливают статичное общество в духе улья, подражая какой-то теоретической примитивной матриархии. Эти рассказы написаны мужчинами. Почему женщины, которые много поколений прожили наедине с собой, должны

вдруг «инстинктивно» чувствовать сексуальное влечение к людям, о которых знают только из книг, или откуда у женщин врожденное византийское пуританство, не имею ни малейшего представления. «Прогресс» — это одна из священных коров НФ, поэтому, наверное, вторая версия просто показывает: может, женщины и способны управлять обществом сами по себе, но тогда общество получится не ахти. Видимо, мужчинам это лестно. Об НФ-попытках показать настоящие матриархии («Этой ночью он будет моим наложником», — холодно молвила императрица страны Зар) лучше даже не вспоминать. Помню хотя бы одну очень хорошую постапокалиптическую вещь от английского писателя (очередное статичное общество, с буквальной и сверхъестественной Великой Матерью), но в целом давайте дружно промолчим.

Я в своем рассказе писала о допущениях, которые лично мне кажутся очевидной истиной. Среди них та мысль, что почти все характерологические различия полов, которые мы принимаем за должное, на самом деле не врожденные, а привиты обществом. Не понимаю, как можно жить с обоими открытыми глазами и обоими рабочими полушариями и при этом не понимать такой

вещи. И все-таки и в НФ, и везде царствует миф, будто женщины от природы добрее мужчины, от природы не такие творческие, не такие умные, не такие хитрые, — или, наоборот, трусливее, зависимее, эгоистичнее, самоотверженнее, материалистичнее, застенчивей или бог еще знает какие, смотря что подходит в конкретном контексте. Да, из людей и правда можно вылепить что угодно. Есть настолько одомашненные пятидесятилетние матроны, что для них любой шаг за порог — сплошное переживание: есть ли тут знак «Не курить», работает ли эта штука, как застегнуть ремень безопасности, о божечки, ты видишь стюардессу, опять первыми обслуживает мужчин, вот всегда так, разве не ужасно. А самое интересное, что сильный умелый «мужчина», к кому в последнее время обращается дама в беде, — это Кэрол Эмшвиллер. Чудеса какие-то! Да этот трепет — вовсе не «женственность» (которую, судя по вечным переживаниям мужчин, женщины теряют), а патология.

Это же у мужчин бьет через край восторг из-за Чудесной Тайны Женщины, прелестной Женщины (тут писать все сложнее, потому что я всегда представляю своего читателя Джорджем-Джорджиной из цирков прошлого: наполовину

с бородой, наполовину с завивкой). Не так уж много женщин, кто и правда думает: «О, какая я завораживающая и таинственная!» Думаю, теперь понятно, у какого пола (как правило) выше престиж, больше свобод, больше образования, больше денег; или, если обратиться к Сартру, кто субъект, а кто объект. Конечно, у всех ролей в жизни есть свои достоинства и недостатки; недавно пламенная студентка-феминистка заявила публике у нас в Корнелле, что мужчина, который женится, находит себе «пожизненную рабыню» (свирепый взгляд в зал), пока публика оправданно хихикала, а я гадала, как же это меня угораздило выступать на одной сцене с такой тупицей. Еще я верю, как злодей своего рассказа, что люди рождаются с инстинктами (хоть и смутными) и что быть физически слабее мужчин и иметь способность рожать детей — это очень важное отличие. Но в наше время — все менее и менее заметное.

А еще у патриархального общества наверняка выше способность к выживанию. Подозреваю, оно намного стабильней (и закоснелей), чем первобытные матриархальные сообщества в представлении некоторых антропологов. Вот бы кто-нибудь знал. Взять только один вопрос: если

бы в мире существовал двойной стандарт для полов, то, вполне очевидно, это был бы именно известный нам, а не прямо противоположный; слишком уж мужская потенция биологически важна, чтобы ее подавлять. Общество, в котором лучшие мужчины становятся импотентами — как делали фригидными викторианских дам, — быстро обезлюдеет. О таких вещах стоит размышлять и писать.

А пока вернемся к рассказу. Он, конечно, вырос не из той лекции, а вопреки ей. Я прочитала очень хороший НФ-роман, «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин, где есть персонажи — гуманоиды-гермафродиты, и задумалась о неприспособленности английского языка, где все — «он» или «она», а «оно» оставляют разве что для пишущих машинок. Но можно ли звать гермафродита «он», как это делает мисс Ле Гуин? Я попробовала (мысленно) поменять все мужские местоимения на женские и поразилась разнице. А потом задумалась, почему это у Ле Гуин «герой» — мужчина во всех важных сексуальных контактах его жизни. И спустя несколько недель мой демон вдруг прошептал: «Кэти водит как маньячка»,– и тут я оказалась на Поре, на проселке в ночи. Можно добавить (и для бородатой, и для небородатой

половин мозга читателя), что я никогда не пишу ради того, чтобы шокировать. Для меня это так же безнравственно, как писать, чтобы угождать. Катарина и Дженет — это уважаемые, добропорядочные, даже традиционные люди, и если они шокируют *вас*, просто задумайтесь, что думают *они* при виде *Playboy* или *Cosmopolitan*. Слава богу, они еще не обзавелись ненавистью к противоположному полу (а «Космо» в этом отношении даже хуже).

Вот почему я навещаю Пору — хотя сама там не живу, ведь там нет мужчин. И если вы, Джордж-Джорджина, сомневаетесь в моей искренности по этому поводу, мне остается только махнуть рукой и считать вас совершенно безнадежными.

Предисловие «Большой космический хер»



Если верить *The New York Times Magazine* от 24 января 1971 года, это последнее произведение Курта Воннегута-младшего, что вы прочитаете.

В статье среди прочего говорилось: «Воннегут раз за разом повторяет, что закончил с романами; сначала я это принял за его обиду, но потом поверил…»

«После „Бойни номер пять“ Воннегут приступил к роману „Завтрак для чемпионов“ о мире, где все — роботы, кроме единственного человека — рассказчика. Но он бросил роман, и тот остается недописанным. Я поинтересовался, почему, и

он ответил: „Потому что это кусок —“.»

Думаю, автор *Times* искал слово «говно». «Г-о-в-н-о», как можно прочитать в «Словаре английского языка *Random House*» (*Random House*, Нью-Йорк, 1966), а именно: «сущ., глаг. **shit, shit-ting**, *междометие — сленг (вульгар.); сущ.* 1. экскременты. 2. акт дефекации. 3. притворство, преувеличение, ложь, вздор».

Всегда рад помочь *Times* в таких непростых вопросах.

И эта дискуссия о языке подводит к выбору мистером Воннегутом названия для рассказа. Название — его собственное и в точности сохранено по рукописи, как можно убедиться лично в Литературном музее редактора, ежедневно с двенадцати до пяти, три пенса за вход. Поскольку это первый раз (насколько мне известно) (уверен, энди оффут, или Дик Гейс, или Брайан Кирби меня поправят, если я ошибаюсь), когда в названии задействовано слово *fuck*, это уже само по себе небольшая литературная веха; и поскольку число критиков и библиотекарей, кого впечатляют Имена и привлечет эта антология из-за наличия в ней Курта, уравновесится числом провинциальных мамочек и пугливых библиотекарей, которые запретят книжку и скроют подальше

от детских глаз, прокомментировать это стоит. Синтаксис. Настроение.

Комментарий в двух словах: классное название.

Продолжим.

Курт Воннегут родился 11 ноября 1922 года в Индианаполисе. Его первый роман, «Механическое пианино», вышел в 1952-м, и лично мне никогда особенно не нравился, даже в оригинальной ипостаси в мягкой обложке от *Bantam*, 1954 года, когда еще назывался «Утопия 14». Но Курт мне это прощает.

Вы видите, что я зову его Курт, а не «мистер Воннегут» или даже полуфамильярно «Курт Воннегут». Не считая потребности моего извращенного эго хвастаться знакомствами, я *имею право* звать его по имени. Понимаете, мы с Куртом из одного карасса. Но прежде чем я *докажу* это заявление, для тех из вас, кого только что спасли из шахт Мохоле и кто еще не знает, кто такой Воннегут, что он писал и что такое «карасс», вот несколько цитат — для объяснения термина — из «Колыбели для кошки»:

(Воннегут описывает религию, известную как боконизм, созданную и философом Бокононом из республики Сан-Лоренцо.)

«Мы, боконисты, веруем в то, что человечество разбито на группы, которые выполняют Божью волю, не ведая, что творят. Боконон называет такую группу карасс — и в мой личный карасс меня привел мой так называемый канкан, — и этим канканом была моя книга, та недописанная книга, которую я хотел назвать „День, когда настал конец света“» (глава 1).

«И в другом месте, в Книгах Боконона, сказано: „Человек создал шахматную доску. Бог создал карасс“. Этим он хочет сказать, что для карасса не существует ни национальных, ни ведомственных, ни профессиональных, ни семейных, ни классовых преград.

Он лишен определенной формы, как амеба» (глава 2).

«Боконон нигде не предостерегает вас против людей, пытающихся обнаружить границы своего карасса и разгадать промысел Божий. Боконон просто указывает, что такие поиски довести до конца невозможно» (глава 3).

«Тут мне придется объяснить, что Боконон называет вампитером.

Вампитер есть ось всякого карасса. Нет карасса без вампитера, учит вас Боконон, так же как нет колеса без оси.

Вампитером может служить что угодно — дерево, камень, животное, идея, книга, мелодия, Святой Грааль. Но, что бы ни служило этим вампитером, члены одного карасса вращаются вокруг него в величественном хаосе спирального облака. Разумеется, орбита каждого члена карасса вокруг их общего вампитера — чисто духовная орбита. Не тела их, а души описывают круги… В каждую минуту у каждого карасса фактически есть два вампитера: один приобретает все большее значение, другой постепенно теряет» (глава 24).

«…Моими соседями оказались Хорлик Минтон, новый американский посол в республике Сан-Лоренцо, и его жена Клэр. Оба они были седые, хрупкие и такие ласковые…

Это была влюбленная пара. Они непрестанно развлекали друг друга, обмениваясь маленькими дарами: видом, на который стоило взглянуть из окна самолета, занятными или поучительными строками из прочитанного, случайными воспоминаниями из прошлого. Они были, как мне кажется, безукоризненным образцом того, что Боконон называет дюпрасс, что значит карасс из двух человек.

Настоящий дюпрасс, — учит нас Боконон, — ни-

кто не может нарушить, даже дети, родившиеся от такого союза» (глава 41).

«Кросби спросил меня, как моя фамилия и чем я занимаюсь. Я назвал себя, и его жена Хэзел сразу определила по фамилии, что я из Индианы. Она тоже была родом из Индианы.

— Господи Боже,– сказала она,– да вы из хузьеров?..[84]

То, что Хэзел, как одержимая, искала хузьеров по всему свету,– классический пример ложного карасса, кажущегося единства какой-то группы людей, бессмысленного по самой сути, с точки зрения Божьего промысла, классический пример того, что Боконон назвал гранфаллон. Другие примеры гранфаллона — коммунистическая партия, к примеру, Дочери американской Революции, Всеобщая электрическая компания и Международный орден странных людей — и любая нация, в любом месте, в любое время» (глава 42)[85].

Если коротко, это все, что нужно знать о ка-

---

[84] Примечания: 84

Хузьер (*англ.* Hoosier)– прозвище жителей Индианы. Существует с XIX века, происхождение точно не известно, существует много версий (одна из самых распространенных: от камбрийского *hoozer* — «необычно большой»).

[85] Примечания: 85

На основе пер. Р. Райт-Ковалевой. Все перечисленные в конце организации реальны.

рассе; а тем миллионам довольных читателей из кампусов колледжей, в сельских башнях из слоновой кости, в солнечных гостиных, на трамваях, тем, кто читал «Колыбель для кошки» и знает, какая это уже современная классика, тем, кто может задаться вопросом, зачем я так многословно объясняю очевидное, — ну, скажем, я стараюсь ради трех-четырех бедолаг, еще не открывших для себя все прелести Воннегута. А заодно предваряю лежащее передо мной письмо, датированное 16 марта 1963 года, со Скаддерслейн в Уэст-Барнстейбле, штат Массачуссетс, адресованное Куртом мне, где объясняется, почему я смею называть его Курт. Среди прочего в нем сказано:

«Дорогой Харлан!

Да, я раньше тебя понял, что ты член моего карасса — не которым я владею, но к которому принадлежу. Сам я не владею и не управляю карассами».

Далее — о личном и общем между нами; причем тогда мы еще ни разу не встречались.

Я узнал, что принадлежу к карассу Курта, в 1959-м, когда Нокс Бургер, тогдашний редактор *Gold Medal Books*, спросил у меня мнение о рассказах некоего Курта Воннегута-младшего, выпускавше-

го пару текстов в разных НФ-журналах тут и там. Я читал «Сирены Титана», выпущенные впервые *Dell* в 1959 году, и помнил из 1954-го рассказ в *Galaxy* «Завтра, и завтра, и завтра…», который мне показался самой совершенной стилизацией под Мальтуса на моей памяти. Я ответил Ноксу, что Воннегут великолепен, и поинтересовался, почему он спрашивает. Нокс ответил, что планирует выпустить сборник рассказов Курта, хоть «Механическое пианино» и «Сирены Титана» и не стали бестселлерами. Смелый поступок: традиционно издательства, особенно книг в мягких обложках, бегут от сборников, как от чумы, и *Gold Medal* выпускали всего один-два, каждый раз — с катастрофическими результатами. Но Нокс — бомбический редактор и хороший друг, и знал Курта еще с колледжа, и Курт был большой шишкой в университетской газете, а Нокс — маленькой шишкой в юмористическом журнале.

И вот Нокс попросил меня упаковать ему сборник, а я ответил — с радостью, и связался с Лео и Дайан Диллонами (чьи иллюстрации вы можете помнить по «Опасным видениям» и линейке книг в мягких обложках *Ace Specials*, не говоря уже про обложки почти всех моих книг) и попросил их нарисовать обложки, и сам написал блербы, и

в итоге Нокс выпустил «Канарейку в кошачьем домике» (*Canary in a Cat House*) в 1961-м, а следом в 1962-м — «Мать Тьму» (от которой отказались многие издательства книг в твердых обложках). А почему Нокс обратился ко мне, а не к кому-нибудь из тысячи других писателей и составителей у него под рукой? Это никак не связано с моей компетенцией и уж точно не приводится здесь, чтобы выставить меня большим махером. Просто я из карасса Курта, а Нокс к тому времени вполне мог считаться нашим вампитером.

Уж не помню, где или когда мы с Куртом наконец встретились, но к сентябрю 1964-го мы так сдружились, что я негодовал и страдал, когда голосующие члены Всемирного конвента НФ того года не присудили «Колыбели для кошки» «Хьюго» за лучший роман. Я послал Курту телеграмму, где, если меня не подводит память, писал что-то в духе «Да у этих засранцев мозги не работают: обойдя „Колыбель для кошки“, они пропустили один из лучших романов последних двадцати пяти лет. Они сделали хуже себе, НФ и литературе больше, чем сами в состоянии понять. Мне за них стыдно».

Его ответ по «Вестерн Юнион» был следующим: «Горжусь твоей телеграммой больше, чем любым

„Хьюго“. С любовью, Курт».

В 1967-м Курт должен был написать предисловие к моему сборнику мейнстримных рассказов в твердой обложке «Любовь — всего лишь оговорка в слове секс» (*Love Ain't Nothing But Sex Misspelled*), но что-то не склеилось, ему слишком поздно пришли гранки, предисловия так и не получилось. В результате — и вот снова карасс; жутко до мурашек,– к книге написал самую жестокую рецензию в моей жизни Роберт Скоулз: литературовед, придумавший общее название «фабуляторы» (*fabulators*) для группы писателей, куда входят Бартельми, Воннегут, Барт и другие. А поскольку Скоулз без ума от Воннегута и не отстает от него, как пиявка, велика вероятность, что, присутствуй в книге Курт, и рецензия была бы помягче. Но пути Бога, Боконона и Воннегута неисповедимы. Я не смею сомневаться.

И совсем недавно у нас с Куртом был повод убедиться, что мы в одном карассе, ведь одна из моих ближайших подруг — уже много лет, в Нью-Йорке,– это Холли Бауэр. Холли узнала о Курте через меня. Но ни разу его не видела. Курт переехал в Нью-Йорк. В район Холли. Подруга Холли — Джилл Кременц. Холли повстречала Курта на улице и сказала — мол, привет, я подруга

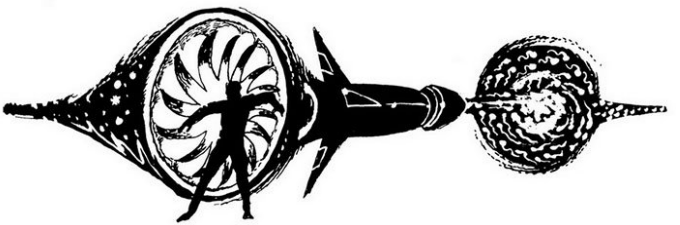
Харлана. Они разговорились. Холли познакомила Курта с Джилл. И теперь Джилл — его официальный фотограф (*Saturday Review, Time* и т. д.) и постоянная спутница. Такие дела.

Теперь Курт ультрасуперзнаменит. Но при этом все еще Курт, хоть и косматее. Такие дела с нашим карассом: именно мне достается самый последний рассказ Курта Воннегута-младшего, автора «Бойни номер пять», «Добро пожаловать в обезьянник», «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» и очень успешной пьесы «С днем рождения, Ванда Джун!». Это ну никак не простая случайность. И, быть может, не столько случайность вернет Курта к творчеству, а карасс, в котором мы с ним состоим. Ведь такой незамутненный и оригинальный талант, как Курт Воннегут-младший, появляется в мире нечасто; от одной мысли, что даже такой уморительный, проницательный и смертоносный рассказ, как этот, станет его последним, очень грустно.

Но, как призывает нас петь Боконон:

Кружимся, кружимся – и все на месте:
Ноги из олова, крылья из жести…

Большой космический хер
Курт Воннегут



В 1977-м в Соединенных Штатах Америки молодежь получила возможность засудить родителей за то, как их растили. Хоть сейчас тащи в суд, где их приговорят к штрафу или даже к тюремному сроку за то, как плохо они обращались с маленьким беспомощным ребенком. Тем самым власти пытались не только укрепить правосудие, но и придержать размножение, а то еды оставалось маловато. Аборты стали бесплатными. Собственно, любая желающая даже получала напольные

весы или настольную лампу в подарок.

В 1979 году Америка задумала «Большой Космический Хер» — серьезную программу во имя того, чтобы человеческая жизнь продолжалась где-нибудь во Вселенной, раз уж на Земле явно никак не может. На ней-то все превратилось в говно, пивные банки, старые автомобили и бутылки из-под «Клорокса». Интересно вышло на Гавайских островах, где мусор годами сбрасывали в потухшие вулканы; ни с того ни с сего пара вулканов выплюнула все обратно. И тому подобное.

То был период великой вседозволенности в речи, и даже президент говорил «говно», «жопа» и так далее, — и никто не боялся и не обижался. И все совершенно нормально. Он называл космический хер космическим хером — и все так называли. А был это космический корабль с восемью сотнями фунтов сублимированной малафьи в носу. Его запускали в галактику Андромеда, что в двух миллионах световых лет. Назывался корабль «Артур Ч. Кларк», в честь знаменитого космического первопроходца.

Ракету запустили в полночь Четвертого июля. В десять вечера Дуэйн Хублер с женой Грейс смотрели стартовый отсчет по телевизору в гостиной своего скромного жилища в Элк-Харборе, штат

Огайо, на берегу бывшего озера Ири. Теперь озеро Ири стало практически застывшим отстойником. Там водились миноги-людоеды длиной в тридцать восемь футов. Дуэйн работал охранником в Исправительном учреждении для взрослых штата Огайо, в двух милях от дома. Его хобби — собирать скворечники из бутылок «Клорокса». Он их собирал и развешивал по двору, хоть птиц уже и не осталось.

Дуэйн и Грейс дивились документалке о том, как малафью сублимировали для полета. На экране пробирку со спермой, пожертвованной завкафедры математики в Чикагском университете, подвергли мгновенной заморозке. Затем поместили под стеклянный колпак и высосали весь воздух. Воздух улетучился, оставив мелкий белый порошок. Выглядело это так себе, о чем и сказал вслух Дуэйн Хублер, — зато в этом порошке находились несколько миллионов сперматозоидов в анабиозе. Изначальная пожертвованная порция, среднего объема, составляла два кубических сантиметра. Порошка хватит, рассуждал вслух Дуэйн, чтобы закупорить игольное ушко. И скоро восемь сотен фунтов этой штуки полетит на Андромеду.

— Получи хер, Андромеда, — сказал Дуэйн, при-

чем это он не грубил. Он просто повторял надписи на рекламных щитах и стикерах по всему городу. На других говорилось: «Андромеда, мы тебя любим», «Земля хочет Андромеду» и так далее.

В дверь раздался стук, и тут же вошел старый друг семьи, шериф округа.

— Как дела, гондон штопаный? — спросил Дуэйн.

— Да не жалуюсь, говножуй, — ответил шериф, и так они подкалывали друг друга еще пару минут. Грейс посмеивалась, наслаждаясь их остроумием. Присмотрись она повнимательней, не посмеивалась бы. А заметила бы, что шериф шутлив только на самой поверхности. А в глубине его что-то гложет. Заметила бы она и официальные бумаги у него в руке.

— Садись уж, пердун старый, — сказал Дуэйн, — посмотрим вместе, как Андромеда удивится.

— Насколько я понимаю, — ответил шериф, — для этого мне придется сидеть больше двух миллионов лет. Глядишь, моя старушка забеспокоится, куда это я запропастился.

Шериф был поумнее Дуэйна. Он передал свою сперму на борт «Артура Ч. Кларка», а Дуэйн — нет. Допускали только людей с IQ выше 115. Были исключения, если ты хороший спортсмен, или

играешь на музыкальных инструментах, или там рисуешь картины, но Дуэйн и по этим условиям не проходил. Он надеялся на особое отношение к мастерам скворечников, но так и не дождался. Зато вот директор Нью-Йоркской филармонии имел право принести хоть целую кварту, если приспичит. Ему было шестьдесят восемь. Дуэйну — сорок два.

Теперь по телевизору показывали старого космонавта. Он говорил, что и сам не прочь попасть туда же, куда и малафья. Но придется сидеть дома, со своими воспоминаниями и стаканчиком «Тэнга». Раньше «Тэнг» был официальным напитком космонавтов. Это сублимированный оранжад.

— Может, двух миллионов лет у тебя нет, — сказал Дуэйн, — но пять минут найдется. Садись уж.

— Я пришел по такому делу… — сказал шериф, и теперь выразил на лице свою печаль, — …которое обычно делаю стоя.

Дуэйн и Грейс искренне удивились. Они не имели ни малейшего понятия, что их ждет дальше. А ждало вот что: шериф выдал им по повестке в суд и сказал:

— Мой печальный долг сообщить, что ваша дочь Ванда Джун обвиняет вас в том, что вы испортили ей детство.

Дуэйн и Грейс стояли, как громом пораженные. Они знали, что Ванде Джун уже двадцать один и она имеет право подавать в суд, но ждать от нее этого никак не ждали. Она жила в Нью-Йорке, и, собственно, когда они поздравили ее с днем рождения по телефону, Грейс среди прочего сказала: «Ну, дочур, теперь можешь нас засудить, если хочешь». Грейс настолько не сомневалась, что они с Дуэйном хорошие родители, что даже посмеялась, продолжив: «Если хочешь, можешь засадить своих паршивых предков за решетку».

Ванда Джун, кстати говоря, была единственным ребенком. Был шанс на братьев или сестер, но Грейс каждый раз ложилась на аборт. Выбрала взамен три настольные лампы и напольные весы.

— И в чем мы, по ее мнению, провинились? — спросила Грейс.

— В каждой повестке — отдельные списки обвинений, — ответил шериф. И не мог посмотреть несчастным старым друзьям в глаза, поэтому смотрел на телевизор. Там ученый объяснял, почему целью выбрали именно Андромеду. Между Землей и Андромедой находилось по меньшей мере восемьдесят семь хроносинкластических инфундибулумов — временных червоточин. Если

«Артур Ч. Кларк» попадет хоть в одну, то корабль вместе с грузом размножится в триллион раз и появится по всему пространству и времени.

— Если где-то во Вселенной и есть плодородная почва, — обещал ученый, — наше семя даст на ней всходы.

Самым унылым в данной космической программе, понятно, была посылка, что если плодородие где-то и есть, то чертовски далеко. Глупых людей вроде Дуэйна и Грейс и даже довольно умных, как шериф, призывали верить, что где-то да найдется радушие, просто это Земля — такая хреновая стартовая площадка.

Земля и правда стала совсем хреновой, и даже глупые люди начали осознавать, что она может оказаться единственной обитаемой планетой, которую найдет человечество.

Грейс ударилась в слезы из-за иска родной дочери, и список обвинений рассыпался в ее слезах на миллион осколков.

— О боже, о боже, о боже… — твердила она, — …она пишет такое, о чем я давно забыла, но она не забыла ничего. Она рассказывает даже о том, что с ней случилось в четырехлетнем возрасте.

Дуэйн и сам читал обвинения, поэтому не спросил Грейс, что такого страшного она сделала,

когда Ванде Джун было всего четыре, но на самом деле вот что: несчастная малышка Ванда Джун красиво разрисовала мелками все новенькие обои в гостиной, чтобы обрадовать маму. А мама психанула и отшлепала ее. С того дня, заявляла Ванда Джун, она не могла взглянуть на принадлежности художников, не задрожав как осиновый лист и не обливаясь холодным потом. «Тем самым я была лишена, — писала она по подсказке юриста, — блестящей и прибыльной карьеры в искусстве».

Дуэйн между тем узнавал, что испортил шансы дочери на то, что ее юрист называл «выгодным браком и всеми вытекающими из него любовью и надежностью». До такого Дуэйн довел предположительно тем, что каждый раз, когда приходил какой-нибудь ухажер, был под мухой. К тому же часто открывал дверь полуголым, хотя при этом никогда не забывал о револьвере и патронташе. Ванда Джун так и не смогла назвать по имени возлюбленного, утраченного из-за отца: Джон Л. Ньюкомб, который в конце концов женился на ком-то еще. Сейчас у него была очень хорошая работа. Он руководил охраной арсенала в Южной Дакоте, где хранятся штаммы холеры и бубонной чумы.

Но были у шерифа и другие плохие новости, и он знал, что уже скоро представится возможность их сообщить. Бедные Дуэйн и Грейс неизбежно спросят: «За что она так с нами?» Ответ на этот вопрос и был плохими новостями, а именно: Ванда Джун сейчас находится в тюрьме по обвинению в руководстве бандой магазинных воришек. Избежать срока она могла, только доказав, что в ее скверном характере и деяниях виноваты родители.

Между тем на экране появился сенатор Флем Сноупс от Миссисипи, председатель космического комитета Сената. Он был очень рад Большому Космическому Херу и говорил, что американская космическая программа шла к нему с самого начала. Он горд, говорил Сноупс, что Соединенные Штаты решили открыть самый большой завод по сублимации малафьи именно в его, «значица, родном городишке», то есть Мэйхью.

У слова «малафья», кстати говоря, интересная история. Оно старо, как «говно», «жопа» и тому подобное, но его исключали из словарей еще долго после того, как допустили другие. А все потому, что многие хотели, чтобы оно было поистине волшебным словом — последним, что осталось.

И когда Соединенные Штаты объявили, что

совершат настоящее волшебство — запустят сперму в галактику Андромеда,– население тут же поправило правительство. Коллективное бессознательное провозгласило: пришла пора последнему волшебному слову выйти на свет. Они настаивали, что *сперму* в другую галактику и запускать нечего. Только «малафью». И тогда правительство тоже перешло на это слово и вдобавок сделало то, чего еще не делал никто: обозначило в словарях его правильное написание.

Журналист, бравший интервью у сенатора Сноупса, попросил его подняться, чтобы все разглядели его гульфик, что сенатор и сделал. Гульфики нынче вошли в моду, и многие мужчины носили гульфики в виде ракет — в честь Большого Космического Хера. Обычно у них на боку было вышито «США». Но на гульфике сенатора Сноупса красовались звезды и полосы Конфедерации.

Так разговор вышел на тему геральдики в общем, и журналист напомнил сенатору о его кампании за смену национальной птицы с белоголового орлана. Сенатор объяснил, что ему не нравится, когда его страну представляет существо, очевидно не способное выжить в нынешние времена.

На вопрос, какое существо выжило, сенатор превзошел себя: назвал аж два — миногу и дождевого червя. Но без его ведома Великие озера стали слишком мерзкими и ядовитыми даже для *миног*. Пока все люди сидели по домам и смотрели на Большой Космический Хер, миноги выползали из жижи на сушу. Причем некоторые — почти такие же длинные и толстые, как «Артур Ч. Кларк».

И Грейс Хублер оторвала взгляд от страницы и задала вопрос, который шериф страшился услышать:

— За что она так с нами?

Шериф объяснил, и она расплакалась из-за жестокой Судьбы.

— Это самый тяжелый долг, что мне приходилось исполнять… — произнес шериф с горечью, — …доставлять душераздирающие новости столь близким друзьям… в вечер, который должен быть самым счастливым в истории человечества.

Он ушел в слезах и угодил прямиком в пасть миноги. Минога слопала его мгновенно, только пикнуть и успел. Дуэйн и Грейс Хублеры поспешили на улицу, и минога слопала и этих двоих.

Иронично, что телевизор продолжал показывать отсчет, хоть они уже не могли его ни видеть, ни слышать.

— Девять! — произнес голос. И потом: — Восемь! — и потом: Семь!

И тому подобное.

Послесловие

Такие дела.

Предисловие «Награда»



Особое удовольствие для редактора — это находки. Раздобыть новый рассказ Воннегута для этой книги — это большая находка. Другая — новый рассказ Уаймена Гуина (прочитаете в «Последних опасных видениях»). Больше всех повезло Г. Л. Голду, когда тот был редактором *Galaxy*: в 1948-м в недолго прожившей *Fantasy Book* появился незабываемо экстравагантный рассказ «Сканнеры живут напрасно» (тогда) таинственного Кордвайнера Смита и немедленно всколыхнул жанр. В 1952-м Фред Пол переиздал его в антологии в мягкой обложке от *Permabook* «После конца времен» (*Beyond the End of Time*). Но больше от «Смита» (псевдоним доктора Пола

М. Э. Лайнбарджера) не было ни слуху ни духу до октябрьского номера *Galaxy* 1952-го, где Голд всех переиграл, представив «Игру с крысодраконом» — первый из множества новых рассказов Кордвайнера Смита. Все остальные редакторы так и позеленели от зависти. Гораций Л. был в этом мастером… находить великих писателей, которые исчезали, чтобы начать писать снова.

Мы с Джуди-Линн Бенджамин из *Galaxy* (на данный момент) уже три года состязаемся за то, чтобы Кэтрин Л. Мур написала свое первое новое произведение для кого-то из нас. До сих пор эта очаровательная дама избегала и Джуди-Линн, и меня.

Таким образом прибавить к Воннегуту Шерреда — опыт чрезвычайно удовлетворительный.

Когда перепечатанная везде, где только можно, повесть «Попытка» Тома Шерреда впервые вышла в *Astounding* в 1947-м, читатели требовали *еще!* Но только в 1953-м «Сигнал к тишине» (*Cue for Quiet*) и «Недреманное око» появились соответственно в *Space Science Fiction* и *Beyond*. (К настоящему времени оба журнала, увы, закрылись.) А читатели все равно требовали еще Шерреда. С начала пятидесятых была еще парочка рассказов, но, хоть в 1970-м *Ballantine*

выпустили «Чужой остров» (*Alien Island*), первый роман (на мой взгляд, это некрасиво со стороны Тома, так оттенять мою удачу), рассказ, который вы прочитаете сейчас, — это первый новый Шеррод за много лет, и к тому же славный и меткий.

Потому что Т. Л. Шеррод в сути своей человек замкнутый: когда я попросил у него биографический материал, чтобы предварить рассказ, он прислал следующее:

«Моя дата рождения, по словам моей дочки, столь же сварливой, сколь прелестной, где-то около 1865-го.

Дата смерти, по словам сына, не одобряющего мой музыкальный вкус,– где-то около 1932-го.

Меня устраивает точность обеих дат».

Ну уж нет, Шеррод! Будучи проездом в Детройте, я встречался с тобой и считаю тебя харизматичным человеком с совершенно молодым разумом, не говоря уже о прекрасном собеседнике на посиделках в китайских ресторанчиках на канадской стороне. Поэтому я отписал, что подобная коварная изворотливость никуда не годится, и получил следующее:

«Коварная изворотливость, право слово! Чума на тебя, Ариэль! Мне не задавали столько вопросов с тех пор, как сажали в кутузку в нескольких

южных штатах. Тогда разберем их по порядку и посмотрим, что из этого получится.

Чем я зарабатываю на жизнь? Ничем; я безработный. Меня уволили в ту же неделю, когда я лег в больницу. Буду получать какое-то пособие, пока врач может с легальной и медицинской точек зрения подписывать бумажки, а потом придется искать новую работу. Последней работой было техническое писательство, а предпоследней — инженерный анализ; обе связаны с армией и обе закончились из-за истечения контракта. Будь у меня выбор и будь я на двадцать лет моложе, стал бы летчиком-испытателем в отряде белых рабов.

Размер семьи. Сын — тошнотворно гениальный, выпускник Университета штата Мичиган. Девчушка на два года старше — нет, на один, — подарившая мне двух внучек, чтобы я их баловал.

Только что перечитал твое письмо и заметил, что пропустил „важные даты жизни“. Пораскинув мозгами как положено, могу назвать дату своего рождения (27.08.15). Еще страшно отпечаталось в памяти Рождество 1968-го; приступ гонконгского гриппа наложился на инсульт и наконец-таки убедил, что моим денькам выпивки и загулов конец. Больше не могу вспомнить дат особого значения.

Может, у тебя и получится склепать из этого что-нибудь так, чтобы моя писанина напоминала отпечаток на пляже литературы. Но сомневаюсь. Я писал мало, потому что был слишком занят заработком; я писал, только когда оказывался на мели и нуждался в деньжатах. А получив деньжата, конечно же, снимался с мели и больше не писал, и так *ad infinitum*».[86]

Единственные дополнительные комментарии, что стоит здесь привести,– о, те многие тома опущенных комментариев о скромности и жизни, которую приходится вести людям!– это что Том Шерред отменный писатель, и очень жаль, что он так редко оказывается на мели, потому что у нас маловато работ его авторства; а также следующее, от 23 ноября 1969-го:

«Если это интересно читателям, вчера вечером меня ограбили и избили».

Этот финальный комментарий примет особое значение после прочтения «Награды», к каковому удовольствию я и направляю вас далее.

ДОПОЛНЕНИЕ:

Весь представленный здесь шерредовский материал пришел в течение 1968-го. За предисловие

---

[86] Примечания: 86
До бесконечности (*лат.*).

для Тома я засел в июне 1971-го. Отправил его вместе с другими предисловиями неутомимой редакторше *Doubleday* Джудит Глушанок в три ночи воскресенья, заказной воздушной почтой. Спустя десять дней посылка так и не дошла в Нью-Йорк. Я согласился воспроизвести большую часть «утраченного» материала по своим копиркам, но предисловие Тома состояло из моих страниц и его комментариев, которые я не скопировал. В панике, что книга ляжет на станок без одного предисловия, я позвонил Тому Шерреду в Детройт. Я уже давненько с ним не общался, было приятно снова услышать его голос. Но мне показалось, ему довольно одиноко, а когда я попросил срочно написать предисловие любого размера, разойтись хотя бы на две страницы, как ранее, просто дать пишмашинке волю, Том ответил: «Боюсь, эти дни прошли навсегда». Мы закончили на его обещании послать, что получится, как можно скорее, и я повесил трубку со странным нехорошим предчувствием.

Это была среда. Автобиография Тома пришла в пятницу — отредактированная версия того, что он писал двумя годами ранее; и, должен признаться, редко меня что-то трогало так, как всего одна его страница. Поэтому после первоначаль-

ной преамбулы следует данное дополнение, а также страница от Тома.

В сопровождающей записке Том извинялся за то, что не смог прислать две страницы, как я просил. Его последней строчкой было: «Черт, сомневаюсь, что у *кого угодно* в жизни наберется две страницы».

Как покажут дальнейшие краткие комментарии, жизнь самого Тома Шерреда и опровергает эту мысль.

Я только надеюсь, что он чертовски ошибается в предпоследнем абзаце.

«Как я понимаю, я родился в 1915-м — достаточно давно, чтобы понимать, что никому младше пятидесяти доверять нельзя. Благодаря стипендии Национальной администрации по делам молодежи попал в Университет Уэйна, и экономические условия страны позволили объехать 47 штатов — до того, как в Союз вошли Аляска и Гавайи. Закончил путь я в старой мастерской „Паккард мотор“ с мыслью, что есть способы зарабатывать и попроще. И много.

Я занимался техническим писательством (немногие писатели умеют работать с рейсмусовым станком или знают, что делает „келлер“). Потом перешел в рекламный бизнес, который

намного прибыльней любого законного. Наконец я решил жить честно.

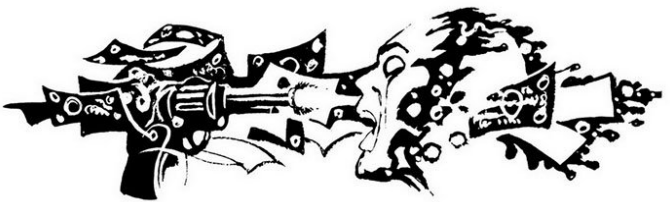
Попутно пробовал себя в фантастике — это дело довольно интересное и имеет то дополнительное преимущество, что у хорошего редактора ничего, нигде и никак не *verboten*. Свадьба и двое детей поставили передо мной совершенно новые приоритеты, стало сложнее думать о чем угодно, кроме стабильной еженедельной зарплаты; больше никакой — или почти никакой — литературы.

Развод снова все изменил, и я написал „Чужой остров“, роман. Его купил *Ballantine*, и я уж думал, что поймал удачу за хвост. Передумать помог инсульт. Легкий, да, но все-таки инсульт.

Не думаю, что буду писать еще. Явно не в тех количествах и не с той легкостью, как прежде, и это меня как-то умозрительно раздражает. „Награда“ — это самый новый и, видимо, последний рассказ, что я напишу.

Все еще считаю, что это было весело, но уже прошло».

Награда
Т. Л. Шерред



На первой неделе мая произошла одна смерть. На второй — четыре, на третьей — девятнадцать. На четвертой убили тридцать девять человек.

Большинство застрелены из пистолета, винтовки или дробовика. Четверо зарезаны ножами, двое — мясными топориками, один — столовой вилкой, которую методично вгоняли в хребет. Разговоры вызвала не столько вилка, сколько очевидный факт, что после этого кто-то спокойно закончил трапезу с ее копией.

— Пора с этим кончать, — сказал мэр.

— Пора с этим кончать, — сказал губернатор.

Примерно то же самое сказал президент устами министра здравоохранения.

Комиссар полиции и генеральный прокурор сказали, что сделают все, что в их силах, а ФБР с сожалением отметили, что это местное дело.

Никто не знал, кто состоит в самом Комитете или стоит за ним, но его реклама — одноразовая, двухстраничный разворот, — была подлинной, оплаченной наличными: десять тысяч долларов за смерть любого застигнутого в процессе вооруженного ограбления в границах города; сто тысяч долларов наследникам всех, кто погиб при попытке предотвратить вооруженное ограбление.

Объявление явно было не в интересах общественности, о чем и говорил мигом ощетинившийся закон. В пригородном рекламном листке, где опубликовали объявление, обещали больше так не делать.

Но его уже успели прочитать, и в пределах нескольких недель и квадратных миль — все-таки города переполнены населением — было выплачено больше двух миллионов долларов, без проволочек и иногда под покровом ночи — ведь для налоговой службы деньги не пахнут.

Ситуация осложнилась, когда трое полицейских в разных частях города по неосторожности дали заметить свою кобуру и личное оружие незнакомцам или другим покупателям в магазинах. Вспышка действия, слишком быстрая, чтобы ни в чем не повинные полицейские успели назваться, — и трое человек погибли, все — безболезненно. Дальнейшие убийства предотвратило ношение значка на виду, а это, в свою очередь, сократило количество арестов полиции нравов.

К июлю пешеходы ходили по ночам с большими фонариками, а в торговых районах старались не делать резких движений. Сначала вигиланты нанимали пожилых мужчин и женщин, чтобы те ковыляли, как наживки, по некоторым районам; позже методы совершенствовались, и тяжеловооруженные и самоубийственно настроенные пожилые граждане уже по своему почину разыгрывали из себя на улицах этакие «корабли-ловушки», а старушки бесконечно торчали на автобусных остановках или бесцельно таскали туда-сюда по парковкам упаковки дорогого вида. За перегородками в бакалейных лавках и за шторками в химчистках сидели или бездельничали добровольцы на полставки, на полную ставку, ночные сторожа.

К сентябрю были убиты четыреста человек с чем-то. Графики судов забились делами об убийствах, тогда как уровень вооруженных и невооруженных ограблений скатился почти к нулю. Полиции запрещено принимать у гражданских вознаграждения, но тем не менее на полуночные деньги покупались или оплачивались прогулочные катера, летние коттеджи, снегоходы и поездки на Гавайи. Никто уже не смел оказывать сопротивление аресту.

Затем систему вознаграждений распространили на весь штат, где тем временем рос уровень преступности. 11 из 14 опубликованных объявлений о награде отследили до небольшого заведения на Центр-стрит, но его владелец уже переехал в Виннипег. Первые погибшие (четверо, двое их них братья) пытались ограбить банк за городом. Их оксфордские рубашки подозрительно смотрелись с охотничьими костюмами, поэтому управляющий банка, кассир и двое клиентов были готовы.

Вооруженные и невооруженные ограбления вымерли вместе с тремя сотнями наверняка виновных людей, но губернатор наконец запросил федеральную помощь, заявляя, что разваливается вся система юстиции его штата. Представители

трех смежных штатов и Канады с севера тоже были заинтересованы в успехе его прошения. На ряде заседаний на высшем уровне не удалось ни к чему прийти.

В трех смежных штатах, в одном за другим, вдруг появились собственные Комитеты — судя по всему, не имеющие отношения к оригинальному. Затем и в других городах, в милях от них, а затем и в других штатах. По достоверным оценкам, общая выплаченная сумма подбиралась к полумиллиарду долларов и перевалила за него, когда система вознаграждений распространилась до упора на восток и запад от Миссисипи.

В городе Нью-Йорке дети начали играть в Центральном парке в сумерках и даже позже.

С проверкой всех слухов, с исключением дублирующихся сообщений и с учетом невооруженных сумасбродов, мечтавших о награде для выживших в сотни тысяч долларов, за следующие три года число пострадавших все еще отставало от числа смертей в ДТП на 1934-й год. На четвертый год проводились президентские выборы.

Выиграл кандидат с платформой «Закон и порядок». В день инаугурации двое агентов Секретной службы, смешавшись с ликующей толпой, по неосторожности продемонстрировали свои

«магнумы» 44-го калибра и были быстренько расчленены. На первой сессии Конгресса был принят федеральный запрет на ношение оружия. В том числе и для правоохранителей. Скотленд-Ярд прислал в школу ФБР четырнадцать специалистов по владению квотерстаффом[87], производство по семнадцати тысячам дел об убийстве было прекращено.

Детские сады Монтессори[88] расширили свои учебные программы для включения дзюдо и карате, а в «Дженерал моторс» отменили «Гонки на мыльных ящиках»[89] и награждали самых достойных черными поясами. В *Popular Science & Mechanix Illustrated* опубликовали цикл статей о самодельных арбалетах на автомобильных рессорах. Олени на дорогах Сагино и Себуэйнга стали привычным зрелищем и даже опасной помехой.

В настоящий момент Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности изучает

---

[87] Примечания: 87

Боевой посох (*англ.*).

[88] Примечания: 88

Система Монтессори — педагогическая система, предложенная в начале XX века итальянским педагогом Марией Монтессори. Подразумевает свободное воспитание для развития самостоятельности у ребенка.

[89] Примечания: 89

Гонки на мини-карах для детей, проводятся с 1934 года при поддержке «Дженерал моторс».

резкий рост импорта японских химических наборов для взрослых.

Послесловие

«Награда» могла бы стать рассказом куда длиннее, в соавторстве с Алланом Хейесом. Аллан, уважаемый как в Американской ассоциации писателей-фантастов, так и в Мичиганской адвокатуре, и вдобавок удивительный пуританин, не успел вовремя найти перчатки, чтобы к нему прикоснуться. Поэтому рассказ получился, каким получился.

Если бы Альфред Хичкок еще имел дело с кино и получил сценарий от Роберта Хайнлайна, первая сцена выглядела бы так.

Общий план, женщина выходит с автобуса на безлюдной остановке для пересадки. То, что для пересадки, легко понять, потому что уже на крупном плане женщина — как минимум непривлекательная и пятидесятилетняя, в форме горничной,– ждет другой автобус. Его не видно. Женщина раскрывает сумочку, пересчитывает, наверное, в четвертый раз дневной заработок, виновато озирается. Не стоило так показывать такие деньги. Справа на сцену входит Злодей: он хочет деньги. Он их получит. Может даже отвесить пару пощечин несчастной, хоть она кор-

чится и умоляет. На следующем крупном плане умоляет уже *он*, когда она достает «Банкер спешл» 38-го калибра и аккуратно разряжает в него. Затем Хичкок показал бы пожилую горничную в телефонной будке (до тех пор — безнадежно, издевательски далекой). Она набирает телефонную станцию.

— Оператор, — говорит она. — Дайте, пожалуйста. полицию. Я хочу сообщить об ограблении.

И хихикает.

Предисловие «Натюрморт»



«Натюрморт» и его тридцатидвухлетний автор «К. М. О’Доннелл» представляют собой сразу несколько очень особенных моментов для вас, меня и «Новых опасных видений». Для начала они представляют удивительно новый тип литературы: фэнтези, которое по смыслу становится реальностью. А еще они представляют почти патологическую принципиальность типичного фантаста.

По поводу последнего позвольте быстренько зачитать *mea culpa*[90]. Из-за того, как долго пришлось собирать эту книгу — пять лет в про-

---

[90] Примечания: 90
Моя вина (*лат.*).

изводстве, тысячи действующих лиц, все поют, танцуют и говорят,– ряд писателей пережили разные значительные неудобства. Дик Лупофф, чей рассказ будет под конец антологии, пострадал больше всего, о чем я скажу в его предисловии. Но на втором месте стоит мистер «О'Доннелл». Он продал мне данный рассказ 11 августа 1969 года. На момент написания предисловия прошло уже два полных года, а книга выйдет больше чем через полгода после этого. За это время мистер «О'Доннелл» успел написать отменный роман «День Вселенной» (*Universe Day, Avon*, 1971), который я призываю вас найти, приобрести и прочесть. Он хотел включить в роман «Натюрморт». Поскольку антология еще не вышла и поскольку все рассказы в этой книге оригинальные и ни разу не выходили нигде и ни в каком виде, мне пришлось отказать просьбе мистера «О'Доннелла» о включении рассказа в роман до выхода «НОВ». Я чувствовал себя чудовищем, но логика моей чудовищности безупречна.

«НОВ» — как и «ОВ» до, и «ПОВ» после — это общий проект. Все участники и участницы книги ответственны перед остальными участниками и участницами и обязаны им. Многие купят эту книгу потому, что в ней есть новый Брэдбери, или

новый Воннегут, или полноразмерная Ле Гуин. А эта слава поможет Джиму Хэмисату, Кену Маккалоу, Эвелин Лиф и всем остальным ребяткам, чьи имена — пока еще — *не* делают кассу. С именем «К. М. О'Доннелл» стоит считаться. Его рассказ «Последняя война» (*Final War*) чуть-чуть не получил «Небьюлу» — не хватило всего шести голосов — и стал очень известным. «День Вселенной» привлечет к нему новых фэнов. Нам нужна слава, которую принесет ранее не издававшийся рассказ «О'Доннелла». Мне *пришлось* ему отказать. Мы с ним несем ответственность перед сорока двумя другими авторами и художниками, хоть при этом мы с ними всеми несем ответственность и перед ним.

К его чести — и в качестве образца высокопринципиальной добропорядочности, что есть вечное правило среди фантастов (хоть и не всегда — среди их издателей), — мистер «О'Доннелл» понял и пересмотрел свои планы на роман, чтобы впервые «Натюрморт» появился здесь. К нашей вящей славе. Это не такой уж редкий случай, когда фантаст теряет прибыль, престиж или время, лишь бы не нарушить слово, данное другому представителю фантастического братства. Не могу представить другие профессии — или другие

жанры, — где существует такая же непорочность. Не вспомню с ходу много фантастов, кто заслуживает звания «джентльмена», но все-таки, если бы государства и правительства относились друг к другу вполовину так же хорошо, то наш мир был бы совсем не такой нервный.

Если вы еще не поняли, то все это — прочувствованное и искреннее спасибо мистеру «О'Доннеллу».

А чтобы дальше мне приходилось печатать поменьше, вы можете спросить, почему вокруг имени «О'Доннелл» стоят кавычки. Что ж, потому что это Молзберг. Барри Н. Молзберг. Под своим именем он написал в 1969-м «Экран» (*Screen*) и «Оракул тысячи рук» (*Oracle of the Thousand Hands*) для *Olympia Press*, но под именем «К. М. О'Доннелл» написал «Пустых людей» (*The Empty People, Lancer,* 1969), «Последнюю войну и другие фантазии» (*Final War and Other Fantasies, Ace*, 1969) и «Обитателей глубин» (*Dwellers of the Deep, Ace*, 1970). На что ему псевдоним, может ответить только Барри, но если бы *я* работал редактором у некоторых издателей, которые останутся здесь неназванными, я бы тоже сменил имя!

Мистер Молзберг родился и живет на Манхэттене, женился на Джойс Зелник в 1964-м,

воспитывает дочь (Стефани Джилл), рожденную в 1966-м, появлялся в таких престижных сборниках, как *Best SF*: 1968, *Best from the Magazine of Fantasy & Science Fiction: 18th Series, Nova 1* и почти всех лучших периодических изданиях жанра.

Господа Молзберг и О'Доннелл на текущий момент — писатели-фрилансеры (профессия, которая быстро уходит вслед за гагаркой, почтовым голубем и человеком разумным); у него за плечами несколько литературных стипендий, полгода в армии, подольше — в органах города и штата, а также работа редактором в ряде журналов.

«Натюрморт» — как отмечено выше — лично мне кажется литературой нового типа. Хотел бы я придумать термин вроде «неореалистический» или «фабулооснованный», как истинные литераторы, но, если честно, не хватает ума даже на категорию. Этот рассказ из тех, что читаешь и ловишь себя на мысли: «Господи, я ведь тоже в свое время об этом задумывался — а вдруг Майкл Коллинз, сидя в командном модуле, обозлился бы, что Армстронг и Олдрин забрали всю славу себе, прогулявшись по Луне, и заявил „да пошли вы все“, и улетел». Это такой рассказ, что становится реальностью даже в ходе написания, что каким-то образом несет в себе все прошлое, на-

стоящее и будущее — плюс возможные будущие и альтернативные дорожки нашего «сейчас». Это странное и на удивление незабываемое произведение — и по-своему это самое опасное видение в данной книге.

Натюрморт
К. М. О’Доннелл



В ПОСТЕЛИ, ВО СНЕ, ЕГО ЖЕНА

Он лежит, свернувшись в позе эмбриона, сустав его пальца уперся в щеку, рот раскрыт, даже испускает завитки дыхания. В темноте мерещится плач жены, и он поворачивается к ней, рука тянется, чтобы обогнуть полноту ее спины, потом он находит под пальцами ее плоть и сжимает, как будто держит деревянную доску. «Не делай так, — стонет он, — не делай так, ты меня нервируешь, я больше не понимаю, что здесь творится», — и потом проводит руками вдоль всего ее тела, задер-

жавшись на ягодицах, обводит чашу ее живота и рядом с ее щелкой. «Хватит, — говорит она, — что ты делаешь? ты меня разбудил, я же сплю, нельзя ко мне лезть, когда захочется», — но он не слышит; он уже раззадорился, подчинился своим потребностям, и, хоть Контроль и предостерегал от такой активности в последние дни перед вылетом, он беспомощен, сам себе не подчиняется, когда влезает на нее. «О, милая, милая! — восклицает он, — луна, луна!» — и толсто врывается в нее, и она повторяет: «что ты делаешь?» — голос девчачий, высокий, вдруг умоляющий, словно ее приперла к забору банда незнакомцев, но уже поздно, слишком поздно, и он двигается в ней, два-три вялых тычка — и конец, оргазм, скорее припадок, чем кульминация, и он отваливается с ее тела на свою половину кровати. Хоть он еще в сознании, решает притвориться, будто он немедленно заснул, что и делает, выравнивая дыхание, медленно проваливаясь в подушку, и подражание становится фактом, и он быстро засыпает, оставляя жену молча лежать рядом, одна рука у него на животе в жесте, в котором могло быть больше смысла пару секунд назад, но сейчас для нее передает безмолвную нежность, когда она поглаживает плоскость его щеки, приговаривая:

«все хорошо, все хорошо, любимый, теперь все хорошо», — но с тем же успехом могла бы находиться на другой стороне Луны, а он — сидеть взаперти в той самой чертовой капсуле.

НА ЗАВТРАКЕ, ПРИЗНАК БОДРОСТИ

Они собираются на завтрак: первый раз за несколько недель, потому что на последних стадиях подготовки ему приходилось находиться на базе до пяти утра — собственно, несколько раз он ночевал в общежитии,– но теперь, когда подготовка закончена и все внимание перешло к отсчету на большом корабле, ему снова можно позавтракать с семьей. У него двое детей, оба мальчишки, девять лет и шесть; его жене тридцать семь, но все говорят, она не выглядит на свои годы, а в некоторых свитерах, в некоторых позах может изобразить грудь очень молодой девушки. Мальчишки этим утром хулиганят и не слушаются, бросаются друг в друга хлопьями из пачек, ругаются пронзительными дразнящими голосами; похоже, уже несколько дней ведут какой-то спор из-за, возможно, кражи. Жена пытается их разнять, но он говорит — нет-нет, все в полном порядке; не хочется нарушать обычный порядок, а хочется в него вернуться, и младший спрашивает — «но как у тебя получится, пап, если

ты через неделю собираешься на Луну»? Он бы сказал, если бы знал, но потом старший быстро вставляет «что ты как дурак, не летит он на Луну, он рядом полетает, они еще полгода не соберутся на Луну, что ты за дурак такой» — и отвешивает младшему три-четыре подзатыльника. Младший плачет и переворачивает пачку хлопьев на стол, старший начинает плакать заранее — видимо, чувствует, что мамино наказание будет мягче, если у него уже страдальческий вид,– и жена, с лицом раскрасневшимся и недовольным, бросается от плиты, хватает обоих. На миг кажется, она мастерски учинит насилие, как уже компетентно делала не раз, когда мальчишки отбивались от рук, но в быстрой смене света меняется и ее выражение лица, становится отрешеннее, печальнее, и она говорит: «знаете, я так больше не могу: мы вроде как американский идеал, а я даже мальчишек не контролирую, я ничего уже не контролирую, даже *тебя*» — и ударяется в слезы, и он встает из-за стола со словами: «ну все, давайте веселей, бодрей, а то спущу на вас лунных чудищ», — когда-то в прошлом эта фразочка помогала, переводила напряжение в шутку, но в этот раз они только смотрят на него остекленевшими и опустевшими глазами, все

трое, и он, чувствуя себя бессильным чуть больше чем малость, садится обратно, а потом, не в силах выдержать вид тарелки с яичницей, этих мигающих слепых глаз, вскакивает на ноги, хватает фуражку и, бормоча что-то про отсутствие нормального отношения в самое тяжелое время, выбредает из дома, напоминая себе на улице, что сегодня вечером надо обязательно купить жене цветы, чтобы помириться из-за этой ерунды.

ЕГО
ЛИЦО, ЭТА ЧИСТАЯ СКОВОРОДА ВОСХИЩЕНИЯ И РОКА

Его лицо — вытянутое и загорелое, слегка вогнутое между бровями, словно бровная дуга идет не в ту сторону; губы — жесткая гладкая линия, что легко расплывется в смехе, но не кривится под напряжением. Нос как будто грозит губам, нависает под углом, всего на четверть дюйма не доходя до пародийного вида, зато щеки особенно красивы, словно вырезаны под сложными и изящными скулами — его самой выдающейся чертой. Чихает чуть чаще среднего, но платок всегда под рукой. Глаза темно-карие и необычно пронзительны. Подбородок находится в идеальной пропорции ко рту. В ушах нет серы. Когда он впервые поцеловал жену, много лет назад, она

сказала, что в темноте он напоминал готового ее взять Бога — но тогда они, конечно, были намного моложе.

В ЦЕНТРЕ, ПРОВЕРКА НА ВХОДЕ

У больших ворот его останавливает охранник. «Будто не знаешь, что тут творится: показывай документы», — говорит охранник, а потом охранник постарше у него за спиной говорит «придурок, это же космонавт» — и молодой бледнеет: «так точно, сэр, так точно, сэр, простите, конечно, проходите спокойно. Не признал сразу; вы просто похожи на кого-то, кого я видел в газете и кому сюда нельзя», — и старший смеется, и сам он бы тоже рассмеялся, но не знает, в чем шутка (или за чей счет), и очень не хочет изображать человеческое общение, поэтому только проходит внутрь с легким недоумением на лице, гадая, весь ли день будет таким же странным, как его начало.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ. ВВОДНЫЕ ДЕТАЛИ

Он третий в экспедиции — тот, кто останется на так называемом командном корабле, а двое других, моложе, подойдут на модуле на расстояние в три мили от земного спутника. В прошлый

вылет, другого экипажа, модуль подошел на четыре мили, а следующий, тоже при участии других людей, подойдет на две; короче говоря, он участвует в третьей миссии до, собственно, высадки на Луну, которая состоится где-то к Пасхальному воскресенью, если все пойдет как надо. Как надо. Узнав, что ему придется остаться на борту, сначала ему было отчего-то стыдно, словно прессе, а значит, и всей стране раскрывается его ущербность — или, по крайней мере, нехватка компетенции, — но теперь он чувствует себя иначе: собственно, он охвачен фантазиями о том, что может случиться с ним и остальными, если он в критический момент уведет корабль с орбиты и бросит остальных. Он знает, насколько эта идея далека от нормы, и ни разу не признавался в ней психиатру, да и всерьез не принимает, зная, что если ей поддастся, то, скорее всего, его карьере конец. И все-таки иногда во снах он знает, на что это будет похоже: ощущение ветра в безветренном пространстве, ощущение полета в неподвижности, крики брошенных, словно птичьи крики в наушниках, а возвращаясь в одиночку, он выскажет по рации накипевшее всем в проекте и вне его: выступление одного человека перед самой большой публикой в ис-

тории. Он знает, что сделает себе имя, и порой признает маленькую вероятность, что ровно так и поступит, но он все-таки не дурак, понимает, что при любом иррациональном действии его немедленно отключит ЦУП — и придется орать самому себе в тишине; портрет безумия, который не выдержит даже флегматик вроде него. Но с другой стороны…

ОН ВСТРЕЧАЕТ ОСТАЛЬНЫХ. ОНИ ГОВОРЯТ: «ДОБРОЕ УТРО»

В комнате для инструктажа уже сидят на скамье двое его напарников, читают газеты. Он приветственно кивает, и они кивают в ответ, потом читают дальше. Он никогда не был в гостях у них, а они — у него, но среди прочих причин они отобраны из-за психологической совместимости, поэтому он знает: ему неловко с этими ребятами намного моложе его только из-за тревожности, а как только на плечи лягут задачи экспедиции, никаких проблем уже не будет.

В ОЖИДАНИИ ОН ВСПОМИНАЕТ

Он молча садится к ним. Сегодня будут испытания в искусственной гравитации, а также долгий разговор с советом инженеров и офицеров, которые перечислят им особые обязанности на

орбите… но график их деятельности облегчен, потому что главный акцент полета — работа техники, и он знает, что до вызова еще придется ждать минут пятнадцать-двадцать. А пока складывает руки на груди и ловит себя на воспоминании о том, как жена отреагировала на его новость, три года назад, что его все-таки отобрали в экипаж. «И что надо делать?– спросила она.– Что все это значит; тебе забьют голову статистикой и скажут, что говорить, заставят делать все, что скажут, а в конце — если выживешь — наградят медалью и парадом и сошлют в какой-нибудь отдел связей с общественностью. Ты же не один туда летишь, тебя даже не оставят одного ни на секунду. Знаю-знаю»,– сказала она и расплакалась; одна из самых тяжелых ее привычек (до сих пор)– эта склонность к эмоциональным выплескам, несоразмерным с причиной и не поддающимся на любые утешения; ей обязательно надо выплакаться до конца, в своем ритме со своими выводами. Напрасно он ее обнимал, чувствуя себя, как обычно, неуклюжим и даже лишним перед лицом ее внутренней трагедии, такой яркой и всепоглощающей, что в сравнении с ней все его переживания и беды кажутся совершенно плоскими… и наконец она унялась и сказала:

«ну, наверное, я это неправильно воспринимаю; это, конечно, большая честь и мальчишки будут счастливы. Будут тобой гордиться, хотя бы когда подрастут и поймут, что это значит. Но, если честно, я просто не понимаю, зачем это надо, ведь это они всего лишь шлют твое тело в космос»,– и он пытался объяснить, что вся суть отбора — это найти людей с самыми высокими показателями личной инициативы, интеллекта и подходящего внешнего образа — а зачем иначе проводить отбор? почему не открыть его для всех желающих и не взять первых попавшихся?– и что она, кажется, не понимает цель программы. Он напомнил о многих космонавтах в прошлом, которые попадали на орбите в какие-нибудь неприятности, и спасали их ясное мышление и стальная воля, и весьма вероятно, что ему придется заниматься тем же самым. «Да нет, не придется, это же ерунда, все сложности там выдуманные»,– сказала она, но хотя бы уже успокаивалась, и он смог собрать осколки вечера, сделав для нее вид, будто знает, что это она наговорила только из-за страха за него, из-за того, что без него не сможет. Он сообщил новости в ресторане, пока дома с мальчишками сидела соседская девушка-студентка, а приехав, они разбудили их и повторили новости

вместе. «Наверное, это хорошо»,– сказал старший, пока младший стоял, сосредоточившись всем своим существом на большом пальце, который сосал, и только нянечка наконец отреагировала словами: «правда? вот, значит, как? о, ну это же здорово, я всем расскажу, и своему парню» — и он из благодарности пытался поцеловать ее, пока подвозил до дома, чувствуя, как ее стройное твердое тело движется вплотную к его, как изгиб ее спины лег в его скользнувшую вниз ладонь. На миг он поверил в иллюзию того, что половой акт в этой самой машине — это временная и тотальная кульминация всего, что ему теперь доверено, но уже через секунду она напряглась всем телом и вывернулась из его хватки, объявила с потемневшим лицом: «я так больше не хочу; я и не думала, что вы тоже можете быть *таким*», — и ушла, оставив его ехать обратно через все кварталы его маршрута в размышлениях, и он знал, что в каком-то смысле, получив космическую программу, потерял нянечку. (Даже сейчас, если оглянуться назад, они кажутся примерно одним и тем же.) Когда он вернулся домой, младший уже снова вопил, а жена просто сидела посреди всего: лицо белое, как простыня, взгляд в пустоту, заламывает руки. Тут у него случился уже

знакомый припадок эмоций — смесь из гнева, боли и отчаяния, — когда он просил только сил, чтобы протянуть следующие десять минут, а там уж пусть все идет своим чередом какой бы то ни было ценой, но зато во время этой короткой отчаянной молитвы было страшно даже взглянуть на жену, — боялся, что задушит.

КОРОТКАЯ ЛЕКЦИЯ

Через какое-то время двери открываются, и выходит генерал-майор, который только номинально является их непосредственным начальником, кивает им и приглашает к себе в кабинет, где они садятся рядком на длинный диван, а он на свое кресло и — обозначая, что это неформальный разговор, — закидывает ноги на стол. «Сегодня хочу вас предупредить, — начинает он, — что вы гордость нации и острие или авангард борьбы за свободу и все такое прочее, но вот к чему мне тут полагается подвести; чтоб не матерились в капсуле во время полета». Ведь, конечно, в прошлой экспедиции младший член экипажа сказал «сука» во время описания континента, и, хоть семнадцатисекундной задержки в трансляции вполне хватало, чтобы ее прервать, инженер все равно умудрился упустить ругательство, и это привело к небольшому переполоху в прессе и

припадкам посерьезнее на телеканалах, а также клятвенному заверению агентства, что подобное больше не повторится.

«Вы же понимаете,– говорит генерал,– за всем, что вы скажете, будут следить: это записывается, любые передачи корабля навсегда входят в историю, поэтому нам важно удержаться от скатологии[91]. Трансляцию, конечно, можно и прервать, но что хорошего — правильно? — в пробелах, чтобы люди еще гадали, что вы там наговорили. Вы люди взрослые; все мы тут люди взрослые и, может, и думаем, будто это все глупости, но так уж принято; мы, понятно, не можем же допустить, чтобы это вошло в норму. Слово за слово — и сами понимаете, к чему это в конце концов приведет; влипнем, как три года назад, только еще хуже, потому что свидетелей с каждым разом больше. От меня, понятно, требуется все это облечь в красивые выражения и сказать, будто вам, само собой, и в голову не придет материться, но я выкладываю как есть. И больше тут прибавить нечего», на что один из участников помоложе отвечает: «да, мы-то понимаем, но

[91] Примечания: 91

Скатология (*гр.* scatos — «кал» + logos — «учение»)– литература, анекдоты, шутки о физиологических отправлениях; влечение к такой литературе и анекдотам.– *Прим. ред.*

разве это возможно? В смысле, если мы не можем говорить, что у нас на уме, — это значит недоговаривать, привирать о полете?» — и генерал придвигается над столом с любезным видом: «слушай, у программы серьезные неприятности, причем с самого начала, и дальше будет только хуже, потому что людям почему-то непонятно, как все это связано с их повседневной жизнью, если вы меня понимаете, не умеют мыслить абстрактно, если вы меня понимаете, думают только о деньгах, поэтому мы придерживаемся приличий. Материться — только напрашиваться на негативное общественное мнение», — и наконец ему самому хочется что-то добавить, он говорит: «но разве плохое общественное мнение чем-то хуже хорошего? Я хочу сказать, многие наверняка не против услышать подлинную трансляцию, к тому же тем, кому не нравится матерщина, программа как раз в любом случае не нравится», — и генерал делает вид, что ненадолго задумывается, потом чуть склоняет голову набок и говорит — нет-нет, тут и говорить больше нечего, это все неважно и все равно приказ спущен сверху — вполне возможно, из самой администрации, — а значит, остается только брать под козырек. Космонавт вдруг обнаруживает, что по-

чему-то погружен в уныние, но, в конце концов, чего еще было ожидать, поэтому он молчит, и тогда генерал кратко и дежурно повторяет план полета, после чего шлет их на инструктаж.

САДЯСЬ, ОН МЕЧТАЕТ: МЕЧТАЯ, ОН САДИТСЯ

Слушая их, эти необязательные голоса, он видит перед собой яркий образ — можно сказать, чуть ли не пророческий — своей жизни через тридцать-сорок лет, если он дотянет; он будет сидеть в очень похожем месте: маленьком замкнутом помещении с толстыми стенами и человеческим гулом на заднем плане, и делиться своими мнениями о широком диапазоне тем, которых толком не понимает, а потом долго слушать факты, которые его не интересуют, и симулировать действия, которые его не касаются; короче говоря, что-то типа вечных сумерек души. Факт прост: его так глубоко затянуло в шестерни программы в том виде, в каком она сейчас существует, что он уже не может представить себе жизнь без нее, чего он, конечно, сам не замечает, но что день за днем будет угнетать его все больше.

ИЛИ ЭТО ВСХЛИП?

Потом день пролетает быстро, и он уходит ровно в 17:00; в этот раз молодой охранник на

вторых воротах его узнает и машет рукой, но, проходя мимо, космонавт что-то слышит; он не оглядывается, чтобы узнать, что — не такой он человек, — но, торопясь к своей машине, гадает, то ли охранник над ним смеялся, то ли это просто шальной чих, который охватывает человека и выдавливает высокий задыхающийся звук. Космонавт, конечно, гордится тем, что не настолько интроспективен или раним, чтобы переживать по мелочам, но по дороге домой обнаруживает, что не в силах выкинуть этот звук из мыслей. Он не понимает, что хотел сказать охранник, но отчего-то уверен, нравится это ему или нет, это как-то относилось к нему.

БЫСТРЫЙ ФЛЕШБЭК: МОДЕРНИЗМ

Покидая базу, он попрощался с товарищами по полету. «Пока-пока-пока», — сказали они все друг другу, и для космонавта это всего лишь репетиция того, что он услышит, когда лунный модуль отделится от командного и начнет свой темный спуск к краю спутника. «Еще увидимся», — сказал он, но это уже когда он давно прошел плачущего охранника.

ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДОМОЙ: НОВЫЕ НАМЕКИ

Он приезжает домой и оказывается посреди

нешуточной ссоры; его старший громко твердит матери «нет-нет-нет», а она как минимум так же громко отвечает «да, еще как!». Не успевает он определить причину конфликта, на невидимой ему кухне слышится звук пощечины, вопли, и жена входит в комнату, лицо кислое, медленно расплывается в студенистой маске печали, и она говорит — «он просто невыносимый; я ничего с ним не могу поделать, он даже не извиняется, даже не слушается» — и космонавт, сам в легком отчаянии, резко врывается в кухню, хватает мальчишку (младший сидит на высоком стульчике, ест детское питание и вновь трудолюбиво работает над большим пальцем) и требует — «а ну извинись перед матерью, говнюк мелкий, а то нарвешься на большие неприятности, всю дурь из тебя выбью, заслуживаю я покой и понимание в своем доме или нет», слегка стыдясь своих выражений, конечно, но он же все-таки не на командном посту. Мальчишка переходит от всхлипов к бессильному раскаянию, удивительно трогательному, и молча входит перед ним в гостиную, находит мать перед телевизором, где верещит какая-то мерзкая мультяшка, и говорит «прости меня, мама». — «Нет, не проси, — отвечает она, — нет, это неискренне, поэтому даже меня

не трогай». — «Искренне!» — громко возражает он, и «нет!» — кричит она в ответ, и «да!» — орет он в слезах, и космонавт пробил бы головой толстое оконное стекло ради покоя, вот только покоя все равно нет, нигде нет, поэтому он просто садится, ошарашенный утратой, даже не понимая, чего именно у него никогда не будет, и смотрит, как по экрану кружатся фигурки, ракеты с бровями моргают в звездной ночи, зверушки с улыбками летят на ракетах высоко в непостижимую тьму.

ОНИ БРОСАЮТСЯ НА ПРЕСТОЛ ПАМЯТИ — СМОТРИТЕ, КАК ОНИ ОТШАТЫВАЮТСЯ

Намного позже, когда дети уже в постели, его жена сидит на диване, как парализованная, упершись руками, и говорит, что не может и думать о сексе этим вечером или, если на то пошло, даже утром, слишком устала, ей слишком тяжело. «Ты получил свое вчера ночью, — говорит она, впервые упоминая об этом вслух, — и, может, ты и забыл, но я — нет, и к тому же, по-твоему, кому здесь тяжелее, кто, по-твоему, взваливает все бремя на плечи? не ты, детка, не ты — а я». Он неуклюже тянется к ней, чтоб каким-то образом передать касанием, что понимает, что она была, есть и всегда будет той самой девушкой, на которой он женился, но, когда пальцы

встречают ее кожу, у нее консистенция потного теста, и в смутном отвращении он отодвигает руку, хоть и медленно, чтобы не обидеть. «Я понимаю, — говорит он, — я и сам устал, там всю душу выматывают, дай расскажу, что нам сегодня втюхивали, ты представляешь, нам сказали, что на орбите даже материться нельзя», — и выкладывает все, впервые чувствуя тот жаркий и сюрреалистический ужас, который, знает он, должен был пережить несколько часов назад, но уже поздно, слишком поздно, потому что глаза его жены закрываются, а он знает, что — старая хитрость — она только нацепила сонный вид, чтобы не пришлось слушать.

— Ну, — говорит он, — значит, спать.

СО ВРЕМЕНЕМ ВСЕ ФАКТОРЫ ПРИХОДЯТ К ПРИВЫЧНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Он наблюдает за ними на радаре — точка и бегущая черта, в пятидесяти милях ниже, — слушает переговоры, в которых больше не участвует. Молодой космонавт рассказывает длинный скучный анекдот, и Центр управления с интересом слушает, время от времени подбадривает, чтобы он продолжал. Анекдот стерильный и почему-то невыносимый. Он плохо понимает, что делает потом. Только знает, что модуль несется, несется,

скорость во тьме, ощущение разрыва и рывка, и в этот миг представляет, что видит себя с огромного расстояния, гном в кубе, мчащемся на огромной скорости к Земле. Так он это всегда себе и представлял.

— Ах ты сука,– слышит он Центр управления, и потом говорящий спохватывается и вскрикивает: — Что там происходит? Мы тебя потеряли. Мы видим, что ты направляешься к Земле. Ты…– Этот голос высокий, тяжелый писк внутри этих стен, тусклых огоньков, трех ерзающих на полу мочеприемников,– …ты включил тормозные ракеты? *Да?*

— Да,– отвечает он,– я возвращаюсь домой.– Пытается отключить ЦУП левой рукой, но связь односторонняя, да и генерал-майор предупреждал, что их постоянно прослушивают, и диспетчер спрашивает: — Что ты делаешь? Что ты *делаешь?*

— Лечу домой, — отвечает он. — Хватит с меня. Больше не собираюсь это терпеть. Нельзя запрограммировать Вселенную, сукины вы дети, снаружи происходит такое, что вы и вообразить не можете, не то что понять, и пора уже положить конец этой банальности: это вы понимаете? Рано или поздно она должна закончиться. Вселенная

велика, человек мал, сукины вы дети.

— Псих, — слышит он из Центра управления, слышит с уважением, наслаждаясь восхитительной меткостью этого слова, емкостью, уместностью в данной ситуации. Это первое уместное слово, что он в жизни слышал от Центра управления.

— Ах вы сукины дети, вы еще даже не все звезды открыли, как вы можете поступать так с нами? Мы же люди, люди, понимаете вы или нет. Ах вы мрази, — говорит космонавт, и даже при всем возбуждении голос у него на удивление ровный, — я вам так скажу, этому надо положить конец, и лучше всего — недвусмысленный.

Внизу, далеко внизу он слышит голоса двоих — они уже не рассказывают анекдоты, уже не описывают виды, только с высоким мучительным блеянием, чем-то напоминающим персонажей в детском мультике, умоляют космонавта и ЦУП ответить, что с ними происходит. Космонавт включает связь и говорит:

— Я решил ненадолго сгонять домой и забрать вас на обратном пути. Ах вы мрази. Мрази.

Забирать он их, конечно, не будет. Модуль контролируется компьютером, уже ничего не изменить, он пройдет весь запрограммированный

маршрут и свалится в Тихий океан, и его будет ждать спасательная команда — потому что он так же важен, как всегда, если не больше, — но сейчас хватает и упрека. Он складывает руки на животе, закрывает глаза, чувствует медленное приближение поверхностей.

— Все было бы зашибись, если бы я потрахался, — говорит он.

СЛОВНО ДАЛЕКИЙ ФРИЗ, В ВАВИЛОНЕ ИЛИ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Намного позже космонавт видит сон; ему снится, что он персонаж в рассказе, который о нем пишу я, и, открыв глаза, чтобы убедиться в этом монументальном кошмаре, видит, как на него смотрю я, бесконечно терпеливый, бесконечно мудрый, бесконечно страдающий, зная все, что ему никогда не понять, и, закрывая глаза, он спрашивает: «но зачем ты все это пишешь? Это даже не настоящее, не то что будущее; это прошлое, все это случилось давным-давно, это такое же прошлое, как Вавилон или Священная Римская империя; не вспоминай обо мне — вспоминай о Центавре, вспоминай луны Ариэля. Я всего лишь хренов анахронизм; зачем стараться, зачем?» — и я отвечаю, отложив бумагу и откинувшись на спинку собственного пыточного ложа: «да ко-

нечно, конечно, но разве ты не понимаешь — ты тоже будущее: будущее и прошлое смешаны, и одно нельзя понять без другого, потому что все мы скованы вместе; ты, история, я, возможности, мы вдвоем на миг соприкасаемся в симуляции движения, известного как повествование, а что еще, в конце концов, есть на свете? В конце концов, все на свете — это история», и космонавт говорит: «это уже слишком заумно, я ни слова не понимаю» — и быстро проваливается обратно в сон, падая, как ему мутно кажется, в длинный, длинный спиральный туннель, и на одном конце того туннеля — центр Земли, а на другом — Луна, и где-то между ними бесконечно кружится на орбите он, в поисках, и тонкие тензоры его глаз безошибочно ведут его на ту сторону планеты.

Послесловие

Где-то половина этого рассказа — моя, пятая часть — Харлана Эллисона, а оставшиеся 30 процентов — собственность Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, которое за прошлое десятилетие научило нас мастерскому применению метафор и чье будущее будет неизбежно скучнее прошлого.

Чем мне не нравится современная научная фантастика — около 90 ее процентов, если не больше,– так это тем, что писатели не углубляются в элементарные основы своего материала, а материал — из-за довольно андеграундного происхождения жанра — часто всего лишь эксплуатация разных тем ради самого легкодоступного вывода. Это, конечно, изменится; сейчас научной фантастике уже невольно приходится расти над собой, пока в наш маленький дурдом вторгаются санитары, которые, хоть и неуклюже, ведут нас к реальности.

Я на самом деле не фантаст — я бы сказал, из моих двадцати с чем-то опубликованных произведений в этой области только два-три

жанровых, а роман «Пустые люди» является чистейшей метафорой, — но я знаю эту область, чуть ли не страстно переживаю за ее развитие и подозреваю, что если у литературы и есть какое-никакое будущее в качестве жизнеспособной силы, оказывающей положительное (или отрицательное) влияние на людей, то только благодаря фантастике. Литературный роман, за редкими блестящими исключениями, уже истощен, и жанровая литература в том виде, в котором она нам известна, вымирает. Я надеюсь дотянуть и увидеть все то интересное, что должно произойти в следующем десятилетии; не считая этого моего небольшого пессимизма и курения, плохих привычек у меня нет.

Предисловие «Юрист под кайфом»



Как и «К. М. О'Доннелл», «Х. Х. Холлис» — это псевдоним. Я ужинал с мистером Холлисом и его невероятной супругой и могу заявить без всяких оговорок, что это самый завораживающий вечерний собеседник, что я встречал. Еще это человек, к которому невозможно не проникнуться огромным уважением. Я бы вдался в подробности, но это такое редкое чувство — наслаждаться другим человеком, что мне придется, видимо, описывать нечто слишком эзотерическое, чтобы понимало большинство. Достаточно сказать, что я знаю настоящее имя Холлиса, но даже если превратите меня в магдебургские полушария и будете растягивать першеронами, не вырвете из меня

истинную личность сего благородного создания.

Хотя Холлис еще не писал романов, его рассказы, а среди них самые выдающиеся — это «Партизанские деревья» (*Guerilla Trees*) и «Игра мечом» (*Sword Game*), вошедшие в финальный список голосования «Небьюлы» 1968 года, — уже привлекли к нему чутких читателей: тех, кому не терпится успеть, так сказать, на первый этаж нарастающего таланта.

Этот 5700-словник — прелестная вещица, и я бы хотел обратить ваше внимание даже не на новизну темы или четкость, с которой развивается фантдопущение, а на стиль. Как по мне, сегодня Холлис — один из тончайших стилистов в нашем жанре. Его стиль — образец для тех из нас, кто негодует из-за ограничений линейности, стремится почти с психопатическим жаром расширить параметры коммуникации, заданные всего лишь словами на бумаге. Одни позорно насилуют язык, другие дезертируют и уходят в кино или прочие изобразительные искусства, третьи переходят к такому остроумию, что становятся готовыми кандидатами для маленькой издательской компании Рода Макьюэна. А люди вроде Холлиса четко видят: ответ в том, чтобы, как говорил Флобер, писать «чистыми и спокой-

ными руками»[92]. Его рассказы — прямодушные, но тонкие, характерные, но сложные, написаны скрупулезно, но кажется, что с текучей легкостью. Подобно Великому Искусству Пикассо, Астера или Джорджа К. Скотта, все это только *выглядит* до идиотизма просто — пока не попробуешь сам, только чтобы намалевать граффити, или шлепнуться ничком, или выставить себя на посмешище в районном театре. Что я хочу сказать, так это что Холлис (если не уже, то в потенциале) — Великий Художник.

И его рассказ послужит первым доказательством моей позиции.

А о себе как человеке он рассказывает нам следующее:

«Х. Х. Холлис — псевдоним юриста адмиралтейства и профессионального тексианца[93], со смутным родством с Дэйви Крокеттом и Леандром Кельвином Каннингемом — одними из самых интересных героев-головорезов битвы при Сан-Хасинто. Холлис родился в Далласе в 1921-м, учился в средней школе Бена Милама, старшей

---

[92] Примечания: 92

Из письма Эрнесто Фейдо. *Пер.* С. Кратовой, В. Мильчиной.

[93] Примечания: 93

Тексианцы — англо-американские иммигранты в Мексиканский Техас.

школе Северного Далласа, Южном Методистском университете (бакалавр экономики) и Техасском университете (бакалавр юриспруденции). Холлис был одним из предводителей студентов-бунтарей, которые в 1944-м устроили в Техасском университете трехдневную забастовку, из-за чего среди прочего университету объявила бойкот Американская ассоциация университетских преподавателей. Гордится тем, что стал вечным обладателем почетной медали за сочинение с доказательством, что в Гражданской войне победил Юг, что его некогда называл „самым опасным человеком в Техасе“ лидер Неандертальской Демократической партии и что был в числе юристов, подавших первый успешный иск на десегрегацию общественных мест в Техасе. Холлис женился на девушке своей мечты, и, хоть никто из друзей не ожидал, что их союз протянет дольше полугода, он протянул двадцать пять великолепных склочных лет. Писать фантастику — это призвание Холлиса. Он говорил в издании Американской ассоциации писателей-фантастов *The Forum*, что пишет для развлечения. Профессионально публикуется с 1965-го, в 1968-м два его рассказа номинированы на „Небьюлу“, хотя ни один не забрал пальму первенства. Но один

отобрали в антологию победителей. Рост Холлиса — метр восемьдесят, голубые глаза, ходит с тросточкой, виски посеребрены благородной сединой. Не столь эпатажный, как мастера этого ремесла, но все равно эксцентрик, каких поискать».

Юрист под кайфом
Х. Х. Холлис



Веселый присвист Корки Крейвена оборвался на глиссандо, когда он вошел в старое здание суда округа Харрис. За его спиной всосалась на место стеклянная дверь, затхлый воздух взял его за горло. Когда его окружила вонь препаратов, судорожного пота и человеческого страдания, первым делом Крейвена, как всегда, затошнило. Начал разжижаться его свежий костюм, зудела от грязи его отмытая кожа. Великолепное весеннее

утро кончилось, как и не было.

Юрист не в первый раз пробормотал себе под нос:

— Должны быть способы зарабатывать попроще.

Скривившись, он ощутил вес своего судебно-жалобного футляра во внутреннем кармане пиджака, затем ради перестраховки достал и раскрыл, чтобы убедиться, что в нем полный набор галлюциногенов. Две недели назад он забыл скополамин — пришлось позаимствовать дозу из футляра оппонента. У него в голове содрогнулась память. «Та сволочь разбавила скоп ЛСД, руку даю на отсечение».

Крейвен застыл в крошечном предбаннике здания суда и сделал шесть глубоких вдохов. Лучше нырнуть в атмосферу старого мавзолея из кирпича и гранита разом, а не постепенно. Иначе примесь наркотиков и телесных выделений в воздухе может и правда вызвать тошноту, а не бывает ничего непрофессиональней, чем блюющий юрист.

В коридоре второго этажа шириной с локоть Корки нашел старика уборщика, который сунулся в кабинку слушаний, будто Пух — в горшок с медом. Он подергал старика за локоть.

— Брось подглядывать, в этом кубе не общественные слушания.

Хрыч ответил, хохоча:

— Они вчерась так и не закончили с разводом Дингла. Сами хоть гляньте. Там Джуди Хавчик своими глюками сносит башню двум юристам Старого Дингла.

Дернув за руку дряхлого хулигана, Крейвен прикрыл дверь, но успел-таки заметить, как подергиваются и подрыгиваются три тела, успел учуять судебную смесь. Нос подсказал, что они применили пентотал натрия, чтобы быстро улететь, какой-то гриб, чтобы вскрыть факты дела, и… еще что-то — он снова принюхался из профессионального интереса… что-то потяжелее, чтобы сил хватило надолго.

— Хлавчек, — поправил он. — Ее зовут Джудит Хлавчек. Советница Хлавчек. Держись-ка отсюда подальше. Впустишь слишком много воздуха и шума — и они очнутся, и тогда шестой этаж объявит о нарушении судебного процесса и тебе же влетит.

Он с улыбкой двинулся дальше по узкому коридору. Услышал, как позади открылась дверь, быстрый цок-цокот каблуков Джудит Хлавчек. Все еще улыбаясь, задумался о разбирательствах.

Как хорошо он знал, что они там делают! Благодаря трехстороннему подключению к разъему на левом запястье каждого — а теперь это был такой же признак судебного юриста, как раньше парики, — они обменивались кровью, чтобы гарантировать одновременность и единообразность измененного восприятия, а в тройном сенсорном проекторе прорабатывали разные версии одной истории, которую каждый усвоил из мозга клиента.

Корки покачал головой, слыша позади каблуки юриста Хлавчек. Нарушение процесса — сто процентов. Повезет, если она отделается выговором от Комитета жалоб за прерывание слушаний. А сколько будет хлопот из-за новой встречи с клиентом. Обыватели переносят наркотики хуже матерых судебных юристов, и если клиент потеряет нить своей истории или слишком сильно исказит своими эмоциями, то остается последняя мера: прямая инъекция фактов. Известны клиенты, которые отказывались жертвовать несколько клеток коры мозга, чтобы после их центрифуги и культивации употреблял юрист, — и тогда вступало Правило 212б. Клиент, отказавшийся от физической подготовки свидетельств для юриста, подлежит санкциям суда вплоть до отказа

в слушании его стороны дела. Крейн сочувствовал советнице Хлавчек. Нет ничего хуже, чем закинуться с юристом, у кого в мозгу уже осели все факты, когда тебе остается отбиваться только юридическими формальностями.

Сзади его обхватили руки Джудит Хлавчек. Крейвен замер. Ее мягкое лицо прижалось к его пиджаку. Он сделал шаг — она обвила его ногу своей. Он оглянулся и после первого взгляда на заплаканное лицо понял, что не сможет ее бросить. К черту (думал он) нарушение правил суда в его деле Хэзлитта! Он толкнул дверь куба и зажал кнопку на двери, чтобы включить знак «Суд идет». Почувствовал, как плечо сжала ее ладонь.

— Не эта комната. — Голос был хриплым.

Его держал за плечо Гансль Палевски, оппонент по делу Хэзлитта. Джудит Хлавчек, покачав головой, пропала в темном проеме открытой им двери. Крейвен сглотнул.

— Точно. Сегодня мы в третьей, да? Я и забыл.

— Только не надо рассказывать, будто ты что-то забыл! Ты не забыл даже свой первый косяк в школе права.

Крейвен рассмеялся.

— Точно… мы дули безумный блант, когда готовились к юридической библиографии. Как,

по-твоему, если бы мы не замедляли для себя время, прошли бы мы трехмерный индекс до самого Четвертого Канонического свода правил?

— Ни черта, я же все равно не дошел. Мне пришлось выторговать у Шведа Пи-Цзиня семена ипомеи, чтобы вбить себе все в голову.

Они повернулись к кубу слушаний, назначенному по делу Хэзлитта.

— А почему мы звали его Швед? Я так и не понял.

— Он заявлял, что, мол, вкурил весь первый и второй курс по недвижке за кальяном на очистках ирландского картофеля. Пускал нам дым в глаза!

— Да уж. И что сталось со Шведом?

— Он теперь в нашем посольстве в Пекине… пытается «включить»[94] неомаоистов на очищенном опиуме. Пока у него больше дыма, чем огня. Ведь все, с кем ему разрешено встречаться, те еще консерваторы. Они там ловят кайф с табака и чая.

Крейн достал из кармана жалобный футляр и

---

[94] Примечания: 94

Включить, включиться (*англ.* turn on) — то есть попробовать наркотики и расширить сознание; термин контркультуры битников и хиппи из шестидесятых, придуманный Тимоти Лири, главным пропагандистом психоделиков.

открыл на маленьком столике, предоставленном для советников.

— Ну что, готов?

Палевски откинулся назад на двух ножках своего стула.

— Должен быть способ договориться получше.

— Ну, можем позвать живых свидетелей, как в темные века.

Они рассмеялись хором.

— Да уж. Или суд поединком. Я бы с тобой справился… например, с палашом.

— Уж не сомневаюсь; а если под демеролом?

— Ну уж нет, — сказал Палевски. — Я бы раньше уснул.

— Ладно, пора галлюцинировать факты. Погнали. Чем будешь травиться?

— Пусть выбирает Суд.

Они включили небольшой пульт на столике и вызвали дежурного судью. Стараясь нажать одновременно, каждый вбил свой предпочтительный судебный препарат, и им тут же распечатался обязывающий ответ: ЛСД-3.

— Черт, — сказал Крейвен. — Уже второй раз за неделю. Так скоро психологическая зависимость от этих помоев начнется. Иголки, Полли?

— Ну уж нет, — ответил Палевски. — Ампулы.

Они молча обменялись ампулами, и каждый набрал небольшой шприц. Одновременно сделали уколы, потом надели шлемы, которые будут проецировать их видения. Когда стены куба поплыли перед глазами, оба открыли разъем на левом запястье и присоединили трубку, ведущую к миксеру крови. Крейвен со вздохом откинулся на кушетку и устроился поудобнее.

И сразу же в передней коре мозга поплыл парад пышногрудых красавиц. «И как это у Гансля получается? — подумал он. — Должно же быть в его внерабочей жизни что-то, кроме девушек. А то вечно девушки». Когда его мысленное неодобрение размыло цвета девиц, реакция Палевского сделала их еще нежнее, округлее, завлекательнее. Крейвен принялся проецировать оппоненту худышек, и девицы Палевского вмиг так растолстели, а Крейвена — так усохли, что превратились в ряды символов двоичного кода. Сначала маршрующие нули и единицы не имели смысла. Потом Корки заметил, что они повторяют на азбуке Морзе: «Педикпедикпедикпедикпедикпедик…»

Он фыркнул. Это глубокое сокращение мышц привело к прерыванию цифровых символов, полусфера проекции потемнела. И еще долго оставалась темной — черные волны поверх чер-

ноты, бездумные и пустые.

Крейвен подремывал, пока вертел в голове промышленную матрицу тяжбы. Ядовитые отходы с автоматизированной фабрики попали в ручей. Ручей загрязнился, зарос ряской. Крейвен напряг кортекс — и поток прояснился и заискрился. Над поверхностью запрыгала рыбка, прозрачная вода быстрее побежала по каменистому дну.

Стоило зафиксироваться на внутренней поверхности проектора, как Крейвена окутало взбаламученное облако грязной воды — и он в шоке осознал, что его окружила проекция Гансля. В уши и рот сочилась густо, как нефть, зловонная, испорченная, мертвая, стоячая вода. Когда она подступила к ноздрям, Крейвен потянулся обратно за собственным прелестным ручейком — но он уже не воплощался. Пожав извилинами церебрума, он смирился с утратой идиллии и принялся вести имевшуюся картину к реальности. Пусть хотя бы светит солнышко. Пусть хотя бы не смердит вода. В ней даже могут жить карпы, черепахи и — вуаля! — сомы. Появилась черепашка постарше, пригрелась на камне. Ну ладно, не на камне. На нефтяной цистерне; зато черепахе с виду не меньше двадцати лет. Значит, вода уже не мертвая.

Вниз по течению мучительно медленно проплыл брюхом кверху разбухший аллигатор. Корки ускорил течение и с немалым усилием воли перевернул ящера, отправил подальше — и поставил улыбчивого юнца в рваных синих джинсах, чтоб метал камешки в тушу, пока ее видно.

В следующий миг дитя стало хрестоматийным идиотом. Нижняя челюсть вжалась. С верхней губы стекала слюна. Юнец открыл ширинку и неуклюже помочился в вонючую воду.

Крейвен оставил ребенка превращаться с каждым мигом в примата, зато расширил фокус видения. Раскрылась вся сцена, и на первый план выступил источник загрязнения. Хлещущий, булькающий фонтан фенола с дымящейся лентой серной кислоты из слива, бесстыдно торчащего из угрюмого бетонного куба. На здании никаких обозначений не было, зато сверкающая неоновая вывеска над самим стоком гласила: «Фэйрлоун кемикалс, Инк.».

Крейвен почувствовал, как Палевски физически дернулся, возмущенный этой картиной. Камни стали плавиться, сток сузился. Корки с помощью мысленного дзюдо, приносившего ему репутацию в юридических кругах, позволил сто-

ку съежиться до размера садового шланга, зато потом за время, за которое нейрон теряет заряд, размножил. Вот в ручей сливают фенол десять шлангов; вот уже двадцать. Когда в несчастную воду хлестали нечистоты из сотни труб, он проморгался и обратился к Джудит Хлавчек:

— Еще минутка. Он уже отступает.

К сожалению, практически сразу она появилась на первом плане проектора, швыряя в поток пивные банки и мусор, оставшийся от пикника.

Крейвен почувствовал, как вздрогнул и затрепыхался на кушетке. «Черт, черт, — думал он, — и на секунду нельзя отвернуться». Он привстал, почувствовал, как прохладные пальцы Джудит укладывают его обратно, увидел, как она пускает воздушный поцелуй с экрана проектора и пропадает за углом фабрики — каблуки сверкали, волосы развевались. Он начал быструю промотку кадров потока от того, каким тот был, — с парящими птичками и жужжащими пчелками, до огромной трубы, клокочущей фенолом красного цвета виноградной газировки, и потока, каким его сделали клиенты Палевски: сочащейся, безобразной, жидкой раны на земле, где жужжат только мухи и редкие стойкие комары.

Хотя картинка зыбилась и колыхалась, она

все-таки держалась; держалась; держалась. В Крейвене вспыхнуло ликование — и из-за этого секундного расслабления вдруг появилась смрадная орава коротышек, швырявших в воду экскременты и мусор. Секунду он кривился, потом рассмеялся. Обрисовав с дьявольским остроумием характеры и маньеризмы клиентов Крейвена, Палевски уменьшил их в размерах до своего мнения об их нравственности, а затем размножил и превратил в бешеную стаю песчанок, рвущих газеты и швырявшихся клочками, пока затон не превратился в вязкое, тестообразное болото. Зато сливная труба выше по течению пропускала воду чистую, как джин, что искрилась и вливалась в кашу, заваренную клиентами Крейвена.

Но у этой картинки имелась и хрупкость любой сатиры. Под смех обоих юристов она заколыхалась и рассыпалась. Хихиканье Крейвена мутило проекцию, даже когда он сдвигал ее ближе к своей позиции. Он мечтательно загустил цвет сточных вод, укрепил фабрику Палевски и ее зловонную трубу. Подкрутил фокус, чтобы было видно не меньше мили потока, поскольку что-то настойчиво говорило ему о неприятностях, зреющих за кадром.

И пожалуйста: стоило сделать фокус длиннее, как стало видно, что Палевски трудился на периферии. Поток не двигался — и со склона было видно, что он никогда и не был ручьем. Стоки из фабрики беззвучно уходили в уже мертвый ручей, где вода едва текла. Ниже по течению неприглядный вид этой открытой канализации подкреплялся рядом туалетов, зависших над водой под безумными углами. Из одной деревенской уборной как раз выходил с довольным выражением главный клиент Крейвена, застегивая ширинку.

Корки перенес кадр выше, чтобы со склона холма открылось: равнина, на которой Палевски закольцевал ручей, — это лишь иллюзия, а на самом деле ей хватает уклона, чтобы ручей мягко сбегал вниз, и на гребне холма показался дом клиента Крейвена. И был это величественный особняк, в новом стиле бетонных замков, излюбленном у хьюстонских архитекторов, и стоил он, очевидно, сто пятьдесят тысяч долларов. Эта проекция являлась крейвеновской версией настоящей фотографии из газет, поэтому у красок дома был зернистый, точечный полутон; зато на фоне его размеров и демонстративности хлипкая уборная выглядела очевидной подделкой — и она

пропала вместе со своими соседями.

Но они сменились захватанной схемой водопровода. Палевски вывел в нижнем правом углу номер инженера — и Корки понял, что они видят настоящую карту канализации, находящейся по соседству с загрязненным ручьем. По схеме полетели стрелы из света, отмечая протечки, люки, дефективные очистные сооружения и прочие точки, откуда в ручей попали загрязнители.

Несмотря на все усилия воли Крейвена, его карта той же части городского коллектора лишь на миг сверкнула поверх карты Палевски. Они совпали на девяносто процентов — и экран проектора сверкнул золотым, а компьютер, следящий за ходом прений, наложил поверх прозрачные буквы: «Зафиксировано». Это был первый прорыв в потоке утверждений и опровержений — и с этого мига он станет надежным буем, вокруг которого обязаны протекать видения обоих юристов, как бы они ни вихрились.

Когда Крейвен пытался подвинуть проекцию обратно к химической фабрике, его спина рефлекторно выгнулась. Он перекатился на бок, подтянул колени к груди и обхватил руками, занимая позу, в которой с детства видел самые красочные сны. Обтекая потом, он почувствовал,

как бегают его глазные яблоки, и понял: его мозг собирает все силы для мощного хода в юридической борьбе.

Прошла еще минута до того, как быстрое движение глаз достигло пика — и тогда он неудержимо сорвал у завода каменную стену, добившись воображением того, что ему не разрешили сделать в досудебной подготовке: показал действительное положение дел внутри. Дополнительный судья, заслушавший это предложение, постановил, будто у фабрики есть коммерческие тайны — не защищенные патентами, но ценные, — и поэтому их нельзя раскрыть, не причинив химической компании много больше ущерба, чем небольшие помехи подготовке Крейвена.

После того постановления Крейвен отыскал инженера, уволенного двумя годами ранее из корпорации Палевски, и тот выдал немало сведений. Но поскольку официально он в процессе не участвовал, Корки пришлось брать все показания устно. Свидетель не мог подвергаться воздействию наркотиков без согласия — а он оказался свидетелем Иеговы со всеми неизгладимыми предубеждениями этой секты против наркотиков и изменения разума.

Таким образом в проекции Крейвена надлежа-

ло показать внутренности серыми, зачернить там, где сведений не хватало, исказить, пронизать зыбким светом незавершенности. Но все равно он смог сосредоточиться на тяжелом обменнике, на котором завершался рабочий цикл и который сливал фенол в качестве побочного продукта. От этой точки Корки спроецировал простой сток, даже без фильтра для случайно упавших инструментов или твердых отходов, выходивший прямо над поверхностью ручья. Дальше уже шла реальная информация, и благодаря режущей четкости проекции Крейвен решил рискнуть и высосать новые сведения прямиком из разума Палевски. Пока его глаза метались под закрытыми веками от одного уголка к другому, Крейвен остановил картинку проступающего слива и произвел кортикальное сжатие, вызвав соответствующую картинку из мозга оппонента. Не успело угаснуть золотое свечение, оставив за собой надпись «Зафиксировано», как Крейвен содрогнулся, чувствуя, как вся сеть его нервной системы сосредоточивается на мысленном высасывании у Палевски картинки внутренностей фабрики. И с резким усилием она выплыла на экран.

Юрист понял, что ошибся с пропорциями — все-таки информатор не сообщил ему об огромном,

громоздком комплексе приборов и труб, целиком занимавшем треть цеха. Крейвен изогнулся волной, с кульминацией в виде пугающего щелчка где-то в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, и впитывал массу чанов и соединений, чтобы сделать картинку понятной, за что был вознагражден золотой вспышкой и штемпелем фиксации, а значит, он мог вырвать у Палевски согласие на прояснение работы фабрики.

Синяки и растяжения разума после трех логических выводов оставили обоих юристов неподвижными на кушетках — выдохшиеся лужицы плоти, — пока их мозги втягивали из паутины нервов и своих мясных оболочек энергию для продолжения. Внутри проектора появился сам Палевски, на карачках, прикрывая глаза руками. Это была единственная передышка от наркогрез: отказ видеть.

Недолгое время в проекторах плыли пятна нейтральных цветов, облака, сливающиеся вспышки случайных накоплений энергии в двух нейронных сетях. В медленных ритмичных повторах вспышек проявилось лицо Джудит Хлавчек: губки бантиком, глаза широко распахнуты и смотрят перед собой — прямо как перед поцелуем.

Крейвен почувствовал ее руку у себя на груди,

пока вторая приподнимала его шлем. Она мягко склонилась.

— Полли отрубился. Пусть похрапит минутку. Тебе и самому бы неплохо передохнуть.

Она присела у кушетки, массируя ему щеки. Они налились кровью, как обычно бывает, когда мозг подтягивает к борьбе видений все ресурсы организма.

— Слушай, я переезжаю к тебе в воскресенье, помнишь? Сможешь взять напрокат пикап и приехать к семи? Угощу завтраком.

Один его глаз все еще оставался под шлемом, и он увидел, как соскальзывает с широкой кровати в уютную спальню, в дверях которой манит Джуди — в прозрачной ночнушке и со сковородкой, где шкварчит идеальная яичница из двух яиц.

— Ладно. Я сейчас не могу говорить. У нас переломный момент. В следующем видении — пан или пропал.

Он с улыбкой скользнул обратно под шлем и начал переводить нейронные вспышки в буквы «V» на Морзе… *Victory* — «Победа, победа, победа», — мигал он, а потом вдруг изобразил себя, показывающего правой рукой два пальца в знаке «пис». Ответом была химическая фабрика, раскрашенная в стиле Питера Макса, почему-то

с лицом и настроем самого Ганса Палевски. Из каждого отверстия фабрики Палевски истекали благовония, и юрист расстегнул грудь, обнажая блестящую карбонизационную колонну из нержавейки и круг из цистерн. Стало ясно, что колонна критически важна для производственного процесса, а в цистернах хранятся отходы, которые приносят прибыль с наращиванием масштаба. Наложился чертеж, и стало понятно, что в процессе в основном применяется переработанная вода. Немногочисленные отходы уходили в небольшой сток — увеличенный, чтобы Крейвен разглядел все датчики. Вода точно не прозрачная, как горный хрусталь, но и не дымилась, как канализация Сарумана.

Корки наложил поверх вопрос: «Когда?»

И вдруг услышал музыку, которую Палевски потихоньку подавал на задний фон этой идиллической сцены. Старая пророческая песня «В 2525 году»[95]. Отвращение Крейвена из-за такой неопределенной проволочки с установкой очистительного оборудования дошло до того, что он даже заговорил вслух и мгновенно схлопотал выговор от судьи, который медленно проявился

---

[95] Примечания: 95
Zager and Evans, «In the Year 2525», 1969.

на экране проектора в виде силуэта силуэтом.

— «Ни хрена!» — это не юридический термин. Также протесты следует проецировать, а не произносить вслух.

Крейвен чуть не вскочил, но очередное грубое нарушение судебного этикета могло быть чревато для его клиентов поражением. Он с усилием остался оцепенело лежать на кушетке, проецируя гимн нынешнего года: «Сейчас! Для нас! Наш девиз — „сейчас“!» Корки не одобрял религиозный посыл этой песни, зато текст подходил к его юридической позиции.

Он услышал, как Палевски заворочался на второй кушетке, и на изогнутую поверхность проектора извергся бешеный коллаж из великих и не очень личностей американской истории промышленности. Под их сапогами хрустели леса, их рты выпивали реки, их ноздри в бурях всасывали воздух; но зато на их плечах и хребтах высилась головокружительная и растущая пирамида потребителей, из чьих глоток рвался хвалебный пеан. Каждую секунду проходило голосование о жизни долины, цвете реки, запахе чьего-либо воздуха — и всегда побеждало производство. Каким-то образом, хоть лик земли менялся, множащимся ордам, следующим за

промышленниками, всегда и всего хватало. Все это окружалось сиянием, и оно становилось все ярче, и вперед выступил Дядя Сэм — снежные усы развевались на ветру, улыбка, преисполненная здравого смысла и сострадания, озарила румяные щеки и лукавые глаза.

Крейвен удовольствовался единственным комментарием. В верхнем левом углу картинки он вызвал председателя Пао, который плохо скрывал ладонью улыбку, наблюдая, как американцы хоронят себя в собственных отходах. Судорожным сокращением нейронной сети Корки расчистил проектор и стер все краски, оставив только нейтральный серый. Осторожно, но уверенно он вызвал уже зафиксированные факты. Пришлось признать протечки из городской канализации, но они выглядели минимальными на фоне стока без фильтров и датчиков, отходов целого комплекса перегонных чанов и крекинг-печей, что Крейвен извлек из мозга Палевски. Он неустанно давил на эту общую картину, акцентировал ее части, пока Палевски не начал смиренно печатать поверх: «И что? И что? И что?»

Крейвен оставил проектор мариноваться в феноле и начал строить образ неосквернённого ручья — не отравленного, не перегретого так,

что в нем не выжить рыбе, — как тут увидел, что Палевски возводит рядом проекцию фабрики, исправленной благодаря добавлению большого отстойника. Отходы шли в иловую яму, и вода через узкий водоотвод в природный ручей сочилась уже практически прозрачная. Над картиной развевалась лента со знаками вопроса.

Крейвен жестоко столкнул в отстойник ребенка. Не успели еще добулькать его крики, как вырос высокий деревянный забор, раскрашенный, словно произведение искусства. Корки без колебаний послал через забор целую ватагу соседской ребятни. Одни вылезали из отстойника ослепшими, другие неподвижно плавали на поверхности, третьи отделывались шрамами и испугом — но невредимым обратно не выбрался никто. Юрист с тошнотворной скоростью проиграл запись реального прошлогоднего происшествия, когда девочка соскользнула с берега в нескольких метрах ниже по течению от преступной сточной трубы. Экран заполнило ее обвиняющее лицо: из волос сочилась грязь, поблескивал белым незрячий глаз.

Как Палевски ни наваливал стопки банкнот в знак того, сколько компания выплатила девочке, он так и не смог преодолеть этот образ, потому

что Крейвен размазал картинку во времени и показал, что компенсацию выплатили только после ожесточенной тяжбы… а запрос к судейскому компьютеру показал, что дело полуслепой девочки все еще находится на апелляционном рассмотрении.

Теперь Крейвен весь подобрался для главной битвы. В глубинах нервной системы медленно закипали примитивные реакции. На экране проектора он включил диверсию — последний ежегодный съезд Клуба Сьерра[96] в Хьюстоне, где почтенный седовласый эколог с любовью рассказывал о той части заповедника Биг-Тикет, что удалось спасти от вырубки. Затем старик опустил экран и, отвернувшись от зала, попросил: «Первый слайд, пожалуйста».

И вот тогда, сосредоточив всю волю, Крейвен спроецировал ему на экран отчет, о чьем существовании знал, хотя сам никогда его не видел. Это было одностраничное описание дешевого плана продаж жидких отходов фабрики. Главное тут, знал он, то, что завод пластмассы в десяти кварталах всегда мог практически без обработки пользоваться тем, что клиенты Палевски просто

[96] Примечания: 96

Клуб Сьерра, Сьерра-клуб (*англ.* Sierra Club) — американская природоохранная организация, ведущая просветительскую деятельность.

выбрасывали. Конечно, сначала понадобится трубопровод для экономичной доставки материала, фильтры, прежде чем отправить в трубу отходы. Машинописные строки наполовину угаданной проекции расплывались и скакали.

Палевски сопротивлялся с отчаянной концентрацией. То и дело отчет скрывался в сером тумане или на нем печатались каббалистические слова: «Решение руководства». А иногда надпись читалась как «Ответственность руководства».

Крейвен понял, о чем речь. Просто добавить к производственному плану автоматический цикл для отходов еще не значит, что это будет выгодно. Кому-то надо переживать о проекте, кому-то надо продавать продукт, хранить для продаж, объяснять акционерам, почему план нарушает существующий график прибыли их корпорации. Но то, что поступить правильно — это дорого, еще не значит, что так поступать не нужно — если только стоимость не самоубийственно высокая… и даже тогда, раз так требует общество. Крейвен продолжал давить и в конце концов был вознагражден проявлением подлинного отчета, вытянутого молекула за молекулой из банков РНК мозга Палевски.

Ослепительная вспышка белизны — и, когда

Крейвен снова смог видеть, Палевски уже лежал перед ним голым, раздвинув ноги, раскрыв для пинка пах. Юрист отшатнулся; это была классическая поза беззащитности. Как побежденный волк обнажает глотку, чтобы просить пощады у победителя, так Палевски раскрывался для самого тяжелого удара, что может получить мужчина. Он сорвал с суда последнюю личину объективной реальности и вывел на экран психологическую развилку, к которой пришли юристы. Просто по-человечески Крейвен не мог пнуть… по крайней мере, осознанно; но быть профессионалом — значит делать то, чего не может обыватель. Крейвен проморгался и размял свои полушария мозга. Когда он посмотрел вновь, перед ним вместо Ганса Палевски в той же позе уже лежала Джудит Хлавчек. Только она просила не о пинке.

Снимая трусы, путаясь в них от спешки, Крейвен бросился на женщину. И был вознагражден долгим мучительным воплем Палевски — и яркой золотой вспышкой, отчеканившей на отчете прозрачные буквы: «Подзащитный установит очистительные фильтры и организует транспортировку отходов, заключив любой договор с „Наллард пластикс“ либо другим покупателем. С этого дня и впредь сливная труба может приме-

няться только для отходов не грязнее дождевой воды. Советник составит соответствующее распоряжение».

Сорвав шлем с головы, Крейвен резко сел. Дрожащими руками открутил трубку для крови из разъема в левом запястье. Еще не придя в себя после усилий, поплелся к туалету и раковине в углу. Облегчившись, плеснул водой в лицо. Туфли в ходе слушаний, как обычно, слетели с обеих ног. Вся одежда промокла до нитки от кислого пота. Последней, кого он сейчас хотел видеть, была Джудит Хлавчек, которая как раз вошла в дверь.

— Не надо, не надо, — сказал он, когда его обвили ее руки. — Ты не знаешь.

Он вдруг вспомнил свой жуткий маневр в конце суда и оцепенел.

— Знаю. Знаю. Что бы там ни было, я все знаю. Не волнуйся, весельчак. — Она поцеловала его в ухо и выскользнула за порог раньше, чем со своей кушетки сполз Палевски, зажимая рот рукой.

Проблевавшись, тот принял от Крейвена влажное полотенце и произнес:

— Ты победил. Составляй ордер.

Он рывком распрямился и забрал со столика жалобный футляр.

— На следующей неделе мы с тобой в трех-

сторонней тяжбе с Чарли Крогером. Плечом к плечу?

— Еще бы. Ты его держи, а я врежу.

— Мы ему руки повырываем. До встречи. — Палевски скрутил свой отсыревший шейный платок в презентабельный узел и скрылся за дверью куба слушаний.

Юрист-победитель на миг задержался, вернувшись мыслями к своей смеси стыда и удовольствия при виде Джудит Хлавчек на земле. Только сейчас он с дрожью осознал, что Палевски спроецировал себя на поверхность из устричных раковин. Крейвена передернуло от мысли о том, как они должны были врезаться Джуди в спину, затем он надел шляпу и вышел в коридор. Мимо проходила Джудит Хлавчек. Она стрельнула ему улыбкой — одновременно и с дружелюбием, и с вызовом.

— Советница, — приветствовал он. — Как дела? Кого сегодня истерзали?

— Сегодня у меня обычное ведро крови, не больше. А у тебя? — Она скрутила свои бусы.

— Сцепился с Ганслем Палевски. Суровый сновидец.

— Но ты победил. Сразу видно. Ты всегда хорошо отзываешься о юристах, которых победил.

Он застыл на месте. Она знала его так хорошо, что считала фактическую правду за словесными завесами!

— А-а, ну да. Правосудие восторжествовало.

Они вместе улыбнулись старой шутке. Он поморщился от усилия, сглотнул и добавил:

— Этот костюм тебе идет.

— Спасибо. — Она смотрела на него без эмоций. Очевидно, она отвечала на посыл, а не на сами слова, ведь ее костюм был очередной вариацией рабочей одежды, которую она носила каждый день. От внешнего вида судебного юриста требуется профессионализм, а не красота. — Увидимся завтра или у тебя выходной?

— О, усталым нет покоя. Я никуда не денусь… увидимся.

— До встречи.

Он поднялся на лифте на этаж клерков, чтобы продиктовать распоряжение по делу Хэзлитта. Наконец ступив за порог старого здания суда, пройдя мимо раскрытой Библии в стеклянной стеле, Крейвен увидел ее на углу, под живыми дубами. Она благоразумно, как и полагается юристу, держала над головой сложенную газету, спасаясь от голубей, пристроившихся в ветках. В рассеянном предвечернем свете под поблескивающей

колонной ее спины переливалась кожа ягодиц.

Со внезапным приливом решимости Корки окликнул:

— Эй, Джуд! Подожди! — Со шляпой на голове, с туфлями в левой руке и всей одеждой, наброшенной на правую, он побежал за ней следом.

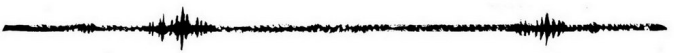
Послесловие

Рассказ живет своей жизнью, как статуя или картина. Он может «значить» что-то совершенно другое — меньше или больше, чем задумывал или ожидал автор. Вот почему я не объясняю свои рассказы. Если они двусмысленные или спорные, возможно, к этому я и стремился — а возможно, и нет. Я не выбрасываю черновики, и если это правда будет важно (что лично мне кажется и забавным, и невообразимым), то кто-нибудь еще может выжать докторскую диссертацию из всех противоречивых версий, которые прошли тексты на своем пути к продаже. Для меня писать — это ремесло, а ремесленникам обычно нравится то, чем они занимаются. Когда я пишу, я не страдаю. Всякие судебные записки и ходатайства, каких я накатал уже на десять миллиардов слов, уже давно избавили меня от всех барьеров. Я прекрасно знаю: если идея есть, ее можно выразить.

Мне чрезвычайно интересна наркокультура: не просто люди, которые курят марихуану, закидываются кислотой или сидят на спидах, но и то, что можно назвать раскрепощенным средним классом, который сглаживает свои пики и падения с

помощью мепробаматов, бромидов, ненаркотических снотворных препаратов и даже аспирина (в правильной дозировке — довольно неплохое успокоительное), только чтобы потом обнаружить, что не может почувствовать эйфорию на выходных или в отпуске — ни со стимуляторами, ни с алкоголем. У моего поколения алкоголь был запрещен, поэтому я отношусь к нему как к чему-то мистическому. Не вижу особых доказательств, что другие средства раскрепощают *решительнее* скотча, текилы или «Сники Пита» — пунша, который мы делали в Техасском университете, когда два дня перед праздниками настаивали апельсиновую цедру и изюм в этиловом спирте; но ничто не может вызывать у нашей культуры таких страха и вожделения, как сейчас вызывают наркотики, без того чтобы при этом ничему нас не научить. Я еще не все написал о наркотиках или праве.

Предисловие «Наблюдаемые сны и стратегические кремации»



Ради Бернарда Вульфа пришлось нарушить правила — и, если честно, пошли бы эти правила лесом. К слову об уловах! Вы хоть понимаете, что в этой книге есть двадцать четыре тысячи восемьсот слов новенького, ни разу не издававшегося, ни разу не представавшего очам смертных произведения Бернарда Вульфа — одной из невероятных легенд-своего-времени Нашего Времени? Чувствуете магию? Если нет, приложите ладонь к уху и прислушайтесь к Западу — вы услышите, как я кричу «Эге-ге-е-ей» среди секвой.

Я хотел взять Вульфа в «Опасные видения», но не сложилось. Однако узнав, что будет второй том, нарушил его размеренную жизнь и не мы-

тьем, так катаньем вырвал два удивительных рассказа: «Бисквитная позиция» и «Девушка с быстрым движением глаз» — из рук *Playboy* и других богатых периодических изданий, что платят Вульфу по три тысячи за рассказ, и вот они здесь, потому что предназначены для публикации Милостивым Богом, что раз в миллион лет отвлекается от своей роли (как говорил Марк Твен) «злодейского мерзавца».

Бернард Вульф ненадолго заступил на территорию НФ в 1951-м с повестью «Автопортрет» (*Self Portrait*) в *Galaxy*, а потом с редкой рассудительностью (подобно Воннегуту много лет спустя) сбежал, спасая жизнь и репутацию, в «мейнстрим».

И все-таки, несмотря на легкость его поступи, быстрые движения глаз внимательных читателей заметили, как хлопнула дверь, и, ошарашенные «Автопортретом», они начали спрашивать: «А это еще кто был?» Узнали они в 1952-м, когда от *Random House* вышел первый роман Берни, «Лимбо» (*Limbo*); и так у изолированных фэнов, кому до тех пор приходилось мириться с дилетантами вроде Германа Воука, заходившего в жанр с никчемными полу-НФ работами вроде «Документов „Ломоком“» (*The Lomokome Papers*),

впервые появился мейнстример, которого можно боготворить. Предвосхитив почти на двадцать лет «обычных писателей» вроде Герси, Друри, Айры Левина, Фаулза, Кнебеля, Бердика, Генри Саттона, Майкла Крайтона и множества других, открывших для себя золотую жилу в НФ/фэнтези, Бернард Вульф написал в чистейшем духе НФ ошеломительный длинный роман об обществе будущего, забитый под завязку оригинальными идеями и изумительными допущениями, и даже самый большой НФ-сноб не мог от него оторваться.

Они не знали, что шестью годами ранее, в 1946-м, Бернард Вульф совместно с джазовым мастером Меззом Меззроу написал блестящую «автобиографию», под названием «В самом деле блюз» (*Really the Blues*). И не подозревали, что в следующий год он напишет главный роман о ночном Бродвее, «Не спящие до утра» (*The Late Risers*), или стилистически свежий и интеллектуально требовательный роман об убийстве Троцкого в Мексике «Погиб великий князь» (*The Great Prince Died*), или что он станет одним из лучших мастеров длинных рассказов со сборниками «Выходи, папа» (*Come On Out, Daddy*) и «Выдвигайся, выряжайся, выпивай, выгорай» (*Move Up, Dress*

Up, Drink Up, Burn Up). Знали они только, что он написал на их маленькой арене один роман и одну повесть — и что это сенсация.

Собственно, всего того, что читатели фантастики не знали о Бернарде Вульфе, хватит на несколько томов — причем томов поинтереснее многих НФ-романов. Из всех странных и запоминающихся человеческих существ, что писали НФ, Бернард Вульф наверняка самый невероятный. Любой писатель, который стоит своего пенала, может накатать на суперобложке своей книги, что побывал «поваром в буфете, таксистом, ловцом тунца, поденщиком, фотографом-любителем, тренером лошадей, оператором динамометра» или кем угодно из тысяч простецких профессий, говорящих только о том, что надолго там писатель задержаться не сумел.

Но кто из писателей может похвастаться, что работал личным телохранителем Льва Троцкого до его убийства (или доказать, как хорош был в своем деле, тем, что убийство произошло только *после* его ухода)? Кто еще побывал редактором рубрики «Ночной город» в кинохронике *Paramount Newsreels*? Кто еще был военкором у *Popular Science* и *Fawcett Publications*, специализируясь на науке и технике? Кто еще был

редактором *Mechanix Illustrated*? Кто еще публиковался в *The American Mercury, Commentary, Les Temps Modernes* (журнал французских экзистенциалистов), *Pageant, True* и — с пугающей регулярностью — *Playboy*? Кто еще в сотрудничестве с Тони Кертисом и Хью Хефнером работал над фильмом «Плейбой» (и наконец, после многих месяцев волокиты и цорес[97], бросил эту дурацкую затею — предложенную безумцами, запрограммированную на самоуничтожение, не доводимую до рационального воплощения)? Кто еще писал за Билли Роуза его знаменитую бродвейскую светскую хронику? Кто еще из писателей пережил Великую депрессию благодаря тому, что научился писательству и в итоге накатал (один раз — даже с помощью Генри Миллера) одиннадцать порнографических романов за одиннадцать месяцев? Кто еще заставил *San Francisco Chronicle* истерически подыскивать определения, чтобы в итоге выдать: «...Вульф пишет, смешивая стили Джойса и Раньона?..»

Что я пытаюсь передать жалкими словами, так это абсолютную, чрезвычайно харизматичную *продвинутость* Берни Вульфа — человека, кото-

---

[97] Примечания: 97
Беды (*идиш*).

рый знает все обо всем больше любого другого писателя, кого я встречал. Что я пытаюсь сказать, так это что его присутствие в книге возвышает ее на энное число уровней — так же, как его присутствие возвышает званый вечер до статуса особого случая.

Бернард Вульф родился в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, окончил Йель в 1935-м как бакалавр психологии и, проведя год в аспирантуре Йеля с мыслью стать психоаналитиком, сбежал и (не обязательно в этом порядке) работал посредником Троцкого и комиссии Джона Дьюи и остальных, созданной для расследования обвинений Троцкому на Московских процессах, провел два года в торговом флоте, преподавал в Брин-Маре, научился играть в жестокую игру теннис, провел время на Кубе, где пристрастился к толстым (он говорит — изящным) вонючим (он говорит — ароматным) злым (он говорит — утонченным) сигарам, которые теперь не может приобрести из-за эмбарго. (Это ему не мешает постоянно втыкать в зубы замены, не менее оскорбляющие вкус наблюдателей.)

Сейчас он проживает и работает в горах Санта-Моники, с видами на Западный Голливуд. Ведет лекции в Калифорнийском университете в Лос-

Анджелесе, пишет литературу (его последний проект под рабочим названием «Пойти в народ» (*Go to the People*)– это роман на 1700 страниц, основанный на / рассказывающий об истории сборщиков винограда в Делано и их героической *huelga*[98]*).*

Что ему есть сказать о себе, он сам говорит с необычайным умом в послесловии к этим двум рассказам.

И с двумя рассказами в книге, куда по задумке входит только *один* текст на писателя, Вульф нарушил правила — а значит, позволил нарушить правила и для *другого* Вулфа (то есть Джина; прости, Томас, прости, Том) и для Джеймса Саллиса. Но с такими хорошими рассказами — к черту правила.

А тем пуристам, которые скажут, что этим вулфпиком я разбавляю концепцию «опасных видений», поскольку это не строгая НФ, неправильная НФ… что ж…

К черту правила, вот вам Берни Вульф!

---

[98] Примечания: 98
Забастовка (*исп.*).

Наблюдаемые сны и стратегические кремации
Бернард Вульф



1: Бисквитная позиция

Если отложить напалм, ему нравилась идея о месяце в Калифорнии: можно снять дом. В долине размером с ноздрю Мальчика-с-пальчик, к востоку от Колдуотера, поближе к Малхолланд, нашелся приличный коттедж: потолки из секвойи, выложенный камнем бассейн, сауна, террасы на склоне холма. Самое оно, чтобы расслабить

нервы. После целого дня интервью и съемок со съемочной командой можно поплавать, размякнуть в пару, закутаться в махровый халат для барбекю в патио, пожарив созревший стейк на кости или несоразмерные бараньи ребрышки на хибати. Он был в отпускном настроении. Отпуск, где можно держаться подальше от ресторанов и отелей — и близлежащих войн со стрельбой.

И тем же вечером он вышел на покоробленный асфальт дороги и обнаружил, что его тупичок захвачен. Машины забили обе обочины. Туда-сюда мелькали работники в красной форме — типичные студенты колледжей, играли в музыкальные стулья с машинами — музыкальные машины. Воздух растрясывали хард-рок-гитары: вся чаша долины стала динамиком. Клокот энергичных голосов.

В округе имелась одна постройка недвижимого величия — особняк со скатом в стиле английской деревни, проглядывавший из-за белых берез, с лужайками, дорожками с перилами, теннисными кортами. Это местечко — не самое большое по меркам Беверли-Хиллз, но приметное на скромной улочке, — находилось наискосок от Блейка; и на тамошней вечеринке явно была хорошая явка каких-то людей. О чем говорило количество

машин, припаркованных вдоль дороги бампер к бамперу — «кадиллаков», «линкольнов», «роллсов», «бентли».

Когда он поднимался по ступенькам в свое гнездышко, сегодня не особенно настроенный размышлять о нехватке владений у четвертой власти, Блейк отвлекся на бессвязные ощущения того, что домой он возвращается как в гудящие внутренности пышно-зеленого мегафона. Он чувствовал себя атакованным. Но при этом атака была такой разливающейся, такой всеохватной, что всосала его дом и голову, залучила в шум, добавила в список гостей.

Ощущение одновременно и атаки, и почти приятного притяжения только укрепилось, когда он обнаружил в плетеном кресле на своей веранде женщину. Она была в бархатном платье в пол цвета королевского пурпура, с разрезами с обеих сторон до самых бедер. По-теннисному приятное лицо, высокое тело тонкое, но не костлявое — и кости такие тонкие, что им хватало лишь условного мясца, чтобы смягчить угловатость скелета. Таким было его первое впечатление: что у нее красивое лицо под щедрой спиралью рыжевато-светлых волос, над вытянутым телом, чья самая запоминающаяся характеристика — вертикаль-

ность. Обнаженное в одном разрезе платья бедро, стянутое сеткой, выглядело таким худосочным, что можно обхватить двумя ладонями без особого труда — причем оно того бы стоило. Ее зеленые глаза рыскали, бегали в обе стороны, даже когда глядели с зеленой настойчивостью на и поверх тебя. Явно не сильно старше тридцати.

— Привет, я незаконно вторгаюсь в чужую собственность, — сказала она. Реверберации ее низкого тембра растягивали слова. В остальном голос звучал как-то туманно.

— Сколько угодно, главное — не врите. Ненавижу, когда нарушители делают вид, будто прокладывают телефонные линии.

— Проложу вам какие угодно линии, хоть бархатом, если разрешите задержаться на минутку.

— Хоть на две. — Он подвинул второй стул. — Что, не любите вечеринки?

— Ненавижу. Особенно собственные. Чувствую себя не собственницей, а собственностью. На той стороне больше двухсот человек пьют наше шампанское.

— Так вы не любите людей.

— Я и с двумя-тремя не знаю, что делать. А сотни обращают меня в бегство.

— Есть кое-что, что можно делать с людьми в

любом количестве: попрощаться. Или вообще не приглашать.

— Их приглашает мой супруг. У него в запасе больше приветствий, чем прощаний. Другими словами, грегорливый. Семейная шутка. Это его так зовут — Грег, и он говорливый. Еще одна семейная шутка — я зову наш дом Словственность Грега.

Видимо, она была навеселе, но сдерживала это стилизованным весельем.

— Может, вам с мужем ввести разделение труда? Он встречает, вы провожаете — подобру-поздорову.

— Моя беда в том, — отвечала она, не отвечая, — что у меня есть квота улыбок на день. В толпе она расходуется в первые же десять минут, а потом лицо уже ни к чему не пригодно.

— Я бы сказал, у вас очень годное лицо.

— О, не дает зубам вывалиться, обрамляет глаза, да-да. Но улыбаться оно сегодня больше не будет. А вот у вас лицо очень пригодное.

— Не пропускает сирокко. Не дает ушам срастись.

— Я вижу его по новостям. Вы рассказываете о войнах в разных местах. Вьетнам. Гонялись за Че в Боливии.

— Да, в войнах недостатка у нас нет.

— Это как большие вечеринки: приглашаются толпы, но на выход никто не провожает. В последний раз я видела, как вы охватывали, дайте подумать, Синайскую кампанию.

— Когда она не охватывала меня. Шутка. Просто там в пустыне бывают песчаные бури, и не все — еврейского происхождения.

— А освещали войну в Лос-Анджелесе?

— Война против войн, и почти все генштабы — здесь же. Я делаю спецвыпуск, документалку об антивоенных акциях, особенно в университетских кампусах.

— Одни сражаются на войне, а другие сражаются с войной. Вот где разделение труда. Лучше вернусь-ка к собственным войнам. Послушаю, как враг стреляет пробками шампанского. Хороших вам документалок, мистер Арбороу. Тысяча благодарностей за привилегированный приют вашей веранды.

Через два дня он увидел ее снова. Притормаживая на своей подъездной дорожке, застал за тем, как она что-то клала ему в почтовый ящик. Вокруг ее ног крутилась до жути прекрасная собака — сибирская хаски в маске средневекового ряженого: поблескивающие ледниково-голубым

глаза в прорези первых династий мира, абсолютная ухмылка.

— Здрасьте-здрасьте, — сказала женщина. — Если что, это я не воровала почту, я пополняла. — Она достала конверт обратно и передала в руки Блейку. — Приглашение выпить. То, что забыли допить гости.

Нахально красивая собака все подскакивала к ее ладоням, словно за лакомыми косточками, а она повторяла: «К ноге, Биск», — отбиваясь от животного.

— Для той, кто не любит вечеринки, больно часто вы их проводите, — сказал Блейк, выходя из машины.

— Это не вечеринка, это приглашение паре человек выпить. Когда Грег узнал, кто наш выдающийся сосед, просил вас позвать, чтобы вы зашли на огонек, к ноге, Биск. Вам может быть не известно, но в некоторых кругах так еще выражаются, к ноге, Биск.

— Я смотрю, в некоторых кругах жены не одобряют своих мужей.

— В некоторых кругах у жен ощущение, что они не состоят в браке, а освещают войну. Когда вы в последний раз одобряли войну, которую освещали? Уж точно не Вьетнам — в репортажах

оттуда у вас всегда презрительно кривятся губы. Биск, черт возьми, к ноге, я сказала.

— Почему собаку зовут Биск?

— Сокращение от «б-и-с-к-в-и-т». Хотите увидеть кое-что бесстыжее и совершенно умилительное? Позовите ее по имени, а потом спросите, хочет ли она то, что я произнесла по буквам.

Блейк наклонился к собаке, которая теперь уселась, как на троне, с улыбкой, как в цирке, и произнес:

— Хорошая девочка, Биск, хочешь бисквит?

Биск как с ума сошла. Пасть взорвалась звуками высочайшего фарса. Хвост выбивал на асфальте ритм «отченашей» — щенячьи четки. Вывалился язык, изливая любовь на весь подбородок Блейка. Потом Биск разом перевернулась на спину и замерла, подогнув передние лапы в умоляющей позе, задние скрючив так же, но раздвинув, на морде — панорама половодья счастья. Арктически-голубые глаза не отрывались от Блейка, пока она издавала ему в лицо глубокие, растянутые горловые гласные мучения и ожидания. Блейк пригладил ей живот с титьками, мягкую-мягкую шею, чувствуя внутри нее прилив рвущихся гласных.

— Ну чем не районная блудница, ну чем не

конфетка, — приговаривала Хозяйка Поместья.

Точно так же думал о женщине Блейк. Единственное другое название, что шло ему в голову, — Возлюбленная Мастера Грега, Немовладелица Словственности.

— Это в моде в вашем районе? — спросил он, приглаживая бурную грудь сказочномордого животного меж раздвинутыми лапами.

— О, у нас смешанный район, мистер Арбороу, есть конфетки, есть сухари. Постарайтесь прийти в пятницу, ладно? Гибсоны не пьют, обсуждать будем мелочи — такие мелочи, что практически микроскопические. Военкор должен знать, что войн больше, чем снилось философии его телеканала. Идем, Биск, бросай уже свою первую профессию, не бесстыдствуй, мы возвращаемся домой.

В записке говорилось просто: «В эту пятницу в пять к нам приходят выпить. Не могли бы прийти и вы? Мы были бы рады. Даю личную категорическую гарантию, что никто не спросит, какие интересные войны вы видели в последнее время. Приходите».

Блейк чувствовал, будто его взломали, будто его могуче затягивали. Немовладелицу, Особу из Особняка Грега, звали Мари Селандер.

А это и в самом деле был особняк. Толкал стрелки от звания «без пяти минут замка». Стены просторной прихожей и огромного салона королевского размера утонули под репродукциями с охотой, гравюрами с марлинами в прыжке, лубками с самыми известными китобойными судами, картинами маслом, на которых Нантакет плыл под северо-восточным ветром, старинными деревянными орлами в символических профилях, скрещенными дуэльными пистолетами и саблями.

У мужчин, шушукавшихся по углам над вермутными бомбейскими джинами, были обветренные лица охотников, был аромат кожаных кресел и массажей. Их жены, приукрашенные дорогой прислугой, в нарядах, подобранных на основе их лучших черт, щебетали об Акапулько и декораторских вкусах миссис Рейган.

Грег Селандер оказался упрямо, запрограммированно мальчишкой, под ежиком из металлических опилок. Его лицо хавбека осталось, по сути, все тем же, что и на третьем курсе Принстона, не считая легкого разжижения щек — обтекание плоти у пьянчуги.

Мари Селандер, вновь в бархате, в этот раз перехваченном до чудесной худощавости на

талии и ниспадающем чуть ниже колена, вновь выглядела несколько смутно. Блейк вновь смерил взглядом ее ноги стригунка, что как будто не заканчивались. Задумался, какие они в полном, резвом применении.

Грег Селандер немедленно завлек Блейка в игровой альков, объясняя, что, вопреки своей внешности спортсмена, не играл в Принстоне в футбол, предпочитая сквош и какое-то время — толкание ядра. Занялся бы лакроссом, но для этого надо много времени, к тому же у игроков в лакросс бывают столкновения и неудачные падения.

— Секрет раскрыт, — приблизилась сказать Мари Селандер. — Ты показал мистеру Арбороу, что он в логове нонкомформистов.

— Мне все равно, как человек выглядит, но внешность не должна диктовать действия и направление, — сказал Грег Селандер. — Вот чума нашего века — внешнее управление: правительство уже за нас дышит и жует.

Блейк задумался, какая связь у отказа от футбола и избыточного правительства, потом вернулся к ножкам Мари Селандер.

— Грег читает Рисмена после Доу и до Джон-

са[99], — сказала Мари Селандер. — Он за любой мрачный взгляд на мир вокруг. Спросите его, почему у него такой мрачный взгляд на все вне его кожи.

— А там темно, — ответил Грег Селандер. — Кроме мрачных, других взглядов быть не может.

— Но вот где народные массы — «там»,– заметила Мари Селандер.– Они чувствуют, сколько твоих темных взглядов предназначено им. И, как выяснил Барри, мрачных они не избирают[100].

— Я сейчас объяснял, почему не пошел в контактный спорт, Мари, — сказал Грег Селандер. — Голдуотер — уже другая тема.

— А что вы имеете против контактного спорта? — спросил Блейк, глядя на ноги его супруги.

— Когда у тебя самый мрачный взгляд на человеческий род, контактов хочется как можно меньше, — ответила Мари Селандер. — Вот почему те, кто правее правых, так много играют в

---

[99] Примечания: 99

Имеются в виду индекс Доу-Джонса, а также экономист Джордж Рисмен, сторонник капитализма, свободного рынка, сенатора Джозефа Маккарти и борьбы с коммунизмом.

[100] Примечания: 100

Барри Голдуотер (1909–1998) — американский сенатор-республиканец, баллотировавшийся в президенты США в 1964 году на ультраправой платформе эскалации борьбы с коммунизмом. Проиграл Линдону Джонсону, который тем не менее точно так же продолжал войну во Вьетнаме.

сквош, толкают так много ядер.

— Мари левачит, только чтобы встряхнуть меня, — заметил Грег Селандер. — Любит она разыграть адвоката дьявола.

— У Бога и Барри хватает своих дорогих юристов, — сказала Мари Селандер. — Дьяволу бы не помешало побольше правоведов.

— Это не Бог разжег сейчас бунты в UCLA[101], — заявил Грег Селандер. — И Голдуотера там видно не было.

— Бунт произошел как раз потому, что не было видно Бога — только рекрутера «Тейботт кемикалс»[102], которые ищут студентов, чтобы делать напалм, — ответила Мари Селандер. — А рекрутером с тем же успехом мог бы быть и Барри. Барри — большой друг напалма. Вы были сегодня в UCLA, мистер Арбороу?

— Да, с нашими операторами.

— И что думаете о детишках, которые загнали агента «Тейботта» на крышу и забросали бомбами-вонючками? — спросил Грег Селандер.

— Моя работа — не оценивать факты, а добывать.

---

[101] Примечания: 101
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе.

[102] Примечания: 102
Отсылка к реально существовавшей компании Dow Chemicals.

— Но есть же у вас мысли. Или, скажем, впечатления.

— Ну, моя мысль — что студенты хорошо бегают и метко целятся, хоть и не всегда. Мое впечатление — что они не против контактного спорта. Если бы он попал им в руки, они бы только порадовались контакту и постарались его расширить.

— Я вас одобряю, мистер Арбороу, я бы тоже хотела расширить контакт, — сказала Мари Селандер, взяв Блейка под руку. — Что скажете, если мы присядем?

Они заняли места в разговорной дуге вместе с остальными гостями перед сводчатым камином. В его царских глубинах расцветало такое пламя, что можно было бы зажарить целое семейство свиней. Когда Грег Селандер устроился слева, Мари Селандер тут же перешла направо, чтобы уравновесить его на оттоманке, вплотную к коленям Блейка. Реакция Грега Селандера на ее старательное избегание, как и на ее предыдущие провокации, Блейку казалась, насколько он мог подобрать название, старательной нереакцией.

Блейк поискал разговорный подход к мужу, что был бы, соответственно, уходом от его жены.

— По вашей теории футболисты — это демо-

краты и новые левые, — сказал он. — Интересно, поддержит ли вас «Харрис» или «Гэллап».

— Не забывайте, что банда Кеннеди много играла в тачбол, — сказала Мари Селандер.

— Касаться — это не сбивать противника, — заметил Блейк.

— Люди Барри далеки от касаний, — сказала Мари Селандер. — Тогда как люди Кеннеди, понятно, вас всего ощупают.

— Я не выдвигал это как тезис, — сказал Грег Селандер. — Я только говорил, что если у тебя телосложение футболиста и люди ожидают, что ты будешь играть в футбол, то это еще не повод играть; мое личное мнение.

Он угостился очередным мартини, предложенным на подносе изощренно накрахмаленной служанкой. Он не мог не замечать, что остальные прекратили свои разговоры и прислушиваются.

— Если не нравятся манипуляции, то не поддавайтесь и манипуляциям глазами, — прибавил он, отпив из полного бокала и быстро оглядев сделавшиеся манипулятивными глаза.

— Если пока отложить вопрос, могут ли с тобой вообще хоть как-то управиться глаза — а именно это и подразумевает манипуляция, — начала Мари Селандер, — можешь ли ты сам с чистой

совестью заявить, что тобой нисколько не манипулировали глаза Голдуотера, Грег?

— Только его идеи, политика, Мари. А они — против манипуляций. Против манипуляций агентств, бюро, глаз — всех внешних органов. Что ж. Военный корреспондент. У вас одна из самых интересных профессий, мистер Арбороу.

— Кое-кто в моем деле говорит, что если видел одну войну, то видел все, — откликнулся Блейк.

— Не заметил такого у Хемингуэя, — возразил Грег Селандер. — Он объезжал войны так, будто они все отличались.

— Его последняя война отличалась, — сказал Блейк. — Он воевал против себя. Непонятно, кто победил.

— Одинокие люди толпы, — сказала Мари Селандер. — Одинокие люди толпы читают Хемингуэя ради собственной драмы, Рисмена — ради идеологии. Когда не устраивают вечеринки.

Блейк почувствовал, как его колени соприкасаются с коленями хозяйки без его инициативы. Он их подвинул, скрестил ноги.

— Как-то раз я целый день спорил по этому поводу с Хемингуэем, — сказал он. — Сказал, войны так похожи, что становятся однообразными. Он ответил, что люди умирают по-разному

в разные времена и в разных местах, тогда как мне кажется, что умирают они более-менее одинаково — хоть от камней, хоть от стрел, хоть от напалма.

— Или от скуки, — вставила Мари Селандер. Ее слова становились все разбавленнее, зеленые глаза — мутнее.

— Хемингуэй умер, как его отец, — сказал Блейк. — Традиция не была для него пустым звуком.

— В это все я не верю, — Грег Селандер ответил подчеркнуто Блейку. — Наши парни во Вьетнаме умирают не так, как коммунисты, а за что-то хорошее, а самое главное — они это знают.

— Трудно сказать по числу тел, — сказал Блейк. — Может, я и правда перебрал с войнами.

— Я сам был во Вьетнаме, — сказал Грег Селандер. — Буквально в прошлом августе, от министерства обороны, видел людей в больницах, и умирающих тоже. В какой-то мере могу говорить из первых рук.

— Глаза управляются раньше, чем люди говорят о числах руками, — сказала Мари Селандер. — Благодаря этому глухие и пользуются языком жестов. Многие глухонемые говорят из первых рук.

— Чем занимались во Вьетнаме? — спросил Блейк.

— Я в оборонном производстве, мистер Арбороу, — ответил Грег Селандер. — «А-В-А Компонентс», сокращение от «авиация», мы поставляем запчасти для самолетов и вертушек, сейчас — в основном военных. Я ездил помогать в оценке, сколько вертушек участвуют в миссиях. И, естественно, огляделся.

— Грег сообщает, что вертушки поставляют тушки исправно, — вставила Мари Селандер. — Отстреливают и сжигают, с помощью напалма. Естественно, Вьетконг горит совсем не так, как борцы за свободу. Они горят против, а наши горят за.

— Есть темы для шуток получше, чем напалм, Мари, — произнес Грег Селандер тоном человека, который отмечает то, что легко упустить из виду.

Мисс Селандер долго смотрела на мужа. Ее губы истончились, вслед за ними — взгляд. Она втянула длинный аккуратный вдох.

— Напалм совсем нешуточный, — произнесла она. — Сегодня я сама была в UCLA. И, наверное, на половине всей пленки мистера Арбороу. Надеюсь, попала удачным профилем. Я одна из тех,

кто загнал агента «Тейботта» на крышу зала Керкгоффа. Бомб-вонючек не бросала, но в основном потому, что у меня их не было.

Гости слушали внимательно, но ничему не удивлялись. Ожидая грубой игры, они получили грубую игру. Оставалось наблюдать, какие пассы пройдут, кто опередит по ярдам.

— Ты же собиралась на показ «Баленсиаги» в «Маньине», — сказал Грег Селандер.

— В «Маньине» бобами-вонючками не бросаются.

— Я не полезу в политику, Мари. Оставим политику в покое. Просто скажем, что нелогично протестовать против напалма в нарядах «откутюр» из Парижа и Рима, оплаченных за счет производства вертолетов, которые доставляют напалм.

— Я могла бы не вопить во всю глотку против напалма, Грег, тут ты прав. Или ты мог бы в принципе не иметь дело с напалмом.

— Мог бы. Но ты любишь наряды из Рима и Парижа, и если бы я на них не зарабатывал, то ты же первая была бы недовольна. Ты не одобряешь напалм, но сама одета за счет напалма и в напалм. — И все тоном протоколиста — отмечающего то, что легко упустить из виду.

— И он жжет, — сказала Мари Селандер.

— Но не сам по себе, сегодня утром ты одевалась сама, — ответил Грег Селандер все еще в духе маргиналий. — Мистер Арбороу, как по-вашему, с напалмом во Вьетнаме ситуация та же, что и с бомбой в Хиросиме? Спасает больше жизней, чем забирает?

— Я так слышал, — сказал Блейк.

— Я спросил не о том, что вы слышали от других.

— Каверзный вопрос. Я видел, как он забирает и калечит жизни, но не видел те, что он якобы спас.

— Но допускаете такую возможность?

— Я слушаю пресс-релизы информационной службы и официальные брифинги, а потом передаю, что слышу. Вместе с тем, что вижу. Даже когда есть разница между слышимым и видимым. Если вы на стороне Маклюэна[103], то в нашем мире зрелища побеждают звуки. Это может значить, что нами и правда манипулируют глаза — наши собственные.

---

[103] Примечания: 103

Маршалл Маклюэн (Герберт Маршалл Маклюэн, 1911–1980)– канадский культуролог, философ, филолог и литературный критик, теоретик средств массовой коммуникации. Получил широкую известность как исследователь воздействия электрических и электронных средств коммуникации на человека и общество.– *Прим. ред*.

— Это не ответ на мой вопрос, мистер Арбороу.

— Нет, и я вроде бы на это не претендовал.

— Можно передавать что-нибудь, при этом лично с этим не соглашаясь.

— Более-менее это я и имел в виду.

— Мистер Арбороу, ответьте: мы применяем напалм ради победы в справедливой войне с наименьшими потерями — или нет? Вы гость в моем доме, и я вас пытаю, за что приношу извинения, но в некоторых темах можно бросить формальности.

— Так же, как напалм, — вставила Мари.

— Так же, как бомбы-вонючки, — парировал Грег.

Гости увлеклись с головой. Никогда не знаешь заранее, какие приемы используют и каким будет окончательный счет. Можно было предположить, что в этом замке-подмастерье контактный спорт — обычное дело, причем не всегда из-за политики.

— Я репортер, — сказал Блейк. — Это значит, самое подготовленное во мне — глаза. Мне платят не за мнения в голове, а за картинки в подготовленных зорких глазах. И их у меня в избытке. В моих подготовленных глазах скопилось много картинок, которые наниматели не хотят. Ассор-

тимент видов из первых рук, которые они не желают смотреть и показывать другим. Очень манипулятивных видов.

И сейчас Блейк снял очередную картинку. Вошла возмутительно красивая Биск и заняла место рядом с хозяйкой — слюнявая улыбка под жесткой архаичной маской, готова тащить сани любого, кто желает куда-то отправиться из хмельных дисгармоний через заносы суровых игр. Особа наклонилась что-то нашептать ей на ухо, и Блейк услышал: «Девочка, сладкая моя, хочешь бисквит?» Животное исступленно бросилось на ковер: передние лапы умоляют, задние позволяют, пасть максимальной улыбкой объявляет, что любое предложение ей по вкусу, ведь щедрая любовь — это самое главное во всем белом свете. Мари Селандер наклонилась над собакой, поводя невероятно вытянутыми пальцами по двум шеренгам сосков и шепча: «Ох, блудница, раскинулась для всех». Блейк пытался не видеть забытые в воздухе меховые лапы, стройные ноги Мари Селандер, обнаженные до колен и тоже дерзко раздвинутые.

— Вы все еще говорите обиняками, а не начистоту, мистер Арбороу, — не унимался Грег Селандер.

— Я говорю, постепенно. До того, как телеканал затребовал меня из Синая, от задания по напалму отказались пятеро корреспондентов. И я тоже хотел отказаться. Мы все знаем, что мы накопили больше картинок, чем канал посмеет показать. Не мнений о напалме, а видов напалма. В действии. На миссиях. На телах. Как тела кричат и бегут. Восьмилетние и двухлетние кричат и бегут одинаково. Напалм — это ответ на межпоколенческий разрыв. Я был в вертолетах в ста футах над горящими и кричащими телами. В вертолетах, для которых вы наверняка выпускаете запчасти. И это хорошие запчасти, вертолеты доставляют человека с подготовленными глазами на расстояние в сто футов от людей, горящих после сброса напалма. Я считаю, то, как воздействует на тела загущенный бензин, как они покрываются корочкой, носятся туда-сюда, их звуковая дорожка — все это важно для сюжета о напалме, который способны поведать мои глаза: никаких мнений, только картинки. Вернувшись сегодня из UCLA, я час проговорил по телефону, объяснял начальству, что мне надо обратно во Вьетнам, чтобы снять крупным планом горящие, бегущие, громкие тела. Они этого не понимают. Они думают, будто показывать уменьшающиеся, подгора-

ющие тела прямо сейчас — это играть на руку врагу, это как показать семьдесят тысяч тел в Хиросиме в 1945-м. Вы спрашивали мое мнение. Мое мнение такое: у меня в глазах — информативная информация на тему напалма, и она жжет, и я хочу кричать, и мне приказали скрывать эту информацию наперекор всему, чему меня учили. Мое главное мнение, что вся информация у меня в глазах — не моя собственность. Ваше и мое мнения о праве владения некоторыми видами собственности могут отличаться.

Биск все еще растягивалась в тотальном радушии, Мари Селандер все еще гладила ее военные колонны сосков.

— Все понятно, — сказал Грег Селандер. — Вы заявляете, что вы бездумный конвейер доставки, хотите доставлять все без разбора. То есть вы на стороне бунтующих — готовы осложнить жизнь нашим парням, которые умирают за границей.

— Вы тоже конвейер доставки — доставляете вертолетные запчасти бездумно, без разбора.

— Чтобы спасать наших парней, а не убивать.

— И лозунги вы тоже доставляете бездумно.

— Это не лозунг, а факт.

— Это не факт, а пресс-релиз. Слушайте, если вы отстаиваете свое право быть роботом, не надо

так мрачно смотреть на других роботов, которые хотят выполнять свою работу.

— Покровы сорваны, мистер Арбороу. И мы видим человека, который хочет предоставить помощь и утешение врагам своей страны.

Блейк встал и почувствовал, сколько выпил.

— Попробуйте раздеться и сами, — ответил он. — Знаете, что может предстать глазам, подготовленным двухминутными историями? Возможно, худший враг страны. А помогает и позволяет существовать таким врагам, как вы, сокрытие наших обильных материалов о стратегических кремациях.

И тут Мари Селандер сделала нечто необычное. До сих пор она отрешилась от разговора, гладила собаку, прикончив еще два мартини. А теперь вскочила во весь свой модельный хрупкий рост, расставив ноги в вызове всему и вся.

— Хватит лжи! — затараторила она горячечно. — Все роботы! Да будет так! Сорвем с себя напалм от «Баленсиаги»! Все! Я начну! — Она запустила обе руки под платье, повозилась, достала резиновые чашечки, по одной в каждой руке. — Карты на стол! Все виды лжи! Раздевайтесь, все! Срывайте покровы! Роботы, точно! Всю модную ложь — на конвейер доставки! — Она подбросила

резиновые чашечки высоко в воздух — дитя цветов рассеивает современные резиновые цветы. Причем метко — они упали в камин, где огня хватало на свиней, и мгновенно занялись неслабым голубым пламенем. — Ни минуты больше! Видите! На всех — кляксы лжи! Пусть горят! Кто следующий сорвет с себя напалм?

К ней подошел Грег Селандер:

— Да что тебя так терзает, Мари? Можешь хоть раз сказать внятно?

— Физический контакт, — ответила она. — С теми, на кого я смотрю мрачно. Он жжет.

Блейк поставил стакан.

— В одном вы правы, — сказал он Грегу Селандеру. — Не все войны одинаковы. Тела могут гореть и бегать так, как я еще не видел. После этого нападайте на нападающих, а не на незнакомцев. И не приукрашивайте это политикой. Спасибо за выпивку и лозунги.

Последняя картинка в его глазах — что ворвалась в него, потянула обратно, — это Худосочная Хозяйка посреди комнаты: руки на лишенной фальши груди, ноги широко расставлены больше в издевке, чем приглашении, и Биск — все еще на спине, лапы все еще расслабленны, потрясенная тем, что, когда ее любимая наконец что-то броси-

ла, это оказалось не лакомством.

Блейк, сна ни в одном глазу, долго ехал на машине — сначала в Малибу, потом в Транкас. Дважды останавливался в придорожных барах выпить, в третий — съесть гамбургер. Домой он вернулся далеко за полночь.

Свет в гостиной показал на полу то, чему здесь было не место. Цветные брюки-клеш, женские. Жакет, женский. Блузка. Лифчик. Трусики.

Он услышал что-то в спальне — снова нападение, манящее.

Вошел и включил свет, чтобы обнаружить, что у него в кровати растянулась Мари Селандер, голая. Нет, не совсем растянулась — хотя совсем голая. Когда сверкнул свет, ее кисти обвисло вскинулись, касаясь воздуха над маленькими доблестными грудями, ноги согнулись, а колени раздвинулись, насколько только позволял таз. Она покачала вопрошающими кистями, растянула губы, изображая собачье пыхтенье.

— Как тебе подсчет такого тела?

— Да здесь больше потерь, чем находит глаз.

— Давайте найдем друг друга не только глазами, мистер Арбороу.

— Мои вообще уже нашли друг друга. Неожиданная птичка у меня в постели.

— Не хочешь взлететь в моих распущенных крыльях?

— Если сейчас распустишься еще больше, тебя станет две.

— Царство животных такое запущенное. Я распущена, как цветок или Биск; почему ты еще не запущен ко мне?

— Почему чужие жены оказываются у меня в постели?

— У тебя не замуровано заднее окно.

Ее выложенное в постели тело в голове не укладывалось. Такая долгая бархатная длина, никаких массивных выступов, но — о да — утонченные оттенения, изящные впадинки, потенциал борзой прыти, обещание крепкого охвата в нескончаемых ногах. Долговязое желание и сверхготовность.

— А у тебя через дорогу не замурован муж.

— Не волнуйся о мужьях. Не волнуйся. В ночи, когда я уезжаю покататься, Грег ложится спать. Я припарковалась в двух улицах отсюда и проскользнула пешком через просеку. Знаешь, что? На твоем заднем дворе кончается противопожарная просека. Для меня это значит, что наши тела могут встречаться, сколько захочется, и не переживать о пожарах. Пожарах, которые разжигаем

не мы. Иди сюда, угости меня самыми лучшими бисквитами. Я изголодалась.

— С чего ты решила сюда вломиться?

— Я все смотрела на Грега после того, как все разошлись по домам, то есть уже скоро. Когда он кипит, он молчит, просто сидит с красным лицом. И я смотрела на эту красную футбольную рожу, и мне пришла мысль: хочу кого-то внутри меня, но не его, никогда не его, тебя, определенно тебя. Не потому, что политика объединяет. Потому что объединяет секс. Войди в меня, ты.

— Не думаю, что после этого Грег Селандер уйдет из вертолетного бизнеса. Более того, думаю, тебе плевать, в каком он бизнесе.

— Кому нужны твои мнения? Ты же у нас не по мнениям. Ты по репортажам. Отрапортуй своему мозгу полномасштабное вожделение по всем твоим глазам от того, что по всей твоей постели. Будь моим роскошным бисквитом.

— На такой войне я еще не был. В ней все жертвы, а у всех жертв один собачий жетон.

— Не анализируй войну, ты же корреспондент — так охватывай.

Что — чувствуя себя отчего-то подневольным, притянутым, — он и сделал. И эти бесконечные ноги сомкнулись — на нем, сплошь желание,

двигались, как ноги людей под напалмом.

Он не знал, когда она ушла. Минуту он представлял себе, как она вылезла обратно в просеку, гладкие ноги — итог какого-то поколенческого ирискового вытягивания — трещали сухими сучьями чапарели, пока он спал сном охмеленных. Он открыл глаза, когда на часах было десять, а у него — неприятности. Быстро помылся-побрился, переоделся без утреннего заплыва, пропустил завтрак, не считая банки «Смеси для Кровавой Мэри от „Снэп-И-Том“» ради привкуса помидора.

Сдав назад по подъездной дорожке, услышал лапы и лай. Вмиг из скопления берез через дорогу проявилась Мари, с Биск у ног. Спародировала знак автостопщицы, он подъехал.

— Выспался? — спросила она.

— Лучше спроси того, кто там был.

— Видишь, что я тебе на пользу? Я тоже выспалась — о, как я выспалась. Как мешок опилок. Это лучше, чем бревно. Получается, бревна спят лучше, когда их дробят. И ох, как же ты меня раздробил…

— У меня нет времени обсуждать бессонницу и лесозаготовки, я опаздываю…

— Куда собираешься, Блейк?

— В Мохаве, за Палмдейл. Там устраивают де-

монстрацию напалма.

— Возьмешь с собой, Блейк?? Пожалуйста?

— Ты будешь кидаться бомбами-вонючками.

— Не буду, честное слово, Блейк. У меня начинается мигрень, когда я весь день одна, а Грег уехал на три дня на базу «Ванденбург». Говорить с начальством о вертолетных запчастях. У него на уме только вертолетные запчасти. Возьми меня с собой. Блейк. Лишнего человека в твоей бригаде и не заметят.

— Там будут люди из «Тейботт».

— Они не узнают меня, а я — их. Грег не подпускает меня к «Тейботту» из страха, что я принесу плакаты протестующих. Возьми меня, и я расскажу тебе все о твоих невертолетных частях.

— Не полезешь на рожон?

— Ни в бутылку, ни в седло, ни даже на Биск. Биск? Ты куда, девочка?

Биск плясала прочь от дорожки. Подхватила утреннюю газету Блейка, с гордостью принесла в своей улыбке. Мари взяла у нее газету.

— А можно Биск с нами, Блейк? Пожалуйста? У нее начинается мигрень, когда я бросаю ее одну на весь день.

Он махнул рукой. Приглашая их в машину.

На шоссе Сан-Диего через долину Сан-Фернандо

они не говорили вовсе. Мари иногда даже читала газету. Блейка это устраивало. Он и не хотел слышать о том, что было или не было между этой женщиной и ее мужем. И с тем, что может быть или не быть между ним с нею, ему разбираться не хотелось, — это лишь крошечный осколок от того, что было или не было с мужем. Как повелось во всех его контактах с женщинами.

Когда ты всегда в пути, спутницами могут стать замужние женщины, которых привлекает образ мужчины на маршруте, проездом, а потом при первых признаках сборов в путь они чувствуют себя мученицами.

Когда они свернули к востоку от Ньюхолла, к долине Энтелоуп, Мари сказала, не отрываясь от газеты:

— Вьетконг еще и выиграет с наименьшей человеческой ценой. Здесь статья о том, как они добили деревню Дакшон — огнеметами.

— Подсчет цены не может быть монополией только одной стороны.

— Двойная бухгалтерия с двух сторон. Слушай. *«Простые монтаньяры Дакшона только недавно научились пользоваться спичками, а уж огнеметы были за пределами их воображения. Затем в один устрашающий час огнеметы коммунисти-*

ческих войск принесли им гибель и разрушения… „В нас швыряли пламя“, — так выжившие вспоминают о нападении… Уничтожено без следа 60 крытых соломой лачуг… Пепел наносило на остовы буйволов… Ряды тел женщин и детей… Крошечные брат и сестра еще обнимали друг друга… 63 тела извлечено из землянок…»[104]

— Жизни спасают, как могут. Больше не читай.

Они уже углубились в пустыню, когда Мари перестала чесать безраздельно подставленную шею Биск, чтобы задумчиво произнести:

— Тебе не дадут рассказать все как есть. Ни за что.

— Ты имеешь в виду вьетнамские материалы?

— Тебе не дадут показать те кадры, да, Блейк?

— Сколько крупных планов кожи и костей ты видела из Хиросимы — двадцать три года спустя?

— Если тебе не дадут рассказать как есть, что ты сделаешь?

— Расскажу как нет — или только пропагандистски безопасную часть. Бескровную, безли-

---

[104] Примечания: 104

Вьетнам не признает обвинения в резне в деревне Дакшон — по их сведениям, в том районе проходили обычные бои, а также бомбардировки американской авиации. Все существующие свидетельства приводятся только американскими правительственными органами, которые ни в чем не ссылаются на свидетельства вьетнамской стороны.

кую, бескожную часть.

— И этого достаточно?

— Нет.

— А есть альтернативы?

— Нет.

— Должны быть.

— Есть одна — устроиться в «Радио Ханой». Там я встречу те же сложности, если не хуже. Нет такого места, где попросят весь материал.

— Тебе не хочется кому-нибудь врезать?

— Ты уже врезала за меня. Своему мужу. Разными способами. Не уверен, что бить надо его, но раз уж тебе так нравится.

— Это ему так нравится. Блейк. Хорошая жена не лишает супруга самого яркого удовольствия.

— Мне показалось, ты и сама не осталась без удовольствия.

— В твоей постели — да.

— Задолго до этого.

— Не раздувай слона из того, как я начала встречаться с Грегом, Блейк, я была пьяна — только и всего.

— Задумайся: опьянение происходит в четырех частях — скабрезная, стервозная, грозная, коматозная. Ты начинаешь с грозной и заканчиваешь ею же. Ты зафиксирована на борьбе, даже когда

меньше чем пьяна. Интересная у вас получается личная война — стреляете друг в друга, только чтобы он был счастлив.

— В общественных войнах тоже хватает альтруизма. А с тобой я была грозной?

— Ты умный стратег, не начинаешь наступление по двум фронтам одновременно. Вспомни Гитлера.

— Завтра — весь мир. Сегодня — ты.

— Сегодня — «Тейботт», и не пытайся осчастливить заодно и их, ладно?

Это был испытательный полигон для отдельных типов полевого и воздушного вооружения. В глубинах пустыни воспроизвели деревеньку из джунглей дельты Меконга: скопление хижин, замаскированных подземных убежищ, схронов оружия, снайперских лежек под плетенками и на ветках. Техники «Тейботт» и офицеры морской пехоты, люди из Воздушной кавалерии — все услужливо объясняли, как брать вражеские укрепления, прерывать их смертоносный огонь, когда наши войска входят в подобные враждебные районы.

Техники и офицеры объясняли, что здесь враг изображаться не будет — ни манекенами, ни куклами, ни картонными фигурами. Причина

— в сегодняшней миссии показать, как в первую очередь уничтожаются вещи, а не люди, чтобы наши войска могли наступать без тяжелых потерь. В целях этой демонстрации акцент ставился на вещах, а не людях. Но последствия касались людей — наших. Если можно снести вещи, обозначенные как военные цели, — пещеры, схроны, лежки, — будет спасено множество американских жизней — да и азиатских, в долгосрочной перспективе. Суть в том, что традиционное оружие бесполезно против партизанских укрытий, поскольку их нельзя увидеть или найти. Отсюда — изобретение и применение напалма. Сегодняшняя демонстрация покажет, какую важность для нашей общей цели по спасению жизней имеет это новое антипартизанское оружие — напалм. Техники и офицеры надеялись, что Блейк, ведущий новостной команды, видит логику в их акценте на вещах — с подтекстом в виде значительно сниженных потерь, то есть людских.

Блейк сказал, что логику видит. И все-таки сомневается, насколько демонстрация реалистична без намека — посредством манекенов или фигур, — на то, что в деревне такого типа живут люди, некомбатанты, которые могут оказаться

под огнем.

Старший офицер, полковник Халборс, сказал, что селян не показывают именно потому, что цели бомбардировок напалмом — вещи, а также, понятно, вражеские войска, которые могут обслуживать данные вещи; а показывать селян — это как раз и есть перенос акцента с вещей на людей. Он надеялся, что Блейк оценит логику, согласно которой показана военная миссия без учета случайных потерь среди гражданских, к тому же дико раздутых, особенно врагом и наивными людьми, не сведущими в военных мерах. Это же все-таки — не стоит забывать — война.

Блейк сказал, что ценит логику, да. Просто ему казалось, что ему, как репортеру, следует всегда передавать полную картину событий.

Во время разговора он следил за Мари, которая стояла в стороне и крепко держала Биск за поводок. Она жевала губы, вперившись взглядом, но держала рот на замке.

Оператор ушел к защищенным укрытиям, откуда можно снимать с разных ракурсов. Блейка, Мари и остальную бригаду увели в бетонный бункер, вдали от макета деревни: в основном подземное строение, но со смотровыми щелями около двух футов шириной, под широким бетон-

ным козырьком. Полковник Халборс пришел с ними — объяснять операцию шаг за шагом. С какого-то края неба слышалось, как нарубают воздух невидимые вертолеты.

Через сколько-то минут полковник Халборс отдал по интеркому приказ о том, что можно приступать к первому этапу — подлету. В то же время он нажал на кнопку на панели управления. Внутри и вокруг деревни тут же появились огромные ослепительно-оранжевые стрелки, указывая на скрытые укрепления, которые и являлись целями в данной миссии, в отличие от людей.

Надо найти и уничтожить определенные вещи, не людей, напомнил полковник Халборс. Артиллерия и ракеты воздух-земля не справляются. Задумка в том, чтобы наблюдать, как доставляется и делает свое дело напалм — спасает жизни, а также побеждает врага и причиняет тяжелые потери.

Гул с неба становился громче, и вот появились три вертолета, приближаясь от черного переломленного хребта гор. Мари все еще кусала губы. Вдруг она встала.

— Полковник, — сказала она, — вы, случаем, не читали сегодня газету?

— Да, читал, — ответил удивленный полковник

Халборс. — А почему вы спрашиваете?

— Вы, случаем, не читали статью о том, как Вьетконг уничтожил целую деревню Дакшон огнеметами — людей вместе с вещами?

Блейк махал ей, чтобы она села, но она оставалась стоять.

— Читал. Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что Вьетконг атакует не макеты деревень, а настоящие деревни, как и мы. В своих атаках они не делают вид, что отделяют людей от вещей: они говорят, что люди — это вещи, что в этом и есть суть войны, и мы ведем себя на войне точно так же, когда наступаем не на притворные деревни, а на населенные. Вьетконг хотя бы честен, говорит, что на войне людей нет и быть не может, есть только вещи, просто многие из них ходят на двух ногах…

Полковник Халборс слушал с посуровевшим лицом.

— Хотите сказать, мы уничтожаем местное население так же, как враг, просто ради…

— Полковник, когда вы сбрасываете напалм на целую деревню, а в деревне живут люди — не манекены, не фигуры…

— Минуточку, мисс, — сказал полковник Халборс командным голосом. Вертолеты уже

кружили над деревней. Он объявил в интерком, чтобы приступали к сбросу, пока Мари боролась с попытками Блейка усадить ее обратно. — Итак. Я вас правильно понял? Вы в самом деле говорите…

— Полковник, выжившие в Дакшоне сказали: в нас метали пламя. Полковник, в настоящих деревнях, а не выдуманных, мы швыряем в людей пламя. Вы не могли бы объяснить, как их точка зрения, — людей, в которых метали пламя, — отличается от…

С ее губ еще срывались слова, когда через пустыню рядом с деревней ослепительно быстро чиркнуло маленькое энергичное тельце — заяц. В сторону деревни, математическими размеренными прыжками.

Тут Мари осеклась и закричала. И закричала опять. Она вопила:

— Боже мой! Сюда! Биск! Назад, Биск!

В пустыне была Биск, мчалась к деревне. Кролик несся через песок, а Биск — за ним.

Блейк понял, что произошло. Мари в порыве чувств жестикулировала так, что ослабила хватку на поводке. Биск, увидев кролика, просто стянула петлю с ее пальцев и нырнула в смотровую щель. Поводок так и змеился за Биск, пока она летела

себе к деревне — счастливая охотница.

— Все случилось так быстро! — тараторила Мари. — Она как с ума сходит, когда видит, как что-нибудь на четырех ногах бежит так быстро! Биск! Прошу! Биск, девочка!

— Полковник, — выпалил Блейк, — вы не могли бы, нет ли возможности…

— Началось, — показал полковник Халборс. — Нельзя остановить то, что сброшено.

И он был прав — со всех трех вертолетов опускались предметы.

Заяц, с Биск по пятам, мчался среди бамбуковых хижин, Мари с перекошенным лицом лезла через смотровую щель. Блейк поймал ее за бедра — стройные, мальчишеские округлости, запавшие в память, — втянул назад.

— Ничего не поделать, — сказал он, удерживая ее на скамье. — Полегче. Просто погибнешь, только и всего.

Мари трясло, она озиралась бешеными глазами.

— Ты не смогла отказаться от своей войны, — произнес Блейк, удерживая ее. — Если будет жертва, у нее хотя бы будет другой жетон.

Черные предметы с вертолетов падали на вещи, не людей. Вещи одна за другой изрыгали вверх и

вокруг пламя.

Изливался пламенем схрон оружия. Плевалась рыжим снайперская платформа на дереве. Слизнуло всепоглощающим языком лежку пулеметчика за кустарником. Хижины взрывались вспышками, тут, там, везде. Биск все еще гнала зайца между занимающимися хижинами, на всех парах.

— Биск — ты — вернись — сюда! — надсаживала горло Мари.

Заяц вынырнул в поле зрения из-за угла, Биск дышала ему в затылок. Тут хижина преобразилась, словно по нажатию кнопки, из постройки в пламя, и тогда же преобразилась и Биск. Вот бегущая собака, а вот уже стоячее пламя.

Она остановилась с заносом, застыла, как в покадровой анимации. Блейк видел в бинокль, как она озадаченно оцепенела, как обернулась укусить того, кто нападал по всему телу, но челюсти только клацнули на огне.

Сгорая, она озиралась, смотрела на неуловимых птиц. Не находила объяснений — большие птицы в небе только рокотали на языке, что для нее был лишь шумом. Сгорая, она наконец обратила взгляд к бункеру, к единственному источнику всех приказов, ко всем помехам и тревогам, к

Мари.

Мари застонала, снова оттолкнулась к проему. Блейк сильнее надавил на плечи.

— Не смотри, — велел он, вставая перед ней.

Биск стояла неподвижно, глядя на Мари, — костер на четырех лапах. Наконец она сделала единственное, что умела, когда не получала самое желаемое: шлепнулась на спину в бисквитной позиции. Лапы шлепали над грудью, почти касаясь, и горели, задние лапы широко раздвинулись и горели.

Она умоляла, она горела, пасть тотально распахнута ради главного бисквита — прекращения жара, этого пожирания врагом без туши или очертаний. Все еще глядя на Мари.

— Думай о чем-нибудь другом, — машинально сказал Блейк, закрывая глаза Мари.

Вертолеты устрекотали. Только через две-три минуты полковник Халборс решил, что Блейк может выйти без риска для здоровья — при условии, что будет осторожен. Остальные из бригады Блейка удерживали Мари за руки.

Когда Блейк подошел к Биск, вместе с полковником, собака была все еще жива, все еще догорала местами, все еще на спине в позе прошения, все еще просила.

Пламя мелькало на брюхе, лбу, задней лапе. Оттуда вился черный дым, как и там, где огонь уже угас. Биск уменьшилась. Местами вместо меха — темные дымящиеся прогалины. В других — никакой плоти, оголенная среди обугленности кость.

Не осталось меха и мяса на мягкой-премягкой шее. Не осталось нижней челюсти, не считая арматуры удивительно хрупких костей.

Не осталось левого глаза. Что было глазом, стало черной дымящейся дырой. А выше дыры, где раньше была косматая бровь, боролись за жизнь огоньки.

Правый глаз Биск, невредимый, вперился всей своей непонимающей синевой прямо в Блейка. Задавая все вопросы на свете.

Просящие передние лапы обуглены, проступали кости, огонь смутно, лениво доедал остатки пальцев. Конец жара — вот о чем, пока кремация продолжалась, просило внезапно кремированное животное из сгинувшей династии ледников, потерявший родину монарх далеких снежных краев.

Остатки пасти, окаймленной огоньками, пострадавшая пасть стала тотальной безумной ухмылкой всему безумному окружению, что в

конце концов отступит и подарит бисквит всех бисквитов — спасение от хищного жара. Кремация продолжалась дюйм за дюймом.

— Нужен пистолет, — сказал Блейк. — Есть?

Полковник Халборс покачал головой. Напалма много, оружия — нет.

— Ужасно. Вы, полагаю, сдадите этот материал нам.

— Зависит от решения канала, не я придумываю политику. Но должен же где-то быть пистолет.

Полковник Халборс покачал головой.

— Вам бы больше хотелось, чтобы я конфисковал все катушки сразу?

— А чего вы боитесь?– Блейк смотрел в другую сторону.– Что из-за кадров одной горящей собаки у вас случится очередной Дьенбьенфу?[105]

— Я не могу отпустить вас с этой пленкой, мистер Арбороу.

---

[105] Примечания: 105

Битва при Дьенбьенфу (1954) — решающее сражение вьетнамских и французских колониальных войск, определившее поражение Франции. После этого были подписаны Женевские соглашения, разделявшие Вьетнам на Северный и Южный. Тогда защиту и финансовую поддержку Южного Вьетнама переняли на себя США, в тот период забиравшие бывшие колониальные владения у стран Европы, изнуренных Второй мировой. Для США на тот момент это было важно из-за теории домино, согласно которой коммунистическая победа в одной стране Азии может привести к распространению коммунизма в других.

— Ну ладно, вы ее получите.

Ближайшая хижина как раз обвалилась, по внутренностям ползал выдохшийся огонь, чадил. Опоры, на которых стояла хижина, были прочными досками. Блейк подбежал и выдернул одну обугленную, четырех футов в длину. Бегом вернулся, ухватившись за один конец.

— Даже пленку спасти не смог. Спокойно, — сказал он собаке и опустил доску как можно тяжелее ей на голову.

Биск дернулась, замотала головой, потом здоровый глаз вновь пронзил Блейка, умоляя. Манипулируя глазом в полную силу.

— Отправляйся домой, к снегу, Биск, не на что тут смотреть. Ты уже увидела полную картину.

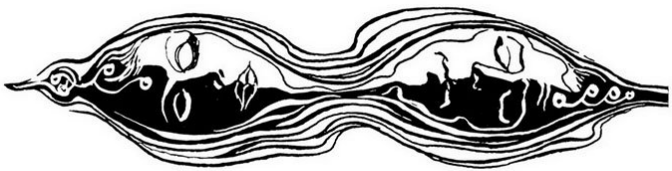
Он замахнулся снова, изо всех сил.

Тело Биск сотряслось, глаз закатился, снова вернулся, сосредоточился, не отрываясь от Блейка, умоляя.

— Оставь нас с нашими поводками, Биск. — И Блейк ударил опять.

Великолепный голубой глаз задрожал, его взгляд помрачнел, становился все мрачнее, потом вовсе сомкнулся — и Биск снова успокоилась, как в конце концов, думал Блейк, — если повезет, если повезет, — успокоимся мы все, атакованные

и высосанные, все алчущие бисквитов, освободимся от огня.



2: Девушка с быстрым движением глаз

В ночь 22 апреля, когда я вернулся с лекции в АННУС (Американское национальное новое университетское сообщество) о Хемингуэе («Психостатистическое исследование переломов костей у Папы Хема»), моя служба автоответчика передала мне загадочное сообщение. От Немезиды-младшего, он же Квентин. Перезвонить в любое время. Перезвонить в любое время оказалось невозможно — он оставил неправильный номер. Гарпия на другом конце заявила пла-

цидиловым[106] голосом, что не знает никаких квентинов, а если бы и знала, то сдала бы его полиции за его основную деятельность, которая, учитывая, что он мой друг,– наверняка домогательство к малолетним. Я ответил, что у нее нет оснований считать меня растлителем малолетних, раз те, к кому я домогаюсь по телефону,– это, судя по голосу, трехсотлетние маразматички. Она заявила, что еще в своем уме и понимает, что профессионалы по домогательствам практикуются на любом встречном, когда под рукой нет ребенка, а в чем именно практикуются, она не скажет, потому как она леди. Я ответил, что если она леди, то любая из сестер Габор — фея, и спросил, было ли что-нибудь интересное в последнее время под рукой у *нее*, намекнув, что этот вопрос можно задать любой представительнице ее пола, которая ложится спать до девяти, леди она или нет. Она сказала, что, доберись до меня, показала бы, что очень хочет заиметь под рукой язык грязного дегенерата — чтобы вырвать и сделать из него игольницу.

Ну и будет об этом разговоре. Я воспроизвожу лучшие моменты, чтобы показать, как нынче у

---

[106] Примечания: 106
«Плацидил» — успокоительное средство.

всех расшатаны нервы — может, в связи с Вьетнамом. Кипел я не от тона той старой карги, а от типичной безответственности Квентина, оставившего неправильный номер, чтобы на него срочно перезвонили.

Я не позвонил на следующее утро. Выждал до полудня, когда ему приспичит самому. Но когда мое любопытство грозило достигнуть зенита, я таки набрал его домашний номер. И прослушал гудков десять, прежде чем он ответил; казалось, голос его исходит со дна бочки; изо рта с мелассой. Проще говоря, изо рта в бочке мелассы.

— Гордон, ох, мне отчаянно надо выспаться. Можно узнать, в связи с чем звонок?

— С твоим вчерашним звонком. В связи.

Прошло какое-то время.

— Вы с ума сошли. Я вам не звонил.

— Хочешь сказать, у моей службы автоответчика галлюцинации?

— Да там, наверное, просто выдумывают звонки, чтоб вам не казалось, что вас все забыли. Без шуток: там правда сказали, что я звонил?

— И причем произвел такое впечатление, будто это вопрос жизни и смерти. И оставил номер, чтобы перезвонить. Причем неправильный, отчего я подвергся долгим оскорблениям от кого-то, кого

даже не знаю.

Минуло еще время.

— Что-то проступает, Гордон. Зм-м. Помню, звонил в больницу «Седарс оф Лебанон», жм-м, да, и еще в справочную службу «ЛА Таймс». Но вам — не-а.

— Воспроизведем обстоятельства. Где ты был?

— Дома у друзей рядом с каньоном Лорел — я о них рассказывал, «Знамение». Тут может быть релевантно то, что мы угасились в хлам, в третий раз, и у меня такое ощущение, что я еще не отошел. Мы и правда классно расслабились на траве.

— Как я понимаю, речь не о полянке.

— Может, о парке «Лесная поляна». Где я, кажется, все еще и нахожусь, и слышу, как приближаются бальзамировщики, позвякивая шприцами. Гордон, я буду у вас в большом долгу, который готов перевести в деньги, значительную сумму, если вы прекратите свой допрос третьей степени и дадите мне доспать. Вы такой из себя степенный, когда ведете допросы.

Я не даю людям спать, установив, что в ходе вечерней социализации они звонили и в «Седарс», и в «Таймс». Особенно узнав, что в их мышлении нахожусь в одном ряду с большой больницей и

первостепенным ежедневным изданием.

— Уж я прослежу, чтобы ты расслабился на траве, Квентин, причем в вечном покое, если сейчас же все не прояснишь. Зачем ты звонил в больницу и газету?

— Понимаете… А. Ну точно. Из-за хруста костяшек.

— Ну разумеется.

— Понимаете, мы сидели, слушали пластинки, и тут стали хрустеть костяшками, сначала я, потом остальные. Сначала в ритм с музыкой, потом нет. Потом кто-то спросил, отчего хрустят костяшки. Мы вступили в дискуссию. Страшная это тема для дискуссии, скажу я вам, Гордон. Чем больше мы в нее углублялись, тем больше понимали, что не такие уж мы головастые. Костяшки — больше часть человека, чем, скажем, Жан-Поль Сартр. Мы знаем о Сартре все, что только можно, и ни черта — о собственных костяшках, которые слышим всю свою жизнь. Если я сейчас не засну, у меня зубы выпадут. Почему хрустят костяшки, Гордон?

— Распространенная причина, Квентин, — выгибание пальцев.

— Я знаю, что *делать*, чтобы они хрустели, но мой вопрос — *почему*. Понимаете, мы при-

задумались — и поняли, что ничего не знаем о механизмах. Мы запаниковали. Как когда впервые узнаешь без всяких предупреждений, что твое сердце — ужасно шумный орган. Возникает чувство, будто в тебя вторглись вражеские пришельцы. И тут кто-то сказал: а позвоним в «Седарс», попросим к телефону штатного врача, он опишет нам профессиональную точку зрения. Там никто не стал говорить — а еще зовутся общественной больницей. Если б они действительно заботились об общественности, разве не в их интересах предотвращать панику? Сами знаете, к чему в наши времена приводит бесконтрольная паника, когда распространится.

— И ты позвонил в справку «Таймс».

— Гордон, общественность имеет право знать, а долг газеты — давать ответы. В «Таймсе» начали острить. Говорят — проспитесь, а когда проснетесь, из башки вся дурь выветрится — и насчет пальцев, и буквальная. Подобные насмешки — лишь убежище невежды.

— И тогда ты позвонил мне.

— Да?

— Ты уж лучше вспоминай, пока я не сделал из твоих костяшек ливерную колбасу. — Тут мне пришло в голову, что надо было сказать

«костяшечную колбасу», но тогда было не до формальностей. — Живо, соображай.

— Посмотрим. Хн-н-н. Не угрожайте моим костяшкам, Гордон, я этого очень не люблю. Но ведь и правда случилось что-то еще. Посмотрим. Фм-м, начинаю вспоминать, я перепугался до смерти, весь употел. Кто-то сказал: «*Gnothi seauton*». Я ответил — для меня эта все равно что греческая грамота. Кто-то ответил: да, это на греческом, «Познай самого себя». Кто-то сказал, что мудрость древнегреческих философов сводится к фразе «Познай самого себя», а если не знаешь даже, что хрустит в костяшках, то что ты вообще можешь знать о себе. Кто-то сказал, раз не могут помочь врачи и газетчики и раз философы тоже пытались познать самих себя, давайте позвоним какому-нибудь философу. Кто-то сказал: Сартр — философ, но он не написал ни единой глубокой строчки о костяшках. Кто-то сказал: Сартр — не пример, экзистенциалисты изучают отчуждение, поэтому вполне естественно, что его больше интересовали переломы, чем стыки. Кто-то сказал: в телефонном справочнике не отмечено, кто философ, а кто нет, даже в рубрике «Самопомощь». Вот, так все и случилось. А, ну точно. Я вставил, что знаю философа, пожилого человека, который

думает про всякое и довольно глубоко заглядывал во все человеческие фазы. Кто-то сказал: ну, блин, звони ему тогда, и, видать, тогда-то я и позвонил, Гордон. Это уже не так важно. Думаю, может подождать. Важнее, чтобы вы перестали грозить кулаком мне и моим костяшкам и дали мне поспать, пока у меня не случился сердечный приступ, Гордон.

— Еще рано. Ответ, если тебе так интересно, — синовиальная жидкость.

— Что-что, Гордон? Сеговия? Гитарист фламенко? Что-что у него с костями?

— Синовия, а не Сеговия, и к тому же речь о жидкостях, а не музыкантах. Хруст вызван синовиальной жидкостью.

— Я не собираюсь тут выслушивать часовую лекцию о жидкостях, Гордон, я на грани инфаркта, боже ты мой. Господи, мне все равно, что вы такой великий философ: когда я говорю о костях, не переходите на жидкости. Я вас умоляю, Гордон, мне надо поспать, пока я не посинел.

— Вчера ночью ты паниковал. Паника может и вернуться, поэтому тебе лучше знать. Синовиальная жидкость — это бесцветная густая смазочная масса. В ней находится вещество наподобие муцина. Его выделяют синовиальные оболочки

суставов, сумки и сухожильные влагалища. Ее задача — предотвратить царапание суставов при движении. Эта жидкость есть в костяшках, а также в коленях, локтях, бедрах и так далее…

— Гордон, Христом Богом прошу, объясните, как эта или любая другая жидкость связаны с хрустом, о котором я говорил?

— Чего не знаю, того не знаю, Квентин.

— А. Зн-н. Че?

— До конца я этот вопрос еще не рассматривал, хватало других забот. Просто подмечаю, что если ты всерьез увлекся *Gnothi seauton*, то должен познать и синовиальную жидкость в себе, самую сокровенную смазку — это неплохо для начала…

— Ах ты грязный, поганый, жалкий, миазматичный, пальцесосный…

Учитывая все обстоятельства,– в том числе сведение счетов плюс мою ослепительную тираду об устройстве скелетных стыков, подсказавшую мне, что я не так уж *Gnothi* собственное *seauton*, раз сам не подозревал, что у меня есть такие познания в голове, — так вот, учитывая все обстоятельства, в этот момент казалось уместным повесить трубку.

Я знал Квентина Секли, как говорится, добрую часть года, хоть я бы так не сказал. Та часть года,

в которую знаешь Квентина, сколько бы месяцев в нее ни входило, доброй быть не может.

Берегитесь доброхотов. Часто это люди, которые хотят добра (обычно чужого и себе) через ваше участие, в крайнем случае — через ваш труп, только чтобы потом посветить пачкой денег у вас перед глазами. Думаю, именно такие доброхоты и присоветовали мне после двадцати лет в литературе зарабатывать на преподавании творческого мастерства молодежи. Все думали, что мне не помешает войти в контакт с нынешним наэлектризованным поколением. Никто не задумался о моей изоляции.

Я прислушался. Когда мне предложили лекторскую должность в творческой мастерской Университета Сантаны, неподалеку от Лос-Анджелеса, я согласился. Как оказалось, мой курс скорее притворный, чем творческий. Некоторые студенты брали его, чтобы освежиться, как брали физкультуру или народные танцы — или карамельный десерт. Другие старательно писали скрупулезные воспроизведения Джойса, Хемингуэя, Кафки, Дж. П. Донливи, Дилана Томаса, не говоря уже — хотя мне положено — об О. Генри и Альберте Пейсоне Терхьюне.

Квентин, ньюйоркец, попавший в Сантану

после исключения из четырех восточноамериканских университетов, — то из-за незапланированной беременности, то из-за планов синтезировать фенциклидин в студенческой химической лаборатории, — стал исключением. Ему не было интересно писать для развлечения: его заботило только одно — писать за деньги. Не тянуло его и подражать известным авторам — его вообще не привлекала проза. А начал он затапливать меня текстами рок-н-ролла.

Квентин, сей наперсник психоделических музыкантов, сочинял тексты для группы за — если получится — деньги. Две его песни уже записали с результатами ближе к чиху, чем взрыву. Он объяснил, что пошел на мой курс, чтобы научиться сочинять хорошие рок-тексты. И обвинил меня в намеренном поддержании межпоколенческого разрыва, когда я отметил, что даже если не считать «хорошие рок-тексты» оксимороном, то лирика в любом виде — тем более в этом электронном — не в моей компетенции. Квентин пришел к выводу, что я философ космического масштаба, специалист по чему угодно, а значит, и лучший учитель рок-лирики. Ведь тексты песен состоят из слов, правильно? А я эксперт по словам, правильно? Ну так что? Почему это я — не считая

враждебности и простого нежелания раскрывать секреты, — не учу, как совершенствовать его тексты, чтобы он усовершенствовал свой доход?

Чтобы показать масштаб проблемы, поставленной передо мной и литературой, не говоря уже обо всем английском языке, приведу здесь одну его пробу пера. Называлась она «Когда упакуешь свои неприятности, не шли всю пачку мне»[107]. Выглядела она так:

Катица огонь с горной махины

Сжечь твой дом и все добро

Катица, катица огонь с горной махины

Сжечь твой дом и все добро

Йе, катица огонь с высот

Спалить все движимое и недвижимое имущество

Но ты ответишь улыбкой, улыбкой, улыбкой

Если перевернешь губы наоборот.

А када соберешь все неприятности

---

[107] Примечания: 107

Отсылка к популярной британской песне времен Первой мировой войны «собери свои проблемы в пачку и улыбайся, улыбайся, улыбайся» («Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag», 1915).

в старую пачку,
Нафига слать ее мне?
Хошь, шли в благотворительность, да
Но че пихать эту хрень мне? А?

Плут прибрал все твои деньги
Блудник прибрал твою жену
Плут стибрил твои деньги
Блудник лапал твою миссус
О-о, разбойник захапал твои бабки,
Развратник залапал твою бабу,
А теперь дай нам ухмылку, ухмылку, ухмылку
Прост переверни рот наоборот

— Ну что, знаете, как сделать лучше? — спросил Квентин в вечер, когда показал свое произведение.

— Да, сжечь в первом же огне, что скатица с горной махины. А если огня не будет, подняться за ним самому.

— Да бросьте, я же ищу свой голос.

— Я бы сказал, теряешь. «Махины». Как я понимаю, это твое подражание деревенскому говору Озарка. А все эти «миссус» и «блудники», — ве-

роятно, от староюжного дядюшки Римуса или из Бруклина, даже не пойму.

— Понемногу и того и другого.

— Хватило бы и чего-то одного, Квентин. Горный житель Кентукки, Декалб-авеню, подражание черному патуа под ситары — это уже не голос, а глоссолалия. Это называют даром языков, но в твоем случае это проклятие. Тебе бы стоило прикусить побольше языков.

— Господи, может, я и не слышал эти звуки за семейным столом, где сидят сплошные сановники, но слышал их в песнях, а песни — часть моего окружения, а окружение — это часть меня. Мне что, стать снобом и делать вид, будто только моя семья родом из Младшей Лиги и акционеров говорит правильно?

— Квентин, прямо сейчас ты сам выражаешься скорее как сановник, чем помесь стивидора-хлопкороба-самогонщика. У сановников тоже должно быть место под лингвистическим солнцем наравне, скажем, с садовниками.

— Мистер Ренгс, сами подумайте: когда я разговариваю с одним человеком, мне не надо говорить, будто меня больше одного. В тексте песни уже говоришь с самыми разными людьми, поэтому суть в том, чтобы быть демократичным

и походить на всех сразу.

— На всех, кто не учился дальше третьего класса? Отчего бы не обратиться заодно и к парочке выпускников колледжей? Или в твоей демократии грамотность запрещена?

— Слушайте, у меня есть теория. В нашем предполагаемом плавильном котле расплавилось далеко не все. А теперь пришло время подплавить хотя бы разные языки и стили речи.

— Расплавить — это одно дело, а сломать об колено — другое.

— Я же знаю: когда что-то плавится, оно становится жидким, а чтобы что-то сломать, оно должно быть твердым. Опять вы путаете жидкости и кости, завязывайте вы с этим, мистер Ренгс.

— Если не прекратишь донимать шизоидными текстами, Квентин, ты увидишь, как я путаю жидкости и кости, когда я спутаю это минестроне с твоим черепом.

Мы сидели в «Доме Ньокки», жутком итальянском рыгсторане на бульваре Санта-Моника в Голливуде. Заведение было так далеко от подобия кафе или какого-никакого распределителя человеческого питания, что местными ньокки стоило замазывать протекающие краны, а лингвини

подавать в лохани. Квентин просил обсудить в его любимом месте питания писательские сложности, которые он считал неохваченными на курсе.

— Мистер Ренгс, вы делаете вид, будто стоите выше нынешнего смешения языков. Но вы только прячетесь за межпоколенческим разрывом.

— Ты не смешиваешь слова, Квентин, а расчленяешь. Рассмотрим твое последнее утверждение. Как можно прятаться за разрывом? Это как сказать: «он замаскировался в вакууме» или «укрылся в некоем объеме пустоты».

— Объем пустоты. Вы же сами подтверждаете, что я прав. Что такое по определению разрыв, как не яма, и что такое яма, как не пустота — без ничего и никого? А если в яме нет никого, то никто тебя и не увидит, так что вполне можно спрятаться.

— Логика, Квентин. Если никого нет, то и прятаться незачем.

— Я вот что имею в виду: людей нет *в* яме, они стоят по краям.

— В таком случае яма должна быть очень широкой, миль десять, чтобы в ней можно было спрятаться.

— Ну, вы сейчас так закапываетесь, что она

будет шириной в десять миль в один миг.

— Какими бы ни были масштабы разрыва, Квентин, нельзя спрятаться *за* ним — разве что *в* нем.

— Не могу согласиться, мистер Ренгс. Если дерево падает в лесу и его никто не слышит, есть ли звук падения? Это философия, даже не спорьте. По той же логике, если пользуешься ямой для укрытия и у тебя получается, значит, тебя никто не видит — и кто тогда знает, *в* яме ты, *за* ямой или *под* ямой?

— Когда я в пределах десяти миль от тебя, Квентин, я чувствую себя в бульоне, а не за ним или под ним, — и я имею в виду не это минестроне, которое не бульон, а пойло.

За сабайоном, на вкус больше напоминавшим чистящее средство, Квентин сделал неожиданное заявление. Он сказал:

— «Знамение» интересуются текстом «Мая хина».

Я сказал, что впервые слышу, что он писал посвящение средству против малярии. Он ответил, что сохранил отсылку к стихам про пачку неприятностей, где упоминалось о том, что сэр Эдмунд Хиллари всегда поднимается на вершину. Я сказал:

— Если речь об одном «знамении», глагол должен быть в единственном числе — следи за числами.

Он меня осведомил, что «Знамение», конечно, одно-единственное, но состоит из нескольких людей, это рага-рок группа, не гнушающаяся и фолк-хардом, но в основном по раге, с ситарами и таблами.

Я тогда как раз узнал о моде среди групп называть коллективы нарицательными существительными в единственном числе. Для меня это служило источником беспокойства — как бы это не привело к новому вокабуляру общих существительных: «джефферсоновский самолет» уклонистов, «благодарная мертвечина» тамбуринистов, «щедрая ложка» шизофреников, «ванильный фадж» несовершеннолетних преступников, «холдинговая компания» отчисленных студентов[108]. Теперь же, похоже, приходилось освободить дорогу для новой и еще более тревожной формулировки: «знамение» горлопанов.

---

[108] Примечания: 108

Обыгрываются названия групп *Jefferson Airplane, Grateful Dead, The Lovin' Spoonful, Vanilla Fudge, Big Brother* и *Holding Company*, а также тот факт, что в английском языке существуют особые названия для общностей животных: буквально «гордость львов», «убийство ворон», «позор панд».

— Одного вы не понимаете, — продолжал Квентин, — эта песня выстрелит, и она такая чума.

— Разве что простуда с соплями. Для тех, кто знает, у какой старой песни вы стрельнули музыку, чтобы сделать новую.

— Вы ее знаете.

— Не знаю.

— Вот не надо, вы ее только что назвали.

— Это говорил не я, а мое расовое подсознательное.

— Уж скорее расовое предубеждение — против расы всех младше тридцати. Ладно, посмотрим на ваши предубеждения против текста не на смеси языков. Вот.

Он всучил мне страницу со строчками под всеми углами. Я смог расшифровать только два фрагмента:

допустим, в день дней
когда придет спаситель
и поведет к солнцу в зените
его будут звать хошимин —
мы пошумим?

И:

если в аду жарко

— Пять?

— Не могу вдаваться в политические или теологические вопросы на больной желудок, Квентин, — ответил я. — Кажется, в этом сабайоне птомаин.

— Птомаин, — оживился Квентин. — Отличное слово, чтобы поиграть. Наводит на мысли о чумовой песне про туристов в других странах, вроде Израиля. Это сильно. «Иерусалим, дождливо льется птомаин…»

Учитывая все обстоятельства, в том числе резь в животе, это казалось подходящим моментом, чтобы удалиться в мужскую уборную.

Вскоре после такого губительно-чумового ужина — после которого позавидуешь и самым проливным птомаинам Иерусалима,– Квентин спросил, можно ли ему остаться на моем курсе на вторую четверть. Я категорически отказал на том основании, что, хоть он освоил множество, пожалуй, поразительных занятий со словами, ни одно не относится к писательству на английском языке, что является моими двумя сферами знаний. Квентин не упирался. Просто сказал, что мне бы стоило допустить его в мои сферы незнания — вдруг они тогда уменьшатся. Моим ответом было,

что сферы незнания у меня в последнее время в дефиците, чтобы так просто с ними расставаться. Он в ответ решил, что тоже не может кое с чем расстаться. Со мной. Когда закончилась четверть, Квентин продолжался. Лишившись меня в кампусе, он чуть ли не ежедневно являлся к моему порогу, и всегда — с пачками текстов. Однажды я предположил, что его песни лучше подойдут птицам (например, тупикам). Он поправил, что *The Byrds* сами пишут свои тексты, а он работает в основном на «Знамение». Я стал смиряться с тем, что это уготованное лично мне знамение заняло центральное место в моей жизни. В лице Квентина Секли — неустанно и зловеще преисполненного песнями.

Через несколько дней после беседы о костяшках и их звуковых эффектах у меня зазвонил телефон. Девушка на том конце провода спросила:

— Алло, мистер Ренгс? Ивар, случайно, не у вас?

Голос звучал расплывчато, андреналинизующе знакомо. У меня немедленно заныл корень языка.

— Ивар?

— Это же мистер Гордон Ренгс?

— Да, но здесь нет никого по имени Ивар. Я не

знаю никого по имени Ивар. Считайте это поводом для гордости, если угодно.

Я цеплял пальцами кончик язык, словно чтобы его выдернуть. Это раздражало в нескольких отношениях: я горжусь тем, что у меня нет тиков; у меня не было причин выдергивать язык; это мешало говорить. Голос девушки вызывал скверные отголоски. Вот что тянуло меня за язык посредством моих пальцев.

— Это какая-то путаница, мистер Ренгс. Вы же мистер Ренгс, который преподает в Сантане, да? Вы хороший друг того, кого я пытаюсь найти, — вы его соавтор.

— Соавтор? И чего же?

— Текстов песен, конечно же. Вы пишете с ним замечательные тексты. Ну знаете.

— Тексты? Какие?

— Хард, фолк, кантри, джаз, рага, любой рок, какой попросят.

— Понятно. Вы ищете Квентина Секли.

Пауза.

— Квентин, говорите? А? Не знаю никаких квентинов.

Одновременно я свирепо прикусил язык и вспомнил этот голос — и то, как он кусался сам.

— Мисс, я не имею никаких дел с Иваром. Я

не имею дел и с Квентином Секли, но время от времени, под угрозой расправы, нахожу самые шаткие строчки в его песнях, паркинсоновские.

Снова пауза.

— Мистер Ренгс, а не могли бы вы описать Квентина?

— Могу. Рыжеватая челка до глаз. Похожа на измельченный кожзам «Нагахайд». Некая сутулость, легкий крен. Рост около метра восьмидесяти. Родинка на правой скуле. Вороватость. Пишет тексты для «Знамения». А также…

— Это Ивар. Чтоб меня.

— Тогда и меня заодно. А зачем вам понадобился Квентин?

— Что ж, он должен со мной спать, и мы четко договорились, что это будет в три, и он не явился, и все уже задают вопросы.

— Все. Это сколько?

— Ну, все кто обычно, минимум человек шесть. Они уже час ждут, когда мы начнем, им не нравится просто рассиживаться.

— Кому? И мне интересно, откуда у вас мое имя.

— Ну, Ивар — Квентин — рассказывает, как вы помогаете ему писать. Я знала, что вы преподаете в Сантане, и сейчас я, понятно, нахожусь в UCLA,

и позвонила в администрацию UCLA, и у них нашелся телефонный справочник преподавателей Сантаны…

— Вы в UCLA? Это там Квентин должен был, э-э, к вам присоединиться? — Мне вспомнилась синовиальная жидкость. Гитара фламенко на заднем плане. Без ситара.

— Конечно, где мы всегда и это и делаем. Больше нигде не получится, вся аппаратура здесь. Короче, мистер Ренгс, у вас нет мыслей, где он может быть?

— Никаких. Если только он не нашел другое место, где есть аппаратура.

— Это вряд ли, мистер Ренгс, такую машинерию, как здесь, абы где не найдешь. Ладно, если вдруг что узнаете, можете попросить его немедленно связаться с проектом «Сон»? Это очень важно, он сбивает нам весь график.

— Проект «Сон». Обязательно. Сочувствую из-за графика.

Очередная пауза, весьма насыщенная.

— Мистер Ренгс, знаю, это покажется странным, но вы не могли бы сделать одно одолжение?

— Мисс, я понимаю, что вы хотите вернуться в график, это вполне естественно, но меня завтра ждет очень сложная лекция, она касается количе-

ства и качества переломанных костей в собрании сочинений Хемингуэя, вы вот знали, например, что в одних только его первых 49 произведениях встречаются 299 случаев физического увечья, из них 15 касаются ног, 5 — рук, 4 — паха…

— Нет, я вот что хочу попросить: вы не могли бы произнести для меня несколько слов? А то я начинаю кое-что вспоминать насчет имени Квентин. Не могли бы вы сделать большое одолжение и просто сказать: «Алло, можете позвать Квентина?»

— Сначала вы сами кое-что скажите. Домогательства до детей. Грязный дегенерат. Вырвать язык. Игольница.

Самая длинная за разговор пауза. Отмеренная эмоциональными выдохами.

— Чтоб меня трижды высекли. Это вы мне тогда звонили.

— А это вы та дама трехсотлетнего возраста.

— После глубокого сна у меня обычно голос, будто мне шестьсот. Понимаете, я так выматываюсь на учебе и вдобавок на проекте, что к ужину выбиваюсь из сил, иногда только принимаю таблетку и заползаю в постель. Вау, вы уж простите, что так грубо с вами разговаривала, мистер Ренгс. Я ж понятия не имела, кто это, вы поймите. К тому

же я никогда не слышала о Квентине, я его знаю как Ивара Налида. Ой, ой! Минутку. А откуда у вас в тот вечер был мой номер? С чего вы решили искать его под каким угодно именем у меня?

— У меня было сообщение на автоответчике. Он просил перезвонить и оставил ваш номер.

— Вот это совсем странно, мистер Ренгс. Во-первых, он никогда не был у меня дома, во-вторых, я никогда не давала ему свой номер — хотя знает Бог, он выклянчивал его не раз, но я же его практически не знаю, мы пересекаемся только на проекте и иногда разговариваем о текстах рок-песен, вот и все. Мой номер нигде не указан и друзья его не выдают, они знают, как я ценю свою личную жизнь. Это странность особой категории.

— Да. Скажите-ка, а вы никак не можете ассоциироваться у Квентина с хрустом костяшек, мисс… боюсь, не знаю, как вас зовут.

— Виктория Развоу, мистер Ренгс. Викки. Что-что говорите про костяшки?

— Квентин не может ассоциировать вас с темой хруста костяшек, Викки? Он думал об этом в тот вечер, когда оставил ваш номер.

— Костяшки. Боже. Это безумие из высших эшелонов. Еще и в шляпе-котелке. Если честно,

я ни разу не доходила с ним до костяшек — по крайней мере, глубоко. Я практически ничего с ним не обсуждаю, мы только вместе спим. Но какое-то время назад я видела сон о хрустящих костяшках. А возможно, больше одного. Они уже прекратились, но я помню громкие звуки, будто выстрелы пистолетов, и как они пугали чуть ли не до облысения. Но откуда о костяшках узнал Ивар — Квентин? Не из моих снов, это точно, у нас строгие правила — не рассказывать о своих снах. Да уж. А вы не представляете, почему у него два имени, мистер Ренгс?

— Нет, но этот вопрос можно уточнить. Почему в Сантане он учится под одним именем, а в UCLA спит — участвует в проекте «Сон» — под другим?

— Это и впрямь изощренно извращенно, мистер Ренгс. У вас есть какая-нибудь теория?

— Трудно сказать, Викки. Это может быть связано с желанием держать жидкости и кости порознь, у него довольно жесткое отношение к…

— Нет, все. Пора с этим кончать. Это уже десятибалльная ненормальность. Кто-то покопался у меня в мозгах.

— Я вас чем-то расстроил, Викки?

— Жидкости и кости, чтоб меня трижды облили напалмом. Это мотив моих снов. Не могу назвать

конкретный сон навскидку, но это всплывает то и дело. Пересказывать содержание снов идет наперекор всем правилам, так откуда он набрался моего сновидческого языка? Если это хранится в моих банках памяти, как он их взломал? Вот честно…

— Если я что-нибудь узнаю, обязательно вам сообщу, Викки, у меня есть ваш номер…

На следующий день после обеда Квентин позвонил мне в дверь. С очередной кипой текстов. Я пригрозил продать все его сочинения ЦРУ, если он не предоставит полное объяснение имени «Ивар Налид». Его объяснение не назвать ни простым, ни, по гамбургскому счету — или какому угодно счету — особенно объясняющим.

Ивар — это не более чем Рави наоборот, в честь Рави Шанкара[109]. А Налид — это Дилан наоборот (в честь Боба Д., не Д. Томаса). Под этим псевдонимом Квентин писал все свои песни. Он боялся, если его семья прознает о его источниках дохода, отец лишит его карманных денег. Квентин считал, что такая зажиточная семья, как у него, должна поддерживать сына, увлеченного искусством, чтобы у него был жирный доход, а

[109] Примечания: 109

Рави Шанкар (1920–2012) — индийский музыкант, виртуоз игры на ситаре.

не просто на хлеб с маслом. В конце концов, намасленный хлеб только выигрывает от лишней жирности.

И как же, хотелось мне знать, он оберегает свои доходы, выдавая себя за Ивара Налида перед такими людьми, как Виктория Развоу?

Он произвел несколько судорог. Пересчитал ногти. Какое-то время мычал под нос ситарные глайды.

— Значит, Виктория Развоу, говорите.

— Верно.

— И что вам известно об этой юной даме, Гордон?

— Что она знает тебя как Ивара и спит с тобой в UCLA под присмотром шести людей. Насколько я понял, не обходится без значительной аппаратуры.

— Как вы встретились с Викки, Гордон?

— Она звонила вчера. Искала тебя. Следует быть тоньше в общении с противоположным полом, Квентин. Когда договариваешься с кем-то спать, а сам не являешься, им свойственно волноваться. Как и всем шестерым вокруг.

— Черт, да я звонил секретарю проекта и предупреждал, что не приду,– она, наверное, забыла передать. «Знамение» репетировали перед запи-

сью, и я должен был присутствовать на случай, если понадобится изменить текст. Слушайте, почему это Викки звонила *вам*, чтобы найти меня?

— А не могло ли ей прийти в голову, что ты находишься дома, где круглые сутки пишешь тексты песен со своим соавтором?

— Соавтором?

— Такое у нее сложилось отчетливое впечатление о моей роли в твоей жизни, Квентин.

— Я ни разу не говорил этого слова, Гордон, я вам клянусь, я только сказал, что вы как бы редактируете мои штуки. Ужасно извиняюсь, что она вас беспокоила, Гордон.

— Ей нужно объяснить все как есть, Квентин. Нужно дать понять, что это не я твой соавтор, а ты — мой диктатор. Итак. Осталось прояснить еще два момента. Во-первых, почему ты оставил ее телефон мне, чтобы я нашел Квентина, если ей ты известен как Ивар. Во-вторых, касательно этого проекта «Сон» — чем именно…

— Это кто еще оставил телефон Викки, Гордон? Вы совсем с ума сошли?

— Мысленно вернемся к достопамятному вечеру хруста костяшек, Квентин. Ты оставил номер, чтобы я перезвонил. Это оказался номер Викки. Викки сказала, что в жизни не слышала о Квен-

тине, и была права. Так что привело тебя к такому ненормальному…

— Ах ты ж силлогизм-серенада-свитер. Паршиво-то как. Я же был под кайфом, вот в чем дело. Наверняка напрочь забыл, что для нее я Ивар. А, тогда неудивительно, что вы решили, будто ошиблись номером. Теперь дошло. Бл-л-лб. Это моя промашка, потому что я был под кайфом. Дать ее номер — это я сглупил. Гр-рз. У меня тогда была отдаленная мысль съездить к ней, знаю. Я хрустел костяшками, и параноил, и хотел к Викки, сам не знаю почему. Костяшки сами собой напоминают о Викки. Наверное, я под кайфом решил, что уже там, спутал желание и факт, и дал ее номер, не соображая, что творю. Я правда хотел к ней съездить, но сам просто отключился…

— Но откуда ты знаешь ее адрес и телефонный номер? Она говорит, что не говорила их тебе и не указана…

— Не в телефонном справочнике, нет-нет. Но в проекте на нее есть досье. У меня уже давно была мысль ее навестить, Гордон. Я положил на нее глаз во время проекта, у меня растут определенные нешуточные позывы. Давайте признаюсь. Позывы у меня такие серьезные, что однажды я слонялся у кабинета проекта, пока секретарша

не ушла по делам, и тогда залез в картотеку, нашел досье Викки и запомнил основные факты. Слушайте — все сложно. Придется воспроизвести для вас всю ситуацию. С чего начинается проект «Сон»…

— Об этом мне бы тоже хотелось знать. Только постарайся избавить от подробностей — например, зачем им там еще и секретарша.

— А вы ничего не знаете о проекте, Гордон? А, ну ясно. Тогда понятно, почему вам ничего не понятно. Там я и познакомился с Викки, на проекте. Там обнаружили, что мы почему-то хорошо спим вместе, и составили график, чтобы мы спали вместе, хотя причины нам не объясняли. Там я пользуюсь именем «Ивар Налид» по той же причине, почему пользуюсь им для песен…

— Дай-ка уточню, правильно ли я понимаю. Вам в проекте платят за то, чем вы занимаетесь?

— Естественно, Гордон, иначе на черта тратить на это время? Естественно, у меня неплохой почасовой оклад, как и у Викки. И вот, понимаете, я решил, раз я там зарабатываю, лучше это делать под псевдонимом, чтобы старик не прослышал и не лишил карманных денег. Слушайте, мне уже как раз пора. В проект. Может, съездите со мной и сами увидите, как там все обустроено? Это чума.

Доктор Воландс любит посетителей. Гордон, это целый новый подход к важнейшей человеческой функции. Задумайтесь: есть то, чем вы занимаетесь каждый день в жизни, но при этом ничего об этом не знаете. Это как хруст костяшек — такая личная вещь, а непонятно, как она устроена. В проекте изучают каждый аспект, зарываются очень глубоко, вам это раскроет глаза…

Разумеется, я не мог не поехать. Между Квентином и Викки возникли некие случайные слои — не так много, как хотелось бы ему, больше, чем было по душе ей. Они сложились в жидкий сэндвич, а он просочился в мою жизнь, протекая со всех сторон. Мне хотелось взглянуть на ту дешевую харчевню, откуда он взялся, которая почему-то звалась проект «Сон». Чтобы разобраться, предстояло забраться на махину, куда меня вел Квентин. Последовать за ним в любой перекошенный рай и все разузнать — даже если температура в нем пять. Звали бы его Мао, я бы все равно был *зао*.

По дороге Квентин рассказывал о Виктории Развоу. Аспирантка UCLA, факультет истории. Пишет магистерскую о садомазохистских аспектах колдовства, демонологии, ведьмовства, черных месс и алхимии конца Средневековья. Хорошо

играет на гитаре. Носит гитару с собой, чтобы время от времени играть и напевать самой себе песни «Знамения». Обожает песни «Знамения», особенно тексты, особенно его — Квентина, Ивара — авторства. Ее воодушевление к данным текстам столь велико, что намекает на немалый интерес к нему, который она старается скрыть, отказывая ему в телефонном номере. Еще она очень важный фактор для хорошего сна. Все более становится фокальной точкой все более возбужденных снов Квентина в проекте. Оснащена зрелищней, чем корабль «Королева Мария».

— Квентин, — аккуратно начал я, — по поводу того вечера с костяшками. Насколько я помню, ты начал хрустеть пальцами, а потом присоединились остальные, так?

— Все так и было, да.

— А не помнишь, с чего все началось? Какая нить размышлений привела тебя к тому, что ты начал гнуть пальцы?

— А, наверное, я думал о Викки. В последнее время я в основном думаю о Викки.

— А не помнишь, о чем конкретно?

— М-мф, ну, наверное, о юбке. Она ходит в проект в мини-юбке — понимаете, скорее микро, чем мини, растянутый фиговый листик. Я посвящал

немало размышлений этой мелочи, этой йоте юбки, этой, можно сказать, толике приличий, буквально по эту сторону от голозадости. Я думал об этом практически незаконном предмете одежды, а потом о том, чтобы найти ножницы и срезать ими юбку. Во-во, в такой последовательности. Я резал и мычал себе под нос. И еще думал — зацените — о битумных озерах Ла-Брея, но только что они у нее между ног, и смеялся. А потом услышал голос. Ее голос. Я его, конечно, вообразил — от этой шикарной травы я летал во многих милях от башки. Голос был громкий, глубокий и агрессивный. Глубже баса. Он произнес: продолжишь в этом духе — и я так тебе дам по рукам, что от костяшек только мокрое место останется. Точная цитата. Сначала эта жидкая угроза, потом он добавил: будешь дальше извращаться — и я тебе все костяшки переломаю, плюс все кости до одной. Угроза перелома. Сами понимаете, я тут же бросил воображаемую юбку, а потом и воображаемые ножницы. И все из-за потрясшего воображаемого голоса, полного плавлений и переломов. Вот тогда — точно-точно — тогда я и начал хрустеть костяшками. А знаете, я даже рад, что вы спросили. Это многое проясняет. Чего удивляться, что я так испугался хруста. Вообще-то

испугался я угроз моим костяшкам.

— Значит, ты бы сказал, нервный хруст произрос из предыдущих размышлений — относительно Викки.

— Гордон, не только сказал бы, но и сказал.

Недолго мы ехали молча.

— А ты никогда не замечал, Квентин, как часто в твоей речи возникают жидкости и кости?

— Не знаю. Многие говорят о жидкости и костях, они фигурируют в жизни каждого.

— Я бы сказал, в твоей побольше среднего. Причем ты любишь относить жидкости в одну категорию, кости — в другую, и тебя раздражает, когда люди их смешивают. Я об этом говорю, потому что сейчас, когда ты упомянул об этом голосе, ты процитировал угрозу не оставить от твоих костяшек и мокрого места. Думаю, обоснованным заключением здесь будет то, что тебя беспокоит процесс превращения твоих костных веществ в жидкость. Ты никак не связываешь сию концепцию с Викки?

— Это бред сивой кобылы, Гордон. Да, угроза прозвучала голосом Викки, но я же ловил глюки, голос звучал у меня в голове, а не извне.

— Верно, но твоя голова, породив слова, вложила их в уста Викки. Ты был автором, но тебе

казалось важным заключить слова в кавычки и приписать Викки.

— Гордон, я сейчас понятия не имею, к чему вы ведете свой допрос. Как вообще тема твердых и жидких объектов касается Викки?

— Не знаю, Квентин. Но вынужден попросить тебя прекратить хрустеть костяшками и положить руки на руль, пока ты нас обоих не прикончил.

Научность — не для меня. То, что зовется законами природы, я считаю лишь слухами. Нам говорят, будто шар, наполненный горячим воздухом, воспаряет из-за закона Бойля, конкретной силы гравитации и так далее. Не согласен. Я знаю, что шар воспаряет, потому что его присасывает солнце. Откуда у меня такие данные? Из эмпирического опыта, ведь моя голова тоже часто подвергается всасыванию солнца, гелиотропна по натуре — до того, что чаще всего у меня натянуты плечевые и шейные мышцы, чтобы удержать голову на месте. Врачи называют это нервным напряжением, но я-то знаю, что это лишь здоровая попытка остаться целым. Порой и мигрень из-за этих усилий — тоже здоровая: это успокаивающий сигнал головы, на единственном доступном ей языке, что она все еще на моей

стороне против космического саботажа. Опять же, задумайтесь о необычном поведении воды, когда температура падает ниже нуля по Цельсию. Мне это всегда казалось крайне эмоциональной — и нездоровой — реакцией на неприятный раздражитель, наподобие оцепенения, которое наблюдается при некоторых запущенных случаях шизофрении. Что ж, наука делает акцент на материях, а искусство — на манерах. Для вас это, скорее всего, не новость.

Все это к тому, что в лаборатории, куда меня привел Квентин, я не понял ровным счетом ничего. Большой основной зал был опутан проводами и кабелями, ведущими к настенным панелям управления, где на датчиках бегали показатели и подергивались стилусы на вращающихся барабанах. Вдоль центрального помещения шел ряд кабинок за широкими стеклянными стенами. В каждой стояли кровать и стол с пишущей машинкой. Кое-где крепко спали люди — и мужчины, и женщины. К разным частям их тел, в том числе черепам, были приклеены электроды. В основном зале сидели лаборанты в белых халатах и следили за электронными сигналами, которые шли от спящей стороны. В одной кабинке за столом сидел мужчина в пижаме, — видимо, как

раз проснувшийся, — и что-то бодро печатал на машинке.

Это, сообщил мне Квентин, Центр Сна, где важную человеческую деятельность — сон — исследуют со всех сторон, сверху донизу. Ведь только в часы бодрствования, поучал Квентин, люди позволяют себе отделиться за искусственными барьерами — цвет кожи, этнос, политика, идеология, голод, территориальные императивы. А в покое все люди едины, потому что все люди одинаково спят, причем спят одинаково. Сон, как почти можно сказать,– это самый необщий знаменатель всего человечества, потому что он самый общий; собственно, универсальный. Солнце отчуждает людей друг от друга и тем самым от себя. Ночь — сплачивает. Лишь с закрытыми глазами человечество способно распахнуться навстречу истинному физиологическому сообществу, утвердить его. Проект «Сон», догадавшись об истинной всенародной сущности сна, собирался показать людям их общность. Наш путь к долговечному Единому Миру проложит самый неожиданный предводитель — Морфей, а также его первые помощники, его приятели: Сомнус и

Гипнос. В танатопсисе[110] наши глаза раскроются впервые. В конце концов мы отринем ложных идолов и падем ниц пред Его Святейшеством Нодом, Песочным Человеком с его вездесущим песком. Или что-то в этом роде. Скорее всего, Квентин еще напишет об этом песню. Следить за его аргументацией я не успевал, потому что меня тянуло в сон.

Во время этой импровизированной лекции к нам присоединился старший психолог. Он поддакивал объяснениям Квентина, уже Ивара Налида, который, по словам ученого, был чемпионом сна в их лаборатории — хоть порой и увлекался поэтическими высказываниями об их научной работе. Квентин представил нас. Этот человек в накрахмаленном халате, низенький, угольновласый, деловито-авторитетный в манерах, пускай и пухловатый в материи, был доктором Джеромом Воландсом. Доктор Воландс встретил мое имя с полной противоположностью дремоты. Он набрал воздуха в легкие так быстро и так много, что, я уж ожидал, у всех ручек «Пентел» в его нагрудном кармане повылетают колпачки.

— Гордон Ренгс! — воскликнул он. — Нет! Не

[110] Примечания: 110

Размышления о смерти (*лат.*). По названию стихотворения «Thanatopsis» поэта XIX века Уильяма Каллена Брайанта.

может быть, что вы Гордон Ренгс!

— Жаль, мне раньше никто не сказал, — ответил я.

— Гордон Ренгс! Какой великий момент!

— Для меня — чтобы удалиться немедленно, если вы не успокоитесь.

— Нет! Это фантастика! Я читал каждое слово, что вы написали!

Квентин — Ивар — воспользовался моментом, но не для того, чтобы уйти, не для того, чтобы заснуть по-чемпионски крепко, а чтобы просто вставить дерзость:

— Док, если это единственные слова, что вы читали, у вас неприятности.

— Но я нисколько не шучу, мистер Ренгс, — сказал Воландс. — Собственно, это ваша книга «Послания, намеки» и привела меня в область психологии.

Меня не обрадовал тот возможный подтекст, что он пришел к психологии, чтобы разобраться, зачем меня читал. Но у Квентина сыскалось другое толкование:

— Я вас понимаю, док. Вы засыпали, пока его читали, вот и решили изучить психологию сна, чтобы не засыпать.

— Нет же, читая, я ночами не спал, — ответил

Воландс. — Он поднимает столько вопросов о том, как и почему люди сражаются друг с другом, вплоть до полномасштабных войн, что я обратился за ответами — и здоровым сном — к психологии. Что ж. Для нас настоящая честь, что нашими исследованиями заинтересовался такой человек, как вы, мистер Ренгс. Хотите — верьте, хотите — нет, но мы в нашей работе немало узнаем о том, как и почему люди провоцируют друг друга.

— Провокационный подход, — сказал я. — И в чем ваш посыл? Если люди будут много спать, то войн станет меньше?

— Войны ведут не спящие, — напомнил мне Воландс.

— По крайней мере, не когда спят.

— Мистер Ренгс, выспавшиеся люди не бьют друг друга — во сне или наяву. Если мы угомоним тех, у кого бессонница, и усовершенствуем покой тех, кто без конца ворочается, вы сами увидите начало новой эпохи. Следующим великим лозунгом будет: «Спящие всех стран, соединяйтесь!» Предположительно, только так люди и могут породить истинных коммунистов — во сне. Если только удастся помочь им крепко заснуть — и я имею в виду не храпеть от скуки…

Сия карикатурно-утопическая диссертация о политике сна прервалась с появлением оживленной, энергичной, незаурядно округлой в нужных местах девчушки — серебряной медалистки сна в лаборатории, единственной соперницы за титул Ивара. Виктория Развоу собственной персоной. И с собственной гитарой. При виде меня она распахнула несоразмерные голубые глаза в размашистом моргании. Меня смутила эта способность увеличивать оптические диаметры в процессе многозначительного сокращения. Не знаю, как она умудрялась передавать открытость, готовность, сладострастную чуткость — в очень буквальной узости взглядов. Словно фокус в совершенно неожиданной области — смешении жидкостей и костей.

Она и впрямь пришла в мини-юбке, имеющей пропорции йоты, даже толики. Юбка и впрямь наводила на мысли о ножницах. Ивар и впрямь изучал ее с режущим молчанием.

— Здрасьте, мистер Ренгс,– сказала Викки растягивающимся в обе стороны голосом — таким же эластичным, как ее глаза. Я призадумался об эмоциональном диапазоне этой девушки, способной и на портовые угрозы вырывать языки, и чирикать «здрасьте» тоном «Будущих ферме-

ров»[111]. — Пришли посмотреть чемпионский сон?

— Люблю наблюдать за теми, кто стоит на первом месте в любой области, — ответил я.

— Мы не спим стоя, — ответила она. — Спать стоя — это для любителей.

— Если так и будете тут стоять, мистер Ренгс усомнится, многого ли вы стоите, — встрял Воландс. — Давайте, поскакали, детишки.

Квентин с Викторией помахали мне и скрылись за дверью. Уже скоро они вновь появились в двух пустующих кабинках, смежных, уже переодевшись в пижамы. Деловито и привычно улеглись в своих кроватях и неподвижно лежали, пока лаборанты в белом подсоединяли провода ко всем частям их тела, включая голову. Казалось, они не замечают друг друга или нас. Воландс пояснил, что они находятся в аудиовизуальной изоляции: между ними — глухая стена, окна — односторонние. Скоро они остались одни, с закрытыми глазами. А скоро и заснули, что Воландс доказал, показав на датчики, измерители, счетчики и записывающие стилусы.

— Сегодня вы увидите особенный сон, — сказал

---

[111] Примечания: 111

«Будущие фермеры Америки» (1928) — общественная организация, воспитывающая навыки лидерства молодежи в сельском хозяйстве.

Воландс. — Ивар и Викки — настоящие подарки. Они сами не представляют. Причем взаимосвязанные подарки.

Я вспомнил, что в жилах Квентина течет ирландская кровь. У Викки чувствовалась дерзость настоящих колин[112]. Я воздержался от комментария, что это может быть связь, как у ирландского венка.

— Осознаете ли вы всю важность того, что здесь происходит, мистер Ренгс?

— То, что перевернет музыкальный мир? Ивар пишет тексты, знаете ли. И мне не верится, чтобы он писал их в ясном уме. Полагаю, он творит во сне.

— Дело далеко не в одних текстах. Не слышали о недавнем открытии — REM-сне?

— Вы открыли новый вид сна?

— Нет, пролили свет на очень-очень древний тип. REM означает «быстрое движение глаз», мистер Ренгс. Примерно каждые девяносто минут наши подопытные демонстрируют сильную неокортикальную активность. Их альфа-волны становятся энергичнее, а глаза бегают так быстро, словно они что-то смотрят. Они и смотрят — сон,

---

[112] Примечания: 112
Coleen — девушка (*ирл.*).

которым и объясняется внезапный скачок уровня мозговой энергии. Типичный цикл — это видеть сон каждые девяносто минут, мистер Ренгс; иными словами, каждые 90 минут демонстрировать высокую активность альфа-волн и REM. Часть нашего подхода — будить подопытных после каждого эпизода REM и просить записать, что они помнят из сна. Мы узнаем много революционного о снах. Что они случаются несколько раз за ночь. Что они высвобождают незадействованную бурлящую энергию мозга, которая, если не расходовать ее во время альфа-REM-фаз, быстро приведет к психозу.

— Не понимаю. Если Ивар — чемпион сна, это значит, у него много эпизодов REM за ночь. Но если они расходуют энергию потенциальных психозов, почему он пишет психотические стихи?

— Возможно, он пишет меньше, чем вы думаете, — чем он сам думает. Умеете хранить секреты, мистер Ренгс?

— Так же, как держать дистанцию, — а я в этом чемпион. Моя единственная неудача — Ивар.

— Исключительно важно, чтобы Ивар и Викки об этом даже не подозревали. Не выдайте им ни слова — это может погубить умопомрачительное явление, имеющее место между ними. Умопо-

мрачительное как в том смысле, что происходит во время помрачения их разума, так и в том, что потрясает нас, ученых. Оставляет с раскрытыми ртами. Прошу за мной.

Он привел меня в кабинет по соседству с залом, отперев его дверь тремя разными ключами. И сразу направился к картотеке, которую тоже пришлось отомкнуть несколькими ключами. Оттуда он извлек два толстых досье, с именем Ивара и с именем Викки. Показал содержимое обеих папок — стопки бумаги, где были напечатаны и датированы сны каждого подопытного. К каждой записи подшивались показатели альфа-волн, пульса, дыхания, электрической активности кожи и так далее.

— Лучше всего это объяснить, попросив вас самого соотнести несколько записей, мистер Ренгс. Возьмите сон Ивара за любой день и сравните со сном Викки того же дня. И прежде всего сравните время каждого эпизода REM.

Я снял с каждой стопки верхние страницы, написанные два дня назад. Первый сон Викки начинался в 15:47. Первый сон Квентина — в 15:49. Второй сон Викки начинался в 17:31, Квентина — в 17:32. Я бросил взгляд на остальные страницы в обеих папках. Это соотношение повторялось.

— Так они видят сны вместе? — спросил я.

— Не совсем, — ответил Воландс с блеском в глазах. — Заметьте, что всегда остается разрыв в две, три или четыре минуты. Они близки, но не совсем, особенно в начале.

— Викки всегда начинает раньше Ивара?

— Вот теперь мы к чему-то приходим, мистер Ренгс! Да, порядок неизменен: первой идет Викки, очень скоро Ивар следует за ней! Удивительно то, что каждый раз, изо дня в день, альфа-REM-вспышка Викки *провоцирует* Ивара! От одного этого уже голова кругом!

Кругом в этой части тела у меня шли конкретные части. А именно — оба мои глаза расплывались друг от друга кролем.

— Делаем вывод, что их альфа-REM-паттерны соотносятся по хронологии. Или вы хотите сказать, что содержание ни дать ни взять полная копия?

— Да вы заговорили, как истинный ученый, мистер Ренгс! Я вами горжусь! Да уж, в самом деле, вопрос не в бровь, а в глаз! А ответ способен поразить и то и другое! То есть да, совершенно верно, потрясающе верно: в каждом случае сон Викки вызывает сон Ивара, а потом меняет его содержимое и просачивается в него! До сих пор

их психическое взаимодействие было односторонним — от Викки к Ивару, никогда наоборот! Ее подсознательное диктует его подсознанию, как бы он ни пытался с этим бороться! В этом процессе «ни дать ни взять» Викки старается дать, а Ивар — взять-взять-взять! Вы только почитайте несколько одновременных снов — и сами увидите!

Я взял наугад страницу из стопки Викки. Это была мартовская запись:

Гора человеческих костей, тающих, растекающихся лужами. На ней сидят рок-музыканты, репетируют. Музыкант с ситаром напоминает Ивара, его волосы — как переваренное лингвини. Я говорю, что его пальцы слишком жесткие, а нужен жидкий звук. Он просит показать. Я снимаю с ситара верхнюю деку. Сажусь, ставлю полый ситар между ног. Открываю иллюминированную рукопись тринадцатого века — руководство по ведьминским зельям. Читаю рецепт для растворения костей: к малой кишке кита добавить 7 совиных клювов, 5 гиеньих слезных желез, 13 глаз летучих мышей, щепотку толченых ножек тарантула, порошок из измельченной селезенки носорога и т. д. Смешать, медленно помешивая. Начитывать соответствующее заклинание: если

Ад — кипит, кипит, кипит, то какова температура на небесной крыше — ноль иль ниже? От зелья валит пар. Ситарист говорит: я делаю звук хард-рока для народа, а ты отвлекаешь. Я говорю: нет, я тебя привлеку. Чтобы показать, как это работает, беру из горы человеческую берцовую кость, бросаю в котел, кость с шипением растворяется. Я говорю: вот какой звук надо делать, очень софт-рок, мягкий. Он прячет руки, кричит: убирайся, ты не сделаешь бульон из моих костяшек, ты, стерва из стигийской конуры! Я говорю: если ты знаешь, откуда я, зачем вечно клянчишь адрес и телефонный номер? И добавляю: да что ты сделаешь, если даже позвонишь и придешь, ты, со своими жидкими костями? Он говорит: меня не пугают оскорбления — поговорка гласит, это палки и камни ломают кости, а не оскорбления. Я отвечаю: а ты заходи, приятель, слабо? Говорю, что Стикс, который течет у меня дома, переломает все твои кости — или как минимум размягчит. Хватаю за руку и опускаю ее в котел, по самую подмышку. Рука с шипением растворяется. Он стоит без руки, от раны валит дым, он спрашивает: и как мне теперь играть на ситаре? Я говорю: пальцами ног, если они еще твердые, но зачем делать твердые звуки, если тебе больше

идут мягкие…

Я нашел соответствующий сон Квентина. Он был зарегистрирован меньше чем через две минуты после сна Викки:

«Дом Ньокки». Ужинаю с Викки. Перед ней — дымящаяся миска страчателлы (шпинат и яичные хлопья). Она спрашивает, не хочу ли я окунуть пальцы ей в суп, чтобы размягчить их так же, как все мои кости. Я прошу не нести чушь. Она спрашивает: если я не хочу, чтобы она исправила мои костяшки, зачем водить ее в «Дом Ньокки», что, кстати, переводится как костяшки, «ньокки», — это на самом деле мягкие мучные костяшки. Она помешивает дымящийся суп ложкой. От этого я прячу руки за спину. Викки говорит, у меня хрупкие кости из-за того, что я стараюсь стать тверже, и мне бы не помешала смазка, чтобы сделать их мягче — вернуть к естественному состоянию. Я спрашиваю, почему, когда заходит речь о костях, она вечно вставляет что-нибудь про жидкости. Она говорит, у моих костей есть склонность разжижаться и без ее помощи. Говорит, что сейчас покажет. Бросает в свою дымящуюся страчателлу хлебную палочку, та размокает и начинает разваливаться. Я кричу: хлебные палки и хлебные камни не сломают

мне кости, она может оставить при себе свои чертовы адрес и телефонный номер. Как только мне хочется дать ей щелбан костяшками по лбу, в голову приходят идея для стихотворения. Какая-то такая: если в аду жарко, то сколько градусов в раю, хочу знать, — пять? Она говорит: ну и сколько, по-твоему, ты протянешь у меня дома? Я говорю, что в конуре нет ничего страшнее блох. Она говорит: а в «Доме Ньокки-Ньокки-Ньокки»? Я опять быстро прячу руки за спину…

Я прячу руки за спину. Мои ладони, как выражаются романисты, обильно вспотели. Мысли вернулись к той роковой дате — 22 апреля. Я сам не знал, что хочу увидеть, но принялся искать записи снов за тот день. И нашел:

Викки:

Котел между ног. Я огромная, котел огромный. Помешиваю черное густое варево, в нем плавают огромные кости. От паров несет, как от битума. Пою bassoprofundo[113] *обычное заклинание: Огонь катится с горной махины, махины, махины, чтоб сварить мое зелье, спалить его дом, спалить его добро, смягчить его кости, сварить мое плавильное зелье. Появляется Ивар. Он крошеч-*

---

[113] Примечания: 113
Низкий бас (*итал.*).

ный. Поднимает взгляд, спрашивает: почему ты поешь о горной махине? Отвечаю: потому что я горная жительница Кентукки, варю настои. Он спрашивает: ты знаешь другие песни? А то эта мне не нравится. Я пою что-то еще из своего репертуара: Коль в день избавления, когда надлежит явиться Иисусу, чтоб забрать нас туда, где всем будет по вкусу, и звать его будут Хошимин, — мы за ним побежим? Он спрашивает: что ты там варишь? Я отвечаю: средство, чтоб у тебя не хрустели костяшки. Он спрашивает: а у средства есть название? Отвечаю: конечно, мы называем его «Бетонные азалии Ла-Брея». Он говорит: эта дрянь не растворяет кости — ты сама посмотри, сколько там костей. Я достаю парочку — бедра мастодонта, клыки саблезубого тигра. Спрашиваю: а ты что, мастодонт или саблезубый тигр, чтобы у тебя не растворились кости? Он отвечает: я нашел твой адрес и телефонный номер в другом месте, ведьма. Я отвечаю: не вздумай звонить и приходить, ты, со своими растворимыми костями. Он говорит: это не поможет, держи свою жижу черного зловещего лекарства у себя между ног, меня оно не вылечит. Я завожу другую песню: один лишит тебя всех денег, другой уведет твою жену, пото-

му что где надо быть тверд, как кость, ты есть или будешь лишь хлипкая патока, брось. Чтобы показать, в чем корень его бед, хрущу костяшками, они гремят, как пистолеты, и пугают меня саму. Он умоляет прекратить. Я хрущу сильнее. Он издает ужасный крик и ныряет головой в дымящийся битум…

В тот же день и час — Квентин:

Поднимаюсь по ступенькам к дому Викки. Без приглашения — она никак не дает адрес, но я выманил его у нашего ситариста, который продает ей цветы и травы и работает на ЦРУ. Взламываю замок, вхожу. Она готовит на кухне. Спрашиваю, что она стряпает. Говорит: грибное средство, старый эльзасский деликатес. Я спрашиваю, откуда в вареве столько костей, раз оно из креветок. Она говорит, это костяшки от Мастера Чу, ей это по вкусу, это для нее спасение, только вместо спасения произносит «сабление» и что оно беззубо. Я спрашиваю: Кто? Чу? Она отвечает: нет, не Хо Чу. Прибавляет, может, ты не слышал, но Мастер Чу всегда обсасывает свои костяшки. Остальное помню смутно. Урывками. Она много поет. В одной песне есть слова: «Хашиш мин». Другая — какая-то фолковая, там повторяются слова: Моя хина. Она отбивает

ритм, барабаня костяшками, и спрашивает, не надо ли мне, случайно, средство для своего гриба. Говорю: конечно, надо, и чтобы спастись от ужасного перестука ее костяшек, ныряю в большую кастрюлю ароматного и дымящегося шоколада у нее между ног, где плавают яйца. Ныряя в третий раз, слышу, как она поет: «Аминь, аминь», — пытаюсь крикнуть, что наше название не «Знаминие», а «Знамение», но уже поздно, я только пускаю пузырьки в шоколаде, который на вкус и запах как битум. Чувствую, как у меня отделяется правая рука. Говорю себе: я тону в битуме, мой ум бит…

Я отложил машинописные страницы. Мне пришлось — они уже промокли у меня в руках насквозь.

— Все понятно, — сказал я. — Это какое-то дьявольское экстрасенсорное восприятие.

— Мы еще не готовы наделить это названием, — сказал доктор Воландс, — но уделяем этому полное внимание.

— Вы говорили, что ее подсознательное просачивается? Да оно врывается. Растворяет.

— Нам только известно, что они ложатся в смежных комнатах, быстро засыпают — и через стены начинается устрашающее движение.

— Гранатометы и гаубицы. Вы говорили, люди не провоцируют, когда спят?

— Не ломают же они кости, мистер Ренгс.

— Кости не ломаются, нет. Но плавятся повсеместно.

— И снова затвердевают, когда надо. В отличие от, скажем, Вьетнама…

Бешеный шум из центрального зала. Вопящий голос Квентина. Его контрапункт — визг Викки. Грохот, звон стекла, снова крики. Кто-то звал: «Доктор Воландс, доктор Воландс!»

Воландс растерялся. В эту цитадель сна не допускались громкие звуки. И вновь вопли, визг. Воландс поспешил наружу, я — следом за ним.

Шум исходил из палаты Викки. У него был усиленный, металлический оттенок, потому что в главный зал он проникал через динамики лаборатории.

Квентин буйствовал. Оказывается, он вырвался из своей кабинки к Викки. Он проломил гитару ей о голову — теперь она висела у нее на плечах, а голова торчала из корпуса. Обеими руками Квентин демонически тянул за длинные рыжеватые волосы и вертел голову из стороны в сторону. Его глаза выкатились в бешенстве. Разъявленный рот чуть ли не пускал пену.

— Значит, я лжец! — по-мамонтски трубил он. — Лжец, а! Я тебе покажу, сука!

Она пыталась его оттолкнуть, крича в ответ:

— Прекрати! Хватит, ты, абсолютный маньяк!

В кабинке с ними были лаборанты, они пытались оттащить Квентина. Но он все брыкался и отпихивался с силой десятка не иначе как демонов.

— Покажи, кто пишет мои слова, ты, шелудивая псина! — жутко гремел Квентин голосом конца света. — Я напишу целый монолог тебе на похороны, прямо сейчас, на твоей паршивой черепушке, собственным почерком, каждое слово, ты, беженка из самой вшивой конуры! Хватит с меня, ты поняла?! Топишь меня в оскорблениях! Это ты останешься с переломанными костями, а не я, ты, последняя из помойных шавок!

Она визжала и когтила его руки. Он снова отбрыкнулся от лаборантов.

— Что происходит, что это за безумие? — накинулся Воландс на медсестру, склонившуюся над барабанами электроэнцефалограммы.

— Не знаю! Это было как взрыв! — выпалила медсестра, прижав руки к щекам. — У обоих шли REM-эпизоды, почти совпадающие, как обычно! Когда уровень энергии пошел на спад, мы их

разбудили, как обычно! Они сели за столы, как садятся всегда, начали печатать, а потом Ивар принялся корчить рожи, как будто по мере пробуждения злился все сильнее и сильнее, и вдруг он подскочил, начал сквернословить, бросился в коридор и вломился в палату Викки с ее гитарой, которую наверняка забрал из раздевалки, и, не успели мы его остановить… ужас, кошмар!

Воландс повернулся ко мне с мрачным видом.

— Я это почти предвидел, — произнес он. — И в какой-то степени предчувствовал. Просто не знал, что это случится так рано, и хотел верить…

— Вперед, откалывай шутки про расколотые кости и треск костяшек! — ревел Квентин. — Ну давай! Сейчас я тебе тресну, ты, сука недоделанная! — Он дал ей пощечину костяшками по левой щеке, потом по правой, все это время рассеивая лаборантов.

— Ты просто большая партия смрадного сала — вот почему бьешь тех, кто лучше тебя! — проскрежетала в ответ Викки, крепко зажмуриваясь от шлепков и стараясь вырваться.

— Хватит уже шуток и сальностей! — ярился Квентин, треснув ее по зубам. — Хочешь послушать, как хрустнут твои зубы? Так слушай! — И треснул опять. — А хочешь, чтобы зубы растаяли?

Раз таяли и два таяли! — Новый удар.

— Не можем же мы просто стоять сложа руки, так нельзя! — простонала медсестра.

— Нет, готовьте шприц, самое сильное успокаивающее, самую сильную дозу, — велел Воландс. — Готовьте и ждите указаний. Так или иначе, но мы это остановим.

Он помчался в коридор, я — следом за ним. Мы пробрались в многолюдную кабинку Викки. Квентин практически поднял бедняжку с пола за веревки волос, за эти два алых аспида, все трубя:

— Где теперь твои хреновы волшебные зелья, а? Намажь себе на макушку, чтобы волосы не выпадали, это мое тебе приглашение, ты, костеварка!

— Все, что у тебя чего-то стоит, — это пальцы, вот почему ты только стоишь и трещишь, а мы посмотрим, на что ты способен с девушкой, у которой есть не только шумные пальцы! — плевалась в ответ Викки.

Воландс дал знак, чтобы лаборанты снова подступили к Квентину, и в этот раз мы укрепили их ряды. Они скоординированно набросились на него, а мы с Воландсом оторвали его руки от Викки и прижали к его бокам. Он корчился, разыгрывая змею. Пришлось оставаться у него за спиной, чтобы не попадаться его клацающим

зубам.

— Ну, ну, Ивар, ты перевозбудился из-за ерунды, — елейно нашептывал Воландс. — Ты просто превратно понял, парень.

— Полегче, друг, — говорил я Квентину на ухо. — Ты сам сказал, что здесь хорошая почасовая оплата, вот и не огорчай людей.

— Ты не понимаешь всей их дьявольщины, Гордон, — пыхтел Квентин. — Когда я сплю, мне делают самые худшие уколы — в голову.

— Мы сделаем тебе самый лучший укол, парень, и ты уснешь сном праведника, — ответил Воландс, помогая вывести Квентина в коридор и затем обратно в его палату.

Мы уложили изворотливого парнишку на койку и прижали. Рядом мигом возникла медсестра, потянулась со шприцом к его руке, пока мы скооперировались, чтобы ее удержать.

— Теперь я знаю, что тут творится! — выпалил Квентин мне в лицо. — Они хотят знать, на сколько кусочков смогут меня разломать, вот в чем весь их проект. Внушение во сне, Гордон, я об этом читал. Только я засыпаю, как они льют мне в уши голос этой бесовки, накачивают меня всяческими внушениями этой хохочущей ведьмы, чтобы я видел их запрограммированные сны, чтобы они

узнали, насколько мои сны можно программировать, пока я не взвою, как маньяк; это сонный гипноз, были у меня такие подозрения, но я не пускал их в голову, а сегодня они взорвались в голове и я раскрыл их цирковой номер, у меня уже был ее номер, мне не надо было его ждать, нашел в другом месте, я бы пришел и показал свою твердость и решительность, но отключился, сегодня ваша взяла, шайка заговорщиков…

Его голос становился тише. Чем бы его ни накачала медсестра, это была сильная штука.

— Ни тебе, ни кому-либо другому не могли ничего лить в уши, — сказал я ему на ухо. — Пощупай сам, вокруг нет аппаратуры — ни под подушкой, нигде.

— Без толку искать аппаратуру, — сонно произнес Квентин. — Она запрятана. В трубках кровати где-то за стенами. Льют ее адскую отраву через подушку мне в башку, чтобы я видел сны вопреки себе, а они только и ждут, когда я рассыплюсь и начну бредить. Положите этому конец раз и навсегда. Гордон. Довольно.

Его голос совсем угас — и он уснул. Тут же захрапел, погрузившись в самый крепкий сон.

— Что на него нашло? — спросил я Воландса. — Слишком много Викки? Произошла передозиров-

ка ее вторжений, и он почувствовал заговор?

Воландс стоял с серьезным выражением лица. Он вынул из пишущей машинки Квентина лист и, нахмурившись, пробежал по нему глазами.

— У меня есть одна мысль, что могло случиться; надо проверить в палате у Викки, — произнес он. — Вы не против подождать меня в кабинете, мистер Ренгс? Я оставил дверь незапертой. Подождите там, я скоро принесу все доказательства.

В считаные минуты Воландс присоединился ко мне с записями тандемных снов. Положил их передо мной на стол бок о бок.

— Прежде чем прочитаете, — предупредил он, — обратите внимание на время на графиках альфа-REM. Ответ — в нем.

Так я и сделал. Сон Викки, если не ошиблись стилусы, начался ровно в 15:47.91, сон Квентина — ровно в 15:47.91.

— Без разрыва, — отметил я. — В этот раз они начали ноздря в ноздрю.

— Доказательства неоспоримы. Я не раз задумывался, случится ли это, и если случится, то когда, но и во сне представить не мог, — если простите меня за выражение в таком контексте, — что это свершится так скоро и с таким драматичным результатом. Собственно, я даже

проводил исследование производных по времени, чтобы убедиться в намечающейся тенденции. И тенденция определенно была. Не прямая — существовали колебания и скачки; но мы выявили на графике неопровержимую кривую. Направленную вниз. Когда они начали спать вместе, время их сновидений различалось на пять-шесть минут. Понемногу, урывками, разрыв сошелся до четырех минут, затем трех, затем двух. Было математически доказано, что в конце концов разрыв сомкнется, они будут начинать одинаково — но мы не знали, когда. Сегодня, как видите, разрыв сомкнулся. Причем со взрывом — и множеством всхлипов.

— И что это говорит о бешенстве Квентина?

— Вы читали выдержки из прошлых снов, мистер Ренгс. Вы знаете, что его сны были лишь зеркальными отражениями ее: он сопротивлялся, отбивался от навязанного содержимого, искажал ее символы, маскировал, переделывал. Но сопротивление уверенно сходило на нет. В последние дни его сны все сильнее и откровеннее вторили ее снам. Это объясняет, почему сокращался разрыв во времени начала их снов. Потому что его подсознательное все меньше и меньше сопротивлялось, его сны все быстрее и

быстрее вызывались ее снами. Он становился ее рабом по времени — и то же самое происходило с содержанием.

— А сегодня от разрыва ничего не осталось. Значит, и от его сопротивления?

— Я не вижу иного объяснения.

— Коли так, будет ли его сон полной копией ее — без искажений, влияний, переделываний?

Вместо ответа Воландс придвинул оба машинописных листка. Я начал читать вопреки себе.

Викки:

Школьный кабинет. Предмет: музыковедение. На постаментах выставлено множество инструментов. Ученики, сидящие в брюках по колено и итонских воротничках, — участники «Знамения» плюс Ивар. Лектор — я сама, в профессорской мантии, но при этом и в высокой конической шляпе с эзотерическими символами, плюс разнообразными музыкальными знаками. Я говорю: ученики, сегодня наша тема — песенная лирика. Ученики начинают внимательно конспектировать. Я продолжаю: слово «лирика» произошло от слова «лира» — названия старинного струнного инструмента, чья музыка в прежние времена сопровождала слова. Я снимаю с постамента лиру. Провожу пальцами по стру-

нам. Говорю: один человек в классе, называющий себя лириком, на самом деле «лира», или в английском произношении — l-i-a-r, «лжец». Потому что заявляет, что пишет свою лирику, но сам только ворует у соавтора. Говорю: а теперь я представлю вам соавтора, который не лжец, а истинный лирик, достойный сопровождения лиры. Не будет ли так добр войти наш приглашенный лектор, мистер Гордон Ренгс? Входит мистер Ренгс в одной только набедренной повязке из леопардовой шкуры — скорее даже стрингах. Я говорю: теперь мистер Ренгс удостоит нас парой слов о музыкальном потенциале человеческих костяшек как инструмента для аккомпанемента. Мистер Ренгс начинает: друзья, любители музыки; мелодичные и гармоничные возможности человеческих костяшек безграничны, если они в хорошем состоянии и издают насыщенный, гулкий звук, а не режущий уши хруст, как бывает от слишком сухих и оттого хрупких — то есть тех, что в самом твердом состоянии того гляди хрустнут и рассыплются. Позвольте продемонстрировать на примере одной из моих композиций. Он начинает петь: Огонь катица с горной махины, чтоб спалить твой дом и добро, при этом извлекая из костяшек насыщенные

и гулкие фоновые аккорды ксилофонными молоточками. Говорит: в классе присутствует человек, заявляющий, будто играет песни вроде «Моей хины» на своих насыщенно лиричных костяшках, но я утверждаю, что его костяшки только хрустят, прямо как хрустят слишком хрупкие кости у Хемингуэя, и если вкратце, то это я написал данную песню, как и все его песни, а он лишь грязь и притворяется глыбой, хотя способен лишь на плагиат…

И так далее. Сегодня Викки грезила изобильно. Я решил, что уже начитался. С неохотой взялся за второй лист.

Квентин:

Лекторская аудитория. Какой-то курс по музыковедению. На постаментах — много инструментов. Присутствует «Знамение» в полном составе и я, все в коротких штанишках, с широкими накрахмаленными воротничками и большими галстуками. Лектор — Викки, в докторской мантии, высокой конической шляпе со всякими магическими и музыкальными символами. Она начинает: сегодня наша тема — песенная лирика. Мы начинаем конспектировать. Она говорит: лирика происходит от слова «лира», название старинного струнного инструмента, на кото-

ром в прежние времена себе аккомпанировали вокалисты. Снимает лиру со стойки. Бренчит по струнам. Говорит: один человек в классе, называющий себя лириком, на самом деле лжец…

Я почувствовал боль у корня языка, словно за него с силой дернули.

— Да, пожалуй, это можно назвать прорывом, — произнес я.

— И прорывом, и срывом, — ответил Воландс.

— Вот что я из всего этого извлек. Ивар сомневается в своей потенции. Подозреваю, это потому, что однажды ночью, 22 апреля, он видел возбуждающий эротический сон о Викки и решил поехать к ней и подтвердить свою вирильность, но сам вместо этого накурился марихуаной и отключился — видимо, чтобы избежать этого испытания. Допустим, так и есть. Хорошо. Но Викки чувствует в нем неуверенность с самого начала. Из-за собственных злых потребностей она начинает давить на эту слабость, реальную или воображаемую. Этим увлекается ее подсознание. Ее сны сосредотачиваются на его мозоли, неделя за неделей. Сегодня они попадают в яблочко — и лишают его боевого духа…

— Я бы сказал, это очень проницательные выводы, мистер Ренгс. Он избегает, она атакует — на

это указывает вся их последовательность снов. И сегодня днем, когда он остался без защиты, без сил отбиваться от ее издевок, а ее сон ударил в полную силу, произошло вторжение. Тут он решил, что такой ужасный сон мог явиться только извне. О том, что источник — он сам, не могло идти и речи. Тогда он решил, что все это обман, мы плетем против него запутанный заговор с помощью внушений во сне, накачивания голосами и тому подобного. Он, разумеется, прав в своих подозрениях о психическом взломе. Но чего он не знает, поскольку мы не могли это объяснить, — что разбой этот исключительно ментального порядка, без всяких электронных штучек.

— Одного я только не пойму. Почему она выставила меня в своем сне автором лирики в набедренной повязке?

— Об этом лучше спросить саму Викки, мистер Ренгс. Она ждет вас в кампусе. Она считает важным с вами поговорить.

Перед уходом я заметил:

— Вам стоит пересмотреть свои теории. Возможно, самые худшие войны зарождаются во снах.

— Право, мистер Ренгс, — парировал он, — вы же не скажете, что Ивар и Викки — типичные

сновидцы.

— Может, и нет. Но они типичные, пусть и излишне энергичные, искатели конфликта.

— Вот почему нам нужно их всесторонне исследовать, мистер Ренгс. Благодаря открывшейся между ними насыщенной сети андеграундных туннелей мы получаем редкую возможность получить электроэнцефалографические и прочие ответы о самом американском феномене — общности. Вам разве не кажется, что они идеальная пара, настроенная друг на друга? Быть может, больше узнав о них двоих, мы поймем, что общность — это одна из самых причудливых и невообразимых версий тотальной войны, если не ее главная причина…

На ее лице были синяки, но она не теряла присутствия духа. Стоило нам устроиться на скамейке, как она начала:

— Я ни в чем не виню Ивара.

— Очень понимающе с твоей стороны, — сказал я. — А кого ты винишь?

— Никого, мистер Ренгс. Организация исследований гарантировала, что рано или поздно так и случится — теперь я это прекрасно понимаю.

— И что ты имеешь в виду?

— Я же не дурочка, мистер Ренгс. Теперь я знаю,

что на самом деле в лаборатории исследовали — по крайней мере, между мной и Иваром, — некую экстрасенсорику, а у нас с Иваром ее навалом.

— Откуда ты знаешь?

— А у меня есть голова на плечах, чтобы думать. И подумать есть о чем, после сегодняшнего. Мне не надо видеть записи снов Ивара, чтобы знать о совпадениях, перехлестах, отголосках, — и о том, что это нельзя объяснить никакой другой коммуникацией, кроме как экстрасенсорной. Например, песни, заклинания — зовите их как угодно — из моих снов. Вы что, думаете, я не заметила, как они напоминают лирику Ивара для «Знамения»? Я пою о температуре небесной крыши — ноль иль ниже, но при этом не говорю ему о сне ни слова, и все-таки раз — он хочет знать о температуре рая, пять. Это же надо как-то объяснить, правильно?

— И твое объяснение?..

— Экстрасенсорика, мистер Ренгс, тут двух мнений быть не может. Вопрос лишь в том, в каком направлении поступает информация, от него ко мне или от меня к нему. Теперь я чертовски уверена в направлении: все время от него ко мне. Поэтому сегодня во снах и появились вы. В моем — и, видимо, у Ивара, хотя тут я могу только

предполагать.

— Что-то я перестал понимать, Викки. Как это экстрасенсорные послания Ивара вызвали меня?

— Теперь я вижу всю картину, мистер Ренгс, я вас уверяю. Вы его соавтор! Он часто этим хвастался, когда я сделала комплимент его стихам! Он пользуется словом «соавтор», чтобы претендовать на творческое сотрудничество с таким выдающимся писателем и учителем, но сам скрывает за похвальбой, что на самом деле это вы пишете замечательные тексты, а он их только ворует и подписывает своим именем! Ивар — творческий импотент, но перенимает потенцию у вас, потому что вы славный и щедрый человек и не мешаете забирать всю славу. Ну а его наверняка втайне мучает совесть из-за такой скользкой лжи, и это влияет на его сны — а значит, и на мои. Сегодня совесть наконец прорвалась и захватила его сон. В своем сне он сделал голое признание в плагиате, и оно перелилось в мой. Конечно, Ивар не в состоянии признать, что ужасное откровение во сне исходило от него, вот оно и перелилось. Ему важно было заявить, будто все началось с меня и каким-то коварным путем передалось *ему*. И, конечно, отрицать, что это признание — правда. Мы отлично знаем, как это называется

— «проекция»: тайком переносить свои преступления на других. Вот он и примчался за мной, чтобы избить за собственные признания. Но, слушайте, я знаю, что не ошибаюсь в направлении переноса. Знаю из-за великолепных стихов, которые пишет такой вялый слабак, как Ивар. Они выросли у вас, невероятно талантливого человека. А он их только забирает. Они переносятся в мои сны, даже те, над которыми он еще работает, которые я еще не слышала и знать не могу. В общем, вот что я думаю: это насыщенный поток психических данных *через* Ивара в меня. А исходит он, если хотите знать источник, от *вас*. Я разобралась в логистике, мистер Ренгс. Ивар — только ретранслятор чудесных возбуждений и побуждений от вас ко мне. Вот что я хотела вам сказать. Когда между двумя людьми идет такой бурный поток, им обоим надо признать этот факт и задуматься о том, что это значит…

Боль у корня языка пульсировала все сильнее. Для меня это было новой ситуацией: Муза обвиняет вдохновленного ею в плагиате — или сокрытии соавтора.

— По-моему, ты преувеличиваешь размер моего эмоционального экспорта, Викки. Начать с того, что я и правда мало участвую в стихах

Квентина, поверь…

— Бросьте вы, мистер Ренгс. Как такой олух может сам выдумать столь потрясающую мысль: «Если придет Спаситель и поведет к солнцу в зените и его будут звать хошимин — мы пошумим?»? В этом есть что-то гениальное. Я уж могу отличить олуха от гения.

— Тогда ты должна отличать и то, что мой гений не порождает подобные строчки в моем собственном творчестве. Но вот твои слова об олухе, Викки. Я бы хотел на этом задержаться. Похоже, ты считаешь, что Квентин слаб не только в стихотворчестве. К примеру, почему ты постоянно говоришь о его костяшках? Их хрупкости и тому подобном?

— А, началось все просто. Однажды в лаборатории, пока мы ждали, когда нас позовут, я, чтобы скоротать время — ведь из него собеседник никудышный, — сказала что-то о Хемингуэе. Вернее, это он рассказывал, что вы должны прочитать лекцию в Сантанском филиале АННУСа на тему сломанных костей в произведениях Хемингуэя, а я заинтересовалась и сказала: точно-точно, целая панорама переломов, мужчины у Хемингуэя вечно что-нибудь себе ломают и испытывают серьезные проблемы с потенцией, поэтому,

возможно, сломанные кости — это не только анатомия, но еще и символика. Я сказала, что у Роберта Джордана в «По ком звонит колокол» ничего не получается с Марией, потому что ему прострелили ногу на мосту, а Джейк Барнс не может сойтись с леди Бретт в «И восходит солнце», потому что у него на войне отстрелили мужское достоинство: разве это, в конце концов, не одно и то же? Тогда-то я впервые заметила забавную привычку Ивара: он сосал костяшки, как леденцы, и у него легко краснеют щеки. Я тогда спросила: ты что делаешь, хочешь растворить костяшки? Он покраснел еще больше и пробормотал что-то слабоумно нелепое, что-то, кхм… на тему сосания — что я курю, а он нет. Собеседник из него правда аховый.

— Вернемся к твоему сегодняшнему сну, Викки. К тому сну, который, по-твоему, создал и передал тебе Квентин. Почему Квентин вывел меня на сцену в набедренной повязке, как думаешь?

— А что тут сложного! Вы творец, он — подражатель и вор! Творец могуч, правильно? Источник всего потока! Мужик в набедренной повязке — это ходячее воплощение потенции, а сопливый плагиатор — это пацан в детской одежде, который ничего не может со своим маленьким каранда-

шиком, только сидеть и слушать, пока говорит настоящий мужчина, и бессильно записывать за ним! Все это так просто — неудивительно, что дурачку пришлось на меня наброситься! Конечно, он подумал, что унизительный образ пришел от меня, а не от вас.

— Понятно.

— Я умираю как хочу спросить еще одно, мистер Ренгс. Откуда вы столько знаете о синовиальной жидкости?

Я прикусил язык — ровно в том месте, где он еще ныл от прошлого прикусывания.

— А я знаю?

— И много. Понимаете, недавно мы с Иваром болтали и, когда я заметила, что он часто хрустит костяшками, он ответил, что это как-то связано с синовиальной жидкостью. Сказал, это вы ему все объяснили, что она содержит элементы наподобие муцина, ее выделяют синовиальные оболочки суставов, сумки и сухожильные влагалища. Ну, я вам прямо скажу: на меня это произвело впечатление. В студенчестве я хотела стать врачом и ходила на подготовительные курсы в медшколу, на физиологию и тому подобное, поэтому знаю о синовиальной жидкости все, но я удивилась, откуда столько знать не-ученому?

Где вы набрались таких специальных знаний, мистер Ренгс?

— Наверное, тут и там. Если ты писатель, приходится много читать.

— Вы могли бы узнать название жидкости, да. Но столько подробностей о сумках, суставах, муцине и прочем? Что-то тут не сходится, хоть вы и умный человек.

— Викки, когда-то я дружил с фламенко-гитаристом Сеговией. Он учился на медика, пока не отказался от науки ради своей первой любви — гитары. Мы часто засиживались вечерами, болтали о том о сем, и он рассказывал о медицине многое, что запало мне в память. Прости, с тобой было очень интересно пообщаться, но мне уже пора идти, готовиться к лекции…

— К новым лекциям о статистическом распределении переломов у Хемингуэя? Я бы хотела послушать.

— Нет, эту тему я уже закрыл, дальше я беру более жидкую тему — упоминания птомаина в литературе XIX века Ближнего Востока.

— Ого. Вау. Вот это неоспоримая дичь, мистер Ренгс. Мне снился сон о Птомаине и Иерусалиме, один из моих первых, — попросите доктора Воландса показать записи, если не верите. Если

вам еще нужны доказательства движения между нами и его направления…

— М-да. До свидания, Викки.

— Увидимся, мистер Ренгс.

— Точно. Узнаешь меня по набедренной повязке.

Простите, что нарушаю главное правило писательства. Все знают о так называемой обязательной сцене. Подводя к конфликту, закладывая основу для столкновения, ты, как говорится, обязан довести дело до конца. Это известно как «движение от завязки к развязке». И в этом рассказе ДБДГ, полном быстрого движения глаз, явно есть семена моей новой встречи с Викторией Развоу, лобовой, полномасштабной встречи, где свершится все, на что намекалось. Но этой встречи, обязан сообщить я, не было, и на этом я свои обязательства считаю выполненными. Неважно, как быстро вы закатываете теперь глаза. В этом моменте дорожки небыли и неотредактированных деталей расходятся. На сцене, например, приходится доводить завязку до самого прилизанного завершения. В настоящей жизни можно бросать свои завязки, сколько хочется. Вот великое преимущество действительности над искусством — и вот почему многие предпочита-

ют искусство. Я только хочу сказать, что, будучи заинтересованным в спасении своей шкуры, а не в сюжетоплетстве, я не был обязан снова сталкиваться с Викторией Развоу — и не столкнулся.

Однако состоялся еще один телефонный звонок. Незачем и говорить, что поток напряжения шел от Викки ко мне. Я имею в виду, что это она позвонила и подняла большие волны — не иначе как альфа; возбуждая во мне немало REM.

— Мистер Ренгс, я только хотела сказать, что купила новую гитару, на деньги от проекта «Сон», и хотела бы ее показать.

— Викки, ты вдвое моложе меня.

— И что? У меня из-за этого вдвое меньше веса? Роста? Тепла? Желания?

— Из-за этого я в два раза старше тебя.

— А я за то, что отделяет мужчин от мальчишек. За то, чтобы переходить к мужчинам, не тратя драгоценное время на мальчишек.

— И тебя не волнует межпоколенческий разрыв?

— Меня волнуют люди, которые умеют его преодолеть. И ведь необязательно преодолевать весь — я встречу вас на середине. Или в любом баре по вашему выбору. Раз уж на то пошло, то и у вас в квартире. Скажем, через 15 минут.

— А ты, как жидкость, не стоишь на месте.

— Хорошую кость не так просто найти. Ради нее стоит и доехать.

Говорят, за каждым успешным мужчиной должна стоять женщина. Да, но аспирантка заклинательных искусств, в мини-юбке и с гитарой на плече? Роберт Грейвс может быть прав в том, что источник всей поэзии — это первозданная Мать-Супруга-Госпожа-Муза, грудастая Белая Богиня, украшенная аспидами и кукурузными початками. Но все ли слова она вкладывает нам в уста? Все до единого? Что мы тогда есть, как не передающие станции, эхокамеры?

В голове зыбко предстал образ: мы с Викки бок о бок, вместе в блаженстве, ее подсознательное диктует все мои книги моему подсознательному. Я представил, как в каком-то экстрасенсорном будущем она получит законное право на мои роялти. И засудит. За плагиат.

— Викки, может, ты и жидкость, но ведешь себя, как несколько окаменелых лесов в движении. Отчего я, скажу прямо своим языком без костей, каменею. И мне незачем напоминать твоему острому уму, что это не лучшее состояние для твоих целей. Боюсь, мои окостенения и твои разжижения обречены навечно оставаться разъ-

единенными. Вот тебе мой ответ — и мягкий, и твердый.

— Вы кремень, а не человек, мистер Ренгс. Вот что мне в вас нравится.

— А ты текучая девица, Викки, которой я невероятно восхищаюсь. На расстоянии.

— С другого конца разрыва?

— Без конца надрывно.

— Я слышала, «Знамение» записывает новую песню Ивара, что-то под названием «Птомаин в Иерусалиме». О, Иисус, Петр, Павел и Мария! Ну разве это не доказывает…

— Чаша моя преисполнена[114]. Причем преисполнена целой благодарной мертвечиной мигреней, щедрой ложкой кошмаров и холдинговой компанией эпилептических припадков. Желаю тебе и всему твоему поколению добра и свободной дороги, без пробок. Прощай, Викки.

Леопардовая шкура. Хо. Силлогизм-серенада-свитер. Хм.

---

[114] Примечания: 114
Псалтырь, 22:1–6.

Послесловие

Я никогда не обращал особого внимания на фантастику, но когда обратил в последний раз — в 22:43, 29 октября 1948 года, — был о ней невысокого мнения.

Был день с особенно сильным смогом над Лос-Анджелесом. Сам я был не в Лос-Анджелесе, а в Гринвич-Виллидже, читал самодовольный отчет в местной *Herald-Trib* о том, что скоро ангеленос сделают последний вдох, а также без удовольствия осознавал, что мои подоконники, стол, пишмашинка, рукописи, а следовательно, и легкие уже обросли сажей.

Помню, какие мысли у меня мелькали. Что отравление воздуха, земли и всего живого — это не изобретение фантастов. Что заражение всей планеты находится за пределами самого буйного воображения фантастов и вызвано учеными — по рассеянности, всего лишь как побочное явление. Другими словами, наука оказалась фантастической лучше любой научной фантастики.

Тогда я и перестал думать об НФ и обратил внимание на науку. А как автор нефантастики, я знаю, как найти источник.

Я видел, как разыгрывается дурная шутка, когда в честь нашей первой высадки на Луне «эксперты», которых попросили телекомментировать это событие, оказались двумя корифеями НФ. Они на эмоциях говорили о том, что они оба предсказали путешествие на Луну в своих фантастических романах — думаю, под хихиканье всего научное сообщества.

Они предсказали лишь физическое перемещение человека с Земли на Луну — а значит, они не предсказали ничего. Ни сути этого торжества, задуманного отвлечь нас от неудачных результатов перемещения граждан США во Вьетнам. Ни тошнотворной ничтожности шоубиза. Ни пиар-выдаивания этого важного события Мерзким Диком[115], ни той цирковой атмосферы, когда все присваивают славу себе. (У Никсона, конечно, хватало своих пиар-причин. Он остро нуждался в том, чтобы его потный образ ассоциировался с недвижимостью в космосе, где нет статических помех и прочих препон от Хо.)

Уж точно не предсказали они дальнейшую

[115] Примечания: 115

Имеется в виду президент Ричард Никсон, при котором Вьетнамская война дошла до наихудшего состояния, с самым большим числом военных преступлений и жертв, и затем закончилась незадолго до его скандального ухода из-за Уотергейтского скандала.

коммерческую эксплуатацию космической программы, наводящую на мысли о том, что все растраты НАСА нужны только для того, чтобы придать пафос большой науки Скотту Карпентеру[116] для его съемок в рекламе «Стандарт Ойл», где предлагается фальшивая добавка к бензину F-310 как верное средство от загрязнения воздуха, люмбаго и, возможно, импотенции.

НФ-корифеи могли верить, будто наука оправдала все их чаяния, но она лишь показала их «авангардными» выдумщиками, отстающими от реальности. И я с пользой для себя продолжил и дальше не думать об НФ.

Так я хочу расставить точки над i: представленные здесь рассказы — не НФ. Это художественная литература, да, и касается неких научных интересов, но не НФ, у которой весь посыл в том, что наука охватывает все, а следовательно, любое фантастическое произведение (хоть и не рассказывает ни о чем, кроме науки или идей науки, ловко снятых с поверхности) по определению рассказывает обо всем. Но НФ по натуре своей — о вещах, иногда замаскированных под людей. И нужна совсем другая литература, если тебя

[116] Примечания: 116

Скотт Карпентер (1925–2013) — американский космонавт из первой семерки.

интересуют люди, не сведенные до вещей.

Эти рассказы не стоит считать чем-то больше, чем разминкой для пальцев. Порой писатель расслабляется и пополняет силы, набросав рассказ мизинцем после долгой работы обоими кулаками. Могу подтвердить по своему богатому опыту, как трудно и весьма утомительно долго печатать руками, сжатыми в кулаки. Среди многого прочего это приводит к множеству опечаток. Эти рассказы — не минорные, но и, хочется надеяться, не тривиальные. Один из их посылов — из науки нельзя вывести ничего значительного, если не приподняться над темой и не увидеть, что она не синонимична человеческому состоянию, как бы ее демонические и бездумные усилия в наши дни ни посвящались исцелению этого состояния с помощью истребления. Тем самым, понятно, заодно истребляя и саму науку. Но чтобы это разглядеть, нужен не просто ученый или фантаст. А еще глаз, освобожденный от науки, нужен для того, чтобы разглядеть, что почти вся наука охренительно скучная — а эта идея чужда и для ученых, и для фантастов.

«Бисквитная позиция» рассказывает о реакции красивого аляскинского маламута на напалм — не на идею напалма, а на сам опыт. Напалм

— это, опять же, непосредственный продукт науки, который фантасты не сумели измыслить в голове, пока ученые не сделали его шкварчащим во-и на — плоти. Я утверждаю, что отношение миловидной и умной собаки к опыту напалма — а не на идею, — находится вне рамок НФ, особенно при том, что сами фантасты, всегда такие занятые чрезвычайно замысловатыми телесценариями для «Затерянных в космосе» и «Стар Трека», редко выражают хоть какое-то отношение к напалму.

Это даже в конце концов больше рассказ о Вьетнаме, о человеческом отношении к человеческому и животному мясу, чем о напалме и, следовательно, науке. Фантасты как будто не имеют ничего особенно против американских зверств во Вьетнаме. Их как будто вообще не больно интересует политика.

Наука никогда не пробудит у ученых истинное общественное сознание — они же слишком заняты разрушением общества и его окрестностей по многочисленным контрактам с военно-промышленным комплексом. Но если наука не зарождает жаркие политические мнения и у фантастов, то они — очевидный образчик принципа «хвост влияет собакой».

Это правило можно сделать из частного общим.

Если совесть в целом не пробуждает у писателей грохочущих политических мнений, особенно в наши тупиковые времена, то мы доказываем, что у данных писателей нет совести.

С другой стороны, рассказ «Девушка с быстрым движением глаз» — это игривое, хотя и, может, не совсем бессмысленное исследование тезиса, что рок-авторы, называющие себя самыми свободными умами и душами, на самом деле диктуют свои стихи друг другу. Медиум, в котором происходит диктовка (по крайней мере, в рассказе), — это экстрасенсорные чувства в период REM, или глубокого сна, у обеих сторон, и тут мы ступаем в область какой-никакой науки. (Хотя гораздо чаще «медиум для диктовки» — это плагиат, что действительно может объяснить некоторые очень быстрые движения глаз.)

Думаю, где-то за всеми игрищами меня интересует то, что различные официальные акторы начинают наблюдать за нашими снами, поскольку во все дневные активности вломились уже давно. Опять же, наблюдающие устройства основаны на новых науках подслушивани- и подглядываниметрии, поэтому, пожалуй, можно сказать, что этот рассказ задевает мир науки хотя бы по касательной — только чтобы отшатнуться

в полном отвращении.

Но героиня рассказа, имея в своем распоряжении средства для заглядывания в чужие головы, особенно мужские, — средства, придуманные задолго до изобретения колеса, — одновременно и прозорлива, и безразлична к науке. Это, разумеется, не кто иная, как Белая Богиня Роберта Грейвса, которую я вольно приодел в прозрачную блузку и вручную крашенные джинсы клеш.

Один из самых печальных фактов об ученых — как и о фантастах, которые ошиваются рядом в надежде подхватить выпавшую идейку-другую, — в том, что они совершенно потеряли из виду ту БГ, которая вдохновляет всех нас, и мнят, будто их фантазия и горячечные выдумки подчиняются только им одним. Мы-то с вами знаем, что это работает не так. Не буду повторять заезженное клише о том, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Не знаю, какой уважающей себя женщине захочется, чтобы ее видели за нынешними учеными или фантастами. Но какое-то жуткое создание должно-таки щекотать этих людей сзади — какая-то ведьминская версия гордой старой Музы; скажем, одна из Горгон или все три фурии разом. Не могут же они быть самостоятельными авторами своих ужасов.

И представить себе не могу, зачем они претендуют на то, чтобы их так называли. Если бы лично я имел мало-мальское касательство к подобной работе, я бы точно свалил вину на какого-нибудь соучастника.

Наверное, нельзя слишком придираться к ученым из-за этого слепого пятна: слишком уж они заняты своими военными контрактами, чтобы смотреть по сторонам или себе за плечо, не то что внутрь себя. Но вот фантастов за этот недосмотр винить точно можно. Грейвс четко дает понять: сия Бледная, но Божественная Дама вдохновляет всех, кто способен открыться всеобщему единству. И как раз слепота к Фатаморганной Фам-Фатали — слепота, унаследованная у ученых, кого они так почитают и величают, — не дает фантастам вдохновиться. Объедки науки могут дать писателю формулы, чтобы поиграть; а электрические эманации Непокорной Музы могут вселить пыл.

Роман «1984» Оруэлла многими считается классикой НФ. Чем бы роман ни привлекал ваш мазохистский интерес, одно мы знаем о нем точно: он не имеет никакого отношения к 1984 году, который нас всех скоро ждет.

Оруэлл — и Брэдбери после него — не смогли

экстраполировать в будущее никаких ужасов жутче, чем управление мышлением и сожжение книг. А теперь мы знаем, что мышлением требуется управлять все меньше и меньше, потому что им и пользуются все реже и реже. Да и книги сжигать не придется. Уже сейчас нераспроданные издания в мягкой обложке сбываются миллионными тиражами дорожным подрядчикам для прокладки шоссе.

Простой способ избавиться от всей крамольной печати — выпускать все больше и больше фильмов, вгоняющих в нарколепсию, вплоть до того, что все создатели и потребители образов сомнамбулически приплетутся на голосование и изберут в президенты Маршалла Маклюэна.

Будущее — не столько за репрессиями, сколько все больше и больше за целлулоидной пленкой. Зачем пугать людей страшилками о сожжении книг? Уже скоро они никому даром будут не нужны.

Я навскидку назвал эту пару рассказов «Наблюдаемые сны и стратегические кремации», поскольку считаю, что наука изо всех сил трудится, чтобы сотворить для нас мир коллективных снов и усиленного миссионерства — как в других краях, так и на отечественном фронте, — с помо-

щью усовершенствованного оружия мгновенной жарки. Благодаря науке — и ее ауре неприкасаемости, которую ей подарила НФ, — ученые будут автоматически обугливать нас снаружи (во имя безопасного мира для муравьев или какого-нибудь грядущего вируса), систематически вторгаясь к нам внутрь (во имя сбора информации, проведения переписи, подкармливания компьютеров). Именно это или что-то наподобие нам и предлагает капитализм на рубеже своей озверевшей, апокалиптической фазы.

Наука с самого начала была тем, чем зрелищней всего стала сейчас: служанкой капитализма. НФ всю дорогу была служанкой, а также паразитом науки. Это предательство писательской профессии, которая в самом серьезном своем виде может быть служанкой разве что презрения и атаки.

Наблюдение за снами, конечно, усовершенствуют, чтобы сделать кремации еще стратегичнее. С технической поддержкой продажных ученых. И радостным ликованием их НФ-жрецов с трибун.

И те, кому хватает мятежности читать, вместо того чтобы проживать чужие жизни в кино, могут хоть чем-то помешать ученым. Надо всего лишь помешать правительствам и обществен-

ным системам, которые нанимают ученых для разрастающейся работы по наблюдению и кремациям. Помешать в данном контексте значит — довольно просто — свергнуть.

Я хочу сказать, что следующее десятилетие должно стать периодом самой радикальной массовой политизации и поляризации. Сейчас мы, как в тридцатых, выходим из периода сексуального бунта — то есть богемности — в период бунта политического — то есть социальной революции. Иными словами, богемность шестидесятых, параллельная двадцатым, начинает политизироваться так злобно, что сулит выставить в сравнении самых радикальных левых из пролетарских тридцатых любителями.

Это точно, как выстрел, — и я пользуюсь этим термином благоразумно: в следующие годы революции повалят лавиной. Победят они или нет, смогут ли потом не выродиться и не разжиреть, будет во многом зависеть от того, сколько людей прекратят вести эрзац-жизнь в кино и набивать себе головы неактуальным мусором НФ, перестанет уважать ученых, уже сросшихся с тем, что надо свергнуть. И снова начнут читать — то есть читать об идеях, идеях скрежещущих, идеях разжигающих, — отчего им в конце концов на-

скучит НФ, которая суть те же фильмы, формулы, бездумно переложенные на страницу вместо литературы.

У меня есть опасное видение. У меня есть опасное видение. У меня есть опасное видение. Я вижу раз и навсегда свергнутый капитализм; воистину свергнутый, а не подмененный новой структурой власти, где точно так же восхищаются учеными и эксплуатируют их и их фальшивую харизму. Единственная страна социализма или коммунизма, которая меня интересует, — это та страна, где наука и ученые кажутся немного нелепыми: может, им там и трафят, но никогда не поддаются; никогда их не обслуживают, не дают им забыть свое место. Гуманизм — а если коммунизм не гуманизм, как его определили Маркс и Энгельс, то это ничто, — попросту несовместим с сайентизмом.

А значит — финал, наконец-то, наконец-таки, реакционизма, лежащего в сердце НФ, всего технопоклонства. И финал сентиментального мистицизма, что, хочет он сам или нет, только укрепляет голодную экономику прибыли; финал всех мелких интеллектуальных служанок Великого Бога Мамоны.

И, разумеется, конец этому слизняку — от-

мирающему капиталистическому строю, что порождает подобную ученую прислугу и НФ-приживал; вот так бонус.

Предисловие «С пальцем в моем Я»



Одна из самых суперлюбопытных черт всей «общности фантастов» — то, что образы жизни у многих наших выдающихся писателей являют собой диаметральную противоположность тому, о чем рассказывают их произведения. Накидаю пару примерчиков.

Айзек Азимов пишет самую размашистую фантастику, что когда-либо задумывал простой смертный (и я не только о «Похотливом старикашке» авторства «доктора А.»). Но он наотрез отказывается летать на самолетах. О космических полетах на другой конец Вселенной строчит одной левой, зато правая дрожит, что у твоего паралитика, стоит приблизиться к «Боингу 747».

Роберт Силверберг писал романы, где голограммы — обычное дело, и все-таки до недавнего времени у него дома не было телевизора.

Не буду больше называть имен, потому что не хочется принижать друзей, но если меня припрут к стенке (например, если бы вы взяли в заложницы мою маму), то я бы выпалил имена десятка лучших фантастов, чьи произведения рассказывают о нравах и обычаях завтрашних миров, написанные со знанием дела и чуть ли не самыми пустяковыми деталями, вплоть до манеры одеваться и говорить. Но сами все до одного одеваются так, будто на дворе все еще начало сороковых, а говорят на сленге прямиком из книжной серии «Стадс Лониган». Они даже громко жалуются на удобства, которые подарены технологическими чудесами, предсказанными в их же книгах. Как будто считали эти чудеса чего-то стоящими только в воображении; но дай им воплотиться в реальность — и авторы уже косятся на них с презрением, обычно приберегаемым для тех из своих рядов, у кого выходит бестселлер.

И поэтому в лице нового поколения писателей, — в котором многие ведут такой образ жизни, какой старшие и более сдержанные

члены нашего клана могут назвать «бессмысленным» или «контрпродуктивным», слишком уж он напоминает об образе жизни хиппи, — мы имеем первых фантастов, которые вышли не из палп-журналов, книг в твердых обложках или даже мейнстрима… а из телевизора.

Первое НФ-дитя своего времени — Дэвид Джерролд.

Прорыв Дэвида Джерролда, он же Дэвид Джерролд Фридман, случился, когда он писал сценарии для «Стар Трека» — популярного пару лет назад сериала. Он написал эпизод «Проблема с Триблами», отмеченный за изобретательность, придурковатый юмор в стиле Генри Каттнера, знание спецэффектов и профессионализм высшего порядка. Заверяю вас, писатели, что клеймят сценаристику бастардом искусства: это многоуровневый, очень требовательный и сложный формат. Хотел бы я получать по доллару за каждого именитого фантаста, что мнил, будто может ворваться в телесценаристику, только чтобы месяц спустя, под завершение рабочего дня, вылететь за ворота студии на своем именитом заду. И когда я говорю, что в первой победе Дэвида Джерролда налицо знания и профессионализм, я не просто мелю языком.

Дэвид продал «Проблему с триблами» в 1967-м. Серию номинировали на «Хьюго» в категории «Лучшая драматическая постановка» на Всемирном конвенте научной фантастики (проводился в Беркли в 1968-м), и она уступила только другому сценарию для «Стар Трека», что довольно неплохо для первого раза. Между прочим, на том же конвенте вновь повторился древний и обременительный фэнский обычай: выставлять на аукцион час времени писателя (средства жертвуются в фонд на погашение долгов — и если вы бывали на НФ-конвентах, то знаете, что здесь скорее подходит слово «угашение»). Вашего редактора пустили с молотка за семьдесят два доллара, Джерролда — за двадцать два, а одного из его пушистых трибблов — за двадцать два доллара *пятьдесят* центов, и это что-то говорит о рыночной стоимости двухметровых семидесятикилограммовых русоволосых кареглазых сценаристов «Стар Трека» в сравнении с бесполезными пушистыми шариками. Но никто и не отрицал, что «трекки» чокнутые.

Продолжаем…

После неприличной славы, сопровождавшей экранизацию его сценария, Дэвид (Водолей, 24.01.44) продавал для «Стар Трека» другие трит-

менты и серии, но большинство не пошли дальше предварительной стадии. Разумность и этика кое-кого из производственной команды «Стар Трека» уже давно стоит под сомнением, но в данном случае их осторожность и здравый смысл сияют с силой сверхновой.

После впечатляющего начала Дэвид начал мощные атаки по нескольким фронтам.

Его наняли написать тритмент экранизации «Чужака в чужой стране» Роберта А. Хайнлайна и уволили (как божится Дэвид) за то, что он все сделал как надо. То есть «продюсер» — голливудский господин, купивший права на книгу, потому что ее прочитала его девушка, но не *он*, — уволил Дэвида, когда тот попросил взять предложения его девушки о том, как писать фильм, и засунуть себе, ей или им обоим в нижние отверстия в тональности Ć. (Также Дэвида нанимали написать оригинальный сценарий «Что случилось с Миллардом Филмором?».) На момент написания этого предисловия ни один фильм не выпустили в свет — в отличие от Джерролда.

Он продал множество рассказов в журналы и оригинальные антологии, в том числе *Nova* Гарри Гаррисона и «НОВ». Рассказ, что вы сейчас прочитаете,– третий или четвертый по счету

от Дэвида. Сначала он подал очень длинную и невероятную идиотскую вещицу под названием «В мертвых землях» (*In the Deadlands*). Полная глупость. Целые страницы вот такого выпендрежа:

Они топали весь тот день.

Топ.

Топ.

Топ.

Топ.

Топ.

Они топали до ночи.

И больше ни черта на всей странице. И мне бы пришлось отвалить ему за эту ерундистику пять тысяч долларов просто по числу страниц. Нет, нам куда лучше подходит рассказ, предлагаемый ниже. К тому же он ничего такой.

Дэвид писал и продавал романы. «Летающие волшебники» (*The Flying Sorcerers,* оригинальное название — «Оговорившийся Валшебник») в соавторстве с Ларри Нивеном вышел в августе 1971-го в *Ballantine*. «Дети вчерашнего дня» (*Yesterday's Children*)– куплены *Dell*, но пока не опубликованы. Весна 1972-го, «Космический скиммер» (*The Space Skimmer*) от *Ballantine*, а также сборник рассказов, пока без названия. Вдобавок первая продажа в издательство книг с твердыми обложками: «Че-

ловек, который сложил сам себя» (*The Man Who Folded Himself*) в *Random House*.

Дэвид — редактор антологий: расхваленное и ожидаемое «Поколение» (*Generation*) от *Dell*, с новыми авторами, а также «Протозвезды» (*Protostars*) от *Ballantine*.

И все это при работе на полную занятость продавцом в ликеро-водочном. А теперь попробуйте сказать, что у Джерролда нет всех задатков *великого* фантаста!

Но шутки в сторону, детишки…

Недавно Дэвид вернулся после пяти месяцев в Ирландии. Он жил в пригороде Дублина Дун-Лэаре, всего в четырех кварталах от Башни Джеймса Джойса и в нескольких милях от другого фантаста-экспата — Энн Маккефри. Клянется, что никак не связан со скармливанием протестантов католикам.

Посмотрим, что еще вам стоит знать о Джерролде? Мм, да пара пустяков.

Выпускник Колледжа штата в долине Сан-Фернандо, 1967-й, бакалавр театральных искусств, до этого учился в Младшем колледже долины Лос-Анджелеса по специальности «искусство» и «журналистика», потом — Университет Южной Калифорнии, специальность — «кинематограф».

Его профессиональная карьера началась в 1963-м, в 19 лет, когда он выпустил десятиминутный образовательный мультфильм «Положительный взгляд на отрицательные числа», для которого писал сценарий, делал анимацию, работал тушью и краской, за что заслужил почетное упоминание от Ассоциации образовательных фильмотек.

Играет на скрипке. Не особенно талантливо.

Выпускник студенческого братства «Зета Бета Тау», откуда вашего редактора вышвырнули в 1954-м во время учебы в Университете штата Огайо и о котором, заверяет ваш редактор, нельзя сказать ничего хорошего. Минус два балла Джерролду.

В 1968-м, во время номинации на «Хьюго», ему было 23 года — самый младший действующий член Гильдии сценаристов Америки, куда входят голливудские авторы сценариев для кино и телевидения.

И, наконец, о рассказе и его приобретении стоит сказать следующее — чтобы Джерролд не задирал нос. На фоне вашего редактора, чьи проблемы с эго подробно описаны таким психиатрическим авторитетом, как европейский фантаст Станислав Лем (его вывод чуть-чуть не доходит до того, чтобы посадить меня как опасного психопата), у

Дэвида Джерролда эгомания неуютных масштабов. Когда он предложил рассказ для публикации, я, хоть он стоил тех же денег, что предлагались всем авторам, потребовал, чтобы он взял только треть — чисто за само включение в «НОВ». Уверяю вас, это из любви и сострадания, а не из-за скупости.

Ведь без таких поступков, регулярно спускающих с небес на Землю, Дэвид при своей предыстории и чудесном потенциале стал бы совершенно невыносим.

Я знаю, что вы подойдете к этому рассказу с данными фактами в уме, со всей сдержанностью и беспристрастностью. И когда скажете Джерролду, как вам понравилось, говорите небрежно.

Нам ведь всем с ним еще жить.

С пальцем в моем Я
Дэвид Джерролд



Посмотрев этим утром в зеркало, я обнаружил, что у меня в левом глазу пропал зрачок. И почти вся радужка. Осталось только пустое белое место и смазанное пятно на месте радужки.

Сначала я решил, что это из-за контактных линз, но потом вспомнил, что на мне нет линз. И никогда не было.

Выглядело это довольно странно, этот вперившийся в меня пустой глаз, но самое тревожное — я им все еще видел. Закрыв рукой здоровый правый глаз, я обнаружил, что зрение в левом не

хуже обычного, и вот это уже встревожило.

Если бы я им не видел, я бы не волновался. Это бы всего лишь значило, что за ночь я ослеп на один глаз. Но чтобы зрачок просто взял и пропал, не повлияв на зрение, — вот это тревожно. Вдруг это симптом чего-то серьезного.

Конечно, я подумал позвонить врачу, но я никаких врачей не знал, да и стыдно было беспокоить незнакомца своими неприятностями. Но глаз никуда не девался, так на меня и таращился, и я наконец пошел искать телефонный справочник.

Но справочник как будто пропал за ночь. Я подпирал им книжки на одном конце полки, а теперь его не было. Как и самой полки — и тут я призадумался, а не обворовали ли меня.

Сначала глаз, потом телефонный справочник, а теперь полка. Не будь тогда вторник, я бы заволновался. Собственно, заволноваться я все равно заволновался, но вторник — это мой особый день для тяжелых дум обо всем, что могло случиться и не случилось. А день, чтобы волноваться за личное имущество (например, за глаза и телефонные справочники), — это понедельник, и его надо было ждать еще шесть дней. Когда придет понедельник, тогда и потревожусь за справочник, если не будет поводов серьезнее.

(Мне такое распределение тревог помогает приводить ум в порядок — если отводить на каждую проблему ограниченное время, можно сохранять объективный взгляд.) Но вопрос глаза все-таки оставался, и это беспокоило. Больше того — это *искажало* и мой объективный взгляд.

Решил я тогда что-то немедленно предпринять. Пошел искать телефон, но где-то в процессе пропал и он, и эту экспедицию пришлось свернуть.

Какой ужасно досадной была эта новая неприятная привычка неодушевленных предметов исчезать. Стоило мне только начать что-то искать, как оно пропадало, словно мне назло. Я будто играл в прятки, а раз я давно оставил такие детские развлечения позади, решил их больше не поощрять и отказался искать предметы. (Пусть уж сами ко мне приходят.)

Я решил дойти до доктора пешком. (Для этого пришлось бы надеть шляпу, но для этого пришлось бы ее искать, а я боялся, что тогда исчезнет и она.)

На улице я заметил, что прохожие как-то странно на меня поглядывают. Немного погодя понял: видать, из-за глаза. Я-то о нем и думать забыл, не задумывался, что он покажется странным другим.

Повернул я было назад, за темными очками, как понял, что, если буду их искать, то обязательно исчезнут и они. Поэтому я опять развернулся и направился к доктору.

— Пусть уж сами ко мне придут, — бормотал я об очках. Чем наверняка испугал пожилую даму, потому что, проходя мимо, она обернулась и уставилась меня самым что ни на есть странном образом.

Сунул я руки в карманы пальто и пошел вперед. Но почти сразу же я нащупал в левом кармане что-то твердое и плоское. Оказался это футляр с темными очками. И правда сами ко мне пришли. Было приятно видеть, что неодушевленные предметы в моей жизни еще как-то мне подчиняются.

Я достал очки и надел, но только обнаружил, что левая линза выцвела до молочно-белого цвета. Она идеально шла к глазу — вот только глазом я видел, а через матовую линзу — уже нет. Пришлось просто терпеть любопытные взгляды прохожих и идти прямиком к врачу.

Но тут немного погодя я смекнул, что не знаю, куда иду: как отмечалось выше, никаких врачей я знать не знаю. И я ничуть не сомневался: стоит только начать искать кабинет врача — и я навер-

няка уже его никогда не найду. Тогда я встал на тротуаре и пробормотал:

— Пусть уж сами ко мне придут.

Должен признаться, что сам относился к этой процедуре с подозрением — если вспомнить, что сталось с темными очками, — но, по правде говоря, выбора-то у меня никакого не было. Развернувшись, я увидел табличку на здании у меня за спиной. И на ней говорилось: «Медицинский центр». Ну я и вошел.

Подошел к секретарше и посмотрел на нее, а она — на меня. Прямо в глаз (левый). И спросила:

— Да, чем можем вам помочь?

— Мне бы врача повидать, — ответил я.

— Это конечно, — ответила она. — Вон идет по коридору. Если успеете оглянуться, то увидите. Смотрите! Вот он!

Оглянулся — и она была права, по коридору впрямь шел врач. Я его увидел. Я понял, что это врач, потому что на нем были туфли для гольфа и свитер; потом он пропал за углом. Я обернулся обратно к девушке.

— Я не это имел в виду.

— А что вы имели в виду?

— Я бы хотел, чтобы врач повидал меня, — сказал я.

— Ах! — воскликнула она. — Что же вы сразу не сказали?

— Я вроде так и сказал, — ответил я, но очень тихо.

— Нет, не сказали, — возразила она. — И говорите погромче. Вас почти не слышно. — Она заговорила в микрофон: — Доктор Гиббон, пожаалуйста, пройдите к стойке…

Положила микрофон и с ожиданием посмотрела на меня.

Я ничего не сказал. Я ждал. Немного погодя из двери поблизости вышел другой мужчина в туфлях для гольфа и свитере и подошел к нам. Посмотрел на девушку за стойкой, и она сказала:

— Этот господин хотел, чтобы его повидал врач.

Врач отступил на шаг и посмотрел на меня. Смерил взглядом с головы до ног, потом попросил повернуться спиной и посмотрел еще. Потом сказал: «Хорошо», — и ушел себе обратно в кабинет.

— И что, это все? — спросил я.

— Ну конечно все, — ответила она. — Вы же только об этом просили. С вас десять долларов.

— Погодите, — сказал я. — Я же хотел, чтобы он посмотрел мой глаз.

— Ну, — сказала она, — сразу бы так и сказали.

Вы же знаете, как мы тут заняты. У нас нет времени, чтобы звать врачей посмотреть на любого, кто зайдет. Если хотите, чтобы он посмотрел конкретно глаз, сразу бы так прямо и говорили.

— Но я не хочу, чтобы мне просто смотрели на глаз, — возразил я. — Я хочу, чтобы его вылечили.

— А что такое? — не поняла она. — С ним что-то случилось?

— А вы не видите? Зрачок-то пропал.

— Ой, — сказала она. — И правда. Вы его искали?

— Еще как искал, — ответил я. — Везде искал — и, наверное, как раз поэтому никак не найду.

— Может, вы его где-нибудь забыли, — успокаивающе проворковала она. — Где вы были в последний раз?

— Нигде.

— Так может, в этом ваша проблема.

— Я хотел сказать, что вчера вечером сидел дома. Никуда не ходил! И я плохо себя чувствую.

— Вы и выглядите плохо, — сказала она. — Вам бы увидеть врача.

— Уже, — ответил я. — Он ушел в тот коридор.

— Ой, точно. Вспомнила.

— Слушайте, — сказал я. Я уже начинал кипя-

титься. — Можете вы назначить мне прием у врача или нет?

— Так вот чего вы хотите — *прием?*

— Да, только этого я и хочу.

— Уверены, что только этого? Не придете потом опять жаловаться, что мы сделали что-то не то?

— Уверен-уверен, — ответил я. — Не вернусь.

— Хорошо. Это нам и надо знать.

К этому времени уже все стало как-то не так. Мир словно сползал набок — все смялось, и вытянулось, и перекосилось, чтобы вещи соскользнули к краю. Пока что за край ничего не свалилось, но мне уже мерещились трещины на поверхности.

Я тряхнул головой, но добился только тихого стука — как от очень маленького орешка в очень большой скорлупе.

Присел я тогда на диван подождать — у меня все еще не получалось мыслить ясно. Туман сгустился пуще прежнего, застилая все. Видимость упала до нуля, диспетчеры грозили приостановить все полеты, пока не будет поднят потолок. Я возражал: не надо, чем вам потолок не угодил? Но они меня не слушали.

Тогда я встал и попытался приподнять потолок рукой, но не доставал, и пришлось влезть на стул.

И все равно потолок был твердым и неподатливым. (Зато вблизи я и в самом деле разглядел множество трещин и изъянов.)

Я опять надавил, но тут меня остановили сильная рука на плече и глубокий голос.

— Прилягте на диван, — произнесла она. — Просто закройте глаза. Расслабьтесь. Прилягте и расслабьтесь.

— Ладно, — ответил я, но сам лег не на спину. Я лег на живот и прижался лицом к твердой неподатливой поверхности.

— Расслабьтесь, — повторила она.

— Попробую, — ответил я и поднатужился, чтоб расслабиться.

— Посмотрите в окно, — сказала врач. — Что видите?

— Вижу облака.

— Какие?

— Какие???

— Да. Какие?

Я посмотрел опять.

— Творожные облака. Ошметки творожных облаков.

— Творожные облака?.. — переспросила врач.

— Да, — ответил я. — Творожные облака. Твердые и неподатливые.

— Крупнозернистые или мелкозернистые?

— А? — не понял я. Повернулся и посмотрел на нее. Туфель для гольфа на ней не было, зато был свитер. Вместо туфель для гольфа — туфли на высоких каблуках. Но это все-таки была врач, сразу понятно. На туфлях все равно были шипы.

— Я задала вам вопрос, — пророкотала она своим глубоким голосом.

— Да, задали, — согласился я. — Вы не против повторить?

— Нет, не против, — ответила она и терпеливо ждала.

Я тоже ждал. На время между нами возникла пауза. Я отпихнул паузу и спросил:

— Ну так и какой вопрос?

В этот раз она сказала:

— Я спросила, какие были облака, крупнозернистые или мелкозернистые.

— Сдаюсь, — сказал я. — Какие?

— Это вы очень правильно сдались, иначе нам пришлось бы захватить вас силой. Сдавшись сейчас, вы упростили жизнь нам обоим.

Все это казалось бессвязным, опасно качалось на краю. В картинке проступали трещины все шире, начали выпадать и медленно осыпаться мелкие осколки, разбиваясь, как множество

мыльных пузырей.

— Э-э, — сказал я. — Э-э, доктор… у меня что-то не так с белком.

— С белком?

— Э-э, да. Пропала радужка.

— Пропала радуга из белка? — Доктор была потрясена. — Как удивительно!

Я мог только кивнуть, что и сделал. (Хотя, может, переусердствовал. Отслоились еще несколько осколков и спланировали на пол. Мы за ними понаблюдали.)

— Хм, — сказала она. — У меня есть теория. Хотите выслушать?

Я не ответил. Она бы рассказала свою теорию, хотел я выслушать или нет.

— Это конец света, — заговорщицки прошептала она.

— Прямо сейчас? — спросил я довольно встревоженно. Я же еще кота не покормил.

— Нет, но скоро, — успокоила она.

— А.

Мы посидели в молчании. Потом она прочистила горло.

— Я думаю… — начала она медленно и замолчала.

— Это хорошо, — ответил я, но она не расслы-

шала.

— …Я думаю, мир существует только в виде отражения в нашем разуме. Существует только потому, что мы так думаем.

— Я думаю, следовательно, я существую, — сказал я. Но она не обратила внимания. Попросила помолчать.

— Да, вы существуете, — подтвердила она. (И это хорошо, что подтвердила, — я-то уже заволновался, а день был не тот. В последний раз, когда я проверял, был вторник.) — Вы существуете, — сказала она, — потому что так думаете. И мир существует, потому что вы так думаете.

— Значит, когда я умру, мир закончится вместе со мной?.. — спросил я с надеждой, запоминая на будущее не умирать.

— Нет, это уже вздор. Ни один человек в здравом уме не верит в солипсизм. — Она почесала свой глаз вилкой и продолжила: — Когда вы умираете, вы перестаете существовать. Но мир идет дальше — благодаря всем остальным, кто еще жив и еще верит, что мир существует. (Верить они перестали только в вас.) Понимаете, мир — это коллективный плод всех отдельных воображений.

— Простите, — напряженно ответил я. — Я не

верю в коллективизм. — Я слегка расслабился от напряжения, чтобы сесть. — Я убежденный республиканец.

— Как вы не понимаете? — продолжала она, не слушая. — Массовая галлюцинация о том, что мир реален, существует из-за собственной инерции. Вы в нее верите, потому что она была, когда вы только начали существовать, — то есть когда все остальные поверили, что вы существуете. Когда вы родились, вы увидели, что мир следует конкретным правилам, в которые верят другие, и тоже поверили в правила — а ваша вера укрепляет их еще сильнее.

— Вот оно как, — сказал я. Я лежал и слушал, придумывая, как бы повежливее уйти. Глаз начал подныватьь, и я уже не видел потолок. Это снова наплывал туман.

— Взгляните на церковь! — вдруг сказала она.

— А?

Я попытался. Поднял голову и попытался взглянуть на церковь, но туман был непроглядный. Я не видел даже собственных мысков.

— Взгляните хоть на нее,– сказала врач.– *Вера* — это основа религии: вера, что вам рассказывают правду! Разве в церквях не говорят иметь веру, что вера может творить чудеса?! А я вам

так скажу: и правда может! Если много людей во что-то поверит, оно станет реальностью!

Мой глаз пульсировал уже совсем больно. Я попытался сесть, но меня удержали ее сильные руки. Она придвинулась и горячо зашептала:

— Да! Это правда. Правда!

— Как скажете, — кивнул я. Она продолжала:

— К счастью, церковь давным-давно сменила чудеса на консерватизм — сейчас она борется за сохранение статус-кво! Церковь — это один из последних оплотов реальности, одно из последних явлений, кто сдерживает хаос!

— Хаос?

— Да. Хаос.

— А.

— Мир меняется, — пояснила она. — Его меняет человек.

Я кивнул.

— Да, знаю. Я тоже читаю газеты.

— Нет-нет! Я не о том! Человек меняет мир, сам того не замечая! Все больше и больше людей верят, что действительно могут изменить окружение — и чем больше они верят, тем сильнее оно меняется. Приведу пример: окаменелости!

— Окаменелость?

— Да, окаменелости. Никто не находил никакие

окаменелости, пока люди не поверили в эволюцию, — а стоило в нее поверить, как уже шагу не ступишь, не споткнувшись об окаменелости.

— И вы правда в это верите? — спросил я.

— Да! — с жаром ответила она.

— Значит, так и есть.

— Вот именно! — согласилась она, и я понял, что она правда в это верит. Очень она это убедительно показала. Собственно, чем дольше она говорила, тем больше верил я сам.

— А зачем вы мне все это рассказываете? — спросил я.

— Потому что мы в большой опасности. Вот почему, — свирепо зашептала она. — Мир меняется не единообразно. Все начинают верить в разное — и образуют области не-каузальности.

— Это как прыщи? — уточнил я.

— Да, — ответила она, и тут я увидел, как у нее на кончике носа вырастает прыщ. — Это действует так: один фанатик встречает другого фанатика, потом они вдвоем встречают еще кого-нибудь с той же галлюцинацией, и уже скоро кучка фанатиков верит в одно и то же: и уже скоро иллюзия становится для них реальностью — они противоречат известной реальности и подменяют ее своей нереальностью.

Я кивнул и сосредоточился на том, чтобы получше закутаться в туман.

— Чем больше перемен, тем больше люди верят в перемены и тем сильнее они становятся. Если продолжится в том же духе, мы можем остаться единственными людьми в своем уме во всем мире — и мы в опасности…

— Нашу реальность вытесняют? — попытался угадать я.

— Хуже того — все разные мировоззрения начинают разрушать структуру пространства! Меняется даже форма Земли! Ведь когда-то она и правда была плоской — планета стала круглой, только когда люди поверили, что она круглая.

Тогда я повернулся кругом и посмотрел на врача, но она уже пропала в тумане. Осталась только ее улыбка.

— Но мир на самом деле в форме груши,– возразил я.– Я так читал в *Scientific American*.

— А почему она, по-вашему, то и дело меняет форму? — спросила улыбка. — Потому что одна страна начинает верить, что она больше, чем есть. И Земля выпирает, чтобы ее вместить.

— А.

— Во всем виноваты СМИ — это телевизор влияет на наше представление о мире! Нам твердят,

что мир меняется — и в это верит все больше и больше людей.

— Ну, — сказал я. — Мир сейчас не в лучшей форме, любая перемена будет на…

— О боже — и вы туда же! Вы все говорите о том, что мир рассыпается на глазах, трещит по швам…

И тут пропала и улыбка.

А я остался. Еще я был прав. Это стали замечать и другие. Огромные куски поверхности пошли пятнами и дырами. Вываливалось все больше кусочков, но вода с той стороны еще не прорвалась.

Я потыкал пальцем в одну дырку и нащупал за ней мягкую студенистую поверхность. Наверное, вода еще не до конца оттаяла.

Пока что с моим глазом ничего поделать не удалось: он не только болел как ненормальный, но вдобавок начались тик и ощущение, что он помутнеет.

— Вы еще не нашли себя??! — резко спросил динамик в парке. (Я и не искал — и, исходя из моего опыта поисков, даже не собирался.) Я пошел дальше.

Впереди был другой голос — человека на подиуме.

— Мы должны быть благодарны нашей великой нации, — лаял и щебетал он, — где столь многим разрешается верить во столь многое.

Я потер глаз. У меня было тошнотворное ощущение, что в потолке разверзаются огромные трещины.

— Любой может сказать, что думает, любая группа может верить в то, что выберет, — да мы весь мир переделаем, если пожелаем! По нашему образу!

Все пошатывалось вправо и влево, правильно и неправильно.

— Но главное величие нашей нации, — продолжал он, — как бы мы ни противоречили друг другу, все мы сплоченно работаем на общее благо! Наша великая демократическая система позволяет сократить наши различия, чтобы все могли прийти к компромиссу. Только перебирая все альтернативы, можно выбрать наилучшее решение. В долгосрочном периоде высшая свобода и индивидуальность помогут нам достичь больше всего блага для больше всего людей!

И звучало это так хорошо.

Когда я вернулся домой, мастера как раз заканчивали клеить обои. Поразительно, какой прочной кажется поверхность, если спрятать все

трещины и изъяны за аляповатым цветочным фасадом.

Я уже не видел, где осыпалась штукатурка, да и голая поверхность опорной структуры пропала в тумане. Собственно, в глаза бросилось только одно: потолок стал куда ниже.

Я задержался, чтобы погладить кота. Он помахал мне, когда я вошел.

— Типа, привет, человек, — сказал кот. — Повторяй по буквам: дайте мне «И»!..

— Не могу. У меня проблемы с «Я».

— Ну тогда дай доллар.

— Зачем?

— На улет.

— А. — Я дал ему доллар и подождал, когда будет улет.

Он сунул банкноту себе в пасть, запалил, взял чемодан и быстро поднялся на высоту в тридцать тысяч футов. Затем повернул на запад. Этого я не понял. Туман становился непрогляднее, и диспетчеры не пропускали никого.

Я хотел о чем-то спросить, но уже забыл о чем. Ну и ладно, видать, ничего важного. Но хотелось бы понять…

Выступавший на телевизоре человек оказался врачом. Он выступал на телевизоре, потом

уселся на нем, свесив ноги перед экраном (шипы его туфель царапали картинку) и сказал, что наркотики уничтожают реальности. Наркотики могут уничтожить здоровый разум, изменив восприятие мира так, что человек вовсе перестанет воспринимать реальность.

— Главное, чтобы не менялось то, во что он верит, — пробормотал я и заглушил его. Потом выключил. Становилось поздно, хотелось спать. Но я запомнил на будущее сходить и пополнить по рецепту лекарство. Обои уже начали отшелушиваться.

Собственно, к этому времени остался только остов структуры, и выглядел он так, будто сделан из шоколадного пудинга. А может, так и было. А может, дело и правда в наркотиках. Может, они и *правда* меняют наши коллективные туманы воображения — но я ничего такого не заметил.

Послесловие

Я часто задумывался, в чем разница между безумцем и политиком. Подозреваю, это как-то связано с количеством последователей.

Например, кем был бы Мао Цзэдун без 700 миллионов китайцев? Очередным сварливым старикашкой.

Помню, однажды видел карикатуру, на которой психиатр смотрит в окно, как к нему прибывает пациент. На улице — королевский экипаж с четырьмя лошадьми в изысканной упряжи. Кучер, два лакея и отряд охраны царственного вида — и все очень преданно помогают человеку, до жути похожему на Наполеона.

Эта карикатура говорит лучше тысячи слов. Когда мы начинаем принимать всерьез безумцев, начинаются неприятности. Сами посмотрите, что случилось, когда Германия прислушалась к чокнутому обойщику.

Слишком многие наши безумства терпят просто потому, что они безобидны по отдельности: но умножь их в миллион раз — и нате, это уже нация с культурной болезнью. Все произрастает из личного самовосприятия — которое человек

произвольным образом принимает за порядок вещей во всем мире. Эти идеи случайным образом накапливаются в течение молодости — вместе со всеми остальными мнениями, неврозами, фиксациями и прочая, что свойственны человеческому животному.

(Иногда я задумываюсь, как некоторые люди способны на то, на что способны со впечатлительными детьми: неужели они не понимают, что вредят не ребенку, а взрослому, который из этого ребенка вырастет? Ах, но это уже риторический вопрос…)

На данный момент, похоже, не существует способа доказать, что у одного человека набор идей, мнений, неврозов, фиксаций и прочая правильнее, чем у кого угодно другого, не говоря уже о нормальности. (Что такое норма?)

С учетом всех этих знаний о людях — и особенно тех, кто мнит себя *лидерами*, — я спрашиваю: не стоит ли перед тем, как давать ответы, определиться с тем, как звучат вопросы?

Предисловие «В коровнике»



Пирс Энтони больше любого другого писателя повлиял на то, что вообще *существуют* «Новые опасные видения» и будущий заключительный том в (как оказалось) трилогии. Я рассказывал об этом в общем предисловии к книге, но, думаю, стоит и повторить здесь, в небольшом разделе перед рассказом «В коровнике» самого Пирса — тем самым *рассказом*, что разыскивались с самой задумки «ОВ».

В предисловии к рассказу Дэвида Джерролда,– который вы только что прочитали, если подошли к этой литературной сущности последовательно,– я отмечал, что Дэвид попал в НФ не через традиционные каналы, принятые у старомодных

знатоков, а через телевидение — символ и путь его времени. Вместо того чтобы пробиваться через палп-журналы, десять лет писать чушь по пенни за слово или клепать бестолковые приключения в мягких обложках за полторы тысячи (за четыре месяца работы), Джерролд прорвался в НФ и к роскошным гонорарам с другим *видом* мечтаний. Но только когда он стал писать те самые рассказы по пенни за слово для журналов — в каких-то отношениях работы слабее его сценария, — его стали рассматривать всерьез. Масса читателей и фанатов НФ — люди ветреные. Они не так легко принимают новичков, даже если их уже приняли редакторы и коллеги-писатели. Фэнам как будто не нравится слишком быстро возносить на высоты новых авторов, которые постоянно ломятся в двери и окна зала НФ-славы.

Чаще всего фэны уже какое-то время знают писателя, следят за его жизнью и творческим путем, особенно если он начинал среди фэнов и писал в любительские журналы, после чего наконец начал продавать по рассказику тут и там. И в конце концов, когда фэн/писатель отработал достаточно в глазах всезнающих наблюдателей, его нехотя допускают в ряды профессионалов — даже если он печатается уже десяток лет. Это любопытная

цеховая динамика, и Роберт Силверберг однажды сказал: такой писатель развивается в ремесле, как наутилус помпилиус — головоногое, которые пробирается через камеры собственного панциря, пока наконец не выползет и не умрет. По сути, он несет на спине собственное прошлое. Как и фантасты, которым приходится завоевывать одобрение фанатов НФ. Фэны никогда не забывают. Им трудно воспринимать автора *сейчас*, как есть. Для них он все еще восемнадцатилетний, старается перевоплотиться из любителя в профессионала. И это может быть смертельно — когда тебя в глазах «публики» вечно затмевает собственная неисправимая история. Некоторые авторы так и не перерастают свою потребность в признании от крошечной и самой шумной части фэндома. А есть в нашем жанре и те, чье творчество навечно застыло на месте, потому что фэны не хотели, чтобы они шли вперед, менялись, расширялись. Если сомневаетесь в истинности моих слов — а я с некоторым стоицизмом ожидаю неизбежную отповедь в фэнзинах на мою суровую критику Верных,– спросите хотя бы Айзека Азимова, что он чувствует из-за слов фэнов, будто его лучшая вещь — это «Приход ночи», который вышел в 1941-м, за годы до первой из его сотен с

чем-то книг. Спросите хотя бы Филипа К. Дика, или Джеймса Шмица, или Роберта Хайнлайна, или любого из множества писателей, которые избегают контактов с фэндомом: почему они решили удалиться от организованных фэнов и их изданий? Спросите хотя бы Курта Воннегута, почему он так боролся, чтобы на его творчестве не стоял ярлык «научная фантастика». Если, конечно, сможете всех их найти.

Редко, редко в нашем жанре писатель возникает быстро и абсолютно, аки Афина изо лба Зевса, цельным и сформированным, чтобы делать, что хочет, и плевать с очень высокой колокольни на мнения фэнов с их часто заранее закосневшими представлениями о том, что можно и что нельзя.

Так случилось с Шекли, так случилось с Урсулой Ле Гуин, так случилось с Лафферти, так случилось с Норманом Спинрадом, так случилось с Томом Дишем…

И так случилось с Пирсом Энтони.

Он появился между закрытием приема рассказов в «Опасные видения» и их выходом. В тот один год — 1967-й — Бетти Баллантайн (с ее сверхчутким и почти всегда поразительно верным чутьем на новых писателей) выпустила «Хтон» Пирса Энтони, и он мгновенно стал сенсацией.

Роман в тот год номинировали и на «Хьюго», и на «Небьюлу», и, хоть награды он не собрал, имя Пирса Энтони вдруг перешло в первый ряд. Его творчество публиковалось во всех лучших журналах, а самое главное — люди говорили о том, что он пишет. Он стал фокальной точкой препирательств, а когда в фэнзинах стали выходить его возмутительно горячащие ответы критикам, стало ясно: этот человек готов выйти на бой против мелких самонареченных литературных диктаторов — и выбить из них всю дурь, если их мнения бестолковые, капризные или непродуманные. А часто и просто так.

Я познакомился с Пирсом Э. Д. Джейкобом в 1966 году, в творческой мастерской Деймона Найта в Милфорде (Пенсильвания), и, хотя мы далеко не сразу стали тем, что каждый из нас зовет «друзьями», уважать друг друга мы стали сразу. Я знаю, что уважал его, и он уверяет во взаимных чувствах. И пускай я не припомню, чтобы Пирс в той мастерской повышал голос хоть раз — в обстановке, когда и обсидиановые истуканы впадают в истерику, — его присутствие чувствовалось, и ему хватало личных убеждений, чтобы давать уверенную литературную критику на некоторых присутствовавших богов. Когда мы

все пошли на ужин в не лучшее заведение в Милфорде, Пирс заказал особое вегетарианское блюдо (с трудом), и из-за его реакции на замечания и взгляды других писателей я зауважал его только больше. Стало ясно, что Пирс сам себе голова, что он уже выбрал себе образ жизни, который обогатит его больше всего, и что он «странный» во всех самых похвальных смыслах этого слова. В чем-то он самый интересный из всех фантастов. Его необычность, между прочим, сильно ощущается в его творчестве, и — если простите за приравнивание писателя к тому, что он пишет, — глубина его сюжетов во многом связана с глубиной его души.

Так или иначе, в «ОВ» Пирс опоздал, зато он написал для одного фэнзина очень длинную и очень проницательную рецензию на антологию, где упомянул, что если будет продолжение, то он обрушит на меня кару Господню, если его не возьмут. На тот момент, когда я и не думал о следующих сборниках, я жалел, что закрыл приемку перед самым появлением Энтони, такое глубокое впечатление произвел на меня «Хтон».

А потом, когда Ларри Эшмид переключил стрелку и направил мой маленький красный вагон на ветку, ведущую к «НОВ», когда стало очевидно,

что авторы из первого тома не должны повторяться, я принялся составлять список тех, кого хотел взять в эту книгу. И первое имя в списке — «Пирс Энтони». Он словно воплощает в себе все то, что нужно для книги, предназначенной продолжать идеи «ОВ»: он прославился в период «новой волны» (прости меня господи за этот термин), он пишет в своем уникальном стиле и настроении, он хорошо освоил дисциплину лучшей НФ прошлого, он не скрывает своих мнений, у него новые и необычные темы — и он отважен.

И я попросил у него рассказ.

Он прислал мне рукопись «Коровника», и она мне очень понравилась. Я внес несколько предложений и спросил, не хочет ли он добавить предлог «В» к названию.

Вот его частичный ответ, приложенный к этому знакомству с автором в качестве интересного (надеюсь) взгляда на совместную внутреннюю кухню редактора и писателя.

14 октября 1968

Дорогой Харлан!

Увидев, что рукопись «Коровника» пришла назад, я понял, что мне отказали… опять, а у этого конкретного рассказа, конечно, нет никаких надежд на публикацию где-нибудь еще. Но ты

сохранил рукопись в целости, добавив картонку, и даже прислал в своем конверте. Я приложил марки, но не конверт, потому что верил, что ты возьмешь рассказ. И вот я достал рассказ… и обнаружил, что «картонка» — это на самом деле шестистраничное письмо на бумаге цвета картона с *согласием* взять рассказ. Ах ты засранец, опять меня напугал.

Сначала к делу: все можно. Ты просишь о редактуре: не *вырезать* мясистые куски, а усилить их личным участием протагониста. Да ты говоришь на моем языке. Суть такова: я знал, что присланная версия рассказа сыровата, потому что сосредоточился на жестокости, на эпатаже. В том виде я не считал рассказ высокой литературой — но мне казалось, его можно сделать лучше, если проработать героя, Хитча. Его предыстория, невзаимная любовь, некая эмоциональная параллель с увиденным в коровнике — но я всего этого не сделал, потому что А) это удлиняет рассказ, который и так могли не принять из-за содержания, и Б) потребовались бы дополнительная работа и мастерство, а я и так уже слишком часто вкладывал все силы в рассказы, только чтобы получить отказ на всех рынках. Человек колеблется перед тем, как вскрыть вену еще дальше, если подозре-

вает, что кровь идет не пациенту, цепляющемуся за жизнь, а в зловонную канализацию.

Ладно — теперь я вижу, что мы сходимся во мнениях насчет рассказа, что удлинение и усиление личного участия героя не будет зря потраченным временем — и я это сделаю. Ты предлагаешь, чтобы Хитч ее трахнул (этого слова в рассказе не будет — не потому, что я ханжа, а потому, что это бьет не по тому интеллектуальному уровню, в который я целюсь в этом тексте) и привязался. Так что я задумал подать всю эту мерзкую сцену — дойка, анальная температура, жар эрекции (как называется постоянная и болезненная эрекция? Мне нужно было слово для рассказа, не мог вспомнить и нигде не нашел. Я думал, перипениурез или что-то в этом роде, но в моем словаре такого слова нет. Чертовски раздражает, когда знаешь, что слово есть, но не знаешь, где найти.), — практически как раньше, и показывать потом контакт с Йотой, телушкой-подростком, может быть слишком…

Главная причина, почему теперь я пишу романы,– моим НФ-романам еще ни разу не отказывали; при этом я не могу продать больше одного рассказа из пяти, хотя все пишу на одном уровне. Журналы как будто решили не брать ничего, где

есть хоть какая искорка оригинальности или воображения — но не будем возвращаться к этому ворчанию. Ты доказал истинность всех жалоб, когда выпустил «ОВ». (Знаешь, я тоже не слышал ни от одного редактора, что он бы *опубликовал* «Наездников пурпурных пособий». До сих пор настаивают, что рынок свободный, но вот об этом помалкивают…)

Говоришь, что создал «НОВ» только ради *меня?* Не верится. Давай так говорить: ты просто боишься, что если *не возьмешь* меня, то я опять накатаю рецензию… но неважно, какие бы факторы ни повлияли, я рад, что ты выпустил первую книгу и выпустишь вторую. Жанру нужна подобная встряска. Больше того: жанру нужно сменить где-то четырех журнальных редакторов… но это другой разговор. Надеюсь, ты понимаешь, что не найдешь новые «Пурпурные пособия» и что те же, кто осудил тот рассказ, теперь осудят тебя за то, что ты *не повторил* успех? Да ты и сам все знаешь.

Напоследок о девочке. Ей уже год, ходит с 9,5 месяца, волосы до плеч, невозможно миленькая. Я, конечно, предвзят — но со мной согласны все, кто ее видел. Зовут Пенелопа — «Пенни» — очень любезно с твоей стороны, что поинтересовался. Я

не могу много писать в дни, когда занимаюсь ею (жена работает 3 дня в неделю, поэтому я работаю оставшиеся 4), но должен управиться с редактурой «Коровника» на следующих выходных. Значит, ты услышишь от меня новости где-то через неделю.

Искренне твой,

Пирс

А потом, спустя всего пять дней, я получил следующее…

19 октября 1968

Дорогой Харлан!

Вот рассказ «В коровнике», на 4000 слов больше. Я внедрил и твои мысли, и свои, и получил, как мне кажется, версию намного лучше. Я не вычитывал, поэтому там будут опечатки и т. д., но мне хотелось послать рассказ как можно быстрее. Намедни у нас прошел ураган «Глэдис», мы просидели без электричества 17 часов, поэтому частями рукопись напечатана при свете керосиновой лампы.

Эта редактура помогла мне отвлечься от другой проблемы. Четыре дня назад мне позвонил последний редактор, которому я предлагал свой роман «Макроскоп», из *Avon*. Он был готов предло-

жить аванс в 5 тысяч долларов без значительной редактуры… но потом оказалось, что он не дочитал последние 90 страниц. А поскольку из-за этих самых страниц передумал другой издатель, я посоветовал дочитать рукопись и уже тогда делать предложение. Он сказал — хорошо, перезвонит через пару дней… и больше я о нем не слышал. Ой! Я его что, спугнул?

Пирс

Как оказалось, Пирс не спугнул редактора *Avon*, Джорджа Эрнсбергера, и «Макроскоп» вышел в 1969-м, собрав смешанные отзывы, но вызвав полемику.

В последние годы Пирс пострадал от невзгод Рецессии, знакомых даже давним и более именитым писателям. (Можем поблагодарить господ Никсона, Агню, Митчелла, Роджерса и Ко(-злов) за наши условия жизни: наверное, это самый изобретательный метод «уравновешивания экономики» в истории. Так хорошо ее уравновесили, что того гляди, мы вернемся к бартеру, и это еще было бы неплохо. Но неважно…) И все-таки Пирс по-прежнему пишет, и по-прежнему его работа отличается силой, новизной и похвальным бесстрашием.

Думаю, рассказ «В коровнике» многих из вас

удивит, порадует, а может, и шокирует; но, какой бы вердикт ни вынесли критики и потомство, в глазах вашего редактора рассказ отвечает сути того, что пытается сделать книга для прогресса НФ и литературы воображения.

Что касается человека, стоящего за рассказом, включаю здесь его автобиографические размышления, во многом не менее интересные, чем истории, которые они помогли породить. Друзья, я представляю вам Пирса Э. Д. Джейкоба.

«Я родился в Оксфорде, Англия, 6 августа 1934 года, а следовательно (кажется) на шесть недель опережаю Джона Браннера, лишая его чести быть первым современным фантастом, родившимся в этой конкретной местности. Оба моих родителя окончили Оксфордский университет, вот почему я оказался там. Оба затем стали докторами науки в Америке, а я стал, э-э, фантастом. В семье не без урода. Я прожил в Англии где-то до четырех лет, потом воссоединился с родителями в Испании. Они занимались благотворительной работой под эгидой AFSC[117] (Американский комитет Друзей на службе обществу), кормили молоком и едой

[117] Примечания: 117

AFSC (*англ.* American Friends Service Committee) аффилирован с Религиозным обществом Друзей (квакеров) и работает во благо мира и социальной справедливости в США и по всему миру.– *Прим. ред.*

голодных детей во время испанской гражданской войны. Насколько я знаю, мой отец, Альфред Джейкоб (ох, как же это портит мой псевдоним), был главой испанской благотворительности AFSC. Когда к власти пришел Франко, все стало сложно — моя семья симпатизировала лоялистам, проигравшим на войне. Однажды мой отец исчез. Через несколько дней он смог передать записку, и так стало известно о том, что отрицало новое правительство: его бросили за решетку. В одну из тех дыр, где вместо уборной канава и в душе нет отдельных кабинок для заключенных-женщин: из тех, о которых читаешь в романах, хотя не веришь, что они бывают на самом деле. *Бывают*. Его отпустили, но при условии отъезда из страны. Это избавило фашистов от необходимости признавать свою ошибку. Не знаю, что случилось с запасами продовольствия для детей, но сомневаюсь, что их передали по адресу. В августе 1940-го мы сели на „Экскалибур“ (рассказываю по памяти, поэтому не ручаюсь ни за название корабля, ни за его написание, но вроде бы так) и пошли на всех парах в Америку. Как оказалось, это тот же корабль и тот же маршрут, которыми следовал герцог Виндзорский на пути на Багамы. Не забывайте, он был английским

королем Эдуардом VIII, правившим меньше года, пока не отрекся от престола ради брака с разведенной американкой. В том рейсе я отпраздновал свои шесть лет с тортом из опилок (праздничных ингредиентов не хватало — Вторая мировая, сами понимаете) и подарком в виде губной гармошки. На ней я играл без умолку и до сих пор гадаю, не скрежетал ли английский король зубами из-за невыносимой какофонии.

Учиться в Америке было невесело. Я побывал в пяти школах, остался в первом классе на второй год. К тому же все начальные школы находились в разных штатах: Пенсильвания, Вермонт, Нью-Гэмпшир, Мэн и Нью-Йорк. Если судить штаты по моему опыту, на первое место я бы поставил Пенсильванию, посередине — Нью-Гэмпшир, а остальные — на дно. В Нью-Йорке меня пытались научить правильному произношению — не понимая, что исправить пытаются *английский акцент*.

Колледж был как рай. Ешь сколько угодно (и я ел больше всех знакомых своих габаритов, не толстея), почти полная свобода. У нас была система без оценок, поэтому не существовало никакого давления, не считая самого желания учиться — поначалу не самого сильного. Во многом я

растратил свободу впустую, потому что прошел пубертат только в 18, а бриться начал в 21, но азы освоил, как видно по тому факту, что я женился после выпуска. В качестве диссертации я написал фантастический роман — 95 тысяч слов, самая длинная работа в истории колледжа до того момента, 1956 года. Продать его так и не получилось, но много лет спустя я переработал отрывок из него для конкурса и выиграл 5 тысяч долларов. В марте 1957-го меня призвали в армию, я прошел базовый курс в Форт-Диксе, обучение на топографа — в Форт-Силле, штат Оклахома.

Армия не была раем. Я, склонный к пацифизму вегетарианец, с трудом прошел базовый курс (а около трети моего призыва *не прошла* — в основном по болезни). Меня прозвали „Кожа да кости“. Когда пришло время стать рядовым первого класса, во всем лагере приостановили выдачу званий. Я отправился к командиру батальона, и на следующий день пришла ровно одна полоска рядового: моя.

В 1959-м мы переехали во Флориду, где и остались. У нас были проблемы со здоровьем, такие, что только через одиннадцать лет в браке у нас родился ребенок, который пережил роды. Наша первая, Пенни, родилась в 1967-м, а вторая, Че-

ри,– в 1970-м; обе — смышленые милые девочки, которых стоило дождаться. Пенни начала ходить с 9,5 месяца и знала 500 слов к 18 месяцам; порой не уверен, что сам могу похвастаться тем же! Мы наладили жизнь и счастливы, и теперь я даже соответствую образу писателя, отрастив бороду.

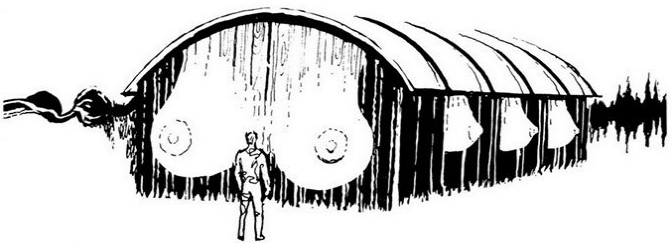
Мой творческий путь похож на другие стороны моей жизни. Я писал урывками в течение восьми лет, продал свой первый рассказ только под конец 1962-го, за 20 долларов.

Я продавал рассказы всем главным НФ-журналам этой страны (трудно сосчитать, потому что некоторые переиздавались в составе романов) — наверное, пару десятков. На момент написания этой автобиографии — одиннадцать романов, еще четыре ждут издателя, еще больше в работе — я зарабатываю писательством на жизнь. Они варьируются от инфантильного НФ до порнографического фэнтези, хотя моя главная мечта — написать простое историческое произведение. Шесть романов проданы в Англии, есть и переводы: в Голландии, Германии, Японии.

Названия романов: „Хтон“ (*Ballantine,* 1967); „Сос по прозвищу ‘Веревка’“ (*F&SF, Pyramid*, 1968, победитель конкурса); „Кольцо“ (*The Ring*, в соавторстве с Робертом Маргроффом; *Ace Special,* 1968);

„Всеядное“ (*Ballantine,* 1968, *SF Book Club,* 1969); „Макроскоп“ (*Avon,* 1969); „Экстрасенсорный червь“ (*The E. S.P. Worm*, с Маргроффом; *Paperback Library,* 1970); „Орн“ (выпускался в сериальном формате в журнале *Amazing*, 1970; *Avon*, 1971? *SF Book,* 1971?); „Хасан“ (*Hasan*, сериал в журнале *Fantastic;* 1969–1970; куплен издателем, но получил отказ в 1971-м); „Вар — Мастер палицы“ (*Bantam,* 1971?); „Больше, чем дантист“ (новеллизация цикла рассказов о дантисте; *Berkley,* 1972?); „Нэк Меч“ (*Bantam,* 1972?). Вопросительные знаки — это мои предположения о дате выхода. Один роман, „Хтон“, был номинантом на „Хьюго“ и „Небьюлу“, но ничего не получил; „Макроскоп“ был в списке „Хьюго“, но проиграл, как и один рассказ о дантисте, „Пережить университет“ (*Getting Through University*)».

В коровнике
Пирс Энтони



Коровник был огромный. Хитчу он напоминал красных гигантов из классической Новой Англии (не путать с синими карликами современного сельского хозяйства), но немного отличался. К нему примыкали обычные ограды, а также зернохранилище, элеватор и круглая силосная башня — и даже обычная пристройка-молочная. С одной стороны стоял гараж с большим трактором и комбайнами, а с другой — привычные стога сена.

Но вот изгибы и грани основной постройки — настоящий фермер наверняка бы назвал пятьдесят больших и малых отличий от всего, что известно на Земле-Прайм.

Впрочем, Хитч не был знатоком коровников, хоть земных, хоть любых других; он был всего лишь умелым мужественным межпланетным следователем с фермерской подготовкой. Он мог бы подоить корову, ворочать навоз, работать с дисковой бороной или кукурузной силосорезкой — но нюансы буколической архитектуры ему были неведомы.

Вот она, как бы обыденно она ни выглядела: цель его опасной межземной миссии. Контр-Земля № 772, обнаруженная в ходе очередной прихоти вероятностной апертуры, а для него — стандартное исследование нестандартной ситуации. За короткое десятилетие, когда апертура работала надежно, была открыта почти тысяча альтернативных Земель, в основном — близкая к Земле-Прайм. На нескольких был даже такой же президент США, что привело к довольно любопытным переговорам глав государств. Если, как утверждали некоторые теоретики, это случай параллельной эволюции миров, то параллели шли невероятно близко друг к другу; а если от-

клонения от Земли-Прайм (или если сама ЗП представляла собой ответвление от другого мира — еретическая мысль!), то разрыв или череда разрывов произошли совсем недавно.

Но апертуру разработали только на Земле-Прайм; только ЗП могла отправлять своих обитателей в альтернативные миры и возвращать невредимыми, живыми и в своем уме. Поэтому она и приняла титул коренного мира, прародителя, и никто не мог поспорить. Никто — пока. Хитч старался не задумываться о том времени, когда они встретят более развитую Землю — или ту, что могла постоять за себя. А то и дать сдачи.

С виду 772-я походила на любую другую планету, где он побывал на последних миссиях, за одним только исключением. Она отставала в развитии. Похоже, она пострадала от какого-то всепланетного катаклизма, который отбросил технологическое развитие на тридцать лет назад. Гигантский метеорит, недавний ледниковый период — Хитч не был специалистом по историческому или геологическому анализу, но все-таки знал: что-то здесь резко сократило количество животной жизни, и, пока люди адаптировались, развитие затормозилось.

На 772-й не было ни медведей, ни верблюдов,

ни лошадей, ни овец или собак. Ни кошек или свиней. Почти не уцелели грызуны. Собственно, из млекопитающих остался чуть ли не один лишь человек — и здесь пройдут еще века до того, как он столкнется с проблемой перенаселения. Быть может, млекопитающие вымерли из-за вируса из открытого космоса или заморозков; Хитч не знал и не интересовался. Его касалась нынешняя обстановка. Его задачей было выявить, почему скотоводство заняло такую важную роль, подчинив себе экономику планеты. Всюду коровники, молоко стало основным производством — но вокруг не найдешь ни коров, ни коз, ни другого подобного домашнего скота.

Вот почему теперь он стоял перед этим коровником. Внутри находился секрет зловещего успеха 772-й.

Итак — невинная разведка перед официальным принятием в содружество альтернативных Земель. Земле-Прайм вовсе не улыбалось угодить в союз с жестокой диктатурой, обществом с человеческими жертвоприношениями или любой другой причудой. *Все* альтернативы по-своему отличались, очевидным или коварным образом, а уж некоторые — ну, что бы там ни говорила Ио, это не его забота. А она любила читать лекции о

теоретических элементах взаимодействия с альтернативами, ловко избегая более практического взаимодействия мужчин и женщин, о котором мечтал *он*. За месяцы их знакомства у него накопилась немалая фрустрация.

Теперь во имя безопасности и дипломатии Земли-Прайм ему предстояло стать фермером. Вот так сублимация секса! Можно будет созерцать навоз и мечтать о лице Иоланты.

Он пнул ком земли и приступил к делу. Жаль, первичный исследователь не потрудился заглянуть в коровник. Но все исследователи девственных миров славились избыточной осторожностью, если не откровенной трусостью. Они заскакивали на несколько секунд в разбросанных точках, потом сдавали автоматические камеры и датчики в лабораторию на подробное изучение, а сами возвращались в хорошо оплачиваемые отпуска. Вся грязная работа доставалась вторичным исследователям вроде Хитча.

За коровником до петляющей реки тянулись длинные загоны. Там в течение дня должен кормиться скот. Но единственную фотографию местности сделали, очевидно, во время уборки, потому что вместо животных на пастбищах находились люди. Типичная промашка!

Но нет, надо быть справедливым — даже к первопроходцам. Работенка и в самом деле рискованная, ведь никогда не знаешь заранее, что за угроза поджидает на неизведанной альтернативе. Человек мог запросто попасть в облако горчичного газа или чего похуже, а то и в челюсти карнозавра, вернувшись обратно на ЗП обугленным или окровавленным остовом. Требовалось продержаться в живых достаточно, чтобы успело сработать оборудование — когда тут шнырять по каким-нибудь коровникам. Высылать роботов было нельзя из-за опасности, что они угодят в неумелые руки. Первый исследователь 772-й, скорее всего, и не подозревал об отсутствии животных — да и не счел бы его важным. Лишь тщательный лабораторный анализ выявил странности конкретно этой планеты.

И все-таки та фотография была необычная. Может, в округе проходил какой-то сельский праздник, потому что на первом плане стояла роскошно голая женщина. Фермеры 772-й явно умели выпускать пар после уборки сена!

Вернувшись домой, выпустит пар и Хитч — и на сей раз милой Ио не удастся сменить тему раньше кульминации.

Теперь он подошел к коровнику совсем близ-

ко, но не торопился. Внутри его миссия могла внезапно оборваться, и его сдерживал инстинкт самосохранения.

Переправка на 772-ю прошла без происшествий. Приоткрылась межпланетная завеса, прыжок — и Хитч уже в той же географической местности, но в другой реальности. Закончив здесь, он за считаные секунды откроет обратную апертуру особым касанием к переключателю, вживленному в череп, — и его втянут назад. Ему ничто не грозило, если он предвосхитит угрозу за эту пару секунд. Требовалось всего лишь провести расследование и собрать факты, не возбудив подозрений и не ввязавшись в неприятности с местными. Согласно стандартной политике ему не разрешалось иметь оружия, не считая неказистого ножа на лодыжке. Он не спорил — только представьте себе, какую передрягу устроит потерянный шокер…

До сих пор миссия шла обманчиво гладко. Хитч высадился в леске у городка приличных размеров — чтобы не смутить случайных посторонних. Очередная польза от первичной разведки: поиск подходящих мест для наиболее спокойного проникновения. Негоже обнаружить себя в дереве!

Он пришел в город и украл газету. Язык 772-й

совпадал с языком ЗП — по крайней мере, в Америке, — и он без труда прочел раздел объявлений. Непонятны были лишь отдельные слова. В разделе «Требуется работник» шел ряд объявлений по поиску работников со скотом. Для этого он сюда и явился.

Ни коров, ни коз, ни лошадей, ни свиней — *кого* же они разводят?

Зажиточный фермер, к кому он обратился на рассвете, даже не заглянул в его поддельное удостоверение. На это Хитч и рассчитывал: рассвет на ферме — время суеты, и если не хватает рук, то дареному коню в зубы не смотрят.

— Превосходно! Нам нужен знающий человек. У нас тут отменные животные, и мы угождаем всем их прихотям. Мы следим за своим скотом.

Животные, скот. Да что они, кур или черепах там доят?

— Что ж, — сказал Хитч с подобающей неуверенностью, — я давненько уже не работал на ферме. Был за границей. — Тем самым он предвосхищал вопросы о неместном акценте. — Наверное, через денек-другой руки вспомнят, когда я вернусь в старую колею, сами понимаете. Но я постараюсь. — По крайней мере, в те пару часов, которые он будет здесь находиться.

— Все понимаю. Я поставлю вас в самое маленькое стадо. Пятьдесят голов — и ни одной недовольной. Разве что кроме Йоты — но у нее течка. В такое время они беспокойные. Это нормально. — Хозяин достал блокнот и начал что-то набрасывать.

— Вы знаете имена всех своих животных? — Хитча не заботили такие пустяки, но лучше было поддерживать разговор.

Фермер с гордостью улыбнулся, шурша карандашом.

— Всех. Никакого отрыва от производства — я лично занимаюсь фермой. И заверяю, все мои коровы — от чемпионов-осеменителей.

«Коровы»? Хитч заподозрил, что ученый, составлявший финальный отчет по 772-й, злоупотреблял жидкостью для проявки. Вот тебе и никаких коров! Из-за чертовой канцелярской ошибки его выслали к черту на…

— И если будут трудности, зовите, — сказал фермер, протягивая график и книжицу. — Я бы сам показал, как у нас что, но меня ждет бумажная работа.

— Трудности?

— Если животное поранится — иногда они бьются о стены загонов или поскальзываются и

падают. Или поломки оборудования…

— Ах да, конечно.– Да, Хитч видел, что фермер торопится. Оно и к лучшему. Все шло *слишком* просто. И теперь нос Хитча чуял не только навоз, но и неприятности. Самым тихим миссиям как раз-таки и свойственно застигать врасплох.

Перед тем как войти в указанный коровник, Хитч бросил взгляд на бумажку с графиком ухода. Почерк был на удивление изящным: «1. Кормежка. 2. Дойка. 3. Выпас. 4. Уборка…» — и еще несколько убористых строчек ниже. На первый взгляд совершенно нормальное расписание. Брошюра оказалась подробным руководством на случай необходимости. Все как положено. В этом коровнике и в самом деле коровы, вопреки бестолковому отчету, и скоро он это подтвердит. Очень скоро.

Тогда откуда же у него предчувствие катастрофы?

Хитч пожал плечами и вошел. Сначала его встретил удушающий аромат уборной, но это, разумеется, дело обычное. И был это самый что ни на есть коровниковый коровник. Нос привык почти сразу, хоть запах отличался от помещения, где его обучали перед отправкой. Он уже — почти — перестал его замечать.

Хитч помешкал у двери, чтобы к сумраку и шуршанию пахучего коровника привыкли и другие органы чувств. Перед ним в глубины постройки уходил коридор с загонами по обе стороны. Над длинными кормовыми желобами торчали два ряда голов, в обитых мягким материалом проемах отдельных стойл. Когда он приблизился, все с ожиданием повернулись к нему с мягким, почти человеческим бормотанием. С утра стадо, разумеется, проголодалось — час уже был поздний.

В дальнем конце находилась дверь в «молочную» — помещение, отделенное от стойл двумя прочными дверями. От того места, где стоял он, налево и направо расходились короткие коридоры, а значит, он находился на Т-образном пересечении. В левом коридоре лежали мешки с кормом; в правом…

Хитч моргнул, разгоняя остатки тумана в глаза. Заглянув в правый коридор, он готов был поклясться, что из стойла на него смотрит красивая черноволосая женщина — голая. Внешне вылитая Иоланта — разве что Иоланту обнаженной ему видеть еще не доводилось.

Какая глупость; более внимательный взгляд ничего не обнаружил. С ним просто играло шутки подсознание, разыгравшееся во время скучного

задания.

Он с нарочитой решительностью повернулся вперед. Этот морок, пусть и мимолетный, его встряхнул, и теперь у него начался чуть ли не страх сцены перед публикой из животных.

Когда глаза привыкли окончательно, Хитч ощутил, как его охватывает паралич шока. Ведь встречали его не свиные рыла или коровьи морды: это были *человеческие* головы. Симпатичные лица и жидкие локоны здоровых девушек. Каждая стояла в своем стойле голая, вцепившись руками в край проема, потому что места в нем хватало только для головы. Блондинки, брюнетки, рыжие; высокие, субтильные, пышные — все типы налицо. В нарядах эта компания украсила бы любую праздничную толпу на Земле-Прайм.

Если бы не два момента. Во-первых, бюст. Груди были огромными, объемными, кое у кого свисали чуть ли не до пояса. Хитч не сомневался, что такие дыньки не удержал бы ни один традиционный лифчик. Косметическому подходу тут было никак не совладать. Тут нужен не меньше чем пластический хирург с садистскими наклонностями, чтобы хотя бы начать.

Во-вторых, выражения их лиц. Пустые и дружелюбные глаза.

Молочные коровы…

Почему-то в голову пришел образ пчелиного улья, где туда-сюда жужжат работники.

Он увидел достаточно. Рука вскинулась к тому месту на черепе, где под волосами пряталась сигнальная кнопка — и заколебалась, когда его взгляд упал на ближайшую пару молочных желез. Он явно нашел ответ на загадку; эта альтернатива явно не подходила для содружества. Вполне возможно, его отчет приведет к целой планетарной полицейской операции: жестокое разведение людей неприемлемо для цивилизованного общества. И все-таки…

Вымена мягко покачивались от женского дыхания, невообразимо полные. Он чувствовал и влечение, и отвращение, пока его интеллектуальная сторона пыталась подавить физическую. Потрогать бы…

Если уйти прямо сейчас, кто накормит голодных коров?

Отчет может подождать еще полчаса. Хитчу придется дольше возвращаться в штаб, даже после апертуры. Времени хватало — пока.

Хитч открыл руководство и прочитал раздел о кормлении. Напоить скот просто, узнал он: вода подается по трубам в поилку каждого стойла, что-

бы скот пил, когда захочет. Но корм предстояло разложить вручную.

Он вернулся к кладовой и взвалил в тележку мешок с обогащенными галетами. Ее он покатил в главный коридор, где принялся чистым металлическим совком отмерять каждой по два фунта. Девушки охотно тянулись за едой, хватали пригоршнями — их большие пальцы не были противопоставленными, — и смачно жевали черные куски. Хитч заметил, что здесь у всех крепкие белые зубы, но недоумевал, почему они не пользовались пальцами как… собственно, пальцами. Почему они так нарочито неуклюжи? Да, это в самом деле здоровые животные… и не больше.

Пришлось дважды возвращаться за новыми мешками, стараясь не заглядывать в пустой? — правый коридор, чтобы его не дразнило воображение. Хитч подозревал, что расходует корм сверх нормы, но в конце концов завтрак был подан. Он отступил и наблюдал за пиршеством.

Первые уже доели, и парочка раскорячилась на корточках в углах своих стойл, — очевидно, грубый корм спровоцировал работу кишечника. Похоже, его присутствие никого не смущало — не больше, чем присутствие фермера мешает дефекации коровы. И они казались вполне до-

вольными. Может, дело в лоботомии? Шрамов не видно…

Он рассеянно попробовал галету сам. Твердая, но не волокнистая, с удивительно насыщенным вкусом. Судя по этикетке, в нем содержались практически все витамины и минералы, необходимые для здорового животного и густого молока. Не хватало только тех элементов, что ожидали их на пастбище. Перекатывая массу на языке, он вполне в это верил. Интересно, что за пастбище требуется для таких животных — не едят же они траву и листья. На солонце растут овощи и фрукты?

Итак, он покормил стадо. Коровы не пострадают, если он их бросит, — ведь сменщик явится раньше, чем они проголодаются всерьез. Причин задерживаться больше не было. Можно спокойно подать сигнал и…

И снова он не донес руку до кнопки. Болтающиеся титьки напомнили о втором пункте в программе: дойка. Он знал, что настоящим коровам больно, если не подоить их вовремя. А эти… вымена… выглядели уже переполненными.

К черту, не променял же он человечность на лицензию исследователя! Отчет может и обождать.

К тому же его поддразнивал вкрадчивый голо-

сок из-за видения в стойле справа. Очевидно, там правда может быть голая девушка. Непохожая на остальных полногрудых коров. Девственница… похожая на Иоланту.

Вот истинная причина, почему он еще не нажал на кнопку. Он не мог уйти, пока не наберется смелости, чтобы проверить это стойло — и тщательно.

Он пробежался глазами по руководству, радуясь, что пока может потеряться в рутине. Похоже, в этом крыле находились шесть доильных аппаратов: аспираторов с вакуумными коническими присосками. Хитч открыл молочную, подкатил лязгающий аппарат к первому доильному станку и щелкнул переключателем. Аппарат загудел.

Перед следующим шагом он замялся, но инструкции были четкими, и он напомнил себе, что работа есть работа. Перспектива странная, был вынужден признать он, но не то чтобы обременительная. Хитч отодвинул первый засов — распахнулась вся стенка стойла, — и опасливо приблизился с ремнями к его обитательнице.

Это была высокая брюнетка, одаренная не только очевидным, но и пышным крупом и шевелюрой. К его удивлению, пока он надевал сбрую, она стояла смирно: ремни на шею и грудь,

продевая их под мышками, с перекрестьями на спине и между титьками. С последним справиться было непросто, потому что груди висели близко, полные, как винные бурдюки (не самый современный образ — но ничего более подходящего на ум не шло), но он все-таки протиснул ремни. Все это было для того, чтобы корова не соскочила со станка и не отошла от аппарата, хотя Хитч и сомневался, что эти ремни выдержат целеустремленное усилие. Это были надрессированные животные, они нуждались лишь в нежном обращении. Или так уж он надеялся.

В голову пришел незваный образ: корова скачет по амбару, мычит, а он тщетно пытается ее удержать, повиснув на скользкой от молока округлости. Нет!

Хитч затянул ремни и подвел ее к станку. Он представлял из себя смягченный пандус с прорезью посередине для установки доильного аппарата, а также с крюками для сбруи. Девушка взошла сама, без посторонней помощи, и уперлась обеими руками, костяшками вниз, и коленями, оседлав таким образом машину. Груди огромно свисали ниже ее локтей. Бурые соски были гигантскими, и Хитч заметил на них белые капли, словно выжатые самим весом молока.

Он приложил доильный стакан к правой груди. Тот целиком охватывал торчащий сосок, а его край был окаймлен податливой резиной. Закреплялся этот конус благодаря вакууму — слегка влажный периметр обеспечивал герметичность. Хитч присоединил и левый стакан, переключил аппарат в режим «ДОЙКА» и отступил, наблюдая за процедурой.

Стаканы захватывали только вершины грудей, хотя «архитектуру» обычной женщины накрыли бы целиком. Но действовали они в любом случае эффективно: машина работала на всасывание урывками, быстро и легко вытягивая жидкость. Хитч видел, как молоко бело побежало по прозрачным трубкам, услышал, как оно брызжет на дно накрытого ведра, пока по очереди подскакивают груди. Раз-два! Раз-два! — ритм гипнотизировал, а пульсирующая белизна вызывала мысли о бесконечной эякуляции.

«Это всего лишь молоко!» — напомнил себе Хитч. Но его эрогенные зоны уже волей-неволей реагировали.

Девушка пережевывала кусок твердого крекера, припасенный за щекой, и ожидала с полуулыбкой. Она была к этому привычна и только рада избавиться от ночных накоплений.

Осталось всего сорок девять! Хитч оставил ее на месте и к следующей направился со внезапно окрепшей уверенностью. В конце концов, коровы есть коровы, как бы они ни выглядели внешне.

Когда он подключил шестой станок, уже закончила первая корова. Он освободил брюнетку с печально обвисшей грудью, отвел к двери на дальнем конце молочной и снял с нее сбрую. Передние ремни вышли наружу промеж болтающейся плоти. Сколько же она дает? Две кварты? Галлон? Он понятия не имел о средних стандартах, но предполагал, что у нее нормальный удой. Она выскочила в загон, счастливо сверкнув ягодицами, растряхнув волосы. При взгляде с этой точки зрения — красота.

Перед тем как закрыть дверь, он заметил во дворе кучи яблок, моркови и, судя по всему, неочищенного арахиса. Девушка уже скакала по пастбищу и, еще не успев проголодаться, пока только играла с едой. Нашелся там и солонец — ниже, у реки.

Следующий час пронесся в суматохе. Стоило приловчиться, и он управлялся быстро: тридцать секунд — чтобы поставить корову к аппарату и присоединить доилку, еще пятнадцать секунд — чтобы выпустить пастись. Но те, кто нахо-

дился от молочной дальше всего, уже требовали больше времени, и к тому же через каждые пять коров приходилось сменять увесистое ведро в доильном аппарате. В результате он носился кругами, уделяя животным только самое поверхностное внимание. Молочное хозяйство — дело непростое!

Когда он водрузил последнее ведро под крышкой на конвейер, ведущий в отсек обработки, и сложил шланги и стаканы в автоматическую мойку/стерилизатор, с носа уже скатывался пот. После дойки стадо паслось — когда он выглядывал в последний раз, они толпились на хрустящей шелухе арахиса и плескались в мелкой речке, — а значит, можно было с чистой совестью отправляться домой. Пусть то, что Хитч заработал на этой планете, фермер оставит себе — за счет Земли-Прайм. Ему потребуется все до гроша, когда нагрянет армия ЗП!

Да кого он обманывает? До обратного полета на Землю-Прайм еще далеко. Еще надо заглянуть в то стойло. Если там правда есть женщина и если она напоминает Иоланту… что ж, это все-таки альтернативный мир. Многие, если не большинство людей могут быть такими же или очень похожими на обитателей Земли-Прайм. *Там и*

правда может быть Иоланта!

Причем, возможно, доступнее его собственной…

Хитч снова закрыл разум перед этой мыслью, не готовый столкнуться со всеми выводами сразу. Во всяком случае, существовали и конкретные, связанные с миссией причины задержаться подольше. Начать с того, что эти телушки очевидно безмозглы, — и он не понимал почему. При этом их груди не могли расцвести так пышно без осеменения. Это означало отел, причем недавний — а что происходит с детьми?

Естественно, без этих данных его отчет будет неполным. Ситуация слишком вопиющая, чтобы подойти к ней спустя рукава. Во время хлопотливой дойки он чуть не привык думать о человеческих существах как о животных, но они, конечно, ими не являлись. Этот коровник — самое серьезное нарушение прав человека, что до сих пор встречалось в альтернативных мирах, причем даже не во имя войны или расизма. «Это белые животные… *девушки!*» — напомнил он себе в ярости. До какой же степени в этом мире выродилась свобода? Есть ли негритянские и монголоидные коровы — или другие расы применялись для тяжелой работы, спорта либо…

мясного производства?

Нужно было разузнать как можно больше, но не мог же он бродить по всему коровнику без предлога. Тем самым он лишь быстро привлечет ненужное внимание. И ему *не хотелось* заглядывать в правое крыло… пока. Придется продолжать работу по расписанию — и держать глаза и уши раскрытыми, пока он не разберется во всем.

Дальше по графику шла уборка. Хитч прочитал руководство дальше и узнал, что все не так плохо, как могло бы быть. Девушки были от природы чистоплотны, отходы оставались в отстойниках в углу стойла. От него требовалось не более чем включить насос для жидких удобрений и смыть отходы по трубам, убедившись, что они нигде не засорились. Пахло от отверстий не цветочками, но и руки марать не приходилось.

Впрочем, в теории от него требовалось сначала проверить, что стул твердый и надлежащего цвета, консистенции и аромата, поскольку отклонения могли быть ранними признаками болезни. Если возникали подозрения, перед смывом надо было поискать глистов или сгустки крови. Для этой цели служили специальный таз и распорка. И все-таки Хитч наплевал на инструкции и смыл все отстойники, не заглядывая и не принюхива-

ясь. Есть же какие-то пределы.

— Долг заканчивается там, где начинается мой нос, — пробормотал он.

Закончив с уборкой, он уже не мог откладывать загадку правого коридора. Теперь, когда главное помещение опустело, из того крыла слышался шум. Кто-то там да есть! Он нервно перечитал график. В нем было все, так и бросилось в глаза, когда он решился приглядеться. В то крыло переводили особые случаи: пункты, которыми следовало заняться, когда он закончит с рутиной.

Хитч взял себя в руки и подошел к крылу. *Там может быть Иоланта* — пусть и безмозглая.

К его облегчению и сожалению, в первом стойле содержалась больная корова. Она лежала на палете вдоль стены — фигуристая блондинка, чьи груди съежились до всего лишь пышных размеров. То, что они уменьшились, было видно по растяжкам, намекавшим на их былое величие. Хотя даже сейчас сантиметр с ЗП натянулся бы на них до предела.

Согласно приписке, эту корову следовало доить вручную, чтобы не загрязнить оборудование (даже несмотря на стерилизацию? какие чистюли!), а молоко — слить. Ее планировали выдоить полностью и после полного выздоровления

осеменить заново. Следовало замерять ее температуру и следить, чтобы снова не начался жар. Звали ее Флора.

До сих пор он не обращал внимания на имена, хоть они висели на поперечине ворот каждого стойла. Невежество способствовало безличию, притупляло кошмар чудовищного коровника. А теперь…

Хитч всмотрелся в щель стойла и призадумался над новой задачкой. Доить вручную? Снимать температуру? Это уже куда более тесный контакт. Он углубился в руководство. Да уж, ну и процедуры…

Что ж, придется решать проблемы по мере поступления. Он вошел в загон с маленьким открытым ведром.

— Вставай, Флора, — деловито бросил он.

Она взглянула с пугающим, хотя и только иллюзорным подобием разума, но с места не сдвинулась. Будь проклята человечность, сотворенная ее именем! У него уже никак не получалось думать о ней как о животном.

— Флора, мне надо тебя подоить, — объяснил он. Аномальность его задачи огорошила с новой силой, и он задумался, не убраться ли из мира прямо сейчас.

Нет, рано. Он никогда не успокоится, если уйдет, так и не подтвердив личность Ио.

Флора все еще лежала на боку, поджав одну ногу. Волосы ниспадали ей на лицо и кудрявились поверх вытянутой руки — и он заметил, что они совпадали с цветом лобковых.

Он снова сунулся в брошюру. «Как доить лежащую корову вручную…» — начинались инструкции. Нет ничего лучше полного руководства!

Хитч подставил ведро под верхний сосок и взял титьку Флоры обеими руками. От ее ощущения у него мгновенно встал, несмотря на все, на что он насмотрелся за время массового доения. Похоже, у него был иммунитет к зрелищам, но не к касанию; а может, дело в том, что, несмотря на растяжки, в его понимании это напоминало настоящую грудь, а не пугающее вымя. А может, дело в одном только имени. Нет ли у него знакомых блондинок по имени Флора?

И нет ли здесь черноволосой коровы по имени Иоланта?

Долг звал…

Хитч прицелил сосок и сжал. Ничего не случилось. Он попытался опять, решительней, и выдавил прозрачную каплю. Настоящую корову доят, перекрывая сосок и мягко надавливая

рукой, чтобы у молока оставался только один выход, но у человеческой груди иное строение. Он добился чего-то стоящего не с первой попытки — и боялся, что обращается с Флорой слишком грубо, но она не шелохнулась и не подавала виду. Один раз он взялся слишком далеко и испугался, что мог повредить внутренние железы, но она лишь наблюдала за ним серыми глазами.

Неумело и неряшливо, но он выдоил в ведро несколько унций — и, наверное, еще больше на них обоих и на пол. Неважно; целью было облегчить давление, а не собрать каждую драгоценную каплю. «Почему бы просто не высосать ртом? — мелькнула вдруг в голове озорная мысль. — А кто узнает?» Но он вспомнил, что молоко якобы вредное.

Он вылил с трудом отвоеванную жидкость в отстойник, смыл и перешел к нижней груди.

— Что же с тобой сделали? — спросил он риторически за делом. — Отчего ты — прости за выражение — такая тупая? На моей планете ни одна женщина не потерпит то, что я с тобой делаю.

Но, сказав, сам задумался; пожалуй, есть некоторые, кто…

Флора открыла рот, и на устрашающий миг ему

казалось, что она ответит, но она лишь зевнула. С ее языком было что-то странное.

Теперь пришел черед температуры. В брошюре рекомендовалось помещать градусник ректально, поскольку здоровое животное кусает то, что кладут ему в рот. Мало он, что ли, уже натерпелся! Чего он только не выкидывал за бытность межпланетным исследователем, но это било все рекорды. И все-таки Флора больна — или была больна, — и не померить температуру было бы неправильно. Неправильно было и не осмотреть фекалии, подумал он, но теперь все почему-то было иначе. Более… лично.

— Перевернись, Флора, — сказал он, — а то к тебе не подобраться.

Он открыл ящик с инструментами, приколоченный к деревянной балке, и нашел градусник — закругленную пластмассовую трубку полдюйма в диаметре, восемь дюймов длиной, с ручкой и датчиком в конце. Словом, грубоватый инструмент для животных — пациентов, что могут сопротивляться в ходе введения. На рабочем конце была капля желтоватой смазки.

Флора так и не отреагировала, и он аккуратно отложил градусник на кормовой желоб и попытался сдвинуть ее руками. Взялся посередине и

напрягся. Показалась ее худая талия, она выпрямила мясистую ногу — но не более. Слишком тяжелая, чтобы ворочать без ее помощи. Он опустил Флору на место, оставив на палете. Сойдет и так. Хотя бы цель раскрыта, а не уперта в стену.

Хитч снова взял градусник и присел рядом с ней. Пальцами свободной руки раздвинул тяжелые ягодицы в поисках ануса. Получалось плохо; круп у нее был щедрый, из-за ее положения ягодицы то и дело смыкались. Он смог разве что изменить форму щели. Пожалуй, можно было бы взяться обеими руками, но тогда не вставишь градусник. Наконец Хитч приплюснул нижнюю ягодицу левой рукой, а правой повел наконечником вдоль щели, оставляя склизкий след смазки. Решив, что нашел нужное место, он надавил, понадеявшись, что угадал с углом.

Возникло сопротивление, она заворочалась, закругленный конец поерзал и провалился вглубь. После всей возни его удивило, как легко это произошло. Он подвигал градусником, пока тот не встал под углом в девяносто градусов, и надавливал, пока, по его расчетам, наконечник не углубился на пару дюймов дальше сфинктера. Сев поудобнее, Хитч приготовился ждать две предписанных минуты.

Боже, думал он в ожидании. И что он делает в этом стойле, с растянувшейся на полу голой грудастой женщиной, сидя у нее на бедре, зажимая потной рукой и вставляя палку ей в зад? Его член налился до того, что чуть не ныл.

«Взять бы так тебя, Ио, — твою изящную, девственную, стерильную попку…»

Секунды растягивались, невероятно длинные. Он задумался, вдруг часы встали, но услышал тиканье. Что он расскажет парням на следующих посиделках после миссии (после эмиссии?)? Что доил коров? Наверняка заржут, услышав правду. Правда была мясистой ягодицей и головокружением.

Каким-то чудом время замера почти подошло к концу, и он принялся вынимать градусник. Тут она снова шелохнулась — возможно, реагируя на него, — и взобралась на колени, все еще не поднимая головы. Пришлось быстро следовать за ее движением, чтобы термометр ее не поранил, и Хитч чуть не потерял равновесие. Но в новой позе ее ягодицы распахнулись и раскрыли истинную точку входа градусника.

Не анус. Что ж, разницы, скорее всего, нет. Вряд ли температура в смежных отверстиях так уж сильно отличается. Хитч осторожно вытянул

пластмассовый конец и взглянул на датчик. Температура дошла ровно до отметки «норма».

— Флора, ты идешь на поправку, — объявил он, подражая врачам, как умел, и отведя взгляд от представленного интригующего вида. — Скоро опять будешь скакать по пастбищу.

Возможно, дело было в псевдоуверенном тоне. Но тут она перевернулась — с грудями, мятыми от палеты, — и улыбнулась. Он ретировался в коридор и отмерил ей фунт особых крекеров для больных животных. Корм был грубым — и Хитчу не хотелось задумываться, почему.

А следующее стойло будет еще хуже. Как раз в нем он видел… девушку. Ту, кого избегал до этого момента. Ту, что и удерживала его в этом мире.

«Там может быть Иоланта».

Перед тем как совершить нырок, он заглянул в инструкции. Эта корова в течке, ее следовало сопроводить к быку для случки. В брошюре обнаружился чертеж коровника, поэтому он знал, куда ее вести. «Важно лично наблюдать за случкой, — строго наставляла брошюра, — и отметить точное время контакта, чтобы не перетруждать быка».

Хитч с колотящимся сердцем сделал последний шаг и заглянул. Это была не Иоланта.

И вот так просто пузырь лопнул. Ну *конечно* это не Ио. Он видел черноволосую девушку в слабом освещении, а все его мысли были о черноволосой девушке с родной планеты и сходстве их имен — вот вставший член и связал за него картинку с желанием.

Это была годовалая нетель, если можно так выразиться. В человеческих понятиях это значило восемнадцатилетку, ни разу не рожавшую. Груди маленькие и упругие, круп стройный, но хорошо сформированный, движения оживленные. Она нервно шарахалась по стойлу, тихо повизгивая от нетерпения. С каждым поворотом глянцевые волосы хлестали туловище. Пускай не Иоланта, но удивительно привлекательная, на его вкус, — возможно, из-за ее энергии. Остальные в сравнении были… коровами.

Естественно, женщина в течке привлекательна. Для того и существует течка. Чтобы спариваться.

А звали ее, разумеется, Йота. Фермер упоминал ее, и Хитч как минимум подсознательно провел связь с первого же мига, когда заметил ее в полумраке.

— Ладно, Йота, пришло время для того, что ты никогда не забудешь, — произнес он.

Она резко развернулась к нему, и черные зрачки как будто распахнулись. Вдруг в один прыжок она прижалась к доскам — ее груди торчали в прорезях. Часто дыша, она потянулась к нему. А не может ли, не может ли она оказаться…

«Молодой версией Иоланты?»

Одни межпланетные параллели бывали точными, другие — не очень. Иоланта, Йота — обе Ио, словно сестры или больше чем сестры. Именно так Иоланта могла выглядеть в свои шестнадцать.

Глупости! Лишь мысленное сходство, вызванное его вожделением. Так в этом возрасте выглядит тысяча, миллион девушек.

Его ждала работа. И он ее выполнит.

— Полегче, девочка. Отойди, чтобы я открыл. Мы с тобой идем к бычку.

Слово в ответ, она отскочила назад и пристально наблюдала за ним с дальнего конца стойла. Он сдвинул засов — как странно, что девушкам не хватало ума самим справиться с таким простым запором даже после того, как это делали у них на глазах множество раз, — и ступил внутрь с шлейкой.

И мигом она накинулась на него, прижалась гибким телом, руки вцепились в грудь, таз дви-

гался у его паха в узнаваемом движении. И в самом деле в течке — и она приняла за быка его!

И как тут не поддаться искушению — ее движения вызывали вполне конкретную физическую стимуляцию. А недавние события уже, образно говоря, обострили его ощущение собственной мужественности. Какая хозяину разница, *кто* ее осеменит? Им же нужно только молоко после отела. К тому же всю эту мерзкую систему свергнут, когда придут войска — поправка, блюстители закона и порядка — с Земли-Прайм. Велика вероятность, что ей и не придется давать молоко.

Хитч заглянул ей в глаза и прочел бессмысленную похоть. Он еще никогда не видел так ярко выраженного желания у женщины. Никаких мозгов — только алчное влагалище.

В конце концов, она не человек, а животное. Сношаться с ней — все равно что скотоложство, и эта мысль его оттолкнула, хоть член и пульсировал в ответ на отчаянно давившую вульву.

— Убирайся от меня! — воскликнул он, грубо оттолкнув ее прочь. Боже! Они даже довели женщин до животного цикла вместо человеческого. Наверняка чтобы контролировать отел и предотвратить беспокойство в остальное время. Так не было бы тоски в отсутствие мужского общества

— только в те дни, когда провоцируется накопленная за год подавляемая сексуальность.

Она сгорбилась у стены, с глазами на мокром месте. Он видел, что если не разум, то эмоции у нее человеческие. Она переживала отказ так же остро, как все люди, но ей не хватало интеллекта, чтобы сдерживать реакцию.

Он был с ней слишком груб.

— Ну же, Йота. Я не хотел на тебя кричать. Да я на тебя и *не кричал!*

Нет — он кричал через пропасть между мирами Иоланте, что точно так же дразнила его слишком долго. Возбуждала желание, но не исполняла. Разница в том, что в этот раз остановился *он*. Чтобы не выплеснуть фрустрацию на эту невинную блудницу, которая не могла знать, что им движет.

Она неуверенно всматривалась в него, размазывая слезы по лицу. Он потряс шлейкой.

— Мне надо надеть это на тебя и отвести к быку. Вот и все. Понимаешь?

И все-таки она мялась. Да и как ей понять? Она животное. Ориентировалась только на его интонацию.

Или *нет?*

Эти животные невероятно тупые, если учиты-

вать их человеческое происхождение. Очевидно, их каким-то образом загнали в апатию. Возможно, наркотиками — в галетах могла содержаться сильнодействующая смесь. Скорее всего, большинство несчастных в конце концов просто отказались от мышления — так было проще выживать. Но молодые? Их метаболизм мог действовать сильнее, особенно в период случки. Течка — это мощное желание физического контакта. Она вызывает течение жидкостей, причем обильное. Нейтрализатор?

Но это еще не все: допустим, животное и правда на время избавится от подавителя мышления. И что, оно начнет бунт?

Как отвечает на восстания *любая* тирания? Умная телушка будет держать язык за зубами — по крайней мере, в коровнике. Будет подчиняться. Ведь от этого зависит ее жизнь.

Йота могла быть вовсе не безмозглой. Возможно, она делала то, что от нее и ожидалось. Скрывала сознание.

Хотя и была чертовски привлекательна со своим первобытным поведением.

Все это время она следила за ним со сверхъестественным вниманием и теперь робко приблизилась вновь.

Он накинул шлейку ей на плечи и обхватил руками, чтобы затянуть ремни сзади.

— Ты можешь говорить? — шепнул он ей на ухо, боясь, что его услышат. Он сомневался, что здесь установлены скрытые микрофоны — это было бы экономически невозможно для столь отсталого уровня технологий, — но поблизости могли оказаться другие батраки.

Она подняла руки, чтобы помочь затянуть ремни. Локон ее густых волос спал с левого плеча на внутренний изгиб левой груди. Она была не так же скудно одарена, как ему показалось сначала; просто он уже привыкал к чудовищным дойкам. Еще она была чистой, не считая босых ног, и благоухала манящим запахом женщины.

— Ты можешь говорить, Йота? — зашептал он горячее. — Может, я смогу тебе помочь.

Она навострила уши при звуке своего имени. Ее дыхание снова участилось. Она опустила руки ему на плечи и заглянула в лицо. Ее глаза были большими, радужки в этом освещении — черными. Но она не улыбнулась и не ответила.

— Мне можно доверять, Йота, — сказал он. — Просто подай знак. Любой намек, что ты не…

Она ласково сомкнула руки у него на шее и притянула к себе. И снова его коснулись груди;

снова ее бедра терлись о его пах. Запах женщины стал сильнее.

Она пыталась показать, что понимает, или просто аккуратнее просила о сексе?

«А какая разница?»

Он уже давно затянул ремни, но руки так и не убрал. Его ладони скользнули по ее гладкой спине, до самых ямочек над ягодицами. Она отреагировала, прижавшись к нему сильнее.

Какого черта.

Хитч огляделся. В коровнике никого, не считая коров в особых стойлах. Он сомкнул объятья и перенес ее глубже.

— Хочешь, чтобы тебя осеменили? Ну хорошо, — пробормотал он.

Он уложил ее в солому. Она подчинялась его действиям, и с радостью. Он встал на колени между ее раздвинутых ног, ослабил ремень и расстегнул штаны, не спуская с нее глаз. Затем, больше не в силах сдерживаться, положил левую руку на лобок, раздвинув нижние губы. Почувствовал жар и влажность. Он вернул руку к собственным чреслам, упершись второй, и направил себя в пылающую расщелину. Резко вспомнилось, как он только что вкладывал градусник. Девственной плевы, похоже, не было.

Он опустился на нее, войдя до упора. Пытался поцеловать, но поза была неудобной, да и она, похоже, не понимала. Когда бы ей было учиться поцелуям?

Он ожидал немедленного и взрывного оргазма, но был разочарован. Проход у Йоты оказался обескураживающе вместительным; Хитч не доставал до самой глубины и не заполнял вход. Слишком поздно он понял, что коров, естественно, отбирали для разведения и рождения. Войти было слишком легко — ни внутреннего сопротивления, ни трения.

Так распалившись, теперь он не мог кончить. Все равно что танцевать в одиночестве в просторном бальном зале.

А она пассивно лежала и ждала, когда он начнет.

Уже разозлившись, он выходил, входил, выходил и входил снова, но насаживал на свой меч лишь фантомов.

И почувствовал, как член начинает сдуваться.

— Сука, — произнес он. Но мужества его лишил не собачий, а коровий образ. Просто не в его натуре было сношаться с безмятежной и бездумной коровой.

Она укоризненно смотрела, как Хитч отрыва-

ется от нее и одевается, но ему в смятении было не до того.

— Вставай, животное. Хочешь быка, *получишь* быка.

Она поднялась, и он потащил ее за поводок.

— Шевелись, — твердо потребовал он, и она сдвинулась с места. Похоже, в обращении с животными был какой-то секрет — и Хитч им овладел из необходимости. Он становился опытным фермером.

Они прошли по длинным коридорам в загон быков, пока она рвалась заглянуть в боковые проходы, натягивая поводок. Она уже забыла о недавнем разочаровании. Очевидно, в этой части коровника она оказалась впервые, а ее любопытство не загасили заодно с интеллектом. Конечно, она тупая — иначе у него все бы получилось.

Он мало смыслил в лоботомии, но состояние коров на нее не походило. Тогда как же?..

Бык оказался настоящим великаном, бородатым и лохматым. Ноги и руки в мозолях, грязь размазана по брюху. Стоило ему только почуять Йоту, как его огромный пенис вознесся, словно кран, и он заметался в огромном загоне. Только двойной недоуздок и цепь на поводке, прикованная к противоположному поручню, сдерживали

его зверские броски. От него несло мочой.

Хитч втолкнул Йоту в загон. Ему не терпелось увидеть, как бык загладит все виноватые следы его собственной неудачи.

Вдруг она заколебалась, замешкав на краю досягаемости этого мужика-чудовища, что рвался и завывал, внушительно размахивая своим достоинством. Она не боялась, хоть он был раза в два тяжелее ее; она всего лишь не знала, как быть при встрече с такой тушей.

Она покачнулась вперед, словно готовая приблизиться, но отступила. Да она же флиртует! Хитч вдруг мигом пожалел быка, отождествляясь с его мучениями.

— Дура, не ломайся, давай к нему! — рявкнул он.

Она испуганно шагнула.

Бык поймал ее за плечо все той же неуклюжей пятипалой хваткой, что Хитч наблюдал у телушек. Йоту развернуло, она потеряла равновесие, и тогда бык поймал ее за второе бедро и притянул к себе спиной. Оглушил ее так, что она согнулась пополам, и вогнал увлажненный член в узкую щель, вгонял снова и снова так свирепо, что с каждым разом у нее распирало живот.

Вот чего она ожидала! Она даже не почув-

ствовала стараний Хитча — приняла только за предварительный осмотр.

Йота повалилась на пол, ошеломленная напором таких ухаживаний, но ничуть не переживая. Она все-таки была в течке, а теперь, узнав, что это такое, полюбила. Она с улыбкой раскинулась навзничь в грязной соломе, закинула ноги повыше — хоть Хитч не сомневался, что скоро ее замучают ужасные синяки снаружи и внутри. Ну и представление!

Зверь снова накинулся на нее, на этот раз спереди, кусая ее за груди и пытаясь уложить поудобнее для второго натиска. Его орган влажно поблескивал, все еще эрегированный.

— Живей забирай телушку! — крикнул кто-то, и Хитч вздрогнул. Это оказался другой батрак. — Хочешь опустошить нашего лучшего жеребца?

Хитч вбежал в загон, опасаясь быка, и схватил Йоту за одну из блаженно раскинутых рук. Очевидно, она бы с удовольствием и дальше терпела все, что на нее обрушивает этот зверь. На пенисе болталось знамя белой слизи, когда он в последний раз попытался поймать исчезающую цель. Затем Хитч проволок Йоту по полу, пока они не оказались вне досягаемости чудовища, и там поставил на ноги. Она еще не пришла в себя, когда

он вернул шлейку, и даже не поморщилась, когда ремень задел следы глубокого укуса на груди.

Другой батрак бросил на Хитча грозный взгляд, когда они прошли мимо, но смолчал. И правильно.

На полпути Хитч вспомнил, что забыл указать время в таблице быка. Решил не рисковать дальнейшим позором, возвращаясь для этой мелочи. Все равно, судя по всему, быка хватит надолго.

Йота вернулась в стойло в мечтательном удовлетворении, хоть по ее ноге и сбегала капля липкой крови. Судя по всему, плева у нее все-таки была… Что ж, теперь она не в течке — и уже не девственная телушка!

В последнем стойле поджидали неприятности. Хитч так увлекся предыдущими заданиями, что не удосужился прочитать до конца, о чем теперь жалел. Только что он по инструкции наблюдал за случкой — а теперь казалось, будто созревание прошло за считаные минуты. Следующая корова рожала!

Она лежала на боку, задрав ноги, и всхлипывала от схваток. С ее языком, торчащим между зубов, тоже было что-то странное. Быть может, эти животные не могли говорить по каким-то *физическим* причинам? Уже показалась голова

теленка — русоволосого, как мать. А Хитч думал, все дети рождаются безволосыми. Все *человеческие* дети…

Позвать на помощь? Он же не акушер!

Но тогда придется объясняться, почему он никого не предупредил заранее, а у него не было никаких оправданий, кроме небрежности и сладострастия. Лучше справляться самому.

Как странно, думал он: насколько можно вжиться в роль вопреки своей воле. Телящаяся корова не имела к нему никакого отношения, они были буквально из разных миров, и все-таки он должен был помочь, чем сможет. В этот миг жизнь жестокого коровника стала для него такой же важной, как все, что он помнил. Его завораживали даже самые отвратительные грани. Вызов был как личный, так и интеллектуальный. Йота…

Пока корова с усилием пыталась выдавить из себя огромный комок плоти, Хитч нервно листал руководство. Отлично — скот обычно здоров, и во время отела редко требуется более чем наблюдать. Какие-то трудности? Нет, он не видел перечисленных тревожных признаков. Роды протекали нормально.

Но в тексте подчеркивалось, как важно немед-

ленно забрать новорожденного теленка в ясли, как положено. Мать не должна успеть его облизать или накормить, выработать привязанность.

«А отец?» А любой наблюдатель, у кого есть какая-никакая совесть? Хитч словно *сам* зачал с коровой, и теперь рождался его ребенок. У него не получилось с Иолантой, не получилось с Йотой, но он все еще рвался что-то доказать. Хоть что-то спасти от этого страшного мира.

Корова снова начала тужиться, теленок показался почти целиком. На палету сочилась кровь, но руководство бездушно заверяло, что это норма. Хитчу хотелось что-то сделать, но он знал, что лучшая помощь — не вмешиваться. Теперь он не сомневался, что человеческая самка не может рожать так запросто без анестезии или лекарств. В каком-то смысле животным повезло — хотя это, конечно, не оправдывало происходящее. Огромная, свободная вагина…

— Что тут творится?

Хитч снова подскочил. Позади раздался голос хозяина! Для опытного исследователя он непростительно расслабился. Уже дважды его застали врасплох.

— Она телится, — начал он. — Рутина, поэтому я не…

— В простом стойле? — разгневанно воскликнул хозяин, и его белые волосы словно встали дыбом. Это такая прическа, отрешенно подумал Хитч. — На голой палете?

Упс — видимо, пропустил абзац.

— Я же говорил, что уже давно не… на другой ферме не было отдельного помещения, чтобы…

— Та ферма нарушала закон, не говоря о политике сострадания. — Хозяин уже присел над коровой в стойле. — Это ошибка, Эсмеральда, — успокаивал он. — Я не хотел, чтобы ты терпела это здесь. У меня была для тебя особая кабинка, со свежим чистым сеном и мягкими стенами… — Он гладил ее по волосам и приглаживал по плечу, и животное слегка расслабилось. Очевидно, узнало доброго хозяина. Скорее всего, он периодически навещал коровники, подкармливал скот сахаром. — Вот сейчас сделаю тебе укол и будет не так больно, только потерпи. Ты тогда заснешь, а нам сначала надо закончить. Ты большая умница. Одна из моих лучших. Теперь все будет хорошо, дорогая моя.

Со странной смесью чувств Хитч осознал, что хозяин говорит вполне искренне. Он в самом деле заботился о здоровье и благополучии своего скота. Отчего-то Хитч убедил себя, что вырождение

людей неизбежно сопровождается жестокостью. Но в действительности он не видел бессердечия: весь коровник при существующих отсталых технологиях создавался для максимального комфорта, совместимого с эффективностью. Может, он превратно истолковал ситуацию?

Под уверенным руководством хозяина отел быстро завершился. Тот поднял детеныша — самку — и шлепками привел в чувство, затем перерезал и перевязал пуповину. Завернул девочку в полотенце, которое откуда ни возьмись появилось у него в руках, и встал.

— Вот, — сказал он Хитчу, — отнеси в ясли.

Вдруг Хитч оказался с ребенком на руках.

— Ну хорошо, Эсме, — приговаривал хозяин тихо и дружелюбно. — Теперь давай займемся последом. Ну-ка — я обещал тебе укол. Больно почти не будет. Лежи спокойно… вот и все. Скоро тебе полегчает. Просто расслабься и вмиг уснешь. Через несколько дней вернешься в свое стадо, дойная моя чемпионка. — Он поднял взгляд и увидел, что Хитч так и не тронулся с места. — Не стой столбом, пошел! Или хочешь, чтобы она ее увидела?

И Хитч пошел. Ему было неловко с ребенком, несмотря на все свое недавнее желание ему по-

мочь, но дело было не только в этом. Детский плач, и без того негромкий (тоже результат выведения?), утих почти сразу, стоило ребенку почувствовать тепло человеческих рук — и, пожалуй, к лучшему, иначе мать привлек бы звук. Но забирать младенца от родительницы так быстро, чтобы он никогда не узнал настоящую семью — как так можно? И все-таки Хитч подчинился, унес девочку по темным коридорам в ясли.

То, что он видел ее появление на свет, еще не значило, что он должен за нее отвечать — но ребенка доверили все-таки ему, недвусмысленно. Тут же вернулось, укрепилось прошлое ощущение: он чувствовал свою ответственность.

— Я о тебе позабочусь, девочка, — проговорил он глупо. — Все будет хорошо. Я…

Лицемерие. Он мало что мог, кроме как отнести девочку в ясли. Он ничегошеньки не смыслил в уходе за детьми. И… он уже сомневался, что ему *стоит* что-то делать, даже если была бы возможность.

Хитч был готов с ходу огульно осудить весь этот мир, но, как ни странно, в свете последних событий усомнился. Разведение и доение людей потрясали до глубины души — но правда ли это зло? В предварительном отчете отмечалось, что

на этой альтернативной Земле царило странное умиротворение: компьютерный анализ показывал, что здесь нет и уже какое-то время не было войн. Это была одна из многих загадок 772-й. Так не потому ли, что планетой, несмотря на варварский режим, правили сострадательные люди?

Что лучше: общество, мирно сплоченное истинным разделением труда — люди-люди и животные-люди, — или общество, где каждый рождается, чтобы эгоистично состязаться за человеческие привилегии и в конечном счете стать хуже зверя? Земле-Прайм все еще нешуточно грозило самоуничтожение; стоит ли насаждать такую систему всем альтернативным Землям?

У 772-й была положительная сторона. Крепкая экономика, при которой, скорее всего, никогда не будет гиперинфляции, демографического взрыва или классовой войны. Возможно ли, что разрушение семейной системы, прав и достоинства человека, системы равенства всех людей, — возможно ли, что все это и есть истинный ключ к вечному миру во всем мире?

Он еще не видел ни одной недовольной коровы.

Забрав младенца у матери и отдав в безличные ясли, не сделает ли он ребенку величайшую услу-

гу в его жизни?

Хитч не знал.

Ясли застали его врасплох. Здесь было прохладно и тихо, больше похоже на лабораторию, чем на детскую комнату, как он ожидал увидеть. Вдоль стен стояли матовые капсулы. Проходя между ними, он слышал слабый шум, напоминавший детский плач в замкнутом пространстве, — девочка у него на руках услышала и шумно очнулась.

Вдруг Хитчу стало не по себе, но он поторопился отдать визжащий комочек матроне в старомодной одежде, стоящей у центрального стола.

— Это теленок Эсмеральды, — сказал он.

— Я тебя не узнаю, — женщина пронзила его взглядом. Воплощение строгой школьной учительницы. Он чуть не вздрогнул.

— Я новенький, устроился буквально этим утром. Босс сейчас с матерью. Он велел…

— Босс? Что еще за вздор?

Хитч растерянно осекся, потом сообразил, что ошибся со сленгом. Видимо, на 772-й это слово не появилось. — Хозяин, тот, кто…

— Хорошо, — прервала она. — Дай посмотреть.

Она забрала сверток, бесцеремонно положила на стол и развернула. Грубо потискала гениталии, не обращая никакого внимания на вопли.

Теперь Хитч все-таки дрогнул.

— Самка. Хорошо. Без аномалий. От самцов никакой пользы.

— Никакой? Почему?

Она оторвала полоску чего-то вроде малярной ленты. Взяла младенца за крошечную ручку.

— Ты что, в коровнике не работал? Бык не дает молоко.

Это очевидно. Но и у хорошего быка найдется применение, как показал опыт Йоты. Хитч наблюдал, как тетка связывает миниатюрные пальчики вместе, словно в неподатливой варежке, и тут в голову пришла неприятная догадка. Кисти связывают в младенчестве, чтобы ребенок не мог нормально функционировать в дальнейшей жизни; некоторые важные мышцы атрофируются, нервы не развиваются. Кое-кто утверждал, что человек обязан своим интеллектом противопоставленному большому пальцу…

— В этой части я не участвовал, — пояснил он неубедительно. — Что делают с самцами?

— Приходится их убивать, конечно же, разве что холостим нескольких для ручного труда. — Она закончила перевязывать руки; теперь она занесла над маленьким личиком блестящий скальпель.

Хитч думал, она срежет ленту или образец волос. Он и не успел задуматься — еще переваривал услышанное. Убийство почти всех родившихся самцов — это…

Она надавила большим и указательным пальцами на щеки младенца, вынудив неловко раскрыть ротик. Лезвие нырнуло в рот и сунулось под язык раньше, чем Хитч успел опомниться. Детские крики вдруг стали страшными.

Оторопевший Хитч наблюдал, как на губах пузырится кровь.

— Что?..

— Мы же не хотим, чтобы они умели говорить, — сказала она. — Удивительно, как много меняет простой надрез. Теперь неси теленка в седьмую капсулу.

— Я не… — Он не успевал обрабатывать информацию. Так они резали языки, чтобы лишить детей речи? На его глазах безжалостно уничтожили очередной оплот разума.

А он со всеми благими намерениями доставил свою подопечную к этой навалившейся необъятности. Ему стало дурно.

Матрона нетерпеливо вздохнула.

— Точно, ты же новенький. Хорошо. Покажу, чтобы потом знал. Запоминай с первого раза. Я

слишком занята, чтобы повторять.

«Слишком занята увечьями невинных детей?» — но вслух он ничего не сказал. Словно это его языка коснулся скальпель.

Она отнесла младенца к седьмой капсуле, не обращая внимания на падающие красные капли, и подняла крышку. Контейнер был наполовину заполнен жидкостью, на одной стенке висели ремни. Перехватив младенца, она продела в петли его ручки, ножки и голову, закрепила так, чтобы голова оставалась над поверхностью. Погружая младенца, она ненароком плеснула на Хитча жидкостью, и он обнаружил, что это какое-то разведенное прохладное масло.

Ребенок кричал и бился, испугавшись темноты — а может, ему натирали грубые ремни, — но только пускал красную пену и слабо плескал стянутыми ладошками. Ремни держали девочку надежно, делая совершенно беспомощной.

Матрона закрыла крышку и проследила, что прорези для дыхания свободны, и затем жалкие крики затихли.

Хитч онемело искал слова.

— Вы… зачем это? Это же…

— Важно контролировать окружение,– резко пояснила женщина.– Первые полгода — никаких

лишних осязательных, слуховых или зрительных раздражителей. Потом они перерастают капсулы, и мы переводим их в темные камеры. Первые три года важнее всего; потом уже можно их упражнять, хотя мы обычно ждем еще год на всякий случай. И до шести лет не повышаем уровень белка; потом наращиваем уровень, потому что *хотим*, чтобы они росли.

— Я… Я не понимаю. — Но Хитч понимал, приходя в ужас. В мыслях вернулся нелепый, но слишком уж уместный образ улья, где пчелы-рабочие растут в тесных шестиугольных ячейках. Его не подвело чутье, когда он впервые увидел коров.

— Ты что, вообще ничего не знаешь? Белок — главная пища мозга. В основном мозг развивается в первые годы, поэтому и надо контролировать диету. Слишком мало белка — и они не смогут следовать простейшим командам; слишком много — и они поумнеют. Мы выращиваем хороших коров; у нас превосходный контроль качества.

Хитч окинул взглядом ряды инкубаторов: контроль качества. Что тут скажешь? Он знал, что дефицит питания в младенчестве и детстве может навсегда подкосить развитие мозга, организма и эмоций. Члены человеческого общества,

как и пчелы в улье, не достигают всего потенциала, если о них не заботятся после рождения. Те пчелы, кому отводится роль рабочих, растут на особом меде с недостатком витаминов, чтобы стать бесполыми, туповатыми созданиями. Немногих избранных в матки растят с особым молочком и вниманием, и они развиваются в полноценных насекомых. Пчелы не отличаются высоким интеллектом, поэтому их ограничения — физические и половые. В случае людей надо бить по человеческой специализации: мозгу. С правильным уходом организм почти целиком восстановится после депривации белка — но уже не разум.

На ЗП эти исследования проводились, чтобы дети и взрослые становились крупнее, умнее, здоровее. На 772-й с теми же знаниями женщин превращали в коров. Здесь не нужны ни наркотики, ни хирургическое вмешательство. И при таком пожизненном режиме нет никакой надежды, что человек сохранит или восстановит интеллект. Неудивительно, что он не смог достучаться до Йоты!

Он слышал плач детей. Мир во всем мире — но какой ценой?

— Но, — продолжил Хитч, когда матрона от-

вернулась, — но с правильным подходом телята могли бы вырасти такими же разумными и энергичными, как мы?

— Могли бы. Но это противозаконно, и, конечно, молока от них уже не дождешься. Им и так хорошо; мы о них заботимся. Нам очень повезло с этой системой. Можешь себе представить, чтобы мы применяли в сельском хозяйстве грязных *животных?*

А он доил этих безмятежных коров, развлекался с Йотой…

Хитч уходил вдоль плачущих рядов капсул, мучаясь телом и душой. В каждой удушающей разум камере человеческий ребенок выплакивал свое наследие — систематически недоедая, лишаясь раздражителей и реакций, необходимых для нормального развития. Ни здоровья, ни утешения, ни будущего — все потому, что ему не повезло родиться в коровнике. В коровнике.

Хитч ничего не мог поделать один. Чего он добьется, кроме гибели детей, если потеряет самообладание среди капсул, как его и подмывало? А ведь это только один коровник из, наверное, миллионов. Нет — должны пройти поколения, чтобы восполнить причиненный ущерб.

Он остановился у седьмой капсулы, услышав,

что крик уже стал пронзительней. Младенец, которого он наивно принес сюда. Девочка Эсмеральды. Ответственность, от которой он отказался. Его последняя и самая ужасная ошибка.

Новорожденная личность, связанная и окровавленная в темноте, навсегда лишенная настоящей свободы, обреченная на кошмар наяву… пока не найдет убежище в слабоумии.

Вдруг Хитч понял, что Иоланта имела в виду, когда говорила о важности человечности перед стандартами любой планеты. Есть пределы, за которыми личные долг и амбиции теряют значение.

Он подошел к капсуле и поднял крышку. Плач стал громче. Он похлопал свободной рукой по лодыжке, нащупал скрытый там нож. Перерезал ремни в капсуле.

— Эй! — резко окликнула матрона.

Он бросил нож и подхватил из капсулы трепыхающегося младенца. Прижал к груди обеими руками и бросился вперед. Не успела начальница опомниться, а он уже пулей вылетел из яслей, оставляя след маслянистых капель из пустой капсулы.

Стоило ему скрыться из виду, как он неловко переложил младенца на руку и потянулся к кноп-

ке в черепе.

Это был риск. Никаких гарантий, что в данной точке на Земле-Прайм будет свободное пространство. Но он уже решился.

Прошло пять секунд. А потом невидимый оператор вытянул его на родную планету. Живым!

Его никто не встречал. Оператор лишь соотнес межпланетные координаты и приоткрыл завесу. Хитчу предстояло возвращаться в штаб пешком, чтобы представить свой тяжелый отчет. По его слову соберутся армии — но облегчения он не чувствовал. Те капсулы…

Он взял ребенка аккуратнее, поискав глазами, куда его положить, чтобы снять оставшиеся ремни и во что-нибудь завернуть. Он не знал, чем может помочь девочке, разве что сохранять ее тепло. Но девочка, к счастью, уже заснула, доверившись ему, как и раньше, несмотря на кровь на щеках. Изувеченный язык…

Он находился в амбаре. Ничего удивительного: альтернативные миры часто совпадали в мелочах, и конкретное строение могло занимать одно и то же место на дюжине Земель. На 772-й коровников намного больше, чем на ЗП, но идеальное совпадение не так уж невероятно. Впрочем, сейчас он шел через амбар Земли-Прайм, красный,

старомодный. Та же планировка, только жили здесь лошади, овцы или… коровы.

Он шел по коридору, прижимая к себе спящую девочку — *его* девочку! — и заглядывая в стойла. Миновал молочную и попал в пустой зал, отметив, что теперь он изменился — для животных. Хитч не удержался снова заглянуть в то отдельное крыло.

В первом стойле содержалась больная корова, жевавшая люцерновое сено. Во втором оживленная телушка остановилась, чтобы душевно взглянуть на него большими добрыми глазами, и облизала зубы немым языком. Только что после случки? А в третьем…

Тут его как ударило. Да, его потрясло, что на 772-й человек настолько может жестоко эксплуатировать другого человека. На той планете царило даже не рабство, а такое подчинение невезучих членов общества, что нечего было и говорить о спасении… коров. Когда человек воистину обращен в животное, бунт скота буквально невообразим.

Но что тогда говорить о животных *этой* планеты, Земли-Прайм? Возможно, у человека есть право бесчеловечно обращаться с другим человеком — но как оправдать подчинение других

видов? Десять тысяч лет назад свободные коровы добровольно пришли в человеческие коровники — или их принудили методами геноцида? Что за неисправимое преступление совершено против них?

Если Земля-Прайм осудит систему контр-Земли, какой прецедент она создаст? Ведь никто не знал пределов альтернативной вселенной. Возможно, где-то есть миры и более развитые, более могущественные, чем ЗП. Планеты, способные выжечь с Земли всю млекопитающую жизнь, включая самого человека, оставив править лишь птиц, змей и лягушек. Не такое ли вмешательство отбросило назад в развитии 772-ю?

Эти планеты вполне могли осудить ЗП так же, как ЗП осудит контр-Землю №772. Эти планеты могут счесть *любое* одомашнивание *любых* видов гнусным преступлением против природы…

Иоланта позаботится о младенце — в этом Хитч не сомневался. Такой уж она человек. Срочная операция исправит вред, причиненный языку. Но все остальное — мир, полный подобных страданий…

Хитч знал, что спасением всего одной девочки не добился практически ничего. Более того, его поступок даже предостережет 772-ю, вызвав еще

больше жестокостей. Но понимание этой напрасности составляло лишь частичку его растущего ужаса.

Может ли он теперь сам дальше верить, что Земля-Прайм права? Единственное отличие между ней и 772-й — вид животных, населяющих амбар. Если на то пошло, на другой планете со скотом обращаются добрее, чем на ЗП.

Нет — что за глупый антропоморфизм! Бессмысленно наделять коров человеческими чувствами или правами. У них нет никакого потенциала, тогда как у одомашненных людей на 772-й — *есть*. И все-таки…

Все-таки…

Все-таки что за отчет он позволит себе составить?

Послесловие

Имя на загоне для быков — «Харлан», хоть это необязательно внешнее описание. Я был из тех, кто считал, что в его интеллектуальной мошонке всего два желейных боба, но в конце концов узнал, что есть все-таки порох в пороховнице. Поэтому я восхищался зарядом первых «Опас. Вид.» и напрашивался во вторые.

Почему?

Наша область спекулятивной литературы — как и наша нация, как и наш мир, — порой расслабляется, почивая на лаврах. Не всегда во главу угла ставятся оригинальность и честность, не всегда ценятся, даже когда это крайне необходимо. В такое время может не быть безболезненного способа оплодотворить медиум; приходится звать быка — редактора, бешеный томик, разгневанных авторов вроде тех, кого вы читаете здесь. Возможно, ничего не выйдет — но мы должны, должны попытаться. Ведь наше самое светлое будущее ждет за горизонтом горизонтов — особенно литературным и нравственным.

«В коровнике», конечно, рассчитан на шок. Его можно было бы написать без, простите за выра-

жение, вульгарных подробностей. Но настоящий шок должно вызывать не описание тех актов, которые практикует всякий нормальный человек. Его должно вызвать следующее: этот рассказ — истинное отображение ситуации, которая повсеместно существует в Америке и всем мире — и существует уже тысячелетиями. Изменилась лишь одна деталь: в коровнике место одного млекопитающего занимает другое.

Должна ли человеческая мораль ограничиваться людьми? Неужели невозможно признать неотъемлемые права не-людей? Ведь если мы не можем проявить больше уважения к коровам, курам, свиньям, любому животному, или цвету кожи, или философии, — если мы не можем проявить больше уважения, чем проявляем сейчас, то мы проложили очевидные границы своей морали.

Предисловие «Безмолвный вечер»



Вчера, когда я выступал перед полными надежд писателями в творческой мастерской Колорадского университета, меня попросили объяснить, почему современная литература (представленная школой Апдайка/Чивера и публикуемая в *The New Yorker*) очень часто непонятна, бессмысленна и бессюжетна… а я задрал нос и ответил, что это лишь продолжение мифа, будто те, кто говорит мало, кто говорит редко, кто говорит — вслух или в литературе — загадочно, те обязательно говорят ГЛУБОКО и МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНО.

Лишь ваше христианское милосердие, читатели, простит частый шовинизм и склонность к упрощенным ответам у вашего редактора. Это

наверняка итог идеального приучения к горшку в Глубинке.

Ведь если моя теория правдива, что тогда делать с миз Ли Хоффман — писательницей невероятной глубины и поразительной силы, которая при этом скупится на слова?

Если эта теория правдива, что тогда делать с *Quandry* — самым саркастически остроумным фэнзином, что когда-либо ложился в наши почтовые ящики, задуманным, руководимым и питаемым юмором Ли Хоффман?

Если эта теория доказуема, нам никак не объяснить те легенды, что часами рассказывают у ночного костра о Ли Хоффман.

Здесь явно либо ошибается ваш редактор, либо это Ли Хоффман — *homo superior*[118].

Возможно находиться в обществе Ли — в устричном баре или коктейльном салоне, — и она будет молчать минут сорок, вольготно расслабившись, так сказать, и позволяя монополизировать сцену самым говорливым эгоманьякам. Затем на сорок первой минуте тридцать шестой секунде она вставит в беседу фразочку в стиле Дороти Паркер — и все падают. Тут и понимаешь, что

---

[118] Примечания: 118
Высший человек (*лат.*).

это Ли Хоффман скрепляла компанию три часа кряду, что здесь все состязались только за ее улыбку, смешок, мудрый кивок. Это она — клей, на котором держится Вселенная.

Я уже знаю Ли так долго, что, кажется, и не помню времени, когда не знал. Все началось с отеля «Битлис Он-Зе-Лейк», Бельфонтен, штат Огайо, где-то в самом начале пятидесятых. Выходит, мы с Ли знаем друг друга двадцать лет. Каждые пять лет она тактично напоминает, что пришел срок очередной части для моего сериала «!ацйибу» (*!nissassa*) в ее журнале *Science Fiction Five-Yearly*. О боже мой, как я восхищаюсь Ли Хоффман.

Вот что она написала книжной длины: почти ничего имеющего отношения к НФ, несмотря на всю длину и глубину времени, которое Ли влюблена в этот жанр. Все начинается со значительного корпуса работ в жанре вестерна. И она в этом хороша. Так чертовски хороша, что получила награду Писателей вестернов Америки «Спер» за роман «Лошади Вальдеса» в 1967-м. И если думаете, что хорошие вестерны писали только Стив Фрэйзи, Дороти Джонсон, Джек Шефер, Э. Б. Гатри и Элмер Келтон, то вы пропустили: «Легенда о Блэкджеке Сэме» (*The Legend of Blackjack Sam*) и «Перестрелка в Ларами» (*Gun-fight at Laramie,*

Ace, 1966), «Рожден, чтобы убивать» (*Bred to Kill, Ballantine*, 1967), «Клеймо Ярборо» (*The Yarborough Brand, Avon*, 1968), «Золото мертвеца» (*Dead Man's Gold, Ace*, 1968), «К западу от Шейенна» (*West of Cheyenne, Doubleday*, 1969), «Дикие всадники» (*Wild Riders, Signet*, 1969), «Возвращение в Брокен-Кроссинг» (*Return to Broken Crossing, Ace*, 1969) и «Безумец» (*Loco, Dell*, 1971). Но если вы читаете только фантастику, вам понравятся «Пещеры карста» (*The Caves of Karst, Ballantine*, 1969) и половина книги из серии *Belmont Double* «Телекинез» (*Telepower*, 1967). Вам *не* понравится вторая половина той книги, несмотря на то (а может, как раз-таки потому), что это короткий роман от вашего редактора.

Интересно отметить — в качестве глупого примечания, — что для героя «Телекинеза», короткого романа в нашей общей книге, Ли выбрала имя Белдон; а это как раз мое поддельное имя из давних времен, когда я состоял в детской банде. Что я там немного выше говорил о карассе?

Но хватит фактов. Вот Хоффман, говорит сама за себя:

«Я родилась в Чикаго, штат Иллинойс, в районе, где погиб Диллинджер. Почти всю дошкольную жизнь провела в местных музеях, которые обожа-

ла моя мама. Я так и не переросла свое увлечение всем древним, устаревшим и разрушенным.

Мы переехали в Лейк-Уорт, штат Флорида, как раз вовремя для того, чтобы я начала учебу на полсеместра позже остальных ребят. Во Флориде я слонялась по пляжам, играла под американскими соснами и открывала для себя комиксы, которые и стали хорошим стимулом научиться читать.

Потом мы переехали в Саванну, штат Джорджия, где я продолжила учебу в школе, а потом поступила в колледж. В восемнадцать я отучилась два года в младшем колледже в нашем городе. До той поры у меня было много мыслей о том, чем я хочу заниматься в жизни: разведение лошадей на ранчо, радиоинженерия, театр и тому подобное. Выпустившись из колледжа, я не имела ни малейшего понятия, чем хочу заниматься.

Я перепробовала разные и порой любопытные профессии, что кажется традицией для тех, кому суждено стать писателем: работала кукловодом, театральным работником, зазывалой барышника в Канзасе, по мелочи чинила радио, подавала бумагу в станок Гордона, принимала жалобы в салоне импортера иномарок, работала в печати (замечали, как часто писатели работают в пе-

чати? Видимо, это как-то связано с путаницей причины и следствия), читала самотек для первого фантастического журнала, где опубликовали Харлана Эллисона. Недолго проработала по заданию репортером-фотографом на Багамах с чужим фотоаппаратом, продавала рисунки для публикации, кропала статейки для журналов о машинах.

Что касается литературы — что ж, мама рассказывала мне истории. Потом уже я начала рассказывать ей. Первую я записала (на линованную бумагу, мягким карандашом) в шестом классе. Так ее и не закончила, но еще два-три года выдавала романы по пятьсот слов, перейдя на ручку с блокнотом. Почти все писала в классе, между лекциями, когда не выдумывала оправдание для своих скатывающихся оценок.

После колледжа моя работа заключалась по большей части в том, чтобы сидеть и ждать, когда зазвонит телефон. Я читала до умопомрачения, а потом сама начала писать вестерны, для себя. Подумывала что-нибудь продать, но решила, что еще „не готова“.

На время я отложила и практически забыла мысли о профессиональном писательстве. Я уже распланировала себе карьеру в печати. Потом однажды Тед Уайт предложил вместе написать

книгу. Эта задумка так ни к чему и не пришла, но подала мне идею написать самой. Вестерн. Я написала и, сжимая рукопись в чумазых ладошках, поспешила в *Ace*, чтобы предложить ее Терри Карру.

Терри понравилось, но *Ace* еще не вынес свой вердикт, как тут однажды Терри позвонил с предложением написать *еще один* вестерн. И я ухватилась за шанс обеими руками.

В то время я ушла с очередной должности и взяла пару недель передышки от работы по графику. Не успела я опомниться, как уже одну книгу продала, на вторую подписала договор, а третья находилась в работе. Я решила не искать новую постоянку, пока не иссякнут деньги. Что ж, это случилось шесть лет назад — а я все еще безработная. Я продала уже шестнадцать книг.

Что касается лично меня, то я барахольщица. Коллекционирую все подряд. В разные периоды жизни у меня было шесть лошадей, два мотоцикла, пятая доля гоночного карта, кварта винтажной болотной воды Окефеноки, самая большая *надписанная* коллекция ржавых гвоздей в районе и больше 2500 окаменелых акульих зубов (собранных вручную), не говоря уже о несметном числе остальной всякой всячины, в

основном — книг.

Я живу в благородной нищете в ужасно захламленной дыре под жилым домом в том, что, когда я въехала, называлось Нижним Ист-Сайдом, но с тех пор стало Ист-Виллиджем, хотя вряд ли это я виновата.

Я веду жизнь припадочной суетливости, досужего времяпрепровождения, частого замешательства и множества удовольствий. Среди моих друзей — одни из лучших людей в мире. Это жизнь не всегда простая, но хорошая».

Безмолвный вечер
Ли Хоффман



Звук головидения был тихим, игра красок приглушена до мягкой пастели, сопровождающая музыка почти неразличима. Окна, выставленные на «прозрачность», сияли от согревающего света сумерек за ними. Вентиляция подавала в комнату свежий и чистый воздух прямо с улицы. Весь мир был мягким, и теплым, и уютным.

Уинстон Адамсон, сидя в своем любимом кресле, попивал свежевыжатый овощной коктейль и следил краем глаза за дочкой. Как тут удержаться

от доброй улыбки.

Она стояла у корзины кошки и с сосредоточенным интересом наблюдала за Тэмми с котятами. Пятеро в помете. Мяукающие, копошащиеся, живые комочки меха. Первый помет Тэмми. Уинстон даже со своего места слышал тихое довольное мяуканье мамы-кошки.

Девочка, Лоретта, была третьей у Теа и Уинстона Адамсонов. Не третьей рожденной. Между первыми двумя и этой девочкой были еще двое. Он вдруг поймал себя на воспоминаниях о них. Джимми и Бет. Обоих уже нет. Но еще есть Лоретта. С такими же живыми глазами, такими же поджатыми губками, шаловливыми ручками — вечно любознательная, вечная исследовательница. И наблюдение за ней доставляло ему такое же удовольствие.

Очаровательные дети, говорил он себе с гордостью. Жаль, они не могут остаться такими навсегда — хорошенькими, маленькими, миленькими.

Что-то смутно неприятное покоробило краешек его удовольствия, отчего по удовольствию расплылась бурая клякса увядания. Его старший, Боб, вырос совсем не таким, как надеялся Уинстон. Мальчишка набрался дурацких идей о том,

чтобы изменить мир. *Изменить* совершенство!

Так его растак, на черта?

Но стоило образоваться этому вопросу, как Уинстон его оттолкнул. Отказывался о нем задумываться. Он не любил вопросы. Редко ими задавался. На большинство уже даны ответы задолго до того, как пришли ему в голову. Тем лучше. Удобное кресло. Удобный дом. Удобный мир. Уинстон всем доволен. И не понимал, отчего могут быть недовольны другие.

Вот его старшенькая, Нэнси, совершенно разумная девочка. С виду не думает ни о чем, кроме мальчишек. Еще несколько лет — и выскочит замуж, будет сама ждать отпрысков. О ней думать было приятно.

Лоретта оглянулась на него. Поймав его взгляд, улыбнулась. Уинстон знал, что будет скучать по этой улыбке, как уже скучал по улыбке Джимми. И Бет. Но он еще молод. Будут другие дети, другие улыбки.

Со звоном колокольчика открылась дверь. Это вернулась после всех дел Теа. Когда она вошла, Лоретта бросилась ей навстречу. Теа быстро чмокнула девочку, повернулась к зеркалу. Сам собой включился свет, освещая ее лицо. Она аккуратно сняла шляпу, чтобы не потревожить

ровную укладку венчавших ее голову кудрей.

Лоретта оставила маму и вернулась к маленьким формам жизни, которые набирались сил из тела своей матери.

— Я подтвердила наши имена в списке ожидания, но может пройти еще много лет, прежде чем что-то появится, — сказала Теа.

— Жаль, — пробормотал Уинстон, пожав плечами. — Я бы лучше оставил эту.

Теа кивнула, но рассеянно. Ее глаза поблескивали.

— Ты бы видел людей в Администрации Жизни. Некоторые умоляли о разрешениях. Я не шучу, Уин: умоляли на коленях.

Она со вздохом упала в свое любимое кресло и продолжила:

— Одна женщина *расплакалась*. На людях. Поверь, стыдно было смотреть. И ведь они все знают…

Сама мысль о плачущем человеке была тревожна. Уинстон от нее отшатнулся. Не хотелось об этом слышать. Но Теа словно получала мрачное наслаждение от пересказа самых отвратительных подробностей. Он неподвижно сидел, стараясь не слышать изливавшиеся на него слова.

Теперь образ плачущей на людях женщины не

шел из головы. Уинстон боролся с ним, сопротивлялся. Та женщина не имела на это права. Должна же она знать, какая нынче ситуация. Все знают.

Все устроено так просто, логично, разумно. Есть предел тому, сколько человек планета может без труда поддерживать. И этот предел достигнут давным-давно. Какое-то время, в эпоху революции эмоционалистов, царил хаос. Но когда неразбериха улеглась, возобладали холодные головы. Вернувшись к здравому смыслу и разуму, люди искали логичное решение — и нашли.

Каждому человеку выдавалось разрешение на жизнь. По нему давалось право произвести на свет и воспитать одного ребенка — одного человека на свое место. Пара детей у каждой пары. Все просто. Один за одного.

Конечно, не все рожали себе замену, поэтому разрешения тех, кто умер бездетными, перераспределялись, позволяя некоторым парам воспитывать до взрослого возраста третьего ребенка. Баланс населения оставался неизменным.

Но дети, они же — ну — такие *миленькие*.

Логика — не логика, а люди хотели детей. Хотели тискать младенцев, обниматься с карапузами, наслаждаться безоговорочной и безграничной любовью малышей. Поэтому не было никаких

официальных попыток сократить число *самых маленьких*.

В конце концов, очень маленькие дети занимают очень мало места и требуют очень мало мировых ресурсов. Только вырастая — то есть достигнув официально установленного возраста в пять лет, — они считались взрослыми, а значит, бременем для всего общества.

Лоретте пять лет будет завтра.

— Я принесла капсулу и договорилась о вывозе, — сказала Теа.

Уинстон кивнул. Посмотрел на дочь:

— Пора спать, милая.

— Уже?

— Да, уже.

— Нельзя посмотреть на котяток Тэмми? Еще чуть-чуть?

— Нет.

Лоретта надулась, но спорить не стала.

— Обними папочку, — сказал он.

Она подошла и обхватила его за шею. Он почувствовал тепло ее тела и вспомнил Джимми с Бет.

— Идем в постель. — Теа взяла ее за ручку.

Лоретта, смеясь, принялась тараторить ей какую-то историю о Тэмми с котятами.

— Не забудь выпить молоко! — окликнул Уин-

стон, когда Теа увела девочку.

Откинулся на спинку кресла, потягивая коктейль и не думая совершенно ни о чем. Расслабился в тихом пустом уюте, не замечая даже тихой музыки и незамолкающего мурчания Тэмми.

Когда вернулась Теа, он спросил:

— Дала ей капсулу?

Теа кивнула. Не говоря ни слова, ушла мимо него прямо в свою спальню.

Он вдруг обнаружил, что поднялся с кресла. Без всяких причин направился в спальню Лоретты. Она свернулась в постели на боку — волосы рассыпаны, лицо мягкое и гладкое в тусклом свете ночника. Маленькие розовые губки. Длинные светлые ресницы. Из-под волос выглядывало крошечное ушко идеальной формы. Одеяло чуть приподнималось от мягкого дыхания.

На его глазах движение остановилось.

Он отвернулся. Скоро прибудет служба вывоза. Теперь обо всем позаботятся они, как уже делали дважды. Все очень просто.

Он вернулся в гостиную. Тэмми все еще мурчала. Тишина казалась очень глубокой, мурчание — очень громким. Он опустил взгляд на маленькие версии Тэмми, что копошились, присосавшись к ней и гладя ее живот едва сформировавшимися

лапками.

И вдруг — без всяких объяснимых причин — Уинстон разрыдался.

Послесловие

«Безмолвный вечер» — это пересечение множества идей, мыслей, теорий и возможных следствий. Это не пророчество, а исследование. Действие происходит в будущем, но, как и большая часть «Опасных видений» из данной книги, касается «сейчас». Насчет этого рассказа я должна согласиться с Робертом Силвербергом, который в «ОВ» сказал, что рассказ должен говорить сам за себя. Все остальное будет излишним. По крайней мере, должно быть излишним, если рассказ чего-то стоит.

Предисловие



Много лет назад, когда Земля была молода и по ней бродили динозавры вроде *Collier's, The Saturday Evening Post* и *Blue Book*, я приехал на НФ-конвент в Филадельфии. А может, в Нью-Йорке. В конце концов все конвенты сливаются в один. На одних неожиданно появляется в белом смокинге Хайнлайн, выигрывая «Хьюго» и до смерти пугая тех, кто уверен: а) он на другом побережье, и б) во Вселенной есть порядок. На других фанаты падают через экран кинозала и всячески мешают самаритянам быть добрыми. Но это уже другая история. Увы: на момент написания я узнал, что Джон В. Кэмпбелл, редактор *Analog* (ранее *Astounding*) с 1937 года, уже никогда не побывает на конвентах: его смерть 11 июля 1971 года повергла в шок всю нашу сферу, и, как бы к нему

ни относились — любили, восхищались, терпели или не одобряли, — нельзя поспорить с тем, что это самая важная формирующая персоналия современной НФ, человек, сам себе начальник, жил по своим правилам и силой невероятного личного магнетизма влиял на всех в жанре. Все считают, что его будет ужасно не хватать и мы никогда не будем прежними. Как не будут прежними и конвенты, на которых всегда ощущалось присутствие Джона Кэмпбелла.

Но в допотопную эпоху, на том конвенте, что я пытаюсь вспомнить, Джон Кэмпбелл еще был с нами, и встреча с ним была не такой удивительной, как та, о которой я хочу поведать.

Прогуливаясь однажды вечером в Чикаго (или же в Сиэтле?) по множеству салонов, я наткнулся на *очень* высокого, худосочного человека с блокнотом, который прислонился к стене и корябал наброски, как ненормальный. Я подкрался сзади и заполз на подоконник, чтобы заглянуть ему через плечо (я же сказал «высокий», да?) и подсмотреть. Он делал карикатуры странных фэнов, присутствовавших в комнате. Я тут же почувствовал с ним родство — ведь и я вижу фэнов с одним большим глазом посреди лба, с зеленой шкурой, обтекающей ихором, с когтями вместо рук, со

слюнявыми пастями и волосатыми ушами.

Я спросил, как его зовут, и он ответил: «Гаан Уилсон».

Он сказал, что приехал по заданию от *Collier's* и планирует статью с карикатурами об НФ-конвентах.

Уже тогда, в Сан-Франциско — а может быть, в Кливленде,– я был раболепным фанатом необычных и уникальных карикатур Гаана Уилсона. Прошло пятнадцать лет, та статья о конвентах так и не вышла, уж нет *Collier's*, а Гаан Уилсон все еще жив. Я бы сказал «жив и *здоров*», но… что ж… достаточно только взглянуть на содержание трех его книг: («Могильный этикет Гаана Уилсона», «Человек в котле людоедов», «Что вижу, то и рисую» — *Gahan Wilson's Graveside Manner — Ace*, 1965; *The Man in the Cannibal Pot — Doubleday*, 1967; *I Paint What I See — Simon & Schuster*, 1971), чтобы заметить, что Гаан какой угодно, но не здоровый. По крайней мере, по определению, близкому обывателям всего мира. И все-таки Гаан Уилсон — благодаря его регулярным карикатурам в *Playboy, The Magazine of Fantasy & Science Fiction* и прочей периодике — стал главным карикатурщиком всего причудливого. Собственно, прошли уже годы с тех пор, когда с ним соперничал хотя бы Чарльз

Аддамс. Когда кто-то на вечеринке говорит: «Я тут видел *ужасно странную* карикатуру…» — и начинает ее описывать, девять из десяти, что речь о чудовищном детище Уилсона. (Как забыть иссушенного Санту, закупорившего дымоход, или смерть рекламщика с «рекламным бутербродом», или вампира в палате интенсивной терапии?)

Что известно далеко не всем поклонникам Гаана Уилсона, так это что он еще и пишет. Я имею в виду, не просто подписи к рисункам, но и критику, рецензии на книги и рассказы. Ах… м-м, да. Рассказы.

Когда пришло время составлять книгу, я связался с Гааном и предложил ему придумать целый новый вид рассказов — сочетание слов и картинок, чтобы одно не могло существовать без другого. Так сказать, вербализация уникального гаановского юмора, что сочится (можно даже рискнуть выразиться, гноится) в его карикатурах. Я предложил назвать это «словидом». Гаану словечко понравилось — и ниже следует то, что он прислал. Думаю, вы согласитесь, что его первый словид бесподобно дополняет гниющий корпус безумного творчества Гаана Уилсона. Более того: он обещает еще больше словидов, в свое время, в других местах. Всем нам надлежит побаловать

свой мазохизм и потребовать, чтобы он сдержал обещание.

Ну а пока — вот вам  , а вот сам Уилсон говорит за себя. Гаан? Ты там? А, *вот* ты где; ну, ты бы спустился к нам для разнообразия — стряхни эту тошнотворно-зеленую фиговину и расскажи о себе людям.

«Я простой малый со Среднего Запада, родился в Эванстоне, штат Иллинойс. У меня было замечательное детство, когда я жил в кирпичной развалине с двором из бетонных блоков, где кишмя кишели дети. Хеллоуины в Эванстоне были брэдбериевского жанра — шуршание листьев на широких улицах, умилительно жуткий пожилой господин в большом старом особняке, которого можно помучить, замыливание чужих окон (только гадкие безобразники замазывали их воском) и все такое. Мы до упаду играли в подвалах, за припаркованными машинами (у некоторых были шторки в заднем окне). Мы носили шортики — по крайней мере, мальчишки,– а девочки ходили с косичками. Потом явился организованный спорт, и жизнь постепенно превратилась в мерзкий ад, при мысли о котором у меня до сих пор волосы дыбом. С приближением старшей школы этот жуткий период моей жизни подошел

к завершению, и там я узнал, что мир полон чудиков, скитальцев по подворотням, мечтателей, трусишек, подергивающихся калек — и что все это не так плохо, как нас убеждали, и что каждый может развлекаться по-своему. Это привело к моему фантастическому расцвету, который не закончился до сих пор. Я, видимо, с рождения хотел стать карикатуристом. Существует грубоватый, нарисованный вручную комикс-стрип (с боевыми роботами в духе космической оперы), где в облачках вместо слов каракули,– он показывает, к чему я склонялся еще до того, как научился писать. Летом я учился в паре коммерческих художественных школ и обнаружил, что искусство преподают поверхностно, что нельзя научить юмору, а потом отучился четыре года в Чикагском институте искусств — хороший курс, целиком состоявший из работы, рисования, живописи, графики, и все под руководством преподавателей разных склонностей. Потом недолгое пребывание в BBC (потом оказалось, я все-таки негоден) и недолгое пребывание в Европе (в основном во Франции), а затем — атака на нью-йоркские рынки, которая окупилась — по большей части благодаря полосе везения, потому что меня считали *правда* странным и все обычные входы

на лучшие рынки были безнадежно закрыты. Вышло так, что обычный редактор карикатур *Collier's* ушел в *Look*, а временно исполняющий его обязанности художественный директор, не зная, какие карикатуры покупать, купил мои. Потом пришел новый директор и продолжил работать со мной, благослови его Боже. Когда исчез *Collier's*, я бросил жребий с Хефом в *Playboy* — и ни разу не пожалел. Он великолепный редактор и исключительно справедлив со всеми, кто у него работает. И да, Особняк именно такой, как о нем говорят. Я пару лет странствовал по Европе (как по мне, Лондон — лучший город в мире), и мне там очень-очень понравилось. Теперь я женат на красивой, интеллигентной и талантливой женщине, которая пишет для крупных журналов под псевдонимом Нэнси Уинтерс. Я ее не заслуживаю, но пока мне это сходит с рук».

Гаан Уилсон



Когда Реджинальд Арчер увидел ее впервые, она была совершенна в своей простоте. Ни малейшего усложнения, внешнего или внутреннего. Даже ни самого крошечного, самого отдаленного, самого пустякового намека на прикрасы. А выглядела она так:



Клякса. Не больше и не меньше. Как видите: черная, как видите: кривая — неказистая, непритязательная клякса.

Она чернела на ослепительно-белой льняной скатерти Реджинальда Арчера, на его столе для завтраков, в трех дюймах с половиной от его рюмки для яиц. Реджинальд Арчер как раз разбивал скорлупу, когда увидел эту кляксу.

Он помедлил и нахмурился. Реджинальд Арчер был холостяком — все свои сорок три года, — и любил дома идеальный порядок. Такие вещи, как черные кляксы на столовых скатертях, его огорчали — пожалуй, даже чересчур. Он позвонил дворецкому Фолксу.

Войдя, сей достойный человек увидел омраченное выражение хозяина и приблизился с опаской. Прочистил горло, чуть склонился — точно отмеренный угол поклона, — и, проследив за худым, бледным, указующим перстом, тоже обнаружил кляксу.

— Что,– вопрошал Арчер,– здесь делает *это?*

Фолкс, после недолгого мрачного созерцания, признал, что понятия не имеет, как туда попала клякса, рассыпался в извинениях и обещал ее немедленное и безвозвратное устранение. Арчер поднялся, оставив яйцо нетронутым в рюмке, лишенный всякого аппетита, и вышел из столовой.

В привычках Арчера было каждое утро удаляться к себе в кабинет и заниматься там немногими накопившимися письмами или финансовыми делами. В этом, как и во всем остальном, он был точен вплоть до ритуальности: он любил выстраивать свои дни по надежным, предсказуемым графикам. Он сел за стол — изящное изделие

из сияющего красного дерева, — и потянулся за письмами, аккуратно сложенными в стопку, как тут на краю зеленого бювара, накрывавшего всю рабочую поверхность стола, заметил:



Арчер спал с лица — я нисколько не шучу, — и вновь позвонил дворецкому. Возникла пауза — куда длиннее обычного, — после чего надежный Фолкс явился на зов хозяина. На лице дворецкого узнавалось замешательство.

— Клякса, сэр… — начал было Фолкс, но Арчер его перебил.

— К черту кляксу,– рявкнул он, показывая на оскорбление его очам на бюваре.– Что *это?*

Фолкс уставился на  в недоумении.

— Не знаю, сэр, — ответил он. — Никогда не видел ничего подобного.

— Как и я, — сказал Арчер. — И не желаю видеть впредь. Устранить.

Под ледяным взором Арчера Фолкс начал аккуратно изымать бювар, вытягивая из кожаных уголков. Только тогда Арчер впервые заметил довольно странное выражение лица пожилого слуги. Тут-то вспомнилась его незавершенная

фраза.

— Так что ты хотел сказать? — спросил Арчер.

Дворецкий взглянул на него, помялся, потом ответил:

— Клякса, сэр,– сказал он.– Та, что на скатерти. Я вернулся, когда вы ушли, сэр, и — просто в голове не укладывается, сэр,– она *пропала!*

— Пропала? — переспросил Арчер.

— Пропала, — подтвердил Фолкс. Дворецкий опустил взгляд на бювар, который теперь держал перед собой, и вздрогнул.

— Как и *эта!*— воскликнул он и, развернув бювар, явил, что тот не осквернен и намеком на .

Осознав теперь, что происходит нечто из ряда вон выходящее, Арчер задумчиво уставился перед собой. Фолкс, наблюдая за ним, увидел, как его взгляд вдруг вновь сосредоточился на чем-то.

— Взгляни-ка, Фолкс, — тихо произнес Арчер. — Вон туда, на стену.

Удивляясь приказу хозяина, Фолкс подчинился. Тогда и пришло понимание, ведь на обоях, прямо под равнодушной мариной в рамочке, находилась



Арчер поднялся, и они оба подошли поближе.

— Что бы это могло быть, сэр? — спросил Фолкс.

— Ума не приложу, — ответил Арчер.

Он повернулся было, чтобы развить мысль, но, увидев, как дворецкий переводит взгляд на него, быстро оглянулся к стене. Поздно — таинственной  и след простыл.

— Это требует постоянного наблюдения,– пробормотал про себя Арчер, затем громче: — Ищи, Фолкс. Ищи! А как найдешь, *не отводи от нее взгляд ни на секунду!*

Они тщательно обшарили кабинет. Уже скоро Фолкс издал возглас:

— Есть, сэр! — воскликнул он. — На подоконнике!

Арчер поспешил к нему и увидел:



— Не упускай из виду! — прошипел он.

И дворецкий встал, вперившись в пятнышко, а хозяин яростно жевал костяшки левой руки. Что бы это ни было, с этим нужно было покончить — и поживей. Он не потерпит непорядка у себя дома.

Но как от этого избавиться? В размышлениях он перешел на костяшки второй руки. У явления, как ни неприятно это было признавать, имелся *сверхъестественный* привкус. Быть может, это какой-то гадкий вид привидения.

Он сунул обе руки — вместе с костяшками — в карманы брюк. Это выдавало истинную степень его волнения — ведь ничего он не презирал больше, чем неблаговидные выпуклости в заказном костюме. Кто в подобном разбирается? Как быть?

И тут его осенило — сэр Гарри Мандифер! Ну конечно! Он знал сэра Гарри со школьных лет — тогда еще просто Гарри, разумеется,– а теперь они были вхожи в одни и те же клубы. Гарри занялся литературой, добился успеха, а теперь, имея в своем распоряжении горы денег, подвизался на поприще спиритуализма — став, быть может, главным экспертом на этой ниве. Сэр Гарри — вот кто ему нужен! *Лишь бы* уговорить его явиться.

С написанной на лице решительностью Арчер твердым шагом прошел к телефону и набрал номер сэра Гарри. До него было не так просто дозвониться, как в былые деньки. Теперь между ними стояли секретари, подозрительные и скрытные. Но Арчер и сам известен, а это меняло все — и уже скоро на линии прозвучал голос сэра

Гарри. После всех дежурных приветствий и расшаркиваний Арчер перешел к сути дела. Он емко и четко описал утренние события. Не затруднило бы сэра Гарри приехать? Арчер считал, что счет идет на минуты. Сэра Гарри отнюдь не затрудняло! Арчер отблагодарил со всем теплом, что допускала его довольно закрепощенная натура, а затем, вздохнув всей грудью с облегчением, опустил трубку.

Но не успел он этого сделать, как услышал тихий и отчаянный возглас Фолкса. Обернувшись, он увидел, как старик с несчастным видом заламывает руки.

— Я просто моргнул, сэр! — пролепетал он. — Всего лишь моргнул!

И этого хватило. В долю секунды без присмотра  пропала с подоконника.

Они обреченно приступили к новым поискам.

Сэр Гарри Мандифер с удобством откинулся на мягкую спинку сиденья своего лимузина и поздравил себя со вчерашним успешным исходом дела Марстонского приходского дома. Негоже было бы бросать такое опасное происшествие нераскрытым, но они все-таки отыскали кости Лепечущей Монашки — и теперь она упокоится с миром в освященной могиле. Больше не будут

украшать корнуолльский пейзаж безголовые дети, больше не будут звучать в ночи материнские причитания. Он сделал свое дело — сделал на совесть, — и теперь был волен заняться этой, судя по всему, совершенно прелестной загадкой.

Толстяк довольно закурил сигару и наблюдал за пробегающими улицами за окном. Какая прелесть, что человек столь аккуратный и дисциплинированный, как Арчер, может столкнуться с чем-то столь возмутительным. Лишнее доказательство, что и самые упорядоченные жизни стоят на зыбучем песке. Даже самое уютное прибежище полно люков и тайных панелей, нежданных чердаков и внезапно возникающих комнат. Отчего чистюле Арчеру быть исключением? Вот он и не был.

Лимузин мягко затормозил перед домом Арчера, и Мандифер, явившись из машины, с удовольствием поднял взгляд на фасад. Это было изящное георгианское здание, принадлежавшее семейству Арчера с самого его возведения. Мандифер поднялся по ступеням и уже было взялся за дверной молоток, как дверь распахнулась сама — и он обнаружил себя нос к носу с Фолксом, пребывающим в отчаянном волнении.

— О, сэр! — вымолвил дворецкий самым жа-

лобным голосом. — Как же я вам рад! Мы уже не знаем, что и думать, сэр, и не можем за этим уследить, так быстро оно перемещается!

— Ну-ну, Фолкс, — пророкотал сэр Гарри, вплывая в проем с неудержимым авторитетом большого клипера, идущего на всех парусах. — Не все так плохо, верно?

— О, плохо, сэр, и еще как!– сказал Фолкс, семеня следом за Мандифером по коридору.– Его просто невозможно *поймать*, сэр, вот в чем дело, а возвращается оно с каждым разом все *больше!*

— Значит, в кабинете? — уточнил сэр Гарри, открывая дверь и заглядывая внутрь.

Тут он прирос к месту, и его глаза чуть расширились из-за представшего зрелища, ведь даже для такого повидавшего незаурядные виды человека картина была поразительной.

Вообразите себе красивый кабинет, изысканно обставленный, содержащийся в безукоризненном порядке. Вообразите обитателем сего кабинета худосочного, высокого господина, одетого с иголочки, с наилучшим вкусом. Теперь представьте все вместе — и человека, и кабинет, — безупречным образчиком совершенства, что могут обеспечить лишь огромные деньги, профильтрованные через поколения неизмен-

ных привилегий.

А теперь представьте себе этого человека на карачках, в углу кабинета, вытаращившего глаза на стену, а на стене — такую картину:



— Феноменально, — произнес сэр Гарри Мандифер.

— Правда же, сэр? — простонал Фолкс. — О, правда!

— Как я рад, что ты приехал, сэр Гарри,– произнес Арчер, все еще стоя на четвереньках в углу. Слова было трудно разобрать, потому как он цедил их сквозь зубы.– Прошу простить, что не встаю, но если отвести глаза от этой чертовщины или хотя бы моргнуть, то… ах, *чтоб* тебя!

И в то же мгновение



исчезло со стены. Арчер с шумом выдохнул, прижал ладони к лицу и тяжело осел на пол.

— Даже не говори, где оно теперь, Фолкс, — сказал он. — Не хочу знать; не хочу слышать.

Фолкс промолчал, лишь коснулся дрожащей рукой плеча сэра Гарри и указал на потолок. И там, ровно посередине, было:



Сэр Гарри склонился к уху Фолкса и прошептал:

— Следи за этой штукой, сколько сможешь, старина. Постарайся ее не упустить.

Затем обычным дружеским тоном — то есть веселым рокотом, — обратился к Арчеру:

— Хорошенько ты влип, а?

Арчер мрачно взглянул сквозь пальцы. Затем аккуратно опустил руки и поднялся. Отряхнулся, чуть поправил пиджак и галстук и наконец заговорил:

— Прости, Гарри. Боюсь, я позволил этой штуке взять надо мной верх.

— Ничего подобного! — воскликнул Гарри Мандифер, хлопнув Арчера по спине. — К тому же тут любой бы струхнул. Я и сам вздрогнул, а уж я-то привычен к подобного сорта делишкам!

За множество похождений в проклятых домах и топях с привидениями сэр Гарри отточил свой надежный метод ободрения — и не подвел он и сейчас. Арчер вернул самообладание едва ли не в мгновение ока. Довольный произведенным эффектом, сэр Гарри перевел взгляд на потолок.

— Так говоришь, все начиналось с кляксы? — спросил он, всматриваясь в простиравшееся над ними темное нечто.

— Не больше пенни, — подтвердил Арчер.

— И какие этапы оно проходило за это время?

— Оно пустило мелкие отростки. Они становились больше, а вместе с ними появлялись новые части, и, словно этого мало, сама эта мерзость *разбухает*, словно проклятый воздушный шар.

— Экая гадость, — проговорил сэр Гарри.

— Я бы сказал, оно около ярда в диаметре, — сказал Арчер.

— По меньшей мере.

— Что ты об этом думаешь, Гарри?

— Похоже на некое растение.

Дворецкий и Арчер уставились на него. А



тут же пропало.

— Простите, сэр, — вымолвил ошеломленный дворецкий.

— Что значит «растение»? — переспросил Арчер. — Какое же это растение, Гарри? Для начала оно совершенно плоское.

— А вы его касались?

Арчер шмыгнул.

— И в голову не приходило.

Дворецкий тактично прочистил горло.

— На полу, господа, — сказал он.



Все трое задумчиво опустили взгляд. Теперь самый большой отросток достигал чуть более

четырех футов.

— Обратите внимание, — произнес сэр Гарри, — что текстура ковра не проглядывает через черноту, а значит, это сродни чернилам или какому-либо другому пятну. Это самодостаточная поверхность.

Он наклонился — удивительно изящно для человека его размера, — и ткнул карандашом из кармана. Карандаш ушел во тьму на четверть дюйма и уперся. Он попробовал в другом месте, на сей раз отмерив добрый дюйм.

— Как видите, — начал сэр Гарри, выпрямляясь, — у него есть сложная форма. Наши глаза воспринимают лишь два его измерения, но осязание находит и третье. Очевидный вывод из наличия длины, ширины и высоты — ваше растение явилось из какой-то другой системы измерений, понимаете? Надо думать, первоначальная клякса была зернышком. Я ясно выражаюсь? Вы понимаете?

Арчер понимал не вполне, но довольно сносно изобразил понимание.

— Но почему эта чертовщина появилась здесь? — спросил он.

У сэра Гарри как будто и на это нашелся ответ, но его перебил Фолкс, и теперь нам ответа уже

не узнать.

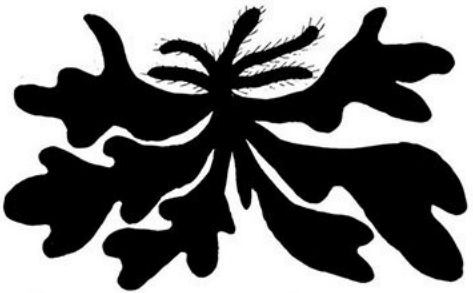
— О, сэр! — воскликнул он. — Оно снова пропало!

И точно. Ковер раскинулся под ногами троицы без единого изъяна. Они пошарили глазами по комнате, уже с неким опасением, но не нашли и следа пришельца.

— Быть может, вернулось в гостиную? — предположил сэр Гарри, но поиски показали, что нет.

— Нет причин полагать, что оно ограничится двумя комнатами. — Сэр Гарри задумчиво пожевал губу. — Или даже домом.

Фолкс, стоявший к двери в коридор ближе остальных, пошатнулся и издал задушенный звук. Остальные обернулись и посмотрели, куда он показывал. А там, на полосатых обоях коридора, напротив двери растянулось



— Это,– еле вымолвил Арчер,– уже *и в самом деле* слишком, Гарри. Нужно что-то делать, не то эта гадость захватит весь чертов дом!

— Не отрывай от него взгляд, Фолкс, — велел сэр Гарри, — любой ценой. — Затем обернулся к Арчеру. — Я уже доказал, что оно материально. Оно уязвимо для нападения. Не найдется ли у тебя под рукой большого режущего орудия? Мачете? Чего-то наподобие?

Арчер пораскинул мозгами, потом его лицо просветлело, пусть и в довольно мрачном духе.

— У меня есть крис, — объявил он.

— Неси.

Арчер поспешил прочь из столовой, сжимая и разжимая кулаки. Пауза затянулась, затем раздался его голос из другой комнаты:

— Никак не могу достать этого паршивца из витрины!

— Я помогу, — откликнулся сэр Гарри. Повернулся к Фолксу, который по-прежнему показывал на пришельца на стене, словно преданная гончая. — Не дрогни, старина, — велел он. — Пусть твой взгляд будет верен!

Крис — старый военный трофей, привезенный дедушкой Арчера, — держался в витрине на запутанной проволоке, и у сэра Гарри с Арчером ушло добрых две минуты, чтобы высвободить оружие. Они поспешили обратно в коридор и застыли, как громом пораженные.



пропало без следа — но что хуже, пропал и дворецкий Фолкс! Арчер с сэром Гарри обменялись

испуганными взглядами и принялись звать дворецкого по имени, снова и снова, — тщетно.

— Что это может быть, Гарри? — спросил Арчер. — Во имя Господа Бога, что происходит?

Сэр Гарри Мандифер не ответил. Он выставил крис перед собой, стреляя глазами туда-сюда, и Арчер, к ужасу своему, заметил, что тот дрожит. Затем сэр Гарри с заметным усилием воли взял себя в руки и вновь вернул обычный стойкий вид.

— Мы должны это найти, Арчер, — произнес он, выставив подбородок. — Должны это найти и убить. Быть может, если оно скроется вновь, нам уже не представится второго шанса!

С сэром Гарри они переходили из комнаты в комнату, но не находили ничего. Поиски на втором этаже тоже ни к чему не привели.

— Моли Бога, — сказал сэр Гарри, поднимаясь выше, — чтобы это существо не покинуло дом.

Арчер, задыхаясь от банального страха, нетвердо поднимался следом.

— Быть может, оно вернулось, откуда пришло, Гарри, — произнес он.

— Только не теперь, — мрачно отвечал второй. — Не после Фолкса. Думаю, ему приглянулся наш мир.

— Но *что* это?

— Как я и сказал — растение, — ответил здоровяк, открывая дверь и вглядываясь в комнату. — Непростое растение. Такие бывают и в нашем измерении.

Только теперь Арчер все понял. Сэр Гарри открыл новую дверь, и еще — безуспешно. Оставался только чердак. Они поднялись по узкой лестнице — сэр Гарри впереди, с крисом наголо. Арчер к этому времени уже еле затаскивал себя по перилам. Его дыхание вырывалось тихими всхлипами.

— Мясоед, так?– прошептал он.– *Так*, Гарри?

Сэр Гарри снял руку с ручки маленькой дверцы и обернулся к спутнику.



— Именно так, Арчер, — ответил он, пока за его спиной незаметно распахнулась дверь. — Оно плотоядное.

Послесловие

Простите за небольшой тик в уголке моего левого глаза и то, что я подскакиваю от внезапных звуков, но Харлан Эллисон уже четвертый раз просит расширить послесловие — и это, друзья, уже начинает сказываться.

В первый раз я попытался отделаться кратким комментарием в духе дзен-коана — остроумным, но глубоким. До Харлана не дошло. Вернул послесловие с припиской, назвав его жидковатым. «Малость жидковато», — это я цитирую буквально.

Во второй раз я набросал пару красноречивых комментариев о структуре карикатуры. Это было и познавательно, и интересно, и я решил, что на этом он и остановится.

— Еще, — ответил Эллисон любезно, но ненасытно.

К третьему разу я уже срывался на незнакомцев, а теперь, на четвертой попытке, вдруг понял, что все эти «Опасные видения» — лишь хитроумный заговор против меня. Харлан и *Doubleday & Company, Incorporated* — вся их шайка-лейка, бог знает как раскрыла, что я царь Александр,

и теперь намерена помешать моему грядущему покорению Чикаго.

Пусть только попробуют.

Между тем Эллисон придумал термин «словид», чтобы описать повествовательную технику в рассказе [redacted], и оно, пожалуй, сойдет (это же его сборник, в конце концов), пока литературные историки не придумают что-нибудь покрасивее. Техника «словидов» — это попытка расширить карикатуру, которая представляет собой сочетание визуального эффекта и слов. В карикатуре рисунок не иллюстрирует подпись и подпись не объясняет рисунок. Это взаимозависимые части одного целого. Комикс-стрип — это один вариант развить однокадровый эффект карикатуры, а словид — другой.

Я всегда считал — и, пожалуй, по моему творчеству это видно,– что формат картинки/слов отлично подходит для фантастического гротеска, а [redacted] — это и есть фантастический гротеск. Мне очень понравилось его писать/рисовать — а вам, надеюсь, понравилось его читать/видеть.

Предисловие «Создание из пробирки – после»



Джоан Бернотт — примечательная молодая леди. Ей двадцать пять, но она уже публиковалась в двух из четырех выпусков престижного журнала Сэмюэла Р. Дилэни и Мэрилин Хакер *Quark*, а здесь перед вами — ее первый проданный рассказ, хоть другие два ушли в печать быстрее.

Я познакомился с Джоан на Кларионской творческой мастерской по НФ и фэнтези в 1969-м, где (по моему грубому подсчету и чутью) в нее отчаянно втюрились одиннадцать мужчин. Вскоре после семестра в Кларионе она появилась здесь, в Чикаго, и на несколько дней задержалась в

своем пути по Подземной железной дороге[119] на остановке «Эллисон». Только не торопитесь с выводами: в список бывших «кларионцев», проживавших у меня в течение разных периодов рабочего времени, входят Джерард Ф. Конуэй, Джеймс Сазерленд, Эд Брайант, Нил Шапиро, Люси Симен и Сандра Раймер (и все, между прочим, профессиональные писатели).

Я говорю «примечательная» по целому ряду причин, большую часть которых в этом предисловии опущу; но не последняя из них та, что Бернотт вышла с любительской сцены уже практически расцветшая, с уникально личными силой и стилем. Другая — что она удивительно быстро вызвала у меня неприязнь столь исполинских масштабов, что, должен сознаться, лишь безукоризненный рассказ мог заслужить ей место в этой книге. Ровно такой она и прислала, и дальше остается лишь передать слово самой миз Бернотт:

«Я родилась в Мичигане в 1946-м, выросла в Детройте и несколько лет назад перебралась жить в сельскую местность. Я хроническая лет-

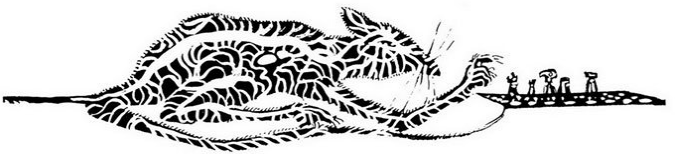
[119] Примечания: 119

Отсылка к Подземной железной дороге XVIII–XIX веков — сети маршрутов, которыми беглые черные рабы с Юга перебирались в северные штаты или Канаду с помощью аболиционистов.

няя путешественница — по Европе, Канаде и по Соединенным Штатам, — а в следующем году планирую навестить Центральную Америку.

У меня есть степень бакалавра политологии от Оклендского университета в Рочестере, штат Мичиган, и в данный момент я работаю на фрилансе писательницей и театральным фотографом. К моменту выхода „Новых опасных видений“ планирую получить степень по уголовному праву».

Создание из пробирки – после Джоан Бернотт



Около половины десятого Томми, прошлепав босиком по ковру в индийский огурец, привносившему уют в его квартиру-студию, помыл посуду, оставшуюся за день, и выключил почти весь свет. Затем зажег голубую свечную люстру, которая лениво вращалась на высоком потолке, и устроился в бархатном кресле у окна. Раскрыл на коленях старый тяжелый альбом картин Уайета; репродукции успокаивали его после многолюдного, многозадачного дня. Нашел ближе к середине свою любимую — «Далекий гром». На

ней стройная жена Уайета лежала в поле под пасмурным небом Мэна: на взгляд Томми, самое изящное изображение нежности перед бурей.

В одиннадцать часов он все еще сидел на кресле, с книгой, раскрытой на том же месте; в кофейной чашке на широком подлокотнике лежали три раздавленных окурка, а у его губ неосознанно застыл ноготь большого пальца. Его внимание было приковано не к картине в альбоме и не к окну, выходящему на неоновое сияние Пятой авеню, а к спящему светло-коричневому существу, что приютилось в противоположном углу комнаты. Это существо размером со взрослую собаку напоминало видом и вытянутой головой хорька, но повадками — скорее кошку, с узкими глазами и опасливым характером. Том назвал ее Хиллари. Она пролежала совершенно неподвижно почти два часа, а теперь вздрогнула от пробуждения.

В странном нетерпении Том вскочил из глубокого кресла вместе с чашкой, с шумом вылил кофе в измельчитель мусора рядом с раковиной. Хиллари встрепенулась и проснулась, тихо зашуршав и проведя по мордашке кошачьей лапкой. Вдруг ему стало совестно, что он ее разбудил и приступил к делу раньше времени. Он обернулся к ней с деланой небрежностью.

— Выспалась, Хиллари?

Она изящно кивнула и стремительно приблизилась длинными шагами. Легко поднявшись на задние лапы рядом с ним, она вытянулась, чуть-чуть не доставая передними до его груди. Он взял Хиллари на руки и дружелюбно, хотя и нервно, пригладил ей спину. Ее передернуло от удовольствия.

В полночь Том и Хиллари сидели лицом друг к другу на ковре, над голубым свечением шахматного матча. Том тянул с ходом уже несколько минут; все ее внимание было приковано к доске, круглые влажные глазки бесстрастно моргали. Он ждал, когда она посмотрит на него.

— Хиллари, послушай… — Она снова моргнула, вся внимание. — Котенок, я… я правда не знаю, с чего начать. Не хочу, чтобы ты поняла меня неправильно или обиделась, понимаешь?

Она словно съежилась, чуть попятившись к углу, подняв передние лапы к узкой груди, сцепив их в удивительно опасливый узел. «Как она может догадываться?» Тут зазвонил телефон.

— Алло?

— Алло, Хиллари. Позовешь Тома?

Хиллари застенчиво потупила взгляд и вернулась к столу, не поднимая головы, а Том прошел

через комнату и всмотрелся в лицо на экране.

— Томми, — сказало лицо, — ты сегодня не зайдешь?

Это была Мэри — она жила рядом, одиннадцатью этажами выше в комплексе С. Они с Томом довольно регулярно встречались после того, как несколько месяцев назад познакомились на работе.

У Томми чуть приподнялись брови: «Уже вторник?»

— Мэри, — начал он. — Думаю, лучше не стоит. У меня сегодня еще много работы… — он осекся. — Извини меня, правда. Блин. Надо было раньше тебе позвонить…

Пауза. Голос Мэри смягчился.

— А. Ну, тогда, может, на неделе?

Ей нравился Том — задумчивый, любил искусство, отличался от остальных лаборантов, чей эмоциональный диапазон обычно зажат тугими скобками.

Том подождал, пока воцарится тишина. Очень мягко, но с напором произнес:

— Вряд ли, Мэри.

На ее лице отразилось удивление.

— Вот как. Ну, что ж, хорошо. Удачи тебе и твоему ненормальному питомцу. — Ее смешок

затрещал в интеркоме, как помехи; он кивнул, и экран погас.

— Том?

— Да, Хилл?

— Ты не хочешь доигрывать?

Он обернулся и улыбнулся.

— Мы доиграем, Хиллари.

В полвторого, когда она выиграла, Том сидел, поводя большим пальцем по гладкой поверхности пластмассовой шахматной фигурки, и разглядывал Хиллари в приглушенном свете. От длинных серебристых усов и бровей на ее мордочку падали тени. Добрые красивые глаза.

Он думал о том, чтобы подойти к раковине и достать из ящика мясницкий нож. Но разве он сможет заставить себя ее зарезать? Его мутило от одной мысли о ее зияющей, окровавленной глотке. Он закрыл лицо обеими руками.

Можно отравить; наверное, она догадается, что происходит. Попятится от него; может, потянувшись к ней, он споткнется, упадет и ударится головой о ножку тяжелого кресла. И умрет. Он представил, как неподвижно лежит на полу, в тишине. Хиллари тоже будет сидеть тихо, а потом начнет хныкать. И плакать. Коснется ли она его лица? Задумается ли об этике убийства?

Сможет ли простить себя — или его? Не захочет ли умереть и сама?

— Том?

— Да, малышка?

— Что-то случилось?

Он оцепенело покачал головой и перегнулся через шахматный стол, подхватив ее на руки. Уложив гибкое тело себе на колени, он почувствовал, как ее передняя лапка нежно легла ему на грудь, как она прижалась головкой к его плечу. Том сделал очень глубокий вдох и посмотрел в окно. Пасмурное небо горело, словно днем. Почему-то вот так — так, как проще, — было заодно и лучше. Переживая из-за своего смирения намного меньше, чем он ожидал, — учитывая довольно жуткое положение, — Том закрыл глаза, и Хилларри закрыла свои.

На рассвете они все еще сидели там, вдвоем на красном бархатном кресле. На самом деле это был первый раз, когда они спали вместе.

Послесловие

Мои самые точные воспоминания о катехизисе в начальной школе — это урок, что Бог сотворил человеческий род, чтобы существовал кто-то еще, кроме него самого: конкретный сосуд или получатель его любви. Это запало мне в память — тогда я приняла эту причину очень близко к сердцу.

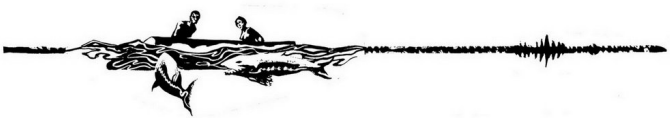
Во время генетических манипуляций человек участвует в особенно упорядоченной созидательной деятельности. И мне пришло в голову, что в конце концов его мотив, возможно, совпадает с предполагаемым божественным. Домашние животные уже стали объектами человеческой любви и усилий, часто — в неоправданной мере. Мутированные разумные животные будут ими и подавно, чисто логически. В конце концов, зверюшек любить проще, чем людей.

Но «Создание из пробирки» — опасное видение, и написано оно не для того, чтобы порадовать любителей животных. История рассказана мягко, даже нежно, но все равно трагична, потому что Обыватели в ней — томы и мэри — не могут удовлетворить потребности друг друга. Это уда-

ется Хиллари, но только в антропоморфическом смысле. Она — только замена, копия того, кого Том мог бы искренне и счастливо полюбить и, что важнее, того, кто сам мог бы на эту любовь ответить взаимностью.

Еще это непрямое продолжение «Планировщиков» Кейт Вильгельм. Я высоко ценю и ее мастерский рассказ, и ее искреннюю любовь к людям.

Предисловие «И море как зеркала»



Раньше существовала огромная разница между «неизвестным» писателем и писателем-«графоманом». Ее никак не назовешь тонкой, но большинству непубликовавшихся бумагомарак почему-то трудно ее понять. А не понимать ее губительно. Это вынуждает людей, которые были бы совершенно счастливы на работе продавцов обуви, компьютерных программистов или зубных техников, тратить впустую жизнь на невоплощенные мечты, колотить по печатным машинкам и строчить в дневниках — и так *никогда* и не подобрать нужные слова. Те слова, что делают рассказ, или сценарий, или пьесу чем-то

особенным. Чтобы кто-то хотел их купить и поставить на них свою редакторскую репутацию, и воздать наивысшую почесть — выписать за них чек. А это уже говорит: «Может быть, ты „неизвестен“, но ты не „графоман“. У тебя есть талант, и теперь твой талант создал что-то с особенными свойствами, и оно заводит читателя туда, где тот еще не бывал. Я это обожаю, я хочу это опубликовать и хочу с этим ассоциироваться; публикуя эту особенную вещь, я хочу, чтобы ее магия распространилась и на меня». Это комплимент, и заслужить его непросто. Раз за разом не заслуживая этого комплимента, тысячи графоманов каждый год шлют графоманские рассказы в журналы и антологии, шлют графоманские пьесы продюсерам, шлют графоманские телесценарии агентам и студиям… и умирают из-за отказов. Они не уловили различия между графоманом и неизвестным писателем. Они верят, что второй от рождения благороден, каким-то образом неразрывно связан с величием, не понимая, что если такая пуповина и существует — *если* она существует, а я ни на миг этого не допускаю,– но *если* она и существует, то они не понимают, что эту пуповину перерезает *графомания*. Быть неизвестным значит просто быть неизвестным.

Быть графоманом — значит быть глухим к тону и ритму, быть дальтоником. Это так же далеко от комплиментов, как курица от орла. И курица, и орел — птицы, и все-таки одна вечно клюет грязь, а вторая воспаряет к горным вершинам. Они строчат свои мечты в дневниках, они колотят по ночам на печатных машинках — и умирают, когда их мечты отвергают, так и не осознавая: графоман обречен не подобрать слова *никогда*.

Грег Бенфорд долгое время был неизвестным. Но графоманом — никогда. Он не издавался, но был к этому готов. Он писал для фэн-журналов и посылал рукописи профессиональным изданиям, но долгое время не издавался — был неизвестным. Но не графоманом. Ему только требовались те самые комплименты, чтобы укрепить его, поддержать, донести его мечты до читателей.

В 1965-м в *The Magazine of Fantasy & Science Fiction* напечатали стихи Дорис Питкин Бак (ее опасное видение появится в третьем томе этой трилогии), где описаны компьютер *Univac* и единорог и намекается, что размножение первых положит конец вторым. Это такая интригующая идея, что редактор *F&SF* открыл конкурс для неиздававшихся писателей в поисках рассказов, где важную роль сыграют *Univac* и единорог.

Текстов прислали немало. (Я над своим тружусь уже семь лет и однажды закончу, уже совсем скоро.) Победил Грег Бенфорд. После чего уже не был не только графоманом, но и неизвестным.

С того времени Бенфорд продал много рассказов и статей, а также роман «Глубже тьмы» (*Deeper than the Darkness, Ace*, 1970). (Он вошел в финал и «Хьюго», и «Небьюлы» в категории «короткая повесть».) Бенфорд регулярно ведет колонку о науке в научной фантастике для *Amazing Stories*.

«И море как зеркала» — это хороший рассказ. Я его обожаю, и хочу опубликовать, и хочу с ним ассоциироваться; хочу, чтобы из-за публикации и на меня распространилась магия этой особенной вещи.

А теперь, после публикации, мне остается только представить вам мистера Грегори Бенфорда:

«Я родился в маленьком городке в южной Алабаме в 1941 году. Родители работали школьными учителями, но во время войны отца с нами не было, а в 1946-м он продолжил военную карьеру. Поэтому нас с моим братом-близнецом таскали по разным экзотичным и хаотичным частям света, в том числе в Японию, Германию, Джорджию, Техас, Оклахому. Как все это повлияло на мою психику, неизвестно, но, возможно, этого и хва-

тило, чтобы столкнуть меня за край — в болото научной фантастики.

Наверное, в подростковом возрасте меня в научной фантастике больше интересовала наука; пожалуй, я один из тысяч, кого привлекли к науке и инженерии хайнлайновские ювеналии и кое-что еще. Так или иначе, в старшей школе я заинтересовался физикой, в 1963-м получил по ней диплом бакалавра, переехал в Калифорнию и в 1965-м получил диплом магистра в Калифорнийском университете (UC). В 1967-м женился на Джоан Эбби из старинной бостонской семьи, и через три месяца (ноябрь) получил в UC (Ла-Холья) докторский диплом. По дороге рассыпаны другие почести и прочее, но не думаю, что они хоть что-то значат: „Фи Бета Каппа“, стипендиат общества Вудро Вильсона, другие стипендии.

Сейчас занимаюсь исследованиями (я физик-теоретик) в Калифорнийском университете и проживаю в Лагуна-Бич.

У меня достаточно много интересов. Много лет занимался серфингом в Ла-Холье, подводным плаванием (в прошлом ноябре второй раз выбирался на Карибы), изучал древние цивилизации, немало путешествовал (провел много времени в разных европейских странах), довольно активен

в политике, пытаюсь узнать как можно больше всего обо всем, люблю деревья и покой, а значит, скорее всего, к сорока стану очаровательным эксцентриком, люблю жену, читаю все.

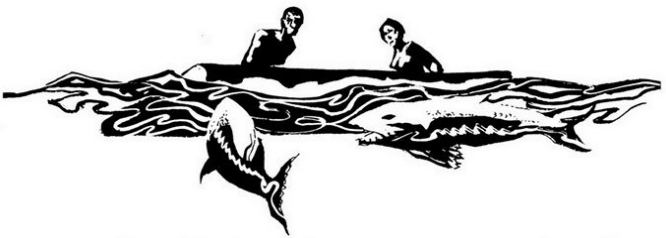
Я начал с пары рассказов в 1964-м, когда был в аспирантуре в Ла-Холье, и выиграл конкурс рассказов в *F&SF* в 1965-м. Продал им три рассказа и бросил, чтобы дописать диссертацию. В 14 лет вместе с братом (он сейчас физик-экспериментатор) открыл фэнзин *Void*, вел его дальше с разными соредакторами (в том числе Терри Карром и Тедом Уайтом) до 21 года. Много писал в фэнзины о НФ, но не думал, что это стоит публикации, до недавнего возрождения в этой области. Не считаю себя Писателем — просто парнем, который пишет на досуге. Вся моя жизнь направлена на творчество, поэтому я и люблю исследования.

Многое в матчасти рассказа „И море как зеркала“ взято из курса выживания, который я проходил, хотя здесь хватает спорных моментов (например, как пить морскую воду), поэтому не считайте это истиной в последней инстанции.

Хобби: пить вино, играть во все игры, где есть ракетка, ходить в походы, созерцать неодушевленные предметы, мистицизм, восточные

религии, астрофизика».

И море как зеркала
Грегори Бенфорд



Уоррен гадал, сколько они уже дрейфуют. Тридцать семь дней, отвечали регулярные зарубки на ветке. Роза сверяла с ним каждую. Каждый полдень они делали ритуальный надрез его затупленным карманным ножиком, внимательно запоминая свежую черточку, чтобы не путать с остальными и не принимать за вчерашнюю.

— На что смотришь? — спросила Роза, моргая под низким навесом.

— Считаю, — ответил Уоррен.

— Тридцать семь, — сказала она, и по ее голосу он слышал, что ей тоже в это не верится. Порядок, красота чисел, структура — здесь все это было пустыми звуками. Как они могли не сбиться за столько дней?

Наверняка ошиблись раз или два. И разве в дни лихорадки ему не привиделось, как он спиливает ветку, чтобы ускорить ход времени, режет, пока не поскользнулся коленом на собственном поту и не потерял сознание? Он уже не помнил.

— Спи дальше, — сказал он. — Сейчас приду. Показалось, будто я что-то слышал.

Она вскинулась, прислушиваясь к волнам, тихо шлепающим в дно плота. Но до них доносились только бормотание моря и металлический перестук, когда на палубе сдвигались их ряды консервных банок. Потом Роза снова прилегла и прикрыла темные глаза, прячась от режущей желтизны тропического дня.

Уоррен повернулся обратно к ветке, привязанной к плоту. Тридцать семь дней с тех пор, как затонул «Манамикс». Тридцать семь периодов ослепительного света, голода, ужаса, жажды.

По воде пробежала жидкая рябь, затем — стук в плот. Роза села. Уоррен жестом велел молчать

и подождал. Поскрипывали, притираясь друг к другу, доски и бревна плота, и вот снова — стук.

Они машинально заняли свои места. Роза присела на бревне у края, скинула белую блузку и окунула в воду. Уоррен натянул на конец палки резиновую ленту и приладил к тетиве длинную грубую стрелу. Стрела была рейкой толщиной в дюйм со спасательной шлюпки «Манамикса», заостренная на конце, с длинным железным гвоздем вместо острия.

Он прищурился от яркого света и всмотрелся в мелкие впадины между волн, пытаясь сделать поправку на качку. Снова стук. Уоррен уже почти не сомневался, что это ройник, а не просто большая рыбина. Стук, когда они головой искали слабости в дне плота, всегда узнавался…

Вдруг его взгляд зацепился за рябь на поверхности. Роза ритмично поводила блузкой в воде, и за ее тощей грудью Уоррен увидел, как поверхность моря искажается от новых течений.

Вот их вечная тактическая ошибка. Их инстинкт требовал сперва приглядеться, оценить цель. И теперь ройник возвращался в голубую тень под плотом, перевернувшись для последнего захода. Уоррен приготовился, прицелился вдоль стрелы.

Похоже, Роза заметила силуэт под водой секундой раньше. Она рывком выхватила тряпку из волн, и ройник отчаянно ринулся вперед, чтобы ее поймать.

— А-а-и-и-и! — закричала Роза. Его морда вырвалась из воды — ухмылка длинной тонкой пасти, устремленные в бесконечность жемчужно-белые глаза.

Уоррен спустил стрелу и машинально поспешил за ней на четвереньках. Она вошла ройнику под жабры, гвоздь глубоко засел в складках скользкой зеленой шкуры.

Роза схватилась за леску стрелы.

— Помедленней! — велел Уоррен, опускаясь грудью в воду. — Не вырви.

Стрела могла оглушить ройника, но не больше. Скоро он сорвется с лески. Уоррен свесился с плота и потянулся. Ухватился за брюшной плавник одной рукой, второй. Ройник судорожно забился. Уоррен вывернулся всем телом, чувствуя, как впивается в бедро деревянный край, и наполовину взвалил тушу на плот.

Роза вцепилась в плавник и вытянула ройника до конца, перевернула на бок и ногой перекатила подальше от воды. Тот выгнулся, чтобы столкнуться за борт. Его глаза выпучились, тонкие

жабры слышно хрипели, открываясь и закрываясь.

— Скорей! — крикнула Роза. Уоррен выхватил нож и, покачиваясь, завис над ройником, ожидая удобного угла для атаки. Туша отползла к воде. Но стоило ройнику отвернуться, как нож опустился, вонзился в мягкие ткани бока, пройдя вдоль позвоночника. Уоррен рухнул и прижал тушу к полу своим весом, чувствуя, как она содрогается под ним в агонии. Потом ройник выпрямился, встрепыхнулся напоследок и издох.

Роза ритмично постанывала, все еще не отпуская плавник. Уоррен отступил, уперся ногами потверже против качки, подтолкнул ее.

— Давай под навес, — сказа он.

Она подняла на него пустой взгляд, помедлила, потом заползла под фанеру, служившую им крышей. Уоррен с легким отвращением проводил ее взглядом.

Так же было в последние три раза, когда они убивали ройника, но в этот раз она казалась еще отрешенней, замкнувшейся. Словно ройники возвращали ее на годы назад, в детство. Она могла вынести убийство, только воспринимая его как часть ритуала, сложного алгоритма действий, которые, если идеально их соблюдать, полностью

уводили ее от реальности происходящего.

Из туши, которая покачивалась на палубе, начали сочиться жидкости. Выругав себя за промедление, Уоррен притащил банки. Припер тушу к бревну, где на стыке с досками образовывалась впадина. Приставил банки там, где текло больше всего, и припер тушу собой, чтобы ее не болтало с волнами.

Зеленая шкура была скользкая, как у тюленя. Теперь, после смерти, спинной и брюшной плавники обмякли, но в воде они несли ройника с невероятной скоростью. Почти всем он напоминал обычную рыбу. Разве что великоват — под четыре фута длиной.

Все меняла голова. Она не суживалась — лоб выпирал вперед от большой черепной коробки. Тяжелая лобная кость нависала, как у дельфина, странно приплющивая морду, как у крупных рыб. Но вот тонкая пасть, большие глаза и выпирающая челюсть уже выглядели откровенно чужеродно. Земная эволюция никогда не выводила такую комбинацию.

— Смотри! — окликнула Роза. Уоррен уставился на зыбкие холмы и долины волн. В десяти ярдах от плота болтался серый цилиндр.

Лимфоузлы ройника истекали последними

каплями, и Уоррен знал: чтобы добыть остальное, им надо вместе прорубаться и пропиливаться через слой мышц, выжимать жидкость из мяса. Результат не стоил того, чтобы сейчас заставлять Розу помогать.

Он закрепил банки и перекатил ройника за борт. В лицо ударили брызги. Все его мысли были о цилиндре, поэтому действовал Уоррен автоматически, будто в тысячный раз, хотя счет наверняка еще не перевалил за тридцать. Почти раз в день, подумал он.

— Лови его, — велел он, отходя к середине плота. Роза непонимающе уставилась из-под навеса.

Он фыркнул от досады. Может, привести ее в чувство пощечиной, как раньше. Но цилиндр уже медленно удалялся.

Уоррен ловко перешел к ветке и начал ее отвязывать. Пальцы распухли от постоянного контакта с водой, полоски коры то и дело выскальзывали.

Уже скоро Уоррен присел с веткой у края, ближайшего к цилиндру. Машинально обратил внимание, что поверхность нигде не рябит, что в глубинах не юркают зеленые силуэты.

Вроде бы безопасно, как было каждый раз раньше. Если скользуны и устроили ловушку, то явно

с ней не торопились.

Он помешкал в футе от края, чтобы восстановить равновесие от накатившей волны. Серый цилиндр лениво скатился с гребня и отдалился еще больше.

Уоррен сделал глубокий вдох, рефлексивно поджал пальцы ног ради равновесия и наклонился против качки, вытянув руку так, что чуть суставы не затрещали. Ветки не хватало почти ярда. Никак не зацепить.

Он откачнулся назад, расслабился и попробовал еще раз.

Все равно далековато. И теперь разрыв расширился на фут.

Уоррен закрыл глаза от палящего солнца и почувствовал, как подгибаются колени. Нельзя позволять себе впадать в отчаяние.

Хоть раз ослабит хватку — и его затянет в те же бездонные пучины, откуда не выходила Роза. Нет, надо держаться.

Уоррен развернулся к их убежищу. Вдруг он осознал, насколько хотел этот цилиндр, как его ждал.

Вдруг в этот раз получится понять. Второе послание уже было куда разборчивее первого. В нем нашлось уже три слова на английском. А значит,

в третьем…

— Ай! Ай! — вскрикнула Роза, дергая его. Она панически сгребала воздух рукой.

Уоррен резко оглянулся и нашел глазами место, где был тубус. Рядом из воды вынырнула темно-синяя туша. Крупнее, чем у ройника, легко скользя по самой зеленоватой пене.

Не успел Уоррен шелохнуться или даже узнать скользуна, как тот плюхнулся рядом с тубусом и пропал из виду. Через секунду он вылетел обратно в брызгах, поймал тубус пастью и изящным движением головы швырнул в воздух.

Уоррен схватился за ветку, но скользун резко развернулся и уже мчался прочь. Он врезался в стену волны, подобную зеленому мрамору, и прорвался насквозь. Уже скоро он затерялся в бесконечно переменчивой топографии южного Тихого океана.

Роза издала ошарашенный возглас, но Уоррен не обратил никакого внимания, поспешив на край плота. Тубус болтался всего в паре ярдов, и он быстро его выудил, только где-то в глубине сознания замечая, что женщина затаилась под навесом и бормочет себе под нос.

Он вытащил скользкий цилиндр органического происхождения на середину плота. Осторожно

ощупал в поисках того, что могло отличать его от предыдущих.

Тубус легко разделился посередине и с влажным хлопком раскрылся. Внутри лежала все та же знакомая свернутая страница. Уоррен расстелил ее на палубе.

CONSQUE KOPF AMN ТВЕРДАЯ. DA ØLEN МАЛЕНЬКИЙ
МОЛОДОЙ SCHLECT UNS. DERINGER ПЕРЕМЕНА DA.
UNS E WSW. SAGEN ARBEIT BEI POT.
КРУГ STEIN НЕТУДА.

Долго Уоррен таращился на свиток, напоминающий пергаментный. Подойти к плоту так близко было для скользуна невероятно отважным поступком.

Видимо, впадают в отчаяние. Чего бы они от него ни хотели, их время на исходе.

Откуда-то он знал, что это последнее послание. И, качая головой, чуть не заплакав от бессилия, знал и то, что здесь смысла не больше, чем в первом.

Когда он очнулся в воде, «Манамикс» уходил под воду. Под черными тучами крючились вытянутые пальцы тропической молнии, в ее свете он

видел, как корабль заваливается на правый борт, набирая воду.

Корабль неуклонно кренился, словно гигантское сухопутное животное, угодившее в бесконечную сеть работы ройников. Через борта на палубу тянулись длинные зеленые нити. Это были прочные и гибкие тросы из органических цепных молекул, которые тысячи ройников, собравшиеся у носа, выпускали из брюшных сумок. Биологи считали, эти тросы используются во время случки. Но зачем нужна такая длина — не знал никто. И эти тросы — с помощью пробоин, уже проделанных в борту самоубийственными ройниками в группках по двое-трое, — могли затопить любое легкое судно.

«Манамикс» набирал воду слишком быстро. Уоррен знал, что истребители ни за что не успеют сюда — на пять сотен миль от западного побережья Южной Америки, во время проливного, оглушительного шторма. Как и говорил капитан, они не прилетят, чтобы сбросить отраву, которая остановит рой. Свои запасы химических веществ у «Манамикса» вышли уже много дней назад, и теперь корабль не справлялся с волнами, и на борту гасли огни, и кричали люди.

Эта картинка выжглась у него в памяти. «Ма-

намикс» застыл, ускользая в черную могилу, все еще помигивая некоторыми оранжевыми ходовыми огнями. Затрещала молния, отразившись в тысячах разбитых зеркал моря. Вонь соли, пронизывающий холод, ослепляющий ливень. Потом — стук пустой шлюпки о ящик на поверхности, и он наконец сдвинулся с места, поплыл против течения.

Остальное казалось безличным, словно происходило с кем-то другим. Он забрался в шлюпку и погреб прочь от «Манамикса» и роя. Заметил в слабом свете Розу и с трудом вытащил ее на борт. Она была журналисткой — они уже встречались на «Манамиксе».

Она писала о рое для новостной службы и хотела пройти вдоль всего южноамериканского побережья в его поисках. В последний год пришельцы практически изгнали человека из океана, и «Манамикс» оставался одним из немногих грузовых кораблей, что еще ходили в Тихом океане. За выпивкой в кают-компании она пыталась вытянуть что-нибудь из Уоррена, но он был инженером и знал о прибытии роя не больше ее.

Они дрейфовали всю ночь. Лежали на дне лодки, стараясь не издавать ни звука: если бы их нашел рой и решил, что в лодке кто-то есть,

проломил бы борт костяными лбами в считаные секунды.

Но оказалось, шлюпка начала тонуть и без помощи пришельцев. Видимо, повредилась, сорвавшись с борта «Манамикса». Протечка, которую Уоррен нашел в ночной тьме, ко времени, когда над ними занялся рассвет, уже стала полноценной пробоиной.

С первым светом они разглядели неподалеку другие обломки «Манамикса». Попадались и выкорчеванные с корнем деревья — видимо, их вымыл в море шторм, обрушившийся на «Манамикс» перед самой атакой роя.

Уоррен рискнул жизнью и нырнул в воду, чтобы собрать плавник. Он знал, что ройники жестокие и тупые. Читал в одной статье, что это только младшая форма развития, а скользуны — развитое меньшинство. Очевидно, никакие ройники не построили бы сами те межзвездные корабли, что рухнули в земную атмосферу и захватили океаны пять лет назад.

Но молодые или нет, а они бы прикончили его, как только бы нашли.

Три дня они с трудом гребли и собирали, пилили, строили и вязали. Разобрали шлюпку, чтобы проложить палубу поверх бревен и досок, какие

смогли найти. Стянуть все это вместе помогла бухта проволоки. Из алюминиевых релингов получились приличные гвозди.

Роза держалась неплохо — вначале. Других выживших с «Манамикса» они не видели. Элементарные навыки навигации говорили Уоррену, что они дрейфуют практически ровно на запад: если дотянуть, их могли найти поисковые партии.

Однажды ночью, когда вдруг прилило странное раскрепощение из прошлого, он взял Розу с силой и уверенностью, которые застали врасплох его самого. Он не сомневался, что выживет.

Пайки из шлюпки пошли на приманку — он ловил рыбу. После проб и ошибок сладил лук и стрелу, чтобы стрелять по рыбе на поверхности, но с наживкой и леской получалось быстрее.

А потом стала кончаться вода. Роза держала запасы под фанерным навесом, и через семь дней Уоррен обнаружил, что воды почти не осталось. Она пила тайком.

— Я не могла иначе, — тараторила она, пятясь от него. — Я здесь не выдержу. Пить хочется. И солнце, оно такое жаркое, я просто…

Он врезал ей пару раз — жестокие удары без замаха. Но удовлетворения это не принесло. Она выпила воду, и теперь ее нет. После часа уныния,

когда Роза забилась от него на другой конец плота, он снова начал думать.

Когда Уоррен размышлял над задачей, его охватывала странная свобода. Он находил некое убежище в холодной и упорядоченной работе интеллекта.

Присев на ровной доске, он покачивался в ритм морю, но внутри, где он жил, мир не состоял из клокота и шороха волн, иссушающих солнца и ветра. Внутри него были книги и схемы.

А еще обрывки того, что он знал, — и теперь представился случай сложить их воедино.

Химия. Из двух консервных банок Уоррен собрал опреснительную установку. Прорезал щель в резиновой пробке бутылки, опустил ее в море на длинной леске.

Он смутно вспоминал — или воображал? — что на глубине вода холоднее. Если поднять закрытую емкость с глубины в двадцать футов и поставить во вторую банку на солнце, тогда может, начнется испарение, как у ведра со льдом для шампанского. И тогда испаренная вода конденсируется на боку первой емкости — вода без соли.

Он пробовал снова и снова. Никак не получалось. Но он все-таки пробовал, он думал, он держался. Пока хватало и этого.

Через девять дней вода вышла. Роза плакала и поливала его оскорблениями. Кусала себя за плечо в припадках ярости, но как будто сама этого не замечала.

На следующий день море стало бурным. Волны захлестывали палубу, то и дело окатывали их брызгами, не давая ни выспаться, ни просто отдохнуть. Под вечер Уоррен обнаружил в пене, залившейся на плот, мелких и прозрачных морских коньков размером с монетки. Уставившись на них, пытался вспомнить, что знал из биологии.

Он знал, что если начать пить жидкость с высоким содержанием соли, то конец наступит пугающе быстро. Но оставалось только рискнуть.

Уоррен пнул женщину и уговорил помочь собрать пригоршню коньков. С сомнением положил парочку на язык, подождал, пока они растают. Вкус был соленый и рыбный, но все-таки не такой соленый, как морская вода. Холодная влага от целой пригоршни принесла им обоим облегчение, и они рьяно собирали их до самой темноты.

Одиннадцатый день был невыносимым.

Уоррен сидел с закрытыми глазами, аккуратно

пробираясь по ясным и логичным проходам разума. В нем загнаивался соблазн выпить морской воды, заползал в то аккуратное чистое отделение, где он пытался выжить.

Чтобы себя переубедить, надо было прогонять раз за разом цепочку логических рассуждений.

Если пить соленую воду, он получит из нее некую долю растворенной соли. Но организму много соли не нужно, он избавляется от излишков. Лишнюю соль выделяют почки, которые выводят все отходы из крови в виде мочи.

Для этого почкам требуется вода. Как минимум пинта в день.

Он превратил это в мантру, повторял снова и снова. Перед ним танцевали и перекатывались волны. В желудке лежала тяжелым мертвым грузом сухая еда. Он сосредоточился на мантре.

Пить пинту морской воды в день. Так он получит около десяти кубических дюймов воды без соли.

Но чтобы переработать соль в этой пинте, почкам нужно больше десяти кубических дюймов.

Тогда почки реагируют. Забирают воду из тканей.

Тело иссушается. Язык чернеет.

Тошнота. Лихорадка. Смерть.

Потом Уоррен предполагал, что просидел, не сходя с места, почти весь день — повторяя про себя логические рассуждения, стачивая до нескольких ключевых слов, доводя до совершенства.

Из размышлений его вырвал стук под палубой. Роза зашевелилась. Уоррен внезапно догадался, что это. Их нашел ройник.

Сосредоточившись, он двигался четко. Очередная задачка, ждущая решения.

Стук двигался вдоль всего плота. Это не игривое приветствие дельфинов.

Ройник вырвался из воды в пяти ярдах от плота и перевернулся вверх брюхом, вперившись в них выпученным глазом. Роза всплеснула руками от ужаса, и ройник, уже начиная было нырять, задержался и заложил круг у плота, следуя за тем, как она неуклюже отползала.

Уоррен спокойно выстрелил.

Подтянуть раненого пришельца, забить дубиной, пока тот не затих, выпотрошить и наблюдать, как из тканей в банки сочится разбавленная бледно-желтая жидкость — все это он проделал один, работая в полной концентрации, ни разу не замечая Розы. Не слышал, как она всхлипывает, нерешительно подходит, когда он поднял банку к губам.

На миг он уловил прохладный и слегка едкий привкус. А потом она выбила банку из рук, и та застучала по палубе, расплескивая драгоценные соки по доскам.

Его удар обрушил ее на колени.

— Почему? Что…

— Неправильно,– пролепетала она.– Плохо, нельзя.– Моргая, она качала головой.– Они не… *ненормальные*. Нельзя есть…

— Ты хочешь пить? Нет?

— Не… да, но не это. Если только чуть-чуть, я…

Он пронзил ее ледяным взглядом, и она попятилась. Ройник истекал драгоценной жидкостью на палубу, и Уоррен поспешил подставить банки. Выпил первую, потом вторую. Роза сидела на другом конце плота и хныкала.

Третью банку он со стуком поставил между ними, и уже секунду спустя Роза подошла и медленно глотнула. Вкус был неуловимым, не очень соленым — удивительно напоминал выдохшееся пиво.

После этого они пришли к негласному соглашению. Роза помогала заманивать ройников, когда те приближались к плоту, но отказывалась — просто не могла — потрошить тушу и вырезать водянистые органы с плавниковой жидкостью,

кровь из глаз. Это выпадало Уоррену.

Пока Роза покачивалась с отрешенным видом посреди их прямоугольного островка, что-то мыча и напевая себе под нос, все глубже прячась от солнца и соли в личное убежище, Уоррен думал и работал.

Он изучил тушу пришельца, нашел мягкие мясистые места, уязвимые для стрелы, определил систему кровообращения и изящное движение мышц, что ее стимулировали. Теперь плот почти каждый день вздрагивал от стука ройника — и тот всегда в конце концов всплывал, чтобы его убили.

У них словно отсутствовали все опасливые и свирепые хищные инстинкты, что рои демонстрировали у суши. Может, эти одинокие ройники — только разведчики для целых стай, что шерстили океан; может, их не учили — или не выводили — для нападений.

Уоррен экспериментировал, практиковался, испытывал новые подходы. Нарезал ткань на мешки для самых насыщенных отрезов, потом сидел и жевал, выжимая все до последней драгоценной капли солоноватой теплой жидкости. От этого тошнило, и через несколько дней, восполнив запасы воды в организме, он стал

заворачивать куски мяса в ткань и выжимать, получая примерно тот же объем.

На двадцать первый день Роза заметила капсулу. Ее вскрик вырвал Уоррена из расплывчатого зыбкого сна под навесом.

Вдали уносился первый скользун, которого они видели. Те оставались загадкой для биологов, изучавших пришельцев. Их было немного, действовали они независимо от роев. Убить удалось только одного-двух, в первые месяцы, когда пришельцы обильно расплодились по всему океану, но с тех пор стройные голубые силуэты держались подальше от обычного оружия.

Но они не управляли роями. С нескольких кораблей сообщали, что рои даже нападали на скользунов. Они разумно маневрировали и умело сражались, но от ройников их отличало отсутствие толстой лобной кости и слепой ярости.

Уоррен выловил серую трубку, повертел в руках. Гладкая поверхность органического вещества, напоминавшего пластик, явно говорила об искусственном производстве — или нет? Возможно, ее такой вырастили, совершенной и симметричной? Корабли пришельцев, которые сбрасывали яйца в земные океаны, — это тоже очевидный продукт промышленности. Но как их

могли построить хоть ройники, хоть скользуны — без конечностей?

Тонкий и скользкий свиток внутри оказался нечитаемым.

SECHTON XXMENAPU DE AN SW BY W ABLE. SAGON

MXXIL СУДН O ANSAGEN MANNIA WIR UNS?? FTH

ASDMNØ5B ERTY ЗЕМЛЯN PROFUILEN. CO

KALLEN KNOPTFT.

Уоррен вчитывался и бесконечно вертел в голове сочетания букв. Это был не шифр, потому что отдельные слова явно были английского происхождения или ближе к немецкому.

«СУДН O» — это, видимо, «судно». А «ANSAGEN» — сказать, объявить? Уоррен жалел, что только смутно помнит языковые курсы времен колледжа.

Послание было напечатано отчетливым шрифтом наподобие газетного, причем без выпуклостей с другой стороны листа. Возможно, некий фотографический процесс.

Так ему было чем занять мысли в долгие ослепительные дни ожидания, чтобы не обращать внимания на соленый зуд в растущей бороде и по

всей коже, не прислушиваться к тихому шепоту волн и тому нескончаемому напеву, который в последнее время вошел в привычку у Розы.

Теперь она в ужасе вскрикивала каждый раз, как видела в отдалении скользуна, но Уоррен думал, что в глубине она не может не понимать: им почти ничего не грозит, пока их плот не заметит рой. Может, их и замечали отдельные разведчики, но они, судя по всему, не могли запомнить местоположение плота, чтобы привести за собой целую стаю для нападения.

А теперь ройники попадались все чаще. Подплывали раз, иногда три раза в день.

Второе послание дало топливо для подчинившей его горячечной рациональности. Цилиндр вновь оставило у плота вытянутое синее тело, клякса движения, сразу после убийства ройника, словно скользуны таким образом отвлекали людей на плоту.

GEFAHRLICH БОЛЬШАЯ ТВЕРДАЯ MNXXL%8 ANAXLE“. UNS. NORMEN286 W!! ПРОЧЬ FORTUNE LILAPA XEROT.

Уоррен мечтал о каких-никаких письменных принадлежностях — чтобы хотя бы не забывать свои бесконечные догадки о словах.

«GEFAHRLICH» — «опасность, опасный»? UNS — снова немецкий, «нас».

Уоррен пытался царапать на свитках, но на поверхности не оставалось и следа. Если бы можно было как-то коммуницировать, задавать вопросы, он бы догадался, чего хотели скользуны. Переговоры? Что можно считать признаком мирных намерений?

На задворках разума выстраивались теории, объясняющие послания. Время от времени Уоррена воротило с души от их чужеродности, но это было все проще брать под контроль.

Даже не признавая себе, он видел, что его уход с головой в планирование, подробности и холодную прелесть логики — это такая же утешающая попытка отвлечься, как примитивный напев Розы. Поэтому послания стали важны для его внутреннего равновесия.

Но еще он знал, что все это будет бессмысленно, если он так и не проникнет в смысл странных строчек, с такой строгой аккуратностью выведенных на тонких листах.

Он сидел на корточках, долгими тянущимися минутами вглядываясь в третье послание уставшими красными глазами. Время, ему нужно время.

— Х-ха! Уоррен! — позвала Роза. Он посмотрел, куда она показывала.

Точка на горизонте. Точка плясала на неровных волнах, то появляясь, то пропадая непредсказуемыми рывками, — но она там была.

— Земля, — произнес с глубоким выдохом Уоррен.

Из глаз Розы брызнули слезы, она издала резкий лающий смех сквозь сжатые губы.

— Земля! Земля! — воскликнула она, скача на покрытых мозолями стопах в исступленной джиге.

Уоррен моргнул и пригляделся. Оценил течение, насколько точка совпадала с их курсом. Они бы достигли ее к темноте, если не раньше. Он вышиб дубиной опоры их фанерного навеса. Присел посреди плота, произвел ладонями и пальцами замеры и приступил к постройке опор для вертикального столба.

Много времени это не заняло. Чтобы сделать крепление на палубе, ушли все оставшиеся гвозди, но привязать к поднятой мачте большой фанерный лист было уже несложно. Для этого он пропустил трос через отверстия в фанере, а с помощью спущенных по углам концов можно было управлять с кормы плота. Так получился

сносный парус.

Уоррен подтащил самодельный руль, собранный несколько недель назад, и пристроил в паз, который с трудом вырезал на заднем краю плота. Руль был неповоротливым и неуклюжим, но все-таки помогал отклонять плот от курса — и, если повезет, направить к острову впереди.

А это явно был остров. Шансы встретить еще один близки к нулю. Вот бы снова упереться ногами в почву…

Уоррен заслонил глаза ладонью от дневного сияния. Твердая земля. Никакой постоянной тошнотворной качки. Твердая.

ТВЕРДАЯ.

А не могли скользуны иметь в виду остров? «GEFAHRLICH БОЛЬШАЯ ТВЕРДАЯ». Опасный большой остров. «ПРОЧЬ». Уйти? Избегать острова?

Уоррен улыбнулся про себя. Так, значит, ключ к расшифровке *есть*. Эти красота, порядок и спасут его с паршивого плота.

Он медленно потянул за тросы и поставил фанерный лист под углом к ветру. Руль скрипнул, когда он сдвинул его и зафиксировал на месте деревянным клином.

Остров приближался, он уже мог разглядеть низкий хребет посередине. Выглядел он невы-

соким. Уоррен произвел мысленные подсчеты и решил, что они высадятся даже раньше, чем он ожидал. Да и ветер набирал силу.

Роза не находила себе места на плоту, напевала под нос и подъедала, что осталось в банках. В груди Уоррена дрогнул гнев. Она нарушала график.

Увидев остров, она сразу стала спокойнее. Проходя мимо, взглянула на него с бешеной улыбкой и спросила:

— Хорошо?

Уоррен кивнул.

Хорошо. Они доберутся до острова. Но он все еще оставался недоволен. Он вел их по касательной к южному берегу, чтобы приглядеться перед высадкой.

Южному? А не было ли там…

WSW. Запад Юг Запад. UNSE WSW.

МЫ ЕСТЬ WSW?

На той части острова, которая находится на западе-юго-западе? «Мы» — это скользуны.

Он заметил, что Роза присела на носу, и от веса плот опустился под встречную сине-зеленую волну, отчего на доски летели брызги шипящей пены. И ведь знала же, что это мешает движению. Это их тормозит.

Но он не сказал ни слова. Он был рад лишнему

времени. Все, что у него здесь было, — это скользуны, и они пытались что-то донести.

Они были другими. У них не было роев, они не нападали. Их туши стройнее, черепные коробки — крупнее.

В голове Уоррена мелькнула смутная мысль, неоформленная догадка. Возможно, шла война, и рои вышли из-под контроля, атакуя и изолируя континенты, тогда как скользуны пытались их остановить? Какая-то расовая война двух политических фракций?

Остров рос в размерах, и взгляд Уоррена привлекла тень. Она тянулась под водой вокруг острова — бурая линия, о которую бился прибой, подбрасывая белые барашки, искрящиеся на солнце.

Риф. Добраться до берега будет не просто. Придется обойти остров кругом, чтобы найти лагуну. Либо разбиться о риф.

КРУГ STEIN НЕТУДА. А «STEIN» это — «камень»! «Не заходить в круг».

Уоррен сдвинул руль до упора.

В послании был смысл. Скользуны объясняли ему, вели его.

Роза издала недовольный возглас и обернулась к нему. Заметила смену курса. Он не обратил на

нее внимания и потянул за тросы, чтобы лучше подставить фанерный парус под ветер.

Смысл *был!* МАЛЕНЬКИЙ МОЛОДОЙ SCHLECTUNS. Скользуны просто опечатались в слове «SCHLECHT» — «плохо» по-немецки. МАЛЕНЬКИЙ МОЛОДОЙ ПЛОХО НАС. Ройники — это низшая стадия развития? Только что вылупились, бесчинствуют в окружающей среде, непохожей на их родной мир?

РОЙНИКИ — ЭТО ПЛОХО ДЛЯ НАС. «Нас» — то есть скользунов. Или это касается Уоррена? Наверняка.

Роза поплелась к нему, пока позади нее рос остров.

— Что? Земля! Нам туда!

Он прищурился, чувствуя соль, запекшуюся на коже у глаз, и сосредоточился на ее лице, но оно выглядело как-то не так, незнакомо. Он не знал эту женщину. Она ему никто.

Она сделала еще шаг, и он ударил. Она всхлипнула и осела на палубу, непонимающе уставившись на него.

А он на нее и не глядел, чувствуя спокойствие и ликование. Он следил за небольшими переменами ветра и целился к темной массе впереди. Риф

уже виднелся отчетливо. И…

На берегу что-то двигалось.

Он различал их даже с такого расстояния. На песке лежали вытянутые зеленые тела, неторопливо ползли от воды. Ползли мучительно, волочились по земле, но кое-кто уже добрался до края растительности.

Ройники. Рой учился выползать из моря, тренировался на необитаемом острове в Тихом океане. Рой переходил к следующей стадии развития.

Вдруг остров оказался еще ближе, а Роза слабо колотила по нему кулаками и кричала. Он оцепенел, пытаясь думать, соображать.

— Сошел с ума? *Сошел с ума?* Мы здесь *умрем.*

— Что? — рассеянно произнес он. Плот с трудом отворачивал от берега, но шел близко к рифу.

— Ты боишься! Боишься камней!– Она выпучила на него глаза.– Ни один *мужчина* бы не…

— Заткнись. — Они неслись на остров, и течение усиливалось.

— Не… не, не заткнусь. Дай мне! — Она стала бешено озираться. — Я доплыву.

Она поползла на карачках по палубе, хватаясь за доски. Через секунду нашла доску побольше, попыталась оторвать.

Уоррен сделал глубокий вдох и почувствовал,

как в груди разрастается спокойствие. Он сделает ей последнее одолжение и наконец-таки останется один.

Он подошел к ней, пока она возилась с палубой, прикинул угол и со скрежетом гвоздей вырвал доску из палубы. Она выхватила ее.

Теперь они уже неслись на риф, и Уоррен отчетливее разбирал силуэты на пляже. Их толстые короткие плавники по бокам упорно толкались от песка. Они ползли, как черепахи.

Нет, суша — это не ответ. Ройники уже там. В конце концов они захватят и сушу, как захватили океаны. Человеку, который еще держится за сушу, конец. Нет, ответ…

Уоррен отвернулся и посмотрел в море. Край мира казался неровной линией в сумерках. Длинная дуга, тут и там нарушавшаяся облаками. Четкая, свободная. WSW.

Роза с плеском прыгнула за борт. Меньше чем в пятидесяти ярдах в рифе виднелся узкий проход, и она направилась к нему, держась за доску.

Уоррен машинально оглядел воду, но зеленые силуэты за ней не следовали. Если здесь Рой небольшой, ее могут и не заметить, пока она не выберется на берег.

Он проследил глазами ее возможный путь,

подсчитывая, размышляя. Как хорошо было снова вести расчеты. Роза будет на пляже через несколько минут.

Но ее было удивительно трудно разглядеть в быстро сгущающихся сумерках. Ветер дробил море на маслянистые осколки, отражавшие тускло-оранжевый закат в облаках. Океан зеркал.

Он всмотрелся в воду. Зеркала. Что он в них видел?

«Ни один *мужчина*...» — сказала она. Может, и так. Может, он уже что-то больше. Пусть ему объяснят скользуны.

Он почувствовал, как тросы тянут его за руки, и сделал небольшую поправку, чтобы плот не вихлял.

Он набирал скорость. Когда из сумерек позади раздался тонкий крик, он не обернулся.

Послесловие

С самого Хайнлайна самый распространенный герой в научной фантастике — Компетентный Человек. И это естественно, ведь НФ — самый оптимистичный жанр в литературном мире. Но мне всегда казалось, что Компетентного Человека показывают довольно наивно. Обычно это ученый или инженер, но у большинства моих знакомых ученых компетенция намного шире, чем встретишь в фантастике.

В этом рассказе я пытался реалистичнее подойти к классической теме встречи человека и пришельцев. Фокус не на самих ройниках и скользунах, а на том, что они нам *чуждые*: их мотивацию нельзя понять, разве что по аналогии, и уже сама их чуждость оставляет отпечаток на психике человеческого рода.

Вполне возможно, самым первым изменением, которое вызовет у человечества инопланетный разум, будет эмоциональное. Это совершенно новая проблема. Умом мы не знаем, как себя вести, и все решит наше чутье.

Одно ясно: придется идти на компромиссы. Негибкий человек, неспособный пожертвовать

самовосприятием, тоже не избежит компромиссов — просто он вдобавок рискует утратить многое из того, что делает его человеком.

Как правило, когда человек выделяет одну какую-либо сторону своей личности, он за это расплачивается. Насколько велика может быть цена?

В этом рассказе цена высока. Я пытался убедить читателя в точке зрения Уоррена, вынудить принять его вселенную. В нее не так уж трудно поверить. В этом-то весь ужас.

Потому что, понимаете ли, чужой — это необязательно какая-то внеземная форма жизни. Все люди на планете переживают нескончаемую встречу с невероятно странным миром, который для нас творят технологии. Он чужеродный. Мы с ним примиряемся. И подстраиваемся, меняемся, смиряемся. И часто тоже не знаем, чем за это приходится расплачиваться.

Предисловие «Все простыни белы»



В последние годы из-за нарастающего в академических кругах интереса к спекулятивной литературе некоторых фантастов — в том числе меня,– позвали вести в колледжах творческие мастерские по НФ и фэнтези. Из этих мастерских вышло потрясающе много новых талантливых писателей. Большинство из них теперь учит новенькому *нас*.

Лучшую мастерскую открыл в Кларионском колледже, в Пенсильвании, профессор Робин С. Уилсон (у него под псевдонимом Робин Скотт есть рассказ чуть ниже в этом томике — живое доказательство, что нам, «учителям», надо обновлять свои резюме вместе с нашими «учениками»). В

1968, 69 и 70-м мастерская проходила в Кларионе, а в 1971-м переместилась в Тулейн в Новом Орлеане. И только из тех четырех лет Клариона/Тулейна вышли десятки писателей, чьи имена встречаются в журналах нашей области с греющей душу регулярностью. Кое-кто попал и в эту книгу: Эд Брайант, Джоан Бернотт и Эвелин Лиф. Другие будут в «Последних опасных видениях». Но пока позвольте рассказать кое-что об Эвелин.

Ко времени, когда я попал в «Кларион» в 1968-м, я только раз побывал приглашенным лектором в такой мастерской и сомневался в себе. Решив обратить ужас в свою пользу, я сформулировал политику террора своих учеников. В первый день класса мне представили выборку рассказов, написанных под конец предыдущей недели — у другого фантаста в качестве приглашенного лектора. По большей части в них не было ничего выдающегося — сыроватые, неграмотные, избитые, бесформенные, без содержательных персонажей, оригинальности, с запором воображения, да еще и напечатаны с ошибками.

Короче говоря, обычная чушь, что встречается в мастерских, где ученики развлекаются.

(ПАУЗА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ НАШЕГО СПОНСОРА.

Мои коллеги в Кларионе/Тулейне — лучшие,

черт их подери, учителя писательства, которых знал мир. Бывал я в других мастерских, где репутация завозного «таланта»-преподавателя была намного выше, и чудо, если хотя бы трое из сотни участников продавали свои произведения, извлекали хотя бы *мало-мальскую* пользу после двух, четырех или шести недель в мастерской. В Кларионе/Тулейне из сотни учеников за четыре года существования мастерской больше *половины* продались, продолжают продаваться и вроде бы строят успешную карьеру в *написании того, что хотят*. Не случайно столько выпускников Клариона/Тулейна включены в серию «ОВ». Я холодный и бездушный сукин сын, когда речь идет о покупке рассказов для этих сборников, так что им пришлось бы пытать мою родную маму испанским сапогом, чтобы я купил рассказ по дружбе или любой другой причине, кроме моего мнения, что рассказ хороший.

Посему знайте, что мои коллеги-преподаватели — Фриц Лейбер, Джоанна Расс, Сэмюэл Р. Дилэни, Деймон Найт, Кейт Вильгельм, Робин Скотт Уилсон, Фредерик Пол и Джеймс Саллис — лучшие из лучших. Без оговорок.

Но все равно они добрее — с людьми,– чем ваш редактор. Для меня писательство — священное

дело, и я исхожу из того, что ученики, которые пришли в мастерскую на шестинедельный экспресс-курс, пришли по одной и только одной причине: писать. Я давлю. Издеваюсь и мучаю, заставляю работать сутками напролет. Они у меня пишут по рассказу в день, часами их обсуждают и пишут всю ночь, пока… к концу моей недели как приглашенного мучителя… не падают без сил, раскрываясь для мягкого преподавания следующего после меня. Коллеги понимают мою тактику — и Деймон *ненавидит* следовать за мной, потому что ему достается отряд контуженных шизиков,– зато она *вроде бы* результативная: люди *пишут*.

Поэтому когда я говорю, что рукописи к моему появлению были не самыми лучшими, я не хочу критиковать преподавателя, что в том году шел передо мной. Просто он или она мягче с ними обошлись. И все-таки шоковая терапия не помешала.)

Я отобрал один из худших рассказов в назидание другим.

Им оказался рассказ Эвелин Лиф.

Почти битый час я раздирал на части ту миниатюрку на тысячу слов. Свежевал, пережевывал, поносил автора худшими словами. «Этим гов-

ном даже дно птичьей клетки не выстелешь. Мисс Лиф, вы не писательница, вы чудовище. Вам бы работать с Берком и Хэром[120]. У этого отвратительной мерзости прелести, изящества и симметрии, как у талидомидного ребенка[121]. Как писатель я оскорблен, как редактор — отвращен, а как живой человек — доведен до тошноты. Этот гротеск не обременен красотой ни в каком виде. Это бесструктурно, нелогично, глупо, безграмотно, омерзительно в высшей степени. Мне бы не просто порвать на клочки и растоптать этот рассказ…– что я и проделал, к ужасу класса и Робина Уилсона,– …но и засунуть в любое отверстие вашего тела, какое мне попадется, включая анальное, откуда оно явно и явилось. Вы бездарное существо, афронт любому, кто всерьез считает писательство ремеслом, медвежий павиан в человеческом обличье. Если вы хоть *посмеете* еще раз сдать что-нибудь столь же зловонное, я лично выбью из вас дурь. Все ясно?

---

[120] Примечания: 120

Уильям Берк и Уильям Хэр — британские расхитители могил и убийцы начала XIX века (тела своих жертв продавали хирургу для исследований).

[121] Примечания: 121

Талидомид — препарат, в 50-х предлагавшийся беременным как седативный и от тошноты, пока не выяснилось, что он вызывает у детей врожденные уродства.

Хватит слезы лить и отвечайте! Вам все ясно, все идеально, кристально ясно?»

Эвелин Лиф вернулась к себе в комнату, в ярости и гневе написала себе на бумажке что-то в духе «ДА ПОШЕЛ ТЫ, ХАРЛАН ЭЛЛИСОН, НИ ХРЕНА ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ!», положила ее под пишущую машинку и приступила к работе.

На следующий день она сдала «Все простыни белы». Я расчувствовался, поцеловал ее и купил рассказ для «Новых опасных видений».

Вот он, и вот что Эвелин Лиф, одна из самых талантливых молодых писательниц, кого я знаю, может сказать о себе:

«Мне двадцать пять, рост 157 сантиметров, шатенка, глаза карие. Зимой 1967 года я начала читать фантастику, тем же летом начала писать сама. Осенью Фред Пол присудил мне второе место на конкурсе рассказов, а летом 1968-го я записалась в первую Кларионскую творческую мастерскую по фэнтези и фантастике. В том же году я продала свой первый рассказ, „Все простыни белы“. Второй рассказ продала осенью 1968-го Дэвиду Джерролду для его антологии. Он называется „Каждый четвертый дом“ (*Every Fourth House*). Снова пришла в Кларионскую мастерскую летом 1969-го, но ничего не продавала

до сентября 1970-го. В том году продала рассказ „Инспектор“ (*The Inspector*) Робину Уилсону для антологии „Кларион“ (*Signet*, 1971).

Я родилась в Бруклине в 1945-м, но большую часть жизни прожила в Куинсе и на Лонг-Айленде; у меня есть сестра на четыре года младше и брат — на пятнадцать лет младше.

Несколько лет жизни провела в сионистском социалистическом движении „Ха-шомер ха-цаир“ („Юные стражи“), полгода прожила с ними в израильском кибуце. Путешествовала по Израилю автостопом, несколько дней ездила по Европе (и хочу туда вернуться), летом 1970-го путешествовала автостопом по побережью Калифорнии и множество раз ездила в Вашингтон на антивоенные демонстрации.

Два года с половиной училась в колледже (Куинс-колледж), где изучала искусство, но ушла весной 1967-го, несколько месяцев заново знакомилась с собой, после чего начала писать. Когда я работаю со словами, мне проще находить и выражать то, о чем нужно рассказывать. Я планирую писать всю жизнь. Мне это помогает упорядочивать мысли в голове. Есть особое удовольствие от того, чтобы привнести порядок в хаос и в то же время запечатлеть суть жизни вокруг и внутри

меня, рассказать хорошую историю, достучаться до читателя, который скажет: „Да, это знакомое чувство. Я понимаю“.

Сейчас проживаю в трехэтажном бывшем особняке на углу Бедфорд-Стейвесант — белое гетто из двух домов внутри черного гетто. Мой дом — коммуна (сейчас — из десяти человек, на прошлой неделе — из шести, кто знает, сколько нас будет на следующей), которая только учится жить вместе, закупаться вместе, все делать вместе, время от времени собираясь группой, чтобы решать общие проблемы. Женщины здесь, включая меня, духовно, а иногда и физически участвуют в растущем движении за права женщин. Прямо сейчас я работаю машинисткой в высшей школе соцработы в Нью-Йоркском университете, где у меня есть электрическая пишмашинка и много свободного времени, когда я и пишу рассказы. Планирую работать только по несколько месяцев зараз, чтобы освобождать несколько месяцев на писательство и путешествия».

Все простыни белы
Эвелин Лиф



СОХРАНИМ ДОРОГИ ЧИСТЫМИ
НЕ СОРИТЕ
СОХРАНИМ ЧИСТОТУ, СОХРАНИМ БЕЛИЗНУ

Машины еле ползли.

У Гарта взмокли ладони. Рубашка прилипла к животу.

Полдень. Еще двести пятьдесят миль. Ни за что не успею.

Гарт проехал еще два фута. Он знал, что окру-

жен, по скрежету бамперов впереди и позади.

Белые машины отражали солнечный свет.

Свет слепил, когда Гарт смотрел вперед. И он опустил глаза.

Глазам больно. Может, найдутся темные очки.

Открыл бардачок, заглянул.

Ничего. Ах да. Прошлая неделя. Вспомнил. Их запретили законом. Чуть ли не последнее, что еще оставалось.

Вот бы у меня были темные очки.

Колонна машин начала медленно продвигаться. Затем, одна за другой, судорожно остановились.

Даже полпути не проехал.

Как же устал.

Не стоило и пытаться проехать все за один день. Надо было слушать Риту.

Очки. Да.

Я еще помню, когда у нас еще были серо-голубые и серо-черные дороги. Всего с одной белой полосой посередине. Теперь никаких полос. Все белым-бело.

Он зажмурился и прижал к глазам ладони.

Эх, ничего.

Гарт быстро надавил и убрал руки.

Красное.

Половина его лица была красная. Кровь стекала мимо уха и капала с подбородка.

Меня прижали к нему. Люди со всех сторон.

Над морем голов вокруг я видел конного полицейского. Я повернул в другую сторону. И там копы.

Они окружали. Круг становился теснее и теснее.

НЕКУДА ДЕВАТЬСЯ.

Человек с окровавленной головой упал. Я его не видел. Но чувствовал у ног.

Навалилась толпа. Меня пихали в оставшееся от него свободное место.

Либо наступить на него, либо упасть.

НЕТ.

Я давил в ответ, но мог только оставаться на месте.

Люди начали скандировать, сначала неразборчиво. Потом:

ДОЛОЙ МИЛАШКУ. МЫ ХОТИМ ГРЯЗЬ.

ДОЛОЙ МИЛАШКУ. МЫ ХОТИМ ГРЯЗЬ.

Снова, снова. Я почувствовал, как во мне растет сила. Кричалка становилась громче, громче.

ДОЛОЙ МИЛАШКУ. МЫ ХОТИМ ГРЯЗЬ.

Потом нас начали разгонять шлангами.

Вода попала прямо в лицо. Меня развернуло, и я упал прямо на человека с окровавленной головой.

Меня пнули в бок. Я слышал женские крики. Прикрыл голову руками. Пинали еще, о меня спотыкались.

Потом все прекратилось. Шланги отключили. Все обратились в бегство.

Я каким-то чудом смог подняться и побежать. На середине квартала оглянулся.

Копы смеялись.

Пошли вы, мрази.

И я побежал.

Бежать. Хочется выйти и бежать в проходах между этим парализованным металлоломом с роботами внутри. Бежать, размахивать руками и кричать: «Мои простыни не белые».

Как мне позавидуют. Всем нравится то, чем они занимаются в постели. Но они никогда не признаются.

Быть чистыми, поддерживать порядок, сохранять белизну. Для них это ЗАКОН.

Боже, как же хочется темные очки.

Некоторые машины съезжали с дороги. Обед закончился. Теперь машины двигались бодрее, и Гарт ехал на тридцати милях в час.

Еду. Наконец-то. Все равно не успею домой до

ночи. Придется переночевать в мотеле.

Устал.

Ссора с Ритой на прошлой неделе. Это было слишком. Чего она от меня-то хочет? Чтобы я в одиночку изменил мир?

От тех демонстраций много лет назад не было никакого толку. У НИХ было больше организации, больше оружия. Ничего не сделаешь.

Остается просто сидеть и трепаться. Она думает, это что-то изменит.

«Белый цвет — это просто компенсация их чувства вины. Если убедишь хоть одного человека в дурости Белых законов, это уже прогресс».

Ее любимые лозунги. А какой толк в одном человеке, или двоих, или троих?

Никакого. И точка.

А потом ночью она стелет нам розовые простыни. Им назло, говорит.

Но что сама же делает первым делом с утра? Меняет на белые. Как и все остальные.

Хоть одно они не смогут запретить. Не могут изменить голубой цвет неба. И все оттенки красного на закате.

Почти ночь. Совсем не следил за временем. Все эти сплошные белые здания так и гипнотизируют.

Надо найти мотель.

Еще пятнадцать минут Гарт ехал, высматривая таблички мотеля. Темнело на глазах.

Вот прекрасная идея. Рита хочет, чтобы я что-то сделал? Буду ехать ночью. Всего-то один час. К тому же хотелось бы посмотреть на мир в оттенках черного.

Все уже не такое уж белое. Я почти вижу на стенах оттенки фиолетового и зеленого.

Да. Пожалуй, буду ехать домой ночью.

Через полчаса Гарт услышал вой сирены.

Так и знал. Ничего не сходит с рук.

Он остановился на обочине. Подъехали копы.

Один вышел из машины и подошел к Гарту.

— Эй, мистер, жить надоело, что ли, раз по ночам разъезжаете? Вы же знаете, что это опасно. Чернота может навести на незаконные мысли.

Вот видите, вы уже смотрите на небо. Вы что, не знаете, что сегодня приняли закон, по которому это запрещено. Ведь небо не бывает белым. Это уже двойное нарушение.

Выходите. Вы арестованы.

Послесловие

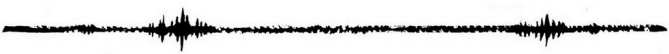
«Этот банальный рассказ как будто написала школьница. Это идеальный пример всего, что только можно сделать неправильно, в одном тексте».

На свой второй день в Кларионской творческой мастерской по фантастике и фэнтези (1968) Харлан высмеял мой рассказ. «Вот вы сами покажите, как женщина может „проколебаться“ через комнату»,– потребовал он. Я не смогла. В конце того урока я заявила, что напишу *рассказ*.

Но сначала взяла простой белый лист бумаги и написала самой себе напоминание. Я написала: «БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ, ХАРЛАН ЭЛЛИСОН». И каждый раз, когда была готова сдаться, смотрела на это напоминание и решительно возвращалась за пишущую машинку. Посреди той ночи я прибавила мелким шрифтом: «Я это сделаю». И на следующее утро дописала «Все простыни белы». После критики Харлана мне бы хватило просто написать хороший рассказ. Я с нетерпением ждала его реакции. У меня и в мыслях не было, что он его купит.

За это и многое другое, Харлан, — спасибо.

Предисловие «Ткань»



Возможно, только у рассказов Джеймса Саллиса в этой книге будет *два* послесловия. Одно в начале, другое в конце.

Не считаю нелогичным такой отход от формы ради одного только Саллиса, а не всех остальных сорока одного автора в книге. Джим Саллис — явно один из самых важных писателей, каких порождал наш жанр. Его появление на сцене было темой обсуждений и высоких ожиданий еще задолго до публикации первого рассказа. Достойные доверия критики, прочитавшие его работы в рукописи, разослали весть: у нас на руках нечто выдающееся.

И его потенциал реализовался с лихвой. Из-за первого сборника рассказов Джима, «Несколько

последних слов» (*A Few Last Words, Macmillan*, 1970), на комментарий расщедрился *Publishers' Weekly* — до тех пор не самый сведущий арбитр НФ, в котором рецензии и *сейчас* оскверняются безвкусным сокращением «научфант» (*sci-fic*): «Свежесть и жизнь в большинстве его рассказов нарушает многие рамки, особенно самые банальные научно-фантастические клише, отчего читать Саллиса приятно и удивительно». И это еще *наименее* комплиментарная рецензия на «Несколько последних слов». В *The Virginia Kirkus Service* рассыпались в похвалах, сравнивая Саллиса с титанами всея литературы.

И все-таки не столько из-за уникальности таланта я нахожу нужным нарушить правила ради Саллиса, пускай тут не обходится и без нее. Саллис сам по себе кажется мне завораживающим персонажем для изучения. Как он ведет свою жизнь, так же он нарушает правила. Не всегда, к сожалению, себе на пользу.

В сущности своей Джим Саллис кажется мне равным Ф. Скотту Фитцджеральду: ранний потенциал, успех у критиков, блестящее творчество, неописуемое стремление к саморазрушению.

В «Опасных видениях» я немало говорил о писателях, с которыми знаком лично, и рассматривал

их не только лишь как творцов, но и как людей — с желанием (возможно, и превратным) доказать читателям, что произведения, которыми они восхищаются, выросли из чего-то очень реального. В попытке продемонстрировать, что слова не просто сами собой выжигаются на странице, а рождаются с болью и огромным усилием живыми людьми. Порой меня распинали критики, полагая, что не мне анализировать людей, стоящих за рассказами; их укоры я пропускал мимо ушей. Мне видится первостепенно важным, чтобы все, кто читает этих особенных мечтателей, понимали: есть причины, почему тот или иной рассказ плох или хорош, вторичен или оригинален. И причины эти — всегда автор.

И более того, объяснение мотивов и позывов человека, стоящего за произведением, позволяет всем нам ожидать лишь того, что писатель может дать — а не чего *хотим* мы. Так мы имеем дело с *реальными* возможностями писателя, не ожидая каждый раз каких-то новых славных вершин, не ожидая одного и того же сюжета, что угодил нам ранее, не ожидая безупречности или совершенства. Лотрек однажды сказал: «Не встречайтесь с теми, чьим творчеством восхищаетесь; человек всегда намного меньше своего творчества». Я это

главным образом считаю трагической истиной. Достоевский был ссыльным, игроком, издевался над женой, бросил детей, занимал у друзей и никогда не возвращал. И все-таки это он написал «Идиота», «Бесов» и «Преступление и наказание». Значит, все прощено. Эдгар По унаследовал практически все пороки, известные Западному Человеку, и оборвал свою жизнь трагически, страшно рано. И все-таки это он написал «Маску красной смерти» — и мы преклоняемся перед ним.

Вполне возможно, что говорить о Джиме Саллисе наравне с По и Достоевским — не столь уж смелое преувеличение с моей стороны. В его раннем творчестве ощущаются разум и талант необычайных пропорций. И во избежание для него участи, отведенной Фитцджеральду, Хорасу Маккою, Томасу Хеггену, Дилану Томасу и Рэндаллу Джареллу, позвольте мне немного рассказать о Джеймсе Саллисе с любовью и восхищением, набросать своего рода открытое письмо в надежде, что его назидательный посыл не пройдет даром.

Джим — мягкий человек с тем костяком агрессии, который подпитывает внутреннюю потребность в признании, одобрении, успехе. Поскольку он мягкий, он способен на пугающие

припадки безумия, когда его фрустрированные потребности прорываются в виде бессмысленной деятельности, вслед за чем следует погружение в себя — непродуктивное, отчуждающее, страшное для Джима и всех, кто его любит и желает ему преуспеть.

Гонка за статусом и достижениями подстегивает его хвататься без разбора за разнообразные начинания, а сопутствующее высокое напряжение парализует, не позволяя удовлетворительно довести их до конца. Это порочный цикл, в котором неспособность закончить то, что он обязался сделать, затягивает его в пучину уныния, и обратно выбраться он может, лишь спихнув с себя ответственность. Но, восстановив контроль, он понимает, что сам же лишил себя того одобрения, без которого не может жить, и вступает в цикл заново.

Так он и мечется из света во тьму и из тьмы на свет, высекая лишь те искры блестящих произведений, что дозволяют обстоятельства и случай. Тем самым он лишает себя того, что ищет столь отчаянно, а нас — тех скоординированных и долговременных усилий, которых мы так неистово от него жаждем.

Отчасти его кошмар вызван нами самими

— писателями, критиками и читателями, узнавшими имя Саллиса раньше, чем узнали его как человека, узнали то, как он ведет свою жизнь. Мы расхваливали его, как расхваливали Фитцджеральда — без удержу, без оговорок. К его же пагубе.

В адресованном мне письме, датированном 17 марта 1970 года, Джим сказал: «И раз уж зашел разговор, должен поблагодарить тебя за то, что все время обо мне упоминаешь — в предисловиях и всем таком. Ценю, правда».

Выговариваю себе за это. Тем самым я лишь сделал из него дракона, которого теперь ему же следует победить. Тем самым лишь усилил давление. Сделал из него больше, чем человека, — нечто олимпийского масштаба. Как эгоистична с моей стороны эта подсознательная потребность лишний раз подтвердить, что-де и в спекулятивной литературе можно найти жемчужину. Притом мимоходом превратив Джеймса Саллиса в козла-провокатора.

На момент написания сего Джим Саллис отошел от литературы. Он перенял Кларионскую мастерскую у Робина Уилсона и перевел ее в свою альма-матер — Тулейнский университет. Он редактор антологии. Он не довел до ума два ро-

мана, на которые уже довольно давно подписан контракт. Давление нарастает — и вот он отошел от литературы.

Посему это открытое письмо написано с надеждой на скорое возвращение. Оно передает Джиму: будь здоров. Не торопись, постарайся забыть о бремени, возложенном на тебя нетерпеливой публикой, ждущей то ли твоего успеха, то ли краха — подобно зевакам, которые надеются, что самоубийца спрыгнет. Ну а публике письмо говорит: оставьте человека в покое. Пусть пишет в своем ритме, в свое время; позвольте ему стать тем, кем он станет, без необходимости ломать для нас комедию. Оно говорит: не убивайте этого писателя. Возможно, он станет одним из самых важных.

Джеймс Саллис родился на Юге в 1944-м. Учился в Тулейнском университете, потом год прожил в Лондоне, где с Майклом Муркоком вел престижный журнал экспериментальной НФ *New Worlds*. Жил в Айове, жил в Нью-Йорке. Его работы выходили повсеместно, в таких изданиях, как *The Prairie Schooner, Transatlantic Review, Orbit* (в пяти томах из восьми на момент написания предисловия), *Quark* и многих антологиях. Женившись, жил в Бостоне. Есть сын — Дилан, шесть лет.

Джим приготовил для своих рассказов два послесловия. Одно я выбрал в завершение двойного участия Саллиса. Второе, что нельзя утратить, появится согласно его указаниям здесь:

Почтовый ящик № 5, Милфорд,
17 марта 70 г.
Харлан!

Чертовски извиняюсь, что я так поздно. Но когда ты позвонил, я проспал всего часа три: как в тумане, не понимал, что ты там несешь, потом еще пару часов вытряхивал вату из головы и еще минимум час пытался сдвинуться с места. А еще прости, если ты просил не об этом. Но если бы я не был спросонья, я бы предупредил, что у меня есть один заскок, — и очень, очень серьезный, — насчет «примечаний» к собственным произведениям: я отказываюсь их делать. Но для тебя — попробовал. Если их так можно назвать.

Собственно, прилагаю два разных послесловия. Мне нравится первое — которое начинается с «Сейчас 16 марта 1970 года» и рассказывает о моем отъезде из НЙ. Второе мне вообще не нравится. (Но на всякий случай шлю.) Надеюсь, первое сойдет и хоть чуточку тебе угодит. [Оно, кстати, честно больше относится к рассказу, чем может показаться сначала.]

Два момента: прошу обратить внимание на форматирование. Мне так хочется, ладно? (Отступ слева, одинарный межстрочный и тройной межбуквенный интервалы, стих через строчку и т.д.) Второе: *Пожалуйста*, проследи, чтобы польские слова были напечатаны *именно* так, как в тексте; это *чрезвычайно* важно!!!

Проверим… Надеюсь, ты не забыл вырезать последнюю строчку (она же — последний абзац) из рассказа «53-я американская мечта». (Чтобы рассказ кончался: «…и дети ее обожали».) Последнее предложение (начинается со «Звали») надо перенести ниже и сделать последним абзацем… *ЭТО ЯСНО?* Пожалуйста, дай знать. Опять же — ужасно важно!

ЕЩЕ: два рассказа, то есть их названия, набирать строчным шрифтом, как я писал ранее. Ладно?

И я же увижу твое предисловие заранее? Надеюсь. (Уверен, ты, конечно же, опишешь, как я очевидно гениален, бесподобен и проч.) И раз уж зашел разговор, должен поблагодарить тебя за то, что все время обо мне упоминаешь — в предисловиях и всем таком. Ценю, правда.

Кстати, прости, что испортил свой образ тем, что со мной не было девушки. Но, как ты пой-

мешь по послесловию, она уходит на работу в семь. (А это, в свою очередь, та *причина*, почему я сплю только три часа.)

Еще раз — прости за опоздание. Жду от тебя ответа, а пока твори добрые дела. Или великие.

С ЛЮБОВЬЮ

à les étrangers[122]

Я не люблю говорить о своих произведениях: они должны жить — или умереть — сами по себе, как и будет; а в моих глазах уже сам факт их написания, так сказать, устраняет всю их необходимость, что была у них или у меня — другими словами, их существование хотя бы частично исключает потребность в их существовании. Поэтому, по Гильвику, есть только это,

Toi, cecrêux
Etdéfinitif.
Moi qui rêvais
De faire équilibre[123].

---

[122] Примечания: 122
Незнакомцам (*фр.*).

[123] Примечания: 123
Ты, эта пустота
И окончательность.
Я, мечтавший
Об обретении равновесия (*фр.*).

…то есть — всегда — позыв. А также «Сама же ее материальная реализация состоит по сути дела в проецировании реальности — в перекошенной и разогретой атмосфере — на неровную и порождающую тем самым искривления поверхность» (Борис Виан)[124]. А на вопрос, зачем они написаны, зачем существуют, мне следует отвечать de même que Robbe-Grillet[125]: я их написал, чтобы узнать, почему *хотел* их написать.

И теперь они твои.

---

[124] Примечания: 124
Предисловие, «Пена дней», *пер*. В. Ляпицкого.

[125] Примечания: 125
Как Роб-Грийе (*фр*.).

Ткань
Джеймс Саллис



1: в примерочной

Чем могу помочь, сэр; вы, кажется, заблудились?

О, благодарю, я ищу сантехнику.

Конечно, сэр. Это, дайте-ка подумать, отдел пятнадцать Б. Прямо по проходу, направо, еще раз направо у Консервов, налево и прямо до Журналов, пока не упретесь в Шитье, там через Хобби и дальше по коридору через Экзотические продукты, потом проход восемьдесят три — и вы на месте. Проще простого. Не помешает прихватить

компас в Спорттоварах — это будет по пути, просто сделайте крюк направо у Подтяжек, увидите большого плюшевого медведя — и поймете, что вы на месте. С компасом будет попроще… У вас же *есть* карта?

Э-э да. Да, спасибо большое.

Мэтсон.

Прошу прощения?

Мэтсон — так меня зовут. Вот моя карточка. Позвоните, если еще что-то понадобится. Номер внизу, пользуйтесь нашими телефонами.

Спасибо большое.

Можешь не благодарить, сынок, это моя работа.

Эм-м, прошу прощения. Сантехника — это там, прямо?

Ха. Уж прости, парень, но ты не в том крыле. В ту сторону. Садоводство — выше этажом. Можешь подняться на лифте от Отоваривания Купонов, на лифте от Косметики или подняться мимо Стрельбы из Лука. Лично я предпочитаю пройтись пешочком — по пути попадешь в Контейнеры «Таппервейр», это всегда радует.

Сэр… Сэр? Вы не подскажете, я попаду здесь в Садоводство?

Боюсь, нет, сынок. Эк тебя занесло. Значит,

слушай: пройди туда и спроси вон того, в розовой рубашке. Он покажет, как дойти до Электроинструментов, а оттуда уже прямо. Не заблудишься.

А… Спорттовары? Подскажете, куда идти, направо или налево?

Подсказать подскажу. Либо направо в Сигары «Толл-н-Слим», потом возвращаешься через Импортные Консервы, пока не дойдешь до Канцелярских Товаров — и там еще разок направо. Либо пойдешь отсюда налево до Ремней и Галстуков, доберешься до Туалетов и там — вниз на Автоподъемнике. Но я бы на твоем месте вернулся по проходу до Отоваривания Купонов, потом прямо до Резервирования Товаров и срезал через Ковры и Шторы к Жалобам. Это самый быстрый путь в Оборудование — по крайней мере, отсюда.

Сантехника? Значит, это они пятнадцать Б?

Еще бы.

Простите, вы меня напугали. Вы новый помощник?

Э-э, нет. Я ищу Сантехнику. Пятнадцать Б.

Понятно… ну, сейчас-то вы в подвале, вы же знаете.

Нет, не знаю.

Ну, вы в подвале.

Ясно. А не подскажете, как тогда пройти к Сантехнике?

Пятнадцать Б, да?

Да.

Ну, сынок, я и сам не знаю — не поднимался отсюда много месяцев. Собственно, с прошлого Рождества. Впрочем, за продуктами выбирался. Ждал допоздна, когда магазин закроется. Если не подводит память. …карта есть?

Да.

Давай тогда поглядим… да-да, точно. Смотри, тебе надо вернуться в Кофемашины и Капсулы — это на четвертом, на полпути по Проходу двадцать восемь С, рядом с Женским Нижним Бельем, видишь? Это ты и сам найдешь, просто ищи голых баб. Я имею в виду, дойдешь ведь сам по карте?

Ну, *думаю*, дойду.

Молодцом! С таким настроем обязательно дойдешь. Думаю, ты выберешься — ты смелый для молодого парня, а это главное.

Да. Спасибо большое, вы очень помогли.

Не благодари, сынок, — ты бы поступил ради меня так же. Нам надо выручать друг друга, правильно? А что еще остается? Человек должен помогать человеку, что может быть важнее?

Присядешь, сынок? Вид у тебя вымотанный, что-то ты забегался. Давай-ка сюда, в это, с розовыми подлокотниками. Вид отсюда славный. Обрати внимание, как хромированная отделка поблескивает на непрямом освещении — целых четыре инженера и два декоратора интерьеров бились над таким эффектом. А ты и правда вымотанный. Ты бы так себя не загонял; успеешь еще с возрастом. Следи за здоровьем, наслаждайся молодостью, пока она есть.

Простите, спасибо. Сюда непросто добраться.

Так ничего удивительного — это же у тебя прошлонедельная карта.

О. Но это же Сантехника?

Правильно!

Отдел пятнадцать Б?

Точно!

Где продают пенисы?

Еще бы!

Ну наконец-то…

А, но прости уж, что спрашиваю, сынок, а документы у тебя есть? Я имею в виду, от родителей, с подтверждением возраста — ну и, конечно, справки от учителя и священника. Прости — раввина. Таков закон, сам понимаешь, и… а, ну вот, вроде все в порядке. Так. На какой стиль рассчитывал?

Я вообще-то и не задумывался. Боюсь, я в этом не разбираюсь. Э-э, а что бы вы посоветовали?

Что ж. Конечно, трудно судить, не зная человека — я имею в виду, не зная *по-настоящему*, если ты меня понимаешь. То есть *сущность* человека — все его черточки и причуды, составляющие человека в целом, его характер. Но, судя по твоей внешности и поведению, я бы рискнул предположить, что ты не промахнешься, если выберешь «Сассафрасовые встречи». И вдобавок это *популярная* модель, довольно *практичный* стиль… это, конечно, догадка, но на чутье часто можно положиться, особенно если оно идет в комплекте с большим опытом и знанием продукта. Например, верный признак — форма лица и ягодиц. И, конечно, ладонь.

Ясно. Э-э, а можно попросить, э-э, *личную* рекомендацию?

А-а-а. Ну конечно, все понимаю. Ну, *лично* я бы выбрал «Польскую колбасу» — довольно стильно, никогда не выйдет из моды, не так капризно в обслуживании. А еще мне просто нравится внешне: какая-то чистота линий, простота и внутренняя *честность*. Хотя вот управляющий этажа тебе расхвалит «Грибную стрелу», а его слово дорогого стоит — я имею в виду, человек знает свое дело,

знает рынок. На мой взгляд, «Стрела» особенно подходит для лихого, развязного характера.

Э-э, а как думаете, мне можно…

Ну конечно, сэр!

Да… и правда очень хорошо.

У нас один из лучших монтеров на рынке. Превосходно, правда? Просто превосходно. С таким продуктом мужчина может собой гордиться; это работа *истинного* мастера. Превосходно.

И правда. «Польская колбаса»…

Так что, прикажете снять с вас мерку, сэр?

Ну, я еще не определился — я же не видел другие. Можно посмотреть несколько моделей? Может, это поможет с итоговым решением?

Ну разумеется, сэр. Кейрис: модели!

Вы очень любезны.

Отличный выбор, сэр. «Мандрагора, особое издание», в красном цвете, со всеми аксессуарами. Наверное, лучшая модель, что мы производим — а мы производим лучшие в бизнесе. Ручная покраска — настоящий *триумф* ремесла. Нет — *Искусства!*

Уверен, я останусь очень доволен.

Да, сэр, *целиком и полностью* довольны. Лично это гарантирую. И к тому же большая износостойкость — при правильном уходе это принесет вам

много лет — целую жизнь! — удовольствия. Просто приносите раз в месяц на калибровку; а если что-то случится — любая неполадка, — ремонт за наш счет, в серьезных случаях — полная замена. Прямо как «Зиппо».

«Зиппо»?

Зажигалка, сэр. Как и наша «Мандрагора» — лучшая на рынке.

А. Мне еще рано курить, понимаете. Хотя, может, теперь и начну…

Да, сэр, было бы замечательно. Что ж, тогда на этом все. Смазка, запасные винты и средство для мытья, — а также инструкция по чистке, мелкому ремонту и настройке, — в дополнительном наборе, который идет в комплекте с «Мандрагорой: особое издание». И, конечно, стандартные инструкции о том, как раскрыть все возможности в полной мере. Вашим родителям придет счет на пять долларов восемьдесят семь центов; и если вы не против, сэр, то я бы хотел добавить, что они будут гордиться вашим выбором — нисколько не сомневаюсь.

Надеюсь. Еще раз — спасибо большое за ваш совет. Вы мне очень помогли.

Это моя работа, сэр. Не просто работа — долг. Кейрис! Мой ассистент вас проводит, сэр: он знает

короткий путь. И, насколько я понимаю, по пути вы пройдете через Винный Погреб и Табачную Лавку — рекомендую задержаться для покупки, пока мы не закрылись.

Да, пожалуй, так и сделаю.

Было очень приятно вас обслужить, сэр.

Да, спасибо. Уверен, сегодня вы принесли одному мужчине счастье.

Надеюсь, сэр. Мы стараемся.



2: 53-я американская мечта

Воскресенье, причем как все воскресенья; дряблые облака висят в небе брылями, небо сожрало воздух, шуршит ногами по траве, собирается

дождь. Когда они проснулись, дети уже поели.

В домашнем халате (в коричневую клетку, «Нейман-Маркус») и тапочках (серая шотландка, «Пенни») мистер Мор вошел в гостиную (с видом викинга, сошедшего с драккара), пиная с дороги разбросанные кости и замечая на них отметины — царапины зубов.

— Черт, — произнес он наконец, встав спросонья посреди комнаты и качая большой головой. (Он напоминал «бычий глаз», окруженный кольцами из мебели-костей-детей.) — Если б вы, дети, понимали, насколько трудно в наши дни найти хорошую прислугу, вы бы так больше не делали. Слишком уж большой расход, чтоб вы понимали: вы хоть знаете, что это уже третий раз за месяц? В Бедфорд-Хиллз уже кончаются служанки, дети. — И затем, потому что речь завершилась, потому что было девять утра, потому что у него кончились слова, потому что он смахивал на викинга, мистер Мор повторил: — Черт.

— Ты уж прости нас, пап, — сказал Том, старшенький. По его подбородку стекала струйка крови, капала на «Паломино Тонто». Малыш Джим, который всегда ел неторопливо, скрючился под журнальным столиком и обгладывал костяшку пальца. — Но мы проголодались, жуть

как проголодались. И не дождались, когда проснетесь вы с мамой.

Мистер Мор сонно, задумчиво потер щетину на щеке и подбородке; опустил расчесанную докрасна ладонь.

— Ну, пожалуй, понять я вас могу, — сказал он. — Но хоть приберите этот ужасный беспорядок, пока мать не увидела.

Образцовая команда детей (так и представлялась лающая погоня, бросок, рычащее пожирание) рьяно взялась за дело, наваливая кости в красную тележку, вытирая кровь бумажными салфетками «Скоттауэлс». Тим, младшенький, прислонился в углу к стене с салфетками на руках и издавал «щелк-щелк» каждый раз, как кто-нибудь вытягивал одну.

Мистер Мор обернулся три раза кругом и вернулся в родительскую спальню. На кровати лежала сломанным корешком вверх книжка, которую он читал вчера вечером (рассказы еврейские и дзенские, инь и ян, толстые и тонкие), но вот жены нигде не было видно. Он обошел комнату, в ее поисках выдвигая ящики и открывая дверцы, залез на стул, чтобы заглянуть в лампу (в ответ уставился царь горы на горе тел и ошметков тел — единственная живая муха-циклоп — и

неистово замахал лапкой-ресничкой: j'accuse, j'accuse[126]). Наконец он заметил со своего кленового насеста тафтяную ножку и догадался, что она спала под подушкой. Перескочил через изножье — с криком «Хай!» и «Хнг!» — и присел на карачках на матрасе «Бьютирест».

Приподнял подушку.

— Дети съели служанку, — объявил он и уронил подушку обратно.

Спустя пару минут она вдруг дернулась и свалилась на пол. Жена медленно потянулась и перевернулась на бок (медленно).

— Бедняжка Гризельда… — сказала она навесному потолку с маленькими поглощающими звук дырочками.

— Нет, дорогая. Гризельду съели еще на прошлой неделе. Это была Ольга.

— Бедняжка Ольга…– Она натянула одеяло на голову, и он услышал, как она хнычет в своей темной теплой пещере. Он нырнул вниз головой на подушку, поднялся и перешел к гардеробу, чтобы *прозиять* его нараспашку. (Теперь остался закрытым только тонкий клинышек темноты, упирающийся в неровные белые коробки на

---

[126] Примечания: 126
Я обвиняю (*фр.*).

верхней полке и одежду, закрепленную прищепками на раздвижном вешале.) Мистер Мор сунул руку внутрь, быстро, и — так же быстро — наружу: клацнули челюсти прищепок, из охапки у него в руке выпала вешалка. (Теперь чулану требовался новый коренной зуб снизу слева.) Его рука отважилась нырнуть в глубины коробки и извлекла жемчужно-белую рубашку. Мистер Мор начал одеваться наискосок: от импортного фильдеперсового левого носка к вышитому вручную правому рукаву и слону из черепахового панциря.

Он стоял перед зеркалом и затачивал зубы, когда вошел Тим и встал в дверях у него за спиной. Тим был одет в батоны хлеба, которые приклеил по всему телу, срезав корку. Точь-в-точь сбежавший одуванчик.

— Все, пап, убрались, — сказал он. — Но мы там и вам оставили — в холодильнике.

— Да-а… слушай, я не очень голодный. Может, сами съедите попозже? Сделаете себе сэндвич. — (Стр. 119: «Родители должны жертвовать ради детей».)

Тим постоял с сомневающимся видом.

— А у нас есть кетчуп?

— Конечно.

Он склонил голову набок.

— Маринованные огурцы?

— Большие и сладкие. — (Стр. 143: «Дети часто не готовы принять эту жертву; в таком случае самая удовлетворительная и эффективная реакция со стороны родителя — небрежность».)

— Договорились! — И Тим помчался в гостиную, рассказывать остальным, оставляя за собой след из крошек, чтобы найти обратный путь.

В зеркале мистер Мор увидел, как жена выскочила из Ее постели (36x72: одеяло хлопало, как бурые летучие мыши), бросилась через холодные квадраты Монтина, как трусливая королева, и нырнула — как, наверное, Тай Кобб, — под Его постель (40x80: пол — 3D, очки не требуются, блестящие белые жемчужины в желтой мокроте).

— Камикадзе меня не поймать! — крикнула она на бегу. А потом — нежно, из-под кровати: — Помнишь, как дети принесли на прошлой неделе щенка?..

Мистер Мор выдвинул ящик и убрал пилку-зубочистку в футляр к остальным — ниже крысиного хвоста и выше щетки с верблюжьей шерстью и пупочным пухом, — вложив в петлю, как большой палец — в индийские босоножки. (Он гордился двухфутовой наждачной пилочкой,

которую купил у маникюрщика слона, когда в город приезжал цирк.)

— Конечно, — ответил он. — И какой он был милый и мягкий.

— И правда! — Ее рука выползла из-под кровати, прокралась по линолеуму — и быстро юркнула обратно, оставив что-то похожее на мизантропическую бабочку: ее радужный лифчик. Начинались игры — воскресные игры. Игры. — Но потом они отказались его есть, помнишь? Их пора приучать питаться регулярно, Брюс. — Она всегда произносила его имя так, что оно рифмовалось с «Круз». — Три раза в день, без перекусов, чтобы пополнять запас витаминов и железа. Нельзя допустить, чтобы они испортили здоровье. — И снова рука прокралась наружу, только чтобы сбежать обратно. Но в этот раз она оставила два острых резиновых конуса с пластмассовыми наконечниками на концах. Наконечники, по мнению мистера Мора, напоминали розовые изюминки. Или, наверное, вишни «Бинг», обычно насаженные на конусы мороженого.

— Пожалуй, ты права,– ответил он жене.– Проведу с ними беседу сегодня вечером.– Он открыл футляр из нефрита и слоновой кости, с бархатной отделкой, который расселся на пружинистых

ножках в виде «S» на комоде — того гляди спрыгнет. Вынул оттуда и вставил себе воскресные глаза. Они были сделаны в виде глазок картофелины («Картофель — невинный плод») из золота, 23 карата (24-ю часть составляли крошечные серебряные звездочки). Они торчали из лица, как мутантские перекошенные штопоры. Он повернулся так и эдак, любуясь собой в зеркале. — Да-да, — продолжил он, — первым делом сегодня вечером. — (Стр. 654: «Легкая вечерняя атмосфера — самое благоприятное время для семейных собраний, а общий ужин — возможно, одна из самых удобных и доступных возможностей».)

В этот раз рука *вырвалась* (ногти застучали по полу) и *заползла* обратно (подволакивая большой палец). Вырабатывался темп. Прямо посреди квадратов Монтина в мокроте плавали две горки оседающей плоти. Один в один две ямочки с ластиками «Скрипто» внутри, подумал мистер Мор. Или же блюдца для демитасов, со сливами внутри темного ободка. Или пластмассовая собачья миска. К кровати потянулась бледная струйка крови, мешаясь с мокротой, разбавляя ее, и та затем переливалась в комнату, принося куски жемчуга, что кружились и вились, как листья, постукивая о двери-трубы-бюро-кровать-туфли.

— И они послушаются,– сказал мистер Мор,– или останутся без телевизора.– (Стр. 4: «Самое простое наказание — самое действенное».) Он снял волосы-брови-уши и надел ермолку (там же). Постоял, глядя несколько секунд в зеркало. Наконец поднял руку и перенес нос на подбородок. Намного лучше. *Намного* лучше. Тембр под стать темпу.

И снова рука: выпад, ползучее отступление. Такая дерзкая, такая лукавая — манеры дамы эпохи Реставрации. В этот раз — кружевные штаны: горка паутины на полу. На его глазах они промокли насквозь, растворились, слились с кровью и мокротой в виде волокон, словно водоросли. Желтый пол рыжел, стал крахмальной консистенции. Другими словами — *липкий*.

— Думаю, уже достаточно, дорогая, не находишь? — сказал мистер Мор. — Не пора ли уже прекратить?

Он вернулся к зеркалу и вынул зубы один за другим. Они стучали — один за другим — в фарфоровой раковине, почти невидимые. Белые. Белые.

— Значит, ты готов, дорогой? — спросила жена. А потом — капитуляция, нежная капитуляция, ах-х-х, когда через пол одна за другой просколь-

зили ее ноги и ударились с тихим стуком (как большие спагеттины) о водопроводные трубы, плеснув рыжими брызгами крови-мокроты на стены, заодно поливая расцветающие там орхидеи. Всасывающие звуки. Отвалился большой палец, ноготь с него. Мистер Мор подобрал ноготь и прикарманил — потом получился хороший медиатор, когда он играл на своей арфе, перебирая струну за струной.

Он пнул ноги в сторону.

— Да, дорогая, я готов, — объявил он.

— Тогда зови детей. — (Стр. 456, сразу перед самым интересным: «Когда и где это возможно, удовлетворяйте любопытство детей о том, что происходит за закрытыми дверями взрослых; любой ценой старайтесь не подпитывать это любопытство, это желание принадлежности».)

Мистер Мор позвал детей, и все вместе они водрузили ее тело на кровать — покрытую паутиной — и он хлестал ее оливковыми ветвями и обструганными ивовыми розгами, которые хранил в шкафу, а дети смотрели и аплодировали. В этот раз она кричала великолепно; ее тело сочилось мокротой, а потом испускало огромные клубы пыли, напоминающие бурые перья.

Потом он сыграл зубами на арфе, и дети снова

хлопали. А потом они собрали ее заново с помощью зубочисток и красного воска с сыра гауда. Почти. Иными словами, целиком, не считая одной кисти и ногтя большого пальца. Ноготь мистер Мор придержал у себя и потом заказал из него кольцо. А ладонь наконец нашли, когда тем вечером она заползла в кровать к одному из детей (Тому, старшенькому).

Тем вечером на ужине (телятина в кетчупе и чаудер в сухом молоке) он всем прочел строгую нотацию (указ. соч.). А на следующий день, в понедельник (к слову, День Колумба), нанял новую служанку. У нее были белые-пребелые зубы и плоские ногти, бедра — как седло, а соски — как пробки от кьянти.

Звали ее Женевьева, и дети ее обожали.

Послесловие

à les étrangers

Сейчас 16 марта 1970 года. Десять утра, три часа сна, звонит телефон. Харлан каким-то образом — как, черт возьми? — узнал, где я. Звонит с другого конца Штатов, трясет с меня послесловие, «Уж найди где-нибудь пишущую машинку и пришли завтра». И: «С тобой в постели женщина?» — «Нет, ей надо было на работу» — и повесил трубку. И вот я сижу в постели спросонья, пытаюсь вспомнить, что он там наговорил. Я не привык вставать раньше двух-трех, к тому же в Нью-Йорке утра хуже почти всех на свете. А ведь они все довольно ужасные.

Теперь я в Порт-Ауторити, отъезжаю из Нью-Йорка. Размышляю о стихах Тадеуша Ружевича:

Мне двадцать четыре года
меня гнали на бойню,
но я уцелел[127]

и о словах Уоллеса Стивенса: когда вера сдает во внешнюю реальность, остается подпитывать-

[127] Примечания: 127
«Уцелевший», *пер.* Г. Ходорковского.

ся своим разумом. Но: а насколько хватит его. Я только что звонил своим литагентам. Без новостей? Без новостей. Я снова на пути из города. Можно ли до тебя добраться?

Два часа дня. Пишу это на бумаге отеля «Алконкин», где я жил, когда меня нашел Харлан; жил на кредитку, потому что денег у меня нет уже много месяцев. Страница лежит на романе Микки Спиллейна, а под ним — сборник французских стихов, Гильвик. Вчера приезжали друзья из Лондона (где были наконец дописаны эти рассказы). Через несколько месяцев я отчаливаю на Континент, и в Польшу, но сначала надо в Нэшвилл, по делам. По дороге туда остановился на 42-й улице, чтобы купить новый нож. На витрине было написано *Ici parlons Français*[128], и мы с продавцом поговорили по-испански, пока он показывал футляр с ножами. Итальянский стилет; со штифтовым замком из него можно сделать выкидной. Нью-Йорк меня пугает.

…И вот обо всем этом, Харлан, каким-то образом все рассказы.

Pokój. Miłość[129].

---

[128] Примечания: 128
Здесь говорят по-французски (*фр.*).

[129] Примечания: 129
Мир. Любовь (*польск.*).

Джеймс Саллис

Предисловие «Элоиза и врачи с планеты Пергамон»



Я никогда не встречался с Джозефиной Сакстон, автором *весьма* примечательного рассказа, следующего ниже, поэтому могу только сообщить вам, что ее представляет (профессионально) агент миз Вирджиния Кидд, что на данный момент у нее вышли две книги («Иерогамия Сэма и кузнеца» — *The Hieros Gamos of Sam and An Smith, Doubleday*, 1969, и сборник «Вектор на Седьмую» — *Vector for Seven, Doubleday*, 1970) и что это одна из самых леденяще оригинальных писательниц, каких я читал. Я бы прибавил больше, но, думаю, миз/мистер Сакстон (скоро вы поймете мою путани-

цу) может сам/сама сказать все, что посчитает нужным. Понимаете, у меня на руках 4 (прописью — четыре) предисловия. А еще 4 послесловия. На склоне лет я стал мудрее, а потому — без лишних трудов — представляю вам Километр Предисловий от Сакстон.

1: На самом деле Джозефина Сакстон — мужчина и просит не раскрывать его настоящее имя. Он взял псевдоним, чтобы публиковаться в наш, по его выражению, «Век Великой Матери». Среди немногих деталей, что нам сообщить можно, есть следующие: он владеет бакалейной лавкой, по выходным играет в боулинг, женат, имеет дочь-подростка, которая планирует стать секретаршей. Унаследовав магазин, больше он ничем не занимался; каждый год ездит в отпуск в Блэкпул. Его роман «Иерогамия Сэма и кузнеца» вышел в августе 69-го от *Doubleday*, за ним последует «Мировоззрение миссис Амелии Мортимер и друзей» (*The Weltanschauung of Mrs. Amelia Mortimer and Friends*). По его словам, он не знает, откуда берет идеи, — они приходят сами по себе, пока он отвешивает сыпучие товары.

2: Джозефина Сакстон — это бабуля Моисей от новых писателей: она только что отпраздновала свое 77-летие. Была замужем пятнадцать

раз, у нее пятнадцать внуков и шесть правнуков. Она наконец отказалась от мысли о браке как образе жизни и приняла обет в монастыре Кали-Лунг-Гомпу в тибетском Туркестане, где теперь и пописывает романы и рассказы между медитациями. Начала писать всего четыре года назад, чтобы занять зимние вечера и не дать себе превратиться в кабачок. По ее словам, она «феноменально уродлива — метр тридцать семь с мозолями, лысая, как арбуз, и так и не восстановила фигуру после близнецов, которых было десять». Она намекает на наличие неких удивительных способностей, которые развивает благодаря Учителю в монастыре: например, способность видеть жизнь на других планетах, убивать яков силой *мысли* на десятимильном расстоянии и левитация.

Ее любимое блюдо — цампа, а единственная нынешняя амбиция — вырваться из цикла перерождений.

Она шлет особое благословение всем читателям и написала для них молитву для своего молитвенного барабана.

3: Джозефина Сакстон, тридцать четыре года, замужем за гениальным художником, с тремя детьми: один мальчик станет телекомиком, вто-

рой — поэтом и дрэг-стриптизером, а девочка — балериной. Она переделала множество дел из тех, которыми занимаются писатели, кроме путешествий, но в свое время исправит и это — уже положила неплохое начало поездкой в Штаты в августе 1969-го. Родом из Галифакса в Йоркшире и отождествляется с Эмили Бронте с тех пор, как в тринадцать лет посещала приход Хоуэрт и почувствовала касание *привидения*. Сама печет хлеб, любит мед и дольки сырого лимона. Ей нравится смотреть, как растут овощи, а также кружевные занавески и каталоги с новыми электроплитами. У нее шокирующее прошлое, блаженное настоящее и темное будущее, полное грез.

Нет высшего образования, о котором стоило бы упоминать, за что она очень благодарна — среди прочего освободилось время, чтобы предпочитать Юнга Фрейду.

Она из тех людей, кто сажает очень мало розовых кустов, зато в символической конфигурации, чтобы они хорошо росли.

4: *Джозефина Сакстон*.

Дата рождения: 11 июня 1935 года. Родилась в Галифаксе, Йоркшир, одном из двух последних городов, где отказались от виселицы, и городе с самым высоким числом самоубийств в Велико-

британии, построенном в лощине Пеннинских гор средь трясин, по соседству с краем сестер Бронте. Бросила школу в шестнадцать, договорившись со всеми школьными друзьями встретиться в двадцать один — чтобы отметить мою первую книгу. Стала: клерком юриста; контролером качества шерстяных носков; помощником кассира в гастрономе; потом поварихой и раздельщицей рыбы в той же фирме. Потом клерком у пивовара, в семнадцать лет научилась выпивать полпинты неразбавленного рома с утренним кофе, пережила необъяснимый нервный срыв, ушла рисовать мелом линии выкройки на швейной фабрике, по ночам рисуя пейзажи для театральных декораций. Устроилась в другую пивоварню, совершенно диккенсовскую, где сидела на высоком стуле и терпела остроумие старых ожесточенных клерков; там новичкам уже не наливали. Провела зиму у моря, работая горничной и читая Алистера Кроули, пока всюду преследовал лысый человек с топором — один кухонный работник. (Это все я не придуриваюсь, просто набрасываю ненужные факты.) Потом полтора года провела в художественной школе Галифакса, сдала экзамены и закатила скандал из-за грязных кисточек, после чего на следующий

день стала автобусным кондуктором с собственной студией, что продлилось год. Затем вышла за художника, какое-то время работала моделью в конкурирующей художественной школе, по ночам готовясь к новым экзаменам. Остепенившись и поселившись в коттедже на трясинах, написала между кормлениями младенца пьесу, но потом вышел «Вкус меда» — почти слово в слово, что написала я. Увы! Влюбилась в давнего друга и однажды вечером сбежала с ним, чтобы поселиться в особняке семнадцатого века, где родила еще двух детей и писала еще рассказы. Занялась машинной вышивкой, кое-что продала, решила, что это не мое.

Опускаю много других занятий: портниха, работница магазина, уборщица туалета в кинотеатре, заводская рабочая. Еще получила работу поварихой в шотландском замке, но даже туда не ходила. Переехала в Лестер из-за работы Колина (он художник и читает лекции по изящным искусствам), оказалась в ряду лачуг для размножения, известных как пригородные коттеджи. До сих пор здесь, но стойкость уже на исходе. Однажды я заявила:

— Я напишу роман,– и написала, но он был так себе, написала другой, потом третий, который и

вышел от *Doubleday*, за ним четвертый. Вот так на пятнадцать лет позже, чем я думала, я осуществила то, о чем мечтала, бросая школу. Дальше стало лучше, писательство — это мое.

Интересы:

Все направления психологии, с предпочтением К. Г. Юнга.

Все религии, с предпочтением восточных философий.

Готовка, шитье, садоводство. Чтение чего угодно — биология, химия, романы, что угодно.

Оккультизм и эзотерика, коллекционирование книг на эти темы.

Среди любимых авторов: Патрик Уайт, Айрис Мердок, Карл Фрэнсис Кепплер, Антония Байетт, Томас Хайнд, Мервин Пик, Клайв Стейплз Льюис. Мой герой — Уильям Блейк.

Досуг: Загар, купание, прогулки, горы, походы в горы, на озера, на утесы. Никогда не смотрю телевизор и почти не бываю в кино. Обожаю танцы и музыку — особенно индийскую, Мессиана[130] и кое-что из попа. Никогда не экспериментировала с наркотиками и уже не люблю напиваться, но люблю вечеринки и развлечения.

---

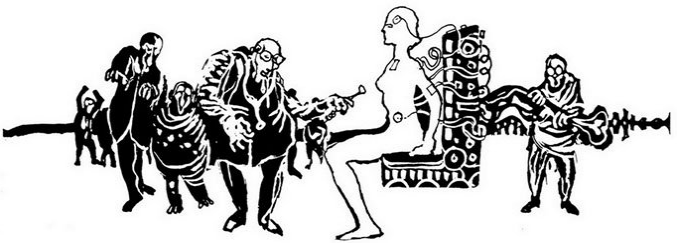
[130] Примечания: 130

Оливье Мессиан (1908–1992) — французский композитор, теоретик музыки, педагог.

Устремления: писать лучше и больше, путешествовать и найти гостеприимный край для жизни, в теплом климате и с дружелюбными местными.

Писать хорошие стихи. Написала уже целые пачки, но я слишком многословна, чтобы стать хорошей поэтессой…

Элоиза и врачи с планеты Пергамон
Джозефина Сакстон



Элоиза сидела в приемной амбулатории Центрального театра, в коротком белом халате. Она ждала уже довольно давно, и ей не терпелось, чтобы кто-нибудь за ней пришел; она прочитала всю рекламу на стене и не нашла ни одной, адресованной ей, поскольку все рассказывали о медицинских средствах с необычными побочными эффектами.

Вошел медбрат. На нем была алая маска, скры-

вающая все лицо, кроме одного глаза, и Элоиза знала, что это обозначает заразный рак кожи. Она не отпрянула от страха или отвращения; много лет назад она дружила с детьми с этой болезнью, и, похоже, у нее был иммунитет.

— Врачи готовы вас осмотреть, — сказал медбрат, и Элоиза встала.

Он повел ее по коридору мимо таинственных дверей и лестниц, пока они не подошли к плотному задернутому занавесу, над которым горел красный огонек. Он втолкнул Элоизу внутрь, где она на миг осталась одна. «Сбежать!» — машинально вспыхнуло у нее в голове. Она решила, что побег не только невозможен, учитывая, какая важная она сегодня персона, но и практически нежелателен; из-за любопытства она устояла на месте, готовая ко всему, что ее ожидало. Она услышала, как объявляют ее имя, и затем почувствовала, как ее выводят на сцену Центрального театра, где ее усадили на смотровой трон, приковав силовым полем. В театральном зале перед ней был аншлаг. Это был Консилиум врачей, и насчитывались их сотни; все — эксперты в своих областях.

Она достала из сумочки зеркальце, окинула взглядом свои поблескивающие светлые волосы,

сияющие темные глаза и золотую шелковистую кожу. Потом повернула зеркальце к публике и с удовольствием услышала множество вскриков боли из-за вспышки света. Было бы странно, если бы здесь никто не страдал от ирита в том или ином виде.

Медбрат повернулся к Элоизе и, перекрывая голоса в зале, спросил, не хочет ли она что-нибудь сказать перед началом осмотра.

— Я хочу, чтобы вы отпустили мою мать из тюремной больницы. Она действовала, исходя из высоких принципов и наилучших побуждений, особенно при том, что ее считают шизофреничкой.

Во время своего требования Элоиза чувствовала себя и очень праведно, и очень глупо. Мама была уже слишком безумна, чтобы понимать, где находится, а после недавних событий окончательно ускользнула за пределы досягаемости других умов. В ответ на ее пустую просьбу по залу лишь прокатилась волна веселья — ее мать в любом случае совершила непростительное преступление, позволив единственной дочери оставаться здоровой до двадцатилетнего возраста. Это было практически неслыханно; в высшей степени антиобщественно.

Они громко обсуждали радиографию Элоизы, анализы крови, уровень метаболизма. Всех уверили, что патологи заканчивают составление списка данных о гемоглобине пациентки, оседании эритроцитов, СМЖ, гематокрите, слюне, моче, фекалиях, содержимом желчного пузыря. Кто-то истерически воскликнул, что у пациентки великолепно работают почки, а кто-то другой отметил вслух, что никогда еще не видел столь совершенный образчик костного мозга. Кто-то настаивал, что его анализы обязательно выявят оккультную кровь в стуле, но его коллеги сомневались. Их призвали к порядку, после чего было объявлено начало формального осмотра. Элоиза надеялась, это будет не так неприятно, как уже пережитые анализы, а потом вспомнила последние вменяемые слова матери перед тем, как ту забрали.

— Не дай им тебя сломать. Ничего не бойся.

Поэтому Элоиза просто сидела и ждала, вполне расслабленно. Хорошенько оглядела театр: большие окна выходили на двор вокруг, а внутри, ряд за рядом, на мягких стульях рассиживались врачи. За ее спиной был задник, сразу перед ней — ступенька, отделяющая сцену от зала, а на потолке — очень яркие люстры. Никаких телека-

мер — этот конклав проходил in camera[131]; хотя наверняка она уже прославлена по всему Пергамону. Она снова посмотрела в окна на плоскую равнину за двором. Нигде не было видно других зданий, но вдали бродили группки людей, словно стада животных.

Из-за кулис спорым шагом вышла матрона. Тут же наступила глубокая тишина, и она заговорила. Деловитый голос; голос вытянутого лица; голос, говоривший от множественного числа, а не единственного.

— Кто осмотрит пациентку первым?

В зале встал человек, поднимая руку.

— Матрона, прошу — я готов.

— Хорошо, приступайте. Далее осмотр пойдет в порядке очереди.

Матрона покинула сцену, а Элоиза рассмотрела своего первого врача.

Худое патлатое тело поднялось, словно распускающийся мак: бледно-зеленое у шеи и с венчиком ярко-рыжих волос; он помахал ей над полем своих друзей, гипнотизирующий и изящный. Элоиза не знала и не интересовалась, что за истощающая болезнь или хроническое

---

[131] Примечания: 131
В закрытом режиме (*лат.*).

нарушение работы желез вызвало у него такой внешний вид; он не пробуждал интереса и не вселял страха.

— У меня ваш анализ люмбальной пункции, — проблеял он на пути к сцене. Она скривилась от воспоминания о процедуре: манометр, аптечная банка и шприц. Не очень-то приятно. Но то уже в прошлом; а что сейчас?

— Положите ногу на ногу.

Элоиза скрестила ноги, а он открыл большой чемодан с подносом инструментов. Извлек мягкий молоточек и стукнул ее под коленной чашечкой. Нога Элоизы дернулась и пнула врача по подбородку под общий смех и дежурные аплодисменты в зале. Врач медленно отстранился, но больше ни в чем виду не подал. Он перевел внимание на чемодан, что-то проверял в нем и отсчитывал. В чемодане лежали кисть для рисования номер шесть из верблюжьего волоса, три пробирки с таинственными веществами, три маленьких целлофановых пакетика, острая булавка и камертон. По камертону он громко звякнул, посмотрел Элоизе в лицо и лукаво спросил, настроен ли он.

— Вроде бы нормально, — ответила она.

— Хорошо, хорошо, — пробормотал он с профессиональным видом и вдруг без предупреждения

воткнул ей булавку в голень. Элоиза вскрикнула, а врач со своими коллегами рассмеялся.

— 1:1! — крикнул кто-то.

Он открыл пробирку, облизал палец и макнул в хранившийся внутри порошок.

— Попробуйте.

Она попробовала.

— Это соль.

— А это?

— Сахар.

— Совершенно верно.

Он убрал третью пробирку в чемодан. Затем открыл пакетик и поднес к ее красивому носу. Она вдохнула.

— Пахнет цветами.

— А это?

— Тленом.

— Слишком верно, — он принюхался и поскорее убрал.

Врач аккуратно приподнял тонкой белой рукой подол ее короткого белого платья. Коснулся ее ягодицы, расплющенной на кресле, кисточкой номер шесть, из верблюжьего волоса.

— Что чувствуете?

— Можно сказать, что мягкое касание крылышка новорожденного мотылька в сумерках,

а можно сказать, что это вы щекочете мне задницу.

— Именно.

Она присмотрелась к нему: казалось, его глаза — не шарики в глазницах, а сделаны из пластмассы и уходят глубоко в голову. И все-таки он мог видеть.

— Закройте глаза, — приказал он. — Расставьте руки по сторонам.

Элоиза сделала, как сказано, но приготовилась к ожидаемой щекотке под мышкой.

— Быстро сведите указательные пальцы.

Она свела.

Врач поднялся, убирая свои игрушки. Повернулся к залу.

— У нее стальные нервы, и все органы чувств — в полном порядке! — Чем никого не удивил. На сцену поспешила Матрона.

— Прошу покинуть сцену, — прогремел ее раскатистый голос. Он поплелся прочь — побежденный и разочарованный.

— Прошу на сцену следующего врача.

В наступившем молчании можно было услышать хрип и щелчок золотой таблетницы, когда следующий врач, багроволицый, принял дозу дигиталиса, откладывая острый сердечный

приступ. Он возился со стетоскопом — толстые пальцы никак не могли ухватить резиновую трубку. Послушав ее чуть двигавшуюся грудь и постучав по ней, он убрел, качая головой. Не последовало почти никаких комментариев и никаких аплодисментов. Матрона вызвала следующего. Элоиза глядела в окна и ждала, пока медбрат осмотрит тележку с инструментами. Она заметила, что к Театру приближается группка людей.

— Тампоны, маточные щипцы, маточный зонд, гинекологическое зеркало Куско, зеркала двустворчатое и в виде клюва, гинекологический крем.

Элоиза поморщилась от неприязни к холодному и неприветливому металлу. Ее мазки с шейки матки наверняка уже показали, что с репродуктивными органами все в порядке? Но это, конечно же, ритуал, демонстрация публике ее удивительного здоровья со всех сторон. Она расслабилась и наблюдала за приближением гинеколога. Грузный малый с бычьей шеей прошаркал по розовым пластмассовым ступенькам прохода и, крякнув, поднялся на сцену. Он постоянно чесал руки, скрежетал зубами, дергал подбородком из-за тяжелого и болезненного раз-

дражения кожи. Осыпались, заметно планируя на ярком свету, белые, окровавленные хлопья эпидермиса, а потом и дермиса. И он к тому же пробормотал, что, пока его пожирал псориаз, хотя бы отступила астма; врач смазал руки кремом из маленького тюбика и оглядел свои инструменты и пациентку. Элоиза взглянула на его воспаленную и кровоточащую кожу, напоминая себе, что такие болячки вызвала не инфекция. Врач надавил на рычаг сбоку ее кресла, и то разложилось в кушетку. Достав с нижней полки тележки сложенную чистую простыню, он накинул ее на Элоизу, потом подвернул, чтобы раскрыть ее ниже талии.

— Поднять колени. Развести и не сдвигать.

Лежа под простыней, Элоиза рассматривала ногти, вздыхала от нетерпения и скуки и морщилась, когда в ее вагину скользнуло холодное металлическое зеркальце. Она лежала, не чувствуя боли, а в голове складывались идеи, усиленные исчезновением всех значимых зрительных раздражителей. Что это за жизнь — под стерильной простыней, когда в тебе шарит безжизненный инструмент! Можно же жить как-то иначе!

Врач надавил тяжелой рукой на живот Элоизы и всмотрелся в зеркальце с любопытством,

обычно присущим студентам-медикам, которые впервые видят матку. Ему на глаза не попалось ничего необычного, кроме влажного и сияющего здоровья гладкой мышцы. Он провернул колесико, раскрыв утробу Элоизы. Ожидающие стенки, идеальное место для начала новой жизни — вот и все, что он нашел. Он покинул это место — слишком поздно для него, не его дело, нечего лечить. Собрав вещички, он предоставил могучей Матроне снимать покрывало и поднимать спинку кресла в вертикальное положение. Теперь Элоиза увидела за окнами, что у больших дверей собралась толпа, и в ту же секунду кто-то постучался. Ропот раздражения и недовольства прокатился по врачам, которые уже знали диагноз пациентки и потому им не терпелось покончить со всеми формальными осмотрами, чтобы поскорее пойти играть в гольф. Как только будет принято решение, что делать с незаконно здоровой девушкой, жизнь снова пойдет своим чередом. А теперь у дверей поднялся шум. Кто-то пошел открывать, кто-то кричал, что осмотр должен проходить in camera, кто-то процедил: «Ну какого черта».

Врачи недовольно застонали при виде того, что открылось за дверями. Опять эти Врожден-

ные! И к тому же ввалились в Театр. Ну что за безобразие!

Тараторя и перешептываясь, в зале остановилась делегация Врожденных — с ежегодной мольбой о внимании и помощи. Они покачивались и подергивались, крутили колесами и переминались на костылях, беспомощно стояли — и требовали. Слюнявые и припадочные, постанывая и икая, склабясь и прихрамывая, они вновь явились ради жертвоприношения Удаче — их единственной надежды в жизни. Они уже прослышали об Элоизе и хотели завладеть ею. Они верили, что их могло спасти лишь жертвоприношение ее идеального тела.

Элоиза прислушивалась к спорам у дверей, начиная понимать, что за участь может ее ожидать. Она вернулась к своей новой идее, изо всех сил стараясь не пускать в мысли страх. Она не знала, что они с ней сделают, и поэтому решила не забивать этим голову. Но на переносице все-таки выступили капли пота, переливаясь под ярким светом, как стеклянные шарики. Их с удивлением заметил маковоголовый невролог. Он-то думал, у нее нервы будут покрепче, хотя в таких обстоятельствах пот никак не назовешь аномалией!

Врожденных, вставших у дверей, возглавлял

мужчина, чья голова была размером чуть ли не с его грудь, а кожа словно стекала после тяжелого ожога. Рядом с ним встала женщина — ее метод передвижения заключался в боковых прыжках со вскидыванием рук и гортанным вскриком. За ней появился старик, толкавший тележку с ребенком. Ребенок без умолку завывал от нарывов, вызванных бесконечными потоками мочи и экскрементов, а из тела рос подрагивающий участок спинного мозга. Юнец с заячьей губой и волчьей пастью принес малышку, чей позвоночник рос до самых колен в виде голого розового хвостика, загнутого крючком. Позади на земле подергивалась в тяжелом приступе эпилепсии женщина с пеной изо рта, рядом с ней присел изможденный паренек с синеватой кожей и отсутствующим взглядом, в которого вцепился безволосый карлик неопределенного возраст и пола. Куда ни глянь — глухонемые, слепые, частично парализованные, деформированные и умственно отсталые всех мастей. В Элоизу вперился бедняга, похожий на лимон на зубочистках — такие тонкие конечности, такое толстое тулово, — и в его тусклом взгляде читалась тоска о том, чего он даже не понимал.

Делегацию встретил врач официального вида,

но тут подошла Матрона, отодвинула его в сторону и приступила к формальному допросу.

— Зачем явились? — спросила она с неодобрением.

— Не получив ответа на прошлогодний вопрос, мы хотим блага медицинского прогресса, комфортную жизнь и деньги.

Эту речь произнесли без интонации, словно заучили наизусть без настоящего понимания или надежды.

— А какой был прошлогодний вопрос? — нетерпеливо уточнила Матрона.

— Зачем вы оставили нам жизнь?

— Ах, это! Мы ведь уже говорили. Это наш долг — сохранять любую жизнь.

— Но наша — это бесцельное море боли и терпения. От нас нет ни пользы, ни красоты.

— Ну, на Пергамоне больны все, таков закон. Хватит уже жалеть себя.

— Но мы даже не можем зарабатывать на жизнь, мы забытое меньшинство!

Среди Врожденных раздались крики «Жертва!», хотя многим не хватало мозгов толком сообразить, чего они требовали. Они только знали, что у них есть требования, вот и требовали. Права, права!

А Элоиза между тем выстраивала из своих идей план. Чем больше она видела Врожденных, тем меньше хотелось угодить в руки к ним — и неважно, убьют они ее, назначат своей королевой или и то и другое. Элоизе было одиноко, всегда, — раньше даже матери порой становилось слишком плохо для общения; Элоизе хотелось жить среди здоровых людей.

Она задумалась о далеком прошлом планеты Пергамон — о тех временах, когда благодаря ежегодной дозе Эликсира Ананиаса Маккалистера идеальное здоровье было у всех. Ананиас Маккалистер, сам дьявол. Его Эликсир изменил ход истории Пергамона: планету настолько переполнили здоровые долгожители, что они чуть ли не теснились плечом к плечу и питались только искусственным белком, вызывающим зловонный метеоризм, но здоровый кишечник все равно справлялся с ним так эффективно, что в конце концов внешние слои атмосферы превратились в густую массу биогазов и провозглашали могучими взрывами падающие метеориты, раскаленные добела; там, где с неба обрушивалось пламя, планету покрывали огромные круглые отметины, словно ведьмины круги; непредсказуемый драконий кашель обращал людей в поташ

и азот: вжух-вжух — несладкая жизнь!

Возродившись из ошметков, культура посвятила себя болезням — ведь стало очевидно, что здоровье вело к гибели.

Мать рассказывала Элоизе о других планетах, где люди умудрялись вести здоровую жизнь, питаться настоящей едой и сохранять воздух чистым. Там никто не ссорился и не пользовался друг другом. Элоиза вздохнула и закрыла глаза.

«Я пережиток лучших времен», — подумала она.

Врожденных попросили подождать снаружи до конца осмотра и вынесения официального решения. Врачи принялись совещаться, шуршать тройными копиями анализов, почти на них не глядя — зная, что каждый диагноз гласил: «Идеальное здоровье». Медбратья внесли напитки. По залу разошлись закуски для коктейлей и виски в граненых стаканах, атмосфера стала расслабленной, начались эпические байки о гольфе. Но один врач настаивал, что его очередь пропустили; требовал права лично осмотреть пациентку, и Матрона наконец уступила и пустила его на сцену.

— Мне нужен осветитель, — попросил врач-отоларинголог.

Элоизу не обрадовало, что в ее мысли так грубо вторглись. По ее плану ее должны были оставить в покое. Но от жалоб толку не было, оставалось только подчиниться.

Врач выкатил за собой чемодан, похожий на сумку для гольфа, и тут же принялся с ним возиться, стараясь раскрыть замки, притом что с трудом мог согнуться. Элоиза решила, что у него бандаж из-за позвоночной грыжи или какая-нибудь костная болезнь — наклоняясь, отоларинголог каждый раз морщился и с шипением втягивал воздух через сжатые прогнившие зубы.

— Ассистент! — проревел он, и на сцену вышел медбрат/медсестра, одетый, как на операцию, — в маске, халате, бесполый. Вдвоем они без разбора выкладывали инструменты на пол, пока публика болтала и выпивала. Элоиза наблюдала в зале за врачом, которого артрит так скрутил в три погибели, что ради каждого глотка виски ему приходилось прилечь на пол — пить стоя было невозможно. Один коллега упрекнул его за употребление алкоголя, но врач с артритом ответил: хоть алкоголь и вреден, из него получается неплохой анальгетик. К тому же, продолжал он, он хотя бы не курит, потому что табак вызывает рак; другой врач возражал из облака дыма от трубки,

что не вызывает. Так они нелепо перешучивались, пока отоларинголог на сцене не попросил погасить свет. Несмотря на жалобы публики, медбратья задернули окна и притушили освещение, и в Театре стало совсем темно. Элоиза заметила слово «Выход» над дверью в конце зала, которую раньше не видела.

— Черт, — ругнулся врач, потерявшись в темноте. — Свет.

Свет стал ярче, и ассистент помог врачу вставить новую батарейку в налобный фонарик.

— Свет! — гаркнул он снова, и затем опустил на Элоизу конус света от своего фонаря. — Откройте рот.

Она открыла рот — только чтобы в него вставили ретрактор.

— Скажите «а».

— А-а-а-а-аг-гх-х-х!

По ее подбородку стекала слюна, и ассистент поспешил промокнуть ее ваткой. Врач всматривался и тыкал в горло, потом провел скрупулезную переднюю риноскопию с носовым расширителем.

— У вас сопля в носу, — объявил он.

— А-а-а-агх-х!

Он тихо заговорил нараспев, пока ассистент

записывал скорописью на первых попавшихся белых накрахмаленных поверхностях.

— Признаки ринита, синусита, эпистаксиса, полипов, фарингита, тонзиллита, аденоидной гипертрофии не обнаружены. — Врач ненадолго прервался, приложив руку ко лбу. Потом схватил жом для миндалин и кольцевидный нож Готтштейна, швырнул в сердцах на пол, неловко развернулся, поклонился публике всего на дюйм и ушел со сцены. Ассистент раскрутил ретрактор во рту Элоизы, дал ей комок хирургической марли, сгреб все инструменты в кучу и побросал в сумку на колесиках. Уходя, он — или она — зыркнул на нее.

— Если бы мы все были такими, как ты, такие красивые инструменты лежали бы без дела в музее. — Шепот был ожесточенным, голос надломился от злости. Элоиза потерла щеку там, где в кожу впивался ретрактор, высморкалась в марлю, поморщившись из-за того, какая она кусачая, и прочистила горло. Теперь можно было вернуться к своей идее. Время уже было на исходе.

Она расслабилась каждым мускулом, закрыла глаза, рот, уши. Начала проговаривать про себя свою новую формулу:

— Я хочу быть свободной. Я хочу туда, где есть

такие, как я.

Она повторяла ее медленно и ритмично, эту глубокую мантру, не отвлекаясь на звуки, доносившиеся из-за ее личной стены тишины:

— Психосоматическое умиротворение высочайшего уровня. — И раздался громкий смех.

— Что ж, и не такое бывало.

— Если она достанется им, это правда может помочь их удаче…

В отдельной ячейке внутри головы Элоизы гудели мысли о том, что с ней станет, если ее правда отдадут.

Ее разорвут на части и сожрут.

Сожгут заживо.

Бросят на растерзание диким псам.

Оставят умирать от голода на горе.

Объявят королевой.

Сделают маткой для размножения.

Все это пугало, и тогда она вспомнила, как мать говорила:

— Не дай им тебя сломать. Ничего не бойся.

Но мать никогда не сталкивалась ни с чем подобным, сейчас все было иначе — отчаянно, опасно, ужасно. Да, ее план должен сработать — так или иначе.

Она вернулась к своей идее, близко знакомясь

со всем, что происходит в ее теле. А в нем было так шумно — грохот, шорох, писк, биение, — что она и не слышала новый стук в дверь и нетерпеливые возгласы врачей. Это прибыла делегация Голодающих, выклянчивать деньги и еду. Раньше Элоиза уже видела Голодающих: два больших глаза — иногда без зрачков, — огромные животы с пупочной грыжей из-за давления газов изнутри, тощие руки-ноги, кожа в нарывах, почерневшие и посеревшие струпья и нагноения. Голодающих на планете было много, и жили они в пыльных котлах, где чесались и хныкали день и ночь напролет. Врачи и обычные больные часто помогали им благотворительностью, но иногда приходили делегации требовать еще.

Элоиза отключила сострадание, услышала, как врачи выписывают чеки и заказы еды. Был бы жив Ананиас Макаллистер, видел бы это…

Во дворе.

Врожденные и Голодающие смешались, обмениваясь жалобами, демонстрируя друг другу перекошенных и недокормленных детей, состязаясь за то, кто больше достоин жалости из-за невозможности помочь своей семье. Выбрали стену, чтобы биться о нее головами, а кому не хватило места, тот пользовался землей. Кто не

мог согнуться, те рвали на себе волосы, рыдали, хныкали, колотили воздух и грудь, сначала вразнобой, потом — в унисон. Толпа распалялась. Даже со всеми благотворительными чеками — что это за жизнь? Этот вопрос поднимался в смрадный воздух, поднимался и опускался, переходил из уст в уста, повторялся вновь и вновь. Врачи бы заволновались, будь во дворе кто угодно другой. Но чего бояться немощных угроз от тех, кто умел разве что плести корзинки да вязать, делать объемные рисунки да читать брайль? Кто из них перекует сталь в мечи, отольет идеальный ружейный ствол? Кто их них сможет поднять тот меч или прицелиться?

Бесстрашные врачи попивали виски, непринужденно спорили, отдавать ли Элоизу на жертвоприношение или нет, и делились своими теориями, что еще с ней можно сделать.

Элоиза не слышала ни слова. Казалось, она спит.

.....

Изолированная, способная произнести «я».

.....

Лучи солнца осветили сцену во дворе, словно там был в разгаре праздник Весны. Один врач предсказал, что день не кончится ничем хоро-

шим, а здоровяк с птичьим лицом ответил:

— Сохраняйте спокойствие.

.....

Закрывшись в пещере собственного безупречного тела, Элоиза стала рассматривать стены. В ребристом коридоре колыхались растения, вытягивались и втягивались реснички, цепляя ее за короткое белое платье, стараясь вытолкнуть. Стучали ей по коленям.

— Назад! Поверни назад! Инородное тело! — визжали они, но она с новообретенной Волей смело шагала вперед, и пол выгибался под ней, но она все равно скользила по слизистой до развилки. Сойдет и левое ответвление, решила Элоиза. Вперед, только вперед. В проходы все меньше и меньше, где она остановилась и порылась в сумочке. О! Сумочки! Какая же с ними морока — никогда не найдешь в них, что нужно. Бумажки, флакончики, ножницы, зеркальца, письма, косметички, маникюрные наборы. Она нашла пилку для ногтей и пудреницу. Затем, как и многие борцы за свободу до нее, начала свою борьбу с того, что писала на стенах. Она царапала пилкой слова:

«Я ХОЧУ БЫТЬ СВОБОДНОЙ. Я ХОЧУ ТУДА, ГДЕ ЕСТЬ ТАКИЕ, КАК Я».

У ее ног клокотала слизь, по стенам сбегала кровь, и тогда она раскрыла пудреницу и рассеяла в воздухе порошок: тот потянуло в одну сторону, задуло в другую. Сомкнулись стены, последовали гул несущегося ветра и могучий взрыв.

.....

Врачи уже допили виски, уже пришли к предварительному решению о пациентке. Один врач передал листок Матроне, та приготовилась выносить вердикт.

И вдруг Элоиза закашлялась мучительным, оглушительным, гулким кашлем. Между губ брызнула триумфальная арка мокроты и крови, а за ней вырвалось облако мелкого порошка. Она снова закашлялась, вцепившись в горло, и ее подбородок окрасила струйка крови. С бледной кожи лился пот, она дрожала, как от жара.

В зале настала короткая и глубокая тишина, затем поднялся оглушительный шум со скрежетом, криками, звуком бьющегося стекла, торопливым шарканьем. Лопнул и протек на розовый пол калоприемник, его содержимое растоптали и разнесли подагрические ноги. Распахнулись огромные двери, и внутрь хлынули Голодающие и Врожденные. Они увидели кровь на коротком белом платье и пришли в ярость, загорелись,

ломали и метались, размахивали своими кожей да костями. Костыли отлично мозжили черепа, катились по полу стеклянные глаза и ломали ноги и бедра, нутромеры дробили кальцифицированные зубы, а слуховой аппарат ловко и наверняка звучно душил того, кто и так скоро бы умер от цирроза печени.

Элоиза вдруг впала в панику; похоже, вид ее самопроизвольного недуга не помог влиться в обычное общество, как она надеялась. В чем она просчиталась? Страшно тянуло откашляться, но она все-таки во всю глотку закричала:

— Кто-нибудь, отключите силовое поле на вашем чертовом кресле!

На нетвердых ногах приплелся невролог с маковой головой и сдвинул спасительный рычаг, и она вскочила, чтобы бежать, но он перекрыл ей путь с ухмылкой — гротескно красивый и очевидно разгневанный.

— Ты предала себя! — проныл он, обиженно обнажив нижние зубы.

— Не понимаю, о чем вы! Я в смертельной опасности, вы что, не видите?

— Но, послушайте…

Она не слушала — только видела, как близится его лицо для искреннего разговора; с силой

вскинула ногу, врезав ему между ног, и он пал, словно пшеница под серпом. Задыхаясь, выворачиваясь наизнанку, она пробежала через сцену и оказалась в маленькой кладовке в конце коридора. Слишком поздно она поняла, что бежать надо было к надписи «Выход» в конце Театра. Здесь стояли шкафы, заставленные лекарствами, химикатами, цилиндрами и ватой; она слепо шарилась в них, закрывая уши от себя самой. Теперь от нее требовался большой поступок — какой-то ошеломительный, очищающий финальный акт!

Капсулы цианистого калия.

О! что за прекрасная голубая склянка, что за чудное украшение в виде черепа с костями! Элоиза прижала к себе тяжелую банку, как ребенка, вышла из кладовой и скоро нашла лестницу, как и надеялась, — ведущую на галерею в колосниках. Оттуда ей открылся славный вид и на сцену, и на зал. Неразбериха, беспорядок, запахи — внизу все было совершенно отвратительным.

Она вытряхнула маленькие стеклянные шарики, чтобы те с шорохом посыпались вниз, бросила заодно и банку и побежала так быстро, как только позволяли перетруженные легкие, зажимая платьем нос и рот, пока наконец не нашла выход на чистый свежий воздух и не захлопнула дверь

за собой. Последнее, что она слышала изнутри, — это вопли массовой смерти и обвинения, что она в сговоре с Ананиасом Макаллистером.

— Суеверие! Скверна! Заговорщики! — хрипло возразила она на бегу. Как же вечер отличался от утра. Начинался день чинно и золочено; вечер опускался торжественно и ало.

Она миновала запустелый гравийный пустырь, вышла на открытые поля и прилегла отдохнуть; все тело изнывало от боли, и дискомфорт было еще труднее переносить из-за его полной новизны. Она прислушивалась к собственным спутанным мыслям о том, что, быть может, перестаралась, послала слишком серьезное сообщение, и гадала, как быть дальше, куда податься; думала о том, что спасать мать и скрываться бесполезно. Мать все равно скоро умрет, и разве она не поставила все на свободу? Кто-то приблизился и шлепнулся на траву рядом, повергнув ее в ужас и в приступ кашля. Это оказался невролог Маковая Голова.

— Но ты же был…

— Нет. После твоего удара я встал и немедленно ушел. Я так и думал, что ты сделаешь что-то страшное, предвидел.

Она слишком вымоталась, чтобы двигаться,

так что откинулась на спину в слезах и мольбах, жалобно объясняясь.

Не слушая, что она лепечет, он произнес:

— Ты, конечно, понимаешь, что тебе бы никто не причинил вреда, если бы ты просто сохраняла спокойствие и ждала?

— Нет-нет, меня бы убили…

— Вовсе нет. Мы решили сделать из тебя для них живой фетиш, мы бы проследили, чтобы тебе не причинили вреда. Так и они бы остались довольны, и ты была бы у нас под рукой. Мы решили, что не ты виновата в своем проклятом здоровье, а твоя мать.

Выпадала роса, становилось влажно и зябко.

— И что мне теперь делать? Мне здесь так одиноко, мне здесь нет места.

— Наверное, ты чувствуешь себя особенной. — Маковая Голова поднялся с земли, с сомнением ощупывая намокший зад.

— Но я, я, я же другая…

Он молча отвернулся, ясно давая понять, что не видел в этом оправдания тому, на что она оказалась способна: предательство самой себя, массовое убийство.

— Но они так отвратительны, — пробормотала она, зная теперь, что никакие ее слова не имеют

значения.

Той ночью она спала на холодной земле, и ее тревожили кашель, рвота и сны, которые она забыла, стоило открыть глаза на рассвете. Все тело ломило от новых ощущений — по всей видимости, пневмонии. Она прижалась горячим лбом к холодным травам и убивала время, глядя, как под восходящим солнцем распускается мак. Она не срывала его, а только наблюдала.

— Я просто хотела быть свободной. Я никому не хотела зла.

Ее слова унеслись на ветрах Пергамона.

Послесловие

1: Четыре пятых человеческой натуры скрыто. Пора узнать, что поддерживает нас на плаву, а что затягивает на глубину.

2: *All you need is Love.*

3: Великие идеологии — это массовый психоз. Уйти от истинного «Я» — значит навлечь катастрофу.

4: Во-первых, должна сказать, для меня почти невозможно писать о моем писательстве: мне кажется, если рассказ еще нужно объяснять, то он не удался. Но. Этот рассказ — из тех, в которые пришлось проникать снаружи внутрь. Все началось с названия — однажды утром я поймала себя на том, что произнесла его вслух, без причины. Потом в мыслях всплывали эпизоды, и записывались — я только знала, что какая-то история есть, но не какая или о чем. Я вычленяла из мыслей то, в чем чувствовала части рисунка «Элоизы», а набрав достаточно, переписывала, урезала, расширяла, на время откладывала, потом переписывала опять. Так рассказ отделился в подсознательном от своего происхождения и стал уже предметом литературного дискурса. В

конце концов он стал собой благодаря проницательным советам редактора, который смыслит в рассказах. Только теперь я могу сказать, что писала о борьбе за личную свободу, с моралью в духе «*что угодно*, полученное за счет вреда другим людям, недостойно». На одном уровне Элоиза — о нацистском идеале сверхчеловека и о том, как этот эксперимент не удался из-за того, что политику перепутали со средствами освобождения, чем политика быть не может. А еще о принятии своего «Я» и об опасностях как эгоцентричности, так и отождествления с любой группой людей. Но если я бы хотела сказать только это, я бы, пожалуй, так и написала. Ведь всегда есть еще что-то, что — лично я — не могу высказать никак иначе, кроме как в тексте в том виде, в каком он получается. Образы — это не только символы чего-то другого, это просто символы. Что приводит этот рассказ ближе к живописи, чем к литературе. Учитель-суфий очень хорошо выразил то, к чему я всегда стремлюсь в таких работах:

«Некоторые истории… представляют собой просто волшебные сказки; другие описывают действительные события, но есть и весьма необычные истории, называемые суфиями „иллюстративными историями“: в них описываются

серии эпизодов, чье значение связано с психологическими процессами»[132].

Если в рассказе вроде «Элоизы» и стоит что-то знать, оно, скорее всего, проникнет в разум читателя без осознания или интеллектуального анализа.

[132] Примечания: 132

Идрис Шах, «Сказки дервишей», *пер*. Аранова Ю. Д. Издательство «Постум», 2016. Серия «Путь суфия».

Предисловие «Чак Берри, пожалуйста, вернись домой»



Для всех обывателей, отстающих от американской музыки, Чак Берри — это один из основоположников, который в конце 1950-х установил тон и размер для языка ритм-энд-блюза. Можно уверенно говорить, что никто из выступающих сейчас — включая The Beatles, The Rolling Stones и всех, кто там появится на следующей неделе,– не пришел к своему звучанию без помощи Чака Берри. Его коньком был (и *до сих пор* остается, но что важно — *был*) блюз, и его помещение в один ряд с Би Би Кингом, Отисом Реддингом, Бигом Мил-

лером, Мадди Уотерсом и Лайтнин Хопкинсом не должно вызывать ничего, кроме одобрительных кивков от знатоков Великих. Но больше всего шуму наделали его бодрые композиции. «Maybellene», «Johnny B. Goode», «Memphis», «Roll Over Beethoven», «Reelin' and Rockin'» и «Sweet Little Sixteen» создали звучание Берри, из-за чего в 1955–58-м он стал главным именем в ритм-энд-блюзе. Берри и по сей день приятно слушать. Не только я так думаю: когда The Stones едут в тур и берут с собой в дорогу музыку, с ними едут все записи Чака Берри.

А раз послушав Чака Берри, уже невозможно уважать Бобби Шермана[133]. К рациону из фасоли и риса жвачку не прибавишь.

Но я отвлекаюсь.

Чак Берри из рассказа — не родственник Чака Берри, мастера усиленной гитары. Но второй вдохновил первого так, как могло прийти в голову только безумцу. И здесь мы с растущей ноткой истерики в голосе переходим к Кену Маккалоу.

Кена Маккалоу я нашел в Колорадском университете в 1969-м. Поэт, тунеядец, эстет, музыковед,

---

[133] Примечания: 133

Бобби Шерман (1943–2025) — музыкант, актер, подростковый кумир конца шестидесятых — начала семидесятых. Среди самых известных его композиций — «Little Woman» (1969).

писатель, безумец. Он пришел на мой курс, и я совершил ошибку — процитировал Германа Мелвилла: «Ни один великий и долговечный труд не может быть написан о блохе, хотя немало было на свете людей, которые пытались это сделать»[134].

Безумец вернулся к себе в комнату и решил меня опровергнуть. Что ж, Чак Берри — не блоха, но почти. Герман мог и ошибаться.

Маккалоу, этот безумец, кажется мне кандидатом в звезды. Если он вправит себе мозги. У него есть чутье на литературу, обрамленную строгостью поэзии — причем хорошей поэзии, мускулистой. Он умеет завернуть фразу, а его разум с немалыми стилем и изяществом скитается по метафорическим проселкам. То, как он обращается с прозой, напоминает мне о великой цитате из невыдающегося и пугающе напыщенного эссе Грэма Грина о творчестве Филдинга и Стерна: «…проза используется в литературе так же, как ею пользовались Уэбстер и другие драматурги яковианской эпохи: как среда для поэзии равных достоинства и силы — поэзии с ритмом разговорной речи».

Поскольку это первая многотиражная публи-

---

[134] Примечания: 134
«Моби Дик», *пер.* И. Бернштейн.

кация Маккалоу, подозреваю, с моей стороны преждевременно резвиться на полях дифирамбов, провозглашая его изумительность. Лучше я сделаю шаг назад и позволю вам услышать голос самого Маккалоу: сначала в качестве автобиографа, затем — автора ловких и одержимых произведений. Лишь добавлю, что если вам придется по вкусу эта первая проба его творчества и если вы каким-то образом раздобудете выпуск *The Iowa Review* от зимы 1971-го, то в нем вашего внимания ждет прелесть под названием «Его Одиночество победитель» (*His Loneliness, the Winner*). Но до тех пор — или пока Маккалоу не избавится от своих бестолковых мечтаний о голливудских сценариях и перейдет к тому, что ему удается фантастически хорошо, то есть писать безумные штуки пером поэта, — вот его полные био и библио, а также создание по имени Чак Берри.

«Родился в Статен-Айленде, Н.-Й., 18 июля 1943 года, 9:38, первый из пяти у отца-марафонщика из Дермы, штат Миссисипи, и матери-канадки из долгой родословной старожилов. Отец в мои формирующие годы служил в ВВС, поэтому часто путешествовал по разным грязным захолустьям — и лучшим был Ньюфаундленд, где мы прове-

ли шесть лет: червивый фолк, алкашня ссыт на твой трехколесный велосипед, португальский флот, айсберги, конные катафалки на похоронах, школьные блейзеры и школьные галстуки, ежемесячный бесплатный флакон трескового жира в подарок от губернатора. С того острова в прошлом мы вернулись в США, где ждали телевидение, которого нам так не хватало, и Элвис в расцвете сил. Я пошел получать образование в частную среднюю школу (Сент-Эндрюс). В предыдущий год я прошел подростковый отряд спасения — стал южным баптистом. А Сент-Эндрюс — это епископальная школа. После первой истерики я смог сплавить два этих религиозных стиля в своем крошечном мозгу самым лучшим образом (?). В Сент-Эндрюс я считался „чернью“ и на каникулах выпрашивал у отца ярлыки с его костюмов, чтобы пришивать к своим тряпкам „Роберт Холл“. Моим единственным способом оставить свой след в этой сказочной сцене в стиле Фрэнка Мерривелла[135] был спорт, поскольку ученый из меня никакой. Я стал капитаном команд по американскому футболу и бейсболу. Пик моей карьеры в

[135] Примечания: 135

Персонаж популярных спортивных произведений для мальчиков на тему школы (романы, комиксы, радиосериал и т. д.). Впервые появился в романе 1896 года.

частной школе (кроме поражения на матче без единого хита) настал, когда мне порвали почку в футбольной схватке после нашего второго матча в год моего капитанства, и я писал с больничной койки письмо команде в духе „Выиграйте ради калеки“. Помогло, и эти сукины дети, вдохновившись моим отсутствием, провели прекрасный сезон. Впрочем, чемпионами так и не стали, потому что тренер не поставил меня бить по мячу (запрет врача). Я готовился бежать ради победного тачдауна вместо того, чтобы бить. Еще я показал себя в театре — получил драматическую премию за исполнение самого разгневанного в „Двенадцати разгневанных мужчинах“, — а также псевдоблюстителем приличий — во время бейсбольного сезона врезал за курение нашему лучшему подающему. Еще я был руководителем студенческого церковного совета. Не поймите меня неправильно — я был остряк до мозга костей. А, еще я получил премию как лучший игрок в бейсболе и премию Вонючки. Мой рост снизился на сантиметр, и я стал астматиком.

С новой красной строки. Я поступил в Делавэрский университет — сей оплот постепенной лоботомии, — где еще больше отбивал себе мозги на футболе и бейсболе (однажды на первом курсе

врезался лоб в лоб с Флойдом Литтлом в матче с „Бордентаун Френдс“), часто играл в драматических постановках, моя любимая роль — Дилан Томас; наслаждался опосредованной дурной славой и ждал такого же конца. А, и летом все те годы (кроме одного, когда я работал заведующим развлекательной программы в курортном отеле в Лейк-Джордже, Н.-Й., — великолепная эротическая фантазия, от которой я так и не оправился) работал на стройке и полупрофессионально играл в футбол. Скауты из высшей лиги всегда говорили, что я низковат, несмотря на то, что я вывел из игры страйк-аутом 17 бэттеров в первом матче из двух, а во втором набрал пять хитов. В Делавэре я усугубил свою бессмысленную дилемму тем, что взял основным курсом подготовку к медшколе, а также рисовал для школьной газеты невинные карикатуры, за которые меня каждую неделю вызывали на ковер к декану. Но на медкурсе у меня, как у человека, который боится цифр настолько, что его пугают автомобильные номера, возникли некоторые трудности. Скажу без скромности, что искренне сожалею и чистосердечно раскаиваюсь из-за каждого часа, что просидел в провонявших химлабораториях с прыщавыми ботаниками. Формальдегид и бута-

новая кислота не пошли на пользу моей астме, так что я навечно освобожден от армии.

В последние два года учебы, думаю, был алкоголиком, выпивал по литровой бутылке бурбона „Каунти Фэйр“ в день. Мой двадцать первый день рождения, о котором я знаю только из вторых рук, потому что не помню из той эскапады ничего, вошел в легенды мажоров округа Колумбия, по которому я пронесся, как Шерман на своих гастролях в Джорджии. К слову о мажорах: благодаря частной школе я смог стать своим среди них, оставаясь и вне них, в реальности; это как одновременно быть гражданином Рима и христианином. Я напивался и плясал кадриль, пока будущие работники „Дюпона“ беседовали о Ф. Скотте и хорошей жизни. Так я стал интроспективным, меланхоличным, мизантропичным.

После отстранения от учебы на семестр за кражу книжки из библиотеки (какая-то фигня от Кьеркегора, которую я так и не прочитал) и удивительного периода соцработы я в припадке добропорядочности вернулся в колледж и получил степень бакалавра, потому что чем там еще заняться? В последнем семестре попробовал руку и ногу в поэзии и получил премию Академии американских поэтов, после чего с денежным

призом расправились мои кредиторы. Зная, что в медшколе я продержусь не дольше недели, я спросил: и что теперь? Айова, ответили мне. И в Айове я жил в пещере, простеленной мешковиной, за 4 доллара в месяц, на утесе над рекой Айова, без трубопровода и вообще текущей воды (не считая моей собственной, с заднего крыльца), а вместо отопления было „Теплое Утро №530“. После двух лет более-менее спокойной жизни в лесу моя меланхолия закалилась буколией. Я стал магистром изящных искусств по поэзии, научившись ровным счетом ничему. Какое-то время работал на стройке, как мне свойственно, и уже примерялся к Дальнему Востоку (поездка в стиле Лорда Джима[136]), получив Z-карточку для торгового флота, когда встретился с леди Кэтрин, Поэтессой. Она сказала остаться, и я остался. Это было два года назад. Рядом с Хэрроу. С тех пор я овощ, но быстро реабилитируюсь. В настоящий момент проживаю в Бозмане, штат Монтана, с леди К. и сыном Голуэем Джанго Ари Камалем Кришной; поэт-резидент в Университете штата Монтана, ненавижу здесь (почти) каждую минуту, тоскую по хорошей жизни дикой

[136] Примечания: 136
Персонаж одноименного романа Джозефа Конрада.

безответственности. О будущем: пробовал себя в режиссуре, но после двух блестящих, хотя и неоконченных попыток испустил дух, осознав, что моя амбиция — это не снимать кино, а сниматься в нем, стать звездой в спагетти-вестернах. Мой персонаж будет гибридом паладина, Питера Селлерса и Лона-младшего[137] — все в одном низкорослом „Стоге сена“ Калхуне[138]. Если не получится, придется, видимо, писать. Но блин, Алан Лэдд вон тоже невысокий.

Публиковал стихи в тридцати пяти журналах и антологиях разного статуса, мой первый сборник стихов под названием „Легкая авария“ (*The Easy Wreckage*) вышел в апреле 71-го. Иллюстрировал книгу Гэри Снайдера „Три мира, три реальности, шесть дорог“ (*Three Worlds, Three Realms, Six Roads — Griffin Press, Marlboro, Vt.),* сейчас рисую для детища У. С. Мервина. Чуть не захлебнулся в утробных водах спекулятивной литературы, но, будучи по знаку зодиака Раком, развил от нее роковую зависимость.

---

[137] Примечания: 137

Имеется в виду Лон Чейни-младший, прославившийся по фильмам ужасов.

[138] Примечания: 138

Уильям Ди «Хейстекс» Калхун («Стог сена»; 1934–1989) — американский рестлер-великан.

Мое счастливое число — 38, левша, любимый цвет — зеленый. На лбу — заметный шрам после того, как меня приложили кирпичом линчеватели».

Публикации:

(Поэзия)

«Garden Song», The Defender (Iowa City), vol. 15, no. 2, p. 12, 10/4/68

«My Father: A Preface», The Defender, vol. 15, no. 10, p. 19, 12/16/68

«The Way It Was at Queen Jane Of Iowa's Wedding as Sung To The Tune Rendel Moulbauer's Codliverolive Phantalia», Ghost Dance (E. Lansing), vol. 1, no. 1, pp. 6–7, winter 1968

«Boot Camp Nocturne, Nineteen Sixty-Eight», TriQuarterly (Evanston), no. 15, pp. 175–176, Spring 1969

«Naughty Petey», Saltlick (Quincy, Ill.), vol. 1, no. 2, p. 7, 6/69

«Georgian Reception», Suction (Hayward, Calif.), vol. 1, no. 2, 10/69

«Langdon's Lament», «Custody», Doones (Bowling Green), vol. 1, no. 1, pp. 30–31, 10/69

«there are two of us where there is only one», New Voices in the Wind (Anthology), ed. Jeanne Hollyfield, Young Publications, Appalachia, Va., p. 255, 11/69

«March Letter to Chuna», Doones, vol. 1, no. 2, pp. 24–25, 1/70

«Opening Day», Trace (Hollywood), no. 71, p. 296, spring 1970

«My Brother's Garden», «A Winter Espousal», Red Clay Reader (Charlotte, N.c.), no. 7, p. 83, Spring 1970

«Confession in October», Jeopardy (Bellingham), vol. 6, p. 103, 4/70

«Derailment», South Florida Poetry Journal (Tampa), nos. 4/5, pp. 197–198, Spring 1970

«Sabbatical Syllabus», «In Orion's Chamber», «The Installment Plan», «In the Year of Steel Vegetation», Wisconsin Review (Oshkosh), vol. 5, no. 3, pp. 24–25, Fall 1970

«Estranged From», «Anti-elegy for Father and Son», «Over Small Beers», Quetzal (Abilene, Texas), vol. 1, no. 2, Spring 1970

«1968», Gum (Iowa City), vol. 1, no. 1, pp. 25–26, 3/70

«Blues Project», (Broadside), Seamark Press, Iowa City, 4/70

«Falling into Place», «Matins:: Iowa River», «For Baum, the Departed / in Red Moustache and Fedora», the Back Door (Poquoson, Va.), Vol. 1, no. 2, pp. 19–23, 7/70

«Last Will and Testament», I LOVE YOU ALL DAY/

IT IS THAT SIMPLE — Modern Poems on Love and Marriage (anthology), eds. Philip Dacey and Gerald Knoll, Abbey Press, St. Meinrad, Ind., p. III, 9/70

«A Sketch in Bird's Wing», Dance of the Muses (anthology), ed. Jeanne Hollyfield, Young Publications, Appalachia, Va., 11/70

«On a Scaffold North Bank/Stinking Water, Nebraska 1872», Hearse (Eureka, Calif.), no. 13, 12/70

«Old Skin Cantata», «The Installment Plan», (reprint), «In the Year of Steel Vegetation», (reprint), Bones (NY.C.), Spring 1971

«Boot Camp Nocturne», (reprint), «Falling into Place», (reprint), Apropos (Bozeman), 11/70

«Amish Summer», December (Western Springs, Ill), Spring 1971

The Easy Wreckage (collection), Illustrated by Donna Violetti, Seamark Press, Iowa City, 1/71

(Рассказы)

«Чак Берри, пожалуйста, вернись домой», «Новые опасные видения» (антология), *Doubleday, Ed. HarlanEllison*, 1972

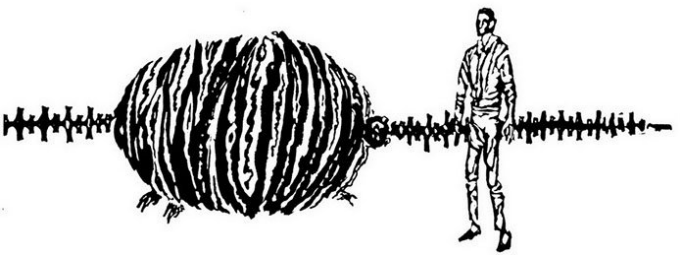
«His Loneliness, the Winner», The Iowa Review, vol. 2, no. 1, Spring 1971

«The Legend of Wick Higgins», Larger than Life (anthology), Scribner's, ed. Richard Gehman, Summer 1972

(Иллюстрации)

Three Worlds, Three Realms, Six Roads, набор стихов Гэри Снайдера, Griffin Press, Marlboro, Vt, Spring 1968

Чак Берри, пожалуйста, вернись домой
Кен Маккалоу



Июньское утро 5:00. Орфей шлепается прыгскок на кровать — я еще пьян, ссу в стиле Ли Бо в заднее окно на кормящиеся бычьи головы. Опоссум Нежная Кейт и ложный рассвет. Позади него — Морфей («Жирдяй») обляпался, жалобно вонюч и просто жирен. Все как обычно: Орфей — роскошный чувственный и тупой, Морфей — жирный и виноватый. Но, как говорится, «этот день изменил мою жизнь»: у Орфея на ухе сидел

большой серый клещ в два раза больше эмэндэмсины. Обычно я таких гадов выдавливаю и размазываю по полу, но теперь сдержался, понаблюдал. Клещ. Отвалился и пополз, как раз когда вернулась с ночной смены в отделении паралитиков Университетской больницы моя девушка Нэнси.

— Эй, Нано, что нам делать с ним, детка?

— Корми, придурок, а то *помрет!*

Если и бывают на свете карги, то это она. Зато умеет поднять меня с жопы. Я выпустился из школы и был в бегах, пока меня не подобрала она, чтоб вправить мозги. Устроила побирушкой и все такое. Спасиб, Нэн. Так вот, значится, клещ. Я уже сам опаздывал на работу. Сунул его в комплект для ремонта и рванул на своем «рэли» с десятью передачами. По дороге — мысль: «Лампочка! Жмур из серологии». Чуть не намотав на шину завкафедрой отоларингологии, врезался в велосипедную стоянку, подхватил свой ящик и рванул в лабораторию.

— Жмур… мне нужна кровь.

Жмур — два метра, пятьдесят кило, кожа цвета хаки и глазищи большие и злые, как устрицы. *Жмур* медленно тянется рукой, как робот, разворачивается с пробиркой, сует мне и как бы

подмигивает. Дальше что. Думаю: «Ему надо кожу, чтоб через нее, значится, эту хрень пить». А значит — в лабу моей прошлой телки, Большой Мардж. Перелить кровь в чашку для выпаривания, натянуть поверх хирургическую перчатку. Туго так. Клещ уже малец подусох — я уж думал, он готовится того. Туда. Но посадил его на свой резервуар. И сидел. Через десять минут смотрю — а он упивается, потихонечку, как кошка кормит. И вот уже разбух как раньше. «Вау, успех!» Посадил его в пустой аквариум в углу лаборатории и прям-таки полетел на работу. Как минимум до обеда ему там хватало.

Проведал на обеде. Ух! Больше и лучше. Позвонил домой, пока башка шалела от возможностей… насколько он мог бы разрастись, если *Жмур* не обделит… шоу Джонни Карсона, *Scientific American*… и заодно странные нехорошие фантастические проблески из «Они», «Начало конца», «Клещ, который высосал Бруклин», а завтра — весь мир!

Может, покажется странным, что меня такое прет, но для меня это обычное дело. Начал еще в частной школе. Сначала растил стадо пауков-скакунов — они однажды сбежали из биолаборатории. Чуешь на себе, тянешься, хлопаешь, а там уже никого. Все хлопали. Десять

штрафных баллов. Потом осы. С них так угорали в моем мужском интернате, что, когда остальные чуваки увидели, как я выгуливаю осу на нитке, обвязанной у нее на талии, это вошло в моду. Люди кивали друг другу в коридоре, пока их за собой тянули осы на поводках. Осы на привязи у настольных ламп в комнатах. После пары происшествий школьная медсестра стукнула на меня директору Кретину. Опять штрафные баллы. Зато в колледже я оказался в гордом одиночестве. Проживал один в общаге, где и работал, и наконец успешно поменял местами две левые задние лапки у двух мышей, причем лапки прижились — по крайней мере, у одной. Так что я знал, что делаю; что меня ожидало.

Через несколько дней простого наблюдения за жукаброй проведал его в медлаборатории и обнаружил, что подозрения подтверждаются: судя по окраске, ему оставалось всего три месяца, пока он не крякнется от старости, и бесконечно он расти не мог — либо лопнет, либо откинется от какого-нибудь своего инфаркта. У клещей — так называемые хитиновые экзоскелеты: костей внутри нет, только панцирь, как, например, у крабов. Закон гласит, что у животного с экзоскелетом поверхность не может превышать куб его

объема. И этот клещ — *Dermacentor reticulates*, самец, я назвал его Чак Берри, — мог дорасти до размеров собачонки, но в таком состоянии уже не мог бы перемещаться. Как «Стог Сена» Калхун в третьей степени, с пеной на гипостоме.

Мы с Нано начали чаще засиживаться дома, а собак держать на улице. *Жмур* поставлял кровь. Тихие домашние вечера — я доставал логарифмическую линейку и вычислял дозу того, чем мы с Нано закидывались или кололись, и делились с Чаком Берри. Реально странный был трип, улавливать эмоции такой зверюги, работенка для Чарли Гордона, но он все-таки был свой, поэтому мы включались и наслаждались.

Где-то через месяц дошло до того, что между нами с Чакушкой образовалась реальная связь. Мы сажали его — уже размером с игольницу, — на стул между нами, и ощущение у нас под затылками распространялось, превращалось в прозрачную родовую сорочку, охватывающую головы, руки, груди… пальцы чуть касались, зависнув над зверюгой, и словно что-то парализовало наши локти, запястья, суставы фаланг, глаза, — тут его тело начинало дрожать — мы плыли, плыли, — что-то из него: чувствовали, как его что-то покидает, — чувствовали, как оно

просачивается через швы наших черепов, — вплетается в жижу наших мозгов, выгибает наши тела на полу. Что-то гнетущее, но потом меня покидало зрение, и я только чувствовал, как мое тело кружится по спирали вверх, через облака шерстяного света. И это нечто все еще выходило из него, но теперь шелестело обратно… и выходило вновь: систола — диастола — систола…

Страха не было. Я чувствовал связь. И тогда я встал со свечой, глядя на тени своего лица в зеркале, хмельной, щурился и силился — внутри самих глаз, за глазами — изменить лицо в какого-то вопящего чудовищного волка, и пришлось заставить себя остановиться, потому что почти получилось, потому что это уже началось и происходило.

Тут мои внутренние слуховые косточки застучали на ветру, что прорезался как из ниоткуда. Воздух наполнился запахами, тяжелыми болотными запахами, совершенно необъяснимыми огромными тенями. Я взлохматил зрение, но он коснулся моей ладони, вызывая звон по всему моему организму. Так и продолжалось: прилив и отлив — тени деревьев — озера кипящей жижи — громовые раскаты и вой — зыбь земли — дождь — мурашки — какофония крыльев во

вспышке молнии — клювы раскалывали глаза — и все это происходило на самом деле. Плавал в зудящих волнах лавы, и моя собственная кожа разрасталась, разрасталась, и я произносил слова, которых никогда не слышал раньше. Никаких игр в гляделки. Никаких касаний. Это было как болтать с кем-то или чем-то, что существует со времен, когда птицы в небе были размером с DC-3, и в те времена он что-то знал своим как бы «мозгом» и каким-то образом передавал нам. С Чаком Берри мы нашли что-то… доцивилизованное — что можно было принести миру, чтобы исправить хоть частичку из уродливой механистической херни. Больше никакая не брехня — не проповедники учителя индейские вожди — а просто чуваки сидят и вибрируют с закрытыми глазами. И как же круто было просто затусить с таким духовным типом, как Чак Берри. Конечно, ему понадобятся телохранители и личный ветеринар. Учредим фонд в его поддержку — да ну на хрен — целую клинику по подписке, а он будет сидеть там на центральной арене. Блин! Да это будет *Новой Религией* — наконец-таки мир затихнет. А командовать будем мы — ну или так мы надеялись. (Следы раздутых белых тел в канавах — выпускайте 60-футовых гончих, зовите людей-

птиц с их напалмом.) Но, черт, когда влезаешь в такой замес, приходится рисковать тем, что тебя уничтожит дело твоих рук.

Проблемы: *Жмур* решил устроиться в госпиталь ветеранов в Тускалузе, Алабама. Вот обломище! Вдобавок я понял, что, пока грувил с Чакушкой, совсем забыл: ему оставался месяц с гаком до капца. Надо было скрестить нашего жеребца с чем-нибудь покрупнее и наращивать размеры дальше. Нано, ты титанка планирования! Она входит со *Жмуром* и говорит:

— На фиг, чувак… я все рассказала *Жмуру*, и все равно нам нужен отпуск!

Жмур плывет к Чакушке.

— Собирай бабки, едем на юг.

Так мы и сделали. Все вчетвером (Орф и Морф остались у домовладельца). *Жмур* с его почерневшими глазными яблоками упивался присутствием Чака Берри.

У моего дядьки Клифтона был дом в Миссисипи, к северу от Вардамана, миль 50 от Тускалузы. Он впал в маразм — табак стекал из уголков рта, его пес Твистер таскал ему газету, которую он не мог или просто не собирался раскрывать. Отчекрыжить себе уголок в конце участка было раз плюнуть. А главным уловом — вот о чем надо

было сообразить с самого начала, — стала свора больших красивых гончих дядьки К, обросших клещами.

Каждые три дня я гонял в Тускалузу, и *Жмур* выдавал кровь и новые перчатки. Сам он приезжал по выходным — всегда привозил мешок новинок из аптеки, чтоб наш Чакушка был жирненький и счастливый. Чувак рассаживался, положив указательный палец на спинку Чаку, и кивал. *Жмур* крепко сидел на герыче. Ну, однажды он берет и говорит единственное, что я от него помню. Смотрит на меня, кивает одним глазом и заявляет: «Как радужная киска вместо гроба». Все кайфовали.

Но я никак не мог найти для Чакушки пару — покрупнее, или чтоб его мало-мальски заинтересовала,– и обходил гончих дважды в день, собирая урожай. Весна — самый сезон течки, и Чак выглядел вполне себе готовым в бой, но давил все, на что взбирался. У нас еще имелся запас в десять первосортных клещесучек, которых мы для него откармливали, но время было на исходе. А потом этот мразотный говноедный тощий жидкомозглый *Жмур* взял и все запорол.

Однажды в субботу, под закат, мы с Нэн вернулись с ярмарки округа — а они сидят в спальне,

как Дракула и его гейская невеста; вонючий Чакушка, распухший до размера серого расплющенного арбуза, припал пастью к руке *Жмура*. Тут я и понял, что ему крышка. Пнул эту падлу *Жмура* по башке.

Чак Берри скончался часа через два. Жил бы дальше, но его прикончила гнилая кровь из вен *Жмура*. Я перенес его и остальной десяток к погребальному костру, который накидал где-то в миле от дома, облил всех бензином, налил бензина тропинкой, поджег и свалил подальше, пока не начались взрывы. В это я углубляться не буду. Блин, вернувшись домой, я себе чуть глаза не выплакал. Да — из-за клеща.

Мы задержались еще на недельку, в унынии. Я просто глазел на коров, слушал звуки, думал, какое все вокруг жидкое, да происходит ли хоть что-то на самом деле. Но после Чака Берри я во всем замечал глубину. И Нано тоже. Слышал от кого-то — уже не помню, от кого,– что *Жмура* закрыли. Он ничего не делал, просто сидел и ржал низким сиплым смехом. До конца жизни больше не произнес ни слова.

Кажется, это Мелвилл где-то сказанул, что никто не напишет достойный рассказ о блохе. Ну, клещ ненамного лучше блохи, и я знаю, что ни-

кто в этот рассказ не поверит, но иногда все-таки рассказываешь людям и не такое, потому что — ну, а какого хрена еще делать?

Послесловие

Это мой первый дописанный рассказ. Сделал его в один присест, но никогда бы не написал ни слова, если бы меня не растормошило произведение Харлана Эллисона «Мальчик и его пес». Слава богам за такие рассказы — рассказы *vs* все то, что с надутыми губками и кукурузными початками в жопе называют «литиратурой». Если бы больше людей рискнули выползти из своего уютного литературного болотца, как сделали Эллисон и Уильям Прайс Фокс, и просто рассказали историю как есть, им самим же было бы проще писать то, что они считают высоким искусством (искусственностью?).

Для этого конкретного рассказа не задумывались мораль или посыл — если они и найдутся, то случайно. Рассказ вырос из байки, которую я рассказываю людям, когда вижу, что они поведутся. Оказывается, многие верят — так же, как верят сказкам у костра, — так почему бы не попробовать то же самое в печати? Обмануть с помощью байки, «подавить недоверие» возможно, если вплетать в фантазию ошметки фактов. Как-то раз я слышал от Гора Видала, что обычно успешного

романиста можно узнать уже в детстве — он патологический лжец. Если вы хороший рассказчик, хороший автор фантастики или фэнтези, хороший поэт или романист, у вас сверхъестественный дар. Главное тут — зачаровать людей, а не метод, которым это делаешь. «ФОРМА — НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОДОЛЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ», — говорит Роберт Крили. Без истории тебе конец. А как только история появляется, она рассказывается за тебя, пополняясь такими деталями, о которых ты сам ни слухом ни духом. Древние греки звали это дело «музой».

Кстати, «Чак Берри» и правда основан на реальных событиях.

Предисловие «Откровение для чужих»



Хоть ваш редактор встречал девяносто процентов авторов, включенных в эту книгу (и шестьдесят процентов из этих девяноста считает друзьями), есть здесь и те, кто прислал рассказ сам по себе и с кем редактор знаком только по переписке. Один из них — Дэвид Керр.

Но, хоть я не могу дать глубокие и содержательные комментарии на авторов, с которыми не знаком лично, я всегда стараюсь сказать что-нибудь глубокое и содержательное о рассказе авторов. Порой я упираюсь в тупик даже с *этим* подходом. Как однажды заметил Джордж Эрнсбергер (очень славный редактор), не о каждом

рассказе можно что-то сказать, особенно о лучших. Думаю, это относится и к «Откровению для чужих», Достаточно отметить, что из всех рассказов, которые я прочитал для «НОВ» и «Последних опасных видений», как принятых, так и нет, этот тронул меня сильнее всего. Мне эта история греет душу — что-то в ней так и разжигает сочувствие. Не могу объяснить словами и не стану пытаться. Просто упомяну здесь вскользь, чтобы воздать должное мистеру Керру, и буду ждать встречи с ним больше, чем с любым незнакомым автором.

По-моему, «Откровение для чужих» — это необычайно хорошее произведение.

И, как уже стало обычаем на этих страницах, вот заявление самого мистера Керра о своих заслугах и происхождении:

«Родился в Карлайле, Англия (неподалеку от шотландской границы), в 1942-м. Единственный сын автомобильного механика.

Учился в государственной системе до 11 лет, после чего меня перевели в римско-католическую семинарию — колледж Ушоу, графство Дарем: не такой устрашающий, как у Джойса, но не менее травматичный. В 18 лет я разочаровался в семинарии, бросил ее, а скоро и всю католическую церковь.

К тому времени я начал писать стихи, не часто, но увлеченно.

Учился английскому в Ньюкаслском университете и получил степень бакалавра. После выпуска путешествовал по Южной Европе — во Франции, Испании, Италии, Египте и Греции, — в основном выживая на гроши. Утолял там свой интерес к археологии и антиквариату. По возвращении в Англию какое-то время был разнорабочим, пока не стал учителем в Вест-Хэмском колледже дополнительного образования — техникум в Восточном Лондоне. Преподавал английский и свободные искусства.

Примерно в то же время начал публиковать стихи в маленьких журналах.

Стал помощником редактора в журнале об искусстве Восточного Лондона *Elam*, писал для него колонки, рецензии и стихи, помогал проводить в связи с ним местный арт-фестиваль. В 1968-м *Elam* выпустил в мягкой обложке сборник моих стихов под названием „Первопечатные“ (*Firstprint*).

В тот же период проводил чтения своих стихов в пабах и колледжах Лондона.

Последний год учился в аспирантуре по социологии и культурологии. В настоящий момент занимаю должность лектора английского языка

в Университете Малави в Восточной Африке».

Откровение для чужих
Дэвид Керр



В зябкой каменной лачуге Гавино угостил их домашним вином, и они пили и смотрели на горы, засушливые и ослепительные на солнце. Слушая, как Гавино бессвязно треплется о нападениях.

— У всех свои теории. Тот репортер зовет их бандитами. Вы вот слышали, чтобы бандиты воровали кур, когда вокруг столько туристов с толстыми кошельками и голой жопой? Прошу прощения, мэм. В Сен-Флоране думают, это медведи спускаются с гор. Полиция считает их

арабскими фанатиками из Порто-Веккьо.

— Я все еще думаю, что это итальяшки.

— Вы просто расистская свинья, — сказала Дениз, поддразнивая Пирона, как поддразнивала все утро.

— Профессор думает, что это люди. Но я-то знаю правду. Это привидения — привидения семейства Мурони, истребленного моим прадедом во времена Бонапарта. Они вышли из ада через пещеру в Монте-Роббиа, источая серную вонь…

В конце концов Моризо уговорил Гавино показать им, где можно найти те пещеры. Они сошлись на том, что прежде чем подходить, стоит понаблюдать с соседней горы.

Соскальзывая по крутым осыпям, пробираясь через пересохший Фьюуме-Центе — не ущелье, а целое озеро стоячего жара, — они уже поняли, что не стоило выступать среди бела дня. Горный проводник из Пирона оказался никакой, они опасались оползней. Моризо вспоминались туристы в Л'Иль-Русе, всего в 15 километрах от них, попивающие анисовку в прохладной тени.

Им не пришлось карабкаться на самый пик Монте-Женева. Уже с северо-восточного склона их глазам предстали следы человеческой жизни, которые они искали, но не надеялись найти.

На высоте в две трети горы, под крутым утесом вершины, в бинокль различались три черных отверстия — входы в пещеры. От них к Фьюме-Центе вела грубая тропинка, вторая вилась вокруг Монте-Роббиа, к пику. Единственным признаком жизни были завитки дыма от кострища.

Моризо и Дениз смахнули пот с глаз и разом заговорили между собой, как дети, взволнованно обмениваясь догадками.

— Одна или две пещеры могут служить складами или конюшней.

— Но, Пьер, нигде нет ни следа земледелия.

— И правда. Наверное, раньше они могли по большей части выживать рыбалкой, но в последние годы пришлось охотиться по ночам — из-за яхт и рыбацких лодок у побережья.

— Этим и объясняются нападения на фермы. Землю здесь невозможно возделывать, здесь растут разве что колючие груши да терн. Бедные создания наверняка голодают.

— Думаю, вон тот угловатый предмет справа от пещер — это что-то вроде водохранилища.

— Зимой Фьюме-Центе наверняка заполняется водой.

Пирон обратил внимание, что солнце заходит, и они прекратили разговоры и сделали перед

уходом несколько снимков. Когда они закончили, Пирон повел их обратно.

В тот вечер профессор Моризо выступил в провансальских новостях с небольшой речью:

— Если наши выводы об их рационе верны, у нас складывается картина очень примитивного, неразвитого, маленького сообщества охотников и собирателей. То, что они проживают в пещерах, не имеет особого значения. В Европе достаточно много крестьян по-прежнему живут в пещерах: в Испании, Португалии, Греции, на Сардинии и даже здесь, на Корсике. — (Подчеркнуть бедность просила Дениз — обращение к крестьянам.) — И все-таки это весьма странный феномен, особенно учитывая, как много туристов стягивается на близлежащие пляжи. Если племя находится на довольно примитивном уровне развития, это совпадает с показаниями очевидца Джузеппе Гавино — с оговоркой на его преувеличения. Но чего мы не сможем понять до встречи с племенем, так это его лингвистический и культурный уровень. Весьма вероятно, годы изоляции и близкородственного размножения оказали пагубное физиологическое и психологическое влияние на развитие филума…

Репортеры пытались взять у него интервью,

но он вместе с Дениз скрывался в гостиничном номере.

— Я получил разрешение на то, чтобы войска патрулировали дорогу от Сен-Флорана до Л'Иль-Русе и не подпускали репортеров для их полевой работы.

Дениз молчала; она боялась за невинных дикарей, на которых они вот-вот обрушатся.

— Останешься сегодня со мной? — спросил Моризо.

— Нет. Я пойду к себе. Сегодня у меня что-то настроение Электры. Такое ощущение, что я скукожусь и всосусь к тебе в яйца, чтобы все началось заново. Я буду слишком негативной.

— Слишком фригидной.

— Как угодно.

К пустыне они вышли еще затемно. Какое-то время шли под лунным светом, потом разбили лагерь в ожидании рассвета, прислушиваясь в тишине к сверчкам. Дениз думала о коренастых смуглых бизнесменах, что спят неподалеку на яхтах со своими прелесть какими глупыми любовницами-смуглянками. Задумалась о рабочих и их семьях в трейлерных парках, засоряющих побережье Корсики, — замороченных, обученных стремиться к богатствам и бессмысленным

удовольствиям. Вспомнила женщин-попрошаек в черном на мостовых Тегерана, которые кормили грудью детей и хватали за штанины прохожих. Почувствовала отвращение ко всему человечеству, что растет ядерным грибом демографически и технологически, тянется к луне, но при этом вырождается духовно, и ее накрыла волна нежности к тем несчастным созданиям, что выживали здесь в блаженном невежестве о диалектике разрушения вокруг. Потом Дениз рассмеялась вслух из-за собственной напыщенности и произнесла:

— Во всем виноват Декарт.

Моризо тоже рассмеялся:

— Не Руссо?

Он был с ней, но она все равно его презирала — своего интеллектуального папика.

Когда забрезжил рассвет, Пирон повел их к Монте-Роббиа.

Они услышали размеренное постукивание задолго до того, как что-либо увидели. Тут заволновался даже Пирон; по мере приближения к пещерам у них пересохло во рту, ноги стали ватными. Наконец они вскарабкались на откос — и провалились на пятьдесят тысяч лет в прошлое.

На самом солнцепеке в пустыне им вдруг стало

холодно и страшно.

Как и описывал Джузеппе Гавино, на земле расселся устрашающий волосатый зверечеловек, высекая каменный топор.

— Совершенно невероятно, — прошептал Моризо.

— Только посмотри на *foramen magnum*[139].

— Это должен быть он.

Это был неандерталец — в точности как манекены в Музее естественной истории Чикаго, только живой. Десяток раз всмотревшись в бинокли, они поняли, что это не миражи. Словно обезумевшая публика, ступающая сквозь экран в кино, они начали приближаться.

Неандерталец услышал и вскинул голову. Подскочил и бросился к центральной пещере, что-то протараторив. Выскочил другой дикарь, помоложе. Оба принялись с дикой силой и точностью швыряться камнями. Пирон, Моризо и Дениз укрылись за валуном.

Камень задел Пирона по колену, но сильно он не пострадал. Его пальцы нервно ощупывали кобуру.

— Мадам Блондель, — сказал он, — не смот-

---

[139] Примечания: 139
Большое затылочное отверстие (*лат.*).

рите. Он голый. Я должен его арестовать — это незаконно.

Залп камней прекратился. Дениз выглянула над валуном. Двое неандертальцев подошли ближе.

И, не предупреждая других, Дениз расстегнула рубашку, сняла лифчик и вышла из укрытия. Моризо велел ей вернуться. Она медленно поднималась по осыпи — спина прямая, глаза не отрывались от дикарей. Они не шелохнулись, позволив ей приблизиться. Она остановилась в ярде от старшего, и они смотрели друг на друга минуты две, без единого слова или жеста. Наконец дикарь поднял длинную сильную руку и на миг коснулся ее белой груди, затем опустил руку. Дениз вернулась к валуну. Застегнулась и сказала, чтобы Моризо и Пирон шли с ней к ущелью. Все трое медленно спустились, пребывая в ужасе.

— А как мне еще было ему доказать, что я млекопитающее? Их наверняка пугает наша одежда.

— Млекопитающее! Я бы тебе и обезьяну не доверил. Это слишком опасно. Надо дождаться, пока мы не соберем команду.

— Времени в обрез, Пьер. Пирон явно не умеет держать рот на замке. И рвется арестовать их за

непристойное поведение. Скоро сюда слетятся фотографы, врачи и бог еще знает кто. К тому же большая команда со всеми мелкими междисциплинарными распрями их только отпугнет. Ты же знаешь, я могу и сама войти в контакт. Это… существо мне доверяет.

— А я — нет.

— Полевая работа — моя сильная сторона. Вспомни Персию: «Табу и авторитет у племен реки Арахон». Ты говорил, блестящая работа.

— Насколько я помню, ты чуть не разожгла очередную курдскую войну.

— Мы должны узнать все. Что случилось с табу на инцест? Да Леви-Стросса удар хватит. Какой у них лингвистический уровень? Какая система социализации?

— Знаю-знаю. Имела ли место физиологическая эволюция? Правда ли царапины на осколке со стоянки Крапина говорят о каннибализме? Верна ли теория Леруа-Гурана о правах на погребение? Религия. Мифология. Все. Я с ума схожу от одной мысли.

— Ты должен разрешить мне попробовать.

— Хотел бы я знать, как поступить лучше.

Вечером Моризо дал речь по телевидению еще длиннее.

— То, что я, мадам Блондель и начальник полиции Пирон видели сегодня на Монте-Роббиа, имеет потрясающую важность для всего мира. Это изменит все знания и представления человека о себе. Я сам не могу уложить в голове все. Если наши наблюдения верны, эти создания идентичны неандертальцу — отдельному виду гомо сапиенс, который вымер сорок тысяч лет назад. Сорок тысяч лет! Во время последнего ледникового периода — Вюрмского оледенения, когда Сардиния и Корсика все еще соединялись с континентом. Их черепа находили по всей Европе — в Италии, Франции, Турции, Гибралтаре. И все-таки каким-то образом — мы еще не знаем, как, — это крошечное племя умудрилось выжить в пустыне Агриате — судя по всему, не эволюционируя. Подобные аномалии наблюдались в мире рептилий и рыб — но ни разу у млекопитающих, не говоря уже о приматах…

Между тем армия и флот вместе со срочной поддержкой Иностранного легиона окружили всю пустыню кордоном.

Новости расходились все дальше, и чартерные рейсы доставляли со всего мира биологов, зоологов, экологов, антропологов, социологов, психологов, журналистов и оптимистичных

вуайеристов.

В тот вечер Дениз отказалась разговаривать с Моризо. Он хотел, чтобы она позволила ее коснуться. Ее фанатичный взгляд удерживал его на расстоянии.

Что действительно было сном — гостиничный номер с кондиционером или пещера в пустыне?

Утренняя свежесть уже испарилась. Отряд майора Саважа выстроился на откосе напротив пещеры. Доктор Моризо, профессор зоологии Мармотье и другие интеллектуалы, удостоенные места в первом ряду, не отходили от войск и оглядывали гору в бинокли. Два оператора с французского телевидения ставили камеры на треножники, звукорежиссер возился с кассетным диктофоном.

Дениз настроила рацию и, не оглядываясь на Моризо или множество наблюдателей, двинулась к пещерам в одиночку. Ящерицы сверкали ей хвостами, о голые белые скалы билось вдребезги солнце. Она чувствовала себя нечеловечески, словно безумная жрица. Неандертальцы разорвали подбрюшье человеческого самодовольства — повелителя творения, сверхсущества, крушителя атомов: человек — не Бог. Эти существа — не просто тупик: зажатые здесь, они выжили на

рыбной ловле, краже кур и овец, инцесте, страстные подпольные люди, живая альтернатива гомо технологикусу.

По ее шее бежал пот, камни прорезались через резиновые подошвы, и она чувствовала себя виноватой в том, что она человек.

Моризо обреченно наблюдал за ней в бинокль. Раньше его страсть возносила ее в его маленьком театре моральных наставлений. Теперь она стала сама по себе. Стала отдельной, обожествленной его биноклем. Все кончено: она больше не нуждается в нем — псевдорадикальном, закрепощенном умнике.

Дениз нарушила радиомолчание с драматической силой:

— Возможно, сейчас я иду навстречу смерти, и я хочу, чтобы мир слышал мои мысли об открытии этого семейства, пока я пытаюсь войти с ними в контакт.

Это косматые и жестокие уроды. Я красива и умна. Они свободны. Я — рабыня цивилизации.

Контакт станет откровением в истории мира. Ангел и зверь станут едины.

Эти существа уже теряют свою свободу. Пустыня Агриате превратилась в зоопарк; сюда на представление слетаются репортеры, сумасшед-

шие, интеллектуалы, туристы. Через пару недель моих существ оденут ради приличия, осмотрят врачи, психиатры, лингвисты, сделают рентген, прививки, измерят их зубы и затылочные бугры. Они вымрут от скуки и непонимания. Они уже обречены. Подобно Кувьеру, тыкающему в зад готтентотской Венере и измеряющему ее малые половые губы, мы истребим неандерталоидов своим ненасытным любопытством. Как племена ямана, вымершие из-за английских болезней во время миссионерского пыла пуритан, мои создания станут рабами империализма современного прогресса, гигиены, просвещения, цивилизации и угнетения.

Чтобы загладить грехи человечества и вступить в символический контакт с жизнью, что мы отвергли, я позволю уродливому чудовищу, которое встретила вчера, трахнуть меня на глазах у всего мира. Да пребудут со мной боги тьмы.

— Какого черта она несет? — орал майор Саваж на Моризо. — Мы можем ее остановить? Она сошла с ума.

— Нет, оставьте ее. — Во рту Моризо пересохло от горечи. Он уже был здесь раньше — в каком-то кошмаре.

Дениз остановилась и выключила рацию. На

фоне тьмы пещеры стоял еще более темный силуэт. Тень выскочила вперед и встала перед ней в свете солнца. Это был неандерталец, коснувшийся ее вчера. Он неподвижно замер, скрежеща оголенными зубами.

Дениз аккуратно положила рацию на землю, разделась, стараясь не делать резких движений, завернула блузку в джинсы и положила на камень.

Моризо не мог видеть ее белую кожу, раскрытую утреннему солнцу. По нему градом катился пот. Он взял сигарету у Мармотье. Камеры бесстрастно жужжали.

Неандерталоид ожил. Настиг ее в три огромных кошачьих прыжка. Подхватил, перекинул через плечо, словно пожарный, и побежал по пологому склону к вершине Монте-Роббиа.

— Мы должны ее спасти! — наконец выпалил майор Саваж, отчасти смущенный.

— Нет, тогда он может ее убить, — ответил Моризо, не понимая собственных мотивов. Майор Саваж выругался и велел своим людям быть готовыми открыть огонь. Моризо и Мармотье умоляли майора не стрелять. Майор отказывался слушать.

Пыхтящий дикарь, пуская слюну, уложил Де-

низ на поверхность самого высокого камня — на плиту наподобие алтаря — и быстро и жестоко вошел в нее. Дениз, прижавшись спиной к твердой скале, вскрикнула от боли и экстаза.

Крик отдался над долиной. Моризо выронил бинокль на грудь и почувствовал, как по ноге тепло стекает невольная капля поноса.

Майор Саваж велел войскам целиться. Мармотье мямлил слабые возражения, не отрывая глаз от горы. Продолжали жужжать камеры.

Спустя секунды все было кончено, но ноги Дениз еще не отпускали неандерталоида. Он поднял ее за волосы, освободился от сцепленных ног и воздел над косматой головой, голую и бессознательную. Застыв так полминуты, он издал горловой вопль и швырнул ее с утеса на камни в двух сотнях футов ниже.

— Слава богу! — прошептал Моризо. Майор приказал войскам открыть огонь. Мармотье нечленораздельно протестовал. Выстрелы отдались тройным раскатом грома.

Неандерталоида на горной вершине резко развернуло, и он зрелищно рухнул вниз.

Операторы подкручивали зумы камер, а Моризо тихо тошнило.

Солдаты нашли у подножия двух покойников

и подняли к откосу. В отместку за оскорбление, нанесенное французским женщинам, майор велел открыть огонь из легких минометов по пещерам.

Когда развеялся дым, они вошли в пещеры и нашли всех неандерталоидов мертвыми (три взрослых самца, четыре самки и один ребенок-самка), не считая одного трехлетнего самца, раненного в живот и жмущегося к матери.

Его доставили на носилках к дороге, а оттуда на машине в больницу Аяччо.

Неотредактированную запись тем же вечером показали по телевидению из студии в Ницце, а спутник разнес картинку по всему миру. Далее следовала длинная передача с участием политиков, военных экспертов, психологов, друзей Дениз и ученых из множества дисциплин.

Фельдмаршал запретил майору Саважу участвовать в дискуссии. Профессор Мармотье подчеркивал ритуальный характер совокупления и сравнивал те четырнадцать-пятнадцать тазовых движений неандерталоида с повадками бабуина. Начальник полиции Пирон свидетельствовал о психической неустойчивости мадам Блондель. Психологи расплывчато гадали о ее мотиве. Моризо смог сказать лишь: «Жадная сучка — хотела

заполучить их только себе», — потом расплакался и выбежал из студии.

Позже тем же вечером объявили, что выживший мальчик скончался в больнице, а тела неандерталоидов — или то, что от них осталось, — заморозили и отправили самолетом во французский Музей человека на осмотр, препарирование и анализ.

Послесловие

«Откровение для чужих» входит в общую категорию сюжетов о славных, но разрушительных чудовищах. Этот жанр восходит как минимум к Франкенштейну, но на меня главное влияние оказали голливудские малобюджетные ужастики пятидесятых о монстрах (ну знаете, замороженный доисторический монстр пробуждается из-за испытаний атомной бомбы на Северном полюсе, несет возмездие надменности ученых, после чего, в финальной резне, капитулирует перед человеческой технологией).

У меня всегда было тайное подозрение, что в дарвиновской битве неандертальца и гомо сапиенса проиграл лучший. Мысль о выжившей группе неандертальцев — это удовлетворение моей личной фантазии, как у подростков, которые верили в бессмертие Джеймса Дина после аварии. Для меня неандерталец служит глубоким символом разрушения экологии планеты из-за человеческой технологии (ведь многие виды животных и в самом деле вымерли).

Действие происходит на средиземноморском курорте, потому что мне нравится ирония: откры-

тие доисторического неандертальца так близко к эрзац-примитивизму, возвращению к морю у отдыхающих.

Я выбрал местом действия современную Францию, потому что вопрос о положении человека в окружающей среде занимает важное место во французской политической и философской мысли. Руссо, пожалуй, не меньше Маркса повлиял на майское восстание 1968-го во Франции. Дениз Блондель, конечно же, участвовала в майских событиях, но открытие неандерталоидов позволяет ей лучше кристаллизовать свои чувства об аутсайдерах. Она абсурдно гиперкомпенсирует (до этого она довольствовалась неграми и индейцами). Излишне говорить, что ее идентификация с неандертальцами отчасти сексуальна — смутное «я» наконец-то воплотилось..

Спекулятивная литература привлекает меня, потому что в ней можно писать о моральных и философских вопросах и не показаться напыщенным. Но, на мой взгляд, спекулятивная литература — это и самый сложный формат; трудно показать фантастическую ситуацию, обойдясь без длинного и скучного описательного введения, чтобы объяснить ее читателю. Лично мне спекулятивная литература нравится своим

терапевтическим свойством; с ней я могу исследовать свои фантазии. В «Откровении для чужих» я исследовал своего внутреннего фашиста, самодовольного радикала, хлипкого либерала и неандерталоида. Подозреваю, что неандерталоид преобладает.

Предисловие «Глаза смотрящего»



Хотя я провел в обществе Барта Файлера не меньше двух недель, это один из самых загадочных людей, что я встречал. Мне известно, что он был женат на Энн. Известно, что теперь они расстались и, возможно, развелись, а последнее, что я о нем слышал,– он живет в Филадельфии. Кроме этого мне известно только то, что он вырос на севере штата Нью-Йорк, в 1961-м получил в Корнелле степень по машиностроению, является изобретателем — среди прочего изобрел новый вид мотора, трансмиссии и муфты,– а также публиковал спекулятивные произведения в таких журналах, как *If, Galaxy* и *The Magazine of Fantasy*

& Science Fiction. Его рассказ «Искусство отсекать лишнее» — один из лучших, что я читал, и должен был получить «Небьюлу» в 1968-м. (Кому интересно, он выходил в *F&SF* в июне того года.) (Вместе с отменным рассказом «Новый дом» [*Settle*] от Энн.)

«Глаза смотрящего» ставят острые вопросы о природе искусства и человеческого бытия, причем необычным способом для спекулятивной литературы.

Во многом рассказ такой же загадочный, как его автор.

Если слышишь, Барт, выйди на связь.

Глаза смотрящего
Барт К. Файлер



The New York Times, второй раздел, воскресенье, 3 июня, Одри Кис. — Сегодня в Музее Гуггенхайма открылась долгожданная выставка Питера Лукаса и, возможно, потрясла самые древние устои искусства, а именно: что красота — в глазах смотрящего.

Реакция на его творчество была удивительно единодушной, словно тем вечером в музее отсутствовал элемент субъективности. Мистеру

Лукасу свойственно очищать и сводить к сути свое творчество — и оспорить действенность его методов невозможно. Единодушная реакция на все произведения на выставке — зачарованное восхищение.

Из шести выставленных произведений больше всего запоминается его «Нереида». Это абстрактная женщина, несущая в себе звезду (см. иллюстрацию) и словно плывущая среди галактик. Жуткий эффект производит не только голограмма на основном этаже, но и произведенные по методу Болджера миниатюры, составляющие скульптуру-стабиль, выставленную на полуэтаже. Обычно процесс Болджера — то есть гальванизация непосредственно голограммы — создает ощущение тяжести, но только не у «Нереиды».

Ощущение легкости усиливает почти полное отсутствие опор или тросов у разрозненных элементов стабили. Кажется, будто массивные абстракции из никеля действительно ничего не весят. На вопрос об этой жутковатой легкости мистер Лукас только пожал плечами и ответил, что просто дал себе волю — и результат удивил его не меньше других.

* * *

SCIENTIFIC AMERICAN, июнь, книжная рецензия: «Нулевая гравитация, открытие и первые исследования», Кэтрин Д. Осборн, доктор философии. — Когда в прошлом году доктор Осборн сообщила о достижении частичной нулевой гравитации твердых объектов, научное сообщество раскололось на два лагеря. Номинации на Нобелевскую премию уравновешивались обвинениями в мошенничестве. Но как сторонники, так и скептики дожидались более полного отчета о ее работе.

Эта книга и есть тот отчет. Места для скепсиса уже нет. Она произвела в лабораторных условиях предметы с массой до двадцати килограммов, чей зарегистрированный вес — меньше восемнадцати килограммов.

Доктор Осборн сообщает о причинно-следственной связи между невесомостью и коэффициентом формы Стейнингера, но не приводит строгих обоснований. Остается только гадать, связано ли это с цензурой НАСА — организации, финансирующей проект, — либо с тем, что математического выражения просто-напросто не существует, а вся теория — лишь предположение.

В первых главах приводятся фотографии нескольких «испытательных объектов» — голограмм, произведенных по методу Болджера. С субъективной точки зрения все они отличаются редкостной красотой. Доктор Осборн и сама отмечает их сходство с современной скульптурой, но далее это не комментирует. Хотя для нечувствительных к гравитации предметов существует множество применений, все усилия доктора Осборн направлены исключительно на создание межзвездного двигателя…

* * *

Си Ди (по инициалам) Осборн не нравилось то, что образуется в резервуаре, и ее худое лицо этого не скрывало. Она была готова поклясться, что лазеры выжигают не там, куда она их направляла, и она по привычке бросила через плечо:

— Ось Z снова сбилась, Макс. Проверишь?

Но Макса там не было и быть не могло. По приказу Пола Стоунера теперь она работала одна. Типичный церэушный подход. Безопасность в ущерб эффективности. Она отключила резервуар и встала, чтобы перенастроить лазеры самой.

Она заползла под резервуар, но не нашла никаких неполадок и вылезла обратно. Си Ди не

славилась терпением и теперь теряла его с каждой минутой. Она сняла заднюю панель пульта. Кипела от злости полчаса, пока не нашла причину: перегоревший диод. Больше ее обеспокоило, что они *все* немного побурели. Она доводила оборудование до предела.

Вернув панель на место, она села обратно за пульт. Доводила до предела аппаратуру Болджера — и саму себя. Последние полгода были убийственными. Она похудела. Ей не нравился свой отощавший вид. Все считают, будто женщины-ученые обязательно отощавшие.

Она со вздохом ввела уравнение для сферы. Осветился резервуар на другом конце помещения, через тридцать секунд в тумане внутри него возник прозрачный голубой шар. Трехмерная когерентная световая интерферометрия.

Си Ди сверилась со своими заметками. Шар должен быть больше. Она ввела другую константу, и он вырос.

Затем череда щелчков по клавишам изогнула сферу в форме седла, цвета апельсиновой цедры внизу. Уже теплее. Си Ди склонилась над клавиатурой, задвинув очки на тонком прямом носу до переносицы. Уже теплее…

Она услышала шаги Пола Стоунера сзади —

узнала, не оглядываясь. Две причины: во-первых, только ему разрешалось входить в лабораторию — его собственное правило. И во-вторых, из-за астмы у него присвистывал нос.

— Си Ди, взгляни.

Теперь она оглянулась. Помятый мужчина средних лет протягивал ей помятый сверток среднего размера.

— Хорошо, — сказала она. — Как ты уговорил его расстаться с ней?

Пол прошел по лаборатории, положил пакет на стальную столешницу и высморкался в салфетку.

— Ну, сначала я представился фотографом из *International Review*. Он ответил — без шансов, в следующем месяце у него выставка в Брюсселе и ему не хочется портить ее эффект пресс-релизами.

Тогда я сказал, что в действительности я сам скульптор-любитель и хочу исследовать его творчество. Не стоило — он разозлился. Оказывается, каждый раз, когда он дает свои вещи другим, их или копируют, или воруют. Сказал, к нему так часто влезали в квартиру, что ему пришлось переехать в сельскую местность и чуть ли не скрываться.

Тогда я заговорил начистоту, показал удостоверение ЦРУ и кое-что еще. Он все еще не верил. Я рассказал кое-что о твоей работе. Тогда он наконец согласился, но все равно стребовал сотню долларов. — Пол развязывал бечевку. — Я только деньги зря потратил, Си Ди. Ты бы его видела. Это животное, а не человек. Поверь, сходство между вашей работой только самое поверхностное.

Си Ди кивнула:

— Скорее всего. И все-таки я рада, что нам можно взглянуть самим.

Не успела она договорить, как Пол развернул последние слои. Среди смятой бумаги обнажилась миниатюра «Нереида».

Си Ди сделала долгий вдох, выдохнула. Подошла к миниатюре, коснулась ее.

— Я видела фотографии. И знаешь, люди правы. *Бесспорная* красота. Это самое…

— Пока Лукас не изваяет что-нибудь получше, — ответил Пол, задумчиво взвешивая скульптуру. — Похоже, полая. По крайней мере, вот эта внутренняя фигура.

Си Ди казалось, что он прав, но она все равно отправила «Нереиду» на рентгенографический стол. Она была не полая. А сплошная. Си Ди ощутила тот яркий шок, как когда в последний

момент уворачиваешься от мчащегося на тебя грузовика.

— Просто поверить не могу, насколько он меня опережает. Еще чуть-чуть — и эта штука нарушит законы гравитации!

«Нереида» была сделана из тридцати фунтов электролитического никеля. И весила восемь.

— Пол, нам нужны его уравнения. Только посмотри на каждый изгиб, каждую грань.

— Уравнения? Лукас и старшую школу не окончил. Он подумает, что «многочлен» — это ругательство.

Лицо Си Ди пошло пятнами. Ее бы не назвали красивой, когда она злилась.

— Как это *нечестно!* Я тут маринуюсь и старею шесть лет, а потом появляется этот идиот. Черт!

Пол, не понимавший женщин, которые злятся вместо того, чтобы плакать, мудро помалкивал. Успокоилась она быстро.

— Ну ладно. Тогда с чем он работает?

— С резервуаром Болджера, как и ты.

— И метод ввода у него такой же? Он же не может пользоваться пультом, если не знает математику.

Пол высморкался, извиняясь одними глазами.

— Он с ними разговаривает.

— «Он с ними *разговаривает*». Прелестно. Никаких записей. — Она даже простонала вслух. — Остается только одно: сам голографический проектор. Если заполучишь его, я смогу его проанализировать.

Пол начал заворачивать «Нереиду» обратно.

— Ладно, добуду.

На этом пухлый церэушник ушел, а Си Ди Осборн вернулась за работу. Хоть и не ожидала больших успехов.

Коварная натура Пола Стоунера была не настолько коварной, чтобы не попробовать честный подход. Хотя бы для начала. Вернув статую Питеру Лукасу, он попросил голопроектор, с помощью которого ее изваяли.

Они находились в Музее Гуггенхайма, где лохматый скульптор недавно открыл выставку. Весь музей напоминал большую гулкую воронку. И Питер Лукас наполнил ее ответом в одно слово. Пол бледно улыбнулся и ушел.

Он, конечно, мог понять отказ. Тот, у кого проектор, может скопировать скульптуру. Для проекций Болджера авторских прав не существовало. К тому же, подумал он, нельзя исключать страх художника перед научным анализом.

Но Пол Стоунер служил своей стране, а это

оправдывало многое. По крайней мере, в его глазах. У Питера Лукаса были друзья. Пол Стоунер нашел двоих. Тоже молодые художники, как Лукас, хоть и не такие успешные. Бедные, немного завистливые — и их можно было купить.

Он подговорил их обокрасть Лукаса однажды ночью, через неделю. В теории Лукас должен был уехать в город, принимать посетителей и прессу у себя на выставке. Даже если бы двоих протеже Стоунера поймали, все выглядело бы так, будто парочка художников хотела украсть идеи у коллеги. Никто бы не заподозрил, что это ЦРУ хочет втихомолку увести межзвездный двигатель у человека, который даже не подозревал, что он у него есть.

Да, задумка хорошая. Если бы все прошло по плану, Си Ди Осборн узнала бы все, что ей нужно, скульптуру бы вернули, НАСА бы получили свой двигатель — а этот придурок Лукас, скорее всего, так бы до конца жизни и не узнал, что изобрел на самом деле.

Все прошло не по плану.

Лукас вернулся раньше, чем ожидалось.

Когда он включил свет в гараже, сразу заметил, что что-то не так. Выключатель сработал с трудом, а где-то в доме раздался писк. Кто-то пришел

за «Нереидой»!

Он понесся через гараж, в боковую дверь, по каменным ступенькам в коттедж. Лишь осколок луны освещал его путь, но животное внутри него действовало по инстинкту. Вплоть до того, что во рту стало кисло и защекотало под затылком и под мышками.

Он толкнул кухонную дверь — заперто. Лукас умел вышибать двери — по нему это было видно. Два шага назад, припал на ладони, оттолкнулся и пробил старые сосновые доски собой, как костлявым тараном.

Вверх по лестнице. Топ, топ, бросок, с грохотом развернулся на лестничной площадке. Теперь он слышал, как они в панике зашуршали в студии на втором этаже. Как крысы. Второй пролет. Дверь в студию стояла приоткрытой, и он чувствовал запах резервуара Болджера. Значит, они его включили, да?

Он распахнул дверь и увидел, как за окном пропадает спина Пита Сантини в синей джинсе. Ну, теперь он хотя бы знал, кто виноват. Никому нельзя доверять. Лукас поспешил к окну.

По кочкам газона бежала девушка. Херки Олбрайт. Длинные волосы развевались за спиной, пригоршня лунного света на лбу, хороша даже

сейчас. Лукас жалел, что это она.

А непосредственно внизу, после «уф», поднимался Сантини. В одной руке — проектор «Нереиды», в траве рядом с другой все еще вращались два выпавших фильтра.

— Пит!

Без ответа. Ну ладно, пусть будет по-вашему. Я еще схвачу тебя за толстую жопу. Лукас легко перемахнул через подоконник, увидел, как перед глазами проскользнули пятнадцать футов ночного неба, погрузился по лодыжки в сосновые иголки, наваленные у задней двери. Сантини уже наполовину преодолел холм — бежал, спотыкался и задыхался, но бежал. Лукас устремился за ним.

Херки раскочегаривала старенький «Хили» Пита, и, когда тот закинул добычу в багажник, а себя — в дверцу, выжала сцепление. Вж-жих лысых шин по гравию, вонь горелой резины — и Лукас понял, что придется прыгать: сейчас.

Самый обычный нырок с вала мягкой почвы на обочине. Не так красиво, как в рекламе «Герца». Раскинув руки, резко взлетев, Лукас распластался поперек капота, словно занимался с машиной любовью. Основной удар пришелся на живот — от верхнего изгиба лобового стекла. Удар вы-

звал звезды и полосы в глазах и лишил дыхания. Когда он схватился за зеркальце заднего вида, он уже соскальзывал вперед, поэтому второй руке оставалось хвататься только за бампер. И он все равно соскальзывал.

Грязь и щебень горной дороги неслись в шести дюймах от лица, а Херки выжала из ржаво-голубой бомбы всю скорость, на которую та была способна на низкой передаче. Машина рванула вперед. Одновременно Сантини схватил Лукаса за лодыжки и толкнул в сторону.

И Лукас снова летел, выделывая беспомощные кульбиты рядом с машиной, а потом — за ней. А потом — только звук, звук и жаркие светящиеся выхлопные газы между двумя маленькими габаритными фарами, а потом не осталось и того.

Вскакивая на ноги, он не задумался, насколько это самоуверенно. Но ему повезло, кости остались целы, и он уже бежал обратно к подъездной дорожке. Гараж стоял наполовину открытым, как он его оставил. Две минуты назад. Внутри сиял черным «Бизер», подпертый на центральной подножке, еще теплый.

Лукас перекинул через него ногу, опустился всем весом на педаль и получил в ответ рокот. Развернувшись к склону холма, Лукас подбавил

газу.

Он знал эту дорогу, словно брайль. Гонял взад-вперед уже сотню раз, и всегда — на этом самом байке. Вторая передача, навалиться для крутого правого поворота; вывешивай ногу и скользи, детка, а то поцелуешь деревья.

Но знала ли Херки, куда едет? Куда там. Она здесь бывала всего пару раз. Всегда с Питом, и за рулем всегда был Пит. Нет, Лукас их нагонит, и раньше, чем они выедут на окружную дорогу.

Лукас переключился на третью для длинного прямого участка впереди, чуть притормозил у гравийных поворотов. Снова увидел впереди два красных огонька. услышал завывания безжалостно загнанного «Хили». О, он их нагонит.

Но что потом? Заставит остановиться? Четырехсотфунтовый байк против машины весом в тонну? Но вдруг удастся ее напугать. Что еще остается-то. Только пробовать.

«Хили» прожигал бензин. Лукас так и чувствовал запах — так близко подъехал. Теперь их разделяли всего пятьдесят ярдов по прямой через повороты — пятьдесят ярдов свободной дороги и земли. Далеко внизу, перед ними обоими, изредка мелькали фары на восемьдесят седьмой.

Он нагонял, и быстро. Хорошо, потому что его

дорога быстро кончалась — а на шоссе ему не тягаться с машиной. Оставался всего один резкий правый поворот, выводящий параллельно с Восемьдесят седьмой на тридцать футов до съезда.

Судя по звуку, Херки все еще ехала на второй. Но нет, на последнем углу она все-таки сменила скорость — и не вписалась. Шестерни зарокотали громче. Двигатель взвыл, затих, взвыл. Габаритные огни вихляли, но не сворачивали — а потом пропали из виду. Человеческий голос — мужской, высокий. Грохот, скольжение, автомобильный сигнал — и снова грохот. Затем — ровный столб света фар в небо и тишина.

Лукас притормозил на повороте, глядя над земляным склоном, по которому они скатились. «Хили» вылетел поперек трассы, проскользил через нее, пробил отбойник и свалился в русло ручья с той стороны шоссе, еще на пятнадцать футов вниз. На трассе остановилась машина, другая. Лукас бросил мотоцикл и спустился пешком.

Со всех сторон налетела дорожная полиция. Он никогда еще не видел их так много и так быстро — будто поджидали. И — какого черта? — тот церэушник Стоунер, который просил «Нереиду» на прошлой неделе, с какой-то девушкой. Они подошли, встали рядом с Лукасом, глядя на рабо-

ту полиции.

Из оврага вытащили тела. Лукаса замутило при виде того, что осталось от Херки. Но Пит Сантини остался цел, не считая отсутствия уха и дырки под ним.

Женщина рядом с ним прошептала: «О боже!» — и Стоунер кивнул.

* * *

— Ты спихнул их с дороги!

— Они меня ограбили, я за ними погнался. Но я был позади, когда… черт. Вы точно вызвали моего адвоката? — Пока говорил Лукас, лицо полицейского удалилось из пятисотваттного света, чтобы утереть лоб. Ну никакой тонкости. Лампы в лицо, наручники, угрозы.

Вернулась щекастая рожа.

— Ограбили, ну конечно. Мы не нашли в машине ничего украденного.

— Тогда поищите еще. Голографический проектор и два фильтра. Может, сгорели.

Разве все это не осталось в прошлом вместе с Джеком Уэббом?[140]

---

[140] Примечания: 140

Джек Уэбб — актер, режиссер и сценарист, известный по сериалам о полиции в 40–70-х.

— Да кому они нужны?

— Газеты не читаете?

— Ты тут не умничай, парень.

— Слушайте, меня зовут Питер Лукас. Мне посвящена целая вторая страница воскресных *Times. Почитайте* и отстаньте уже.

Бац. Им даже хватило наглости его ударить. Во всем чувствовалась какая-то фальшь. Разве из него можно выбивать ответы, пока не приехал Джек Адамс? Или вообще? И что здесь делали Стоунер и та тощая дрянь, наблюдавшие из угла?

— Что это за подстава? Ведете себя как в дешевом боевичке.

Еще раз — бац.

Лукас начинал злиться, а это не к добру — не с его норовом. Если он сорвется, из него наверняка вытянут какие-нибудь инкриминирующие слова. А может, он сам вскочит, врежет этой сволочи по зубам и словит пулю. От него явно решили *избавиться*. Почему — он не знал. Лучше заткнуться-заткнуться-заткнуться, пока не приедет Джек Адамс. Если его вообще вызвали.

— Слушай, парень. Ты признался, что гнался за ними, когда они вылетели с дороги. Ты признался, что это твои друзья, так с чего им тебя грабить? Как по мне, все вы были под кайфом, решили раз-

влечься, устроили гонки, а ты возьми разозлись да столкни их с дороги. Как ни посмотри — непредумышленное убийство. Если только ты не…

Полицейский собирался продолжать, но вскинул хмурый взгляд против света, кивнул и отошел. Удаляющиеся шаркающие шаги, дверь открылась, кто-то вышел, дверь закрылась. В помещении остались двое. Стоунер и женщина.

Она приблизилась, потянулась к лампе вместо того, чтобы встать за ней, выключила и попятилась.

— Что случилось, милая? Испугалась большого злого убийцу?

— Если честно, да. — Ни капли эмоций в голосе или на лице. Лед.

Стоунер придвинул два стула, один — лицом к Лукасу, другой — спинкой. Оседлал перевернутый, положил подбородок на спинку, снял шляпу и улыбнулся. Женщина села на второй, плотно скрестив ноги.

— Я тебя вроде как в это втянул, — начал Пол Стоунер, — я могу и вытащить. Если будешь сотрудничать. У меня был план получше, но тебе обязательно надо было все испортить.

— А я-то думал, при чем тут ты? Значит, это ты подбил Пита и Херки?..

— Да.

— Везет же тебе, что на мне наручники.

— Наверное. — У Стоунера слезились глаза. Он порылся в пальто, достал флакон с белыми таблетками. — Доктор Осборн всего лишь хочет взглянуть на проектор «Нереиды».

Лукас снова терял над собой контроль.

— Вы себя кем возомнили? Грабите человека, подставляете, шантажируете? Еще и людей убиваете.

Стоунер проглотил таблетки, закрутил крышечку, убрал флакон.

— Я *ЦРУ*, служу своей стране.

— Да на хрен идет твое ЦРУ.

Стоунер сонно улыбнулся, а доктор Осборн только моргнула.

Лукас подождал, когда Стоунер продолжит, но нет. Он просто сидел и смотрел. Похоже, договорил.

— Значит, либо я подчиняюсь, либо меня посадят за непредумышленное?

— Вот *теперь* дошло. — Стоунер потянулся к столу, взял ключ от наручников Лукаса.

* * *

В студию поднялись только они трое. Два коротко стриженных мужика с видом немецких овчарок остались ждать внизу, еще двое — снаружи. Уже начинался следующий день.

Си Ди Осборн вышла на середину студии, упершись руками в бока, и мрачно огляделась. Вся студия — пятнадцать на двадцать, занимала второй этаж коттеджа Лукаса. Старая, деревянная, темная. Воняло электролитами и жареным луком. Бардак. Всю дальнюю треть помещения более-менее занимала аппаратура Болджера, которая бросалась ей в глаза, как бриллиант в унитазе. Лукас, его мир, его манеры — все это она ненавидела всей душой. И он это знал.

В шаге от нее о том же думал Лукас, скрестив руки на груди. И она это знала.

Пол Стоунер, время от времени увлекавшийся абстракциями, представлял этих двоих как искусство против науки, огонь против воды, все против всего остального. От этого он чувствовал себя не в своей тарелке. Скорей бы уже закончить.

— Ладно. «Нереида». — Лукас ушел в конец студии, выбрал коробку для шляп из двух десятков таких же, перенес к резервуару, открыл. Достал

проектор и установил на место.

Потом подошел к пульту, включил, они подождали, пока все разогреется. Через две-три минуты в резервуаре проявилась «Нереида».

— Гальванизировать?

— Нет, спасибо. Этого достаточно. Пока что. Спасибо.

Лукас отошел подальше, не лицо — камень. Церэушник присел на верстаке напротив. Си Ди работала.

В студии не было громко тикающих часов, так что, видимо, Лукас их себе воображал. Время, еще время. Он чувствовал себя пациентом под скальпелем. Она даже напоминала врача, склонившись над голорезервуаром со своими оптическим микрометром, измеряя «Нереиду». А «Нереида» — это он сам. Он представил, как она бесстрастно своим микрометром измеряет его ногти, взвешивает грязь из-под них, узнает о нем больше, чем знал — или когда-либо узнает — он сам.

В студии не было громко тикающих часов, так что Си Ди грешила на свой пульс. Она чувствовала себя вором. Школьницей, списывающей чужую домашку. На глазах у него. Она напоминала себе, что животное ограбить нельзя, но это

не работало.

И не только это. Уже измеряя голограмму, она поняла, что этого будет мало. Да, она может повторить эту конкретную форму, пусть даже такую сложную. Теперь она видела все внутренние изгибы, вычислила исходную геометрию. Но все это выглядело так случайно. Она сомневалась, что вычленит какие-нибудь корреляции.

После четырех страниц заметок и измерений она уже не сомневалась, а знала.

— Пол?

— А? — Он подошел, разминая затекшую ногу.

— Ничего не получится. Я знаю, «что», но не знаю, «как». Я должна увидеть его за работой.

Лукас рассмеялся; смех отдался по студии. Значит, его все-таки нельзя *свести* к какой-то там перфокарте. И почему-то он сомневался, что этой тощей поможет и наблюдение за ним в процессе. Поэтому, когда Стоунер попросил его, он согласился. А не стоило.

Лукас сидел в кожаном кресле, лицом к резервуару, с микрофоном в руке, вокодером на коленях. От него шел провод к устройству обработки голоса, занимавшему всю стену.

— Э-э-эй… — пропел, не сказал, и в резервуаре Болджера заплясала пелена пламени. Он

усмехнулся. — Просто разогреваюсь. — Слова замерцали по резервуару, как пузырьки в анимированной вывеске пива.

— Кру-у-у-уг, — дал он кодовое слово. Получил сферу. Затем: — Утро-о-оба, — и сфера стала вялой и полой. — Нужны крылья. Крылья, как… ру-у-у-уки, которые… плоские. Сечешь? Резер, сечешь, а? — Слабый зеленый свет. — Ладно. Крыл-лья. Хорошо. А теперь — бо-ольшие кры-ылья. Кл-е-ве-ер, внизу. И… черт. — Он дождался зеленого света. — И пове-ерни направо. И… еще поворот налево.

Резервуар разогревался, зеленый свет вспыхивал чуть ли не сразу, как слова срывались с его уст. Внутри рос тотем из уродств — трехмерные каракули. Они становились все сложнее и сложнее, гротескнее и гротескнее. И больше. Вот отросли руки и ноги — человек-сосиска из маленьких деталек и фигур.

Смотреть было больно. Лукас наверняка отвел на образ тридцать процентов объема резервуара. А это много света, много энергии. Сияние резало глаза. В студии становилось жарковато. Ускорились кулеры резервуара.

Он продолжал, слова поступали быстрее и быстрее. Одни пелись, другие говорились, третьи

шептались. Он потел — заметно для Стоунера и женщины. В студии запахло — изоляцией, старым деревянным домом, едой, Питером Лукасом.

Он тараторил. Так можно спалить предохранители и потерять всю работу. Они не знали, но Лукас уже давно подвел дополнительную охладительную систему.

Он прервался. В сиянии чудовищной формы форм предстало его фанатичное лицо: глаза распахнуты, губы приоткрыты, прижаты вплотную к микрофону. Он придвинулся на кресле вперед. Затем произнес:

— А-а-а те-е-пер-р-ь… — И вырвался из кресла.

Подскочил к резервуару, уставился в сияние.

— Этот пузырь убрать, — бормотал он в микрофон, — на верхней левой конечности. Только пузырь. Под ним… там что-то есть. Но оно пока спрятано. Затем убери следующий. Сделай его легче, легче. Выровняй то, что между, и сохрани тот выверт — это, наверное, ее рука. Ее рука. Но сделай легче. Просто от точки до точки… — И он не замолкал.

Си Ди наблюдала как завороженная. Это была скульптура — искусство отсекать лишнее. До этого Лукас лишь готовил сырье. Все решалось теперь. Но уже сама мысль об «отсечении» затме-

вала то, что он делал. Это как *производная*, думала Си Ди, — разве это не физический эквивалент математической производной?

Извивы разглаживались под его руками, под его просьбами выровняться, разоблачиться, стать легче. Часы приходили и уходили.

Он изводился перед резервуаром: глаза остекленевшие, одежда промокла от пота до нитки. Она была рядом, слушая, наблюдая. Пол Стоунер стоял в стороне, чувствуя тошноту, испуг перед тем, что происходит. Форма в резервуаре — это была Си Ди Осборн.

Питер Лукас потерял сознание в полпятого. Его глаза так воспалились и пересохли, что веки не закрывались до конца. Кончик носа покрылся волдырями. На губах запеклась кровь — из горла, не замолкавшего восемь часов подряд.

Пока Пол Стоунер откачивал художника, Си Ди Осборн добавила в дозатор резервуара тридцать фунтов электролитического никеля, создавая вечную версию своего изваяния. Она старалась на это не смотреть. Хоть до этого и наблюдала часами, как оно проявляется, старалась не смотреть.

Это было самое прекрасное, что она видела. Это вызывало странные мысли о Боге и математике. Си Ди Осборн была Мадонной, но в руках держала

не Христа, а бездну. Она понимала, что это значит, но ей было все равно. Ее сокрушило, но ей было все равно. Она уже никогда не будет прежней, но это не имело значения. Потому что Си Ди Осборн узнала, «как». Узнала, как он это делал.

Пол Стоунер разбудил Лукаса около девяти и предложил кривоватый сэндвич.

— И так каждый раз? — спросил он.

— Да. — Они уже были на первом этаже, в его спальне.

— Знаешь, она все равно получила, что хотела. Обработала ту штуку, которую ты сделал. И та статуя *парит*. Совершенно невосприимчива к гравитации.

Стоунер снял пиджак и выглядел дряблым, усталым, готовым отчаливать домой.

Наверху Лукас слышал гул остывающего резервуара и иногда шаги. Он вздохнул, поднялся.

— Пойдем посмотрим.

Си Ди сидела в его кресле. Она не пользовалась микрофоном и вокодером, заменив их на свою клавиатуру. Теперь та лежала на полу рядом. А посреди студии парила, привязанная бельевой веревкой, твердая никелевая статуя. Такая же, как ее оставил Лукас.

Но лучше.

Эстетически она ослепляла. Уже не такая *грубая*, как Мадонна, обнимающая бездну, а сама эта идея — дистиллированная, абстрагированная, очищенная.

Си Ди помахала блокнотом, кивнув на недописанную страницу. В азарте она и забыла, кто такой Лукас или как он к ней относится.

— Начинаешь с любого базового контура, — сказала она, — и постепенно делаешь производные всех точек на его поверхности, пока не получишь подобие последовательности Стейнингера. Если что-то не подходит — ну, просто убираешь. Понял? Вот что ты делаешь, отсекая лишнее, Лукас, только сам этого не знаешь. Видимо, у тебя математическое чутье.

Но он не обращал внимания на ее блокнот, ее голос, нее. Он медленно обходил статую. Ни прибавить, ни убавить: Си Ди сказала последнее слово. Статуя была совершенна. Если бы кто-то поспорил, он был бы не прав: красота больше не в глазах смотрящего. Самую неуловимую вещь в мире только что посчитали.

— Наверное, ты сможешь начать с чего угодно и тоже сделать совершенным. Даже «Нереиду», — сказал он.

— Идеальным?

— Эстетически.

— А. — Пожатие плечами. — Я могу обнулить предмет для гравитации, да. А побочный эффект, видимо…

— Побочный эффект, — пробормотал Лукас.

Си Ди закусила губу. Все-таки она была не совсем бесчувственной.

— Это дорогая цена, — медленно произнесла она, — даже за межзвездный двигатель.

Питер Лукас вышел из студии, как усталый старик. Нет, не из студии — из лаборатории. Студий больше не существовало, нигде. Он спустился на кухню, открыл пиво, прислонился к раковине.

Когда рождается какая угодно новая идея, умирает старая. Но умирает в мучениях.

Проходя мимо кухни, Пол Стоунер видел его, видел, как он уставился в пол. Попрощался, но Лукас даже не взглянул. Пол пожал плечами и пошел дальше. Он бы проявил больше сочувствия, но было уже так поздно. Он глуповато себя чувствовал, отправляя в «плимут» Си Ди, ее статую и всех четырех агентов. Четыре профессиональных защитника. Надо было понимать, что от Лукаса можно не ждать его обычной агрессии. Раздавленные люди не агрессивны.

— Все сели?

Хор подтверждения. Стоунер расшевелил двигатель, и они двинулись вниз по склону.

Они почти выехали на Восемьдесят седьмую, когда подала голос одна из немецких овчарок с заднего:

— Пол?

— Чего? — ответил он раздраженно, стараясь удержать громоздкий седан примерно посередине невозможной подъездной дорожки Лукаса.

— По-моему, он едет за нами.

В зеркале заднего вида приближалась одна-единственная фара. Пол Стоунер попытался затормозить. Тормоза не потянули — не под таким уклоном, не с таким грузом. Пол облизнул губы. И что теперь выкинет этот маньяк, протаранит? Малейший толчок отправит перегруженный седан за край. Но на мотоцикле? Это же самоубийство… Нет. Они уже его убили — ему плевать. И Пол приказал:

— Стреляйте!

Они пытались. Но мотоцикл летел на них, как дикий зверь, и попасть в него было так же непросто. Сначала раздалась пара выстрелов, прицельных. Но чем ярче сияла фара возмездия, тем быстрее стрельба вырождалась в беспорядочную. Машину наполнили вонь и грохот

пистолетов.

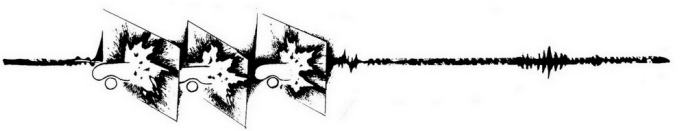
Впереди последний поворот. Позади — Лукас. На заднем сиденье Си Ди Осборн, обнимая свою невесомую, безбожную Мадонну, начала смеяться.

Послесловие

Если хочется сделать что-то очень хорошее, то из чего: из грез или фактов? Если стараться искренне, будет ли одинаковый результат и с тем и с другим? Известно, что ни один художник не избежал влияния фотографии; как и ни один скульптор — удобства электроинструментов или убедительной угловатости века машин. Но вдруг кто-то вроде Си Ди пойдет в обратном направлении и найдет в статуе что-то от вселенной?

Да, думаю, так неизбежно и случится. Какое-то время романтики среди нас будут сталкивать людей с утесов и тому подобное, но сколько можно удерживать невесомость?

Предисловие «Гонка мотыльков»



Закатав штанины, я стоял по лодыжки в акульих водах у побережья Флориды и наблюдал, как предармагеддоновая гроза разрывает горизонт, где Мексиканский залив встречается с горизонтом.

Мадейра-бич, 1969.

Где-то слева в медленно поднимающемся приливе смутно виднелись силуэты Деймона, Эйлера, Бена и Джоанны — еще в купальниках, после дня в море. Через темноту нечетко доносились неразборчивые, теневые звуки их разговора. Молния расколола окно небес.

Тут я понял, что кто-то стоит справа, и уже до-

вольно давно.

— Это смерть неба, — произнес он. Я обернулся, но его было не разглядеть в темноте. — А главное, каждое утро оно перерождается — и не остается даже шрамов.

Так я познакомился с Ричардом Хиллом.

Мы стали друзьями, потом он уехал, потом вернулся, и мы снова были друзьями, потом он снова уехал, а когда вернулся в следующий раз, мы уже друзьями не были. Теперь восстанавливаем отношения. Тут нужно время. От здравого смысла толку мало.

Но все это время у меня не было никаких сомнений — как сказал Деймон: «Ричард Хилл — отличный писатель».

Краткая автобиография Ричарда Хилла, скача по верхам, сообщает:

«Мне двадцать девять, в разводе, отец двух сыновей. Я родился в Сент-Питерсберге, штат Флорида, и сейчас проживаю в Лос-Анджелесе.

Я сменил немало работ: помощник официанта, продавец обуви, чистильщик озер, механик газонокосилок, продавец попкорна, водитель „Скорой помощи“, доставщик хлеба, журналист ВМФ, радиоведущий, пиццайоло, теленовостник, офицер Береговой охраны в запасе, преподава-

тель английского и свободных наук в старшей школе и колледже, управляющий бассейна. Очень жалею, что не побывал дровосеком или не ходил на торговом судне — это основа биографии любого писателя, — но не сошлось. В данный момент влачу жалкое существование как учитель на замену и писатель-фрилансер.

Продал два романа, и первый, „История о привидениях“ (*Ghost Story*), вышел в твердой обложке от *Liveright* в сентябре 1971-го. Во втором, „Отважный и просоленный“ (*Brave Salt*), я попытаюсь предсказать будущее Гаити. Также работаю над автобиографическим романом „Полет мячика на резинке“ (*Flight of the Bolo-Bat*). Продавал рассказы таким антологиям, как *Orbit, Quark, Worlds of Tomorrow* и эта; таким мелким журналам, как *New Campus Review, Florida Quarterly* и *South Florida Review*; мужским журналам, среди которых *Knight, Adam* и *Swank*; и в другие места, о которых не хочется упоминать. Один рассказ и магистерская диссертация о Джоне Дос Пассосе вышли в *University Bookman* и продаются у USIA[141]. Выпустил парочку стихов в журналах, о которых никто не слышал, и писал немало статей

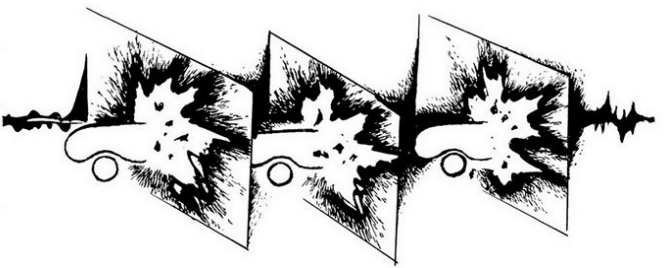
[141] Примечания: 141

USIA (*англ.* United States Information Agency) — Информационное агентство США.

для периодики, от воскресных журналов до *L. A. Free Press* и *Rolling Stone*. В будущем хотелось бы писать сценарии.

В последний год я гонял из Флориды в Новый Орлеан, Калифорнию и опять во Флориду — в серийных попытках сбежать от некоторых неприятных реалий. Теперь я от этого устал. Если бы я мог выбирать свое будущее, прирос бы к Калифорнии, как балянус».

Гонка мотыльков
Ричард Хилл



Большинство пришли пораньше, медленно стекались на стадион и находили свои места, словно благодаря какому-то чуду, а потом моргали друг другу, думая: «Я и правда наконец-то здесь, и это было так просто». Сидеть на солнце было чем-то неслыханным, и они дивились виду, ощущению и запаху собственного пота. Здесь не было управления погодой, и кое-кому впервые в

жизни стало некомфортно. Конечно, за прошлые годы все испытали жару, запахи, шум толпы благодаря медиа, но это не то же самое, что побывать здесь самим.

Гонка начиналась только через час, но стадион уже почти заполнился. Подвижная пешеходная дорожка доставила Джона Ван Дорна от транспортной платформы практически к его месту. Он сам не понимал, как у него получилось сюда попасть, и все еще поражался собственному достижению. Редкие знакомые, побывавшие за пределами Йоханнесбурга, рассказывали, как это просто, и теперь он был вынужден согласиться: из Йоханнесбурга в Чикаго за тридцать минут. Билет на Гонку был единственным способом путешествовать по миру для таких, как Джон, — если только, конечно, не выиграть Гонку самому. А это удалось лишь одному человеку.

Больше людей в одном месте, чем он видел в жизни, — и Джон чувствовал генерируемое ими волнение, которое одновременно и заряжало, и беспокоило. Он видел камеры медиа вокруг стадиона и трассы, зная, что сейчас в дома по всему миру передаются воспроизведенные ощущения стадиона. Знал, что даже те, кто не смог приехать, подключились уже за часы до Гонки, ждут. Те, кто

здесь уже бывал, знали, что не побывают впредь. Те, кто не надеялся на билет в следующем году, ломали голову над тем, как бы повысить свои шансы. Лишь Они — Правительство — знали критерии, почему кто-то получает билет, а кто-то — нет. В этом году билет достался Джону — и он сам не знал, за что.

Это единственный день в году, когда никто не глотал успокоин, и Джон наслаждался непривычной дикостью, что бежала в крови. Скорее всего, ОНИ знали, что с таблетками ощущения будут не те. Но поскольку их не принимал никто, всюду царило беспокойство: как в домах, где светились экраны и сидели люди, так и на самом стадионе, где собрались счастливчики. Кое-где даже начинались драки — немыслимые в любой другой день в году. Драки тут же прекращались — главным образом потому, что люди сами были к этому непривычны и пугались собственной агрессии. Джон видел одну драку. Когда у человека хлынула кровь из носа, оба остановились, удивленно уставились друг на друга, а потом просто сели.

Было и вино — его наливали только на стадионе, — и все пользовались случаем, чтобы его пригубить. Конечно же, искусственное; насколь-

ко было известно Джону, настоящее пил только Чемпион. Вино разливали автоматы в конце каждого ряда, и люди весело передавали его друг другу с товарищеским чувством. Джон надавил на свою пачку и прыснул себе в рот струйку красной вкуснятины. Он сидел в конце ряда, прямо рядом с автоматом: хочешь еще — только руку протяни. А еще он находился ниже ложи для высоких гостей и видел, что творится там. Он снова наполнил рот вином и, медленно глотая, задумался обо всех тех, кто остался снаружи, кто смотрит, как он пьет, и гадает о вкусе; или смотрит и знает, что больше никогда не попробует вино вновь. Он не знал, почему, но вкус и эффект вина по медиа не транслировались никогда.

Джон оглянулся на элитную ложу и увидел Чемпиона. Должно быть, он только что пришел, и, когда по толпе прокатился уважительный шепоток, Джон подумал: «Как же он близко, каких-то пять футов — можно его даже потрогать».

Седовласый и внушительного вида, с морщинистым лицом, Чемпион пристально всматривался в трассу, не обращая внимания на болтовню сидящих вокруг сановников. Кое-кто жаловался, что он плохой Чемпион, слишком тихий или эгоистичный, не желает рассказывать о себе. В конце

концов, разве это не долг Чемпиона — делиться своим опытом? По крайней мере, в теории; раз других Чемпионов не существовало, и сравнивать было не с кем.

А Джон еще помнил время, когда Чемпионов не было вовсе, и очень смутно — времена до Гонок. До появления Чемпиона их проводили пять лет, и люди перешептывались, что Они хотят их отменить, потому что никто не может победить. Потом появился Чемпион, и слухи прекратились.

Как и все в мире, Джон следил за его жизнью по медиа. Уже семь лет все наблюдали, как Чемпион охотится на львов, ловит марлиня, покоряет горы — все в заповедных областях, куда больше никого не пускали. Они приобщились к его роману с Ритой Ландерс, звездой медиа и единственной в мире, кто был близок к нему по славе. Конечно, еще были чиновники Правительства, и кое-кто сидел прямо сейчас в ложе, но о них никто не знал и не задумывался. Все равно это не настоящее Правительство, а только его материальные представители. По крайней мере, так подозревал Джон, хотя ни с кем это не обсуждал. Однажды он видел, как Чемпион побывал на айсберге, и вдруг подумал, что Правительство наверняка

такое же: почти целиком скрыто из виду, не то, чем кажется.

Ходили слухи, что Рита Ландерс — идеал красоты всех мужчин, — это результат генетического эксперимента, который Они прекратили после ее появления. Согласно этим слухам, Они, получив ее, решили сделать ее единственной звездой медиа, объектом мужской страсти. Вскоре после того, как она прославилась, и победил Чемпион.

Люди видели, как Чемпион занимается любовью и с другими женщинами — бесконечной чередой женщин, отобранных со всего света. Далеко не Рита Ландерс, но все-таки лучшее, что могло дать случайное размножение. И благодаря медиа люди не только видели завоевания Чемпиона, но и *чувствовали*. Они и сами занимались сексом, но никогда — с таким разнообразием. И они угощались — опосредованно через него — блюдами, которые им бы не достались никогда в жизни. Люди принимали три раза в день обогащенные витаминами дрожжи и водорослевые таблетки и ждали, когда смогут распробовать его блюда: блестяще-красных омаров с упругим белым мясом, сочное жаркое и стейки, курицу с блестяще-коричневой от прожарки корочкой и многое другое. Все это — только часть приза по-

бедителя. Поэтому люди и участвовали в Гонках.

Сам бы Джон никогда не рискнул, но зато мог попасть на стадион. Возможно, найдется желающий среди его соседей вокруг, завлеченный жизнью как у Чемпиона. Кто-то находился всегда.

— Что думаешь? — спросил его сосед.

— О чем?

— О Гонке. О чем же еще?

Его акцент было трудно опознать. Диалектов английского еще хватало, несмотря на влияние медиа. Пережитки времен до Языковой унификации, полагал Джон; воздействие родного языка на английский. Джон почти не слышал других диалектов — свою речь он диалектом не считал.

— Интересно, конечно, — ответил он.

— А будешь участвовать?

— Нет, я в списке на брак.

— А кто нет? — рассмеялся сосед. — Но у нас столько же шансов жениться, сколько на победу в Гонке. — Посмеиваясь, он ткнул его локтем. Может быть, местный обычай, — но как раз с этого и начинались драки.

— Я не теряю надежды, — сказал Джон. — Я хочу ребенка.

— Детей в мире уже и без тебя хватает. — Сосед

посмотрел на ложу. — А вот второй чемпион не помешает.

— Не нравится этот?

— Конечно, я им восхищаюсь, — ответил сосед, — но он что, не может расслабиться? Черт, это же просто недемократично. На кой черт еще нужен чемпион, если не рассказывать, каково это — присунуть Рите Ландерс и остальным цыпам, а?

— Но ведь для этого есть медиа, — возразил Джон, вспомнив, как они с Бетти возбудились после ночи Чемпиона.

— Ну ладно, это хорошо, но мало. Помнишь, что он сказал на вопрос репортера? «Вы сами все видели». Как это еще назвать, если не чванливостью? Я-то хочу услышать, как он *рассказывает*.

— Вроде бы ему понравилась та африканка, — сказал Джон, вспоминая, как странно вел себя Чемпион в том интервью. — Наверное, она была нечто. Иногда медиа этого не передает.

— Да-да, истинная любовь. Жаль, ему не дали с ней остаться. Бедный-бедный мужик. Но что с остальными? Представь, что у тебя есть все бабы на свете, ты сменяешь одну первосортную щелку на другую — а сказать тебе нечего. — Сосед снова чуть ли не с испугом покосился на Чемпиона. — К

тому же мне не нравится, что ему по вкусу черненькие.

— Ты принимал сегодня таблетки? — спросил Джон.

— Ну конечно нет. Черт, ведь никто не принимает в день… — Тут сосед понял, что имелось в виду, и сконфузился. Это был первый случай предубеждения, что Джон видел за годы. Обычно это улаживал успокоин.

— Я был бы не такой, — произнес голос слева. Этот сосед был моложе Джона — собственно, еще мальчишка. — Я был бы хорошим чемпионом.

— Ха, — сказал первый сосед. — Да ты бы не знал, что делать с Ритой Ландерс.

Паренек вскочил.

— А ну забери свои слова назад, — бросил он, дрожа.

Первый мужчина помялся, потом опустил глаза.

— Подумаешь, — пробормотал он наконец, — все равно ты не пойдешь на Гонку.

— А я возьму и пойду, — ответил паренек, словно окончательно решившись. — Прямо сейчас.

Он начал спускаться по проходу. У Джона был порыв остановить его, но он не сдвинулся с места. В конце концов, без гонщиков не будет Гонки.

Вдруг у него получится. У Чемпиона же получилось.

— Ты только посмотри, — сказал сосед. — И правда пошел.

Джон отвернулся и не ответил.

Теперь на трассе было шестеро гонщиков, на одного больше, чем в прошлом году. Может, придут и другие, хотя люди редко вызывались после начала Гонки.

Парнишка, который только что спустился, мог бы прожить еще восемьдесят-девяносто лет, прежде чем провалить физический осмотр. Он бы никогда не болел, не голодал, не боялся, ему бы никогда не было слишком жарко или слишком холодно, у него всегда бы имелся партнер. Хотел бы ребенка — записался бы в список, как все остальные, и, может, даже получил бы разрешение раньше, чем состарится. Если он в чем-то исключителен, мог бы даже поступить в колледж и заняться каким-нибудь важным делом — например, работа на подводных продовольственных фермах или в лунной лаборатории. Его могли бы выбрать в колонию или в Правительство, если бы на тестах выявили нужные показатели. Тогда он мог бы получить разрешение на путешествия — пусть даже ради командировок, — и ему не

пришлось бы ждать Гонок, как остальным, и надеяться на билет, чтобы хоть раз вырываться из своего города.

И все-таки и он, и остальные решались — и рисковали всем, только чтобы стать героями. Если тебе нужен только героизм, то тебе прямая дорога на Гонки. Прославлялись даже проигравшие, их фотографии потом транслировали по всему миру целый год. Но Джон этого никогда не понимал. Иногда и на него находило умопомрачение, но потом он вспоминал о тепле и мягкости Бетти, о ее улыбке. Зачем всем этим рисковать? Или он задумывался о том, что шансов на победу нет, что Гонки подстроены, и эта мысль пугала. Чем-то это зрелище тревожило, хоть он бы никому в этом не признался.

Шестерка внизу загрузила свои инфо-кассеты в автоматы, чтобы все их данные обработали до Гонки. Они ждали ответа компьютера. Джон видел, как нервно переминается парнишка. Как только компьютер получал твою кассету, пути назад не было.

У стартового барьера выстроились машины. Они казались меньше, чем в прошлые годы, когда он видел их по медиа. Красочные машины с алюминиевым корпусом, рассчитанные только

на водителя.

Сейчас барьеры находились под землей, под контролем компьютера. Джон с удивлением заметил, что уже успел загореть и начинает сказываться выпитое вино. Он оглядел толпу, заметив, что шум стал громче и остальные тоже взбудоражились. Это было странное ощущение — местами как сила, местами как смелость, будто эти слова только теперь приобретали смысл. Трассу расчистили, а на внутреннем поле зловеще ждал кран. От его вида Джон несколько протрезвел.

— Дамы и господа, Гонка начнется через пять минут.

Голос ведущего застал его врасплох. Джон и не думал, что Гонка уже так скоро. В воздухе разливалось напряжение, толпа вдруг притихла.

Речь ведущего была проста, спокойна, чтобы ничего не отвлекало от серьезной задачи дня. Они бы ничего из этого не допустили, не будь повод действительно серьезным и важным, рассеянно размышлял Джон. Он сам не знал, откуда у него эта уверенность, хотя ходили слухи и об этом. Согласно одному, социальные инженеры или их начальство переживали насчет успокоина. Беспокоились, что нежелательное поведение

все равно прорвется, даже несмотря на действие таблеток. К тому же нельзя было гарантировать, что их принимают все. Приказной порядок был возможен, но нежелателен. Правительство хотело, чтобы у людей был выход для напряжения, которое таблетки только притупляют. И тогда кто-то придумал Гонку.

— Сегодняшние события имеют огромную важность для мира, — продолжил ведущий. — Мы собрались, чтобы воздать должное отваге сегодняшних участников и вновь превознести нашего великого Чемпиона.

Толпа тут же вскочила на ноги и, несмотря на все ворчание, бешено зааплодировала седому Чемпиону. Все раскрасневшиеся от вина и загара лица улыбались, шум стал еще громче. Шлепались на пол винные пачки. Хлопали и сановники рядом со вставшим Чемпионом, пытались пожать ему руку, перетянуть на себя часть его славы. Джон заметил, что уже прибыла Рита Ландерс и встала рядом с Чемпионом. Словно соблюдая какой-то древний ритуал, она появилась в последнюю минуту.

— Чемп! — кричала толпа. — Рита, Чемп, Рита, Чемп, Рита!

Джона захлестнули их чувства. В мире не было

других таких желанных и великолепных людей, думал он, и на его глаза навернулись слезы гордости. Но Чемпиона с его грустным и скучающим видом, казалось, толпа нисколько не трогает. Джон скандировал громче, словно это вырвет Чемпиона из мрачного настроения, и слезы бежали по его красным от загара щекам. Он орал, пока не закружилась голова и ему не пришлось присесть.

Наконец шум улегся, но не до конца. Оставался тот обертон исступления, что Джон помнил по медиа с других Гонок. Для этого все и пришли.

Ведущий это понимал и мастерски ими манипулировал.

— Наш первый гонщик, — произнес он, пока они не успели снова перейти к кричалке, — Садакити Мурамото из Токио. Двадцать пять лет, работает на Заводе 13. — Ведущий зачитал биографию из компьютера. Когда он закончил, Джону уже казалось, что он знал этого токийца — нет, сам был этим токийцем.

Потом пришло время первой Гонки. Садакити сел в машину, красную, и его придвинули на несколько футов к стартовой черте. Распорядитель поднял руку над кнопкой. Все знали, что скорость менять невозможно. 60 миль в час, что-

бы обойти трассу за две минуты — если водитель увернется от всех барьеров. Барьеры вырастали из-под земли на пяти дорожках случайным образом, по решению компьютера. На такой скорости нечего и думать, чтобы их объехать; собственно, барьер уже мог вернуться обратно, когда машина до него доедет. Все решал случай. На трассе никто не мог управлять своей судьбой. И все-таки почти каждый водитель пытался.

Мурамото проехал почти милю, скача с полосы на полосу, пока барьер не вырос прямо перед ним. Он вывернул руль и влетел в другой там, где только что ничего не было. А барьер, от которого он увернулся, ко времени столкновения уже давно вернулся под землю. От удара машина смялась, как аккордеон, — для чего и проектировалась.

— Ах! — выдохнула толпа как одна. Потом раздались отдельные крики: «О нет!» и «Врезался!»

Вокруг плакали люди, и Джон снова почувствовал слезы в глазах. За год эти чувства успевали забыться. Наверняка не без помощи успокоина. Но теперь они вернулись, и куда сильнее, чем при восприятии через медиа. Голова гудела от вина, и Джон выплеснул чувства вместе со всем стадионом.

— Перед ним открывалось такое будущее, —

причитала женщина рядом. — Почему он не выжил?

Ее утешал мужчина по соседству.

— Ничего, ничего, — с грустью говорил он. — Вы же знаете, люди не могут не рискнуть.

— Но барьеры победить нельзя, — сказала она.

— Чемпион же победил, — без особой уверенности возразил ее сосед.

Кран плавно сдвинулся туда и поднял обломки машины. Барьер вернулся под землю невредимый, а кран перенес разбитую всмятку машину вместе с водителем в грузовик, ожидавший во внутренней части поля. После Гонки состоятся коллективные похороны водителей прямо в машинах.

— Наш следующий гонщик, — объявил ведущий прочувствованно, — выходец из…

И так далее. Джон понял, почему лучше смотреть на стадионе, чем дома. Толпа стала как один человек, коллективно переживала и скорбь, и силу. Не было больше ненависти, не было различий. После третьей гонщицы — Консуэлы из Буэнос-Айреса, которая, не успев сорваться со стартовой черты, размазалась о барьер, словно мотылек о лобовое стекло, — Джон заметил, как мужчина, ранее осуждавший черных, теперь

спустился на три ряда ниже и положил руку на плечо рыдающей черной женщины. Теперь плакали все, кроме Чемпиона. Джон видел, как он сидит с бесстрастным видом, а Рита плачет навзрыд у него на плече.

Парнишка шел последним. Они видели, как он заколебался, но все-таки сел в желтую машину. Рука распорядителя опустилась — и он рванул с места в карьер, практически сразу выходя на максимальную скорость. Он тоже решил метаться с полосы на полосу. На часах стадиона двигалась секундная стрелка, он проходил милю за милей. «Ты из Джексонвилла, — думал Джон, наблюдая за крошечной машиной. — Ты работаешь на Заводе 36. Тебя зовут Генри Мэттьюс. Должно же это что-то значить. Сделай так, чтобы значило».

Потом барьер поймал и его.

«Барьеры победить нельзя»

Это была последняя Гонка, и толпа отпустила накопленную жалость, высвободила страх за всех гонщиков. Стадион переполнился чувствами. Теперь Гонка закончилась, они отпереживали свое за героев. Зато в процессе обрели силы продолжать. «Мы не участвовали, — думали они. — Мы должны жить дальше». Словно спал груз с плеч. Все чуть ли не повеселели.

Но вдруг поднялся шум. Люди начали оглядываться. Совсем неподходящее время для суеты, и им это не нравилось.

— Чемпион, — произнес кто-то.

Джон тоже оглянулся и увидел, что Чемпион стоит. Его выражение лица не изменилось. Все такое же скучающее.

«Чемпион одолел барьеры», — вспомнили они вместе.

Он что, произнесет речь? Раньше он никогда не говорил по своей воле. Джон встал и обернулся, чтобы разглядеть получше. И тут заметил, что Рита тянет Чемпиона за руку.

— Нет, нет! — кричала она. Чиновники пытались его удержать, но он всех стряхнул. А затем двинулся вниз по проходу.

Джон все еще ничего не понимал, пока кто-то не крикнул:

— Он идет на Гонку!

Да, думал Джон, глядя, как Чемпион спускается ему навстречу: это может значить только одно.

Но зачем? Джон не понимал — и слышал, как толпа вторит его вопросу. У Чемпиона было все, что только можно захотеть. Путешествия, женщины, еда, приключения и слава. Он все это уже заработал и не обязан зарабатывать заново.

На ходу Чемпион смотрел на людей в толпе. Встретился взглядом и с Джоном — казалось, на долгие минуты, — и Джона накрыла глубокая печаль. Словно Чемпион пытался ему что-то сказать.

Так вот в чем дело? Чемпион устал от своей жизни? В ней было что-то еще, о чем никто не знал,– то, что подтверждало гложущие подозрения Джона,– и это толкнуло его спуститься теперь? Вино ударило в голову, соображать было трудно. Идея устрашала, и Джон пытался выбросить ее из головы. Не может быть, чтобы Чемпион пытался сказать ему об этом. Но как он *посмотрел*…

И вот Чемпион уже вышел на поле. Перебросился парой слов с ведущим, который не знал, что делать. Ведущий на несколько минут скрылся, потом вернулся к микрофону.

— Чемпион выходит защищать свой титул, — тихо произнес он.

На трассу выкатили серебристо-серую машину — под цвет волос Чемпиона. Он без колебаний сел и ждал, когда его придвинут к стартовой черте.

Толпа впала в истерику.

— Нет, не пускайте его! — услышал Джон и обернулся, увидев, как Риту с трудом удерживают

два чиновника. Но толпа за ней уже подхватила.

— Не пускай! — скандировали люди. — Не пускай!

Джон скандировал вместе со всеми. Но когда он оглянулся к трассе, Гонка уже началась.

В первый раз Чемпион выиграл, просто проехав по центральной полосе. Он знал свои шансы и даже не пытался переиграть барьеры. Его метод пробовали и другие — без успеха. Но нет никаких сомнений, что один раз ему это удалось — и удавалось теперь. Чемпион уже вышел на вторую милю и еще был жив. Он что, зачарованный? *Один раз Чемпион справился*. Поможет ли ему везение, как в первый раз?

И вдруг Чемпион пропал — в невидимом, но ощутимом красном взрыве внутри серебристо-серого комка алюминия. Кран не шелохнулся, словно не верил своей следующей задаче.

Повисла долгая глубокая тишина.

Затем на стадионе стал разрастаться звук. Джон не сразу заметил, что отчасти звук шел и от него. Сначала неразборчивый, словно звериный рев, но потом он обрел слова.

— Его нет! — кричал кто-то.

«Чемпиона больше нет». «Мы его потеряли». *Чемпион не справился*.

Стук в голове Джона становился все громче и перерос в рефрен, с которым он возглавил толпу.

— Нам нужен Чемпион! Нам нужен Чемпион!

Он сам не знал, откуда это взялось или даже что это значит. Но это гудело в голове, заглушая все остальное. А теперь заразило и других, и весь стадион сотрясался от хора.

— Нам нужен Чемпион! Нам нужен Чемпион! Нам нужен Чемпион!

А потом вдруг:

— Я буду Чемпионом! Я буду Чемпионом! Я буду Чемпионом!

И вдруг Джон уже бежал, вниз, к трассе, размахивая руками, с криком:

— Я! Я! Я!

И за ним бежали остальные.

Послесловие

Иногда мне кажется, что современный мир можно воспринимать только как заговор. Правые говорят, что коммунизм устраивает расовые бунты и беспорядки в университетах. SDS[142] верит, что военно-промышленный комплекс тайно поддерживает Вьетнамскую войну живой и смертоносной. И как же сложно поверить, что Ли Освальд, или Джеймс Эрл Рэй, или даже Серхан[143] действовали в одиночку. Потеряв веру даже в то, что Бог жив, не говоря уже о том, что Он чем-то управляет, мы передаем другим людям самые могущественные способности портить нам настроение.

И тут есть забавный парадокс. У нас есть потребность верить в способность других плести заговоры против нас. Даже тех, кто не принимает

---

[142] Примечания: 142

SDS (*англ.* Students for a Democratic Society) — Студенты за демократическое общество (1960–1974) — студенческая организация активистов с левым уклоном.

[143] Примечания: 143

Ли Харви Освальд (1939–1963) — убийца президента Джона Кеннеди. Джеймс Эрл Рэй (1928–1998) — убийца гражданского лидера Мартина Лютера Кинга. Серхан Серхан (род. 1944) — убийца Роберта Кеннеди, кандидата в президенты.

большинство теорий заговора, они все равно привлекают и успокаивают. Ведь если не верить, что все наши беды спланировал бог, и не верить, что их спланировали люди, перед нами предстают никем не спланированные события, случайные судороги, хаос и бездна.

А писатель обязан налагать порядок на хаос реального опыта, и, кажется мне, писатели все чаще и чаще выбирают основой этого порядка идею заговора. На заговорах построены такие разные романы, как «Князь света» Роджера Желязны и «Выкрикивается лот 49» Томаса Пинчона. У последнего, как и у многих авторов школы черного юмора, абсурдная вселенная требует такого же абсурдного заговора. Мы видим у Берроуза и других протагониста, который прокрадывается за портальную арку кукольного театра, чтобы узнать, кто там тянет за ниточки. Он может обнаружить, что кукловоды еще безумнее своих марионеток или что у них тоже есть свои ниточки, а у тех — свои ниточки, а у тех… Несмотря на то что это знание высвобождает мрачный смех, такой опыт все-таки не приятных.

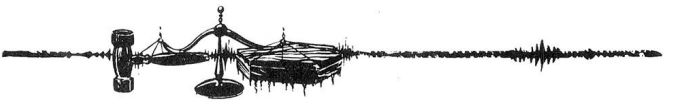
Этот рассказ — тоже о заговоре, и тоже неприятный. Писать его было неприятно в высшей степени, а ведь я обычно люблю писать. Все нача-

лось с образа подстроенной гонки, на которой нет никакой возможности победить, с образа людей, которые, как мотыльки, бьются о стальные барьеры, потому что кто-то наловчился порабощать их с помощью всего лучшего в них. Обычно я даю идее вызреть, но с этой поспешил — наверное, потому, что самому не хотелось в нее вникать. Мне хотелось разделить незнание и ужас моего протагониста, который ищет понимание на ощупь.

Он так и не заглянет за занавес, хоть и подозревает — будучи отчасти бунтарем в мире-улье, — что все плохо. Он гадает, — если воспользоваться такой редкой метафорой, — что же там внизу айсберга, но правды так и не узнает. Не узнаете и вы — разве что сделаете свои выводы исходя из того, что я описал с его ограниченной точки зрения.

Так вы выстроите свою теорию заговора. И это вы решите, почему погиб Чемпион, освободил ли его поступок мир или поработил еще сильнее. И это вы решите, какое отношение к рассказу имеют Аристотель и Хью Хефнер. И это вы мне скажете, могло такое случиться или нет.

Предисловие «Дело Гловера»



Наряду с такими великими нераскрытыми загадками вселенной, как А) Кем был Каспар Хаузер?[144] Б) Для чего возвели истуканов на острове Пасхи? В) Правда ли Панчо Вилья застрелил Амброза Бирса?[145] Г) Кем на самом деле был

---

[144] Примечания: 144

Каспар Хаузер (1812–1833) — одна из загадок и сенсаций XIX века. Найденный в 1828 году неизвестно откуда взявшийся юноша, который не умел ходить и говорить. Таинственным образом убит пять лет спустя. Также упоминался в рассказе Харлана Эллисона о Джеке-потрошителе, представленном в «Опасных видениях».

[145] Примечания: 145

В конце жизни, в 1913 году, Бирс после многих личных трагедий отправился освещать гражданскую войну в Мексике и присоединился к армии революционера Панчо Вильи, после чего пропал без вести. Существуют недоказуемые версии, согласно которым его могли убить как повстанческие, так и правительственные войска.

Джек-потрошитель? и Д) С чего Эрик Сигал стал популярным писателем? — я давно ломаю голову над двумя вещами:

1. Почему при том, что существует много фантастов-евреев, в мире так мало НФ или фэнтези, основанных на еврейской культуре? Казалось бы, почва богатая.

2. Почему, хотя шутить есть над чем, в мире так мало запоминающейся НФ и фэнтези? Знает бог, многие тексты — смешные, хотя такими не задумывались.

Не считая историй от Аврама Дэвидсона, необыкновенного нового романа Исидора Хэйблума от *Ballantine* «Цадик семи чудес» (*The Tsaddik of the Seven Wonders*), разбросанных тут и там диббуков или големов, чудесного рассказа Кэрола Карра «Слушай, думаешь, это у тебя неприятности?» (*Look, You Think You've Got Troubles*) в *Orbit 5*, ранних забав Фредерика Брауна, «Билла, героя Галактики» Гарри Гаррисона, кое-чего из Шекли, кое-чего из Гуларта и много чего из Ларри Эйзенберга (помните «Что случилось с Огюстом Кляро?» в «ОВ»?), еврейскую или действительно смешную НФ не сыскать днем с огнем. Где бы мы были без Исаака Башевиса-Зингера?

Хотя удовлетворительного ответа на эти две

загадки не будет никогда, время от времени какой-нибудь чудик в наших рядах — вроде Лафферти — пишет славный ригодон, и мы наивно верим, будто равновесие наконец восстановится. Но это всего лишь один рассказ от одного писателя, а потом он остается в прошлом — и мы снова ищем ответы.

Теперь поискам конец.

На оба вопроса ответил — пусть хотя бы временно — Леонард Ташнет.

Безумный доктор медицины из Мейплвуда, штат Нью-Джерси, решительно отказывающийся разглашать любые личные сведения, выдает на-гора уморительное видение, и одна из его многих опасностей в том, что у вас надорвется сердце — от смеха. Вместе с рассказами Воннегута, Уилсона, Маккалоу и Блиша этот помогает восстановить равновесие и доказывает, что мы в НФ-мире не такие уж мрачные засранцы, какими кажемся миру внешнему.

(С другой стороны, жанр, в котором пишет Азимов, нельзя без зазрения совести назвать несмешным.)

(Доктор А., да уж!)

И хоть у нас нет других данных о личной жизни доктора Ташнета, его резюме расскажет, где

найти еще Ташнета — даже намного больше, чем вы хотели знать.

И все-таки нет никаких сомнений, что Терпсихора Ташнета — мицва[146].

РАССКАЗЫ
(ОДНОЙ ЗВЕЗДОЧКОЙ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ФАНТАСТИКА)

[146] Примечания: 146
Мицва — доброе дело в иудаизме.

Ball StateForum	«A Goodly Apple» «Bobby Booby»
The Christian	«Cards»
Cimarron Review	«Dangerous Books»
De Kalb Literary Arts Quarterly	«Poire Helene»
Diagnostics	«The Dance of Justice» «The Barred Hut»
Discourse	«Thanks»
Fantasy & Science Fiction Magazine	«In the Calendar of Saints»* «The Chelmlins»* «Gifts from the Universe»**,*** «The Worm Shamir»* «Lord of Sensation»* «Matchmaker, Matchmaker»* «Aunt Jennie's Tonic»*
Forum	«A Little Fatherly Advice» «The Rod of Aesculapius»
Four Quarters	«The Nearest Field» «Obituary» «Bandiera Rossa»
Jewish Currents	«The Ban» «The Gastric Jews» «The Yellow Passport»
Jewish Frontier	«The Sewing Machine»*** «The Culture Vulture» «The View Depends on Where You Sit» «Benefit of Clergy» «A Jewish Heart»

Journal of the A.M.A.	«The Weight of Evidence»
Maelstrom	«Lotte»
Medical Opinion & Review	«A Cynical Fable»
Midwestern University Quarterly	«Summer Job»
Modern Age	«New York Is Full of Lonely People»
Mosaic	«Adoshem»*
National Jewish Monthly	«The Non-Resister»
New Dimensions	«Автомобильная чума» («A Plague of Cars»)
New Frontiers	«Supper on the Table»
New Mexico Quarterly	«The Logic of Magic»
Nimrod	«Balaam»
Penman	«The Integration of DeWitt Manor»
Per Se	«The Discount Store»
Prairie Schooner	«Клознеры»**** («The Klausners») «A Pious Old Man with a Beard» «A Week with Lilith, Raisins in the Cabbage» «The Village Priest»
Reconstructionist	«Experiment in Paradise»***** «A Joyful Noise»
Reign of the Sacred Heart	«A Minor Miracle»
Roanoke Review	«Some Pounds of Flesh»
Today Magazine	«For Which the First»
Twigs	«The Red Dress»

University Review	«Mother of the Gracchi» «I'm Not a Snob» «A Short Flight into the Invisible»
Wind	«When Fond Recollection»

КНИГИ (НОН-ФИКШЕН)

«Умереть с честью» (*To Die With Honor, Citadel Press,* 1965)
«Знахари» (*The Medicine Men, St. Martin's Press*, 1971)
«Применения вражды» (*The Uses of Adversity, Thomas Yoseloff,* 1966)

СТАТЬИ

Chicago Jewish Forum	«King Chaim Rumkowski»
Eucharist	«A Priest at the Bedside»
Jewish Currents	«The Little Doctor»*****
Journal of History of Medicine	«The Ghetto of Lodz» «Murder by Disease»

** Включен в антологию *Best from Fantasy & Science Fiction, Doubleday*, 1969.

*** Адаптировано для постановки на сцене (1964, 1966).

**** Включен в антологию *Best American Short Stories of 1971, Houghton Mifflin,* 1971.

***** Включены в антологию *They Fought Back, ed. Yuri Suhl*, (Crown, 1967).

Дело Гловера
Леонард Ташнет



Наконец дело Гловера дошло до Верховного суда. На пятничном заседании девять судей единогласно постановили истребовать и заслушать его. Единогласные в начале, в дальнейшем каждый уже занял свою позицию и готовил особое мнение. Делу Гловера предстояло стать вехой в праве — как для целой новой области, так и для области завещаний, трастов, имущества юридических лиц и Уголовного кодекса, а подтекст в

obiter dicta[147] затронули бы эвтаназию и законы о недобросовестном поведении в медицине и юриспруденции.

Казалось бы, тут требовалось всего лишь установить факты — чем обычно не занимается столь августейший орган, как Верховный суд Соединенных Штатов. Ральф Гловер, блестящий и энергичный основатель многогранной бизнес-империи, носившей его имя, недавно скончался — или же нет? Если он мертв, его четыре сына от первой жены и две дочери от второй (обе супруги скончались раньше его, что не должно наводить на подозрения) унаследуют и поделят поровну все состояние, не считая сравнительно маленьких даров по завещанию; великий Фонд Гловера, международно известный институт медицинских исследований, не получит ничего, удостоившись множества крупных грантов еще при жизни своего основателя; федеральное правительство и штаты проживания наследников будут с нетерпением ждать значительных налогов на наследство. А если он жив, попечите-

[147] Примечания: 147

Obiter dicta (*лат.* — «сказанное попутно») — юридическое понятие в англосаксонском праве: часть судебного решения, необязательная для дальнейших судебных дел. Здесь и далее другие юридические термины на латыни.

ли Фонда Гловера, освобожденного от выплаты налогов, продолжат получать, как получали уже пять лет, всю прибыль от множества корпораций, составляющих «Гловер Энтерпрайзес»; дети останутся предоставлены сами себе, то есть его сыновьям и зятьям придется искать работу; а правительствам страны и штатов остается дожидаться, собственно, кончины Гловера.

Судья Аллен Фрейндлих в своей прославленной емкой манере подытожил научную сторону вопроса следующим образом. 1. При заморозке живых тканей ледяные кристаллы, образовавшиеся из внутриклеточной жидкости, занимают больше места, чем в жидком состоянии, отчего клеточные стенки разрушаются и происходит смерть ткани. 2. Химическое вещество диметилсульфоксид, известное как ДМСО, обладает удивительной способностью связываться с внутриклеточной жидкостью, поэтому при температуре ниже нуля по Цельсию ледяные кристаллы не образуются, а клеточная структура остается неизменной, если не считать агрегатного состояния. 3. Когда ДМСО вводится внутривенно в тело маленького млекопитающего, оно после быстрого замораживания выдерживает падение температуры тела много ниже точки замерзания воды и далее пребывает в

этом замороженном состоянии, как мясо в супермаркете, без вреда для ткани и с приостановкой всех жизненных функций. 4. Затем при постепенном повышении температуры все функции можно восстановить, в том числе активность высших мозговых центров. Крысы после разморозки ели, пили, спаривались и легко проходили лабиринты по ранее заученным маршрутам — в точности как до искусственной спячки, или состояния анабиоза. Эксперименты выявили, что подобная спячка не приносит никакого вреда в течение по меньшей мере десяти лет, — а возможно, и дольше, но первая партия животных была заморожена только десять лет назад. 5. Что верно для крыс, то верно и для крупных млекопитающих, включая приматов. Процесс заморозки успешно пережили макаки-резусы, гиббон и два шимпанзе; шимпанзе в дальнейшем спаривались и рожали потомство. 6. Процедура не оказывала пагубного эффекта, не считая развития катаракт — помутнения хрусталика, которое легко исправить операцией. 7. Однако повторная заморозка уже разрушает внутренние органы; почему — неизвестно.

Судья Генри Гибсон перечислил бесспорные факты дела: мистер Ральф Гловер, шестьдесят два

года, находясь в здравом уме и твердой памяти, но страдавший от неоперабельного рака поджелудочной железы с метастазами в печень, велел ввести ему ДМСО и подвергнуть искусственной заморозке. Сейчас он (или его тело) покоится в холодильной камере Мемориальной больницы имени Эбби Ч. Гловер в Нью-Йорке; изначально в камере хранились трупы для аутопсии. Инъекцию и дальнейшее замораживание провела группа врачей под руководством докторов Грина и Хэнки, принявших полную ответственность за свои действия. Они действовали по поручению самого мистера Ральфа Гловера. Письмо с поручением приобщено к делу; его аккуратно составила фирма с безупречной репутацией «Шайрс, Бэнд и Джарвис», и ее старшие партнеры лично засвидетельствовали подпись мистера Гловера. Письмо, будучи договором докторов Грина и Хэнки с Ральфом Гловером, давало им полное разрешение на процедуру с целью сохранить жизнь Гловера; он (или его тело) должен находиться в анабиозе до времени, когда будет открыто лекарство от рака; тогда следовало восстановить его активность (или жизнь?). В период спячки доктора Грин и Хэнки или назначенные ими преемники становились поверенными с полными полномочиями

действовать от лица Гловера в любом качестве, а прибыль, поступавшая от всех его предприятий, шла на ускоренное исследование рака.

Впервые дело рассматривали в нью-йоркском суде по делам о наследстве и опеке: Адольф Брюн, шофер Гловера, заявил, что его работодатель умер, и потребовал передать завещание на утверждение судом, чтобы получить по воле (бывшего?) работодателя тысячу долларов. А дальше начались сложности. Фонд Гловера заявил, что Ральф Гловер жив и утверждение завещания, мягко говоря, преждевременно. Трое наследников (?) подали иск в федеральный суд (из-за разных гражданств) с требованием распределить имущество покойного (?) отца. Докторов Грин и Хэнки судили и признали виновными в умышленном убийстве, поскольку они, полностью осознавая происходящее, причинили смерть введением ядовитого препарата. Они подали апелляцию на основании ошибки судьи, принявшего доказательство (?), что Ральф Гловер мертв, когда это не так; доказательство представляло собой осмотр тела (?) патологоанатомом в холодильной камере. Апелляционный суд на заседании *en banc*[148]

[148] Примечания: 148

Заседание с участием всех судей апелляционного суда, а не отдельной коллегии.

в составе пятерых участников подтвердил вердикт, но судья Минглин категорически возражал на том основании, что якобы скончавшийся *in posse*[149] жив и что *corpus delicti*[150] не выявлено.

Арчибальд Смит, зять, напомнил о постановлении города, требующем проводить вскрытие при подозрении на насильственную смерть, но благодаря петиции Люка Гловера, сына, был одобрен временный запрет на вскрытие. Он оспорил право города выдавать приказы на причинение увечий трупу (?) без разрешения ближайших родственников, особенно с учетом того, что данного трупа (?), как отмечал судья Минглин, и не существует.

Вдобавок наследники (?) подали в суд против докторов Грина и Хэнки, а также Мемориальной больницы имени Эбби Ч. Гловер, где проводилась процедура, с обвинением во врачебной ошибке и выиграли. Им присудили огромную компенсацию, но ее оспорила страховая компания со специализацией на врачебных ошибках «Кадуцей», утверждавшая, что наследники (?) не имеют обоснованного права судиться от лица еще жи-

---

[149] Примечания: 149
Потенциально.

[150] Примечания: 150
Состав преступления.

вого совершеннолетнего лица, способного после восстановления полного сознания говорить за себя, пострадало оно в ходе процедуры или нет.

Отдельные члены Нью-йоркской адвокатуры потребовали голосования об осуждении фирмы «Шайрс, Бэнд и Джарвис» за нарушение этики, поскольку фирма участвовала в составлении вопиюще аморального и мошеннического договора. Лишь чудом голосование отложили до публикации доклада ad hoc[151] комитета. Комитет начал собирать в судах мнения, можно ли считать договор мошенническим из-за его заявления о намерении, которое основано на человеческом бессмертии,– состоянии, которое противоречит здравому смыслу и Закону о богохульстве, принятому в первые дни суверенного Штата Нью-Йорк и с тех пор не отмененному. Общество развития атеизма ходатайствовало о разрешении подать краткий *amicus curiae*[152] и показать, что Закон противоречит Первой поправке к Конституции.

Далее генеральный прокурор штата Нью-Йорк обвинил фирму «Шайрс, Бэнд и Джарвис» в участии в заговоре против публичного правопорядка

---

[151] Примечания: 151
Специальный, для этого случая.

[152] Примечания: 152
«Друг суда» — мнение эксперта, не участвующего в судебном деле.

— а именно против нормы, что ни один человек не имеет права на самоубийство. Врачи также обвинялись в пропаганде безнравственной и тлетворной доктрины, — а именно что жизнь безнадежно больного пациента можно безнаказанно отнять под предлогом облегчения страдания и боли, — заклейменной как в американских судах в деле «Виггинс против Мура», так и в международных, на Нюрнбергских процессах.

Налоговые комитеты таких штатов, как Калифорния, Нью-Йорк, Огайо и Флорида, также подали иск на распределение имущества Гловера, поскольку одобрение продленного существования Ральфа Гловера в его нынешнем состоянии (будь то живом или мертвом) грозило стать новаторской лазейкой в законах о юридическом имуществе, раз корпорация, которой перешли в управление земля и собственность, не станет выплачивать штатам законные налоги.

Федеральное правительство аннулировало безналоговый статус Фонда Гловера на том основании, что Фонд существует исключительно для поддержания жизни (?) одного человека — цель похвальная, но не учтенная в существующем налоговом законодательстве о благотворительных трастах.

Фонд Гловера согласно решению большинства попечителей снял докторов Грина и Хэнки с их должностей из-за их судимости, из-за которой они теряли законное право выступать от лица Ральфа Гловера. В этом Фонд поддержали директоры «Дженерал Диатроникс» и «Магнолия Консолидейтед» — дочерних структур Гловера, которые отказались подчиняться судебному приказу и передавать врачам свою прибыль.

Затем сами доктора Грин и Хэнки потребовали в суде отменить решение Нью-Йоркского совета здравоохранения о том, чтобы тело (?) Ральфа Гловера похоронили или кремировали согласно местным постановлениям и законодательству штата на том основании, что держать труп (?), так сказать, на льду в течение пяти лет — это слишком долго и противно хорошему вкусу.

Также врачи потребовали у Управления по санитарному надзору декларативное решение о том, что ДМСО — безвредный препарат, неспособный причинить смерть в дозе, введенной Гловеру; им было отказано на том шатком основании, что Управление, принадлежа к исполнительной власти, никогда не вмешивается в дела прежде судебной.

Агнес Литински, одна из наследниц второй

очереди, запросила и добилась запрета на все попытки размораживания, поскольку имела имущественное право на наследство и не желала его лишаться до вынесения окончательного решения. Запрет приостановили по ходатайству графини де Круа, одной из дочерей Гловера. Графиня, в свою очередь, просила назначить для ее отца законного опекуна, поскольку в нынешнем состоянии он недееспособен и не может управлять своими делами; эту просьбу оспорили двое братьев и одна сестра, чьи юристы заявили, что назначать опекуна для мертвеца — это абсурд.

И теперь эта запутанная паутина предстала перед Верховным судом. По согласию всех заинтересованных сторон дела консолидировали для окончательного решения, поскольку все дела зависели от состояния Ральфа Гловера. К многотомным искам прилагались записки от организаций, получивших разрешение на участие в качестве *amici curiae*; среди них самые важные — Общество биологов-экспериментаторов и Американская криологическая ассоциация. Первые заявляли, что осуждение врачей отбросит назад исследования трансплантации органов из-за страха других врачей. Вторые возражали, что называть замораживание живых людей убийством

есть нарушение свободы человека поступать со своим телом, как он пожелает.

Верховный судья велел разрубить гордиев узел. И он гордился своим предложением, чтобы тело (?) Ральфа Гловера осмотрел уполномоченный юрист и дал свое мнение, жив тот или мертв. И его раздосадовал отчет юриста с его группой судмедэкспертов. Уполномоченный юрист заявил, что ЭКГ можно толковать двояко: на них нет ни мозговых волн, присущих живым людям, ни признаков электрического тока в сердечной мышце; однако, отмечал он, при очень низкой температуре, при которой хранится тело (?), минимальная электропроводимость или ее отсутствие вполне ожидаемы. Не выявлено ни пульса, ни сердцебиения, ни дыхания. Но и эти результаты не имели никакого значения, поскольку, как продемонстрировало знаменитое исследование голода в Варшаве[153], трудно установить время смерти, когда метаболизм близок к нулю. Застывшую кровь не получалось взять на анализ уровня кислорода. Осмотр глазного дна на состояние кровяных сосудов невозможен из-за затуманива-

[153] Примечания: 153

Исследование воздействия голода на организм, предпринятое еврейскими врачами в 1942 году в Варшавском гетто, когда нацисты месяцами морили голодом его обитателей.

ния хрусталиков и помутнения внутриглазной жидкости и стекловидного тела. На тканях не обнаружены трупные пятна, которые должны были появиться уже через несколько часов после смерти, не то что через пять лет. Еще больше замешательства внес небольшой образец кожи, взятый на биопсию (или аутопсию): когда его разморозили, микроскоп показал мутное набухание клеток — распространенный признак смерти, однако — увы! — наблюдаемый и при таких кахектических и атрофических состояниях, как рак высокой стадии.

Судьи прочитали отчет и угрюмо переглянулись. Судья Роберт Гордон, вспыльчивый старик, который отказывался уходить в отставку[154] и не терпел новых идей, фыркнул:

— Ну, так мы каши не сварим. Хорошо, тогда выпишем приказ о доставлении в суд. Пусть доставят в суд тело. — Он захихикал. — Тогда его придется разморозить. Коль он жив, все иски отменяются. Если навечно мертв — ну и выраженьице! — рассудить каждое дело будет раз плюнуть.

Мистер Уильям Клани, самый младший судья,

---

[154] Примечания: 154
На пост верховного судьи в США назначаются пожизненно.

поджал губы:

— Хотел бы напомнить нашему ученому брату, что мы можем выписывать такой приказ только в строго обозначенной юрисдикции. Кроме того, даже будучи апелляционным судом, мы можем выдать его только для того, чтобы установить, не арестован ли человек судом низшей инстанции в нарушение юрисдикции или полномочий. А иначе нужен целый акт Конгресса о расширении нашей власти. Можете представить себе, какой поднимется шум, если мы об этом попросим после наших решений о сегрегации и гражданских правах?[155]

Главный судья кивнул:

— Согласен. На это мы пойти не можем. Но и в предложении моего брата есть разумное зерно. Давайте прикажем разморозить тело ради установления намерений Гловера в том письме для врачей. Все наши разногласия сходятся на нем. Гловер заявил, что цель процедуры — поддерживать его жизнь до того, как найдут лекарство

---

[155] Примечания: 155

В 1954 году Верховный суд рассматривал историческое дело «Браун против Совета по образованию» и постановил, что необходимо создавать единые школы для черных и белых. Это была первая серьезная победа движения за гражданские права, но ответная возмущенная реакция была сильной — начиная с того, что в первую такую школу в Литл-Роке черных учеников не пускала местная полиция и разъяренная толпа, и президенту Эйзенхауэру пришлось задействовать армию.

от рака. Это слишком уж неопределенная дата. Это эквивалентно созданию вечного траста. Мы потребуем установить четкие сроки заморозки, которые назовет сам Гловер viva voce[156] или письменно под присягой.

Судья Фрейндлих покачал головой.

— Так не пойдет. Если прикажем разморозить тело, мы нарушим условия его договора с врачами. Его уже нельзя будет заморозить повторно. Мы имеем право нарушить договор, только если тот противоречит публичному правопорядку или конкретному уложению закона. А иначе мы обречем Гловера на настоящую смерть — если он еще жив.

— К тому же, — вклинился судья Гибсон, — мы не можем приказать проводить размораживание врачам, осужденным за убийство, не подразумевая тем самым, что на самом деле они невиновны и тело воскрешаемо. Не можем мы и бездоказательно постановить, что Гловер жив. Если нам кажется, что он жив, нет причин его размораживать. И еще одно. Если издать такой приказ, мы вернемся к испытанию судом Божьим. Если человек жив, врачи освобождаются от обви-

---

[156] Примечания: 156
Устно.

нений в убийстве. Зато к ним подадут иски на огромные суммы Фонд Гловера и сам Гловер — за нарушение договора. А если он мертв, они инкриминируют сами себя тем, что не могут его… его… ну, воскресить.

Заседание закрылось без решения. Для создания видимости, что судьи знают свое дело, они велели молодым сообразительным клеркам подготовить доклады о характере договоров, составляемых в ожидании смерти, об ответственности невменяемых (особенно с патологическим *horror mortis*[157]) при заключении соглашений, а также о законах о долге врачей перед их пациентами, которых ждет неминуемая смерть.

В следующий понедельник профсоюз инженеров по эксплуатации и пожарных объявил в Нью-Йорке забастовку. Не самая лучшая пора для больниц и других заведений, зависящих от запасных генераторов, поскольку в среду на верхнее Восточное побережье обрушилась гроза, опрокинув вышки электросети и отключив электричество. На четырнадцать часов Нью-Йорк погрузился во тьму.

Естественно, пострадали и все холодильные

---

[157] Примечания: 157
Ужас смерти (*лат.*).

системы. Кончился лед для хайболов, портилось мясо в холодильниках, пропадали вакцины и другие биологические материалы.

Мемориальная больница имени Эбби Ч. Гловер и ее холодильная камера не избежали всеобщей участи. Погибли все животные в анабиозе. Как и Ральф Гловер, о чем с глубокой печалью сообщили доктора Хэнки и Грин своим юристам, а те скорее телеграфировали в Вашингтон.

В пятницу судьи собрались вновь. Главный судья издал вздох облегчения, когда зачитали его очень краткое мнение по делу Гловера и впервые за шесть лет Суд единогласно его поддержал. По результатам голосования 9–0 было принято его решение: «Суд находит, что Ральф Гловер умер в результате форс-мажора в неустановленную дату». Тем самым они обходили претензии всех исков. Далее следовала череда приказов о передаче исков в суды низшей инстанции для окончательного решения.

Графиня де Круа из дочернего долга и ради лазеек в налоговом законодательстве учредила согласно нормам штата Делавэр некоммерческую корпорацию «ДМСО-Криобиологический Институт». Его заявленная цель — повторить с живыми добровольцами ту же процедуру,

которую прошел ее отец. Общество против вивисекции затребовало постоянный запрет на подобные эксперименты, несмотря на то, что добровольцев не было — красноречивый признак недоверия широкой общественности к американской электроэнергетике.

Послесловие

В судебной медицине крайне важно устанавливать время смерти (или рождения). В мою бытность ординатором первый писк младенца в момент рождения регистрировала ассистирующая медсестра. Это, очевидно, важно для близнецов, но необходимо и в случае одного ребенка. Сами себе представьте: если две сестры родят в один и тот же час (как случалось на моем опыте), а дед оставляет крупную сумму денег старшему внуку, то ответ, кто родился первым, решает все.

По поводу времени смерти любой врач вам подтвердит, какая это боль (физическая и эмоциональная) — «объявлять» пациента мертвым, особенно если смерть наступает в три часа ночи или в какое-нибудь другое неудобное время для врача. Но важно и то, *когда* умирает пациент, — причем не только в детективах. Раньше или позже своей жены скончался пациент в несчастном случае или в парном самоубийстве? Был ли жив на время смерти другого человека, который завещал ему деньги?

Ныне, в нашу оптимистичную эпоху транс-

плантаций сердца, точное время смерти имеет первостепенное значение. Уже не раз подавали в суд из-за ошибки или умышленного убийства на врачей, принимавших участие в пересадке сердца. К тому же теперь можно различными искусственными мерами поддерживать подобие жизни (если считать «овоща» живым). В медицинской этике встал ребром щекотливый вопрос. Считать ли долгом врача «поддерживать официальную жизнь» безнадежно больного пациента? Но кто готов стать тем бездушным судьей, что под свою ответственность прекратит подачу внутривенных препаратов, стимуляцию сердца, искусственное дыхание? Папа Римский выступил за обязательность ненужного и бессмысленного продления того, что зовется жизнью, даже когда на восстановление надежды уже нет. А власти Швеции разрешили в тех же случаях отключать жизнеобеспечение. Задумайтесь: был пациент жив, когда его подключали, или мертв?

А теперь у нас есть криобиология. Холоднокровных животных уже замораживали и затем успешно оживляли. Недавно беглец с Кубы пережил кислородное голодание и температуру, до сих пор считавшуюся слишком низкой для

жизни[158].

Может, и вышеприведенный рассказ не столь уж фантастичен. *Если* найдутся люди-добровольцы, готовые лечь на заморозку, и *если* будут ученые, готовые экспериментировать на *corpore vili*[159], и *если* метод заморозки не будет зависеть от нашей нынешней электроэнергетики, тогда…

[158] Примечания: 158

Имеется в виду знаменитый случай Армандо Сокарраса Рамиреса (род. 1956), сбежавшего в 1969-м из Кубы в отделении колеса самолета. Когда его извлекли, он был полностью покрыт льдом.

[159] Примечания: 159

На малоценном организме (*лат.*).

Предисловие «Нулевая гравитация»



Писать предисловия к рассказам чужих людей или шапочных знакомых — и даже близких друзей — сравнительно просто. Даешь волю языку, и все. Начинаешь близко или издалека — и вперед. Мне это в охотку. Но когда встает задача написать предисловие к тому, кого я люблю, я вдруг теряюсь в клавишах.

В «Опасных видениях» так было с Силвербергом, с кем мы очень близки почти всю мою взрослую жизнь. Один Бог знает, что бы я делал, если бы рассказ прислал Айзек, — просто не представляю, о чем писать в предисловии к Азимову (хотя этому грязному пошлому старикашке не составило труда написать обо мне).

К чему я сейчас пытаюсь пробиться: я не знаю, с чего начать предисловие о Бене Бове.

Может, как Джо Хенсли, Лестер дель Рей, Генри Слизар, Боб (Роберт) Блох, Фил Фармер, Норман Спинрад и Роджер Желязны, он значит для меня так много, является такой постоянной и существенной частью моего мира, что для меня представить его и его творчество — все равно что трепаться о воздухе, или о том, как мои глаза воспринимают цвета, или о вкусе разных блюд. (И здесь я сделаю отступление. Господи, да я самый везучий дурак на свете, раз у меня есть такие друзья.)

Я встретился с Беном где-то десять лет назад, в Милфордской творческой мастерской Деймона Найта. Мы почти сразу же сдружились. Хоть его тогдашняя жена Роза и дала мне по зубам так, что голова болит до сих пор, если вспомню.

Когда мне надо было узнать что угодно о лазерах, я звонил по межгороду Бену. Это Бен сделал мне лучший рождественский подарок в моей жизни, когда позвонил сказать, что Джон Кэмпбелл купил наш рассказ «Брилло» — моя первая продажа в *Analog* и кульминация двадцатилетней мечты. Это Бен не дал мне впасть в буйство во время самой скучной недели моей жизни. И это

Бену Бове я звонил в самую паршивую ночь моей жизни, когда скатился так низко, что, казалось, уже никогда не выползу обратно.

Бен Бова вызывает такое уважение во всех отношениях, что представить его — все равно что рассказывать об отце, или старшем брате, или кровном брате.

Проще говоря, друзья, это не в моих силах.

И, Бен, в компенсацию за то, что так тебя подвел, когда исследовательская лаборатория «Авко Эверетт» пошлет тебя в следующий раз в командировку в ЛА, я исполню не только номер из «Луни Тюнс» про водевильную лягушку, но и подражание Даффи Даку.

Сам Бен сообщает:

«Я родился в день, когда впервые избрали Франклина Рузвельта. Я одновременно заинтересовался фантастикой, астрономией и ракетами… когда увидел первый номер *Action Comics*, где на первой иллюстрации малыш-Супермен улетал со взрывающейся планеты Криптон на ракете.

Работал в газетах и журналах Филадельфии до, во время и после учебы в Университете Темпл, где в 1954-м получил степень по журналистике. К 1956-му на первый план вышла моя истинная любовь, и я устроился в „Мартин Компани“ в

Балтиморе техническим редактором на проекте „Авангард“. В 1958-м переехал в Новую Англию (после запуска на орбиту спутника „Авангард“ — ну, с помощью нескольких инженеров). Писал киносценарии для группы известных физиков, которые составляли новый курс по физике для старшей школы. Потом устроился в исследовательскую лабораторию „Авко Эверетт“, сначала как научный писатель, сейчас — как менеджер по маркетингу. В мои обязанности входит писать фантастические рассказы правительству, чтобы оно давало деньги на воплощение этих рассказов в жизнь. И ведь часто дает! Наша лаборатория работает над агентным моделированием, лазерами, магнитной гидродинамикой и искусственными сердцами. Среди прочего. В ноябре 1971-го я стал редактором *Analog*; никто не удивился больше меня».

А ниже следует довольно полная библиография Бовы. (Впрочем, надо кое-что отметить для тех, кто выложил деньги за его новеллизацию фильма «THX 1138» от *Paperback Library*: хитроумный издатель не напечатал последнюю страницу оригинальной рукописи. Виноваты они, не Бен.)

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

«Звездные завоеватели» (*The Star Conquerors*),

1959

«Звездный дозорный» (*Star Watchman*), 1964

«Властелины погоды» (*The Weathermakers*), 1967

«Из солнца» (*Out of the Sun*), 1968

«Дуэльная машина» (*The Dueling Machine*), 1969

«Побег!» (*Escape*!), 1970

«Изгнанники с Земли» (*Exiled from Earth*), 1971

«THX 1138», 1971

НАУЧНЫЙ ФАКТ

«Галактика Млечного Пути» (*The Milky Way Galaxy*), 1961

«Великаны из мира животных» (*Giants of the Animal World*), 1962

«История рептилий» (*The Story of Reptiles*), 1964

«Применения космоса» (*The Uses of Space*), 1965

«В поисках квазаров» (*In Quest of Quasars*), 1969

«Планета, жизнь и последний ледниковый максимум» (*Planets, Life and LGM*), 1970

«Четвертое агрегатное состояние» (*The Fourth State of Matter*), 1971

Нулевая гравитация
Бен Бова



Джо Тенни напоминал центрального полузащитника «Питтсбург Стилерс». Его, сидящего в прохладной тени бара в мотеле «Астро», смуглого, сложенного как бык, с тлеющей сигарой, зажатой в оскале, ни за что бы не приняли за редчайшую из птиц: хорошего инженера и хорошего офицера армии.

— Добрый день, майор.

Тенни повернулся на стуле и увидел старика Сая Колдера — руководителя репортеров, пишу-

щих о базе.

— Привет. Что пьем?

— Я на работе, — с достоинством ответил Колдер. Но все-таки приземлил некогда долговязое тело на соседний стул.

— Двойной скотч! — попросил Тенни у бармена. — И мне повторить.

— Офицер и джентльмен, — пробормотал Колдер. Его голос был скрипучим — под стать лицу.

Когда бармен придвинул стаканы, Тенни сказал:

— Ты хочешь знать, кого назначили.

— Я же сказал: я на работе.

Тенни ухмыльнулся.

— Слишком неймется, не дотерпишь до завтра? Тогда Мердок все официально объявит на пресс-конференции.

— Если избавишь меня от скуки выслушивать славного полковника два часа, только чтобы узнать одно-единственное имя, я угощу тебя скотчем, буду месяц начищать тебе ботинки и проиграю тебе в покер.

— Скажешь тоже!

Колдер пожал плечами. Тенни сделал долгий глоток. Колдер — тоже.

— Ладно. Ты так и так узнаешь. Но чтоб по-

малкивал до объявления Мердока. Полетит Кинсмен.

Колдер аккуратно поставил стакан на стойку перед собой.

— Честер Э. Кинсмен, гордость военно-воздушных сил? Верится с трудом.

— Его отобрал лично Мердок.

— Я знаю, что миссия задумана только для рекламы,– сказал Колдер,– но Кинсмен? Три дня на орбите с самой красивой женщиной из журнала *Life*? Мердоку нужна реклама или иск об установлении отцовства?

— Брось, Чет не так уж плох…

— Ах нет? Судя по тому, что я наслушался о ваших нескольких неделях в центре «Эймс» НАСА, Кинсмен погулял от Беркли до Норт-Бич.

— Он молод и красив, — парировал Тенни. — А у девушек невелик выбор космонавтов. Шайка НАСА — это дом престарелых на выгуле в сравнении с моими пацанами. Но Чет — лучший из лучших, кроме шуток.

Колдера это не убедило.

— Слушай. Когда мы тренировались в Эдвардсе, знаешь, что учудил Кинсмен? Построил биплан — вылитую копию истребителя «Спад». С нуля. Он достойный гражданин.

— Да, и потом он шесть недель играл на нем в Красного Барона. Разве он не угодил в неприятности из-за того, что пугал авиалайнер?

Ответ Тенни прервался из-за всплеска болтовни и смеха. По покрытой ковром лестнице в бар взбежали полдесятка поджарых парней в голубой форме ВВС — все в звании капитана.

— А вот и они, — сказал Тенни. — Можешь расспросить о Чете его самого.

Кинсмен ничем не отличался от других космонавтов из ВВС. Чуть ниже метра девяноста, худой с молодой поджаростью, темные волосы пострижены военным ежиком, серо-голубые глаза, вытянутое костлявое лицо. Он широко улыбался, когда он и пятеро других космонавтов захватили стулья в углу бара и объявили заказы одинокому бармену.

Колдер забрал стакан и направился к их столу в сопровождении майора Тенни.

— Молчать! — объявил своим один из капитанов. — Пресса идет.

— Полная секретность.

— А что такое, парни? — Колдер постарался подбавить в свой скрипучий голос обиду. — Неужто не доверяете?

Тенни придвинул новостнику стул и взял себе

еще один. Усевшись, успокоил капитанов:

— Все в порядке. Я уже все разболтал.

— И сколько он вам платит, командир?

— А это между нами.

Бармен принес поднос с выпивкой, и Колдер сказал:

— Это за счет четвертой власти, господа. Хочу выжать из вас все данные.

— Много же придется угощать.

— Поздравляю, мальчик мой, — обратился Колдер к Кинсмену. — Полковник Мердок о тебе очень высокого мнения.

Кинсмен расхохотался.

— Мердок? Да вы бы видели его лицо, когда он сообщал, что выбрали меня.

— Будто лимонов наелся.

Тенни пояснил:

— Выбор космонавта для полета главным образом делал компьютер. Мердок хотел полной честности, поэтому ввел показатели всех пилотов и получил на выходе имя Кинсмена. Если бы он не похвалялся своей беспристрастностью, то перетасовал бы карточки и попробовал еще разок. Но компьютер закончил анализ в моем присутствии, и он уже не смог пойти на попятную.

Колдер ухмыльнулся.

— Ну ладно, Чет, тогда о тебе высокого мнения компьютер — пожалуй, это тоже честь.

— Скорее привилегия. Я всю тренировку наблюдал за этой телкой из *Life*. Глаз не оторвать.

— На орбите будет выглядеть еще лучше.

— Стоит ей снять скафандр… и так далее.

— Эй, а ведь еще никто не занимался этим на орбите.

— Ага… свободное падение, нулевая гравитация.

Кинсмен задумался.

— У задачки возникает новое измерение, верно?

— Трехмерный секс. — Тенни вынул из губ окурок сигары и расхохотался.

Колдер медленно поднялся со стула и попросил остальных замолчать. С теплом глядя на Кинсмена, он произнес:

— Мальчик мой, в 1915-м в Лондоне я вступил в клуб, в Клуб Одной Мили. На высоте ровно в 5280 футов, кружа над собором Святого Павла, я совершил успешное проникновение в армейскую медсестричку в открытой кабине… несмотря на затуманившиеся очки, тесное рабочее пространство и обжигающий ветер.

С тех пор ничего уже не осталось. Ныряльщики

освоили новый фронтир, но на самом деле это только шаг назад. Даже бестолковый дельфин может заниматься этим в воде.

Но тебя ждет кое-что новое: невесомость. Парить в свободном падении, гоняться за хвостом в трех измерениях. Это же словами не описать!

Кинсмен — я передаю факел тебе. Основателю Клуба Нулевой Гравитации!

Все как один встали и торжественно подняли тост за капитана Кинсмена.

Когда они снова сели, майор Тенни испортил им праздник:

— Вы недооцениваете котелок нашего Мердока. Думаете, он отправит Чета с девушкой одного?

Кинсмен спал с лица, зато остальные загорелись.

— Так это будет миссия на троих!

— Два мужика и одна телка.

— Вы погодите пускать слюни, — предупредил Тенни. — Мердок ищет сопровождающего, а не соучастника в изнасиловании.

До Кинсмена дошло. Сползая на стуле и уронив голову, он пробормотал:

— Сволочь… он пошлет Джилл.

Общий стон.

— Мердок принял решение час назад, — доба-

вил Тенни. — От тебя ему уже не отделаться, вот его и осенило. К тому же он выдаст серьезные задания, чтобы ты не сидел без дела. Например, спарить лабораторию с энергомодулем.

— Джилл Мейерс, — с отвращением произнес один капитан.

— Она опытна, она обучает девчонку из *Life*. И наверняка знает о миссии побольше любого из вас.

— Да уж наверняка.

— Собственно, — злорадно продолжил Тенни, — если не ошибаюсь, она единственный старший капитан среди вас, укротители спутников.

Единственным ответом Кинсмена было:

— Твою ж мать.

Пронимающий до костей рев взлета вдруг пропал. Сидя в контурном ложе, оглядывая ряды датчиков и показателей в нескольких сантиметрах от глаз, Кинсмен чувствовал, как слабнут нагрузка и напряжение. Не до нормы. А до нуля. Его уже не расплющивало о ложе — он едва его касался, чуть ли не парил над ним, удерживаемый только ремнями.

Он попал в невесомость в четвертый раз в жизни. И до сих пор улыбался от ее ощущения в своем громоздком шлеме.

Даже не задумываясь, он коснулся контрольной кнопки на подлокотнике. Сработал маневровый двигатель, и в иллюминаторе перед Кинсменом показался неуклюжий, прелестный шар планеты Земля. Он выгибался огромно и безмятежно, практически целиком голубой, но закутанный в чистейшую ослепительную белизну облаков — прелестное, мирное сияние.

Кинсмен мог бы смотреть на это вечно, но тут услышал в наушниках звуки движения. За ним бок о бок сидели две девушки. В сравнении с их кабиной и подлодка показалась бы просторной: три ложа еле втиснули среди приборов и инструментов.

Джилл Мейерс, попавшая в программу космонавтов из Управления авиационно-космической медицины, официально значилась вторым пилотом и биомедиком. «И дуэньей», — знал Кинсмен. Фотограф Линда Симмс считалась просто пассажиркой.

В наушниках Кинсмена затрещала связь с далекой Землей

— АФ-9, это ЦУП. Подтверждаем ваш выход на орбиту. Траектория штатная. Все системы в норме.

— Вас понял, — ответил Кинсмен в шлемофон.

Голос, уже гаснущий, перешел на обычный разговорный тон.

— Похоже, все идет как по маслу, Чет. Мы получим данные компьютера и пришлем, когда вы пройдете над наземной станцией на острове Вознесения. Скорее всего, долго маневрировать для стыковки не придется.

— Хорошо. На борту все в порядке.

— Ладно. Конец связи. — И слабо: — И эй… удачи, отец-основатель.

Кинсмен ухмыльнулся. Поднял щиток, ослабил ремни и обернулся на ложе.

— Все в порядке, девчонки, если хотите, можете снимать шлемы.

Джилл Мейерс подняла щиток и начала откреплять шлем.

— Я первая, — сказала она, — а потом помогу Линде.

— Тебе самой не помочь? — предложил Кинсмен. Джилл уже стянула шлем.

— Я провела на орбите больше тебя. И тебе разве не надо следить за приборами?

«Вот, значит, как у нас пойдет», — подумал Кинсмен.

Лицо у Джилл было круглое, простое и светлое, как новый пенни. Курносый нос, широкие

губы, короткие волосы неказистого русого цвета. Кинсмен знал, что под скафандром скрывается фигура, которую в лучшем случае можно назвать заурядной.

А Линда Симмс — совсем другое дело. Она уже подняла щиток и смотрела на него большими голубыми глазами, где женское любопытство сочеталось с примесью беспомощности. Высокая — ростом почти с Кинсмена, — с густыми медовыми волосами и телом, которое он уже запомнил до последнего изгиба.

Высоким и нежным голосом она произнесла:

— Кажется, меня сейчас стошнит.

— Ох, твою ж…

Джилл сунула руку в отделение между их ложами.

— Я разберусь. Ты следи за управлением. — И она мигом выхватила белый полиэтиленовый пакет, чтобы сунуть Линде под нос.

Содрогнувшись при мысли о том, чем бы это кончилось в нулевой гравитации, Кинсмен вернулся к панели управления. Надвинул щиток и включил вентиляцию в костюме, стараясь мысленно отгородиться от неприличных звуков Линды.

— Господи! — крикнул он. — Отключи ее радио!

Хочешь, чтобы я тут тоже все заблевал?

— АФ-9, говорит «Вознесение».

Стараясь не думать о том, что творится позади, Кинсмен щелкнул переключателем на панели связи.

— Продолжайте, «Вознесение».

В следующий час Кинсмен благодарил бога за то, сколько у него дел. Он соотнес орбиту их небольшого судна с орбитой лаборатории ВВС, которая провела в космосе уже больше года, пока на ней чередовались экипажи из двоих и троих человек.

Силуэт лаборатории в форме толстого цилиндра выделялся на ослепительно-белом фоне облачной Земли. Подводя корабль ближе, Кинсмен видел антенны, шлюз и прочие наросшие на корпусе пристройки. «С каждым полетом все больше похоже на свалку металлолома». За лабораторией отдельно парил огромный конус — новый энергетический модуль.

Кинсмен сделал кружок у лаборатории, умеренно применяя маневровые двигатели. Включил командную линию, и у лаборатории ожил радарный маячок, объявив о себе огоньком на контрольной панели.

— Все системы в норме, — передал Кинсмен в

ЦУП. — Все выглядит хорошо.

— Вас поняли, Девятый. Даем разрешение на стыковку.

А этот процесс уже был тоньше. «Вот бы Джилл следила за компьютером…»

— Расстояние восемьдесят восемь метров, — раздался у него в наушниках твердый голос Джилл. — Угол сближения…

Кинсмен машинально обернулся, но шлем не дал ее увидеть.

— Эй, а твоя пациентка?

— Уже опустела. Я дала ей успокоительное. Она отключилась.

— Ладно, — отозвался Кинсмен. — Тогда стыкуемся.

Он направил корабль к стыковочному кольцу исследовательской станции, закрепился и увидел, как огонек обозначил, что стыковка прошла успешно.

— Пора упаковать нашу спящую красавицу, — сказал он, нажимая на кнопку, чтобы выдвинуть гибкий коридор из люка у них над головой к главному шлюзу лаборатории. Когда туннель надежно закрепился у шлюза, огоньки на панели перемигнули с желтого на зеленый.

— Я должна проверить туннель, — сказала

Джилл.

— Сиди. Я сам. — Закрыв щиток, Кинсмен отстегнулся и с легкостью взлетел с ложа, чуть стукнувшись шлемом о люк.

— Вы обе крепко пристегнуты?

— Да.

— Следи за датчиком кислорода. — Он приоткрыл люк на несколько миллиметров.

— Давление в порядке. Красного сигнала нет.

Кивнув, Кинсмен открыл люк до конца. Без труда подтянулся в узкий туннель, отталкиваясь пальцами от стен и продвигаясь по его изгибающейся длине.

«Полегче, — напоминал он себе. — Без размашистых движений, без резкости».

Добравшись до люка, он медленно переворачивался, словно пловец, и проверял крепеж в свете налобного фонаря. Удовлетворенный, открыл вход и втолкнулся внутрь. Аккуратно коснулся клейкими подошвами пластикового пола и, закрепившись, выпрямился. Его руки по-прежнему парили, но он взялся за полки со снаряжением по бокам узкого центрального прохода. Включил свет в лаборатории, проверил по датчикам запасы кислорода, давление и температуру, потом вернулся к шлюзу и снова пролетел через

туннель.

Вернулся он вверх ногами, так что пришлось извернуться в замедленном движении над ложем, чтобы занять «нормальное положение».

— Лаборатория в порядке, — объявил он наконец. — Но как нам протащить через переходник ее?

Джилл уже расстегнула ремни на плечах Линды.

— Ты тянешь, я толкаю. Уж как-нибудь пройдет повороты.

И она прошла.

Исследовательская станция размером и формой напоминала небольшой транспортный самолет. Одну стену почти целиком занимали приборные стойки, контрольные приборы и компьютер, почти неслышно гудящий из-за панелей из легкого пластика. По другую сторону узкого разделяющего прохода — рабочие места экипажа: приборная доска, два иллюминатора, столы биологов и астрофизиков. В дальнем конце, за занавеской, находились туалет и один спальный гамак.

Кинсмен занял приборную доску, уже оставшись в одном комбинезоне, и зацепился ногой за единственную ножку плетеного кресла, чтобы не отлетать. Он проводил дежурную проверку

всех систем жизнеобеспечения: воздух, вода, отопление, электричество. На основной панели горели только зеленые огоньки. Связь — зеленый. Радар по левую руку показывал единственный крупный сигнал поблизости — энергомодуль.

Он оглянулся, когда из-за занавески спального отсека показалась Джилл. Она все еще была в скафандре, сняв только шлем.

— Как она?

Джилл ответила с усталым видом:

— Живая. Все еще спит. Думаю, проснется как новенькая.

— Уж я надеюсь. Мне тут не нужен хрупкий цветок. Я тогда отменю миссию.

— Дай ей шанс, Чет. Она просто растерялась, впервые столкнувшись со свободным падением. Никакая тренировка не может подготовить к первым минутам.

Кинсмен вспомнил свой первый орбитальный вылет. «Нулевая гравитация не кончается. Ты все время падаешь. Как на лыжах или при прыжке с парашютом. Только лучше».

Джилл подобралась к нему, хватаясь за кресла перед верстаками и поручнями на стойках.

Кинсмен оттолкнулся ей навстречу.

— Давай помогу снять скафандр.

— Сама справлюсь.

— Иди ты.

Через несколько минут Джилл освободилась от громоздкого скафандра и сидела в плетеном кресле в комбинезоне. Кинсмен, пригибаясь под изгибом проема над головой, влетел в кухонный блок. Он был шириной с половину телефонной будки, а по глубине и высоте — и того меньше.

— Кофе, чай или молоко?

Джилл улыбнулась.

— Апельсиновый сок.

Он достал пачку с концентратом.

— А тебе не угодишь.

— Ничего подобного. Со мной очень легко. Я же просто одна из ребят.

Слегка озадаченный, Кинсмен протянул ей апельсиновый сок.

Следующие пару часов они скрупулезно проверяли лабораторное оборудование. Кинсмен, прочистив камеру высокого разрешения, собирал ее обратно — детали висели вокруг него, пока он сосредоточенно трудился, — а Джилл выхаживала чахлый филодендрон, который доставили на борт тайком, и теперь он тянулся от биологического стола к потолочным световым панелям. Линда отодвинула занавеску спального отсека и

неуверенно перешла в основной.

Джилл заметила ее первой.

— Как себя чувствуешь?

Кинсмен поднял глаза. Линда была в облегающем комбинезоне. Он выпрыгнул к ней из кресла, рассыпая детали фотоаппарата во всех направлениях.

— Ты в порядке? — спросил он.

— Кажется, — ответила она с робкой улыбкой. — Мне немного стыдно… — Ее голос был мягким и высоким.

— А, да ничего, — отмахнулся Кинсмен. — Практически со всеми бывает. Меня самого стошнило в первый раз на орбите.

— А вот это, — начала Джилл, уворачиваясь от медленно кувыркающегося объектива, который срикошетил от потолка, — невинная ложь на голубом глазу, чтобы ты расслабилась.

Кинсмен едва удержался, чтобы не зыркнуть на Джилл. «Вот зачем она все портит?»

— Чет, ты бы собрал запчасти, а то потом вообще не найдешь, — сказала Джилл.

Хотелось отбрить в ответ, но Кинсмен передумал и сказал просто:

— Ладно.

Закончив с фотоаппаратом, он наконец разгля-

дел Линду. К ее лицу снова прилила кровь. Она выглядела бодрой, уже освоилась, не боялась и не нервничала. «Может, все-таки потянет». Джилл заварила ей чашку чая, и теперь Линда потягивала его через пластиковый дозатор в крышке.

Кинсмен вернулся за приборную панель и окинул взглядом график миссии.

— Эй, Джилл, тебе пора спать.

— Что-то не тянет.

— Понимаю. Но у тебя был насыщенный день, девочка моя. А завтра будет еще насыщеннее. Сейчас твои четыре часа, потом мои. Нам надо выспаться для спаривания.

— «Спаривания»? — переспросила Линда с другого конца прохода, в добрых пяти шагах от Кинсмена. Потом вспомнила: — Ах да… ты о стыковке лаборатории и модуля?

Удержавшись от полудюжины шуток, Кинсмен кивнул:

— Внекорабельная работа.

Джилл нехотя выплыла из своего кресла.

— Ладно, тогда я на боковую. Я, конечно, устала, но здесь почему-то никогда не хочется спать.

«Интересно, что ей сказал Мердок? А то и правда ведет себя как дуэнья».

Джилл прошла в блок отдыха и плотно задер-

нула занавеску. После недолгой паузы Кинсмен обернулся к Линде.

— Наконец-то одни.

Она улыбнулась в ответ.

— Эм-м, а ты сидишь как раз там, где мне надо установить фотоаппарат. — Он толкнул законченную камеру, и она медленно поплыла к ней.

Линда медленно и осторожно поднялась, встала за креслом, держась за спинку обеими руками, будто боялась упасть. Кинсмен скользнул на кресло и одной рукой остановил замедленный полет фотоаппарата. Прикручивая его к крепежу на переборке, спросил:

— Ты правда нормально себя чувствуешь?

— Да, честное слово.

— Сможешь завтра выйти в космос?

— Надеюсь… Очень хочется побывать с тобой снаружи.

«А мне — у тебя внутри», — Кинсмен ухмыльнулся своим мыслям, пока работал.

Через час они сидели бок о бок перед иллюминатором, любуясь изгибом Земли, бело-голубым великолепием пестрящего облаками Тихого океана. Кинсмен только что отчитался перед гавайской наземной станцией связи. Между ними парил планшет с планом полета. Он его изучал,

сверяя время сна Джилл с долгими периодами между контактами с Землей, когда для него не будет никаких помех.

— Это суша? — спросила Линда, показав на толстую полосу облаков, обволакивающих горизонт.

Оторвавшись от планшета, Кинсмен ответил:

— Южноамериканское побережье. Чили.

— Там другая станция сопровождения.

— Станция НАСА. Не из нашей сети. Мы пользуемся только станциями ВВС.

— Почему?

Он почувствовал, как невольно хмурится.

— Да это Мердок играется в солдатиков. Миссия задумана как строго военная. Не то чтобы мы тут занимаемся чем-то военным. Но действуем исходя из того, будто нам не могут помочь гражданские станции. Это только лишняя головная боль.

Линда рассмеялась.

— А ты не согласен с полковником?

— За последнее время я был полностью согласен с ним только в одном.

— В чем?

— В том, чтобы взять тебя сюда.

Улыбка на ее лице осталась, но взгляд сместился.

— Вот теперь ты заговорил как солдат.

— Не офицер и джентльмен?

Она снова посмотрела прямо на него.

— Давай сменим тему.

Он пожал плечами.

— Ладно. Без проблем. Ты здесь ради сюжета. Мердок хочет, чтобы реклама ВВС была не хуже, чем у НАСА. А Пентагон хочет показать миру, что у нас нет вооружения на борту. Мы, конечно, армия, но *хорошая* армия.

— А ты? — спросила Линда уже всерьез. — Чего хочешь ты? Как капитан ВВС может попасть в космические кадеты?

— Так же, как бывает во всем: оказываешься в правильном месте в правильное время. Мне сказали — теперь будешь космонавтом. Это была просто работа… до моего первого полета на орбиту. А теперь это уже образ жизни.

— Правда? Как это?

Он с улыбкой ответил:

— Ты погоди, когда выйдем наружу. Сама поймешь.

Джилл вернулась в основной отсек точно по расписанию, и пришла кинсменовская очередь спать. На Земле он редко жаловался на бессонницу, в космосе — никогда. Но теперь гадал о

реакции Линды на космос, цепляя на руки и ноги манжеты для давления. На них настояли медики — говорили, будто они упражняют сердечно-сосудистую систему во сне.

«Только лишний геморрой, — ворчал про себя Кинсмен. — Какой-то ученый, ни разу не покидавший Земли, выслуживается».

Наконец он застегнулся в тонком гамаке, напоминающем кокон, и закрыл глаза. Почувствовал, как мягко пульсируют манжеты. Его последней мыслью перед тем, как провалиться в сон, было гложущее переживание, что Линда придет в ужас, когда выйдет в космос.

Когда он проснулся и место в гамаке заняла Линда, он заговорил об этом с Джилл.

— По-моему, все с ней будет хорошо, Чет. Не придирайся к человеку из-за первых минут.

— Ну, не знаю. Здесь есть всего два типа людей: либо тебе нравится, либо тебе страшно до усра… до умопомрачения. И ничего с этим не поделаешь. Если в космосе она психанет…

— Не психанет, — отрезала Джилл. — И все равно рядом будешь ты. Я ей уже сказала, что она выйдет, только когда ты закончишь спаривание. Она хотела снять тебя во время работы, но обойдется и парой постановочных снимков.

Кинсмен кивнул. Но тревога не развеивалась. «Интересно, а та медсестричка у Колдера боялась летать?»

Когда вернулась Линда, он натягивал сапог, зацепившись второй ногой за приборную стойку.

— Готова прогуляться по округе? — спросил он.

Она улыбнулась и безо всяких колебаний кивнула.

— Жду с нетерпением. Можно поснимать, как ты застегиваешь скафандр?

«А может, и справится».

Наконец он запечатался в скафандр. Линда и Джилл пропустили его к шлюзу. Он был встроен в пол в том же конце станции, где пристыковалось их судно. С помощью Джилл он проник в люк и закрыл его за собой. Сама воздушная камера была размером с гроб. Кинсмену приходилось сгибаться в три погибели, чтобы в ней перемещаться. Он проверил скафандр, потом выкачал из камеры воздух. И после этого был готов открывать внешний люк.

Тот находился под ногами, но стоило ему открыться и показать звезды, как ориентация Кинсмена перевернулась, словно в оптической иллюзии, и он вдруг почувствовал себя так, будто стоит на голове и смотрит вверх.

— Выхожу, — произнес он в шлемофон.

— Хорошо, — ответил голос Джилл.

Он осторожно протиснулся в открытый люк, придерживаясь рукой в перчатке за край, как держится за поручень пловец, опускаясь в глубокий конец бассейна. Космос. Медленно покачиваясь, он наслаждался невероятной красотой Земли, ослепительно-яркой даже несмотря на матовый смотровой щиток шлема. А за ее изгибом — тьма бесконечности, откуда на него мрачно взирали, не моргая, манящие звезды.

Один. Сам себе маленькая самодостаточная вселенная, независимая от всего и вся. Он мог бы перерезать живительную пуповину кабеля, соединяющего его с лабораторией, и парить так вечно. И погибнуть через две минуты. «Да, всегда есть нюанс».

Вместо этого он снял с пояса маленькую газовую пушку и стартовал к энергомодулю, оставляя за собой хвост кабеля. Модуль находился за исследовательской станцией — усеченный конус, ниже, зато толще самой лаборатории; один его край озарялся солнцем, остальное омывал мягкий свет, отраженный от дневной стороны Земли под ногами.

Задачей Кинсмена было осмотреть модуль,

проверить исправность всего оборудования, а потом спарить электрику с системой лаборатории. Физически соединять аппараты нужды не было, не считая пары кабелей между ними. Все необходимое для работы — инструменты, кабели, датчики, — уже было встроено в модуль и только дожидалось руки человека.

На Земле это было бы раз плюнуть. В нулевой гравитации уже сложнее. Малейшее движение любой части тела отправляет в дрейф. Приходится подавлять привычки всей своей жизни; постоянно применять усилия, только чтобы оставаться на месте. В нулевой гравитации легко выбиться из сил.

У Кинсмена все это уже было зашито в подкорку. Он работал неторопливо, методично, двигаясь как можно меньше, позволял себе чуть отплывать, пока более-менее естественное движение тела не гасило импульс, толкая уже в другом направлении. «Покачивайся на волнах, легко и плавно». В его работе был особый ритм — естественный ритм невесомости, как во сне.

Наушники молчали, сам он тоже ничего не говорил. Слышал только вентиляцию скафандра и собственное размеренное дыхание. Видел только то, над чем работает.

Наконец он стартовал к лаборатории, потащив за собой пару толстых кабелей. Нашел на боковой стене поджидающие разъемы и воткнул штекеры. «Объявляю вас лабораторией и источником питания». Кинсмен проверил огоньки датчиков у разъемов. Все зеленые. «И пусть у вас будет много маленьких киловаттиков».

Перелетая вдоль лаборатории от поручня к поручню, он вернулся к шлюзу.

— Ладно, закончил. Как там Линда?

— Готова, — ответила Джилл.

— Тогда высылай.

Линда вышла медленно; первыми из круглого шлюза показались неуверенно болтающиеся ноги. Кинсмену вспомнилась виденная документалка о родах кита.

— Добро пожаловать в настоящий мир, — приветствовал он, когда из люка показалась и голова.

Она обернулась, чтобы ответить, и он услышал ее тихий возглас, и сразу понял, что вот теперь она ему нравится.

— Это… это…

— Потрясающе, — подсказал Кинсмен. — И ты только погляди на себя — без рук.

Она свободно парила в скафандре, снаряжен-

ном фотоаппаратом, с вьющимся позади кабелем. Кинсмен не видел ее лица за щитком, но слышал трепет в ее голосе, даже в дыхании.

— Никогда не видела ничего настолько потрясающего…

И тут он увидел, как она вдруг переключилась в рабочий режим — потянулась за фотоаппаратом, принялась скорострельно щелкать Землю, звезды и далекую Луну. Дернулась слишком быстро и начала переворачиваться. Кинсмен подлетел и удержал ее за плечи.

— Эй, полегче. Они никуда не денутся. Времени у тебя полно.

— Я хочу сфотографировать и тебя, и лабораторию. Можешь подлететь к модулю и сделать вид, что работаешь?

Кинсмен попозировал, отвечал на ее вопросы, спас фотоаппарат, когда тот выпал у нее из рук и начал дрейфовать прочь.

— Здесь сложно правильно оценить расстояние, — сказал он, возвращая ей камеру.

Их дважды вызывала Джилл, приказывая вернуться.

— Чет, ты и так превысил лимит на пятнадцать минут!

— В графике полно свободного времени, можно

и задержаться.

— Она устанет.

— Я правда отлично себя чувствую, — нараспев ответила Линда.

— Сколько у тебя еще пленки? — спросил Кинсмен. Она проверила.

— Еще на шесть снимков.

— Ладно, тогда мы тут, пока не кончится пленка, Джилл.

— Через пять минут вы окажетесь в темноте!

Повернувшись к Линде, которая парила вверх ногами на фоне затянутой облаками Земли, Кинсмен предупредил:

— Прибереги пленку для заката, а там фотографируй вовсю.

— Закат? Куда смотреть?

— Сама поймешь, когда начнется. Главное, не отвлекайся.

Все произошло быстро, но Линда не растерялась. Когда лаборатория вплыла по орбите в ночную тень Земли, солнце опустилось к горизонту и на несколько мгновений испустило чистейшие красные, рыжие и, наконец, щемяще голубые оттенки. Кинсмен наблюдал молча, слушая, как учащается дыхание Линды, делавшей снимки.

А потом они остались в темноте. Кинсмен включил налобный фонарь. Линда просто висела, с фотоаппаратом в руке.

— Это… невозможно описать. — Ее голос звучал глухо, опустошенно. — Если бы я не увидела… если бы не сфотографировала, вряд ли бы поверила, что не сплю.

В его наушниках заскрежетал голос Джилл:

— Чет, дуй обратно! Вы нарушаете все правила безопасности, пока висите там в темноте.

Он оглянулся на лабораторию. Вдоль ее бока горели огни, освещались изнутри иллюминаторы. Но больше ничего не разглядишь, хоть она и висела всего в нескольких метрах от них.

— Ладно-ладно. Включи освещение шлюза, чтобы мы нашли люк.

Даже когда они уже сняли скафандры и ели сэндвичи с печеньем, Линда все еще без умолку говорила о видах.

— А ты когда-нибудь выходила в космос? — спросила она Джилл.

Та, сидя на краю стола биологов, рядом с колонией мышей, кивнула.

— Два раза.

— Скажи, красота? Надеюсь, снимки получатся; при некоторых настройках камеры…

— Все будет в порядке, — ответила Джилл. — А если и нет, у нас есть целый запас своих фотографий.

— О, но там нет фотографий, где Чет работает с энергомодулем.

Джилл пожала плечами.

— Ты же еще будешь фотографировать внутри? Если нужны снимки настоящих ветеранов космоса, то вот, сними мышек. Они здесь уже несколько месяцев, замечательно поживают, заводят семьи. Для них это обычное дело.

— Как видишь, у одних тут приключения, — сказал Кинсмен, — а другие ухаживают за мышами.

Джилл пронзила его взглядом.

Взглянув на свои часы, Кинсмен объявил:

— Девчонки, мне пора спать. Денек был непростой — механик, экскурсовод и модель на обложку *Life*. Работа-работа-работа.

Он с улыбкой проплыл мимо Линды, оставил ее и для Джилл. Она все еще метала в него молнии.

Когда он проснулся и вернулся в основной отсек, Джилл любезно беседовала с Линдой над микроскопом на столе биологов.

Линда заметила его первой.

— О, привет. Джилл показывает, какие споры изучает. И я фоткала мышей. Может, пустим на

обложку их вместо тебя.

Кинсмен ухмыльнулся.

— Что, она подначивает тебя против меня? — но про себя гадал: «Какую лапшу ей там вешает обо мне Джилл?»

Джилл подплыла к приборной доске, взяла планшет с журналом миссии и легонько метнула Кинсмену.

— ЦУП говорит, что все показатели энергомодуля в порядке, — сказала она. — Хорошо потрудился.

— Спасибо. — Он поймал планшет. — Чья теперь очередь дрыхнуть?

— Моя, — ответила Джилл.

— Ладно. Есть какие-нибудь новости?

— Нет. Все по плану. Следующая передача данных — через двенадцать минут. Кодьякская станция.

Кинсмен кивнул.

— Отсыпайся.

Как только Джилл задернула занавеску, Кинсмен перелетел с журналом миссии к приборной доске и сел. Линда осталась за столом в трех шагах от него.

Он окинул взглядом приборную панель, потом повернулся к ней.

— Ну, теперь поняла, что я говорил об образе жизни?

— Кажется. Это так странно…

— Это — настоящее. Полная свобода. Дивный новый мир. После десяти минут за бортом все остальное на вкус как зубная паста.

— Это и правда здорово.

— Бери выше. Это жизнь. На Земле тоскливо, теперь даже летать на самолете — скука. Вот где самое интересное… на орбите и на Луне. Ближе к раю еще никто не подбирался.

— Ты все это серьезно?

— Еще как. Я даже подумывал попросить Мердока о моем переводе в НАСА. В миссии ВВС не входит Луна, а мне хотелось бы прогуляться по новому миру, посмотреть достопримечательности.

Она улыбнулась.

— Меня, пожалуй, туда не тянет.

— А ты просто представь. Здесь ты свободна. По-настоящему свободна, впервые в жизни. Все законы, правила и предрассудки, которыми тебя грузили всю жизнь… они там, *внизу*. А здесь — новое начало. Можно быть собой и делать, что пожелаешь… и никто слова не скажет.

— Ну, пока тебя снабжают воздухом, продовольствием, водой и…

— Есть, конечно, и физическая сторона. Мы живем в микрокосме, созданном аэрокосмической индустрией и космическим командованием ВВС. Но они нам не указ. Начальство не может заставить следовать их правилам. Мы их пишем сами… Впервые с 1776 года[160] мы пишем новые правила.

Линда задумалась. Кинсмен не знал, впечатлили ее такие речи или она поняла, к чему он ведет. Он отвернулся к приборной доске и в который раз просмотрел план полета.

Он уже осторожно взвесил все возможности и сократил их до двух. «И обе — завтра, над Индийским океаном. Сорок пять минут между наземными станциями — и оба раза Джилл будет спать».

— АФ-9, это Кодьяк.

Он потянулся к радио.

— АФ-9 на связи, Кодьяк. Прием.

— Получаем от вас данные, все четко.

— Вас понял, Кодьяк. У нас все нормально; программа полета без изменений.

— Ладно, Девятый. У нас ничего нового. Хотя погоди… Чет, здесь Лью Регнесон, он говорит,

---

[160] Примечания: 160

1776-й — год, когда 13 колоний Северной Америки провозгласили независимость от Великобритании.

сделал ставку на то, что ты не уронишь честь ВВС. Покоряй новые высоты.

Кинсмен, не меняясь в лице, ответил:

— Вас понял, Кодьяк. Программа полета без изменений.

— Удачи!

Линда нахмурилась.

— Это что значит?

Он посмотрел прямо в ее прохладно-голубые глаза и ответил:

— Сам не знаю. Регнесон — из команды космонавтов; последние шесть недель служит на Кодьяке. Наверное, с ума там сходит. Вот я и решил его поддержать.

— А. Понятно. — Но смотрела она с сомнением.

— Уже проверяла свои фотографии в проявочной машине?

Покачав головой, она ответила:

— Нет, не хочу рисковать с вашим автоматическим оборудованием. Проявлю снимки сама, когда вернемся.

— Да отличное у нас оборудование, — сказал Кинсмен.

— Я придирчива.

Он пожал плечами.

— Чет?

— Что?

— Этот энергомодуль… зачем он нужен? Полковник Мердок увиливал от всех вопросов.

— Никому нельзя знать, пока не объявят в Вашингтоне… наверное, когда мы уже вернемся. Официально я не имею права говорить. — Он широко улыбнулся. — Но в целом надежные источники считают, что энергомодуль нужен для радара, который выведут на орбиту в следующем месяце. Радар войдет в нашу ПРО — систему предупреждения.

— Противоракетная оборона?

С кивком Кинсмен пояснил:

— С орбиты видно дальше, а значит, у Штатов будет больше времени среагировать при запуске ракет.

— Значит, и твой дивный новый мир участвует в войне.

— Вроде того. — Кинсмен нахмурился. — Радары, конечно, никого не убьют. Но могут спасти жизни.

— Но это все-таки *военный* спутник.

— Без вооружения. Вот чего еще нет в дивном новом мире: смерти и любви.

— Люди погибали…

— Не на орбите. При возвращении в атмосферу.

Аварии на земле или в воздухе. Здесь еще никто не умирал. И никто не занимался любовью.

Кинсмену показалось, она улыбнулась вопреки себе.

— А возможности были?

— Ну, у русских есть женщины-космонавты. Джилл — первая американка на орбите[161]. Ты — вторая.

Она задумалась.

— Это, конечно, не номер молодоженов в «Уолдорфе»… собственно, я видела номера получше в мотелях вдоль магистрали Нью-Джерси.

— Первопроходцам всегда непросто.

— Я фотограф, Чет, а не первопроходец.

Кинсмен беспомощно развел руками так, что закачался на кресле.

— Третий страйк, ухожу с поля.

— Удачи в следующий раз.

— Спасибо. — Он снова вернулся к плану полета. «А следующий раз будет ровно через шестнадцать часов, милашка».

Когда проснулась Джилл, пришла очередь Линды спать. Кинсмен остался за приборной панелью, потягивая прохладный кофе из пачки. Все

---

[161] Примечания: 161

Первая американка в космосе — Салли Райд, в 1978 году, спустя семь лет после выхода книги.

огоньки горели зеленым. Джилл брала образец крови у белых мышей.

— Как там у них дела?

Она ответила, не оглядываясь:

— Хорошо. Они прекрасно адаптировались к невесомости. Выровнялся уровень кальция, мышечный тонус в порядке…

— Значит, есть надежда и для нас, двуногих?

Джилл вернула мышь в колонию и плотно закрыла крышку. Та побежала к своему клану в лабиринте из прозрачных пластмассовых тунелей.

— Лично я не вижу физических препятствий для того, чтобы люди не могли жить в космосе сколько угодно долго, — ответила она.

Кинсмен уловил еле заметное, но отчетливое ударение на слове «физических».

— Думаешь, в течение долгого времени могут возникнуть эмоциональные проблемы?

— Чет, я вижу эмоциональные проблемы даже в трехдневной миссии. — Джилл закупорила образец крови в пробирке.

— В каком смысле?

— Брось уже. — На ее лице отразилась смесь разочарования и отвращения. — Ведь совершенно очевидно, что ты задумал. Каждый раз

машешь при ее виде хвостом, как щеночек.

— Смотрю, кто-то недосыпает, а?

— Я не подслушиваю, если ты об этом. Просто смотрю, как ты смотришь на нее. И некоторые сообщения с Земли… там что, все ВВС участвуют в заговоре? Сколько денег на кону?

— Я не участвую ни в каких ставках. Я просто…

— Ты просто рискуешь нашей миссией, а то и тремя жизнями, только чтобы доказать, что ты — Тарзан, а она — Джейн.

— Блин, Джилл, теперь ты заговорила как Мердок.

Ее кислый вид стал еще кислее.

— Ладно. Ты большой мальчик. Если так хочется поиграть на дежурстве в Тарзана, дело твое. Мешать не стану. Приму снотворное и останусь в гамаке.

— Правда?

— Вот именно. Забирай свою блондинку Барби и удачи. Но я скажу прямо… она фальшивка. Я с ней говорила уже достаточно, чтобы заметить. Ты хочешь использовать ее, но и она использует нас. Пока ты спал, она все выспрашивала у меня об энергомодуле. Она здесь неспроста, Чет, и если она тебе подыгрывает, то не ради романтики и приключений.

«Господи всемогущий, да Джилл ревнует!»

Когда из спального отсека вернулась Линда, на станции царила напряженная тишина. Все трое работали порознь: Джилл возилась с колонией водорослей на полке над биологическим столом; Кинсмен методично вынимал пленку из фотокамер для доставки на Землю и заменял на новую; Линда деловито снимала их обоих. Вызывал ЦУП, спрашивал, как обстановка. Джилл и Линда покосились на Кинсмена. Он ответил всего лишь:

— Следуем плану миссии. Все системы в норме.

Они перекусили тюбиками, все еще в основном молча, потом пришел черед Кинсмена в гамаке. Но раньше он перепроверил план полета. «Следующей идет Джилл — и у нас будет четыре часа наедине, включая отрезок над Индийским океаном».

Как только Джилл ушла, Кинсмен сразу же подозвал Линду к приборной панели под предлогом, что хотел показать русский спутник на радаре.

— Мы уже близко. — Они склонились вместе над радаром, глядя на оранжевое свечение; так близко, что Кинсмен уловил очень женственный парфюм. — Между нами всего тысяча километров.

— Может, помигаешь им?

— Это беспилотный спутник.

— А.

— Здесь и правда отчасти как на Первой мировой, — вдруг осознал Кинсмен, распрямляясь. — Просто находиться здесь важнее, чем то, из какой ты страны.

— Русские тоже так считают?

Кинсмен кивнул.

— Думаю, да.

Она встала перед ним так близко, что они почти касались.

— Знаешь, — начал Кинсмен, — когда я впервые увидел тебя на базе, решил, что ты не фотограф… а фотомодель.

Она чуть отплыла от него.

— Когда-то я была моделью… — она не договорила.

— Не замолкай. Что ты хотела сказать?

В ней что-то изменилось, заметил Кинсмен. В ней еще читалось прохладное дружелюбие, но теперь еще и настороженность, опаска и… печаль?

Она пожала плечами:

— Быть моделью — это тупик. Я наконец поняла, что будущее по ту сторону фотоаппарата светлее.

— Ты слишком умна для модели.

— Не надо мне льстить.

— Зачем ты так спускаешь меня с небес на Землю?

— Мы все-таки не на Земле.

— Туше.

Она поплыла к кухне. Кинсмен последовал за ней.

— И сколько ты уже по ту сторону камеры? — спросил он.

Снова повернувшись к нему:

— Это я должна узнавать твою историю жизни, а не наоборот.

— Ладно… спрашивай.

— Сколько людей знает, что ты должен со мной здесь переспать?

Кинсмен почувствовал на лице улыбку — рефлекс, чтобы потянуть время. «Какого черта», — подумал он. Но вслух ответил:

— Не знаю. Все началось с шутки пары мужиков… очевидно, новости разошлись далеко.

— И сколько денег ставят на твою победу? — Она не улыбалась.

— Денег? — Кинсмен искренне удивился. — Деньги тут ни при чем.

— Нет?

— Нет. Не для меня, — твердо сказал он.

Ее как будто отчасти покинуло напряжение.

— Тогда зачем… я имею в виду… зачем все это?

Кинсмен вернул улыбку и подтянулся к ближайшему креслу.

— А почему бы и нет? Ты чертовски красивая, мы с тобой совершенно свободны, никто еще не пробовал это в нулевой гравитации… Почему бы и нет?

— А зачем это мне?

— Это хороший вопрос. Так у тебя будет настоящее приключение.

Она задумчиво посмотрела на него, прислонившись к обшивке кухни.

— Вот значит как. Приключение. Больше ничего?

— Всякое может быть, — ответил Кинсмен. — Трудно сказать заранее.

— Как просто ты живешь, Чет.

— Стараюсь. А ты?

Она покачала головой.

— Нет, у меня мир очень сложный.

— Но и в нем есть секс.

Теперь она улыбалась, но безрадостно.

— Есть?

— Хочешь сказать, никогда? — Его голос даже

ему самому показался изумленным.

Она не ответила.

— Вообще никогда? Не верится…

— Да нет, — ответила она, — не вообще «никогда». Но никогда… ради приключения. Ради работы — да. Ради престижных заданий; собственно, ради того, чтобы меня научили фотографировать. Но никогда — ради развлечения… по крайней мере, такого не было очень, очень давно.

Кинсмен заглянул в ее льдисто-голубые глаза и увидел, что они совершенно сухие — и пронзают его. Ему стало неловко. Он протянул к ней руку, но она не шелохнулась.

— Это… чертовски одинокая жизнь, — сказал он.

— Да. — Ее голос — стальное лезвие, без намека на жалость к себе.

— Но… как так вышло? Почему…

Линда откинула голову к обшивке, глядя в сторону, куда-то в прошлое.

— У меня был ребенок. Девочка. Он ее не хотел. Пришлось отдать на удочерение — либо так, либо аборт. Ей уже должно быть пять лет… Не знаю, где она. — Она выпрямилась, посмотрела на Кинсмена. — Но так я узнала, что секс — он либо ради детей, либо ради карьеры. Не для развлечения.

Кинсмен сидел так, будто ему врезали под дых. Единственным звуком в отсеке был слабый гул электроники, шепот вентиляторов.

Линда криво улыбнулась.

— Видел бы ты себя… Тарзан, человек-обезьяна, пытается разобраться в ядерном реакторе.

— Единственный минус в нулевой гравитации, — пробормотал он, — нельзя повеситься.

Кинсмену показалось, Джилл почуяла что-то неладное. Стоило ей выбраться из гамака, как она принялась разнюхивать, косо на него поглядывать. Наконец, когда Линда удалилась спать в последний раз, Джилл спросила:

— Ну и как у вас дела?

— Нормально.

— Правда?

— Правда. Открываем здесь клуб «Плейбой». Хочешь стать кроликом?

Она поморщилась.

— Их у тебя хватает.

Больше часа они занимались своими делами молча. Кинсмен сосредоточился на перенастройке радара, когда Джилл подала ему пачку горячего кофе.

Он развернулся в кресле. Она стояла рядом, ненамного выше его сидящего.

— Спасибо.

Она смотрела на него очень серьезно.

— Тебя что-то тревожит, Чет. Что она с тобой сделала?

— Ничего.

— Правда?

— Господи, только не начинай! Ничего, абсолютно ничего не случилось. Может, это меня и беспокоит.

Она покачала головой:

— Нет, из-за чего-то ты беспокоишься — не из-за себя.

— Завязывай с драмой, Джилл.

Она положила руку ему на плечо.

— Чет… Я знаю, для тебя все это игры, но в таких играх могут пострадать люди, и… ну… жизнь всегда не так идеальна, как хочется.

Подняв взгляд и наткнувшись на взгляд ее пристальных карих глаз, Кинсмен почувствовал, как его раздражение улетучивается.

— Ну ладно. Спасибо за урок философии. Только я большой мальчик и сам понимаю, что к чему.

— Тебе так просто кажется.

Пожав плечами:

— Ну ладно, пусть кажется. Может, все не так идеально, как должно быть, но люди невиновны,

пока не доказано обратное, и не все то золото, что блестит. Вот *моя* сегодняшняя философия!

— Ну ладно, балбес, — Джилл горько улыбнулась. — Будь дальше человеком-обезьяной. Разбирайся сам. Просто не хочу, чтобы она тебя задела.

— Меня так просто не заденешь.

— Надейся, — сказала Джилл. — Ладно, если я могу чем-то…

— Вообще-то да, можешь.

— Что?

— Когда снова ляжешь, постарайся, чтобы Линда увидела, как ты принимаешь снотворное. Можешь?

С лица Джилл пропали все эмоции.

— Конечно, — ответила она ровно. — Что угодно ради товарища по службе.

Через несколько часов она разыграла целое шоу со снотворным, чтобы выспаться в последний раз перед возвращением в атмосферу. Кинсмену показалось, Джилл нарочно переигрывает.

— Вы всегда принимаете снотворное для последнего пересыпа? — спросила Линда, когда Джилл ушла.

— Надо хорошенько выспаться и отдохнуть, — ответил Кинсмен, — для обратного полета.

Возвращение в атмосферу — это самая сложная часть.

— А. Ясно.

— Но волноваться не о чем, — добавил Кинсмен.

Он перелетел к приборной доске и занялся всем тем, что требовалось по плану полета. Линда легко опустилась на соседнее кресло, совсем близко. Кинсмен недолго пообщался по расписанию с кодьякской станцией и внес пометку в журнал.

«Еще три станции — и мы над Индийским океаном, и тогда весь мир и время наши».

Но сам не поднимал глаз от приборной доски; проверил все системы лаборатории, щелкая кнопками, не отрываясь от красных, желтых и зеленых огоньков, обозначавших состояние механики и электроники на борту.

— Чет?

— Да.

— Ты… на меня обиделся?

Все еще не глядя:

— Нет, я занят. За что на тебя обижаться?

— Ну, может, не обиделся, но…

— Удивлен?

— Удивлен, задет, что угодно.

На клавиатуре сбоку от него он ввел данные в

компьютер, потом наконец обернулся к ней.

— Линда, я еще не успел понять, что чувствую. Ты девушка сложная; может, даже слишком сложная для меня. В жизни и без того хватает забот.

Уголки ее губ поползли вниз.

— С другой стороны, — добавил он, — нам, WASP-ам, надо держаться вместе. Нас осталось не так много.

На это она слабо улыбнулась.

— Я не WASP. Моя настоящая фамилия — Симански… Сменила ее, когда стала моделью.

— А. Вот еще одна сложность.

Она хотела было ответить, когда затрещало радио.

— АФ-9, это Шайенн. Шайенн вызывает АФ-9.

Кинсмен наклонился к приемнику, щелкнув тумблером.

— АФ-9 — Шайенну. Слышу вас слабо, но четко.

— Вас понял, Девятый. Мы получаем от вас телеметрию. Все системы в норме.

— Ручная проверка тоже показала, что все системы в норме, — ответил Кинсмен. — Следуем программе миссии без отклонений. Задачи закончены на девяносто процентов.

— Вас понял. ЦУП предлагает начать проверку судна на следующей орбите. По графику вы воз-

вращаетесь в атмосферу через десять часов.

— Так точно.

— Ну ладно, Чет. С нашей стороны все хорошо. Есть о чем отчитаться, отец-основатель?

— Не лезьте. — Он выключил передатчик.

Линда смотрела на него с улыбкой.

— Что такого смешного?

— Ты. Какой ты стал из-за этого ранимый.

— Это теперь надолго. Эти мужики от меня еще годами не отстанут.

— Всегда можно соврать.

— О тебе? Нет, не думаю, что смогу. Была бы это просто какая-то безымянная девушка, это дело одно. Но тебя знают все, все знают, где ты работаешь…

— Какой галантный офицер. Пожалуй, такие слухи дошли бы до Нью-Йорка.

Кинсмен усмехнулся.

— Да ты бы попала на передовицу *National Enquirer*.

Линда рассмеялась.

— Наверняка бы раскопали какую-нибудь мою старую фотографию в бикини.

— Поосторожней. — Кинсмен поднял руку. — Не распаляй мое воображение еще больше. Мне и так трудно сохранять галантность.

Они оставались порознь, в тишине: Кинсмен — за приборной панелью, Линда уплыла обратно к кухне, чуть не задев шторку спального блока.

Их вызвал ЦУП, и Кинсмен дал сжатый отчет. Когда он снова взглянул на Линду, она сидела перед иллюминатором, через проход от кухни. Когда она оглянулась к нему, на ее лице была тревога, а глаза… он не знал, что в ее глазах. Взгляд выглядел иначе: уже не льдисто-холодный, не расчетливый; а озабоченный, чуть ли не испуганный.

И все-таки Кинсмен смолчал. Проверил и перепроверил приборную панель, убеждаясь вне всяких сомнений, что каждый клапан и транзистор на борту до единого работают идеально. Бросил взгляд на часы: «Еще пять минут до вызова „Вознесения“». Он снова проверил огоньки.

«Вознесение» вызвало точно по расписанию. Чувствуя, как внутри все сжимается. Кинсмен дал стандартный отчет нарочито спокойным и механическим голосом. «Вознесение» отключилось.

Бросив напоследок долгий взгляд на датчики, Кинсмен оттолкнулся от кресла и подлетел к Линде, едва касаясь поручней в проходе.

— Ты что-то затихла, — сказал он, встав над ней.

— Задумалась над тем, что ты говорил. — Что же это в ее глазах? Предчувствие? Страх? — У меня… и правда чертовски одинокая жизнь, Чет.

Он взял ее за руку, мягко поднял из кресла и поцеловал.

— Но…

— Все в порядке, — прошептал он. — Никто нас не потревожит. Никто не узнает.

Она покачала головой.

— Это не так просто, Чет. Не так просто.

— Почему? Мы здесь вместе… что же тут сложного?

— Но… тебя ничего не беспокоит? Ты паришь во сне. Ты окружен боевыми машинами, ты каждую минуту живешь в опасности. Если отключится насос или врежется метеорит…

— А внизу, по-твоему, безопаснее?

— Но жизнь правда сложная, Чет. И любовь… что ж, это не только развлечения.

— Ну конечно, не только. Но ею надо и наслаждаться. Что плохого в том, чтобы воспользоваться возможностью, когда она есть? Что тут такого сложного или важного? Мы буквально выше всех земных забот и волнений. Может, только на пару часов, но здесь и сейчас — мы. Нас никто не тронет, ни к чему не принудит и ни в

чем не помешает. Мы сами по себе. Понимаешь? Совершенно сами по себе.

Она кивнула — с глазами, все еще распахнутыми, как у испуганного зверька. Но ее руки сами обхватили его, и они вместе медленно поплыли к приборной панели. Кинсмен молча выключил весь свет, оставив только свечение панели и мерцание бормочущего самому себе компьютера.

Теперь они находились в собственном мире, личном космосе, свободно и тихо парили во тьме. Касаясь, вращаясь, стыкуясь, они искали новые моря и континенты, исследовали собственный мир.

Джилл оставалась в гамаке, пока к ней не вошла Линда — тихо, проверить, не проснулась ли. Кинсмен сидел за приборной панелью, чувствуя не усталость, но странное оцепенение.

Остаток полета прошел рутинно. Джилл и Кинсмен занимались своими задачами, переговариваясь только по необходимости. Линда недолго подремала, потом вернулась снять пару последних фотографий. Наконец они переползли обратно на судно, отстыковались от исследовательской станции и приступили к долгой параболе в сторону Земли.

Кинсмен полюбовался напоследок величе-

ственной красотой планеты, столь безмятежной и бесподобной средь всех звезд, затем нажал на кнопку и закрыл иллюминатор тепловым щитом. Они почувствовали рывок ракетного двигателя, окунулись в атмосферу, зная, что раскаленный воздух взял их пламенной хваткой, превратил их крохотный корабль в горящую падающую звезду. Вжатый в ложемент ускорением, Кинсмен позволил автоматике вести их во время возвращения, через жар и турбулентность, до той высоты, где их корабль с плавниками полетит, как реактивный самолет.

Там он принял управление на себя и направился обратно к военно-воздушной базе «Патрик», обратно в мир людей, погоды, городов, иерархии и официальных правил. Все это он делал сам, молча; ему не требовалась помощь Джилл или кого угодно еще. Он вел судно в скафандре, хмуро глядя на панель перед собой через щиток шлема.

Он машинально сверился с ЦУПом и получил добро на поднятие теплового щита. В иллюминаторе от моря и поперек пляжа расстелились темнеющие облака. Наушники ожили от чужих голосов: ветровой режим, проверка высоты, приблизительная скорость. Он знал, хотя и не видел, что за ними следуют два истребителя, наведя

камеры на вернувшееся судно. «Чтобы были свидетельства на случай, если я разобьюсь».

Они окунулись в облака, навстречу накатила волна серого тумана и накрыла иллюминатор. Глаза Кинсмена сместились к экрану радара справа. Судно содрогнулось, потом они вырвались под облаками, и он увидел перед собой длинную черную посадочную полосу. Чуть потянул рычаг на себя — руки и ноги действовали сами по себе, — пронесся над низкорослой растительностью и опустил корабль на полосу. Посадочные лыжи коснулись земли, отскочили, потом опустились вновь со скрежещущим воплем. Так они катились до остановки больше мили.

Кинсмен откинулся на спинку и вдруг почувствовал, как вспотел.

— Хорошая посадка, — сказала Джилл.

— Спасибо. — Он отключил все системы — руки двигались сами собой, подчиняясь долгой подготовке. Потом поднял щиток, открыл люк над головой.

— Конечная, — объявил он устало. — Все на выход.

Он выбрался в люк, с угрюмой ненавистью ощущая собственный вес, потом помог выбраться Линде и наконец Джилл. Они соскочили на чер-

ный асфальт. С парковки в конце летной полосы, на расстоянии в полмили, к ним неслись два фургона, «Скорая» и две пожарных машины.

Кинсмен медленно снял шлем. Теперь его раздражали флоридские жара и влажность. Джилл позади прошла несколько шагов навстречу приближающимся машинам.

Он шагнул к Линде. Она тоже сняла шлем; в руках — сумка с фотопленкой.

— Я тут думал, — сказал он. — Насчет одинокой жизни… Знаешь, ты не одна такая. И ведь это необязательно. Я могу приезжать в Нью-Йорк, когда…

— И кто теперь относится к этому слишком серьезно? — Ее лицо, несмотря на солнцепек, снова казалось спокойным, холодным.

— Но я…

— Слушай, Чет. Мы развлеклись. Теперь ты можешь рассказать об этом своим друзьям, а я — своим. И мы оба выжмем из этого немало возможностей. Это поможет нашим карьерам.

— Я не собирался… Я не…

Но она уже отвернулась, шла к людям, высыпавшим из машин. Один, гражданский, держал фотоаппарат. Он припал на колено, сфотографировал Линду с пленкой в руках и широкой

улыбкой.

Кинсмен так и стоял с раскрытым ртом.

Вернулась Джилл.

— Ну? Получил, что хотел?

— Нет, — произнес он медленно. — Видимо, не получил.

Она протянула руку.

— И мы никогда не получаем, правильно?

Послесловие

Чет Кинсмен со мной уже давно. Это уже третья публикация о нем. С точки зрения его жизни это самая ранняя история — первая часть его пробуждения и осознания реального мира. Или первый шаг к падению.

Кинсмен был звездой Великого Неопубликованного Романа, из 1950–51-го, где с поразительной точностью предсказана космическая гонка США и СССР. По крайней мере, я сам удивился. К несчастью, в начале пятидесятых распоясался некий сенатор Маккарти. Не Джин[162]. И на этом фоне издателей явно не обрадовала книга, в которой русские выходили в космос раньше нас. Это же очевидный мусор. К тому же вредный. Поэтому ранней версии Кинсмена пришлось дожидаться, когда русские сделают тот роман правдоподобнее. (Если быть до конца честным, тот роман написан из рук вон плохо. Может, виноват *не только* Святой Джо.)

---

[162] Примечания: 162

Юджин Маккарти (1916–2005) — американский политик и писатель из Миннесоты. Имеется в виду Джозеф Маккарти, делавший политическую карьеру на гонениях на коммунистов.

Между прочим, Клуб Одной Мили — не выдумка. Мне о нем рассказал человек, очень похожий на Сая Колдера. Впрочем, логичное следствие из этой истории в той версии, в какой я ее впервые услышал, — это обветренность и затуманенные очки, и именно их я здесь считаю главным признаком научной фантастики: точные технические детали, которые придают достоверности и пафоса персонажам и их трудностям.

Предисловие «Мышь в стене глобальной деревни»



Наблюдать на протяжении творческого пути, как созревает писатель, — занятие любопытное. Писатель, начинавший ярким и многообещающим новатором, частенько выгорает за три-четыре книги и либо повторяется в своих темах и приемах, либо за счет раннего успеха клепает для публики все то же самое. И наоборот, писатель, который знакомится с ремеслом в современных аналогах «школы палпа» — в недорогих книжках в мягкой обложке, мужских журналах низшего пошиба, НФ-периодике похуже, — и на старте кажется немногим лучше графомана, может на-

бить руку и нарастить на ней мускулы, перерасти в важный талант. На ум сами собой приходят множество примеров обоих видов писателей.

Дин Кунц — из последних. Его раннее творчество — например «Мутанты», (*Ace*, 1968),– читается как типичное, средненькое, не особенно выдающееся приключеньице в духе *Amazing Stories* образца сороковых. Его недавние романы — особенно «Звереныш», «Симфония тьмы» и «Врата ада» (все — от *Lancer*, 1970) — уже демонстрируют животворящее воображение, растущее владение концепциями и сюжетным материалом, его собственный проявляющийся стиль.

До 1969-го многие считали фамилию Кунца из тех «прокладочных» имен, которыми заполняют промежутки между Желязны, Дилэни, Муркоком и Спинрадом — писателями, которые на тот момент оттягивали все внимание к своим необычным и завораживающим произведениям. Кунц только-только ступал на сцену (когда составлялись «ОВ», он даже не рассматривался). Но всего за три года он так укрепил свое положение перспективного писателя, что на стадии планирования «НОВ» пригласить его стало первостепенным делом. И его вклад более чем оправдывает ожидания.

Если Дин Кунц продолжит в том же духе, то в следующие пять-семь лет вознесется до завидной вершины Собственной Категории — где только он пишет в стиле Дина Кунца, где у него есть свой сегмент рынка со спросом на Дина Кунца.

В личном общении Кунц очень располагающий человек. Мы пересекались в Питтсбурге в 1970-м. Как обманчивы имена! Увидев холодное имя «Дин Р. Кунц» в печати, представляешь себе — бог знает почему — почтенного господина с сутулыми плечами и загробным дыханием. Так не только он сам прогрессивный и хорошо одетый парень лет двадцати пяти, но и единственное, что красивее неудачно названного Кунца,– это его удивительная красивая жена Герда, хотя до нашей встречи это имя у меня ассоциировалось с толстоногой домохозяйкой, проживающей в каком-нибудь Панксатони или, например, Пшемкуве; в соавторстве с ней он написал публицистическую критику «Общество свиней» (*The Pig Society, Aware Press*, 1970).

Вдобавок к вышеотмеченным книгам Дин также написал: «Человек страха» и «Шоу смерти» (*Fear That Man* и *The Fall of the Dream Machine, Ace*, 1969), «Во мраке лесов» и «Убивающие взглядом» (*Dark of the Woods* и *Soft Come the Dragons, Ace*,

1970), а также «Античеловек» (*Anti-Man, Paperback Library*, 1970). Дин присылает следующую полную разочарования автобиографию:

«Мне где-то 26. Я родился в маленьком пенсильванском городке, вырос в традиционной семье низшего среднего класса и учился в маленьком традиционном пенсильсванском колледже. Выпустился после трех лет прилежной учебы и по Программе Аппалачей устроился преподавать в маленьком шахтерском поселении, в котором, к сожалению, уже не осталось рабочих шахт. В первый же год идеализма, когда служба обществу была для меня дороже денег, я быстро разочаровался. Политики много говорили о том, сколько средств вложено в программу по борьбе с бедностью. Я обнаружил, что после одобрения бюджета президент — на тот момент техасец, чье имя вылетело у меня из головы[163], — втихомолку, но беспощадно уполовинил бюджет на бедноту. Моей школе обещали двадцать тысяч долларов на работу с бедными, но прислали только десять. Ради дешевых учебников для класса общей суммой на девять долларов мне пришлось едва ли не заложить обе ноги, гарантируя, что я не сбегу

[163] Примечания: 163
Имеется в виду Линдон Джонсон.

с шестью. Между тем несколько тысяч долларов, отведенных по Титулу III на учебные пособия для бедных, перевели в школьный фонд — для строительства нового спортзала. Мне такие приоритеты показались перекошенными.

Мой идеализм понемногу испарялся, а я все больше чувствовал потребность в деньгах. Первые три месяца женатой жизни мы снимали шестикомнатный дом, где из мебели были только диван вместо кровати, кухонный стол и стулья. А, еще б/у холодильник и походная плитка (не полноценная плита). На преподавании я бы явно не озолотился — даже если бы перебрался в городской школьный округ и отказался от программы для бедноты. Где же выручить денег? На выпускном курсе в колледже мой преподаватель по литературному мастерству посоветовал послать рассказ в *Readers And Writers* — новый журнал для студентов литературы. Я послал. Рассказ купили за пятьдесят долларов. Теперь же, год спустя, я начал всерьез продавать свои произведения. Моя первая профессиональная продажа в фантастике — „Убивающие взглядом“ для *F&SF*. Эд Ферман купил второй рассказ, а Джо Росс из *Amazing-Fantastic* — еще два, и я подсел.

На следующий год я устроился преподавать

английский в городском школьном округе Гаррисберга. У всех моих учеников по программе для бедных были проблемы с дисциплиной или даже приводы: дети, от которых отказывались другие учителя, которым я на самом деле ничем не мог помочь. В том городском округе ученики вели себя лучше, но оказались ненамного прилежнее, чем в мелком шахтерском поселении. Полтора года спустя, совершенно разочарованный и уже зарабатывая литературой достаточно, чтобы хотя бы оплачивать жилье, я решил стать писателем на полную ставку. В том якобы передовом школьном округе высшего среднего класса меня то и дело вызывали на ковер за то, что именно я преподаю, и обвиняли в применении неприличных книг. Например, неприличным считался роман „Чужак в чужой стране“ Роберта Хайнлайна. Как и „Уловка 22“. Никто в администрации не читал эти книги. Просто опирались на мнение родителей и просили о них больше не рассказывать. В одном случае администратор заявил, что книга явно неприличная, потому что на обложке изображена полураздетая девушка (впрочем, все стратегические области были прикрыты). Вдобавок к этому происшествию я обнаружил, что молодые поколения ненамного либераль-

нее, ненамного осознаннее старших. Просто тот маленький процент, который был осознанным во все времена, теперь заявил о себе громче. Но один-два просвещенных ребенка в классе из тридцати еще погоды не делают. 27 января 1969 года я стал полноценным писателем.

На данный момент я продал больше двух десятков рассказов для журналов и сорок романов. Еще семь романов находятся на руках у моего агента, и я начал заходить в области мейнстрима, детективов, а также научной фантастики.

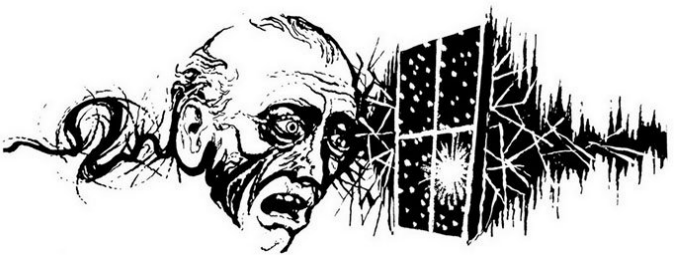
РАЗНООБРАЗНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫ: Мой рост — около метра восьмидесяти, вес — семьдесят два килограмма. У меня безумная зависимость от кино, хочу однажды увидеть на пленке мои детективные или мейнстримные работы. Не люблю почти весь спорт. Женат. Детей нет. Не религиозен. Читаю от четырех до шести книг в неделю. Высокого мнения о Джоне Д. Макдональде. Занимаюсь живописью, чтобы расслабиться, и даже продавал кое-какие картины людям с, видимо, плохим вкусом. Большой интерес к классической музыке и кое-чему из современного рока (в том числе The Beatles); написал НФ-роман „Темная симфония“, построенный как симфония XIX века. Поработал

упаковщиком в бакалее, чистил (паром высокого давления) двигатели, был лесным рейнджером (одно полное лето) в государственном парке, а также вышеупомянутым преподавателем английского языка. Играл в рок-группе и написал несколько рок-баллад. Планирую написать как минимум одну, а если повезет, то целую серию фантастических книг в сотрудничестве с Воном Боде, художником и иллюстратором. Это будут мультимедийные компиляции текста и рисунков, выходящих за рамки обычных иллюстраций. На данный момент собираю материал для огромного мейнстримного романа об ополчении „Минитмены“[164] и планирую уделить шесть месяцев этого года на завершение книги. На этом все. Конец связи».

[164] Примечания: 164

«Минитмены» — антикоммунистическая праворадикальная организация, образованная в 60-х и распавшаяся в 70-х.

Мышь в стене глобальной деревни
Дин Кунц



Прошло уже три недели с тех пор, как это случилось; три недели — немалый срок. Другой бы сказал, что мне пора смириться. Но я не могу. А значит, пока я лежу и пытаюсь вспомнить, тайный голосок внутри меня набирается с силами для вопля. Адского вопля. И тогда они примчатся по лестнице, топоча по пыльному протертому ковру. Быстро пройдут по коридору, переговариваясь тихо, чтобы я не понял ни слова.

Один вышибет дверь ногой, а другой ворвется и бросится к моей кровати. Первоклассная хореография. Подбежавший прикажет мне прекратить кричать. Я попытаюсь. Правда попытаюсь. Но мой тайный голосок, который на самом деле не мой (им-то это, конечно, невдомек; они думают, он мне подчиняется), будет кричать дальше, все пронзительней, и тот, что у двери, скажет: «Давай уже с этим покончим». И я задумаюсь, зачем они трудятся переговариваться, если им не обязательно, если они эмпатисты. «Давай уже с этим покончим». И второй скажет: «Господи!» И ударит меня. И будет бить ладонью наотмашь, снова и снова, до звона в ушах. Потом стащит с кровати, припрет к стенке и добавит кулаками, пока я наконец не затихну. Не то чтобы они хотят мне зла. Просто я никак не заткнусь.

Но мне же надо это обдумать, правильно? Чтобы положить конец воспоминаниям, чтобы окончательно смириться со случившимся, я должен без конца мусолить это в мыслях снова, снова и снова, пока не смоются все краски. Все краски, и острые углы, и боль. Быть может, повторение — мать смирения.

И я повторяю…

Тогда под мое окно прибывали автобусы на воз-

душных подушках, по одному каждый вечер: на улице раздавался их стон, их вытянутые тяжелые тела невесомо плясали в воздухе. Была зима, и снег взмывал вокруг них густыми пушистыми облаками, пока они совершенно не скрывались за их же собственным снегопадом. Затем автобус тормозил перед вестибюлем, у передней лестницы. Пропеллеры отключались, и судно оседало на свою резиновую подушку плавно, как снежинки оседали на другие снежинки. Моя кровать стоит у окна. Я лежал там на теплом сером одеяле и наблюдал с меланхоличным отрешенным любопытством и в то же время с немалым воодушевлением, что будет дальше.

Сначала ничего не происходило, я просто смотрел на автобус, стараясь заглянуть в окна и разглядеть пассажиров в тусклом свете салона. Большинство спали, привалившись головами к окнам и затуманивая стекло, поэтому я — практически — ничего не видел.

Через несколько минут открывалась передняя дверь, выходил водитель в длинном синем пальто, хлопающем на ветру. Он наклонялся против ветра и снега и спешил в освещенный вестибюль, скрываясь из глаз. Однажды, особенно заинтересовавшись, чем он занимается в вестибюле

каждый вечер, я вышел в коридор и прокрался вниз по лестнице (я живу всего лишь на втором этаже), выглянув из-за угла. Водитель и Белиас, ночной портье (здоровяк с темной шевелюрой, мелкими глазками, проворными руками), стояли у камина, попивая кофе в тяжелых коричневых чашках. Парочку раз посмеялись, но ничего не говорили. Разумеется, ведь они эмпатисты, им говорить необязательно. Допив кофе, Белиас выдал водителю три свертка, отправлявшиеся из почты отеля, и водитель ушел, поспешил через снег в уютное убежище кабины. Я поднялся к себе и наблюдал, как автобус улетает в белых завихрениях. Потом, кажется, плакал. Во всяком случае, больше я за Белиасом и водителем не подглядывал.

Но сигналить пассажирам не перестал. Каждый вечер, когда у лестницы перед вестибюлем опускался двухчасовой автобус, я ставил на подоконник лампу, снимал и аккуратно укладывал абажур рядом. Потом замирал, словно чего-то ждал. Сам не знаю, чего. Наверное, думал, что кто-нибудь в салоне включит лампочку над сиденьем, поводит перед ней рукой, чтобы она подмигивала. Но этого никогда не происходило.

Только раз.

Три недели назад.

Слушайте…

Я лежал на кровати, ждал двухчасового шаттла. Лампу я заранее переставил на подоконник. На улице сыпал снег — сухой, легко воспарявший на ветру, скрежещущий, как песок, когда задувался к стеклу. Я держал под рукой старую рубашку, чтобы протереть окно, если оно слишком запотеет от моего дыхания. За минуту до двух часов в нескольких кварталах от меня на улицу вывернул автобус, на самом краю моего поля зрения. Так далеко я видел, потому что прижимался к стеклу, морозил лоб. Сначала показались только тусклые круги света от фар, почти затушенные снегопадом. Потом, по мере приближения, свет становился ярче, теплее — так и хотелось взять в ладонь. Сердце, как всегда, забилось сильнее, мой палец лежал на выключателе лампы.

Сначала все шло как обычно. Автобус подлетел к обочине, сопла завывали, фонтанируя со всех сторон снегом. Он опустился на толстый белый ковер, роторы наконец остановились. Водитель вышел и отправился в вестибюль, оставив пассажиров. Я — дрожа, чуть ли не задыхаясь, — включил и выключил лампу шесть раз, потом стал ждать.

Вот тогда все изменилось. Кто-то ответил на мой сигнал. Мигнул желтый свет. Еще раз. Третий. Всего шесть раз. Я исступленно протер окно, чтобы убедиться, что мне это не мерещится, что это не игра бликов на стекле. Снова подал сигнал. Теперь окно было чистым, и ничто не закрывало от меня зажигалку, которая то горела, то гасла, то горела вновь.

Кажется, я рассмеялся. Точно знаю, что прижался к окну, чтобы разглядеть получше, потому что тогда уронил лампу. Она отскочила от кровати, свалилась с края и шумно разбилась о пол.

Я подскочил и увидел, что лампочка разбита. Сама лампа осталась невредимой. Но нужна-то была лампочка. Водитель с минуты на минуту допьет кофе и вернется в кабину, оставив меня одного, забрав с собой того мужчину или женщину с зажигалкой. Мне нужна была лампочка. И срочно.

Я вспомнил о напольной лампе на другом конце номера. На ощупь поплелся в темноте, споткнулся о свой единственный стул и свалился раньше, чем успел выставить руки перед лицом. Ушибся подбородком и сколол передний зуб. Зуб вонзился в губу, пошла кровь, и боль на самом деле была только от нее. Я лежал оглушенный,

чувствуя, как подо мной перекатывается пол, словно спокойные волны на теплом пляже. Наконец я поднялся и нашел напольную лампу, попытался выкрутить лампочку.

Пальцы плохо меня слушаются. Их несколько раз ломали, и они неудачно срослись. К тому же трех не хватает. А правый большой потерял чувствительность, хоть и может крепко держать предметы. Раньше я был музыкантом. Вот почему мне обработали кисти. Я еще легко отделался, в отличие от некоторых отсталых.

Я возился с лампочкой, но она то и дело выскальзывала из пальцев. Я проклинал ее, потянул, снова споткнулся, завалив всю лампу с собой.

Ну, черт; сами знаете, как бывает. Приходит человек с эмпатическими схемами, дополняющими мозг, и ты с радостью разрешаешь установить себе такие же. Ведь мы все теперь одна большая семья. Никаких войн. Никаких недоразумений. Только любовь. Правильно? Ну, когда-нибудь. Все будет здорово. Если у кого-то неприятности, все вместе помогают их решить, дарят любовь и понимание, чтобы человек в конце концов примирился с собой. И слова не нужны. Зачем, если все эмпатисты! И вот ты выходишь из операционной, вокруг сплошь хром, белизна, кафель,

накрахмаленные медсестры и врачи, благоухающие антисептиками. И тут узнаешь, что у тебя схемы не работают. Сначала всем страшно, потому что кажется, что исключениями будут многие. А потом, пять лет и несколько миллиардов элементарных операций спустя, люди уже знают, что исключений немного. Всего горстка. Отсталые. Отрезанные от телепатического понимания. Им вечно хочется говорить, говорить, говорить, когда говорить-то уже необязательно. И они немедленно становятся не такими, как все. Другими. И однажды, когда дети и взрослые постарше и поизвращеннее избивают отсталого просто потехи ради, ты присоединяешься. Потом он сходит на нет, этот припадок садизма, и тебе становится стыдно. Человечество идет семимильными шагами к абсолютному здравомыслию, и ты понимаешь, что подобные нападения на отсталых — это последний взрыв зверства, последняя жестокость перед взрослением. Поэтому следующий этап в отношении эмпатистского истеблишмента с отсталыми — это в порыве либерализма выпустить стайку законов, чтобы принять отсталых под крыло. Теперь вроде бы все славно, да? Хеппи-энд — галочка, да? Можно забыть об отсталых. Но понемногу становится очевидно,

что для защиты от насилия им мало законов. Есть и другой вид насилия — куда смертельнее, куда сокрушительнее. Это насилие безразличия, это насилие выделения в касту, отдельную от всего мира, это насилие пренебрежения, это насилие сидения в одиночестве, жизни на пособие, поиска в пожелтевших растрепанных страницах старых книг еще теплящейся человечности, которую писатель мог влить в свои слова. Поищи других отсталых. Ага, попробуй. Единственная сложность — их всего-то пятнадцать тысяч в мире с населением в четыре миллиарда с половиной. А когда кого-нибудь найдешь, обнаруживаешь, что разум, не реагирующий на эмпатические схемы, не всегда здоров. В конце концов понимаешь, что податься некуда. Совершенно некуда… А те, кто содержит отсталых, непорядочные владельцы отелей, узколобые управляющие, не против их поколотить, чтобы они затихли, — ведь отсталых все равно на самом деле не существует, да? Они же на самом деле не люди, да? Это уже не зверство, как при откровенной пытке, а скорее скучная и необходимая дисциплина.

Я лежал на полу с лампой в обнимку, приговаривая снова и снова: «Господи Иисусе, только не дай лампочке разбиться, Господи Иисусе, только

не дай лампочке разбиться», — пока вдруг не заметил, как жутко звучит мой голос. Я передернулся, меня замутило. Но я взял себя в руки и поискал на ощупь в абажуре. Лампочка была цела. Я всхлипывал, выворачивая ее из патрона, но ничего не мог с собой поделать. Так я был рад!

Через минуту я уже вернулся к окну. Автобус стоял на месте, но наверняка ненадолго. Я попытался выкрутить разбитую лампочку из настольной лампы. Пальцы соскользнули, порезались о тонкое стекло, но я ее все-таки вытащил. Вкрутил новую и вернулся к окну. Только я хотел подать сигнал пассажиру с зажигалкой, как из вестибюля вышли водитель и Белиас.

Я замер и, дрожа всем телом, прислонился к стеклу. Я чувствовал себя таким несчастным. Лоб взмок, глаза щипало от пота. Но сердце при этом похолодело — трепыхалось внутри, как дохлая рыба. Я упустил свой шанс. Упустил безвозвратно. Миг спустя я поднял голову и присмотрелся к автобусу, думая, что его уже нет. Не знаю, почему он меня еще интересовал. Наверное, я удивился, зачем вышел Белиас. Он никогда не выходил. Всегда было наоборот: водитель заходил. Они пили кофе у камина и посмеивались, но не разговаривали, Белиас передавал почту, и я плакал, но

сам не знал почему. Так или иначе, подняв взгляд теперь, увидел нечто странное. Белиас с водителем загружали табличку «Автобусная остановка» в багажное отделение сзади шаттла. Впихнули ее внутрь. Водитель остался ее закрепить, чтобы она не стучалась о багаж пассажиров. Белиас вернулся внутрь. Закончив, водитель последовал за ним.

Остался снег.

Я наблюдал.

Наблюдал за темными силуэтами голов у окон, представлял, как они отдыхают, зависнув меж сном и пробуждением, как их убаюкивает глухой рык лопастей и тихий шелест воздуха, когда они переносятся сквозь ночь с места к месту.

И тут вспомнил о лампе.

Я уже хотел было подать сигнал, как вновь появились Белиас и водитель. Они несли табличку из вестибюля, на которой указывались часы прибытия и отбытия автобусов-шаттлов, расценки и тому подобное. И ее тоже стали убирать в багаж.

И тогда я понял. Автобус на воздушной подушке больше не проедет через город. Это последний рейс. Отныне откроется новое шоссе, новая прочная поверхность, чтобы от нее отталкивались потоки воздуха. Открытая дорога без зданий по

сторонам, где не придется сбрасывать скорость из-за опасений повыбивать окна. Автобусы пропадут, оставят улицы пустыми — и такими улицы останутся впредь. Завтра вечером я выгляну в окно — и не будет там теплых желтых огней, что становятся ярче и ярче. Не будет шумящих лопастей. Не будет клубов поднятого снега.

Выключатель лампы стал скользким от крови из пальцев.

Я вскочил с кровати и каким-то чудом нашел дверь. Мне надо было спуститься. Больше не оставалось ничего, только спуститься. В коридоре я сорвался на бег, но, оказывается, ошибся направлением. Уперся в тупик на другом конце отеля и просто остолбенел, пытаясь сообразить, что случилось. Потом вспомнил, где лестница, выругался: «Сука!» — хотя почти никогда не ругаюсь, и побежал в другую сторону. Нашел лестницу и скатился по ней, пробежал по протертому ковру вестибюля.

Толкнул стеклянные двери и слетел по ступенькам. Поскользнулся на льду и растянулся на тротуаре, облепившись сухим снегом, который таял на мне, замерзал вновь и становился льдом на одежде. Помню, я плакал — и мне было стыдно, — но я просто не мог остановиться. И опять

накатила тошнота, но меня только впустую скрутила судорога, отчего заслезились глаза. А ведь я взрослый человек.

Водитель и Белиас меня еще не заметили. Я встал и пошатнулся, по коже резанул холодный ветер. Я шел вдоль автобуса, пока не нашел пятое окно, где трепетал огонек зажигалки. Стучал по стеклу, пока ко мне не повернулось лицо. Это была женщина, очень грузная, с длинными и спутанными русыми волосами. Она странно на меня посмотрела в поисках моей мысленной частоты, потом приоткрыла рот и уставилась сквозь меня — взгляд, к которому привыкли все отсталые.

Я закричал ей:

— Эй! — Я колотил ей в окно. — Эй! Эй!

Вдруг меня обхватили руки, руки Белиаса. Он держал крепко, и наконец я прекратил попытки вырваться. Вернулся водитель и взглянул на женщину внутри. Все они общались, но я не слышал ни слова. А потом я увидел рядом с женщиной мальчика и сам догадался, что произошло. Мальчик увидел, как я включаю свет, и достал из маминой сумочки зажигалку. Может, она задремала — укачало шумом и ритмом быстрого транспорта. Он посигналил мне в ответ. Мама проснулась и отняла зажигалку, а потом

поменялась с ним местами, чтобы не хулиганил.

Дети единственные, кто сейчас может быть жестоки. Они проходят стадию, когда издевательства кажутся им смешными.

Но было хотя бы одно утешение.

Он не смотрел сквозь меня.

Ни стеклянных глаз. Ни рыбьего взгляда. Наши взгляды встретились, ненадолго, а потом Белиас уволок меня внутрь.

Он загнал меня обратно в номер, в постель. Я лежал лицом на матрасе, задыхаясь, дрожа и пытаясь думать. Потом раздался рев заводящихся лопастей. Я быстро подскочил к окну и встал на кровати на коленях как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как автобус исчезает на дороге, как полог потревоженного снега скрывает его из виду навсегда.

Тогда я и начал кричать.

Ворвался, вышибая дверь, Белиас. Второй, чьего имени я не знаю, подошел и велел заткнуться. Я пытался. Правда. Но подавленный всхлип застревал в горле, когда я забивал его обратно, и возвращался вдвое громче. Я кричал, плакал и как будто не мог насытиться звуком. Я представлял тихие улицы, тихий снег, что мягко, бесшумно ложится на снег; я представлял тишину отеля и ту

тишину, в которой Белиас и водитель общались с толстухой. И кричал еще громче. Безымянный дал мне пару пощечин, потом стащил с кровати и припер к стенке, как всегда. Три раза сунул кулаком в живот, быстро, выбив из меня все дыхание. Но тогда я кричал бесшумно. А когда вернулось дыхание, с ним вернулся и крик.

Белиас включил мою лампу. Свет был слабым и безобразным. Второй швырнул меня на стул и хлестал по лицу снова и снова, туда-сюда, вверх-вниз, пока не пошла кровь носом. Разбил мне губы сильнее, чем падение, и раз задел зубы, выбив сколотый и расшатанный.

А пока он меня избивал, я впервые разглядел его лицо. Всегда было слишком темно, чтобы разобрать. Самое обычное лицо — вот только он не смотрел сквозь меня. Он смотрел на меня. Прямо на меня. И смеялся. Его рот распахнулся, показались широкие белые зубы, и вокруг его языка заплетался смех. Тогда я сразу же понял, почему он меня избивает. Он не эмпатист. Он отсталый, как я. Возможно, тоже местный жилец. Удобный человек, чтобы присмирять других невидимок.

Я перестал кричать.

Они наблюдали за мной.

Я таращился на них.

Они ушли, оставив меня в тусклом свете.

Я добрался до кровати и вытянулся на ней, чувствуя на языке вкус крови и соли. Где-то далеко, в другом номере, кричала женщина. Она тоже ломала вещи. Блондинка. Или была, пока волосы не сменили цвет. Я ее помню. Помню ее влажные чресла, помню момент, когда переломилась наша дружба, когда мы спали вместе, момент скользящего, гладкого, долгого, дрожащего проникновения, той особой близости, что навсегда меняет любую дружбу. Помню нашу ссору после этой особой близости — и открытие, что короткие минуты связи, мимолетные секунды тесной и влажной общности лишь подчеркнули тяжесть одиночества.

И теперь она кричала. Она была слишком стара, чтобы найти в сношении даже ускользающие секунды тепла и света. Наверное, тогда ее напугал я. Я жалел, что мой крик вызвал ее крик. Жалел, что устроил сцену у автобуса. Жалел, что я отсталый. Но, в конце концов, жалость ничего не меняет. Прямо как святая вода. Только и жажды утолить не может.

Это случилось три недели назад. И я все еще не хочу помнить. Я выслушиваю автобус на воз-

душной подушке, тук-тук его лопастей. Лежу без сна до пяти-шести утра, думая, что он наверняка всего лишь опаздывает. А иногда, как сейчас, заставляю себя вспоминать. Я уже слишком стар для самообмана. Мне шестьдесят пять. Когда операция не удалась, было двадцать четыре. Мне шестьдесят пять. Мои руки покрылись пятнами. Мои волосы побелели. Можно сказать, белы, как снег на улице. И теперь я вспоминаю, и в номере тихо. Снег заметает на стекло — тихо. Я щелкаю пальцами, чтобы нарушить тишину, но как будто ничего не слышу. Щелкаю снова. Не слышу. А значит, видимо, придется кричать, чтобы пришли Белиас и второй, безымянный…

Послесловие

Самая распространенная реакция у общественности на то, что ты писатель, это спросить — обычно с пустым снисхождением (ведь у тебя же *нет* нормальной работы, верно; ты же не следуешь Великой Американской Традиции существования с девяти до пяти, верно?) — что-нибудь вроде: «Где ты берешь идеи?» Чтобы ответить исчерпывающе, потребуется семь-восемь часов времени того, кто интересуется. Учитывая, что, как правило, период его внимания длится минуту сорок восемь секунд и что он не читал ни одной книги в жизни (последние исследования показывают, что в этом готовы признаться пятьдесят восемь процентов американской общественности), семичасовой ответ тут неуместен. Поэтому просто пожимаешь плечами и говоришь «Из жизни» или еще какую-нибудь расплывчатую и бессмысленную абстракцию.

Но раз уж это называется послесловием и раз уж вы его читаете, сейчас полный ответ, очевидно, будет к месту. Не семи-восьмичасовой, но хотя бы несколько минут конкретно об этом рассказе.

Писатель любого жанра — не считая вестернов

и исторических романов, — должен держать руку на пульсе развития физики, химии, биологии, медицины, социологии и философии. И это особенно важно для фантастов. Поэтому я, всегда пристально выглядывая сюжеты своими жадными глазками, поглощаю журналы и книги из самых разных областей. Впервые открыв для себя философские бормотания Маршалла Маклюэна в «Медиа — это массаж» и «Война и мир в глобальной деревне», я понял, что это целая золотая жила фантастических допущений.

Среди многого прочего Маклюэн предполагает, что мир становится и продолжает становиться благодаря электронике — в особенности спутниковой — глобальной деревней. Он предвидит день, когда исчезнут национальные границы, все люди станут гражданами единого города, а скорость и полноценность коммуникации приведут к доселе немыслимому взаимопониманию. Моим первым подходом к Маклюэну стал роман «Шоу смерти», где я пытался показать, что станет с концентрацией власти в таком резко съеженном мире. Если следовать логике, власть будет находиться в самом малом числе рук, чем когда-либо в истории. А значит, вполне возможен и первый глобальный диктатор — хотя он, скорее

всего, будет бизнесменом, а не политиком. Вторая попытка экстраполяции привела к рассказу «Дракон на земле» о растущем взаимопонимании из-за уменьшающей мир войны. В том рассказе было больше о человеческих отношениях, чем в романе. Мне он нравится больше, но и он не подытоживает все мои мысли о глобальной деревне. Далее последовал мейнстримный роман «Фикс!» (*Hung!*), от слова «фиксация», чье действие происходит в современной субкультуре хиппи в маленьком университете. Я пытался показать, что наш мир сжимается уже сейчас — и что это значит для нас всех. Например, война в Азии — то, что раньше можно было бы просто выкинуть из головы (ведь страна-то очень маленькая), теперь подняло нравственные волны по всему миру. А это признак, что Маклюэн был на верном пути. Но, дописав «Фикс!», я знал, что все равно не сказал о пророчестве-философии Маклюэна всего. Да, потребуется еще одно произведение. Фантастическое. Так и родился рассказ, который вы только что прочитали.

Мне хотелось показать и хорошие, и плохие стороны такого «мирорайона». Да, конечно, придет конец нациям, новое взаимопонимание между людьми, конец войнам. Но означает это

и еще кое-что — кое-что довольно неприятное. Что случится в таком сплоченном мире с этническим происхождением? Неужели мы станем лишь сплавом, пресным бульоном, в котором не сохранятся отдельные и богатые культурные наследия? А что будет с теми, кто не сможет влиться в Великих Всех? Глобальная деревня с ее навороченной и блестящей электроникой начнет промывать мозги и усреднять своих граждан, как еще ни одно общество в прошлом, — просто потому, что не останется альтернативы для обездоленных, им некуда будет податься…

В этом рассказе герой выпал из глобальной деревни эмпатистов из-за медицинско-научной проблемы. На самом деле это собирательный образ человека, выпавшего из общества по любой причине. Самое пугающее — что он живет в обществе, где в целом все живут счастливо, как никогда в истории. При этом лично его существование — кошмар. Значит, даже в утопии найдутся мрачные закоулки. Может, глобальная деревня — это хорошо, но это не место для одиночек, для не таких, как все, для иконоборцев. Это место со стеклянными стенами, не выносящими вибраций. И если ты в него не встраиваешься, остается только то, что и делает герой этого маленького

рассказа. Кричать, чтобы пришел безымянный, и надеяться, что в этот раз он тебя прикончит…

Предисловие «Совместная жизнь»



Уже больше тридцати лет Джеймс Блиш — самый последовательный и громкий голос в области, стоящий за грамотность, изящество и технические познания в спекулятивной литературе. И под своим именем, и под псевдонимом «Уильям Эзерлинг-младший» он ведет благородную битву: в первом случае — на своем примере, с рассказами, которые отличаются силой и строго приручeнным воображением, элегантностью стиля, нередко интеллектуальным подходом, что так часто игнорируется в НФ… а во втором случае — критикой, что просвещает и поддерживает целое поколение новых авторов, устанавливает

литературные стандарты, чтобы измерять наши взлеты и падения. Из всех писателей, кого можно назвать «гигантами», Джим Блиш заслуживает это звание больше всех.

К тому же он безупречно честен.

И мало кто знает это лучше вашего редактора. Не буду вдаваться в подробности — насколько помню, где-то уже об этом писал, — но точку зрения Джима всегда лучше всего описывает цитата из немого фильма с Дагом Фэрбенксом «Дон Ку, сын Зорро» (1925), где Фэрбенкс в роли дона Сезара де Веги извиняется за оскорбление, а когда соотечественники его за это упрекают, отвечает: «Когда ты прав, сражайся; когда не прав, признай». Я видел, как Джим Блиш поступает так в печати, и, по себе зная, насколько трудно пойти на попятную, считаю это уникальным признаком его честности.

К тому же он не поступается принципами.

Он ценит свое достоинство выше, чем любой, кого я встречал. Подписавшись сделать серию новеллизаций эпизодов «Стар Трека» для изданий *Bantam* в мягкой обложке, Джим однажды столкнулся с задачкой, над которой ломал бы голову и сам Соломон. Экранизация одного сценария совершенно отличалась от оригинала, написан-

ного одним фантастом. Джиму надо было угодить и *Bantam*, и продюсерам, и большим шишкам в Paramount Pictures, но при этом не хотелось и оскорблять фантаста, автора сценария, который ему нравился. Мы бы с вами просто обошли проблему и выбрали другую серию; но Джим аккуратно взял лучшее от *обеих* версий и добавил чудесный примиряющий абзац с объяснением, что эта версия собрана из двух. И все остались довольны.

К тому же он терпелив к тем, кому нужно учиться.

Не впадая в праведный гнев, чем так часто грешат многие другие исследователи мира НФ — и в числе этих низших смертных я со стыдом назову и себя,– он вновь и вновь показывал любителям конфликта Старая Волна / Новая Волна, *что все писатели с ярлыком «Новая Волна» категорически от него отказывались*. Но спокойного и рассудительного здравомыслия Блиша не хватило, чтобы заглушить, э-э, *колкие* тирады тех, кто не только отвергает писателей, стремящихся испытать новые параметры НФ-уравнения со своими собственными форматами и дерзкими экспериментами… но и кто продолжает битву бумажных тигров, настаивая, будто авангард

желает обделить братьев и сестер с ярлыком «Старая Волна». В сущности своей, это джихад дураков. Как подмечал Блиш, терпеливый к людям недалеким и лишенным чувства юмора, обреченным смотреть на мир с туннельным зрением, во вселенной спекулятивной литературы хватает места, красок и насыщенности на *все* форматы, *все* стили, *всех* писателей.

Так мы и приходим к «Совместной жизни».

Это особенное произведение даже в книге, посвященной всему сверхособенному.

Это действительно рассказ, и вдобавок, понятно, блестящая пародия — о чем ниже,– но это и кое-что еще. Рассказ действует на том уровне общественного взаимодействия, на котором некогда работали Александр Вулкотт, Бернард Шоу, Периандр, Джеймс Эббот Мак-Нейл Уистлер и Дороти Паркер, не говоря уже об Х. Л. Менкене. Это добрая, но (опять же) *колкая* насмешка над настолько безрадостной философской позицией, что ее приверженцы табуируют сам смех. Здесь Джеймс Блиш делает то, что ему среди нас удается лучше всех, — ставит на место зазнаек, при этом развлекаясь вовсю.

И если позволите редактору такую вольность, поскольку, как болезненно очевидно человеку,

который в последние пять лет встречал безграмотную молодежь нашей нации в нескольких сотнях колледжей и обнаружил, что имена Германа Мелвилла и Густава Флобера неведомы пугающему числу тех, кто считает себя прогрессивным, раз знает имена всех музыкантов в Blood, Sweat & Tears или Three Dog Night, эта пародия может быть несколько туманна, я бы хотел перечислить высмеиваемых авторов.

Нужно понимать, что это не говорит о презрении редактора к интеллекту читателя, а лишь является очередной попыткой сделать книгу такой же всеохватной и обогащающей, как, скажем, «Вечер с Бобби Шерманом».

Однако ради уверенности в том, что сей акт милосердия никого не заденет, предлагаю сначала прочесть «Совместную жизнь» и попытаться самостоятельно опознать пародируемых авторов, пропустив все нижеследующее до следующего разрыва (включая перевернутую часть). Там перечислены авторы, спародированные в девяти письмах. А прочитав рассказ, можете вернуться и подсчитать, скольких вы узнали. Так веселее.

Все, дальше можно пропускать.

Пародии следующие…

1. Джон Клеланд
2. Брэм Стокер
3. Мэри Шелли
4. Сэр Артур Конан Дойл
5. Джон Кольер / Лорд Дансени
6. А. Мерритт
7. Герберт Уэллс
8. Виктор Аппертон
9. Говард Филипс Лавкрафт

Пара в пятом письме объясняется тем, что два автора написали почти одинаковые рассказы — «Две бутылки приправы» (*The Two Bottles of Relish*) и «Весь секрет в мускатном орехе» (*The Touch of Nutmeg Makes It*),– хотя для пародии Блиш пользовался в целом всеми рассказами Кольера из сборника «Фантазии и сказки на ночь» (*Fancies and Goodnights*) и, разумеется, знаменитыми рассказами Дансени о Джоркенсе. Точно так же часть Дойла — это смесь Шерлока Холмса и «Страны тумана» (*The Land of Mist*). Не уверен, что нужно пояснять, но могут быть и читатели, подзабывшие, что Джон Клеланд написал «Фанни Хилл» (*Fanny Hill, Memoirs of a Woman of Pleasure*),

а «Виктор Аппертон» — это имя на книгах о Томе Свифте. Так или иначе, по пунктам 6, 8 и 9 ясно, что автор не подразумевал конкретные произведения.

И, пожалуй, можно предложить Джиму показать пятое письмо леди Дансени, ее это позабавит.

А теперь, когда вы пропустили разгадки о пародиях и не лишили себя удовольствия узнавания перед тем, как вернуться и испытать свою эрудицию, пора составить опись книг Блиша и затем дать возможность сообщить свои жизненные характеристики Джиму и его очаровательной жене Джудит Энн Лоуренс, с кем он написал эту прелесть.

Фантастические произведения Блиша:

The Warriors of Day

The Duplicated Man (в соавторстве с Робертом У. Лаундсом)

«Козырной валет» (*Jack of Eagles*)

Серия «Города в полете» (*Cities in Flight*):

1. «Звезды в их руках» (*A Life for the Stars*)
2. «Жизнь ради звезд» (*They Shall Have Stars*)
3. «Землянин, вернись домой» (*Earthman, Come Home*)

4. «Триумф времени» (*The Triumph of Time*)
Сборник «Засеянные звезды»
(*The Seedling Stars*)
The Frozen Year
«ФОК» (*VOR*)
Galactic Cluster
«Дело совести» (*A Case of Conscience*)
And All the Stars a Stage
Titan's Daughter
The Night Shapes
So Close to Home
The Star Dwellers
«Сердце звездного мира» (*Mission to the Heart Stars*)
«Добро пожаловать на Марс» (*Welcome to Mars!*)
Best SF Stories of James Blish
A Torrent of Faces (в соавторстве с Норманом Л. Найтом)
Star Trek 1/2/3/4
Spock Must Die!
Anywhen

Фэнтези: «Черная Пасха» (*Black Easter*) и «День после Светопреставления» (*The Day After Judgement*); исторический роман: *Dr. Mirabilis*; подростковый роман: *TheVanished Jet;* блестящая критика в *The Issue at Hand* и *More Issues at Hand*;

Редактор: *Thirteen O'Clock* (ранние рассказы С. М. Корнблата), *New Dreams This Morning, The Nebula Award Stories*, том V, а также *Kalki* — журнал Общества Джеймса Брэнча Кейбелла.

Планируются к выпуску на момент написания предисловия: «Би-и-ип!» (*Beep*), *King Log, Histories of Witchcraft* и *Demonology&Magic* (два тома), *The Sense of Music.*

О Джуди Э. Л. Блиш можно говорить долго. Не в последнюю очередь о том, что она соавтор этого рассказа/пародии/хеппенинга вместе с мужем Джимом. Еще можно сказать, что она талантливая художница и чертежница; что это она спроектировала вожделенно прекрасную премию «Небьюла» Американской ассоциации писателей-фантастов — трехмерное воплощение мечты любого фантаста о том, как должна выглядеть клевая награда; что она хорошо пишет; что она обладательница необыкновенно здравого смысла и почти невероятного сочувствия; что она разозлится, если я не уделю ей столько же места, сколько Джиму. Но она меня знает. И, подобно ангелу, прощает чаще, чем следует.

Оба на данный момент проживают в Англии, и вот что они пишут о себе сами — в духе, э-э, жизни вместе:

«Дж. Б. род.1921, Ориндж, Н.-Дж.; образование — Ратгерс (бак. наук, 1942) и Коламбия; армия США, 1942–44; редактор профессиональной газеты, 1945–52, советник по связям с общественностью (для агентств и корпораций), 1952–69; сейчас — автор-фрилансер на полную ставку. Жен. на Вирджинии Кидд, 1945, двое детей; повторно жен., Джудит Энн Лоуренс, 1964. 27 книг выпущено, одна в печати, три в работе; представлен в 64 антологиях, не считая „НОВ“; переводился на 18 языков. Один из трех основателей Милфордской конференции фантастов; вице-президент SFWA, два года; обладатель премии „Хьюго“-1958 за лучший роман — „Дело совести“; почетный гость — Питткон (1960) и Лунакон (1967), главный спикер на Филликоне (1968). Также писал вестерны, детективы, романы о спорте, статьи о популярной науке, стихи, пьесы, литературную критику, музыкальную критику, сценарии для телевидения и кино».

«О боже, Джим говорит, мне теперь тоже придется это писать. Год рождения не скажу никому. Бакалавр изящных искусств, Колумбия, 1957. Преподавала в школе, управляла лифтами, секретарила и все такое. Сейчас иллюстратор-фрилансер — 19 книг, много журналов, в основном НФ. За-

мужем за всем вышеперечисленным. Нравится. Что, мало? Отказываюсь удовлетворять более скабрезное любопытство.

Это не холодный рассказ, высосанный из пальца. Он высосан из жаркой британской летней ночи, в 4 часа, когда пришлось выбираться из теплой уютной постели и записывать задумку на еще теплой электрической пишмашинке».

Совместная жизнь
Джеймс Блиш (В соавторстве с Джудит Энн Лоренс)



[*Около года перед поездкой в Англию мы с женой жили в изящно украшенном бруклинском старинном доме — как мы подозревали, раньше в нем располагался бордель времен финдесьекля*[165]. *В главной спальне находился стенной сейф с ком-*

---

[165] Примечания: 165
Финдесьекль (*фр.* — «конец века») — рубеж XIX и XX веков.

бинацией, и никто, включая хозяйку, не знал, как его открыть. Наконец любопытство и алчность возобладали, и мы наняли профессионального взломщика.

Внутри мы не нашли ни ювелирных украшений, ни купчих на восемьдесят четыре квадратных фута на Уолл-стрит, ни золотых орлов — лишь пачку пожелтевших рассыпающихся писем, написанных женским почерком. Мы не знаем, насколько следует доверять истории в них, но уверены в том, что никогда не встречали ничего подобного.– Дж. Б.]

Письмо первое

Дорогая мадам,

В свете множества ваших любезностей, оказанных мне в час испытаний, даже по моим меркам незаурядных, я отвечу, пусть и с опасением вновь воздействовать на ваше доброе сердце, на вашу просьбу поведать подробности моей слезливой истории.

Знайте, дорогая мадам, что впервые я увидела свет дня в Уиннетке, штат Иллинойс, в 18… год от Рождества Христова. Во время, о коем пойдет мой рассказ, было мне четыре года от роду, а четырьмя годами, восемью месяцами и двумя неделями до

того мою дорогую матушку жестоко заключили в долговую яму. На зябком рассвете того дня мы вышли за ворота, и надзиратель тепло пожелал нам доброго пути. Он учтиво поцеловал мою дорогую матушку и трех младших детей, вложив ей в ладонь полдоллара на прощание.

Между прочим, мадам, когда-то моя дорогая матушка обучалась в прославленной Школе шитья в небольшом городке на Темзе, где приложила руку к приданому старшей дочери королевы Виктории; однако на Дальнем Западе тех времен, где среди населения преобладали буйволы, краснокожие индейцы да разухабистые усмирители быков и странники дорог, на столь утонченные услуги не нашлось спросу, и ее здоровье немало подточили долгие лишения и бессонница. Вот почему вышло так, что после долгой борьбы с чахоткой она почила в бозе, когда мне не исполнилось и двадцати; оставив меня — нечего и говорить в свете моих первых лет взаперти — немногим готовее ее самой к воспитанию и образованию моего брата и сестры.

К счастью, я была красива не по годам и скоро обрела протекцию помещика, имевшего в достатке пшеницы, коров и прочих даров природы. Пусть во многих отношениях он бывал груб и

вспыльчив, мне никогда не забыть его щедрости. Разумеется, он не был готов приютить ради спутницы целый выводок маленьких детей в придачу, однако он устроил их в приют, где, как меня заверили, о них порадеют и обучат полезному делу.

Хоть и жаль было расставаться с видом их лиц, сердцу отрадным, долг мой перед благодетелем был так велик, что я не могла не покориться; ведь, мадам, вам должно быть ясно, что в то время я была всецело несведуща в искусстве учтивости, подобающей жизни с защитником, не говоря уже о тех тонкостях, благодаря коим я в конце концов стала в некой малой мере достойна, дорогая мадам, вашего первоклассного заведения на Восточном побережье; и нетрудно будет вообразить, с каким сочетанием воодушевления, скромности, робости и опасений я приняла на себя новые обязанности; однако хозяина своего я нашла терпимым и даже, пожалуй, до странного довольным моею неопытностью.

Лишь позже я узнала, что подобная терпимость далеко не в диковинку среди мужчин, но это ни в коей мере не принижает моей благодарности; более того, роль, доверенную мне, я нашла столь угодной, что уже скоро искала предлоги испол-

нить обязанности, уже тщательно исполненные ранее, и, хотя поначалу моего благодетеля забавляло такое мое рвение, в конце концов он нашел необходимым укорять меня, пускай и мягко, за избыток усердия.

Вот так я нашла свою гавань — но, увы, в свое время и этого господина постигли финансовые превратности, непостижимые моему скудному умишку, однако имеющие связь с таинственным делом под названием «продажа урожая без покрытия» (а моему наивному взгляду любая пшеница виделась растущей без покрытия под голубым небосводом). Посему он немало стеснился в средствах и, словно в знак раскаяния за то, что вверг в лишения и меня (впрочем, мой горький опыт уже научил меня в подобных случаях прибегать к моим внутренним силам), он все больше пренебрегал делами ради моего общества. Ради наших общих интересов я просила, чтобы он не пекся обо мне так сильно, а дабы придать весу своим возражениям, продемонстрировала свое умение по необходимости довольствоваться прелестями одиночества; и однажды, после особенно горячих прений, когда обе стороны распалились сверх всяких приличий, мой хозяин скоропостижно скончался.

Я узнала, что он не обошел меня в своем завещании; хотя, разумеется, все, что ему было мне передать, с тех пор уж растрачено. Так я — хоть, слава Фортуне, не мои прежние малолетние подопечные, — вновь оказалась брошена на волю равнодушного мира.

В тот миг отчаяния высшие силы напомнили мне, что, хотя моя дорогая покойная матушка не имела родни нигде, кроме далеких Бекингемшира и Лондона, у вышеупомянутого надзирателя были недалече братья и сестры, о ком он упоминал неоднократно. Так мне пришло в голову, что, хоть мне он не отец, кто-то из его родственников может сжалиться над сестрой их племянниц и племянника.

Сочтя сие предприятие, хотя и рискованное, понадежнее прочих, я продала единственное украшение, что мне оставил мой покойный радетель, и приобрела билет на экипаж до Найлса, штат Мичиган, где, по последним сведениям, проживала старшая сестра надзирателя; а что ждало меня там, дорогая мадам, то вы услышите в следующем послании, если я еще не исчерпала ваше терпение. Между тем остаюсь, поверьте,

Преданно ваша и прочая,

[Подпись неразборчива]

[*В следующих письмах я опустил приветствия и соответствующие прощания — все они одинаковы.– Дж. Б.*]

Письмо второе

Были в дилижансе и другие пассажиры, все крестьяне, и все направлялись в ту же сторону, поэтому всю первую часть пути мы вели приятную беседу. Однако стоило мне безыскусно справиться, не укажет ли кто-нибудь путь до дома госпожи Вролок (а именно так звали мою приемную тетушку — хотя, насколько я понимала, ее супруг уже скончался), все как воды в рот набрали и делали вид, что не понимают мой рудиментарный английский акцент, хоть прекрасно понимали ранее. Когда я принялась вытягивать подробности, все продемонстрировали любопытный жест — сжали кулаки, выставив в воздух средние пальцы, — и наотрез отказались говорить. Меня это весьма смутило.

Впрочем, кучер каким-то образом прознал о цели моего пути, поскольку среди ночи экипаж с рывком и шумом сбруи остановился, и он, соскочив с облучка, распахнул дверцу и жестом поманил меня на выход. Когда я подчинилась — все равно он уже скинул наземь мои небогатые

пожитки, — и спросила, куда мне идти дальше, кучер все так же молча указал на холм, после чего вскочил на прежнее место одним прыжком.

Я не сдвинулась с места, и тогда один из моих прежних спутников, крестьянин старше других, выглянул в окно, приложив палец к губам, и сунул мне в руку что-то маленькое, твердое и сухое. Щелкнул кнут — и экипаж уже помчал очертя голову. Я в недоумении опустила глаза на то, что мне вручил пожилой господин. У меня на ладони лежала луковица чеснока.

Будучи дочерью знатной англичанки, я, разумеется, ни в коем случае не допускала на кухню такой овощ, но теперь, стоило мне оглядеться кругом, смятение вынудило меня отправить его в свою сумочку. Я осталась совсем одна под ярким сиянием луны, хотя издали доносился пугающий плач гагары. Позади меня, за дорогой, на которой с такой поспешностью скрылся дилижанс, пролегало глубокое ущелье, на дне которого бежала река Сент-Джозеф; выше по течению раздавался такой шум, будто воды рушились через плотину, — но здесь они ползли в тягучем безмолвии. А впереди ждал тот холм, куда указал кучер, удивительно высокий и крутой; местность, коей мы сюда добирались, большей частью казалась ров-

ной, хотя и все более лесистой с каждой милей.

На вершине того холма простор неба нарушали ломаные очертания дымоходов, коньков и куполов большого особняка. Хоть я заблаговременно известила госпожу Вролок в письме о своем прибытии, непохоже было, чтобы меня ожидали, поскольку из дома не проливалось ни лучика света.

Но стоило устало подняться по скрипучим ступенькам крыльца и постучаться в древнюю дверь, как она немедля распахнулась под вопль петель. На пороге с керосиновой лампою в руках высилась дама с тяжелым подбородком, пылающим взглядом, металлически-седыми волосами и словно бы тонкими усиками. Даже с ног до головы закутанная в домашний халат, она отчего-то производила впечатление немалой физической силы.

— Я Фелисити Каплинг, — робко произнесла я.

— Ах да, дорогая моя, — сказала она. — Войди, будь гостьей по своей воле.

Когда я замешкалась, она дважды повторила это странное приветствие — и наконец я переступила порог. Забрав мои сумки — а она и впрямь оказалась сильна, — госпожа Вролок ввела меня в большую гостиную, где, несмотря на поздний

час, накрытый стол ломился от множества яств и весело горел огонек в камине. Были зажжены и свечи — их света мне не дали разглядеть снаружи плотно задернутые шторы из тяжелого ситца. Над камином висел девиз: «Избави нас Боже от упырей, привидений, долгоногих бестий и всего, что шуршит в ночи», — старомодность украшения вкупе с гостеприимством сцены помогла мне воспрять духом.

Жестом пригласив меня сесть, госпожа Вролок осведомилась о своем брате, хоть и, как мне подумалось, без особенного интереса или приязни, а также справилась о моем пути. Услышав, что поездка прошла, как и следовало ожидать (а я сочла невежливым описывать таинственное поведение моих спутников при упоминании ее имени), она принялась расспрашивать, что побудило меня предпринять подобное путешествие, и понемногу вытянула всю историю моей жизни (впрочем, скромность вновь не позволила мне в полной мере описать всю меру нежности, что проявил ко мне мой покойный благодетель).

В ходе моего рассказа она вызвалась накормить меня собственными руками, а когда я отказалась, заявила, сверкнув глазом:

— Но я настаиваю. Ты моя дорогая родственни-

ца и гостья, к тому же я давно не держу ночных слуг. Наше семейство гордое, но пережило окаянное время. Мой отец был послом, его отец — сенатором штата, а его отец — капитаном клипера: в свете дня ты увидишь, что у дома, пускай обветшавшего и возведенного вдали от моря, есть «вдовья дорожка». — На этом она явила во внезапной угрюмой улыбке сияюще белые зубы, хотя мне было не дано постичь суть шутки.

Огонь почти уж прогорел, и я невольно содрогнулась. Тут же госпожа Вролок сказала:

— Но ты совсем замерзла и устала. О чем я только думаю? Идем, провожу тебя в твою комнату, устроим тебя в тепле и уюте.

Чему я была только рада. Столь велико было ее радушие, что, дабы мне действительно было тепло, она лично присоединилась ко мне на просторной кровати. Я нашла ее заботу более чем приятной, хотя, надо полагать, чем-то не угодила госпоже Вролок, поскольку вскоре она приглушенно произнесла: «Однако ты, дорогая моя, была не вполне откровенна о своем опекуне». Однако моя усталость, усугубленная вспышкой чувств, была столь велика, что я лишь виновато обрадовалась, когда она молча поднялась и удалилась, как только на заднем дворе прокукарекал петух.

Встала я очень поздно и обнаружила, что в комнате для меня накрыт обед. Освежившись и потрапезничав, я отправилась на поиски своей любезной хозяйки, но дом стоял пуст и тих. Впрочем, сразу после заката она вернулась и привела с собой светловолосую крестьянку моего возраста, хоть и такую замарашку, что я не могла судить наверняка. И девица не промолвила ни слова; она выглядела то ли мрачной, то ли перепуганной, а быть может, и той и другой сразу. Мы пытались разговорить ее за ужином, но безуспешно; наконец тетушка проводила ее в комнату, взяв за руку хваткой, чью силу я теперь хорошо знала. Я не жалела, что на вечер осталась одна, ведь мне было о чем поразмыслить — и, собственно, не успела я привести свои переживания в порядок, как меня сморил сон.

К утру я окрепла и даже нашла в себе силы улыбнуться над своими прежними дурными предчувствиями; до сих пор моя тетушка, пусть и эксцентричная в некоторых отношениях, проявляла лишь любезность — а кто из нас не без своих невинных причуд? Однако это настроение мигом развеял вид крестьянки, спешившей мимо меня к лестнице, когда я заканчивала завтрак. В противоположность своему вчерашнему виду

она выглядела не только чистой, но и побелевшей, как хорошая простыня, и вдобавок не просто усталой, но и словно бы истощенной. Думаю, она меня не заметила, — я еще сидела за трапезой у себя в комнате, — ведь стоило окликнуть ее в дверь, как она вздрогнула, аки дикая лань, и сбежала из дома.

И вновь я пришла в полнейшее недоумение и, в надежде на объяснения, пустилась на поиски госпожи Вролок — отчего-то больше язык не поворачивался называть ее «тетушкой». Но, как и ранее, она пропала как не бывало, и я уж было заподозрила, что в доме нет ни единой живой души, кроме меня. Но откуда же тогда появлялись такие сложные блюда? Эта мысль напомнила о том, что я еще ни разу не видела, чтобы госпожа Вролок ела или пила, несмотря на ее железную силу. Что же это за существо? Вопрос придал мне смелости даже вторгнуться на кухню — солнечную, опрятную и с немалыми запасами, но вновь совершенно необитаемую.

Я уже думала уйти, как тут заметила низкую дверцу, почти заслоненную двумя бочками: как оказалось, она ведет в промозглый дощатый сарай, где вдоль стен тянулись полки, заставленные заготовками в стеклянных банках, покрытых

густым слоем пыли. В самом конце тесного помещения нашелся совершенно несообразный предмет: сундук из тикового дерева, наподобие сундука для приданого, но только длиннее и уже. Приблизившись, я, к своему изумлению, обнаружила, что в крышке просверлено несколько отверстий, что идет наперекор всей натуре сундуков.

Он был не заперт, и, несмотря на опасения, что я плачу злом за оказанное гостеприимство, я приподняла крышку, и там — мне никогда не высказать всего моего ужаса, — лежало существо, кое я в своем вопиющем невежестве принимала за родственницу! Она покоилась на свежих нафталиновых шариках с видом спящей — вот только глаза ее были раскрыты, пусть в них и не горел огонь. Она выглядела моложе — ее металлически-седые волосы стали черными с отливом, даже усики потемнели; сгладилась челюсть; губы, прежде столь тонкие, налились алым; а вокруг них и на подбородке еще не успела запечься кровь!

Слишком хорошо я знала тому причину… и почему господин в экипаже вручил мне чеснок. Бросив его в нафталин — у меня и мысли не было о том, какие неудобства это причинит дьяволо-

вой дочери! — я тот же час бежала из проклятого дома.

Письмо третье

Любому, кто спросит, как мне, еще столь юной девице, могло прийти в голову обратиться к другому родственнику моего отчима — чтобы, возможно, не только повторить, но и приумножить столь ужасающий опыт, — могу ответить лишь, что я всегда была характера оптимистичного и предрасположенного к воздействию природных красот, которые освежили меня, пользуясь выражением Санчо Пансы, словно источник забвения и радости. А в бегстве из того исполненного трагедией дома я повидала превеликое множество тех красот, ведь путь мой лежал в знаменитый Университет Г— в счастливом краю Огайо, где старший скороспелый брат надзирателя, профессор Надзирстэн, уже в раннем возрасте удостоился звания заведующего кафедрой натурфилософии.

Однако я оказалась не готова к тому, что меня поджидало: справившись у первого же встречного ученого человека в университете, где найти искомого дядюшку, я встретила омраченное лицо. Увидев, как меня смутила подобная нелю-

безность, профессор — а был он профессором — извинился и поспешил объяснить, что до недавних пор профессор Надзирстэн считался самым многообещающим из подвизавшихся в том храме натурфилософии, поскольку еще до получения степени довел почти до совершенства двигатель, умевший воспроизводить на бумаге идеальное изображение человека или предмета, в том числе с иллюзией движения. Я не удержалась от удивленного восклицания, услышав о столь примечательном достижении, на что мой собеседник — собственно, первый наставник того, кого я искала, — сообщил, что с тех пор профессор Надзирстэн оставил свои исследования в этой области и удалился от человеческого общества, чтобы ныне в полной секретности трудиться над чем-то совершенно неведомым, не считая того, что для этого требовалось неоднократно обращаться к хранилищам университетской библиотеки — томам Корнелия Агриппы, Альберта Великого, Парацельса и прочим трудам дурной славы.

Я все-таки не отступала в своем желании увидеть этого необычного человека, здравомысленно опустив то, что мои тяготы вынуждают отдаться на его милость; и меня направили к неказистому

доходному дому у реки, огибавшей город Г—. Там меня после расспросов встретило бледное существо болезного вида, в ком я насилу узнала выдающегося ученого, чью историю мне только что поведали. Неужели теперь моя участь в руках *этого* наинесчастнейшего из смертных? С виду его отчаяние и меланхолия не знали границ, словно его чаша жизни навек отравлена его порочным ремеслом.

И все-таки стоило мне назваться, как его измученный лик на миг озарили благожелательность и нежность, как у ребенка.

— О! Но вы же как раз вовремя! — воскликнул он. — Ведь я стою на краю завершения труда всей своей жизни — и нет никого, кому бы я мог довериться, чтобы объяснить его и просить о помощи в час величайшей нужды!

Он привел меня по множеству темных лестничных пролетов в свои комнаты в мансарде, где царили полное убожество и беспорядок. Всюду разбросаны книги и химические инструменты, а посреди темной каморки стоял длинный стол, на котором — господи боже! — лежало частично расчлененное тело красивой женщины; причем отдельные части валялись с небрежным видом на близлежащем столике поменьше.

В ужасе от этой дикой сцены я не сразу заметила присутствие еще одного человека, неподвижно стоявшего в самом темном углу мансарды. То был истый великан, кому пришелся бы впору тот чудовищный шлем, что раздавил юного наследника на первых страницах «Замка Отранто». Полных восьми футов росту, длинные и отливающие черным волосы, белые зубы и внушительная мускулатура; но при том слезящиеся глаза — темно-желтого цвета, губы прямые и черные, а кожа сморщенная, отчего он казался сочетанием красоты и безобразия.

Заметив направление моего потрясенного взгляда, профессор Надзирстэн продолжал горячечной скороговоркой:

— Это Кукла — гомункул моей работы, о ком в прошлом я мог бы сказать, что он заслуживает трепета твоего изящного тела — и да! трепета всего человечества: ведь он повинен в гнусных убийствах. И все-таки его вина лежит на мне. Хоть я и сделал его натуру доброй, я сам отвернулся от него с презрением — и против него пошли люди, не оставив в нем ни единого чувства, кроме ужасной жажды мщения. Все это я мог бы предотвратить, лишь уступи я его пожеланию — пожеланию подарить ему пару по его

образу и подобию, чтобы они скрылись в Южной Америке, поселившись средь обезьян и прочих, кто не сочтет их необычными. Я дал слово, но — какой негодяй! — нарушил его. Однако теперь я раскаялся, и перед собой ты видишь почти завершенную невесту.

— Так, значит, вас тронула жалость к его безобразности? — спросила я. — Или страх пред его дальнейшими бесчинствами?

— Меня бы не сподвигло ни то ни другое, — ответил профессор, — до того, как я открыл принцип синематографотипа, благодаря которому возможно улавливать изображения в подобии живого движения. Тогда мне словно ангел-хранитель явил, что для того я и сотворил жизнь: чтобы исследовать природные предпочтения, влечения и взаимодействия между полами, не вторгаясь в частное существование или мысли моих богосотворенных братьев и сестер. Так я возобновил свой великий труд — но еще остается несколько шагов, с которыми лишь ты — лишь ты, моя дорогая кузина! — можешь мне помочь!

Его пыл оказался заразным, и я немедля спросила, как я, простая неграмотная девица, могу поспособствовать столь монументальному начинанию.

— Из-за исследований, — объяснял он, — мне осталось немного времени на обычные времяпрепровождения юности, и, боюсь, несмотря на все пережитое, я не от мира сего. Потому — хоть я, как видишь, и создал Куколку требуемого вида, — мне недостает опыта, чтобы ее более сокровенные части, лежащие в ожидании своего часа вон там, удовольствовали мое чудовище средь кинокефалов и мамлюков Южной Америки. А при ином исходе все человечество ждут страшные последствия, не говоря уже об утрате шанса снимать — позвольте вульгарно назвать это «движущимися картинками»? — о союзах, дарящих необыкновенные возможности для понимания нашей собственной страстной натуры. Коль ты готова вынести вердикт, подходят ли органы для цели, которую им уготовил Господь, мы сможем с толком приступить к делу.

Так уж устроен разум, что превратности судьбы не столь переменчивы, как человеческие чувства; хоть недолгое время ко мне с теплом относилась тетушка, чьи преступления теперь я видела в не столь мрачном свете, моя врожденная хрупкость вновь потянулась к убежищу и опоре, которые для женского вида всегда должен являть собой мужчина. К тому же было ясно, что болезнь

и метания профессора Надзирстэна лишили его, бедолагу, сил для подобной роли. Да, чудовищная Кукла устрашала, и все ж таки я уже заметила в нем и отдельные намеки на красоту, а для женщины малейший вид красоты или изучение всего превосходного и возвышенного в деле рук мужчины всегда способно и пробудить сердце, и сообщить гибкость духу. К тому же в мансарде было темно.

Посему я обрадовала дядюшку согласием на его предложение — и эксперимент прошел к удовлетворению всех заинтересованных сторон, после чего профессор взялся за свое основное предприятие. В ту мрачную ноябрьскую ночь бледный знаток порочных искусств взял в руки орудия жизни и припал на колени пред страшным женским фантазмом, что вытянулся перед ним, дабы разжечь в своем противоестественном детище искру жизни. Тревожно колотил в окна дождь, и свеча погасла прежде того, как судорожно шелохнулся в неловком, полуживом движении многочленный труп. Затем распахнулись желтые глаза, и живая женщина восстала — и увидела Куклу!

О! Как нас глубоко тронул союз тех прометеевских существ, столь уникально «созданных

друг для друга»! Сколь несдержанно демонстрировалась супружеская приязненность, несравненность универсальной добродетели! И их потенциальная способность подтолкнуть страждущее человечество к новому самопониманию не ограничивается описаниями моего немощного пера, ведь профессор Надзирстэн запечатлел буквально каждое мгновение на волшебную бумагу своего чудодейственного механизма; и кое-что из тех синематографотипов вкупе со многими другими, записанными в следующие недели, уцелело в дальнейшей катастрофе и по сей день доступны для просмотра в университете Г— для ученых и врачей.

Тогда у нас и мысли не было о катастрофе, ведь мы не задумывались о последствиях всякой человеческой попытки подражать ошеломительному механизму Творца нашего мира. Напротив: столь благотворное действие оказал успех профессора Надзирстэна на крепость его же духа и здоровья, что уже скоро он предпринял со своим новым творением тот же эксперимент, который провели мы с Куклой, покуда я стояла за записывающей машиной; и так доказал мое мнение, что ее внутреннее устройство, несмотря на всю отвратительность внешности, безупречно. Так

вновь подтвердились слова божественного Шекспира: не все то золото, что блестит, а свинцовая наружность способна скрывать величайшие сокровища.

Впрочем, что касается примитивных мирских сокровищ, то их нам не хватало, поскольку эксперименты обходились дорого — и сами можете себе представить, как много требовалось питания двум таким крупным созданиям, как Куклы, особенно в связи с демонстрацией их способностей и сил ради обогащения натуральной и моральной философий. Посему профессор Надзирстэн предложил выставить на продажу отдельные образчики менее причудливых записей; а честь исполнять этот план досталась мне, ведь мои молодость, пол и природная кротость характера вызвали бы меньше подозрений у низших умов.

Впрочем, те записи дошли до внимания полиции, неспособной как оценить их необычайность, так и постичь бескорыстность их творца; а поскольку мне совершенно чужд обман, уже скоро выяснилось и место их происхождения. Полагаю (ведь всей правды уже никогда не узнать), профессор Надзирстэн, завидев грозное приближение полицейских, попытался сжечь самые труднообъяснимые документы, поскольку од-

нажды днем, по возвращении под снегопадом с прибылью после очередной вылазки, я с ужасом увидела, что весь доходный дом объят пламенем столь жарким, что он попросту не мог не стать похоронным костром моего дяди, его чудесных Кукол, чудесного аппарата и моих надежд на счастливую семью. Свирепость огня обескуражила даже полицейских. В трауре и печали наблюдала я, оставаясь там до последнего отсвета пожара, покуда ветер не унес прах над равнинами Огайо прочь к внушающему трепет величию Аллиганских гор. Да упокоятся они с миром!

Письмо четвертое

В начале года, существенно пополнив карманы доходом от Дела о Движущихся Картинках, я сумела покинуть Г— и встретиться с мистером и миссис Пулловерами в Орандж-Парке, Пенсильвания. Миссис Пулловер — добрая и честная душа из тех, на ком стоят лучшие колонии поселенцев, — была моей второй по старшинству тетушкой, а ее муж — человек схожей натуры, но с заметным недостатком хваткости. Меня с готовностью приютили в их жилище не только из-за моего дальнего кровного родства, но и потому, что мои скромные финансы оказались полезны

для них и их дела.

Все эти личные детали я указываю, разумеется, не потому, что они представляют интерес сами по себе, а потому, что они являют собой любопытный контраст с тем, что может оказаться самым неинтересным делом в моих записях, а также необходимы для понимания его сути. Собственно, Баддворт Маракот, для кого я в тот период была другом и секретаршей, презрительно воздел над своей волынкой брови от самой мысли о том, чтобы я записывала подобное.

— Моя дорогая Каплинг, — сказал он. — Уверен, имея столь мало материала для объяснений, вы преуспеете лишь в том, чтобы раздуть мои методы до неузнавания.

Но я отвлекаюсь. Начинать следовало с того, что мистер и миссис Пулловер в то время были главными подвижниками учреждения, что звалось Первой церковью Нереального Отсутствия, — места сбора спиритуалистов со всех колоний. Эти люди утверждали, что мертвые не уходят навсегда, а лишь скитаются в бестелесном состоянии по некому иному туманному краю, откуда могут вознестись, если только придут к некоему высшему пониманию собственного состояния. Между тем к ним можно обратиться

посредством сеансов, которые проводились медиумами, и среди последних моя тетушка считалась самой выдающейся.

— Первая церковь, — любила говаривать она, — это великий уравнитель сословий. Здесь председательница, имеющая потусторонние силы, стоит выше миллионера, их не имеющего.

Я уж была готова увековечить эту мысль, но Баддворт Маракот только сухо хмыкнул:

— И сколько миллионеров ты там видела?

И все-таки его позицию подтачивал тот факт, что в Первой церкви состояла его собственная дочь Дипили. Я не в силах объяснить, откуда у моего друга дочь, поскольку так и не смогла заинтересовать его в противоположном поле («Для меня, Каплинг, — нередко говорил он, — единственной женщиной навсегда останется Дева Мария»), но здесь важнее то, что Дипили уговорила его посетить сеанс в Первой церкви, чтобы попробовать его разоблачить всеми силами своего внушительного скептицизма, если сможет.

Маракот прибыл на сеанс не только со скептицизмом, но и со зверского вида мужиком, которого распирало от жилистых мышц: его Маракот нашел во время очередной своей вылазки под чужой личиной в доки вдоль берегов Мо-

нонгахилы (где в то время, как ясно из названия, преобладали монголы). Дипили, Пулловеры и все остальные поприветствовали и это существо, а затем предложили Маракоту обыскать как миссис Пулловер, так и ее шкаф. Сколько я видела, и к тому и к другому он подошел одинаково бесстрастно, в том числе к самым скрытым и запыленным уголкам.

Затем мы все сели, свет приглушили до кладбищенского сумрака, а миссис Пулловер обратилась к своему «контакту» — духу ребенка по имени Сэм.

— Я маленький барашек первый сорт олли-сейми чудо чудное значицасика-томолла, так-то[166], — пропищал тонкий голосок.

— Скажи, Сэм, дорогой, есть ли кто-нибудь в краю туманов, кто желает побеседовать с кем-то из присутствующих? — монотонно произнесла миссис Пулловер.

— Есть здеся один славный малый, в прошлом известный журналист «Берген рекорд»,– пропищал в раструб Сэм.– Зовется Дж. Р. Транзистор, чайку смертный газовые фонари исследователь

[166] Примечания: 166

Бессмысленный набор фраз, характерных для рубежа веков; здесь есть как отсылка к песне о маленьком барашке, так и китайский пиджин (alleesamee — «тот самый»; seekatomollah — «ищите завтра»).

бесконечная буря.

Но нет, ни у кого не было друга или хотя бы родственника по имени Дж. Р. Транзистор. Однако в тот же миг из шкафа показалось удивительное видение, облаченное от муркока до гернсбэка[167] в эктоплазму.

— Хватай его! — раздался голос моего друга, и его ручной футболист бросился в полноценном футбольном броске на лодыжки потревоженного призрака. Поскольку при этом он забыл отпустить мою руку, скоро мы оказались спутаны больше друг с другом, чем с Задачкой Белой Простыни, но в замешательстве сумели прийти к еще лучшему решению.

* * *

Позже я спросила своего друга, откуда он знал, что миссис Пулловер вызывает голоса в трубе вибрацией своей диафрагмы.

— Моя дорогая Фелисити, — ответил он, сунув свой персидский тапочек в чайник, — неужели ты упустила подсказку Третьего Фундаментализ-

---

[167] Примечания: 167

Майкл Муркок, Хьюго Гернсбэк — писатели и редакторы-фантасты (в честь Гернсбэка названа премия «Хьюго», а Муркок был своего рода идеологом «новой волны»).

ма? Тогда, боюсь, ты слишком невнимательна, чтобы и дальше выступать моей связью с обществом.

И на этом, увы, вновь я пустилась в дорогу и больше ни разу не видела лучшего, мудрейшего и самого неудовлетворительного из встречавшихся мне мужчин.

Письмо пятое

Все обезьяноподобные молодые ирландцы по имени Джордж, как известно, не едят чего-то хуже турнедо Россини. Оттого я ничуть не удивилась, узнав, что он выращивает грибы. Речь идет о втором по старшинству брате надзирателя, и, несмотря на его уродство, я видела, что в нем бьется сердце поэта. Я нашла его весьма располагающим, пусть и слишком доверчивым.

Не скажу того же о его супруге, которая мне показалась самой бестолковой, узколобой, извращенной и злобной ведьмой, когда-либо омрачавшей нашу землю. Не знаю, почему такие мужчины всегда берут в жены подобных женщин, — если только не думают, что других им не видать.

Если он и поддался этому заблуждению, я быстренько его от него избавила. Увидев мой

приветливый настрой, он повел меня в подвал, чтобы показать редкие грибницы, и там, в закоулке за печью, я приголубила очередной образчик, который мы потом тщательным образом взращивали уже у меня в постели. Если его и удивило, что я способнее к грибоводству, чем он, он не подал виду, как подобает истинному джентльмену. А я со своей стороны считаю, что он, как и все настоящие любители, восполнял отсутствие мастерства рвением.

Поскольку теперь мы разделяли один секрет, который надо было утаить от его дьявольской женушки, он показал мне и другой: сморчок, который после засушивания, измельчения и употребления внутрь имел удивительный эффект. На вкус он был сродни жеванию клубка резинок, зато всего через несколько мгновений я почувствовала себя райской птицей, выпущенной из клетки.

В частности, если принимать сухой сморчок перед постелью, он возвышал удовольствие от ублажения друга до делириума, бьющего через край. О чем я и сказала, и Джордж признался, что уже годами лишь одно это и помогало ему сносить общество его жены.

От этих слов у меня живо заработали извили-

ны. Джордж был мил, его дом — уютен, у него имелись деньги и необычное хобби, чтобы занять себя на короткие периоды, когда мы наскучим или отчего-то будем нежеланны друг другу; единственным змеем в Эдеме была его законная благоверная сатанюга. Однажды вечером, когда он изливал особенно глубокую обиду, я словно невзначай поинтересовалась, нет ли среди его любимчиков ядовитых.

И в удивительные сроки эти дрожжи (боюсь, я не в силах бороться с соблазном грибных метафор) дали отменную брагу результата. Джордж предложил приготовить турнедо Россини с жареными грибами, причем дьяволице достался бы смертоносный Amanitopsis vaginata[168], а нам с Джорджем — сморчок в качестве прелюдии к ночи празднований. Что касается полиции, то, добавил Джордж, пожимая плечами, какое-то время от них будет не отвязаться, но промашка есть промашка: всем известно, что любителям не стоит готовить дикие грибы.

И в самом деле. За трапезой нас с дьяволицей охватил все более необоримый приступ хихиканья, а Джордж мало-помалу приобретал

[168] Примечания: 168

Гриб «серый поплавок», хотя название выбрано из-за забавного созвучия.

неприглядный черный оттенок.

Письмо шестое

Уж настала тихая и безмолвная весна ко времени, когда я пробилась чрез бесчеловечную злобу джунглей и дикость туземцев к легендарной затерянной долине Тайны, штат Делавэр. Часть пути меня сопровождали трое галантных солдат удачи, ветераны Боксерского восстания[169], которых я завербовала в подворотне за спортзалом, но, увы, последний из них пал после ужасных лишений на 72 страницы мелким шрифтом. Теперь лишь я одна взирала на величественный особняк в долине, где, если верить испуганному шепоту надзирателя, обитало создание из легенд и сновидений: моя тетушка Мессалина.

Я говорю «тихая»; однако ту тишину вызывало лишь отсутствие обычных шуршаний сосновых ветвей, леденящего кровь далекого рева белок, негодующего стрекота оленей и даже трелей малиновок. Взамен по воздуху разливался, словно

---

[169] Примечания: 169

Боксерское восстание (Ихэтуаньское; 1899–1901) — восстание китайских крестьян против зарубежных эксплуататоров из разных империй. Названо так потому, что из-за нехватки вооружения крестьяне боролись голыми руками и занимались особыми физическими упражнениями, веря в то, что их защищает от смерти бог.

бы экзотичный парфюм, звук далекого рожка — точь-в-точь музыка флейт фей. Что за создание могло издавать столь волшебную мелодию? (Позже я имела честь лицезреть целую стаю этих созданий: чешуйчатые и крылатые, в некоторых закоулках долины они свисали с каждого карниза.)

Когда я поднималась по ступеням к особняку, в чарующую мелодию вплелся звук гонга — гулкий, ужасный, пустой, по удару на каждую ступень. Что же предвещал сей гонгизм? Но не успела я задаться этим вопросом, как большая дверь распахнулась, а передо мной предстала — о белая богиня… сама тетушка Мессалина!

Как вам описать такую красу? Глаза ее были голубые, дивные, пусть и не без лукавой искорки; почти невидимая вуаль ниспадала с шеи и плеч, практически разоблачая — ох ты ж е-мое — поблескивающие груди. И потусторонней, потусторонней больше всяких странных мелодий красой лучились возникшие надо мною голова и бюст — дьявольски изумительные превыше всего пения. Сама жена Потифара, сия вечно обычная житница плодовитости, могла явиться соблазнять Иосифа в таком же виде!

— Ах, Фели-исити! — воскликнула она на-

смешливо. — Мои крылатые посланцы уже предвестили твое появление! Войди же в мой храм и возрадуйся!

Внутри особняк и в самом деле оказался храмом — но храмом чувственности, храмом излишеств. Я приросла к месту, как громом пораженная, и позади раздался звенящий смех Мессалины. Предо мной на диванах, томно потягивая некий нектар из златых кубков, раскинулась разношерстная компания, состоящая из трех мужчин и одной девушки (хотя позже я узнала, что почитателей Богини много больше). Присутствовали женоподобный ирландоамериканец, великан-скандинав, вечно поминавший в речи разом и скандинавских, и немецких богов, а также грязный шпион (немец или русский, я толком определить не смогла). А невинную с виду девицу звали вполне уместно Магдой.

В другом конце великих покоев высился трон Богини, а над помостом, где он стоял, была приколота к стене двумя златыми канцелярскими кнопками сатанинская маска, все время пускавшая слезы, слюни и пот, состоящие из чернил для пишущей машинки. Они сбегали в златую чашу, которую периодически уносили и заменяли низкорослые жабоподобные создания.

Одно из них подало мне бокал с искрящимся ихором, который я с благодарностью пригубила; стоило поднести его к устам, как невидимые создания засвистели громче, словно в предостережение, но после джунглей я была слишком разгоряченной и липкой, чтобы внять им, и разом осушила его. Тут же мои органы чувств вверглись в замешательство, и я уже не в силах членораздельно пересказать дальнейшее — разве что упомянуть, что в этом как-то участвовали Магда, я, Богиня и трое мужчин в некоем хмельном венке, и что по завершении я осталась куда более липкой, хоть уже не такой разгоряченной.

Сколько это могло бы продолжаться, ответить уже невозможно, поскольку, пока мы сонно собирались с силами на полу и диванах, вошел высокий плечистый мужчина в балахоне языческого жреца, чей суровый лик обладал почти полным сходством с истекающей маской.

— Ха, Мессалина! — прогремел он. — И вновь я застиг тебя предающейся излишествам, позабыв обо всех интригах, грозящих твоему царству! Стыд тебе, ведьма, стыд и позор!

— Не будь так суров, о Абрам, — прошептала Белая Богиня своим переливчатым голосом. — Лучше зови меня нежными именами, как звал

в былые дни: дама евнухов, яйцо диких голубе-е-ей…

Но он жестоко прервал ее, выхватив меч.

— Довольно! — протрубил он. — Ты предала свое звание! Ты за это заплатишь!

Поскольку всех присутствующих слишком одурманил эликсир, я встала и направилась к нему, сбрасывая оборванное походное одеяние (это не составило труда — к тому времени на мне осталась только рубашка, и та распахнутая) в подготовке к сражению. Очи злого жреца округлились, когда он понял, что перед ним предстал умелый противник.

— Фелиси-ити-и! — пропела моя тетя. — Не перечь ему! Это кощунство!

Но я не вняла; внять ей — значило всем нам лечь на заклание. Я отважно взглянула в глаза злодея.

— Посмеешь ли ты, — бросила я, — рискнуть и биться один на один с кем-то не из твоего мира, кто смеется над твоими темными суевериями?

Он задумчиво прищурился, но не колебался; надо отдать должное, тот подлый жрец был не робкого десятка. Мы яростно схватились, всеми руками и ногами. Я уж было подумала, что мне с ним не тягаться, ведь он был со свежими си-

лами, а я — усталой и сомлевшей от вина; но в конце концов это он остался лежать предо мной бездыханный.

Извлекая его оружие из моей плоти — что теперь было несложно, — я встала; но торжество мое было недолговечно. В залу вернулись в паническом бегстве низкорослые существа — целые орды.

— Мертвочреслый! — квакали они земноводным хором перепуганных голосов. — Мертвочреслый грядет!

В изумлении обернувшись, я вновь узрела маску на стене. Теперь ее выражение стало поистине зловещим, и, чтобы принять извергавшиеся потоки чернил, пришлось бы вырубить под корень все леса Канады. На нас по мозаичному полу хлынула черная волна. Оставалось лишь бежать — но мои былые спутники не имели для того ни сил, ни воли. Помедлив на пороге, я увидела, как она накрывает их всех.

Последним моим воспоминанием о том зачарованном царстве остается отчаянная музыка незримых созданий. Ее я пронесу в своем сердце все следующие 253 страницы.

Письмо седьмое

Дабы защитить себя и свои исследования от страха и злобы невежд, а также любопытных глаз журналистов, мой третий дядюшка сменил имя на Филип Х. Эссекс и перенес свою лабораторию на далекий остров у Джерсийского побережья. Меж островом и континентом не существовало иного сообщения, кроме ялика, что доктор выслал за мной.

Хароном на той переправе оказалось зловещее и немногословное создание, отличавшееся огромной силой, — хотя при высадке я обнаружила за ним хромоту, — и косматостью: вылитый лорд Байрон, если бы тот попытался превратиться в обезьяну. Он был так мрачен, что я гадала, зачем мой дядя его терпит, — хотя он и умел держать язык за зубами, а перед дядей откровенно пресмыкался.

Впрочем, все вопросы развеялись, когда я увидела обиталище доктора Эссекса, напоминавшее не столько лабораторию, сколько острог за частоколом. Однако, устроившись поудобнее в его кабинете, я услышала охотные объяснения:

— На острове водятся дикие звери, — сказал он. — Да, дикие. Целая прорва. Не стоит ступать

за ворота. Совсем не стоит.

Он впал в раздумья. Я задала вопрос.

— Как это вышло? Ну, что ж… довольно просто. Воды вокруг острова гиблые. Рифы. Отмели. Несколько лет назад корабль, направлявшийся во флоридский зоопарк, угодил в шторм, и его выбросило здесь на мель. Никто из экипажа не выжил, зато многие звери выбрались из воды.

И они плодились. Ох как они плодились.

Невероятно, правда? Но прошу за мной, я покажу.

Он встал и провел меня в свою операционную — огромный зал чуть ли не размером с машинный зал электростанции Кемберуэлла. Здесь, в клетке, стоящей у стены, ходила кругами светло-коричневая молодая львица.

— Мне очень повезло, — сказал мой дядя. — Бесплатные подопытные. И какие удивительные. Это вам не заурядные белые крысы или морские свинки.

Львица вперилась в него взглядом, словно поняла смысл его слов каким-то диким и темным закоулком разума. Я пожалела ее, ведь она и правда казалась опасной, как он и описывал.

Эта мысль не отпускала меня всю ночь, и ничуть не помог грохот, напоминавший бой

далеких барабанов в ночи. Неужели на острове были и другие люди, кроме моего дяди, зловещего лодочника и меня? Он об этом не говорил; не могла я и вообразить дикарей с барабанами столь близко к такому великому центру цивилизации, как Лонг-Брэнч, штат Н. — Дж. Быть может, мне это всего лишь мерещится в шуме волн.

Но тут я услышала поистине ужасный звук звериного происхождения, вроде приглушенного крика — и в то же время совсем не звериный оттого, что доносился он с почти механической периодичностью. Это тем более пугало, что источник звука находился где-то внутри частокола — а то и в самом доме!

Надев халат, я приоткрыла дверь спальни. Да, звук и в самом деле доносился из дома, и найти его источник не составило труда: он доносился из операционной моего дяди, из-под двери которой сочился жутковатый зеленый свет. Я присела и заглянула в скважину, увидев нечто небывалое.

Львица оставила клетку и теперь была прикована к дальней стене зала, словно распятая. В этом положении она больше напоминала несообразного человека в золотых мехах. А мой дядя — с лицом бесстрастным и в то же время каким-то сатанинским в зеленоватом свечении, — мето-

дично щекотал ее длинным белым пером.

На моих глазах, пока я стояла парализованная, механические крики начали все больше напоминать человеческие, женские, и перемежались одышкой, вздохами и постаныванием. Когда измученное создание захихикало, я не выдержала и сбежала.

Почти весь следующий день я набиралась смелости, чтобы спросить у дяди, что значила та сцена, а когда наконец спросила, его лицо зловеще помрачнело.

— Что ж, пожалуй, вреда ты не причинишь, — произнес он по размышлении. — К тому же мой труд — это кульминация трудов тысяч людей: один выдвигал теорию, другой проводил эксперимент, и вот наконец осталось последнее решительное экспериментальное и интеллектуальное усилие — мое, — чтобы довершить великую работу.

Совсем немногие обыватели способны осознать, какой властью над всем живым организмом обладает нервная система. Кое-кто говорит, что его болезнь может иметь психосоматическую природу, имея в виду лишь то, что их иммунитет ослабили ерундовые переживания… что бывает гораздо чаще, чем снилось им или тому шарлата-

ну, Фрейду. Но совсем немногие понимают, какая энергия,– что я зову оргийонной[170], — питает нервную систему и как в умелых руках она может преобразовать самое физическое существо.

Но контроль должен быть совершенно точным. Раздражители необходимо тщательно применять к тем органам зрелого организма, что насыщенней всего нервными окончаниями.

А это, разумеется, органы чувств, как скажет любой студент-анатом с первого курса. Но тогда как большинство нервных окончаний сосредоточены в языке, ушах и так далее, все это не органы осязания. Вот что за важную подсказку упускали все мои предшественники — и искать ее следует не в науке, а в философии морали. Почти каждый философ в то или иное время называл человеческие обряды сношения неким видом анимализма — или по самой меньшей мере близкими к животному миру. Ну что же. А если перевернуть уравнение? Ключ к превращению зверя в человека должен находиться в осязании так называемых эрогенных зон.

---

[170] Примечания: 170

Отсылка к оргонной энергии — псевдонаучному термину, обозначающему «универсальную энергию жизни». Предложен в 1930-х американским психологом Вильгельмом Райхом (1897–1957), основоположником популярной американской школы психоанализа.

И, собственно, я преуспел — или почти преуспел, — в преображении животных в людей этим методом. Полное преображение еще меня избегает, но все результаты показывают, что я на верном пути… Пожалуй, прискорбно, что все соответствующие области богаче всего и аксонами боли, но ведь нельзя приготовить омлет, не разбив яйца.

— Но, — вставила я, — разве вивисекция не запрещена законом?

— Ха! Я никого не режу. Совсем наоборот. Я даю им шанс сосредоточить свою нервную энергию, чтобы стать лучше, чем им уготовано Творцом… Творцом и всеми силами эволюции.

Конечно… — тут дядя Эссекс осекся и свел кончики пальцев вместе. — Конечно, они это воспринимают иначе. Пока. Они не понимают. Они меня боятся. Собственно, думаю, многие меня ненавидят — вот зачем мне частокол. Но они еще одумаются.

Ты уже встречала моего лодочника. *Он* одумался. Начинал он бабуином — ближе к человеку, чем медведи, тигры и прочие, с кем я работал раньше. К тому же есть закавыка с размножением. Понимаешь ли, мой метод не затрагивает гены, поэтому щенки этих существ подчиняются

генам по-прежнему. Но еще раз: это лишь препятствие, не какая-то непреодолимая стена. И я ее преодолею. *Преодолею!*

— Это возможно, — сказала я. — Я даже не сомневаюсь. Но, если вы не против, видеть я бы это не хотела. Утром я вернусь на Большую землю.

— Нет, — заявил он. — Нет, боюсь, я не могу этого допустить. У меня уже есть причины тебе не доверять… а люди могут понять превратно и вмешаться. Тебе придется остаться. Но бояться нечего — пока ты не ступаешь за частокол. Там я гарантировать твою безопасность не могу.

Угроза читалась ясно, но после всего увиденного и после откровения об истинной натуре паромщика — который находился *внутри* частокола, — я решила не задерживаться в Доме Оргийона ни секундой дольше необходимого. И той же ночью, когда мой дядя был увлечен своим ужасным театром зеленого света, я ускользнула прочь — как я думала, навсегда.

В джунглях не было видно ни зги, но бой барабанов привел меня в примитивную деревню, построенную существами доктора Эссекса. После недолгих щекотливых подозрений меня приняли. Самцы оказались достаточно человечны, чтобы осознать, что еще никогда не видели белую без-

волосую женщину, и поддаться надежде зачать больше чем щенков — более человечных, чем их родители, а не менее, как рассказывал дядя; но при этом они были и достаточно животными, чтобы предпринимать свои попытки отцовства заметно выразительнее, чем я встречала прежде.

Прошло несколько дней, прежде чем мне удалось отвлечь их от этой темы больше, чем на несколько часов зараз, — да я и сама не предпринимала попыток ее сменить, пока не ощутила, что она уже затерта со всех сторон, если не сказать «до боли». Но скоро я открыла и другие проявления их тоски по человечности.

Очевидно, за частокол изгонялись неудачные эксперименты, и им приходилось обживаться в новых условиях, что им постепенно удалось,– хотя и, конечно, после множества ошибок. Свои методы и меры они называли Новыми Обычаями. Но была среди них и очень активная группа, мечтавшая о Старых Обычаях внутри частокола, что выражалось в жалких попытках говорить на манер П. Х. Эссекса, доктора философии. Как странно было слышать от этих мохнатых морд такие исковерканные слова, как «вариации мыслей», «силы шестого порядка», «безынерционные двигатели», «вторые основания», «рациональное

благородство»[171] и прочие термины, не имеющие никакого отношения к жизни, что они теперь вели.

Это было бы достойно жалости или хотя бы смеха — или и того и другого, в зависимости от вашего характера, — не открой я, что тоска по Старым Обычаям вовсе не ограничивается одними лишь разговорами. Немалое число существ планировали вернуться за частокол — силой, если потребуется. Это могло бы скверно обернуться для всех сторон, ведь, несмотря на всю примитивность, эти создания доктора Эссекса горели внутренним огнем.

А потому в ночном затишье перед штормом я убедила (или, вернее, подкупила) одного из младших, чтобы он помог выкрасть лодку, и со вздохом облегчения я оказалась на пути обратно к Большой земле. Но и по сей день, слыша истош-

---

[171] Примечания: 171

Термины, связанные с американским миром НФ. Вариации мыслей (*thought-variant*)– так называли рассказы в журнале *Astounding* 1930-х. Силы шестого порядка — из якобы «научной» терминологии в популярном и влиятельном научно-фантастическом романе «Жаворонок Валерона» Э. Э. Смита, который сериально публиковался в журнале *Astounding*. Второе основание (*second foundation*)– отсылка к серии Айзека Азимова «Основание». Безынерционные двигатели — описание двигателей из романов Э. Э. Смита. Рациональное благородство (*rational nobility*)– так Элдрис Баджес в полемике с Сэмом Московицем в журнале *Galaxy* говорил о характерной черте персонажей в фантастике при контактах с пришельцами.

ные голоса еху[172] на улицах, порой содрогаюсь и тоскую с мыслью о рациональном благородстве лошади — хотя и не понимаю, как она-то попала в эту историю.

Письмо восьмое

— Благословите мои кнопки! — подобострастно рассмеялся мой четвертый дядя. — Это же моя племянница Фелисити!

Когда я вошла, юный изобретатель оторвался от гигантского гидравлического микроскопа с блеском в серьезных голубых глазах. Под тем микроскопом он озадаченно изучал собственный большой палец, но сейчас, распрямляясь, сунул его в рот и поспешил принять меня как дорогую гостью.

— Скажите, дядя Том (а его звали так), — ответила я, — зачем вы изучали собственный большой палец?

Прежде чем ответить, он опасливо заглянул под рабочий стол, за двери, в окно и в дымоход.

— Меня окружают ученые мошенники и

---

[172] Примечания: 172

Еху — персонажи из четвертой части «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта, где рассказывается о стране умных благородных лошадей-гуигнгнмов. Еху — это бездуховные примитивные дикари от природы.

международные шпионы, — процедил он каменно. — Приходится идти на крайние меры предосторожности.

Я его вполне понимала. Вокруг рабочего стола этого восемнадцатилетнего гения стояли витрины с макетами его предыдущих чудесных изобретений: часовой соловей, ракетная каллиопа, паровой двигатель, стремянка с Земли на Луну, псионный облизыватель марок, британская телефонная система и морской лозоискатель. Большинство были отлиты из бронзы, но даже сделанные из томасита — чудесной пластмассы этого изобретателя — стояли расцарапанные, помятые и сколотые от попыток похищений как минимум один раз в книжку с самого 1897 года.

Впрочем, теперь-то он удовлетворился и вернулся на свое место.

— Итак, вот мой план, — объявил он. — Я подсчитал, что погони, приключения и загадки, в которые меня то и дело втягивают, почти не оставляют времени на научную работу. А еще постоянно вредят прибыли строительной компании «Энтерпрайзес», а иногда и всему городу Трудвиллу…

Его резко прервало появление коренастого мужчины, обросшего щетиной.

— Уж прости мой старый добрый цирк шапито, — вздохнул он жалобно, — но твои мать и сестричка очень уж на меня осерчают, коль вдругоряд не приволоку тебя на ужин домой!

Том ухмыльнулся.

— Хорошо, — сказал он, а когда пухлый посетитель вышел, добавил: — Это Чоу Пинг Плонкер, бывший повар походной кухни, теперь заведует питанием в лаборатории. Если не поем дома, приходится питаться его стряпней, а мангустовый картофель-пюре мне уже осточертел. Но и это часть задачки. Всем нам когда-то надо спать и есть.

— Фух! — недоуменно воскликнула я. — Но как вы намерены разобраться с этой задачей, дядя Том? Она кажется неразрешимой.

— С помощью разделения труда, — ответил он. — Отныне все изобретательство я оставлю своему отцу. Все-таки это он совершил все главные открытия нашего века, что бы там ни писали в учебниках истории: дирижабль, прожектор, военный танк, мотоцикл и многое другое. А себя я целиком и полностью посвящу погоням за врагами.

— Но так вы не выгадаете время на сон и еду, — возразила я.

— А их меньше потребуется, — уверенно заявил он. — Я сделаю из себя ужасную машину-охотника.

— Робота? — воскликнула я сумрачно. — Это же бесчеловечно!

— Разумеется, нет, — ответил он бодро. — Ведь мои мозг, органы чувств и все жизненно важные органы останутся нетронутыми. Я их только механически усилю. Я стану не роботом, а киборгом!

Меня ошеломила такая ошеломительность его идеи.

— Надеюсь, вы не пострадаете, — выдохнула я. — Если я могу чем-то помочь, скажите только слово!

— Благодарю, Фелисити, — ответил он рассудительно. — Но сейчас нам пора на ужин.

Работа над киборгом продвигалась без происшествий, и уже скоро я немало поспособствовала юному изобретателю в выборе того, какие органы его молодого организма следует оставить без изменений.

На первом испытании механические части механизма — который при полной сборке оказался восемь футов в высоту, — взорвались. Но до этого показывали себя отлично. Дядя Том не терял энтузиазма. Как и я. Казалось неизбежным,

что он достигнет своей цели и превратится в неустанного охотника на любую добычу.

Но тут враг нанес удар!

Я изучала анатомическую схему в лаборатории, когда ворвался юный Харлан Эймс, глава отдела безопасности фабрики.

— Да что случилось? — воскликнула я, впопыхах натягивая рабочие брюки.

— Проект киборга! — яростно взвизгнул он. — Все кончено!

— Но почему? Как?

— Какой-то злодей похитил большой палец Тома!

Письмо девятое

К югу от Проспект-Парка высятся дикие старые особняки, а ипотека словно бы явилась из иного, равнодушного к людям мира. Только приехав, я слышала, что это гиблое место, и ничуть не дивилась тем историям, повидав его самолично, ведь оно и впрямь было проникнуто мистерией некоего первобытного края. Здесь кошки были тощими недоростками, а средь зияющих подъездов и крышек древних урн пошатывалось или разлагалось немало мертвых пуэрториканцев.

Однако меня слишком потрясли и разочаро-

вали обычаи людей и их творений, и потому я радовалась добровольному изгнанию в ту мрачную юдоль. Особенно страшно старинный народ Ред-Хука роптал о вашем заведении, где, уклончиво шептались они, практикуются странные обряды под взглядом зловещих звезд; но я обнаружила, что вы не столь дряхлая или безумная, как я ожидала, а предположительно темные обряды хорошо мне знакомы по прошлому опыту. Больше того, они принесли покой и передышку моей затравленной и измученной душе. Разумеется, тревожат порою крики существ на двух верхних этажах дома, а еще тревожнее наутро находить в смрадном заднем саду пуховки, ужасно побитые в неименуемой ссоре; а порою там, в ночи, слышатся бессмысленный скулеж и грохот флейт, лютен, шлюх и прочих древнегреческих инструментов.

И все же покамест я, до странного довольная, пребываю в некоей оргиастической оторопи — словно бы неземной самоцвет, что упокоился наконец в липкой слизи беспросветного и бездонного океана. Когда ползучий смог кроет самые злорадные звезды красками, какие не может назвать ни один человек, временами я кралась прочь из дома и блуждала по мрачным зарослям парка, глядя с необъяснимым одобре-

нием на влажно стоячие, непохожие на растения тени, что отбрасывают они на дряблую почву. Не смею описать свои полугрезы во время подобных блужданий.

Но вот наступил конец. В одну такую ночь из непроглядного неба средь кладбищенских теней древних монументов Гранд-Арми-плаза опустился гигантский сияющий камень неописуемой формы, предшествуемый абсолютным холодом, пронизавшим меня до костей несмотря на шубу. Я застыла от ужаса: оказавшись столь пагубно близко к древнему визитеру из безграничного безмозглия, я могла лишь беспомощно наблюдать.

И тут — Господи Боже! — в какой мир снов меня угораздило попасть? Из того грубо, но неоспоримо вытесанного камня со слабым блеяньем и скрежетом показался… о милосердные небеса! Как можно продолжать? Полиморфный, противоестественный, отчасти декстрозный, отчасти левулозный, источающий кощунственный ихор, он объял меня, и на миг — блаженное спасение! — меня превозмог ужас, и больше я ничего не знала.

Прибавить к этому почти нечего. Некоторые люди науки — Боже! как мало им известно о

несказанных пучинах мерзости, в коих ползет человечество!– мрачно вещают, будто на человеческом теле нет ни единого квадратного дюйма, что не могут быть и не были использованы ради жутких и нестерпимых удовольствий. И это — жестокая истина. *Йа! Йа! Ай! Хлюп-Офейрат!* Клуб с Тысячей Членов!..

Я так и не вернулась в роковой коричневый особняк. Со сдавленным криком я стала женой пугающего посланца из бесформенной бесконечности за пределами всей известной мне Природы, и уже скоро меня забрали в те царства черных ультракосмических бездн, чье одно лишь существование сведет с ума невооруженный разум и неподготовленное тело.

Но прежде чем все мое существо растворилось в ихоре невыразимого Ощущения, мне дозволено оставить свою историю в назидание человечеству. Как тут не задуматься, что в некоем гротескном смысле мне весьма повезло с долгой подготовкой к Сюжетному Скелету Из Открытого Космоса. А любому не столь везучему, кто встретит другого, позвольте поспешно добавить, что секрет совместной жизни с чужими — это помнить первостепенное правило:

Их не так легко удовлетворить.

Теперь мне пора. *‘Нг топуотикль м’ктоки хнирль*… Иду, дорогой… Арх-х-х-х!..

ГУЛЬП.

Послесловие

Этот рассказ задумывался шутки ради, и я отказываюсь его портить Глубоким Смыслом. Для начала то, что у него два автора, уже гарантирует, что если Смысл в нем и был, то у каждого автора — свой.

Прием написания каждой главы в стиле того, как ее центральный персонаж впервые появился в мире, был самоочевиден и тоже не содержит Скрытого Намерения. Отдельные читатели уловят желание показать недавним реакционным обалдуям, какими были «на самом деле» некоторые авторы, перед кем они преклоняются; но к этому сразу добавлю, что из десяти (да, десяти) спародированных авторов лично я глубоко уважаю только четырех и умеренно — двух. К тому же я отлично знаю, что ни один из них не похож «на самом деле» на свою карикатуру в рассказе; а где сходство и наблюдается, авторов все равно продолжают читать по причинам, не связанным со стилем. (Некоторые причины см. в эссе «О рассказах» в последней книге Клайва Стейплза Льюиса «Об иных мирах» — *Of Other Worlds*.)

Я получил огромное удовольствие от написа-

ния пародий — и многому научился в процессе. Другой известный критик (чье имя я здесь упоминать не буду, чтобы не раздражать одного из вышеупомянутых обалдуев) предполагает в «Азбуке чтения» (*ABC of Reading*)[173], что студентам курса английской литературы стоит поупражняться в написании пародий, чтобы потом ими обменяться; оценивающего ученика затем надо спросить: 1) кто именно пародируется и 2) кто смешнее, пародируемый или пародист; «изобличает ли пародия истинный дефект либо лишь пользуется приемами автора, чтобы показать более тривиальное содержание». Я считаю, что в «Совместной жизни» можно найти оба вида пародии. Например, действительно пародировать Уэллса невозможно — слишком мало у него типичных черт; либо получаешь пастиш, как Брайан Олдисс в «Слюнном дереве», либо ловишь себя на том, что пародируешь его интересы, а это совсем другое.

Но данный рассказ — не литературная критика. Это всего лишь игра, и читать его следует соответственно.

---

[173] Примечания: 173
Имеется в виду Эзра Паунд.

Предисловие «Totenbüch»[174]



Нам, провинциальным мономаниакальным дурачкам в пафосном мире НФ, нравится мнить, будто мы всего добились сами, даже за ушами не мыли добрыми водами мейнстрима. И все-таки сколько раз сами же оправдывали свое существование перед зубоскалами и критиками выжиманием таких губок, как «1984», «Дивный новый мир», «На пляже», «Покупатель детей» (*The Child Buyer*) и, наконец, финальным истерическим потрясанием Воннегутом (который от нас ушел) и «Чужаком в чужой стране» Хайнлайна (самым недостойным из всего его множеств романов)? Припертые к стенке, мы пытаемся доказать

---

[174] Примечания: 174
Книга Мертвых (*нем.*).

свою пробу и легитимность НФ произведениями, которые написаны людьми вне нашего уютного кружка.

А теперь НФ одобрена, легитимна, преподается и анализируется, люди пишут магистерские диссертации по Дилэни, Олдиссу и Старджону. И как ни тяжело признавать, мы этого только частично добились сами. Нам удалось перескочить в золотой край, прицепившись к Уэллсу, Герси, Хаксли и остальным большим мальчикам.

Но даже признавая (с выкрученными руками) свой долг перед не-жанровыми писателями, которые заглянули в наш формат и ушли обогащенными (как и все мы), мы и дальше обожествляем второразрядников, которые разрешают тиснить на обложках своих книг слова «научная фантастика», и не обращаем внимания на уникальных писателей вне НФ, неимоверно повлиявших на нас за последние два десятилетия.

Дональд Бартельми, Дэвид Элай, У. С. Мервин, Джон Д. Макдональд, Владимир Набоков, Карлос Кастанеда, Джон Барт, Джон Фаулз, Ширли Джексон, Джеймс Джойс, Джордж П. Эллиотт (отложим на миг наш неоплатный долг перед По)– все они в большей или меньшей мере повлияли на *вид* и *стиль* той НФ, что мы читаем и пишем сейчас.

И все же, когда мы тотемизируем важные и основополагающие источники, редко эти имена попадают в списки восхищения, если попадают вообще. Но никто бы из нас не писал сейчас так, как пишет, не рассей те писатели пыльцу своих особых снов.

И в данный момент самое новаторское влияние на новых писателей оказывают невероятные выдумки Хорхе Луиса Борхеса.

Хоть Борхес пишет уже больше сорока лет, только недавно Литературный Истеблишмент (и с отставанием — НФ-Истеблишмент) признал лабиринтовые изощренности его творчества. А вместе с новой живительностью непредсказуемого — с мощным и магическим Борхесом — лучшая литература сегодняшнего мира, самая важная, самая нестандартная и самая изобретательная, приходит к нам из Латинской Америки. Фуэнтес, Неруда, Хулио Кортасар, Сесар Вальехо, Эрнесто Сабато, Хуан Бануэлос, Габриэль Гарсия Маркес… вот имена тех рыцарей пера, что оттеснили полки европейской мысли и идут в атаку, и смело отыскивают собственные дороги.

Но Хорхе Луис Борхес с его мистицизмом и мощью больше любого другого воздействовал на огромное число молодых писателей. Лучше

образца для подражания и найти нельзя. Ведь *подражать* Борхесу нельзя. Он очень похож на Джона Кэмпбелла в одном важном отношении: он дает только основу. Идти по его стопам буквально невозможно, а попытки заканчиваются так катастрофически, что это замечает даже сам подражатель еще до того, как допишет свой борхесовский рассказ, и рвет его в клочья, и затем усваивает те уроки, какие может, и дальше идет своим путем.

Борхес — это учитель в чистейшем смысле этого слова. Читать его — значит учиться. Если вы его еще для себя не открыли, призываю *немедленно* приобрести «Алеф и другие рассказы, 1933–1969» (*Dutton*).

Среди прочих у Борхеса и других латиноамериканских светил учился Аль Парра. Я познакомился с ним в Колорадском университете в 1969-м и, прочитав его *Totenbüch*, купил для антологии не сходя с места. В этом рассказе больше, чем в любом другом, видно то направление спекулятивной литературы, которое можно с чистой совестью назвать «опасным», — поскольку оно свежее, сложное, сильное и удивительно незабываемое. Не знаю никого, кто бы, прочитав этот рассказ в рукописи или гранках, не отзывался

о нем с благоговением и удовольствием. Для многих он оказался выше их понимания — этот рассказ требует от читателя скрупулезного подхода, — но никто не счел его неактуальным, или слабым, или нарочито заумным. Все признали руку таланта и брались за рассказ второй, а то и третий раз, чтобы наконец разоблачить горящие истины, погребенные в метафорах и аллегориях.

Посмею предположить, что спустя десять лет после того, как многие рассказы из этой книги уже изгладятся из памяти, читатель еще припомнит *Totenbüch* с содроганием и поймет, вне всяких сомнений, что его коснулся другой план реальности.

И еще следует отметить царское достоинство этого рассказа. Каждой своей буквой рассказ производит впечатление *качества* и величия.

Для меня как редактора это высокая честь — представить Парру публике шире той, что уже знакома с его творчеством. А уж в качестве подводки к тому, что я считаю *истинной* Новой Волной литературы, этот рассказ — настоящее сокровище.

Мистер Парра сообщает о себе следующие сведения:

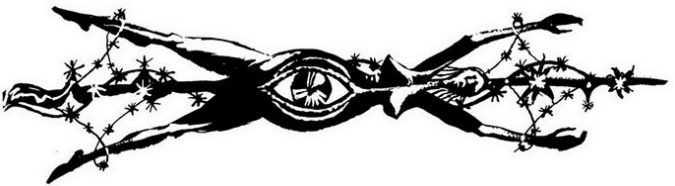
«Родился и вырос в Ки-Уэсте, Флорида. Обе сто-

роны семьи родом с Кубы (мой прадед Педро Э. Фигередо сочинил национальный гимн и за все свои старания заслужил только казнь). Учился в Сент-Джозефе, во Флоридском университете (бакалавр журналистики, магистр искусств) и в Айовском университете (магистр изящных искусств, август 1970-го). Новостной автор и редактор, преподаватель в колледже, четыре года во флоте на Дальнем Востоке, а также такие мелочи, как строительство и работа на судне по ловле креветок. Женат на Лоис Митчелл (Мэдисон, Вис.), у нас четверо детей — две девочки и мальчики-близнецы. В 1969-м получил стипендию *Harcourt, Brace & World* на конференции Колорадских писателей и грант Флоридских преподавателей в Бредлофе. В настоящее время — ассистент преподавателя в Айовской творческой мастерской, Айовский университет, мастерская Вэнса Бурджейли. Буду включен в „Справочник молодых американских писателей“, хотя я уже старше тридцати и теряюсь из-за того, что они имеют в виду под „молодыми“. Об имени: при крещении назван Армандо Альберт, но „Армандо“ затерялся где-то в бюрократии между церковью (епископальной) и государственной регистрацией. Поскольку во мне течет кубинская кровь,

чувствую себя вправе пользоваться и фамилией семьи моей матери.

Среди публикаций: „Санчес Эскобар в цирке“ (*Sanchez Escobar at the Circus*), *Quartet,* осень 1967-го; „Кросс-кантри“ (*Cross-Country*), *Laurel Review*, весна 1968-го; „Озеро у Гамильтонс-Блафф“ (*The Lake at Hamilton's Bluff*), *Kansas Quarterly*, зима 1968-го; „По эту сторону от Байя-Хонда“ (*This Side of Bahia Honda*), *Four Quarters*, январь 1969-го; „Качели под миндалем“ (*The Almond Tree Swing*), *Fine Arts Discovery*, весна 1969-го; „Голограф Эстевеса“ (*The Estevez Holograph*), *Kansas Quarterly*, зима 1969-го; „За счет Джека“ (*Put Down for Jack*, стихотворение), третье место на конкурсе *Writers' Digest*, 1969-й; „Северная Атлантика“ (*North Atlantic*, стихотворение), *Dekalb Literary Arts Journal*, гот. к выходу; „Золотая кость“ (*The Golden Bone*), *Forum*, гот. к выходу; „Кинг-Конг: Искусство любви в Земле Обетованной“ (*King Kong: The Art of Loving in the Promised Land*; эссе), *Dekalb Literary Arts Journal*, гот. к выходу; „Деревянная нога: отношения“ (*Piede Palo: Relacion*), *Transatlantic Review*, гот. к выходу».

Totenbüch
А. Парра (-и- Фигередо)



Не прекращают изумлять данные из таких лагерей, как Освенцим, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Равенсбрюк, Заксенхаузен, Треблинка и Вольсех. Целые библиотеки документации: дневники, фотографии, предсмертные записки, журналы, признания, показания, пленки, фильмы! Уму непостижимо. Но из Обервайлера — ничего. Ни клочка бумаги, ни кадра пленки, ни словечка.

Начальник — Рудульф фон Пфистер, хотя истинный гений места — не этот полковник СС.

Элсбет Циммерман поднялась в рядах *Bund Deutscher Mädel*[175] и (редкая честь) была отобрана для элитного образования в орденсбурге[176]. А значит, весьма образованна и преданна — вне зависимости от ее отношений с фон Пфистером или роли в Обервайлере. И если учесть, что многие изуверства в лагере имели сексуальную направленность, изобретательность Элсбет не знала равных.

— Но давай дальше.

— А! Приливают скабрезные соки?

Быть может, вы не были готовы к такому рассказу. Как и множество любителей. Столь погружены в ЛИТЕРАТУРУ, что не замечаете, из чего она сделана. Обманываете себя, будто ваш разум записывал для будущего, большими буквами, ведь потомство требует грандиозного стиля для своих воспоминаний о реальности. Вот вы и впитали сырой материал, подробности иллюзий, выдуманных вами же.

---

[175] Примечания: 175

Союз немецких девушек (1930–1945)– женская молодежная организация в нацистской Германии, с 1936-го — с обязательным членством.

[176] Примечания: 176

Орденсбурги эпохи национал-социализма строились в 1930-х по примеру орденсбургов (орденских замков) Тевтонского ордена. В них создавались школы-интернаты для обучения и подготовки будущих военных элит нацистской Германии.

— Иллюзий, выдуманных тобой.

Иллюзиями можно управлять, реальностью — нет. И все-таки титульная страница получилась довольно точной: вы правильно прочитали все имена, усвоили все факты. Лиза Штейнберг… выдающаяся зимняя гостья… старый особняк Карри, построенный на грязные богатства Рифа[177]… член Реставрационного фонда Старого Острова. Но деньги могут быть у кого угодно. Кем была Лиза? Откуда взялась? Откуда слухи о том, что творилось в стенах того исторического особняка? Затем — Перучо… автор марин, которые не могут потягаться с мощью его же фотографий… 48 лет… и — кто? Отношения неопределенные, неподтверждаемые, хотя не настолько важные, чтобы рисковать редакторскими купюрами, которые могут исказить все остальное. И что за фотографии! Та самая коллекция, найденная впоследствии. Совсем не те, что он выставлял в галереях. Он только любовался? Коллекционировал? Более того, в том тексте вы обнаружили, что тайна его только дополняет. Или это только

---

[177] Примечания: 177

Дом Карри — реально существующий особняк в Ки-Уэсте, построенный в 1855 году первым миллионером Флориды Уильямом Карри. Он дал значительные суммы своим семерым детям на собственные дома в Ки-Уэсте, и они старались перещеголять друг друга все более необычными архитектурными находками.

искусственное приукрашивание принципа «кое о чем лучше не говорить»? В конце концов, почему бы не дать поработать за вас воображению читателя?

— Как невинно!

— Как Харджа?

Как невинен был Харджа в тот день, когда проплыл между гаванскими Малеконом и Эль-Морро, направляясь в Барселону и в университет. Впрочем, здесь эти приключения придется принизить, в том числе и уроки, усвоенные в Интернациональных бригадах[178]. Как много происходило с ним как будто по случайности, как много. Достаточно сказать, что Харджа Авицеброн[179] стал жертвой двух ошибок, и одна из них — еврейское происхождение, уходящее во времена старше инквизиции.

Однако после побега из Испании в самых невозможных условиях он пребывал в ликующем

---

[178] Примечания: 178

Интернациональные бригады — подразделения в испанской гражданской войне, сформированные из иностранных добровольцев. Воевали на стороне левого правительства против восставших испанских националистов.

[179] Примечания: 179

Имя «Харджа Авицеброн» отсылает к хардже — виду песни/поэмы мусульманской Испании, которые писали арабские и еврейские поэты; а также к еврейскому поэту XI века Шломо ибн Габиролю (псевдоним — Авицеброн).

настроении и воспринял столь прусское упрямство за недопонимание. *Manana y manana*![180] Но пройти по дороге к *Vernichtungslager*[181] с восприятием туриста — нет ничего невиннее. По пути он замечал реку Зале и приятные луга. Манила тень дубов, так и текли слюнки при виде сочной ежевики на придорожных кустах. Помнишь, Харджа? И липы, что у бараков в ночи, помнишь их благоухание?

— Но все это так заурядно.

Да, заурядно. Все это уже разыгрывалось. На выспренних страницах юношеских произведений, в пошлых номерах дешевых отелей, в пульсирующих камерах сердца. И Элсбет — что чувствовала она?

— Что монотонно происходит день за днем и благодаря повторам обретает имя реальности?

Всех ПЗ раздевали и приковывали к цепям, висящим с балки. Вначале Элсбет проводила допросы лично. Но время иссушило любой новый интерес вне зависимости от все более экзотичных извращений, и наконец хандра отправила ее на скамейку вуайеристов. Харджа поступил

---

[180] Примечания: 180
Завтра и завтра! (*исп.*) — поговорка об откладывании дел.

[181] Примечания: 181
Лагерь смерти (*нем.*).

в период экспериментов Элсбет с «экзекутор»-добровольцами — а успех этой новации потряс даже фон Пфистера. Поскольку такие сеансы служили лишь для знакомства с Обервайлером, ПЗ, как правило, выживали. Редко все заходило так далеко, как в ту ночь, когда «экзекутор» так перевозбудился из-за черноволосой цыганочки, что он людоедствовал, сначала откусив ее соски, а потом, встав на четвереньки, и клитор.

А Хардже по прибытии досталась коренастая еврейка, чьему мужу тем утром отбили голову прикладами винтовок за попытки вырвать своих детей у охраны, когда они пришли отправить одного в бордель, а младшего больного мальчика — в «душ». Ярость, которую выплеснула та женщина на тело Харджи, потрясала воображение. Воздух свистел от ударов, и Элсбет встала из-за стола, впервые с той ночи с цыганкой почувствовав пробуждающийся интерес. Перед ней был подопытный заключенный, содрогавшийся, судя по всему, от удовольствия. Ее сердце застучало под судорожные корчи его тела. Она уже не понимала — лишь подчинялась позыву в груди. В каком-то смысле она сама не замечала, как приказывает остальным выйти. Как раздевается. Как слышит стоны какого-то глубокого голоса,

живущего в плоти Харджи. Всего этого Элсбет не замечала. В каком-то смысле. Как и завитушки в финале. Так вы стали любовниками, ты и Элсбет. Но не будем забывать о приличиях.

— Это же не моя вина.

— Знаю-знаю — это все жара. Господи, только не заводи пластинку об этом. В тропиках и должно быть жарко.

— Ты меня больше не любишь, вот в чем дело. И мы вообще-то не в тропиках — по крайней мере, формально. В этом все дело, да? Ты меня больше не любишь.

— Смотрю, кое-кто сегодня развизжался, как какой-нибудь из тех зеленых попугаев. Закуришь мне, любовь моя?

— Если что-то американцы и умеют делать, так это сигареты. Иногда кажется, что сигареты оправдывают все.

— Ай! tú[182] — ну вот, ожог. Ты это нарочно, я знаю, что нарочно. Даже за коктейлями любишь причинять мне страдания.

— Это правда. Уже ничто не так, как прежде.

— А ты и правда визгливая. Странно, что замечаю это только сейчас.

---

[182] Примечания: 182
Ты *(исп.)*.

— Я знаю только то, что в жизни больше нет удовольствия. Больше ничего не происходит.

— Все подходит к концу, любовь моя. Потом забывается. Кому это знать, как не тебе?

Многие факты, что известны вам, так и не появились в газете «Ки-Уэст Ситизен». Конечно, когда речь о таких людях, как Лиза и Перучо, у всех на языке самые фантастические басни. Апокрифы, что вгоняли даже таких умных людей, как Скотт Фитцджеральд, в трепет и веру, будто между людьми существует разница. Даже самого факта, что, до того наезжая только в зимние месяцы, в тот год они поселились здесь уже в начале лета, хватало, чтобы разжечь к ним новое любопытство. Но продержалось оно недолго. Всех больше интересовало, что случится с Эйхманом[183], выхваченным из Буэнос-Айреса.

Так что вы в конце концов поняли? Что извлекли из сцены, разыгранной в этой комнате с кондиционером на втором этаже богатого особняка? Красит ли вас, что после всего произошедшего вас не смущала кровь? Не говоря уже об увечьях. Никакие оправдания в духе…

---

[183] Примечания: 183

Адольф Эйхман (1906–1962) — австрийский нацист. После войны сбежал в Аргентину и жил с семьей под Буэнос-Айресом, но был похищен и перевезен в Израиль «Моссадом», где его судили и казнили.

— Это моя работа.

…Не действуют на фоне такого зрелища плоти, что не получается вообразить столь измученный разум, способный это довершить. Или вы ничего не узнали о человеческом сердце? И разуме? Как безгранично воображение, способное задумать драму, исполненную в этой комнате, где несет страстью и кровью. Как наивно считать это преступлением на сексуальной почве! Как глупо списывать на психоз! Отделываться общими фразами (пусть и украдкой) о нравственном упадке. Вы даже не знали, что думать о «признании». Такой ад за стенами в дорогих обоях — только потому, что жертва стала страшной занудой. Преуменьшение в духе высокой комедии. А! Вы уже начали переписывать, а вместе с этим — воссоздавать актеров, менять их движения, диалоги, выстраивать новые декорации. Узнали в процессе что-либо важное о законах реальности и природе иллюзий?

— Кто во тьме ночи может поднести руку к свету, не увидев крови?

— Все концовки одинаковы, да, — оскорбления, вина, обвинение.

Так много лет спустя вы и не знаете, чего ожидать. Но не найти вовсе ничего?.. Возможно,

ошиблись местом, неправильно поняли в Вайсенфельсе, как добираться. И все же вы помните дубравы, отрадные луга, да и невозможно спутать июньское благоухание лип. Нет, место то самое. Здесь стоял Обервайлер — один, иллюзия. Сорвите ягодку. И прочувствуйте! Как солнце взрывается во рту, сочность разливается по языку. Как же вы мечтали зажать эти ягоды между языком и нёбом, когда проходили здесь в последний раз. А помните, как закрыли от жажды глаза, чтобы представить, как рот заполняется терпким соком? Впрочем, в *то* посещение Обервайлера срывать ягоды не разрешалось. Помните? И в этот миг осознания понимаете, какая ежевика лучше на вкус? Та, которую воображение срывало от жажды по дороге сюда — или та, что вы смакуете в полях, откуда изглажена реальность Обервайлера?

— Скорей! — воскликнете вы. — Переходи уже к мякотке.

Ах! Вам не к лицу капризность, однако понимаю ваше нетерпение. Скольких уже сформировали наши деэрегирующие выдумки?

— Моя задача здесь выполнена.

Да, во всем, кроме применения воображения. И все-таки вы ждете удовольствия.

— Но я не знаю…

…хотели ли зайти так далеко? Вы ничем не отличаетесь от всех остальных, и у сердца нет предела. На самом деле вы просто хотите, чтобы вас избавили от ответственности, только и всего.

— Не переживай, любовь моя, это ты всего лишь чувствуешь свою человечность. От нее еще никто не умирал.

Вы хотите, чтобы в этой жаре высохли ваши соки, чтобы ваша кожа покрылась волдырями, хотите, чтобы я натянул ваш хребет, нацелив вам в сердце стрелу ожидания.

— А что я могу поделать, если… это же не моя вина.

Принуждение логически оправдывается, чтобы избежать ответственности.

— Жжется! Ай, *tú*, жжется.

Даже неподвижная, Элсбет все равно потеет. На улице падает снег. Единственный звук — потрескивание огня в камине. На другом конце комнаты, где по стене движутся тени, мечется из стороны в сторону Харджа. Они уважают разделяющие их невидимые прутья решетки, поскольку уже узнали, что в свое время их клетки откроются. В некоторые ночи — только одна клетка, но не вторая. В другие ночи не происходит ничего, в

клетках остаются оба. Лишь раз они обнаружили, что никакие прутья не сдерживают их свободу.

Элсбет пошлепывает лезвием кинжала по голой ляжке. Харджа останавливается приглядеться к тому, что она делает. В отсветах огня его глаза сияют. Элсбет делает шаг из-за своего стола, потом еще шаг. Ее клетка открылась. Ее соски покалывает. У Харджи раздуваются ноздри. Из складок теней пробуждаются теплые запахи плоти. Элсбет присела у камина. Играет, срезая кинжалом языки пламени.

— Сегодня пришел приказ. К весне Обервайлер прекратит существование.

— Тогда что ты сделаешь с…

— Приказ однозначный. Не останется никого и ничего.

— А ты сама?

— У кого-то наверху наверняка есть похожий приказ. Но… похоже, таков порядок вещей. Все подходит к концу.

— Порядок вещей обманчив. Его иллюзии вынуждают нас верить, будто мы сами правим свою судьбу. Но это все великий фокус. Заставить нас верить, когда на самом деле за ниточки всегда дергает кто-то выше нас.

Элсбет поворачивается от огня.

— Что мне наскучило больше всего, так это твоя страсть к банальностям.

— Есть в этом и примесь комедии. Каждый кукловод так сосредоточен на своих марионетках, что и не замечает собственных ниток.

Элсбет встает. Харджа было делает к ней шаг, затем останавливается. На миг они словно в замешательстве, нервничают. Затем чувствуют, что открылась его клетка.

— Ты не можешь допустить, чтобы все кончилось так.

— Но так кончается всегда, *tú*, всегда.

Вот он лежит, унесенный в далекий край смерти. У него есть дурная привычка всех обреченных: думать о себе во множественном числе. Из этого состоит одиночество и скучные разговоры.

— Что ж, а теперь наступает наш момент истины, а?

Проявление педантства, что вы нахватались в Испании, но которое ничего не значит.

— Но нам хотя бы известно, что такое «произвольность», а? Помнишь Лизу? Перучо? Всего лишь потому, что она стала занудой, помнишь, как…

О, псевдоинтеллектуал. Так говорите, будто у вас руки не запачканы. А как же Харджа Ави-

цеброн?

— Вот как! Опять возвращаемся к этому, ищем виноватых? Всегда одно и то же. Всегда *ты*. Всегда *тебе* надо нести вину, *tú*, другому.

Dentro el cielo y la tierra no hay nada oculto[184], как сказал бы Харджа.

Но для этого будущее еще должно произойти.

[184] Примечания: 184

«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным», Еванг. от Марка, 4:22.

Послесловие

Изначальная задумка — сконструировать художественное произведение, которое производит в читателе не опосредованный, а реальный опыт. К примеру, рассказ о том, как персонажи отправляются в какое-нибудь приключение, только чтобы потеряться, но написанный так, что в рассказе теряется сам читатель.

В *Totenbüch* персонажи и сюжет служат пешками в хеппенинге между писателем и читателем. С виду *Totenbüch* рассказывает о каких-то персонажах, которые узнают, каково это — быть бессильными пред стихиями, определяющими, что случится с ними в данном времени и месте. Ну хорошо. Такое читатель может найти в любом произведении. Я же хотел, чтобы читатель лично пережил фрустрацию, то, как его используют, эксплуатируют, дурят, чтобы он почувствовал себя беспомощным — таким же бессильным, как, скажем, заключенный.

Totenbüch — это антипорнография. Моя претензия к порнографии — она редко оставляет что-то воображению и потому скучна любому, кто уже лишился девственности. Лучше всего порно-

графия воздействует на невинных. Для меня же серьезная спекулятивная литература движется в противоположном направлении, проливает свет на видение зла. И в *Totenbüch* я обещаю читателю порнографическую точность, дразня и маня его за собой обещанием некоего садомазохизма. Что он должен получить в конце? Ничего. Ничего, кроме реального переживания фрустрации и, возможно, некоего понимания собственных позывов.

Среди прочего я хотел предположить в *Totenbüch*, что тот же позыв, который порождает ужасы, нацизм, извращения и концентрационные лагеря, по-прежнему возникает, словно вирус, в разных местах, в разных временах, не ограничиваясь одной лишь горсткой психопатов. Для этого я чередую место и время (Германия/Америка) и имена, хотя не самих персонажей, — Харджа/Элсбет и Лиза/Перучо. Но сам я остался этим недоволен: я стремился к двусмысленности (оставить открытой возможность, что Элсбет и Харджа сбежали в Южную Америку, как Эйхман), но не уверен, что это считывается.

Итак. Если я ошибаюсь в интерпретации реакций на рассказ, уже бессмысленно что-либо прибавлять, ведь, получается, сама задумка рассказа ошибочна, попросту не работает.

С другой стороны, если я угадал вашу реакцию (то есть вы, как читатель, пережили фрустрацию из-за того, что вам не дали обещанного удовлетворения), это говорит о том, что концепция рабочая — и дополнительно пояснять ее ни к чему.

Один из недостатков спекулятивной литературы, конечно же, в повышенном риске опростоволоситься.

Предисловие «Утраченное время»



В детстве мы часто оставляли самое вкусненькое напоследок, изводя себя ожиданием. И будто какое-то божество преисподней заглядывало мне через плечо при подготовке этой антологии, смакуя, словно хорошее блюдо, мои переживания и мучения при написании предисловий, и вот самые лакомые (для демона) кусочки — то есть самые трудные для меня предисловия — следуют на последнем шаге.

Том Диш — это «пища дьявола»[185].

Понимаете, Том Диш — единственный писатель, которого я не взял в первый том, «Опасные

---

[185] Примечания: 185
Пища дьявола — американский шоколадный торт.

видения», из-за личной неприязни. (Понимаю, что подвожу вас; простите, что разоблачаю правду для тех, кто считает меня непогрешимым и достойным во всех поступках: я капризное и вздорное создание. Надеюсь, я не испортил наши отношения. Ведь мы же созданы друг для друга.) Я ошибался. Видит бог, я ошибался. Но какое теперь жуткое безобразие — ползать, извиняться, пресмыкаться перед вами, читателями, лишенными Диша ранее, и перед самим Дишем — далеко не джентльменом выше злорадства. И все-таки я должен. И, пожалуй, поэтому я и поставил рассказ Тома под конец. Нет-нет — не подсказывайте насчет завершения на самых сильных произведениях; я сам знаю, что это хорошая политика, делал так в «ОВ» и делаю теперь… но нет, мне не избежать своей совести и ответственности. Я всю книгу откладывал Диша из-за этого самого страха. Теперь я сижу перед пишущей машинкой с дрожащими пальцами и неописуемым тиком у правого глаза. Признаю безоговорочно: Томас М. Диш — молодой колосс средь авторов воображаемых миров. Я обязан заявить четко и без всякой надежды на искупление, что отказал Дишу в его законном праве на место в «Опасных видениях» лишь по низменным и ничтожным причинам.

Mea, вашу мать, *culpa*!

Без толку теперь оправдываться, что присланные для первого сборника два рассказа Диша были ужасными; без толку оправдываться, что при первой нашей встрече он надменно задирал нос; без толку оправдываться, что мною двигали месть и злоба. Без толку.

Всему виной лишь моя слепота, неумение распознать других — великих, благородных — писателей в творчестве Тома Диша.

Я лишь грязь[186] и заслуживаю ваших насмешек.

Я обречен на ад, неизбежно. Но своим прилюдным покаянием я хотя бы избегну Чистилища. Обязательно прямиком в ад за свою никчемность (непременно в ад, где черти будут колоть меня вилами и заставлять перечитывать вновь и вновь, до скончания времен, «Заключенного» в мягкой обложке от Тома, новеллизацию одноименного телесериала). О, ад!

И все-таки, дабы спасти свою бессмертную душу, я всячески воспою творчество Диша — автора сложной и экспериментальной литературы, кого не очернить даже ненавистникам «нового»

---

[186] Примечания: 186
Отсылка к Премудрости Соломона, 7:9.

стиля.

И хоть к этому времени мои слова «такой-то писатель не похож ни на кого» наверняка уже осточертели читателю «НОВ», в случае Диша их следует повторить.

(Тут мне приходит в голову, что, хоть я расхваливаю каждого писателя как *rara avis*[187], никак иначе о них сказать невозможно; и ничто другое не развеивает чепуху с «новой волной» быстрее — ведь каждый писатель в этой книге и есть *rara avis*. Как, черт возьми, сравнить Диша с Воннегутом, или Типтри с Вильгельм, или Парру с Энтони? Каждый исполняет свой номер так, как всем остальным и в голову не придет. Я не представляю, чтобы Чед Оливер написал «Когда все изменилось» Джоанны Расс или Бен Бова написал «Против эскадрильи Лафайет» Джина Вулфа. Каждый сам себе волна. Они летят поодиночке. Они не кучкуются. Они не стайные животные. Это просто чудо, что у нас их так много одновременно, таких разных. Но сказать, что эта антология представляет какую-то одну литературную школу — это же просто притягивание за уши от глупых рецензентов и еще более

---

[187] Примечания: 187
Редкая птица (*лат.*).

глупых «критиков», чьи дни и ночи наверняка безрадостны.)

Том Диш сотворил столько запоминающихся сюжетов за такой короткий промежуток времени, что не мог не войти в ряды светочей «ОВ». И с моей стороны было безумием не брать его по какой угодно причине. А тем, кто любит хеппи-энды, сообщаю: мы с Томом теперь друзья. Вплоть до того, что Том даже предложил помочь придумать новое название для «Утраченного», когда рассказ назывался иначе. Этим маленьким поступком я пытаюсь загладить свой первородный грех в надежде, что Том замолвит за меня словечко перед Стражем у Ворот.

А теперь, вовсю отпреклонявшись, я заодно откланяюсь и оставлю вас с мистером Томасом М. Дишем.

«Биография:

Родился 2 февраля 1940 года. Де-Мойн, штат Айова.

Вырос в Миннесоте: Сент-Пол, Миннеаполис, Онамия, Фэрмонт, Сент-Пол.

Два года с половиной в Нью-Йоркском университете.

Год в рекламе, а также всякие другие работы, что принято указывать на обложках книжек.

Мы встретились, Харлан, на моем втором Милфордском конвенте, летом 65-го. Тогда я ненадолго вернулся в рекламное агентство, после долгого периода в Мексике, где писал „Геноцид“. Осенью 65-го я отправился в Европу с Джоном Слейдеком. В Испании и позже в Англии мы с ним работали в соавторстве над романом „Черная Алиса“ (*Black Alice*).

(Который может стать фильмом — права приобрел Пол Монаш; будем знать, когда уже выйдет „НОВ“.)

А еще два рассказа, которые я присылал для „Опасных видений“. Требую упомянуть оба по названию: „1-А“ и „Линда, Дэниэл и Спайк“ (*Linda and Daniel and Spike*). Ты их возненавидел. „Утраченное“ написано всего через пару месяцев после них, в феврале 66-го. Тогда это было началом „Давления времени“ (*The Pressure of Time*). К той книге я вернулся в апреле — июне 67-го, часть из нее выходила в *Orbit 7*. В то же время я значительно отредактировал/расширил „Утраченное“.

По разным причинам, личным и безличным, так и не вернулся к „Давлению“ и теперь понимаю, что, увы, и не вернусь. После „Концентрационного лагеря“ (на который ушло восемь месяцев) я вижу, что не могу долго сидеть над

книгой, которая принесет только стандартный в НФ аванс. Чтобы зарабатывать литературой на жизнь, мне пришлось бы ускорить работу в три-четыре раза. Нет».

Библиография:

НФ:

«Геноцид» (*The Geno cides, Berkley*, 1965)

«Щенки Земли» (*The Puppies of Terra, Ace*, 1966)

«Эхо плоти твоей» (*Echo Round His Bones, Berkley*, 1966)

«Концентрационный лагерь» (*Camp Concentration, Doubleday*, 1969; *Avon*, 1971)

«Заключенный» (*Prisoner, Ace*, 1969)

«Сто две водородные бомбы» (*102 H-Bombs, Berkley*, 1971; сборник рассказов)

«Развлечения с новой головой» (*Fun with Your New Head, Doubleday*, 1971; сборник рассказов)

В соавторстве с Джоном Слейдеком:

«Черная Алиса» (*Black Alice, Doubleday,* 1968; *Avon*, 1970; под псевдонимом Торн Демиджон)

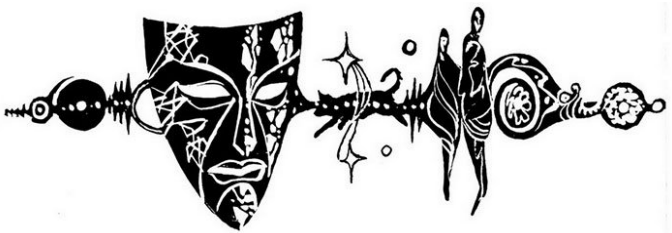
Журналы:

Рассказы в НФ-журналах (но никогда в *Analog*): *Playboy, Knight, Escapade, Mademoiselle, Transatlantic Review, Paris Review*. Всего 60 с лишним текстов.

Стихи в *Epoch, Bones, Minnesota Review, Ronald*

Reagan, *New Measure* и множестве мелких журнальчиков.

Утраченное время
Томас М. Диш



ВТОРНИК, 31 АПРЕЛЯ 2084 ГОДА

Йиппи, звезды! Выплеск неподдельного воодушевления.

Хотя в моем-то возрасте?

Что ж, надо признать, что это весьма особый случай. Даже устраивали парад — плоды тщательной работы археологов: с военными оркестрами и флажками, с тамбурмажоретками и такими важными речами, каких я ни разу не слышал с

самого выпускного. Китч — но, в конце концов, что еще делать в честь запуска?

Самый запомнившийся момент празднества: началась пробка, и мы, космонавты, завязли в Саргассах на Пикадилли, где безумные тысячи размахивали флагами, растягивали знамена, ликовали, пели и чертыхались, чтобы мы пошевеливали задницами. Однако было там одно маленькое создание, которое во всем этом участия не принимало. Она стояла не дальше пяти футов от нашего гребешка — такая печальная и маленькая нимфочка (наверняка смертная)– и ужасно серьезно таращилась на меня темными доверчивыми глазами, слишком большими для такого крошечного лица, хоть для ребенка это простительно. Года четыре-пять, от силы шестилетний унтерменш, и одета, словно в трауре. (Опять же — смертная? Или всего лишь опережает моду?) Ее спутанные черные кудри напоминали крысиного короля. Прямо-таки пропитанная пафосом, эта крошка. Прямиком из Диккенса — какая-нибудь Малышка Доррит. Или еще лучше: Малышка Нелл. Пробка рассосалась, наша платформа поползла дальше. Толпа снова оживилась, но *она* не махала на прощание и не выдохнула ни слова напоследок, только все смот-

рела и смотрела. Что она понимала? Знала ли, кто мы, куда направляемся? И никак уже не выкинуть ее лица из головы! Словно бы те темные глаза были символом всего, что мы оставляли позади, символом Земли и прежней смертности. Так прощай, младшая сестричка. Прости меня, что не было времени объяснить. Боюсь, теперь уже и не будет. Что, еще смотришь мне вслед? Прощай, прощай, прощай.

Затем, нехотя (и пьяный в дым), я обращаюсь навстречу звездам.

СРЕДА, 1 МАЯ 2084 ГОДА

Не так я задумывал начать дневник. Хотелось бы чего-нибудь одновременно и более формального, и менее литературного, — введение, где вежливо и понятно объясняется, что это дневник Оливера Уэнделла Ригана, единственного сына Джозефа и Хоуп Риганов, 92 года, космонавта, генетика, романиста (не издававшегося). Но если бы я начал так, мне бы наверняка было нечего сказать дальше (как нечего сказать и сейчас).

И все-таки продолжим.

Я не покидал каюту с тех пор, как взошел на борт «Экстраверта». Круглые сутки я лишь возился, расставляя по каюте содержимое своей маленькой картонной коробки с Земными Фети-

шами: шахматы — на ту полку; потом над ними и чуть левее — мою Настоящую Сувенирную Пепельницу из «Бостон Массачусетс 1999»; потом этот выдвижной ящик — для масок, а этот — для чайного сервиза. В завершение обнаруживаю, что нет места для моего гобоя, если только не убрать его в один ящик с рубашками, и приходится начинать заново. Потом надо решить, где повесить литографию Раушенберга («Ад», песнь 12), вешать ли не лучшую гравюру с изображением Гогентюбингена, от Вероники. Сплошные решения. И, конечно, все это время, поверх моей суеты и затмевая ее,– пикантное предчувствие скорого приключения, безграничных возможностей, бесконечного странствия, когда каждый удар сердца что взрыв, и лишь благодаря аккуратнейшей магии (*это* — на ту полку, а *это* — в тот ящик) я удерживаюсь от того, чтобы взорваться и забрызгать безупречные стены. Вполне очевидно, я еще не в том состоянии, чтобы вести дневник, — и, скорее всего, не буду в том, пока мы не покинем Солнечную систему.

Сегодня утром мы миновали орбиту Марса и скоро начнем считать астероиды. (Воспоминание: игра с отцом в долгих скучных поездках на семейные каникулы в Вермонте — подсчет

коров. Он считал коров со своей стороны дороги, а я — со своей. Почему-то обычно побеждал я. Я жульничал? Или он жульничал за меня?)

Господи, о чем я только не пишу. Нет, я *определенно* не в том состоянии. Засим оставляю вас с моим наилучшим перерывом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАЯ 2084 ГОДА

Звезды, тишина, холод. Нарастающее ощущение, что все это — вся эта необъятность — чужая, пустая, враждебная. Но в то же время ощущение, как нам, путешественникам, уютно в нашем славном маленьком брюшке кита.

Может быть, тепло и уютно, но невесело. Расстояние между звездами кажется незначительным в сравнении с расстояниями между нами. В конце концов, у нас еще не меньше столетия на знакомства. Спешить незачем.

И поэтому в первые две недели в коридорах словно шуршат привидения, спеша мимо, разве что покосившись на тебя из глазных прорезей своих масок. К слову, должен сказать, редко где я видел столь изощренные маски. Одна восхитила меня особенно, женская: маска на все лицо, с короной, из тяжелого тусклого серебра, с припаянными кудрями, обрамляющими лицо. Глаза темно-карие, серьезные. Я улыбнулся. У меня

всего лишь простое бархатное домино, поэтому она не могла не заметить. И улыбнулась ли она в ответ, под своей серебряной маской?

Не считая перебежек по коридорам в столовую или библиотеку, мое единственное участие в общественной деятельности — это репетиции оркестра. Нас всего тридцать человек, поэтому без помощи электроники нам не представлялось случая взяться за романтиков посложнее, да и наш дирижер, Гамлин Квинн, с виду слишком большой пурист для этого. Ему удался Гайдн, но уж скоро, скоро будет и фантазия Айвса. Квинн, что забавно, политический активист и нашпиговывает свои музыкальные достижения анархистскими посылами, хотя даже он должен понимать, насколько они неактуальны в такой дали от его родной Новой Зеландии.

Девушка в серебряной маске тоже участвует в оркестре, но играет на скрипке. Я так и не видел лица за маской.

ВТОРНИК, 14 МАЯ 2084 ГОДА

Вот он я на передовой Истории, мчусь к звездам с постоянным ускорением в 1,25 g, последнее слово современности, — а что затягивает меня все больше? Прошлое.

Должно быть, это из-за внезапной атрофии

социальной жизни. А возможно, из-за реакции психики на то, что привычная коперниковская вселенная осталась далеко позади. Как бы то ни было, я превращаюсь в подлинного Пруста, отсиживаюсь в своей каюте, без конца пережевывая объедки старых воспоминаний. Не потому, что боюсь — в отличие от своего отца, — утратить память, если ее регулярно не упражнять. Напротив, навязчивые воспоминания раздражают меня все больше. У меня есть занятия поинтереснее. У меня, как говорится, впереди целое будущее.

Один образ все повторяется и повторяется, как (о, милая древняя метафора!) заевшая пластинка: картина, которую написала моя мачеха незадолго до самоубийства. Отец называл ее «Пятно струльдбруга»[188], хотя должен был понимать, что по задумке это его портрет. Порой мне кажется, я вижу тот же алый диск, словно сияющий светофор, во лбу своих спутников — словно, несмотря на нестареющие лица, все мы несем печать той неумирающей, мертвой дряхлости, какой несчастный безумный Свифт и моя

[188] Примечания: 188

Струльдбруги — бессмертные существа из романа «Приключения Гулливера» Джонатана Свифта. Над их левой бровью — пятно, меняющее цвет с возрастом. Струльдбруги не умирают, но становятся немощными иссохшими стариками.

несчастная безумная мать видели бессмертие.

Мы, избранные, столь самодовольны, что можем позволить себе священную роскошь самобичевания.

Интересно, осталась ли у отца та картина. Надо бы не забыть спросить при нашей следующей «встрече».

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ:

Итак, очередная попытка всеохватности (забытый идеал всего второразрядного), обобщения всего того, что «само собой разумеется», чтобы попытаться проговорить это вслух. Короче говоря: что я здесь делаю? Или, собственно, где я?

Я на «Экстраверте», космическом корабле, чья постройка началась около двадцати лет назад на земной орбите. Его форма (плюс-минус пара десятков протуберанцев)– улей. Длина — 1,6 километра (великоват для корабля, маловат для микрокосма), и он пронизан коридорами и рабочими мостиками общей длиной в 1174 мили. Он быстрее пули, мощнее локомотива. Благодаря фотонному двигателю он разгоняется до 0,9 скорости света за 250 дней. Уверен, все это куда красочней передала бы открытка. Настанет ли пора, когда подобные рекламные мелочи будут считаться не более примечательными, чем мне,

скажем, кажутся примечательными размеры корабля «Мейфлауэр»?[189] Вера, что такое время придет, — это единственное оправдание для такого дневника.

Всего нас 246 человек, в возрастном диапазоне от Шейлы Дюпон, 23, до нашего капитана Лестера Горэма Грэя, перевалившего за столетний юбилей уже несколько десятков лет назад. Медианный возраст — 68. Каждый из нас так или иначе отличился, и об этом можно говорить долго. Впрочем, кажется мне, при современном порядке вещей Выдающиеся Достижения лишь ожидаемы.

Мое ВД, принесшее мне место на корабле? Я составил полную генетическую карту мыши, *Mus musculus*. Когда Нобелевский комитет прислал мне приглашение, называя это моим главным подвигом, я скорее почувствовал себя так, будто меня чествуют за написание самого лучшего хайку. Не помогало и то, что Вероника взяла в привычку звать меня Звездным Мышом.

Но людей отбирали не за одно-единственное свершение. Скорее, насколько я понимаю, каждый из нас оказался здесь потому, что показал

---

[189] Примечания: 189

Торговое судно, на котором англичане высадились в 1620 году в Америке и основали Плимутскую колонию — одно из первых британских поселений в Северной Америке.

себя самым «поли» из всех полиматов. Поэтому в нашем сообществе представлено широчайшее разнообразие интересов и навыков, и каждый космонавт, предположительно, способен полюбить и перенять что угодно из них. Таким образом мы надеемся коротать время, пока проползаем долгие световые года от звезды к звезде.

Учитывался, разумеется, и характер. От нас ожидаются стойкие, невозмутимые характеры. Когда нет возможностей для перестройки эго, высокая самооценка — в цене. Надо полагать, для многих из нас стало ударом, что нас считают стойкими и невозмутимыми. Я-то всегда был склонен считать себя непредсказуемым психотипом. Впрочем, более чем достаточно вводных объяснений. Пора вернуться в мое теплое, проложенное пробкой гнездышко.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ 2084

Ее лицо ничуть не хуже ее маски.

Вчера ночью, после очередной невыносимо скучной учебной тревоги, я подошел к ней в галерее внешнего периметра, снял маску и представился.

— Ах да, — проговорила она неподвижными серебряными устами, — гобой. А мое имя, раз уж я вынуждена его теперь раскрыть, — Аспера.

– *Per Aspera ad Astra*[190], — произнес Звездный Мыш с галантным жестом.

— Очевидный каламбур, мистер Риган, но, боюсь, в следующий век я услышу его столько же раз, сколько представлюсь. Если угодно, можете называть меня Хоуп. Так меня зовут многие друзья.

— Аспера — это прелестное имя. Как и ваша маска.

Она ее сняла. Она улыбалась. Высоко на ее левой щеке была родная мушка (родинка кажется здесь слишком грубым словом) — необычная черта, учитывая популярность пластической хирургии. Мелкозернистая фарфоровая кожа того рода, какую обожал писать Энгр. Серебристо-светлые кудри, ниспадающие в небрежном, продуманном водопаде, — вполне в духе кудрей маски. А какие глаза — большие, темные, ранимые: глаза лани, манящей охотника за собой. Ах, я растекся при ее взгляде обратной Медузы.

Вот так просто.

Потом я заглядывал в библиотеку (где Слейд пересказал мне свой очередной сон; похоже, он делает из сновидений целое искусство). Аспе-

---

[190] Примечания: 190

Через тернии к звездам (*лат.* aspera — «тернии», *букв.* «усилия»).

ра Донацио: 54 года, олимпийская чемпионка по плаванию и видный психотерапевт со специализацией на психозах детей и зависимых. Необычная специальность на борту «Экстраверта». Даже на Земле осталось не так много детей, не считая гетто смертных. Что касается наркотиков, то мы, стойкие и невозмутимые, практически трезвенники. А также, о чем мне уже было известно, она актриса.

Есть что-то в этой женщине, что не отпускает и зовет, словно телефонный звонок в замурованной комнате.

ПОЗЖЕ:

Загадка раскрыта. Ответ пришел перед самым сном. У нее глаза той девочки: темные глаза смертности и старой Земли.

СРЕДА, 13 ИЮНЯ 2084 ГОДА

Слейд с каждой встречей кажется все необъяснимей. Сегодня я вновь посещал библиотеку, чтобы повидать его, но под предлогом — чтобы попросить книгофильмы Пруста, которого я заставляю себя перечитывать в последний месяц. На первый взгляд Слейд кажется человеком совершенно невзрачным — аномалией, ошибкой отборочной комиссии. Скромные коптские глаза;

турецкие усы, прячущие неправильный прикус; сдержанность в самой обыденной беседе, на грани невидимости. Когда я бесстрастно исполнил свою роль — повторил все обычные слова из учебников о Прусте, — Слейд улыбнулся и со своей обычной обескураживающей прямотой пустился рассказывать свой последний сон:

— Мне приснилось, что это я написал «В поисках утраченного времени», хотя во сне книга стала называться «Утраченным временем». Сам-то я ее никогда не читал, поэтому общего с оригиналом в ней, скорее всего, только то, что она написана от первого лица. В той части сна, что я помню, я шел по французской деревеньке с Джин Шоу. Возможно, вы ее знаете — она программирует кое-что из нашего окружения? Ну да не суть. Давным-давно, еще во время погромов в Штатах, мы с Джин были очень близки — видимо, в этом и есть смысл «Утраченного времени». Мы вышли на площадь посреди деревни, а поскольку я не видел Францию дальше Парижа, площадь была копией небольшого сквера перед зданием суда в Кларионе, штат Айова, где я вырос. Ее окружали красочные кирпичные домики, украденные с картин Вермеера и де Хоха. Посреди площади торчал общественный туалет, больше

напоминавший эстраду — видимо, это мое представление о французских туалетах. Мы с Джин заглянули через витражные окошки внутрь. Там мальчишка скверного вида лупил по унитазу тяжелой цепью. Разбил его вдребезги. Записывая этот эпизод наутро, я то и дело менял его имя. Сначала он был Жене, но это слишком напоминало Джин. Роман во сне был большой, но все остальное я забыл. Вам нравится?

— По-моему, один из ваших лучших.

— О, не уверен. В чем-то довольно очевидный. Взять хоть Джин и Жене. И все-таки в нем есть свои достоинства. — Затем, словно смутившись тем, как он разоткровенничался (несмотря на то, что пересказы снов уже стали между нами чуть ли не традицией), он извинился и удалился в твердыню своих архивов.

Опасность, что я узнаю этого человека слишком быстро, невелика. Даже жаль, он вполне к себе располагает.

ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ 2084 ГОДА

Потоп воспоминаний — как моих собственных, так и Пруста, — никак не дает взяться за работу.

Массачусетский университет. Я поступил туда на экономический факультет в 2009-м, за год до Берклиевского Слуха, мечтая не более чем

убить время и стать магистром по деловому администрированию. Следовал по стопам отца, был Молодым Республиканцем[191]. 40 тысяч долларов в год, пост вице-президента во «Фридом Мучуал» или любой другой компании с пенсионной программой не хуже — вот и все мои цели на тот момент. Я даже умудрился убедить себя, что хочу всего этого, — как любой смертный после диагноза «рак» или после инфаркта убедит себя, что на самом деле сам хочет умереть, что смерть — это избавление и кульминация. Как быстро в те дни осознание нашего срока сжимало нас железными тисками. Всего восемнадцать лет — а я уже боялся «потратить жизнь зря», позволить песку в часах ускользнуть впустую, словно восьмидесятилетний инвалид.

И все возвращается с такою живостью: унылые здания из кирпича и стекла; оцепенелые часы в лекториях; перепуганные, злобные, вздорные учителя; столовые, где наскоро набиваешь рот некачественной искусственной едой; изредка — психоделический полет, с ужасающей ясностью озаряющий серую текстуру повседневности; ритуальные развлечения студенческих братств,

[191] Примечания: 191

Национальная федерация Молодых Республиканцев (1856) — организация для членов Республиканской партии в возрасте 18–40 лет.

тайное отчаяние; истощение — чуть ли не день за днем — всех оставшихся альтернатив, кроме одной. Вспоминаю все это — и самому не верится. Неужели я и правда был *такой* гусеницей? И ведь был, и если бы благодаря жуткой милости Чумы не покинул свой кокон, то уже, скорее всего, был бы мертв.

Какой же силой обладало это слово, как жалко звучит оно сегодня.

«Моя настоящая работа».

Я сторонился этой темы так же, как сторонился самой работы. По сути, все из-за ощущения, что надо мной посмеются, когда я сяду за клавиши сыграть.

Я представился этому дневнику романистом (не издававшимся). А не издавался я по той уважительной причине, что не написал ни одного романа. Следовательно, я романист лишь в платоническом смысле. Где-то в эмпиреях есть Идеальный Оливер Риган, и вот он — Романист.

Роман, к которому я никак не могу подступиться, будет основан на путешествии «Экстраверта». Мои персонажи — все 246 нас, не больше и не меньше. Все диалоги будут их авторства, не моего. Я понаторел (и это моя единственная заявка на звание романиста) в воспроизведении услышан-

ных бесед с точностью в 95 процентов. Ничего не выдумывать, записывать все, каждые слово и жест, — и все-таки это должно быть произведением искусства, оно должно сиять. Я требую от себя не больше любого реалиста: невозможного. И, как следствие, ничего не пишу.

Но здесь уникальные условия для того, чтобы попытаться осуществить невозможное: ограниченные окружение и действующие лица, огромный, но конечный промежуток времени. Я далеко не единственный в рейсе, кто взял на себя эту задачу. Есть, конечно, что-то абсурдное в том, что мы, путешественники, описываем собственное путешествие — как если бы Колумб набрал на все три корабля лишь историков и диаристов. Но почему бы и нет? Век ведер с дегтем и брашпилей остался в прошлом.

СУББОТА, 16 ИЮНЯ 2084 ГОДА

Стоит мне что-то сказать, как я сразу замечаю искажение. Ведь, разумеется, «Экстраверт» жив благодаря труду человеческого разума и мышц — пусть часто для этого требуется не больше чем откупорить лампу автоматики. Поэтому по поводу моей «настоящей» работы правильнее было бы сказать, что я фермер или в лучшем случае кок. Я заведую всем органическим синтезом на борту,

не считая гидропонных систем. Благодаря опыту в молекулярной биологии я взял на себя эту задачу с минимальной предполетной подготовкой. Методы работы фабрики отличаются от лабораторных лишь масштабом, и бортовая фабрика так обильно укомплектована разнообразными джиннами, что мои визиты уже приобрели сходство с воскресными посещениями церкви — скорее для души, нежели по практической необходимости.

Есть у меня, как администратора, и не столь жреческая функция: я готовлю себе на смену двух других членов экипажа — то же происходит на всех уровнях иерархии и будет продолжаться десятилетиями, пока в идеале порядок на «Экстраверте» не сможет поддерживать экипаж из двадцати наугад отобранных людей.

Мои стажеры — Халид Хатум, 38, и Амелия Борман, 45. Хатум — ритуалист (он-то и обратил мое внимание на жреческий характер нашего дела), и это он отвечал за парад и предполетные церемонии. Как бы я ни был подозрителен к «новым идеям» (можно ли считать произведением искусства невроз навязчивости?), Хатум, этот чемпион интеллектуального десятиборья, впечатляет меня чрезвычайно. Он аналитик, способный преодолевать целые лестничные

пролеты мысли одним прыжком. Я уже чувствую себя отстающим учителем. А Борман — та моего интеллектуального роста. Она пришла из кибернетики, хотя в основном ее программистский опыт относится к ДПИ. Это она автор того участка в четверть мили на внешней галерее, которым я давно восхищаюсь. Превосходное чувство цвета, поразительная кинетика. Однажды я подслушал по фабричному интеркому ее спор с Хатумом о достоинствах ее «цитат» из истории искусства. Хатум (вне своей специальности совершенно нетерпимый к традиции) ее растоптал. Я с удовольствием наблюдаю, что его доводы никак не повлияли на ее программы.

СРЕДА, 27 ИЮНЯ 2084 ГОДА

Я иду на психоанализ!

«В моем-то возрасте?» — спросил я, но Аспера настаивает, что именно возраст ее так интересует — в том же духе археолог восторгался бы семью историческими слоями Трои. Психоанализ хотя бы сможет дать систему координат для навязчивых воспоминаний. Не говоря уже о том, что он гарантирует два часа в неделю наедине с Асперой.

Репетиции оркестра сокращаются. Корабль начинает оживать.

Привидения перешептываются, двери раскрываются, маски сбрасываются. Мы уже два месяца в пути, и старое коперниковское солнце совсем поблекло — лишь звезда средь миллиона прочих. Мы все ближе к скорости света.

ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ 2084 ГОДА

Сегодня Слейд вместо того, чтобы пересказать очередной сон, вручил напечатанную записку:

«Сон, 28 июня 2084 года

В одном эпизоде я разговаривал с психиатром, отчасти напоминавшим Хемингуэя, а отчасти — Юнга. Я показал ему свои записи снов. Похоже, я никогда не запоминал самое важное. Остальное не помню».

Сны Слейда уже стали для меня странной фиксацией, так часто они пересекаются с моими размышлениями. Он словно видит сны за меня. Когда я об этом сказал, он заметно сконфузился.

СУББОТА, 30 ИЮНЯ 2084 ГОДА

Мой первый сеанс в каюте Асперы. Мы сидели на подушках, пили слабый скополаминовый чай. Мы оба обучились чайной церемонии, когда это было модно в тридцатых, и воскресили ее сегодня с немалым пафосом, учитывая обстоятельства.

Столь привлекавшая меня маска оказалась

работой самой Асперы. Ее каюта украшена и другими масками ее авторства, где самая поразительная — венец со щитком из прозрачных, мелких синтетических полибриллиантов. Хотя я выразил свое восхищение лишь улыбкой, она с ходу угадала мое желание и надела маску. Умопомрачительно!

Затем я принялся надевать свои — или снимать, что сводится к одному и тому же. Каким-то образом речь зашла о моих трех годах в Мексике — в 2011–2014-м, — и, хоть я говорил под действием чая, не могу не задуматься, не был ли выбор умышленным, ведь я редко бывал в таком положительном свете, как тогда. Президент недавно подтвердил Берклиевский Слух, и мне — как и всем моложе сорока — пришлось как-то мириться с тревожной мыслью о том, что мне предстоит прожить неопределенно долго. Я без особых колебаний бросил Массачусетский. На что мне теперь была магистерская степень? Я что, собирался всю бесконечную жизнь вкалывать в зданиях из кирпича и стекла какой-нибудь чудовищной корпорации? Об этом и помыслить стало тяжело. Тогда я еще не знал, чего хотел, но явно не этого. К тому же наши смертные старшие, еще державшие бразды правления, перешли на

некрасивые намеки; складывалось отчетливое впечатление, как у Исаака по пути к горе Мориа с отцом, что не все так ладно в нашем королевстве. Хотя с чего мы тогда решили, что в Мексике будет безопасней, ума не приложу.

Но то были чудесные, ленивые, чрезвычайно интеллектуальные годы — были, пока не закончились. Пожалуй, я в то время был полумертвым. Бессовестно валялся длинными выходными на песке — времени на это хватало,– или читал любую книгу,– времени на это хватало,– или, если больше ничего не хотелось, мог бесконечно загорать: времени на это хватало. Быть может, времени хватало всегда, но я, малодушный смертный, в это не верил. Какая-то моя частичка до сих пор отказывается верить, но, думаю, молодому поколению — всем родившимся примерно после 2025-го — это ощущение незнакомо вовсе. К примеру, это целиком чуждо Аспере, по ее словам. Я отметил, как любопытно встретить психиатра, которая зовет себя фрейдианкой самого консервативного пошиба, но при этом отрицает ключевую важность страха смерти.

— Но я же ее не отрицаю, — возразила Аспера. — Мы изменились — но изменилась и смерть.

— Что есть смерть, как не тьма в конце любого

коридора? И что для нас значит, если коридор не кончается?

— Ты сам ответил на свой вопрос, Оливер. Смерть — это символ.

ВИСОКОСНЫЙ ДЕНЬ, 2084

Здесь, в космосе, что ни день, то високосный: не принадлежащий ни одной неделе или месяцу. В честь него весь экипаж собирается в зале, где к нам обращаются с речью капитан Грей и доктор Стиллховен, выдвинувший календарную реформу 2000 года — первую из его множества знаменитых проделок в ООН. 2000-й: год уже почти изгладился из памяти. Я учился в третьем классе, и на мисс … (не упомню имя, но она носила лавандовый свитер и жемчужные бусы, переехала из Англии, и мы за ее спиной подшучивали над ее акцентом), которая только что учила нас «тридцать дней в сентябре, апреле, июне, ноябре и т. д.», теперь легла обязанность объяснить, что отныне в феврале, марте, мае, июне, августе, сентябре, ноябре и декабре тоже по тридцать дней. Как же та мисс, должно быть, ненавидела Стиллховена.

Еще один мой маленький атавизм: до того, как на сцену взошел доктор Стиллховен, я ожидал увидеть почтенного беловласого патриарха.

Все-таки ему 111 лет. И был потрясен при виде гульфика и напудренных волос, прямо как у самых молодых франтов среди нас.

ПОЗЖЕ:

Харнесс. Ее звали Харнесс, и она с ума сходила по цветам.

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ 2084 ГОДА

Лань пала под стрелой охотника. Как же все-таки быстро разворачиваются события!

ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ 2084 ГОДА

Психоанализ идет семимильными шагами. Теперь Аспера говорит, что ее капитуляция и продолжение нашей связи есть диагностические инструменты. Что ж, у нее свои инструменты, а у меня — мои. Она жалуется на отсутствие у меня снов, и я начал заимствовать слейдовские.

Посторонний слушатель не услышал бы на наших сеансах ничего сверх заурядней пикировки за чаем. В конце концов, все и всегда ведут «психоанализ» друг друга; это часть нашей культуры, базис современной романтики, когда одна сторона пытается проникнуть в психику второй, а жертва условно соглашается помочь агрессору. Практически как в старомодных фильмах о вампирах.

И все-таки есть нечто пикантное в том, чтобы заниматься любовью с женщиной, столь откровенной в своих выпадах. Однако вот что любопытно (ощущение, что находится всего в шаге от моей способности его описать,– и разве такие не самые интересные?): несмотря на то, что она заняла роль вампира, а я пока что — ее добровольной жертвы, я убежден, что из нас двоих это она ранима, что это она, несмотря на все свои умения, *моя* предначертанная жертва. Таковы парадигмы любви.

Парадигмы *чего-чего*, Оливер?

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ 2084 ГОДА

Перечитав вышеописанное, чувствую странное отсутствие текстуры — верно же? Я рисую здесь столь *неосязаемый* мир. Пузырек, плывущий в бездне. Нет, не совсем так.

Я словно зародыш в банке — свернувшийся, скукоженный, несформировавшийся гомункул, один из ряда на длинной полке. Соседнюю склянку занимает Аспера, и мы долгими часами перестукиваемся через стекло.

Мы персонажи в романе, который пишет во сне Слейд.

СРЕДА, 8 АВГУСТА 2084 ГОДА

Минул месяц, а я как будто закрыл дневник только вчера. Я так и не приступил к роману, если только не засчитывать то, что я старательно подслушиваю и записываю самое понравившееся в другом блокноте. Пренебрегал я и своими жреческими обязанностями, поскольку Хатум уже знает их не хуже меня и, по его словам, получает от них удовольствие. Я убивал часы и часы на то, чтобы прочитать «Повесть о Гэндзи» на японском — безнадежное дело. И на воспоминания…

Позвольте шутки ради привести послание самому себе на небольшом клочке бумаги, который отыскался в кармане моей рубашки: «Следует научиться выдерживать небрежный тон, даже рискуя показаться банальным. Моим ориентиром будет мой отец, который был — и, собственно, остается — бизнесменом».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТА 2084 ГОДА

Гэндзи и три его друга смотрели танец под названием «Трели весеннего соловья», после чего читали друг другу соответствующие стихи о соловьях, сопровождавшиеся целыми страницами сносок. И вдруг книга показалась невыносимо пустой. По мне прокатились волны адреналина, и лишь одна страшная мысль стучалась у меня в голове: «Весна! Господи боже, теперь я еще ве-

ками не увижу весну. А то и никогда — никогда!» Я вырвался из каюты без маски. Я должен был что-то *сделать. Я должен был выйти.*

Но это было невозможно, и я отправился в спортзал, необычно многолюдный. (Как часто наши самые сокровенные чувства оказываются частью эпидемии!) Там я состязался в беге с препятствиями (и проиграл), боролся (и проиграл). От избыточного адреналина, что во мне вызвала паника, я избавился. Но возвращаться обратно к Мурасаки все еще не улыбалось, и я взглянул на доску объявлений в поисках альтернатив. Выбор стоял между репетицией Беззвучного Танца (намек на Гэндзи!) и сеансом нашего собственного медиума — мадам Сен-Жорж. Аспера (видевшая ее в Лондоне) говорит, что она замечательная артистка, но мест уже не осталось.

Хоть я горжусь католицизмом своих вкусов, Беззвучный Танец никогда меня не прельщал. Я всегда сижу и воображаю под него музыку. Дурновкусие, однако ничего не могу с собой поделать. А еще обнаженное тело вызывает у меня мысли, далекие от Высокого Искусства. (Однажды я признался в этом Аспере, и она возмутилась. Считает меня ужасным ханжой.)

Сегодняшнее выступление было пиршеством

для глаз, и мое обращение завершилось. Больше никогда не смогу смотреть балет. На сцене, по сути, была всего одна танцовщица (остальные тела — лишь реквизит для ее внушительного образа)– но зато богиня. Шейла Дюпон. Кажется едва ли не преступлением, что такая артистка заточена на «Экстраверте».

Как она лучилась юностью! Как возвеличивала ее! Какого размера должна быть сноска, чтобы описать все смыслы, заключенные в одном мановении ее кисти. Все-таки я вдохнул сегодня весенний воздух.

Аспера тоже присутствовала, в незнакомой мне маске. Хотя в зале было не больше двадцати человек и хоть я пришел без маски, сомневаюсь, что она меня заметила. Она тоже попала под чары того дитяти.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АВГУСТА 2084 ГОДА

Постыдное столкновение с Асперой. Отчасти постыдное оттого, что она напала так откровенно, отчасти оттого, что поймала меня на небольшой лжи.

Я поддразнивал ее из-за ортодоксальности и ненаучности методов. Приняв подначивания близко к сердцу, она предложила выступить добровольцем для демонстрации.

— Что угодно, — пообещал я.

— Тогда я заявляю, что ты видишь во мне — и видел с первой же встречи — свою мать. И я это докажу.

Я пожал плечами.

— Ну конечно. Сходство неоспоримо. Наверняка я и в капитане Грее вижу своего отца. Они одного возраста.

— Так просто ты не отделаешься. Я не говорю загадками. Есть очень конкретное совпадение, то, что сразу же привлекло твое внимание. Именно это и ничто иное и есть причина, почему ты за мной ухлестывал.

— Говоря откровенно, Аспера, сначала меня привлекла твоя маска. А моя мать умерла задолго до того, как они вошли в моду.

— Расскажи о ней. Знаешь, за все время нашего знакомства ты едва упоминал о матери. Это само по себе говорит о многом.

— В таком случае, что бы не говорило о многом?

— Ты сопротивляешься, как вся Ирландия.

— Вот как? Ну, хорошо, тогда о какой матери рассказать? У меня их две.

— Какая жуть. — Аспера в ожидании устроилась поудобнее на подушке, как мудрая голодная

кошка. — Братья, сестры?

— Сводный брат. Он был смертным.

— Ну, продолжай. Рассказывай, и закончим с этим.

— Моя *первая* мать погибла в аварии, когда мне было пять лет. Это, выходит, 1997 год, задолго до того, как кто-либо заподозрил, что учинила Чума, и подобные происшествия стали нормой. Отчетливых воспоминаний о ней нет. Подозреваю, большинство так называемых «воспоминаний» не более чем истории, которые отец рассказывал мне позже. Он всегда был одержим прошлым. Но одно, я уверен, все-таки мое: она водила меня в музей. Высокие потолки. Мраморные лестницы. И помню, как она поднимала меня на руках посмотреть на египетскую статую, и я испугался. Она была очень красивой. Отец говорил, это единственная причина, почему он на ней женился. Безрассудная свадьба. Они оба были молоды, а отец, как говорится, находился в нужде.

— Ах да. Знаменитая поговорка.

— Но я не помню ее лица — ее *живого* лица; только фотографии. Совсем не похожа на тебя. Глаза голубые, как у меня, волосы каштановые с рыжими прядями. Помню похороны. Шел дождь. Эмма ездила с нами на кладбище. Мы шли по

слякоти, и ветер сдул венок с надгробия, и мне пришлось его догонять. Нас было всего трое. Я и папа, и Эмма. И, конечно, мама.

— Эмма стала его второй женой?

— Да. Они поженились через два месяца после смерти матери. Панихида, сама понимаешь. Во второй раз папа уже был благоразумнее. Отец Эммы был президентом и председателем совета страховой компании «Фридом Мучуал», где он работал. После десяти лет брака папа стал вице-президентом. Эмма была на год старше папы — двадцать семь, одинока, дважды брошена у алтаря. Она уже занервничала. У папы был с ней роман около года до аварии, хотя в то время я ничего об этом не знал. А может, отчасти знал. Так или иначе, я ненавидел Эмму всей душой.

— Так в 1997-м ей было двадцать семь?

— Да, смертная. После Берклиевского Слуха она одна из первых покончила с собой. Последние десять лет наверняка были для нее адом. Она видела, как стареет, толстеет, иссыхает — а папа остается таким же молодым, как в день их свадьбы. За последние пару лет она наверняка тратила пятьдесят долларов в неделю на продукты для ухода. И под конец просто сломалась. Все время истерила. И я рассказывал о ее портрете

отца. Замолвлю слово за смертность: никто из нас не смог бы написать такую картину.

— Вздор! Конечно, могли бы. Какие у тебя нелепые представления о том, что такое искусство. Так как она выглядела, твоя мачеха?

— А вот это странно… — Я помолчал, но уже видел, для чего раскрылся. — Первое, что мне пришло в голову, — это как Эмма спит в кровати… в маске на глазах. Маска, видишь!

— Элементарно, мой дорогой Ватсон. Но ответь мне вот что: у нее были карие глаза, похожие на мои?

— Собственно, очень похожие на твои. А, так *вот* в чем дело.

Воспоминание о безглазой косметической маске было способом избежать истинного сходства: ее глаз — их глаз.

— Спорим, что тебе было двенадцать-тринадцать, когда ты ее так увидел? И что ты, как юный Ипполит, возбудился? Возможно, впервые?

— Ах, а ты умна, Аспера.

— Не умна. Просто, как ты жаловался, ортодоксальна.

— А это намного проще, чем думать, да?

— Мм. Но ты признаешь, что я была права?

— При условии, что ты напомнила мне мачеху,

а не мать, — да.

— Как же ты сопротивляешься, Оливер. Разве ты не понимаешь сути *маски?* Почему ты счел меня такой привлекательной вначале?

— Ну, я ведь уже выдал — косметическая маска…

— А к чему тебя подняла мать в том музее?

— К египетской статуе.

— К мумии. И спустя мгновения сам назвал ее похоже — мама, мумия. Потом еще описал ее похороны во всех некрофилических подробностях. Твоя покойная мама! И косметическая маска, безглазая, черная, с двоякой целью: объединить образы двух разных женщин в один и выразить, что именно произвело на тебя впечатление в них обеих: их смерть, которая их тоже объединяет.

— Потрясающе.

Она чмокнула меня в нос.

— Ну что, я выиграла или выиграла?

— И то и другое.

— И еще одно, Оливер: как ее звали?

Я покраснел.

— Кого? — спросил я, стараясь потянуть, зная, что она меня подловила.

— Твою *маму*, дурачок!

Выкрутиться было невозможно. Но какого чер-

та ей пришло в голову спросить именно об этом?

— Хоуп, — смущенно ответил я.

Аспера рассмеялась. Да, у нее был повод для смеха, но она с этим затянула дольше необходимого.

— Хоуп! — злорадствовала она. — Хоуп! Хоуп!

ВТОРНИК, 28 АВГУСТА 2084 ГОДА

Аспера признается, что лишь расставила западню. Она узнала, как зовут мою мать, в библиотеке на следующей день после нашего знакомства. Она плела паутину все это время.

Чтобы компенсировать пролитую вчера кровь, она обещала смастерить маску для меня. Она будет из серебра, в пандан ее собственной — чтобы наказание соответствовало преступлению.

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА 2084

Досада не проходит бесследно. Сегодня на ветру моих обычных подслушиваний по интеркому принесло беседу Халида Хатума с кем-то еще (голос был знакомым, но опознать я его не смог) обо мне. Они находились на фабрике синтеза, где блеянье или свист резервуаров порой заглушали фразу-другую — впрочем, лишь пандемониум позволил бы мне унести ноги невредимым.

Неизвестный. Ах, сентиментальность! Она-то простительна. Это более-менее изящный цвет. Но

вот как он мешает свои краски — или не мешает, — это гибельно.

Хатум. Все гораздо проще. Этот человек — дурак.

Неизвестный. Ты говорил, что восхищался людьми и много глупее Ригана.

Хатум. Я не о его врожденном невежестве. В его возрасте — а ему за девяносто,– важно то, чего человек *добился*. Риган окаменел. Стал безделицей, осколком севра, незрелым и полным дешевых фантазий. Поговори с ним как-нибудь об искусстве. Он живет в двадцатом веке. До Войны. Он…

ШУМ.

Неизвестный. Многословный, конечно, но не…

ШУМ.

Хатум. …представление об искусстве, как у филателиста. Он ценит остатки, «произведения», «работы» — мелкие экскременты, выстроенные рядами за стеклом. Он восхищается искусством, потому что верит, будто оно *долговечно*. Это подход смертного.

Неизвестный (*со смехом*). На самом деле любит он библиотечную картотеку. Даже не сами экскременты, а их классификацию. Но отчего это тебя так огорчает?

Хатум. Глупость всегда огорчает, когда она

строит из себя невесть что.

Неизвестный. Все мы что-то из себя строим; слишком много о себе думаем. К тому же нужны и тупоголовые. Должен же быть тот, для кого подобное…

ШУМ.

…значение. Миру всегда будут нужны фермеры, а фермеры всегда будут казаться смертнее остальных из нас. Это звание тоже можно носить с честью.

Хатум. Фермеры мне нравятся. Презираю я диванных художников.

До конца дня я вел воображаемый спор с Хатумом. Вечно этот мерзавец щелкает мне по носу. Одно небольшое утешение — он не знает о своих победах.

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ 2084 ГОДА

Сегодня я по случайности узнал, что у Асперы есть второй «пациент» — и что это не кто иная, как юная богиня мисс Дюпон. Я настоял, чтобы Аспера нас познакомила. Она согласилась, но смогла скрыть нежелание не лучше, чем нарезанный лук. Я сделал вид, что не заметил.

Уже через четверть часа она заговорила о моем отце. Совершенно безответственный, сказала она. Слабый человек. Отчего же? — справился я. Да

оттого, что бросил мою мать ради Эммы, а Эмму — ради Вероники. Все мужчины таковы, ответил я: мужчины ветрены. Она хотела прибавить больше, но увидела, что уже сказала слишком много.

Заволновалась, Аспера?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ 2084 ГОДА

Аспера отважно свела нас вместе. Как и многие известные мне артисты, Шейла поначалу показалась в простом личном общении неказистой. Чай заваривала неумело, и Аспера ненавязчиво поправляла ее ошибки. Похоже, она искренне переживала за впечатление, что оставит ее протеже. Но Шейла отвечала благодарностью. Что там, в своем дочернем поведении она была истая Корделия — вплоть до того, что называла Асперу Маленькой Мамой, не без подковырки.

И все-таки как мало Шейла нуждалась в чьей бы то ни было поддержке! Ее красота не так легка и отрепетирована, как у Асперы. Ее тело тоньше, лицо угловатее, чем допускает простой вкус. Грация ее идиоритмична. Но все это не имеет значения, ведь она богиня. Она полная луна, тогда как Аспера — полумесяц. Особенно притягательны ее глаза: узкие и голубые, так и играют жизнью: юркие, поблескивающие и — парадоксально — плоские. Это два начищенных до

зеркального блеска щита, поднятых перед ней в знак одновременно и застенчивости, и предостережения. Волосы окрашены в иссиня-серый с металлическим отливом, что лишь сильнее выделяет холодный взгляд. Она напоминает мне Веронику — Веронику перед тем, как она состарилась. Да, чрезвычайно привлекательна. И юна, столь юна!

Хотел бы я получать то же удовольствие и от нашей беседы. Пример:

— Аспера рассказывает, мистер Риган, что вы знаете о мышах все.

— Я около сорока лет рассматривал их мельчайшие частички под микроскопом. Не то чтобы мимолетное увлечение.

— О, по-моему, это гадость, — произнесла она, наигранно передернувшись. — Мыши ужасные. Маленькие, ползучие — фу!

— Боюсь, моя чувствительность уже притуплена.

— А они есть у вас с собой — на корабле?

— Мы держим несколько в лаборатории, а также есть большой запас яйцеклеток во внешних холодильных хранилищах.

— Там, где находятся и мои? — спросила она с распахнутыми глазами.

— Да. Но, уверен, перепутать их невозможно, если вас это беспокоит.

Здесь, как и на Земле, женские яйцеклетки держат на льду. Еще никто не придумал лучше средства для проблемы, возникающей у бессмертных женщин с ограниченным числом яйцеклеток, и без этой довольно примитивной меры менопауза была бы неизбежна.

— Но *подумать* только, если бы все-таки перепутали! И если бы у меня родилась маленькая мышка! Или ребенок был бы наполовину человеком и наполовину мышью, как минотавр? Тогда бы я пустила его бегать по лабиринту. Там дело в хромосомах, да? И в генах. Аспера говорит, вы знаете каждый ген мыши. Должно быть, вы очень смелый. Но что вам осталось теперь, когда вы знаете все?

— Теперь, зная все, я создам бессмертную мышь.

— О, я бы на вашем месте этого не делала, пока не изучат контроль рождаемости. Вы же знаете, какие неприятности были у *нас* — даже с бесплатными противозачаточными для всех, — пока не открыли Морозильни.

— Это не насущная угроза. К сожалению, мы еще далеки от наших целей.

— «К сожалению»? Значит, вы правда настолько себя с ними отождествляете?

— Я говорю «к сожалению» потому, что, знай мы, как сделать мышь бессмертной, мы бы гораздо ближе подошли к пониманию причин и собственной мутации. И тогда смогли бы сделать бессмертными и смертных на Земле. Впрочем, знает Бог, даже если я что-то открою, не представляю, какой от этого прок в такой дали от Земли.

— Поэтому вы работали с мышами сорок лет и поэтому продолжаете работать теперь?

— Да. Правда, строго говоря, сейчас я не работаю. Я, так сказать, в отпуске.

— О, так нельзя! Если есть талант, его нужно применять, а не зарывать. Я, конечно, всего лишь танцовщица, но я *никогда* не зарою свой талант.

Я не понял, было ли это очередным лицемерием или она правда так молода, что верила в свои слова.

— А можно зайти к вам в лабораторию и посмотреть на мышей?

— Когда угодно.

— А *потрогать?*

— Да. На ваш страх и риск.

Она захлопала в ладоши.

— О, Маленькая Мама, скажи, что разрешишь

потрогать мышь мистера Ригана!

Асперу заметно раздражала ее ребячливость — почти пародия на ее отношения с Шейлой. Но Маленькая Мать, хоть и побледнела, не могла отказать.

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ 2084 ГОДА

Сегодня Аспера принесла мою маску. Она великолепна, и меня переполняет благодарность.

Потом мы говорили о Шейле. Я раскритиковал легкомысленность девушки строже, чем считал нужным или чем заслуживала Шейла. Аспера согласилась — слишком поспешно, — но настаивала, что и у нее есть достоинства, путь даже незаметные мне. Я ответил, что очень в этом сомневаюсь.

— О, я тебя уверяю, — возразила Аспера.

— Значит, ты очень хорошо ее знаешь?

— Все-таки мы *очень* сблизились в ходе психоанализа. Процесс переноса — щекотливое дело в таком случае.

— Могу себе представить. — Я не стал уточнять, какие диагностические инструменты она применяла в своем щекотливом деле. Все было понятно и так.

— Ты же *оставишь* ее в покое, да, Оливер?

Я дал слово. Она поцеловала меня в щеку.

— Ты душка, и я тебя очень люблю. — И, несмотря на улыбку, с которой она хотела сгладить такие сильные слова, я думаю, это была правда. Тем печальнее.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ 2084 ГОДА

…И полночную тишь потревожить не смеет даже юркая мышь[192].

Два месяца! Больше. А что поделывал Звездный Мыш? Шпионил за микрокосмом, обессмерчивал своих собратьев-мышей. До сих пор без заметного успеха.

Хорошо, лучше всего на свете снова взяться за работу, ощутить знакомый укус этого жучка — любопытства. В лабораторию регулярно заглядывает Шейла, чтобы поахать над аномальными мышами, рожденными в моих экспериментах, но до сих пор я держал свое слово, данное Аспере. Мои разговоры с Шейлой ограничивались лекциями в моей области. Она потрясающе несведуща в науке, но схватывает на лету — и даже стремится к этому.

На некоторых уроках присутствовал Хатум, попавший под те же чары. Шейла этого то ли не

[192] Примечания: 192

Клемент Кларк Мур, «Визит святого Николая» (1823), *пер.* О. Литвиновой. Популярное рождественское стихотворение.

замечает, то ли отказывается замечать. Она не сводит глаз с меня — и я злорадно мучаю Хатума зрелищем своего притворного равнодушия. И где теперь твое зубоскальство?

НОВЫЙ ГОД, 2085 ГОД

Мы вышли на конечную скорость и теперь просто мчимся, пока не придется притормозить для нашей первой остановки — тау Центавра, в нескольких десятках лет от нас. Есть, конечно, звезды и ближе, и даже звезды с планетами, но наш маршрут проложен с мыслью сделать остановки как можно равномернее. В следующие полтора века мы минуем двадцать шесть солнц с планетами, пока мы не найдем что-то получше, нежели может предложить наша собственная бесплодная Солнечная система. С такими перспективами Новый год не вызывает особого ликования.

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ 2085 ГОДА

Вопреки всем ожиданиям произошел несчастный случай — Джин Шоу, одна из навигаторов и концертмейстер нашего оркестра. Во время учений на спасательной капсуле ее шлем неплотно закрепился. Смерть наступила мгновенно. Услышав вести, я поспешил к Слейду, зная, что в

прошлом он был в нее влюблен. Он не выказал никаких чувств, хотя в его случае уже само желание говорить о чем угодно, лишь бы не о его снах или моем чтении, эквивалентно истерике.

Его самого озадачило отсутствие реакции, и я рассказал о других своих знакомых, которые принимали новости о смерти друзей с тем же спокойствием. Я выдвинул теорию, что классическое выражение скорби возможно только у тех, кто долго и тесно жил с мыслью о смерти и ее власти. А если она становится в диковинку, смысл ее непостижим.

Слейд, как я узнал, — историк, очередная странная специальность на борту «Экстраверта». Редкое общество настолько безусловно оторвано от своих предшественников, как наше. Слейд заявляет, его интересует именно это — факт нашего существования, так сказать, без истории, без какого угодно прошлого, кроме нашего собственного. Он считает, что в дальнейшем пути это станет самой заметной частью нашей жизни.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ЯНВАРЯ 2085 ГОДА

Несмотря на всю силу гомеостаза, перемены происходят — и порой безвозвратно.

Несчастная Аспера. Когда настигает удар, мягким он не бывает, верно?

Вот как все случилось:

Я вошел в ее каюту без стука, зная, что ее потешит нарочитая и непривычная грубость. Она развернула с потолка зеркало и прихорашивалась перед ним в серебряной маске и церемониальном балахоне. Когда я открыл дверь, она вздрогнула, словно на миг меня не узнавая. Я был в маске — но должна же она была узнать *эту* маску.

— Аспера, моя родная, — произнес я, не снимая маски. — Я тебя напугал?

Она понурилась, не глядя мне в глаза, и тогда я понял наверняка (как заподозрил при первом же ее движении), что за маской скрывается не лицо Асперы.

— Прости, что вновь возвращаюсь к этой теме, дорогая, но ты должна отказаться от нее, правда. Если не ради меня, то ради себя; если не ради себя, то ради дитяти. Да, это правда, она прелестна. Я вполне понимаю твою страсть. Можно даже сказать, я ее отстраненно, безмолвно разделяю. Но ее нужно отпустить. Я не говорю уж о скандале — он не имеет к этому большого касательства. Хотя и среди нас могут найтись люди, самые косные, которые сочтут довольно непрофессиональным такое твое нарушение детского доверия. Пойдут пересуды — несправедливые, конечно же,– что,

возможно, неспроста славу тебе принесла работа с детьми… Конечно, Шейла дитя лишь *сравнительно* — сравнительно с нами. Но не будем о скандале. Я говорю о девушке. Поддаваясь своим материнским чувствам, ты забываешь…

Маска чуть приподнялась, выдавая проблеск голубых глаз. Я продолжал свой фарс как ни в чем не бывало.

— …Когда ты позволяешь себе играть в Пигмалиона, ты забываешь, как она молода, как восприимчива. Это же очевидно, Аспера, она никогда не оставит тебя добровольно — даже если захочет, ни за что не найдет в себе сил, — и потому я хочу, чтобы ты обещала, Аспера… Аспера, посмотри мне в глаза.

Вновь маска приподнялась, и за серебряным ликом меня отважно встретили два поблескивающих щита.

— Ты должна мне пообещать, что больше не станешь с ней видеться.

— Неужели?

Она, разумеется, знала, что Аспера ответила бы на эту кашу из шантажа и двусмысленных намеков лишь возмущением. Она распознала мой обман, наслаждалась им, поддержала эту любительскую театральщину.

— Тогда я обещаю, — ответила она и обвила руками мою шею, притянув к себе, пока наши серебряные губы не встретились в страстном поцелуе.

Для полноты ощущений мы увенчали свое предательство в постели Асперы. Исчерпав первый позыв к страсти, Шейла стала прежней игривой собой.

— Расскажи еще о генетике, — умоляла она. — Расскажи о хромосомах и всем таком прочем.

— Я рассказал тебе все, что знал, — лениво пожаловался я.

— Расскажи, почему у тебя голубые глаза.

— Потому что они были голубыми у моей матери.

— А почему ты сделал одну мышку с усиками вместо глаз?

— По случайности. Я во многом действую методом проб и ошибок. Нам известно, за что отвечает каждый ген, известно их расположение. Но почти ничего не известно о том, что внутри них. Несмотря на труды молекулярных биологов, мы, так сказать, все еще остаемся в доатомной эпохе. Мы можем устранять гены, тасовать, но так и не изучили морфологию живого гена.

— Бедная Мышка! А Чума — тоже случайность?

Я стала бессмертной только случайно? Как было бы печально.

— Дорогая моя, все мы — случайности. Что касается Чумы — кто знает? Она появилась, пронеслась по человечеству и пропала раньше, чем можно было выделить и опознать причину. Должно быть, отмерла, исчерпав всех хозяев. Большинство экспертов предпочитает теорию, что это была случайность — мутировавший вирус. В долгосрочной перспективе мутация оказалась нежизнеспособной, поскольку дала потомству хозяев бессмертие (и, предположительно, иммунитет), лишив себя возможности к дальнейшему размножению.

— Но ведь смертные еще остались. Как же Ирландия, Мадагаскар, Тайвань? В шестнадцать я была влюблена в одного ирландца. Ему было тридцать, он только *начал* стареть. Тогда я не могла представить себе никого красивее. Почему маленький вирус не коснулся его?

— Живущие ныне смертные произошли от детей, которые во время Чумы находились в утробе. Их матери заразились, но смогли их родить, не передав генетические изменения. Ко времени, когда они родились, Чума уже прошла. Ты же знаешь, она продлилась всего два месяца. Уж

это-то тебе известно?

— О да. По-моему, наука — это ужасно интересно. Я сочиню танец о генетике и Чуме. Самое замечательное в науке то, какая она логичная. У тебя, случаем, нигде нет родинки?

— Нет.

Она вздохнула.

— У Асперы была родинка на левой щеке.

Она намеренно выразилась в прошедшем времени? Вот что чарует в Шейле — я никогда не смогу найти окончательный ответ на такие вопросы.

Вернувшись в свою каюту, Аспера мгновенно заметила ущерб, причиненный двум маскам.

— Моя дорогая Шейла, — произнесла она с ядовитой приторностью, — позволь подарить тебе эту маску.

— Благодарю, Маленькая Мама. Ты знаешь, я всегда ею восхищалась. Могу даже признаться, что тебе завидовала.

— Оливер тоже ею восхищен. Для Оливера это символ не только его матери, но и смерти. А Оливер обожает матерей и смерть.

— Ах, но, Аспера, — напомнил я расслабленно, — …смерть — это лишь символ.

— Да, — ответила она с улыбкой (ведь я вновь

угодил в ее западню). — Нашей жизни здесь.

ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ 2085 ГОДА

Я приступил к роману. Аспера предложила название, и в нем будем все мы.

Послесловие

Год назад, когда Харлан попросил послесловие, я написал нечто под названием «Почему я бросил писать фантастику» или что-то в этом роде. Текст вышел таким ужасным, что это заметил даже я — и послал Харлану только письмо с объяснением, что послесловие-то я написал, но и т. д. Пообещал взамен другое.

То первое предисловие оказалось не только ужасным, но и ошибочным. С тех пор я попи-сывал фантастику, понемногу. Однако суть не изменилась — я не могу зарабатывать на НФ по нынешним стандартным ставкам за рассказы и романы. В последнее время я пишу очень мед-ленно.

Но это только половина правды — и это причи-на, почему послесловие такое плохое.

А полная правда в том, что мне уже не хватает духа на стандартные рассказы и романы, за ко-торые платят стандартную ставку. Думаю, здесь мой самый убедительный и искренний аргумент — просто сам список названий всех рассказов в жанре НФ или фэнтези, которые я уже не собира-юсь писать. Это список трехлетней давности, и

даже тогда я понимал, что кое-что из списка не напишу никогда, хотя, уверен, что угодно из этого приняли бы в том или ином жанровом журнале.

Список:

Антология «Чужие»
Волшебный квадрат
Время убийцы
Выходные по средам
Гамадриады
Грабенштейн
День рождения сироты
День, когда кривая переломилась
Диета червей
Донор разума
Другая дверь на Датч-стрит
Душа Уолта Литтла
Задача слуги (или Роковая страсть Ланселота Крамера)
Иосиф и императрица
Исследование деятельности моего организма
История о привидениях
Ковбои
Космо в двигателях любви
Маленькая семья
Народоед

Неохотный шпион
Общая теория электромагнитных приливных волн и вулканов
Отсюда не выбраться (или Перепутье)
Первая Джун Блай
Покер на раздевание
Приблизительно Джо
Радушный прием
Сатир
Слабак весом 300 фунтов
Соблазн губернатора
Сострадатель
Список викария
Среди реднеков: полевой отчет
Тарантисты
Трехмачтовый космический корабль
Три простых притчи
Ужас и Лестер Макьюн
Хорошие неудачники
Шар
Экзорцист вопреки себе
Эксперимент «Голдуотер»

Предисловие «С пацанами космокрылых бомберов на доброй старой Новой Алабаме»



Готовя «Опасные видения», я предсказал, что любопытный эксперимент «Наездники» Филипа Хосе Фармера соберет в свой год все премии за лучшую повесть. Я оказался прав, так и вышло, хотя от меня особой прозорливости и не требовалось. Рассказ так возмутительно выбивался из ряда, был таким скандальным, что из всех в книге о нем неизбежно говорили больше всего.

А теперь я предсказываю, что «Бомбер-пацаны» Ричарда Лупоффа соберут все главные награды в *следующем* году. И снова я себе подыгрываю. Рассказ распалит и разъярит традиционалистов;

поразит и устрашит писателей постарше и пореспектабельнее; озадачит и впечатлит критиков; станет темой для статей в фэнзинах, писательских обсуждениях и панелей на конвенциях; из-за него будут повышать голоса, побежит по крови адреналин, завоют редакторы, поспешат к своим пишмашинкам подражатели. Он устроит чертов фурор.

Друзья, таких вещей не было *никогда* — ни в НФ, ни вне ее.

Логично ожидать открытия, когда собираешь такое франкенштейновское творение, как «НОВ». Они попадались в «ОВ», ожидал я их и в этот раз. Это получилось у Типтри, и у Энтони, и ничуть не хуже у Вильгельм, Воннегута, Нельсона, Бернот и Парры. Но *ничего* подобного Дику Лупоффу. Он уверенно берет золото в категории «Хуцпа за всеми пределами наглости».

«Бомбер-пацаны…» ставят такую непростую задачку перед переводчиками этой антологии, что я ее считаю практически неразрешимой. Рассказ попирает все правила повествования, которые еще уцелели после повести Фармера. Это настолько дерзкий и экстравагантный рассказ, что он стал одной из трех-четырех причин для выпуска этой книги. Вот честно, если бы для

«НОВ» больше не написали ничего, кроме этого, книгу все равно бы стоило прочитать.

Как и следует ожидать, рассказ рождался непросто. Непростым было и его развитие от первого присланного варианта до итоговой публикации в 36 тысяч слов. Я расскажу кое-что из предыстории. Как я понимаю, это уже стало темой для обсуждения в НФ-андеграунде.

В 1968-м я начал рассылать просьбы о рассказах, и Дик Лупофф спросил насчет своего — по его словам, начатого, но брошенного из-за реакции не только редакторов, но и его собственного агента. Я написал и попросил прислать рассказ, чтобы на него взглянуть. Когда тот пришел, я изумился, что другие не разглядели в нем чудес, которые я уже мог себе представить на ненаписанных страницах. Я отписал Дику длиннющее письмо, в котором рассуждал о том, что еще хотелось бы увидеть, и предложил расширить задумку и сделать текст в три раза длиннее. Похоже, он остался доволен, и через несколько месяцев мне пришел рассказ в финальном, по мнению Ричарда, виде. В нем еще оставались области, которые я хотел бы расширить,– места, где читались только намеки на целые главы. Мы с Диком созвонились, и он был только рад возможности поработать

над текстом еще. Мы оба понимали: у нас на руках один из тех редких рассказов, которые нам нравятся настолько… что не хочется, чтобы они заканчивались. И Дик расширил его опять. Это самая большая «редактура», которой я занимался с авторами этой книги. Как вспомнят читавшие «ОВ», среди прочего я обещаю участникам: все, что они написали, не будет никак меняться ради выдуманных правил, которые я, как редактор, могу принять за «потребности аудитории». Каждый рассказ в этой книге (и в «ОВ», лишь за одним малым редакторским исключением) выходит в присланном виде, включая даже разницу написания (например, color по-американски и colour по-британски), чем приводит в исступление наборщиков и корректоров *Doubleday*.

Наконец все было готово, и Дик даже согласился на отсрочку аванса. На тот момент денег уже не хватало.

Ричард прислал копирку «СПКБНДСНА» агенту — тому самому господину, что в начале с классической проницательностью и предложил отправить всю задумку на помойку. Агент обалдел — а это настоящее чудо, если знать того агента, — и тут же предложил текст одной из лучших редакторов на рынке мягких обложек.

Редактор прочитала его… и случилось второе обалдение. И тогда они предложили Дику кучу денег.

Здесь важно понимать (на случай, если я не упомянул об этом в других предисловиях… к этому времени работы маразм крепчает, и я могу повторяться), что все рассказы в этой книге — новые. Ни один не появлялся ни в каком другом виде ни в каком другом месте. Это одно из главных преимуществ «НОВ» на рынке. Чтобы прочитать *эти* рассказы, придется купить *эту* книгу. После издания в мягкой обложке — согласно договору, это случится через несколько лет,– все права отойдут обратно писателям, чтобы дальше они уже продавали их кому пожелают; но сейчас каждый автор защищает шанс каждого автора заработать на книге благодаря ее эксклюзивности. Так Воннегут помогает продаваться Кену Маккалоу, Джеймс Блиш помогает продаваться Джоан Бернотт, а Бернард Вулф помогает продаваться Ричарду Лупоффу. В «ОВ» Тед Старджон отказался от богатств *Playboy*, потому что понимал: публикация его первого за много лет рассказа на страницах «ОВ» поможет творчеству молодых и неизвестных писателей. Это гештальт, это своего рода общинный проект. Вот почему

я такой упрямый засранец и не даю выпустить ничего до публикации сборников.

Дик уважал эту идею и позвонил сообщить, что был бы благодарен, если бы я позволил издательству расширить текст до романа. Но прибавил, что признателен за мою веру в повесть и подчинится моему решению. Тяжело было мешать сделке Дика, но я предположил, что появление в «НОВ» только *повысит* интерес к роману о «СПКБНДСНА», который будет в два-три раза длиннее повести. Он согласился и передал это агенту, а тот — редактору.

И начались звонки от редактора.

Я, конечно, раздувался от гордости. Теперь и другие думали, что у нас на руках что-то из ряда вон. Но мне пришлось проявить твердость.

Наконец в издательстве сказали, что готовы подождать и вернуться к проекту после выхода «НОВ».

Что было бы замечательно, вот только на публикацию книги ушли лишние годы, а Дика все это время постоянно забрасывали заоблачными предложениями забрать рассказ из «НОВ». К его чести, он отказывал, хоть и нуждался в деньгах и еще не увидел от меня ни гроша. (Но ныл при этом неимоверно, и лично, и на людях, за что не

могу его упрекнуть, хотя из-за этого все меньше и меньше чувствовал себя говнюком. И все-таки, избавившись от всего чувства вины — а это не так-то просто порядочному еврейскому мальчику, имеющему право на две тысячи лет кветча[193] задним числом благодаря хорошему еврейскому воспитанию и доброй еврейской матушке, — привет, Серита, как дела в Майами-Бич? — я научился с этим жить. Мне было достаточно только вспомнить те первые страницы рукописи.)

А еще о благородстве Ричарда говорит то, что несколько месяцев назад — еще до публикации «НОВ» — срок нашего договора истек и права автоматически вернулись к нему. Пожелай он, мог бы и аванс получить, и текст продать, кому захочет, а я бы и пикнуть не посмел. И не посмел бы даже *заставит*ь себя пикнуть — в конце концов, я сам виноват, что так долго не мог довести текст до печати.

Но Лупофф — хороший парень, прекрасный писатель, и вот вам его повесть, как он ее задумывал.

Теперь заклинаю всех тех, кто сочтет ее такой же классной, как агент, я и редактор, написать

---

[193] Примечания: 193
Kvetch (*идиш*) — нытье, жалобы, ворчание.

своему местному издательству книг в мягких обложках и потребовать, чтобы «СПКБНДСНА» расширили и выпустили как роман. Это меньшее, чем мы можем отплатить Лупоффу за работу и за то, что он остался плечом к плечу с коллегами в ущерб себе.

А если хотите *еще* Лупоффа — таланта, что растет в важности с каждым годом,– позвольте порекомендовать «Священный локомотив летит» (*Sacred Locomotive Flies, Beagle Books*, 1971); «Миллион столетий» (*One Million Centuries, Lancer*, 1967)– гигантский роман на 352 страницы; «Эдгар Райс Берроуз: мастер приключений» (*Edgar Rice Burroughs: Master of Adventure, Canaveral, 1965 / Ace*, отредактированное издание, 1968); в качестве соредактора с Доном Томпсоном — «Все цветное за десять центов» (*All in Color for a Dime, Arlington House*, 1970), чудесный сборник ностальгических статей и эссе о комиксах сороковых. А если вам так хочется лупофикций, что не можете дождаться «СПКБНДСНА» в виде романа, потребуйте у местного издателя закупить и выпустить дикую и причудливую рукопись «Тинтвисл на Луне» (*Thintwhistle on the Moon*), закупленную *Dell* для издания в мягкой обложке (но отмененную, когда *Dell* по неведомым причинам сократили свою

НФ-серию и уволили одного из самых новаторских редакторов в истории нашей области).

Дик Лупофф — кому слава ударила в голову только в том смысле, что теперь он требует подписывать его произведения именем «Ричард Лупофф»,– сейчас проживает в Беркли с женой Патрицией и тремя детьми, а когда не фантастит, пишет рок-критику для таких разных рынков, как *Organ, Changes, Earth Magazine,* а (на момент написания) в следующем месяце начинает вести регулярную рок-колонку в *Ramparts*. (Как нам сообщают, в мрачный месяц февраль 1972 года в последнем из вышеупомянутых журналов у мистера Лупоффа выйдет исследование НФ-области. Не пропустите.)

И хоть больше не хочется вас задерживать перед чтением «СПКБНДСНА» дольше абсолютно необходимого, вот отчет Лупоффа о себе.

«Родился в Бруклине, 21 февраля 1935.

Впервые потрахался с какой-то безымянной шлюхой после баскетбольного матча в 18 лет; хотите — верьте, хотите — нет, но она приятный человек и я помню ее очень живо (наверное, всем знакомо?) и с теплом, и однажды наверняка вставлю в свой роман. („Опять меня использовал“, — сказала бы она, если б знала, но сказала

бы с улыбкой.)

Мы с Патрицией уже так давно вместе, что у нас есть трое детей (Кеннет, Кэтрин, Томас), и все мы живем в доме со старым спаниелем, придурковатой афганской борзой и целебной кошкой. Еще мы так давно вместе, что прошли множество перемен, но это все равно только начало.

Моей старшей школой был мужской военно-христианский интернат. Как результат, я страстно поддерживаю совместное, гражданское, секулярное образование. Еле пережив ужасы старшей школы, я поступил в колледж по основной специальности „журналистика“. И вот полнейший шок: в колледже мне *понравилось*, а некоторые курсы даже принесли пользу, больше всего символическая логика и другие философские курсы, хотя что касается писательства, то ему, как говорили многие до меня, научить невозможно. Чтобы учиться, надо писать, если есть желание — и если есть обязательный врожденный талант; а если их нет, тут уж никакая зубрежка пяти W[194] не сделает из вас писателя.

Так-с, что еще вам рассказать? А, два спокой-

[194] Примечания: 194

Имеется в виду правило журналистики, существующее как минимум с 1913 года. Пять вопросов: «Кто, что, когда, где, почему» (Who, What, When, Where, Why).

ных года после колледжа провел в армии, потом двенадцать (!)– в компьютерном бизнесе, после чего в 1970-м выбрал голодную смерть.

Люблю, уважаю или преклоняюсь: Танцовщица-Патриция, хорошая литература, честность, женщины, интеллект, дети, коты, Мендосино, овощи, собаки, города, Элис Смит, свобода, мужчины, дурацкие ужастики, кислота, блюз, жизнь.

Ненавижу: рабство.

Так. Дальше. Фантастику начал писать где-то в 1950-м и коллекционировал отказы от Бучера и Маккомаса, Горация Голда, Фреда Пола и *Planet Stories* (последний — даже без подписи). Через несколько лет вернулся в ряды НФ-профессионалов, ухватив заказ на редактуру полудюжины посмертных томов Эдгара Райса Берроуза, а потом написал о Берроузе книгу.

Между тем часто плакался о том, что не могу продать рассказы, и тогда Джеймс Блиш предложил написать сразу роман. Мне это показалось полным бредом, но засело в голове. Во время берроузовского периода я не писал: в основном только читал-читал-читал все, что попадалось под руку на данную тему и вышло раньше 1920-го. Обещал Тому Дишу однажды написать эссе о том опыте — „Как я прочитал 400 плохих книг

за один год“.

Но, вернувшись в современность, все-таки последовал совету Блиша и написал роман в очень консервативном, традиционном духе, довольно берроузовский. Мне отказал лучший на тот момент редактор фантастики в мягких обложках. Потому что главный герой был черный. (Или негр, как мы говаривали в давние славные времена.) К счастью, нашлись и другие редакторы, и роман купил Ларри Шоу, один из невоспетых редакторов НФ. Тот роман назывался „Миллион столетий“.

Где-то по ходу дела я немного наловчился писать продаваемые рассказы. Честер Андерсон приводит цитату Уильяма Тенна, назвавшего следующую формулу рассказа: „Происходит что-то одно“. Так я писал рассказы, в которых: четыре человека в баре ставят музыку на музыкальном автомате… человек сидит на кухне и ждет, когда к нему спустится жена… человек просыпается ночью и идет в туалет. Последний — мой любимчик. Двенадцать страниц мочи. У Сэма Московица случился бы припадок!

„Бомбер-пацаны“ задумывался вторым романом, но ни один редактор не хотел к нему прикасаться. Даже мой агент Генри Моррисон,

обычно человек добросердечный и услужливый, отказался и *пробовать* его продать. Так он год пролежал в спячке — три написанных главы и план окончания, — пока Харлан не объявил поиск рукописей для „Новых опасных видений“.

Наверное, этот рассказ — лучшее, что я писал до сих пор, но мне еще столь многому надо научиться, так далеко зайти… Надеюсь, однажды я стану хорошим писателем. Или хотя бы писателем. Сейчас я работаю над романом „Вверх!“. Он про парня, который оказался в подвале высотки и пытается выбраться наверх».

С пацанами космокрылых бомберов на доброй старой Новой Алабаме
Ричард Э. Лупофф



1.ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В ЛЕТОХАТЧИ[195]

Да уж не нраица как дует-лезет жаркий песок почаще моргай не шерохнись невзначай джентльмен не дрогнет ни при каких эцсамых зато моргай на здоровье да под конец кажется

---

[195] Примечания: 195

Летохатчи — город в Алабаме. Дальнейшие топонимы взяты в основном из Южных Штатов США, известных рабовладельческими традициями и глубоко укорененным расизмом.

бут задрыхся и слезные железы пересохли и напустили в уголки глаз жижу песочную сухую не сочную откуда ее б прочистила мигательная перепонка будь ты лягушкой (тутуш поздняк — ты не она). Он знал, ищо буэт время утереть оба два глаза по очереди и буэт больно (шурх-царап) но всего секунду и зато око-песочная дрянь выйдет, тада берешь ее подушечками указательного и большого пальца скатываешь в малюсенький шарик и че терь?

Кагбы, че делать с идеальным шаром (аж двумя) 1/32 дюйма в диаметре, состав песчано-сухо снаружи (пота уже нет) влажно внутри (слезы — да) 70 % — крупный красный нов-алабамский песок вдутый жарким ветром в глаза на параде, 30 % — слезы белого человека (да) (с содержанием соли) который слушает вы ток подумайте напутственную речь ёмаё!

Охуш эта речь! Блеск! Шик! Пойдем на любые жертвы, чтоб доказать свое отважное южанское мужество, защитим чистые белые дырки от нигр (видали хоть одного, чтоб по белой дырке слюни не пускал?) принесем войну врагу, поставим нигру на место заставим Нов-Гаити расплатиться за все зверства *и*

и

и нате песок в глаза. *Фух!*

А кто сказал что напутственная речь должна быть веселой? Традиция есть традиция. И Нов-Алабама сильна традициями добрыми южанскими традициями времен Стар-Земли пока ее не захватили шобих жидарабы; када Стар-Алабама была независимой сука стар-земной *нацией* с независимыми чортовыми *союзниками*: Стар-Мисс, Стар-Джаджа, Стар-Бурреспублика, *тогда-то* нигра знал свое место, свят-Георгием клянусь.

И вот он торчал навытяжку, хороший армеец рвался в космос на войну и в бой, добрая война за бога и планету и за детские головушки с сияющими золотыми кудрями (чтоб они росли в *мире* поняли вы? в *мире*) да кто сказал что ему — кому угодно — нужна ищо какая-то речь шоб загнать оборзевшую черную расу обратно на их вонючий Нов-Гаити шоб пападоки[196] знали свое место…

…кой-то толстопузый сенатор из Талладеги или ищо откудова? Тьфу! Да хоть сам шобево губернатор — что он такого скажет о войне чего все и так

---

[196] Примечания: 196

Отсылка к Папе Доку — прозвище Франсуа Дювалье (1907–1971), правого политика и президента Гаити в 1957–1971 годах при поддержке США. Один из самых кровавых диктаторов Латинской Америки, среди прочего создавший свою тайную полицию, известную под названием тонтон-макуты. Называл себя шаманом вуду.

уж не знают? Что лучше победить не то здоровые нигры бут свободно бродить по священной земле Нов-Алабамы и глазом моргнуть не успеешь как хитрожопый черный нигра уже шалит с невинной златовласой нов-алабамской крошкой — сами знаете что *тада* начнется! Меньшинства с правом голоса! Двухпартийные выборы и шоб их меньшинства обменяют чортовы *голоса* на права все точь-в-точь как на Стар-Земле када жидарабы выпихнули всех остальных и бросили планеты-колонии вертеться как сами пожелают. Апчем тут ищо речи разводить?

Акак все закончилось он двинул с Гордоном Лестером Уоллесом III и Фредди. Старшей школе конец, выпускники поскорей получили дипломы и рукопожатие сенатора Пуза из Талладеги (тот промеж рукопожатий сам тер глаза) и вперед в казармы в свежую непыльную форму и арш-арш но вот ток его уже не было сдристнул с Гордоном Лестером Уоллесом III и Фредди в Летохатчи.

Летят по красному проселку в Летохатчи на ревущем двухколесном гирокаре и Гордон Лестер Уоллес III и Фредди ему и грят — Что скажешь сержант? — и смотрели так.

Он не ответил.

Гордон Лестер Уоллес III и Фредди буркнули

и отвернулись вперед, че чиаэка дергать. Мож устал. Мож не в духе. Но если эт Гордон Лестер Уоллес III и Фредди чемт насолили — о, дело другое, лучше не будить лихо. Он тер до боли правый глаз (шурх-царап, дада) и левый (да) и скатал в подушечках больших и указательных пальцев обейных рук два липких шарика 1/32 дюйма в диаметре и выбросил подальше прах-к-праху пока они с ревом катили по красной дороге.

Встали в грязной подворотне в центре Летохатчи (вы не жили коль не пробовали жареного курогряза по-летохатчски) и поставили на гирокар хитру примочку чтоб парализовала током любого грабителя пока Гордон Лестер Уоллес III и Фредди и он не вернутся и тада найдут гада после пары часов корч и там уж поглядят куда ево обо что. Гуманизменность? А ты не суй свой нос, куда не надобно, и его не оторвут, вот и вся ваша гуманизменность! Вы аще за чьи права трясетесь, жертвы или вора, отвечайте да или нет?!

Гордон Лестер Уоллес III и Фредди рвались без промедлений в бар, но его не переспоришь. — Неа — сказал — сначала кружок по районchику.

Гордон Лестер Уоллес III и Фредди вдруг оборзели: — А че так?

Везуха, не огребли в ответ. Он сказал: — Сы-

шьте, завтра нас тут уж не будет, а? Раз у вас, хороших мальчиков, есть бары, то кому пока нужны суровые сержанты? Думайте черепушкой Гордон Лестер Уоллес III и Фредди — аж назвал их имена воттена! да! — что нам буэт наутро, вкусный завтрак хоспадибож? Куда там!

— Буэт приказ! — Долгая речь для него, Гордон Лестер Уоллес III и Фредди аж удивились. Впечатлились, а? А эт еще не все! — Никаких в вас нет сантиментов чтоль Гэ-Эл-Вэ-Три и Фредди? Кружок по райончику — хоть глянем Летохатчи напоследок. А завтра хтознает… в глубокий космос на Нов-Гаити или еще куда.

Гордон Лестер Уоллес III и Фредди скаштак смирились. Один кружок.

Алкан зашел (Нов-Алабама вертится у АлканаVII, не в курсе чтоль?), небо во тьме да звезда на звезде. Седня без луны и собсно так всегда и быват разве что… ну да не об том сейчас. Седня без луны. Улицы Летохатчи не пустей обычного, ток один толстяк миновал Гордона Лестера Уоллеса III и Фредди на песочном тротуаре, да с *компаньоном*.

Мужик — толстоват, велик зад,– был мелкий (5’2»? 2’5»? 52»? Мелкий!), длинные блондинистые пряди липнут ко лбу кончики весело дрыгаются перед *левым* глазом (в городе-то точно не

песочно) и пот на блахродном челе (хоть щас в офицеры: глаза да пот). Жирный-поезд-пассажирный колыхался када ковылял но сержант (не говоря уж о ГЛУШ и Ф) не возражал, толстый зад уважал, не ржал, анито рвались отметить финальную-нахальную ночь в Летохатчи но ток *разок* по райончику, пока-пока жиробас.

Хотите экскурсию? Так вперед. Сержант знает Летохатчи как свои пять пальцев, кадровому составу положено. Вот: бар на углу (пышут розовокрасные буквы: Б А Р) красная пивовывеска режет глаз выбирай себе на вкус за грязной стоп-стеклянной витриной, внутри дымом накурено, армейцы в увале тут дневали-ночевали траливали, сидят в зале за столами из дубзама всюду стаканы & бутылки & влажсалфетки. А вона и другие дубзамы — местные-городские, народ унылый угрюмый — тьфух — недолюбливают друг друга дошло?

Слушьте: он эт город знает. Как свои пять пальцев об асфальт, эт вы уже усекли. Думаете, пошли он с ГыЛуУ и Фредди в бар?

Тьфух!

Рядом дверь в дверь Приват-Притон Пышки-Пегги, большая розовая вывеска, привалился у деревянной двери местный Джон Пентюх, насви-

стывает тихо да певуче.

Мимо-мимо, сержант сотоварищи.

Дальше ЕДА. ЕДУ сержант знает со свово первого дня в Летохатчи. Тут ЕДА — туда-сюда, куда ни шло ни шатко ни валко, зато задняя дверь — старейшая игра и известная в кости в Летохатчи, главенствует старейший и известный экс-космист в Лето, не шулерее прочих, с ним не забалуешь видали на рубашке «космокрылый бомбер»? Космист-армеец-торгаш везде поспел, старейший известный, своим космистам — пожалте, остальные — не жальтесь.

Сам сержант носил космокрыло уж забыл сколько миссий (рябая кожа грила дофига-дофига) Гордон Лестер Уоллес III и Фредди тоже полетали но последняя ночь в Лето, последняя ночь на Нов-Аламе, кому хоца протрясти ее в кости а? На кой вам баксы в черной глуби на жестянке?

*Н*а*Н*о*в*-*А*л*а*б*а*м*с*к*о*м*ф*л*о*т*е*ш*л*ю*х*н*е*т*.

Торговые корабли каэш шлюхи другого коленкора. (Но того же колора.)

Славный оружейный магазинчик, самостирочная. Мимо-мимо-мимо.

— Так мы куда? — спросили Гордон Лестер Уол-

лес III и Фредди.

Гордон Лестер Уоллес III и Фредди не знали что сделать-сказать. Не лезть — вот мудрый выбор, сержант свой в доску и белый до мозга костей — вот и не лезут, но что ищо делать, на потресканном тротуаре торчать (после войны починим) сиськи мять вяло мычать. — Че ты хошь-то?

Он ответил!: — Мммф.

Гэлэу3&Ф — в недоумении. Он сует палец за плечо, жалом ведет — Ммнн. — Пик ораторики.

Нофсти: ПОБЕДАЗАНАМИ ВРАГБЕЖИТ ЧЕРНЫЙДЕНЬЧЕРНЫХ ПАПАДОКИПРОИГРЫВАЮТ СЛАВНОБЕЛЫЙКОСМОФЛОТЖОПЫНАДЕРЕТ.

На кой нофсти? Заголовки без остановки все как нада от рая до ада. Победа-победа-победа. Но: кадаж тротудыры, тьмонари чинить, дома мастерить, вшей и школы давить да разводить? После войны, мать ее етить.

Промеж «Летохатчских Нофстей да Всячины» да «Лето Комп Серв Инк» на Нижней Бальшой улице (клава, щечики, центральный процессор 9 поколения — все че надо для компьюцвования) он остановился *кррк!*

Развернулся на ¼-оборота на трескуаре толкнул гряздеревянную дверь с матовым грязстеклом в

верхней половине ½-оборота ручки, шаг в коридор (надоль говорить што *чумазый?)* и топ-топ по скрипдеревянной лестнице.

Гордон Лестер Уоллес III и Фредди — следом.

— Наверх? — спросили Гордон Лестер Уоллес III и Фредди.

— отвечал он.

Гордон Лестер Уоллес III и Фредди нетоштоп во флотской графе +интеллектуал+ да и куда терь деваться, а? Открывает чумаздверь где лестница ввееееерх, и он кркает себе ввееееерх, & Глу3+Ф спрашивают — Вверх? –

Тьфух! Кдаж ищо, ГЛУ-Три-Фэ? Тьфух!

И вот он кркает вверх по кажной ступеньке жаркотемный коридор крк за ним крк Гордон крк Лестер крк Уоллес крк и крк-крк-крк и эм-м, Фредди на первую площадку второго этажа (то бишь первого этажа по европейскому счету, по стар-земным временам) &остановился.

$ГЛУ_3$&$Ф_2$.

Снов-здоров грязнодверь мрачная злачная латунная ручка стопстекло в *высшей* половине то ли матовое-непроглядное, то ли матерно-беспробудное — ни зги не видать (и что там, почем знать) старая закрашенная почтовая щель в нескольких дюймах (по европейскому счету, по

стар-земным временам «сантиметры») под стоп-стеклом, он постучал звездозагорелым пальцем, дверь приоткрылась без заминки на щелинку, он увидел чумазую латунную цепочку, за ней чад да люди не чужанцы, а все сплошь добрые южанцы судя по виду стаканам да бутылкам & музыка тыц-тыдыц такая же гостеприимная, *как:*

:распахнутый глаз на лице уставился на него через щелочку; глазеет на *его* лицо, которое зырит в ответ, медленно закрывает глаз (второй остается открытым) но не оставляет закрытым а открывает вновь (подмиг на миг?); другоглаз внутри закрылся-открылся (на миг не мил?) видать шифр дверь на секунду закрылась *клттк* — видать цепочка — дверь опять открылась (мил, впустил?) здоровяк отступил перед *ним* Гордон Лестер Уоллес III и Фредди не отстают вперед к свободному столику из дубзама стулья достали жопами прижали *и*:

:на подскоке официант смазливый южанец чистокровный новалабамец хоть и мелкий (5'2»? 4'3»? 43»? Мелкий!) красивые золотистые волосы на черепушке, испарина клеит выбившиеся пряди ко лбу пара кудрявых кончиков кротко крадутся к *левому* глазу да вдобавок велик зад, толстоват.

Официант взглянул на посетителей. — ? — спросил запинчиво.

— Славный старый «Джек Дэниэлс» угольная фильтрация золотистая колорация гладко-питкий виски пжалста, и соответсно стаканов да салфеток, бутылку можно спасиб оставить прямздесь — сказал *он*, показывая на столешницу из дубзама аккуратно подстриженным средним пальцем (остаток сложив в кулак).

Официант ответил: —! — и ретировался.

Он взял руки Гордона Лестера Уоллеса в свои две, посмотрел ГЛУШ&Ф в глаза, слова не сказал, потом — на зал, увидел бэнд (пока не играли вместе, прост торчали на месте): трубач держал гулкий громенный головной горн из рога, гуавамаракасник, ударник с барабанами, обтянутыми черной кожей, тихо тыц-тыц-тыцал про себя.

Виски подали, глоток смаковали, от вкуса в печали — война, фигали; *но* хорошее бухло хорошо пошло. Пошло не пошло, мощно.

Поднялся ведущий, *он* взглянул, Глеу3&Ф — за ним. Ведущий — пузан, тож мелкий, большой зад и сам крупноват, золотистые волосы липнут ко лбу, пара концов пары прядей нависают над *левым* глазом, софиты на него, одет в армейскую

серость[197] (пуговицы пустопростые — каэш без космокрылых бомберов) серо-сырые пятна под мышками да промеж ног, потеет под софитами пару раз машет туда-сюда руками растопырив пальцы (не кашляни, не то взлетит), *и вот:*

:шум стихает на пару деци-блин-белов ведущий разминает рот бликует в софитах потный лоб, он начал — а терь дамы и господа (дам на виду нет но кто ж *знает*, да?) мы с гордостью прецтавляем вам мисс Милзад Маркэм (один пронзительный свист) под нашенский Национальный Гимн! — аплодисменты. Прошу любить и жаловать!

Подсофитный ведущий пропадает зал на миг в темноте шорох тут да там удивленный высокий смешок за ближайшим столом шуршок на сцене (ведущий уходит?) внезапная дробь на барабанах в черной коже (ударник прост обожает свои бац да хренац!) фанфары на громенном головном горне и трещат маракасы *вжух* — новый свет софитов — и кто-то в нем:

:Мисс Милзад Маркэм такая мисс что во всех местах мисс, мисс — тичная и — систая, кровь явно чистая нов-аламская но цвет софитов …?… синезеленый зинеселеный придает коже отблеск

---

[197] Примечания: 197

Форма конфедератов, воевавших за Южные штаты и сохранение рабства на Гражданской войне в Америке, была серой.

(вся в блестках) неестественный окрас (в дурном вкусе) стоит трепеща навытяжку, отдает честь (хорошо б).

Что на ней? Блейзер в обтяжку на груде груди, туговат, народ ток рад, сверху и снизу наливается плоть, прямскажем, э-э, не шибко удобно бедной леди мисс Милзад Маркэм, затянут сзади, яркий силенозиный блейзер как резина (?!) два весьма прелестных выреза с большими розовыми (?) ареолами (как *разобрать* в таком освещении?) прос-таки выдающиеся соски *охтыж* явно жмет смотри на красную (в таком освещении?) линию, на полном животе ничего хотя сам он такскать обременяет (беременна?) даже пышна (ток представь с ней животом к животу, живо там, живо тут — животный оргазм?) и трико, тобишь шорты, всеташ синяя жмущая силенозеная резина *ох!* как держит круглые ягодицы вполне годица мисс Милзад ум за разум хоть два раза от такого таза *ох!* взять бы нежно ту промежность ммммм! *ему* это по нутру *охохо* мисс Маркэм! Гордона Лестера Уоллеса III & Фредди за руки жмет лыбится как идиот мисс Милзад Маркэм дрожит от патриотического пыла, как тут бэнд вдарил — ах!– «Дикси» и через парсек мисс Маркэм *заводит*:

:*нешуточно* трепеща под великую мелодию,

ее гордая патриотичная задница качается под пам-пам-пам-папа-пам-пам-папам, ноги гордо вросли в славный нов-алабамский деревянный пол, колени врозь да полусогнуты руки воздеты к публике и треп-трепещут в такт волнительному звучанию великой старинной мелодии, и вот она подключила бедра, волосы (великолепные золотистые волны, ниспадающие на беломягкие плечи, все запали от такой крали ее папаша наверняка гордица есть за что ухватица) тоже колыхались в ритм и эй (мы же достаточно скромны?) так не лень хоть весь день.

Он отпил золотистого гладкого питкого виски «Джек Дэниэлс» благослови старую родину вкус нов-алабамского духа, патриотическая мелодия подходит к концу и мисс Милзад Маркэм выгибается (а она гибкая) упирая руки в пол позади ног софиты шпарят она в поту и ударе публика в угаре до последнего мужика (дам нет *на виду* но кто ж *знает?)* сплошь горячие патриоты да ценители искусства. Ммм?

Он взял Гордона Лестера Уоллеса III и Фредди за плечи, пожал по-братски. — Вот, — сказал он ГЛУIII&Ф — хотели знать, куда я вас веду? Вот вам последняя ночь в Лето. —

Гордон Лестер Уоллес III и Фредди соответствен-

но выражают пораженность. А то как же?

Терь вернулся ведущий маша руками и топыря пальцы его армейская серость (каэш простые пуговицы, и точ без космокрылых бомберов) еще серосырее там, где была серосырой до софитов, переоделся, больше ниче сильнозеного желтобурого (аветь как шло к липким светлым волосам) широко лыбит жирное лицо, но зубы не разжимает, колышется у талии и шеи (кланяется? кивает?)– Спасибо спасибо дамы и господа — сказал он (дам на виду нет но вы *знали?)* — мисс Милзад Маркэм скоро вернется, ведь вы наверняка хотите видеть ее намного больше (смешок) и уверен она сама хочет чтоб вы увидели больше потому через секундочку када все освежатся… — он замолчал в зале включился свет ведущий пропал но:

:*он* остался за столиком из дубзама с «Джек Дэниэлсом» (особая выдержка) и прочими товарищами. — И все? — спросили Гордон Лестер Уоллес III и Фредди. — Все? Мы уж думали, она стриптизерша. Этошмош наша последняя ночь на Нов-Аламе, мы думали, нас порадуют, а не подразнят.

— Минутку — сказал он.– Гляньте-ка — показывая на столик с четырьмя мужиками, двое

сидючи, двое стоючи, стоячие — как близнецы: мелкие, толстые, светлые волосы клеятся ко лбу над *левым* глазом, двое за столиком — один высокий, блед-блед-бледный, взволнованно подскакивает на стуле из дубзама, хватает за руку спутника, *который:*

:среднего размера темные волосы руки на столе в непримечательном деловом (с виду) костюме сам спит спирт разлит моет морду в бухле (ух, мечта, мечта — омыться в «Дж. Д.» Питкого Качества) сзади у непримечательной среднего размера спины испод непримечательного бесцветного делового костюма (с виду) торчала рукоятка; человек, цитируя великих, вговно. Двое толстомелких (оба блондины) подхватили среднеразмерного уволокли со стола пропали в неизвестном направлении, пока следом взволнованно вприпрыжкивал высокий и тощий.

— И че? — спросили Г-итд.

— Завтра, — ответил он. — Нас уже не будет, командируют… угадаете, Гордон и проч? Попробуете? Куда? Опять учебка? Вряд ли. Прочь с планеты в ночь хей, пока-пока Нов-Бама хей. Куда, по-вашему?

— ?

— Глубокий космос? Ваку-битвы с пападоками?

Нигру убил денежку срубил. Готовы к вторжению на Нов-Гаити?

— Ммн.

— Куда по-вашему распространилась война? Нов-Ангилья? Нов-Ацтека? Нов-Тонга?

— Наверняка Нов-Гаити. В глубокий космос на жестянке, а, сержант?

— Ммм. Давайте пейте. — Снова показал рукой. Пустой столик, где двое сидели и двое стояли, уже был не пустой. —!

Бэнд здесь *бррррн, ч'ккккк,* гул громенного головного горна, свет приглушен, софиты снова на ведущем, машет руками двигает губами: — Благодарю дамы (а вы *знаете?),* господа мисс Милзад Маркэм с ассистентом покажут патриотическое представление в честь Нов-Алабамы и ее славных коспехов — в чаду слышны аплодисменты и в одном углу — *нет нет да оо* — (а *точно* знаете?) софиты гаснут во тьме шуршит и *фигак:*

:возвращается розовокожий свет прожектора на золотистых кудрях, мисс Милзад Маркэм выходит на середку низкое низкое декольте рюши обтягивающая ткань начинается прямсразу над сосками через ткань видны розовы круглы выступы каждая *пора* потом тонкая талия и пышная юбка-ленточки-кружавчики до самого шобево

пола — Чооорт!– громкий голос из темного зала шарканье-шептанье, мисс Милзад Маркэм сплошь улыбки, *как тут:*

:второй прожектор падает на край сцены, предстает огромный нигра, и Гордону Лестеру Уоллесу III с Фредди аж приходится проморгаться — Ха-а?– но нет, гляньте, он белый, просто крашеный, ряженый, а вот *вы* бы согласились за деньги прикинуться черномазым? *Вы?* За скок?

Фух, никто не знает, пока не предложат, да?

Фальш-чурка в красном красном свете мисс Милзад Маркэм гарцует туда-сюда смотрит куда угодно но ток не на него а он крадется шажоквся публика подбирается и затихает шажок тихая напряженная музыка и как ток горнист могет сосредоточиться шажок к сему символу чистой южанской ладной лилейной леди зонтик на плечике перчаточки по локоточек и нигра:

:*наскакивает* сзади тащит к себе мисс Милзад Маркэм, черный черный грязный она в крик он вразнос зонтик в угол Милзад Маркэм вырывается из лапищ, когтей нигры, гляньте слюну пускает мисс Маркэм на пол опускает руки распускает, она визжит, нигра рвется, рвет, раздирает ее кружевное платье треск на спине она прочь шмыг костюм сник наружу розовые ириски круглые

сиськи, нигра рад зал в гвалт и:

:хнычущая полуголая южанская женственность пятится от слюнявого черного животного нигра лапает, когтит обвисшее платье на талии чистейшей белейшей женственности *тр-р-реск* нигра победоносно вскидывает в когтистой лапище розовые и белые обрывки, мисс Милзад Маркэм уж не боится стремится распрямиться в свете софитов глаза горят грудь как грица вздымает (ммм, как вздымает) голышом бледная белая кожа бледная в побледневших софитах единсные краски ее златы локоны, черны очи, красны уста (приоткрытые в дыхании, как вам такой телесноотверстный вид?) весомы перси и кудрявый треугольник лобкового сада как ночная отрада, а этче?

На ее желейной ляжке этче черное чеэт? Прям вокруг нижней нежной промежности этой милой V и опять вокруг ляжки и и и обратно О под задом и обратно между и вокруг и что? И там есть рукоятка, она ее хватает и хлыст расплетает (кнут на быков кнут на бугаев) и вздымает в софитах и гля *гля* какое лицо какой экстаз женственность спасена отпад атас о *гля* терь на чурку *гля* как сдает как ползет

знает свое место

но она так прост не спустит не отпустит взмах кнута и *чапп!* гля на нигру как кружит как скулит *швапп!* О господи О боже О да-да-да О вперед мисс Милзад и *щелк!* О гля о гля спина в рубцах люди на ушах клики крики и бедра, бедра работают, на ушах, кнут поддает во дает нигра падает, мисс Милзад Торжествующая выкрикивает лозунг стойкости и независимости:

Никада!

Гаснет свет, шуршание вздохи стоны и свет ВКЛ зал полный мужиков (ну как бы…) развалившихся без сил, мисс Милзад и труппа пропали из виду блондомелкожирный ведущий посередке руками махает глазом моргает губами шевелит сначала звука нет (но какая разница? публика прекрасная, ни единых сухих штанов во всем доме!) — Спасибо спасибо мисс Милзад Маркэм! спасибо спасибо пжалста отметьте дамы (хмм) и господа что нигра является аккредитованным членом Профессиональной гильдии актеров сертифицированный симулятор выступает на свадьбах и бармицвах, у нас жеж респектабельное заведение а терь угощайтесь дамы (?) да господа спасибо…

Штош питкий «Джек Дэниэлс» почти весь вышел и он плеснул по паре капель Гордону Лестеру

Уоллесу III и Фредди и шлепнул остатки сам и шлепнул ладонью по столу с деньгами в купюрах и монетах солидный стук по дубзаму и встал, встали и Гордон Лестер Уоллес III с Фредди, последовали за ним к двери мимо (если величать великодушно) метрдотеля коротышки с милыми светлыми прядками на липком от испарины (или как грица пота) на лбу и пара прядей мокро прядут над *левым* глазом и — Спасибо сэр О благодарствуем. — пока они топали к грязной двери со стопстеклом (лишнее О спасибо за то что дернули в чувствительном месте) и на площадку.

— Терь на базу, — сказал он.

— Да, — ответили Гордон Лестер Уоллес III и Фредди.

Протоп-топали по грязной лестнице через чумазую дверь посмотрели на «Лето Комп. Серв.» всмотрелись в «Нофсти и всячину» (мимоглядом — новое изд. в продаже: НОВ-АЛАМ ТОРЖЕСТВУЕТ ЧЕРНЫЕ ОТСТУПАЮТ СЛУХ: НОВ-ДЕЗЕРЕТ[198] ПОПАДЕТ ПОД ВОЕНТРИБУНАЛ В ТРАССВИЛЕ), дальше военторг (ниченената космокрылые бомберы?), Пышки Пегги (на краю зрения Джон

[198] Примечания: 198

Дезерет — официально не признанный штат мормонов, существовавший в 1849–1851 годах. Название происходит из Книги Мормона и означает пчелу.

Пентюх входит в заведение) ЕДА и Б А Р.

Армейцы спешат к двухколесному гирокару и!абалдеть! умная электронная штуковина и всамделе кого-то словила (толстый коротышка с платиновыми локонами) видали как *корчится?*

ГЛУШ&Ф смотрят, как он отключает умное устройство, корчащийся падает, он его проверяет — Скукота, скопытился — садится в гиро, Г+ на заднее, стартовали по красному проселку и (а то как же!) спать.

В казармах темно, он слушает:

— Думаете, глубокий космос?

— Нов-Катай?

— Полюбас Н'Ю-Атланчи.

— Вторгнемся, вторгнемся на Нов-Гаити, покажем шоб-их пападокам.

— Как по-вашему, мы ищо вернемся на Стар-Землю?

Смешки. Из частной (как бы) комнатушки сержанта: — Приказы будут завтра. А сейчас спать!

Шорохи и вздохи.

2. ОТ БИЗОНТОНСКОГО ПИЛОНА

Подъем с рю Маргарита к ховер-депо был долгим и трудным, и Кристоф Белледор в тысячный раз пожалел о давней отмене вертифлота. «От-

мена», пожалуй, не то слово. Без бюджетов и рабочих рук для планового техобслуживания вертифлот становился все непредсказуемей, все ненадежней доставлял пассажиров с улицы на платформу ховер-путей, пока не стал слишком опасным.

Уже многие нов-гаитяне — и Кристоф в их числе — побывали на волосок от смерти из-за слишком быстрого спуска или от подъема, который внезапно сменял направление. Кое-кто из невезучих бизонтонцев пользовался устройством слишком часто и не смог избежать его поломки.

Что поделать, такова война. Когда-нибудь жить станет легче, вертифлот восстановят и откроют вновь, а терпение трудолюбивых граждан будет вознаграждено.

Кристоф остановился на середине подъема по пилону, чтобы перевести дыхание. Он уже не тот, что прежде. Что поделать, что поделать. Все граждане вносят свой вклад в победу, так или иначе. Кристоф, по возрасту не годный в звездный флот, все еще мог перекладывать бумажки в министерстве, чтобы кто-то помоложе бился за Нов-Гаити вместо него. А еще Кристоф брал в руки оружие на регулярных учениях Планетного ополчения, готовый оборонять планету от втор-

жения. Ну а пока…

Кристоф поплелся вперед, карабкаясь по ступенькам из осыпающегося бетона и философски созерцая уставших граждан вокруг, подмечая их латаную-перелатаную одежду. Да, очередная жертва ради великой победы. Когда Нов-Гаити вновь посвятит все силы миру, жизнь будет лучше. Будет новая одежда, отремонтируются старые дома и возведутся новые, снова заработает вертифлот во всей пассажирской сети *Compagnie Nationale des Chemins de Fer d'N'Haiti*[199].

Но сегодня — ах, Кристоф Белледор наконец забрался на платформу и встал позади толпы, дожидавшейся на краю, когда ховер-поезд доставит их в Нов-Порпренс[200]. Кристоф узнал нескольких попутчиков, но разговор не заводил. Скоро, если обойдется без поломок — где-нибудь в Багоне или Сен-Марке, — прибудет поезд. Потом все бросятся в вагоны, ведь поезда ходили далеко не так часто, как прежде, и многим, если они не могли дожидаться следующего, приходилось добираться до работы пешком.

---

[199] Примечания: 199

Национальная железнодорожная компания Нового Гаити (*фр.*).

[200] Примечания: 200

Столица Гаити — Порт-о-Пренс; далее для топонимов часто применяются существующие гаитянские.

Когда ховер-поезд наконец прибыл, Кристофу повезло — ему удалось втиснуться в первый вагон и встать зажатым между толстяком, которого видел уже не раз, хотя ни разу не заговаривал, и Иветтой — симпатичной дочкой соседа Кристофа, Леклера. Она улыбнулась ему, когда из-за качки вагона, тронувшегося от Бизонтонского пилона, их на миг прижало друг к другу. Кристоф зарделся, попытался отвернуться и сделать вид, будто не заметил девушку или ее реакцию на случайное прикосновение, потом пристыженно улыбнулся, когда она хихикнула.

Когда поезд наконец остановился в Нов-Порпренсе и рабочий люд хлынул наружу, он в мыслях заново пережил тот короткий и безмолвный контакт с Иветтой по пути через душные коридоры, соединяющие центральный пилон ховер-путей с министерством. Задержался у лотка Мориса в вестибюле, взглянул на утренний «Гаитянец» и чуть не купил. Но сначала пересчитал немногие пластиковые су в кармане брюк и решил, что газета наверняка найдется у кого-нибудь в конторе.

Вынул руку из кармана, прошел мимо деревянного лотка с пристыженным «Бонжур, Морис».

В ответ мсье Морис огрызнулся, чего Кристоф

не смог вполне избежать по пути к лестнице. Эх, в военное время даже Министерство поставки рабочей силы для военных нужд не могло отремонтировать свой вертифлот. Недавно из-за этого началась суета, люди разбрасывались приказами или бессильно разводили руками, когда дошли слухи, что сам премьер запланировал посетить министерство — и подниматься ему придется не иначе как по деревянной лестнице!

Премьер отреагировал удивительным образом. Нет вертифлота? Что ж, воскликнул он, на войне всем приходится чем-то жертвовать. И, взяв дрожащую руку министра, поднялся с ним по лестнице на совещание. Разошлись слухи, а с ними и облегчение: премьер не пожаловался на сломанный вертифлот. Шкура министра спасена. Главы департаментов отделались без выговоров. Работники всего министерства выдохнули. Такова война — и такова работа правительства.

Но сегодня новый день, а значит, и новые неприятности. Читая штабное исследование, которое Кристофу поручили отредактировать для замминистра, он щелкал языком и встревоженно качал головой. Все приятные мысли об Иветте забылись за тяжелым дефицитом рабочей силы и безумным планом замминистра.

С этим исследованием, когда министр наконец поймет суть его предложения, перспективная карьера Мариуса Гонкура могла подойти к бесславному концу, а за головой мсье Гонкура полетят и головы его работников, в том числе — причем в первых рядах — и Кристофа Белледора.

Запыхавшись и употев, Кристоф добрался до этажа своего отдела. На миг привалился к косяку и утер лоб протершимся карманным платком, затем вошел в большое помещение. Большинство работников прибыли раньше его. Мадам Бонсар, секретарша, встретила его скверной улыбкой и словами:

— Бонжур, мсье Белледор. Этим утром мадам Белледор не смогла вас добудиться?

Кристоф попытался ответить улыбкой, но смолчал. Проходя под часами на стене, он бросил взгляд на циферблат. Эх, уже семь утра, снова он опоздал. Он повернулся и начал было:

— Ховер-поезд, мадам Бонсар, с ним ничего не поделать. Быть может, вы не… — Он затих в кроткой надежде, но уже сам видел, как мадам Бонсар вносит время его прихода в еженедельный отчет о штате.

— Военное время, месье Белледор, — ответила она. — Мы все обязаны исполнять свой долг,

верно? Вы же не будете просить подделывать официальный отчет министерства.

Кристоф покачал головой и направился к своему столу. Он уже видел: день не готовит ничего хорошего. Эх, очередное опоздание в личном деле, и к тому же чувствовалось, что погода сегодня будет жаркая. Но самое главное — это исследование замминистра. Кристоф порылся в кармане, вынул связку ключей и перебирал, пока не нашел нужный, после чего наклонился отпереть все выдвижные ящики деревянного рабочего стола.

И вновь он помешкал, чтобы утереть пот. Эх, когда война закончится, в помещениях министерства снова включат кондиционеры. Как же будет хорошо — приходить на работу в зной и выполнять свои обязанности в прохладе, которую генерируют машины, что сейчас стоят без ремонта и запчастей — да и даже будь ремонт и запчасти, нет электричества. Вернуться бы в такой день освеженным к Мари-Аведде, причем на ховер-поезде, не набитом до отказа, и на вертифлоте. Что ж, остается дожидаться мира.

Он достал из отпертого ящика коричневую картонную папку и положил на стол. За соседним столом раздался голос:

— Это и есть тот знаменитый доклад мсье Гон-

кура, Кристоф?

— Он самый, — ответил Белледор. — И когда это увидит мсье министр, нам всем конец. Заместителю министра Гонкуру, помощнику Белледору, мадам Бонсар — всем. Да и тебе, Филлип. — Кристоф печально покивал.

— Ну же, — поддразнил Филлип. — Все не так плохо. Верно же, Кристоф?

Мсье Белледор опустился на офисное кресло, не сводя глаз с доклада. Потом развернул кресло к Филлипу. Наклонился к нему.

— Ты не принимаешь меня всерьез, — начал он, — но я тебе расскажу, что предлагает мсье Гонкур. И тогда ты уже шуточками не отделаешься.

Филлип ответил с деланым испугом:

— Кристоф, разве доклад замминистра не засекречен? Как можно о нем рассказывать?

— А я уверен, что ты шпион, Филлип. Все, что ты знаешь, тут же, разумеется. узнают в Нов-Монтгомери. — Кристоф фыркнул от смеха. — У тебя такой же уровень доступа, как и у меня, иначе бы ты не усидел на своем кресле и часа! Так желаешь ты знать, что на уме у замминистра? — Он побарабанил пальцем по папке. — Или нет?

Филлип кивнул.

— Да-да, расскажи наконец, что же он такого

предлагает. — И на его лице мелькнуло высокомерное выражение.

Кристоф помолчал. Затем:

— Ты сам знаешь, Филлип, сколько людей требует война и как это сказывается на нашей экономике. Приходится поддерживать не одну национальную программу, а сразу три. Для борьбы с врагом надо укомплектовать корабли специалистами всех мастей: офицеры, стрелки, ремонтники, абордажные отряды, связисты, медики, каптеры, коки, все!

— Да-да, — сказал Филлип, — это все знают. И что же?

Кристоф невозмутимо продолжал.

— Для этой задачи требуются усилия всей экономики. Космоверфи как для ремонта боевых кораблей и транспорта поддержки, поврежденных врагом, так и для обычного обслуживания, а также для строительства нового флота, чтобы перенести сражение ближе к бланкам[201] с Нов-Алабамы.

Оружейные фабрики. Заводы боеприпасов. Базы подготовки и снабжения наших вооруженных сил. Медицинская помощь раненым. Системы

---

[201] Примечания: 201
Blanc (*фр.*) — белый.

транспорта и снабжения. Постоянный приток свежих сил и ресурсов. Да ты понимаешь, Филлип, что для поддержки всего одного космосолдата в бою требуются шесть-семь нов-гаитянцев — как в вооруженных силах, так и в тылу?

Филлип с нетерпением буркнул, что понимает.

— Ну хорошо, — продолжил Кристоф, — только и это еще не все. Ведь вдобавок к вооруженным силам и всему, что для них требуется, Нов-Гаити по-прежнему надо поддерживать свою экономику. Мы принесли в жертву такую роскошь, как вертифлот и прохлада в министерстве, но от основной деятельности отказаться невозможно — иначе не останется экономики, чтобы поддерживать экономику для поддержки военных! — В заключение он положил руки на колени и откинулся назад, победоносно взирая на молодого человека.

— Ну, — Филлип пожал плечами, — а я по-прежнему спрашиваю: и что? Ты рассказываешь об общих местах. Это всем известно. Это и есть щекотливый доклад замминистра? Да это домашняя работа шестиклассника. Кристоф, ты меня разочаровываешь. Вместе с заместителем министра.

— Нет-нет, — перебил его мсье Белледор, — вечно тебе не хватает терпения, Филлип! Не

гони коней. Мсье Гонкур приводит в докладе очевидное, да, но это необходимые предпосылки для министра. Мсье Антуан-Симон у нас не семи пядей во лбу, ты согласен?

В этом Филлип уступил. Кристоф продолжал:

— Выходит, Нов-Гаити надо поддерживать сразу три экономики. Мсье Гонкур называет их «чисто военная», «поддержка военной» и «гражданская». Для каждой требуется финансирование, планирование, контроль. Для каждой требуется своя доля планетных ресурсов. А самое главное, для каждой требуется человеческий труд. Фермер с Гонава…

— А при чем здесь наш спутник? — встрял Филлип.

Кристоф рассерженно ударил кулаком по ладони.

— Вся Нов-Гаити при чем! Не перебивай! Фермер с Гонава не трудится на заводах Мирагоана! Сборщик патронов в Маригоане не служит на борту «Туссен-Лувертюра»![202] Морпех на борту

[202] Примечания: 202

Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр (1743–1803) — лидер Гаитянской революции (1791–1803) — успешного первого колониального восстания в Латинской Америке (Гаити было колонией Франции).

«Дессалина»[203] не собирает урожай на Гонаве! — Запыхавшись, мсье Белледор откинулся на спинку офисного кресла.

Его собеседник мрачно ответил:

— Глубокомыслие мсье Гонкура не устает меня потрясать. Кристоф, нам и в самом деле повезло служить у замминистра. — Он придвинулся и, захохотав, шлепнул Кристофа по плечу. К ним развернулось все помещение. Мадам Бонсар неодобрительно поцокала языком и что-то записала.

Кристоф кипел. Наконец он переборол гнев:

— Филлип, уж ты-то, работник министерства, должен понимать главную проблему войны. Нам не хватает людей на все три задачи одновременно. Флот гранд-адмирала Гуэде Мазакки несет тяжелые потери. Как и проклятые бланки, но ты же знаешь бланков, Филлип: плодятся, как животные.

Гуэде Мазакка требует от нас новых войск — Ла-Ферьер спешит их предоставить. Когда поставлять некого, обращаются к министру Антуан-Симону. Ах, так все сильные мужчины

---

[203] Примечания: 203

Жан-Жак Дессалин (1758–1806) — основатель и первый правитель независимого государства Гаити после дальнейшего поражения Лувертюра.

планеты уже трудятся в военной экономике. Теперь они отправляются к гранд-адмиралу Гуэде-Мазакке на «Жан-Кристофе»[204], биться с бланками, гибнуть на войне. Но нельзя же забывать и об экономике поддержки военных, а? Корабли, оружие, энергетика, боеприпасы — они по-прежнему должны поступать! А откуда берутся работники? Из гражданской экономики!

Видел ли ты отчеты губернатора Фостина, Филлип? — Кристоф продолжил, не дожидаясь ответа: — На огромных сельскохозяйственных базах Гонава у него трудятся старики, женщины, школьники. Ничего удивительного, что продовольствия так мало. Без крепкой гражданской экономики и военные долго не протянут. А тогда… — Кристоф пожал плечами.

— И у замминистра Гонкура есть решение? — справился Филлип. Кристоф поднял картонную папку.

— Он думает, что есть. Я думаю, он, по всей видимости, сошел с ума.

Наконец-то заинтригованный, Филлип поинтересовался:

— И в чем заключается его план?

---

[204] Примечания: 204

Анри Кристоф (1767–1820) — один из лидеров Гаитянской революции, позднее — король государства Гаити после убийства Дессалина.

Кристоф снова откинулся на спинку, наслаждаясь своим преимуществом над молодым человеком.

— Теперь принимаешь меня всерьез, а? Что ж, ответь на несколько моих вопросов — а я отвечу на твои.

Филлип наклонился вперед. Кристоф начал:

— Тебе известно, кто такой Дангме? Айда-Веддо? Слышал ли ты о Папе Легба, об Айзан, Токподу, Зо, Хевийосо, Кпо, Агоне, Гбо?

Филлип сидел в озадаченном молчании.

— Ни о ком? — спросил Кристоф. — Совсем?

Второй покачал головой.

— А бывал ли ты в Гран-Хумфор Насьонале[205], Филлип?

И снова отрицательное качание головой:

— Кристоф, я не знаю, о чем ты толкуешь. Ни одного имени. Но время от времени я захаживал в Гран-Хумфор. Это большой нов-гаитянский музей. Какое отношение все это имеет к войне?

— Филлип-Филлип, ах.– Кристоф сделал драматическую паузу; он был простой человек и любил интригу, внимание публики — пускай даже состоящей из одного человека.– Ну разумеется,

---

[205] Примечания: 205

Большой национальный хумфор (*фр.*). Хумфор — одно из вариаций названия храма вуду (houmfort, более распространенное — hounfour).

Гран-Хумфор — это музей. Очевидно, ты не бывал в отделе, посвященном культуре Стар-Гаити. Никогда не слышал о великих воду[206] Стар-Гаити со Стар-Земли. Никогда не слышал о Гбо — великом воду войны, о Хевийосо — воду бурь, о Легбе — воду плодородия. И никогда не слышал о Дангме — повелителе всех воду, их царе.

Филлип, ты не знаешь, что на Стар-Гаити «хумфор» значило «храм воду». И, видимо, никогда не слышал об обрядах воду, о принесении в жертву черного петуха, о мешках уанга, о danse kalinda[207], о зомби?

— Это же попросту умопомешательство, Кристоф!– вклинился молодой человек.– Гонкур хочет комплектовать флот Гуэды Мазакки экипажами из *зомби?* Да он безумен! Все это безумие!

Кристоф сидел молча. Ждал, когда сойдет возбуждение собеседника. Наконец Филлип тоже затих.

---

[206] Примечания: 206

Воду (vodou — написание, которое используют на Гаити), вуду (voodoo — в США и других англоязычных странах)– общее условное наименование синкретических культов стран Западной Африки, Карибского бассейна, частично США. «Воду» считается более аутентичным.– *Прим. ред.*

[207] Примечания: 207

Танец калинда (*фр.*) — танец с корнями в африканских боевых искусствах. В период работорговли был перенесен в Америку, где развивался на Карибских островах и в Луизиане.

— Скажи, что это неправда, Кристоф. Замминистра не мог сойти с ума. Он не мог всерьез предложить воспользоваться безумной магией.

Кристоф медленно постучал по картонной папке на столе.

— Да, — произнес он наконец. — Заместитель министра Гонкур считает, что может воплотить древнюю легенду в реальность. Безо всякой магии. Он не намерен взывать к духам-воду. Он сотрудничает с департаментом медицины. И предлагает воскрешать убитых как из нашего флота, так и вражеского.

Он заявляет, это возможно благодаря внедрению в мозговую кору убитых маленького морского существа, обнаруженного на некой неизвестной планете. И, Филлип… — Кристоф посмотрел прямо в глаза собеседника. — …Филлип, он уже открыл исследования этого безумия. Мы уже приступили к сбору этих паразитических существ.

Вновь Кристоф откинулся на спинку. Немного погодя Филлип отвернулся, возвращаясь к собственной работе. Кристоф раскрыл лежавшую на столе картонную папку, достал из верхнего ящика синий карандаш и начал править пунктуацию и орфографию для мадам Бонсар, которая

отпечатает итоговую версию доклада мсье Гонкура для министра Антуана-Симона. В процессе Кристоф вздохнул и вернулся мыслями к встрече с Иветтой Леклер.

3. СВЕТЛОЕ МОРЕ Н'Ю-АТЛАНЧИ

Медленно колышась, Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн плывет на спине в мелкой соленой жидкости, что покрывает и пронизывает всю Н'Ю-Атланчи. В ее раскинутых конечностях — практически рудиментарных после долгих забывшихся поколений в невесомости, — еще хватает мускулатуры, чтобы направлять Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн от завихрения к завихрению горячих течений и многолунных приливов Н'Ю-Атланчи к нескончаемым разнообразным ощущениям. Временами она шевелит мягкими хрящеватыми руками, словно рулями, юстирует, выбирает между потоками, порой встречая течение боком, переворачиваясь, и тогда череда преломленного неба и близкого морского дна создает спираль визуального восприятия, о котором она еще долго размышляет после его завершения.

Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн юна по меркам С'цча. Ее большие плоские глаза видели, как главная луна Н'Ю-Атланчи умирает три раза, меньшие луны

— не меньше чем дважды столько же, и не больше чем восемь десятков раз. Как и все С'цча, она вышла из лона Всематери живой песчинкой, не больше бластулы без конечностей, и нервные окончания, что теперь наполняют ее эпидермис, тогда были разреженней и малочисленнее.

Она не знает, сколько времени провела в заполненных морем сияющих хрустальных пещерах и гротах Н'Ю-Атланчи. Не знает о словно бы неисчерпаемой партеногенетической плодовитости Всематери. Не знает о покалеченном высокоскоростном страннике из металла, что принес на Н'Ю-Атланчи ее далеких гигантских предков-людей.

И уж точно Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн не думает о себе как о человеке. Спорный вопрос, думает ли она о себе или думает ли вообще. Она чувствует.

Осязание, обоняние, вкус — все это больше не различается. Кожа Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн кишит нервными окончаниями. Она чувствует кожей — чувствует тепло солнца Н'Ю-Атланчи, NGC7007; чувствует уютную плавучесть и соленую близость питательных вод вокруг и даже внутри ее тела. В каком-то смысле это очень сексуальное взаимодействие, но бесконечное — разве что однажды закончится ее жизнь, — и безначаль-

ное, разве что для Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн ощущения начались, как только она ожила в виде безотцовой зиготы в утробе Всематери, в подземном и подводном центральном гроте Н'Ю-Атланчи.

Сущность ее неясна. Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн — самка, хотя бы в том смысле, что потомство партеногенетической Всематери наследует все хромосомы от своей родительницы, а она неоспоримо является самкой. Так можно ли считать это трехсантиметровое дитя Всематери живым йони, в каком-то смысле вывернутым наизнанку, выставляющим все влажные и четкие мембраны своих манящих проходов для абсолютной ласки универсально всеохватного моря? Или же она живой орган — облаченный в идеально и тотально принимающее море? Сущность ее непонятна.

На главном спутнике Н'Ю-Атланчи, часто видимом Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн, мелкое пятнышко обозначает крошечную область, где измерения показали бы содержание железа чуть выше среднего, будь кому измерять. На бесплодной поверхности малого спутника Н'Ю-Атланчи находится сломанный и нерабочий аппарат. Аппарат там уже столько же лет, сколько на большем спутнике Н'Ю-Атланчи — развеянное железо, но поскольку на меньшем спутнике нет атмосферы,

то и машина эта не заржавела, не разъедена, не разорвана зелеными пальцами терпеливой и необоримой растительности, не разрушена дождем, не раздавлена снегом, не затерта льдом.

Так будет не всегда. Ее ежедневно бомбардируют фотоны солнца Н'Ю-Атланчи NGC7007. Да и излучение далеких светил вдавливает ее в неподатливый камень малого спутника Н'Ю-Атланчи.

На самом деле это гонка, которую мог бы оценить только терпеливый наблюдатель. Возможно, наблюдает Бог. Возможно, он сделал незаконную ставку у букмекера на углу.

Дано: излучение неустанно бьет по нерабочему аппарату, обломку. Сокрушит ли оно металл, истолчет ли стекло, измельчит кристаллы, сотрет схемы, вызовет имплозию, распад молекул, дезорганизацию атомов? Или же малый спутник Н'Ю-Атланчи прервет этот медленный и неудержимый процесс; или же безвоздушная луна будет притягиваться к основной все ближе и ближе, пока не разрушится и не отправит свое мертвое бремя в море Н'Ю-Атланчи или на ее орбиту?

В этой гонке есть и другие участники. Не упадет ли метеороид, размозжив машину вдребезги раньше, чем до ее независимого существования

доберется природа? Не появится ли новый разум с двигателем на измученной материи, чтобы забрать трофей? Не испортит ли игру само NGC7007, изжарив все вспышкой до корочки?

Уж лучше Богу делать ставку вдумчиво. Гонка непредсказуема. Задумайтесь. Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн не задумывается. Спорно, что она вообще думает. Она чувствует.

Осязание, обоняние, вкус теперь едины. У нее нет носа. Ее предки давным-давно отказались от ноздрей, от легких; тела их приучились останавливать онтогенез на этапе жаберных щелей. Давным-давно, еще до того, как Всемать обрела свой плодовитый покой в сердцевинном гроте. В свое время — пожалуй, между часом коктейлей и ужином по н'ю-атланчианским меркам, — отказались и от них. Вездесущее море и теплая соль даруют как кислород, так и белок. Некий далекий предок Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн приловчился вытягивать все необходимое питание из окружающей его влаги.

А с этим отпала и необходимость иметь рот.

Остались лишь глаза — большие плоские глаза С'цча, посаженные пропорционально далеко на том, что у предков считалось лицом, глаза, что постепенно тоже перестали отличаться от окру-

жающих тканей, пока их фоточувствительность распределялась, палочки и колбочки возникали тут и там среди теснящихся нервных окончаний, составляющих шкуру каждой С'цча, — а также уши, сохранившие чувствительность, почти неразличимые места по сторонам головы, но и их функция распределялась по поверхности шкуры С'цча, с каждым поколением все больше.

Так Всемать занималась совершенствованием своего потомства — или, возможно, полностью противоположным.

Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн медленно дрейфует под NGC7007, зрительно воспринимая над собой. Звезда над ней зеленая, ярко пылает в желтом небе. Это Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн видела уже не раз. Множество облаков, да; насыщенные моря Н'Ю-Атланчи не освобождены от законов физики. Бог постановил, что воде под ярким солнечным светом должно испаряться и возноситься горе. Воды Н'Ю-Атланчи кротко подчиняются.

Они испаряются, поднимаются, сгущаются вновь, собираются в облака. Облака на Н'Ю-Атланчи — зрелище не повседневное, но Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн видела их не раз. Она трижды видела, как умирает главный спутник. Она видела, слышала, чувствовала на ощупь/вкус/запах дождь.

Дождь на Н’Ю-Атланчи еще более редок. Но не из ряда вон.

Дождь на Н’Ю-Атланчи свежий. Соли, белки, свободные аминокислоты, характерные для моря Н’Ю-Атланчи, не испаряются вместе с водой — облака беспримесны, дождь чист. Для любой С’цча дождь — это главная угроза жизни. Холоден тот дождь, пресен, лишен теплой солености, к которой С’цча привыкают с первых движений, лишен питательных примесей, что для С’цча есть жизнь.

Когда-то Ч’ен-Тч’аа-Жч’увн познала дождь на своей шкуре. Пока она дрейфовала в вечном смирении перед благостным окружением, ее застигло скопище облаков, скрыв свет NGC7007, прервав согревающие лучи, преломив, рассеяв, затеряв, и, когда вдруг похолодало, несмотря на доброе тепло вокруг, Ч’ен-Тч’аа-Жч’увн познала то, что могло бы считаться страхом, будь в ее нервной системе — сверхразвитой, но столь ограниченной, — код, означающий это чувство или какое угодно другое, кроме бессмысленного содержания.

А затем закапало. Вода над самыми глазами С’цча изменилась, ее визуальная функция сменилась от надежно плоского полуотражателя, через

который С’цча единообразно видела спокойное небо и светило того дня. Теперь поверхность рябила, зыбилась, дробилась на неисчислимые формы в постоянном преображении.

Появлялись, расширялись, пересекались, изглаживались впадины; капли вызывали внезапные контакты; отдельный перестук, нарушавший гладь между морем и атмосферой, ударил по ушам Ч’ен-Тч’аа-Жч’увн — разрозненные взрывы сменились дробью, а потом и ревом, когда число капель на единицу измерения площади в единицу измерения времени выросло из различимого до неопределенного.

Глаза Ч’ен-Тч’аа-Жч’увн утратили спокойное небо, когда густо сеющие капли разрушили и смутили поле зрения. Ее пронизал холод — пропал питающий комфорт, настало новое отсутствие питательности морской воды вокруг; в состоянии, теоретически напоминающем отчаяние, С’цча привела в неистовое движение свои рудиментарные конечности в сантиметр длиной, оставшиеся от далеких предков.

Бездумно помчавшись через незнакомо холодную и безликую жидкость, она раскрутилась на сто восемьдесят градусов вокруг неосознаваемой продольной оси: ее зрение развернулось от

темной и бурной поверхности моря, перед распахнутыми плоскими глазами слишком быстро для узнавания пронеслись далекие образы, и, наконец, ее взгляд остановился на преломляющем хрустальном морском дне.

Свет от солнца Н'Ю-Атланчи NGC7007 — зеленый; отраженный цвет небосвода Н'Ю-Атланчи — желтый; облачный оттенок — серый, угрожающий; окраска моря — аквамариновая примесь, насыщенные, яркие, потемневшие от туч и дождя, к тому же отраженные и вдобавок преломленные множеством граней полупрозрачного кристалла. Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн, привычная к виду света, пляшущего на хрустальном дне, теперь, вопреки умноженному числу источников освещения из-за повышенного преломления морской поверхности, взволнованной дождем, все же успокоилась средь зыбких бирюзовых, аквамариновых, голубых, сине-зеленых, желтых, серых столбов и бликов; конечности С'цча прекратили панику, унялись до спокойного, стабильного колебания, более типичного для их движения.

Но Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн все еще угрожала нарастающая концентрация холодной и безвкусной воды, вызванная нескончаемым ливнем. То, что она думала, — допущение в лучшем случае со-

мнительное; она лишь смутно осознавала себя, почти не отличала тело от окружения, личность — от ареала, ощущения — от их источников.

Маловероятно, что она пришла к решению — то есть конечному продукту логического процесса — сбежать из новой, зловещей стихии, изменившей ее существование, уже притуплявшей ее восприятие и подтачивавшей силы. И все-таки Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн бежала. Трепеща слабыми и непослушными ножками, чтобы толкаться через враждебную среду, работая концами передних конечностей, когда-то в прошлом — ладонями, но теперь размякшими, веслоподобными, не разделенными на пальцы, эта С'цча, не сводя глаз с многогранного преломляющего морского дна, пришла в движение в поисках отверстия на хрустальной поверхности, что подарит спасение от дождевой воды, раскроет подземный грот ноздреватого кристалла, который образовывал множество пещер и опор Н'Ю-Атланчи, а также хранил теплую, знакомую, успокаивающую жидкость — привычный медиум Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн.

Туда и сюда металась С'цча Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн, пока рев ливня давил на уши угрожающей неизбежностью, а от холода и скудности воды цепенела слабая мускулатура конечностей,

постепенно немели ее несметные нервные окончания, пока новая вода вытесняла знакомую и теплую, взаимодействуя с эпидермальной тканью, приглушая органы чувств, закорачивая нейронные синапсы, сокращая количество сигналов пропорционально большого нервного кластера Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн.

В конце концов С'цча почуяла впереди маленький неотражающий пятачок, глухое отсутствие реверберирующего хрустального света, не иначе как обозначающее проем в морском дне. Из последних сил, с угасающими чувствами, она силилась вперед, приближалась, оказалась, наконец, над узким отверстием. Развернула свои веслоподобные гибкие лопаточки, тем самым затормозив рассекающее поступательное движение, и на миг зависла над отверстием в кристаллическом дне, приблизительно круглой формы.

В недрах она видела намного хуже — ее глаза акклиматизировались к сиянию верхнего слоя планеты, сравнительно яркому в отличие от вторичных гротов даже при затемнении из-за туч и водопада. Помешкав лишь ненадолго, как будто собирая необходимую решимость, С'цча потянулась передними конечностями вниз, к

отверстию в морском дне, словно хотела объять жидкую сердцевину планеты, потом отстранилась, вверх, одновременно скрещивая ножки и проталкиваясь через холодную чужеродную воду, словно упираясь в стену, переходя в положение, перпендикулярное выпуклой поверхности планеты, затем опустила голову вниз и устремилась вглубь с широкими взмахами рук, отталкиваясь из нового холодного мира серости, из враждебной пресноводной скупости в сравнительную мглу, в теплую и питательную соленость подземных гротов, словно бы в обратных родах при тазовом предлежании: новорожденная, тоскующая по уютной внутренней тьме, желающая родиться обратно, зародыш, вцепившийся в себя, круглый, обращенный внутрь, в безопасности, не осознающий себя, нетронутый, незнающий, недвижный.

Она не потеряла сознание. Спорно, что у нее вообще имелось сознание. Она чувствовала и реагировала. Нырнув в шахту внешней кристаллической коры Н'Ю-Атланчи в бегстве от беспощадного мороза и лишений пресной воды, Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн стала чувствовать хуже; по мере спуска в глубокие пласты, где тепло и питательные ингредиенты Н'Ю-Атланчи сменили дождевую воду и окутали С'цча, неглубоко про-

никая в ее ткани, восполняя, восстанавливая, утешая, дитя Всематери успокоилось, чувства вернули полное восприятие и остроту, мускулатура — прежнюю силу и подвижность.

Здесь, в верхнем преломляющем гроте планеты, нежась в теплой влаге, Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн пассивно дрейфовала: последний кинетический остаток ее бегства теперь перешел в медленное горизонтальное вращение, придававшее телу ленивое движение, отчего картины кристаллов наверху и кристаллов внизу чередовались с заполненными морской водой широкими коридорами — потолки из кристаллов и полы из кристаллов, без стен, бесконечно длинные и тянущиеся во всех направлениях. С неба падал дневной свет, просачиваясь сначала через нехарактерные дождевые тучи Н'Ю-Атланчи, затем окрашиваясь и растворяясь в морской воде, после чего дробился, рассеивался, разбрасывался в самых разных направлениях на верхнем кристальном слое планеты, под которым и плыла С'цча, медленно вращаясь после побега от дождя.

Через другие отверстия в кристалле проникали остальные С'цча. Те, кого редкий ливень застиг вдали от укрытий, кого подвела рефлекторная реакция на угрозы, уже, растворяясь,

возвращали химические вещества водам, чтобы в дальнейшем питать других детей Всематери. Предположительно, часть их соли, часть кислот, одна-другая медленно разлагающиеся органические молекулы могли по прихоти течений, с помощью или помехами случая в пути по птолемейски прослоенной сфере, достичь и самой глубоко погребенной Всематери, могли усвоиться ее плодовитой протоплазмой, могли, в свою очередь, родиться заново, новыми С'цча — воскрешенными, реинкарнированными, бессмертными.

Тогда как С'цча верхнего грота — эти неисчислимые неоакватики, привычные к мерцающему сиянию преломленных кристаллических лучей с высот, сияюще раздробленных внизу, — а также новоприбывшие в эту последнюю ледяную пещеру после долгой вольготной миграции вверх из грота Всематери, в одном финальном усилии от немого и непонимающего плоского взгляда на дневную звезду и ночные звезды, главную луну и меньшие луны — дом и могилу неведомых явлений, — все они и вдобавок такие же беженцы, как Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн с товарищами, разделили сей жидкий приют.

Зашебуршались воспоминания. Ч'ен-Тч'аа-

Жч’увн узнала грот — уже была здесь раньше, неведомое время назад, но достаточно давно, чтобы увидеть за жизнь, как большая луна умирает трижды. Она побывала здесь, когда приближалась к поверхности Н’Ю-Атланчи в завершение собственного путешествия к морю, к миру.

Дрейфующая, воспринимающая, медленно вращающаяся, пока перед большими глазами нескончаемо сменялись огни наверху и внизу, Ч’ен-Тч’аа-Жч’увн — неблагодарный благоприобретатель случайности. В своем плавании, отвлекаясь на кристаллические вспышки, она встречает маленькое плавучее создание: длиннее своей ширины, приблизительно цилиндрическое, о четырех конечностях, мягкое, с головой на одном конце, с плоскими глазами, почти без ушей, густо насыщенное нервами, плавучее, блаженствующее, неосознающее — С’цча.

Они созерцают друг друга. Ч’ен-Тч’аа-Жч’увн медленно колышет конечностями, неторопливо и без осознанного намерения направляясь к сестрице. Точно так же вторая, скользя через морскую воду, толкаясь хрящеватыми лопаточками, неопределенно движется вперед. Они сближаются, совпадают, медленно дрейфуют вместе, воспринимают мягкий эпидермальный

контакт, их цилиндрические туловища встречаются с почти неизмеримо слабым давлением, ножки скрепляются, мягко сплетаясь, передние конечности, сначала удерживавшие нынешние позы, по мере упрочения контакта и сцепки ног непривычно опускаются, медленно движутся к подобию взаимных объятий, удерживая двух С'цча рядом.

Мало-помалу развивается митозоподобный процесс; нейронные клетки каждой С'цча делятся, поляризуются, но не производя диплоидных хромосом, распределяются мейотически, вырабатывают спиремы, нити пронизывают стенки клеток, встречаются, взаимодействуют, передают закодированные воспоминания — две С'цча делятся опытом. Сцепившись в нейронном союзе, объятые питательной влагой, близняшки С'цча дополняют одинаковое происхождение одинаковыми жизнями.

Сестра дает Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн свою жизнь — похожую и в то же время с прибавлением неведомого зрелища: фигура, смутно-смутно с'цчаоидная, вертикальная в покое, ноги прочно стоят на плоскости верхней коры Н'Ю-Атланчи, с виду словно бы сделанная не из того же, из чего С'цча, но и не из кристаллов или жид-

кости — быть может, из материала спутников Н'Ю-Атланчи, — искаженная морем, вертелась, закидывая что-то странное, большое, плоское, из густых параллельных и перпендикулярных линий, затем возвращая, снова и снова, а теперь хватая эту штуку, что-то вынимая из нее в выступ на своем туловище, вновь бросая штуку из густых линий, а потом ушла — не уплыла, как плавают С'цча, но ушла, вертикально, каким-то образом балансируя на ногах, непостижимая для дитяти Всематери, сестры Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн.

Спиремы отстраняются, стенки клеток восстанавливаются, нейронный союз С'цча подходит к концу; передние конечности разгибаются, ноги расплетаются, понемногу они расплываются, и вот случайное движение воды подхватывает одну сестру прочь, они еще чувствуют друг друга в дрейфе, случайно двигая конечностями, разделяются все большим и большим расстоянием, теряются друг для друга.

Теперь Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн плывет под верхней кристаллической корой Н'Ю-Атланчи на спине, глаза впитывают сенсорные данные, новые воспоминания сохраняются в нейронном центре, но не анализируются. Она не удивляется, не боится, не радуется. Она чувствует.

Она не ищет шахту наверху или внизу, но в конце концов к ней прибывает. Сверху через морскую воду смутно просвечивает сияние: ночные звезды и спутники. Она неопределенно выгибается, чтобы принять перпендикулярное положение, лениво гребет вверх, вновь выравнивается — и дрейфует.

Вскоре восходит солнце Н'Ю-Атланчи NGC7007, озаряя небо, отражаясь и преломляясь в море и кристаллах. Вскоре Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн, дрейфуя ничком, почти с изумлением чувствует удар вокруг от штуки с тесными линиями, чувствует, как ее тянет, поднимает, на миг вырывает из вод Н'Ю-Атланчи. На миг ее захлестывает поток новых и незнакомых данных, будто она полностью покинула родной мир. Органы чувств шлют нейронному центру смешанные сигналы. Она слышит неслыханное, видит невиданное и непонятное, чувствует на ощупь/запах/вкус, как никогда раньше.

Все недолго.

Ничего не понимая, она окунается в новую среду: замкнутую, теплую, солено-влажную, да, но темную, впервые в жизни Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн кромешно темную, и все-таки с примесью нового элемента, нового ощущения, а также с ощуще-

нием других С'цча поблизости, больше С'цча, чем она встречала за свой срок, но все притихшие, и собственные чувства Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн притупляются, приглушаются, и вот она теряет осознанность, перестает чувствовать и реагировать.

4.НА БОРТУ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «ТЕОДОР БИЛЬБО»[208]

Утро, поднялся Алкан, поднялись морпехи, поднят нов-алабамский краснобелый стяг на стар-добром флагштоке, поднят дух, поднят сержант, товьсь, оденьсь, двадцать-тридцать отжиманий, оукей, пора заморить червячка (и не одного). Морпехи в шеренги стройсь, налево равняйсь, по головам перещитайсь, ногами маршируйсь, ложками вооружийсь, к столу гнийсь, ртами кормийсь:

:кукурузная каша, лярд, кукурузный хлеб, рассветный свет (щетай нет), слов мало мало — дай маффин — мм — кувшин — мм — мм. Тут ток кадровый состав, сплошь мужики в рассвет да-

---

[208] Примечания: 208

Теодор Бильбо (1877–1947) — американский политик (правый демократ), губернатор Миссисипи, чье имя стало символом белого расизма.

ров-привет тут и там осоловелые взгляды, тут скамья мыслями чутка далека, вид оцуцующий, на этой мож думают о мисс ММ, а на той какой-нить морпех ерзает отсиженной задницей в мечтах о Пышке. А че?

Так доедай, сержант, доедай, залп отрыжки и ищече хватай в рот забить иль залить, брюхо набить да сытно поржать о старике Джоне Пентюхе последнем у Пышки, шош лучшей объедки, чем сидеть голодным, старик Джон, хотя кому лучшей то что в руке (если улавливаете).

Заполировать смачное кулинарство шустрым (но обязательным) визитом в церковку за дозой божесного. Будем эпиграммны и скажем «месса после набора массы»? Не, не будем.

Темнемежтем Алкан счастливое стар-доброе солнышко льет лучи в витражи с серцыраздирающими сценами в часовню Святой Лерлин Маккуин[209] озарять душеобеляющие ряды паствы, скамья-скамья-скамья как одна семья пред капелланом, тот седлает своего конька (у всех свои вкусы) в заметной бодрости духа, окидывает

---

[209] Примечания: 209

По всей видимости, имеется в виду Лерлин Уоллес (1926–1968), первая женщина-губернатор Алабамы. Стала губернатором только номинально, как ширма для своего мужа, предыдущего губернатора, который не мог переизбираться по закону на второй срок подряд. Продолжала сегрегационистскую политику мужа (оба — правые демократы).

взглядом ряд за рядом сплошь серые униформы с сытого откорма начищены по норме, офицерское отделение да воссядет на правой ягодице, младкомсостав да на левой, плечи расправить, душу поджать.

Сёня проповедь все аптомш. Славно, что Бог на нашей стороне. Спасиб, стар-добрый старина, ух, ток представь — воевать супротив Бога в *ихних* рядах. Скок у него дивизий, по весу? Воспоем пару стар-добрых гимнов (мелодия — офицеры, хор — младкомсостав): например, «Старый почетный крест» и «Я мечтаю о белом торжестве»[210]. Дражайший капеллан пару раз сменяет наряды под дисгармонику и барабаны, выходит на большой финал в золотой ризе с кобурой и представляет — Поющую и Пляшущую Вам Прям в Серца — сладкоголосую птаху.

Птаха встает да приказы на день раздает. Фухты! И вот — Наш форт наш лагерь наши космари получили приказ, старший офицер просит отблахдарить кадровый состав за прекрасную работу, молцы, лучшие младшие офицеры в истории, гордость флота, миссия закончена, персонал со-

[210] Примечания: 210

Отсылки к религиозному гимну «Старый потертый крест» (Джордж Беннард, *The Old Rugged Cross*, 1912) и «Я мечтаю о белом Рождестве» (Ирвинг Берлин, *I'm dreaming of a White Christmas*, 1941).

кращается, вперед, аты-баты ребяты, радуйтесь возвращению в таинсную межзезную безну, чтоб надирать задницы во славу Нов-Аламского Уклада.

— Ческашьте, гип-гип ура? — спрашивает старый ворчливый сержант первокласса (уорент-офицер запаса, об чем никому не даст забыть) задвигая нашсержанта.

Нашсержант ревет — В хлубь! Нас всех ждет жаркое на стар-добром космокрылом бомбере!

— О! — восторгается ворчун. Чтоб не остаться невоспринятым, дублирует — о!

— Вы найдете свои назначения на (чего и следует ожидать, имея пральную подготовку) батальонной доске объявлений сразу после Религиозной Практики, — грит птаха.

— Воль, — командует возлюбленный капеллан своей пастве — на!

Почистив душу, облегчив сердце, преисполнив голову благомыслями о Боге и Планете, наш стар-добрый сержант после церкви читает приказ на доске (той самой), пробегает глазами длинный список имен, званий, номеров, повдоль у кажного оглашается судно из флота Багрового Прилива, новые назначения почти для всего кадрового состава, названия да маркировка кораблей

кажному армейскому офицеру от стар до млад кажный рад, а остальные остаются кадровым составом, блюсти базу или в школу подготовки офицеров.

Нашсержант глядь-поглядь — глаз, мож, не алмаз (уж не зеленый юнец, хотя форму поддерживает буте-нате), но с очками справляется. Вона стар-приятель Гордону Лестеру Уоллесу III быть сержантом артлерии на борту старого «Джеймса О. Истленда»[211]. Нашсержант и сам ходил на «Джимми О». Вспоминает славные времена. Дауш. Гордись, Горди. Тош надо. Читает даш, другие тут и там — там да сям, за тем да этим. Фредди в списке нигде не видать — неинач как остается на базе. Шош, так он черных не покрошит, зато жисть сладкая.

А сам сержант? Егот куда? Не на «Джимми О». Нет. Сержант на список смотрит, наконец ся находит. Здрасьте-пжалста, сержант, быть те командиром артрасчета на борту космического корабля «Теодор Бильбо».

[Прим.: а чейто у стоких нов-аламских кораб-

[211] Примечания: 211

Джеймс Истленд (1904–1986) — американский владелец плантаций и политик (правый демократ), сенатор от штата Миссисипи. Сегрегационист, возглавил Южное сопротивление движению за гражданские права.

лей стар-миссипские названия? Поди знай.]

Нука-нука, кто у него в расчете? И кто сержант? Командиру, который чет стоит, *не плевать*ь.

Нашсержант двигает к «ТэБэ», заскочив в офицерские казармы, ток чтоб собрать пару скудных скарбных чемоданов [чемоданы? ну, зовите вещмешками, коль так нравится] для космослужбы, прыг на военный гирокар, закидывает мешки, гонит по асфальту к «ТэБэ», поднимается на борт, квартируется. Коспехский гамак не сахар, но сойдет, как и резиновое желе на завтрак.

Сержант скидает вещички, регается, находит первого из своево расчета и разТэБэшивается ждать других снаружи. Чапает по летке, любуется «Теодором Бильбо» — корабль всем кораблям корабль. Высоченный округлый цилиндр поблескивает в чудном утреннем свете Алкана. Наверху фюзеляж окружен приборным кольцом, а поверх — конический командный модуль с командной рубкой, оборудованной по последнему слову техники. Там те и пост рубинового лазера, жгущего врага жарким светом, када «ТэБэ» возбуждается.

В самом цилиндре — жилотсек, на шкуре — оружейные модули, а у земли к основанию цилиндра прикручены два огроменных топливных модуля — блеск да сверк в согревающих лучах стар-доб-

рого счастливого алканского света, — а в нутре у них сверххолодная разжиженная компматерия: булькает у предохранительных клапанов, шипит и дымит на алканском тепле, пуская сгустки и завитки ангельских волос у сферических модулей и основания старика «Теодора Бэ».

Наконец подтягивается отделение нашсержанта. Славные парни, все до единого, из годных чистокровных южанских семей. О да. Славный блондин-лазерщик из Эхолы, помощник ремонтника из Юто, парные топорщики из Коксхита да Сэлитпы, светометчик из Гаска и млад-сержант из Саггсвилл-Центра. Свои в доску. Вот че важно.

Нашсержант зря время не терял, поразнюхал, остался доволен расчетом, кроме одного там двух. Не угодил сержант шарах-взвода. Малый по имени Рафф Слоком. Знавал его по базе. Не пил, не кутил — *суровый* суксын, если усекаете. Глаз да глаз за таким Слокомом.

И взводный мутноват. Как припрет, хороший командир должен полагаться на тех, кто под ним ходит. А тут один (сержант-то ниче, спасиб и на этом) — салага, ток из офицерской учебки. Причем из наших, размышляет сержант (весь седня в размышлениях а?), и не шибко-то мне подчинялся. Ммм. А терь взводный салага. Салага

Снарп. Оукей, как-нить разберемся.

Нашсержант строит своих на смотр. А потом — все на борт, бегом на корабль «Теодор Бильбо». Все на месте, снаряга прибрана, пристегнулись, готовы к глубняку.

Из больших волосатых шаров звездного корабля «Теодор Бильбо» в страдальные камеры шпарит сверххолодное сверхгустое топливо. Молекулы активируются, атомы жмутся, электроны состригаются с основ, втискиваются да впихиваются да утаптываются, жахаются да бахаются, болью балансируются, насилу насилуются, ядра рвутся, друг в друга бьются, силы бешено кружат и вихрят, одно становится другим, чем-то меньшим, часть чего-то становится ничем, вырабатывается энергия, вопит в реактивный движок, моля гулкий глухой космос о пощаде, освобождении, смерти в оттеняющем всполохе гиперэнергетического выхлопа, толкая «Бильбо» прочь с Нов-Алабамы в темный вакуум кругом Алкана — толкая, вздымая, швыряя ввысь.

«Теодор Бильбо» идет выше, выше, повдоль планетной плоскости прочь от Алкана, содрогаясь и вопя.

Это, знач, реактивное движение с помощью измученной материи.

На Стар-Земле миром правили шобих жидарабы. Потомки граждан стардавней Федеративной Республики Израиля и Иордании [«Ветчина да яйца — лучше нет в помине, чем завтрак в Палестине»[212] — э-э, была такая большая достопримечательность для туристов], переросшей в Пансемитскую Империю, Нео-Сим, что распространялся, покорял и брал. Растущее население, лебенсраум[213] — так вторили жидарабы какому-то позабытому политикану прежних времен.

Великие державы, чтоб их остановить? Эт хто?

Бывшие Соединенные Штаты, э-э, а эт где? Слишком много срались с СССР. Чуть *всех* нас не раздолбали. Державы 3-го мира терпеть не стали, с радостью разогнали их по независимым единицам. Скажем, нация Айовы — скажите, устрашающе. Или ну, Горная Бадахшанская Автономная Область.

Чехо мать ее словакии уж точно задышалось спокойнее. Или там Исландии. Кто боится большую злую Джорджию (что американосскую, что

---

[212] Примечания: 212

Отсылка к песне со строчкой «Нет ничего лучше, чем быть в Каролине» («Carolina In The Morning», 1922).

[213] Примечания: 213

Lebensraum (*нем.*– «жизненное пространство»). *См.* сноску ранее.

совковую[214])? Что там, что этам — какие-то крестьяне.

На время попритихло. Неоклассический Катай — не проблема: внутренний слишком занят для зарубежных авантюр, кормил голодающие миллионы. Новый девиз Японии — «Делай деньги, а не врагов». Вот все малыши и расслабились. А потом пришли шобих жидарабы. Пока-пока, Стар-Земля.

А промежду прочим, откуда планеты-колонии? Измученная материя мчит быстро. Не, вы не просекли. Быстро — эт вам не *быстро*.

Вот, знач, представьте, что для вас такое «быстро». Терь представьте, что это «медленно». И что *ТЕРЬ* «быстро»? Оукей? Так, теперь и *это* — «медленно». А что теперь быстро? Еще успеваете? Смекаете? Оукей, вот терь вы прикинули, как быстро несет космические корабли измученная материя.

Итак: планеты-колонии. Страна, которая не может прокормить свой народ, не может мостить улицы, не может учить детей, не может лечить больных, не может решать свои трудности… всегда может гнаться за престижем. Когда-то

---

[214] Примечания: 214
Грузия по-английски произносится так же, как и штат Джорджия.

открывали авиалинии. Потом — ядерка. А терь: все, кому в одном месте свербело, заимели космические корабли на измученной материи. А есть корабли — что дальше? Точно! Есть и планеты.

И вот у нас: Нов-Афганистан, Нов-Албания, Нов-Андорра, Нов-Аргентина, Нов-Австралия, Нов-Австрия, Нов-Бельгия, Нов-Бутан, Нов-Боливия, Нов-Бразилия, Нов-Болгария, Нов-Бирма… хочете поскучать, читайте атлас. А еще есть Нов-Алабама, Нов-Аляска, Нов-Аризона, Нов-Арканзас и еще 49 штук.

А еще есть планеты под властью диет, разных хобби, религиозных шизиков, политических фанатиков, садомазохистов, алкоголиков, лотофагов и еще парсотен чудил всех мастей. *А еще* были планеты извращенцев обоих сортов — но они не размножались и повымирали.

А еще есть колонии, которые блюдут электромагические традиции своих предков, сохраняя все преданности и ненависти.

И когда шобих жидарабы наконец взяли бедняжку Стар-Землю за жопку во всей целкости, колонии остались сами-одни. Но — с быстрыми космическими кораблями на измученной материи. И коль Нов-Алабама ненавидит Нов-Гаити?

Нашсержант летит на войну!

5. В ДЕПАРТАМЕНТ ЭКЗОНЕЙРОБИОЛОГИИ

— «Мсье Гонкур, мы не можем предоставить техническую и финансовую поддержку, необходимую для конкретных параметров миссии»! *Merde*![215] — вскричал Гонкур, колотя кулаком по запачканной деревянной столешнице. — Да никто не может раздобыть поддержку, Трюдо! Ты это знаешь, я это знаю. Мы живем в бюрократии, а ее секрет в том, что действовать надо без официального одобрения. Я даю тебе поддержку — а я твой начальник. Слышать не хочу канцелярские отговорки. Прибережем это для Антуан-Симона и остальных олухов на верхушке. Давай хотя бы друг с другом говорить начистоту.

Трюдо поморщился из-за вспышки Гонкура.

— Ну? — спросил Гонкур.

— Прошу прощения, сэр. Я уже написал и прочитал столько технических докладов, что, боюсь, заговорил на их языке. Насколько я понимаю, вы хотите слышать правду без обиняков.

Гонкур буркнул в подтверждение.

— Я хочу простой доклад о твоем образце — и уж лучше бы ты мне угодил. Министерство дышит

---

[215] Примечания: 215
Дерьмо! (*фр.*)

в затылок Антуан-Симону, и ему нужен результат — иначе у него будут большие-пребольшие неприятности, да? А это означает, что *нам* нужен результат — иначе мы *все* узнаем, как выглядит обратная сторона Гонава.

Трюдо размахивал коричневыми руками, дабы лучше донести мысль:

— Образец функционирует как полагается. Контрольный организм внедрен в полностью оттаявшее тело. Темпы исцеления внушают оптимизм. Думаю, мы уже можем добиться реакции на звуковые раздражители.

Гонкур встал из-за письменного стола, схватил подчиненного за руку и увлек за собой к дверям кабинета.

— Чудно! Посмотрим, что за чудеса ты сотворил, Трюдо. Мы им еще покажем!

Двое чиновников миновали секретаршу Гонкура, прошли по унылым коридорам мимо матовых лабораторных окон, огибая углы. Остановились перед дверью, на которой значилось: «Экзонейробиология». Трюдо распахнул дверь, и они вошли.

— Прежде чем увидеть образчик, мсье Гонкур, предлагаю просмотреть запись уже проведенных хирургических процедур.

Трюдо спустил экран вдоль стены, щелкнул

переключателем — и экран замерцал. На нем появились анатомический театр и команда хирургов. В помещение вкатили тележку, с нее на стол перенесли тело, накрытое простыней. Все это время в кинозале стояла тишина. Затем простыню сдернули, раскрыв тело. У него не хватало левой руки, плеча и половины грудной клетки; место разрыва обозначали неровные края.

Теперь камера показывала двери, впустившие новую тележку. Когда ее подкатили на место, экран переключился на вид сверху вниз. Теперь у тела на столе на месте прежних ошметков плоти виднелся четкий край, разоблачая всю тяжесть увечья.

— Это, разумеется, было позже, — прокомментировал Трюдо. — На данный момент процедура длится несколько часов. Этот недостаток мы надеемся преодолеть рядом мер.

Гонкур извлек из кармана обвисшего пиджака небольшую трубку и набил табаком.

— Хочу увидеть все от начала до конца, — сказал он. Трюдо чиркнул для него спичкой. За серо-синими облаками продолжала сменяться картинка.

— Как видите, готовится второй кадавр, — говорил Трюдо. — Кожа размечена под размер первого

тела, с достаточным запасом для ускорения роста. Внутренние органы мы не трогаем — они взяты целиком у того или иного подопытного.

На экране части тел складывались вместе, подобно головоломке. Хирурги прилаживали кости, сшивали нервы и мышцы, соединяли кровеносные сосуды, словно сантехники, ремонтирующие водопровод. Следовала склейка за склейкой, обозначая ход времени.

Наконец хирург — очевидно, главный — жестом велел двум ассистентам зашить кожу на огромном псевдоразрезе. Еще через несколько минут экран погас, и Трюдо включил свет.

— Очень хорошо, — сказал Гонкур, — мастерская операция, но все-таки это логическое развитие стандартных методов.

— Однако разница!.. — воскликнул Трюдо. — Разница в том, что мы не только пересаживаем конкретный орган от донора пациенту. Мы объединяем части двух мертвых тел, чтобы получить одного полноценного человека.

— И будет ли он жить? Будет ли функционировать? Сможет ли этот новый лоскутный человек нести военную службу? Интерес здесь, к вашему сведению, не академический. Мы должны решить проблему личного состава, должны при-

вести страну к победе.

Трюдо встал и посмотрел Гонкуру в глаза. Тот не поднимал взгляда от камеры своей трубочки — затухшей, и потому он пытался раздуть в ней жизнь.

— В случае космических травм этой операции мало, — начал Трюдо. — Когда людей ранят в бою — смертельно ранят — нарушается целостность стен корабля и их скафандров и внезапное действие вакуума и сильного холода производит двойной эффект.

Трюдо вновь взглянул на Гонкура. Тот раскурил-таки трубку и следил за лицом подчиненного с неугасающим интересом. Трюдо продолжал:

— Внезапный физиологический эффект ошеломителен. При нулевом давлении мгновенно исчерпывается воздух в легких. Начинаются тошнота и испражнения. Опустошается мочевой пузырь. Существует опасность повреждения глаз, барабанных перепонок, кровеносных сосудов — всех чувствительных к давлению органов.

Но в то же время температура тела падает до абсолютного нуля. В вакууме, разумеется, нет охлаждения за счет теплопроводности, но температура рассеивается с невероятной скоростью. Тело мгновенно замораживается еще до того, как

давление наносит ущерб. Вот почему мы имеем на руках тела в столь хорошем состоянии.

Трюдо замолчал, увидев жест Гонкура.

— Все это очень хорошо, но что там с центральной нервной системой? Может ли воскрешенный труп функционировать?

— Независимо — нет. Сказывается шок смерти — мы еще не понимаем до конца его влияние на человека, хотя уже подключали устройства графической записи к различным точкам ЦНС и собрали потрясающие данные. Судя по всему, они воспринимают сенсорные данные и, вероятно, способны на мыслительный процесс — и все-таки добровольно не функционируют.

Потому мы экспериментируем с существами из NGC7007. У них в ходе эволюции развились чрезвычайно сложные и чувствительные нервные системы, широко распределенные универсальные сенсоры, но при этом нет ни воли, ни сопротивления. К тому же их маленький размер позволяет внедрять их в основание мозга. Они быстро акклиматизируются и запускают волокна в спинной и головной мозг. Кровоток дает им все необходимое питание.

Благодаря строению этих организмов можно брать контроль над подопытными. Импланти-

руя их в череп, мы воскрешаем человека в виде квазиавтоматона для военных или производственных целей.

— Квазиавтоматон, — повторил Гонкур. — Или зомби. — Гонкур тщетно пососал трубку, выбил погасший пепел и вернул ее в карман. Затем поднялся со стула, прибавив: — Очень хорошо, а теперь взглянем на ваше лабораторное чудо.

В следующем помещении на больничной койке лежал и медленно дышал лоскутный человек. На теле, на котором из одежды были только штаны, в глаза сразу бросался яркий шрам от шеи до грудины, который поворачивал почти под прямым углом и пропадал за грудной клеткой. Цвет пришитых руки и плеча отличался от коричневого оттенка всего тела. От электрода в виске неподвижного мужчины шел тонкий провод к устройству связи. Маленький компьютер выводил данные на графический дисплей, по чьей поверхности нейтрально-серого цвета лениво плыли волны разной толщины.

При звуке шагов двух посетителей фигура на койке распахнула глаза. Экран замерцал. На нем проявились силуэты Гонкура и Трюдо. Они приближались к точке зрения, находящейся за стянутым к ногам одеялом. Гонкур остановился,

поднял руку перед Трюдо, чтобы остановить и его. На экране фигуры сделали лишние полшага. Затем изображение рассыпалось, с дрожью восстановилось, изображая их на своем месте.

— Как видите… — начал Трюдо.

Голос Трюдо из аудиоустройства искаженно повторил:

— Как видите…

Трюдо замолчал. Замолчало и устройство, потом повторило тембром выше:

— Как видите. — Еще выше: — Как видите. — И еще: — Как видите…

Трюдо быстро подошел и отключил аудиовывод.

— Как видите, — начал он опять, — мы получаем данные обо всем, что слышит или видит подопытный. Со звуком еще есть трудности, но они устранимы, если унести динамик подальше.

Так или иначе, — продолжил он, — функционирование органов чувств — это лишь часть нашего успеха. Смотрите.

Он подошел к самой койке.

— Подними руку, — скомандовал он. Тело подняло руку. — Сядь!

Создание на кровати сдвинуло ноги к краю матраса, оттолкнулось разными руками, подождало.

— Встань, — сказал Трюдо. Создание оттолкнулось от койки и встало, пошатываясь, рядом. Гонкур видел, как на экране в зависимости от движения мертво-живых глаз возникают то он, то Трюдо, то палата.

— Довольно, — попросил Гонкур.

— Лечь, — приказал Трюдо. Создание с его помощью неуклюже улеглось обратно в койку. Когда оно успокоилось на спине, на экране на миг застыл потолок, а потом все снова залило серо-зеленым цветом — опустились веки.

На обратном пути в свой кабинет Гонкур сказал Трюдо:

— Весьма впечатляюще. Придется лишить рабочих рук кого-то другого, но я таки раздобуду вам людей и средства.

— Благодарю, — сказал Трюдо. — Я уверен, что у нас все получится, сэр.

— Ничуть не сомневаюсь, — отозвался Гонкур. Вернувшись в кабинет один, он снова достал из кармана трубку.

6. В БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Календарь листаеца.

Чет приключаеца.

Гордон Лестер Уоллес III (уж сам сержант, меж-

проч) с унылым видом тащит красную пыль по красивому кабинету. — Лануш, — говорит он главнюку, — бывайте.

Друг наш Горди да приятель его Адам А. Айкен переходят краснопыльный двор Фот-Сили-Мэй, город Летохатчи, Независимая Планета Нов-Алабама, губернатор Юджин Янгермен; бесцельно бредут в сторону Сержантского клуба, попинывая камешки, поплевывая да посвистывая под соответственные носы строго неофициальный гимн Форт-Сили-Мэй.

Адам, он такой — Горд, а как жеж «Джимми О»? Тыш вроде хотел в звездофлот, расшибать бошки ниграсвинам на Нов-Гаити?

Горд, он такой — Ухммм — или наврядь тово, переняв немногословие у одного друга, который останется неназванным (раз уж так повелось до сих пор).

Горд — он армеец неплохой, если по нраву армейцы, а коль нет — закройте глаза, он сам уйдет. Вместе с Адамом А. Айкеном. Во всяк случае Горди нахватался речевых привычек у свово приятеля и сначала мало че говорит, но Адам, он такой никак не унимается — Ну, Горди, ну? То слетал, а то терь вернулся, че так? Большая космическая битва? Поубивал хоть нигр-то? Повидал Нов-Гаи-

ти? Потрахал там нигробап?

Горд, он хоть привычек нахватался, но сам будет чиаэк не *упрямый*. — Ухммм — это тоже ответ, но терь Горд поддается, вот она, его слабость, поддается и такой — Нуда, слетали, ага, на «Джимми О» и все такое прочее, видали корабли нигр: пару видали, пару сшибли. А они нас. И вернулись.

Молца, Гордон Лестер Уоллес III. Не так хорошо, как отвечал бы тот, другой, но всештаки молца.

Горд останавливается и глядит в пыль (ну и в траву тоже, есть тут и трава, не так штоб газонокосильщики работали круглый год, но самзнаете, как оно с личсоставом на армейском посту, народу куча, а делать нехрен, вот главнюк и шлет иногда косить пыль — коль попадешь в пылекосильный наряд и думаешь, что глупости это, ты лучше варежку закрой и коси).

Больше Горд ниче не грит.

Адам А. Айкен, он такой — *Плохо* там, Горд?

Горд, он такой помалкивает, но смотрит ему терь в лицо, в глаза самые смотрит, и взгляд у него, прямскажем, нехороший.

Но Адам не унимается, очень-преочень красноречивый. — Ась? — грит.

Горд, он такой — Ниче хорошего, Адам, по-мойму, проиграли мы. Как минимум мы свалили

домой. Терь Старик Джин созывает все дружеские планеты в Лето. Тебеш тоже наряд достался?

Адам грит, что да.

Они топают по ступенькам Сержантского клуба и стильно вплывают в разъезжающиеся двери, находят столик и примощают зад.– Подкинемка на «Каменную стену»[216] — грит Адам. Из его протертой серости показывается холеная англосаксонская рука с монетой в пятьдесят хлопков. Пыц ее в воздух, и она падает на стол с удручающим бдзынь да пару раз прокручивается, ложится картинкой коробочки хлопка да тисненным цифирью 50 вверх.

Горди пытает удачу, ему выпадает лыбящийся портрет какого-то стародавнего пердуна, и эт ему идти за пенным.

Много добрых пенных спустя Горд да Адам стильно выплывают обратно из дверей Сержантского клуба. Один отрыгивает, и оба не знают кто.

Два добрых породистых южанских нов-алабамских унтер-офицера космической пехоты запинаются, цепляясь друг за дружку, до казарм — и в люлю.

---

[216] Примечания: 216

Томас (Каменная Стена) Джексон (1824–1863) — генерал Конфедеративных Штатов Америки в годы Гражданской войны.

Кто б ни отрыгнул тогда, второй отрыгивает сейчас, такшо в расчете. Вот и славно: никто не отстает, никто не обгоняет.

Отбой, глаза закрыты, стоит хрып и соп и Нов-Алабама вертится вокруг стар-доброй оси.

Крутятся стрелки часов.

Алкан шибает светом через сетчатые стопстекловые окна — Гордону будильник лучше Алкана не нужон. Сам будит всех & завтрак & обратно в казармы & плюнуть & растереть & влезть в новую серость & наружу & стройсь & перекличка & направо-равняйсь & марш & развод & доклад.

Приказ капитана Кэла Коберли: всем на автобус & по красному проселку, вращая гироскопами, в Лето.

Летохачская Ратуша — место проведения межпланетной конференции. Вау! Неонеоклассическая архитектура, фронтоны & портики, колонны & террасы & ступеньки & в переде (можете поверить? эт проверка, есчо) конфедератский мурмуриал, какой-то бородатый старый хрыч на старом коне несет старый флаг в какую-то старую битву на какой-то старой планете кто знает где или зачем?

Нов-алабамские коспехи выстраиваются в почетный караул, два ряда лицом друг к дружке

(ееееe ток гляньте на эту рожу напротив Горда!) все в старой традиционной серости со сверк-медными пуговицами & толпу селюков (видали того старого толстопуза что жамкает кобылку?) удерживает городская полиция.

Городская полиция, ты подумай! Белые защитные шлемы да сверк-зеленые непроглядные очки на пол-лица полицаев, подбородные ремешки чтоб стар-добрый красивый шлем не свалился со стар-доброго красавца. Бачки да черные кожанки с патриотическими лозунгами (Вспрянем вновь![217] Нет кровосмешению! ((Почти не влезает.)) Никада! Закон-порядок!.. и прочая патриотика) серебристые заклепки у десанта медные у сержантов золотые у медных лбов.

Узкие штанцы, оч-преоч тесные & большущие блестящие сапожищи, дубинки & баллончики с репеллентом от насекомых (или ну *чем*-то). Да парни без скрипа шагу ступить не могут.

Копы держат в узде местную селюковщину (в гражданском & большой но ожидаемой пропорции пустопуговной армейской серости), прикрывая коспехов, а коспехи держат в узде всех каво ни попади, прикрывая официальных

[217] Примечания: 217

«Юг воспрянет вновь» — девиз Южных штатов после Гражданской войны.

полномочных дипломатических представителей *дружеских* планет.

Подкатывает на джип-гирокаре первая делегация, сирены воют, красномигалки сверкают, рации трещат, гирокар встает на красном проселке промеж мурмуриала & Ратуши & посол спешается. Высокий & бледный, в белой фланели & широкополой плантатской шляпе & машет армейцам & городским копам & селюковщине & поднимается по ступенькам с парочкой одетых под него прихвостней & с чемоданом & чемт еще & шаркают в пыли его сапоги & двигают по ступенькам.

На пол их пути двери Ратуши распахиваются & является мэр Милберг Митчем & пара *его* прихвостней, каких-то дерганых & мэр радостно пританцовывает вниз & жмяхает послу руку & берет под локоток, как наверняка насмотрелся в какой-нить старкинохронике & с послом топает вверх по ступенькам & в дверь & сглас долой, как тут в красной пыли тормозит еще джип-кар (неужто никто и мыслью не подумает об несчастном почетном карауле, что там торчит да задыхается?) снова воют сирены мигают сверкалки орет сигнал сигналит ор опять посол & еще пара прихвостней & ни конца ни края, бед-

ный почетный караул, бедные городские копы, все *утро*, пока ктонада не набивается в Ратушу Лето у конфедератского мурмуриала (если ток вы решили в него *не верить*, тож вариант) & тут кой-че ищо.

Поперед всего Горд & другие почетные караульщики, пока суть да дело, не видали ни слуху ни пердуху *собсной* южанской нов-алабамской планетной делегации, нещитая стар-доброго мэра Милберна Митчема, а бли*ишн*, кто ш в здравуме его пащетает. По всему видать, их делегация с черного хода прошмыгнула, штоль. Кто там — госсек, войнсек, связьсек, хто знает, мож сам губернатор (не говоря уж о каком-нить стар-добром завалящем сенаторе из какой-нить Талладеги).

Но тутуш пускай Горд шебуршит извилинами, а вы прост расслабьтесь & слушайте, ага?

Пошли!

Из пылящего джип-гирокара вываливается последняя официальная полномочная дипломатическая представительская делегация (насмотрелись, да?) & топает по лестнице Ратуши, посол ручкается с мэром Милберном Митчемом & в Ратушу & два ряда сероформенных блестящемедных коспехотных почетных караульщиков сдвигаются с дальнего конца два шага вперед

па-аворот & арш двойной колонной округ конфедератского мурмуриала (а мож эт прост большой мусорный контейнер тада скорей поверите?) & по лестнице стар-доброй Ратуши к двойным дверям & какой-то гражданский прихвостень придерживает дверь & маршем прямиком в Ратушу & Большой зал & выстраиваются вдоль стен (все как отрепетировано — там вас не было) и встают на месте сми-ирна почетным караулом (не говоря уж охраной) для собрания.

Что оченно на руку Гордону Лестеру Уоллесу III, коль хоца послушать, что будет на собрании, и хто знает, хоца или нет, он просто сержант коспехоты и выполняет свой долг как его понимает, да? Но, мож, всетки хоца.

Впереди стол спикера & там сидит дядька & с ним пара прихвостней & перед ним столики & стулья & всетакое & везде ктот сидит & гудит & бормочет & все видом мрачные изредка смешок издают & на кажном столике кувшин с *чемт* & стаканы & еще один большой у спикера & стакан для тамошнего сидуна & пара для *его* прихвостней & мештем бед-несчастный коспехотный почетный караул торчит вдоль стен зала, глотки *пересохли* & никто не нальет, но дык для кого встреча, для заслуженных или обслуживающих?

Терь краснорожий за главным столом встает & наклоняется к микрофону, неприметно торчащему на столе & зачинает — Кхе-кхе!

Или кактотак. Не прям *Кхе-кхе*, не, а как бы прочистил горло да призвал к порядку лучше б молотком постучал ток никто не принес (за это быстро покатятся головы, будто повод нужен) и он прост грит, хотяп приблизительсно: — Кхе-кхе!

Все глаза на него, & он такой — Арр, милспрось на Нов-Алабаму и милспрось в Лето, я Юджин Янгермен, губернатор этой планеты, & я рад вас привецвать.

Вежливые угумс да агамс.

— Надеюсь все оценили госпримсво, традиционное южанское госпримство Нов-Алабамы да прелестного городка Летохатчи, надеюсь что все довольны расположением, что привецные гостинцы да бабы вам по вкусу и по щупу да всетакое.

Вежливые агамс да угумс.

— Терь нас ждет серьезное дело, а не этсе. Всем известна великая история наших народов, славные южанские традиции & обряды прошлого. Неча и напоминать о славновеликом прошлом наших предков на Стар-Земле, пока не пришли шобих жидарабы.

(Напоминать неча, но напоминал он ищо долго. Шош.)

— О чем мы хотели с вами седни погрить, так эт об нашенской одной загвоздке, э-э, об черной сволоте, э-э, об Нов-Гаити. Самсобой, любой дурак знает, что в честной драке белый мужик одолеет нигру — таков порядок вещей. Врожденное превосходство. Мы все эт с первого класса учим. Эт знали даж социолухи на Стар-Земле. Такие перпрохоцы и перпроходетки, как Оди Шуи, Хенни Гарт, Джоуни Кимболл[218]: они смекали, что человевчевский род — эт венец тваренья, а чиспородный белый человек — венец человевчевсва.

— Но вот есть проблемка с Нов-Гаити, & небось кой-кто из вас… — тут стар-добрый Губ Янгермен оглядел, кто слушает его & кому интересней свои ногти разглядывать, — кой-кто из вас — продолжает стардобрый Губер — дивится, чейто мы не раздавим нигразверюг своей превосходящей мощью.

Он замолкает для мелкого глоточка (хотя смаря как мерить) славной жидкости из кувшина, огля-

[218] Примечания: 218

Одри М. Шуи, Генри Гаррет, Джастин Форд Кимболл — ученые и чиновники с Американского Юга, которые пытались обосновать превосходство белой расы над черными или иммигрантами и политику сегрегации с научной точки зрения и писали об этом книги.

дывается, посол с Нов-Миссы дрыхнет, посол с Нов-Трансвааля во что-то режеца пацталом с послом с Нов-Мэддоксии[219], посол с Нов-Инсмита то ли слушает, то ли мож просто абстрактагированчески глядит вперед. Стар-добрый Губер, он знач качает белой копной волос (за такой волос любой отдаст голос, а то что длинный — так главное белый) и продолжает (или можсказать перепродолжает):

— Онозначкак: никто не спорит, что человек высшей паразита, хоть то злобный рычащий дикий брас, здоровая ломовая лошадь или мелкотравчатый варс. Но дикий брас, коль поймает чела на просторе, порвет его клыками & иголками. Да и варс — коль залезет *в вас*, кирдык. Это еще не делает их равными человеку, но сущво порядком ниже могет одолеть сущво на порядок выше.

— Но взять нигр, ни дать ни взять, — вы знаете, ни один нигра не сделал ниче полезного за всю историю, на Стар-Земле, нет уж, старик Джауни

---

[219] Примечания: 219

Лестер Мэддокс (1915–2003)– губернатор Джорджии, демократ. Сегрегационист, в нарушение Закона о гражданских правах (1964) не обслуживал черных в своем ресторане, затем был избран губернатором в 1966-м. Когда по закону не мог избираться на второй срок подряд, занял должность вице-губернатора при губернаторе Джимми Картере — будущем президенте США. Сам баллотировался в президенты в 1976 году.

это тыщу лет назад доказал, ни там, ни нигде. Прост ошибка природы, которая пробовала идеи, как сделать чет повысшей тварей из леса, с черным природа напортачила да со второй попытки исправилась.

— Но нигры — у них природный инстинкт убивать & ломать, и скажу вам начисто,– Стар-добрый Губер чуть не плачет — Влетело нам на этвойне *крепко*, и коль вы все не хотите, чтоб суверенирная планета вашей кровинушки, мир чистопородных южанских белмужиков, огреб от кучки плосконосых кучеряволосых чернокожих нигра-*дикарей*…

Стар-добрый Губер уже машет руками, но еще держит себя в них & театрально замолкает, чтоб все прочувствовали последнее слово,– …*предоставьте* нам помощь. Вот и вся недолга.

Тут он не шутит, оттарабанил да засим сел.

Ну, скок вам ищо хоца сидеть да слушать речи на дурацкой дипломатической конференции? Сами догадаетесь, что было дальше. Все стар-добрые послы повыражали сочувствие к священному кровному делу независимой планеты Нов-Алабама, судили-рядили день-деньской об солидарности и «Ниграм Ничего Не Должно Сойти с Рук».

Но тут посол с Нов-Миссы, он такой грит (довольно робко): — Все знают, мы за вас всей душой горой, Джин, но мы покупаем почти все тяжелые станки на Нов-Гане. Они не суются в войну, мы не суемся & отлично ладим, но коль сунемся мы, то сунутся и они: и вам лучшей не станет, и нам огорчение. — И дальше в том же духе, но суть-то вы наверняка уже просекли.

Посол Нов-Трансвааля, вот он встает на месте, пошатнувшись (кувшин на его столе почти пустой) и грит как-то так: — Ваше дело, самсобой, богоугадное, губернатор Янгермен, и белый южанокровный народ вашей планеты поимеет безусловную и безграничную поддержку белого бурокровного народа Нов-Трансвааля. Как вам известно, у нас свои нелады с Нов-Кафиристаном. Ниче такого, с чем мы сами не справимся. Стар-добрый Чака CVII жуть какой умный для нигры & мы с ним ладим. А у Нов-Кафиристана — у них, как вы знаете, быстрейший & большейший космофлот во всем секторе Нов-Африкаанса.

— Но скажу как на духу, губернатор Янгермен, нам и впрямь не улыбается оттаптывать мозоли стар-доброму Чаке. К тому ж мы всей душой верим, что Нов-Алабама — гордая, свободная да белая, — сохранит свой стяг незамаранным &

чистоту несмешанной.

Сыпасибо. — И садится, и все на него как бы смотрят и чутка хлопают, а потом смотрят на Стар-доброго Джина Янгермена и чутка краснеют, и зал снова затихает.

Старик Джин — он не сдается, но выжимает ток выражения солидарности (а на скок такой можно купить «Джэ Дэ» питкозолотого качества?) & мож вялое обещание финансовых кредитов, что тож ниче, но не заради того Джин ягодицы рвал.

И вот они маршируют обратно мимо конфедератского мурмуриала (или мусорного контейнера, эт как вам больше верится… если никак — так мож, мимо велосипедной стойки?) & рассаживаются по своим гирокарам & Горд-3 & прочие сероформенные меднопуговичные начищенные почетные караульщики, включая капитана Кэла Коберли (без пяти мин лейтенант) и приятеля ГЛУ Адама Айкена, все маршируют обратно в автобус & обратно в Форт-Сили-Мэй & на ночь свободны мужики.

Гордон Лестер Уоллес III да Адам А. Айкен остаются в сером, с начищенными космокрылыми бомберами, у Горда — новый значок за недавнюю (пусть и неахтишную) стычку «Джеймса О. Истленда» с космофлотом нигр; садятся в гиро

Горда & едут по любимому красному проселку в Лето, мимо знакомых мест, знакомых лиц, паркуюца на улице там, куда элита ходит за едой (или ЕДОЙ, где рядом Б А Р, как припомнят самые долгопамятные). Горд приятельски накидает руку на серые плечи А. А. Айкена да ведет его по некой лестнице & они подходят к грязноматовой двери, Горд заговорщицки подмигивает Адаму &такой:

:а-дук-а-тук-тук, а-дук-а-тук-тук, тук тукки-тук-тук, тукки-тукки-тук:

:или как-то так. Да и не суйть, потому как ниче не происходит. Он парраз повторяет свой тарапампам-де-де, припоминая, как делал его «былой гуру» (хех!) и друг, нашсержант, но неужто эт ложная память? Как Горд читал за сараем назади кучу лет позади, какай-то жуткая дрянь баламутит ил неслучившихся воспоминаний? Лучшей об этом не задумываться.

Адам усамлевается, Гордон Лестер пытается перевести все в шутку, складывает кулак и колотит по деревянной двери:

:ба-дыщ:

(два раза)

:да шаги внутри, дверь приоткрывается (цепочка) да в щелочку лицо — зырь, не тоштоп незнакомое, жирное, кукурузны волосы липнут

ко лбу от пота, пыхтит в своей простопуговичной армейской пропотевшей серости: — Чем могу вам услужить два очевидно славных джентль, э-э, — его глаза обводят Горда споверху вниз, Адама А. сдонизу кверху, останавливаются на лице А., улыбаются, горизонтально стреляют к роже Горда, и он завершает свою начатую многосложность — мена?

Горд отвечает: — Давот хочу показать своему дружищу вашславное представление, давненько не видал мисс Милзад Маркэм, воевал с космофлотом нигр, терь вернулся… — Тараторит как из пулемета.

Бугай-Блондинчик: — Премного жаль, сэр, я вас знать не знаю, а это частное заведение.

Горд: — Это в каком это таком и тэ дэ.

ББ: (вкратце) — Валите пока не завалили!

Адам А. Айкен: (впересказе) — Давай-ка по газам, Горд.

Горд согласно бурчит & поскрипели по скрипелкам вниз.

Адам: — А мож в Приват-Притон Пышки Пегги, Гэ Эл?

Что они и делают, соотвесно пробираясь через растресканный сортуар & побитые улицы под побитыми фонарями (Летохатчи *не* бомбили).

Перед стар-добрым 4П Горд видит все того же местного Джона Пентюха, на лицо на улице, с банкой репеллента от насекомых (или чемтам) как обычно у (пусь даж нерабочего) фонаря.

Внутри Г&А встречает сама Пышка в лучшайших традициях южанского госпримсва.

— Седня ужасный наплыв, мальчики, сток гостей в городе на большое собрание в Ратуше, — чиричит Пегги, поправляя девчончьи блондинистые кудри (пока она грит да кивает, они так и норовят сползти на лицо) — но мы желаем угодить. Что по душе: на полу иль на другом полу, просто иль с подковыркой, садо иль мазо, страсть иль сласть, любо иль люто, вдвоем иль всколькером, счас иль потом, меньше иль больше, хорошо иль лучше, спереди иль сзади, сверху иль снизу, с чувством иль с толком, анал орал иль генитал, тонкие иль толстые, так иль сяк и прочая.

(Пегги — она завсегда расстарается не прост дать, а что попросят, такова уж ее формула успешного предприятия.)

Горд, в сторону Ада: — Ща все буит, Ад. — Пышке Пегги: — ПП, прост темную комнату, мягкий пол, открой дверь & устрой суприз.

Вскорь Горд & Адам лежат бок к боку да плечом

о плечо, голые & готовые к представлению. Свет приглушается, дверь приоткрывается — шоу начинается.

Дама немалая, спорнет; Гордон Лестер на миг прикрывает глаза, зато слышит звуки всяческого одобрения от Адама; Адам такой — Ты ток глянь, Гордон. — Но Гордон, способственый отсрачивать удовольствие, он жмурит глаза да грит — Сначала прочувствуем.

Гордон ждет в самодельной темноутробе & тут чувствует, как че то удивительное делает четоч удивительное в четоч удивительном. Выдает чето оригинальное навродь (цитата неточная) — Какого нахрен хрена в трибога госда душу мать!

От Адама Айкена — неожиданная артикуляция.

Гордон распахивает глаза и в изумлении оглашает: — Мисс Маркэм!

И тут как начнется — тут и Гордон Лестер Уоллес III, и мисс Милзад Маркэм, и Адам А. Айкен, и один или более удивительные предметы всяко-разно связаны & скручены, мутки замучены & шутки замутчены, кто-то порется & кнутом порется, то да се туда-сюда с пятым на десятом жарится & шпарится, бахается & трахается, тыкается выкается & мыкается, хватается & вставляется,

массируется муссируется мутируется пермутируется & спермутируется, жмется бьется & сечется, хлестается стегается & кончается.

Но — без подробностей. Если думаете, что это история для вашего телесного облегчения, то как бы не так.

Короч говоря, с утра Гордон снова отбывает на космическую службу.

7. ТОЙ НАЦИИ, КОТОРУЮ МЫ ЗНАЛИ

Незадолго до появления первого приглашенного участника Мариус Гонкур лично удостоверился в том, что все комплекты для конференции полны. В каждом имелись обычный линованный блокнот и короткий карандаш, папка, предварительный отчет спецгруппы об экспериментальном проекте воскрешения рабочей силы, регламент заседания и купон на один бесплатный обед в министерской столовой высшего уровня. План посадки тщательно продуман, у каждого места ожидали табличка с именем и напитки.

Перепроверив рассадку, Мариус дожидался ранних гостей в коридоре. Первой оказалась

мадам Лаво[220]. Гонкур приветствовал ее и задал вопрос:

— Ваше руководство в министерстве пропаганды готово идти до самого конца? Не испугается в последнюю минуту?

Лаво кивнула. Гонкур продолжил:

— Пока все это только разговоры, им нравится выставлять себя изобретательными, агрессивными, открытыми для новых идей, радикальными мыслителями, но стоит дойти до дела, как сами знаете, что бывает. Ни с того ни с сего выбирают старые проверенные методы.

— Бюрократы, — подтвердила мадам Лаво.

Гонкур кивнул.

— Тогда кто мы? — спросила она. Гонкур горько улыбнулся и взял ее под руку, проводя в конференц-зал.

— Ваша правда, ваша правда, — сказал он. — Но Нов-Гаити уже расползается по швам. Если не разрешить кризис рабочей силы хоть как-то, бланки будут в Нов-Порпренсе уже через полтора года!

— Почему вы решили, что у них дела обстоят лучше нашего?

— Быть может, и не лучше, — согласился он. —

---

[220] Примечания: 220

Мария Лаво (1801–1881) — «Королева вуду», верховная жрица луизианского вуду в Новом Орлеане XIX века.

Но что тогда, воевать с нов-алабамцами, пока обе планеты не рухнут от изнеможения? Я вас заверяю, мадам Лаво, у меня не болит голова о судьбе нашего несчастного врага, но не радует меня и мысль о том, чтобы от Нов-Порпренса и Нов-Монтгомери одинаково остались руины, обе планеты истощились, оба мира погрузились в смуту, не в силах даже выращивать и распределять пищу из-за нехватки рабочих рук там, где они требуются.

Современное планетное общество — это строение весьма сложное и хрупкое. Нельзя просто вынуть несколько деталей и сказать: «Ну, остальное на месте, а значит, будет работать как прежде». Не выйдет. Забери слишком много профессионалов, на которых зиждутся экономика, правительство, право, — и целое уже не просто замедлится или выбьется из ритма.

Мы уже испытываем удачу — и мы, и бланки, ведь они тоже люди. Нужно поскорей покончить с войной и вернуться к развитию планеты, торговли и культурных отношений друг с другом — иначе не ровен час мы вернемся в общество охотников-собирателей. Что ж, может, не до такого уровня, но… — он позволил себе не договаривать.

— Все это мне известно, Мариус, — отозвалась мадам Лаво. — Как, по-вашему, на чьей я стороне? Но воскрешение — решение столь радикальное, что людям будет трудно его принять. А наш план по его продвижению и того радикальнее. Но… как вы говорите, мы близки к тому положению, когда спасти может только радикальность. Я думаю, это сработает, я заручилась поддержкой своего министерства — и, если удастся получить одобрение комитета, мы в деле.

— Человека, который выдумал комитеты, — ответил Гонкур, — следует родить обратно.

Пока он говорил, подошли остальные участники заседания: помощник Гонкура из экзонейробиологии, Трюдо; представитель гранд-адмирала Гуэде Мазакки, капитан Ж.-Ф. Жерар; от гонавского губернатора Фостина — замгубернатора Лоренс.

Наконец — Жан-Жак Адольф Антуан-Симон, министр поставок рабочей силы для военных нужд. Низкорослый, лысеющий, круглолицый, он, запыхавшись, напыщенно вышел перед собравшимися.

Все встали. Господин министр жестом попросил сесть. Он заговорил:

— Мадам, господа — вам прекрасно знакома

проблема. Капитан Жирар может нам рассказать, насколько отчаянно космический флот Нов-Гаити нуждается в лишних руках. Космические сражения приводят к жертвам в устрашающих количествах. По очевидным причинам мы не можем лишить рабочих военно-промышленную индустрию ради военных нужд, поэтому призываются фермеры. Но теперь мсье Лоренс может нам рассказать, что на Гонаве никого не осталось. Не лучше состояние сельского хозяйства и на самой Нов-Гаити.

Мсье Гонкур сообщает, что доктор Трюдо и его экзонейробиологи разработали метод воскрешения погибших в космических сражениях — и их возвращения на службу. Я человек простой, всего лишь слуга правительства и народа Нов-Гаити, но даже я вижу, что у такой программы в случае успеха будут серьезные последствия в области, э-э, скажем, связей с общественностью. И я попросил мсье Гонкура в сотрудничестве с министерством пропаганды подготовить стратегию, чтобы обеспечить общественную поддержку для применения, э-э, скажем, реанимированных трупов. Гонкур? — Он пригласил министра выступить и сел.

Мариус сказал лишь:

— В данной программе министерство пропаганды представляет мадам Лаво. Позволю ей описать наш план.

Пятеро мужчин наблюдали, как мадам Лаво выходит перед ними. Она огляделась, чуть улыбнулась, встретившись глазами с Гонкуром. Затем заговорила — поначалу робко, но затем все увереннее и увереннее.

— Мы все видели выдающиеся результаты мсье Трюдо и его штата. Хотя первые подопытные — это лишь грубые автоматоны, дальнейшие воскрешенные показали себя способными нести военную службу под наблюдением обычных людей. Мы обнаружили, что благодаря процедуре имплантации мсье Трюдо можно извлечь пользу из определенного процента жертв космической войны. Благодаря новым техникам их число можно нарастить.

Наши хирурги уже давно заявляют, что здоровому человеку незачем умирать, когда здоровье можно поправить с помощью имплантации искусственного органа или трансплантации натурального на замену вышедшего из строя. Теперь мы делаем еще более радикальный шаг в этом направлении. При условии, что размер и строение тканей совпадает, с помощью техник,

останавливающих отторжение, мы можем взять конечности, туловище, голову, внутренние органы любого числа погибших, совместить их, имплантировать организм с NGC7007 и на выходе получить полноценного солдата или рабочего. Эти воскрешенные личности… — она прервалась, когда Лоренс перебил ее речь одним-единственным словом:

— Зомби!

— Да. — Мадам Лаво продолжила: — Зомби. Рано или поздно к этой мысли приходят все участники программы. Зомби. И в этом корень всех проблем. Примут ли нов-гаитяне подобное возвращение к примитивизму стар-землян? В моем министерстве изучили этот вопрос и пришли к выводам в трех областях, исходя из чего мы разработали план действий.

Во-первых, необходимо учитывать реакцию граждан в целом. Война и так не особенно популярна, и если население отвергнет крупную программу, то правительство окажется в безвыходном положении.

Во-вторых, реакция рабочих и военных, которые будут регулярно контактировать с воскрешенными. Поскольку воскрешенные не проявляют своей воли или характера, мы при-

шли к выводу, что лучше держать их в отдельных отрядах: полевые партии, рабочие бригады на заводах, даже целые экипажи космических кораблей, где обычные люди будут лишь вести наблюдение. Последних, конечно, придется отбирать исходя из психологических особенностей, подходящих к подобного рода заданиям.

В-третьих, воздействие на врага. Это, видимо, самая сложная грань проблемы, но в потенциале самая значимая. Если враг сочтет эту программу признаком нашего отчаяния, она только ободрит. Но мы считаем, что, если подойти к ее воплощению правильно, мы получим действенное оружие психологической войны.

Мадам замолчала. Министр Антуан-Симон, не находивший себе места на кресле, воскликнул:

— Зомби, да! Расскажите же им о плане!

Мадам Лаво успокаивающе подняла руку.

— Хорошо, — сказала она. — Да, после долгих размышлений мы считаем, что эту часть процедуры следует не отрицать и не скрывать, а сделать основой всей общественной кампании касательно воскрешенных. Мы предлагаем полномасштабное возрождение стар-земных традиций воду, с акцентом на общественных церемониях, чтобы программу поддержали как

подлинно гаитянскую тактику. Далее, мы предлагаем транслировать новости о воскрешениях — за исключением, разумеется, клинических данных, имеющих потенциальную ценность для противника. Мы предполагаем, что благодаря этому космические корабли, укомплектованные воскрешенными командами и обозначенные особой маркировкой, заметной для врага, будут наводить такой ужас, что подарят существенное преимущество нашим войскам.

— Как считаете, мадам, народ это примет? — спросил мсье Антуан-Симон. — Интеллектуалы, философы, религиозное меньшинство… они все согласятся?

— Быть может, не сразу, но убедить можно всех. Интеллектуалам и так известно, что наша война с Нов-Алабамой — не наша инициатива, что мы боремся за выживание. Они и философы поддерживают войну, не считая полных пацифистов, которые выступают против любых войн в принципе, поэтому их мнением о программе воскрешения можно пренебречь. Мы планируем подчеркнуть культурные и националистские аспекты воду, связь со Стар-Гаити. Это должно обеспечить нам их поддержку.

Что касается религиозного сегмента, то тут

задача сложнее, но нам следует опять же подчеркнуть культурную связь со стар-земным наследием. Возможно, придется привить к обрядам воду характеристики и других мифологий, но исследователи из моего министерства уверяют, что историческая практика воду в любом случае кросс-мифологична. Изначальный культ был основан на пантеоне богов природы, в которых верили в стар-земной стране под названием Сенегал.

Работорговцы-бланки похищали рабочих из Сенегала и его окрестностей и переводили в страну, известную нам как Стар-Гаити — родина наших предков. Рабы хотели сохранить свою религию, но, чтобы перехитрить хозяев, частично переняли их религию и привнесли в свои обряды. Как видите… — Она помолчала и оглядела зал, словно лектор, выделяющий важный момент для студентов. — …воду — это с самого начала смесь культур, а мы воспользуется той же тактикой, что и стар-гаитяне, и оживим воду, чтобы оно снова послужило орудием нашей национальной борьбы против потомков работорговцев-христиан.

* * *

Вокруг зеленого светила NGC7007 в глубинах 3D-игрушки Бога («Вселенная», как ее назвал продавец в «Магазине хороших игрушек» Пленума, где Дадли, старый толстый дядюшка Бога, приобрел эту безделицу для своего избалованного племянника) кружит мусор. Грязь, слизь, плазма и протоплазма, разнообразные жидкости, газы и прочая ерунда, из которой Бог смастерил свою 3D-игрушку. (Да уж, ну и головомойку устроили старому толстому дядюшке Дадли мама с папой, когда он вручил их дитяте *такой* подарок… но устроили не на глазах у ребенка, а в уединении их супружеского слизь-резервуара, разумеется.)

Помните, одна из соринок — блестящая. А-ах, Н'Ю-Атланчи. По крайней мере, так его назвали первые человеческие поселенцы, когда нашли. Конечно, их потомки уже ничего такого не помнят. Они и имен не помнят — ни своих, ни расы. Впрочем, помнит Бог. Ну а кто иначе вам бы рассказал, как зовут Ч'ен-Тч'аа-Жч'увн?

Благословен будь, дядюшка Дадли.

А вокруг этой соринки (блестящей, населенной С'цча) кружат еще две. На меньшей стоит что-то металлическое, сложное, герметичное,

со схемами внутри, континенты и впадины микромолекулярной толщины сплетены в паттерны непостижимых функций, входы питания изнемогают по любому источнику энергии, сияющие, материальные, нуклеиновые, химические, кинетические, телепатические, моноатомические реле ждут, когда их сигналы начнут делать свое малое дело, переключатели готовы включаться (или выключаться), массивы памяти — в строю, не считая трещины тут, пробела там, намекающих, что с этой металлической штукой случилось что-то незапланированное. День за днем ее бомбардируют (в среднем) четыре или тысяча космических лучей, ноль или несколько микрометеоритов, свет, прочие виды излучений; ее притягивает и отталкивает (одновременно) приливная гравитация; овевает (если дует в нужном направлении) солнечный ветер; и остается плодом воображения любимого племянника старого дядюшки Дадли.

В сложном орбитальном танце с этой соринкой кружит похожая, но побольше. На ней даже есть какая-никакая атмосфера. Когда-то и у нее на поверхности размещалась таинственная волшебная машина, но, сами понимаете, — за все приходится платить. Будет у тебя воздух (на

пятнадцать пикосекунд или несколько эонов — какая разница?) — и весь красивый блестящий металл обратится в красную пыль. Так, увы, и случилось.

Зато в этой атмосфере шагает наш старый друг из нов-гаитянского министерства поставки рабочей силы для военных нужд — Филлип. Ныне — начальник отдела рекламации, проект сбора С'цча, планета Н'Ю-Атланчи, NGC7007. Контора начальника расположена на большом спутнике Н'Ю-Атланчи. Сама планета, упаси Дадли, слишком *мокрая* для удобного рабочего пространства.

Филлип перепроверяет свой еженедельный отчет для министерства на Нов-Гаити и думает: «Ох, и зачем я покинул прекрасный центр Нов-Порпренса?» Вообще-то затем, что так велел начальник. Такова жизнь в министерстве. Зато оклад здесь выше, а значит, не все так плохо.

В еженедельном отчете отмечен повышенный урожай С'цча. Похоже, у Всематери (хотя Филлип никогда не имел чести встретиться с самой, э-э, «дамой») есть какой-то природный механизм для роста рождаемости, чтобы поддерживать экологический баланс, необходимый для планетной химии Н'Ю-Атланчи. Кто-то приходит и собирает несколько тысяч С'цча в неделю — Всемать

просто набирает обороты и выдает на несколько тысяч С'цча в неделю больше, сохраняя равновесие в своей маленькой семье.

Филлип с начальством понимают, что перетруждать Всемать не стоит. Тем самым они убьют, так сказать, «курицу, несущую золотые яйца», — ну, если сменить пару существительных и глаголов суперэлектронным стилусом.

Филлип не в большом восторге от своего задания, ну да ничего. Все ради победы, сами понимаете. Это только временно.

8. НА БОРТУ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ «ДЖИММИ О»

Койка унтера чуть побольше хлебницы, чуть поменьше телефонной будки (горизонтально уложенной), формой смахивает на гондон для великана 70 футов ростом, но с малюсеньким детским чепчиком на открытом (или «нерабочем») конце. В нее вползаешь (если вы унтер на борту нов-аламского корабля), будто твои ноги — это головка хрена вышеупомянутого 70-футового великана, а ваша голова — его основание.

Все это потому, что на космическом корабле гравитация — это не константа, а переменная. Как койку ни устанавливай, будешь с ней висеть

то как в гамаке, а то как салями или кошерная колбаса в мясной лавке на Стар-Земле. (А вы удивитесь, сколько их расплодилось в те времена из-за жидарабской гегемонии, при презе Ицхаке бен Эль-Макеше.) Иногда «верх» — это нос корабля, иногда — корма, иногда — его продольная ось, а иногда — его шкура.

А иногда на борту гравитации нет. И койки все равно работают.

Гордон Лестер Уоллес сохранил три V-лычки и топ-рокер, когда оставил «береговую службу» и вернулся на борт «Джеймса О. Истленда» с отделением коспехоты, но лишился должности: командиры не требовались, так что он оказался замкомандира во взводе лейтенанта Джимми Рейни, под началом сержанта Бо Фэллона. Не самое плохое отделение или взвод, да и о чем разговор — текучка у армейцев такая высокая, что велик шанс со дня на день дождаться вакансии для опытного командира.

Не то чтобы ГЛУ *желал* Бо смерти. Чорт, да хватит и маленького увечья — главное, чтоб не *оч* маленького. Бо выйдет из строя, Горд снова станет командиром, а когда Бо вернется из лазарета, уже *он* останется не у дел! Так оно и бывает.

И вот Горд висел в мешке (чепец накрепко

повязан на подбородке), видел миленькие сны о какой-нить прыткой нов-алабамской крошке (мож, мисс Милзад Маркэм, а вообще, мож и нет) в нескольких часах ходу от коспорта Форт-Сили-Мэй, уже пожравши, пришедши, снарягу закинувши, оружие сдавши, доложивши старшему офицеру, командиру Бо, в корабельный реестр, капеллану, квартирмейстеру, ротному писарю & необходимому минимуму остальных, шумно продрыхши к раздражению тех, кто встает пораньше (?), как тут жилотсек, где он находился, наполнился глазовыжигательным светом, и бедный старый Горд вздрогнул, трижды проморгался, чтоб свет прекратился, но он не то что не прекратился, а ищо начался и скажем так звук & пробурился ему в уши такой низкий, что чувствовался скорее в зубах (чортовы задние коренные, по ним давно зубной плачет, но в наши дни нов-аламским коспехам чутка не хватало дантистов) вибрировал весь чортов череп & до самой чортовой макушки и трясло всего, пока не казалось, будто чортов звук льется из ушей, а не в них, и Горд мотал башкой, как стрекоза скользит бочком где-нить под солнышком, и даже в затянутом крошечном чепце умудрился подскочить да треснуться о какую-то подпорку,

подбалку или подлянку *бам* черепушку коцнул зубами клацнул жмуренные глаза отважно распахнул навстречу хренову ультрасинему свету побудки и чет пробубнил неразборчиво в том духе, что могли б будить отделение коспехоты на борту растреклятого «Джеймса О. Истленда» и понежней, когда по стандартному корабельному времени пора харчевать.

После харча — зарядка на бортовом плацу, и командир отделения генерал-полковник «Огнезад» Брондзот обратился с речью.

— Южики — начал генерал-полковник «Огнезад» Брондзот (по имени его в нов-алабамских войсках никто не звал, можно поставить на это свою ж*пу)– южики (малец повторяется) — лучшее подразделение во всей нов-алабамской космопехоты.

Грянул ликующий хор с припоминанием исуса и святого георгия.

— А нов-алабамские коспехи — лучшие силы во всех плане нах тарных воору сука женных силах. — Он сплюнул на палубу. Лихой дядька, ток в путь!

(Продолжительные и бурные аплодисменты.)

— А нов-алабамские планетарные воору сука женные силы — повышая голос — эт лучшие вой-

ска на всех чистых южанских белых планетах под Богом & Сыном Иво Исусом Георгием Христом!

— Да! — отвечали все, громко & воодушевленно.

— А чистые южанские белые планеты — уже орет во всю луженую глотку старина Огнезад, щелкая своими казенными коспехскими подтяжками да вертя головой да глазами — эцсамые крутые, злые, яйцастые, «в рожу плюнут да в зубы двинут» — мужики во всей шобее галактике! — Он аш скакал с красной рожей да воплями.

Как и все коспехи.

Горд — он чуть-чуть не обоссался от такого спича. Старина Огнезад — вот это предводитель, эт те не сопли переливать из пустого в порожнее, как у Милберна Митчема, или Юджина Янгермана, или кого угодно из бабских пилитиков. Горд хотел слышать еще.

И Огнезад такой: — Есть и флотские — и помолчал в ожидании реакции, умея играть на публику, даже если она из солдат — есть и флотские, отдадим должное, они кумекают в технике — сказал он, потом снова помолчал, пока по рядам пронесся смешок (пршпрщения).

— Старик адмирал Янси Мурмен — он мне этим утром грит, бут флотские засекли сигналы

в своих хрустальных шариках. Мы-то знаем, что там за сигналы. Я вам как есть скажу,– он заговорщицки наклоняется вперед,– седни у нас общая мобилизация и сбор флота; мы планируем — тактощ, мы планируем то самое, к чему самому сток готовились да на что надеялись сток лет: мы сядем на треклятой Нов-Гаити да поставим этих нигра-пападоков на их место раз и *навсегда!*–

*Тут*уш коспехи — можете поставить свою *опу — ликовали да улюлюкали да обнимались (порой чуть чутчей да сильней, чем можно ожидать от морпехов, но че поделать, они далече от Лето). Но генерал-полковнику «Огнезаду» Брондзоту было че ищо полить в огонь:

— Но вот *другие* сигналы, что нашли ребятки Янси — тут он дает проникнуться важностью эцсамого «другие» — эти *другие* сигналы счас подальше и прут прямиком вперед, и, есьток старик Янси не сел в лужу, он считает, эт чортов нов-гаитянский космофлот! Выт у меня смекаете, что это значит. — Он замолчал и снова огляделся.

— Выт знаете, что это значит! Мы не можем просрать сливки нашей армии на их вонючую планетку, что не стоит ни выеденного гроша да ни ломаного яйца, да тем сам позволить их чортовым кроварным войскам свободно прошмыгнуть

к нашему священному дому! Никак нет! Скок дышит Огнезад Брондзот, сток ни один кроварный черный нигра-недолюдь не тронет грязной лапой невинную беззащитную золотисто-кудрявую южанскую крошку. Вы со мной? –

О, играл на публике как по нотам. Онип так и орали, коль он бы не поднял руку.

— Оукей, мужики — подытожил Огнезад — мы летим на сбор, как и планировалось, а потом — прямиком к коварным черным пападокам да выбьем всю дурь из их летающих жестянок, что они зовут космофлотом. Не успеет зайти солнце — (вы канэш понимаете, это он мета сука форически, какое там солнце в большой сияющей бездне) — как старик Гуди Мазакки пожалеет, что не стал официантом или кем там подобает быть нигре, а строил из ся адмирала.

Он закончил речь & ушел & выходили офицеры помладше & толкали речи & выходили всечортовычины до самых младших & толкали речи & наконец-таки вышел унтер & послал всех собирать вещмещички & скафандры & тренироваться & созвал отряды налетчиков & абордажников & проследил, что оружие у них под рукой & боеприпасы на месте & хоть щас в космос & всех обошел капеллан & помолился & пожал ниже пояса &

наконец опять все харчевались & прикорнули, а то как начнется битва, уж не знаешь, будет ли оказия.

К концу дня (по стандартному корабельному времени, в космосе-то не разберешь, кромь как на гражданском лайнере, где соблюдают светлые & темные часы, но на военном корабле всегда светло & к боюготово) Горд уж снова «встал», все чистили напоследок лаз-топоры, все говорили немного нервно & Горд потихоньку ускользнул (одно из преимуществ 3V&рокера без ответственности командира) & шмыг к иллюминатору, чтоб посмотреть сбор флота (эщо пацан в душе & обожал смотреть, как космические корабли приземляются & взлетают & все такое) & надеялся, что флотские включат для проверки голо-проекторы, дурящие голову несчастным глупым обезьянам в битве & в то же время гадал не задурится ли сам & отличит ли проекции от настоящего флота. Ну, одно точно: если он увидит еще один чортов «Джеймс О. Истленд», как у того из жопы хлещет измученная материя & из щелки струит красный лазер & фигачат да хреначат пушки, он хотя бы поймет, что *это* — проекция.

Подыскал се иллюминатор — в большом арт-пузыре по флангу «Джимми О». Расчет тут уже

побывал & навел марафет, на палубе стоял здоровый хлобыстер, на взгляд Горда под 60 мегасил & установлен в пузырь для лучшего обзора & маневренности, подключен & заряжен & к бою готов по свистку. Расчет щас наверняка в своих мешках с чепцами, прикорнул напоследок, остался ток один караульный, звавшийся Леандр Лаптип, славный пухленький блондинчик с потной кожей & склонностью волос липнуть ко лбу.

Вошел Горд, и Леандр такой — Видал огни Горд?– & Горд кивнул да буркнул, & Леандр такой — Эт не звезды.– & Горд этак проворчал, на что Леандр прибавил — Эт *наши*, Горд!

Горд забрался в пузырь вместе с капралом коспехоты Леандром Лаптипом, коснувшись его мож больше, чем требуется, пригляделся к огонькам и сказал, патриотического пыла и воодушевления исполнясь: — Твоя правда, Леандр, и впрямь наш флот.

Там, в стопстекольном пузыре, обоюдотелесно обхватив друг друга и держась для опоры за 60-мегасильный хлобыстер, начищенный & заряженный, голова к голове, в четыре пораженных глаза разглядывали сбор (повезло ж им оказаться на правом борту «Джеймса О. Истленда») всех-превсех нов-алабамских косми сука ческих

оборонительных сил, как флотских, так и армии.

Скокош там было кораблей? Горд с Леандром пытались показывать & считать, говоря названия, когда знали, да типы, когда нет: вперед скользили гладкие да скоростные истребители, разрушители — побольше и с вооружением потяжелее, но все еще маневровые, транспортники, корабли связи, вспомогательные в виде огромных плазметаллических шаров:

:& корабли-побратимы «Джеймса О. Истленда» — гигантские цилиндры с приборными кольцами да командными модулями во главе, гигантскими топливными шарами — у основания: «Орвал Фобус», «Теодор Х. Бильбо», «Лестер Мэддокс». Горд подметил «Фервурд». Леандр — «Геббельс»[221].

Все строились, строились — так и слыхать треск лучей связи, гуд сенсоров, жужжание электросхем да генераторов, подготовку войск

---

[221] Примечания: 221

Орвал Фобус (1910–1994) — американский правый политик (демократ), губернатор Арканзаса во время кризиса в Литтл-Роке, когда первые девять черных учеников после отмены сегрегации пытались попасть в школу, но по приказу Фобуса путь им преградила Национальная гвардия. Для разрешения кризиса пришлось вводить войска, которые сопроводили детей в школу. Хендрик Фервурд (1901–1966) — правый политик, бывший премьер-министр ЮАР времен апартеида. Йозеф Геббельс (1897–1945) — немецкий правый политик, начальник управления пропаганды нацистской Германии.

к бою: «Лонг», «Ли», «Дэвис», «Перез»[222] — один краше другого. Суднонос «Права Штатов»[223] с раздутым брюхом, набитым дочерними кораблями, готовыми вылететь в бой, — мошками, что посеют хаос во вражфлоте. Космический таран «Джексон» — нов-алабамское оружие крайней меры, космический цилиндр из почти сплошного плазметалла, чей экипаж погребен глубоко под макрометрами изоляции да защиты, и если подведет все остальное — все, что хлобыщет, хреначит да фигачит, — то «Джексон» вмажется носом во вражеский корабль, в космосе такое столкновение не переживет ничто, а экипаж «Джексона» защищен да привязан внутри, только лишь дождется спасателей, если сам не выберется, & вот и флагман нов-алабамского флота,

---

[222] Примечания: 222

Хьюи Лонг (1893–1935) — американский политик фашистского толка (демократ), губернатор Луизианы. Роберт Ли (1807–1870) — генерал армии Конфедеративных Штатов Америки времен Гражданской войны. Джефферсон Дэвис (1808–1889) — американский политик (демократ), единственный президент Конфедератских Штатов времен Гражданской войны. Леандр Перез (1891–1969) — руководитель Демократической партии в Луизиане, отстаивавший сегрегацию.

[223] Примечания: 223

Имеется в виду «Демократическая партия „Права Штатов“» (создана и распущена в 1948-м) — южная политическая организация, отколовшаяся от официальной политики Демократической партии, когда через несколько лет после Второй мировой войны, под давлением мировой общественности, президент США Гарри Трумэн поддержал движение за гражданские права афроамериканцев. Представители

партии настаивали на праве штатов на суверенитет и были известны как «диксикраты».

гордость планеты, размалеванный в чистый сверк-белый и с гигантским портретом в шесть палуб высотой да в сотню метров длиной:

: «Лерлин Маккуин», прямиком из коспорта Нов-Монтгомери, гордый да угодный да на все годный, лучший из лучшайших, до зубов вооружен, роем окружен — транспортники почти слышно жужжат и мечутся от кажного движения корабля. Ох, как этот корабль гордился своей задницей!

— Как по-твоему, скок этсе стоит, Горд? — спросил Леандр.

Горд пожал плечами (при этом притершись к Леандру, но прямскажем — там особо не развернешься) да промолчал.

— Как по-твоему, скок стоит такой *флот?* — спросил Леандр.

Горд на миг свободную руку от хлобыстера оторвал да в затылке почесал, потом сказал — Хэ зэ. Здесь под три тыщи кораблей буит, от боевых великанов до писяриков, которые всюду снуют. Чортовы пилитики на планете (а он любил грить по-космически, когда взлетал с планеты, всетки пацан в душе) умеют выжимать из нас все соки да налоги, но на них ток и делают, что строят корабли, закупают хреначки да фигачки, готовят

солдат да прочая, скок себя помню. Нук, прикинем хер к носу… — он погрузился в расчеты, но далеко не заплыл, ведь корабль ка-ак покачнет:

:тыдыщ!:

:так и опрокинуло б его с Леандром вповалку да вперемешку, не держись они за хлобыстер да друг за дружку. Потом они услыхали вой корабельной сирены да через миг — голосину старого адмирала Мурмена, лающую из динамиков:

— Эт Мурмен ану живо по местам у шобих пападоков явно оружие дальнобойнее чем мы просчитались, они все ищо вне зоны поражения, но гдет в северо-восточном квадранте, в 30–34 градусах, проекции включить, стрелкам товьсь, передаю командование старшому по отделению. —

:& отключается & из динамиков слышно стук да гвалт да вопли, шум, топот да какой-то *уррх!* & звучит знакомый голос:

:– Это Брондзот, внимание всем коспехам, их тут больш, чем мы ожи сука дали и раньш, чем мы рас нахер щитывали всем занять вашмать позиции на корпусе ведем огонь пока нигры не подберутся поближе & тогда мы сукиных шобих детей зажабрим на абордаж!

Он заткнулся, динамики ищо хрипнули пару

раз да отключились, топот, свистки, крики, Леандр вопит на Гордона: — Мой расчет прибывает, пора те отседа старина!– мило чмокнул Г. Лестера напоследок да Гэ-Эл-У помчал своей дорогой за угол мимо расчета Леандра Лаптипа, топочущего по плазметаллическому коридору & Гордон Лестер стремглав мимо гондонкойки хвать вещмешок быстрей чем скажете Джеки Робинсон[224] да жмет дальше & ему так страшно, не поймет то ли испачкал штаны, то ли прост подпустил нервного газа & но он знает, что вонять в скафандре будет, но на спешную перекличку прибывает вовремя.

Лейтенант Джимми Рейни шмыгает перед шеренгой, проверяет кто на месте (все), да кажный командир носится туда-сюда узнает у всех ли снаряжение под рукой, — какой смысл прицуцвовать, если снаряга не готова, оружие не заряжено, скафандр не застегнут; все в поряде — они проводили учения и на плацу базы, и на полигоне в глуши, и можнесомневаться кажный раз как шли в глубокий черный космос.

:тыдыщ!:

:корабль вдруг опять дрожит, армейцев встря-

---

[224] Примечания: 224
Джеки Робинсон (1919–1972) — американский черный бейсболист.

хивает, но все остаются на ногах, лейтенант Рейни орет, его голос треск-плазметаллически звучит в наушниках: — Все оукей? Держись мужики!

Держатся.

Корабль гнет, старина «Джеймс О.» влип по уши, в опасном состоянии, а бедные белые пацаны даже не *видали* корабли черножоп*х пападоков, но терь все стоят медленно кренящимися рядами, пошатываются да покачиваются, пока сменяется гравитация & вокруг мечется тяжелое освещение & ток хват-сапоги и держат армейцев пришлепанными к палубе, но все равно шатает туда да сюда & Гордон Лестер Уоллес раз два три поднимает глаза &:

:Ох великие огненные шары!:

:проняло до нутра потолок/стены/корпус корабля пробоина в тридцати футах от его изумленных глаз длиной с пол футбольного поля & почти такой же ширины & по ту сторону наверху/внизу/снаружи [Горду кажца он падает/летит/высасывается наружу/вверх/вниз в дыру / плоский черный колодец / небо / плоскость да его кругами мотает башку трясет на внезапно резиновой шее да живот шлет кислые сигналы предвкусие того что скоро буэт да внутри все бурлит/горит да в ушах

(наушниках) звенит от надрывающегося голоса лейтенанта Рейни (продолжение следует)]:

:гигантские силуэты большой сверкающий другой «Джимми О» рядом с «Джеймсом О.» рядом с призрачным зыбким «Истлендом» за большим-пребольшим-препребольшим боевым судном истекающие жирные буквы украшают нос, провозглашая «Джеймс О. Истленд» сияющий поблескивающий пафосный «Дж. О. Истленд» его окружает прорва «Джеймс Джеймс Джеймс О. О. О. Истленд Истленд Истленд» одни твердые, другие прозрачные & за ними Горд видит «Бильбо», ищо, и эщо, волнуются, пляшут, хреначат да фигачат, да «Лонги» да «Ли» да «Фобусы» да «Мэддоксы» да один «Лерлин» два, три, уии! &:

:далеко, далеко, далеко-предалеко за голограммами наконец-таки видать говноедский нов-гаитянский ниграфлот:

корабли & корабли & корабли
корабли & корабли & корабли
корабли & корабли & корабли
корабли & корабли & корабли
палят, палят
пикируют да лавируют

лучи, ракеты, тараны, от кораблей нигр, от кораблей Нов-Алама,

шум в наушниках — как слова, так и нет, громкие и крики «оспадясуся» & вдруг перерыв, секунда некрика да терь в наушниках голос лейтенанта Джимми Рэйни (а вот и продолжение!)– Армейцы, южики, время пришло, все на корпус, оружие наизготовь, живо, живо, пшли!– головы не теряет, а Горд — он подготовлен, он подчиняется, толкается хват-сапогами, вшух! с палубы, вверх, в ту дырку, выход в космос, наружу/вверх/вниз на/в черную пучину / плоскость вылетел/покатился да быстро раскрутился, на мини-орбите да лязг!/клац! на корпус, на брюхо, смотреть вверх, за голограммы *(вас к этому готовили!)* да с лаз-топором готов дополнить корабельную огневую мощь, смотрит на корабли нигр, «нихристасе!» скокош их там явно тож голограммы но все равно превышают нас четыре к пяти, четыре к трем, трое к двум & терь два флота сплетаются &:

:со всех сторон хреначит да фигачит, жжет да поет, накаляет да содрогает самый эфир, молнии полосуют красным, желтым, рыжим, ослепительной маджентой, цветами крови, цветами плоти, проносятся ракеты, бьют по *нашим*, по *ихним*, безмолвные яркожаркие взрывы, контакт-разрушения &:

:тыдыщ!:

:еще попадание по «Истленду» но откуда Горд не видал ток почуял как весь корпус под ним дыбит да колдобит & ток все успокоилось да Гордон опять готовит лаз-топор настает самый невероятный:

:Р-А-С-Ц-В-Е-Т:

: «Лерлин Маккуин», наверняка прямое попадание прям по жизненным органам, да *херак* во все стороны, блеска плеск да шок кишок да ошметки корпуса да железа, пушек да контрольных приборов, энергоустановок да топливозапасов (а у этой дамочки были самые большие стальные шары, битком *набитые* измученной материей, во всем шобего флоте!), сплевывает скафандры с армейцами, они мчатся да вихрятся в тьмакууме кто явно мертв, кто вроде нет, кто явно с дырками, кто еще герметичный & тут:

:безмолвно скользя по «Истленду» Горд видит силуэт, твердая плазметаллическая штуковина, огромная, даже больше «Истленда», почти как взорванный «Лерлин» & даэтош так-так этош он знает помнит по учебным плакатам в комнате отдыха Форт-Сили-Мэй этошэто несомненно э-э гигантский хренов корабль нигр собно то самое суперкорыто которое нов-аламские коспехи

зовут «О! О!», «Змеиные глазки», «Огинга Одинга»[225] & на его корпусе Горд видит большие прямоугольные шлюзы а в них — готовые к бою блестящие в броне озаренные звездами черноносные чернокожие нов-гаитянские коллеги по оружию со-профи Горда этфакт нигра-коспехи & шлем сотрясает от общего *рева*:

Коспехотный взвод лейтенанта Джимми Рейни брыкается от корпуса «Истленда», хват-сапоги вшухают с плоскости, шустрая шайка лучших из лучших старика Огнезада, лаз-топоры освящены да освещены лишь многовековыми звездами да в бликах своих лаз-топоров они видят как из шлюзов «О! О!» вылетают/выпадают черноглавые нигры пикируют вверх/вниз/наружу навстречу да вот с грохотом встречаются два первых врага, лаз-лучи мимо, нагрудники издают в рациях *блязг*, охи да вздохи «охристеть», как тут отличишь звук умерщвлений от звука сношений!

Уже поздно, не до той в объятьях слитой лютой парочки, Горд тоже летит вверх/вниз черный пападок падает вверх ему навстречу, Горд пускает лаз-луч, *спппссп!* через метры тьмакуума, пападок все прет но уже складывается, скручивается, уве-

[225] Примечания: 225

Огинга Одинга (1911–1994) — левый политик, один из лидеров борьбы за независимость Кении, ее первый вице-президент.

чится, Горд перехватывает лаз-топор покрепче, чувствует, как его грудь ходит, глубокие вдохи просит, в жаркие влажные сосуды адреналин хлещет; вскидает оружие над головой в двойном хвате, чувствует его ноль-вес подготовка прошита в подкорку, бедра невольно ходят взад-вперед и:

:хрусть!:

:лаз-топор Горда падает на черный скафандр нигры с утихомиривающим туком, броня да кости отдаются через руки в весьма довольные ухи Горда & Горд выдергивает свой л-а, пинает тело пападока бесконечно крутиться прочь в ночь & Горд озирается в поисках новых миров для покорения & вдруг он рожа к роже с другим нигрой-коспехом &:

:он замахивается топором &:

:он замахивается топором &:

:он раскрывает рот в беззвучном вопле &:

:он раскрывает рот в беззвучном вопле &:

:топор в крови и свете звезд изящно воспаряет &:

:топор в крови и свете звезд изящно воспаряет &:

:пролом, & брызжет кровь, &звук:

:пролом, & брызжет кровь, & звук:

:крикжуть громкий жутьистошный &:

:крикжуть громкий жуть истошный &:
:красное:
:красное:
:черное:
:черное:
::
::

9. НА БОРТУ ЗВЕЗДНОГО КОРАБЛЯ «ОГИНГА ОДИНГА»

:черное:
:черное:
:красное:
:красное:
:крикжуть громкий жуть истошный и:
:крикжуть громкий жуть истошный и:
:пролом, и брызжет кровь, и звук:
:пролом, и брызжет кровь, и звук:
:топор в крови и свете звезд изящно взмывает и:
:топор в крови и свете звезд изящно взмывает и:
:он раскрывает рот в беззвучном вопле и:
:он раскрывает рот в беззвучном вопле и:
:он опускает топор и:
:он опускает топор и:

* * *

Внутри черного бронескафадра, провонявшего ужасом и блевотой, приходит в себя после недолгого забытья Кристоф Белледор. Рядом с ним кружит в бешеной двойной орбите тело морпеха-бланка, они с ним вдвоем, живой и мертвый, держат в плену миллионы крошечных красных бликующих капелек. Еще больше капелек проливается из прорехи в броне мертвого нов-алабамца.

Кристоф брыкнул труп, как его учили, чтобы, благодаря равному, но противоположному противодействию, отплыть к главному сосредоточению войск — его товарищам и врагам, бившимся и зависшим между «О! О!» и «Истлендом». Трупы либо парили в небольших гравитационных полях двух исполинских кораблей, либо плыли прочь от сечи по долгим эллиптическим орбитам. Выжившие с обеих сторон панически уворачивались то в попытках убедить себя, что на них не нападают, то в поисках врагов, чтобы застрелить или зарубить.

Из сотен нов-гаитянцев и нов-алабамцев, вступивших в сражение, остались лишь невредимые и мертвые: несмертельные раны в вакуумном

бою практически неведомы. В глубоком вакууме автономные системы аварийной герметизации скафандров могли спасти от столкновения с микрометеоритом или даже закрыть небольшое отверстие от луча или острия по касательной, но существенная дыра уже приводила к немедленной смерти от декомпрессии и заморозки.

Кристоф, кружа в свободном падении, вновь оказался застигнут врасплох лицом к лицу с вражеским морпехом. Он подкрутил клапан, устремившись ему навстречу. Враг оставался неподвижен, словно растерялся. Кристоф нацелил лаз-топор, выстрелил в грудь. Промазал.

Теперь они были совсем близко. Враг поднял свой лаз-топор; и Кристоф тут же увидел у него зазубренные осколки на боевом конце, где оружие закрыло от удара и наверняка спасло бланку жизнь, но при этом само вышло из строя. Слишком близко, чтобы снова стрелять, Кристоф замахнулся слева, закрылся от вражеского удара, попытался проскочить под ним и ткнуть в тазовую область, но нов-алабамец извернулся — и удар пришелся безвредно в бок, пустив гудящие вибрации по броне.

Бланк резко отклонился назад, крутясь вокруг собственной оси, остановился и снова устремился

вперед и вниз, топор — сияющая полоса белого звездного сияния в убийственной дуге к шлему Кристофа. Тот вскинул над головой рукоятку лаз-топора, чтобы защититься, но не рассчитал — и его вес скользнул «вниз», раскрывая цель для удара.

Тускло-серый нагрудник врага брызнул внезапной красотой, мгновенно просияв ржаво-красным, алым, желто-рыжим, а потом с той же скоростью — обратно по спектру. Кристоф ощутил жар энергии даже через герметичный плазметаллический скафандр. Враг в изящном обратном сальто поплыл прочь, со все еще пристегнутым к запястью лаз-топором, раскинув руки и подогнув колени. С каждым его вращением Кристоф видел круглое черное отверстие, где лазер насквозь прожег нов-алабамскую броню.

Уже не успевая отразить атаку — если она вообще была, — Кристоф безошибочно развернулся навстречу источнику лазера, но не увидел и следа.

Пожал плечами, проверил оружие и, снова подкрутив клапан, направился к массе фигур в космоброне, паривших между «О! О!» и «Истлендом». Для него битва была окончена. В тысячах кубокилометров вокруг маневрировали и стреля-

ли, таранились и уворачивались нов-гаитянские и нов-алабамские корабли, изрыгая миниатюрные корабли-шершни, чтобы изводить врага, или морпехов для абордажа либо размещения кож-зарядов на вражеских судах.

Если эта битва пойдет так же, как большинство, то она продлится еще часы, даже дни. Затем оба флота отступят, пострадавшие корабли — под прикрытием здоровых, оттаскивая из металлолома, что смогут, и своих, и чужих, уже неспособных даже скрыться на истощенной энергии и в побитом состоянии.

Но в этот раз — с одним большим отличием.

«О! О!» пострадал мало. «Истленд» — весь. Частично протаранили командный модуль. Сокрушенный, он распахнулся рядом с приборным блоком, что сам висел на фоне далеких звезд: один трос напрочь срезан, остальное кольцо безжизненно, схемы сбора сведений безмолвны, базы данных мертвы, обрабатывающие модули безнадежно расплавлены после невероятного скачка температуры и перепадов энергии из-за чудовищных лазерных разрезов.

Пострадал и сдулся длинный центральный цилиндр, где какой-то поверхностный заряд проделал зазубренную пробоину, у экватора корабля

кружили обломки. У основания корпуса оторвало огромный топливный бак, отшвырнуло прочь остаточной энергией той силы, что отделила его от борта — скорее всего, внутренний взрыв у стыка между сферой и цилиндрическим корпусом «Истленда» из-за жара нов-гаитянского луча или тарана.

Мертв. Скорее всего, восстановим. Кто возобладает в этом секторе, чьему флоту хватит сил, чтобы высадиться на борт «Истленда», зацепить для буксировки, защитить трофей от противника, пока не удалятся, тот и вернется на базу с его вооружением и оборудованием, двигателями и системами связи, разведданными и корабельными журналами.

Осмотрят и оценят сам корпус. Если он поддается ремонту, корабль еще покоптит межзвездное пространство. Под названием «Истленд», если его заберет Нов-Алам, под другим — например, «Дювалье», или, например, «Кливер», или «Ньютон», или «Сил»[226], — если Нов-Гаити. А если «Истленд» безнадежен, то плазметалл его корпуса

[226] Примечания: 226

Элдридж Кливер, Хьюи Ньютон, Бобби Сил — сооснователи и лидеры партии «Черные пантеры» — леворадикальной партии афроамериканцев в 1960–1970-е, которая как внедряла социальные программы в черных районах, так и занималась терроризмом.

будет переплавлен и еще вернется чем-то новым, чтобы пронзить кромешную тьму звездных дорог и биться за вечную славу Нов-Алабамы. (Или, возможно, Нов-Гаити.)

Но во всей этой процедуре спасения будет одно большое отличие.

В этот раз — не только корпуса поврежденных кораблей. Не просто металлы, сложные эфиры и силиконы. Не просто изделия. В этот раз — люди.

Меж бликующим в звездах «Огингой Одингой» и мертвым и смятым «Истлендом» снова строился отряд Кристофа Белледора. Кристоф занял свое место в рядах, замечая пустоты в их дисковой формации. Далеко-далеко виднелись другие операции спасения, озаренные корабли победоносно подкрадывались к убитым махинам, словно торжествующие хищники — к тушам их жертв. Там Белледор узнавал силуэт нов-гаитянского победителя, тут — нов-алабамского. После межзвездного сражения воцарилось странное перемирие, когда выжившие в благодарном ошеломлении от своего везения сосредоточились только на отступлении и изнасиловании жертв. Они не рвались вновь испытывать удачу тем, чтобы глупо лезть на рожон и нападать на других выживших, другой флот. Белледор устремил взгляд

вдаль: нов-гаитянцы разграбляли нов-алабамцев; нов-алабамцы разграбляли нов-гаитянцев. Один корабль пронесся мимо, и на миг, из-за странного обмана зрения, большие буквы его названия — «Бильбо», — на кратчайший миг зацепили звездный свет и взгляды и тут же пропали.

В шлеме Кристофа Белледора раздался голос, совпадающий с жестикуляцией командира. Приказ был ясен. Вместе с товарищами Кристоф принялся за дело — собирать разорванные и замороженные трупы двух отделений космической пехоты. Белые и черные, сожженные и зарубленные — он собирал всех. И тех, в чьи отверстия в броне ворвался океан пустоты, и тех, у кого изжарились органы, и тех, кому оторвало руки, ноги, головы и части туловища.

Что можно собрать, то задействуют или сохранят на будущее. А остатки — что ж, хотя бы не будут засорять поле боя.

На миг Кристофа коснулась странная мысль: сражение закончилось, но кто же победил? Впрочем, ломать голову над такими замысловатыми загадками платят адмиралам и капитанам, генералам и разведке. А ему, Кристофу, платят, чтобы он делал, как велено, и старался выжить, пока не вернется за свой уютный рабочий стол, к своей

уютной жене, к периодическим приятным встречам с дочкой Леклера. А кто победил, положено знать гранд-адмиралу Гуэде Мазакке.

10. В ГРАН-ХУМФОР НАСЬОНАЛЕ

Возможно, все это чепуха, как и говорил папа. И все-таки Иветте не хотелось пропускать церемонию. Ссора за ужином, мама без толку перепробовала уговоры, крики, разгневанно размахивать руками, Иветту отослали в ее комнату. И к лучшему — словно она сама так и задумала.

Иветта заперлась изнутри, зарекаясь отвечать на любые вопросы или просьбы, что последуют из-за тяжелой древесины, и бросилась ничком на кровать — дуться. Чем больше она думала о споре, тем больше злилась. Она им что, маленькая? Она уже взрослая девушка, дни косичек и передничков остались далеко позади. Она взглянула на себя, свою фигуру. Она ловила на себе взгляды мужчин — взрослых мужчин, а не просто бесстыжих студентов, то задорных, а то робких от своего нового голода. Ловила даже взгляды их соседа мсье Белледора до того, как его призвали на военную службу.

Иветта поднялась с кровати, включила ночник. Задернула штору и медленно сняла платье

перед зеркалом. Пусть папа запрещает ходить на *danse calinda* сколько влезет, она все равно пойдет. Пусть он зовет восстановленное воду глупостью: она с ее друзьями разбирались лучше. Никто в группе Иветты не ходил без макандаля, капрелаты, вадо домпредере или уанги[227]. У нее самой была уанга из козьей шкуры, наполненная ингредиентами согласно древнему рецепту: камешки, позвонок змеи, черные перья, грязь, яд, сахар, маленькие восковые обереги. Обычно Иветта прятала ее в комнате. Сегодня она наденет свою уангу.

Теперь, без платья, она стояла голая посреди комнаты: ноги на ширине плеч, руки подняты, глубоко дышит в предвкушении церемонии в хумфоре. Ах, такие дураки, как папа, заслуживают свое невежество. Снова Иветта опустила взгляд, разглядывая себя: изящные груди и заостренные соски, которыми так восхищались парни; тонкая талия, полные бедра и густые кудри глянцевой стрелки черных лобковых волос, безошибочно

[227] Примечания: 227

Названия заклинаний из уголовного кодекса Гаити (vaudaux dompredere — выдуманное), в котором не дается уточнений, что имелось в виду. Так, на самом деле Макандаль — имя предводителя гаитянских маронов, восставших до Гаитянской революции, и унгана (жреца вуду). Уанга — реальное название магических талисманов или ритуалов из вуду, основанных на магии крови.

указывающей на драгоценную цель. Иветта провела руками по гладкой коже охрового оттенка, чувствуя, как от мыслей о грядущих часах накатывают волны то жара, то холода.

Все еще обнаженная, она достала из тайника уангу, на миг просто подержав кисет из грубой кожи у щеки, потом поцеловала его и повесила за кожаный ремешок на шею так, чтобы кисет был между грудей. Снова встав перед зеркалом, Иветта скрестила руки, стискивая груди вместе, чтобы зажать уангу, а безделушки внутри твердо надавили на чувствительную плоть, до того возбуждая, что Иветта провела рукой вниз по животу, скользнув пальцами по лобковым волосам и миг поигравшись с половыми губами.

Потом она развернулась, подбежала босой к гардеробу и достала наряд для *danse*. Атласная блузка в яркую полоску — желтую, зеленую, синюю; обтягивающие штаны белого цвета с низкой посадкой, открывающие пупок. Она скользнула руками в рукава блузки с таким низким воротом, что было видно талисман, потом надела штаны. Теперь сандалии — и вот она выключила свет и отодвинула штору.

Вмиг она открыла окно и выскользнула наружу, мягко опустилась на траву и покралась

прочь от дома. Бесшумно пронеслась по темным улицам, чувствуя, как на кожу ложится легкий туман, с каждой каплей подгоняя ее вперед. В назначенном месте у дома подруги она огляделась и обнаружила, что Сели уже ждет ее под деревом.

Та шикнула в знак молчания, и вдвоем они бесшумно направились к депо ховер-путей. На поезде они бы добрались до хумфора без помех.

У хумфора Иветта и Сели увидели, что все уже на месте. Вокруг площади перед зданием ярко пылали факелы; в черном небе тускло светил огромный Гонав, прибавляя и свой свет. В тумане его сияние распылялось, распуская крошечные ночные радужки всякий раз, как Иветта поднимала взгляд. Пламя факелов колебалось в ночном воздухе, в их оранжево-красном мерцании плясали человеческие тени, хоть сами люди неподвижно ждали начала церемонии или бродили в поисках друзей и мест, откуда будет лучше видно предстоящее действо.

В низком портике хумфора, обрамленном резьбой и колоннами, изображениями змей и тыкв-горлянок, распятий и сердец, пронзенных шипами, стояли ряды и ряды катафалков, и на каждом под саваном возлежала неподвижная человеческая фигура. Перед ними высились три

больших барабана. Посередине — алтарь.

Из самого хумфора доносились барабанный бой и пение. Вот из здания показались люди и мерцающие огни. Папа Небо — гермафродит и страж мертвых: нелепый шелковый цилиндр набекрень; черное лицо серьезное-серьезное, а потом вдруг как перекосит от кривой ухмылки; с обнаженной грудью, но при этом в рваном черном смокинге и драной белой юбке; черные ноги с каждым шагом поочередно поднимались от земли и зависали словно бы в нерешительности, после чего падали вниз. В одной руке — человеческий череп, а в другой — серп.

Позади Папы Небо, пошатываясь и запинаясь, в балахоне и тюрбане, с поблескивающей бутылкой в одной руке и серебристой флейтой — в другой: Гуэде Оссо, глаза осоловевшие, лицо безмятежное — готов исполнять роль Хмельного.

Наконец, Гуэде Мазакка, Повитуха: традиционный наряд расшит флотской символикой в честь ее тезки — гранд-адмирала, в одной руке змеиный посох, в другой — мешок с талисманами и орудиями.

Из хумфора струились новые фигуры — в балахонах, капюшонах, тюрбанах, с факелами и мешками; кое-кто приплясывал. Они разошлись

к барабанам вокруг площади, а трое других сопроводили Папу Небо, Гуэде Оссо и Повитуху Гуэде Мазакку к трем большим барабанам, затем отступили. Те начали отбивать ритм с аккомпанементом в виде пения и малых барабанов. Затем они завели песнопение: глубокий голос Хмельного, высокий голос Повитухи, контральто Оракула сливались вместе и повторяли снова и снова:

Legba, me gleau, me manger:
Famille ramasse famille yo:
Legba, me gleau, me manger.

Снова и снова те трое пели, барабанили, притоптывая в такт; толпа на площади перед ними начала отвечать; Иветта сама не могла устоять на месте и подхватила песнь Легбе: «Легба, еда и питье здесь, Семья наконец собралась с семьей, Легба, еда и питье здесь», — снова и снова, сначала застенчиво, чуть не посмеиваясь над собой и подругой Сели, потом все увереннее, двигаясь в свете факелов, пока на ее коже с туманом не стал мешаться пот, а голос не становился все громче: «Famille ramasse famille yo».

Откуда ни возьмись появился молодой человек — очень черный, очень сильный, в одних только сандалиях и штанах таких обтягивающих, что во

всполохах факелов виднелся изящный выступ гениталий; на его шее висела уанга, качаясь у груди в танце. Он остановился перед Иветтой; вместе они приплясывали, вместе пели: «Legba, megleau, memanger».

Из хумфора раздался новый шум. Пение и барабанный бой сменили ритм, сменили песню. По ступеням, минуя ряды катафалков в мраморном портике, спустились прислужники с огромными черными свечами, затем новые — с черными петухами, удивительно притихшими, затем вывели на веревке черного козла; наконец явились мамалоа и папалоа[228] с полыми горлянками.

Папа Небо, Гуэде Оссо и Гуэде Мазакка продолжали свое песнопение. Теперь толпа затихла в ожидании. Иветту Леклер охватило волнение, когда черный танцор взял ее за руку; она припала к нему, чувствуя пот на его коже у лица.

Папа Небо приветствовал мамалоа, принял у прислужника черного кочета, поклонился мамалоа и развернулся, — и тут же вновь заколотили в барабаны. Папа Небо поднял птицу за лапы, раскинул руки, закинул голову и кружился, кружился то в сторону мамалоа, то в сторону ба-

[228] Примечания: 228

Лоа — в религии вуду невидимые духи, посредники между людьми и богами. Мамалоа и папалоа — жрецы вуду женского и мужского рода.

рабанщиков, то в сторону толпы, круг за кругом. Кочет бессильно трепыхал крыльями, пытаясь вырваться; Папа Небо кружился все быстрее и быстрее; наконец кочет с головой, налившейся кровью от центробежной силы, пронзительно закукарекал — инстинктивный крик ужаса и отчаяния.

Папа Небо замер, вскинул петуха над головой, чтобы его все видели, схватил за голову и шею, потянул и вывернул. Вновь петух кукарекал, кукарекал — и замолчал. С судорожным рывком Папа Небо оторвал черную голову от черной шеи. На его нелепое одеяние брызнула кровь, и Папа Небо подбежал к мамалоа и папалоа, дав каждому отпить прямо из шеи птицы, а потом принялся наполнять чаши.

Началось новое песнопение — бешеное, неистовое:

Eh! Eh! Bomba! Heu! Heu!
Canga, bafio té!
Canga, mouné de lé!
Canga, do ki la!
Canga, do ki la!

Canga, li![229]

Распевая, приплясывая, шаркая по земле, люди продвигались вперед, по очереди преклоняя колени перед мамалоа или папалоа и принимая кубок с горячей кровью. Папа Небо брал у прислужников петуха за петухом, отрывал им головы и пополнял две тыквы. Иветта нетерпеливо пританцовывала, не отпуская руку нового знакомого, и медленно приближалась к священнодействию.

Наконец они достигли конца очереди. Иветта встала на колени перед папалоа. Подняла лицо, раскинув руки. Папа Небо как раз пополнил кубок. Папалоа протянул кубок ей — от горячей крови в ночной воздух поднимался пар, а рябящая поверхность бликовала от факелов под окружающий гул барабанов.

Чаша приблизилась к ее лицу. Иветта сжала

---

[229] Примечания: 229

Песнопение из ритуала, совершенного перед Гаитянским восстанием 1791 года. Неизвестно, правда ли состоялся такой ритуал, как неизвестен и верный перевод этого заклинания. Существует много его версий и переводов, часто с противоположными значениями. По одной версии, это простой обряд экзорцизма с конголезским происхождением и следующим переводом:

Ах! Ах! Бомба!
Изгони черных!
Изгони белых!
Изгони духов!
Изгони!

обеими руками свою уангу и окунулась в дымящуюся кровь лицом, сделала глубокий глоток, потом поднялась. Почувствовала, как всю ее переполняет горячий восторг. Она плясала и плясала под грохот барабанов, заполнявший разум, сливающийся в единый гул с размеренным и подчиняющим себе ритмом.

Она развернулась и увидела, как ее черный спутник поднимается перед папалоа с торжествующим огнем в глазах — таким же, как у нее, — и с кровью, ало сбегавшей с губ и капающей с подбородка на обнаженную грудь. Иветта бросилась к нему, целуя этот красный блеск, жадно слизывая кровь с его груди, пока он сокрушал ее в могучих объятьях.

Изнемогая от вожделения, она повалилась вместе с ним на твердую землю, не замечая, как то же самое повторяют десятки пар по всей озаренной факелами площади. Иветта скинула красочную блузку, рвалась расстегнуть его штаны, а он срывал штаны с нее. Не в силах дождаться, когда он ее возьмет, она толкнула его на спину, села сверху, ощутила, как его руки хватают ее за бедра, сажают ее на его, и он входил, входил в нее.

Со вкусом свежей крови во рту, чувствуя мужчину внутри, она извивалась вперед и назад,

восторженно, жадно, чувствуя, как он ее заполняет, растягивает, пока уже не казалось, что ее разорвет, а потом судорожно и беспомощно вцепилась в него, когда его руки привлекли ее к груди, чтобы вместе встретить последнее могучее движение, наполнившее ее чресла распирающим визжащим экстазом.

Она припала вперед, грея грудями его грудь, все еще раскинув ноги, чтобы удержать его внутри, и рвалось дыхание из легких, и в голове все еще гудели барабаны, и мужские руки сжимали ее тело.

Наконец Иветта заметила, что в который раз сменились ритм барабанов и песнопения. Бой из бешеного стал торжественным, мощным. Иветта скатилась с мужчины, села, чувствуя его рядом с собой. Оглядела остальных, поднимавшихся вокруг, бросила взгляд на хумфор. Там вновь загорелся факел, вновь изнутри кто-то выходил.

Опять запели — теперь всего одну строку, которая повторялась снова и снова:

L'Appevini, le grand zombi!
L'Appevini, le grand zombi![230]

---

[230] Примечания: 230
Он идет, великий зомби.

Из хумфора с пылающим факелом медленно выступила окровавленная фигура бога Огуна Бадагри в традиционном военном мундире: поблескивают кисточки эполетов, лихо сдвинут набок берет, высокий ворот, обтягивающие брюки белоснежно-белы, отливают черные сапоги.

И все расступились перед ним: прислужники, Папа Небо, Гуэде Оссо, Гуэде Мазакка, мамалоа, папалоа. Затихло пение, только били барабаны.

Огун Бадагри подошел к Папе Небо, забрал у него серп. Схватил козла на привязи, перехватив веревку одним ударом серпа. Животное словно парализовало от ужаса. Огун Бадагри взял козла в могучие объятья, прошел с ним к рядам катафалков, воздел одной рукой. Второй легко взмахнул серпом — изящно и так быстро, что Иветта и опомниться не успела.

Даже козел издал всего один возглас — полублеяние, полустон. И вот уже из вскрытой яремной вены хлынула кровь. Огун поднял труп над первым катафалком, перешел к следующему, следующему.

И всюду, где капли горячей крови падали на застывшие тела, что не шелохнулись в течение всего danse, начиналось движение. Поднялась фигура в саване — сначала села, скидывая с себя

погребальную ткань. Затем уже тело за телом тупо вставали у своих катафалков. Завороженная Иветта не могла вздохнуть, отвести глаз. Каждый труп был сшит из черных, белых, коричневых лоскутов. Вот бледное лицо покоилось на угольной шее, и короткие золотистые волосы только усиливали причудливое зрелище. Вот черная кисть на белой руке. Вот туловище, ровно рассеченное вертикальной линией: одна половина — темная, другая — светлая, как будто два тела разорвало напополам, но рваные края их частей аккуратно подровняли, а потом сшили вместе.

Достигнув конца рядов, Огун Бадагри отшвырнул тело иссушенного козла поджидавшим прислужникам и развернулся к шеренгам неподвижных зомби.

— За мной! — скомандовал он. — В хумфор!

И даже не дожидаясь, чтобы увидеть, подчинятся они или нет, он развернулся и вернулся в здание. Позади него после недолгого колебания сдвинулись зомби — вперед, вперед.

За последним с чудовищным грохотом затворились двери хумфора. Иветта Леклер забыла о своем черном мужчине, о крови, песнях и danse. В одной только кожаной уанге она вскочила и бросилась в панике прочь с площади.

11. ЧЕРЕЗ ДОЛУННЫЙ ВАКУУМ

Капрал артлерии Леандр Лаптип с золотистой челкой на потном лбу гадал, как чорзьми *он-то* унес ноги живым на мини-корабле подальше от «Джимми О», когда того размазал большущий корабль жоп*черных нигр в битве при чем-то-там. Как-никак эту битву еще обязон обзовут. Крупным всегда дают названия, да башковитые легкие командиры или майоры армии вечно их воспроизводят и воюют заново и пишут книжки, что там этот командир сделал правильно, а тот — нет, отчего битва пошла как пошла.

& исус с георгием свидетели, эта битва пошла бы к чертовой матери!

Скок ж кораблей потеряла Нов-Алабама? Леандр со счета сбился, но явно немало. Да и нигры потеряли дочорта, судя по тому, что Леандр видал из своего хлобыщущего пузыря. Даж считая проекции.

& потом чет попало и в него. Чет… Леандр пытался упомнить. Не луч. Не, он-то внезапный и бесшумный и… Но и не таран. Нет. Его бы Леандр увидал — увидать увидал, ток поздняк былоп метаться. Снаряд. Миниатюрный, самоходный, автономный, как корабль. Пер, пер на него — чер-

ный цилиндр с пылающим задом, пер прям на него и его хлобыстер, и не успел сбить — *хрусть!*

Хрусть — а че потом?

Повезло Леандру, что на боевых позициях броня космическая, не то быть ему замороженной тушкой. А так во всей дальнейшей мешанине… ведь «Джимми О» наверняка досталось посильнее, чем от одного поджопника под пузырь… Леандр успел на миникорабль и был таков. Толь в обмороке, толь в истерике. Зглаздалой. Затерянный.

Летел наобум. Без еды и кислорода.

* * *

Услышав скрип открывающейся двери, Филлип оторвался от бесконечных бумажек. Узнал своего друга Рауля и пригласил сесть на деревянный стул.

— Как производство? — справился гость.

— Неплохо. Сбор продолжается. Урожай не падает. Если не повышать обороты, думаю, эта планета закроет наши потребности. Но, пожалуй, всем нам было бы спокойнее — как здесь, так и дома, — если бы отыскался и другой источник этих созданий. — Филлип откинулся на спинку и разок пожал плечами, чтобы их размять, потом сложил руки на небольшом брюшке и взглянул

на Рауля.

Тот молча играл с какой-то безделушкой со стола. Пару раз открыл рот, чтобы заговорить, но каждый раз себя останавливал.

Филлип помычал.

Рауль прочистил горло.

Филлип сказал:

— Что ж.

Рауль сказал:

— М-м-м, да.

— А как дела с объектом? — спросил Филлип.

— Без успехов, — ответил Рауль. — Тебе же известно, что артефакт прекрасно сохранился в вакууме Ваша. Здесь, на Кайемитте, он бы долго не протянул — ты же знаешь, что капитан Бонсар считает и металл, обнаруженный детекторами на Кайемитте, остатками подобного устройства.

Филлип кивнул.

— Но если он и прав, его уже не спасти. Тогда как Вашский артефакт… — Рауль замолчал, многозначительно поведя руками.

— Бонсар сейчас на объекте?

Рауль утвердительно буркнул.

— Я знавал его тетушку в Нов-Порпренсе, — сообщил Филлип. — Работала в моем отделе в министерстве. Ворчливая дама средних лет. Хле-

бом не корми — дай настрочить на кого-нибудь донос. Будто школьная ябеда. Сегодня днем мсье Канетон задремал за столом. Сегодня утром мсье Белледор явился с опозданием. Наверняка все это не прошло даром. Как видишь, я на далеком мелком спутнике, а бедняга Белледор — призван. Можешь себе представить Кристофа в пехоте? — Филлип горестно усмехнулся.

После недолгой паузы он оправился.

— Рауль, — продолжил он, — но отчего столько возни с артефактом? Древние объекты находили и раньше. Что такого особенного в этом? И почему бы не отправить его на Нов-Гаити?

Рауль поднялся со стула и принялся задумчиво бродить по кабинету.

— Надо отдать должное нашему смекалистому капитану Эдуару Бонсару. Он считает это оружием. Он считает, его можно привести в действие и применять для обороны в случае атаки врага на планету.

Филлип в замешательстве вскочил.

— Но ведь вся наша вылазка на Н'Ю-Атланчи зависит от секретности. Все говорят, что не выйдет укрепить целую планету разом. Да и здешние условия… кристаллическая кора и так с трудом выдерживает тот вес, что мы уже доставили. Если

привезти и оружие… — он покачал головой.

— Именно. Поэтому наше вооружение здесь, на Кайамитте, и на Ваше, но главным образом мы полагаемся на секретность. Бланки слишком заняты обороной своей планеты и атаками на Нов-Гаити, а значит, покуда им неизвестно о проекте Н'Ю-Атланчи — нам ничего не грозит.

— Ну и?

— Ну и Бонсар все равно хочет усилить оборону. И он уверен, что сможет восстановить Вашский артефакт — и что это оружие.

— А ты думаешь… что?

— Я думаю, он прав!

— Так почему ты против?

— Потому что, во-первых, я в этом не уверен. После восстановления артефакт может оказаться… да чем угодно. Вероятно, это оружие. Но вдруг это маячок, который пошлет сигнал чему-то далекому и чуждому, оставившему его на Ваше? Или транспорт? Или какая-то автоматическая фабрика? Или — опять же — что угодно? Его следует изучать подготовленным специалистам со всеми мерами предосторожности. А капитан Бонсар просто взял и решил его отремонтировать.

Во-вторых, допустим, это и правда оружие: какого типа? Оно пускает снаряды? Некие лучи?

А если это бомба, и после восстановления она рванет и заберет с собой пол-Ваша в придачу? Бонсар ставит на карту слишком много!

* * *

Один в мини-гробу, иссушенный труп, который когда-то был капралом артиллерии Леандром Лаптипом из нов-алабамской космической пехоты, безмятежно парил средь звезд. Автоматический маячок мини-корабля слал сигнал бедствия, но из-за ограниченных сил и всего лишь скорости света шансы, что его примет потенциальный спаситель, были невелики. А если бы и примет, что толку?

Леандру Лаптипу уже было все равно, спасут его или нет.

Но маячок работал, а корабль продолжал скользить по более-менее прямой траектории на своем малом самодостаточном источнике энергии. Слишком миниатюрный для установки системы измученной материи, мини-корабль не мог достичь скорости или дальности большого звездного судна, зато парить мог вечно.

Он мог следовать куда угодно. И Леандру Лаптипу было все равно, что следует он к звезде под названием NGC7007.

* * *

Капитан Бонсар взял микросхемник у техника-сержанта и наклонился над последним пробелом в начинке артефакта. Глаза устали, пальцы дрожали из-за мелкой моторики, и, чтобы расслабиться, он покачнулся назад на пятках и взглянул на небо.

— Здорово наконец отдохнуть от этих аккуратистов-гражданских, что вечно суют нос куда не следует, а, сержант? — спросил он.

В шлемофоне протрещало согласие.

— Ладно, закончим эту штуковину и опробуем ее в деле, — продолжил капитан.

— Так точно, — отозвался сержант.

Капитан Бонсар вытянул руки, чтобы их размять. Над его головой виднелись крошечная клякса Кайамитта и огромная сфера Н'Ю-Атланчи, сияющая и переливающаяся оттенками бирюзы и подсолнуха: как всегда, изумительное зрелище на фоне черного неба. Тускло отливала зеленым далекая NGC7007.

Бонсар вернулся к артефакту. Давным-давно в тонкой линии, слегка выступавшей на округлом гладком цилиндре, — очевидно, микросхеме между двумя узлами, — была выщерблена ямка:

наверняка (думал Бонсар) каким-нибудь шальным микрометеором. А теперь он, Эдуар Бонсар, исправит эту мелкую космическую шалость. Он включил аппарат, поднес его наконечник к крошечному отверстию, пристроил к прерванному концу древней схемы.

Микросхемник уперся как влитой. Бонсар медленно, скрупулезно провел им к другому пресеченному концу. На пути следования инструмента, медленно приближавшегося к другому краю, прокладывалась микросхема. Наконец оба ее конца разделял только сам инструмент. Бонсар аккуратно приподнял его и дождался, когда две нити материала соединятся, после чего отключил микросхемник и вернул сержанту.

И только тогда шумно выдохнул от облегчения.

— Готово! — объявил он.

— Когда будем испытывать, сэр? — спросил сержант.

* * *

После недолгого почти-остракизма мать и отец вновь смилостивились к дядюшке Дадли и сегодня, решив навестить старых знакомых в месте (довольно широкое понятие, означающее скорее

концепцию, чем конкретику) весьма и *весьма* удаленном в плане пространства, времени и, э-э, «фнкрая», доверили дядюшке Младшенького, который в долгой поездке и скучном визите только бы заскучал и стал еще непослушнее.

Дядюшка Дадли подготовился, решив купить хорошее поведение Младшенького гостинцем, купленным по дороге к Пленуму — о чем не знали мать и отец и о чем им ни словом не обмолвятся ни Младшенький, ни Дадли.

Младшенький принял гостинец.

Дядюшка прикорнул на диване в гостиной.

А Младшенький мучил новой игрушкой прошлый гостинец из Пленума. («Вселенная».) Было очень весело, а дядюшка Дадли спал крепко, бедный старичок. Сами знаете, как ведут себя детишки, когда родителей нет, а сиделка не следит за дисциплиной.

* * *

Капитан Бонсар смотрел в черное небо над Вашем, все еще не убирая рук с восстановленного Вашского артефакта. Вдруг он ткнул пальцем в сторону Омикрон Сигмы XXIVa.

— Сержант! — хрипло рявкнул он. — Взгляните!

Техник-сержант повернулся и проследил за пальцем капитана.

— Корабль, сэр! Не наш!

После совсем недолгого ошеломленного молчания капитан Бонсар объявил:

— Вот вам и ответ, сержант. Испытаем Вашское оружие немедленно! Не знаю, как эти белые дьяволы прознали о нашей работе на Н'Ю-Атланчи, — и они круглые дураки, раз выслали против нас всего один корабль, — но это шанс доказать мощь Вашского артефакта!

Нов-алабамский корабль приближался к зениту над Вашем. Миниатюрный дротик, изящный, заостренный на носу, затем расширяющийся и вновь сужающийся у осиной талии, затем распускавший хвостовые стабилизаторы: силуэт мини-корабля отчетливо выделялся на фоне сияющего и искрящего диска Н'Ю-Атланчи, где в теплых соленых морях трудились черные люди, собирая урожай С'цча.

Капитан Бонсар присел у Вашского артефакта, прицелился с помощью устройств, созданных в незапамятные времена, и подрегулировал рукой в бронированной перчатке не менее древние настройки.

Наконец все было готово. Возможно, артефакт

мелко завибрировал — Бонсар сам не знал, отчего его охватил легкий трепет, от возвращенного к жизни артефакта или от собственного волнения. Он наблюдал, как нарушитель безмолвно застыл, перехваченный незримыми силами в долунном вакууме, отделявшем маленький спутник Ваш от планеты Н'Ю-Атланчи. Корабль словно завибрировал, а потом медленно угас, словно бы растворяясь или рассыпаясь на осколки слишком мелкие, чтобы разглядеть на таком расстоянии.

Резонанс Вашского артефакта продолжал свой путь на световой скорости, пока не коснулся поверхности планеты, где приступил к своей безмолвной и невидимой работе, и вот…

Кристалл хрустнул. Побежала тончайшая трещина, удлинилась, расширилась. Разверзлось отверстие. Ленивое течение соленой жидкости обратилось в ревущий, клокочущий поток.

Поднялась волна, понеслась во все стороны, только нарастая в движении. А позади ее отвесного фронта впервые с тех пор, как странная планета заняла свою устойчивую орбиту, обнажился кристалл.

Все больше и больше участков кристалла сотрясались, шли трещинами, крошились. Приливала жидкость. Все выше и выше росла огромная вол-

на. Раскрывались новые кристаллические слои, разрушались, сокрушались новыми волнами роскошно искрящейся и насыщенной морской воды.

Сотни черных рабочих смыло потопом или затянуло в недра содрогающегося, рассыпающегося кристалла.

Гибли миллиарды крошечных неразумных гомункулов.

Подвижные, свирепые силы разорвали огромное, плодовитое, разбухшее подобие женственности в центре центральной кристаллической коры.

В миллионах миль оттуда сияла гибельной зеленью звезда NGC7007. Со временем и она прочувствует великий резонанс.

А где-то далеко (условно говоря) довольно похрапывал дядюшка Дадли, пока его племянник с трудом сдерживал вопли восторга.

12. ДАЛЕКИЙ ГОРИЗОНТ ПОДЕРНУТ ПЕРЛАМУТРОМ

Мариус Гонкур осторожно пробирался через щебень на улице Анри Бурасса, выглянул из-за угла на рю Кот-Вертю. С виду тихо. Он выскользнул с дипломатом в руке из-за выщербленной стены,

чтобы проделать последние десятки шагов до министерства. И был уже на середине улицы, когда вдруг началось.

В небесах затрещал перегретый озон. Мариус нырнул в дыру в стене, не задержавшись узнать, что бы это могло быть. Вдруг рю Кот-Вертю покрылась трещинами, зашипел пар там, где лучи лазерных винтовок задели стоячие лужи, затрещало и разлетелось битое стекло, когда оконные рамы вдруг нагрелись до тысячи градусов.

Мариус опасливо выглянул из укрытия в поисках источника лазерного огня. Луч, что чуть не прожег в нем дырку, наверняка выпустили из высокого окна на другой стороне рю Кот-Вертю. Из министерства и вокруг него уже вели ответный огонь.

И снова затрещал воздух, круг на цементном тротуаре рядом с укрытием Мариуса обуглился и раскрошился. Ответный залп — две, три лазерные винтовки дали залп в окно. С той стороны дороги раздался то ли вздох, то ли стон. В окне показался силуэт, покачнулся навстречу утреннему свету, кувырнулся в воздухе, полетел к тротуару, выделывая сюрреалистически медленные кульбиты и выверты, пока не ударился с удовлетворительным стуком.

К телу через рю Кот-Вертю поспешили двое солдат. Мариус бросился со своего места. Снова затрещал воздух — второй снайпер подхватил дело первого. Один солдат повалился на дорогу с черным дымком, вьющимся от раны, аккуратно проделанной и тут же прижженной лазерным лучом. Второй луч попал по дипломату Мариуса. Выронив его и растянувшись на щебне, он увидел, как уцелевший солдат припал на колено, вскинул приклад к плечу и пустил луч в окно. Снова раздался возглас человека, пронзенного внезапным белым жаром. Из окна выпало оружие, но убитый снайпер в этот раз завалился обратно в комнату.

Сначала Мариус и уцелевший солдат бросились к его товарищу, потом — к снайперу на тротуаре. Оба мертвы. Они переглянулись, и солдат узнал Мариуса.

— Мсье Гонкур, вас не задели?

Мариус с горестным видом приподнял дипломат.

— Почти, но в меня не попали. Вы можете вызвать охрану, чтобы проверить второго снайпера? Я-то думал, округу уже зачистили!

— Мы тоже так думали, мсье Гонкур, — ответил солдат. — И это стоило нам человека. Так точно,

сэр, займусь этим немедленно.

Мариус отвернулся и вошел в министерство. Мимо торгового автомата самообслуживания, где раньше были владения Мориса, по деревянной лестнице, уже рассохшейся и трясущейся, в кабинет министра Антуана-Симона. Мариус вошел. Министр оглянулся от стола, окруженного представителями правительственных департаментов.

— Мсье Гонкур, вы опоздали. Пунктуальность — признак эффективного работника. Мы уже начали.

— Прошу прощения, сэр, — начал Мариус. — Снова снайперы…

— Пожалуйста, не надо оправданий, — перебил его министр. — К делу. Капитан Жерар вводил нас в курс дела касательно соотношения военных сил. Прошу продолжать, капитан. — Он махнул офицеру флота.

Жерар в непарадной форме цвета хаки устало заговорил:

— Я все равно почти закончил, господин министр. Подытоживая: после космической битвы за Омикрон Сигма XXIVa оба флота, наш и противника, практически уничтожены. Мы считаем, враг даже в худшем положении, чем мы.

Однако неожиданный удар по Гонаву и Нов-Гаити усложняет дело. Наша контратака из бастионов в Ферьере и Дахабоне имела решительный успех. Мы отбили все крупные населенные центры на планете, и лишь в сельской местности еще рыщут рассеянные банды бланков.

Офицер робко взглянул на Мариуса и прибавил:

— Разумеется, тут и там еще случаются отдельные происшествия, пока мы не выбили врага с планеты окончательно, но этого следует ожидать.

— Хорошо, капитан Жерар, — вклинился господин министр. — Мы верим в адмирала Гуэде Мазакку и нашу армию. Нам известно, что Нов-Гаити вне опасности. Но что с Гонавом? Без поставок продовольствия нам долго не протянуть.

— Ах да, верно.– Капитан Жерар провел пальцем внутри форменного воротника.– Что ж, насколько вам известно, успех нов-алабамской атаки на Гонав объясняется недостатком сил для обороны. Губернатор Фостин попал в плен. Враг от его имени призывает население бездействовать. Заместитель губернатора Лоренс устроил центр сопротивления в Жакмеле, пользуясь полномочиями традиционной королевы Гонава,

Ти Меменн[231], чтобы противостоять приказам губернатора Фостина.

Он замолчал.

— Когда мы сможем перебросить войска на Гонав? — спросил Антуан-Симон.

— Флот снова в пригодном состоянии. После Омикрона Сигма XXIVa осталось достаточно материалов. Одна беда: нехватка людей. Вот почему мы обращаемся к вашему министерству, мсье. В каком состоянии программа воскрешения?

Мариус открыл дипломат и достал стопку страниц. Все они были помечены в уголке аккуратным отверстием, окруженным обугленной каемкой. Сверяясь с записями, он быстро заговорил.

— Насколько мы можем установить, программа воскрешения закончена. Экспериментальный этап обернулся успехом. На Н'Ю-Атланчи была начата крупномасштабная добыча с оборотом приблизительно 6 тысяч С'цча в местный день. С такими темпами мы бы могли подчинять тела сразу по мере их восстановления.

---

[231] Примечания: 231

Ти Меменн — королева острова Гонав в годы колонизации США. Фостин Виркус (1896–1945) — сержант морской пехоты США и король острова Гонав под именем Фостена II. Также главный герой книги Вильяма Сибрука «Остров магии», после которой обрел популярность и считался экспертом по карибским верованиям.

Увы, как вам известно, катастрофа на Н'Ю-Атланчи произошла задолго до того, как мы вышли на расчетный уровень урожая. За катастрофу несет ответственность один из военных офицеров. — Он покосился на капитана Жерара, который спрятал глаза.

— Мы предоставим достаточно воскрешенных для полномасштабной атаки на Гонав, чтобы его отбить. Но после этого воскрешений не будет. Стоит израсходовать нынешние запасы — и программе конец. По крайней мере, наши ученые не добились успехов без С'цча, а мы не обнаружили их нигде, кроме Н'Ю-Атланчи.

Министр Антуан-Симон снова перевел взгляд на капитана Жерара.

— Оценка ситуации мсье Гонкуром сходится с нашей, — подтвердил Жерар. — Оправившись после Омикрона Сигма XXIVa, мы установили кордон и не дали врагу доставить подкрепление на Гонав. Мы считаем, что уже переломили ход сражения и в состоянии вторгнуться на родную планету противника. Но сначала необходимо восстановить продовольственное снабжение. Мы бросим в контратаку воскрешенных и вернем Гонав.

Также добавлю, что катастрофа на Н'Ю-Атлан-

чи — не совсем катастрофа. Вашский артефакт — позвольте называть его Вашским резонатором, — уже воспроизводится. Наш флот ставит резонаторы на вооружение, и они сыграют важную роль в атаке на Нов-Алабаму. По очевидным причинам мы не воспользуемся им против Гонава, но зато уничтожение большей части планеты врага должно принудить его к миру.

* * *

Он стоял с остальными в строю, по левую и по правую руку тянулся в шахматном порядке В-десант: военные джинсы и сапоги, у каждого В-солдата — оружие и запасной энергокомплект, шлем с инфраочками. Перед каждым взводом стоял черный унтер-офицер. Где-то на задворках сознания теплились понимание, кто он и где находится, гордость своей военной выучкой и готовностью, но все это погребал толстый пласт безразличия.

Унтер-офицер отвернулся от В-десанта к стоявшему в стороне нов-гаитянскому офицеру коспехов. Солдат услышал, как нов-гаитянский офицер отдает приказ взводному. Увидел, как взводный разворачивается к В-десанту. Взводный выкрикнул приказ. В-солдат — с сознанием от-

решенным и безмятежным, — ощутил недолгую задержку, но потом ожил контроль. Его тело само развернулось на девяносто градусов. При этом его глаза наблюдали, как В-солдаты вокруг делают то же самое.

Новый приказ унтера. Опять заработал контроль. Солдат почувствовал, как его руки и ноги задвигались с ритмичной регулярностью — он и его отделение маршировали вперед.

Бороться с контролем было бесполезно, чем бы он ни был. Это солдат узнал уже давно. Отказавшись от безнадежных усилий, он был не против оставаться наблюдателем внутри собственного тела, чувствовать, как ходит воздух в легких, чувствовать движение тела на марше, слышать чеканный шаг сотен ног, видеть затылки В-солдат впереди, пока контроль вел вперед, размахивал его аккуратно сшитыми руками так, что с каждым шагом внизу поля зрения взлетали разные ладони — левая, правая, черная, белая, левая, белая, черная, правая, черная, белая…

Новые приказы, повороты, остановка и ожидание, потом снова марш — и все по приказу нов-гаитянцев, все под контролем чего-то иного, нежели сознания: сам он наблюдал и ощущал, но не действовал.

Теперь В-десант сел на скамьи в провонявшем трюме. По приказу контроль сдвинул руки, и те закрепили крюки безопасности на ногах и поясе. В какую сторону ни летел бы корабль, где бы гравитация ни устанавливала «верх», солдаты останутся на местах.

Долгое время — он не мог его измерить — корабль не двигался, как и солдаты на скамьях. Нов-гаитянские командиры куда-то запропастились. Он отрешенно размышлял, что они делают на корабле, куда их везут и зачем, но, с другой стороны, все это не имело особого значения.

Через глаза он смотрел на солдата перед собой. В поле зрения снова показались его руки, рядом со стволом его оружия — черные и белые пальцы сплелись, удерживая оружие во время взлета и перепадов гравитации. На затылке, в который вперился его взгляд, были белая кожа и длинные светлые волосы. Под черепом проходил длинный яркий рубец. Солдат сидел неподвижно — как и он сам. Впереди блондина виднелся другой солдат, и еще. И у каждого, несмотря на цвет кожи, — один и тот же длинный рубец под черепом.

Неизмеримое время спустя скамью и пол стало слегка трясти. Уши заполнил глубокий рокот, картинка перед глазами дрогнула, потом вы-

ровнялась. И опять. Вот рокот разросся до рева, а дрожь скамьи и пола перешла в размеренную вибрацию. Потом скамья и пол долго давили вверх, потом рев прекратился, трюм застыл, пол и скамья перестали давить — и он почувствовал, как парит в воздухе то туда, то сюда, но удерживался на месте ремнями у ног и пояса.

Он парил на привязи.

Его глаза видели спины, стену, иногда — серость пола или потолка.

Его уши слышали шум, дыхание, поскрипывание корабля.

Его тело ощущало вес, давление, текстуры.

Наконец он ощутил вращение гравитации при гироманевре, потом — опять рокот и вибрацию.

В поле зрения показался унтер и отдал приказ. В-солдат почувствовал, как тело подчиняется контролю, отстегивает ремни, поднимается, выходит с остальным В-десантом по узкому проходу между скамьями, в проем, по коридору. По приказу его рука поднялась и схватила трос, защелкнула на нем кольцо с его боевого ранца.

По приказу колонна В-солдат прошла мимо корзины с оксимасками. По приказу рука взяла маску и надела ему на лицо. По приказу колонна В-солдат приготовилась. Его глаза увидели, как

отодвигается люк. Его глаза увидели, что снаружи ночь, они высоко над землей, но в пределах атмосферы, над которой мерцали огоньки далеких звезд.

По приказу тела В-солдат двинулись вперед, через шлюз, выпрыгивая один за другим, пока за ними тянулся длинный трос. Когда настала его очередь, в тьму прыгнул и он. Падая, кувыркаясь, внизу он видел маленькие скопления городских огней. Когда трос дернул его за боевой ранец, голову подбросило вверх — и глаза увидели далекий горизонт, подернутый перламутром, поднялись выше, увидели тьму, тьму, усеянную миллионами точек света. Край глаза ненадолго зацепился за планету, с которой прибыл корабль.

Кожа чувствовала визжащий мимо воздух, пока трос опускал В-десант все ниже и ниже в атмосферу. Наконец уши разобрали звуки приземления десанта — стук, случайные возгласы. Затем голос, когда приземлился кто-то из унтерофицеров и начал раздавать команды. Затем шаги и движение В-десанта под контролем.

Его тряхнуло от приземления. Покатило по земле от инерции. Когда он остановился, до ушей донеслись команды унтера. Затем контроль поднял его на ноги, вскинул руки, чтобы отцепить

трос, проверить снаряжение. По приказу глаза нашли ближайшего десантника, ноги отвели к нему, их руки проверили друг друга.

По приказу быстро строились взводы В-солдат. Его отряд в боевом порядке двинулся с остальными к ближайшей деревне. На подходе его глаза увидели всполохи лазерного огня. Он слышал, как голоса командиров отдают приказы, чувствовал, как тело подчиняется. Глядя через глаза, он отрешенно осознавал, что они несут тяжелые потери, В-солдаты падали, падали, но их подступало еще больше. И всегда — офицерские голоса, и всегда контроль двигал руками и ногами, нацеливал глаза, стрелял пальцами, снова двигал вперед.

Вот они вошли в деревню, он видел огонь тяжелых орудий. Взрывались дома, перекрывались улицы, срывались фасады со зданий. Его глаза видели вспышки над головой, после чего следовали рев и жужжание, после чего следовали взрывы.

Всю ночь они шли и сражались. К рассвету В-десант занял поселение. Его глаза видели невероятное число павших В-солдат. Куда меньше — нов-алабамских оккупантов, но живых пленников не было.

Еще несколько дней тела В-солдат вели бои с нов-алабамскими оккупантами. К врагу не под-

ходили подкрепления. В-солдаты шли и шли, гибли в сумасшедшей диспропорции к нов-алабамцам, но все равно шли и шли. Наконец разум десантника — отрешенно, безучастно — проанализировал то, что наблюдали его глаза и уши.

Гонав находился в руках нов-гаитянцев. От нов-алабамских сил ничего не осталось. Возможно, размышлял разум, кто-то и сбежал в сельскую местность. Возможно, здесь еще годами будут длиться стычки местных нигр и оставшихся бланков. Но это не имело особого значения.

По приказу унтера В-десант вырыл длинные канавы. Под контролем сволок в них мертвых нов-алабамцев, нов-гаитянцев, В-солдат, заполняя и зарывая канавы. Когда с телами было покончено, еще оставались В-солдаты и еще оставались канавы.

По приказу унтера и под контролем В-солдаты выстроились вдоль оставшихся канав, и их собственные ноги повалили вниз их тела. Другие В-солдаты их зарывали. Наконец к канаве подошел он. По приказу офицера и под контролем повалился внутрь. Катясь и колотясь, на дно он упал навзничь.

Отрешенно и безучастно смотрел глазами, как на него свалился другой десантник, потом еще и

еще, пока через кучу В-солдат не просвечивало всего несколько лучиков. Почувствовались мягкие шлепки сверху — это остальные десантники, следовавшие позади, по приказу унтера и под контролем, зарыли канаву.

Наконец стало темно, его уши больше не улавливали звуки падения десантников и шлепков земли. Отрешенно и без особых забот разум десантника думал, сколько еще сможет получать кровь и кислород. Хотя это мало что значило.

13. НИЖНЯЯ ПОЛОВИНА ЕВЕ ЛИЦА

Долгое ничего спустя Ч'ен-Гордон начинает обретать сознание во всей полноте. Уже не просто розовое червеобразное морское постгоминидное извращение, не просто С'цча. И нет — о нет, совершенно не человек.

Что-то новое.

Ч'ен-Гордон чувствует липкость и легкое давление неутрамбованной почвы, нажим других брошенных В-солдат вокруг туловища и конечностей. Опытается открыть глаза, обнаруживает, что их закрывает собственная рука — возможно, рефлекторно вскинутая к лицу перед тем, как посыпалась земля.

О с усилием пытается оторвать руку от лица,

чтобы открыть глаза, но встречает только кромешную тьму. О силится поднять обе руки, потом колени. Расчищает всеми четырьмя макроконечностями небольшое пространство для маневра макроконечностями, пусть и ограниченного, прежде чем перейти к земле наверху.

Дышать трудно, но возможно. О явно неглубоко от поверхности, и через неплотную почву проникает достаточно воздуха для дыхания.

Силясь расчистить место у ладоней, о сжимает руку другого неподвижного В-солдата, чувствует, как она реагирует на касание отчаянной хваткой, тянет в ответ к себе. Ч'ен-Гордон прекращает тянуть, но ладонь не отпускает. Словно убедившись, что еве не бросят, В-солдат тоже прекращает исступленную возню, но все еще сжимает Ч'ен-Гордона за ладонь.

Ч'ен-Гордон вдыхает, сколько может, затем начинает прорываться через мягкую сыпучую почву наверх. Для этого он ослабляет хватку на ладони второго В-солдата, который как будто понимает задумку. Ч'ен-Гордон почти сразу слышит, как о роет вместе с ний.

О снова и снова бьет макроколенями в неплотную землю, стараясь не просто утрамбовать ее над собой и выиграть больше пространства,

но и приподнять почву, чтобы в конце концов прорваться на поверхность, к свежему воздуху. Помогают и руки — с удивительно незнакомыми *пальцами* на макроконечностях: в поисках нужных нейронных связей и команд о опирается на гордон-часть своей личности.

Пробиваясь вверх, продираясь через холодную землю, пыхтя и задыхаясь от натуги, о наконец вырывает грязную ладонь из всеохватной почвы. Опирается на локоть, набираясь сил для нового рывка, чтобы пробиться рукой и плечом. Но тут чувствует, как за руку хватают; чувствует могучую тягу. Из последних сил о толкается вперед, помогая невидимому спасителю, чувствует движение вверх, как мясо чуть не срывается с костей макротела, а потом с невероятно мучительным рывком чувствует, как восстает из братской могилы В-десантников.

Слегка пошатываясь, о стоит в ночной прохладе Гонава. Поле озаряется чуть ли не как днем ярким блеском Нов-Гаити, висящим чудовищно огромно в темном небе, как будто того гляди рухнет всем своим тяжким весом на поверхность спутника и расплющит все, что там есть, а то и сотрет в порошок сам спутник.

Ч'ен-Гордона встряхивает хватка другого В-

солдата. Еве взгляд опускается и встречается со взглядом товарища: о качает головой, показывая на разбухший шар в небе. Второй В-солдат снимает руки с плеч Ч'ен-Гордона. Показывает на перепаханную землю, что шуршит и сотрясается, пока из нее пробиваются руки, ноги, лица, коричневые, черные, белые.

Они возвращаются к ближайшей борозде, вместе хватают смертельно бледную ступню, торчавшую из массового захоронения, и тянут, пока не появляется весь лоскутный труп. Роняют ногу, и тело само поднимается из почвы, медленно и мучительно. Новоприбывшее оглядывается, будто в изумлении, потом смотрит в небо, когда еве глаза приковывает к себе огромная махина планеты. И снова повторяется пантомима со встряской и жестами, и трое В-солдат приступают к высвобождению из общей гробницы товарищей, чья десантная форма — погребальные одеяния, новая, но покрытая землей Гонава.

Те трупы, что не могут двигаться по собственной воле, они бросают.

Ч'ен-Гордон оглядывается, наталкиваясь везде глазами на лица лоскутных десантников. Наконец о подходит к другому — огромному, мускулистому, поблескивающе-черному. Еве

лицо рябое, глаза — остекленевше-голубые, волосы — жидкие, взлохмаченно-золотистые, кожа — болезненно белая, не считая черного пятна, которое подобно маске закрывает остатки его носа, нижнюю часть щек, рот и челюсть.

Ч'ен-Гордон пытается заговорить. О двигает губами, его глотка дрожит, слышится скрипучий стон.

Второй В-солдат тоже пробует, но у него получается не лучше.

Ч'ен-Гордон видит вокруг, как В-солдаты пытаются заговорить, но добиваются только мучительной невнятицы.

Ч'ен-Гордон стоит, свесив руки. Двойная нервная система, объединенная спиремными волокнами, проросшими в продолговатый мозг, протянув почти мономолекулярные кислотные цепи во всю нервную систему лоскутного трупа, тужится изобрести способ общения с другими В-солдатами.

Наконец Ч'ен-Гордон подходит к разноцветному малому. Открывает рот, жестом показывая делать так же. Подступает на шаг, берет второго за щеки, чуть наклоняет голову в сторону, контролируя движение с помощью Гордон-синапсов, и впивается губами в чужие губы.

Ч’ен-Гордон впихивает язык в чужой рот, чувствуя холодную влагу. Внутри языка, словно змеи, извиваются миллионы спиремных нитей; как голодные медузы, они вонзаются в ледяной язык второго В-солдата, прорастая на микродюймы во влажную плоть, вступая в контакт со спиремными нервными волокнами, обмениваясь информацией, рассказывая, узнавая, планируя, чувствуя общее холодное дыхание, перегоняющееся из глотки в глотку.

Наконец о решает, что узнал и рассказал достаточно. Волокна деэрегируют. О отстраняется от второго В-солдата, разворачивается и плетется через поле делиться планом с другими. Когда Нов-Гаити минует зенит, план знают уже десятки В-солдат.

Когда Нов-Гаити проходит полпути до горизонта Гонава, В-солдаты уже идут по асфальту Жакмеля.

Когда асфальт Жакмеля освещается и туманное сияние Нов-Гаити сменяется настоящим дневным светом, посадочный корабль «Лумумба»[232] оставляет за собой обугленную и израненную

[232] Примечания: 232

Патрис Лумумба (1925–1961) — африканский левый политик, первый премьер-министр независимого Конго, впоследствии убитый при участии ЦРУ и бельгийской службы безопасности.

впадину.

Когда Нов-Гаити вновь освещает Жакмель, огромный флот гранд-адмирала Гуэде Мазакки уже пополняется посадочным кораблем «Лумумба» с грузом лоскутных трупов.

* * *

В небе Независимой Планеты Новая Алабама посадочный корабль «Лумумба» занимает позицию в нов-гаитянском кордоне. Так «Лумумба» висит на стационарной орбите день и ночь, пока из-за красного шарика то выглядывает, то пропадает свет NGC7007. В-десант на борту по очереди стоит в дозоре и дремлет, подкрепляясь крошечными порциями гиперконцентрированных пищевых модулей.

В одном дозоре Ч'ен-Гордон открывает рот для В-солдата, потом для третьего, потом четвертого.

Несколько часов спустя сияющий дротик планирует из строя в черное небо Нов-Алабамы. Орбита становится все ниже и ниже, планета постепенно сдвигается вверх, разрастаясь навстречу «Лумумбе». На подходящей высоте двигатели «Лумумбы» кратко полыхают; спуск замедляется. В корпусе возникает отверстие, и к планете выпадает уже знакомый растяжной трос

— гладкий, округлый и серый.

В-солдат на позиции цепляется за трос, соскальзывает вниз, на миг зависает над поверхностью Нов-Аламы, потом безмолвно падает на ночное поле.

«Лумумба» продолжает движение над планетой, а В-десант сверяет карты вторжения со знакомыми ориентирами — возвращаясь, возвращаясь на знакомые фермы, в деревни и города всех полунезависимых мегастран на планете, в Абвиль и Альбертвилл, в Боаз и Бэй-Минетту, в Гудуотер, Диксиану, Джаспер, Карбон-Хилл, Липс-Комб, Хантсвилл, и Цитронвилл, и Юфалу, и Летохатчи.

Ч'ен-Гордон спускается по тросу в Летохатчи.

Первый нов-алабамец на еве пути смотрит раз, потом сразу другой, вскрикивает — Че за хрее-ень! — и выхватывает револьвер. Ч'ен-Гордона с рефлексами, отягощенными двойным сознанием С'цча и Человека, арестовывают. Попавшись на полпути в город, дальше он едет на скулящем патрульном гирокаре. В городской тюрьме Летохатчи о глядит через зарешеченное оконце на пыльную площадь, созерцая что-то, что может быть недлинной велосипедной стойкой.

Допросы не дают ответов.

Еве запирают на ночь, кормят баландой и доверяют сторожить помощнику шерифа, дрыхнущему на стуле в конце безлюдного тюремного блока. Через несколько часов Ч'ен-Гордон лежит на полу камеры лицом к прутьям, с открытым ртом, вывалив язык на цементный пол. Медленно, почти незаметно растут волокна, пробиваются через поверхность языка спиремы.

Спящий охранник шмыгает во сне; его челюсть отпадает, и он начинает тихо храпеть.

Спиремы Ч'ен-Гордона тянутся. О не улыбается, но спиремы тянутся.

Перед тем как проснуться, охранник проявляет слишком большое доверие. Потом не просыпается вовсе.

Ч'ен-Гордон проходит мимо мертвого охранника, тихо выскальзывает из городской тюрьмы Летохатчи, неторопливо минует, возможно, велосипедную стойку, тихо направляясь к менее освещенной и людной части Летохатчи, знакомой гордон-части личности.

В следующие недели о ненавязчиво обитает в тенях, днем спит в заброшенных сараях, ночами рыщет в темных подворотнях, охотясь на одиноких граждан. Благодаря волокнам Ч'ен-компонента о узнает у спящих бомжей о прогрессе

нов-гаитянской осады Нов-Алабамы. Гордон-компонент его дихотомии не радуется тому, что о узнает.

И все же Ч'ен-компонент остается отстраненным, бесцельным, посвященным только жизни и опыту, стремясь — под контролем какого-то уцелевшего инстинкта — только к выживанию.

А поверх двух компонентов — С'цча и человека — господствует нов-гаитянская обработка, чары воду, влияние Гонкура, смешение древних воспоминаний об искрящихся сине-зеленых морях и красных проселках, питательно пронизывающей теплой солености и тренировках коспехов: все вместе порождает создание, чьи умения гарантируют выживание — по крайней мере, пока.

14. В ОБЪЯТИЯХ

Фредди проверил свою простосерую униформу, в норме, хоть в зной хоть в штормы, медные пуговицы тож простые (без звезд — их с неба не хватал, ему и так хватало), зато с космокрылым бомбером, до блеска натертым, гордится, все еще знак особливого престижу, помог устроиться официантом, Фредди попращался с соседом — славным ладным компанейским компаньоном, слегка пухлым да потным блондинчиком из

Байю-Ла-Батра, да двинул на работу.

Прикрыл за собой дверь, щелк-замок, услыхал, как сосед тож самое делает внутри, плюс засов, да двинул вниз. Перед их развалюхой дощатой-угловатой по сторонам зырко глядь-поглядь — тишь да гладь, бандосов не видать, зашибись (не боись). Вперед по кочкам и ухабам тротуара, башкой верть-верть, бандосов неть, у них тут тихая глушь да пердь, тут же ну же щелк-щелк зажищелкой. (Ищо стоит антищный фонарь-другой, дахто помнит, на кой? Не видно ни зги, детка, носи зажисветку.)

Мимо розокрасного Б А Р впритоп мимо ПриПота Пешки (все Джон-Пентюхи уж тю-тю) куда-то туда мимо ЕДА. Оружейный закрыт — дефицит, остались только стикеры да гоп-стопперы. Распродано-разобрано все, что фигачит, хреначит и чего-то значит. Самостирочная. Мимо-мимо-мимо. Там военторг — ток хлам, не восторг.

«Нофсти да всячина Летохатчи» ищо на месте, торгуют пацанскими книжками-потешками, красинками, шур-мур-журналами. Нофстей? Нет вовсей. Издания уж не такие большие, две колонки как на коленке: НИГРА ГОУ ХОУМ ПАПАДОКИ ДОЛОЙ С НАШНЕБА ОГНЕЗАД ГДЕ ТЫ ТЕРЬ?

На кой нофсти? Заголовки без остановки все

как нада от рая до ада. Держись держись держись. Но: чеэт над башкой кордон нигр? Че распустили коспехов? Чезадела Огнезад Брондзот, чезадела Янси Мурмен, чезадела Юджин Янгермен, дела от худшего к худшему, в Лето совсем того не это.

— Фе! — грит Фредди на подходе к работе.

По старой скрипучке, через старую деревянку с треснутым и заклеенным стопстеклом, в гримерку & — Даров ведущий.– Даров Фредди.– Даров эмэм. — Даров Фредди. — Даров бэнд. — Даров Фредди. — да из простосерости в костюм, да глоток в глотку (в наши дни спиртное уж не так хорошо, но в наши дни хорошего что?) да выглянуть в зал на клиентов нынче почти все пухлые блондинчики (дам не видать, но кто удостоверит?) да скоро-споро за работу.

== ШОУ НАЧИНАЕТСЯ! ==

А потом через черную дверь (не лезть на рожон, конфликт не нужон, предупреждение ведущего должно помогать, но как знать?) да прошвырнуться (опасно, но к черту, мужику (ммм) надо какт жить). Пару раз мимо ПППП, хоца, да не моца, кому нынче на то хватит — да и надоль, матьих?

Бросает пару взглядов поперек и повдоль, сначала обводит круг глазами (а то много кто был

оберен, считая ворон) да зыркнув на пападокский фуфлот еслип взгляды могли убивать тут былоп кого воскрешать. — Фе! — грит и домой спешит.

И так все утро и вечер день (так на кой их считать?) деньской.

Фредди работал еженощно, плакал межстрочно, дружил с бэ-ла-бэйцем бессрочно, точно, такшо вы его не ругайте, лихом не поминайте, даж у Пышпег не бывал он (да и все равно не хватало).

* * *

Однажды Фредди на работу припоздал. Припоздал? Ну ты дал! Почти не пошел, к чорту шоу. Толпа на Бальшой улице! Слухи! Крики да драки! Ктот ненароком (ммм?) разбивает витрину. Вдруг все — вжух! — в магазин, в зал, обратно за дверь, да все в синей джинсе, новых башмаках, свитерах, затарились впопыхах.

Глянь! В небесах! Эт хрень! Эт журавль! Эт нографлот![233]

И они там уж давно. Никто не попадает на Нов-Алабаму, никто не выпадает с Нов-Алабамы.

---

[233] Примечания: 233

Отсылка к культовой строчке из комиксов «Супермен»: «Это птица! Это самолет! Нет, это Супермен!»

Кордон нигр. Протесты, протесты! Адресованные кому? Нов-аламские союзники не лезут. Эй, мы все за вас горой! Ток наша гора с краю порой.

Слухи, слухи по ушам, как шлюхи — по рукам! Где нынче старина Огнезад Брондзот, где старина Янси Мурмен? Наконец из Ратуши ктот является с объявлением. Эт — и какие тут шутки, детка, — любимый мэр Лето, белый почетный почтенный Милберн Митчем. Грит:

— Гражжане, гражжане, большое объявление. Токшто, прям токшто пришло с Нов-Монгамми. Старину Джина Янгермена — мэр Митчем отвернулся, плевок в красный песок — выгнали да посадили за злоупотребства да измену. Скор суд. А нам пока спустили временное промежуточное исполняющее переходное правицво. Старина адмирал Мурмен буит временный промежуточный и прочая губернатор независимой планеты Новая Алабама. Старина генерал Брондзот — промежпрочая зам.

— Для блюдения порядка к нам прибудут войска с Форт-Сили-Мэй. Прошу всех гражжан помощь оказать, спокойствие сохранять, закон поддержать. Не забывайте, через пармесцев выборы: помните, кто стоял на вашстороне в эту со всех сторон черную годину. Блахдарю.

И откланялся, раскинув руки и уронив светлу челку на потнолипкий лоб, и развернулся да в Ратушу вернулся. (Что стоит рядом со старым мурмуриалом.)

Вот так номер, чтоб я помер: как тут не опоздать на работу? Хорошо хоть кто-то пришел, зато клиентов было хоть отбавляй, гражжане Летохатчи не знали, че буит, но не собирались пускать ночь на ветер на случай, если потом ночь пустит по ветру их невзначай.

Фредди — в ту ночь ему повезло выбраться живу, живо домой, где Фредди выплакал глаза, оба. (Слушь, детка, не нравится — крути дела хоть с крокодилом, а Фредди оставь в покое.)

* * *

— Мож пора запросить условия?

— Че, лечь под пападоков?

— Сам не рад, но это взглянем правде в глаза.

— Верь Янси.

— Будь ток хуже. Банды да погром, голод по гроб.

— Охнезад их вздрючит.

— Как раньше?

— Ну тутуш…

— Получили по мозгам. Космофлоту конец.

Сток людей потеряли.

— Сышь, ты…

— Реалист.

— …ниграсос!

— Взгляни правде в глаза!

— Предатель!!

— Взгляни правде в глаза!

— Линчуй иво!!!

— Взгляни правде в глаза!

— Веревку!!!!

— Прям на этом, э-э, каквобишь, эм-м, фонаре!

— Взгляни правде в глаза!

— Вздернь повышей!

— Взгляя *кхх!*

— Ниграсос!

— —

— Предатель!

— —

— Так-то!

* * *

Выше, все выше флот-сброд остатков да отбросов, калек да инструкторов, грузовиков да обычно невооруженных транспортников да всего что наскреб старина Мурмен, со всеми, кого наскреб старина Брондзот, и сыплется обратно обломками

& огарками & кого не расхреначило-расфигачило, те плющатся, когда сыплются на землю со скоростью, с которой сыплются эти бедолаги.

Через парчасов какойт стар-добрый городок дрожит да трещит да и дело с концом. Кажись, то был Байю-Ла-Батр но без разницы.

* * *

Новое правицво.

Выше, все выше остатки из остатков, отбросы из отбросов, паралитики & ампутанты & глупцы & юнцы а обратно лишь сссссыплет ссссор.

Фсссс!

* * *

Новое правицво. Они смотрят правде в глаза.

* * *

Фредди, как всегда, проснулся в слезах. Его почему-то оба раза не загребли, не выгребли, не погребли, но вот паренек из Байю-Ла-Батра — ему не свезло, его свезли, в дверь постучалась война — и хана, бай-бай бэ-ла-бэец.

Терь Фредди проснулся в слезах. Ну а никто и

не обещал чизкейк да «Джек Дэниэлс». Обратно в простосерость да на работу.

& вот старина ведущий выходит объявлять. Бэнд пошумел в стиле дикси, головной горнист поддавал вау-вау-вау, маракасы брррпили да ударник бацал да хренацал по белокожим барабанам да Фредди слушал.

— Дамы да господа, дамы да господа — (седня лица как знакомые так и залетные) — особливо наши почетные внепланетные гости — с поклоном да ручкой эдак, — с превеликим удовойсием привессую вас на нашем маленьком пресставении, лучшем в Лето да неиначкак одном из лучших на всей цельной (ахахаха) Нов-Алабаме.

Прошелся по сцене, глядя на гостей. Потом: — Итак, народ, с превеликим удовойсием представляю звезду нашшоу, спецайно для ваш эстетийческого удовойсия, пршу любить и жаловать — мисс Милзад Маркэм!

Аплодисменты. Глушат свет. Оглушает музыка.

Под треск маракасов да гуд громенного горна на сцену гарцует мисс Милзад, да Фредди смотрит с мутно-туманным взглядом, шмыгает пару хныков. Ах, мисс Милзад, красива как никогда — разве что на парфунтов тяжелей (тогда как все остальные нынче — легче), но эту колыхающуюся

грацию не проешь.

Светлые локоны — они терь потемнее, а то и космочерные космы, нынче в моде пляжи да чистая кожа, с загаром да некоторыми таблетками, не то чтоб об этом грят, но они оч-преоч популярны. Мисс Милзад не темнее прочих лыбящихся туристов у сцены, но модно, модно, нынче все нов-аламские дамы (лучше не приглядывайся, детка) по меньшей мере загорелые не сказать больше.

Мисс Милзад в прежнем костюме — выглядит устало да потрепанно, но все еще прилично да пригодно (эт о костюме) (да и о мисс Милзад) да эт майка в обтяжку с вырезами *мням* наверняка больно стягивает но ведь притягивает, притягивает взгляд к тем двум отверстиям, где мисс Милзад показывает свою преданность Нонешнему Порядку.

А трусики — шош, вид хорош, глаз не оторвешь от прелестного третьего измерения, что демонстрипирует мисс Эм Эм. Нагота? Негота, у мисс Милзад.

Шош она приступает к движению да бэнд к жужжению да джазению да она плечом покачнет — у оркестра фокстрот, да мисс Милзад бедром поведет — темну публику смешок обойдет, да

она кружица — ты глянь на ягодицы, народ рад веселиться, да мисс Милзад выкликивает пару писклявых вопросов (чем всеищо удивляет наивного Фредди, но штоуш) — поступает пара ответов, ну с акцентом дааа, но всетки понятных, да Фредди (разве не удивительно?) даже краснеет за сценой да мисс Милзад:

:выкол-л-л-лы-ы-ышивает им еще колыхание, выкруживает бедрами круг за кругом, колени сгибаются да раздвигаются да руки умудряются груди поджать да от всей души угождать &:

:ш-л-е-п!:

:стук так и видать как отдернулись головы, будто она шлепнула всем до единого промеж глаз да не успели они оправиться как мисс Милзад разворачивается да что-то делает да *пум* майки нет она нагишом да снова к ним лицом с кисточками на сосочках да исполняет тот стародавний трюк крутит да вертит стародавними кисточками да народ ликует (туристы щедры на комплименты; вот с деньгами другой разговор) да мисс Милзад смачно трюкачит а потом ловко из кисточек выскользает да парочке Пьеров бросает что наслаждаются в первом ряду местными талантами да свет приглушают да музыка оглушает да Милзад за кулисами да ведущий на сцене да антракт

да пытаются продать пару рюмок да срубить пару рупий.

А в конце зала, за столиками гостей, мисс Милзад по пути за кулисы замечает устрашающего чудилу, каких терь труп пруди в нынешнем Новом Времени: стоит молчком, жидкобелые волосы клочком, бледнолицый да мертвоглазый, да одна рука, видит она, как космос черна, а вторая — по цвету заподлицо с лицом ему к лицу, на груди пятно — про цвету ни это, ни то: клиент ли оно? Его привечать? Чего ради? Молчит, торчит, не тратит. Но Новые Визитеры (не буэм излишне эвфемизменны) дали понять: к ентим — не приставать.

И она не пристает.

* * *

Ч'ен-Гордон медленно поворачивает голову, чтобы еве гордон-глаза осмотрели комнату. Теперь о движется медленно, осторожно: все швыноют, ноют, шевелиться трудно, гордон-части заторможенно подчиняются ч'ен-командам, порой о вовсе лежит, как мертвец. Порой Ч'ен-Гордону приходится мотнуть всем плечом, чтобы сдвинуть руку и кисть, хлестать ими, как будто практически неживыми продолжениями.

В сумраке и клубах дыма он видит черных мужчин и женщин за столами, в первых рядах, и смешанные пары, где белые, будь то мужчины или женщины, угождают, задабривают спутника, а дальше всего от сцены — совсем-совсем немного столов местных нов-алабамцев, что нервно поглядывают на спины черных.

За столом в первом ряду нов-гаитянец в повседневной одежде небрежно достает из одного кармана трубочку, из другого — маленький пергаминовый конверт, набивает камеру трубки мелким зеленым порошком из пергаминового конверта.

Его спутница, черная девушка в модных полосатых брюках, с мешочком из грубой кожи между блестящих грудей, берет его за руку. Он высекает огонь в камеру, затем Ч'ен-Гордон видит серо-синие облачка; мужчина протягивает трубку черной, та наклоняется затянуться, прислоняясь голой грудью к его руке.

Отклоняется она уже с улыбкой; оба оглядывают зал, не скрывая презрения к нов-алабамцам в задних рядах.

Ч'ен-Гордон — боль и слабость по всем швам, — на миг встречается глазами с мужчиной. Переводит взгляд на девушку. Обратно на мужчину.

Что-то видит, что-то узнает.

Боль кричит во всем теле, Ч'ен-Гордон мечется между столами, падает на макроколени, упираясь локтями в их стол. О заглядывает в глаза мужчины, еве рот открывается и закрывается, пытаясь издать крик о помощи — о помощи, которую может дать только он. Тот смотрит в ответ с жалостью, непониманием. О поворачивается с немой просьбой к девушке. Она отшатывается.

О падает ничком, бьется головой о стол из дубзама. О стонет, рот распахивается, язык вываливается, спиремы появляются, корчатся, безмолвно кричат, пытаясь заговорить, чтобы их поняли, чтобы им помогли.

Радостно пляшут, кружат, налетают антитела отторжения.

Ч'ен-Гордон сваливается со стола, шлепается на пол, швы распарываются, темная жидкость хлещет наружу и растекается у ножек.

Мужчина убирает трубку в карман, быстро выводит спутницу из зала, пока та прячет лицо в его куртке.

* * *

За кулисами мисс Милзад ноет да стонет, но в другой костюм лезет, при помощи Фредди. Недо-

одетая мисс Милзад садится да дополняет свои таблетки нательным гримом да Фредди оглядывается готов да терь мисс Милзад заканчивает с костюмом да терь они опять слышат музыку и слушьте, слушьте, голос мистера Ведущего:

:– Драматическая интерпретация дамы да господа, музыка да драма да танцы в одном флаконе дабы вернуть нашу традиционную постановку да мы вновь с гордостью представляем мисс Эм Эм –

:овации да барабанная дробь да Милзад опять на сцене да на нее падает чистояркий свет, темнопряди бликуют да ликуют, темнокожа женственна да прелественна в довольно вольном дашики[234] красно-желто-зеленом да она выплывает да бедрами качает, музыка звучит да журчит мисс Милзад хороша да потом для Фредди пора, да он:

:крадется на сцену в традиционном нов-алабамском наряде да с кожволосами светлее натурального да мисс Милзад вышагивает по кругу пока Фредди ползает за ней да вдруг:

:шарах!:

:Фредди налетает да мисс Милзад визжит да

[234] Примечания: 234

Дашики — традиционная одежда Западной Африки, свободная рубашка яркой расцветки.

Фредди лапает да мисс Милзад сопротивляется да Фредди запускает руку под особое разрывающееся платье да:

:треск!:

:говорит платье, да мисс Маркэм с трудом стыдом прикрывает большие тяжелые титьки но Фредди:

:(по сигналу) слюни льет да ревет да рвет да вдруг музыка грохочет да рокочет, прожектор да публика накалены все застывают в живой картине:

:Мисс Милзад Маркэм руки на бедрах ноги врозь в свете голая да черная, голова откинута, тут да там отливают черные волосы (почти не просвечивают светлые корни), за душу берут музыка ее сфер, голый зад в трепете в ожидании оживления картины и вот:

:Фредди в образе образины, нов-алабамского людозверя, слюнявый да вертлявый, пальцы как когти тянутся к чистой черной коже благородной фигуры да терь единсный звук в загробном клубе — от Фредди:

:всхлип:

:да *бац!* говорит ударник да *мрау-вау-ау* вливается громенный головной горн да картина оживает, Фредди вперед взмывает но у мисс Ми-

лзад есть кой-какой суприз чейто чебэт могло быть гля, гля-ка, заплетается вокруг ноги, глазом проследи кругом, кругом мягкой нежной ляжки, жирно подчеркивает изящную жопу, промеж ног (ооо, хитро!) да вдругорядь в оплет ноги, да так круг за кругом, зад-пах-таз-зад-пах-таз да после конечного числа оборотов оно выходит сподзаду вперед торчит горизонтально из прелестных лобковых волос *ручка*, в полфута длиной плюс-минус пару сантиметров да толщиной с детскую ножку да сделана из твердой резины с бороздками, чтоб хват был шонад:

:да мисс Маркэм сверлит взглядом присмиревшего зверя — парсек, чтоб размотать эту штуку у ног да вытянуть за ручку пока оно выползает промеж ее ног да поднимает повыше в софитах да очередная барабанная очередь да Фредди:

:взвывает!:

:да барабанщик делает громкое *Ктакк!:*

:да кнут мисс Маркэм делает *щелк!:*

:да Фредди *скулит* (эт представление, да, но, мисс Милзад, обязательно шоль так *больно!)*да пресмыкается &:

:кнут падает &:

:Фредди корчится &:

:кнут падает &:

:Фредди кричит &:

:кнут падает &:

:Фредди ползает на коленках&:

:кнут падает &:

:Фредди пресмыкается&:

:Мисс Милзад наподдает напоследок голой ножкой &:

:гаснут софиты, загорается свет, актеры уходят, ведущий приходит, официанты суетятся, дела идут, музыка играет, деньги циркулируют&:

:жизнь у Фредди не чтоб веселая, но че поделать, надо ж пацану как-то зарабатывать.

Послесловие

Я вырос на Хайнлайне, Брэдбери, Кларке, Азимове, Саймаке, Шмице, Поле и Корнблате, Каттнере и Мур, Рэе Джонсе и всех остальных из тусовки сороковых-пятидесятых, и где-то с 1962-го я оказался в странном тупике. Как раз тогда шел проект Берроуза, о котором вы уже знаете, и чтобы лучше ознакомиться с Берроузом, я решил прочитать не только его полное собрание сочинений, но и как можно больше того, что *он сам*, скорее всего, читал мальчишкой в 1880-х и 90-х… а потом как можно больше творчества его современников — собственно, вплоть до периода Хайнлайна-Брэдбери-проч., но в основном с акцентом на периоде до 1920-х.

Исследование длилось годами, и даже когда я всплыл глотнуть воздуха в 1966-м и написал свой первый роман, он получился совершенно традиционным. И потом я нырнул обратно в творчество Гарретта П. Сервисса.

Год спустя Сид Коулман, Терри Карр, Кэрол Карр, Бойд Рэйберн, Патриция Лупофф и я распивали бутылочку «Сен-Эмильона» в «Ля Каве Анри IV», что на Третьей авеню в Нью-Йорке. Терри и

Сид рассказывали какие-то ужасы о некой «новой волне». Немного погодя и я вставил в беседу свои пять центов:

— А что это такое?

Сид и Терри переглянулись, помялись, посмущались, попредлагали рассказать друг другу и наконец сказали:

— Это то, что пишут Баллард и Диш, и Дилэни, и, может, Желязны.

— А-а… — ответил я, лишь тускло просвещенный, и, как только представилась возможность, купил книгу Желязны, прочитал, отложил и сказал вслух в пустоту: — Я понял, что это такое. Он просто играет с парой приемчиков, только и всего.

После чего я сел и начал писать нечто с парой приемчиков.

Но никто это не брал, и я отложил отрывок в долгий ящик, пока его не купил Харлан. Для протокола: я вернулся к работе, начиная с четвертой главы, 1 января 1969-го, и дописал 3 марта, отставая от графика на три дня из-за февральской трехдневной поездки в Канзас-Сити по воле моего тогдашнего работодателя. Все написано по вечерам или выходным. И все это, наверное, куда больше подробностей, чем вам интересно.

Закончив, я заодно вымучил послесловие о том, как фантастика спасает мир (со мной во главе), но, увидев гранки почти спустя три года, выкинул то послесловие в мусор. Ребят — это просто рассказ.

Что касается стиля, то, наверное, это такая попытка оторваться от метода «использовать» язык, чтобы «рассказывать» историю, ради метода, по которому сам язык *становится* историей. Не знаю, буду ли писать еще что-то подобное — я стараюсь не писать одинаковые книги: намного интереснее, когда сам не знаешь, что будет дальше.

Но меня немножко огорчает противостояние старой/новой волн — не потому, что я против конкретного стиля или подхода в литературе, а потому, что не люблю видеть, как люди *хотят* запретить стиль или подход. Наверное, за этот рассказ на меня наклеят ярлык «нововолнист» или как они зовутся нынче, но это ничего, ведь все равно сейчас мой любимый фантаст — Дж. Г. Баллард, а мой любимый писатель, который пишет фантастику, — Том Диш, и я очень люблю творчество Муркока (когда он старается), Дилэни и Желязны (в основном).

Но мне не меньше нравятся произведения Дока

Смита, и Эдмонда Гамильтона, и Отто Биндера, и Джека Уильямсона… и, кстати, Ларри Нивена, вполне подходящего к этой компании.

Но, ребят, какого черта, величайший из нас — это тот мужик из Стрэтфорда, а все, чего мы все хотим, — просто написать что-то хорошее.

Мне бы и правда хотелось, чтобы кто-нибудь «разморозил» книгу, о которой упоминал Харлан,– роман «Тинтвисл», лежащий на полке в *Dell*. (А теперь все вместе: «Давай, *Dell*, выпусти уже эту хрень!») Понимаете, время действия романа — 1884-й, а сюжет немного напоминает книжки для мальчиков той эпохи, поэтому она и написана в *стиле* книжек для мальчиков той эпохи.

Стиль не просто так валяется у автора, автор не просто втыкает его в произведение, как в голову взбредет; стиль — это органичная часть произведения, такая же грань целого, как персонажи или сам сюжет. Это знает Джон Браннер, это знает Брайан Олдисс, а может, знал и Док Смит. Хм-м-м.

Ненадолго возвращаясь к «Бумер-пацанам», должен упомянуть, что «воду» в рассказе, или вуду, вполне аутентичное. Мои источники: «Волшебный остров» (*The Magic Island*) В. Б. Сибрука, «Пожар вуду в Гаити» (*Voodoo Fire in Haiti*) Ричар-

да Э. Лодерера и «Вуду в Новом Орлеане» (*Voodoo in New Orleans*) Роберта Талланта. Местами я упрощал и смешивал разные верования и практики, но сами их элементы основаны на источниках, в том числе гимны воду и их переводы.

Что касается того шума, что поднимает Харлан вокруг этого рассказа… что ж, не хочу в это влезать. Я просто хочу писать и продавать свои истории, и получать за них чуть-чуть денег (я не жадный, а *голодный*), и если повезет — видеть их в печати.

Уже так долго меня преследует полная противоположность — возня, возня, возня с агентами, редакторами, издателями, бухгалтерами, с кем угодно, — что я задумывался, нет ли против меня заговора — или у меня просто паранойя (что ненамного предпочтительнее).

И тут ко мне зашел Пол Уильямс, критик / эссеист / основатель рок-журнала, друг Фила Дика и… (Собственно, он прямо сейчас сидит у меня, слушает Дилана в гостиной, пока я застрял тут за машинкой.) …в ходе обсуждения последних событий начал рассказывать о *своих* нескольких книгах.

Не-а, это уже не паранойя.

Предисловие «Переменчивая Ламия»



Никогда не был в Англии (страстно желаю) и поэтому никогда не встречался с М. (Майклом) Джоном Харрисоном. В дальнейшем я не буду беспокоить вас догадками или пустыми разговорами о Майке, за исключением того, что он пишет прекрасные истории, отличающиеся большой силой, чуткостью и эффектом, не говоря уже о некоторых из самых дружелюбных писем, какие только может себе представить редактор. В этом году я собираюсь в Англию впервые,– тем самым заставив Муркока, Браннера и Олдисса пожалеть, что они меня приглашали,– и заодно обязательно постараюсь встретиться с Майком Харрисоном. А для тех из вас, кого заботит отсутствие элли-

соновской точки зрения на этого автора — вот вместе с конвертом с моим адресом и маркой, присланным мне через *Doubleday* около 1973 года на мою просьбу о точной подноготной Харрисона, славная печатная вставка для данного томика.

Не задерживаемся, ребятки, вот и сам Харрисон:

«Родился 25 лет назад в Регби, где обучаются дети аристократов. Больше туда никто не ездит. Но *меня* невероятно криворуко обучали в натуральном мясокомбинате, а не в школе, где подростка не меньше чем за восемь лет гарантированно превращали в химика-исследователя с очками в роговой оправе. Там-то аристократы не учились. Я эту школу презирал. Я был неудачником. Я недолго работал с лошадьми в конюшне охотников на лис, где узнал, что в сельской Англии все еще действует феодальная система — и Новому Крестьянству она *нравится*. А может, это все то же Старое Крестьянство, которое еще не пришло в себя после открытия, что земля круглая и уже осточертела Иисусу. Еще меньше времени я провел в педагогическом колледже, где узнал, что 90 процентов всех преподавателей посвящают себя производству опрятных коротковолосых счетных машин из детского сырья. Наконец мне

опостылел этот глянцевый образовательный конвейер, и я приехал в Лондон, заодно лишив колледж их лучшей студентки. С тех пор я здесь, учусь писать и все больше голодаю.

Начал писать в шестнадцать, когда черкал завуалированные сексуальные аллегории, ни разу не допускавшиеся в школьный журнал. Мой первый рассказ вышел в 1961-м; не скажу, где, потому что стыдно. За рассказ. Не могу сказать, в каком направлении двигаюсь, потому что сам еще не знаю».

Переменчивая Ламия
М. Джон Харрисон



ДОРОЖКА
ПЕРВАЯ: В БИСТРО «КАЛИФОРНИУМ»

Сожжение происходит на следующий день, на аметистово-изумрудной подъемной платформе, плывущей высоко в сером ветреном воздухе. Стянувшаяся толпа во всем разнопестрии Счастливого дня: желтые панталоны, самоцветы,

огненно-красные сари, — ревет и шепчет; море смеха, когда от аляповатого костра начинает валить маслянистый дым. Биркина Грифа и Ламию, женщину без кожи, все это забавляет, но не впечатляет.

— В Помпеях меня сжигали в платье с драгоценными камнями. Да уж, эта чернь много упустила, затерявшись на столько веков в пуританстве. — Поблескивают ее вставные зубы, пульсируют ее красивые артерии. Биркин Гриф оглядывает ее снисходительно: без кожи она не обнаженная, а голая — голая больше, чем женщина, лишь сбросившая одежды. Он впитывает каждую ее телесную функцию единственным глазом, по-пиратски.

— Твоя правда, — говорит он. — Но лучше всего была Гоморра, вот где сожжение удалось на славу.

Она смеется — и ее смех тоже гол. Искры прыскают с инкрустированной платформы под довольный рев толпы. Биркин Гриф шлепает себя по титановому бедру от удовольствия.

— Жанна Д'Арк, — говорит женщина без кожи.

— Хиросима, — парирует он.

— Вирджил Гриссом[235], — посмеивается она.

— Бухенвальд, — бормочет Биркин Гриф.

Затерявшись в приятных воспоминаниях, они, два древних возлюбленных, наблюдают за платформой с ее грузом — горящим императором; он — одряхлевший от разврата, она — помолодевшая от того же. Из давки вырывается охмелевшая женщина, ее голова в драгоценных камнях от макушки до лба.

— Упс!

— И в самом деле, мадам, — вторит Биркин Гриф, вечный повеса. — А вы, часом, не были в Нагасаки весной? Я не мог вас там видеть?

Хмельная женщина щурится.

— Как-как? Можно по буквам, детка?

Биркин Гриф пялится на нее единственным глазом.

— В-И-Н-А, — намекает он.

Бескожая Ламия капризно шмыгает и сует ему локтем под ребра.

— Зачем мы здесь? Зачем мы здесь вообще, здесь совсем не то. У нас свидание в «Калифорниуме».

Они оставляют толчею волноваться и потеть.

---

[235] Примечания: 235

Вирджил Гриссом (1926–1967)– американский космонавт, погибший вместе со всем экипажем в пожаре за месяц до старта «Аполлона-1».

Платформа опускается, чтобы поднять на борт свиту блудниц горящего императора. Биркин Гриф правдоподобно хромает; его бескожая спутница — квинтэссенция ветхой наготы: вставные зубы и самоцветные брови — ее легкая уступка моде.

ПАУЗА ПЕРВОЙ ДОРОЖКИ.

Добро пожаловать в хромово-пластмассовое лоно бистро «Калифорниум», излюбленную забегаловку и кабачок, дорогой сердцу всех интеллектуальных пародий и художественных подражаний роскошного города.

Узрите: там Кристодул, слепой художник; за ухом — кисть, обмакнутая в кошениль. Он прислушивается к цвету своей негритянки — Шармян, с грудями в ритуальных шрамах. А вот и Адольф Эйблсон (младший), припадочный поэт Вирикониума. Узрите, с каким металлическим пылом его хромированная рука сжимает карандаш, как кивает голова под действием какого-то изогнутого спуска в шее. А здесь: здесь, за *этим* столиком, жаждущий голодных снегов; здесь Дзиро-сан, лютнист-гермафродит — заточенный в своей башне одиночества, отделенный обвинением в измене госпожой Сенг, обладательницей ляпис-лазоревых очей, вырезанных — да что там

(нет-нет-нет), выгравированных в бронзовом загаре.

Входят Биркин Гриф и Ламия, его бескожая возлюбленная. Садятся за стол из прозрачного розового стекла, многозначительно подмигивают и кивают товарищам-по-знаниям. В бистро «Калифорниум» слабо просачивается шепот толпы на Сожжении — мягкие хлопушки звука. Кристодул окрашивает их в черное, запоминает на будущее. Хромированный поэт строчит — *а записав, переходит к новой теме*. Лишь наш лютнист глух, ведь он — загоревший на солнце — погружен в свою голову, полную снега.

— Чаю?

С улыбкой они наливают чай из позолоченного фарфора.

ДОРОЖКА ВТОРАЯ: КТО ТАКОЙ ДОКТОР ГРИШКИН?

— Вас сопровожу я.

Биркин Гриф поднимает взгляд. Этому голосу принадлежит толстое потное лицо, смутно серое. На лице с творческой, но негеометрической точностью расположены маленькие губки бантиком в попытке лучить улыбку. Сразу ясно, что эти губки присущи подобному лицу, но не улыбка. Затем

лиловые раскосые глаза; ни бровей, ни волос. Еще голосу принадлежит тело: в форме груши, в костюме сливового цвета, весьма упитанное. Сливовый костюм разрезан так, что обнажено хирургическое окошко в животе. За окошком творится любопытное.

Этот голос — вместе со своим телом, — есть суть всякого борделя и блуда вселенной: голос славного, бессмертного и галактического сутенера; наивысший в зазывах плоти, потехи и плотоядности.

— Друг мой,– произносит Биркин Гриф.– *Mon ami*[236]: мы не виделись раньше? Бардак в Александрии? Стамбуле? Бирмингеме? Нет?

Новоприбывший скромно улыбается.

— Быть может… ах, но то было тысячелетие назад, с тех пор мы развивались, стали… цивилизованными. — Он пожимает плечами.

— Разве это важно? — спрашивает Биркин Гриф.

— Ничто не важно, мой пиратский друг: но не в том суть: я — доктор Гришкин.

— И *в этом* суть?

— Нет, это кое-что совершенно иное. Позвольте

---

[236] Примечания: 236
Друг мой (*фр.*).

присоединиться?

И он садится, пялясь на женщину без кожи. Под его взглядом она *чувствует* себя голой. Заминка. Он наливает себе чай. А он знает толк в театральности, этот доктор Гришкин: сведущ в мастерстве драматической паузы. Биркин Гриф теряет терпение:

— Доктор Гришкин, мы…

Гришкин с упреком воздевает палец. Потягивает чай. Указует на свое хирургическое окошко. Биркин Гриф увлеченно наблюдает.

— Пепельные равнины, — произносит доктор Гришкин и, сбросив эту информационную бомбу, откидывается на спинку понаблюдать за произведенным эффектом.

Ужас. Молчание. С потолка «Калифорниума» вязко сочится напряжение. Вдали перешептывается толпа. В «Калифорниуме» уже лет десять не случалось ничего драматичнее.

— Я отведу вас на пепельные равнины Мудрости.

Бескожая Ламия чуть содрогается. В молчание падают три совершенных серебряных нотки. Это Дзиро-сан взялся за лютню.

— Кажется, я передумала, — шепчет она.

— Уж поздно, все устроено, — говорит доктор

Гришкин. — Вы должны пойти — теперь неизбежно, что вы пойдете. — В его голосе сквозит легкое раздражение. Это раздражение настойчиво. Чувствуется, что доктор Гришкин немало потрудился, чтобы… все устроить. Он не потерпит разочарования.

— Будет ли там Он? — нервно спрашивает Биркин Гриф. — Какой смысл так рисковать, если не будет Его?

Следует ответ:

— Ни в чем нет смысла, мистер Гриф. Но Он будет. Он меня и прислал. — Доктор потягивает чай. Послушать его — и все так просто, уже свершенный факт; но таково его елейное дело — упрощать, сглаживать. Ламия придвигается, говорит одним уголком рта — идеальная заговорщица. Доктор Гришкин находит ее освежеванную близость упоительно тревожной, ее аорту — удивительно прекрасной.

— Но Полиция Образов, доктор Гришкин: как быть с ней?

— Чистейшая паранойя, миледи. В небольшом путешествии на край Мудрости нет ничего *особенно* незаконного. Только на *край*, вы же понимаете, всего лишь экскурсия — приятная туристическая прогулка… — Он все пялится. —

Так в путь?

Они отбывают. Толстяк — вразвалку. Биркин — прихрамывая. Дама без кожи — гибко. Когда они минуют стол Дзиро-сана, он смотрит с тоской. Биркин кажется ему красавцем.

ДОРОЖКА ТРЕТЬЯ: ПЕПЕЛЬНЫЕ РАВНИНЫ МУДРОСТИ

Мудрость — это глушь. Давным-давно здесь прошла война — а может, мир. Здесь они по большей части почти не отличаются: любовь и ненависть грузно опираются друг на друга, одинаково чудовищно хандря. Но что-то явно уничтожило Мудрость, да так, что уж два века никто не знает ее прежнего вида. С ее границы почти ничего не видно, но многое чувствуется.

Биркин Граф и женщина без кожи стоят, дрожа на холодном ветру, всматриваются через сетку-рабицу, что отделяет город от заповедного пепла. Нервно трепещут их плащи — черный у него, серый у нее. Мягкий пух пепла наполняет воздух вокруг темным снегом. Гришкин огромен в своем пышно-лиловом, бурно говорит с сероликим охранником перед сторожевой будкой цвета хаки. Между тем запустение так и шепчет: «Вам здесь делать нечего, здесь все мертво».

В этом безлюдье есть мрачная печаль, лишение: оно скорбит. На этом ветру юркают эйдетические образы привидений; плачущие женщины ткут саваны во время отлива; голодные дети молят стариков в сумерках. Здесь два вида холода, и плащи не спасут от обоих.

Вдруг Гришкин выхватывает маленький серебряный механизм и нацеливает на охранника. Изумительная голубая вспышка. Охранник падает, невероятно безголовый, из форсунок шеи брызжет темная кровь. Доктора Гришкина тошнит с извиняющимся видом: мерзкое прощание. Он возвращается, утирая губы канареечным платком.

— Вот видите? Как я и говорил, никаких сложностей.– Его рвет, его толстое лицо белеет.– О боже. Простите, прошу меня простить. *Стареем, стареем,* знаете ли. Бедняжка. У него матушка в Австралии. Его экспортировали.

— Как грустно, — отзывается Ламия. Она смотрит через хирургическое окошко в надрывающемся животе доктора Гришкина. Сочувствует. — Сочувствие — это так старомодно, — прозвякивает она. — Бедный доктор Гришкин.

Бедный доктор Гришкин, справившись с судорогой, вновь извлекает поблескивающий

механизм и целится в ограду Мудрости. Повторяется зрелище с изумительной голубой вспышкой, после чего прожженная сетка загибается и застывает, как горящие волосы.

— Красиво, — отмечает бескожая женщина.

— Впечатляет, — признает Биркин Гриф. В обугленной сторожевой будке начинает звенеть тревога.

— Теперь следует поторопиться, — намекает доктор Гришкин с тревогой в голосе. — Живей!

Он спешно ковыляет к угольной дюне. Они следуют за ним через прорванную ограду. Ветер нарастает, вскидывая мелкие жалящие угольки. В трепещущих плащах они переваливают за пригорок и падают ничком, лицом в ту сторону, откуда пришли. Великий вихрь пепла прячет от них сторожевую будку.

— Ветер заметет наши следы, — говорит Биркин Гриф.

— Ты как всегда прав, *mon frère*[237], — отвечает толстый доктор Гришкин. — Официально мы только что умерли, нас никто не потревожит. — Он склабится. — Я-то мертв уже все эти десять лет. — Мрачно смеется. За окошком ходит его

---

[237] Примечания: 237
Мой враг (*фр.*).

желудок. Биркин Гриф со своей бескожей возлюбленной не разделяют веселья.

— Почему пепел никогда не задувает в город? — спрашивает Ламия.

— Идем, — приказывает Гришкин, с неприязнью поглядывая на погоду.

ПАУЗА

ВТОРОЙ ДОРОЖКИ. В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ БУРЯ УТИХАЕТ.

С серафическим убийцей Гришкиным во главе они порхают над длинными низкими валами праха, аки величественные мотыльки — лиловый, серый, черный.

Это пустой край, с виду состоящий из равномерных мазков серого, в градиенте от мертвенно-кремового к мистически-угольному. Вездесущий прах пересекают вялые водные пути, споро просеиваясь, петляя, бесконечно варьируя русла. Ветер и вода делают Мудрость непостижимой: возраст и ветер — разрушительно одинокой. В Мудрости свергнуто Время: сама ее переменчивость непеременчива.

Мысли Биркина Грифа: *«Этот край — высшее видение Противореальной Вечности. И по нему семеним мы, словно три символических скарабея без ножек».*

ДОРОЖКА ЧЕТВЕРТАЯ: Я ПОМНЮ КОРИНФ

Они, мелькающие крошки на широкой спине запустения, наконец достигают своей Героической цели.

Доктор Гришкин останавливается.

Он, Биркин Гриф и женщина без кожи стоят — в конце вихляющей вереницы следов — у видимого центра необъятной, безликой равнины: центра массивного стазиса, огромной тишины. Исчез горизонт — нет очевидного стыка пепла и неба: все плоско, монохромно серо. Оттого и окружение бесформенно; измерения теряются; трое вдруг существуют вне системы координат, а единственный ущербный ориентир — их собственные тела. Эффект смущает; они становятся фигурами из снов на фоне противопространства: оторванные, лишенные всех остатков принятой и приемлемой реальности.

— Здесь мы должны ждать, — говорит доктор Гришкин, и выражение в его упитанном голосе отсутствует, истощено однотонной пустотой.

— Но Его здесь нет… — начинает Биркин Гриф, борясь с тем, чтобы визуальный нуль не высосал из него самые мысли, выговаривая слова лишь с исполинским усилием.

— Мы должны ждать, — повторяет Гришкин.

— Но придет ли Он? — требует ответа Гриф с трудом, борясь с тишиной. — Если это пустая затея… — Его подразумеваемая угроза приглушается, сводится на нет вакуумом.

— Ты жил пустой затеей целую вечность — откуда сомнения теперь? Мы ждем здесь. — Медленная сталь в голосе Гришкина; вновь он не терпит отказа. Они ждут. В тот миг минимальной ориентации, без звука или движения, как будто минуют эпохи. Они ждут. Миллион лет ничего не происходит. Наконец Гриф заговаривает, грубо и тяжело от внезапно постаревшей, невротической ярости:

— Пожалуй, я убью тебя, доктор Гришкин. Он не придет. Проделали такой путь — а Он не придет. Думаю, я тебя убью… — Его лицо перекошено; здоровый глаз маниакально мигает: это маразматичный гнев.

— Заткнись. — Гришкин улыбается своим пародийным бантиком. — Заткнись и смотри!

— …Думаю, я тебя *убью*… — шипит Гриф, как аппарат, выполняющий несколько запрограммированных судорог. Но сам смотрит.

Бескожая Ламия пляшет во прахе, вновь величественно нагая. Ее стопы не издают ни звука.

Она движется под собственный приглушенный напев: заунывная монотонная рага. Она пляшет одержимо, удивленно улыбаясь про себя собственному движению, — антитеза великой неподвижности вокруг. Ее танец — это окончательное разрушение ориентации: она едва ли не парит.

И *меняется*.

— Разве это не высшая иллюзия схем тела?– выдыхает Гришкин.– Смотри: она *проживает* свою галлюцинацию!

Он избыточно тронут поэтичностью зрелища.

Ее тело вытягивается… сокращается… плывет… уменьшается. Появляется хвост, лукаво хлещет, пропадает. На миг существует целый инкрустированный дельфин, растворяется. Нарастает и опадает модальный гул. Ткется золотая саламандра, сбрасывает шкуру… становится яркой гордой птицей, вздрагивает, зыбит по краям… нехотя бесплотится…

Пластичная Ламия попеременно рыба, птица, бестия, миф и сон. Затем одна форма сохраняется…

И Ламии больше нет.

Затаенный вдох доктора Гришкина вырывается долгим бризом эстетического удовольствия.

Биркин Гриф кричит.

Ибо на пепле — с липнущими к влажной мембране угольями и прахом, — лежит живой человеческий зародыш.

Он брыкается, растягивая мембрану…

Биркина Грифа тошнит, он стонет:

— О боже мой… что?..

Доктор Гришкин отвечает извиняющимся, но прозаичным тоном:

— Меня не спрашивай, Гриф, *mon vieux*[238]. Я-то ожидал змею. Но — о, что за поэзия; какова метаморфоза!..

Зародыш вздрагивает. Гриф разворачивается к Гришкину, в истерике, хныча, как дитя.

— Плут! Лжец! Мы не ради этого пришли, совсем не ради этого, ты обманул… так нечестно!

Гришкин, выдающийся галактический сутенер, холодно смеряет того взглядом. Его удовольствие еще не развеялось. Его глаза пронзают лепечущего Грифа.

— «Честно»? *Это ты* еще не усвоил правила игры! «Честно»?– Мрачные раскосые глаза пригвождают Грифа к неподвижному пейзажу.– В неизбежности нет честности. А это было неиз-

---

[238] Примечания: 238
Мой старик (*фр.*).

бежно, мистер Биркин Гриф; неизбежно, потому что уже свершилось. Потому смирись. Не проси у меня *честности*. — Слова кажутся ему излишними. Он замолкает, чтобы задумчиво взглянуть на обсыхающий зародыш.

Затем:

— Ты ожидаешь слишком многого, друг мой. Ты желаешь — и ожидаешь от вселенной исполнения желаний. Но мир устроен не так. Совсем не так. — Он выглядит довольным своим выводом. Потом вдруг хмурится, словно заново открывая для себя неприятную действительность. — Какая жалость, что ты узнал это так поздно. Собственно, слишком поздно.

И в микросекунду вновь показывается его поблескивающее злодейское устройство, и Биркин Гриф в панике бросается вперед, когда его лицо искажается ужасающим осознанием. Так и погибает Гриф, последний из архетипичных сибаритов, пока зародыш его бескожей возлюбленной подергивается на земле. Он не успевает издать и второй крик.

Его загадочный губитель пожимает плечами и обращается к слабо возящемуся зародышу. Не отрывая взгляда, качает безволосой головой. Какая поэзия. Он нехотя наступает на него. При всей

чуткости у него очень упорядоченный склад ума. Взглянув напоследок на дымящегося Биркина Грифа — от всей личности осталось лишь титановое бедро, — доктор Гришкин, Доставитель с Окном, запахивает лиловый плащ и убредает прочь.

Скоро лишь его следы остаются на пепельных равнинах Мудрости.

Послесловие

Я написал этот рассказ в марте 1967-го. В то время он происходил для меня эмоционально — чем, наверное, и объясняется энергия рассказа. Он вдохновлен вещицей под названием «Выбирай барокко» (*Go For Baroque*) от Джоди Скотт (кажется, Джоди Скотт…); хотя не думаю, что она повлияла на рассказ — просто стала литературной искрой. Есть здесь и отголоски Беккета, и довольно намеренные отсылки к творчеству Джона Китса. Китс довольно важен на вторичном уровне. «Переменчивая Ламия»[239] самодостаточна; но если вдруг знаете длинную повествовательную поэму Китса «Ламия», извлечете намного больше из главы «Я помню Коринф».

Этот рассказ я писал как аллегорическую иллюстрацию философии (отдельные ее устои описаны в последней речи Гришкина); как гротескную комедию о некоторых одержимостях XX века —

---

[239] Примечания: 239

В дальнейшем М. Джон Харрисон превратил Вирикониум в целый сеттинг, где происходит действие нескольких его книг, начиная с романа «Пастельный город». Хотя данный рассказ впоследствии не будет включаться в переиздания цикла.

черный юмор, если угодно; и как едкую пародию на лондонскую интеллектуальную жизнь. Бистро «Калифорниум» можно найти на каждом углу в свингующем Челси или продвинутом Хампстеде; и везде набились стареющие рейверы вроде Биркина Грифа, что тратят довольно бессмысленную жизнь, убеждая самих себя, что у них есть творческая натура и колоритная личность.

Моей целью было поставить как можно больше вопросов без ответа — скорее намекать, чем утверждать; таким образом рассказ по задумке размашист и многовалентен, полон слепых окон и параноических подворотен, зато его опорная структура продумана и надежна, и у рассказа есть — в рамках его собственного безумного контекста — удовлетворительная рациональность. «Переменчивая Ламия» робко посвящается Джерри Корнелиусу[240].

---

[240] Примечания: 240

Персонаж произведений фантаста Майкла Муркока — шутовская инкарнация его же персонажа Вечного воителя, странствующего по разным мирам. Романы о Джерри Корнелиусе отличались намеренными сюрреализмом, бессвязностью и противоречивостью сюжета (какой-либо персонаж мог погибнуть в одной книге и без объяснений воскреснуть в следующей), литературными играми.

Предисловие «Последний поезд на Канкаки»



В конечном счете, когда историки опишут последние десять бурных лет НФ, имя Робина Скотта Уилсона встанет в один ряд с именами Джона Кэмпбелла-младшего, Горация Л. Голда, Энтони Бучера и Дж. Фрэнсиса Маккомаса — людей, которые больше всех привели новых писателей в спекулятивную литературу. Вышеперечисленные господа — все писатели и редакторы, и, составляя несметные выпуски своих журналов, это они день за днем формировали бесчисленное множество талантов. Кэмпбелл — это, конечно, корифей: с тридцатых по пятидесятые он собрал вокруг себя — и вокруг *Astounding/Analog*

— многих из тех, кого мы теперь зовем великими: Азимов, Каттнер, Хайнлайн, Хаббард, Де Камп, дель Рэй, Старджон, Блиш и так далее. Голд развивал другой вид писателя, и благодаря *Galaxy* мы читали Шекли, Тенна, Будриса, Саймака, Уаймена Гвина, Корнблата, Бестера, Найта и множество других. Тони Бучер и Мик Маккомас стремились к литературной ценности НФ и помогли прославиться Авраму Дэвидсону, Дж. Т. Макинтошу, Лейберу, Айдрис Сибрайт (Маргарет Сент-Клер), Мэтисону, Чеду Оливеру, Полу Андерсону, Зенне Хендерсон и другим; хотя многие из них писали и для других журналов, стали они тем, что теперь мы читаем в *The Magazine of Fantasy & Science Fiction.*

Робин Скотт Уилсон, хоть и писатель немалого таланта, как вы сейчас узнаете (если еще его не встречали),– редактор только формально. (Его антологию лучших рассказов Кларионской творческой мастерской, *Clarion — Signet*, 1971, уже высоко оценили критики и сделали своим главным пособием остальные творческие НФ-мастерские в стране.) Нет, Робин, строго говоря, не редактор, поэтому любопытно видеть его имя рядом с признанными «титанами» жанра.

А вся причина такого панибратства с выше-

упомянутыми основоположниками — в уже брошенном вскользь названии.

Кларион.

В 1967-м Робин Скотт Уилсон пришел в творческую мастерскую Деймона Найта для НФ-профессионалов, открытую в Милфорде, штат Пенсильвания. Это был приятный и симпатичный человек, но совершенно незапоминающийся, как и положено хорошему церэушнику. (Потом мы узнали, что он и правда работал в этой скрытной организации. Сразу объяснились его обувь на мягкой подошве и подозрительные выпирающие места в одежде — что мы объясняли деформациями тела, о которых приличные люди не говорят и которые потом оказались табельным оружием, диктофонами, множеством жучков прослушки, двусторонней рацией, ремнями со взрывчаткой и прочими орудиями уничтожения — а также очень толстым сборником в коленкоре под названием «Шпионы: официальное издание ЦРУ, 1950–66», с исчерканными довольно детским почерком полями.)

Он шнырял вокруг, беседовал с Деймоном, с Кейт Вильгельм, с Фрицем Лейбером, со мной и остальными. Какое-то время мы уже было приценивались к бунгало на Кубе. Но наконец он

раскрылся и признался, что носит шпионскую параферналию только по привычке. Оказывается, церэушники — те же горбуны. Их только могила исправит. (Что, пожалуй, объясняет Джея Эдгара Гувера, но это уже другой жуткий зверь.)

(Прошу прощения.)

Далее Уилсон признался — под угрозой анализа рассказа за авторством Тома Диша,– что он преподает английский в маленьком гуманитарном вузе, Кларионском колледже в городке Кларионе, штат Пенсильвания, и что ему хочется открыть творческую мастерскую для неизвестных писателей. Когда спустя две недели закончился Милфорд, он уехал, как и все остальные, но обещал поддерживать связь с теми, кто пожелает приехать к нему как «приглашенный преподаватель». До того момента существовали только спорадические и обычно никчемные НФ-классы в *очень* редких колледжах и университетах. Мы ни на что особо не надеялись, но поговорить об этом было приятно.

Нас не смутил даже снимок нашей сетчатки глаз.

На следующее лето пятерых из нас завлекло в пенсильванскую глушь, где мы приняли участие в одном из самых интересных экспериментов в

области НФ. Там собрались ученики всех возрастов для первой попытки «научить» написанию НФ и фэнтези. (Добавляю эти «», потому что, как всем известно, научить писать нельзя. Если есть талант, можно показать инструментарий художественного письма и как его применять.)

Успех Кларионского эксперимента уже вошел в историю. Знает Бог, сколько дифирамбов я воспел ему на этих страницах. Но лишь сравнение с другими, более престижными и давними творческими мастерскими покажет, *насколько* успешен Кларион. Как я уже говорил где-то в «НОВ», если из творческой мастерской в пятьдесят-сто участников выпускаются два-три писателя, которые могут сделать из своего творчества работу или веселое хобби, это уже с ума сойти можно. А Кларион только за первые три года спустил на НФ-мир, изголодавшийся по новым голосам, как минимум пятьдесят из семидесяти студентов, и многие теперь стали фрилансерами на полную ставку и неплохо так поживают. Поэтому на счету Робина Скотта Уилсона такие имена, как Эд Брайант, Джоан Бернотт, Джордж Алек Эффинджер, Нил Шапиро, Дэвис Белчер, Вонда Макинтайр, Октавия Батлер, Стив Хербст, Роберт Терстон и другие, кого можно найти в этой книге,

в *Quark*, в *Orbit* и в будущих «Последних опасных видениях».

Я сам преподавал в разных мастерских — и по НФ, и по литературе в целом, — но, хоть Робин переехал в Эванстон, штат Иллинойс, из-за чего ему пришлось передать мастерскую Джеймсу Саллису в Тулейне (так она стала Тулейнской творческой мастерской НФ и фэнтези, Продолжением Клариона, — довольно неуклюжее название), я ни разу не встречал уроки, которые проводились настолько гладко, настолько продуктивно, настолько полезно не для одних студентов, но и для преподавателей, как те, что навсегда запомнят как подарок Робина миру НФ. Если Кэмпбелл, Голд и Бучер/Маккомас — это духовные отцы нескольких поколений НФ-писателей, которые привели жанр к нынешнему уровню респектабельности и качества, то Робина Уилсона навечно запомнят как ту движущую силу, что распахнула двери для нового поколения.

Если отвлечься, а также на миг забыть, что под редактурой Робина выйдет вторая антология Клариона/Тулейна, кажется невероятным, что вселить веру и импульс в проект вроде Клариона мог просто академик: все-таки студенты требуют, чтобы их учили писатели. И Робин и включен в

сборник именно в этом качестве.

«Последний поезд на Канкаки» — это странное и мастерское произведение, заслуживающее внимания как самодостаточный рассказ.

Но вдвойне приятнее представить его вам как произведение человека, который сослужил НФ такую службу, о какой многим из нас остается только мечтать.

И так странно, что столь сложному человеку почти нечего сказать о себе:

«Родился в 1928-м в Коламбусе, штат Огайо. Вырос в доме, где под лестницей в подвал громоздились высокие плесневеющие стопки *Thrilling Wonder Stories, Amazing* и *Astounding*. Провел под той лестницей немалую часть детства, глотая фантастику с немалой гордостью чешуйницы. Учился по основной специальности „физика“ в университете штата Огайо, но в выпускной год перешел на английский и девушек, потому что не понимал математику дальше арифметики. Обнаружил, что понимаю хотя бы английский. Получил степени магистра и доктора философии в Иллинойсском университете, специализируюсь на литературе XVIII века и творчестве Генри Филдинга.

В разное время побывал матросом, профессо-

ром колледжа, поваром фастфуда, электриком, лейтенантом флота, раздельщиком рыбы, агентом ЦРУ, фермером и писателем. Нашел все занятия интересными, но ни одно — прибыльным. Консервативен в поведении, но в голове — много мрачных и неприличных мыслей. На момент написания этого рассказа жил в сером доме на холме, с видом на карьеры Клариона, штат Пенсильвания, с двумя хомяками, птицей, четырьмя детьми, пуделем, женой и тропическими рыбками. Когда рассказ выйдет, буду уже какое-то время жить под Чикаго. Это может быть не к лучшему. В моем подвале до сих пор водится чешуйница».

Последний поезд на Канкаки
Робин Скотт



В юности Сидни Беккет завис на самом краю вечного проклятия. Когда к четырнадцати годам он ограбил уже три лавки сладостей и застрелил человека из его же армейской винтовки «Спрингфилд M1903», вечное проклятие уже гарантировалось. Но Сидни на этот счет не задумывался — он был слишком занят учебой.

И то, чему научился на южной стороне Чикаго, применял с удивительным прилежанием до конца жизни:

…щелчок кия по шару… жирный буржуй в темном углу… по канавке в столе — в боковую лузу… долларовые банкноты на зеленом сукне — как весенняя листва в Грант-парке после града…

Это неплохо окупилось в армии, в 1945-м:

… — Hab'n Sie den Pennicilium mitgebracht?

— Jawohl[241]*. Все у меня. 500 миллионов ампул. 500 баксов.*

…и долларовые банкноты — как зеленая черепица, уложенная с немецкой аккуратностью…

После войны, со своим положением в армии, он перешел на угнанные машины:

…блок двигателя дрожит под пневмомолотом… сладкая вонь лака на основе ацетона… молодежь, суровая и лихая, которая в удачную ночь может доставить каждый по три-четыре машины к заброшенной пекарне на Цицеро-авеню… и стодолларовые бумажки, выложенные и перевязанные, как стопки «Чикаго трибьюн» на углу улицы перед воскресным рассветом…

А потом — кража телевизоров, а потом — ряд притонов в Калумет-Сити, а потом — перевозка чистого героина из Матамороса, а потом — Ливенворт, штат Канзас, от одного до пяти. А из-за того,

---

[241] Примечания: 241

— Вы принесли пенициллин?

— Да (*нем.*).

что в Ливенворте Сидни замели опять, — еще пятерка. (Один из пацанов, которых он затаскивал в сарай с инструментами, возмутился из-за роли, к которой его принуждали другие заключенные, и в итоге потерял много крови и скончался от большой швейной иглы в глазу.)

…о, девицы Калумет-Сити… о, жаркие и песчаные просторы «Кинг-Ранч»… о, серые стены, веселые ребята и мозолистые от джута руки… и банкноты порхали и скользили по одиноким парковкам дальнобоев и улицам жарких летних ночей, и в меските, и через решетку…

А потом — шулерство в азартных играх в ЛА, и пирамида во Фриско, и кислотный культ в Беркли, и Мэри Луиза Алленби. («Я спасу тебя, Сидни. Поверь, Сидни, и тогда я тебя спасу».) И он притворился, что поверил, и женился на Мэри Луизе Алленби, и задрал ставки до пятидесяти долларов против четвертака, и задрал цену до пяти долларов за кубик, а когда Мэри Луиза повелась на байки о криогенном бессмертии и вбухала все деньги в лабораторию по заморозке, Сидни толкал анабиозные капсулы и вечный уход по двадцать тысяч, и боже мой, деньги текли рекой, и даже Мэри Луиза стала терпимее, если он каждые пару недель уезжал в Вегас или в Тихуану, и

уроки Южного Чикаго окупились сторицей, и не жизнь была, а рай — ну или насколько близко к раю может подобраться такой человек, как Сидни Беккет, — как тут однажды, в три часа ночи, во время групповухи, в полой вене Сидни оторвался сношенный и раздувшийся кусочек сосудистой ткани, изящно проскользил двадцать семь миллиметров, а потом зацепился неровным краем и перекрыл ток крови к правому ушку предсердия.

…О глубокие и таинственные пучины… о парус без ветра… о танец диастолы… о виновные вены предсердия…

Последними словами Сидни, когда он хрипел и трепыхался на полу у кровати, было:

— Похороните меня в могиле! Не дайте Мэри Луизе запихнуть меня в хренов ящик!

Окружающие по-латиноамерикански пожали плечами — и его в коме отослали обратно в Бейкерсфилд; и стоило врачу скатать свой стетоскоп и покачать головой, как Мэри Луиза и пара парней закатили Сидни в холодильную камеру и уложили в ящик. А раз уж Мэри Луиза не смогла спасти Сидни при жизни, она решила в порыве любви и фанатизма спасти его на какое-нибудь будущее, когда у нее будет вторая попытка. В глубине души она не доверяла надежности сво-

ей лаборатории, но считала, что, благодаря ее собственной психической гармонии с соответствующей музыкой сфер, клиенты все равно не найдут ничего лучше. И соответственно перенесла два ящика — с Сидни и пустой — в хранилище глубоко под горами Сан-Педрос.

…О, любовь спасителя грешных… О, похоть художника к холсту… о, любовь, о, любовь, о, беспечная любовь… и долларовые банкноты плясали, как электроны, в казну энергокомпании «Пасифик лайт энд пауэр»…

И в 76-м, за пять лет до смерти самой Мэри Луизы, когда со станков сошла ячейка на основе фторида цезия, она одной из первых купила этот удивительно долгоиграющий источник энергии. Но когда в 81-м скончалась и она, ее родственники были уже не так аккуратны с ее телесным сохранением, как она с Сидни, и, хоть ячейка в глубоком хранилище помогла Сидни пережить Китае-советскую ядерную войну, два потрясения воль разлома Сан-Андреас и четыреста лет смертного штурм-унд-дранга[242], очнулся он все-таки — по-прежнему с остаточными образами Мари, Хуана и той пары средних лет из Лигонье, штат

[242] Примечания: 242
Буря и натиск (*нем.*).

Пенсильвания, — в одиночестве. Больше Мэри Луиза спасти его не могла.

— Хошпади Боже! — воскликнул Сидни, когда вновь смог соображать. Машина, — чья окружающая умудренность мигом подсказала, что он уже не в Тихуане, а где-то за пределами воображения, — уже восстановила его ткани чуть ли не клетка к клетке. Но, несмотря на все чудо воскрешения, в мозгу остались мелкие аномалии: Сидни на пятьдесят процентов оглох на одно ухо; не мог прекратить дрожь левой руки; шепелявил.

…О чудеса и дива!.. О будущее совершенное!.. О лучший из возможных миров!.. О, со дня на день…

На голос Сидни явился человек — очень высокая женщина с коротко стриженными белыми волосами, с красно-синими полосами на лице и какой-то штукой в левой руке, которую она нацелила на Сидни. Из одежды на ней был только тонкий ремень, на котором поблескивали разные инструменты.

Сидни съежился в своем гнезде проводов и трубок.

— Не бо-ойтесь, — произнесла она с ужасающе странным акцентом. — Вы долго спать.

И сделала что-то со штукой в руке. Сидни услышал высокий гул и почувствовал покалывание

по всему телу, провода и трубки отстали от него и втянулись в чудовище в ногах его постели. Осталась только одна трубка — и, когда Сидни с трудом сел, чтобы спустить ноги на пол, высокая женщина сделала своей штукой что-то еще, последняя трубка дрогнула — и покалывание в левой руке Сидни вдруг разошлось по всему телу, а он прилег обратно.

— Хошпади бо…

В следующий раз он очнулся в темной комнате. Рядом не было ни людей, ни чудесного чудовища. Появился поднос с едой, и он поел. Перед ним появился экран, и с ним со странными акцентами заговорили два человека в халатах врачей. Ему рассказали о его возрождении, о его важности как единственного выжившего из своего времени, о его ценности для историков и физиологов. Рассказали о событиях прошедших веков. Он снова поел, поспал и увидел экран, и ему рассказали о цивилизации, к которой он скоро присоединится, и о роли, которую ему надо в ней играть. Он ел, спал, смотрел на экран и узнавал, что нужно знать, и однажды экран не включился, зато открылась дверь, появилась высокая беловолосая женщина и дала ему тонкий ремень, карту города и ключ странной формы от назначенной ему квартиры.

…сводчатый купол и счастливые люди… счастливые, счастливые люди… перерождение Сидни, перерождение Бакминстера Фуллера[243]*, перерождение Таунсенд-стрит, штата Калифорния… и искусственная листва в искусственном парке трепетала на искусственном ветру, как поддельные долларовые банкноты, равнодушно брошенные на белый живот неумелой шлюхи…*

Первый год в Куполе Сан-Фернандо пролетел быстро. Сидни был скучным человеком, но всем его пожеланиям, пусть даже самым эзотеричным, угождали мгновенно — будь то наяву или в идеальной иллюзии, — а благодаря своей уникальности он никогда не мог пожаловаться на одиночество.

Но на второй год новизна уже сошла на нет. Сидни так и не смог создать никаких долговечных отношений — и, к своему бесконечному удивлению, обнаружил, что тоскует по Мэри Луизе.

Здесь никому не было интересно спасать Сидни. Здесь никому не было интересно спасать никого. Не было для него ни работы, ни потребности

---

[243] Примечания: 243

Бакминстер Фуллер (1895–1983) — архитектор, изобретатель, философ и писатель родом из Калифорнии. Помимо достижений в архитектуре был утопистом, популяризовавшим понятие «космический корабль Земля», призывавший видеть все человечество единым и сплоченным экипажем на корабле в космосе.

либо возможностей воровать или мошенничать. Даже удовольствие, — бесконечно изощренное, бесконечно воплощаемое, — может бесконечно осточертеть.

На третий год Сидни, впадая в отчаяние от скуки, попытался напасть на человека, но двухметровых местных жителей было не взять голыми руками, а для оружия, доступного Сидни, они оказались неуязвимы.

Оставалось единственное уязвимое существо, единственное спасение от настолько безнадежной и всеохватной скуки, что сделала жизнь невыносимой. На четвертый год в Куполе, в марте, Сидни прыгнул со своего флиттера и упал с высоты в две тысячи футов на остекленевший песок бывшей пустыни Мохаве. Собирали его почти месяц. В июне, как только встал на ноги, Сидни прыгнул в очистное сооружение, распался на составные молекулы и разнесся на японском течении по всему северу Тихого океана.

… О, превосходные отходы, фосфорный блеск … О, бесконечное распределение и последний побег… и молекулы в броуновском танце, словно шарики пинг-понга на сельской ярмарке…

И вновь к Сидни вернулось сознание, и оказалось, что он — или то аморфное скопление

впечатлений, чувств, страстей, ненависти и мыслей, которые составляют «я», когда временно лишаются помех плоти,– стоял (в каком-то странном смысле) в каком-то месте, рядом с какой-то штукой, которую решил воспринимать как станцию метро «63-я улица» Иллинойсской центральной линии. Он был не один, и когда приблизилась штука, которую он решил воспринимать как поезд, его вдруг подхватил поток других аморфных скоплений, облаков искрящейся нервной энергии, торопившихся сесть на поезд. Вагоны делились на купе, каждое со своей внешней дверью. У всех аморфных скоплений при себе имелись ключи (которые они в каком-то странном смысле держали), и каждый ключ подходил к своей двери. У Сидни тоже был ключ, но он ни к одной двери не подходил. Скоро все купе заполнились, поезд издал деловитый свист и стронулся по путям в сторону Канкаки — и Сидни вновь остался один, все еще сжимая (в каком-то странном смысле) ключ в том, что решил считать рукой.

Прибыла другая толпа, и другой поезд, и Сидни попытался вновь. А потом еще поезд, и еще, и еще. Сидни бросил попытки. Посмотрел на ключ (в каком-то странном смысле). На нем были циф-

ры: 22/5/1970.

— Посмотрим, — подумал Сидни (в каком-то странном смысле), — 20 мая я поехал в Тихуану и тем вечером случайно встретился с Мари и Хуаном, а на вторую ночь с Мари и Хуаном присоединился тот мужичок из Пенсильвании с женой…

…О, похоть пекаря к нетронутому тесту… О, любовь спасителя к грешным… О, любовь, о, любовь, о, беспечная любовь… и лишенные цели искорки, высвободившись от плоти своего времени, все скитались и кружили по аппарату Сборщика и Восстановителя, будто уставшие птицы у давно пересохшего озера…

— Хошпади Боже, — сказал (в каком-то странном смысле) Сидни вслух, когда его временное скопление впечатлений, чувств, страстей, ненависти и мыслей, уникально несобираемое и потому уникально неспособное восстановиться в новой плоти, стало развеиваться, воссоединяясь с развеянными молекулами плоти прежней. — Так Мэри Луиза меня не спашла. Из-за нее я пропушстил свой поезд!

И в самом деле, Сидни был обречен на вечное проклятие. Его развеивание шло своим неторопливым и величественным чередом. Все лето и

осень океанские течения разносили молекулы Сидни по широким морям; его гидроскопические частицы всасывались в облака и разносились еще дальше по широкой суше; и все то, что было Сидни, пронизало самую ткань мира.

И это еще не все. Солнечные ветра подхватили бесконечно зыбкие ошметки Сидни и унесли далеко, а потом еще дальше. Время, не имея власти над кем-то в его положении, текло своим размеренным бессмысленным потоком, а развеивание Сидни продолжалось — к звездам, к самым пределам вселенной. А по мере приближения к этим пределам Сидни постепенно осознал, как что-то — кто-то — отдаляется. И с расширением пространства, которое было насыщено Сидни, ширились и его власть и отчаяние, а также радость и покой того — *кого* — он заменял, как осознал Сидни.

…О, великое Скованное Создание… О, новая примесь в потоке времени… бесконечное распределение и уменьшение… пантеизм и вечный пантеизм… И Золотые Часы Времени, натертые в подарок на отставку Старого Председателя…

А целиком проклятие Сидни воплотилось, когда — с завершением его экспансии, при бесконечных размерах и силах, при тотальном

господстве над космосом, где ему уже ничего не имело смысл воровать, — он осознал (в каком-то странном смысле), что теперь он Бог и что даже его перевоплощение, которое уже ему под силу, ничего не изменит. В конце концов, как раз это и испытал его непосредственный предшественник — без заметного успеха.

Послесловие

Будучи преподавателем литературного мастерства (чему, говорят, научить *невозможно),* самый частый вопрос, который я слышу от учеников, — это, пожалуй, «откуда писатель берет идеи?». Наверное, ответов столько же, сколько и писателей, но вот один, что, кажется, говорит о многом: писатель находит идеи, пытаясь разобраться в том, чего не понимает.

Признаем: рациональному человеку понятно очень мало в жизни. Мы пробиваемся вперед невежественными армиями, что сражаются в ночи. Одни люди смиряются и не волнуются. Они занимают утилитарную и собачью точку зрения, оценивая человеческое бытие с простым правилом: «Если не можешь съесть, выпить или трахнуть, — обоссы». Другие пытаются врисовать, или втанцевать, или впеть, или влюбить, или впить, или вкурить смысл в жизнь. Писатели пытаются придать ей форму.

А когда простираешь исследование жизни до великих неизвестностей эсхатологии и будущего — то есть вопросов научной фантастики и фэнтези, — что это за интересное испытание! Тогда и

читатель, и писатель вместе чувствуют себя, как

…звездочет, кто вдруг видит, изумлен,
В кругу светил нежданный метеор;
Иль как Кортес, догадкой потрясен,
Вперял в безмерность океана взор,
Когда, преодолев Дарьенский склон,
Необозримый
встретил он простор[244].

[244] Примечания: 244

Джон Китс, «При первом прочтении чапменовского Гомера», *на основе пер*. С. Сухарева.

Предисловие «Империя солнца»



И снова первая публикация автора. Эндрю Винер, из Англии. Никогда с ним не встречались, ничего о нем не знаю, получил рассказ совершенно без предупреждений, что редакторы называют «самотеком». Прочитал и купил, чем хочу развеять любые мысли о кулуарности, которые бывают у любителей-параноиков насчет таких книг.

Все, что я знаю о Винере, — это что он сам пишет ниже и что «Империя солнца» такая странно эсхатологическая история, что я не удержался от покупки.

Итак, текст от мистера Винера, написанный, к сожалению, в 1969-м и не обновленный… но дающий хотя бы намек:

«Дорогой мистер Эллисон!

О моей биографии рассказывать и правда нечего. Мне двадцать лет; первые восемнадцать прожил в пригороде Северного Лондона. Большую часть двух последних провел в Брайтоне; учусь в Университете Сассекса, мне остался один год из трех для степени по социальной психологии. В следующем июне мне будет двадцать один — и тогда же я окончу университет. Понятия не имею, что буду делать дальше.

В детстве я читал много фантастики. Теперь читаю совсем мало. Мои любимые авторы (их не назвать „источниками влияния“ — у меня не настолько хорошие рассказы, чтобы претендовать на любую связь с их творчеством)– это Мейлер, Чандлер, Грин, Баллард, Дик, Росс Макдональд. Я написал, наверное, восемь рассказов за четыре года. „Империя солнца“ — первый, который я продал. В оригинальном виде это примерно вторая приличная вещь, что я написал. Первый черновик был готов в декабре 1967-го, а ваша версия — в сентябре 1968-го.

Моя любимая биографическая заметка — авторства Алгиса Будриса в английском справочнике „Кто есть кто“: „Я видел Адольфа Гитлера. Генри Уоллеса, Франклина Рузвельта… я пожимал руку

Гарри Трумэну…“ Я лично видел Джими Хендрикса, Артура Брауна и The Rolling Stones; один раз брал интервью у Pink Floyd. Кто скажет, что значительней?

Есть одна цитата, которую я всегда хотел вставить в рассказ:

„Мне двадцать лет, и треть моей жизни уже прошла, а я так и не знаю, Что Происходит“. — П. Ф. Слоун, композитор *Eve Of Destruction*».

Империя солнца
Эндрю Винер



1.

Кахерис, неизвестный космонавт, экзистенциальный герой, пробирается через многолюдные улицы к своей квартире. Вокруг спешат по своим делам светлокожие люди, никогда не поднимая глаз. Небо над головой раскалено добела от огня разбухшего солнца.

Гигантские динамики — электрический голос

смерти — раскатисто ведут отсчет: от тысячи часов к полному нулю. Кахерис боится скорой сверхновой. Видит, что заперт здесь, в конце Главной Истории. С благодарностью входит в свою квартиру со звукоизоляцией. Ему навстречу встает Человек в Маске — мертвые глаза смотрят через щели в кованом металле. Кахерис кричит, вновь ускользает через пространство и время.

2.

В 1990 году Земля становится жертвой исторического проекта синдиката «Сириус». Путешественники во времени раскидывают вокруг планеты сеть телекоммуникационных спутников и начинают Марсианскую войну. «Марсианские» станции сулят перепуганному земному населению погибель, тотальную войну, ликвидацию, войну без границ. Телеканалы забиты соответствующими образами смерти. Организация Объединенных Наций воскрешается в виде Совета по всемирному призыву. Военные элементы захватывают власть, обещая «Войну всех Войн». Планируется строить космическую армаду. Объявляется первый призыв: двадцать миллионов. Антипризывные бунты в Китае жестоко подавляются.

3.

Огромная толпа ждала. А затем появился генерал. Их герой Картер, председатель Совета призыва, бич марсиан. С потолка зала посыпались разноцветные воздушные шарики, ниспадая вокруг него тысячами. Ликование доросло до оглушительного крещендо. Тут он воздел руку — и настала тишина.

Высоко на крыше Кахерис прицелился из винтовки через потолочное окно.

Картер заговорил.

— Война продолжится. Это я вам гарантирую. Мы не дрогнем. Я знаю, как победить.

Он сделал паузу, окинул всех многозначительным взглядом.

— Вам незачем бояться армии. Не доверять стоит гражданским.

Все одобрительно заревели.

— Вас обманули. Но больше этого не повторится. Марсовцы не могут нам сказать, что будут делать. Мы им покажем, с кем они связались.

Мы уже ведем войну с Марсом, и единственный исход — победа.

Вдруг он вскинул глаза, вперившись в Кахериса из-за маски из кованого металла. Воплощайте

свои мечты, думает Кахерис, пытаясь нажать на курок, отключаясь. Как сказал врач: «Откуда вдруг эта одержимость смертью?»

4.

Монтажный переход к грязной каморке в Лондоне. Вопрос: «Как думаешь, сколько тебе осталось?» Он тянет с ответом девушке, заново привыкая к окружению. Все стены заклеены газетными вырезками, рисунками горилл, выцветшими плакатами. Пол завален пустыми пивными банками. По транзистору играет нестройная военная музыка.

— Сколько до?..

— Твоего призыва. Наверняка уже ждать недолго.

Казалось, ее это радует.

— Меня не возьмут. У меня психоз. Меня не могут взять.

— Ты имеешь в виду свои сны? — спрашивает она презрительно. — На Марс пошлют любого — и особенно тех, по ком никто не будет скучать. Потому что никаких марсиан нет, а это — не Война. Война — это выдумка Совета всемирного призыва, чтобы утвердить и поддерживать свою власть. Не больше.

5.

— Это не сны. Как ты не понимаешь? Не понимаешь, что я — звено, человек на перепутьях?

Он пронесся мимо нее, по лестнице. Блуждал по опустевшим лондонским улицам, под гигантскими плакатами Картера, под изображениями устрашенного марсианского врага. Время от времени минуя голодных и перепуганных людей.

На ходу он пытался вспомнить свою прежнюю жизнь. Он был космонавтом? Ученым? Вроде бы припоминались коралловые рифы, бетонная зона ракетодрома, шепот кондиционера. В основном та жизнь казалась пустотой. Она была до того, как он осознал другие места, где смог мыслить ясно.

Вдруг в разум врывается четкая картинка. Он сидит в темной комнате. Над ним — человек в белом халате.

— Что только не делает с человеком одиночество, Кахерис. Ну же, что случилось на орбите? Что с тобой заговорило?

Кахерис таращится прямо перед собой.

— Что оно сказало?

Кахерис смеется.

6.

Погруженный в мысли, словно в трансе, он не замечает, как смеркается, как вокруг смыкается ранний зимний вечер. Вдруг у него на пути они — призывная полиция. Он бросается бежать. Хлещет электрохлыст.

— Погодите, мистер.

Странный акцент. Ночной патруль. Первосортные садисты.

— Куда идем?

— Не знаю. В зоопарк.

— Тут нет никаких зоопарков. Как минимум всех зверей съели. — Он небрежно хлещет Кахериса по животу. Кахерис сгибается пополам.

— Янки, ага. У нас тут тоже призыв, не в курсе? И ничем не хуже. А то и лучше.

Быстро обшаривает карманы Кахериса, забирает оставшиеся деньги. Потом бьет в лицо, кулаком.

— Без документов. Забираем по подозрению. Прямая дорога на красивую красную планету.

7.

Призывной пункт. Скучающие мастера допро-

са, мелкие пытки. Интернирование. Транспорт до тренировочного лагеря. Месяц учебки с незаряженным устаревшим оружием. Выдача униформы. Долгая дорога на поезде. Космопорт, вылет на Марс, билет в один конец.

Проповедник застрелен полицией космопорта, пока кричал:

— Слушайте звезды! Это выход!

Полет. Выдача боезапаса. Теснота в транспортнике. Недомогание после космического скачка. Три дня до Марса. Ради чего? «Когда покончим с марсовцами, давайте перейдем на альфа-центавров».

8.

Вдруг ночь, ночь молодой планеты; вдали — сияющий вулканический горизонт. Вокруг — серебристые сферы, поток сообщений. Левитирующий волшебник стреляет в небо, через залы голубого пламени. «Я вижу новый порядок для всех».

Грядет пророк. «Я заглянул во тьму и увидел гибель. Нас предали».

Наступление людей-птиц. В мареве дрожит древний город. Из его гробницы вырывается гигантский робот.

Из тумана выходит Человек в Маске.

9.

— Марсовцы умные, усекаете. Они принимают человеческое обличье. Не дайте себя одурачить. Стрелять на поражение. Понятно?

Инструктаж продолжается в полусвете. Кахерис просеивает сквозь пальцы красный песок. Каким образом они еще дышат? Видимо, кто-то об этом позаботился — ведь Война должна продолжаться. Операция? Он не помнил. А правда ли это Марс? Солнце над головой казалось съежившимся диском.

Сколько здесь войск? Десять миллионов, сто? Война — это «поворотная точка нашей истории», говорили все газеты. Для оставшихся дома — возможно. Сто миллионов — и кто из них вернулся?

— Марсовцы удерживают ту высоту — 770-ю. Мы должны ее взять.

Почему? Почему бы и нет?

10.

Грохот, стрельба, крики. Бомбы, снаряды, картечь.

Как в комиксах.

Кахерис петляет между мертвых к вершине холма — его гонит адреналин, он ослеп к ужасу. Высоту надо взять. Конечно. Из окопа выскакивает враг. Отбросив опустевшее оружие, нападает с ножом. С виду — человек.

Он кричал «Грязный марсовец!», когда Кахерис его застрелил, в голову. Уловка? На мысли Кахериса уже не хватало. Накатила тошнота. Он упал на колени.

Тяжесть названных цифр. Марсовцев сбросили с высоты. Кое-кто сбежал через их сеть туннелей.

Позже — возможно, намного позже, — к Кахерису подходит медик. Вглядывается в расплывчатое пятно его разума. Кахерис что-то стонал про себя, чего сам не слышал.

Медик открывает рот. Для Кахериса это как гром среди ясного неба.

— Блин, а что включило *тебя?*

Вдруг зрение фокусируется. Черты лица медика колышутся, меняются, а потом становятся маской из кованого металла.

Кахериса тошнит. Марс мерцает и пропадает.

11.

Кахерис — великан, двести футов ростом. Он вышагивает средь покосившихся, растекаю-

щихся жилых зданий, хрустит автомобилями под ногами. Пинает с дороги железнодорожный мост.

Это Земля-будущее, мир отсчета. Динамики — сплавившийся металлолом. Солнце над ним скоро станет сверхновой, разбрасывает свои протуберанцы, как подсолнух. Время приостановилось. Краски вокруг ненатурально яркие.

Шум доходит до невыносимой громкости. Пневматический сад. Дороги становятся огромным зеркалом, отражающим взрыв солнца.

12.

Его сжимает страх. Он бежит по дну пересохшего океана, средь соляных бурь. Он бежит. Вокруг ржавеют джунгли металлических пилонов — в остановившихся заводах Детройта. Он ищет помощь. Где же Генри Форд? Где Супермен? Но никого нет.

Он бредет средь каменных кубов, обвалившихся эстакад. Они осыпаются от касания — творец песка. Позади него идет Человек, из растворяющихся зеленых холмов. Человек идет в дожде, проливающемся на пустошь, мимо лагерей, окруженных электрозаборами, уже запустелых. Кахерис ждет.

13.

Кахерис видит высокие ступени, выбитые в бесконечных горах. На миг он снова в лечебнице, в пустыне. «Белые Пески». Его спрашивают, снова и снова, что с ним случилось на орбите, почему он пытался разбить при посадке свою капсулу. Один раз у него вырвалось, что с ним что-то заговорило. Но ни что, ни что оно сказало.

Сон о побеге, мимо застывших тюремщиков, по тропам времени. Мир отсчета. Война с Марсом. Как это может иметь значение? Кем был Человек в Маске?

В небе разбухает солнце — освещение для смерти всего. Он выкрикивает вопрос:

— Где кончается сон?

Ответа нет.

Он на пляже, читает послание, начертанное на блоках у кромки моря.

И кто такой Человек в Маске? Я сам. Или абсолютно никто. Воплощение страха. Чем стал я — в небе.

Кто говорил со мной? А они как думают, кто?

14.

Он забирается в небо, заполняет сердце солнца. Его щупальца распространяются из воронки, поглощая все.

Человек-вихрь, кипящий, как ртутный дождь, тянущийся к звездам. В ожидании сверхновой.

Послесловие

На поверхностном уровне этот рассказ читается как пародия на фантастику: Война с Марсом, взрыв сверхновой находятся среди самых старых и заезженных клише. Надеюсь, это намеренно. Мне самому трудно объяснить, чего я добивался, но, кажется, я воздавал должное комиксам — литературному уровню ниже фантастики, где все происходит без настоящего объяснения, мир ярких красок и громких звуков, подходящий под искаженное восприятие космонавта Кахериса. По крайней мере первый образ — мира отсчета — я взял из старого издания «Лиги Справедливости Америки» (Там-то планета, конечно, была не Землей, и не помню, как в итоге спаслись герои.) Кахерис — это двумерный персонаж, одушевленная тень в череде катастроф. А пока я писал, образы разрастались больше, чем я ожидал, отталкивая Кахериса все дальше и дальше на задний фон; хотя я никогда и не планировал объяснять его положение четко. Эпизод с покушением — это перевернутая номинация Голдуотера. Война с Марсом — не Вьетнамская, а просто любая война вроде тех, о которых можно прочитать

в комиксах.

Предисловие «Озимандия»



В 1967-м Терри Карр, тогда еще младший редактор в *Ace Books*, уломал этот издательский дом на серию научно-фантастических «спешлов» (это название придумал покойный А. А. Уин, основатель компании, ссылаясь на популярные в то время телевизионные «спецвыпуски», которые продвигались телеканалами). Сначала Терри был руководителем только номинально, но скоро стал старшим редактором серии. С 1967-го по 1971-й, когда — при неприятных обстоятельствах, совсем не красящих *Ace*,– Терри уволился, *Ace Specials* успели стать самой престижной книжной серией в этой области. *Ace* собрала больше «Хьюго» и «Небьюл», чем любая компания в истории НФ-

издания, впервые выпустила таких романистов, как Р. А. Лафферти, Гордон Эклунд, Джоанна Расс, Алексей Паншин, Д. Г. Комптон и Джон Слейдек (в Соединенных Штатах), Боб Шоу и другие… и заодно стала витриной, вожделенной для всех писателей, которые знали: Терри рекламирует книги, как умеет мало какое издательство книг в мягких обложках.

«Спешлы» были не просто случайными вещами, присланными агентами или раскопанными в самотеке, — это было детище Терри Карра; их создавали с любовью и упаковывали с поразительным изяществом. (Там Лео и Диана Диллоны, кого читатели «ОВ» помнят по иллюстрациям к первой антологии, создавали не просто картины для коммерческих обложек, а произведения настоящего Высокого Искусства, переполняя авторов радостью.)

Терри подошел к оформлению с таким новаторством, что перед «спешлами» не мог удержаться никто. Например, Терри не жалел времени и сил, чтобы высылать не просто краткое содержание новых книг (обычно перевранное или раздражающе раскрывающее сюжетные повороты), а гранки известным НФ-авторам, чье творчество близко к данной книге, и просить у них бесплат-

ный комментарий для обложки. Время от времени так поступает большинство издательств, но обычно они либо платят за комментарии — тем самым подвергая сомнению их честность,– либо не мытьем, так катаньем добиваются только положительных комментариев. А Терри всегда четко давал понять, что просит *только* честное мнение — и если конкретному писателю книга казалась ниже среднего, то Терри все понимал и не пытался уговорить сменить мнение или даже написать что-нибудь неопределенное, чтобы потом самому подкорректировать с помощью всем знакомых мертвящих многоточий.

Терри Карр благодаря одному только тяжелому труду стал лучшим редактором, что у нас был.

Теперь «спешлы» мертвы, а Терри снова фрилансер. Но то, кто он есть и что он сделал, будет жить дальше.

В качестве редактора Терри выпустил следующие превосходные сборники:

Science Fiction for People Who Hate Science Fiction (Doubleday, 1966; Funk & Wagnalls, 1968)

New Worlds of Fantasy 1, 2, 3 (Ace, 1967, 1970, 1971)

The Others (Gold Medal, 1969)

On Our Way to the Future (Ace, 1970)

Universe 1, 2 (Ace, 1971, 1972),

а в соавторстве с многолетним редактором *Ace* Дональдом А. Уоллхеймом работал над великолепной серией *World's Best Science Fiction* (1965–71). Даже если бы Терри никогда пальцем не касался других антологий, одна эта серия сделала бы ему имя и принесла заслуженную славу в научно-фантастическом фэндоме. Ведь «лучшее» по версии Терри и Дона сразу же стало *канонически* «лучшим», как бы ни возражали другие редакторы.

В качестве писателя Терри написал роман «Повелитель войн Кор» (*Ace*, 1963) и в соавторстве — роман, который хотел бы забыть. Название той книги из мистера Карра не удалось вытянуть даже угрозами похищения и защекотывания до смерти его жены-писательницы, Кэрол, а значит, не считая пары знающих студентов в колледже Уильяма Рейни Харпера в Палатайне, штат Иллинойс, оно уйдет с мистером Карром в могилу и в отдел вышедших из тиража книг *Monarch Books*. Возможно, и к лучшему. Кто знает.

Также в качестве писателя он сочинил прекрасный рассказ «Танец Того, Кто Изменяет, и Троих», в 1969-м номинированный на «Хьюго» и «Небьюлу», хотя в первом случае его обскакал

ваш редактор, а вторую премию забрала Кейт Вильгельм. Мистер Карр неустанно причитает по этому поводу, заявляя, что его поражение объясняется каким-то мрачным и безобразным заговором. Похоже, даже благородные редакторы не умеют проигрывать.

А теперь, Карр, что скажешь сам?

«Родился в Грантс-Пассе, штат Орегон, 19 февраля 1937-го, а значит, я старше тридцати, но еще не дошел до возраста, о котором сочинили первую назидательную историю. Еще это значит, что я Водолей или Рыбы, смотря какому специалисту верить. Вся моя жизнь отмечена такими неопределенностями, если вообще чем-то отмечена. Первые пять лет жил в холмах Орегона — это настоящая деревня: отец добывал золото на участке и все такое. После Пёрл-Харбора мы переехали в Сан-Франциско, где я и занимался большей частью своего вырастания. Два года в городском колледже СФ, где я еще до запуска „Спутника“ взял курс о космических полетах и узнал о метеозондах. Учеба в Калифорнийском университете в Беркли — в те времена, когда администрация упрекала студентов в апатии, ха-ха-ха. Я тогда тоже был в апатии, так и не получил диплом — вместо этого женился. Долго это не продлилось,

и после разрыва в 1961-м переехал в Нью-Йорк, где, не имея профессии получше, пытался зарабатывать писательством. Сам удивился больше всех, когда распродал все, что писал, но по-прежнему голодал, потому что писал недостаточно — знакомая история. Полтора года проработал литературным агентом, но мне не понравилось, так что ухватился за шанс устроиться редактором в *Ace Books*, когда его предложил Дон Уоллхейм. Проработал там семь лет. Работа испарилась в 1971-м — вместе с немалыми кусками страны во время Великой рецессии, которая, судя по всему, была реальна для всех, кроме мистера Никсона.

Изначально открыл для себя научную фантастику, когда наткнулся на „Когда миры столкнутся“ Уайли и Балмера в школьной библиотеке, где искал учебник по астрономии; книгу по ошибке поставили не на ту полку, но я после прочтения не жаловался. Несколько месяцев спустя я нашел на городской свалке пару старых номеров *Amazing Stories*, и дальше только скатывался ниже. Попал в НФ-фэндом с двенадцати, стал одним из самых продуктивных фэнов-издателей, пока не лишился времени из-за профессиональных дел. Пять номинаций на „Хьюго“ за лучший фэнзин, но только одна победа — с журналом, где я был

редактором вместе с покойным Роном Элликом. Позже номинировался на „Хьюго“ и „Небьюлу“ за лучший рассказ („Танец Того, Кто Изменяет, и Троих“), но в обоих случаях проиграл грязным политикам. Это не печатайте.

190 сантиметров, 84 килограмма, каштановые волосы, карие глаза, без особых примет, не считая двух углублений за ушами из-за родов со щипцами; но их найти сложно, если я сам не покажу, поэтому они бесполезны для досье ФБР, если такое есть. Женат уж десять лет на Кэрол Карр — она красивая, сексуальная, веселая и умудряется писать даже меньше меня, а так еще попробуй. Что еще хотите узнать?»

Между прочим, Терри сообщает мне — и вам,– что больше не будет редактировать *World's Best Science Fiction* с Дональдом Уоллхеймом, но откроет новую серию «лучшего» в *Ballantine Books*.

Озимандия
Терри Карр



Они вышли из земнозвезд, скача и хохоча, завывая и пихаясь, голося в ночь странные нестройные многоголосые песнопения. Они миновали метки и обошли их дважды, все еще хихикая и распевая, и выстроились в неровную вереницу, что вилась в холм, точно змея. Путь от меток до границы занял десять минут, не больше пятидесяти шагов пешим ходом — но то были и не пешеходы, а расхитители, а у них свои законы.

Возглавлял их Сулейра, потому что плясал лучше всех — всех изящней, и быстрее, а что самое главное — всех изобретательнее. Каждый подступ к хранилищам должен был отличаться от прежнего, и если наблюдатель — всегда идущий вторым в веренице, — замечал знакомый ритм, его делом было подставить подножку ведущему, или толкнуть, или пнуть, или как угодно переключить в новый ритм или направление. Те налеты, когда ведущий выдумывал много новых вариаций, а наблюдатель подтверждал, что не было повторений из прошлого, считались успешными. А если не справлялись ни ведущий, ни наблюдатель, тогда-то и начинались взрывы, ослепления, газы, иногда звук без звука, а значит — смерть.

Но сегодня Сулейра был в хорошей форме, и это признавал даже Крич, наблюдатель.

— Иди хорошо! — распевал он. — Иди хорошо, хорошо, хорошо, иди хорошо. — И подставил Сулейре подножку, но лишь понарошку, и кружился на месте, пока ведущий не вскочил и не продолжил.

— Наблюдателям легко, да, легко, — пел Сулейра. — Легко пихать ведущего, без причин; без чертовых причин. — Он сделал два шага назад

и крутанулся, едва не съездив Кричу ногой по зубам. — В другой раз — с причиной! — пропел он и рассмеялся.

Позади него Крич крутнулся, чуть не врезав предыдущему в веренице, и тоже рассмеялся; затем это повторил третий, и так удар со смехом прокатились до подножия холма, колыхаясь в темноте. Сулейра, стройный, изящный и темнобородый, скользнул, сделал три прыжка, потом прокатился по земле — всегда направляясь вверх, к хранилищам. Те высились черными и далекими на фоне ночного неба, на гребне холма: зазубренные кладовые тьмы.

— Подумаешь! — ответил Крич. — Подумаешь, Сулейра, подумаешь, ведущий. Иди хорошо, иди плохо — без разницы. — Он прокатился вслед за Сулейрой, и в кармане его протертой рубашки тихо зазвенели колокольчики. — Ты слышал, сказал он, какая разница.

— К черту, да! — пел Сулейра. — К черту да, к черту толстяка, какого черта он знает. — Он ненадолго замер, вытянувшись на цыпочках, чтобы заглянуть назад. Толстяк шел в отдалении, уже задыхаясь и пыжась, стараясь повторять танец; любой бы сказал, что он к такому не привычен. Его посеревшая туника потемнела от пота; его

волосы — короткие, до ушей, — лепились ко лбу потными прядями.

Крич тоже замер, и повернулся, и взглянул, как и следующий за ним, и следующий — и так далее, пока вдруг не развернулся шедший перед толстяком и уставился на него; и толстяк взвизгнул, вздрогнул, но спохватился и оглянулся сам.

Сулейра рассмеялся вновь и вернулся к танцу.

— От толстяка все равно ни черта нет проку, — пел он. — Нет проку, ничего не знает, нет проку, ничего не знает.

— Сам иди к адскому черту!– ответил Крич.– Чертов толстяк почти думальщик. Черт-*почти*.

Сулейра фыркнул и исполнил парочку особенно заковыристых прыжков — нарочно, чтобы сбить с толку почти-думальщика дальше по очереди.

— «Черт-почти» — это все равно что нигде, нигде, — пел он. — И там же все думальщики — нигде, нигде. Нигде.

— Кроме толстяка, — отвечал Крич.

— К черту толстяка,– заявил Сулейра, в отвращении прерывая песню.– Толстяк не знает, но ты-то знаешь, я знаю. Хранилища еще там — *там!* — И в танце он показал на холм. — А что знает толстяк? И мы пляшем, мы поем, осторож-

но, чертовски осторожно.

Они уже преодолели половину холма, и сияющие земнозвезды сливались с ярким туманом, застелившим долину внизу, откуда в открытый ночной воздух поднимались лишь редкие разбросанные кости зданий. Остальная долина, отсюда и до самых гор, была сплошь земнозвездами.

А выше по склону с каждым шагом вырастала и сгущалась тьма, и махины хранилищ нависали на фоне слабого, рассеянного света небозвезд. Хранилища венчали холм, почти все разрушенные, рассыпавшиеся или даже взорванные — за века налетов расхитителей из долины. Те, что еще оставались, опустели — или так говорили думальщики, но Сулейра им не верил. Всегда находились еще хранилища — всегда так было, всегда так будет. К адскому черту глупые слова, будто нет или не будет.

Если все хранилища опустели, не останется ни игрушек, ни звездоящиков, ни инструментов, чтобы заменять старые и сломанные, или выбрасывать надоевшие, и не останется однопесен, или картинок, или всего, что здесь хранилось для жителей долины. А это нелепо, и немыслимо, и Сулейра отказывался так мыслить.

И потому он плясал выше, юркая вправо и вле-

во, перекатываясь и кувыркаясь, хохоча в пустой воздух, и все за ним, один за другим, показывали на хранилища, и плясали, и кувыркались, и эхо его смеха угасало вдоль по веренице.

Ластен, толстяк, боялся. Он никогда не участвовал в налете, никогда к нему не готовился. Он знал, что с минуты на минуту совершит роковую ошибку, и тогда на него накинутся остальные. А если они и проникнут в хранилища без труда, это будет ночь Бессмертных.

«Скорее всего, газ или звук без звука, — думал он. — Не так боюсь ослепнуть — после этого хоть вернусь с холма. Но меня обязательно что-нибудь убьет, да».

Что ж, ему и так повезло, что он жив: всех остальных думальщиков убили вчера ночью. Их казнили расхитители — выстроили на площади и забили камнями. О, крики и паника, кто-то пытался бежать стреноженным, маниакальное пение и вопли расхитителей — Ластен содрогался, презирая себя за трусость, за то, как спрятался в заброшенном подвале, где земнозвезд так много, что они испускали переливающийся туман. И все равно в укрытии он слышал все, даже видел самые страшные моменты, самые запоминающиеся; они вторгались в его разум на волнах ужаса,

раскатывавшихся от думальщиков, а порой — на волнах восторга и убийственного исступления от расхитителей. Ведь Ластен, толстяк, всегда был странным, из тех 10 процентов мутантов, что выживали в каждом поколении.

Одни рождались с лишними пальцами на ногах или вовсе без ног — это обычное дело, жили почти не хуже других, принимали милостыню у рыночных воров, пока сидели, раскачиваясь в грязи, и выслушивали сплетни на продажу. Другие рождались мертвыми или умирающими, со студенистыми черепами или крошечными сердцами, которые не выдерживали жизни. И редкие, очень редкие получали то, чего не было ни у кого: не просто лишние руки или несоразмерные гениталии (как Крич, как Крич), а *таланты*. К примеру, у отца Ластена был талант с цифрами: он помнил, сколько сезонов назад что-нибудь случилось, как часто случалось за его жизнь, мог даже складывать цифры в голове и получать новые. А Сулейра заявлял, будто у него в голове есть место, где все и всегда ровно, и потому он такой хороший танцор.

Ластен слышал чужие разумы. Не мысли — ведь у людей в головах и нет мыслей; Ластен слышал чувства и картинки, смотря что было сильнее

в сознаниях вокруг. Красная ненависть, кипящая и брызжущая; иногда — чистейший страх, бело-голубой, жесткий; сексуальные фантазии, тревожно отдающиеся в разуме Ластена. Они налетали незваными; он не мог их прекратить, когда они были сильными — как вчера ночью. Кровь, кровь на земле, брызги темной крови из размозженных черепов, красный след, где один пытался уволочь свое побитое тело прочь. И крики: Ластен слышал крики и убийц, и умирающих, а когда все кончилось, обнаружил, что забился в угол и все еще кричит сам, до хрипоты. Он плакал, и опустошил одновременно и желудок, и кишечник, не в силах удержаться.

И все напрасно, потому что его бы все равно не убили. Он еще не успел стать думальщиком.

«Да, смерть обрели только думальщики, только официальные думальщики. Глупые расхитители не знают, что я тоже думальщик, просто не объявленный. Глупые расхитители ни черта не знают».

Пытаясь развернуться в прыжке, Ластен запутался в ногах, со вскриком свалился на землю и миг думал, что так и останется лежать, пропустит вереницу, пока сам переводит дыхание. Но следующий в очереди резко его пнул, пинал снова и

снова, и Ластен со стоном поднялся на ноги. Вяло потрусил нагонять остальных, заливаясь потом и всхлипывая. Он знал, что не вернется из этого налета живым. Скорее всего, не вернется никто.

«Надо сбежать, укатиться во тьму, где меня не увидят, — может, пройдут мимо. Не могут задержаться и искать, нет; остальной веренице надо догонять, иначе подступ не удастся, точно. Чертовы глупые расхитители».

Но ему не хватало прыти, чтобы скрыться из глаз раньше, чем его нагонят и затащат обратно в вереницу, и он сам это знал. Да, чертовы глупые расхитители погибнут, взорвутся, сгорят — и толстяк думальщик Ластен погибнет вместе с ними, потому что не смог сбежать.

— Толстяк упал! — рассмеялся Крич, задирая ноги следом за Сулейрой. — Дайпелл его пнул, пнул, пнул, толстяк встал.

Сулейра задержался, злобно глянул ниже. Толстяк уже вернулся в линию, неуклюже повторяя движения. Сулейра его уже почти не различал, так далеко они поднялись во тьму небозвезд; но размеры толстяка проступали на фоне сияния земнозвезд в долине.

— Если толстяк испортит мой подступ, убью, забью камнями, камнями, — пел Сулейра. — Да, как

всех остальных, тоже сделаем его думальщиком. Ничего хорошего от всех думальщиков. — Он резко развернулся и скакнул выше по холму. Крич немедленно повторил за ним.

— Говорил же оставить его, оставить,– пел он.– Плохой плясун, да, ты прав, *чертовски* прав. Плохой для всех.

— Толстяк пляшет правильно, не то забью его камнями, — заявил Сулейра.

— Мы никого не забьем, если тоже будем мертвы. Плохой плясун, плохой подступ, плохо в хранилищах. Все погибнем из-за толстяка.

Сулейра замедлился в танце еще больше. Проковылял вперед, потом хихикнул и разразился исступленным смехом.

— Помедленней, полегче для толстяка. Полегче, чтоб не отставал, чтобы войти в хранилища как надо, сегодня без смертей. Ковыляй да ковыляй, обычный танец толстяка, — он снова хихикнул. — Чтоб без смертей в хранилищах, покажем чертову почти-думальщику, что хранилища на месте. Да, пусть сам поглядит, все как всегда, как всегда…

Крич мигом подскочил и подставил подножку. Их ноги спутались и оба повалились, стройный Сулейра — пластом, плечистый Крич — тяжело

рухнув в редкую траву. Сулейра быстро перекатился и почти мгновенно вернулся на ноги. Крич закряхтел и тоже подскочил.

— Было плохо,– пропел он.– Слишком одинаково, плохо, паршиво. Надо *хорошо*, Сулейра, иди *хорошо*, иди *хорошо*.

Их догнал следующий в очереди и ловко опрокинул Крича, падая рядом, во всем повторяя за ними. Сулейра хохотнул, крутнулся и поплясал дальше вверх по холму.

— Да, сегодня идем хорошо,– пел он.– Пусть толстяк думальщик увидит, да, а завтра мы его забьем к *черту*, да.

И ведь все это без толку, без смысла. Ластен пыхтел и потел, стараясь угнаться за человеком перед собой, повторять каждое движение, каждый шаг, каждый поворот, прыжок или взмах; таково правило, когда расхитители поднимаются к хранилищам, и если не следовать им, то они все-таки помедлят, чтобы тебя убить. Без толку, без смысла.

Потому что это не имело значения. Весь ритуал танцевального подступа, распеваний, ведущих и наблюдателей… все это не нужно. Если налет удавался, расхитители мнили, будто покорили табу мастерством своей пляски, — и думали,

что танцевали плохо, когда их встречали огонь, ослепление, смерти… но толстяк Ластен, учившийся на думальщика, знал больше.

«Черт, да, больше глупых расхитителей».

Расхитители могли подняться по холму и прямо — не петляющей змеиной вереницей, без скачков и плясок, без песнопений. Могли бы подойти к любому хранилищу без происшествий и войти… или надышаться газом, ослепнуть, погибнуть. Иногда налет обходил оборону Бессмертных, а иногда натыкался на опасность и смерть, но это не имело никакого отношения к танцам или ритуалам.

«Да, танцуй правильно — и войдешь, станцуй неправильно — и погибнешь. Глупо, глупо».

Народ Ластена был думальщиками — хранителями старых знаний… или того, что от них осталось. Они-то знали, что хранилища охраняются не проклятьями или демонами, не странными волшебными законами, которые судят и запоминают танцы поколений невежественных расхитителей. Нет, хранилища охранялись Бессмертными такими средствами, что уже не знали и сами думальщики… но не магией. Каждое хранилище было окружено тайными очами, и это они отбивали врага разным оружием. Одно — газ,

другое — взрывы; это все понятно. Звук без звука — не так понятно, как и ослепляющий свет, но все это одно, все — единственная защита хранилищ.

Мир, сотворивший хранилища, уже давно ушел, разрушенный такими мощными бомбами, взрывами и газами, что от Бессмертных почти ничего не осталось. Они кричали и умирали, кричали и умирали, пока не осталась лишь горстка, прозябающая среди руин: их женщины вынашивали странных детей, их ослепляли земнозвезды, заполнившие все низины.

И теперь каждую весну, когда кончалась оттепель, народ долины устраивал службу по прошлому — и думальщики рассказывали историю.

Теперь человек перед Ластеном ковылял вразвалку, со смехом оглядываясь и проверяя, следует ли примеру толстяк. Ластен с одышкой ругался, но ковылял вслед, когда тот скакнул вперед и подставил подножку танцору перед собой. Оба растянулись на земле и поднимались с хихиканьем и смехом.

— Эй, толстяк, — напевал танцор впереди, — давай сюда, толстяк, твой черед уронить старого Шаркси. — И закружился, дожидаясь, посмеиваясь, издеваясь.

Ластен резко втянул воздух в легкие и бросился вперед что было мочи, чтобы подставить подножку. Но не рассчитал — почувствовал, как падает сам, теряет равновесие, увидел, как на лице Шаркси вдруг проступил гнев, и потом уже задыхался на земле, а Шаркси пробормотал «Сестрин сын!» и навалился на него.

Он был не таким уже тяжелым, но вышиб из Ластена оставшийся дух. Думальщик слабо стонал, почти не чувствуя ударов локтями Шаркси, когда тот скатился с него и вскочил.

— Чертов жалкий толстый Ластен, надо было тебе стать думальщиком, чтоб тебя тоже убили. Плохой танцор, *чертовски* плохой. Всех нас убьешь, да, но и мы можем убить тебя, убить Ластена, эй, убить толстяка, да? Да? Если не *встанешь*, толстяк, живо *встал, живо!*

И Ластен с трудом поднимался на ноги, а Шаркси выплясывал вокруг него, ругаясь и угрожая. Он встал с содроганием, и Шаркси пропел:

— Вот так, а теперь пляши правильно, пляши правильно… о да, а то убьем тебя, Ластен, и ты сам это знаешь, сам знаешь, а? — Рассмеялся, развернулся и поплясал выше, вслед за остальными.

Ластен провожал его взглядом сквозь красный туман, что сгустился вокруг головы думальщика,

как алые земнозвезды. Он еще чувствовал внутри себя зудящую ненависть, обещание смерти, что было больше чем обещанием — Шаркси и правда *хотел* его убить. Ластен втянул воздух, и туман стал развеиваться — но вдруг из-под него вышибли ноги, когда следующий в очереди подскочил и подставил подножку ему. И снова толстяк оказался на земле, но в этот раз, подгоняемый страхом от того, что почувствовал в мыслях Шаркси, вскочил быстро и плясал, или ковылял, или плелся, шаг за шагом в веренице по холму.

«Больше никаких ошибок для Ластена, нет, — говорил он себе. — Для Бессмертных пляски не имеют значения, зато имеют для грязных расхитителей, кровожадных расхитителей, и тебя правда убьют, и неважно, от чего ты умрешь.

Но к черту их, к черту за то, что заставили идти, когда я сказал, что в хранилищах пусто».

И вот Сулейра был у ворот. Он слышал, раньше здесь была прочная стена, но ее практически разрушили поколения расхитителей, разворотили голыми руками, камень за камнем, и разбросали камни вокруг, скидывая или скатывая многие по склону вниз. В пятнадцати-двадцати ярдах справа виднелась яма, где плохой танцор устроил взрыв. От стены остались только ворота — два сталь-

ных столба, рябых и проржавевших от возраста. По воротам взобрался ночной мох, отчего они наполовину обросли темно-зеленым мехом. Над головой безмолвно висели холодные небозвезды.

— Ладно, заходим, — нараспев произнес Сулейра. — Заходим, заходим — эй, мы заходим! — И проплясал через ворота как можно быстрее (здесь полегло немало расхитителей, хоть и не на памяти Сулейры), а на той стороне, внутри, замер и пошаркал вперед, заведя высокую заунывную ноту, пока за ним последовали Крич и второй, третий, четвертый.

— Вот и вошли, — тихо сказал он Кричу, и они окинули взглядом хранилища. Следом через ворота протанцевали остальные, замедлились и наконец остановились, как Сулейра и Крич, — задыхаясь, уставившись на хранилища.

— Какое? — спросил Крич. — Ты был здесь три, четыре раза подряд, в какое пойдем?

Сулейра с прищуром приглядывался к строениям. Они венчали весь холм, хранилища всех видов и размеров: одни высокие, как обелиски, другие — как купола, а третьи торчали — со странными углами, странных форм. Сулейра всегда опасался хранилищ — уже из-за одного их размера, даже если они сами не так опасны. Они

высились в небеса; и когда расхитители входили в их двери, своды уходили высоко, словно чтобы охватить всю гулкую пустую тьму.

— Звездоящики хранятся здесь для нас, других причин нет, да? — сказал он Кричу. — И однопесни, и инструменты; а может, и игрушки, всех видов, да? Подключаешь к звездоящикам — и да, они работают, работают. Зачем они, если не для нас? Для кого, Крич, для кого?

— Ни для кого, — ответил тот. — Только чтобы забрали мы.

— Да, да, ни для кого, — произнес Сулейра, медленно поворачиваясь в ночи, в глубоком молчании холма и нависающих хранилищ. Оглянулся на склон и увидел, как в ворота проходят остальные, а ворота теперь словно вели наружу, вниз, обратно к сиянию земнозвезд. Он увидел, как вваливается с одышкой Ластен, и вдруг усмехнулся.

— Эй, а пусть толстяк Ластен выберет нам хранилище. Почти-думальщик говорит, они пустые — ни черта он не знает. Помнишь, что сказали остальные? Остальные думальщики? Сказали, будто помнят, какие хранилища расхитили, помнят, сколько их было и теперь что все пустые. Помнишь? Да? Чертовы глупые думальщики

дурили нас, эй, уже *давно*. Посылали нас вместо себя, заставляли рисковать, о да, просто говорили, в какие хранилища идти. О конечно, о да, старые хитрые думальщики, и теперь все мертвы, давно пора.

Крич пнул шаткий камень; из-под него разбежались слабо сияющие ползучие создания, засеменили кругами и быстро зарылись в землю, спрятались.

— Да, всегда ненавидел думальщиков, — сказал Крич. — Всегда знал, что они врут, — ну, и все знали. Эй, да, хорошо, тащи сюда Ластена, пусть сегодня он выберет хранилище.

— Да, хорошо, передай назад, — ответил Сулейра и отвернулся от вереницы, снова всмотревшись в хранилища. Но почти сразу же ему пришла в голову еще одна мысль — и он сказал Кричу:

— Сегодня Ластен выберет хранилище — и войдет первым. Самый первый. Честь, да? — он рассмеялся.

— Первый погибнет, если подступ был плохой, — подтвердил Крич. — О да, честь.

— Толстяку это надо, — сказал Сулейра. — Тащи его сюда.

Страх Ластена обострился, когда его схватили.

Зачем он понадобился теперь, когда они прошли в ворота, к самим хранилищам? Не убьют же его теперь, на безмолвном холме. Зачем, зачем? (Если только они не хотят снова начать человеческие жертвоприношения перед хранилищами. *Нет*.)

Но в мерцающих чувствах, лучащихся из разума Сулейры, когда его поставили перед ведущим, не было ни капли убийства. Была ненависть, да, и мягкое упругое злорадство. Но не убийство, нет, ничего такого.

— Эй, Ластен, ты же почти думальщик, да? — спросил Сулейра, и голос его был тихим, почти дружелюбным. Но не разум.

— Меня еще не приняли, — опасливо ответил Ластен.

— Да, мы поняли. Ладно, но ты много знаешь, да? Мы слышали, много знаешь о хранилищах, где опасно, где, может, пусто. Но не *везде* пусто, Ластен, не *везде*. Ты почти думальщик, ты не глупый, да?

— Думальщики вам сказали, что везде пусто,– ответил Ластен,– и вы убили думальщиков. Если так скажу я, вы убьете *меня*.

Сулейра расплылся в улыбке, бросил взгляд на Крича.

— Нет-нет, Ластен, ты не глупый. Ладно, в какое

хранилище нам войти сегодня?

По спине Ластена пробежал холодок, по-паучьи коснулся его затылка.

— Хотите, чтобы я выбрал хранилище? — спросил он. — Почему я? Почему, Сулейра?

Тот рассмеялся, довольный собой.

— Какого черта я знаю, что за хранилище выбрать. Это всегда делают думальщики, всегда. Думальщиков больше нет, зато есть ты, Ластен. Тебе и выбирать.

«Мне и выбирать — и если в хранилище пусто, то виноват я, не Сулейра. А может, Сулейра и сам усомнился в чертовых хранилищах, а?»

— Страшно выбрать самому, Сулейра? Страшно, что не найдешь хранилище с красивыми штучками? Да, страшно, страшно.

Но зря он так сказал. Сулейра подскочил, схватил за мягкую руку, больно стиснув, и заломил ему за спину. Ластен вскрикнул и согнулся, спасаясь от боли. Сулейра уперся локтем ему между лопаток.

— Не страшно, толстяк; не страшно, просто я умный. Думальщики знали о хранилищах, научили тебя, да? Точно, Ластен, точно, мы-то знаем. Потом думальщики сказали, все хранилища пустые, расхищения без толку, да? Да? А может,

у думальщиков здесь есть то, чего нам нельзя найти, а? Расхитители не такие глупые, Ластен, и Сулейра не глупый. Выбирай хранилище — *ты*, и уж *лучше* ему не быть пустым!

«Или меня забьют камнями на месте, — думал Ластен, увидев яркую уверенность в мыслях Сулейры. — Только так Сулейра загладит неудавшийся налет. Да, и к тому же расхитителям нравится побивать камнями, особенно здесь, где волшебство. Волшебство и смерть, о да, они это обожают».

— И *ты* пойдешь в хранилище первым, Ластен,– злорадно объявил Крич.– Точно, *ты*, Ластен, почетное место.

«Место смерти, — подумал Ластен. — Ох, глупые чертовы расхитители, жалкие кровожадные суеверные…»

— Так какое, Ластен? — Сулейра выкрутил руку еще больнее. — Какое?

И Ластен, почти-думальщик, вдруг рассмеялся.

— Да, хорошо, — сказал он и снова захихикал — прямо как Сулейра или Крич, только выше, пронзительнее. — Ладно, да, ладно, ладно…

Сулейра пустил его, отступил.

— Заведешь в пустое хранилище — смеяться не будешь, — предупредил он.

— Да, о да, знаю, — ответил Ластен, наконец прекратив хихикать. Все-таки было не так уж смешно; собственно, было вовсе не смешно.

— Вон то, — сказал он, ткнув пальцем в ближайшее. — Мы идем туда.

Сулейра и Крич уставились на него.

– *Это?* Толстяк, ты с ума сошел? В нем нет ничего — и уже не было ничего раньше, чем родились ты или я!

— Эй, да, — вторил Крич. — Самым первым обчистили это хранилище, это самое, ты что, не знаешь?

— Конечно, знаю, конечно. Но сегодня мы пойдем в него. И вы присмотритесь, ведущий и наблюдатель, присмотритесь хорошенько и увидите, что хранилище *не* пустое. Хотите больше красивых штучек в хранилищах — надо только присмотреться!

И он уверенно направился к ближайшему хранилищу, а Сулейра и Крич буравили его сначала злыми взглядами, потом неуверенными, а потом наконец повернулись и велели остальным идти за Ластеном.

Точно, чертовы расхитители обчистили это хранилище первым делом, — думал Ластен. — Были в нем так часто, что и не сосчитать, обчищали,

уносили все, что могли найти, все, что здесь хранили Бессмертные. Вот только еще это значит, что хранилище безвредное, вся защита уже давно растрачена или прогорела. Ничего меня не ослепит, не сожжет, не убьет. Безвредное хранилище, да… но, может, не такое пустое, как они думают.

Двери зияли нараспашку и вели во тьму. Ластен потребовал факелы, и двое расхитителей вышли вперед и запалили их.

— Хорошо, а теперь зайдем, — объявил Ластен, и факельщики мрачно последовали в широкий проход за ним, а Сулейра и Крич — следом.

Внутри был высокий зал, покрытый пылью, засыпанный камнями и обломками артефактов; одна стена потемнела и расплылась — ее пластоидное покрытие обжег какой-то давно позабытый взрыв. Дыра в потолке — так высоко, что и не разглядишь в мерцании факелов, — вместо светильников, давно сорванных расхитителями. Звуки шагов в пустом зале отдавались гулко и резко, а тени словно источали слабую вонь старых факелов. Сулейра догнал Ластена, произнес с опасной вкрадчивостью:

— Ничего не вижу, думальщик.

Ластен кивнул, пристально обводя взглядом хранилище.

— А *ты* что-нибудь видишь, Крич? Как по мне, здесь пусто, чертовски пусто, а?

Крич ухмыльнулся.

— О нет, не пусто. Не может быть — нас же привел толстяк. Правильно, толстый думальщик? Здесь что-то спрятано?

Ластен встал на четвереньки посреди зала, ковыряясь в щебне. Сметал тут и там пыль и камешки, разглядывал пол.

— Да, эй, у него тут что-то спрятано, — согласился Сулейра. — Эй, подойдите с факелами, да поближе. — Факельщики опасливо придвинулись вперед; Сулейра схватил одного и поставил, где хотел, прямо над Ластеном. — И ты тоже, — велел он второму, и тот тоже поднес факел к толстяку.

Ластен захихикал.

— Нашел, эй? — спросил Сулейра. — Что там, толстяк? Надеюсь, что хорошее, ты же знаешь, да? Что там?

Ластен знал, что Сулейра и остальные испуганы больше, чем подают вид. Расхитители боялись хранилищ, как бы часто их ни разграбляли, несмотря на то, что защитные системы все реже и реже калечили и убивали. «Расхитители думают, это все демоны. Черт, никакие не демоны, даже

не жалкое волшебство. Только то, что мы забыли — забыли даже думальщики.

Но да, я знаю о хранилищах одно, чего не ведает Сулейра».

Пыхтя, Ластен распрямился, огляделся и выбрал южную стену. Посреди нее была металлическая табличка с надписью — расхитители звали их дьявольскими значками: очередное волшебство, чтобы бояться.

Ластен не мог ее прочитать, но знал, чем это может быть. Подозвал Сулейру и показал на табличку:

— Сними со стены.

Сулейра уставился на него; как и Крич, и остальные — факельщики и те, кто сгрудился у входа.

— Снимите со стены! — резко, истошно рявкнул Ластен. — Оторвите, хоть ножами, но осторожнее!

Сулейра замялся только на миг; потом развернулся и выбрал одного у дверей.

— Таккер — ты. Неси нож, делай, как велит думальщик. Остальные — стерегите дверь, чтоб думальщик не сбежал.

Таккер нехотя вошел, обнажая нож. Он был грубым, но прочным; когда-то это был металлический прут, но Таккер его заточил. Он воткнул

кромку под табличку и поддел; табличка начала отходить.

— Тайник? — спросил Сулкейра, и Ластену не пришлось улавливать подавленный страх в его разуме: страх и так отчетливо звучал в голосе.

— Да, тайник, — сказал он. — Сюрприз для вас.

Табличка отвалилась и лязгнула о пол. Ластен подошел, жестом попросил свет и заглянул в открывшееся в стене небольшое отверстие.

Там оказался круглый диск, со значками и надписями — короткими, которыми обозначались цифры. Замок с часовым механизмом, установленный на будущее, после войн. Но время можно изменить — почему бы и нет?

Ластен повернул диск, услышал во внезапно затихшем хранилище слабое царапанье металла. Поворот, поворот — и сезоны мимо плыли, отсчитывалось все больше и больше времени. Годы, годы. Он все крутил диск, ожидая, когда откроется замок. (А может, он вертит не в ту сторону? Но нет; не в ту диск бы попросту не повернулся.)

Вокруг несло страхом. Он стоял в полумраке, а факельщики пятились прочь; тени вытягивались, захватывая все больше места в хранилище. Даже Сулейра и Крич отошли к двери.

И тут пол хранилища начал подниматься.

Одна часть пола, вдвое длиннее роста человека и вполовину короче, отличалась от всего вокруг; Ластен нашел ее края, когда обшаривал пол на четвереньках. Теперь она поднималась под аккомпанемент низкого подземного гула механизмов. Это был блок тяжелого пластоида, и на удивленных и устрашенных глазах Ластена и остальных он планомерно поднялся почти им до плеч.

Это оказалась капсула с прозрачными боками; внутри лежало тело Бессмертного — или демона, бога, чудовища. Он был огромным, вдвое больше Ластена, или Сулейры, или любого из них; это они видели в тенях факелов, хоть он и лежал.

Механизмы капсулы с жужжанием ожили; Ластен увидел, как поднимается крышка гроба, почувствовал запах выпущенного затхлого воздуха, увидел, как тонкая иголка датчика на боку перескочила к концу — и тут же великан как содрогнется, спина как изогнется, мышцы как задрожат. Вновь обмяк, но вновь подскочила иголка — а с ней и огромное тело.

И в этот раз раздался стон, тихий и слабый, и голова чудовища перекатилась набок. Рот вяло раскрылся; веки затрепетали; руки вздрогнули и сдвинулись.

Отделились от тела иголки и трубки, скрылись в ложе. Успокоились датчики.

Глаза Бессмертного распахнулись и пусто уставились на них.

«Черт черт черт черт черт черт большой страшный бесчеловечный дьявол черт черт убьет нас всех убьет нас нет нет!»

Глаза раскрылись шире, и снова застонало существо, но теперь громче. Глубокий, полузадушенный рык, и он отразился от стен.

«Ненавидит нас ненавидит нас убьет нас убьет меня меня меня меня нет!»

И великан попытался сесть.

Заскрежетали его руки по бокам контейнера — им не хватало координации, не хватало сил. Создание крякнуло и упало назад; дышало болезненными урывками, издавая стоны глубоко в горле.

Крич завопил. Бросился на остальных, застывших у двери, и начал пробиваться через них, все еще с воплями. Растолкав остальных, вырвался, и другие последовали за ним, прибавляя свои вопли. Сулейра окликнул его, сорвался было с места, но замер.

Ластен прирос к полу, переполненный ужасом — и своим, и от потопа паники в умах вокруг.

Красный, лопающийся страх, раскаленными волнами плещущий ему в живот, в грудь…

«Убьет меня убьет меня убьет меня меня меня меня убьет…»

Великан сел, и был он чудовищен. Вдвое выше человека, покачивался и постанывал над ними в темном хранилище. Его пальцы судорожно подрагивали; он облокотился на стенку, перевел взгляд на них. И промолвил:

— Боже… о боже… что вы такое? Что вы *такое?*

Слабый, тоненький голосок. Испуганный.

— Помогите… пожалуйста, помогите…

И вдруг кувырнулся, сорвался из своего контейнера вниз головой к ногам Ластена. Рухнул грузно и шумно, и Ластен отпрянул в испуге. Чудовище корчилось на полу, хватаясь за воздух, его ноги подергивались, изо рта стекала слюна. А потом он обмяк и слабо, безысходно простонал:

— О боже, прошу…

«Убьет меня убьет меня меня меня убьет убьет» — и вдруг у Ластена в руках оказался большой булыжник, и он подбежал и обрушил его что было силы на лицо чудовища. Ударил в глаз, по голове, и брызнула жидкая красная кровь. Великан забился на полу, судорожно вскинулись руки, брыкались ноги, слабые стоны вырывались

из раззявленного рта. Ластен ударил еще, и еще, и еще, и уже кричал, кричал, чтобы заглушить вскрики чудовища, и бил еще, и еще, и *сильнее*…

И наконец в хранилище остались только его крики. Чудовище, Бессмертный, нечеловеческий великан лежал безмолвным и бездыханным у его ног. Сулейра и остальные давно сбежали. Ластен проглотил слезы и выронил покрасневший скользкий булыжник. Привалился к капсуле, даже не замечая крови на руках и ногах.

«Я жив жив жив… я жив…»

Только через час Сулейра и Крич прокрались обратно на холм. Все это время царила тишина, и чудовище не погналось за ними.

Крич нес факел; сунул его перед собой в дверной проем. Увидел демоническое чудище и отшатнулся; но потом увидел и то, что оно лежит совершенно неподвижно, а вокруг размозженной головы растекается кровь.

Сулейра оттолкнул его и вошел. Увидел, что Ластен стоит у капсулы чудовища с потемневшим камнем в руке. Ластен ударил раз, другой, и рама разбилась; осколки просыпались к его ногам в запекшейся крови. Он углубился в капсулу и вырвал пригоршню проводов — красных, желтых, синих, зеленых.

Поднял взгляд, и увидел Сулейру, и улыбнулся.

И захихикал.

И сказал:

— Иди сюда, Сулейра. Иди сюда, маленький пляшущий ведущий. Демон тебя больше не тронет, о нет, только не демон, не чудовище. Тебя напугал дьявол? Но я убил его — *я*. Не бойся, танцор, не бойся; заходи. Здесь много всего, ох как много. И в других хранилищах тоже.

Он протянул разноцветные провода.

— Красиво?

Послесловие

В наши дни я пишу строго в свободное время и не так уж много; пару рассказов в год, и только. Не самая большая продуктивность, зато есть одно преимущество: перед тем как, собственно, сесть и написать, я обычно верчу задумку в мыслях месяцами, если не годами, и в итоге довожу ее куда дальше, чем ожидал сам, и тогда в рассказ может вкрасться много обертонов.

Так и вышло с «Озимандией». Изначальная задумка промелькнула, когда я читал о криогенике: где бы я сам хранил столько тел? В долгосрочной перспективе заботиться о них невозможно, если только с помощью автоматизации. А если будет автоматизация, мы получаем независимую капсулу, современную и самодостаточную гробницу — то есть научную версию гробниц Древнего Египта.

Ну, почему нет? Египетские гробницы и задумывались ради бессмертия фараонов, знати и всех тех, кому на это хватало денег и власти; сейчас критерии те же — как и цель. Значит… собираем все криогенные гробницы вместе — и получаем новую Долину царей.

Жуткий образ, и я вынашивал его на задворках разума несколько месяцев. Затем в голову пришла задумка как будто другого рассказа: в каком-то смысле криогеника — это метод путешествия во времени; так может, однажды ради того ею и воспользуются? Богачи закроются в гробницах и выставят часовой механизм так, чтобы он разбудил их как раз, скажем, к рубежу веков, или спустя столетие, или спустя еще столетие: путешествие вперед во временных скачках.

Но если будущее мира правда окажется мрачным, о чем нас предупреждают некоторые тенденции, тогда этими криогенными гробницами времени можно пользоваться не только для путешествия вперед, но и для спасения от чего-либо — например, от Армагеддона. Богачи смогут проспать даже атомную войну.

И здесь я вышел на другую аналогию для гробницы: эксклюзивный курорт для того, чтобы переправить человека через смерть на ту сторону. Так я вернулся к Долине царей, ведь теперь еще логичнее, что в гробницах люди будут хранить инструменты, оружие, источники энергии, продовольствие… все, что может понадобиться по ту сторону катастрофы. В точности как фараоны, которые запасались продовольствием,

имуществом и богатством для загробной жизни.

В случае фараонов это неизбежно привело к тому, что их гробницы разграбят: таков уж мир — нуждающиеся возьмут у имущих, если смогут. А те, кто останется после атомной войны, будут отчаянно нуждаться — и криогенные гробницы станут естественной добычей для расхитителей или выживающих.

Такое я держал в уме допущение, когда стал собирать сам рассказ; все остальное — дело усложнения сюжета, персонажей, образов и даже символизма. Символизм, если честно, появился сам по себе, когда рассказ обрел форму; у меня это вышло подсознательно, и я сам немало удивился, когда перечитывал последнюю рукопись и видел, сколько деталей получили чуточку дополнительных значений… ничего такого особенного, ничего важного для сюжета, но если у вас подходящий склад ума, то вы все найдете.

Только под самый конец я понял, что рассказ должен называться «Озимандия». Это такой же комментарий на современные достижения, каким был сонет Шелли, когда опровергал тщеславную похвальбу фараонов: «Я — Озимандия, я — мощный царь царей! Взгляните на мои вели-

кие деянья»[245].

Теперь пробуждается новый Озимандия, чтобы взглянуть на свои деяния, вот только реакция остается прежней.

[245] Примечания: 245

Цитата из сонета «Озимандия» английского поэта Перси Биши Шелли (*пер.* К. Д. Бальмонта).

Предисловие «Райское молоко»



Это последнее предисловие в книге. Я пишу их уже добрых три месяца. Это где-то под 60 тысяч слов. Целый роман. Если те из вас, кто мои предисловия ненавидит, решат их все пропустить, жаловаться вам будет не на что, потому что вы платите где-то за 250 тысяч слов в рассказах и получаете лишних шестьдесят тысяч вдогонку. Но если вам интересно прочувствовать, какие люди стоят за художественным вымыслом, надеюсь, для вас этот опыт был такой же полезный и приятный, как для меня. Но ни в коем случае не утомительный.

Не переключайтесь, в трилогии будет еще заключительный том, как я уже не раз отмечал. Он

будет называться «Последние опасные видения», и название следует читать буквально.

Ну а пока лучшее припасено напоследок.

В прошлом предисловии я подшучивал над идеей припасать самого сильного участника для завершения антологии. Это было шутки ради. (Что-что? Знаете, вы и сами-то не очень смешные, умники такие.) В «Опасных видениях» я знал, что лучшим выбором будет получивший награды рассказ «…Да, и Гоморра» (*«Aye, and Gomorrah…»*) Сэмюэла Р. Дилэни. Когда я его купил, Чип Дилэни почти не выпускал рассказы, хотя уже сделал себе имя на романах. То есть на тот момент рассказ еще не обрел наград. Но уже явно был открытием книги — хотя «Наездники пурпурных пособий» Фила Фармера шли с ним ноздря в ноздрю. Просто рассказ так и кричал: «Я обладатель наград». Так оно и вышло.

Составляя «НОВ», я надеялся найти новый хит вроде Дилэни, чтобы поставить его под занавес. Месяц за месяцем поступали хорошие рассказы, от некоторых даже захватывало дух — Лупофф, Воннегут, Файлер, другие, — но никто не выступал вперед, распихивая остальных претендентов. А потом ко мне на стол лег рассказ Джеймса Типтри.

Типтри я почитываю уже какое-то время. Он сравнительно недавно вступил в ряды НФ-писателей и опубликовал не так уж много — на данный момент нет даже ни одного романа, — но что я видел, то весьма и весьма впечатляло. Вот я и написал ему с предложением поучаствовать.

И в ответ пришло «Райское молоко».

Просто в голове не укладывалось, что мне выпал шанс купить такую умопомрачительную вещь. Они вечно перепадают другим, и это другие прославляются в качестве редакторов, опубликовавших такое-то от такого-то. Но вот, пожалуйста, это мое, целиком и полностью, и рассказ, даже не взглянув на остальные, прошел полный круг, собрал все фишки, избежал поля «тюрьма» и пристроился на финишном поле. Это большой победитель, гранд-финал, «Когда Святые маршируют» со всеми ревущими трубами, с эмоциональными и интеллектуальными шутихами и невероятным везением. Как я предсказал выше, что повесть Лупоффа соберет все награды для текстов среднего объема, так и теперь ставлю те капли репутации, что у меня еще остались, и заявляю, что Типтри соберет все награды за рассказ. И НФ-мир осознает то же, что осознали все прочитавшие этот рассказ в рукописи и гранках:

в жанре появился новый Титан.

В этом году царь горы — Типтри.

Царица — это Вильгельм, но царь — Типтри[246].

И такое мое свирепое наступление здесь не только потому, что я высокого мнения о рассказе, но и потому, что это, как уже сказано, самое почетное место в сборнике — а еще потому, что Джеймс Типтри, как ни иронично, отказывается предоставлять о себе личные сведения.

Все, что у меня на него есть, — он живет в штате Виргиния и часто бывает в разъездах (зачем — неведомо).

Его причины сохранять инкогнито кажутся мне глубоко и искренне личными, а потому я против них не пойду. Но в качестве признака

---

[246] Примечания: 246

Иронично, что под псевдонимом «Джеймс Типтри-младший» скрывалась Элис Хастингс Брэдли-Шелдон (1915–1987)– не мужчина, как на тот момент считал Эллисон, а женщина, одна из самых интересных личностей в американской фантастике; майор разведки времен Второй мировой (высшее звание, доступное для женщин в то время), работала в ЦРУ с основания организации. Псевдоним, связанный с названием британской марки мармелада (Tiptree Marmalade), был раскрыт только в 1977-м, спустя 6 лет после публикации «НОВ». Типтри взяла его в 1967-м среди прочего для того, чтобы обойти дискриминацию в фантастическом сообществе. О ее истинной личности много гадали; среди прочего Роберт Силверберг заявлял, что Типтри абсурдно считать женщиной, потому что в «его» рассказах чувствуется что-то мужское. Первая публикация — в *Analog Science Fact & Fiction*, март 1968-го; в дальнейшем получила два «Хьюго» и три «Небьюлы», в честь нее в 1991-м основана премия Джеймса Типтри-мл. В 1987-м совершила

с мужем двойное самоубийство из-за его тяжелого состояния здоровья (в связи с этим в 2019 году, много лет спустя, у премии изменили название на Otherwise).

писателя, который может даже не подозревать, насколько он хорош, — и, может быть, поэтому хорош в особенности, — вот вам отрывок из письма, сопровождавшего подписанные копии договоров на этот чудесный, запоминающийся, прощальный рассказ в «НОВ». Вот вам Типтри:

«…Вы заставили меня задуматься о ценности — для редактора — автора, у которого нет личных сведений, нет желания попасть, в кавычках, на „витрину“, зато есть желание при малейшей угрозе чего-то вроде вручения наград исполнить доплеровский сдвиг. Автора, который сам опрокидывает рекламы со своим именем. Понимаете ли, мне и в голову не приходило, что подобное может случиться. Я планировал несколько лет тихо собирать отписки с отказами. А потом появился Фред Пол, который все понял и ни разу не придирался. Теперь он пропал, со всего горизонта надвигаются вопросы, на которые по причинам — полагаю, довольно неясным, — ответов быть не может. Что же делать? Брать псевдоним, новый почтовый ящик и начинать сначала?»

Райское молоко
Джеймс Типтри-младший



Она струилась, жаркая и нагая, и она оседлала его живот в нежно-кубе, и кормила своими маленькими твердыми сиськами. И он содрогнулся под ней и затем сломя голову бросился к отходнику, блевать.

— Тимор! Тимор!

Это было не его имя.

— Прости. — И его опять вырвало потоком U4. — Я ведь тебя предупреждал, Сеул.

Она села там, куда он ее отбросил, пораженная

до глубины души.

— Это значит, ты меня *не хочешь?* Но ведь все на станции…

— Прости. Я предупреждал. — Он с трудом влезал в серое трико, с длинными рукавами, с буфами на локтях. — Без толку. Всегда без толку.

— Но ты же человек, Тимор. Как и я. Разве ты не рад, что тебя спасли?

— Человек. — Он сплюнул в отходник. — Только это у тебя на уме.

Она издала возглас. Он натягивал длинные серые кальсоны, плиссированные на коленях и лодыжках.

— Что они с тобой сделали, Тимор? — Она покачнулась. — Как они тебя любили, раз я не могу так же? — застенала она.

— Дело в том, какие они были, Сеул, — терпеливо объяснил он, поправляя сизо-серые манжеты.

— Они выглядели вот так? Серые и блестящие? Поэтому ты носишь…

Он обернулся к ней, коренастый парень в сером, пылающие глаза на неподвижном лице.

— Я это ношу, чтобы спрятать свое отвратительное человеческое тело, — напряженно ответил он. — Чтобы меня не тошнило от самого себя. В сравнении с ними я был… крот. Как и ты.

— А-а-а…

Его лицо смягчилось.

— Если бы ты их только видела. Сеул. Высокие, как дым, всегда в музыке, с… тем, что ты и представить себе не можешь. Мы не… — Он перестал натягивать серые перчатки, передернулся. — Красивее всех детей человеческих, — мучительно выговорил он.

Она обхватила себя руками, прищурилась.

— Но они же мертвы, Тимор. Мертвы! Ты сам так сказал.

Он оцепенел, отвернулся от нее с серой туфлей в руке.

— Как можно быть лучше людей?– не унималась она.– Все знают, что есть только люди и кроты. По-моему, дело вовсе не в твоем кротском рае, по-моему, это…

Он рванул ручку двери.

— Тимор, постой! Тимор?

Слово, что не было его именем, преследовало его в ярких коридорах, а ноги вслепую несли его по сухой твердости. Он с трудом дышал размеренно, чтобы унять тот кулак, который тряс его изнутри.

Замедлившись, он увидел, что угодил в незнакомую часть станции. Но они все были одинаковые,

как больница и Тренировочный мир. Иссушенные призмы.

Мимо пронеслась старая кротка, пусто улыбаясь, теряя кожу. Внутри все снова содрогнулось при виде красной парши. Местные кроты были высокого класса, равные человеческим дебилам. Карикатуры. *Недолюди*. Зачем пускать их на станции?

Дрон предупредил, что впереди кислородная установка, и он свернул, минуя сверкалку: «Только для людей». За ней была игровая, где он познакомился с Сеул. Внутри было пусто, зазубренно от грубых игр и механических глоток. Того, что повелители Галактики называли музыкой. Так ревностно защищая свое уродство. Он миновал бар U4, скривился и услышал плеск воды.

Звук могуче влек за собой. В Раю тоже была вода… такая вода… он вошел в бассейн станции.

Из воды вынырнули две головы, откинули черные волосы.

— Эгей, новенький!

Он уставился на влажность, на оливковую кожу.

— Он струится! Заходи, новенький!

На миг он сделал вид, что не слышит, — незнакомец в сером. Потом его тело потребовало свое,

и он снова разделся, обнажая ненавистную розовую сухость.

— Эгей, он правда струится!

Вода была прозрачной и неправильной, но ему полегчало.

— Оттова, — назвался первый парень.

— Халл. — Это были близнецы.

— Тимор, — соврал он, перекатываясь в воде. Он хотел… хотел…

В клокотании — оливковые ладони на его ногах.

— Хорошо?

— В воде, — с трудом проговорил он. Они рассмеялись.

— Ты подводник? Давай.

Он покраснел, увидел, что это шутка, и последовал за ними.

В кубе бассейна было темно, влажно и почти хорошо. Но их плоть стала скользко-жаркой, и сейчас он не мог того, чего от него хотели.

— Он никуда не течет, — заявил тот, что назвался Оттова.

— Вы не… — Изнывающий, неразряженный, он в ярости бросил: — Люди! Уродливые нулеголовые люди. Вы и не знаете, что значит струиться.

Теперь они уставились на него, слишком удив-

ленные, чтобы злиться.

— А ты откуда, новенький? — спросил Оттова.

Без толку, не стоило и пытаться.

— С Рая, — ответил он устало, натягивая обратно серый шелк.

Они переглянулись.

— Такой планеты нет.

— Есть,– сказал он.– Есть. Была.– И, отвернувшись, вышел в яркие пустоши. Унимая лицо, выпрямляя короткое деревце хребта. Когда он наконец окажется в космосе, чтобы просто заниматься своей работой? Бессмысленные необъятности, пустые звезды. Так лучше. *«Трижды оплети его кругом и закрой глаза в священном ужасе, ибо он откормлен и опоен медовой росой…»*

Сзади на его плечо упала рука.

— Значит, это ты выкормыш кротов.

Его резко развернула старая ярость, сжала его кулаки. Он вскинул глаза.

В сон. Он вытаращил все свое неверие. Но потом разглядел, что худое черное лицо над ним — человеческое. Это человек, и немного старше его. Но стройный, как облако, изящный, как призрак — словно…

— Я Сантьяго. Есть работенка. За мной, кротик.

Старая привычка направила его летящий кулак, его горло автоматически издало:

— Меня-зовут-Тимор.

Темный легко извернулся, удар только задел его плечо. Презрительная богоулыбка.

– *Pax, pax*[247]. — Черный бархатный голос. — Тимор, сын великого покойного Разведчика Тимора. Привет от моего отца, и можешь уже усадить свою жопу в мой скаутер? Он нужен сектору D буквально вчера, нам не хватает рук. Судя по твоим данным, ты способный.

Сантьяго. Его отец — наверняка толстый смуглый начальник станции, который приветствовал Тимора вчера. Как у такого отца мог…

— Сертификат подмастерья, — отвечал за Тимора его голос.

Сантьяго кивнул и ушел, не оглядываясь, следует ли за ним Тимор.

Скаутер был новенький, той же модели, на которой сдавал на сертификат Тимор. Он онемело включил программу для трансъекции вне системы, изобразил проверки, не смея приглядываться к долговязому спутнику за командным пультом.

Когда они нацелились на первый переход,

---

[247] Примечания: 247
Pax (*лат.*) — мир.

Сантьяго обернулся к нему.

— Еще психуешь?

Тимор отвел глаза от его темных магнитов.

— Сеул кое-что рассказала. Зря я так ляпнул — очевидно, ни один крот не может вырастить человека.

— …

— Мой отец. Слишком долго меня морил. Сын его старого доброго приятеля-разведчика Тимора, спасенный от инопланетян. Наши отцы космосились вместе — ты все узнаешь, когда вернешься. Он считает тебя реинкарнацией Разведчика Тимора. Затребовал конкретно тебя, знаешь?

— Да, — выдавил Тимор.

Глаза, прикрытые веками, изучали его.

— И хорошо, что затребовал. Данные у тебя странноваты.

— В каком смысле?

— Столько брехни от пси-советника. Видать, пришлось переработать тебя полностью. Сколько тебе было лет, когда тебя нашли?

— Десять,– рассеянно ответил Тимор.– А как к тебе попали *мои*…

— Не психуй. Когда вылетаешь, хочешь знать, с кем, логично?.. Десять лет с… ладно, не буду так говорить. Но если это не кроты, то кто? Нам-то

известны только кроты.

Тимор сделал вдох. Если б он только мог каким-то чудом коснуться понимания без слов. Но он так устал.

— Это были не кроты, — сказал он копчено-тощему лицу. — В сравнении с ними…

Он отвернулся.

— Не хочешь говорить.

— Нет.

— Жаль, — легко ответил Сантьяго. — Нам бы пригодилась суперраса.

Они молча прошли переход-перемену, ввели новые параметры основного курса и вторичные проверки. Затем Сантьяго потянулся, направился к шкафчикам.

— Теперь можно расслабиться и поесть, следующий переход только через час. Потом отоспимся. — Со странной архаичной церемониальностью он открыл их еду.

Тимор вдруг почувствовал, как голоден. А за желудком — уколы голода куда глубже. Приятно было поесть с другим человеком, внутри уютного кокона в бездонном космосе. До того он всегда был учеником под наблюдением. А теперь…

Он напрягся, призывая презрение.

— U4?

— Нет.

— Тогда попробуй это. Лучшее на станции, я прокачал. Ты наверняка толком не отдыхал с тех пор, как прибыл из Тренировочного мира.

И правда. Тимор взял предложенный клубень.

— А где сектор D?

— В сторону Денеба. Шесть переходов. Там открывают три новые системы, и мы занимаемся снабжением.

Они еще поговорили — о станции и странной изолированной жизни Тренировочного мира. Тимор вопреки себе чувствовал, как все его внутренние узлы опасно ослабляются.

— Музыка?

Сантьяго заметил его проскочившую гримасу.

— Что, это тебя морит? У твоих инопланетян была музыка получше, правда?

Тимор кивнул.

— А города у них были?

— О да.

— Настоящие? Как Мескалон?

— Красивее. Другие. С разными музыками, — мучительно проговорил он.

Темное лицо наблюдало за ним.

— И где они теперь?

— В Раю. — Тимор устало покачал головой. — Я

имею в виду, их планета называлась Раем. Но все они погибли. У нашедших меня разведчиков была болезнь.

— Плохо.

Пауза. Потом Сантьяго задумчиво произнес:

— Есть россыпь всяких планет, которые называются рай-что-то-там или чей-то-там-рай. Ты, случаем, не знаешь координаты?

В голове Тимора зазвенела тревога.

— Нет!

— А, но тебе ведь должны были сказать.

— Нет, нет! Я забыл. Они никогда…

— Может, мы сможем тебя гипернуть, — Сантьяго улыбнулся.

— *Нет!*

В припадке чувств он сорвался с места. Неловко удержав равновесие, он заметил, что кабина выглядела очень маленькой, со странными ореолами.

— Говоришь, у них были города. Расскажи.

Хотелось объявить, что уже пришло время перехода, прекратить болтать. Но тут он поймал себя на том, что рассказывает темному призраку о городах. Городах своего утраченного мира — Рая…

— …тускло-рубиновый свет. И музыка. Музыка

многих, и грязь…

— *Грязь?*

Его сердце екнуло, ускорилось. Он немо уставился на призрачного ангела.

— А ты не отвлекайся, — строго произнес ангел.

И вдруг Тимор понял.

— Ты меня одурманил.

Длинные губы Сантьяго дрогнули.

— Их народ. Говоришь, они красивы?

— Красивее всех детей человеческих, — беспомощно ответил Тимор — слова сами скользили из него.

— Они струились?

— Они струились. — Тимор измученно повел головой. — Больше любого человека. Больше тебя.

— Они любили меня, — простонал он, протянув руки к призраку. — Ты немного похож на них. Почему…

Сантьяго чем-то занимался у пульта.

— Похож? — Белые зубы тоже стали ореолами.

— Нет,– ответил Тимор. Он вдруг совершенно успокоился.– Ты всего лишь человек. Просто высокий и не розовый. Но не больше чем человек. А для них люди — кроты.

— Люди — кроты?– Черно-синее лицо-нож над

ним, смертоносное.– А ты напрашиваешься, новенький. Значит, твои инопланетяне лучше людей? От жалких людей тебя тошнит? Ты у нас очень-очень особенный. И как удобно — все они погибли, никто их никогда не видел. А знаешь, что, Тимор, сын крота Тимора? По-моему, ты врешь. Ты знаешь, где они.

— Нет!

– *Где* они?

Тимор услышал свой вопль, увидел, как черная маска опомнилась и изменилась.

— Ну ладно, не психуй. Я подцепил достаточно твоих данных, чтобы знать, в каком секторе тебя подобрали. Это недалеко от нашего курса. Говоришь, главная звезда была тускло-красной, правда? Компьютер отсортирует, здесь не так уж много карликов класса М.

Он отвернулся. Тимор пытался броситься на него, чтобы остановить, но одурманенные руки колотили по пустой переборке.

— Я не вру, я не вру…

Компьютер гудел.

— Главные звезды класса М Бета сектор Два ноль точка зед точка дельта ответ один четыре повтор один четыре.

— А, — сказал Сантьяго. — Четырнадцать — это

многовато. — Он нахмурился в сторону Тимора, уже затихшего. — Ты должен что-то знать. Какой-то критерий. Я хочу найти этот Рай.

— Они все мертвы, — прошептал Тимор.

— Может, — сказал Сантьяго. — А может, и нет. А может, ты врешь, а может, и нет. Так или иначе, а я хочу посмотреть. Если там есть города, в них есть чем поживиться. Или я скину тебя навсегда. Зачем, думаешь, ты в этом перелете, новенький? Кто-то что-то скрывает — и я все разузнаю.

— Ты не найдешь. Я не позволю тебе причинить им вред! — Тимор слышал, как надрывается его голос, пробиваясь через оболочки нереальности. Видел, как освещение кабины отражается лиловым отливом на лбу Сантьяго. Его кололи черные звезды, в золотых радужках. Лик сна.

— Я не причиню им вреда. — Голос вновь стал бархатным. — Зачем мне вредить Раю? Я хочу их увидеть. Города. Мы посмотрим города вместе. Ты мне покажешь. — Сон надвигался, наплывал. Тепло. Оттаивание. — Ты мне покажешь.

Ты сам хочешь вернуться — вернуться в Рай.

Перед глазами Тимора все плыло.

— Может, кто-то еще жив. Может, им можно помочь.

В нем сдвинулись глубины, сочась жгучими

ручьями.

— Сантьяго… — Теперь его руки были на темной насыщенности, мяли пульс. Не будь Сантьяго таким сухим, таким ярким…

Освещение поблекло до иссиня-голубого.

— Да, — ответил Сантьяго. Его туника спала, темная плоть переливалась. — Я хочу разделить красоту. Тебе наверняка очень одиноко.

Губы Тимора двигались бессловесно.

— Расскажи, как это было… свет…

* * *

…Нет-нет-нет-нет-нет…

Во рту горело, пересохли даже легкие. Где-то заклокотал голос вокодера, затих. Его глаза покрылись коркой.

— Нет, нет, — хрипел он, бился лицом о пластик.

— Соси, дурак.

В губы хлынула жидкость. Он жадно присосался, и над ним проступило иссиня-черное.

— Это пройдет. Когда мы доберемся до Рая, будешь уже на ногах.

— Нет! — Тимор подскочил, пытаясь схватить ускользнувший высокий силуэт. Теперь он вспомнил — наркотик. Сантьяго.

Его гипернули.

То, чего не должно случиться, не должно было случиться никогда.

Но Сантьяго ухмылялся ему.

— О да, малыш Тимор-как-там-тебя. Ты все выложил. Периоды без солнца. Она двоичная, ты в курсе? Система с черным телом. И тот кластер, что ты назвал Рой. Компьютер знал все.

— Ты нашел его? *Нашел Рай?*

— Мы в одном переходе.

Внутри взорвалась прохлада, били ключи растворяющего света, невыносимого. Сантьяго гипернул его и нашел Рай. Ему не верилось.

Он медленно откинулся назад, отпил еще, сонно наблюдая за Сантьяго. Вера укреплялась. Они пройдут по улицам Рая. Его гордый человек все увидит. Сигналлер мигал. Взгляд Сантьяго сдвинулся к нему.

— Предсигнал отзыва назад. Но они не могут знать, что мы сошли с курса. — Он пожал плечами. — Посмотрим, когда сообщение прояснится. Я назад не поверну.

— Сантьяго. — Тимор улыбнулся. — Мы струились. Я еще никогда не говорил этого человеку.

Но черные звезды не приблизились.

— Может. Интересно. Ты говорил многое. Но

если твой Рай окажется кротской планеткой…– Ноздри Сантьяго сузились.– Из кротов в люди…

— Ты увидишь. Увидишь!

— Может.

Компьютер подал сигнал о переходе, и вдруг у Тимора очистилась голова.

— Но они же мертвы! — воскликнул он. — Я не хочу их видеть, Сантьяго. Они все мертвы. Не вези нас туда!

Сантьяго и бровью не повел, не сходя с курса. Тимор встрепыхнулся на ноги, тянул его за руки, пока не получил ребром ладони, отбросившим его на тросы.

— Да что тебя так морит? С чего ты взял, что они все мертвы?

Тимор открыл рот, закрыл. А с чего он взял? Казалось, на его мозге разъедается броня. Кто ему это сказал? Он был так юн. Могло ли это быть ошибкой? Ложью?

— В таком случае… — Глаза Сантьяго блуждали по панелям, — …будут ли они мирными?

— Мирными?– В Тиморе заплескалась боязливая радость — опасная, неудержимая. Живая. *Возможно ли?..* — О да.

— Но, может, после болезни… — не унимался Сантьяго. Начал проверку. — Лучше убедиться,

что «Амбакс» работает.

Тимор его почти не слышал, двигался, как зомби. Наконец Сантьяго впихнул его в душ.

— Помойся. На случай встречи с друзьями.

Тимор словно парил при гравитации меньше номинальной на скутерах, перекатывался на попеременных волнах радости и ужаса. Он сосредоточился на картине: они с Сантьяго входят в пустые города. Никакой музыки, лишь шпили и… его жестокий спутник увидит, каким струящимся был тот мир.

Они ворвались в систему. Сбоку раздулась, затмилась, вновь появилась угрюмая звезда.

— Эта. Третья от центра.

Сработали грав-сети. Тимор увидел, как на экране кувыркается огромный звездный кластер.

— Это же Рой!

А значит, и Рай. *Они приземляются в Рай.*

— И где города?

— Под облаками.

— Здесь на девять десятых океан. Не вижу дорог. Или полей.

— Вот именно. Они им не нужны. Открытые пространства нужны… были нужны для спорта или танцев на воде.

— Вон дыра. Опустимся там к морю.

Когда застрекотала финальная часть вывода предыдущего сигнала, Сантьяго откинул ее прочь. Облака вокруг заклубились в крещендо, истончились. Потом их поймали сети — и они опустились, охлаждаясь, в тускло-рубиновом свете.

Перед ними экран показывал молочную гладь — море. Ровный берег; а позади них — низкие вайи. И длинная зубчатая линия, от которой защемило сердце Тимора. Это не взаправду. Это взаправду.

Сантьяго хмурился над сообщением.

— Из ума выжили. Отзыв по *медицинской* причине?

Тимор его практически не слышал. Круглый шлюз стал воронкой, тянущей его к прекрасному полумраку, поблескивающему гранатовому свечению. *Взаправду.*

— Твой момент истины, новенький.

Открылся люк, и они вышли в Рай. В легкие Тимора хлынула целительная влага.

— Ух, ну и парилка. Уверен, что этим можно дышать?

— Идем. Город.

— И где же твои шпили?

Сумерки, земля залита нежностью, облизана тихим мелким морем. Тимор нетерпеливо тянул Сантьяго за руку, почувствовал, как тот запнулся. *Не взаправду.*

— Где город?

— Идем. — В полумраке они проплюхали по своего рода роще с низкорослыми обвисшими деревьями, которые сочились плодами. Рядом выгибалось море — едва ли по лодыжку.

— И *это*, по-твоему, город?

Тимор смотрел на низкие зубчатые стены, озаренные лишь закатом. Они казались ниже, чем он помнил, ниже и… но он же тогда был ребенком.

— Все заброшено, разрушено.

— Грязь… *а это еще что?*

К ним из-за стен хромали серые гнилые созданьица, остановились, вперившись.

— Они, — сказал Тимор. — Они, должно быть… слуги. Рабочие. Наверное, не вымерли.

— Да в сравнении с ними и кроты — люди.

— Нет, нет.

— И это всего лишь мазанки из грязи.

— Нет, — повторил Тимор. Двинулся вперед, потянув за собой друга, который никак не видел. — Слушай, они просто обветшали.

— За семь лет?

Уши Тимора уловили тихую музыку. Три комочка прихромали ближе. Все сизо-серые, как он сам, но это на локтях и коленях распухал не шелк, а шкура. Серые растопыренные ноги, а между ними у двоих, под отвисшими брюшками, оставляли тройные колеи в мягкой жиже огромные гениталии. Третий оставлял самый глубокий след. Из их иссиня-черных лицевых отверстий раздалось тихое клокотание.

Его глаза встретили темные самоцветы в золотой инкрустации — словно печальные глаза жаб. Мир содрогнулся, сложился до прозрачности. Музыка…

Раздался ужасный грохот. Тимор развернулся. Инопланетянин рядом с ним хохотал — жестокие лающие зубы.

— Да уж, мой кротский друг! Значит, вот какой у тебя Рай!– вопил Сантьяго, захохотал.– Даже не кроты! НЕДОКРОТЫ!

— Поговори же со своими друзьями, — выдохнул он. — Отвечай им!

Но Тимор не понимал. Из него что-то вымывалось, растворялась аккуратная конструкция, которая его чуть не убила.

— Совершенно необходимо полностью перевоспитать этого ребенка, — произнес он голосом

незнакомца. — Это сын разведчика Тимора.

Но слова для него ничего не значили, потому что он уже услышал свое имя в музыке. Его истинное имя, имя его детства под мягкими серыми руками и телами его первой планеты. Телами, что научили его любви — в грязи, в прохладной грязи.

Существо рядом издавало ранящие звуки.

— Ты хотел красоту! — прокричал Тимор свои последние человеческие слова.

И затем они были в нежной грязи, катались и плескались, серые тела вместе с ним. Пока он не обнаружил, что уже не сражается, а любит — привычной любовью, своим истинным струением, пока вокруг повышались голоса, а грязное существо рядом с ним, мертвое или умирающее, ускользнуло в сером сумбуре, в музыке многих, струящихся вместе, в Раю, в тускло-рубиновом свете.

Послесловие

Читать послесловие — это как провожать взглядом накуренного друга, выбредающего на межштатную магистраль. Невозможно отвернуться и редко радуешься. Есть исключения, да. Наши стародавние любимцы могут спокойно выглянуть из-за угла своих памятников, даже помахать и подмигнуть. А есть и незамолкающие писатели, *пан троглодиты*[248], которые вербализируют каждый живой миг и которых зовут Мейлер и Вулф, когда они хороши. Им разрешены предисловия, послесловия, записки на полях и между строк, что угодно: ведь их разные произведения на деле только узлы, отдельные завихрения в жизненном потоке слов.

Но мы, остальные, несчастные плотоядные, чьи внутренности жалко сгущаются в речь? Лишь изредка, когда, например, луна раскрывает нам глотки, мы лезем на скалы и издаем в небеса уникальные фонтаны звуков. Хорошие, плохие — того мы не знаем. А откричавшись, мы замол-

[248] Примечания: 248

Pan troglodytes — латинское название обыкновенного шимпанзе.– *Прим. ред.*

каем. Меняются наши железы. Сунь нам потом микрофон — и услышишь только нудеж о преобладании блох да дефиците кроликов. И поэтому так нервно читать большинство послесловий — можно заподозрить, будто и сам вой был лишь зашифрованной жалобой о кроликах.

Мы-то так, конечно, не думаем. Мы думаем, это что-то глубже, в самой крови. Но мы уже не в том состоянии, чтобы спорить. Вытолкните меня в полдень на улицы, и все, что я смогу сказать — эти чертовы кролики вымирают, а блохи нас совсем заели.

Пис?

Так о рассказе. Термический вихрь под случайно выбранным именем Харлан Эллисон выдает объемы свободного пространства, где могут развернуться стесненные писатели. Считайте меня среди тех, кто теперь семенит, хлопая крыльями, тащит самодельные аэропланы на скалы и взмывает с надеждой. Итог, конечно, не самый красивый, не обязательно искусство. Более того, в Эллисоне мгновенно узнается такая большая шишка, чьи друзья все ходят с трубками в животе. Но, в конце концов, «Маалокс»[249] проглочен, все

[249] Примечания: 249
«Маалокс» — средство против изжоги и боли в желудке.

старушки собраны и получили всяческие извинения, а значит, пора бы и нестройно выкрикнуть «ура». В честь того, без кого все бы спали крепче и видели меньше снов.

Благодарности



И вновь Редактор желает выразить благодарность и воздать должное за помощь множеству писателей, редакторов, агентов и ценителей спекулятивной литературы и «Опасных видений», благодаря чьему времени, деньгам, предложениям и сочувствию, а также отклику на первоначальный проект (который и обусловил продолжение) эта книга стала возможна:

Эд Брайант
Кейт Вильгельм

Джудит Глушанок
Вирджиния Кидд
Дайан Кливер
Джулия Куперсмит
Уиллис Э. Макнелли, профессор
Роберт П. Миллс
Майкл Муркок
Деймон Найт
Чарльз Платт
Ричард Познер
Джеймс Сазерленд
Барбара Силверберг
Роберт Силверберг
Норман Спинрад
Мишель Темпеста
Тед Уайт
Робин Скотт Уилсон, доктор
Хелен Уэллс
Луиза Фарр
Джанет Фрир
Тед Чичак
Джордж П. Эллиотт
Эд Эмшвиллер
Лоуренс П. Эшмид

Как обычно со всеми начинаниями такого объема и масштаба, растянутыми на пять лет, по-

мощь и любезность множества людей сливаются в предфинальной суете в единое розоватое свечение доброты. Томас Диш, Дэвид Джерролд и Гарри Гаррисон рекомендовали писателей; Лестер дель Рей и Джуди-Линн Бенджамин дель Рей из *Galaxy* предоставили бесценные советы и поддержку; и только один Дон Конгдон доставлял неприятности. Если я кого-то обошел вниманием, вините мою усталость и подкрадывающийся маразм.

Харлан Эллисон
Шерман-Оукс, Калифорния
7 мая 71 года

Об иллюстраторе «Новых опасных видений»


EMSH. 67

Эд Эмшвиллер

Чтобы проиллюстрировать каждый из сорока двух рассказов в книге, редактор отобрал одного из лучших графических дизайнеров и художников в Америке, который заодно оказался международно признанным режиссером,

Эд Эмшвиллер родился в 1925 году в Лэнсинге, штат Мичиган. Женат на Кэрол Эмшвиллер, известной писательнице (среди ее работ — «Секс и/или мистер Моррисон» в «Опасных видениях»), они проживают с тремя детьми в Ванта, Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Служил в пехоте США в ходе Второй мировой войны, в 1949-м получил степень бакалавра по дизайну в Мичиганском университете, учился живописи в Высшей национальной школе изящных искусств в Париже. Сейчас состоит в совете Американского института киноискусства.

В течение 1951–64-го мистер Эмшвиллер прославился как иллюстратор в области фантастики и нарисовал потрясающее количество обложек журналов и книг (по подсчетам самого мистера Эмшвиллера, от 500 до 600), а также буквально

тысячи черно-белых иллюстраций.

За свой вклад удостоился уникальной чести, став пятикратным обладателем премии «Хьюго» Всемирного общества научной фантастики как лучший художник.

В 1952-м начал кино-«зарисовки», а в 1956-м стал пользоваться кинопленкой для сохранения своих картин. С помощью той же кинопленки создал ряд проектов в стиле «таймлапс», показывая свои картины на разных стадиях работы. Всерьез занялся экспериментальным кино в 1959-м. В 1964-м взял так называемый «академический отпуск» от иллюстраций, чтобы сосредоточиться на кино. Мистер Эмшвиллер помнит, как обещал одному НФ-издателю, что это займет год. На данный момент так и не вернулся к иллюстрациям, не считая таких особых проектов, как «Новые опасные видения», которые мистер Эмшвиллер называет работой для души, «как в старые времена».

В последние десять лет его «андеграундные» фильмы прокатывались практически на всех важных кинофестивалях как в США, так и за границей. Он получил как множество премий, так и режиссерские гранты Форда и Совета искусств.

Среди его фильмов:

Dance Chromatic (1959)

Transformation (1959) — живопись во времени

Life Lines (1960) — фильм с актерами, мультипликацией и т. д.

Variable Studies (1960) — живопись во времени

Thanatopsis (1960–1962)

Totem (1962–1963)

Scrambles (1960–1963)

George Dumpson's Place (1961–1963)

Relativity (1960–1963) — полнометражный экспериментальный фильм, снятый на грант Форда

BodyWorks (1965) — фильм о танцах

Два фильма (названия недоступны) по заказу Информационного агентства США

Image, Flesh and Voice (1968–1970) — с использованием голосов и личностей ряда фантастов

Мистер Эмшвиллер работал художником-постановщиком в следующих картинах:

Time of the Heathen (1960–1961)

«Аллилуйя, холмы!» (*Hallelujah the Hills*, 1962)

А также оператором:

American Way (1961)

Film Magazine of the Arts (1963)

И оператором в эпизодах следующих фильмов:

Streets of Greenwood (1963)

The Existentialist (1964)

Сейчас работает над новым, собственным фильмом.

Для «Новых опасных видений» мистер Эмшвиллер придумал двухмерную «кинематографическую» технику, которую сам описывает следующим образом:

«Кино — это череда видений в сопровождении звуковой дорожки, то есть звука чтения в голове читателя. А вот книга — череда вербальных видений, к которой мы можем прибавить визуальную дорожку. В каждом случае дорожка дает чувственное измерение и, надеюсь, обогащает опыт читателя».

Отдельные иллюстрации, объединенные в одну визуальную дорожку, — это единые линии, которые перемежаются образами; внутри книги образы разделены и увеличены, показывая визуальную тему каждого рассказа. Таким образом иллюстрация вторит кино в том, что кажется лишь целлулоидной пленкой, пока ее не покажут на экране крупно.